XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЪЕЗД СЛАВИСТОВ

СЛАВЯНСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ОТДЕЛЕНИЕ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СЛАВИСТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЛАВЯНСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

XV Международный съезд славистов

Минск, 2013 г.

ДОКЛАДЫ РОССИЙСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ

Москва «ИНДРИК» 2013

УДК 811.16
ББК 81.2
С 47

Редколлегия:

А. М. Молдован (отв. ред.),
С. М. Толстая (отв. ред.),
Ж. Ж. Варбот,
В. М. Живов,
А. А. Плотникова

Славянское языкознание. XV Международный съезд славистов. Минск, 21–27 августа 2013 г. Доклады российской делегации / Ответственные редакторы А. М. Молдован, С. М. Толстая. — М.: Индрик, 2013. — 672 с.

ISBN 978-5-91674-257-2

Сборник докладов российских языковедов, подготовленный к XV Международному съезду славистов в Минске, посвящен актуальным вопросам славистики, таким как славянская этимология, сравнительно-историческое изучение славянских языков, праславянский язык, межславянские языковые контакты, диалекты славянских языков, их возникновение, развитие и современное состояние; лингвогеография; грамматика; история церковнославянского языка; национальные языки и национальные культуры; социолингвистические и прагматические аспекты; история славянских литературных языков и др.

Для лингвистов широкого профиля, историков.

© Коллектив авторов, Текст, 2013
© Издательство «Индрик»,
Оформление, 2013

ISBN 978-5-91674-257-2

Содержание

I.

Ж. Ж. Варбот. Морфологическое переразложение в праславянском языке и реконструкция праславянского лексического фонда 9

В. Л. Васильев. Славянская колонизация Русского Северо-Запада в свете ономастики 17

В. А. Дыбо. Балто-славянская акцентная система и итоги индоевропейской акцентологической реконструкции 36

Л. Л. Касаткин. Русское и белорусское аканье: происхождение и история 67

Л. В. Куркина. К реконструкции структурно-семантических отношений в системе славянских терминов земледелия 87

С. Л. Николаев, *А. В. Тер-Аванесова*, *М. Н. Толстая*. Вокализм полесских говоров в праславянской перспективе 99

С. М. Толстая. Семантическая реконструкция и лексическая типология 141

II.

Е. Л. Березович. К семантической реконструкции метафоры родства в славянских языках 163

М. М. Валенцова. Словацкая мифологическая лексика на общеславянском фоне (этнолингвистический аспект) 186

В. Б. Колосова. Народная этимология и этимологическая магия в славянской народной ботанике 207

А. А. Плотникова. Полесье как архаическая зона Славии: этнолингвистический аспект 233

И. А. Седакова. О ‘легкости’ и ‘тяжести/трудности’ в языке и культуре славян: этнолингвистический анализ 254

Е. С. Узенева. ОКДА и современные полевые этнолингвистические исследования карпато-балканского региона 272

III.

А. В. Бондарко. Анализ элементов текста в системе функциональной грамматики 289

М. Я. Дымарский. От моделей предложения — к моделированию высказывания 308
В. М. Живов. Порядок слов при *verba dicendi* в восточнославянских памятниках письменности 331
А. А. Зализняк, *Е. В. Падучева*. Об инициальном отрицании в древнерусском и старославянском 364
Е. Ю. Иванова. Сентенциальные клитики в русском и южнославянских языках 382
Е. Э. Пчелинцева. Аспектуальность отглагольных имен действия в русском, украинском и польском языках 408
Е. В. Рахилина, *А. Б. Летучий*. Начальная стадия грамматикализации значений глагольной множественности в квазиграмматических конструкциях 432
В. С. Храковский. Грамматика и лексика: пограничная зона 452

IV.
Н. Е. Ананьева. Типология польских говоров Сибири и результаты их контактов с русским идиомом 467
Т. И. Вендина. Типология архаичных ареалов Славии 479
М. Л. Каленчук. Особенности произношения заимствованных слов в русском литературном языке начала XXI века 501
М. М. Макарцев. Инновации в глагольной системе славянского говора Бобоштицы (обл. Корчи, Албания) 512
С. А. Мызников. Лексика финно-угорского происхождения в восточнославянских атласах 535
С. С. Скорвид. Говор потомков чешских переселенцев на Северном Кавказе как пример лингвоареального дрейфа 554

V.
А. Г. Кравецкий. Церковнославянский язык как один из современных славянских языков 571
Н. В. Николенкова. Стратегии формирования церковнославянского языка как языка науки в XVII в. (на примере перевода Атласа Blaeu) 590
Г. П. Нещименко. Динамика речевого стандарта современной публичной коммуникации и его влияние на кодификационную практику 610
О. А. Остапчук. Украинский литературный язык в свете социолингвистической типологии славянских языков 633
Г. П. Пилипенко. Двуязычное образование в полиэтничных славянских регионах (Воеводина и Прекмурье): социолингвистический аспект 656

I.

Ж. Ж. Варбот

Морфологическое переразложение в праславянском языке и реконструкция праславянского лексического фонда

Системы флексий праславянского спряжения и склонения свидетельствуют о реальности действия морфологического переразложения в истории праславянского языка, во всяком случае — о наличии его результатов к концу праславянского периода. Длительность этого периода и существенность фонетических изменений, происходивших в течение его, позволяют предполагать возможность действия морфологического переразложения также в производных основах лексем. Речь может идти о переразложении на границах словообразовательных морфем с корнем: префикс — корень, корень — суффикс.

Случаи подобного переразложения широко отмечаются при этимологическом истолковании лексики отдельных славянских языков, но переразложение редко признается как основа образования лексем праславянского (даже позднепраславянского) периода: например, праслав. **kl'unъ* 'клюв' от **kl'unǫti* [Vaillant. Gramm. compar. IV: 582], **brudъ* 'грязь' от **ob-ruditi* [Вайян, цит. по ЭССЯ 3: 45], **brědъ* 'плоды' < **abrědъ* [ЭССЯ 3: 16], **-tvoriti* 'за-, от-, при-крыть' < **otvoriti* [ЭССЯ 35: 111 — *orztvoriti II]. Еще реже лексемы — результаты переразложения включаются непосредственно в словник праславянского словаря, если формы отдельных славянских языков представляют также рефлексы состояния, предшествовавшего переразложению: ср. **bačiti* 'заметить, увидеть' < **ob-ačiti* [SP I: 174–175] и **obačiti* [ЭССЯ 26: 91]; **bagniti* (*sę*) 'окотиться (об овцах)' < **ob-agniti* (*sę*) [SP I: 177] и **obagniti* (*sę*) [ЭССЯ 26: 92–93], хотя в статьях **obačiti* и **obagniti* (*sę*) отмечены результаты переразложения без хронологической приуроченности [ЭССЯ 26: 91, 92–93]; **obverzъka* [ЭССЯ 31: 11–12], хотя весь анализируемый материал — названия растений рус. *берёзка*, укр *берíзка*, блр. *бярóзка* — толкуется как результат переразложения.

Жанна Жановна Варбот,
Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН (Москва)

Выделяются определенные словообразовательные модели, в которых чаще обнаруживается переразложение. Таковы производные от глагольных основ с суф. *-nǫ-* и с префиксом *ob-*.

Приведенное выше толкование праслав. **kl'unъ* ‘клюв’ от **kl'unǫti* предполагает переосмысление суффиксального *-n-* в глаголе как элемента, завершающего корень, чему способствовало этимологическое вокалическое завершение его. Часто подобная фонетическая ситуация складывается в глаголах в результате упрощения групп согласных, образованных последним взрывным (зубным или губным) корня и суффиксальным *-n-* и преобразованных в направлении устранения взрывных. Следствием упрощения оказываются глагольные основы с псевдовокалическим завершением корня и потенциальным присоединением к корню суффиксального *-n-*. Так объяснены праслав. **xyniti* ‘обманывать’ от **xybnǫti* ‘качнуть, наклонить, ошибиться’ [Matzenauer 1881: 8–9; Варбот 1984: 148], **ogъnivo* ‘звено цепи, изгиб’ от **obgъbnǫti* ‘согнуть’ [Berneker I: 366 — польск. *ognivo* ‘звено цепи’ включено в гнездо **gъbnǫti*; Варбот 1984: 144], а также **obtonъ* ‘глубокое (просевшее) место’ от **obtopnǫti* ‘утонуть, углубиться’ [Варбот 1984: 147], *(*sъ*)*klenъ* ‘крышка, свод, соединение’ от *(*sъ*)*klepnǫti* ‘опустить, закрыть, скрепить’ [Варбот 1984: 153–154], *(*vъ*)*kyn'ati sę* ‘роиться’ от *(*vъ*)*kydnǫti* ‘броситься’ или **kypnǫti* ‘кишеть’ [Варбот 1984: 155–156; ЭССЯ 13: 264] и нек. др. Такое толкование наиболее вероятно для праслав. **brьno* / **brьnъ* ‘болото, грязь’ от **brьdnǫti*, к **bresti*, **bredǫ* [см. сопоставление с польск. *brnąć* ‘идти, брести (в грязи, воде)’ в ЭССЯ 3: 70]. Праславянская древность всех приведенных производных обосновывается их фиксацией во многих или нескольких славянских языках различных групп. Особенно существенным свидетельством праславянской принадлежности структур с морфологическим переразложением является возможность в подобных словах древних форм аблаута: см. гипотезу о происхождении **grǫnь* (рус. *грунь* ‘рысь’) из гнезда **gręsti*, **grędǫ* [Petersson 1913: 381], то есть **grǫnь* от **grędnǫti* с чередованием **e* / **o* [Варбот 1984: 147]. С другой стороны, нерегулярность конечной фонетической структуры корня (с последовательностью *-ęn-*) в производном **kręniti* (чеш. *křeniti se* ‘хмуриться, гримасничать, хныкать’, рус. диал. *кре́ниться* ‘плакать’) от **krętnǫti* ‘сдвинуть, согнуть’ [Варбот 1984: 149–150] свидетельствует о возможности переразложения в данном случае только после монофтонгизации дифтонгов.

Морфологическим переразложением в отглагольных производных с префиксом *ob-* объясняются приведенные выше **bačiti*, **bagniti* (*sę*), а также **berzъka* (< **obverzъka*). Набор подобных преобразований на праславянском уровне пополнило исследование А. Ломы: **blizna* / **bluzna*

от **oblyznǫti* ‘ударить’, **bъrtь* от **obvьrtěti*, **buxavъ(j)ь* ‘вялый, затхлый’ от **ob-ǫxati*, **brǫdь(ca)* ‘стыдные волосы’ от **ob-rǫděti* ‘обрасти волосами’, которое от **rǫdъ* ‘косматый, кудрявый’, и нек. др. [Лома 2000: 606–607, 609, 620, 610]. С последним ср. иное отождествление корня для вост.-слав. **brudi* ‘волосы по бокам или на нижней части лица’ при рус. диал. *бруд* ‘край глиняного горшка, кринки’ [Селигер I: 70] — от **ob-rǫditi* к **ręd-* [Варбот 1998: 41–43].

Присоединю сюда еще несколько случаев.

**brętviti*: к этому глаголу возводятся словин. *břǫtv’ic są* ‘кумиться, брататься’, кашуб. *břǫtv’ic* ‘воображать, мечтать’, польск. *brzętwić się* ‘роиться (о пчелах)’; толкование от звукоподражания см. [ЭССЯ 3: 24], но сопоставление с рус. диал. *брящить* ‘жить, поживать, быть здоровым; быть в состоянии ходить, двигаться (о слабом человеке)’ позволяет предполагать результат переразложения префиксального **ob-rętviti*, производного (через промежуточное ***ob-rętva*) от **ob-rěsti*, **ob-rętjǫ* (*sę*) ‘встретить(ся), найти, появиться’ [Варбот 2003: 125–126].

В двух случаях семантика славянских лексем позволяет, кажется, выделить из материалов, относимых традиционно к одному этимологическому этимону, некоторые образования, для которых возможно иное толкование, связанное с допущением морфологического переразложения в производном другого гнезда.

От лексем, отнесенных в этимологических словарях праславянского языка к **britъ* с общей семантикой ‘острие, что-либо отрезанное’ [SP I: 382; ЭССЯ 3: 32], следует отделить рус. диал. *брит* ‘огузок, комель снопа’: это слово генетически сопоставимо с чеш. диал. *břítoví* ‘нижняя часть снопа’, которое убедительно объяснено Махеком как производное от **ritь* ‘огузок, бедро’ (в чешском также ‘нижняя часть снопа’) [Machek[2]: 533], так что есть основания для предположения о переразложении в первичном **obritь* (чеш. *obřitek* ‘желтое или белое пятно на бедрах диких животных’ [Profous III: 247]), см. [Варбот 2000: 48; ЭССЯ 29: 91] и отнесения **britъ* в этом значении к праславянскому состоянию, но как отличного от **britъ* ‘острие’.

В составе лексем, относимых к **brukati* / **bruxati* ‘быстро, с силой бросать, извергать(ся)’ [SP I: 392; ЭССЯ 3: 46], семантика глаголов рус. диал. *бруха́ть*, *брука́ть* ‘бросать, кидать, брыкать, лягаться, бодать, бить тычком’, *брухаться* ‘бодаться’ при сопоставлении с рус. диал. *брушить* ‘бодать, колоть, бить, бросать’ [СРНГ 3: 212; SP I: 392] позволяет предполагать хотя бы для части материала связь (через переразложение) с **obrušati*, **obrušiti*: ср. рус. диал. *обрушить* ‘повредить, поранить, забодать’ [ЭССЯ 29: 127].

В производных от глаголов с префиксом *ob-* благоприятные для переразложения условия появляются при корневом начальном *v-*. Фонетически закономерное исчезновение корневого *v-* вызывает далее отнесение к корню префиксального *b-* с последующим устранением префиксального *o-*: см. выше **berzъka* (< **obverzъka*), а также предположение А. Ломы о происхождении **bъrtь* от **obvьrtěti*. Следует, кажется, обратить внимание на случаи семантической близости лексем с начальными *b-* и *v-*. Так, для праслав. **bordavica* давно уже предполагалась связь с **verdъ*, природу которой можно видеть не только в контаминации двух слов [Machek[2]: 63; ЭССЯ 2: 199–200], но и в переразложении в структуре ***obordavica* < ***obvordavica* (ср. рус. *бередить*). Параллелизм форм славянских языков с вариантными начальными *b*/*v*, реконструируемый как **bьrlookъjь* / **vьrlookъjь* ‘косоглазый’ [SP I: 420; ЭССЯ 3: 170], может быть следом переразложения в структуре ***obvьrlookъjь*, производной от **verti*, **vьrǫ* ‘поворачивать, сгибать’.

Исходя из вероятности действия морфологического переразложения в праславянской истории лексем с начальным *b-* (как осколком префикса *ob-*) и корнями с этимологическим начальным *v-*, считаю возможным предложить версию происхождения праслав. **bolna*. Прежде всего, следует учесть существенность особенно для этой лексемы согласования предлагаемого толкования и круга предполагаемых продолжений в славянских языках. Дело в том, что соответствующий лексический материал иногда распределяется по двум омонимичным этимонам с различной семантикой: ‘тонкая ткань, оболочка в живых организмах, мембрана, перепонка, заболонь дерева’ и ‘открытое низменное травянистое пространство, пойма’, хотя при этом принимается генетическое тождество, то есть гомогенная омонимия, см. такое распределение и толкование в [SP I: 307–309 — **bolna* 1, **bolnьje*, **bolnь*, **bolna* 2; Аникин 4: 27–31 — *болона* I, *болона* II, *болонь*, *болонье*]. Принципиальное объединение всего материала под **bolna* см. в [ЭССЯ 2: 175–177]. И все авторы принимают толкование **bolna* по родству с праслав. **bělъ* и лит. *bálnas* ‘белый’ с мотивацией обозначения и заболони / пленки, и открытого травянистого пространства по цвету. В отношении последнего аргументом служит предполагаемая тождественная мотивация (по светлому цвету) слав. **bolto*.

Основанием для иного этимологического толкования **bolna* могут служить следующие характеристики материала. В русских говорах и в других славянских языках представлены префиксальные структуры — с начальным *o-*, однокоренные и семантически близкие с **bolna*: рус. диал. *óболонь* горьк. ‘гнилое место на бревне’,

нижегор. ‘низменный, пойменный луг’, калуж. ‘топкое, низменное место’ [СРНГ 22: 168], *оболóнка* пск. ‘внутренний слой коры дерева, заболонь’ [СРНГ 22: 167], чеш. *oblana* ‘заболонь дерева между древесиной и корой’ [Kott II: 221], польск. *obłona* ‘заболонь под корой дерева’, диал. ‘нераспаханный луг’ [Warsz. III: 483], укр. *оболóна* ‘кожа, оболочка’ [Гринченко III: 21], диал. *оболóна* ‘луб, выемка в дереве’ [Лисенко. Сл. поліс. гов.: 140], ‘низина у реки’ [Черепанова 1983: 177], блр. *абалóна* ‘пойма, заболонь’ [Блр.-рус.], диал. ‘затока реки; место на сенокосном лугу, которое заливается водой’ [Яшкін. Сл. геагр. тэрм.: 36]. В ЭССЯ эти структуры возводятся к **obboln-*, то есть толкуются как префиксальные производные от **bolna* [ЭССЯ 26: 113–114 — **obbolna*; 114 — **obbolnъka*, **obbolnъkъ*; 114–115— **obbolnь*], но нельзя ли предположить обратное направление словообразовательных связей, а именно — первичность структуры ***oboln-* с префиксом *ob-*, которая соответствует представлению о заболони как ‘о-кружающей, о-хватывающей (собственно древесину)’ части древесного ствола и при этом предполагает скорее отглагольное, чем отыменное образование? Ср. структуру и мотивацию укр. диал. *оболока* ‘заболонь’ [Никончук. Лекс. атл.: 82]. Менее очевидна вероятность мотивации по признаку окружения, охвата для обозначения низменного рельефа, но и здесь значения ‘пойма, пойменный луг’ (см. выше) хотя бы допускают ее. Другой повод для предложения нового этимологического толкования предоставляется собственно семантикой продолжений **bolna*: здесь наиболее существенным представляется семантический компонент сырости, связи с водой, присутствующий в значениях названий топких, низменных мест, пойменных лугов, поймы; влажность характеризует и заболонь дерева, ср. еще выше семантику гнили. Сочетание вероятной первичной структурной характеристики — префикса *ob-* и наличие семантической связи с водой позволяют предположить для **bolna* происхождение из ***obolna-* < ***obvolna* — производного от глагола гнезда **vьlati* / **valiti* ‘поворачивать(ся), катить(ся), течь, окружать, покрывать’. Ср. в отношении семантики производные от **vьlati* — **vьlna*, от ***obvьlati* — **obьlъjь*. Непосредственной производящей основой для ***obvolna* мог быть глагол ***obvoliti*, производный от ***voliti*, который Вайян считал предшественником праслав. **valiti*, объясняя преобразование корневого вокализма ***voliti* > **valiti* необходимостью избежать омонимии с **voliti* ‘предпочитать, выбирать’ [Vaillant. Gramm. compar. III: 429].

Морфологическому переразложению способствует не только упрощение групп согласных на границе префикс–корень, но также и появление здесь вставных звуков. Характерное для славянских

языков осложнение группы *zr* вставным *d* на этой границе с последующим переразложением может объяснить происхождение праслав. **draziti*. Его источником представляется глагол **orzdraziti* — префиксальное производное от **raziti*, ср. тождество семантики глаголов **orzdraziti* и **orzraziti*: ст.-слав. **раздразити** καταρρηγνύναι ‘разбить, поразить’, польск. *rozdrazić* ‘разбить, поранить’ при диал. *rozrazić* ‘разбить, поранить, повредить’, др.-рус.-цслав. *раздразити* ‘ударом разбить на части’ при *раз/роз-разити* ‘ударом разбить, раздробить что-л.’; относительно развития семантики раздражения в **raziti* см. рус. диал. *разразить* арханг. ‘поранить, разрезать’ и ‘растревожить, растравить (рану)’, свердл. ‘вывести из себя, раздразнить кого-л.’, карел. ‘привести в раздраженное состояние’, укр. *розразити* ‘раздражить, растравить’, блр. диал. *разразíць* ‘растревожить, растравить’, подробнее см. [Варбот 2010: 40–42]. Семантическая связь **draziti* с **raziti* обнаруживается даже в производном третьей ступени — рус. диал. арханг. *раздразнить* ‘поранить какую-л. часть тела’ (**draziti* — **draznь* — **drazniti* — **orzdrazniti*) [СРНГ 33: 331].

При вероятной спорности некоторых из упомянутых, известных и предложенных выше случаев морфологического переразложения в праславянской лексике трудно, однако, отрицать реальность этого процесса на праславянском уровне, особенно его результаты в позднепраславянском языке. Поскольку, как было показано выше, переразложение непосредственно связано с результатами упрощения и преобразования групп согласных на границах словообразовательных морфем, встает вопрос о степени методической строгости реконструкций праславянских лексем позднепраславянского периода с сохранением в них групп согласных, предшествовавших преобразованиям, а именно — *dn*, *tn*, *bn*, *pn* в глаголах с суф. *-nǫ* и *bv* в производных с префиксом *ob-* (хотя очевидно, что это лишь часть преобразовавшихся сочетаний). Следует отметить, что в ряде случаев реконструкций лексем с перечисленными сочетаниями соответствующий лексический материал славянских языков содержит лишь результаты преобразований: таковы, например, характеристики материала, соответствующего **gъrtnǫti* [ЭССЯ 7: 214–215], **krętnǫti* [ЭССЯ 12: 147–148], **obvada* I *‘клевета, вина’ [ЭССЯ 30: 254], **obverzslo* [ЭССЯ 31: 11], **obvolko* [ЭССЯ 31: 85]. Иногда наличие преобразования отмечается в заглавном слове: см. **gъ*(*b*)*tati* (к **gъbnǫti*) [ЭССЯ 7: 189]. В большинстве случаев в славянских лексемах присутствуют, наряду с преобразованиями, неизмененные сочетания, но это объясняется процессами вторичного восстановления по аналогии с родственными словами или воспроизведением словообразовательных моделей, см. об этом [Трубачев 1963: 17–18]. Есть опыт

расположения преобразованной формы рядом с непреобразованной (но в скобках!) — **gъbnǫti* (**gъnǫti*) [SP 8: 320], **gybnǫti* (**gynǫti*) [SP 8: 333]. Очевидно, что отмеченное противоречие реконструкций с неизмененными сочетаниями согласных и ориентации реконструкций на позднепраславянский период является уступкой принципу фономорфологической реконструкции, о котором см. [Трубачев 1963: 13], но соответствующая специфика реконструируемого словника праславянского языка должна учитываться в исследованиях по истории славянского словообразования.

Литература

Аникин — *Аникин А. Е.* Русский этимологический словарь. Вып. 1–5. М., 2007–2011.

Блр.-рус. — Белорусско-русский словарь / Под ред. К. К. Крапивы. М., 1962.

Варбот 1984 — *Варбот Ж. Ж.* Праславянская морфонология, словообразование и этимология. М., 1984.

Варбот 1998 — *Варбот Ж. Ж.* К этимологии восточнославянского **brudi* // Число. Язык. Текст. Сборник статей к 70-летию Адама Евгеньевича Супруна. Минск, 1998. С. 41–43.

Варбот 2000 — *Варбот Ж. Ж.* Индоевропейские и праславянские архаизмы в славянских нерегулярных преобразованиях // Studia etymologica Brunensia 1. Praha, 2000. S. 44–50.

Варбот 2003 — *Варбот Ж. Ж.* Кашубские этимологии в свете русских диалектизмов (кашуб. *ńeobodni*, *bŕǫtv'ic są*) // Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 1997–2000. М., 2003. С. 123–126.

Варбот 2010 — *Варбот Ж. Ж.* Нерегулярные изменения в славянских языках и славянская этимология // Этимология. 2006–2008. М., 2010. С. 37–51.

Гринченко — *Гринченко Б.* Словарь украинского языка. Т. I–IV. Киев, 1907–1909.

Лисенко. Сл. поліс. гов. — *Лисенко П. С.* Словник поліських говорів. Київ, 1974.

Лома 2000 — *Лома А.* Перинтеграција *об-* > *б-* као етимолошки проблем // Јужнословенски филолог. LVI / 1–2. Београд, 2000. С. 601–623.

Никончук. Лекс. атл. — *Никончук М. В.* Материали до лексичного атласу української мови (Правобережне Полісся). Київ, 1979.

Селигер — Селигер. Материалы по русской диалектологии. Словарь / Под ред. А. С. Герда. Вып. 1–3. СПб., 2003–2007.

СРНГ — Словарь русских народных говоров / Гл. ред. Ф. П. Филин (вып. 1–23), Ф. П. Сороколетов (вып. 24–44–). СПб., 1966–2011–.

Трубачев 1963 — Этимологический словарь славянских языков. Проспект. Пробные статьи / Сост. О. Н. Трубачев. М., 1963.

Черепанова 1983 — *Черепанова Е. А.* Географическая терминология Черниговско-Сумского Полесья (опыт семантической классификации) // Полесский этнолингвистический сборник. М., 1983.

Яшкін. Сл. геагр. тэрм. — *Яшкін І. Я.* Слоўнік беларускіх мясцовых геаграфічных тэрмінаў. Мінск, 2005.

ЭССЯ — Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд / Под ред. О. Н. Трубачева (вып. 1–31), О. Н. Трубачева и А. Ф. Журавлева (вып. 32), А. Ф. Журавлева (вып. 33–38–). М., 1974–2012–.

Berneker — *Berneker E.* Slavisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1908–1913.

Kott — *Kott F. Št.* Česko-německý slovník. D. I–VII. Praha, 1878–1893.

Matzenauer 1881 — *Matzenauer A.* Přispěvky ke slovanskému jazykozpytu // LF 1881. Roč. 8.

Petersson 1913 — *Petersson H.* Slavische Etymologien // AfslPh 1913, B. 34.

Profous — *Profous A.* Místní jména v Čechách. D. I–V. Praha, 1947–1960.

SP — Słownik prasłowiański / Pod red. F. Sławskiego. T. I–VIII–. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1974–2001.

Vaillant. Gramm. compar. — *Vaillant A.* Grammaire comparée des langues slaves. T. III. Paris, 1966; T. IV. Paris, 1974.

Warsz. — *Karłowicz J.*, *Kryński A.*, *Niedźwiedzki W.* Słownik języka polskiego. T. I–VIII. Warszawa etc., 1952–1953 (= 1904–1927).

В. Л. Васильев

Славянская колонизация Русского Северо-Запада в свете ономастики

К региону Русского Северо-Запада (далее — РСЗ) в настоящей статье отнесена территория средневековых владений Новгорода (область новгородских пятин, или Новгородская земля, занимающая преимущественную часть региона РСЗ) и Пскова (Псковская земля, в древнерусское время обособившаяся из Новгородской). Данный регион относится к областям позднепраславянского расселения. Первые славяне появились в бассейнах озёр Ильмень и Чудско-Псковского не позднее VII–VIII вв. Об их появлении сигнализирует главным образом культура новгородских сопок — высоких крутобоких погребальных насыпей с несколько уплощенной вершиной, которая по анализу вещевого инвентаря датируется VIII–X вв. Относительно славянской принадлежности этой культуры сомнения у археологов практически отсутствуют. Но славяне, очевидно, проникли сюда и несколько раньше судя хотя бы потому, что культура сопок, для того чтобы оформиться в ее окончательном виде, должна была пройти определенный этап становления (археологи иногда используют термин «досопочные славяне»). Кроме того, на РСЗ располагается ареал культуры псковско-новгородских длинных курганов (валообразных погребальных насыпей длиной свыше 10 м, при обычной ширине 5–6 м и высоте 0,5–1,5 м), датируемой VI–IX вв. В этих курганах тоже обнаруживают славянские элементы, но наряду с прибалто-финскими и балтийскими. Часть археологов видят создателями данной культуры тоже славян.

Остаются остро дискуссионными вопросы о том, какое происхождение имел древненовгородский (новгородско-псковский) диалект, и о том, какими путями пришли в бассейны озёр Ильмень и Чудско-Псковского ранние славяне. По поводу решения этих тесно взаимосвязанных вопросов традиционно конкурируют две точки зрения. Первая гипотеза — «западнославянская», разделяемая многими

Валерий Леонидович Васильев,
Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (Великий Новгород)

историками и языковедами начиная с 1-й половины XIX в., — подчеркивает западнославянский генезис ранних славян — заселителей земель будущих Новгорода и Пскова и, следовательно, носителей первых диалектов РСЗ. Этой гипотезе отдали дань разные поколения крупных историков, археологов, языковедов, этнографов. Так, языковед А. А. Шахматов писал о том, что севернорусам, двигавшимся от Среднего Поднепровья, пришлось столкнуться в верховьях Западной Двины, Волги и Днепра с ляшскими (польскими) племенами, их оттеснить и ассимилировать, но от ляхов были унаследованы цоканье, *кл*, *гл* (< **tl*, **dl*), смешение *с* и *ш* и другие черты, отмечаемые в новгородско-псковских землях [Шахматов 1899: 382]. Этнограф Д. К. Зеленин обосновывал мнение о миграции балтийских славян морским и сухопутным путем в Поволховье и Приильменье, к ильменским словенам, которые ассимилировали пришельцев, восприняв от них ряд языковых черт [Зеленин 1954: 49–95]. Особенно часто писал о проблеме появления ранних славян на РСЗ археолог В. В. Седов, который отождествляет северную (псковскую) ветвь летописных кривичей с создателями культуры псковских длинных курганов, а летописных словен ильменских — с носителями культуры сопок. Он отстаивает идею, что и кривичи (очень рано, еще в V в.), и словене ильменские (немного позднее) пришли в бассейны озёр Чудско-Псковского и Ильмень с запада — из Польши, со среднего течения Вислы, для чего им пришлось напрямую пересечь земли балтов [Седов 1994: 127–137; 1999: 117–128, 158–165]. В. Л. Янин тоже полностью солидаризируется с тем, что «искать исходный пункт движения славян, получивших имена „кривичей“ и „новгородских словен“, на землях будущих Пскова и Новгорода следует в областях, прилегающих с юга к Балтике» [Янин 2004: 79].

Современный, лингвистически продвинутый вариант данной гипотезы был предложен А. А. Зализняком. Изучение лингвистических особенностей новгородских берестяных грамот привело исследователя к пониманию того, что ранние славянские говоры в центре Новгородской земли были разными по своему происхождению. На долготе примерно от Пскова до Новгорода превалировал более архаический диалект псковских, или северных, кривичей, который находился в ближайшем родстве с западнославянскими, конкретнее с севернолехитскими и лужицкими, диалектами. К востоку и северо-востоку от Новгорода распространялись говоры общевосточнославянского типа, принадлежавшие ильменским словенам. Со временем происходила консолидация этих двух идиомов уже в рамках единого древненовгородского государства; см. [Зализняк 1993: 232; 2004: 6–7].

Вторая гипотеза раннеславянского этногенеза на РСЗ — «среднеднепровская», или «южная» — трактует первых славян в окрестностях оз. Ильмень и Чудско-Псковского как пришельцев из области Киева и Среднего Поднепровья. При таком понимании подчеркивается общевосточнославянский генезис славянских переселенцев в будущие Новгородскую и Псковскую земли, а диалекты известных по Начальной летописи племен кривичей и словен ильменских считаются восточнославянскими. Пути прихода славян на север — по Днепру и его притокам, далее на Ловать и в бассейн р. Великой. Приверженцев «южной» гипотезы было меньше, чем «западников», и им приходилось не раз полемически заостренно отстаивать изначальное единство восточных славян. Ф. П. Филин, например, пишет, что «фантастическая гипотеза о появлении славян на территории Восточной Европы из прибалтийских земель» по-прежнему продолжает соблазнять историков [Филин 1972: 124]. Идея изначальной гетерогенности восточнославянской зоны встретила серьезную критику со стороны исследователей, отстаивающих традиционный тезис о гомогенности происхождения восточнославянских языков[1]. О. Н. Трубачев обращает внимание на то, что особо заметные «западнославянские» черты в древненовгородских говорах (неосуществление второй палатализации задненебных, неупрощение праславянских **tl*, **dl*) — всего лишь праславянские архаизмы, пережитки, а не совместные инновации, поэтому данные явления не могут считаться показательными для констатации особенного западнославянско-новгородского родства. Однако такие черты свидетельствуют о периферийности говоров данного региона: по словам Трубачева, «здесь перед нами как бы периферия периферии, то есть сугубая периферия». Заселение Новгородской земли могло быть только в одном направлении — с днепровского юга на север [Трубачев 1997: 69; 2002а: 22–23; 2002б: 275–278]. Исчерпывающую диахроническую классификацию основных черт древненовгородского диалекта, главным образом фонетико-морфологических, дает В. Б. Крысько, доказывая, что древненовгородский — это наиболее периферийный, архаичный и вместе с тем инновативный восточнославянский диалект, восходящий к племенному диалекту ильменских словен, распространенный на всей территории Новгородской земли, а не только в ее западной части [Крысько 1998: 74–93].

---

[1] В статье [Крысько 1998] изложены довольно подробные сведения о многих участниках и перипетиях многолетней дискуссии, посвященной проблематике происхождения, межславянских связей и языкового своеобразия древних говоров Новгородской земли.

В целом эволюция мнений относительно лингвоэтногенеза на РСЗ претерпела с середины XIX в. определенные изменения, заключавшиеся в постепенном сдвиге акцентов в пользу второй, «южной», гипотезы. В частности, идея о первоначальной миграции в этот регион славян с берегов Балтийского моря, бывшая некогда наиболее популярной среди историков, так и не нашла достаточных лингвистических аргументов. Концепция В. В. Седова о приходе кривичей и ильменских словен из Средневисленского региона, хорошо известная благодаря авторитету крупного археолога, подвергнута критике в современной археологической литературе; см.: «Система археологической аргументации для обоснования западной гипотезы так и не была создана» при том, что «южная версия за последние десятилетия значительно укрепила фактологическую базу» [Конецкий 1998: 236]. Наконец, мы наблюдаем изменение взглядов А. А. Зализняка, который в последних своих работах избегает упоминаний об особом родстве севернокривичского с севернолехитскими и лужицкими диалектами, ограничиваясь предположением «о ранней изоляции носителей прановгородско-псковского диалекта от остального славянства» [Зализняк 2003: 221].

Изучение ранних славян, пришедших в регион РСЗ, до последнего времени базировалось на данных археологии и древнерусской письменной истории, дополненной устной народной историей, равно как на анализе языка письменных источников, прежде всего летописей и новгородских берестяных грамот. Но есть еще один важный источник, который практически не был задействован, — это топонимия и диалектная лексика. Для познания раннеславянского этногенеза РСЗ наибольшую значимость имеют, во-первых, географические названия с чертами пережиточности, непродуктивности своей структуры, во-вторых, названия и диалектные лексемы, находящие изоглоссы далеко за пределами РСЗ — на территориях иных славянских языков и государств. Разумеется, исследование таких названий и лексем должно проводиться на широком общеславянском компаративном фоне. В результате появляются ареальные обобщения исследуемого материала, приоткрывающие завесу над проблемой раннеславянского заселения рассматриваемой территории.

Регион РСЗ, являя собой северную периферию славянского мира, сохранил много пережиточных славянских элементов в фонде общеязыковой, апеллятивной лексики, но, пожалуй, еще больше в фонде отчуждаемой лексики языка — ономастической. В частности, предпринимавшееся ранее изучение ономастики РСЗ (в работах Р. А. Агеевой, А. И. Попова, Н. В. Подольской, А. М. Микляева и др.) уже обозначило немало славянских топонимических и антропонимических

древностей, таких как первичные суффикс-флективные гидронимы славянского происхождения, топонимы на *-ля* / *-ль*, с элементами *-гост-* / *-гощ-*, многочисленные древнеславянские композитные, усеченные и простые личные имена из новгородских берестяных грамот и летописей, и др. Проводимые мною топонимические исследования РСЗ, преимущественно в области новгородского пятинного деления, тоже выявили довольно многочисленные в этом регионе названия с различными приметами (поздне)праславянского и древнерусского времени, в частности, производные от древней композитной и префиксально-корневой антропонимии, от апеллятивов, забытых не только в новгородско-псковских землях, но и в русском или даже в восточнославянском языковом пространстве вообще, названия с древнеславянским *-*j*-овым суффиксом, со старыми формантами *-ичи* / *-ицы*, *-ья*, *-ея*, *-ижа*, *-ай*, *-уй* и др. Многие из них вплетены в сеть междиалектных и межъязыковых соответствий, обнаруживаемых в различных, в том числе самых отдаленных от РСЗ регионах Западной и Южной Славии. Ономастические соответствия и апеллятивные корреляты архаических славянских названий Новгородской земли обнаружены в Европейской части России вплоть до Урала, на территориях Белоруссии, Украины, Литвы, Латвии, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Австрии, Венгрии, Словении, Румынии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Сербии, Македонии, Болгарии, Албании и Греции[2].

Ареальная генерализация исследованной топонимической архаики в области средневековых владений Новгорода и Пскова позволяет схематично обобщить линии ее преимущественных связей с топонимией, антропонимией и апеллятивной лексикой иных регионов Славии. Для конкретизации путей прибытия ранних славян на РСЗ, разумеется, первоочередно показательны восточнославянские связи. Наиболее частые и однозначные соответствия исследованная новгородско-псковская топонимия РСЗ находит в восточной половине Белоруссии (Витебщина, Могилевщина, Гомельщина), в примыкающих к ней западнорусских областях (юг Псковской обл., запад Тверской обл., Смоленская, отчасти Брянская обл.) и на северо-западе и западе Украины. Заметно более низкий уровень архаических топонимических схождений с регионом РСЗ приходится на западную половину Белоруссии, на северо-восточную часть Украины (обычно не западнее Киева, не южнее Харькова), на русские земли

[2] Главные результаты этих исследований нашли отражение в кн. [Васильев 2006] и — в значительно дополненном и исправленном виде — в кн. [Васильев 2012].

в среднем и верхнем течении Десны и Сейма (Курская и Брянская обл.) и на земли в обширных бассейнах Оки и Верхнего Поволжья на восток примерно до Нижнего Новгорода. На территориях севернее, восточнее и южнее обозначенных восточнославянских зон соответствия исследованным топонимическим древностям встречаются еще более редко.

Ареальный анализ старых славянских названий РСЗ с междиалектными и межъязыковыми линиями связей, проведенный на широком общеславянском компаративном фоне, не подтверждает гипотезы В. В. Седова о западном пути прихода славян в „ильменско-псковские земли“ — из Повисленья с пересечением балтских областей, в том числе тех, которые были заняты западнобалтскими (ятвяжско-прусскими) племенами [Седов 1999б: 125, 126]. Широкая полоса наиболее выразительных и плотных раннеславянских топонимических перекличек РСЗ с другими восточнославянскими землями тянется от Ильмень-Волховского, равно как и от Чудско-Псковского, озерно-речных бассейнов сначала на юг, затем поворачивает на юго-запад и запад, отчетливо обозначая векторы самых древних и традиционных языковых связей и обрисовывая преимущественные пути славянского проникновения в регион РСЗ из Галиции и Волыни по рекам Верхнего Поднепровья. Факт заметно меньшего количества архаических топонимических схождений с западной Белоруссией, естественно, позволяет предположить, что пути ранних славян на РСЗ не пролегали напрямую через исконные земли балтов к северу от Припяти, но отчасти огибали массив исконного древнебалтского населения в левобережье Припяти и в бассейне Немана. По крайней мере старая новгородская и псковская топонимия не свидетельствует ни о том, что славяне продвигались из Польши на северо-восток к Ильменю и Чудско-Псковскому оз. через Западную Белоруссию, ни о том, что потоки славян пересекали издревле сложившуюся устойчивую балто-славянскую этноязыковую границу вдоль р. Припять.

Исследование топонимических древностей РСЗ, особенно новгородских, но отчасти и псковских, в сущности, подкрепляет вывод, полученный благодаря проведенному ранее изучению верхнеднепровской гидронимии, о том, что «западная часть Верхнего Поднепровья лежала в стороне от основных магистралей, по которым осуществлялось восточнославянское продвижение» [Топоров, Трубачев 1962: 20]. Об этом свидетельствует территориальная дистрибуция моделей старых восточнославянских гидронимов с суф. *-ка*, *-ля* (и *-омля* / *-емля*), *-ец*, *-ица*, *-ень*, *-ынь*, которые широко представлены в восточной части Поднепровья, но выразительно затухают в направлении к западу от Днепра [там же: 20, 97, 73, 100, 104, 118, 119]. В свою

очередь, как показало проведенное мною изучение новгородско-псковской гидронимии РСЗ[3], эти, как, впрочем, и все другие, старые модели верхнеднепровских водных названий с неубывающей кучностью продолжаются и далее к северу от Поднепровья. Например, по моим наблюдениям, в обоих сравниваемых регионах дериваты на *-ка* составляют более трети всех речных названий, а дериваты на *-ля* насчитывают приблизительно шесть десятков водных имён. Вообще говоря, и состав, и удельный вес деривационных моделей гидронимии Верхнего Поднепровья и региона РСЗ во многом сходны, основное различие, пожалуй, состоит в том, что некоторые старые и редкие модели развили на РСЗ дополнительную продуктивность и оказались представлены здесь в более полном объеме, чем в бассейне верхнего Днепра (названия на *-ья*, *-иц*, *-ома*, *-о*, *-омля* / *-емля*, *-ижа*, *-еха*, *-оха*, *-уха* и др.).

Добавлю в поддержку сказанного о маршрутах раннеславянского расселения, что приблизительно такая же, хотя и более размытая поясная зона вырисовывается и на материале собственно лексико-семантических изоглосс, относящихся прежде всего к сфере географической терминологии, тесно связанной с топонимией и не менее показательной для этноисторических заключений. На восточнославянской территории эта зона изолекс начинается от той части Русского Севера, которая преимущественно связана с новгородской колонизацией, а далее идет через Псковщину, Белоруссию, Полесье до Карпат [Толстой 1977: 49–50]. Обобщение восточнославянских ареалов новгородской географической терминологии, проведенное мною прежде, тоже свидетельствует о наиболее прочных лексико-семантических связях новгородских (центральноприильменских) говоров с говорами южной ориентации: южнопсковскими, западнотверскими, смоленскими, брянскими, а из белорусских — с витебскими и могилевскими, реже с центральными и северо-западными белорусскими, см. [Васильев 1995: 164, 170–171; 2001: 205, 212]. Относительно территории Белоруссии ранее было констатировано, на основе изучения лексики праславянского происхождения, что архаические языковые зоны в этой республике локализуются в восточной части этноязыкового ареала: это Восточное Полесье, а также витебская зона, которая тесно прилегает к южнопсковской, образуя с ней некую локальную единицу [ЭСБМ 1: 4].

Таким образом, весьма существенный итог, который следует из анализа межславянских связей новгородской и псковской

[3] Выполнялось в рамках проекта «Лингвистический анализ гидронимии Русского Северо-Запада», реализованного в 2008–2010 гг. при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 08-04-00283а).

топонимической архаики, — это наличие множества древних схождений с украинской Волынью и Галицией при заметной слабости и вторичности связей с более северными областями Западной Белоруссии. Конфигурации топоизоглосс разнятся, но в большом числе случаев именно галицко-волынские земли выглядят либо областью исходных связей, либо «транзитной» областью для РСЗ — западнославянских и/или РСЗ — южнославянских перекличек. Встречаются двусторонние топонимические схождения региона РСЗ с галицко-волынскими землями (*Верещино — Верещин*, *Витенеж — Witoniż*, *Гдов — Gdów*, *Гостинеж — Госніжичі*, *Любжир — Любожир*, *Погвизд — Pogwizdowa*, *Пробужа — Probużna*, *Туховежи — Тиховиж*, *Ченежо — Ченіж*, *Горыни — Горынь*, *Пересута — Пересута* и др.), притом что с Белорусским Западом специфические схождения в проанализированной топонимии, похоже, отсутствуют. Значительно больше в имеющемся материале обнаруживается таких старых славянских названий, которые объединяют «внутренние земли» Новгорода и Пскова как с Волынью и Галицией, так и с отдельными регионами обрисованной выше поясной зоны ранневосточнославянского расселения, но обычно минуют запад Белоруссии: *Боровичи*, *Велетово*, *Суболицы*, *Вогоща*, *Волотово*, *Дорогини*, *Зеремо*, *Кадище*, *Менюша*, *Перенѣжье*, *Пирятино*, *Полоное*, *Порхов*, *Пробужа*, *Прость*, *Сенежье*, *Скнятинской*, *Смолиговицы*, *Торган*, *Хилово*, *Ходыни*, *Чернигово* и др. Еще больше сохранилось на РСЗ архаических названий собственно восточнославянского генезиса, соответствия которых остались не обнаружены в галицко-волынских землях, однако «всплывают» на путях продвижения славян от этих земель через Среднее Поднепровье на север — к оз. Ильмень и Чудско-Псковскому и на восток — в Подесенье, Поочье и Верхнее Подонье: *Березуй*, *Велья* и *Велье*, *Витебско*, *Всеславле*, *Выдреа*, *Вязма*, *Гостиж*, *Жетонег*, *Копорье*, *Лемёнка*, *Лопань*, *Лукомо*, *Любоежа*, *Ожево*, *Пажеревицы*, *Пирогоща*, *Плиса*, *Робья*, *Ситомля*, *Славгущи*, *Суглица*, *Хотеж*, *Хотнежа*, *Хотовижи*, *Шереховичи* и др. К данной группе относятся и те топонимы, которые максимально широко отмечаются главным образом в Приильменье и Поволховье, но, судя по отдельным проявлениям, появились у восточных славян, вероятно, еще на подступах к территории будущих новгородско-псковских владений: *Ветка*, *Волмина*, *Врево*, *Вяжище*, *Лёзна*, *Нездилово*, *Полюжье*, *Ужин*, *Хутынь*, *Чавницы* и др.

Ранее уже писали о некоторых лексических параллелях между северо-западными русскими и прикарпатскими украинскими говорами (*жито*, *волошка*, *багно* и др. [Ашиток 1987: 68]). Но особенно показательны прямые лексико-топонимические совпадения

окрестностей оз. Ильмень с западноукраинской терминологией горного ландшафта. Ср. новг. диал. *бёрдо* (*бёдро*), *бердýха*, *бердя́нка* ‘небольшой холм, возвышение’, *бёрдо* ‘отмель’ [НОС 2010: 36], новг. топонимы *Бердо*, *Бердово*, *Бердище*, *Берденица*, *Бердуха*, *Оберетка* (< **Обьр*(ь)*дъка*), *Берка* (< **Бьрдъка*) и т. п., наряду с зап.-укр. *бе́рдо*, *бе́рда* ‘скалистая гора’, ‘пропасть’, *бердів’я* ‘пороги в реке’ [Онишк. СБГ 1; Толстой 1969: 96–97]. См. еще новг. ойконимы *Кчера* (< **Кычера*) и неподалёку *Кук*, оба в ближайших западных окрестностях Ильменя, и зап.-укр. *ки́чера* ‘гора, покрытая лесом, кроме вершины’, названия *Кичера*, *Кичерка*, повторяющиеся до 25 раз в Карпатах [Мурз. СНГТ 1: 282–283], а также словен. *kúk* ‘холм, бугор’. Понятно, что эти горные термины и топонимы могли мигрировать в Приильменье только с окрестностей Карпат, притом что они широко представлены и южнее Карпат — на Балканском полуострове в горных местностях южных славян.

Через галицко-волынские земли и другие местности поясной зоны ранневосточнославянского расселения тянутся линии многочисленных топоизоглосс различной конфигурации, которые связывают регион РСЗ с отдельными регионами 1) как западных, так и южных славян, 2) западных славян, 3) южных славян. Тип 1) топоизоглосс манифестирован группой топонимических архаизмов РСЗ, находящих спорадические проприально-апеллятивные повторения, цельноструктурные или равноосновные (неполные), на востоке, западе и юге Славии. К таким названиям, которых в целом выявлено немало, относятся *Бебро*, *Борже*, *Бория*, *Борково*, *Борочь*, *Бортно*, *Боручье*, *Бохот*, *Бояня*, *Братилово*, *Будешино*, *Будогощь*, *Будомицы*, *Велбуже*, *Велегощи*, *Велени*, *Велимичи*, *Венец*, *Видемле*, *Витково*, *Витонь*, *Воиславле*, *Воймирицы*, *Волостово*, *Вычерема*, *Гораздица*, *Гореслава*, *Гославль*, *Гостелюбле*, *Гостомичи*, *Гостьмеричи*, *Дѣдно*, *Доброгостьци*, *Добромыш*, *Добросли*, *Доброст*, *Добрыня*, *Домославль*, *Дорогинино*, *Дорогобуж*, *Дорогощи*, *Желегоща*, *Завижа*, *Зажупанье*, *Збуж*, *Камык*, *Киево*, *Кнеино*, *Крупка*, *Лукавец*, *Лукое*, *Любань*, *Любегощи*, *Макшея*, *Маслогостицы*, *Миголощи*, *Милятино*, *Миронеж*, *Мирославль*, *Мысловичи*, *Мышлячье*, *Накло*, *Недоблицы*, *Нерца*, *Нинково*, *Паника*, *Перынь*, *Песно*, *Пискупици*, *Плиска*, *Поляни*, *Прибуж*, *Прибыльцино*, *Прибышино*, *Радилово*, *Радовеж*, *Радогоша*, *Радомерь*, *Радомля*, *Радословле*, *Рахово*, *Рѣчани*, *Рошково*, *Сеславль*, *Славково*, *Сопот*, *Теребеж*, *Тереболя*, *Теребуново*, *Турковичи*, *Утеше*, *Хотѣмирицы*, *Хотѣнковичи*, *Хотово*, *Хотунь*, *Хотыни*, *Чагоша*, *Часловица*, *Янево*, *Ясо* и др.

Тип 2) топоизоглосс представлен новгородскими и псковскими архаическими названиями, повторения которых, помимо восточно-

славянской поясной зоны расселения, преимущественно или исключительно обнаруживаются в западнославянском языковом пространстве (Польша, Чехия, Словакия с частью Венгрии, Восточная Германия). Данный тип в целом насчитывает примерно столько же архаических названий, сколько тип 1). Его составляют новг. геогр. *Бездежа*, *Безуино*, *Бѣлавежа*, *Болково*, *Бологое*, *Болчино*, *Боруй*, *Боручье*, *Брахово*, *Буславля*, *Вайбудицкая Гора*, *Веснеболог*, *Видогощь*, *Видони*, *Витка*, *Витово*, *Витогощ*, *Витославлицы*, *Волок Хотславль*, *Волочек Держков*, *Волынь*, *Вышегород*, *Гостибицы*, *Гостовичи*, *Грузино*, *Домагоща*, *Елигово*, *Жераславль*, *Жестово*, *Жирома*, *Збышево*, *Клещино*, *Кневицы*, *Конотоп*, *Корь*, *Крево*, *Кречево*, *Локно*, *Лучани*, *Любеж*, *Люберецкое*, *Люблино*, *Любовижа*, *Люботеж*, *Людогоща*, *Лядимера*, *Ляховичи*, *Медлево*, *Милебуж*, *Миробудицы*, *Молотково*, *Мстонь*, *Намещи*, *Нащи*, *Негоща*, *Недашицы*, *Недомысли*, *Нежатица*, *Немиля*, *Немоево*, *Несуж*, *Нехутово*, *Нѣжково*, *Новгород*, *Обижа*, *Осно*, *Осовец*, *Перегино*, *Пескова*, *Плюсса*, *Пшова Гора*, *Раглицы*, *Рамышево*, *Раслово*, *Ратмер*, *Редогоща*, *Розважа*, *Сеглицы*, *Смолеговицы*, *Сомино*, *Страхон*, *Теребовижа*, *Тѣшковичи*, *Тухомичи*, *Угощи*, *Уномерь*, *Устеж*, *Уторгош*, *Ходуново*, *Холынья*, *Хотережа*, *Хотигощи*, *Хотимля*, *Хотобужи*, *Хочени*, *Хуба*, *Чабуд*, *Честово*, *Ярышево* и др. Кроме того, весьма богатым выглядит антропонимикон новгородских берестяных грамот и летописей, общий для Новгородской земли и Славянского Запада. Но, по-видимому, последнее обстоятельство в определенной мере отражает более глубокую изученность средневековой, известной прежде всего с XII–XIII вв., антропонимии западных славян. В целом же для этногенетических заключений более важны не антропонимические, а топонимические схождения, поскольку топонимия, хотя зачастую и производна от антропонимии, более авторитетна в ареальном отношении, а многие ее типы значительно древнее первых письменных фиксаций. Если сравнивать только географические названия, привлекая в том числе топонимию, не предполагающую возведения к личным именам, то выясняется, что «западнославянские ассоциации» региона РСЗ несколько блекнут и многое «всплывает» на Славянском Юге.

Следующий тип топоизоглосс (тип 3) как раз и представлен теми архаическими названиями РСЗ, которые, помимо восточнославянского пояса расселения, имеют нередкие проприально-апеллятивные повторения на юге Славии, минуя обычно Славянский Запад. Хотя число таких архаизмов заметно меньше, чем в типе 2), они весьма интересны тем, что маркируют связи с регионами, наиболее удаленными от Новгородской и Псковской земель. Данную группу составляют архаизмы *Барца*, *Бегуницы*, *Бологинец*, *Борзоево*,

Бѣжане, *Велиж*, *Велилы*, *Видимирское*, *Вонѣжица*, *Выползово*, *Городолюбское*, *Дно*, *Донец*, *Ждовли*, *Ждино*, *Извар*, *Кадница*, *Камно*, *Лукуй*, *Люботин*, *Меглино*, *Мирогоща*, *Неважи*, *Невижи*, *Некшино*, *Обрадово*, *Онегость*, *Осои*, *Пачки*, *Плеско*, *Понѣгино*, *Присай*, *Пскова*, *Радуля*, *Рачка*, *Сгоще*, *Соино*, *Теребонижье*, *Тихотица*, *Тушемля*, *Чернячи* и др. Обращает на себя внимание тот любопытный факт, что подавляющее большинство названий из приведенного списка обнаруживают преимущественные или исключительные связи с ареалом западной подгруппы южнославянских языков (словен., сербохорв.), тогда как связи с болгаро-македонской подгруппой, если и имеются, то не исключают словенско-сербохорватских параллелей. Более того, среди топоизоглосс, объединяющих регион РСЗ как с Западной, так и с Южной Славией (тип 1), южнославянские схождения в подавляющем большинстве тоже представлены именно словенско-сербохорватскими параллелями.

Нужно сказать, что и раньше исследователи отмечали неожиданные сепаратные черты сходства между реликтовыми гидронимами Словении и топонимией Псковщины, реже Новгородчины и Русского Севера в целом. Ф. Безлай сравнивал названия словен. рр. *Mevlja*, *Nevljica* и пск. оз. и гор. *Невель*, словен. р. *Idrije*, *Idrijca* и пск. р. *Идрица* [Bezlaj 1958a: 363; Bezlaj SVI I: 222]. Вслед за ним И. М. Железняк привела такие гидронимические параллели, как словен. *Lisna* р. басс. Савы и рус. *Лисно* оз. на пограничье Псковской и Витебской обл., словен. *Dnike*, *Dnika* названия водоемов и южн.-пск. *Днико* оз., словен. *Svibnik* р. и *Свибло* оз. в Южной Псковщине, *Tetna* и *Ukva* / *Ukova*, рр. в Словении, наряду с лимнонимами *Тетча* и *Укля* для озёр на севере Витебщины вблизи границы с Псковской обл.; она же указала и на некоторые показательные перекрестные топоизоглоссы Словении и Восточной Белоруссии (блр. *Мозырь* — словен. *Mozirje*, блр. *Гомель* — словен. *Gomila*, *Gomilica* и др.) [Желєзняк 2006: 18–23]. Некоторые из приведенных автором названий проявляются на РСЗ не единожды, так, помимо псковских топонимов, имеются соответственные геогр. *Невль*, *Едрица*, *Свибла* в области пятинного деления Великого Новгорода. Обычно такие названия глубоко архаичны, отличаются непрозрачностью, некоторые не получили до сих пор надежного истолкования. Кроме того, многие топонимы РСЗ не отмечены значительной древностью и соотносятся с живой народной географической терминологией северно- и среднерусских говоров, которая, в свою очередь, имеет апеллятивно-топонимические соответствия опять же преимущественно на западе Южной Славии. Ср., например, такие термины, отраженные и в топонимии, как новг. *зано́га* ‘крутой поворот речки’, ‘развилка дорог’ и словен.

геогр. *Zanoga*, новг., сев.-рус. *дор* ‘очищенный из-под леса участок’ и словен. геогр. *Dor*, новг., сев.-рус. *ве́ре́тье* ‘возвышенность’, новг. ‘глубокое место в реке’ и словен. геогр. *Retje*, апел. *vrétje* ‘источник; место, где ключи’, новг., пск., сев.-рус. *по́жня* ‘заливной луг’ и словен. геогр. *Požnica*, новг., сев.-рус. *печище* ‘место, где было жилье’ и словен. геогр. *Reče*, *Reča*, новг. *ка́дка* ‘запруда, где накапливается вода’ и словен. *kadíca* ‘вырытая водой котлообразная яма’, др.-пск. *губа* как обозначение административно-территориальной единицы и словен. геогр. *Guba* и др.[4]

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что сам по себе факт довольно многочисленных новгородско-псковско-южнославянских топоизоглосс, не известных или малоизвестных у западных славян, препятствует признанию западнославянского, прежде всего балтийскославянского, севернолехитского, генезиса древненовгородского диалекта, в том числе, очевидно, и так наз. севернокривичских, псковских говоров, определяющих его своеобразие. Межславянские связи новгородско-псковской топонимической архаики и диалектной географической терминологии предполагают южный путь проникновения ранних славян к оз. Ильмень и Чудско-Псковскому. Славяне продвигались сюда преимущественно по восточной полосе Белоруссии из областей Волыни и Галиции. Хотя соответствия топонимической архаики РСЗ встречаются по всей Славии, в исторической ретроспективе они отсылают в конечном счете к широкому центру позднепраславянских миграций, который сложился к середине I тыс. н. э. и археологически представлен пражско-корчакской культурой, охватывавшей земли от Эльбы на западе до правобережья Днепра на востоке и от Припяти и среднего течения Вислы на севере до Карпат и Дуная на юге. Из группы южнославянских языков ближе всего к центру позднепраславянских миграций географически размещается северо-западная подгруппа, особенно словенский язык. Кроме того, словенские диалекты и примыкающие к ним чакавские и кайкавские диалекты сербохорватского разделяют множество древних сходств с диалектами чешско-словацкой подгруппы[5], но к этой же

[4] Словенский сопоставительный материал в основном почерпнут из работ Ф. Безлая [Bezlaj 1958b: 83–95; 1967: 132–144; 1969: 13–14]. Подробному документированию и анализу отдельных топонимических и диалектно-лексических данных РСЗ в сопоставлении со словенскими данными посвящена также работа: [Васильев 2008].

[5] Предполагается даже, что применительно к эпохе, непосредственно предшествовавшей расселению славян, сложилась территориально-языковая общность, объединявшая будущие западноюжнославянские и чешско-словацкие диалекты и противопоставленная всем другим

подгруппе, занимающей центральное положение в Славии, в свою очередь, ведут или приближаются многие архаические топоизоглоссы, находящие проявление в регионе РСЗ. Надо полагать, в общих древних диалектных схождениях в географическом центре позднепраславянских миграций как раз и кроется причина наибольшего количества РСЗ-словенских топонимических перекличек среди южнославянских языков.

Сравнительно поздняя русская топонимия РСЗ, характеризуемая чертами продуктивности структуры и не относимая к древнеславянскому наследию, демонстрирует схему межтерриториальных соответствий, отличную от той, которую показывают славянские топонимические архаизмы. Межтерриториальные параллели этого фонового слоя топонимии, обыкновенно более многочисленные, чем у топонимических архаизмов, тоже нередко обнаруживаются в полосе ранневосточнославянского расселения, но характерной особенностью их является локализация в том числе на землях позднего русского заселения (отдаленные восточные районы Русского Севера вплоть до Урала и Сибири, Среднее Поволжье, юг Европейской России).

Имеются основания, как археологические, так и лингвистические, считать, что проникновение славян с юга через пояс восточнославянского расселения в будущие Новгородскую и Псковскую земли осуществилось очень рано, возможно, разновременными потоками населения. Наличие большого числа выразительных праславянских архаизмов в регионе РСЗ, не только среди топонимов, но и на иных уровнях языка (неосуществление второй и иногда третьей палатализации, в том числе для праслав. **kv*, **gv*, сохранение в некоторых лексемах праслав. сочетаний **tl*, **dl*, первоначальная реализация фонемы «ять» в виде широкого звука *ä*, флексия *-е* в Им. ед. сущ. муж. р. **ŏ*-склонения, флексия *-о* в формах Им. ед. отдельных топонимов муж. р. типа *Волхово*, *Псково* и др., см. [Крысько 1998: 80–81]), свидетельствует о том, что первые славяне скорее всего не позднее 3-й четверти I тыс. н. э. прибыли в этот отдаленный окраинный регион и какое-то время оставались относительно обособленными от остальных славянских земель. Появление многих безусловно архаических, но собственно региональных топонимов, ограниченных преимущественно пределами центральных районов Новгородской земли и прослеживаемых порой на путях более поздней новгородской экспансии на север и восток (*Березай*, *Водос*, *Вховеж*, *Грузово*,

---

диалектам, на которые к этому моменту распался праславянский язык [Куркина 1992: 206–207].

Захонье, *Желытино*, *Жидобужи*, *Жинорежа*, *Кулотино*, *Льзи*, *Любытино*, *Милонѣж*, *Морконницы*, *Налючи*, *Пакомо*, *Перекомо*, *Ракомо*, *Рашуча*, *Самокража* и др.), активизация преимущественно в Приильменье многих топонимов, образованных славянами еще на подступах к РСЗ (их неполный список дан выше), формирование самого плотного в Славии новгородского ареала топонимов со вторыми компонентами *-гощ-* / *-гост-* позволяет ставить вопрос о раннем диалектном обособлении рассматриваемого региона.

Интересна, на мой взгляд, гипотеза Е. Н. Носова [Носов 1988: 37–38; 1992: 11–12] о двух волнах славянской колонизации РСЗ с юга, с первой из которых связано (хотя бы отчасти) возникновение культуры псковско-новгородских длинных курганов в VI–VII вв., а со второй, более поздней, — культуры новгородских сопок в VIII в. Хотя топонимическая архаика РСЗ, как новгородская, так и псковская, находит общие переклички со Средним Поднепровьем и, далее, с галицко-волынскими землями, центральноновгородский топонимический ландшафт Приильменья по некоторым существенным признакам отличен от псковского тополандшафта, особенно в бассейне р. Великой. Эти новгородско-псковские расхождения можно интерпретировать с помощью гипотезы о двух волнах славянской колонизации РСЗ. Так, упомянутый концентрированный ареал топонимии со вторым элементом *-гощ-* / *-гост-* в центральных районах Новгородской земли резко контрастирует с почти полным отсутствием таких названий в бассейне р. Великой. Данный ареал хорошо ложится на зону распространения новгородских сопок и, надо полагать, был преимущественно сформирован славянским населением, сооружавшим сопки. Более того, проведенный сравнительный обзор современной новгородской и псковской ойконимии [Васильев, Вихрова 2011: 47–53] показал, что в бассейне Ильменя сосредоточение славянских ойконимов с архаическими чертами вообще заметно более плотное, чем в бассейне Великой (Центральная и Южная Псковщина). Выяснилось, например, что безусловно древние названия селений и урочищ, главным образом деантропонимного образования, включающие типовые общеславянские топоосновы (не только *-гост-* / *-гощ-*, но и *рад-*, *хот-* / *хут-*, *слав-*, *люб-*, *добр-*, *жир-*, *мир-*, *вид-*, *вит-*, *буд-*, *мил-*, *дорог-*, *люд-*, *жад-*, *рах-* / *раш-*, *нѣг-* / *нѣж-* и др.), имеют явный количественный перевес в новгородском списке. При этом псковская ойконимия теснее связана с разнообразной антропонимией сравнительно позднего времени и в целом значительно чаще обращена к имени человека, чем новгородская; ее антропоцентризм реализован в более высоком содержании деантропонимных основ и в более полном проявлении тех структурно-деривационных топонимических

моделей, которые отсылают к обозначениям и именам людей (модели *-ичи*, *-ане* / *-яне*, *-ата* / *-ята*, *-енки* и особенно *-и* / *-ы*). Напротив, новгородская ойконимия Приильменья и Поволховья отражает богатство связей со старой и новой апеллятивной лексикой, особенно с обозначениями местного рельефа, вод, леса и с поселенческой терминологией.

Хотя многие частные расхождения в составе современного новгородского и псковского топонимических ландшафтов, как и диалектные различия современных новгородских и псковских народных говоров, оформились сравнительно поздно, в целом истоки этих различий могут относиться к начальным векам славянской колонизации. Возможно, тенденции обособленного развития новгородских и псковских говоров, наряду с политическим размежеванием Новгородской и Псковской земель в раннедревнерусскую эпоху, были исконно заданы условиями их формирования разными племенами, которые оставили свои погребения в виде длинных курганов и сопок. В центральных районах Новгородской земли, особенно в Верхнем Полужье, в бассейнах Ловати, Мсты, Чагоды, ареалы этих двух культур в основном пересекаются. Если связывать становление культур длинных курганов и сопок с двумя колонизационными волнами славян, можно предполагать, что в Ильмень-Волховском бассейне местные говоры в первые века славянского заселения формировались по смешанному типу, поскольку проистекали, по меньшей мере, из двух племенных диалектов — диалектов «курганных» и «сопочных» славян. В свою очередь тот факт, что на территории Псковщины, особенно в бассейне р. Великой, изобилуют длинные курганы, но малоизвестны сопки, позволяет считать, что в формировании псковских говоров в начальный период принимала участие преимущественно одна группировка раннеславянских заселителей первой волны. Более архаический характер новгородского топонимического ландшафта по сравнению со псковским, вероятно, обусловлен в какой-то мере различием исходной диалектологической ситуации двух регионов: топонимическая архаика, оставленная первой колонизационной волной славян, в Ильмень-Волховском бассейне была существенно дополнена славянами второй волны, оставившими сопки.

И на новгородской и на псковской территории ранние славяне-переселенцы перемежались и контактировали не только с древнефинским, но и с многочисленным древнебалтийским населением. Часть балтов, вероятно, переместилась в будущие новгородско-псковские владения с сер. I тыс. н. э. под напором славян, продвигавшихся с юга. Но многие группы балтов проживали на рассматриваемой территории еще задолго до прихода славян. Ранее мною был сделан

вывод о том, что в прибрежной зоне Ильменя, в бассейнах рр. Ловати, Полы, Шелони, Плюссы генетически балтийская гидронимия отчетливо преобладает по количеству над финской, а в Полужье, в верхнем и среднем течении Волхова, в верхнем, до Боровичей, течении Мсты гидронимические балтизмы и финнизмы количественно соотносимы [Васильев 2007: 283–284]. В юго-западной половине Новгородской земли выделены анклавы сосредоточения балтизмов, найдены отдельные балтийские ойконимы, не повторяющие гидронимию, обнаружены некоторые славянские метонимические кальки балтийских названий и раннеславянские апеллятивные заимствования из языка балтов. Ряд характерных черт новгородских и псковских говоров, проявляющихся в том числе в местной топонимии, вполне объясним субстратным и адстратным влиянием на них балтийских и финских языков. Балтоязычное влияние подозревается, например, в появлении др.-новг., др.-пск. сочетаний *кл* и *гл* (< **tl*, **dl*), *ш'к'* и *ж'г'* (< **skj*, **stj*), в переходе **tj*, **dj* в др.-пск. *к'*, *г'* с дальнейшим отвердением, ср. пск. *сустрека́ть* 'встречать', *рога́ть* 'рожать', в смешении *с'* и *ш'*, *з'* и *ж'*, тоже иногда отвердевавших, и в других «северно-кривичских» явлениях (см. [Топоров 2000: 395–397] о наличии аналогичных особенностей в балтийских диалектах), к финноязычному влиянию традиционно относят цоканье, спорадическое смешение ударных гласных *а* и *о*, неразличение глухих и звонких согласных, стабилизацию ударения на первом слоге во многих новгородских топонимах и др.

В регионе РСЗ славянские топонимические древности распределены неравномерно, выделяются районы их сгущения и разрежения. Повышенная концентрация древних названий наблюдается в тех местностях, которые оказались очень рано и плотно заселены славянами. В частности, «гнездовое» сосредоточение топонимических древностей, обнаруживаемое в таких субрегионах, как Верхняя Молога, Среднее Помостье, Верхнее Полужье, нижнее и среднее течение Шелони, коррелирует с археологическими показателями значительной раннеславянской освоенности данных территорий.

Рассмотренная славянская топонимия с признаками непродуктивности структуры иногда отмечается на пространстве к северо-востоку и востоку от области бывших пятин Великого Новгорода. Появление такой топонимии там приемлемо объясняется новгородской и, в меньшей мере, ростово-суздальской экспансией. Скорее всего, из центральных районов Приильменья распространились с новгородской колонизацией Заволочья топонимические архаизмы *Болчина*, *Данислово*, *Еглец*, *Камско*, *Лютчик*, *Милковская*, *Милобудово*, *Морткино*, *Негосто*, *Некшино*, *Обрадово*, *Песь*, *Порхово*, *Прибылово*,

Пробудово, *Робье* на территории Вологодской и реже Архангельской обл., костромск. *Беберино*, *Борутиха*, *Елегино*, *Жирославль*, *Нехоткино*, *Обжирово*, *Полюдово*, *Чеглово*, вятск. *Волма*, *Чернеги*, *Ветка* / *Витка*, пермск. *Песьянка* и др.

Литература

Ашиток 1987 — *Ашиток Н. И.* Псковсько-прикарпатські фітонімічні паралелі *жито*, *волошка*, *багно* // Мовознавство. 1987. № 1.

Васильев 1995 — *Васильев В. Л.* Восточнославянские лексические связи диалектов Новгородской области (по данным географической терминологии) // Новгород в культуре Древней Руси. Новгород, 1995.

Васильев 2001 — *Васильев В. Л.* Новгородская географическая терминология: (Ареально-семасиологические очерки). Великий Новгород, 2001.

Васильев 2006 — *Васильев В. Л.* Архаическая топонимия Новгородской земли. Древнеславянские деантропонимные образования. Великий Новгород, 2006.

Васильев 2007 — *Васильев В. Л.* Древнебалтийская гидронимия в регионе Новгородской земли // Новгород и Новгородская земля. История и археология. Вып. 21. Великий Новгород, 2007.

Васильев 2008 — *Васильев В. Л.* К вопросу о топонимических схождениях между Русским Северо-Западом и Словенией // Jezikoslovni zapiski. 14 (2). Ljubljana, 2008.

Васильев 2012 — *Васильев В. Л.* Славянские топонимические древности Новгородской земли. М., 2012.

Васильев, Вихрова 2011 — *Васильев В. Л.*, *Вихрова Н. Н.* Топонимический ландшафт Новгородской и Псковской областей (сравнительный обзор) // Новгородика-2010. Вечевой Новгород: материалы Междунар. науч.-практ. конф. 20–22 сентября 2010 г. Ч. 2. Великий Новгород, 2011.

Желєзняк 2006 — *Желєзняк І. М.* Географія словенсько-східнослов'янських топонімних паралелей // Студії з ономастики та етимології 2006. Київ, 2006.

Зализняк 1993 — *Зализняк А. А.* К изучению языка берестяных грамот // *Янин В. Л.*, *Зализняк А. А.* Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1984–1989 гг.). М., 1993.

Зализняк 2003 — *Зализняк А. А.* Значение берестяных грамот для истории русского языка // Берестяные грамоты: 50 лет открытия и изучения. М., 2003.

Зализняк 2004 — *Зализняк А. А.* Древненовгородский диалект. Изд. 2-е, перераб. с учетом материала находок 1995–2003 гг. М., 2004.

Зеленин 1954 — *Зеленин Д. К.* О происхождении северновеликорусов Великого Новгорода // Доклады и сообщения Института языкознания АН СССР. № 6. 1954.

Конецкий 1998 — *Конецкий В. Я.* Славянская колонизация Русского Северо-Запада в отечественной исторической и археологической литературе // Новгород и Новгородская земля. История и археология. Новгород, 1998.

Крысько 1998 — *Крысько В. Б.* Древний новгородско-псковский диалект на общеславянском фоне // Вопросы языкознания. 1998. № 3.

Куркина 1992 — *Куркина Л. В.* Диалектная структура праславянского языка по данным южнославянской лексики. Ljubljana, 1992.

Мурз. СНГТ — *Мурзаев Э. М.* Словарь народных географических терминов. Изд. 2-е, перераб. и доп. Т. 1–2. М., 1999.

НОС 2010 — Новгородский областной словарь / Ин-т лингв. исслед. РАН / Изд. подг. А. Н. Левичкин и С. А. Мызников. СПб., 2010.

Носов 1988 — *Носов Е. Н.* Некоторые общие вопросы славянского расселения в лесной зоне Восточной Европы в свете истории хозяйства // Славяно-русские древности. Вып. 1. Л., 1988.

Носов 1992 — *Носов Е. Н.* Новгородская земля IX–XI вв. Автореф. дисс. … д-ра ист. наук. СПб., 1992.

Онишк. СБГ — *Онишкевич М. Й.* Словник бойківських говірок. Ч. 1–2. Київ, 1984.

Седов 1994 — *Седов В. В.* Первый этап славянского расселения в бассейнах озер Ильменя и Псковского // Новгородские археологические чтения. Новгород, 1994.

Седов 1999 — *Седов В. В.* Древнерусская народность. М., 1999.

Толстой 1977 — *Толстой Н. И.* О соотношении центрального и маргинальных ареалов в современной Славии // Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Л., 1977.

Толстой 1969 — *Толстой Н. И.* Славянская географическая терминология: Семасиологические этюды. М., 1969.

Топоров 2000 — *Топоров В. Н.* О балтийском слое русской истории // Florilegium: К 60-летию Б. Н. Флори: Сб. ст. М., 2000.

Топоров, Трубачев 1962 — *Топоров В. Н.*, *Трубачев О. Н.* Лингвистический анализ гидронимии Верхнего Поднепровья. М., 1962.

Трубачев 1997 — *Трубачев О. Н.* В поисках единства. Взгляд филолога на проблему истоков Руси. Изд. 2-е, доп. М., 1997.

Трубачев 2002а — *Трубачев О. Н.* Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования. Изд. 2-е. М., 2002.

Трубачев 2002б — *Трубачев О. Н.* Из истории и лингвистической географии восточнославянского освоения // Материалы и исследования по русской диалектологии. I (VII). М., 2002.

Филин 1972 — *Филин Ф. П.* Происхождение русского, украинского и белорусского языков. Л., 1972.

Шахматов 1899 — *Шахматов А. А.* К вопросу об образовании русских наречий и русских народностей // Журнал Министерства народного просвещения. Ч. CCCXXII. 1899.

ЭСБМ — Этымалагічны слоўнік беларускай мовы / Рэд. В. У. Мартынаў. Мінск, 1978–. Т. 1–.

Янин 2004 — *Янин В. Л.* Средневековый Новгород. М., 2004.

Bezlaj 1958a — *Bezlaj F.* Význam onomastiky pro studium praslovanského slovníku // Slavia. XXXVII. 1958.

Bezlaj 1958b — *Bezlaj F.* Stratigrafija Slovanov v luči onomastike // Južnoslovenski filolog. XXIII / 1–4. 1958.

Bezlaj 1967 — *Bezlaj F.* Eseji o slovenskem jeziku. Ljubljana, 1967.

Bezlaj 1969 — *Bezlaj F.* Onomastika in leksikologija // Onomastica jugoslavica. Ljubljana, 1969.

Bezlaj SVI — *Bezlaj F.* Slovenska vodna imena. D. I–II. Ljubljana, 1956–1961.

В. А. Дыбо

Балто-славянская акцентная система и итоги индоевропейской акцентологической реконструкции

Исследования в области славянской, балтийской и балто-славянской сравнительно-исторической акцентологии привели к реконструкции балто-славянской акцентуационной системы, которая оказалась организованной как *парадигматическая акцентная система*. Типологическое сравнение этой системы с другими акцентуационными системами языков с разноместным ударением позволило выделить тип подобных акцентуационных систем, которым и было дано это название.

Под *системами парадигматического акцента* или *парадигматическими акцентными системами* понимаются в Московской акцентологической школе такие системы, которые характеризуются двумя или несколькими типами поведения акцента *в слове*, именуемыми акцентными типами или акцентными (акцентуационными) парадигмами (а. п.), по которым распределяются *все слова* соответствующего языка следующим образом:

1. В корпусе непроизводных основ выбор акцентного типа (*акцентной парадигмы*) для каждого слова не предсказывается какой-либо информацией, заключенной в форме или в значении этого слова, а является присущим данному слову (приписанным ему) традиционно.

2. В корпусе производных основ выбор акцентных типов определяется акцентными типами (*акцентными парадигмами*) производящих основ (обычно с соответствующей поправкой на словообразовательный тип).

Глагольная акцентная система в этих языках обычно построена подобным же образом: различные глагольные категории при этом рассматриваются как производные по отношению к глагольной категории, положенной в начало описания.

В балто-славянском праязыке существовали две акцентные парадигмы имен и глаголов: 1 а. п. — с неподвижным ударением на корне (в производных — на основе) и 2 а. п. — с двумя типами словоформ:

Владимир Антонович Дыбо,
Российский государственный гуманитарный университет (Москва)

1) формы с неподвижным ударением на окончании (ортотонические словоформы) и 2) формы-энклиномены (в абсолютной позиции — положение между двумя паузами — эти формы получали начальное ударение, в формах с проклитиками ударение ставилось на первой проклитике, то есть на начале фонетического слова).

Формы-энклиномены мы рассматриваем как состоящие из морфем с рецессивной акцентуационной валентностью, которую обозначаем знаком «–» под соответствующим слогом, а ударные окончания считаем обладающими доминантной валентностью, которую обозначаем знаком «+» под слогом этого окончания; естественно, что корни 1 а. п. рассматриваются как доминантные. Ниже те доминантные окончания, которые не наводят на предшествующий слог балто-славянскую метатонию (-́ > -̃), отмечаются знаком «∓», расположенным также под соответствующим слогом. Безударная акутовая долгота обозначена знаком «ˆ», безударная циркумфлексовая долгота — знаком «¯»; акутовое ударение обозначено сочетанием знаков «̣́», циркумфлексовое ударение — сочетанием знаков «̣̃» или знаком «̃» над второй частью дифтонга, знак «ˈ» обозначает иктус без указания его тоновой характеристики. Знаком «̀» обозначен демаркационный акцент при формах-энклиноменах.

ā-основы ж. рода

1-я а. п.: *sė́ilâ*, gen. *sė́ilās*, dat. *sė́ilāi*, acc. *sė́ilān*, instr. *sė́ilân*, *sė́ilaiân*, loc. *sė́ilâi*, voc. *sė́ilă*; pl.: nom. *sė́ilās*, gen. *sė́ilōn*, dat. *sė́ilâmus*, acc. *sė́ilâns*, instr. *sė́ilâmîs*, loc. *sė́ilâsu*; du.: nom.-acc. *sė́ilâi*, gen. *sė́ilau* dat. *sė́ilâmâ*, instr. *sė́ilâmâ*.

2-я а. п.: *gâlvā́*, gen. *gâlvā̃s*, dat. *gàlvāi, nė̀ gâlvāi*, acc. *gàlvān, nė̀ gâlvān*, instr. *galvā́n*, *gâlvaiā́n*, loc. *gâlvā́i*, *gâlvâi-é̃n*, voc. *gàlva*; pl.: nom. *gàlvās, nė̀ gâlvās*, gen. *gâlvõn*, dat. *galvā́mus*, acc. *gàlvâns, nė̀ gâlvâns*, instr. *gâlvâmī́s*, loc. *gâlvâsú*; du.: nom.-acc. *gàlvâi, nė̀ gâlvâi*, gen. *galvȧ́u*, dat. *gâlvā́mâ*, instr. *gâlvâmā́*.

o-основы м. рода

1-я а. п.: *ź́ōrdos*, gen. *ź́ōrdā*, dat. *ź́ōrdōi*, acc. *ź́ōrdon*, instr. *ź́ōrdô*, loc. *ź́ōrdoi*, voc. *ź́ōrdę*; pl.: nom. *ź́ōrdoi*, gen. *ź́ōrdōn*, dat. *ź́ōrdomus*, acc.

źȍrdȏns, instr. *źȍrdȍis*, loc. *źȍrdȏisu̯*; du.: nom.-acc. *źȍrdȏ*, gen. *źȍrdȏu*, dat. *źȍrdȏmâ*, instr. *źȍrdȏmâ*.

2-я а. п.: *rȅźȏs, në rêźȏs*, gen. *rȅźā, në rêźā*, dat. *rȅźōi, në rêźōi*, acc. *rȅźȏn, në rêźȏn*, instr. *rȅźȏ, në rêźȏ*, loc. *rêźȏĩ*, voc. *rȅźe*; pl.: nom. *rêźȍi* (?), gen. *rêźȍ̃n*, dat. *rêźȍmus*, acc. *rȅźȏns, në rêźȏns*, instr. *rêźȍ̃is*, loc. *rêźȏisu̯*; du.: nom.-acc. *rȅźȏ, në rêźȏ*, gen. *rêźȍu*, dat. *rêźȍmâ*, instr. *rêźȏmā́*.

u-основы м. рода

1-я а. п.: *nȁsus*, gen. *nȁsȏus*, dat. *nȁsȏvei*, acc. *nȁsun*, instr. *nȁsumî*, loc. *nȁsȍu̯*, voc. *nȁsȏu*; pl.: nom. *nȁsȏves*, gen. *nȁsȏvȍ̃n*, dat. *nȁsumus*, acc. *nȁsûns*, instr. *nȁsumîs*, loc. *nȁsusû*; du.: nom.-acc. *nȁsû*, gen.-loc. *nȁsȏvȏus*, dat. *nȁsumâ*, instr. *nȁsumâ*.

2-я а. п.: *lȅdu̯s*, gen. *lȅdȏũs*, dat. *lȅdȏvei, në lȅdȏvei*, acc. *lȅdun, në lȅdun*, instr. *lȅdumī́*, loc. *lȅdȍ̃u̯*, voc. *lȅdȏũ*; pl.: nom. *lȅdȏves, në lȅdȏves*, gen. *lȅdȏvȍ̃n*, dat. *lȅdu̯mus*, acc. *lȅdûns, në lȅdûns*, instr. *lȅdumī́s*, loc. *lȅdusu̯*; du.: nom.-acc. *lȅdû, në lȅdû*, gen.-loc. *lȅdȏvȏus*, dat. *lȅdu̯mâ*, instr. *lȅdumā́*

i-основы ж. рода

1-я а. п.: *ȁkstis*, gen. *ȁkstȅis*, dat. *ȁkstȅi*, acc. *ȁkstin*, instr. *ȁkstimî*, loc. *ȁkstêi*, voc. *ȁkstȅi*; pl.: nom. *ȁkstijes*, gen. *ȁkstijȍ̃n*, dat. *ȁkstimus*, acc. *ȁkstîns*, instr. *ȁkstimîs*, loc. *ȁkstisu̯*; du.: nom.-acc. *ȁkstî*, gen.-loc. *ȁkstijȏus*, dat. *ȁkstimâ*, instr. *ȁkstimā́*.

2-я а. п.: *dêti̯s*, gen. *dêtȅĩs*, dat. *dȅtei, në dêtei*, acc. *dȅtin, në dêtin*, instr. *dêtimī́*, loc. *dêtī́i*, voc. *dêtȅĩ*; pl.: nom. *dȅtijes, në dêtijes*, gen. *dêtijȍ̃n*, dat. *dêti̯mus*, acc. *dȅtîns, në dêtîns*, instr. *dêtimī́s*, loc. *dêtisu̯*; du.: nom.-acc. *dȅtî, në dêtî*, gen.-loc. *dêtijȏus*, dat. *dêti̯mâ*, instr. *dêtimā́*.

Атематические корневые основы

1-я а. п.: *du̯i̯rs,* gen. *du̯i̯re̯s*, dat. *du̯i̯ri̯,* acc. *du̯i̯ri̯n* ~ *du̯i̯rn,* instr. *du̯i̯rmî*, loc. *du̯i̯rî*; pl.: nom. *du̯i̯re̯s*, gen. *du̯i̯rō̯n*, dat. *du̯i̯rmu̯s*, acc. *du̯i̯rîns,* instr. *du̯i̯rmîs,* loc. *du̯i̯rsu̯*; du.: nom.-acc. *du̯i̯re̯* , gen.-loc. *du̯i̯ro̯us*, dat.-instr. *du̯i̯rmâ*.

2-я а. п.: *źu̯ē̃rs̯, ne źu̯ē̃rs̯* (?), gen. *źu̯ê̯re̯s,* dat. *źu̯ē̃ri̯, nė̃ źu̯ê̯ri̯,* acc. *źu̯ē̃ri̯n, nė̃ źu̯ê̯ri̯n*, instr. *źu̯ê̯rmī*, loc. *źu̯ê̯rī*; pl.: nom. *źu̯ē̃re̯s, nė̃ źu̯ê̯re̯s*, gen. *źu̯ê̯rõ̃n*, dat. *źu̯ê̯r(i̯)mu̯s*, acc. *źu̯ē̃rîns, nė̃ źu̯ê̯rîns,* instr. *źu̯ê̯r(i̯)mī̃s*, loc. *źu̯ê̯rsu̯*; du.: nom.-acc. *źu̯ē̃re̯, nė̃ źu̯ê̯re̯,* gen.-loc. *źu̯ê̯ro̯ũs*, dat.-instr. *źu̯ê̯rmā̃*.

Следует отметить, что литовские формы nom. sg *u*- и *i*-основ и атематических основ отличаются как от славянских, так и от других индоевропейских, правда, в разных отношениях. В славянском это формы-энклиномены, а в литовском — формы с доминантным окончанием, но в отличие от греческого и германского они дают циркумфлекс на конечном долгом слоге. Этим же отличается от литовского и славянский nom. sg. m. действительных причастий от глаголов подвижного акцентного типа. С. Л. Николаев, по-видимому, объяснил это славянской метатонией перед павшим -*s*, при обосновании возникновения а. п. *d*. Вероятно, так же можно объяснить славянское отличие gen. sg. *i*- и *u*-основ, если русск. *и́з дому* показательно для последних.

Глагольные презентные основы

1-я а. п.: sg.: 1. p. *sju̯ū́jo̯*(*n*), 2. p. *sju̯ū́jê i*(*se̯ê i*), 3. p. *sju̯ū́je̯*(*ti̯*); pl.: 1. p. *sju̯ū́je̯mą*, 2. p. *sju̯ū́je̯te̯ê,* 3. p. *sju̯ū́jo̯nti̯*; du.: 1. p. *sju̯ū́je̯vâ*, 2. p. *sju̯ū́je̯tâ*, 3. p. *sju̯ū́je̯te̯ê*.

2-я а. п.: sg.: 1. p. *lī̃jo̯*(*n*), *nė̃ lîjo̯*(*n*), 2. p. *lī̃jê i, nė̃ lîjê i* ~ *lîjê is̯ē̃i,* 3. p. *lī̃je̯, nė̃ lîje̯* ~ *lîje̯ti̯*; pl.: 1. p. *lîje̯mą,* 2. p. *lîje̯te̯ē̃,* 3. p. *lîjo̯nti̯*; du.: 1. p. *lîje̯vā̃*, 2. p. *lîje̯tā̃*, 3. p. *lîje̯te̯ē̃*.

Как было замечено уже Ф. де Соссюром, в системе литовского словообразования действуют два принципа выбора (порождения) акцентных типов[1].

Один, который мы называем категориальным, заключается в том, что акцентный тип производного полностью определен словообразовательным, или морфологическим, типом производного (словообразовательным суффиксом или словообразовательной моделью). У большого количества словообразовательных типов этот принцип явно вторичен, а так как тенденция его расширения отчетливо проступает во всей истории литовского языка, то трудно назвать словообразовательный тип, в котором первичность этого способа выбора акцента нельзя было бы поставить под сомнение.

Другой принцип выбора акцентных типов заключается в том, что акцентный тип производного выбирается в связи с акцентной парадигмой производящего. При этом могут быть как просодические, так и непросодические факторы, которые определенным образом модифицируют данный выбор. Этот принцип выбора акцентных типов производных мы называем вторым принципом парадигматического акцента. (Непроизводным в языках с парадигматическим акцентом присущи два или несколько акцентных типов — акцентных парадигм (а. п.), выбор которых традиционен, т. е. каждая непроизводная основа имеет одну из этих а. п., которая не предсказывается какой-либо информацией, исходящей из синхронной системы языка. Эта особенность языков с таким типом организации ударения называется первым принципом парадигматического акцента.)

Имеются два источника, позволяющие реконструировать наиболее раннее состояние системы выбора (порождения) акцентных типов производных, которое можно назвать пралитовским или прабалтийским. Это материал древнелитовских акцентуированных текстов (в первую очередь текстов Н. Даукши[2]) и наиболее описанных

---

[1] *Де Соссюр Ф.* Труды по языкознанию. М., 1977. С. 624–625.

[2] Самый большой из этих текстов, текст Постиллы Даукши, предлагает ряд загадок и трудностей. Дело в том, что в отношении языка и в особенности в отношении акцентуационной системы языка он не является единым. Эту особенность акцентуации Н. Даукши замечали, но пытались объяснять смешанным характером его акцентной системы: он долго служил на территории жемайтских диалектов, и их акцентная система наложидась на акцентную систему его родного аукштайтского говора. Однако внимательное постраничное рассмотрение отображения акцентной системы в тексте Постиллы Даукши заставляет отказаться от этого объяснения: в нем

диалектов (особенно Тверечюс). Перестройка, которой подвергается система порождения акцентных типов производных в истории литовского языка, довольно значительна. В современных диалектах сохраняются лишь фрагменты первичного состояния, но так как в разных диалектах эти фрагменты различны, и в то же время объединены единым принципом — «вторым принципом парадигматического акцента», то, изучив эти фрагменты и объединив их, мы получим достаточно большой фрагмент первоначальной системы, который хорошо верифицируется и дополняется материалом древнелитовских акцентуированных текстов.

Согласно «второму принципу парадигматического акцента», выбор акцентных типов в этом реконструированном фрагменте акцентной системы определяется двумя параметрами: акцентной парадигмой (а. п.) производящего и морфонологическим классом суффикса. Двум а. п. непроизводных: **1**-й а. п. (лит. 1-я и 2-я а. п.) и **2**-й а. п. (лит. 3-я и 4-я а. п.)[3] — соответствовали три акцентных типа производных: тип А — неподвижное ударение на корне; тип В — неподвижное ударение на суффиксе; тип С — подвижное ударение (= **2**-й балтийской а. п.). Суффиксы делились на два морфонологических класса —

нет равномерного смешения разнородных форм в какой-то количественной пропорции, а напротив, разные части текста демонстрируют существенно качественно различные фрагменты акцентных систем. Впервые это, по-видимому, было замечено В. М. Иллич-Свитычем, но так как он использовал лишь материал SkDA, явно не полный, ему не удалось получить надежное разбиение текста. Ч. Кудзиновский, работая над Indeks-Słownik'ом, натолкнулся на ряд орфографических и лексических различий, что заставило его выдвинуть предположение о нескольких переводчиках текста, см. Kudz. I: II–III. Судя по этому его тексту, он заметил изменение текста начиная с шестой сотни страниц, что приблизительно соответствует моему разбиению. Приблизительно с последних десятков страниц пятой сотни резко меняется акцентовка ряда лексико-морфологических категорий. Создается впечатление, что в создании акцентуации этого текста принимали участие по крайней мере два человека. Если мы предположим, что акцентовку текста осуществляли наборщики, то часть текста начиная приблизительно со с. 470–480 до конца книги мы можем назвать «зоной второго наборщика». Всю предшествующую часть книги мы можем рассматривать как «зону первого наборщика», в которой возможны фрагменты, в наборе которых участвовал второй наборщик, будем называть их «выбросами из зоны второго наборщика». Что касается Катехизиса Даукши, то в нем этой дихотомии не наблюдается.

[3] Реконструированное состояние относится к периоду до действия закона де Соссюра.

I класс: *-išk-a-* (adj.), *-in-a-* (adj.), *-at-i-*, *-ast-i-*, *-ing-a-* (adj.), *-yst-a*, *-yb-a*, *pa-√-ė*, *pa-√-ỹ̨s*;

II класс: *-el-is*, *-išk-is* (adj.), *-in-is* (adj.), *-esn-is-* (adj., ср. ст.), *-um-a-*, *-at-a*, *-yst-ė*, *-inyk-a-*, *-yb-ė*, *-uot-a-* (adj.), — (*j*)*aus*(*j*)*-a-* (adj., прев. ст.).

Выбор акцентного типа производился следующим образом: от основ **1**-й а. п. независимо от класса суффикса выбирался акцентный тип А, от основ **2**-й а. п. при суффиксах I класса — тип С, при суффиксах II класса — тип В:

Таблица 1

		А.п. производящих	
		1-я	**2**-я
Класс суффикса	I	***A***	***C***
	II		***B***

I. Суффиксы I класса
А. *С краткими гласными*

1. Суффикс ***-ǫsti̯-s***

Таблица 2

Формы производных		А. п. производящих			
		Неподвижная (**1**-я)		Подвижная (**2**-я)	
		Акут (лит. 1)	Циркумфлекс, краткость (2)	Акут (3)	Циркумфлекс, краткость (4)
Балт. subst. ***-ast-i-***					
Sg.	nom.	*pílnastis*	*bi̯aũrastis*	*gîvastìs*	*nerimastìs*
	gen.	*pílnasties*	*bi̯aũrasties*	*gîvastiẽs*	*nerimastiẽs*
	acc.	*pílnastį̃*	*bi̯aũrastį̃*	*gī́vastį̃*	*nèrimastą̃*
Слав. subst. ***-ost-ь***					
Формы		a^a (= *A*)	a^b (= *E*)	c^c (= *C*)	
Nom. sg.		*rȁdostь*	*mǫdrȍstь*	*lěnostь*	*čę̑stostь*
Dat. sg.		*rȁdosti*	*mǫdrȍsti*	*lěnosti*	*čę̑stosti*
Instr. sg.		*rȁdostьjǫ*	*mǫdrȍstьjǫ*	*lěnostьjǫ̀*	*čęstostьjǫ̀*
Loc. sg.		*rȁdosti*	*mǫdrȍsti*	*lěnostȉ*	*čęstostȉ*
Gen. pl.		*rȁdostьjъ̄*	*mǫdrȍstьjъ̄*	*lěnostȕjъ̄*	*čęstostȕjъ̄*

Примечание. Материалы по славянской реконструкции см. [Дыбо 1981b: 107–122]; балтийская реконструкция и материалы в [Дыбо 2006b: 135–136].

2. Суффикс ***-i̯n-o̯-***

Таблица 3

Формы производных		А. п. производящих			
		Неподвижная (**1**-я)		Подвижная (**2**-я)	
		Акут (лит. 1)	Циркумфлекс, краткость (2)	Акут (3)	Циркумфлекс, краткость (4)
Балт. adj. ***-in-a-***					
Sg.	m.	*áuksinas*	*vàrinas*	*pláukinas*	*krùvinas*
	f.	*áuksinâ*	*vàrinâ*	*plâukinā́*	*kruvinā́*
Pl.	m.	*áuksiniê*	*vàriniê*	*plâukiníe*	*kruviníe*
	f.	*áuksinās*	*vàrinās*	*pláukinās*	*krùvinās*
Слав. adj. ***-ьn-o-***					
Формы		a^a (= *A*)	a^b (= *D*)	c^c (= *C*)	
Sg.	m.	*vȇrьnъ*	*grěšьnъ*	*mîrьnъ*	*dъ̂lžьnъ*
	f.	*vȇrьna*	*grȇšьna*	*mirьna̋*	*dъlžьna̋*
	n.	*vȇrьno*	*grȇšьno*	*mîrьno*	*dъ̂lžьno*

Примечание. Материалы по славянской реконструкции см. [Дыбо 1981b: 72–94]; балтийская реконструкция и материалы в [Дыбо 2006b: 131–134].

3. Суффикс ***-i̯s-k-o̯-***

Таблица 4

Формы производных		А. п. производящих			
		Неподвижная (**1**-я)		Подвижная (**2**-я)	
		Акут (лит. 1)	Циркумфлекс, краткость (2)	Акут (3)	Циркумфлекс, краткость (4)
Балт. adj. ***-išk-a-***					
Sg.	m.	*vī́riškas*	*dvàsiškas*	*sū̃niškas*	*diẽviškas*
	f.	*vī́riškâ*	*dvàsiškâ*	*sûniškā́*	*dieviškā́*

Pl.	m.	*vī̆riškiê*	*dvàsiškiê*	*sûniškíe*	*dieviškíe*
	f.	*vī̆riškās*	*dvàsiškās*	*sū̆niškās*	*diĕviškās*
Слав. adj. ***-ьsk-o***					
Формы		a^a (= *A*)	a^b (= *D*)	c^c (= *C*)	
Sg.	m.	*brā́tьskъ*	*žen̩ьskъ*	*źvê̑rьskъ*	*mô̯žьskъ*
	f.	*brā́tьska*	*žènьska*	*źvěrьskȁ*	*mo̯žьskȁ*
	n.	*brā́tьsko*	*žènьsko*	*źvê̑rьsko*	*mô̯žьsko*

Примечание. Материалы по славянской реконструкции см. [Дыбо 1981b: 62–72]; балтийская реконструкция и материалы в [Дыбо 2006b: 1 19–131].

B. ***С долгими акутированными гласными***

4. Балт. ***-i̯ńg-a̯-***

Таблица 5

Вид производящей основы		Формы производных	А. п. производящих			
			Неподвижная (**1**-я)		Подвижная (**2**-я)	
			Акут (лит. 1)	Циркумфлекс, краткость (2)	Акут (3)	Циркумфлекс, краткость (4)
До действия закона де Соссюра	одно-сложные	m.	*kū̆n̩i̯ńga̯s*	*gàl̩i̯ńga̯s*	*nȁud̩i̯ńga̯s*	*žàl̩i̯ńga̯s*
		f.	*kū̆n̩i̯ńga̯ô*	*gàl̩i̯ńga̯ô*	*nâud̩i̯ńga̯ô*	*žal̩i̯ńga̯ô*
	дву-сложные	m.	—	*àkme̯n̩i̯ńga̯s*	—	*ìšmi̯nt̩i̯ńga̯s*
		f.	—	*àkme̯n̩i̯ńga̯ô*	—	*ìšmi̯nt̩i̯ńga̯ô*

В славянских языках обращает на себя внимание суффикс *-ę̂n-* (видимо, *-ę̂̆n-*), который занимает близкие позиции в системе словообразования и просодически тождествен балтийскому *-îng-a-*. Сложность его сегментного состава достаточно убедительно соотносится со сложностью его просодической характеристики.

5. Слав. adj. -***ę̱n-o̱-***

Таблица 6

Формы производных			А. п. производящих			
			Неподвижная (**1**-я)		Подвижная (**2**-я)	
После действия закона Иллич-Свитыча	Акц. тип		Акут (лит. 1)	Циркумфлекс, краткость (2)	Акут (3)	Циркумфлекс, краткость (4)
			a^a (= *A*)	a^b (= *E*)	c^c (= *C*)	
	Sg.	m.	*mĕ̏dęnъ*	*stьklę̏nъ*	*pь̂rstęnъ*	*lȅdęnъ*
		f.	*mĕ̏dęna*	*stьklę̏na*	*pьrstęnȁ*	*ledęnȁ*
		n.	*mĕ̏dęno*	*stьklę̏no*	*pь̂rstęno*	*lȅdęno*

Примечание. Материалы по реконструкции славянской системы выбора акц. типов у прилагательных с суфф. -*ę̱n*- см. в [Дыбо 1981b: 127–140]; балтийская реконструкция и материалы акцентной системы прилагательных с суфф. -*ī̱ng*- в [Дыбо 2006b: 137–142].

II. **Суффиксы II класса**
А. ***С краткими гласными***

1. Суффикс ***o̯t-ā̱-***

Таблица 7

Формы производных			А. п. производящих			
			Неподвижная (**1**-я)		Подвижная (**2**-я)	
			Акут (лит. 1)	Циркумфлекс, краткость (2)	Акут (лит. 3)	Циркумфлекс, краткость (4)
Балт. subst. -***at-ā***						
До действия закона де Соссюра	Sg.	nom.	*svéikatâ*		*gîvàtâ*	
		gen.	*svéikatās*		*gîvàtās*	
		acc.	*svéikatą̄*		*gîvàtą̄*	
		instr.	*svéikatą̂*		*gîvàtą̂*	

Слав. subst. ***-ot-a***						
После действия закона Иллич-Свитыча	Акц. тип		a^a (= *A*)	a^b (= *E*)	c^c (= *C*)	
	Sg.	nom.	*níščeta*	*dobrȯta*	*lěpotȧ*	*prostotȧ*
		acc.	*níščetǫ*	*dobrȯtǫ*	*lěpotǫ̀*	*prostotǫ̀*
		instr.	*níščetojǫ*	*dobrȯtojǫ*	*lěpotȯjǫ*	*prostotȯjǫ*

Примечание. Материалы по славянской реконструкции см. [Дыбо 1981b: 122–125]; балтийская реконструкция и материалы в [Дыбо 2006b: 204–208].

2. Суффикс ***-tu̯u̯-o̯-/-tu̯u̯-â̯-***

Балт. ***-tuvas*** и ***-tuvė***

От глаголов балто-славянского неподвижного акцентного типа:

1. *dùmtuvė* ʻмехʼ (лит. *dùmti* ʻдутьʼ) ~ слав. **dъmǫ̀*, **dъmetь*; *l*-part. *dǫ̃lъ*, f. *dǫ̃la*, n. *dǫ̃lo* (a. п. *b*/*a*) ʻдутьʼ ‖ см. [Дыбо 2000a: 263, 503, 510].

2. *káltuvė* «ковальня» (Šakýna, Žagãrės raj.) (лит. *kálti* ʻковать’) ~ лтш. *kaĩt* ʻschmieden, schlagen’; слав. **koljǫ̀*, **kòljetь*; inf. **kȍlti*, sup. **kȍltъ*; aor. 1. sg. **kȍlxъ* (то же ударение в pl.), 2–3. sg. **kȍl*; *l*-part. **kȍllъ*, f. **kȍlla*, n. **kȍllo* ʻколоть’ ‖ см. [Дыбо 2000a: 265, 488, 491, 503].

3. *kártuvės* pl., gen. *kártuvių* (1) BŽ54$_1$ ʻвиселицаʼ (лит. *kárti* ʻвешатьʼ) ~ лтш. *kãrt* ʻhängen, behängen’.

4. *kùltuvas* BŽ606$_2$ ʻцепʼ (лит. *kùlti* ʻмолотитьʼ) ~ лтш. *kuĩt* ʻschlagen, prügeln, dreschen’.

5. *kùrtuvės* ʻновоселье’ (лит. *kùrti* ʻразжигать огонь’) ~ лтш. *kuĩt* ʻFeuer anmachen, heizen’.

6. *máltuvė* «молольня» (Šakýna, Žagãrės raj.) (лит. *málti* ʻмолоть’) ~ лтш. *maĩt* ʻmahlen, drehen, schwatzen’; слав. **meljǫ̀*, **mèljetь*; inf.

**mélti*, sup. **méltъ*; aor. 1. sg. **mélxъ* (то же ударение в pl.), 2–3. sg. **mél*; *l*-part. **méllъ*, f. **mélla*, n. **méllo* ʻмолоть’ ‖ см. [Дыбо 2000a: 265, 488, 491, 503].

7. *mìntuvai* ʻмяло, льномялка, трепало’ (лит. *mìnti* ʻмять’) ~ лтш. *mĩt* ʻtreten’; слав. **mьnǫ́*, **mьnetь*; *l*-part. **mę́lъ*, f. **mę́la*, n. **mę́lo* ‖ см. [Дыбо 2000a: 263, 503].

8. *pjáutuvas* ʻсерп’ (уже в древнелитовском зафиксирован переход в подвижный акцентный тип: др.-лит. *piéutuwu* instr. sg. DP 605_{46}, *piautuwú* gen. pl. DP 38_{44}) (лит. *pjáuti* ʻжать, косить’) ~ лтш. *pļaũt* ʻрезать, жать’, ʻmähen, ernten’.

9. *ríetuvė* [SkŽD] ʻштабель, поленница’ (лит. *ríeti* ʻскладывать в штабели’) ~ лит. *ríeklas* (1) ʻzwei hängende Stangen bzw. Gerüst unter der Stubendecke (beim Ofen) zum Trocknen des Brennholzes oder der Kleider’, также *ríeklas* и pl. *ríeklai* ʻDachboden’ (отсутствие метатонии свидетельствует о первичности неподвижного акцентного типа производящего глагола).

10. *sėtuvė* ʻлукошко (с зерном), посевной ящик’ (лит. *sėti* ʻсеять’) ~ лтш. *sẽt* ʻsäen, besäen’; слав. **sę́jǫ*, **sę́jetь*; part. praes. act. **sę́jǫ*, **sę́jǫtj-*; aor. 1. sg. **sę́jasъ* (то же ударение в pl.), 2–3. sg. **sę́ja*; *l*-part. **sę́jalъ*, f. **sę́jala*, n. **sę́jalo* ‖ см. [Дыбо 2000a: 289–290, 486–487, 498; 512].

11. *skìltuvas* ʻогниво; ударник’ (лит. *skìlti* ʻвысекать’) ~ лтш. *šķiĩt* ʻFeuer anschlagen’.

12. *šiáutuvas* ʻвинтовка, ружье; ткацкий челнок’ (лит. *šáuti* ʻстрелять’) ~ лтш. *šaũt* ʻeine heftige Bewegung nach einer Richtung hin machen; schnell schieben oder stoßen’; слав. **sŭjǫ*, **sŭjetь*; inf. **sovǎti*, sup. **sovǎtъ*; *l*-part. **sovǎlъ*, f. **sovǎla*, n. **sovǎlo*; part. praet. act. f. **sovǎvъši* ‖ см. [Дыбо 2000a: 289, 489, 512, 517].

13. *trìntuvai* в выражении *mìntuvai-trìntuvai* ʻmóterų darbasʼ [Būga RR III: 67] (лит. *trìnti* ʻтереть') ~ лтш. *trĩt* ʻreiben, schleifen, schärfen'; ср. слав. **tьr(j)ǫ̀*, **tȍr(j)etь*; inf. **tȗrti*, sup. **tȗrtъ*; aor. 1. sg. **tȗrxъ* (то же ударение в pl.), 2–3. sg. **tȗr*; *l*-part. **tȗrlъ*, f. **tȗrla*, n. **tȗrlo*; part. praet. act. nom. sg. m. **tȍrъ*, f. **tȍrъši* ‖ см. [Дыбо 2000a: 263, 488, 491, 503, 514].

От глаголов балто-славянского подвижного акцентного типа:

1. *ar̲tùvas* ʻdarbininkas arklysʼ Krs. [SkŽD: 383] (лит. *árti* ʻпахать') ~ лтш. *arît* ʻpflügen'; слав. **ȍr(j)ǫ*, **or(j)ètь*; inf. **orȃti*, sup. **ȍratь*; aor. 1. sg. **orȃxъ* (то же ударение в pl.), 2–3. sg. **ȍra*; *l*-part. **ȍralъ*, f. **oralȧ*, n. **ȍralo* ‖ см. [Дыбо 2000a: 274–275, 488, 494, 507].

2. *bliautùvė* ʻkas vis bliauja, rėkia', ʻсквернослов, похабник' (лит. *bliáuti* ʻблеять, реветь') ~ лтш. *bļaût* ʻblöken, schreien'; слав. **bljûjǫ*, **bljujètь* ‖ см. [Дыбо 2000a: 293].

3. *dėtùvai* ʻукладчик; кладовая; хранилище' (лит. *dė̃ti* ʻкласть, ставить; помещать') ~ лтш. *dêt* ʻ(Eier) legen'; слав. **dě̑jǫ*, **dějètь*; *l*-part. **dě̑jalъ*, f. **dějalȧ*, n.**dě̑jalo* ‖ см. [Дыбо 2000a: 296–298, 512].

4. *nu-duotùvės* ʻобет, брак' (др.-лит. *nudůtúwiu* ʻślub' gen. pl. DP 281_{31}) (лит. *dúoti* ʻдавать') ~ лтш. *duôt* ʻgeben'; слав. **dâjǫ*, **dajètь*; *l*-part. **dâjalъ*, f. **dajalȧ*, n. **dâjalo* и **dâlъ*, f. **dalȧ*, n. **dâlo*; part. praet. act. nom. sg. m. **dâvъ*, nom. pl. **davъšė*, nom. sg.f. **davъšì* и **dajavъšì* ‖ см. [Дыбо 2000a: 299–300, 512, 513, 516, 517].

5. *pra-gertùvės* J[5]9, *už-gertùvės* Šl. ʻzapicie, wypicie (po załatwieniu jakiejś sprawy; za czyjeś zdrowie)' (лит. *gérti* ʻпить') ~ лтш. *dzeît* ʻtrinken, saufen, zechen'; слав. **žь̏rǫ*, **žьrètь* и **žȅrǫ*, **žerètь*; aor. 1. sg. **žeřxъ*, **prožeřxъ* (1. pl. **žerxȍmъ*, **prožerxȍmъ*, 2. pl. **žerstė*, **prožerstė*, 3. pl. **žeršę*, **prožeršę*), 2–3. sg. **žêrtъ*, **prȍžertъ* и 1. sg. **žьrȃxъ* (то же

ударение в pl.), 2–3. sg. *žь̏ra; *l*-part. *žь̂rlъ, f. *žьrlȧ, n. *žь̂rlo и *žь̏ralъ, f. *žьralȧ, n. *žь̏ralo ‖ см. [Дыбо 2000a: 266, 273, 490, 493, 501, 506].

6. *keltùvės* ʻобряд поднимания молодых с постели в первое утро после свадьбы' (лит. *kélti* ʻподнимать')[4] ~ лтш. *ceĺt* ʻheben'.

7. *klotùvas* (2) tech. ʻукладчик' (Lyb.), *pa-klotùvė* [SkŽD: 385] ʻпростыня', ʻpaklodė' ~ лтш. *klât* ʻhinbreiten, decken'.

8. *lietùvai* ʻформа, в которой отливают свечи, фигуры' (лит. *líeti* ʻлить') ~ лтш. *liêt* ʻgießen, vergießen'; слав. **lîjǫ*, **lijètь* и **lě̂jǫ*, **lějètь*; inf. **lĩti*, sup. **lîtъ* и inf. **lьjấti*, sup. **lь̏jatъ*; aor. 1. sg. **lĩxъ* (то же ударение в pl.), 2–3. sg. **lîtъ* и aor. 1. sg. **lьjấxъ* (то же ударение в pl.), 2–3. sg. **lь̏ja*; *l*-part. **lîlъ*, f. **lilȧ*, n. **lîlo* и **lь̏jalъ*, f. **lьjalȧ*, n. **lь̏jalo*; part. praet. act. nom.sg. f. **livъšì* ‖ см. [Дыбо 2000a: 282, 294, 489, 495, 498, 508, 512, 517].

9. *pintùvės* Šl. (2): *pintùvių vãkaras* — ʻwieczór przed ślubem, na którym dla młodej wiją wianek' (лит. *pìnti* ʻплести, вить; сплетать') ~ лтш. *pît* ʻflechten'; слав. **pь̏nǫ*, **pьnètь*; aor. 1. sg. **pę̏xъ* (1. pl. **pęxȯ́mъ*, 2. pl. **pęstė*, 3. pl. **pęšę̀*), 2–3. sg. **pę̂tъ*; *l*-part. **pę̂lъ*, f. **pęlȧ*, n. **pę̂lo*; part. praet. pass. **pę̂tъ*, f. **pętȧ* ‖ см. [Дыбо 2000a: 267, 491, 502, 525].

10. *tintùvas* (2) ʻприбор для отбивки кос'[5] (лит. *tìnti* ʻотбивать,

---

[4] Но также *kéltuvių rýts* Šakýna, Žagarės raj., *kéltuvės* и *keltùvės* Tvẽrai, Rietãvo raj.; *kéltuvas* (1) DLKŽ, LRKŽ, *kéltuvas* (3[a]) Šl., *kéltuvas* SkŽD, *kéltuva* (1) J, DLKŽ, LRKŽ, *keltuvà* [3ª] SkŽD, *keltuvẽ* (3ª) DLKŽ, KLD, [Otrębski 1934: 148]. Столь широкая фиксация накоренного неподвижного акц. типа и его рефлексов свидетельствует, по мнению С. Л. Николаева, о переходе этого корня в лит. языке в доминантный тип, об этом же свидетельствует и отсутствие метатонии в словах *kéltas* (1), *kélta* (1) ʻпарóм'.

[5] Зафиксировано также *tìntuvas* (1) и *tìntuvai* pl. ʻприбор для отбивки кос', что указывает на первично неподвижный акцентный тип литовского глагола; но в латышском соответствие отсутствует, в славянском глаголе реконструируется а. п. *c* на основании словенской и ст.-хорватской акцентовки презенса, поддержанной ст.-словацкими и ст.-хорватскими данными по акцентовке инфинитивной основы, см. [Дыбо 2000a: 267] и [Дыбо 1981b: 235]; однако словен.

направлять, точить (косу)’) ~ слав. inf. *tęti̍, praes. 1. sg. *tъ̏nǫ, 3. sg. *tьnètь (а. п. *c*; см. [Дыбо 2000a: 267] и [Дыбо 1981b: 235]).

11. *virtùvas* Šl. (2) ‘rondel; samowar’ (лит. *vìrti* ‘кипеть, вариться; кипятить, варить’) ~ лтш. *vîrt* intr. ‘kochen, sieden’, tr. ‘kochen’.

12. *vytùvai* ‘мотовило, моталка’ (лит. *výti* ‘вить, свивать’) ~ лтш. *vît* ‘winden, flechten’; слав. *vîjǫ, *vijètь; inf. *vĭ́ti, sup. *vîtъ; aor. 1. sg. *vĭ́xъ (то же ударение в pl.), 2–3. sg. *vîtъ; *l*-part. *vîlъ, f. *vilȧ, n. *vîlo; part. praet. act. nom. m. *vîvъ, f. *vivъšȉ ‖ см. [Дыбо 2000a: 283, 489, 495, 508, 515].

Слав. ***subst. -tъ̯v-ûˍ-***

От глаголов неподвижного акцентного типа:

1. слав. *bĭ́tъvâ, acc. sg. *bĭ́tъvǫ̑ [схрв. *bĭ́tva*; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) **Би́тва** Гр. 29, 49, 52; словен. *bîtva*; чешск. *bitva*] ~ слав. *bĭ́ti, praes. 1. sg. *bĭ́jǫ, 3. sg. *bĭ́jetь ‖ см. [Дыбо 2000a: 276].

2. слав. *brĭ́tъvâ, acc. sg. *brĭ́tъvǫ̑ [схрв. *brȉtva*; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) **Бри́тва** Гр. 21, 29; словен. *brîtva*, чешск. *břitva*] ~ слав. *brĭ́ti, praes. 1. sg. *brĭ́jǫ, 3. sg. *brĭ́jetь ‖ см. [Дыбо 2000a: 276–277].

3. слав. *žrĭ́tъvâ, acc. sg. *žrĭ́tъvǫ̑ [схрв. *žȑtva*, словен. *žrîtva*] ~ лтш. *dziřt* (*tiês*) [praes. *dziŗu*, praet. *dzĩru*] ‖ см. [Дыбо 2000a: 330].

4. слав. *žę̑tъvâ, acc. sg. *žę̑tъvǫ̑ [схрв. *žȅtva*; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) **Же́тва** Гр. 29, 49, 52; словен. *žę̑tva*, чешск. *žatva*] ~ слав. *žę̑ti, praes. 1. sg. *žьnǫ̑, 3. sg. *žь̀netь ‖ см. [Дыбо 2000a: 263].

5. слав. *sĕ̑tъvâ, acc. sg. *sĕ̑tъvǫ̑ [схрв. *sjȅtva*; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) **Си́тва** Гр. 29, 49, 52; словен. *sę̑tva*] ~ лтш. *sẽt* ‘säen,

zatèt ([SSKJ V: 791]: = *zatę̑ti* ‘hineinhauen; überraschen, ereilen’, может оказаться реликтом первичного неподвижного акцентного типа.

besäen'; слав. *sĕ́jǫ, *sĕ́jetь; part. praes. act. *sĕ́ję, *sĕ́jǫtj-; aor. 1. sg. *sĕ́jasъ (то же ударение в pl.), 2–3. sg. *sĕ́ja; *l*-part. *sĕ́jalъ, f. *sĕ́jala, n. *sĕ́jalo ‖ см. [Дыбо 2000а: 280–281, 289–290, 486–487, 498; 512].

6. слав. *lĕ́ztъvâ, acc. sg. *lĕ́ztъvǫ̑ [схрв. *ljȅstva*; словен. *lȩ̑stva*] ~ слав. *lĕ́zti, praes. 1. sg. *lĕ́zǫ, 3. sg. *lĕ́zetь ‖ см. [Дыбо 2000а: 349–350].

От глаголов подвижного акцентного типа:

1. слав. *klętъvā́, acc. sg. *klętъ̀vǫ̑ > *klę̃tъvǫ̑ [схрв. *klêtva*, схрв. диал. посавск. *klẽtva* (зафиксировано М. Каповичем 1.09.2007), ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) **Клêтва** Гр. 29, 49, 52; польск. *klątwa*] ~ слав. praes. 1. sg. *klȕnǫ, 3. sg. *klьnètь ‖ см. [Дыбо 2000а: 268].

2. слав. *pastъvā́, acc. sg. *pastъ̀vǫ̑ > *pãstъvǫ̑ [ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) **Паства̀** Гр. 29; польск. диал. *påstwa (по [Kucała: 253]: *ńe påcf'iu̯ byi̯ śe*)] ~ слав. *pā́sti, praes. 1. sg. *pâsǫ, 3. sg. *pasètь ‖ см. [Дыбо 2000а: 355].

3. слав. *plytъvā́, acc. sg. *plytъ̀vǫ̑ > *plỹtъ̀vǫ̑ [ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) **Плȣ̑тва** Гр. 29, **Плȣ̑тва** Гр. 52; ст.-чешск. *plýtva* и совр. чешск. *ploutev*] ~ слав. *plȍvǫ, *plovètь и *plỹnǫ, *plynètь (а. п. *c*) ‖ см. [Дыбо 2000а: 286, 318–319, 329].

4. слав. *prętъvā́, acc. sg. *prętъ̀vǫ̑ > *prę̃tъvǫ̑ [чешск. *přástva*] ~ слав. *prę̃sti, praes. 1. sg. *prę̃dǫ, 3. sg. *prędètь ‖ см. [Дыбо 2000а: 354].

5. слав. *žьratъvā́, acc. sg. *žьratъ̀vǫ̑ > *žьrãtъvǫ̑ [русск. *жратва́*] ~ слав. praes. 1. sg. *žȅrǫ, 3. sg. *žerètь ‖ см. [Дыбо 2000а: 273].

6. слав. *vьrstъvā́, acc. sg. *vьrstъ̀vǫ̑ > *vьr̃stъvǫ̑ [польск. диал. *våštfa* F., *våštef*, *våštfe* S. [Kucała: 1 12]] ~ слав. *vьrtĕ́ti, praes. 1. sg. *vȇrtiǫ, 3. sg. *vьrtĩtь.

В. *С долгими акутированными гласными*

3. Балто-славянский суффикс ***-ôt-o̱ -/-ôt-â̱ -***

Таблица 8

Формы производных			А. п. производящих			
			Неподвижная (**1**-я)		Подвижная (**2**-я)	
			Акут (лит. 1)	Циркумфлекс, краткость (2)	Акут (3)	Циркумфлекс, краткость (4)
Балт. adj. ***-uot-a-/-uot-ā-***						
До действия закона де Соссюра	Sg.	m.	*míltûotas*	*dum̃blûotas*	*tâukúotas*	*kraujúotas*
		f.	*míltûotâ*	*dum̃blûotâ*	*tâukúotâ*	*kraujúotâ*
	Pl.	m.	*míltûotiê*	*dum̃blûotiê*	*tâukúotiê*	*kraujúotiê*
		f.	*míltûotās*	*dum̃blûotās*	*tâukúotās*	*kraujúotās*
Слав. adj. ***-ât-o-/-ât-a-***						
После действия закона Иллич-Свитыча	Формы		a^a (= A)	a^b (= F_1)	a^c (= F_2)	
	Sg.	m.	*vъ̃lnatъ*	*ženátъ*	*golvátъ*	*mǫžátъ*
		f.	*vъ̃lnata*	*ženáta*	*golváta*	*mǫžáta*
		n.	*vъ̃lnato*	*ženáto*	*golváto*	*mǫžáto*

Примечание. Материалы по славянской реконструкции см. [Дыбо 1981b: 174]; балтийская реконструкция и материалы в [Дыбо 2006b: 227–228]. Основные параметры балтийской акцентной системы производных с этим суффиксом были установлены уже Ф. де Соссюром (см. [Соссюр: 625]).

Можно привести также пример с двусложным доминантным суффиксом.

4. Балто-славянский суффикс *-i̯nīk-o̯-*

Таблица 9

Балт. ***subst. -inīk-a-***

Формы производных			А. п. производящих			
			Неподвижная (**1**-я)		Подвижная (**2**-я)	
			Акут (лит. 1)	Циркумфлекс, краткость (2)	Акут (3)	Циркумфлекс, краткость (4)
До действия закона де Соссюра	Sg.	nom.	*áuksinīkas*	*viẽtinīkas*	*daŕbinĩkas*	*daržinĩkas*
		gen.	*áuksinīkā*	*viẽtinīkā*	*daŕbinĩkā*	*daržinĩkā*
		acc.	*áuksinīką̄*	*viẽtinīką̄*	*daŕbinĩką̄*	*daržinĩką̄*
		instr.	*áuksinīkûo*	*viẽtinīkûo*	*daŕbinĩkûo*	*daržinĩkûo*

Примечание. Балтийская реконструкция и материалы в [Дыбо 2006b: 214–218].

Таблица 10.
Ударение древнеиндийских и греческих корневых атематических имён

		др.-инд.	греч.
Sg.	nom.	*pā́d*	*πούς*
	gen.(-abl.)	*padás*	*ποδός*
	dat.	*padé*	*ποδί*
	acc.	*pā́dam*	*πόδα*
	instr.	*padā́*	[–]
	loc.	*padí*	[**ποδί*]
Pl.	nom.	*pā́das*	*πόδες*
	gen.	*padā́m*	*ποδῶν*
	dat.(-abl.)	*padbhyás*	*ποσί*
	acc.	[*padás*] *púras*	*πόδας*
	instr.	*padbhís*	[–]
	loc.	*patsú*	[**ποσί*]

Du.	nom.-acc. gen.-loc. dat.-abl.-instr.	*pā́dā, pā́dau* *padós* *padbhyā́m*	*πόδε* *ποδοῖν* *ποδοῖν*

Таблица 11

		Неподвижная а.п.			Подвижная а.п.		
		др.-инд.		**и.-е.**	**др.-инд.**		**и.-е.**
Sg.	**nom.**	*nā́r*	<	**Hnér-s*	*pā́d*	<	**pṓd-s*
	gen.(-abl.)	*náras*	<	**Hnér-os*	*padás*	<	**pod-ós*
	dat.	*náre*	<	**Hnér-ei*	*padé*	<	**pod-éi*
	acc.	*náram*	<	**Hnér-m̥*	*pā́dam*	<	**pṓd-m̥*
	instr.	**nárā*	<	**Hnér-ō*	*padā́*	<	**pod-ṓ*
	loc.	*nári*	<	**Hnér-i*	*padí*	<	**pod-í*
Pl.	**nom.**	*náras*	<	**Hnér-es*	*pā́das*	<	**pṓd-es*
	gen.	**nárām*	<	**Hnér-ōm*	*padā́m*	<	**pod-ṓm*
	dat.(-abl.)	*nṛ́bhyas*	<	**Hnṛ́-bhyas*	*padbhyás*	<	**pod-bhyás*
	acc.	*nárans*	<	**Hnér-m̥s*	**pádans*	<	**pṓd-m̥s*
	instr.	**nṛ́bhis*	<	**Hnṛ́-bhis*	*padbhís*	<	**pod-bhís*
	loc.	*nṛ́su*	<	**Hnṛ́-su*	*patsú*	<	**pod-sú*
Du.	**nom.-acc.**	*gā́vā*	<	**ǵ̑ṓu̯-ə₁*	*pā́dā*	<	**pṓd-ə₁*
	gen.-loc.	*gávos*	<	**ǵ̑ṓu̯-ous*	*padós*	<	**pod-óus*
	dat.-abl.-instr.	*gṓbhyām*	<	**ǵ̑ṓu̯-bhyām*	*padbhyā́m*	<	**pod-bhyā́m*

Числительные

Здесь наряду с уже введенными выше маркировками: –, +, ∓, – вводится маркировка ±. Сравнение с языками, у которых известен тоновый прототип просодической системы, отображением которого она является, позволяет предложить тонологическую интерпретацию этих маркировок: 1) – низкий тон, 2) + высокий тон, 3) ∓ восходящий тон, 4) ± нисходящий тон.

Числительные с рецессивными основами.

слав. **pę̑tь* (а. п. *c*) ~ др.-инд. *pā́ñca*; греч. *πέ̱ντε*

слав. **děvętь* (а. п. *c*) ~ др.-инд. *nā́va*; греч. (*ἐν-*)*νέ̱α*

слав. **děśętь* (а. п. *c*) ~ др.-инд. *dā́śa*; греч. *δέ̱κα*

Ср. также греч. *ἕνδεκα* 'одинадцать', *δώδεκα* 'двенадцать', *τρεισκαίδεκα* (m., f.), *τριακαίδεκα* (n.), гомер. *τρισκαίδεκα* (m., f., n.) 'тринадцать'.

Числительные с доминантными основами

слав. **sèdmь* (а. п. *b*) ~ др.-инд. *sa̱ptá*; греч. *ἑ̱πτά*

слав. **òśmь* (а. п. *b*) ~ др.-инд. *a̱ṣṭā́*; греч. *ὀ̱κτώ*

Склонение числительных в др.-инд.

Числительные с рецессивными основами

nom.-acc.	*pá̱ñca̱*	*ná̱va̱*	*dá̱śa̱*
instr.	*pa̱ñcábhis*	*na̱vábhis*	*da̱śábhis*
dat.-abl.	*pa̱ñcábhyas*		
gen.	*pa̱ñcānā́m*	*na̱vānā́m*	*da̱śānā́m*
loc.	*pa̱ñcásu*		*da̱śásu*

Числительные с доминантными основами

nom.-acc.	*sa̱ptá*	*a̱ṣṭā́*
instr.	*sa̱ptábhis*	*a̱ṣṭābhís*
dat.-abl.	*sa̱ptábhyas*	*a̱ṣṭābhyás*
gen.	*sa̱ptānā́m*	*a̱ṣṭānā́m*
loc.		*a̱ṣṭāsú*

Ср. сходное поведение акцентных валентностей в языках тубу (на тоновом уровне это, вероятно, связано с процессом понижения нисходящего тона перед непосредственно следующим за ним высоким или восходящим тоном). Так, отрицательный аорист от глагола *dak-* 'wollen' имеет, по-видимому, акцентовку: Sg. 1. *dag.ər.dí,* 2. *dag.əm.mí,* 3. *dag.ə.ní;* Pl. 1. *dakk.ər.dí,* 2. *dakk.əm.mí,* 3. *dakk.ə.ní* (то, что акут в данном случае указывает не только высокий тон, но и место ударения, следует из пояснения Й. Лукаса: «Die vorhergehenden Silben… werden alle tieftonig» [Lukas 1953: 108]), тогда как в позитивной форме его ударение: Sg. 1. *dag.ə́r,* 2. *dag.ə́m,* 3. *dág.u;* Pl. 1. *dakk.ə́r,* 2. *dakk.ə́m,* 3. *dákk.u*. Это может указывать на то, что при порядке «суффикс с

переменным (нисходящим) тоном + суффикс с постоянным высоким тоном» (оба суффикса имеют плюсовые маркировки) ударение падает не на первый, а на второй суффикс. Примеры из северного диалекта показывают аналогичное ударение и в глаголах III группы: *hanā.nər.ín* ˊich weiß nicht’ (*hànà-* ‘wissen’), при баритонированном глаголе *ráŋər.in* ˊich kann nicht’ (*rák-* ‘können’). Если это распределение в северном диалекте проходит и во II глагольной группе, примеры типа No: *ké.dak.e.n* ˊer will nicht’ (*dak-* ‘wollen’) смогли бы стать завершающим элементом в акцентной системе, описываемой при помощи трёх валентностей с градацией: − : ± : + (где ± будет рецессивным по отношению к + и доминантным по отношению к –), ср.: **dak.ər.ín, *dak.ər, ké.dak.e.n* [Lukas 1953: 109; см. Дыбо 1995: 236–279, специально с. 263, сн. 18; или Dybo 1994, № 2: 29–50; № 3: 27–44, специально № 3, p. 41, note 18].

Таблица 12

		Подвижная а. п. многосложных атематических имен			**Подвижная а. п. односложных атематич. имен**	
		др.-инд.	**греч.**	**и.-е.**	**др.-инд.**	**и.-е.**
Sg.	nom.	*pitā́*	*πατήρ*	**pətēr-s*	*pā́d* <	**pód-s*
	gen. (-abl.)	*pitúḥ*	*πατρός*	**pətrós*	*padás* <	**pod-ós*
	dat.	*pitré*	*θυγατέρι* *θυγατέρει *ποιμένει	**pətréi*	*padé* <	**pod-éi*
	acc.	*pitáram*	*πατέρα*	**pəterṇ*	*pā́dam* <	**pód-m̥*
	instr.	*pitrā́*		**pətrā́*	*padā́* <	**pod-ó*
	loc.	*pitári*	*πατέρι*	**pətéri*	*padí* <	**pod-í*
Pl.	nom.	*pitáraḥ*	*πατέρες*	**pəteres*	*pā́das* <	**pód-es*
	gen.	*pitrṇ̥ā́m*	*πατρῶν*	**pətrṓm*	*padā́m* <	**pod-ṓm*
	dat. (-abl.)	*pitr̥bhyas*		**pətr̥bhyas*	*padbhyás* <	**pod-bhyás*
	acc.	*pitr̥n*	*πατέρας*	**pəterns*	**pádas* <	**pód-ms*
	instr.	*pitr̥bhis*	*πατρόφι*	**pətr̥bhis*	*padbhís* <	**pod-bhís*

	loc.	*pi̯tŕ̥su̯*	*πα̯τρά̯σι̯*	**pə̯tŕ̥su̯*	*pa̯tsú̯* <	**po̯d-sú̯*
Du.	nom.-acc.	*pi̯tá̯rā̯*	*πα̯τέ̯ρε̯*	**pə̯te̯rə̯₁*	*pā́dā̯* <	**pó̯d-ə̯₁*
	gen.-loc.	*pi̯t(a)ró̯s*	*πατέροιν*	**pə̯tro̯us*	*pa̯dó̯s* <	**po̯d-ó̯us*
	dat.-abl.-instr.	*pi̯tŕ̥bhya̯m*	*πατέροιν*	**pə̯tŕ̥bhya̯m*	*pa̯dbhyā́m* <	**po̯d-bhyā́m*

То, что в слоге элемента, предшествующего окончанию, и в греческом и в древнеиндийском мы встречаемся с отражением процесса (–) ⇒ (∓) в позиции перед доминантным (+)-формантом, достаточно убедительно было показано С. Л. Николаевым, установившим баритонезу nomina activa с рецессивными корнями в греческом и баритонезу имен на *-tra-* с рецессивными корнями в древнеиндийском.

Таким образом, ударение на элементе, предшествующем доминантному окончанию, было результатом, по-видимому, тоновой ассимиляции слогового отрезка этого элемента, подобной той, которая установлена в балто-славянском (балто-славянская метатония). Очевидно, что неначальное ударение рецессивных словоформ и в греч., и в др.-инд. вторично и должно объясняться последующими фонетическими или морфонологическими процессами.

В 1892 г. в своей диссертации «Об акуте и циркумфлексе в индоевропейских языках»[6] Г. Хирт выдвинул контракционную теорию возникновения интонационных различий конечных долгих слогов. Эта теория фактически объясняет и акцентуационную валентность балто-славянских падежных окончаний тематических и *ā*-основ.

Балтийские падежные окончания *o*- и *ā*-основ и их акцентуационные валентности и интонации

o-основы

Nom. sg. лит. *-as* < балт. **-as* < и.-е. **-o-s*.

Gen. sg. лит. *-ō̃* < др.-лит. (Мажвидас) *-ā̃* < балт. **-ā̃* (слав. *-ā̃*) < **-ā̃t* < **o̯-a̯t* (< **-oH₂et*).

---

[6] *Hirt H.* Vom schleifenden und gestoßenen Ton in den indogermanischen Sprachen // IF. 1, 1892. S. 1–47, 195–231.

Dat. sg. -*õ̃i* < *-*o̯*- + -*e̯i*, где *-*o̯*- — тематический гласный, а *-*e̯i* — окончание dat. sg. атематического склонения.

Acc. sg. лит. -*ą̃* < балт. *-*ą̃* < и.-е. *-*o̯m* < *-*o̯*- + *-*m̥*/-*m̥*, где *-*o̯*- — тематический гласный, а *-*m̥*/-*m̥* — окончание acc. sg. атематического склонения.

Instr. sg. лит. -*ŭ* < *-*u̯ô* < *-*ô* < *-*o̯*- + *H*, первоначальное количество и дифтонгический характер этого окончания раскрывается в соответствующих формах членного прилагательного: *gerúoju* (в слав. из-за падежной омонимии заменено на -*оть,* по аналогии с *u*- и *i*-основами).

Loc. sg. лит. -*ie̯*̃ < балт. *-*ai̯*/*ei* < *-*oi̯*/*ei* < *-*o̯*/*e*- + -*i*̯; сохранился только в наречиях: лит. adv. *namiẽ* ʻдома’, диал. *artiẽ* ʻблизко, вблизи’, *oriẽ* ʻснаружи, на дворе’ (*õras* 3 ʻвоздух’), *toliẽ* ʻдалеко, вдали’, *vãkarie* ʻвечером’ (от первичного *vãkaras* 2 ʻвечер’) и *vakariẽ* ʻвечером’ (*vãkaras* 3 < 2 ʻвечер’), сев.-зап. жемайт. *šúokẹi šáltẹi* ʻпри таком холоде’. В древнелитовских текстах встречаются формы на -*ieje*: *Dieweie* (Bretke), *Dieweie* (MT), *Paneie* ʻin Domino’ (Mažv.), — что свидетельствует, по мысли Хр. Станга, о длительном сохранении в ритуальном языке форм loc. sg. на -*ie,* которые в дальнейшем были перестроены по аналогии с формами loc. sg. f. на -*oje*, -*ėje*.

Voc. sg. лит. *diẽve,* русск. *бóже,* греч. *ἄδελφε,* др.-инд. *déva*, где -*e̯* — тематический гласный с рецессивной маркировкой.

Nom.-acc. du. лит. -*ŭ* < -*uô* < *-*ô* (< *-*o̯*- + -*H*$_1$); по-видимому, следует отказаться от < *-*o̯* + -*e̯*, а исходить из новой трактовки греч. -*ε* в *ὄσσε* (-*ε* < -*ə*$_1$) и параллелизма этой флексии с флексиями nom.-acc. du. *i*- и *u*-основ: -*ī* и -*ū*).

Dat.-instr. du.: dat. du. лит. *-*ą̇m̥ʌ*, ср. лит. *dievám,* instr. du. *-*ąm̥ą̇*, ср. лит. *dievam̃;* ср. подобное же распределение во мн. числе: dat. pl. *-*ą̃m̥u̯s* — *galvóms,* instr. pl. *-*ą̄m̥ī̯s* — *galvomìs.*

Gen. pl. лит. -*ū̃* < балт. *-*ōn* < и.-е. *-*o/-e* + *-*ōm*, где *-*o/-e* — тематический гласный, а *-*ōm* — окончание gen. pl. атематического склонения.

Dat. pl. др.-лит. -*amus* < и.-е. *-*omus* < *-*o* + *-*mus*, где *-*o*- — тематический гласный, а *-*mus* — окончание dat. pl. атематического склонения.

Acc. pl. лит. -*us*, чл. форма прилагательных -*úosius* || < *-*uôns* < *-*ôns*, согласуется с др.-инд. *devā́n*.

Instr. pl. лит. -*aĩs* (др.-инд. -*aiḥ*, греч. -*οις*, оск. -*úís*, -*ois*, лат. -*īs*, слав. -*ỹ* [ст.-слав. -**ы**]) < *-*ōis*.

Nom.-acc. pl. n. лит. *-*â*, ср. лит. *keturiólika* 'четырнадцать' < **keturiō*- + *lieka*. Маркировка устанавливается по славянским соответствиям.

ā-основы

Nom. sg. *-*ā́* < *-*o*- + H_2, лит. *mergà* ~ *gerà*, чл. форма *gerójі*. Парадоксальным является эффект появления в форме nom. sg. доминантной акцентуационной валентности, т. е. как бы -*â* < *-*o*- + H_2.

Gen. sg. *-*ãs* < *-*eo*H_2- + *-*eos*, где *-*o/-e* — тематический гласный, -H_2- — формант основы женского рода, а *-*eos* — окончание gen. sg. атематического склонения.

[*ī*/*i̯ā*-основы дают в nom. sg. *-*ī*: лит. nom. sg. *patì* ~ gen. sg. *pačiõs*; др.-инд. nom. sg. *devī́* ~ gen. sg. *devyā́ḥ*; гот. nom. sg. *mawi* ~ gen. sg. *maujos*; ст.-слав. nom. sg. f. **нєсѫщи** ~ gen. sg. f. **нєсѫщѧ**.

Форма nom. sg. раскрывается подобным же образом, как и форма nom. sg. -*ā*-основ: *-*î* < *-*i*- + H_2.

Форма gen. sg. *-*i̯ãs* < *-*i̯eoH*$_2$- + *-*eos*.]

Dat. sg. *-*ãi* (циркумфлекс) < *-*eoH*$_2$- + -*ei*.

Acc. sg. *-*ãn* < *-*ãm* < *-*eoH*$_2$-*m*// *-*eoH*$_2$-*m*.

Хр. Станг предполагает: балто-слав. *-*ãn* < *-*eoH*$_2$*m*, в других и.-е. языках *-*ā́m* < *-*eoH*$_2$*m*.

Instr. sg. *-*ā́n* < *-*ā* + *N*?, ср. лит. instr. sg. *rankà* (вост.-лит. *rankù*), чл. ф. прилаг. *mažąja,* ср., однако, слав. **oi̯ô* (ст.-слав. **ржкоѭ**, в др.-инд. -*ayā,* в RV более старая флексия -*ā*, по акцентным парадигмам корневых атематических имен эта флексия доминантна). Это противоречие между славянским и древнеиндийским, с одной стороны, и балтийским, с другой, может быть снято, если предположить, что флексия instr. sg. *-*ā́n* наводила доминантность (метатонию) на непосредственно предшествующий элемент (корень): **gálu̯-* + *-*ân* ⇒ **gãlu̯ân* с дальнейшим выравниванием интонации корня. Носовой исход специфичен для балто-славянского.

Loc. sg. балт. *-*ã́i* + **ên*: лит. *žiemojè*; в слав. не распространенная форма: *-*ã́i*. В др.-инд. распространенная форма: *aśvāyām*.

Voc. sg. *-*ă* (< *-*ə* ?).

Nom.-acc. du. лит. -*i̯* < -*íe̯* < *-*aH*$_2$*ī* < *-*eH*$_2$*ī* (ср. nom.-acc. du. n. др.-инд. *karmaṇī,* ст.-слав. **очи**):

Dat.-instr. du.: dat. -*óm* < *-*ōm*ʌ; instr. -*õm* < *-*ōm*ʌ́.

Nom. pl. *-*ã́s* < *-*eH*$_2$*es*.

Gen. pl. лит. -*ũ* < *-*uõn* < *-*ōn* < и.-е. *-*e*-*H*$_2$ + *-*ōm*: гот. *gibo*.

Dat. pl. др.-лит. *-*ā́mus*: лит. *galvóms* (Даукша: *szakômus*), ст.-слав. **женамъ**, гот. *gibom*. Это окончание, очевидно, раскрывается следующим образом: *-*ā́mus* < *-*eo*-*H*$_2$- + *mŭs*.

Acc. pl. ? лит. *-*ā́s* < ? *-*ā́ns*: лит. (зап.) *žiemàs,* чл. ф. прилагательного *gerąsias*. Фонетически закономерным окончанием acc. pl. f. *ā*-основ в вост. лит. должно было бы быть *-*us*, но такого окончания там нет. Вост. лит. acc. pl. -*as* < *-*ā́s,* чл. форма прилаг. (Тверечюс) -*ā̃śas,* ср. сев.-зап. жемайт. -*úoses* (но диал. Pagramantis показывает *bá·ltanśes*); в лтш. *-*āns* должен был дать *-*us*, тогда как там -*as*: *siẽvas,* чл. форма *mažãs,* т. е. восточнолитовские, северо-западножемайтские

и латышские формы восходят к *-*ā́s*, ср. др.-инд. *áśvāḥ,* гот. *gibos.* Но в лит. литературном и в зап. лит. диалектах во всяком случае в прилагательных, что обнаруживается в чл. формах, мы имеем явно *-*āns,* в прусском это окончание явно присутствует и в существительных (*ā*-основах): *rānkans, gennans* и т. д. По-видимому, в (зап.) литовском и прусском инновация: назальность введена по аналогии с *o*-основами м. рода, первоначально у прилагательных. Это относится и к славянским языкам, что вводит дополнительный фактор неопределенности в праславянскую реконструкцию.

Instr. pl. лит. -*ōm̥is* < *-*ā́m̥is*, лит. *žiemomìs,* ср. ст.-слав. **женами**. Долгота конечного -*ī*- устанавливается также и по внутрилитовским данным: в сев.-зап. жемайтском окончание -*mis,* при кратком *i* было бы *-*mẹs*.

Loc. pl. *-*ā̆su̯*, сохранился в др.-лит. у Мажвидаса: *maldasu* (Kat. 38), в диал. (Tw.) *šakā̊sù, žarnā̊sù* [Otrębski 1934: 228 и след.], ср. ст.-слав. **ржкахъ**, др.-инд. *áśvāsu*.

Таким образом, у о- и ā-основ с рецессивным корнем в балто-славянском согласно контурному правилу подвижная акцентная парадигма была первичной. Ее индоевропейский характер очевиден. Специального объяснения требует колонная акцентовка окситон в древнеиндийском и греческом.

* * *

Таким образом, балто-славянская акцентная система существенно отличается от того, что удавалось увидеть из сравнения древнеиндийского и греческого языков и сравнения первого с рефлексами глагольной акцентуации протогерманского. Главным конструктивным элементом балто-славянской просодической системы оказалась корневая морфема: от ее просодического характера зависело, какой акцентный тип выберет производное с данным корнем: одни корни не

допускали сдвига акцента со своего слога и сохраняли накоренное ударение во всех словоформах и производных (если только какие-либо специальные фонетические обстоятельства не вызывали этот сдвиг), другие — позволяли сдвиги акцента, если за ними следовали морфемы (суффиксы или окончания), характеризовавшиеся просодическими особенностями, характерными для корней первого типа.

Ведийская и древнегреческая акцентные системы относятся в значительной мере к *системам категориального акцента*. В языках категориального акцента акцентные типы выбираются в зависимости от лексической, грамматической или лексико-грамматической категории основ. Так, в ведийском презентные основы I и IV классов выбирают неподвижное накоренное ударение, VI и X классов — неподвижное насуффиксальное ударение, а презентные основы II, III, V, VII, VIII и IX выбирают подвижный акцентный тип с ударением на окончании и на элементе, непосредственно предшествующем окончанию, и эта акцентная сдвижка обусловлена ступенью аблаута в слоге элемента, предшествующего окончанию; в греческом подвижный акцентный тип выбирают атематические корневые имена. Это же обычно предполагается и для ведийского (хотя в ведийском наблюдаются реликты и неподвижного акцентного типа у корневых атематических имен). В тематических именах как в греческом, так и в ведийском подвижный акцентный тип отсутствует, они выбирают неподвижные акцентные типы с колонным ударением. То же относится к *i*- и *u*-основам. Это различие балто-славянской и греко-арийской акцентных систем могло бы быть воспринято как свидетельство их гетерогенности (и в этом отношении легко понять и оправдать Е. Курыловича [Kuryłowicz 1958], сделавшего определенные и довольно решительные шаги в этом направлении), однако уже в самом начале сравнительно-исторических исследований в области акцентологии был замечен ряд соотношений и соответствий, указывавших на генетическую связь этих систем. Эти соотношения очень четко описал Ф. де Соссюр (особенно в [Соссюр. Литовская акцентуация]), фактически включив балтийскую акцентологию в индоевропейскую сравнительно-историческую грамматику. А затем В. М. Иллич-Свитыч [Иллич-Свитыч 1963] доказал генетическое тождество акцентологических материалов, образующих эти соотношения. Дело в том, что две греко-арийские акцентные системы (греческая и ведийская) сохраняют следы старого парадигматического состояния в виде двух акцентных типов непроизводных имен, генетически тождественных (по распределению) двум типам акцентных парадигм балто-славянского. Поправка в это распределение была внесена С. Л. Николаевым [ОСА, Словарь: 53–74] и мной [Дыбо 2011b; Дыбо 2011c; Дыбо 2011d].

После работы Ф. де Соссюра и особенно после работы В. М. Иллич-Свитыча основные усилия акцентологов были направлены на попытки объяснить, как из колонной окситонной акцентной парадигмы, зафиксированной греческим и ведийским, могла возникнуть подвижная акцентная парадигма, характерная для балто-славянского. Однако подвижность акцента в парадигме слова — это проблема частная и поэтому вторичная, основным вопросом сравнительно-исторической акцентологии является, как возникла разноместность ударения. Эта проблема включает в себя и деление основ на баритонные и окситонные, и деление словоформ на ортотонические и энклиномены.

Наблюдения над парадигматическими акцентными системами показывают, что они в ходе исторического развития проявляют тенденцию преобразования в категориальные акцентные системы посредством генерализации определенных акцентных типов в определенных категориях основ. Случаев противоположного процесса пока не обнаружено.

Исследование протогерманской акцентной системы в глаголе показало ее парадигматический характер. Это совершенно надежно доказано для глаголов с корнями на нешумные (см. [Дыбо 2010]), а правило Клуге достаточно надежно подтверждает парадигматический выбор акцентных типов для глаголов с корнями на шумные (см. [Дыбо 2011a]). Таким образом, протогерманская акцентная система по своей организации оказалась значительно более близкой к балто-славянской, чем к греко-арийской. Единственное, что ее объединяет с греко-арийской, — это, по-видимому, колонный характер акцентных парадигм. Парадигматическая организация акцентной системы глагола в корпусе первичных глаголов с корнями на нешумные обнаружена и в кельто-италийских языках.

Исследование С. Л. Николаевым различий в распределении акцентных типов ведийских и греческих первичных имен [ОСА, Словарь: 53–74] привело к установлению позиций акцентологического процесса, значительно сместившего распределение акцентных типов в ведийской акцентной системе и фактически сломавшего систему парадигматического выбора в словообразовании и в глагольной системе. Мое исследование разноместного акцента в пушту показало гомогенность иранской системы с балтославянской. Первичное состояние индоарийской акцентной системы может быть реконструировано на материале дардских и нуристанских языков, сохранивших индоиранский разноместный акцент или его рефлексы, см. [Дыбо 2011b; Дыбо 2011c; Дыбо 2011d].

Типологическое сравнение систем парадигматического акцента с тоновыми системами обнаруживает явную близость первых к *системам лексического тона*. Правильнее было бы говорить о *систе-*

мах морфемного тона, но обычно при описании языков подобных тоновых систем (т. е. при наличии разных тоновых классов корневых морфем) говорят о лексическом тоне, с добавлением указания на наличие также грамматического тона, если наблюдается также различие в тонировании аффиксальных морфем; см. например, [Tucker and Bryan 1966: 30–31, 63–64, 86, 143, 170, 207, 263, 337, 408, 449].

Кроме того, оказалось, что во всех случаях, когда относительно генезиса систем парадигматического акцента удается построить достаточно убедительные сравнительно-исторические гипотезы, они возводятся к системам лексического тона. Это заставило меня выдвинуть *тоновую гипотезу* генезиса балто-славянской акцентуационной системы. В сущности для балто-славянского эта гипотеза может уже считаться доказанной: подвижность акцента в акцентной парадигме, выбор акцентных типов производных, система метатонии. Протогерманская акцентная система в проясняемых частях хорошо согласуется с балто-славянской и получает доказанные данные для объяснения ряда особенностей германского консонантизма.

Но индоевропейское ударение, восстанавливаемое посредством сравнения систем древнеиндийского и греческого языков и прагерманских данных (отраженных рефлексацией согласных по закону Вернера), никогда не рассматривалось в этой типологической плоскости. Более того, ряд постулатов, из которых исходили индоевропеисты, занимавшиеся проблемами индоевропейского акцента, явно противоречат результатам акцентологической реконструкции. Одним из таких постулатов, от которого необходимо отказаться в первую очередь, является убежденность в непосредственной связи индоевропейского аблаута с индоевропейским акцентом.

Литература

Гр. — **Граматѝчно изка̑зање об рꙋ́ском ѥзѝкꙋ, попа́ Ј҃ꙋрка Крижа́ница, презва̑ньем Се́рблꙗнина, ме́джꙋ Ко҃поꙗꙋ и Вꙋ́ноꙗꙋ рика́ми, во ꙋѥ́здех Бѝхща гра̑да, окол Дꙋбовца́, Озльа́ и Рѝбника Остро́гов / Пѝсано вь Сибѝри / Лѝта ꙗ҃зрод҃ /** Издано Бодянскимъ. М., 1859. [Арабские цифры передают славянскую пагинацию книги.]

Дыбо 1981b — *Дыбо В. А.* Славянская акцентология. Опыт реконструкции системы акцентных парадигм в праславянском. М., 1981.

Дыбо 1989 — *Дыбо В. А.* Афганское ударение и его значение для индоевропейской и балто-славянской акцентологии. II. Глагольная акцентуация. а) Формы презенса // Славянское и балканское языкознание. Просодия. М., 1989. С. 106–14.

Дыбо 1995 — *Дыбо В. А.* Акцентуационные процессы в языках группы тедаканури и проблема происхождения парадигматических акцентных систем // Московский лингвистический журнал. № 1. С. 236–279.

Дыбо 2000a — *Дыбо В. А.* Морфонологизованные парадигматические акцентные системы. Типология и генезис. Т. I. Москва, 2000.

Дыбо 2006a — *Дыбо В. А.* Сравнительно-историческая акцентология, новый взгляд: по поводу книги В. Лефельдта «Введение в морфологическую концепцию славянской акцентологии» // Вопросы языкознания. 2006. № 2.

Дыбо 2006b — *Дыбо В. А.* Порождение акцентных типов производных имен в балтийском // Балто-славянские исследования XVII. М., 2006.

Дыбо 2010 — *Дыбо В. А.* Акцентологическая система прагерманского глагола. (Первичные глагольные основы) // Индоевропейское языкознание и классическая филология — XIV. Материалы чтений, посвященных памяти профессора Иосифа Моисеевича Тронского. 21–23 июня 2010 г. Ч. I. СПб., 2010. С. 240–275.

Дыбо 2011a — *Дыбо В. А.* Балтославянская акцентология и германская гемминация согласных. (В защиту теории Ф. Клуге) // Синхронное и диахронное в сравнительно-историческом языкознании. Материалы VII Международной научной конференции по сравнительно-историческому языкознанию (Москва, 31 января — 2 февраля 2011 г.). М., 2011. С. 75–88.

Дыбо 2011b — *Дыбо В. А.* Древнеиндийский акцент в дардском языке шина как проблема индоевропейской акцентологии // Лексика, этимология, языковые контакты: Сборник посвящается юбилею Д. И. Эдельман / Отв. ред. Е. К. Молчанова. М., 2011. С. 92–167.

Дыбо 2011c — *Дыбо В. А.* Классическая индоевропейская реконструкция и балто-славянская акцентология // Современная славистика и научное наследие С. Б. Бернштейна: Тезисы докладов международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения выдающегося отечественного слависта д. ф. н., проф. С. Б. Бернштейна. 15–17 марта 2011 г.[,] г. Москва. М., 2011. С. 22–31.

Дыбо 2011d — *Дыбо В. А.* Относительно др.-инд. *уа*-глаголов (ответ Л. И. Куликову) // Вопросы языкового родства [Journal of Language Relationship]. № 6. 2011. С. 200–210.

Иллич-Свитыч 1963 — *Иллич-Свитыч В. М.* Именная акцентуация в балтийском и славянском. Судьба акцентных парадигм. М., 1963.

Катехизис Даукши — Mikalojaus Daukšos 1595 metų katekizmas. Vilnius, 1995 [буква К (вместо № строки) указывает на колонтитул].

Мажвидас (Kat.) — Seniausieji lietuvių kalbos paminklai iki 1570 metams… Kaunas, 1922.

ОСА, Словарь — *Дыбо В. А., Замятина Г. И., Николаев С. Л.* Основы славянской акцентологии: Словарь. Непроизводные основы мужского рода. М., 1993. Вып. 1.

Постилла Даукши — Daukšos Postilė. Fotografuotinis leidimas. Kaunas, 1926.
Соссюр — *Фердинанд де Соссюр.* Труды по языкознанию. М., 1977.
Būga RR — *Būga K.* Rinktiniai raštai. T. I–III. Vilnius, 1958–1961 (указатели: *Būga K.* Rinktiniai raštai, rodyklės. Vilnius, 1962).
BŽ — *Baronas J.* Rusų lietuvių žodynas. Antras naujai pataisytas kirčiuotas leidimas. Kaunas, 1932.
DLKŽ — Dabartinės lietuvių kalbos žodynas / Red. J. Balčiconis. Vilnius, 1954.
DP — материал из «Постилы Н. Даукши» цитируется по изданию: Daukšos Postilė. Fotografuotinis leidimas. Kaunas, 1926.
Dybo 1994 — *Dybo V. A.* Accentuation processes in the languages of Teda-Kanuri group and problem of origin of paradigmatic accent systems // St.-Petersburg Journal of African Studies. 1994. № 2. P. 29–50; № 3. P. 27–44.
IF — Indogermanische Forschungen (с 1892 г.; Strassburg, затем Berlin).
J[5] — Svotbìnė rĕda Velůnýčių Lietùvių surašyta par Antáną Juškévičę 1870 métůse. Kazanius, 1880.
Krs. — Krosnà, Marijámpòlės apsk. [Сокращение SKŽD].
KLD — Littauischdeutsches Wörterbuch von *Friedrich Kurschat*. Halle, 1883.
Kucała — *Kucała M.* Porównawczy słownik trzech wsi małopolskich. Wrocław, 1957.
Kuryłowicz 1958 — *Kuryłowicz J.* L'accentuation des langues indo-européennes. Wrocław; Kraków, 1958.
Kudz. — *Kudzinowski C.* Indeks – Słownik do «Daukšos Postilė». T. I (A–N), T. II (O – Ž). Poznań, 1977.
Larsson 1999 — *Larsson J.* On the Development of Proto-Indo-European Root Nouns in the Baltic Languages. København, 1999.
LKŽ — Littauisch-deutsches Wörterbuch von Friedrich Kurschat. Hale, 1883.
LRKŽ — *Lyberis A.* Lietuvių-rusų kalbų žodynas. Vilnius, 1962, 1971 и др.
Lukas 1953 — *Lukas J.* Die Sprache der Tubu in der zentralen Sahara. Berlin, 1953.
Lyb. — *Lyberis A.* Lietuvių-rusų kalbų žodynas. Vilnius, 1988.
Otrębski 1934 — *Otrębski J.* Wschodniolitewskie narzecze twereckie, I. Kraków, 1934.
SkŽD — *Skardžius Pr.* Lietuvių kalbos žodžių daryba. Vilnius, 1943.
SKDA — *Skardžius P.* Daukšas akcentologija. Kaunas, 1935.
SSKJ — Slovar slovenskega knjižnega jezika. I–V. Ljubljana, 1970–1991.
Šl. — *Šlapelis J.* Kirčiuotas lenkiškas lietuvių kalbos žodynas. 2oji laida. Vilnius, 1940.
Tucker and Bryan 1966 — *Tucker A. N and Bryan M. A.* Linguistic analyses… the non-Bantu languages of North-Eastern Africa with a Suppl. on the Ethiopic Languages by Wolf Leslau. London, 1966.
Tw. = Otrębski 1934.

Л. Л. Касаткин

Русское и белорусское аканье: происхождение и история

1. Как возникло аканье

Аканье — это неразличение в безударных слогах гласных фонем неверхнего подъёма при совпадении их в части позиций в звуке [а]. Аканье в узком смысле — такое неразличение /о/ и /а/ после твёрдых согласных, аканье в широком смысле — такое неразличение всех гласных фонем неверхнего подъёма после твёрдых и мягких согласных.

О причинах возникновения аканья лингвистами высказывались разные предположения. Большинством лингвистов принята теория А. А. Шахматова, который полагал, что аканье возникло в результате двух фонетических процессов.

Сначала в выделяемом им восточнорусском наречии — основе южнорусского наречия и белорусского языка — произошло сокращение длительности всех безударных гласных среднего и нижнего подъёма, в результате чего они совпали после твёрдых согласных в редуцированном гласном [ə] (А. А. Шахматов обозначал этот звук как α или ъ), а после мягких согласных в редуцированном [ə̯] (А. А. Шахматов писал — ε, употреблявшееся в начале XX в. для обозначения безударного «иррационального» [ę̯] закрытого; см.: [Брок 1916: 22]).

Затем на следующем этапе эти [ə], [ə̯] удлинялись перед гласными верхнего подъёма [и], [ы], [у] и верхне-среднего [i͡e] — /ѣ/ и [y͡o] — /ω/. Это удлинение привело к изменению [ə] > [а], а [ə̯] в одних диалектах изменялся в [а], в других в [е]. Перед ударными гласными среднего и нижнего подъёмов [е], [о], [а] удлинения не было, в этой позиции так и остался [ə], а [ə̯] перешёл в [е], чаще в [и]. Это аканье было диссимилятивным. Ещё позднее в части южнорусских говоров произошло обобщение предударного гласного

Леонид Леонидович Касаткин,
Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН (Москва)

[а] в 1-м предударном слоге перед всеми ударными гласными. Так возникло сильное аканье [Шахматов 1896–1897; 1915: 330–343; см. также: Дурново 1924: 188–190].

Эта теория была принята большинством диалектологов и историков русского языка, хотя высказывались и другие предположения.

Теория А. А. Шахматова вызывает множество вопросов. Причины предполагаемого им сокращения безударных гласных среднего и нижнего подъёма в безударных слогах (в результате чего они должны были совпасть в [ə] и [ə̯]) он объяснял так: «Конечно, и аканье, и редукция гласных в основании своём явления однородные <…>; зависели эти явления от усиления экспираторной силы ударения; ударяемый слог стал произноситься сильнее, громче, чем раньше, чем в общер<усском> праязыке; это привело к ослаблению силы слогов неударяемых, <…> а, о, е <…> потеряли свою первоначальную природу при сокращении, заменяясь гласными неполного образования: заднего ряда α и среднего ряда ε» [Шахматов 1941: 116]. Но чем было вызвано усиление этих ударных гласных, А. А. Шахматов не писал.

Высказывались предположения, что сокращение безударных гласных могло быть в результате перехода от музыкального ударения к динамическому [Трубецкой 1987: 161; Якобсон 1929/1971: 83 и сл.; Кузнецов 1965: 152–153]. Но в языках с динамическим ударением 1-й предударный слог не обязательно резко отличен от ударного по силе и длительности. В старомосковском произношении, в среднерусских говорах вокруг Москвы, в современных окающих говорах различия между ударным слогом и 1-м предударным по длительности может и не быть или оно может быть минимальным; см.: [Аванесов 1949: 78–61; Высотский 1973: 34–41].

Сокращение безударных гласных в части диалектов древнерусского языка не обязательно связывать с усилением ударных гласных, оно могло быть вызвано другой причиной — изменением артикуляционной базы: ослаблением (по сравнению с другими славянскими и другими индоевропейскими языками) степени напряжённости артикулирующих органов в момент речи, происшедшим более 1000 лет тому назад и вызвавшим в русском и белорусском языках ряд фонетических изменений, в том числе и идущих в настоящее время процессов, приводивших к ослаблению не только безударных, но и ударных гласных; см. [Касаткин 1989: 39–41; 1999: 131–133].

Неясны причины того, что, по мнению А. А. Шахматова, после сокращения безударных гласных среднего и нижнего подъёмов, приведшего к совпадению их в [ə] и [ə̯], произошло удлинение

этих звуков перед гласными верхнего и верхне-среднего подъёма[1]. Неясно также, почему при этом [ə] > [а], [ə̝] > [а] и [и]. Звук [ə] среднего ряда среднего подъёма, он в равной степени удалён от других гласных среднего ряда: [ы] — верхнего подъёма и [а] — нижнего. В современных говорах с диссимилятивным аканьем часто отмечается произношение [ы], реже [э] наряду с [ə]: говорят не только *к*[ə]*са́*, *тр*[ə]*ва́*, но и *к*[ы]*са́*, *тр*[ы]*ва́*, *в*[ы]*да́*, *д*[ы]*ма́*, *п*[ы]*шла́*, *х*[ы]*зя́йка*; реже *в*[э]*да́* и т. п.; см. [ДАРЯ I, карта 2; ДАБМ, карта 1]. Возникает вопрос, почему [ə] при удлинении перешёл в [а], а не в [ы] или [э], иначе говоря, почему возникло аканье, а не ыканье или эканье? Как мог [ə̝] изменяться не в более близкий к нему [е], а в [ʼа] и в [и]?

О. Брок выдвинул более простое объяснение происхождения диссимилятивного аканья, но он так же, как и А. А. Шахматов, считал, что условием для его возникновения было предварительное совпадение безударных гласных в редуцированных [ə] и [ə̝], а затем произошло их изменение в предударном слоге в [а]. О. Брок предположил, что перед возникновением аканья в южнорусских говорах существовала нейтрализация гласных неверхнего подъёма после твёрдых согласных в звуке типа [ə] (Брок обозначал его как [ъ], он писал также о «редуцированном α» — «переходном звуке между *а* и *ъ*»), после мягких согласных в звуке типа [ь], а позднее в позиции перед гласными верхнего подъёма они изменились в [а], что и привело к возникновению аканья [Брок 1916: 26, 58].

Но О. Брок связывал это изменение не с изменением ударных гласных, а с их исконным качеством, как писал об этом Н. Н. Дурново, излагая взгляды О. Брока, «тем, что в следующем ударяемом слоге в одних случаях были гласные краткие (тогда предударная гласная удлинялась), в других долгие (тогда она оставалась редуцированной)» [Дурново 1917–1918, вып. 2: 50]. Как известно, с точки зрения собственной длительности гласные верхнего подъёма краткие, гласный нижнего подъёма долгий. При диссимилятивном аканье выступает следующая зависимость: перед долгим гласным произносится краткий гласный, перед кратким гласным — долгий: *съха́* — *саху́*, *с'истра́* — *с'астру́* [Брок 1916: 57–59].

Теория О. Брока проще объясняет зависимость между предударными и ударными гласными, но и к ней можно отнести некоторые вопросы, возникающие при рассмотрении теории А. А. Шахматова.

---

[1] Здесь и далее говорится для простоты о положении гласного перед другим гласным, хотя точнее следовало бы говорить о положении гласного перед слогом с другим гласным.

Ответ на некоторые из этих вопросов даёт говор липован — старообрядцев Нижнего Подунавья.

В говоре старообрядцев села Татари́цы области Силистры Болгарии диссимилятивное аканье с обычным произношением в 1-м предударном слоге после твёрдых согласных на месте /о/, /ω/ и /а/ звука [ə] перед ударным [а] и звука [а] перед другими ударными гласными: *бəл'на́йə*, *вəйна́*, *дəва́л'и*, *məjá*, *пəч'а́л*, *сəба́к*, *хəва́ит'*; — *бал'и́т'*, *касы́*, *вайну́*, *мəлако́*, *пам'о́р*, *пајéд'иш*, *сват'éй* и т. п. Перед ударным [а] встречается также [а]: *бара́нк'и*, *дажда́лс'ə*, *пажа́л'илс'ə*, *пакла́ду*, *сама́*, *хлапча́ты*, а также несколько более закрытый гласный [а̯]: *дура̯ка́ ва̯л'а́ть'*, *ка̯па́к*, *па̯кла́дут'*, *са̯ба́к* [Касаткин 2008а: 118].

Такое произношение [а] перед ударным [а], встречающееся и в других говорах с диссимилятивным аканьем, диалектологи объясняли влиянием литературного языка и говоров с сильным аканьем. О. Брок писал: «Для меня нет сомнения, что переход ъ > а в слоге предударном совершается в наши дни главным образом под влиянием извне, всего больше со стороны московского произношения» [Брок 1916: 28; см. также: Дурново 1917–1918, вып. 1: 28]. В числе примеров «отхода от традиционных систем в современных говорах русского языка под влиянием литературного языка» В. Г. Орлова и Т. Ю. Строганова рассматривали и переход от диссимилятивного аканья к недиссимилятивному [Орлова, Строганова 1968: 191–192, 196–198, 203]. Однако говор Татарицы (сейчас это Болгария, ещё раньше это была территория Румынии, а ещё раньше Турции) не испытывает такого влияния: жители села слышали раньше и слышат сейчас русскую литературную речь слишком редко, чтобы она могла вызвать подобное произношение.

Кроме того, «благодаря своей близости к системе аканья литературного языка (недиссимилятивного типа) диссимилятивное аканье изживается с большим трудом. Его особенность — отличие в качестве предударного гласного — обычно не осознаётся говорящим. Различие [ъ] и [а] не оценивается носителем диалектной речи как значимое, и он не замечает, что произносит разные звуки перед разными ударенными гласными» [Орлова, Строганова 1968: 191–192; выделено мной. — *Л. К.*]. При диссимилятивном аканье «звуку *а* перед слогом с гласными, отличными от *а*, соответствуют перед слогом с *а* такие звуки, которые в другой позиции не встречаются и воспринимаются как звуки, более близкие к *а*, чем к другим безударным гласным того же говора. В таком случае человек при произношении объективно не может отличить эти звуки от безударного *а*, хотя произносит их

иначе. Для него это варианты того же самого *а*» [Дурново 1929: 69; выделено мной. — *Л. К.*].

Другое объяснение предложила Н. Т. Войтович: «На нашу думку, выпадкі з'яўлення [а] на месцы „о“, „а“ перад складам з націскным [а] ў гаворках з дысімілятыўным аканнем павінны разглядацца як вынік <…> асіміляцыі рэдуцыраванага галоснага націскному [а]» [Вайтовіч 1968: 15]. Однако возможно и третье объяснение.

В говоре Татарицы примеры произношения [а] перед ударным [а] встречаются обычно в сильных фразовых позициях (под синтагменным или фразовым ударением), при акцентном выделении слова, эмфазе и медленном, чётком проговаривании слова. Такое распределение звуков на месте /о/, /ω/ и /а/ свидетельствует о том, что звук [а] в этой позиции не связан с отходом от диссимилятивного принципа, просто [а] и [ə] — разные просодические варианты одной и той же фонологической единицы — архифонемы /о|ω|а/, доминанта которой (основной представитель) осознаётся говорящими как [а]. Этот звук произносится при достаточной его долготе, а [ə] — при кратком его произнесении[2].

Эта же зависимость есть и в литературном языке, и в говорах с сильным аканьем: в 1-м предударном слоге на месте /о/, /а/ произносится [а], а в других безударных слогах, где звук обычно гораздо короче, — [ə]: *м*[ə]*лодóй*, *н*[ə]*писáть*, *гóр*[ə]*д*, *вы́п*[ə]*х*[ə]*л* и т. п. В беглой речи, при ускоренном темпе в литературном языке и в акающих говорах [ə] на месте [а] произносится часто и в 1-м предударном слоге перед разными ударными гласными. Быстрый темп характерен и для компрессивов — широко употребительных, высокочастотных слов, в которых и в литературном языке, и в говорах безударные гласные, в том числе и гласные 1-го предударного слога, а также и согласные могут не только сокращаться, но и вовсе отсутствовать: *д*[ə]*вáй*, *к*[ə](*г*)*дá*, *п*[ə]*кá*, *п*[ə]*тóм*, *дес*(*я*)*тú*, *т*(*е*)*пéрь* и др.

На месте [а] после мягких согласных в литературном языке при убыстрении темпа речи обычно произносится гласный среднего подъёма [е] ([еи]); ср.: *от моря до моря — от мóр*['е] *до мо̋р*['а]; на конце фонетической синтагмы и под синтагменным ударением слово в сильной фразовой позиции, здесь конечный гласный продлён, а не в конце синтагмы — слабая позиция, здесь гласный короче, и его тембр другой.

---

[2] Н. Н. Дурново приводит примеры произношения, отмеченные в г. Курске: «дъвайтя, пъпа, скъзала, стъяла, дъвай, пъзвать (реже *а* отчетливо: салдаты)» [Дурново 1917–1918, вып. 1: 27; выделено мной. — *Л. К.*].

При замедлении темпа речи на месте [ə] может произноситься более открытый гласный и в других позициях. П. С. Кузнецов писал о говоре с. Борки Можарского р-на Рязанской обл.: «По моим наблюдениям, во втором предударном слоге (и далее к началу слова) на месте *о* и *а* после твёрдых согласных часто наблюдается, как и в литературном языке, редуцированный гласный типа ъ, например *пълкилá*, *зъпълтарá рублú*, *мълакó*, *пън'амнóшку*, *пълажы́ла*, *ръс'с'в'алóс'* (рассвелось) и т. д. Но в этом же положении при более медленном темпе речи можно слышать и более отчётливый гласный типа звука, наблюдающегося в литературном языке в первом предударном слоге, например: *пʌсвамý* (по-своему), *хлʌпатáть* (хлопотать), — звук, несомненно, более отчётливый, менее редуцированный, чем в слове *пътписáлис'* (соседнем слове той же фразы, откуда заимствую примеры)» [Кузнецов 1948: 31–32; см. также: Щерба 1912/1983: 154–155; 1983: 56–57].

Разными диалектологами неоднократно наблюдалось произношение особых звуков на месте /Ѣ/ и /ω/ лишь в сильных фразовых позициях или при эмфазе, медленном проговаривании слова, в то время как в слабых фразовых позициях произносятся те же звуки, что и на месте /е/ и /о/ [Дурново 1917–1918, вып. 2: 53–55; Гецова 1959: 113–117; Пауфошима 1983: 7, 62; Касаткин 1999: 370, 379–381, 385–388; 2008б: 51; см. также: Высотский 1975: 9].

Произнесение звука [а] требует известного напряжения артикулирующих органов: от нейтрального их положения, свойственного, в частности, речевой паузе, язык и нижняя челюсть должны опуститься вниз (гласный [а] — нижнего подъёма). Но при кратком произнесении этого звука необходимое для [а] движение органов речи не успевает произойти и органы речи остаются в пределах нейтрального положения. Это положение типично для [ə]; см.: [Щерба 1912/1983: 103]. Таким образом, [ə] — это звук среднего ряда среднего подъёма, который произносится после твёрдых согласных на месте [а] при недостаточном времени для его реализации. После мягких согласных на месте [а] в тех же условиях краткости звука произносится упреднённый [ə̟] или [е] — гласные среднего подъёма передне-среднего или переднего ряда.

В истории южнорусского вокализма не было двух этапов, описанных А. А. Шахматовым: сокращения безударных гласных неверхнего подъёма, приведшего к их совпадению в [ə] после твёрдых согласных и [ə̟] после мягких, а затем их удлинения, приведшего к изменению их в [а]. Была только такая степень редукции безударных гласных, которая привела к совпадению гласных неверхнего подъёма

в [а], реализовавшийся при краткости в некоторых позициях звуком [ə] после твёрдых согласных и [е] после мягких[3].

Аканье возникло в связи с совпадением безударного [о] с [а]. По-видимому, это произошло (по крайней мере, вначале) в тех говорах, где такой [о] был в минимальной степени отличен от [а]. Подобные системы отмечены и в современных говорах, севернорусских, южнорусских и белорусских. В них на месте /о/ произносится под ударением [ɔ] — гласный заднего ряда средне-нижнего подъёма слабо лабиализованный; см., напр.: [Высотский 1967: 66–81; Вайтовіч 1968: 200; ДАРЯ I, карта 42; Касаткин 2008б; Савинов 2008]. Даже при небольшом ослаблении напряжённости этого гласного, что свойственно безударным позициям по сравнению с ударной, различие между таким [ɔ] и [а] утрачивалось и они совпадали в одном звуке[4]. В эпоху возникновения аканья система гласных, в которой были противопоставлены [ɔ], представлявший /о/, и [o̞], представлявший /ω/, была, безусловно, распространена гораздо шире, чем в настоящее время.

Широко распространено мнение, что в безударных позициях /о/ и /ω/ не различались, на их месте произносился один и тот же звук. Однако обнаружено различение этих фонем и без ударения в одном архаическом севернорусском говоре [Касаткин

---

[3] П. С. Кузнецов, соглашаясь с предположением А. А. Шахматова, что аканью предшествовала редукция безударных гласных, приведшая к совпадению гласных неверхнего подъёма в безударных слогах, считает, что гласным звуком, в котором совпали все эти гласные, в некоторых позициях был [ʌ], являющийся «нормой и современного литературного произношения» [Кузнецов 1964: 33]. Следует, однако, учитывать, что в современном литературном языке в 1-м предударном слоге и в некоторых других позициях произносится гласный, точнее обозначающийся как [aᵃ], или [ạ], или [ɐ].

[4] «Объясним изменение неударяемого *о* в *а* в южновеликорусском произношении, напр. в*а*д*а́* из *вода́*. Для произношения гласного *о* губы выдвигаются вперёд и образуют сужение <…>. С течением времени вся эта сложная работа губ постепенно ослабляется при произнесении неударяемого *о* и в результате переходит в пассивное или индифферентное состояние губ при среднем раскрытии рта, а при таком укладе получается уже другой гласный, именно — *а*. Из сказанного ясно, что изменение неударяемого *о* в *а* (через посредствующую стадию å [= ʌ. — *Л. К.*]) произошло в направлении уменьшения работ при произношении <…>. Если же в северновеликорусских говорах в данном неударяемом положении сохраняется *о*, то это указывает на то, что в языке-предке этих говоров гласный *о* имел более устойчивую губную артикуляцию, чем в языке-предке южновеликорусских говоров» [Богородицкий 1935: 25–26].

О некоторых других объяснениях возникновения аканья см. [Ваахтера 2007; 2009: 67–96].

2008б] (такое же различение я наблюдал в 2011 г. и в некоторых вятских говорах). По-видимому, различение этих фонем было в древности и в южнорусских говорах, где на месте /ω/ под ударением в сильной фразовой позиции произносился дифтонг [u͡o], а в безударных позициях, очевидно, монофтонг — гласный верхне-среднего подъёма заднего ряда [o̞]. Этот звук был близок к [у] и совпал с ним при ослаблении напряжённости в большей части говоров с диссимилятивным аканьем.

Так, в северном (смоленском) ареале этих русских говоров отмечено произношение: *торг*[у]*ва́ть*, *слаб*[у]*ва́тый*, *п*[у]*па́ла*, *п*[у]*ма́зать*, *п*[у]*вя́зка*, *п*[у] *мя́су*, *л*[у]*па́та*, *сам*[у]*ва́р*, *л*[у]*ма́ть*, *х*[у]*ва́ть*, *пом*[у]*га́ть*, *п*[у]*па́ша*, *без*[у]*бра́зие*, *цел*[у]*ва́ли* и др. На южной периферии диссимилятивного аканья [o̞] сохранился в некоторых говорах как [о] или [о]-образный (лабиализованный) звук: *за др*[о]*ва́ми*, *р*[о]*жа́ли*, *зим*[о]*ва́ли*, *разг*[о]*ва́ривая*, *п*[о]*ста́вки*, *х*[о]*зя́йство*, *л*[о]*па́тка*, *м*[о]*гла́*, *п*[о]*вя́жут*, *п*[о]*ста́вят*, *п*[о]*жа́луйста*; *л*[ъ°]*па́та*, *п*[ъ°]*вя́зывать* и др.; см.: [Строганова 1975; ДАРЯ I, карты 2, 9, 10]. Звуки [у] и [о] отмечены в этих говорах не только на месте /ω/, но и на месте /о/ и даже на месте /а/, но произношение безударного [о] на месте /а/ встречается и в окающих говорах: *рукова́*, *брола́*, *глоза́*, *зобра́л'и*, *поха́т'* и т. п.; см. [Русская диалектология 1964: 37; ДАРЯ, вып. I, карта 1]. Эти примеры отражают, очевидно, результат нефонетической замены одних звуков другими.

Произношение предударного [у] на месте /о/, реже /а/: *п*[у]*шла́*, *к*[у]*ма́р*, *п*[у]*д ха́ту*, *ск*[у]*за́ў* и т. п. — отмечается и в белорусских говорах с диссимилятивным аканьем, «ізаглосы гэтых з'яў у асноўным супадаюць» [Вайтовіч 1968: 12–15; ДАБМ, карта 1].

Таким образом, **аканье — результат ослабления напряжённости артикуляции в русском и белорусском языках**, вызвавшего также и другие процессы, в частности монофтонгизацию дифтонгов, следствием чего было совпадение /ѣ/ с /е/ и /ω/ с /о/ сначала в безударном положении, а затем и под ударением в большинстве русских говоров и в белорусском языке. Ослабление безударных гласных привело к их нейтрализации. Вначале с [а] после твёрдых согласных совпал [ɔ], представлявший /о/, так возникло аканье. В этот процесс включился и [o̞], представлявший /ω/. В западных южнорусских говорах и северо-восточных белорусских этот процесс мог приводить не только к совпадению /о/ с /а/, но и к совпадению /ω/ с /у/ или к сохранению безударного [о] в отдельных словах.

2. История формирования типов аканья

А. А. Шахматов считал, что аканье возникло как диссимилятивное, а позднее в результате обобщения гласного [а] в 1-м предударном слоге перед всеми ударными гласными в части акающих говоров возникло сильное аканье [Шахматов 1915: 338–339]. Этой точки зрения придерживаются и большинство диалектологов и историков русского языка; см., напр., [Дурново 1917–1918, вып. 2: 78; 1924/2000: 187–193/177–183; 1969: 157; Аванесов 1952: 38–43; 1955: 29–30, 33–34; Кузнецов 1965: 153–154; Горшкова, Хабургаев 1981: 102–106; Иванов 1990: 205–209] и др. Высказывалось также предположение, что исходным был тип сильного аканья, а диссимилятивное аканье возникло из него позднее; см. [Курило 1928; Ван-Вейк 1934–1935; Вайян 1950: 107, 234; Чекмонас 1987: 343, 346] и др. Данные современных русских и белорусских говоров дают основание предполагать иное происхождение диссимилятивного и сильного аканья на разных территориях.

Диссимилятивное аканье распространено в русском языке в западных говорах южного наречия, а сильное в восточных, а также и в среднерусских говорах и в литературном языке.

В белорусском языке диссимилятивное аканье зафиксировано в северо-восточных говорах, в большинстве остальных говоров по данным ДАБМ аканье сильное. Однако и на этой территории отмечаются случаи произношения редуцированного гласного на месте /о/, /а/ перед ударным [а]. Кроме того, диссимилятивное аканье распространено на значительно меньшей территории, чем диссимилятивное яканье [ДАБМ, карты 1, 4; Вайтовіч 1968: 171]. Это свидетельствует о сокращении территории диссимилятивного аканья в белорусских говорах за счёт аканья сильного [Вайтовіч 1968: 209–215].

Н. Т. Войтович допускает, что составители ответов на программу ДАБМ могли не замечать в говорах разницы между тем редуцированным [а], который произносится перед ударным [а], и тем гласным полного образования [а], который произносится перед другими ударными гласными [Вайтовіч 1968: 18–22]. По устным высказываниям В. Н. Чекмана, он также считал, что эти эксплораторы ДАБМ не отмечали диссимилятивного аканья на большей части территории Белоруссии в силу того, что им самим было свойственно такое произношение; он неоднократно в своих диалектологических экспедициях фиксировал диссимилятивное аканье там, где в ДАБМ было отмечено сильное аканье. А. И. Подлужный отмечал широкое распространение диссимилятивного аканья среди белорусской интеллигенции, хотя и указывал, что диссимилятивность при этом не так

ярко выражена, как в северо-восточных говорах [Фанетыка беларускай літаратурнай мовы 1989: 320]. Таким образом, можно думать, что диссимилятивное аканье в белорусских говорах распространено гораздо шире, чем его отмечает ДАБМ.

Как установил О. Брок, в говорах с диссимилятивным аканьем перед кратким гласным произносится долгий гласный, перед долгим гласным — краткий. Гласные верхнего подъёма [и], [ы], [у] краткие, поэтому перед ними произносится долгий гласный [а], а перед долгим гласным [а] произносится краткий [ə] [Брок 1916: 57–59]. Эта зависимость наблюдается не только между 1-м предударным и ударным гласным, но и между гласными других слогов: «В таких говорах фонемы *о* и *а* выступают во 2-м предударном слоге после твёрдых согласных в общем варианте ъ, если в 1-м предударном слоге звучит гласный нижнего подъёма *а*, и в варианте *а*, если в 1-м предударном слоге звучит любой гласный верхнего (или среднего) подъёма: *в н/ъйа/брê*, *г/ъспа/дá*, *п/ъда/жди́*; но: *б/аси/кóм*, *г/алу/бéй* и т. п. <…> Если под ударением гласный нижнего подъёма *а*, то в заударном слоге преимущественно наблюдается ъ, а при наличии под ударением других гласных гласные неверхнего подъёма реализуются обычно в звуке *а*: *на хýт/а/ри*, *в стóр/а/ну* при: *стáр/ъ/му*, *йáбл/ъ/ка*» [Русская диалектология 1964: 67–68]; в говоре с. Татарицы в Болгарии встречается: *варəч'áйт'ис'а*, *пазəбрáл'и*, *панəклáл'и*, *заɣл'идáиш*, *пас'ид'и́м*, *канцылáр'ийу*, *закуйýт'*, *дə салəвjá*, *пəкавəр'áт'* и т. п. [Касаткин 2008а: 120; см. также: Касаткин 1999: 414].

Произношение [ə] ([ъ]) свидетельствует о краткости слога, произношение [а] — о долготе слога. Такая волнообразная ритмика слова: чередование долгих и кратких слогов — свойство многих языков. Она наблюдается и в некоторых севернорусских говорах, где «случаи выпадения и сильной редукции гласных в 1 п/у и в 1 з/у неконечном слоге и усиление и удлинение во 2 з/у на конце слова являются остатками более древней просодии слова, имевшей, вероятно, волнообразную ритмику с усилением через слог, подобную украинской» [Альмухамедова, Кульшарипова 1980: 47][5].

В соседних с севернорусскими говорами прибалтийских финских языках также наблюдается «чередование по силе чётных и нечётных слогов». От «модели фонетического слова в основной массе русских акающих говоров», отвечающей «схеме, предложенной ещё А. А. Потебнёй» (1–2–3–1), отступает «предполагаемая модель

[5] О ритмике слова в украинском языке, где условная сила слогов передана цифрами (как в известной «формуле Потебни») 1–3/4–2–3/4–1–1/2, см. [Богородицкий 1910: 317].

далёкого предка не только восточнославянских наречий, но и славянской группы в целом. В общеиндоевропейской системе определённого периода <…> одним из наиболее слабых был первый предударный слог» [Кузнецов 1964: 34–35].

О подобной ритмике слова с чередованием долгого и краткого слога в древнерусском языке свидетельствует распределение сильных и слабых редуцированных гласных [ъ] и [ь]: сильный редуцированный перед слогом со слабым редуцированным, слабый редуцированный перед слогом с сильным редуцированным и гласным полного образования. Об этом же говорит и место второстепенного ударения в слове в древнерусском языке: «Выбор слога или слогов, на которые падает второстепенное ударение, определяется несколькими факторами. Основной из них — ритмический: второстепенное ударение падает через слог вправо от главного, затем ещё одно через слог от этого второстепенного и т. д.» [Зализняк 1985: 179].

В говорах с сильным аканьем иная ритмическая структура слова. Здесь обычно гласный 1-го предударного слога по длительности мало отличается от ударного гласного и может быть даже длительнее ударного, а гласные других безударных прикрытых слогов намного короче ударного; см. [Брок 1916: 9; Высотский 1973: 35, 40; Реформатский 1979: 42–44; Касаткина, Щигель 1995: 236–254] и др. Поэтому в 1-м предударном слоге на месте /о/ и /а/ произносится достаточно полновесный гласный [а], а в других безударных прикрытых слогах, кроме конечного открытого, — краткий [ə].

Такая ритмическая структура слова названа Р. Ф. Касаткиной контуром «сильный центр и слабая периферия», он характерен не только для восточных южнорусских говоров, но и для всех среднерусских, включая говоры с неполным оканьем и оканьем гдовского и полновского типов [Высотский 1973: 35, 40, группы V, VI; Касаткина 1996: 222–235]. Говоря о говорах с неполным оканьем, П. С. Кузнецов писал: «Безударный вокализм этих говоров развился, по-видимому, независимо от воздействия на них аканья» [Кузнецов 1965: 154–155].

В этих говорах на месте [ə] в результате дальнейшей его редукции часто бывает и нуль звука: *к*(*а*)*рус’е́л’*, *з:*(*а*) *доброту́*, *пəɣ*(*о*) *вар’и́т’*, *пр*(*о*)*дава́т’*, *с:*(*о*)*ɣр’еба́л’и* и гораздо чаще в заударных слогах: *н’е́к*(*о*)*му*, *нап’и́с*(*а*)*нə*, *в’а́з*(*а*)*нəйу*, *во́л:*(*о*)*сə*, *ф ху́т*(*о*)*р’и*, *вы́р*(*о*) *с’л’и*, *с’в’о́к*(*о*)*р*, *хо́л*(*о*)*т*, *рабо́т*(*а*)*л*, *ха́тк*(*а*) *свəјя́*, *пло́х*(*о*) *мн’е* и т. п. (в скобках указаны непроизнесённые гласные). Редукция гласного до нуля широко известна в этих говорах в тех же позициях и на месте /е/, /о/, /а/ после мягких согласных. Такая редукция практически отсутствует в западных южнорусских говорах, т. е. в говорах с

диссимилятивным аканьем. Изоглосса этого явления резко разделяет западные и восточные южнорусские говоры; см. [ДАРЯ I, карта 32; Кузнецов 1948: 32–33; Голубева 1985; Касаткин 2002] и др.

В говорах с диссимилятивным аканьем тоже возможны случаи сильной редукции безударного гласного, которая приводит к его полной утрате, но это свойственно гласному 1-го предударного слога перед ударным [а]: *кыра́с' — къра́с' — крас'* (*карась*) [Вайтовіч 1968: 18].

Разное распределение по позициям в фонетическом слове [а] и [ə] в говорах с сильным и диссимилятивным аканьем — это различие поверхностное, тогда как глубинное, лежащее в его основе, — это отличие этих говоров по ритмической структуре слова; ср.: [Войтович 1972: 39].

Различие между диссимилятивным и сильным аканьем возникло в результате реализации одной и той же фонетической модели — аканья, т. е. произношения [а] на месте безударных /о/ и /а/, в говорах с разной ритмической структурой слова, а не в результате изменения диссимилятивного аканья в сильное после аналогического выравнивания, обобщения гласного [а] перед всеми ударными гласными, как думал А. А. Шахматов[6]. В некоторых говорах с диссимилятивным аканьем действительно может происходить его замена на сильное, но это также связано с изменением ритмической структуры слов[7].

Решение вопроса о том, какой из этих типов первичен, а какой вторичен, зависит от того, как решается вопрос о территории, на которой возникло аканье. Р. И. Аванесов считал, что «первоначальная

---

[6] Замена звука [ə] звуком [а] «по аналогии» невозможна в силу того, что говорящие не осознают разницы между этими звуками (см. выше).

[7] Село Кунича Флорештского района Молдавии населено русскими старообрядцами, предки которых бежали сюда в начале XVIII в. от преследования со стороны правительства и официальной церкви; см. [Болученкова 2010: 61]. По моим наблюдениям 2010 г., диалектные черты этого говора характерны для юго-западной диалектной зоны, именно оттуда были переселенцы в Куничу [Касаткин 2011]. В говорах юго-западной зоны распространено диссимилятивное аканье жиздринского типа и яканье жиздринского и суджанского типов; см. [ДАРЯ I, карты 2, 3, 8]. Но в Куниче у местных жителей, сохраняющих диалектные черты говора, сильное аканье и сильное яканье при соответствующей ритмике фонетического слова. Очевидно, что в течение жизни на бессарабской земле у жителей Куничи произошло изменение ритмики слова, вероятно, в результате языковых контактов и влияния романских диалектов местных жителей, приведшее и к смене типа аканья и яканья. Подтверждают это и наблюдения над этим говором В. И. Тудосе, которая также обнаружила здесь сильное аканье, но указала, что «в обрядовых песнях встречается диссимилятивное аканье» [Тудосе 2003: 154].

территория акающего диалекта охватывала бассейны верхней и средней Оки и Сейма, т. е. современную курско-орловскую, тульскую и рязанскую территорию <…> во второй половине XII — первой половине XIII в.» [Аванесов 1955: 28; см. также: Аванесов 1952: 40, 41]. На этой территории в настоящее время распространены говоры с диссимилятивным и сильным аканьем, и очевидно, что оно и в момент своего возникновения могло быть здесь таким же.

Возникает вопрос о причинах изменения ритмики слова в восточных акающих говорах: на месте более древней ритмики с чередованием сильных и слабых слогов в этих говорах возникает ритмика слова с сильным центром и слабой периферией. Возможно, причиной этого было иноязычное влияние.

Так, известно большое количество тюркизмов в русском языке (см. [Шипова 1976]) и русских фамилий тюркского происхождения, «связанных с переходом на русскую службу выходцев главным образом из Золотой Орды, а также из родовых и государственных объединений тюркоязычных народов» [Баскаков 1979: 3; см. также: Халиков 1992]. Большинство этих людей занимало высокое положение в русском обществе, поэтому особенности их речи воспринимались как весьма престижные, что приводило не только к заимствованию русскими тюркских слов, но и к некоторым изменениям в русской фонетике.

В современном татарском языке слова с [а] перед [а] произносятся так же, как в современном русском литературном языке, «так что такие случаи не представляют трудностей ни для татарина по отношению к русским словам, ни для русского по отношению к татарским» [Богородицкий 1953: 92]. Именно эта модель ритмики слова могла быть заимствована в древности русскими у татар и других тюркоязычных народов.

Особенно тесными были связи с татарами русских — представителей говоров Южного наречия — в восточной его группе, поэтому изменение исконной ритмики слова произошло именно в этих говорах.

Что касается белорусских говоров, то там, согласно данным ДАБМ, большинству говоров с сильным аканьем свойственна система, называемая белорусскими диалектологами «полным аканьем» — произношением [а] на месте /о/ и /а/ во всех безударных слогах [ДАБМ, карты 8, 12, 13; Вайтовіч 1968: 171]. Такая система может свидетельствовать об иной ритмической структуре слова, чем в говорах с диссимилятивным аканьем и сильным «неполным» аканьем. Возможно, она унаследована современными белорусскими говорами от древнейших насельников этой территории.

Однако можно предполагать также, что отражённая в ДАБМ закономерность этих говоров — результат неточного определения их особенностей. Современные диалектологи обладают гораздо большими возможностями, чем диалектологи середины XX века, благодаря новым средствам фиксации и анализа звучащей речи. Наблюдения последнего времени свидетельствуют о возможности произношения [а] перед [а] в безударных слогах помимо 1-го предударного и при диссимилятивном аканье.

Так, например, в обследованном мною вместе с другими сотрудниками Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН в 2005 г. говоре русских старообрядцев села Пилипы-Хребтиевские Ново-Ушицкого р-на Хмельницкой обл. Украины диссимилятивное аканье жиздринского (белорусского) типа и диссимилятивное яканье мосальского (витебского) типа.

Об этом типе аканья свидетельствуют многочисленные примеры: *атэрвáлə рукý*, *атрəбáтəул'и*, *дəвáл*, *кəмбáйн*, *крəсáв'ица*, *нəжáл'и*, *нə кáждəм*, *нə кл'áмəч'ку*, *нəр'áдныи*, *нəч'áл'н'икəм*, *пəклáла*, *прəшлá*, *пр'икəзáл*, *скəзáт'*, *стəнкáх*, *хəз'áйства*; *вəплáч'иул*; — *в нąскáх*, *ўрąбл'áм'и*, *дąвáл*, *зąкáн'ч'ивыт'*, *кąмбáйн*, *лąпáтый*, *нąжáл'и*, *нąч'áл'н'ик*, *пąпáл*, *пąстáв'ил'и*, *рąскáжу*, *с'ирąтá*, *снąпáм'и*, *тąдá*, *хąз'áина*; — *драб'úна*, *вайны́*, *падвы́с'ил*, *такýйу*, *давóл'ны*, *закóн'ч'ил*, *малóд'ин'кы*, *украд'óш*, *пəjéхəл'и*, *сас'éтк'и*, *кап'éйк'и*, *кан'éшнə* и т. п.

В других предударных слогах также часто произносится [ə] перед [а]: *дə вайны́*, *дəрауóй*, *зəвал'úл'и*, *зəплат'úт'*, *зəрабóтəла*, *нə ўарóдəх*, *мəладóйа*, *мəлат'úл'и*, *нə ўарóдəх*, *пəул'ажý*, *пə двар'é*, *пəхарóн'ины*, *рəзр'ашы́л'и*, *смəлат'úт'*, *хəрашó*; *пəнауч'úлəс'а* и т. п.

Закономерен в этом типе и предударный [а] перед другим предударным гласным кроме [а]: перед [ə]: *валнəвáлс'а*, *дабəвл'áт'*, *заўəтáўл'иул'и*, *зарəбáтəвыт'*, *назəвáица*, *памəўáл'и*, *пахəтá*, *па хəтáм*, *прадəлжáлəс'а*, *разўəвáр'иул*, *раскəзáт'*, *фатəўрáф'ии* и т. п.; перед другим гласным: *ваивáл'и*, *васкр'ис'éн'а*, *заин'т'ир'исóвəныи*, *запр'иўáйут'*, *зар'иў'истр'úруит'*, *на д'ив'áтəйа*, *напр'им'éр*, *пач'имý*, *пəрасп'ихáла*, *дабывáл'и*, *закрывáл'и*, *пашывáл'и*, *пражывáл*, *дакум'éнты*, *палуч'áл*, *раз'д'ел'úл'и* и т. п.

Распределение звуков [а] и [ə] в этих примерах отвечает принципам диссимилятивного аканья и свидетельствует о волнообразном контуре слова с чередованием долгих и кратких слогов.

В предударных слогах кроме 1-го предударного часто произносится также [ə] перед [ə]: *абрəзəвáн'ийа*, *ąсвəбəждáл'и*, *ўəлəсəвáл'и*, *зəрəбáтуул'и*, *мəлəдáйа*, *мóжу əбрəбл'áт'*, *пəзвəл'áи*, *пəмəўáит'*, *пəрəскáжəт'*, *рəскəзáл'и*, *нəмəлат'úл'и*, *пəвəивáл*, *пəдəзр'ивáл'и*,

рəспрəстрəн'ál'ис'а; перед другими гласными: *нəн'имáл'и*, *нəч'инá-ица*, *нəзывáл'и*, *сəбл'удáл'и* и т. п.

Однако от классической схемы этого типа встречаются отступления. Во-первых, [а] может произноситься перед ударным [а]: *вайнá*, *враγá*, *давáт'*, *дождáл'ис'а*, *забрáл'и*, *за дáвн'ии д'илá*, *ис кармáна*, *паклáл*, *пашлá*, *пəлтарá*, *сказáт'*, *уражáй*, *харáкт'ир* и т. п. Во-вторых, [а] может произноситься и перед безударным [а]: *баранá*, *баранý*, *γаражы́*, *напр'ажэ́н'иа*, *па дамáм*, *пакалóл'и*, *пасач'ýствəл*, *патамý*, *сатаны́*; *па каб'ин'éтəх* и т. п.

Гласные в этом случае при одном и том же тембре могут различаться длительностью: *назвáн'а* [а] 53 мс, [á] 101 мс; *н'и дождáл'ис'а* [а] 115 мс, [á] 161 мс; *пастáв'ила* — [а] 78 мс, [á] 131 мс; *пахавáл'и* — $[а]_1$ 72 мс, $[а]_2$ 33 мс, [á] 118 мс; *пахавáл'и* — $[а]_1$ 85 мс, $[а]_2$ 55 мс, [á] 147 мс. Гласный 1-го предударного слога в этих примерах короче не только следующего ударного гласного, но и предыдущего предударного, что характеризует волнообразную ритмику слова, свойственную говорам с диссимилятивным аканьем.

В заударном неконечном и конечном закрытом слоге на месте /о/ и /а/ обычно произносится [ə]: *да тóч'нəс'т'и*, *на зóлəт'и*, *п'úсəны*, *пр'áтəл'и*, *тáмəтка*; *зап'úсəвəл'и*, *нап'úсəна*, *н'éкəтəрых*; *атр'éзəл*, *ахáпək*, *д'éлəм*, *пр'ijéхəл*, *рабóтəт'*, *с мýжəм*, *ч'áсəм*. Возможен также [ы]: *аγ'ит'úрəвыл*, *вы́брыт'*, *вы́рысл'и*, *зạкáн'ч'ивыт'*, *зарəбáтəвыт'*, *лạпáтый*, *на прóймыч'ких*, *рабóтыл*, *сáпый абраб'úт'*, *сóтык*, *ф хáтəч'ких*, *ап'ич'áтылныи*, *пóмн'илыс'а*, *сəхран'úлыс'а*; [у]: *вы́зуф*, *фс'éнушныи*, *ч'илав'éкум*.

Конец слова в этом говоре — особая фонетическая позиция, выделяющаяся значительной полновесностью гласного. Здесь обычно произносится безударный [а] в открытом слоге в конце фонетической синтагмы, но часто и в её середине: *йа плóха в'úжу*, *лýч'ива н'и бýд'ит'*, *дóма жыл*, *д'иржáла п'иис'áт сóтык*, *пáпа жывóй был*, *пр'ивы́ч'ка такáä*, *тýтəтка* ||, *сав'éцкəйа влáс'т' éтəва* || *н'и т'ирп'éла* ||, *был дóма* || *и ажан'úлса* ||, *ж'д'ом лýч'ива* ||, *пajéл'и ноува хл'éбушка* ||, *кóмнəта бáб'ина марýс':на* ||, *к м'éру γóрəда хад'úла* ||. В других говорах в этой позиции закономерен [ạ] или [ə].

Таким образом, произношение открытого [а] во 2-м и 3-м предударных слогах перед безударным [а] и в безударном конечном открытом слоге возможно в говорах с диссимилятивным аканьем и не является безусловным свидетельством наличия системы «полного аканья». Белорусские говоры, в которых установлена такая система на основании материалов ДАБМ, должны быть вновь обследованы с применением современных методов анализа звучащей речи для уточнения системы предударного вокализма.

Литература

Аванесов 1949 — *Аванесов Р. И.* Очерки русской диалектологии. Ч. 1. М., 1949.

Аванесов 1952 — *Аванесов Р. И.* Лингвистическая география и история русского языка // Вопросы языкознания. 1952. № 6. С. 25–47.

Аванесов 1955 — *Аванесов Р. И.* Проблемы образования языка русской (великорусской) народности // Вопросы языкознания. 1955. № 5. С. 20–42.

Альмухамедова, Кульшарипова 1980 — *Альмухамедова З. М.*, *Кульшарипова Р. Э.* Редукция гласных и просодия слова в окающих русских говорах (Экспериментально-фонетическое исследование). [Казань], 1980.

Баскаков 1979 — *Баскаков Н. А.* Русские фамилии тюркского происхождения. М., 1979.

Богородицкий 1910 — *Богородицкий В. А.* Краткий очерк диалектологии и истории русского языка. Казань, 1910.

Богородицкий 1935 — *Богородицкий В. А.* Общий курс русской грамматики. Изд. 5-е. М.; Л., 1935.

Богородицкий 1953 — *Богородицкий В. А.* Введение в татарское языкознание в связи с другими тюркскими языками. Изд. 2-е. Казань, 1953.

Болученкова 2010 — *Болученкова А. А.* Возникновение и развитие старообрядческих поселений на территории государства Молдовы // Липоване: история и культура русских старообрядцев. Вып. 7. Одесса; Измаил, 2010. С. 61–67.

Брок 1916 — *Брок О.* Говоры к западу от Мосальска. Пг., 1916.

Ваахтера 2007 — *Ваахтера Й.* К вопросу об истории гласного *о*, полногласия и аканья в русском языке в свете данных о славянизации Русского Севера // Topics on the Ethnic, Linguistic and Cultural Making of the Russian North — Вопросы этнического, языкового и культурного формирования Русского Севера — Beiträge zur ethnischen, sprachlichen und kulturellen Entwicklung des russischen Nordens / Ed. Juhani Nuorluoto (Slavica Helsingiensia, 32). Helsinki, 2007. S. 286–301.

Ваахтера 2009 — *Ваахтера Й.* Эволюция системы гласных фонем в некоторых русских говорах Вологодской области (Slavica Helsingiensia, 37). Хельсинки, 2009.

Вайтовіч 1968 — *Вайтовіч Н. Т.* Ненаціскны вакалізм народных гаворак Беларусі. Мінск, 1968.

Вайян 1950 — *Vaillant A.* Grammaire comparée des langues slaves. T. I. Phonetique [Collection «Les langues du monde», série Grammaire, philology, littérature. Vol. VI]. Lyon; Paris [1950].

Ван-Вейк 1934–1935 — *Van Wijk N.* Zur Entwicklungsgeschichte des Akanje und Jakanje // Slavia. XIII. № 4. 1934–1935. C. 640–654.

Войтович 1972 — *Войтович Н. Т.* К вопросу о путях развития аканья в восточнославянских языках // Общеславянский лингвистический атлас: Материалы и исследования. 1970 / Отв. ред. Р. И. Аванесов. М., 1972. С. 17–39.

Высотский 1967 — *Высотский С. С.* Определение состава гласных фонем в связи с качеством звуков в севернорусских говорах // Очерки по фонетике севернорусских говоров. М., 1967. С. 5–82.

Высотский 1973 — *Высотский С. С.* О звуковой структуре слова в русских говорах // Исследования по русской диалектологии / Отв. ред. С. В. Бромлей. М., 1973. С. 17–41.

Высотский 1975 — *Высотский С. С.* К проблеме изучения вокализма южнорусских говоров // Русские говоры: К изучению фонетики, грамматики, лексики / Отв. ред. Е. В. Немченко. М., 1975. С. 3–19.

Гецова 1959 — *Гецова О. Г.* О произношении ударного *о* разного происхождения в говоре с. Катагощи Захаровского района Рязанской области // Материалы и исследования по русской диалектологии. Новая серия. Т. 1 / Отв. ред. Р. И. Аванесов, В. Г. Орлова. М., 1959. С. 105–118.

Голубева 1985 — *Голубева Н. Л.* О консонантном окружении гласных, редуцируемых до нуля // Диалектография русского языка / Отв. ред. Р. И. Аванесов, А. И. Горшков. М., 1985. С. 60–80.

Горшкова, Хабургаев 1981 — *Горшкова К. В., Хабургаев Г. А.* Историческая грамматика русского языка. М., 1981.

ДАБМ — Дыялекталагічны атлас беларускай мовы / Пад рэд. Р. І. Аванесава, К. К. Крапівы, Ю. Ф. Мацкевіч. Мінск, 1963.

ДАРЯ — Диалектологический атлас русского языка: Центр Европейской части СССР. В 3 вып. / Под ред. Р. И. Аванесова, С. В. Бромлей. М., 1986–2004.

Дурново 1917–1918 — *Дурново Н. Н.* Диалектологические разыскания в области великорусских говоров. Ч. I. Южновеликорусское наречие. Вып. 1. М., 1917; Вып. 2. Типография Шамординской женской пустыни Калужской губ., 1918.

Дурново 1924/2000 — *Дурново Н. Н.* Очерк истории русского языка. М.; Л., 1924; Перепечатано в: *Дурново Н. Н.* Избранные работы по истории русского языка. М., 2000. С. 1–337.

Дурново 1929 — *Дурново М.* Увагі да беларускай фонэтыкі // Беларуская акадэмія навук. Запіскі аддзелу гуманітарных навук. Кн. 9. Працы клясы філёлёгіі. Т. II. Менск, 1929. С. 68–72.

Дурново 1969 — *Дурново Н. Н.* Введение в историю русского языка. [2-е изд.] М., 1969.

Зализняк 1985 — *Зализняк А. А.* От праславянской акцентуации к русской. М., 1985.

Иванов 1990 — *Иванов В. В.* Историческая грамматика русского языка. Изд. 3-е. М., 1990.

Касаткин 1989 — *Касаткин Л. Л.* Одна из тенденций развития фонетики русского языка // Вопросы языкознания. 1989. № 6. С. 39–45.

Касаткин 1999 — *Касаткин Л. Л.* Современная русская диалектная и литературная фонетика как источник для истории русского языка. М., 1999.

Касаткин 2002 — *Касаткин Л. Л.* Диереза и оглушение гласных в говорах Донской группы южного наречия // Материалы и исследования по русской диалектологии. I (VII) / Отв. ред. Л. Л. Касаткин. М., 2002. С. 40–64.

Касаткин 2008а — *Касаткин Л. Л.* Русский говор села Татарица в Болгарии // Русские старообрядцы: язык, культура, история: Сб. статей к XIV Международному съезду славистов / Отв. ред. Л. Л. Касаткин. М., 2008. С. 116–139.

Касаткин 2008б — *Касаткин Л. Л.* Фонемы /ɔ/, /ω/, /а/ в слободских говорах // Материалы и исследования по русской диалектологии. III (IX) / Отв. ред. Л. Л. Касаткин. М., 2008. С. 50–67.

Касаткин 2011 — *Касаткин Л. Л.* Прародина старообрядцев села Кунича Флорештского района Молдавии по данным их языка // Липоване: история и культура русских старообрядцев. Вып. VIII: к 200-летнему юбилею первого переселения некрасовцев в российские пределы / Редактор-составитель А. А. Пригарин. Одесса; Измаил, 2011. С. 178–193.

Касаткина 1996 — *Касаткина Р. Ф.* Просодия русских говоров // Просодический строй русской речи / Отв. ред. Т. М. Николаева. М., 1996. С. 205–255.

Касаткина, Щигель 1995 — *Касаткина Р. Ф.*, *Щигель Е. В.* Ассимилятивно-диссимилятивное аканье // Проблемы фонетики. II / Отв. ред. Л. Л. Касаткин. М., 1995. С. 295–309.

Кузнецов 1948 — *Кузнецов П. С.* К вопросу о качестве безударных гласных не первого предударного слога в акающих говорах // Бюллетень диалектологического сектора Института русского языка [АН СССР]. Вып. 2 / Отв. ред. С. П. Обнорский, Р. И. Аванесов. М.; Л., 1948. С. 29–34.

Кузнецов 1964 — *Кузнецов П. С.* К вопросу о происхождении аканья // Вопросы языкознания. 1964. № 1. С. 30–41.

Кузнецов 1965 — *Кузнецов П. С.* Фонетика // В. И. Борковский, П. С. Кузнецов. Историческая грамматика русского языка. Изд. 2-е. М., 1965. С. 36–170.

Курило 1928 — *Курило О. Б.* До питання про умови розвитку дисимілятивного акання // Записки історико-філологічного відділу Української Академії Наук. Кн. XVI. 1928. С. 48–72.

Орлова, Строганова 1968 — *Орлова В. Г.*, *Строганова Т. Ю.* Народные говоры. Фонетика // Русский язык и советское общество: Социолого-лингвистическое исследование / Под ред. М. В. Панова. [4] Фонетика современного русского литературного языка. Народные говоры. М., 1968. С. 183–211.

Пауфошима 1983 — *Пауфошима Р. Ф.* Фонетика слова и фразы в северно-русских говорах. М., 1983.

Реформатский 1979 — *Реформатский А. А.* Очерки по фонологии, морфонологии и морфологии. М., 1979.

Русская диалектология 1964 — Русская диалектология / Под ред. Р. И. Аванесова, В. Г. Орловой. М., 1964.

Савинов 2008 — *Савинов Д. М.* К вопросу о зависимости типов аканья и яканья от семифонемного вокализма // Материалы и исследования по русской диалектологии. III (IX) / Отв. ред. Л. Л. Касаткин. М., 2008. С. 182–193.

Строганова 1975 — *Строганова Т. Г.* О характере реализации гласных неверхнего подъёма в 1-м предударном слоге после твёрдых согласных в говорах с диссимилятивным аканьем // Русские говоры: К изучению фонетики, грамматики, лексики / Отв. ред. Е. В. Немченко. М., 1975. С. 40–58.

Трубецкой 1987 — *Трубецкой Н. С.* О звуковых изменениях русского языка и распаде общерусского языкового единства // Трубецкой Н. С. Избранные труды по филологии. М., 1987. С. 143–167.

Тудосе 2003 — *Тудосе В. И.* Особенности речи жителей русского села Кунича в Молдавии // Старообрядцев Молдавии живое слово: Материалы международной научно-практической конференции «Старообрядчество Молдавии: истоки и современность», [состоявшейся в г. Кишинёве (Республика Молдова)] 14–16 декабря 2002 г. Кишинёв, 2003. С. 153–163.

Фанетыка беларускай літаратурнай мовы 1989 — Фанетыка беларускай літаратурнай мовы / В. Р. Бурлыка, Л. Ц. Выгонная, Г. В. Лосік, А. І. Падлужны; Рэд. А. І. Падлужны. Мінск, 1989.

Халиков 1992 — *Халиков А. Х.* 500 русских фамилий булгаро-татарского происхождения. Казань, 1992.

Чекмонас 1987 — *Чекмонас В. Н.* Территория зарождения и этапы развития восточнославянского аканья в свете данных лингвогеографии // Russian Linguistics, 11. № 2/3. 1987. С. 335–349.

Шахматов 1896–1897 — *Шахматов А. А.* Звуковые особенности ельнинских и мосальских говоров // Русский филологический вестник. 1896. Т. XXXVI. № 3–4. С. 60–99; 1897. Т. XXXVIII. № 3–4. С. 172–209.

Шахматов 1915 — *Шахматов А. А.* Очерк древнейшего периода истории русского языка. Энциклопедия славянской филологии. Вып. 11.1. Пг., 1915.

Шахматов 1941 — *Шахматов А. А.* Очерк современного русского литературного языка. Изд. 4-е. М., 1941.

Шипова 1976 — *Шипова Е. Н.* Словарь тюркизмов в русском языке. Алма-Ата, 1976.

Щерба 1912/1983 — *Щерба Л. В.* Русские гласные в качественном и количественном отношении. СПб., 1912; Л., 1983.

Щерба 1983 — *Щерба Л. В.* Теория русского письма. Л., 1983.

Якобсон 1929/1971 — *Jakobson R.* Remarques sur l'évolution phonologique du russe, comparée à celle des autres langues slaves. Praha, 1929 [Travaux du Cercle linguistique de Prague, 2]. Перепечатано в: *Jakobson R.* Selected Writings. I. 2 ed. The Hague: Mouton, 1971.

Л. В. Куркина

К реконструкции структурно-семантических отношений в системе славянских терминов земледелия

Лексика существует в разных измерениях, и одно из них связано с организацией по тематическому принципу. Тематический подход к изучению лексики важен для понимания путей формирования словаря, принципов семантической организации и распределения во времени и пространстве отдельных групп лексики. Исследования, проведенные на материале разных групп лексики (родственные отношения, названия частей тела, названия обуви, домашней утвари и т. п.), показали, что совокупности слов с общей темой неодинаковы по возрасту, и возрастные различия весьма велики: одни группы своими корнями уходят далеко за пределы праславянского языка (ср. термины родства), о чем свидетельствуют индоевропейские соответствия, другие (ср. названия посуды, обуви, тканей и т. п.) формируются в относительно позднее время, и для таких относительно молодых групп особое значение приобретают показания отдельных славянских языков [Трубачев I: 242]. Связи значений, мотивационные отношения, проявляющиеся на глубинном уровне, далеко не всегда непосредственно вытекают из того материала, который предоставляется лингвистическими источниками (современные, исторические, диалектные словари и т. п.). В ряду многочисленных факторов (парадигматические отношения синонимии, антонимии, культурный контекст и т. п.), влияющих на поведение фактов языка, на развитие семантики, особое значение имеет денотативная сфера, тот фрагмент реального мира, с которым соотносится лексика. В некоторых случаях денотативная функция терминов оказывается на первом плане. С ономасиологической точки зрения приоритет конкретных действий, предметов, связанных с той или иной сферой деятельности

Любовь Викторовна Куркина,
Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН (Москва)

Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 11-04-00470 «Славянское слово: праязыковая реконструкция, формальный и семантический анализ».

человека, является нередко тем фактором, которым определяется выбор наименования. Мир реалий по-разному преломляется в тематических группах словаря. В исследованиях ремесленной терминологии О. Н. Трубачев [Трубачев 1966: 19] отмечает разную степень автономности лексической семантики в плане отношения к самим реалиям жизни и соответствующим понятиям: связь с плетением наиболее отчетливо реконструируется для лексики гончарства и минимально для терминологии ткацкого производства, что, видимо, следует понимать таким образом, что семантика плетения является сквозной для терминологии гончарного производства, а в терминологии ткацкого производства наименования мотивированы не только семантикой плетения, детали ткацкого станка получают наименование по сходству формы или действия с другими реалиями (челнок, сновало и т. п.).

Обращение к миру реалий, сочетание «внешнего» и «внутреннего», совмещение собственно языковых данных с внешним миром открывает недостающие в языке признаки, подводит к восстановлению семантических отношений в рамках определенной системы, в ряде случаев дает возможность более определенно представить тот глубинный смысл, который стоит за наименованием. Предметное содержание слова, свободное от экспрессивно-эмоциональных моментов, способствует более полному пониманию культурных реалий и исходных мотивировок, дает надежные критерии при проверке правильности выбранного этимологического решения.

Предметом нашего рассмотрения станет народная терминология земледелия, той сферы хозяйственной деятельности, которая пришла на смену охоте и собирательству и очень рано стала основным источником жизнеобеспечения. Формирование терминологии земледелия максимально приближено к исходной системе, временные границы которой обозначены эпохой славянских миграций, т. е. V–VII вв., и началом формирования славянских языковых групп на новой родине. При общей денотативной основе в составе этого фрагмента словаря выделяются две группы терминов: термины ранней формы земледелия, характеризовавшейся применением огня и подсеки, и термины полевого земледелия, начало которому положило применение двуполья и трехполья и более совершенных орудий труда. Новая форма земледелия сохраняет преемственность и вместе с тем отличается составом, семантическим наполнением, степенью дифференциации семантического поля, организацией семантических отношений.

Развитие специального «земледельческого» значения идет по линии включения нейтральной лексики в контексты, связанные с возделыванием и обработкой земли. Славянские термины земледелия,

восстанавливаемые по совокупности данных, предоставляемых разными источниками (собственно языковыми, историческими, этнографическими и др.), образуют макросистему, которая реализуется в разном объеме на славянской территории в зависимости от конкретных природных условий, от уровня применяемой технологии.

Исходное ядро терминологии самой ранней архаичной формы земледелия охватывает значительный по объему фрагмент славянского словаря, который имеет свой набор денотатов, свои особенности организации словообразовательных и семантических отношений, свою систему мотивационных связей. В своей основной части эта терминология является чисто славянской. В составе этой терминологической группы невелико индоевропейское наследие, лексико-семантические соответствия находим преимущественно в двух языковых группах — германской и балтийской: ср. слав. **lęda* ~ нем. *Land*, слав. **terbiti* ~ нем. *Dorf*; слав. **čьrt-* ~ лит. *cirte* ‘вырубленный участок в лесу’, **dьrati zěm’ǫ*, *cělinǫ*, *novinǫ* ~ лит. *lauką dir̃ti* ‘вспахивать поле’, слав. **dorъ* ~ лтш. *darījums* ‘луг на раскорчеванном месте’, топ. *Darījums*, *Darīmi*, слав. **utьrina* (: **terti*) ~ лит. *tīrums* ‘место, очищенное от мелких кустов и небольших деревьев; поле’, рус. диал. *выворот* ‘дерево, вывороченное с корнем’ ~ лит. *išverti kelmus* ‘выкорчевывать (извлекать) пни’, рус. *вырывать корни* ~ лит. *kelmus ráuti* ‘корчевать пни’ и т. д. (подробнее см.: [Куркина 2011, гл. III]). И одна из причин слабо выраженного индоевропейского наследия — неравномерное развитие земледелия. Лишь на севере Восточной Европы и в некоторых других областях, покрытых густыми лесами (лесистые Карпаты, некоторые районы Словении, Сербии, Черногории), долго, в некоторых районах вплоть до первой трети XIX в., удерживалась архаичная форма земледелия, тогда как на остальной территории Европы, где были благоприятные условия для земледелия, рано, начиная с VI в., наметился переход к полевому земледелию с применением плуга, и процесс этот сопровождался утратой старой терминологии и формированием новой системы терминов.

Терминология раннего земледелия обладает высокой степенью устойчивости, построена на однотипных, регулярных способах порождения специальных значений, связанных с разными видами разработки и возделывания земли в лесных условиях, и состоит из нескольких лексических групп, каждая из которых соответствует тому или иному виду подготовительных работ, направленных на получение лесных участков под посев. В рамках архаичной системы земледелия разграничены термины, обозначающие последовательные во времени операции по расчистке лесного участка: термины вырубки леса (**rǫbiti*, **sěkt’i*, **valiti*, **roniti lěsъ*, **mytiti*

и т. п.), подрезания коры (слав. **čerti*, **čьrsti*, **čьrtiti*, **terbiti*, рус. *подсочивать деревья*, с.-хорв. *podbijèliti*, *забéлити* ‘содрать кору с дерева, чтобы дерево подсохло’ и т. д.), выжигания лесного материала (**žegt’i*, **goréti*, **paliti*, **pragnǫti* / **prъžiti*, **smelti*, **prętati*, **šajati* и т. д.), корчевания (**kъrčevati*, **vortiti* и т. д.). «Земледельческое» значение — одно из многих значений, свойственных семантическому комплексу каждого из наименований. Внутренняя форма слов указывает на способ, приемы разработки лесного участка. В рамках отдельных подгрупп по признакам, положенным в основу номинации, прослеживается дифференциация по способам воздействия на денотат. Эта особенность терминологии наглядно проявляется в сфере горения, где семантические отношения выстраиваются по свойствам денотата: 1) горение как процесс уничтожения древесной массы, 2) слабо выраженное горение — тление (**šajati*, **tьlěti*, **čuriti* и др.), 3) горение, имеющее своим результатом сильное прогревание, высушивание земли (**pražiti*, **pekt’i* и т. п.). Если провести сравнение с кулинарной сферой, то к опорным признакам, организующим систему семантических отношений в сфере приготовления пищи, следует отнести ‘физический процесс горения’ (ср. **goréti*, **paliti*, **žegti*), ‘излучение тепла’ (ср. **žarěti*), ‘кипение’ (ср. **vьrěti*, **kypěti*), ‘испарение’ (ср. **prěti*) и т. п. [Якушкина 2008], тогда как в системе лексики раннего земледелия основным является противопоставление глаголов по признаку силы воздействия огня и по результату этого воздействия. По этому признаку проводится разграничение глаголов со значением ‘гореть’ и ‘тлеть’, ‘гореть’ и ‘быть охваченным пламенем’, ‘гореть’ и ‘прокаливать, излучать тепло, обдавать жаром’. В разных сферах, связанных с применением огня, наблюдается различие в составе лексических единиц. Характерные для сферы кулинарии глаголы **topiti*, **smažiti*, **vьrěti*, **kypěti* не входят в терминологию раннего земледелия. В системе огневого земледелия не находим и такие глаголы, как **zněti*, **gnětiti* и др.

Лексические группы с общей денотативной основой выстраиваются в синонимические ряды и образуют своеобразный текст, который управляет, организует и диктует отбор лексики для номинации реалий, выполняющих сходные функции. Определяющим здесь является принцип системной организации семантических отношений [Толстая 2008: 22–23]. С расширением параметров денотативной сферы, более дробной детализацией понятийного поля в разных диалектных системах происходит расширение состава каждой из подгрупп за счет расширения сочетаемости слова, подключения лексем, употребляемых в сходных контекстах. Так, наряду с основ-

ными терминами подрезания коры в славянских диалектах находим узколокальные образования, которые приобретают особое значение лишь при употреблении в определенных контекстах: ср. польск. диал. *oskoblić* ‘содрать с дерева кору’, *osmorgiwać* / *osmorgnąć*, *osmykać* ‘теребить, обрывать листья, ветки, содрать кору’; рус. диал. *огранивать* ‘снимать кору с дерева, чтобы дерево быстрее подсохло’, *подсочивать деревья*, с.-хорв. диал. *издроби лес* и т. д. Один и тот же термин, применяемый по отношению к разным видам подготовительных работ, входит в разные синонимические ряды и обладает разной денотативной областью. Так, гл. **lomati* может соотноситься с рубкой леса, корчеванием пней и в значении ‘корчевать’ (ср. ст.-рус. *ломати* ‘выкорчевывать’, рус. *ломать пеньё*) входит в одну семантическую парадигму с гл. **kъrčevati*, **koreniti*, **kopati* (ср. макед. диал. *копам лаз*, с.-хорв. диал. *prekopivat* ‘корчевать лес и разрабатывать землю’, ст.-польск. *kopać* ‘корчевать’), а в значении ‘рубить, валить лес’ коррелирует с гл. **rǫbiti*, **rězati*, **roniti*, **valiti* и т. п. При отсутствии жестких границ ряды терминов с общей темой сосуществуют и обогащают друг друга, лексемы одной группы нередко переходят в другие группы и начинают соотноситься с другими денотатами. Результатом таких реально-семантических отношений стало появление отдельной группы глаголов и соответствующих имен, которые терминологически не привязаны ни к одному из видов подготовительных работ, границы их употребления размыты. Эти глаголы говорят о многообразии способов воздействия на природу. С разных сторон характеризуют действие по разработке лесного участка глаголы **dьrati*, **tьrzati*, **lomati*, **terti*, **čukati*, **čьrtiti*, **vortiti*, **kopati*, **valiti* и т. п.

Наблюдаются внутренне взаимосвязанные перемещения, в результате одни и те же лексемы в разных славянских языках и диалектах занимают разное положение относительно терминов подсеки. Ср. вост.-слав. **roniti* в значении ‘валить, рубить лес’ и чеш. *roniti* ‘ронять’, с.-хорв. диал. *вражӣт* ‘корчевать, расчищать’, *врага* ‘расчищенное поле’ и рус. *-вергнуть* и т. п.

Основными единицами терминологии раннего земледелия являются предикаты и имена. Предикаты в узком понимании представлены глаголами, а имена в подавляющем большинстве случаев связаны отношением производности с глаголами (ср. **terbiti* ~ **terbъ* ‘земля, расчищенная под пашню’, **tьrzati* ~ словен. *trznica*, *trzina*, *trznina* ‘поле под паром’, **terti* ~ **utьrina* и т. п.). Выпадают из этого ряда регулярных отношений некоторые термины корчевания, производные от имен, ср. **kъrčь* ~ **kъrčevati*, **korenь* ~ **vykoreniti* и т. п. Сама природа денотата в значительной степени предопределяет характер

производимых действий. Выбор наименования мотивирован особенностями производимого действия.

В сфере наименований объектов земледелия наблюдается устойчивость языкового выражения. В процессе разработки лесного участка изменения претерпевает денотат, и термин в своем изначальном значении далеко уходит от конкретной реалии, свойствами которой и обусловлен выбор наименования. С переходом от одного этапа подготовительных работ к другому меняются сущностные характеристики денотата, и название начинает соотноситься с денотатом в новой, измененной форме. Семантические изменения, порожденные внешними факторами, приводят к наделению одного и того же термина разными значениями, которые не всегда связаны между собой отношением семантической деривации и, следовательно, к ним неприложимо понятие *иерархии* значений. В этих случаях между признаком, положенным в основу номинации, лексическим значением и внеязыковой действительностью нет тождества, между ними существует непрямая связь. Термин начинает относиться к разным денотатам. Ср. **čьrtežь* со значениями ‘подрезание коры’ > ‘участок леса, на котором произведено подрезание коры для последующей раскорчевки’ и ‘расчищенная из-под леса пашня’, укр. *чертúця* ‘дерево с ободранной корой’ и *pročert* ‘корчевье’; словен. *treb* ‘участок, на котором подрубались ветки’ и рус. *тéреб* ‘покос на месте вырубленного леса’; макед. *лаз* ‘раскорчеванное место’, словен. *lâz* ‘пастбище в лесу’, чеш. *laz* ‘место, где раскорчеван лес’ и ‘невозделанная земля’ и т. п. Возникают функциональные варианты термина, семантическая неопределенность термина снимается контекстом.

Реально-семантические отношения, в которых взаимосвязаны действия, направленные на разработку земли, и результаты этих действий в виде объектов деятельности человека, перекрываются не менее значимой для данной тематической группы системой, основанной на соотношении наименований разрабатываемых лесных участков. Изменения, которые претерпевает лесной участок в процессе разработки, находят отражение в наименованиях, образующих некоторым образом упорядоченную систему, которая как бы надстраивается над основной линией отношений. Из наименований, и особенно из контекстов, можно получить информацию о характере производимых или произведенных работ, о месте разрабатываемого участка во временной последовательности действий земледельца. Показательно, что информанты, отвечая на вопрос о значении того или иного термина, определяют его через последовательность действий, производимых земледельцем: ср. *Когда лес высекут*, *сожгут да посеют*, *так то нива*; *Дерба*, *лес выронят*, *пожгут*, *пенья*

выкорчат [Куркина 2011: 24]. Настоящее и прошлое сосуществовали в пределах осваиваемого пространства: **sěča* ~ **terbъ* ~ **palь*, **garь* ~ **kъrčevina*. В наименованиях, выполняющих знаковые функции, заключено представление о прошлом, настоящем и будущем разрабатываемого участка. Через семантику этих терминов получают выражение пространственно-временные представления эпохи раннего земледелия.

В осваиваемом пространстве объекты деятельности земледельца группируются и по другим признакам. Через всю систему терминов проходит противопоставление *terra culta* — *terra inculta*. На всей славянской территории пригодный для земледелия, но еще не разработанный участок, обозначаемый словами **lęda*, **lędina*, противопоставляется объектам, находящимся в стадии разработки. Разрабатываемый участок получает название по лесному материалу, который остается на месте срубленного леса, по остаткам деревьев, пней (ср. *суки*, *пенник* ‘подсека’), по культурам, возделываемым на расчищенном лесном участке (ср. *ре́пище*, *льнище*), и т. п. Важное для земледельца противопоставление подсеки по линии «новый — старый» получает лексическое выражение: ср. слав. *novina* (рус., с.-хорв. *новина* ‘нераскорчеванная земля’), рус. *поч́инок*, **niva*, для которого остается наиболее вероятным родство с греч. νειός ‘новь, впервые распаханное поле’ (< и.-е. **neu̯-os* ‘новый’, и т. п.), и **starina* (рус. диал. *старина* ‘давно расчищенный от леса участок’, с.-хорв. *starina*, топ. *Stara njiva*, сюда же рус. диал. *ветошь* ‘заброшенная подсека’). Одна из важнейших пространственных категорий связана с выделением и отделением широкого, открытого места, удобного для земледелия. Признак открытости, широты определяет исходную семантику слав. **pol’e* (~ др.-рус. *полъ* ‘открытый, свободный’, лат. *palam* ‘открыто’ и т. п.). Всем видам разрабатываемой лесной земли противопоставлена расчищенная, готовая к посеву земля (ср. рус. диал. *чища*, *гойка*, *гойнина*, от *гоить* ‘расчищать участок леса под пашню’, и т. п.). Выражением культурно освоенного пространства, отделяющего человека от непознанного, чужого, заселенного злыми духами, стала **zem’a*. При этом важно, что именно *zem’a* в отличие от других объектов включается в культурно-мифологические сюжеты.

Развитие технологии производства, переход к полевому пашенному земледелию не может не привести к угасанию одних категорий, определяющих структуру рассматриваемого фрагмента словаря, и усилению других. Этим процессам сопутствуют изменения в составе и семантике лексических единиц. Из употребления выходят термины, обслуживавшие старую форму земледелия. Факты говорят о сложности и многообразии путей перехода от самой примитивной

формы земледелия к паровому пашенному земледелию. На значительной территории там, где требовали природные условия, сосуществовали лесное и пашенное земледелие. У западных и южных славян, где переход к пашенному земледелию произошел относительно рано, вышедшая из употребления лексика сохранилась в исторических документах, этнографической литературе, старых описаниях способов получения земли под посев [Getreide 1972].

В условиях полевого земледелия перестройка системы терминов земледелия частично идет по пути переосмысления старых терминов, истоки которых восходят к эпохе архаичного земледелия. Новым содержанием наполняется унаследованный из индоевропейской эпохи славянский глагол **orati* (ср. лит. *árti* ‘пахать’, лат. *arō*, *-āre* ‘пахать; заниматься земледелием; добывать себе пропитание’, а также ‘бороздить’, греч. ἀρόω ‘бороздить’, ἀροῦν ‘пахать, возделывать’, ‘сеять’, ‘бороздить’, ирл. *airim* ‘пахать’), изначально соотносившийся с примитивной обработкой земли, которая, как отмечает Д. Зеленин, в русских диалектах передается выражениями «черкает», «царапает», «цапает» землю [Зеленин 1908: 10]. В эпоху плужного земледелия этот глагол становится обозначением пахоты в современном понимании, а название орудия **ordlo*, первонач. ‘палка с острым концом, которой проводилась неглубокая борозда, а выбитая из борозды земля валилась по обе стороны орудия’, переносится на соху и далее на плуг. Семантическим новообразованием является слав. **paxati* в значении ‘обрабатывать землю плугом, когда режущей частью орудия земля подрезается и переворачивается на одну сторону’. Анализ материала показывает, что исходной семантической базой для этого глагола, функционирование которого в качестве термина земледелия ограничено преимущественно вост.-слав. территорией, стало значение ‘мести’. Как видим, технический прогресс сопровождается переосмыслением старого термина.

Переход к постоянным пашенным полям стал возможным при восстановлении плодородия почвы путем применения пара, т. е. отдыха земли, сочетавшегося с двупольем и трехпольем, а затем и севооборотом и внесением удобрения в виде навоза. Освоение системы парового земледелия, когда после сбора урожая земля перепахивалась и оставлялась на отдых, применение новой агротехнической технологии способствовали появлению новых, более совершенных орудий и повышению уровня земледелия [Щекотов 1882: 111 и след.; Кочин 1965: 226]. Формируется новая терминология для обозначения земли, оставленной для отдыха. Исходной базой для таких терминов становится гл. **ležati* — **perlogъ* во всех языках, кроме крайнего запала славянского мира — в в.-луж. и н.-луж.: ср. слвц. *prieloh*,

príloh, *préloch* и т. д., чеш. *přiloh*, *přiloha*, польск. *przylóg*, *przylóga*, рус. *перелог*, *залежь*, укр. *переліг*, блр. *прелаг*, с.-хорв. *prelog*, *prijelog*, *preložnica*, словен. *prelog*; слвц. *úlahla* ‘необработанная земля’, чеш. *úlehle*, *úlehel*, *úlehli*, *ulehlina*, *úlehlina*, слвц. *oblah* ‘пустующая, необработанная земля’, польск. *oblóg*, *odlóg*, *otlog*, блр. *аблага*, рус. *облог*, *облога*, укр. *обліг* и т. д. [Palkovič 1963: 57–64].

Другие обозначения связаны с использованием земли под выпас скота. Земля, оставленная для отдыха, поросшая травой, мелким кустарником, утрамбованная и унавоженная скотом, получает название по гл. **telkt’i*: слвц. диал. *tlak*, *tlok*, польск. *tłok* ‘пастбище’, словин. *tlak* ‘утрамбованная земля’, укр. *толока* ‘поле, находящееся под паром и служащее выпасом для скота; выпас’ < **tolkъ*.

Признак тления, гниения растительности, оставшейся на поле после сбора урожая, стал определяющим для наименования **ugorъ* (~ **goréti*), представленного во всех славянских языках, кроме восточнославянских: чеш. *úhor*, слвц. *uhor*, польск. *ugór*, *wugór*, в.-луж. *wuhor*, н.-луж. *wugorina*, с.-хорв. *ugar*, *ugarnica*, словен. *ugor*.

Из других наименований пустой, необработанной земли отметим образования с основой **pust-*: ср. слвц. *pusták*, *zapuščeňisko*, *pusto*, в.-луж. *pušćina*, словен. *pustota*, польск. *zapusta* ‘необработанная земля, оставленная на залеснение’, рус. *пустошь*, блр. *пустка*, к ним примыкает рус. диал. *зябь* ‘земля, которая два года не засевалась озимыми’, ‘земля, вспаханная трижды и предназначенная для посева озимых культур’, ср. *зябить* ‘вспахивать поле под зябь’ и т. п. [СРНГ 12: 49, 46].

К этому ряду обозначений земли, оставленной на отдых, относится слав. **parъ*. Предполагается, что в северных русских областях паровая система применялась в XIV–XV вв. В одной северной грамоте XV в. *пар* выделен особо из обычной пахоты: «А та земля… сеять, и орать и *парить*, и пожни очищать», а в одном из документов XVI в. содержится предписание по обработке земли: «…та деревня орати и сеяти, *пары парити* и гной на ту землю возити» [Кочин 1965: 133]. Слав. **parъ* и производные от него известны в разных значениях: ‘вспаханное поле’ (укр. диал. *пареницa*, *парина*, *пáринина* ‘неглубоко вспаханная земля под посев’ и т. п., польск. диал. *par* ‘залежь, пар, вспаханный летом под озимые’), ‘поле, оставленное для выпаса скота’ (рус. диал. *пар* ‘место для выпаса скота’, *пáрена* = *толóкá* ‘поле, находящееся под паром и служащее выпасом для скота; выпас’ [СРНГ 25: 212, 221], польск. диал. *par* ‘трава, оставленная на вспаханном поле’); ‘поле под паром’ (помор. *p*^{u}*opar* ‘паровое поле’ [Варбот 1977, 25]). Название переносится на всходы, ср. укр. *napí* ‘осенние и весенние всходы посевов’ и др. [ЕСУМ 4: 286].

Слово толкуется по-разному в зависимости от выбора исходного значения. При выборе в качестве основного значения ‘пастбище’ наименование *пар* соотносится с *переть*, *пру*, ср. швед. *träde* ‘поле под паром’ ~ *träda* ‘топтать’, польск. *tłok* ‘паровое поле’ [Mikkola: 86]. Обозначения земли, оставленной на отдых, по гл. **orati* (ср. слвц. *ornica* ‘паровое поле’, диал. *u̯orňica* ‘перелог’, болг. *орница* ‘земля, не обрабатываемая два или три года’ и т. п.) служат основанием для объяснения **parъ* из **pa-orъ*, далее к гл. **orati* [Terras 1962: 73–74]. Высказывается мнение, что предварительная вспашка поля, оставленного под паром (ср. слвц. *ornica* ‘паровое поле’, диал. *u̯orňica* ‘перелог’, болг. *орница* ‘земля, не обработанная два или три года’), и является тем признаком, которым мотивировано наименование с удлинением корневого вокализма от гл. **porti* [Варбот 1977: 28]. В качестве семантической параллели приводится нем. *Brache* ‘паровое поле’ от *brechen* ‘ломать, рвать’ (ср. *den Acker brechen* ‘распахивать пашню’).

Если исходить из культурных реалий, то более верным представляется намеченное в словаре Ф. Миклошича отнесение слав. **parъ* к гнезду слав. **pьrěti* ‘преть’ [Miklosich: 232; также Фасмер III: 203 с литературой]. Поле оставлялось после сбора урожая незасеянным на какое-то время для отдыха. Верхний слой земли с остатками растительности переворачивался и закрывался землей, перегнившая растительность служила средством повышения плодородия почвы. Это объяснение с предполагаемым исходным признаком гниения принимается далеко не всеми исследователями, хотя и признается со ссылками на разные языки допустимость и возможность действия семантической модели ‘гнить’ > ‘паровое поле’, ср. лит. *pūdymas* ‘паровое поле’ ~ *pūdyti* ‘гнить’ и т. п. Подтверждением связи **parъ* с процессом гниения растительности могут служить примеры из картотеки «Архангельского областного словаря»[1]: «Jесли земла *пáрица*, то *пар* зовут»; «сперва поле *парица*, парами называли»; «делали *пары*, *запáривали* поле». Ср. еще арх. *попрéть* ‘впахать землю под пар’ (СРНГ 29: 342). Примечательно обозначение земли, оставленной на отдых, названием **ugorъ*, связанным с гл. **gorěti*.

При полевом земледелии упрощаются системные отношения: отпадает необходимость в дробной дифференциации действий по разработке земли, все действия, сводимые к распашке земли, покрываются глаголами **paxati* или **orati*. Особо отмечаются виды земли, оставленной для восстановления плодородия почвы,

[1] Благодарю сотрудников кабинета «Архангельского областного словаря» за предоставленную возможность ознакомиться с материалами картотеки.

в наименованиях которых получают отражение свойства такой земли. Но и в этой системе прослеживается закономерность, свойственная всей терминологии земледелия: изначальное наименование переносится на реалии с измененными характеристиками. Ср. слвц. диал. *úhorit'* ‘улучшать плодородие почвы «угаром»’ > ‘пахать неглубоко после жатвы’, с.-хорв. *ugariti* ‘пахать плугом’.

Изучение терминологии земледелия показывает, что значения, фиксируемые словарями разного времени на всей славянской территории или в отдельных ее регионах, неоднородны по своей природе. Из распределения значений на лингвистической карте нельзя непосредственно вывести историю семантических преобразований, но этот материал может помочь установлению путей развития семантики при условии более сложного, дифференцированного подхода к языковым явлениям. При реконструкции семантической эволюции слова, выявлении механизмов формирования многообразия значений необходимо учитывать целый ряд факторов, и один из них — соотношение слова и реалии. Именно установка на выявление реалий, культурно-исторических условий функционирования слова помогает воссоздать принципы организации семантических отношений на разных этапах развития тематической группы. Без понимания механизма формирования семантической структуры терминологии, особенно на самом раннем этапе развития земледелия, трудно понять характер мотивационных отношений. Надо иметь в виду, что семантические отношения терминов не исчерпываются действием основного для терминов раннего земледелия принципа регулярных, типовых отношений имени и глагола, когда по глаголам, обозначающим способ разработки лесной земли, получают наименования участки на разных стадиях подготовительных работ. В исследуемом фрагменте словаря далеко не все термины построены по принципу семантической деривации, когда семантический потенциал исходного слова дает импульс для развития производного значения. Выбор наименования для разрабатываемого лесного участка не всегда обусловлен свойствами, конкретными особенностями реалии. В ряде случаев отсутствуют признаки семантической эволюции. В последовательности действий, связанных между собой цепочкой преобразований, наименование с предыдущего объекта переходят на объект следующего по времени этапа разработки земли. И в этом случае разные значения одного и того же термина никак не связаны между собой отношением семантической деривации. И этот тип отношений, который не предполагает переноса названия по признаку сходства, нельзя не учитывать при выборе исходного признака, положенного в основу номинации, при построении иерархии значений.

Литература

Варбот 1977 — *Варбот Ж. Ж.* К реконструкции и этимологии некоторых праславянских глагольных основ и отглагольных имен. VII // Этимология 1977. М., 1979 (с обзором этимологических версий).

ЕСУМ — Етимологічний словник української мови / Ред. кол. О. С. Мельничук, И. К. Білодід, В. Т. Коломієць, Т. Б. Лукинова и др. Т. 1–6. Київ, 1982–2012.

Зеленин 1908 — *Зеленин Д.* Русская соха. Ее история и виды. Очерк по истории русской земледельческой культуры. Вятка, 1908.

Кочин 1965 — *Кочин Г. Е.* Сельское хозяйство на Руси в период образования Русского централизованного государства. М., 1965.

Куркина 2011 — *Куркина Л. В.* Культура подсечно-огневого земледелия в зеркале языка. М., 2011.

СРНГ — Словарь русских народных говоров. Вып. 1–43–. Л./СПб., 1966–2010–.

Толстая 2008 — *Толстая С. М.* Пространство слова. Лексическая семантика в общеславянской перспективе. М., 2008.

Трубачев 1966 — *Трубачев О. Н.* Ремесленная терминология в славянских языках. М., 1966.

Трубачев I — *Трубачев О. Н.* К вопросу о реконструкции различных систем лексики // О. Н. Трубачев. Труды по этимологии. Слово · История · Культура. Т. 1. М., 2004.

Фасмер — *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка / Пер. с нем. и дополнения О. Н. Трубачева. Т. I–IV. М., 1964–1973.

Щекотов 1882 — *Щекотов.* Сельско-хозяйственная культура // Сельское хозяйство и лесоводство. 1882. Январь. СПб., 1882.

Якушкина 2008 — *Якушкина Е. И.* К реконструкции структуры праславянского лексико-семантического поля // XIV Международный съезд славистов. Славянское языкознание. Доклады российской делегации. М., 2008.

Getreide 1972 — Getreidebau in Ost- und Mitteleuropa. Herausgegeben von I. Balassa. Budapest, 1972.

Mikkola — *Mikkola J.* // WuS B. 3. Heidelberg.

Miklosich — *Miklosich F.* Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. Wien, 1886.

Terras 1962 — *Terras V.* Russische *paren'* und *par* // Zeitschrift für Slavische Philologie. 1962. Bd. XXXX, 1.

Palkovič 1963 — *Palkovič K.* Názvy pro «úhor» a «prieloh» v slovenčine a iných slovanských jazykoch // Jazykovedný časopis. 1963. Ročn. XIV, I.

Warsz. — *Karłowicz J.*, *Kryński A.*, *Niedźwiedzki W.* Słownik języka polskiego. T. I–VIII. Warszawa, 1952.

С. Л. Николаев,
А. В. Тер-Аванесова,
М. Н. Толстая

Вокализм полесских говоров в праславянской перспективе

§ 0. Настоящий доклад демонстрирует возможность проекции современного языкового членения в эпоху диалектно раздробленного позднепраславянского языка на основании изоглосс, имеющих предположительно праславянское происхождение. В начале доклада обсуждаются общие вопросы, связанные с интерпретацией синхронных изоглосс как позднепраславянских. Обсуждается корреляция между ареалами археологических культур, принадлежавших восточнославянским племенам Припятского Полесья, и конфигурацией изоглосс разной временной привязки. Специальное внимание уделено проблеме происхождения твердых дентальных согласных перед рефлексами *ě и «нового ятя» в полесских говорах.

§ 1. Классификация белорусских и украинских полесских говоров на основании позднепраславянских изоглосс

1.1. Гипотеза о том, что современные группы полесских говоров восходят к племенным восточнославянским диалектам, высказана давно и не вызывает серьезных возражений (см., в частности, [Климчук

Сергей Львович Николаев,
Институт славяноведения РАН (Москва)
Александра Валерьевна Тер-Аванесова,
Институт русского языка РАН (Москва)
Марфа Никитична Толстая,
Институт славяноведения РАН (Москва)

Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Традиции и инновации в истории и культуре» (проект «История восточнославянского лингвистического ландшафта»).

1983б; 1998; Никончук 1983; Півторак 1988]). Мнения расходятся в том, были ли восточнославянские племенные диалекты потомками единого восточнославянского (древнерусского) праязыка — промежуточного этапа между праславянским и современными восточнославянскими языками и диалектами (гипотеза А. А. Шахматова), или восточнославянская общность сложилась из разнородных позднепраславянских диалектов в результате конвергенции, не уничтожившей полностью их различительные признаки. Мы придерживаемся последней концепции. В ее пользу говорят исследования А. А. Зализняка, доказавшего различие между древненовгородским диалектом и сопредельными ему древнерусскими диалектами на позднепраславянском, а не на «древнерусском» уровне (см. заключительные выводы в [Зализняк 2004: 56–57]), а также исследования в области восточнославянской исторической лингвогеографии за последние 30 лет [Климчук 1983б; Никончук 1983; Букринская, Кармакова 1998; 2002 и др.; Галинская 1984; 2001; 2002 и др.; Николаев 1988; 1989; 1990; 1994; 2008; 2011; Рыко 1998; Тер-Аванесова 2002; Шевелева 1993; 2010 — и др.].

1.2. Северные диалекты украинского языка (восточно-, средне- и западнополесский) [АУМ I, карта IX], белорусские западнополесские (брестско-пинские) говоры, бóльшая часть говоров, относящихся к юго-западному диалекту белорусского языка [БМЭ: 55], а также полесские говоры Восточной Белосточчины, которые в настоящем докладе называются подляшскими (другие их названия — надбужско-полесские, белостокские), образуют обособленную историко-лингвистическую зону внутри восточнославянского диалектного континуума. Эту зону можно называть *припятско-словенской*, так как она соответствует территории в бассейне Припяти, которую в VII–XII вв. населяли славяне пражско-корчакской археологической культуры и их потомки. «Славены, нужно полагать, — самоназвание пражско-корчакской культуры, впоследствии распространившееся на весь славянский мир» [Седов 2002: 319]. Однако мы будем использовать более краткий термин *дулебский*: «На рубеже VII и VIII вв. на территории Правобережной Украины в результате плавной эволюции на основе пражско-корчакских древностей складывается лука-райковецкая культура, носителей которой можно отождествлять с дулебами, названными в Повести временных лет. В VIII–IX вв. в ареале лука-райковецкой культуры наблюдается становление отдельных племен, зафиксированных русскими летописями» [Седов 2002: 320].

1.3. Наша классификация дулебских по происхождению говоров, специально учитывающая только древние изоглоссы, не является

альтернативной по отношению к синхронной классификации говоров Полесья и юго-западной Белоруссии. Общепринятая классификация во многом основана на поздних явлениях, возникших после падения слабых редуцированных (таких как «икавизм», «аканье»), или на не имеющих хронологии лексических изоглоссах. Современные пучки изоглосс, по которым полесская зона выделяется внутри восточнославянского континуума, и изоглоссы, по которым проводятся границы между группами полесских говоров, далеко не всегда соответствуют языковым границам племенной эпохи, хотя изоглоссы позднего образования, существенные для синхронного диалектного членения, нередко образуют общие пучки с древними [Бевзенко 1980: 200–213; Кривицкий 1983: 50–52; Климчук 1998; Аркушин 2007]. В частности, между западно- и восточнополесскими говорами сейчас находится переходная среднеполесская зона, формирование которой связано со взаимодействием древневолынских, дреговичских и древлянских по происхождению говоров в бассейнах рек, впадающих в Припять с юга (ср. [Никончук 1983]).

1.4. Ниже мы будем рассматривать: 1) изоглоссы, предположительно принадлежавшие позднепраславянскому диалекту, на котором говорили *дулебы* (*припятские словены*), носители лука-райковецкой археологической культуры VIII–IX вв., жившие в в бассейне Припяти, — прямые потомки *словенов*, носителей пражско-корчакской культуры V–VII вв.; 2) изоглоссы, характеризовавшие позднепраславянские диалекты восточнославянских племен — наследников лука-райковецкой культуры: *волынян*, *дреговичей*, *древлян* и *полян* X–XII вв.

1.4.1. Позднепраславянский диалект носителей лука-райковецкой археологической культуры VIII–IX вв. мы будем называть *дулебским диалектом*.

«Несмотря на обширность территории, заселенной рассматриваемой славянской (дулебской. — *Авт.*) группировкой, еще в IX–XII вв. проявляется единообразие в женских височных украшениях славян, вышедших из нее. Это явное свидетельство устойчивости этнографического своеобразия рассматриваемого праславянского образования, представленного в начале средневековья пражско-корчакскими древностями» [Седов 2002: 320–323]. Территория белорусских и украинских говоров дулебского происхождения включает племенные территории волынян, дреговичей, древлян и полян [АУМ I, карта IV; ДАБМ, карта I].

1.4.2. Наследники лука-райковецкой культуры, волыняне, дреговичи, древляне и поляне X–XII вв., говорили на *древневолынском*,

дреговичском и *древляно-полянском* племенных диалектах[1]. Эти племенные диалекты возникли в результате дробления позднепраславянского дулебского диалекта, который ниже называется *дулебским праязыком* (ПД). Современные группировки говоров, классифицируемые по изоглоссам «племенного» периода, мы будем называть, согласно их расположению в бассейне Припяти, *верхнеприпятской*, *северноприпятской* и *восточноприпятской* соответственно.

1.5. Ареал распространения дулебского диалекта и его потомков — Припятское Полесье, а его «племенные» подразделения можно было бы называть просто западно-, северно- и восточнополесскими[2]. Однако в этом случае мы наталкиваемся на устоявшуюся традицию, согласно которой значительная часть юго-западной Белоруссии рассматривается отдельно от Полесья, а белорусские юго-западные говоры не считаются полесскими, хотя в действительности неразрывно с ним связаны: юго-западную часть Белоруссии населяют потомки дреговичей, ближайших родственников древлян и полян. Традиционно северная граница Полесья как этнографического и лингвистического ареала проводится по линии Днепр — Березина — Слуцк — Ганцевичи — Кобрин — севернее Бреста [Толстой 1968: 5; Мороз, Чаквин 1988: 38–39]. Нам представляется, что этнолингвистическое Полесье лежит в границах распространения говоров, восходящих к дулебскому прадиалекту, resp. в ареале племенных культур, восходящих к культуре Луки-Райковецкой, и его северо-восточная граница проходит приблизительно по линии Новогрудок — Минск — Гомель. В настоящем докладе мы используем новые термины, по возможности позволяющие избежать двусмысленности в употреблении термина «Полесье».

1.6. **Пучок концентрических изоглосс дулебского происхождения** (карта 1).

Дулебские инновации образуют концентрические изоглоссы, которые противопоставляли дулебский диалект сопредельным позднепраславянским — днестровско-хорватскому, радимичскому и кривичскому (в его полоцком варианте). Нет никаких сомнений, что при-

[1] На древневолынском диалекте говорили волыняне и, возможно, бужане (если последние населяли бассейн именно Западного, а не Южного Буга). Различие между говорами древлян и полян на современном материале не прослеживается.

[2] Термины «южнополесский» и «севернополесский» также уже использованы Ф. Д. Климчуком в его типологической классификации [Климчук 1998].

водимый ниже список не исчерпывает всех концентрических дулебских изоглосс. Однако хронология большинства изоглосс, в первую очередь лексических (среди которых немало «соблазнительных»), неопределенна, а письменные памятники X–XIII вв. из региона Полесья до нас не дошли. Многие изоглоссы датируются эпохой «после падения редуцированных» и поэтому не являются праславянскими, хотя наверное обусловлены более древними предпосылками[3].

Рассматриваемые ниже явления в области исторической фонологии, морфологии и акцентологии заведомо восходят к эпохе «до падения редуцированных» (terminus ad quem праславянского языка), а некоторые из них исторически тождественны явлениям в других ареалах Славии.

Концентрическими дулебскими изоглоссами являются:

1а. Различные рефлексы исконно долгих гласных *ě и *ę[4] в зависимости от ударения.

1б. Отсутствие удлинения кратких *е, *о в безударных слогах перед слогами, содержащими слабые редуцированные.

2. Обобщение окончания *-ě в род., дат. и местн. п. ед. ч. в мягком варианте склонения *а*-основ.

3. Распределение ударения в *п*-причастиях от *а*-/*je*-глаголов по модели «*чеса́н* ⇔ *пи́сан*».

4. «Полуотметность» в итеративных *i*-глаголах а. п. b_1.

5. Баритонеза косвенных падежей ед. числа *о*- и *и*-основ а. п. *d*.

1.6.1. Следующая концентрическая дулебская изоглосса описывает 2 явления:

---

[3] Кроме прадулебских инноваций, в рассматриваемом ареале сохраняются праславянские архаизмы, которые объединяют отдельные части дулебского ареала с сопредельными диалектами. В частности, важна изоглосса тематического гласного -*о*- в 1 л. мн. ч. (*идо́м*, *несо́м*), имеющая раннепраславянское происхождение: во всех других славянских языках унаследованный из индоевопейского тематический гласный -*о*- в 1 л. мн. ч. заменился на -*е*- из окончаний других лиц. Данная изоглосса, по-видимому, объединяла дреговичский и радимичский диалекты [ДАБМ, карта 150].

[4] По-видимому, рефлексы *ę и *^{j}а в дулебских по происхождению говорах совпадают под ударением и в предударных слогах. Это не обязательно явление дулебского уровня — в ПД, вероятно, сохранялись носовые гласные. Недостаток материала не позволяет установить, отличаются ли их безударные рефлексы. Так как есть некоторые основания полагать, что по крайней мере в заударной позиции они различаются (см. §3.11), ниже мы (если это специально не оговорено) будем разбирать только рефлексы праслав. *ę.

1а) **различные рефлексы исконно долгих гласных *ě и *ę**[5] **в зависимости от ударения**;

1б) **отсутствие удлинения кратких *е, *о в безударных слогах перед слабыми** *ъ̯, *ь̯[6].

Праслав. *ě > ПД *ē и праслав. *ę > ПД *ǣ (> *i̯ǣ) под ударением и в заударных конечных открытых слогах[7] в противоположность праслав. *ě > ПД *е и праслав. *ę > ПД **æ > *е/*i̯æ в 1-м предударном слоге и > *е в остальных безударных позициях.

Праслав. *е, *о удлинялись перед слабыми *ъ̯, *ь̯ под ударением с ПД рефлексами *ē, *œ̄, *ō и не удлинялись в безударной позиции [АУМ I, карты 11–13, 15, 16, 43, 44, 48–51, 53–57, 64–66, 68, 69; II, карты 10, 11, 13, 14, 30, 31, 42, 45, 46, 53; III, ч. III, карты 7, 10, 30; ДАБМ, карты 8, 9, 16–20; AGWB I, карты 19–28, 34–36; II, карты 43, 44, 47, 48, 50, 52; III, карты 147, 149].

Современное распределение рефлексов *ě и *ę подтверждается данными северноукраинских памятников XVI–XVII вв. [Мойсієнко 2006: 80–153].

Подробно о рефлексах долгих и удлиненных гласных см. § 3.

Ниже в таблице 1 приведены иллюстративные формы по картографированным данным белорусских и украинских полесских говоров.

1.6.2. Дулебской по происхождению является морфологическая инновация, а именно **обобщение окончаний *-ě в род., дат. и местн. п. ед. ч., им. и вин. мн. ч. в мягком варианте склонения *а*-основ**, в результате чего возникла «полесско-украинская» система: в староукраинских грамотах северной локализации род. и дат.-местн. *землѣ*, *дȣшѣ* [Шахматов, Крымский 1922: 74], в говорах *zeml'ié*, *dušié*; *zeml'ę́*, *dušę́* (> *zeml'í*, *duší*) [АУМ III, ч. III, карта 27; ДАБМ, карта 68 (только дат.-местн.); AGWB III, карты 167, 168, 178]. Эта модель, характерная для большинства полесских говоров, представлена также в волынских,

[5] О рефлексах праслав. *а после мягких согласных и *j см. § 3.11.

[6] Только в западнополесских говорах северногалицкого происхождения удлинение *е, *о имело место и в безударных слогах, а затем сокращались любые безударные долгие гласные, при этом заударное *ę > *i̯æ*, а не > *æ* > *е*, как в дулебском (см. § 3.15).

[7] В дулебском диалекте не только *ē, но и другие гласные в безударном конечном открытом слоге имели особый просодический статус, в дальнейшем развиваясь практически так же, как в слогах под ударением. Свидетельством этого являются данные современных говоров. В открытом ауслаутном слоге *-ę, *-'a > ПД *-ǣ > *-i̯æ, как под ударением: *vímj'a ~ vímję*, *sáža ~ sáž'e* [АУМ II, карта 47–48]. В северноприпятских говорах (§ 2.3) с предударным аканьем различие между /о/ и /а/ сохраняется только в заударных открытых конечных слогах: *s'éno*, *mnóńo* [ДАБМ, карта 14].

Таблица 1

Праслав.	ПД	В совр. диалектах		ПД	В совр. диалектах	
		Под ударением	В заударных слогах		В 1-м предударном слоге	В остальных предударных слогах
*ě	*ē	*died* (*d'i̯ed*, *d'id*) или *dẹd* (*dẹd*, *did*, *d'id*, *dıd*)	**w xátie* (*w xát'ẹ*, *w xát'i*) или *w xátę* (*w xáti*)	*e	*stená* (*stıná*)	(нет картографированного материала)
*ę	*ǣ	*wz'aw*, *wz'i̯ęw* (*wz'ęw*, *wz'iw*); *mjáso*, *mję́so* (*mjíso*)	*vím'ja*, *vímję* (*vímji*)	*æ	*e > *petá*, *tresłá* (*pıtá*, *trısłá*) или *i̯æ > *pjatá*, *pję́tá* (*p'itá*), *trasłá*	*déset'*, *dévet'* (*désıt'*, *dévıt'*)
*o (перед *ъ̯, *ь̯)	*ō	*kuon'* (*~~kuən'~~*, *k'ün'*, *k'in'*) или *kọn'* (*~~kun'~~*, *k'ün'*, *k'in'*)	—	*o	*pod-* (безударные предлог и префикс), *u konc'ié* (*-ę́*, *-í*, *-cí*)	*rádos't'*[8]
*e (перед *ь̯)	*ē	*pieč* (*p'i̯eč*, *p'ič*, *pič*) или *pęč* (*pič*, *p'ič*, *pıč*)	—	*e	(нет картографированного материала)	*kámen'* (*kámin'*)
*e (перед *ъ̯)	*œ̄	*l'iọd* (*l'üọd*, *l'üəd*, *l'üd*, *l'id*) или *l'ọd* (*l'üd*, *l'id*)	—	?*œ	(нет картографированного материала)	*kón'om*

северных подольских, юго-восточных говорах и украинском литературном языке (род.-дат. местн. *землі*) [Тер-Аванесова 2002: 172, 176–177, 181–182]. В северо-восточной части северноприпятских говоров представлена как эта синкретическая система, так и противоположная, с генерализацией окончания *-i — ср. литер. белор. род., дат., местн. ед. ч. *зямлі*, *душы*, им.-вин. п. мн. ч. *землі*, *душы*, диалектные формы в [ДАБМ, карта 68]. Эта система характерна для белорусских говоров, восходящих к полоцко-кривичскому диалекту, откуда, вероятно, была заимствована в северноприпятские говоры. Она, по-видимому, окончательно сформировалась после XIV в. — в полоцких грамотах XIV в. в мягкой разновидности склонения еще сохранялись прасла-

[8] Восточнополесские формы *глибо́к*[уи]*й*, *-к*[уе]*й* и т. п. [АУМ I, карта 241] имеют окончания, заимствованные из форм с нафлексионным ударением.

вянские окончания[9]. В днестровско-хорватском диалекте и его современных потомках сохраняется праславянская система *а*-склонения.

1.6.3. В белорусском литературном языке, который в акцентологическом отношении имеет юго-западную («дреговичскую») диалектную основу, представлено «словенское» **распределение ударения в *п*-причастиях от *а*-/*je*-глаголов по модели «*чеса́н* ⇔ *пи́сан*»**: а) краткосложные основы: *рас-*, *запляска́ны*; *за-*, *сасмакта́ны*; *трапа́ны*; *захваста́ны*; *часа́ны* (/ *чэ́саны*); *стапта́ны*, а также по морфонологической аналогии корень с «полногласием»: *паласка́ны*; б) долгосложные основы: *лі́заны*; *па-*, *ска́заны*; *шчы́паны*; *звя́заны*; *за-*, *напи́саны*; *су́каны*; *на-*, *зні́заны* (исключение — *закалыха́ны*) [СБМ]. Эта же система отмечена в северноприпятских говорах. Она известна также и в производных — напр. *чеса́нка*, но *пи́санка* [Носович]. В современных полесских говорах распространена вторичная модель «*че́сан* = *пи́сан*» с обобщенной баритонезой, заменившая старую «*чеса́н* ⇔ *пи́сан*». Модель «*чеса́н* ⇔ *пи́сан*» была характеристикой именно дулебского диалекта: в сопредельных полоцко-кривичском и днестровско-хорватском реконструируется контрастная по отношению к дулебской система «*чеса́н*, *приче́сан* ⇔ (*на*)*писа́н*» [ЛАБМ 5, карты 182 (*чэ́саны* / *часа́ны*), 183 (*смо́ктаны* / *смакта́ны*), 181 (*абку́саны* / *абкуса́ны*)[10]].

В эпоху позднепраславянской диалектной раздробленности раннепраславянское ударение сдвигалось направо в зависимости от количества корня по-разному в разных диалектах. Сдвиг ударения был фонетически обусловлен и не зависел от морфологической позиции. В истории отдельных славянских языков распределение акцента определялось уже не фонетикой, поэтому мы имеем дело с морфонологизированными рефлексами, подверженными перестройкам. Согласно этой и другим акцентологическим изоглоссам, славянские диалекты распределяются по «восточноболгарской» (1-й), «антской» (2-й), «словенской» (3-й) и «восточнорусской» (4-й) группам. Предполагается, что деление засвидетельствованных языков на «акцентологические» группы опосредованно отражает диалектное членение позднепраславянского язы-

[9] В род. п. мягкого склонения формы на *-ѣ* отмечены наряду с инновационными формами на *-и*: *оу Свѧ|тоѣ Соѳьѣ* (Грамота Еп. полоцкого 1309 г.), *Марье*, *братье* ⇔ *Дв҃ци Би҃ци*, *братьи*, *Вельи* (Грамота Короля польского и литовского 1387 г.). В дат.-местн. п. ед. ч. всегда *-и*: *земли*.

[10] К сожалению, в ЛАБМ не картографировано ударение причастий долгосложных *je*-/*а*-глаголов. Однако ударение причастий *aje*-/*а*-глаголов в белорусских говорах вторично получило ударение *je*-/*а*-глаголов, поэтому географическое распределение *ку́сан* / *куса́н* идентично распределению *пи́сан* / *писа́н*.

ка к началу великой славянской миграции IV–V вв. [Булатова, Дыбо, Николаев 1988; Дыбо, Замятина, Николаев 1993; ОСА: 156–159; АССЯ: 18–24, 51–53].

Рассмотрим рефлексы ударения в презенсе *i*-глаголов а. п. b_2 и в *n*-причастиях от *a*-/*je*-глаголов а. п. b_2, в которых доминантные корни предшествовали долготным рецессивным суффиксам: праслав. *lõzitь ⇔ *mǫ̃titь; *čẽsanъ ⇔ *pĩsanъ. Засвидетельствованные славянские диалекты имеют 4 типа рефлексов[11]:

1. «Восточноболгарский», идентичный праславянскому: «*ло́жит = му́тит*; *че́сан = пи́сан*». Этот архаический тип характерен для восточноболгарских и части штокавских, кайкавских и чакавских говоров [ОСА: 155–156].

2. «Антский»: «*ло́жит*/*ложи́т*, *поло́жит* ⇔ (*за*)*мути́т*; *чеса́н*, *причéсан* ⇔ (*на*)*писа́н*», с «полуотметностью» в презенсе (см. о ней ниже). Этот тип имеют: из южнославянских — западноболгарские и штокавские говоры, из восточнославянских — говоры, восходящие к племенным диалектам кривичей (в частности, диалекты-предки северо-восточных белорусских говоров) и днестровских хорватов (к которому восходят галицкие и карпатоукраинские диалекты). Днестровские хорваты были потомками славян — носителей пеньковской культуры, т. е. *антами* Иордана [Седов 2002: 191; Николаев 2008]. В современных белорусских говорах полоцко-кривичского происхождения (северо-восточных) ударение *i*-глаголов а. п. *b* и *c* выровнено по типу «*но́сит*», однако в том или ином варианте сохраняется модель «*чеса́н*, *причéсан* ⇔ (*на*)-*писа́н*» (обычно в редуцированном виде «*чеса́н = писа́н*» [МЛАБМ]). В сопредельных южнопсковских говорах эта модель представлена также в *en*-причастиях тематических глаголов а. п. b_2 [Николаев 2001]. В галицких и карпатоукраинских говорах ударение причастий *a*-/*je*-глаголов обобщено, как и во всех других украинских говорах («*чéсан = пи́сан*»), зато регулярно сохраняется старая модель *i*-глаголов «*ло́жит*/*ложи́т*, *поло́жит* ⇔ (*за*)*мути́т*» [ОСА: 111–120].

3. «Словенский»: «*ложи́т* ⇔ *му́тит*; *чеса́н* ⇔ *пи́сан*» [ОСА: 193]. Такой тип имеют: из южнославянских — большинство словенских и многие кайкавские говоры; старохорватский «чакавско-кайкавский» диалект Ю. Крижанича; из западнославянских — севернолехитские поморские (словинско-кашубские) диалекты; из восточнославянских — восточноновгородские говоры, восходящие к племенному диалекту ильменских словен, а также, по-видимому, белорусские и украинские говоры, восходящие к дулебскому (припятско-словенскому) прадиалекту. Диалекты этой группы в Центральной Славии ассоциируются с носителями пражско-корчакской культуры VI в., т. е. *склавенами* Иордана [Седов 2002: 318–319]. По-видимому, «словены» (славены, славяне) было их самоназванием. Отчасти это прослеживается по самона-

[11] Ниже приводится классификация, уточненная по сравнению с [Николаев 1994: 34–35].

званиям носителей этого типа диалектов: словенцы, словинцы, новгородские (ильменские) словене.

4. «Восточнорусский»: в древнерусском ростово-суздальском диалекте «*ложи́т* = *мути́т*; *чеса́н* = *писа́н*». В русском литературном языке, имеющем ростово-суздальскую основу, первоначальное ударение *i*-глаголов в основном сохранилось, а ударение причастий имеет вторичную колонную баритонезу; первоначальное ударение сохранилось в субстантивированных формах: *смета́на* < *sъ-mẽtana от *metấti, а. п. b_1; *вяза́нка*, ср. *vęzãn- от *vęzấti а. п. b_1.

1.6.4. «Полуотметность»[12] в итеративных *i*-глаголах а. п. b_1 — колонное накоренное ударение в приставочных формах в отличие от смежно-подвижного в бесприставочных, как в укр. литер. *носи́ти* ⇔ *прино́сити*, *вози́ти* ⇔ *приво́зити*; белор. литер. *вазі́ць* ⇔ *прыво́зіць*, также в ряде *a*-глаголов: укр. литер. *трима́ти* ⇔ *отри́мати*. Данная концентрическая изоглосса не картографирована в национальных атласах и проводится приблизительно, по диалектным текстам. Кроме дулебских по происхождению говоров, она характерна для (южно)-волынских и юго-восточных украинских говоров, в становлении которых существенную роль сыграли южнополесские. Южная граница «полуотметности» в итеративных *i*-глаголах а. п. b_1 одновременно является и южной границей дулебского ареала. В отличие от «полуотметности» *ě*-/*i*-глаголов, «итеративная полуотметность» не свойственна украинским галицким и карпатским говорам. В северо-восточных белорусских говорах кривичского и радимичского происхождения «итеративная полуотметность» также отсутствует.

1.6.5. **Баритонеза косвенных падежей ед. числа *o*- и *u*-основ а. п. *d***[13]. Во всех дулебских по происхождению говорах *o*- и *u*-основы

[12] «Полуотметность» — болгарский по происхождению термин, введенный Б. Цоневым [Цонев 1903]. «Полуотметным» этот тип акцентного чередования назван потому, что предполагалась левосторонняя оттяжка ударения («отметность») в болгарских приставочных формах *l*-причастия и аориста, отсутствующая в бесприставочных (поэтому «полуотметность»): *ходѝл* ⇔ *прихо̀дил*, *мина̀л* ⇔ *замѝнал*, *писа̀х* ⇔ *напѝсах* и т. п. В дальнейшем термин «полуотметность» стал употребляться по отношению к подобному чередованию в любых формах глагола во всех славянских языках: в бесприставочных формах ударение на суффиксе, в приставочных — на корне.

[13] А. п. *d* имели основы балто-славянского мужского рода неподвижной акцентной парадигмы; в праславянском им была свойственна смешанная акцентная кривая в ед. ч., состоявшая из энклиномических форм им. и вин. п. и ортотонических форм остальных падежей ед. ч.; ортотонические

а. п. *d* имеют баритонированные формы косвенных падежей ед. числа (кроме местн. ед.): gen. sg. *róħa*, *sl'iédu*, *sn'iéħa* [Николаев 1989: 195], укр. литер. *póга*, *слíду*, *снíгу*, белор. литер. *póга*, *слéду*, *снéгу*. Колонная баритонеза отражает распространение энклиномичности им. и вин. п. ед. ч. на формы остальных падежей. Баритонеза косвенных падежей ед. числа *o*- и *u*-основ а. п. *d* — позднепраславянская инновация, свойственная славянским диалектам «словенской» группы. В кривичских по происхождению (белорусских северо-восточных и западнорусских) и днестровско-хорватских (галицких и карпатоукраинских) говорах основы а. п. *d* имеют окситонированные или баритонированные/окситонированные формы ед. числа в свободном варьировании: полоцк. gen. sg. *rъγá*, *sl'ъdá*; карпатоукр. *roħá*, *sl'idú*, *sn'iħá* [АССЯ: 137–138; Николаев 2012: 71–73; 91–165]. Ударение род. п. ед. ч. от *vozъ, *stogъ а. п. *d* картографировано в [ЛАБМ 5, карты 124, 129]. В (южно)волынских и юго-восточных украинских говорах, а также в литературном украинском языке основы а. п. *d* как правило имеют ударение, идентичное дулебскому; в подольских говорах только праславянские *u*-основы а. п. *d* имеют окситонированные формы ед. числа [АССЯ: 140]. Следы окситонезы обнаруживаются в старожильческих днестровско-хорватских по происхождению говорах Западного Полесья (§ 2.1.3). Окситонеза форм ед. числа основ а. п. *d* представлена в белорусских говорах Посожья в ареале племенного диалекта радимичей, по ряду признаков близкого к днестровско-хорватскому [АССЯ: 139][14].

1.7. **Пучок изоглосс, ограничивающий дулебский ареал с севера** (см. карту 1).

1.7.1. **Северная граница удлинения *e и *o перед слабыми редуцированными**[15] [ДАБМ, карта 35; ОЛА, вып. 6, карты 10, 23]: укр. *кінь*, укр. и белор. диал. *k'in'*, *kɨn'*, *kün'*, *kɯэn'*, *kuon'*, *kọn'* < *kōn'ь̯ < *konjь[16]; укр. *ніч*, укр. и белор. диал. *pič*, *pič*, *pieč* < *pēčь̯ < *pektь;

формы приобрели в большинстве славянских диалектов окситонезу благодаря правостороннему дрейфу ударения [Николаев 2012: 66–90].

[14] О верхнеднестровском происхождении радимичей свидетельствует также гидронимика [Седов 1970: 142–143; 1982: 157; Соловьева 1968: 352–356].

[15] Неточно описываемого как удлинение в «новозакрытых слогах» — слоги «закрылись» после того, как фонетическое удлинение гласных произошло перед слабыми редуцированными.

[16] Расщепление *o на две фонемы характерно для восточных и южных русских говоров, однако в них «закрытое *o*» возникло только под ударением, в результате удлинения *o в слогах с «восходящей интонацией»

укр. *лід*, укр. и белор. диал. *l'id*, *l'üd*, *l'üəd*, *l'uod*, *l'ọd* < *l'ēdъ̯ < *ledъ. Эта изоглосса объединяла дулебский и днестровско-хорватский диалекты. В отличие от днестровско-хорватского, в дулебском гласные удлинялись только под ударением (§1.6.1). Изоглосса удлинения *е и *о в «новозакрытых» слогах является древней границей между говорами дулебского, с одной стороны, и полоцко-кривичского и радимичского происхождения — с другой: в кривичском и радимичском диалектах гласные перед слабыми редуцированными не удлинялись.

[Шахматов 1914; Васильев 1929], независимо от структуры слога: русск. диал. *dom*, *dɔm*, *dɔu̯m* < *dŏmъ̯ < *dȍmъ; *pól'e*, *pɔ́l'e*, *pɔ́u̯l'e* < *pŏl'e < *pôl'e ⇔ *stọł*, *stuoł*, *stu̯oł* < *stōlъ̯ < *stõlъ; *vọ́l'a*, *vuól'a*, *vu̯ól'a* < *võl'a. Этот же принцип рефлексации *о отражен в «синтетических» системах, в которых *о удлиняется независимо от интонации в «новозакрытых» слогах. Они известны из «Мерила Праведного» и новгородских говоров д. Свинорт (Невское) и Выбити [Зализняк 2010 (см. специально с. 684); Николаев 1996а: 214–215]. В белорусских и русских говорах кривичского происхождения отмечена система с акцентным протипопоставлением «двух *о*», принципиально отличающаяся от восточнорусской. В частности, в говорах д. Межно́ Полоцкого р-на Витебской обл. (ниже М.) и д. Закру́пье Бежецкого р-на Тверской области (ниже З.) в односложных словах дифтонг /uo/, как правило, представлен в им.-вин. п. ед. ч. *о*-, *u*-, *i*-основ а. п. *d*, тогда как в соответствующих формах а. п. *b* и *c* представлен монофтонг /o/. А. п. *d*: *bôrъ > М., З. *bu̯or*; *brôdъ > М., З. *bru̯ot*; *dôlъ > З. *du̯oł*; *kônъ > З. *ku̯on*; *kôrъ > М. *ku̯or*; *lômъ > М., З. *łu̯om*; *nôktъ > М. *nu̯oč*, З. *nu̯oč'*; *nôsъ > М., З. *nu̯os*; *pôtъ > М., З. *pu̯ot* и т. д. А. п. *b*: *bõbъ > М., З. *bop*; *bõjь > З. *boj*; *bõkъ > М., З. *bok*; *dvõrъ > М., З. *dvor*; *klõpъ > М., З. *kłop*; *kõnjь > М., З. *kon'*; *kõtъ > М., З. *kot*; *mõlь > М., З. *mol'*; *nõzjь > М., З. *noš*; *põdъ > М., З. *pot*; *põstъ > М., З. *post* и т. д. А. п. *c*: *bôgъ > М., З. *box*; *dômъ > М., З. *dom*; *drôbь > М., З. *drop*; *drôzdъ > М., З. *drost*; *gnôjь > М. *γnoj*, З. *gnoj*; *gôdъ > М. *γot*, З. *got*; *gôstь > М. *γos'c'*, З. *gos't'*; *kômъ > М., З. *kom*; *môrъ > М., З. *mor*; *môstъ > М., З. *most*; *môzgъ > М. *mozk*, З. *mosk*; *pôlъ > М., З. *poł* и т. д. В отличие от восточнорусских говоров, в которых (при наличии «двух *о*») *ъ > /o/, в этих кривичских говорах рефлексы *ъ дробятся аналогично рефлексам *о. А. п. *d*: *rɫ̂žъ > З. *ru̯oš*; *sɫ̂nъ > М., З. *su̯on* и т. д. А. п. *b*: *klɫ̃kъ > М., З. *kłok*; *krɫ̃tъ > М., З. *krot*; *lɫ̃bъ > М., З. *łop*; *rɫ̃tъ > М., З. *rot* и т. д. А. п. *c*: *brɫ̂vь > З. *brof'*; *dɫ̂ktь > М., З. *doč*; *krɫ̂vь > М. *krow*, З. *krof* и т. д. Эти системы, распространенные от северо-восточной Белоруссии вплоть до Среднего Поволжья, были обнаружены нами в ходе работы над базой данных по фонетике русских говоров (проект РГНФ №12-04-12010в) при расшифровке магнитофонных записей, сделанных в экспедициях Института славяноведения в 1996 и 1997 гг. В торопецко-селижаровских и заонежских говорах отмечено также противопоставление «двух *о*», не связанное с удлинением: /uo/ < *о и /o/ < *ъ [Николаев 1996а: 211–214; Тер-Аванесова 1988].

1.7.2. **Северная граница развития *Pę > *Pi̯ǣ > *Pja / Pję***: *mjáso / mjęśo*, *mn'áso / mn'ęśo* < *męso, *pjat' / pjęt'* < *pęt̹ь [ДАБМ, карты 50–51]. Севернее линии Барановичи — Слуцк — Бобруйск — Гомель *Pi̯a > *P'a* (*m'áso*, *p'at'*) под влиянием северо-восточных белорусских говоров; такое же независимое развитие отмечено в ряде украинских средне- и восточнополесских говоров. В дулебском диалекте отсутствовала позиционная палатализация губных фонем, поэтому в диалектах-потомках *Pę > *Pi̯æ > *Pja / Pję* (в отличие от *Tę > *Ti̯æ > *T'a / T'ę*). Эта изоглосса объединяет дулебские по происхождению говоры с днестровско-хорватскими.

1.7.3. **Северная граница «полуотметности» в *ě-/i-глаголах***: укр. литер. *лежи́ть* ⇔ *зале́жить*, *сиди́ть* ⇔ *поси́дить*, *терпи́ть* ⇔ *поте́рпить* и т. д., белор. литер. *ляжы́ць* ⇔ *адле́жыць*, *сядзі́ць* ⇔ *прасе́дзиць* и т. д. «Полуотметность» *ě-/i*-глаголов характерна для юго-западных и полесских белорусских говоров и всех украинских диалектов (также для белорусского и украинского литературных языков). В «антских» западноболгарских, штокавских, галицких и карпатоукраинских говорах «полуотметность» охватывает не только *ě-/i*-глаголы, но и тематические и *i*-глаголы [АССЯ: 32–33; Николаев 2001]. В белорусских говорах кривичского и радимичского происхождения «полуотметность» *ě-/i*-глаголов отсутствует.

1.8. Помимо перечисленных выше концентрических изоглосс, говоры дулебского происхождения с юга ограничены **северной изоглоссой развития *je > *ja* в конечных слогах под ударением и в безударных слогах**, характерного для говоров днестровско-хорватского происхождения и волынского койне (§ 2.1.3): напр., полесск. *жит'*(:)[é], *нас'ін'*(:)[e], *камін'*(:)[e] в противоположность «общеукраинскому» *жит'*(:)[á], *нас'ін'*(:)[a], *камін'*(:)[a] [АУМ II, карты 183, 389; ДАБМ, карта 17; AGWB II, mapa 108; Шевельов 2002: 438–443]. Развитие *je > *ja* в этой и других позициях (напр., укр. литер. *яли́нка* < *jedlinъka) является древним, оно объединяет украинские юго-западные говоры со словацким языком. В эпоху ранней миграции носителей северногалицких говоров на Волынь (§ 2.1.3) эта изоглосса, по-видимому, не захватывала северногалицкие говоры: в западнополесских говорах смешанного древневолынско-северногалицкого происхождения переход *je > *ja* отсутствует. Начальное безударное *je-* в заимствованиях субституировалось через *ja-*, отсюда форма *Явдоха* имени Евдокия — к сожалению, в АУМ рефлекс *je- > *ja-* картографирован только по диалектным формам этого имени [АУМ I, карта 46; II, карта 145].

§ 2. Ареалы племенных диалектов, восходящих к дулебскому

В VIII–XIII вв., эпоху зарождения самостоятельных славянских языков, дулебский диалект разделился на три (возможно, четыре) племенных диалекта. На карте 2 показано соотношение независимо установленных: 1) археологических ареалов припятско-словенских племен X–XII вв. [Седов 1999: 49] и 2) ареалов племенных диалектов (о современных изоглоссах, восходящих к «племенной» эпохе, см. ниже).

2.1. **Древневолынский диалект** VIII–XIII вв. (карта 2). К нему восходит большинство полесских (брестско-пинских) белорусских говоров, западнополесские украинские говоры и подляшские говоры (на юго-западе и крайнем западе ареала говоры древневолынского происхождения чередуются с северногалицкими). Далее эти говоры называются *верхнеприпятскими*.

2.1.1. Большинство верхнеприпятских говоров расположено на северо-восточной периферии археологического ареала волынян VIII–XIII вв. В VIII–IX вв. волынский ареал ограничивался верховьями Буга, Стыри и Горыни [Седов 1999: 47], в дальнейшем он расширился к северу, распространившись на территории, населенные балтами: «В X–XII вв., согласно археологическим данным, волыняне и дреговичи расширили свои территории в северном направлении, освоив земли Среднего Побужья и верхнего Немана, левых притоков Припяти и нижнего течения Березины» [там же]. Согласно О.И. Скопненко, Берестейский край «до IX ст. н. е. був заселений нечисленним західнобалтським населенням (ятвягами). У VIII–IX ст. на Берестейщину спрямувався потік слов'янської колонізації. У цьому регіоні фіксуються дреговицькі археологічні пам'ятки. [...] Хоч дреговицькі колоністи потрапили на землі майбутньої Берестейської волості ще перед волинянами, волинська міграційна хвиля IX–XII ст. була потужнішою й перемогла дреговичів» [Скопненко 1997: 9]. И действительно, дреговичские по происхождению изоглоссы в основном проходят по Ясельде или чуть южнее ее (§ 2.3 и карта 2).

2.1.2. Дальнейшую (после XIII в.) историю древневолынского диалекта можно проследить по конфигурации изоглосс. На территории Полесья верхнеприпятские говоры распространились на восток вплоть до западной границы дреговичей в междуречье Стыри и Горыни и до западной границы древлян западнее Горыни; на север — до междуречья Ясельды и Щары.

Согласно нашим данным, относительно «чистые» по происхождению верхнеприпятские говоры образуют:

1) компактный ареал в среднем течении рек Горынь, Случь и Стырь;

2) рассеянный ареал в Пинском Полесье, в междуречье Ясельды и Припяти, где наблюдается мозаичное расположение говоров древневолынского и северногалицкого происхождения;

3) компактный ареал к северу от г. Каменца Брестской обл., продолжающийся на Восточной Белосточчине в Польше между Бельском-Подляским и белорусско-польской границей в междуречье Западного Буга и Нарева.

Южная граница верхнеприпятских говоров проходит по рассмотренным выше дулебским изоглоссам — рефлекс *ę > *æ > *e (*pámet'*, *déset'* и их фонетические варианты); отсутствие удлинения *e, *o в безударных «новозакрытых» слогах [АУМ II, карта 393][17]. Основная граница между верхне- и восточноприпятскими (§ 2.2) говорами проходит по изоглоссе рефлекса конечного безударного *-ě > *-e*, *-ɨ*/*-y* (после твердых дентальных[18]) в верхнеприпятских и > *-ie > *-e*/*-i* (после мягких дентальных) в восточноприпятских говорах (§ 3.4). Некоторые, по-видимому, древневолынские по происхождению, изоглоссы проходят по Случи и по междуречью Уборти и Ужа [АУМ II, карты 390–394]. Северная граница верхнеприпятских говоров приблизительно совпадает с южной границей различения праслав. *i и *y [АУМ III, ч. III, карта 1; ДАБМ, карты 37–40; AGWB II, карта 86] и южной границей мягких дентальных фонем перед *i: *t'íxo* / *c'íxo* [АУМ I, карта 102; II, карта 87; III, ч. III, карта 14; ДАБМ, карты 55–56].

Концентрической древневолынской изоглоссой является использование усилительной приставки *na-u- в превосходной степени прилагательных: [наў-]*старший* и т. п. Преимущественно в верхнеприпятских говорах используется приставка *na- (без «расширений» *i и *u)[19] [АУМ II, карта 165]. В переходной зоне между верхнеприпятскими и восточноприпятскими говорами отмечена приставка *nadъ-

[17] Большинство изоглосс этого пучка лексические, а потому не поддаются объективной хронологизации.

[18] Термин «дентальные (согласные)», если это специально не оговаривается, в тексте настоящей статьи относится только к *t, *d, *n и их рефлексам. Рефлексы прочих переднеязычных согласных, в конкретных говорах участвующих в оппозиции по твердости/мягкости, в настоящем докладе систематически не рассматриваются и привлекаются в случаях, когда их рефлексы аналогичны *t, *d и *n.

[19] Усилительная приставка *на-* известна также из русских говоров: *нáбольший*, также сравн. *набóля* [СРНГ 19: 127] и т. п.

([над-]*ста́рший*), возможно, являющаяся вторичным субститутом *na- и *na-u-. В остальных полесских говорах, а также в говорах днестровско-хорватского происхождения[20], используется «общевосточнославянское» *na-i-. Сложная приставка *na-u- является исключительно верхнеприпятской. Она образована по той же модели, что *na i, но с частицей *u. Образование приставки *na-u- относится к эпохе, когда усилительное *na являлось самостоятельной частицей, которая в свою очередь могла «усиливаться» частицами *i или *u. Частица *i в современных восточнославянских языках используется в значении сочинительного союза (‘и’); частица *u самостоятельно не употребляется, в основном сохранившись в сочетаниях с частицей *že (укр. *уже*, *вже*, русск. *уже*, *неужели* и т. д.).

Также к древневолынской эпохе, по-видимому, относится замена окончания род. п. ед. ч. твердого склонения прилагательных *-ojě окончанием *-ejě мягкого склонения: *добр*[ейі], *добр*[ей] [АУМ II, карта 218][21].

2.1.3. Ю. В. Шевелев считает, что «и западнополесская, и подляшская диалектные зоны в течение среднеукраинского периода поглотили целый поток переселенцев с Галичины и с Волыни, вследствие чего утратили „чистоту“ своего северного типа» [Шевельов 2002: 183]. Непосредственно к югу от волынян располагалась культура подплиточных захоронений, которую считают культурой восточнославянских (днестровских) хорватов [Седов 1982: 123–128; 1999: 38–40]. Украинские говоры Галичины и Закарпатья восходят к днестровско-хорватскому диалекту, имевшему праславянское «антское» происхождение, см. о его отличительных признаках в [Николаев 2008].

На Волыни южнее Полесья после XIV в. на основе северногалицких говоров сформировалось волынское койне. В сложении волынского койне принимали участие северноукраинские говоры дулебского происхождения. Восходящие к волынскому койне (южно)волынские говоры расположены в зоне от Среднего Побужья на западе до Житомира и Винницы на востоке, их южная граница проходит приблизительно по линии Белз — Мосты Великие — Буск — Золочев — Збараж — Красилов — Хмельник — Калиновка — Тетиев [АУМ I, карта IX; II, карта 396]. Многие галицкие (днестровско-хорватские) особенности, контрастные по отношению к дулебским, в волынском койне были элиминиро-

[20] В Закарпатье и в Буковине приставка *na-i- имеет вид *май* под влиянием рум. *mai* ‘более’.

[21] По всей видимости, к «племенной» эпохе восходит и ряд западнополесских лексических изоглосс [АУМ II, карты 391–392].

ваны или сглажены[22]. На волынское койне перешли потомки южных древлян, поэтому, в частности, «современная южная граница правобережного полесского диалекта, разделяющая его с южноволынскими говорами, уже не совпадает с границей археологических культур» [Никончук 1983: 164][23]. На Волыни южная граница древневолынского диалекта сместилась к северу, так как на койне перешли и южные волыняне.

В Западном Полесье распространены говоры, имеющие как древневолынские, так и днестровско-хорватские черты. Носители днестровско-хорватских говоров переселились туда достаточно рано — в отличие от волынского койне, в этих говорах отсутствует ряд «общегалицких» явлений (в частности, *je > *ja*, § 1.8) и произошло сокращение безударных долгих гласных, как в дулебском диалекте, при этом набор безударных долгих гласных и их рефлексы отличаются от древневолынских (§ 3.15); отмечается окситонеза основ а. п. *d* (§ 1.6.5). Говоры северногалицкого происхождения расположены в основном в долине Западного Буга к северу от Владимира-Волынского. Происхождение многих говоров между Западным Бугом и Стырью и в Подляшье выяснить нелегко: галицкие и древневолынские признаки проявляются в них непоследовательно (карта 3)[24]. Внутренняя миграция носителей уже заметно разошедшихся между собой верхнеприпятских и галицких говоров привела к формированию специфической диалектной мозаики [Климчук 1998: 128–129].

2.2. Близкородственные **диалекты древлян и полян** VIII–XIII вв., к которым восходят украинские восточнополесские (право- и левобережные по отношению к Днепру) говоры и восточная часть среднеполесских[25] (карта 2). В VIII–IX вв. древляне населяли бассей-

---

[22] В частности, у *о*-основ м. р. смешанной а. п. *d* «галицкий» принцип выбора окситонированных вариантов сменился «волынским» принципом выбора баритонезы. Праславянская по происхождению галицкая парадигма род. п. *воды* ⇔ *землѣ*, дат.-местн. *водѣ* ⇔ *земли* заменена полусинкретической дулебской: род. п. *воды* ⇔ *землѣ*, дат.-местн. *водѣ* = *землѣ*.

[23] По Н. В. Никончуку, граница между правобережным полесским и волынским диалектами первоначально совпадала с границей черняховской и позднезарубинецкой культур первой половины I тыс. н. э. по линии Ровно — Житомир [там же].

[24] Благодаря смешанному происхождению многих западнополесских говоров последние по ряду изоглосс входят в «волынский», «подольско-надднестровско-карпатский», «надбужско-надднестровско-карпатский» и «надсанский» ареалы [АУМ II, карты 395–397].

[25] Основной массив говоров «малечского типа» в классификации Ф. Д. Климчука [Климчук 1998].

ны рек Тетерева и Ужа, поляне — киевское поречье Днепра с Ирпенью и устьем Десны [Седов 1999: 47]. Говоры древляно-полянского происхождения мы называем *восточноприпятскими*. На основании данных современных говоров трудно установить разницу между полянским и древлянским племенными диалектами — представляется, что она не была существенной. Возможно, признаком полянского диалекта была ранняя дифтонгизация и переход в средний ряд рефлексов удлиненного *ō > *ио* > *иə*/*иі* [АУМ I, карты 57–62].

Как показывает сравнение изоглосс племенной эпохи и границ археологических культур, ареал восточноприпятских говоров значительно расширился на северо-восток в Левобережном Полесье, но между Днепром и Черниговом они уступили место северноприпятским (дреговичским) говорам. Южные говоры древлян и полян заместились волынским койне (§ 2.1.3, см. также [Никончук 1983: 163–164]). В Правобережном Полесье в западном и северном направлениях первоначальный ареал древляно-полянского диалекта не расширился; западная граница проходила между Случью и Убортью, северная — по болотам южнее Припяти (в низовьях рек, впадающих в Припять с юга, жили дреговичи). Западная граница проходит по изоглоссе рефлекса конечного безударного *-ĕ > *-е*, *-і*/*-у* (после твердых дентальных) в верхнеприпятских и *-ĕ > *-іе* > *-е*/*-і* (после мягких дентальных) в восточноприпятских говорах. Эта граница (за исключением участка в среднем течении Случи) соответствует западной границе археологического ареала древлян. Северная граница восточноприпятских говоров приблизительно совпадает с южной границей различения праслав. *i и *y [АУМ III, ч. III, карта 1; ДАБМ, карты 37–40] и южной границей мягких дентальных перед *i — *t'íxo*/*c'íxo* [ДАБМ, карта 55–56; АУМ I, карта 102; II, карта 87; III, ч. III, карта 14].

2.3. **Дреговичский диалект** VIII–XIII вв. (карта 2). К этому диалекту восходят белорусские говоры, распространенные к северо-востоку от Ясельды в бассейнах рек, впадающих в Припять с севера, а также в узкой полосе южнее Припяти от Горыни до Мозыря (на территории Белоруссии и Украины). Говоры, восходящие к дреговичскому диалекту, мы называем *северноприпятскими*. Они находятся в археологическом ареале дреговичей VIII–XIII вв. Первоначально (в VIII–IX вв.) дреговичи населяли среднее течение Припяти (окру́га Турова) [Седов 1999: 47], в дальнейшем их ареал значительно расширился на север до широты Минска, а на юге они заселили низовья рек, впадающих в Припять с юга. Северная граница северноприпятских говоров определяется северной изоглоссой удлинения подударных праслав. *е, *о в «новозакрытых» слогах [ДАБМ, карты 34–35]. Южная граница приблизительно совпадает с южной границей раз-

личения праслав. *i и *y и южной границей мягких дентальных фонем перед *i — *t'íxo / c'íxo*; ср. § 2.1.2.

2.4. Начиная со времени заселения южной части Припятского Полесья славянами в V–VI вв. его этнолингвистическая история была относительно стабильной. Значительные широтные миграции населения Полесья и юго-западной Белоруссии в историческое время не отмечены. По словам Н. В. Никончука [1983: 164], «те явления, которые хронологически согласуются с периодом древнерусского языка, не согласуются с феодальными границами территориально. Они занимают различные восточнославянские зоны и на современной диалектной карте представляют собой трансформированное отражение древнерусских диалектных зон, связанных с участием в их формировании племенных диалектов».

Современные Полесье и сопредельная юго-западная Белоруссия представляют собой счастливый случай непосредственной эволюции от дулебского диалекта к племенным диалектам и далее к современным говорам. В этом отношении полесские говоры сравнимы только с украинскими галицкими и карпатоукраинскими говорами, непосредственно восходящими к антскому по происхождению диалекту днестровских хорватов [Николаев 2008; Седов 1982: 123–128].

§ 3. К истории долгих и удлиненных гласных в говорах дулебского происхождения

Ниже некоторые из общеизвестных фактов украинской и белорусской исторической фонетики будут рассмотрены с точки зрения исторической лингвогеографии.

3.1. Праславянские долгие гласные *ě и *ę имели в дулебском диалекте двоякие рефлексы:

1) долгие *ē < *ě; *ǣ < *ǣ̨ < *ę и *ǣ < *^{j}a[26] — под ударением и в безударных открытых конечных слогах;

2) краткие *e < *ě; *æ < *æ̨ < *ę — в других безударных позициях.

3.2. Проблема, был ли рефлекс *ě и удлиненного *e перед слабым *ь («нового ятя») дифтонгом /ie/ или узким монофтонгом /ę/ в позднепраславянских диалектах — предках современных украинских и белорусских говоров, не имеет однозначного решения[27]; см. историю вопроса

[26] Здесь и далее праслав. *^{j}a = *a после мягких согласных и *j.

[27] Нужно помнить, что рефлексы *ě и «нового ятя» различаются в ряде карпатоукраинских говоров. В частности, в закарпатском говоре с. Торунь

в [Жовтобрюх, Русанівский, Скляренко 1989: 232–247; Шевельов 2002: 255–265]. По нашему мнению, противоречия между «монофтонгической» и «дифтонгической» концепциями нет, поскольку каждая из них интерпретирует разные хронологические срезы и диалектные ареалы.

3.3. Рефлекс безударного *ě (кроме позиции в отрытом конечном слоге) во всех говорах дулебского происхождения совпадает с рефлексом праслав. *е и сильного *ь — *ě имеет рефлекс /е/, которое в западнополесских говорах переходит в /ɨ/ [АУМ I, карты 11–13, 15, 16, 43, 44, 48–51, 53, 54, 56, 64–66, 68, 69; II, карты 10, 11, 13, 14, 30, 31, 42, 45, 46, 53; ДАБМ, карты 5, 6; AGWB I, mapy 26, 27]. Монофтонгичность сокращенного рефлекса *ě очевидна — перед *е согласные утрачивали позиционную палатализацию в древневолынском и древлянополянском диалектах, так же как это происходило перед рефлексами *е и сильного *ь. Если бы сокращенным рефлексом *ē был дифтонг [i̯e], то перед ним по общему правилу смягчались бы согласные — ср. мягкость дентальных перед вторично монофтонгизированными дифтонгами в восточноприпятских говорах: *w xát'e*, *w xát'i* < *xat'i̯e.

ПД *ē, произошедшее из праслав. *ě и праслав. *е, отражается в современных говорах как дифтонги [ie], [ɨe], [ɪe], [ye] (первый компонент которых может быть как полноценным гласным, так и глайдом) и монофтонги [ę], [e], [i], [ɪ], [ɨ], [y] [АУМ II, карты 3, 4, 6, 8, 9, 28, 29; ДАБМ, карта 34; AGWB II, mapa 43]. В ряде говоров монофтонги и дифтонги на месте *ē распределены по фонетическим позициям, иногда они варьируют.

Чередование ПД *ē ~ *е (рефлексы *ě) можно проиллюстрировать на примере говора с. Симоновичи Дрогичинского р-на Брестской обл.[28], в котором ПД *ē > /i/ и предударное ПД *е > /ɨ/[29]: *d'id*, gen. *d'ída*, instr. *d'ídom* ~ pl. *dɨdí*; *ńn'iv* ~ gen. *ńnɨvú*, instr. *ńnɨvóm*; *sn'iń*, gen. *sn'íńu*, instr. *pud sn'íńom* ~ loc. *snɨńú*, pl. *snɨńí* и т. д.

3.4. В верхнеприпятских говорах рефлексы ПД *ē в заударных открытых конечных слогах (как правило это окончания на *-ě, а также -ě в *dъvě sъtě) представлены монофтонгами. В основном масси-

---

перед *ě губные, *s и *r мягкие, а перед «новым ятем» — твердые, при этом рефлекс *ě и *ē единый — /i/ [Николаев, Толстая 2001: 13]. Это может объясняться стадиями *ě > *i̯ę (перед которым до перехода *i̯ę > /i/ фонологизировалась позиционная палатализация) и *ē > *ę (перед которым до перехода *ę > /i/ согласные утрачивали позиционную палатализацию; дентальные *d, *t, *n, *l вторично смягчились перед /i/ < *ē).

28 Информант Ф. Д. Климчук, записал С. Л. Николаев.

29 Такой же рефлекс имеют предударные праслав. *е и *ь: *vɨdú* < *vedǫ, *łižáti* < *ležati, *dɨn'ók* < *dьn- и т. д. [Климчук 1983: 47].

ве говоров *-ē > *-ę̄ > *-ı̇* с предшествующими твердыми согласными (местн. п. *w xátı̇*, *-stı̇*), отличаясь от рефлекса *-е (им.-вин. п. *póle*). В говорах северной периферии распространен рефлекс *-е* после твердых согласных (местн. п. *w xáte*, где *-е* < *-ę) [Зінчук 2010, карты 12, 13; АУМ II, карты 18, 231].

3.5. Для верхнеприпятских говоров характерны твердые дентальные перед любыми рефлексами ПД *ē под ударением — как дифтонгами, так и монофтонгами: [Tie], [Tye], [Tı], [Tę], [Ti] и т. д. [АУМ II, карта 87; ДАБМ, карта 57; AGWB II, mapy 80, 82; Климчук 1983а][30]. По-видимому, твердое произношение дентальных перед *ē было свойственно древневолынскому диалекту и было его отличительным признаком (карты 1, 3).

В следующих говорах, по данным атласов и полевых записей[31], представлены твердые дентальные согласные перед рефлексами ПД *ē под ударением (см. § 3.5):

1) Говоры с единым рефлексом *ē — монофтонгом /i/ после дентальных и губных согласных: Чудель Сарненск. Ровенск. (соб. зап.); Федорівка (F'ódorivka) Сарненск. Ровенск. (АУМ II, п. 75; соб. зап.); Берестяне Киверецк. Волынск. (АУМ II, п. 145); Кам'янка Березновск. Ровенск. (АУМ II, п. 175); Суховоля Володимерецк. Ровенск. (АУМ II, п. 48; соб. зап.); Велика Ведмежка Маневичск. Волынск. (АУМ II, п. 50); Сильне Киверецк. Волынск. (АУМ II, п. 146); Полиці Володимерецк. Ровенск. (АУМ II, п. 77); Кисоричі Рокитновск. Ровенск. (АУМ II, п. 101); Бокойма Млиновск. Ровенск. (АУМ II, п. 158); Невель Пинск. Брестск. (АУМ II, п. 641); Тельмы Брестск. Брестск. (АУМ II, п. 619); Бярозаўка Высоковск. Брестск. (ДАБМ, п. 654); Каленкавічы Высоковск. Брестск. (ДАБМ, п. 652; АУМ II, п. 616); Ясень Пружанск. Брестск. (АУМ II, п. 621); Войская Высоковск. Брестск (ДАБМ, п. 655); Аса Дивинск. Брестск. (ДАБМ, п. 954); Федары Столинск. Брестск. (ДАБМ, п. 963).

[30] Объяснение форм с твердыми дентальными перед [i] < *ě как позднейших, возникших «вследствие междиалектных контактов в междуречье Горыни и Стыри» [Назарова 1972: 46], не может быть принято. Твердые дентальные перед *ě под ударением распространены гораздо шире этого ареала, они отмечены не только перед [i], но и перед другими монофтонгами и, что особенно важно, перед дифтонгами. В частности, рефлексы [tie], [tye], [tę] в подляшских и брестско-пинских говорах не могут быть объяснены посредством «междиалектных контактов», так как эти говоры находятся в окружении говоров с *Tě > [t'i].

[31] В 2011–2012 гг. проведены две экспедиции в Ровенскую обл.; участники: А. В. Тер-Аванесова, М. Н. Толстая, И. С. Пекунова, Ф. А. Балабин. Обследованы говоры сс. Немовичі, Люхча, Чудель, Федорівка, Тинне Сарненского р-на, Поляни, Лінчин, Михалин Березновского р-на, Суховоля Володимирецкого р-на. Отчет об экспедиции 2011 г. см. в [Тер-Аванесова 2012].

2) Говоры с различной трактовкой *ē после дентальных и губных согласных (рефлексы фонологически противопоставлены как монофтонги /y/ и /i/ соответственно): Сопачів Володимерецк. Ровенск. (АУМ II, п. 46); Бродниця Заречненск. Ровенск. (АУМ II, п. 61); Відомля Каменецк. Брестск. (АУМ II, п. 617); Policzna (AGWB, п. 100); Czeremcha Wieś (AGWB, п. 102).

3) Говоры с единым рефлексом *ě (и «нового ятя»), дифтонгом /ie/, после дентальных и губных согласных: Яцьковичі Березновск. Ровенск. (АУМ II, п. 176); пункты AGWB: Samułke Małe (76a); Czyże (85); Orla (90); Mochnate (91); Dubicze Osoczne (91a); Orzeszkowo (93); Malinniki (94); Grabowiec (96); Suchowolce (98); Śnieżki (99).

4) Говоры с единым рефлексом *ē, монофтонгом /ę/, после дентальных и губных согласных: Немовичі Сарненск. Ровенск. (АУМ II, п. 76; соб. зап.); Лінчин Березновск. Ровенск. (АУМ II, п. 81; соб. зап.); Михалин Березновск. Ровенск. (соб. зап.); Кам'янка Олевск. Житомирск. (АУМ II, п. 103); Рэчкі Ивацевичск. Брестск. (ДАБМ, п. 759); Купяцічы Пинск. Брестск. (ДАБМ, п. 769).

5) Говоры с «расщеплением» рефлексов ятей — на монофтонг и дифтонг: Поляни Березновск. Ровенск. (АУМ II, п. 83; ОЛА, п. 417; соб. зап.); Великий Мидськ Костопольск. Ровенск. (АУМ II, п. 82); Сновидовичі Рокитновск. Ровенск. (АУМ II, п. 100); Тинне Сарненск. Ровенск. (АУМ II, п. 79; соб. зап.); Сварині Володимерецк. Ровенск. (АУМ II, п. 74); Устя Корецк. Ровенск. (АУМ II, п. 208); Ляхавічы Дрогичинск. Брестск. (ДАБМ, п. 740); Глінка Столинск. Брестск. (ДАБМ, п. 964); Гарадное Столинск. Брестск. (ДАБМ, п. 967); Доброводa Белостоцкого воев. Польши (АУМ II, п. 654); Tymianka (AGWB, п. 106).

Примером может служить говор с. **Немовичі** Сарненского р-на Ровенской обл., известный сразу из трех источников: [Назарова 1968], АУМ и экспедиционных записей 2011–2012 гг.

Расшифровка магнитофонных записей[32] показывает, что в этом говоре рефлексом *ē после любых согласных является фонема верхнесреднего подъема /ę/ с аллофонами [ę], [ɪ], [y]. Последние два аллофона образуют «фонетический континуум» между передним и переднесредним рядом, и точное определение качества гласного на слух затруднительно. Ниже они обозначены общим знаком [ɪ]. Рефлекс [ɨ] (наряду с [ę]) отмечен только после *š в *šestь. После дентальных согласных: *podę́l'imosa*, *dę́ti*, *dı́wčina*, *ńl'adę́ła*, *mnı*, *mnę* (2×), *nedę́l'i*, *šı́s' nedę́l'*, *ponedę́łok*, *snı́γ*, мн. ч. *viš'n'ę́*. После губных согласных: *bę́ńajut*, *bęγ* (< *běglъ), *bę́ła*, *bę́l'en'ki*, *bę́l'i*, *Błańovę́ščen'a*, *čełovę́ku*, *dví koróvi*, *nevı́stka*, *nevę́stka*, род. *nevę́stki*, *mę́s'ac* (с заимствованным *-i-*: *w mı́s'aci* (4×), *u tómu mı́s'aci*), *obę́d* (2×), *obı́d*, *na ǫbę́d*, *na obę́d*, *z*

[32] Информант Мичка Аполлинария Зиновьевна, 1934 г. р.; магнитофонные записи А. В. Тер-Аванесовой 2011–2012 гг.

obída, *obę́dal'i* (2×), *poǫbę́dal'i*, *poǫbę́daju*, *u xl'evę́*. После *r: *na dvorí*, *ħré́ju*, *ħré́je* (2×), *kré́pko*, *ne kré́pki*, *na réčci*, *na ré́čki*, *ré́čka*, *narízała*, *zaré́žęmo*. После *s: *sę́sti*, *sę́no*, *susę́d*, *susídka*, *sę́m nedę́l'*, *na sę́m ħód*, *vsɪ*, *wsę*. После *š: *šɨs't'* (2×), *šɨ́s'*, *šęs't'* (2×). После *l (которое отражается как мягкое /l'/ перед ятем): *bol'ę́l'i*, *od mal'íx l'ę́t*, *l'ę́tom*, *w sel'ę́*, *xl'ęb* (3×), *xl'ɪb*, *nad xl'ę́bom* (2×). После /j/: *ję́ła*, *pojíła*, *ję́sti* (2×), *ję́zdiw*, *poję́xal'i*. Рефлекс *ē > /ę/ противопоставлен рефлексу *i, *y, которые отражаются как фонема высокого подъема /i/ с аллофонами [i], [ɨ].

Согласно [Назарова 1972: 86], в рефлексе *Tē под ударением «*е*-образный монофтонг передне-среднего ряда» ([y] ?), записанный как [ие].

Согласно АУМ II (п. 76), общий рефлекс *ē > /ę/. Твердость дентальных перед *ē следует из [АУМ II, карта 87]. Согласно [АУМ II: 9, коммент. 3], *Tē > [Tɨ] (?), [Tɪ]: записаны [и^{ы}] или [i^{e}]. Рефлекс *ě (и «нового ятя») после губных согласных и *r такой же, как после дентальных [АУМ II, карта 8; с. 14, коммент. 29; карта 29]. Рефлекс *ē после губных согласных, по-видимому, идентичен рефлексу после дентальных [АУМ II, карта 8; с. 14, коммент. 29; карта 29; с. 10, комент. 6; карта 6].

Другим примером говора с твердыми дентальными перед рефлексами *ě под ударением является говор с. **Федорівка** (F'ódorivka) Сарненского р-на Ровенской обл. (АУМ II, п. 75).

Рефлекс *ē после дентальных /ɨ/, после губных согласных /i/. Твердые дентальные перед *ē согласно [АУМ II, карта 87]. Рефлексом *ē после дентальных является [и^{i}] [АУМ II: 9, коммент. 3; карта 3]. Рефлекс *ē после губных и *r — переднее [i] [АУМ II, карты 6, 8, 29].

Судя по новым данным (полевые записи 2012 г.[33]), рефлекс [ɨ] < *ě после дентальных в АУМ может быть результатом неточной записи. Фонема /ɨ/ является общим рефлексом *i и *y, она противопоставлена фонеме /i/ < *ē и *ō. Согласные перед этой фонемой не смягчаются. Отмечены редкие исключения с «литературной» фонетикой.

В корне: *tíło*, *v tíło* (2×), *u tíło*, *v tíłɨ* (2×), *na tíli* (2×); *díło* (6×); *dívka* (2×), *díwka*; 3 мн. *díl'at'* (4×); *postíl'* (однако *met'íl'* 3×); *nímec'*; *sniħ* (7×), род. *sníħu* (7×), *sníħa*; *bíłij* (2×); *víji* 'ресницы'; *víra* (2×); *bíl'še* (2×); *spit'* 'спеть', прош. *pospíłɨ* (2×), *pospíło*; *čołovík* (2×); *jačmín'*; *mid'*; *mídnɨ* (3×); *mís'ac* (3×); *místo*; *pís'n'a* (3×); *pič* (6×); *pírje* (4×); прич. *pomínanɨ* (3×) (*poměnanъjь); *nɨvístka*, *nivístku*; *vínɨk* (5×); *víšat'*, *povísɨt'* (2×), 1 ед. *povís'u* (2×); *vít'or* (5×), *víter* (2×); мн. *zvírɨ*; *ħrix* (2×); *ħoríx*; *ríčka* (2×), *za ríčkoju*; *rípka*, *rípa* (2×); *zalíz'* (2×); прош. *oslíp* (2×); *kolíno* (6×), местн. *na kolínɨ* (2×); *lis* (3×), род. *lísu* (2×), местн. *v lísɨ* (4×); *lítni* (4×), *lítn'a*; *lívɨ* (5×) (наряду с *l'ívɨ* 2×); *xlib* (2×), род. *xlíba*; *xliw*, *xliv* (2×); *želízo* (3×); *sídało*

[33] Информант Л. Бай, 1954 г. р., магнитофонная запись А. В. Тер-Аванесовой, М. Н. Толстой, И. С. Пекуновой, 29–30.07.2012.

(2×); род. *susída*; прош. *síła* (3×), *síło* (3×); прош. *nasíjała*; *síno* (3×), род. *sína* (2×), местн. *síni* (3×); *síri*; *sim* (6×); *vesíl':e* (2×); *zíl':e* (2×); *cip* (3×), тв. *cípom*; *cíwka* (2×), *cívka*; *šis't'* (3×); прош. мн. *jíłi* (2×), инф. *jísti* (2×), 1 ед. *jim* (2×), 3 ед. *jis't'* (3×); инф. *jíxat'* (2×), 1 ед. *jídu* (2×), 2 ед. *jídeš* (2×), 3 ед. *jíde*; *sokíra* (2×) (региональное *sokěra).

В суффиксах и окончаниях: местн. *w borodí* (2×), *po vodí* (3×), *u vodí* (4×), *v vodí* (2×), *na boroní*, *na sosní* (2×), *v selí*, *na noží* (3×), *po cení*, *v pšoní*, *u kosí*, *w kosí*, *na błosí*, *na soví*, *na serpí* (2×), *u broví* (*brъv+ě), *v kroví* (4×) (*krъv+ě), *u traví* (2×), *na traví*, *u xłeví* (3×), *na koncí*, *w rucí*, *na koní*, *na perí*, *po žarí*, *na meží*, *na pečí*, *w pečí*, *na stolí* (3×), *v teplí*, *na zemlí* (4×), *v zemlí* (4×) (однако *na zeml'í* 1×, *v zeml'í* 1×), *na klen'í*, *na xres'c'í*, *v ofn'í* (2×), *na rožn'í* (2×); род. *kroví* (2×) (*krъv+ě), *do meží*, *zemlí* (3×) (однако *zeml'í* 1×); *ucelíw* (3×) 'уцелел'; 3 ед. *čorníje* (2×), *ržavíje*, *zeleníje* (2×), *temníje* (наряду с *temn'íje*); род. ж. *u její* (3×), *v její*, *s tojí*; мн. *noží* (2×) (*nožě) (однако *ofn'í* 2×, *pis'n'í* 2× < *pěsn+ě); дат. *mení* (4×), *sobí* (2×), *tobí* (2×); мн. *mołodíje* (*-ějě); *vertít'*; мн. *usíje* (3×) (*vьs'+ějě), *vsi* (*vьs'+ě).

3.6. Отсутствие палатализации дентальных перед рефлексами *ē указывает на монофтонгичность *ē в древневолынском диалекте. Переднеязычные смычные, спиранты, аффрикаты и сонанты утрачивали диезность перед передними монофтонгами *i, *ē, *e и сильным *ь по общеукраинскому принципу, согласно которому перед переднерядными (диезными) монофтонгами происходит диссимиляция согласных по диезности, и диезность согласных заменяется на нейтральность/бемольность независимо от происхождения диезности: не только *t[']i > *ti* (> *ti*, *ty*), *t[']e > *te* (утрата позиционной палатализации), но и *[c']i > *ci* (> *ci*, *cy*), *[c']e > *ce*; *[š']i > *ši* (> *ši*, *šy*), *[š']e > *še*; *[l']i > *li* (> *łi*, *ły*), *[l']e > *le*, *łe* (утрата исконной палатализации).

ПД *ē также было монофтонгом, об этом свидетельствует его рефлекс *ē в древневолынском и сокращенный рефлекс — монофтонг ПД *e (§ 3.1). Праслав. *ě, к которому отчасти восходит ПД *ē, также было долгим монофтонгом — дифтонги на его месте независимо развивались в славянских языках и диалектах: словацк. *ie* при диал. *é* [ē]; штокавские иекавские *ije*/*je* при экавских *ē*/*e* и т. д.

В ряде верхнеприпятских говоров дентальные вторично палатализировались перед рефлексами *ē — дифтонгом [i̯e] и монофтонгом [i]; нередки говоры, в которых перед [ie] и [i] твердые и мягкие дентальные находятся в свободном варьировании.

3.7. Показания северно- и восточноприпятских говоров нерелевантны для определения качества ПД *ē. В дреговичском диалекте безударные рефлексы *ě и *e совпадали, как и в прочих дулебских

по происхожению диалектах. Под ударением по говорам представлены рефлексы *ě > [ie], [i̯e], [ę], и первичность каждого из аллофонов не может быть установлена. В восточноприпятских говорах под ударением *ē > [ie] (> [ę]) с мягкостью предшествующих дентальных — [t'iéło, t'ę́ło]. В заударных открытых слогах в Восточном Полесье представлены формы *w xát'e*, *w xát'i* с мягкими согласными перед рефлексом ятя [Назарова 1985, карта 49; ДАБМ, карта 18]. Эти формы предполагают ареальный дифтонг *-ie, такой же, как под ударением, во всех говорах вторично монофтонгизировавшийся, но сохранивший по себе мягкость предшествующих дентальных (ср. [Назарова 1964]). Перед монофтонгами *i, *e и сильным *ь в любой позиции в восточноприпятских говорах дентальные твердые: *tíxo*, *xódit'*, *nébo*, *den'*, *t'áńne*.

3.8. В диалектах украинского языка, восходящих к днестровско-хорватскому диалекту (включая волынское койне, один из источников литературного украинского языка), рефлексы праславянских долгих *ě, *ę, *ʲa и ареальных долгих *ē, *œ̄ и *ō не зависят от ударения. При этом *ě, *œ̄, *ę в истории днестровско-хорватского диалекта перешли в дифтонги [i̯ę], [i̯o], [i̯æ], благодаря чему перед ними не происходило «отвердения» дентальных согласных (или происходило их «смягчение» — по другой концепции): *míло* [t'íło] < *t'i̯ęlo < *t(')ēlo < *tělo и *гніздó* [ńn'izdó] < *gn'i̯ęzdo < *gn(')ēzdo < *gnězdo; *тя́гне* [t'áńne] < *t'i̯ǽgne < *t(')ǣgne < *tęgne(tь) и *тягну́ти* [t'ańnútɪ] < *t'i̯ægnút(')i < *t(')ǣgnú̯ti < *tęgnǫti; *лід* [l'id] < *l(')i̯ǫdъ < *l(')œ̄dъ < *ledъ и *ви́ніс* [vín'is] < *vы́n'i̯ǫsъ < *vы́n(')œ̄slъ < *vyneslъ и т. д. Дифтонги на месте *ě, *ę[34], *ē, *œ̄ и *ō сохранились в ряде галицких, в западнобуковинских[35] и гуцульских говорах.

3.9. Монофтонг *ǣ на месте праслав. *ę под ударением реконструируется на основании того, что сокращенное соответствие *ǣ — монофтонг *æ. Развитие ПД *ǣ и *æ в племенных диалектах сходно с развитием праслав. *ę и *ʲa в чешском и словацком языках[36] — через стадии *ǣ и *æ (без учета ринезма). Долгое праслав. *ę, как и остальные долгие гласные, имеет двоякие рефлексы: долгое *ǣ и краткое

[34] Утрата ринезма ареального *ą̣ и совпадение с *æ < *ʲa, по-видимому, происходило неравномерно в разных частях ареала. В части прикарпатских говоров рефлексы *ę и *ʲa различны. В надднестровских, покутско-буковинских, гуцульских говорах *ʲa дает монофтонги /ę/, /ɪ/, тогда как *ę — дифтонги / трифтонги /e̯a/, /i̯a/, /ie̯a/, /ię/, /i̯ę/ [Тер-Аванесова 1995].

[35] В частности, они регулярны в говоре с. Банилов-Подгорный Сторожинецкого р-на Черновицкой обл. [Николаев 1995].

[36] Сходное развитие еще в верхнелужицком языке.

*æ в зависимости от акцентологических позиций[37]. Долгое *ǣ > словацк. *ia*, диал. *ā̃*, др.-чешск. *á*/*ie* (чешск. *á*/*í*/*é*). Например, *tęgnǫ̃ti, *tẽgne(tь) > словацк. *tiahnut'*, чешск. *táhnouti*; *vęzȧ̃ti, *vẽzje(tь) > словацк. *viazat'*, чеш. *vázati*; *tẽži(tь)[38] > словацк. *tiažit'*, чешск. *tížiti*; *žarȩ́ti, *žãri(tь) > слвц. *žiarit'*, чешск. диал. *žířiti*; *žãrъ > словацк. *žiar*, чешск. *žár*. Краткое *æ > др.-словацк. *ä, словацк. /ä/ (в орфографии *a*, *ä*), др.-чешск. *a*/*ě*: *mẽso > словацк. *mäso*, чеш. *maso* < *m'aso; *dẽtьlъ > словацк. *d'atel*, др.-чеш. *dětel*; *tẽžьkъ(jь) > словацк. *t'ažký*, чешск. *těžký*; *ščȧ̃vikъ, *ščȧ̃veljь > словацк. *št'avík*, чешск. *št'avel*.

Любопытно, что чешский и словацкий языки располагаются в ареале той же пражско-корчакской культуры VI–VII вв., из которой развилась культура Луки-Райковецкой [Седов 2002: 295–323; 446–462]. В группу племен пражско-корчакской культуры, в частности, входили дулебы, в позднепраславянское время жившие как в южной Чехии, так и на Волыни и в сопредельном Полесье.

3.10. В северо-восточных верхнеприпятских и в восточноприпятских говорах в заударном слоге *ę > *e: система «*м'ŭ*[á]*со — нáм*[e]*m'*, *уз'*[a]*ў — м'íс*[e]*ц'*» [АУМ III, ч. III, карта 10]. Рефлекс *ę > *e* (> *ĭ*) в 1-м предударном слоге прослеживается по словам со значением 'трясина', образованных от *tręs- и *dręgъv- [АУМ II, карта 358] и по рефлексам *tręse(tь), картографированным по редкой сетке «Общеславянского лингвистического атласа» [ОЛА, вып. 2а, карта 12]. В материалах наших экспедиций засвидетельствовано чередование *a* ~ *e*: Федоровка Сарненского р-на Волынской обл. *tras*, *natrás* (и *trasé* по морфонологической аналогии) ~ *tresłá*, *natresłá*, *tresłí*, *natresłí*. Согласно Ю. В. Шевелеву, безударный рефлекс *ę > *e* (*nemá*, *нáметь*) встречается в говорах к северо-западу от Бреста и по Ясельде Брестской области [Шевельов 2002: 183]. Формы с безударным *e* < *ę нередки в староукраинских рукописях северной (полесской) локализации [Мойсієнко 2006: 207–228; Шевельов 2002: 184–185].

---

[37] Если не вдаваться в детали, то праславянские подударные долготы в чешском и словацком сохранились под неоакутовой интонацией: *sǫ̃dъ > словацк. *súd*, чешск. *soud*; в чешском (кроме моравских говоров) еще под «старым» акутом в двусложных формах: *mṹха > чешск. *moucha*. В особых условиях сохранилась долгота заударных гласных (*zȧ̃jęcь > словацк. *zajác*, чешск. *zajíc*). Под праславянским ударением в чешском и словацком долгие гласные сокращались под циркумфлексом (*mẽso > словацк. *mäso*), в моравских говорах и в словацком еще под «старым» акутом (*mṹха > словацк. *mucha*).

[38] В истории словацких и чешских диалектов, легших в основу литературных языков, исконная долгота форм презенса распространилась на основу инфинитива.

3.11. Рефлекс праслав. *ʲa под ударением и в заударных открытых конечных слогах совпадает с рефлексом *ę, т. е. праслав. *ʲa > ПД *ǣ. По имеющимся данным создается впечатление, что праслав. *ʲa в других безударных позициях имеет рефлекс ПД *a и этим отличается от рефлекса *ę, однако для окончательных выводов необходимо привлечение новых данных. В ДАБМ (карта 20) картографирован рефлекс праслав. *ʲa в дат. мн. *ви́шням*, *ка́плям*. В белорусских юго-восточных говорах дреговичского происхождения распространены формы *ви́шн'*[e]*м*, *ка́пл'*[e]*м*, однако неясно, тождественно ли это *-е-* полесскому *-е-* < *-æ- в *pámet'*, *dévet'*, или *ви́шн'*[e]*м* — позднейшее развитие из **ви́шн'*[a]*м*. Карты АУМ и AGWB не дают возможности установить, тождествен ли заударный рефлекс *ę (представленный на картах) рефлексу *ʲa. Если рефлексы действительно различаются, то можно предполагать прямое развитие заударного *ę > *æ > *e, в отличие от *ʲa > *a в части дулебских по происхождению говоров.

3.12. Чередование ПД *ǣ ~ *æ (рефлексы *ę) представлено в брестско-пинских говорах — как рефлекс древневолынского чередования *Ciǣ ~ *Ci̯æ > *C'æ[39]. Такое же чередование представлено в корнях с праслав. *ʲa после шипящих (чередование ПД *ǣ ~ *æ или *ǣ ~ *a ?[40]). Например, в говоре с. Нямержа (Акропна) Дрогичинского р-на Брестской обл.[41]: *z'i̯et'*, gen. *z'i̯ét'a*, instr. *z'i̯ét'om* ~ pl. *z'at'í*; *k'n'i̯ez'*, gen. *k'n'i̯éz'a*, instr. *k'n'i̯éz'om* ~ pl. *kn'az'í*; *xr'i̯ešč*, gen. *xrašč'i̯é*, instr. *xraščém*, loc. *xrašč'í*, pl. *xrašč'í*. В говоре с. Туляцічы Ивановского р-на Брестской обл.[42] *ǣ > /ę/, *i̯æ > /a/ после мягких переднеязычных согласных и твердых *r, шипящих: *kn'ęs'*, gen. *kn'ę́z'a*, instr. *kn'ę́z'om* ~ pl. *kn'az'í*; *z'ęt'*, gen. *z'ę́t'a*, instr. *z'ę́t'om*, loc. *z'ę́t'u* ~ pl. *z'at'í* ; *ręd*, gen. *ręda*, instr. *rędom* ~ loc. *radú*, pl. *radę́*; *čęd*, gen. *čę́du*, instr. *čę́dom* ~ loc. *v čadú*; *čęs*, gen. *čę́su*, instr. *čę́som*, loc. *na čę́sovę* ~ pl. *časę́*. В говоре с. Лукава Малоритского р-на Брестской обл.[43] под ударением *iǣ > /a/ после мягких согласных; безударное *i̯æ > /a/ после мягких *d, *t, *n, *l, *s, *z и твердых *r, шипящих: *z'at'*, gen. *z'át'a*, instr. *z'átem*, loc. *na z'át'ovɨ* ~ pl. *z'at'í*; *r'ad*, gen.

[39] Представляется излишней трактовка мягкости шипящих в *ж'ар*, *нож'á* и т. п. как «позиционной мягкости перед ударным [a]» [Назарова 1972: 58–59].

[40] До утраты ринезма на месте *ę были представлены носовые *ą̄ и *ą̆. После утраты ринезма *ą̆ совпало с *ǣ < праслав. *ʲa, относительно краткостного рефлекса см. §3.11.

[41] Запись И. И. Лучица-Федорца, транслитерация и фонологическая интерпретация С. Л. Николаева.

[42] Запись Н. Г. Горбачика, транслитерация С. Л. Николаева.

[43] Запись В. В. Стасюка, транслитерация С. Л. Николаева.

r'áda, loc. *na r'ádovi* ~ instr. *radóm*, pl. *radí*; *ž'al'*, gen. *ž'ál'u*, instr. *ž'álem* ~ gen. *žal'ú*, instr. *žalém*, loc. *v žalévi*; *ž'ar*, gen. *ž'áru*, instr. *ž'árom* ~ loc. *v žarú* / *v žarévi*; *č'as*, gen. *č'ásu*, instr. *č'ásom*, loc. *v č'ásovi* ~ pl. *časí*.

3.13. Под ударением в позиции перед слабыми редуцированными в дулебском диалекте развились вторичные долгие гласные:

а) «Новый ять» *ē из *e в слогах перед слабым ерем: ПД *pēčь̥ < праслав. *pektь [АУМ I, карты 35–39; II, карты 28, 29; AGWB II, мapa 50].

б) «Закрытое о» *ō < *o в слогах перед перед слабыми редуцированными: ПД *vōzь̥ < праслав. *vozъ [ДАБМ, карта 37; АУМ I, карты 58, 59, 61, 62; II, карты 51, 52; AGWB II, мapa 44].

в) *ǣ < *e в слогах перед слабым ером: ПД *l'ǣdь̥[44] < праслав. *ledъ [АУМ I, карты 28–32; II, карты 24–27; ДАБМ, карта 30; AGWB II, мapa 52].

3.14. Дулебские рефлексы «нового ятя» не отличаются от рефлексов *ě под ударением, они совпали в ПД долгом монофтонге *ē (§ 3.3, 3.13).

Для реконструкции *ō как монофтонга имеется следующее обоснование. В староукраинских памятниках встречаются удвоенные буквы для обозначения любых гласных под ударением (т. е. фонетически долгих): *о дъскаахъ*, *каамыкъ*, *идооша*, *боогоу*, *свооимь*, *нарооды*, *трижды*, *отсюоудоу*, *идоуоущимь* и т. д. Однако написание двойного *о* на месте *ō встречается и в безударном положении: *воотьця*. По наблюдению Ю. В. Шевелева, «удвоенная буква *о* встречается для обозначения *ȯ* несколько чаще, чем в других позициях» [Шевельов 2002: 409]. Формы типа *воотьця* не принадлежат диалектам, происходящим из дулебского, в котором безударное *o не удлинялось, однако они указывают на староукраинское произношение [ō] на месте удлиненного *o. Монофтонг *ǣ (из удлиненного *e перед слабым *ь̥) реконструируется из системных соображений.

3.15. Судя по всему, в дулебском диалекте исконно краткие *e, *o в безударных слогах перед слабыми *ь̥, *ъ̥ не удлинялись [Ганцов 1923: 140]. В говорах представлены *у к*[о]*нці́*, *ра́д*[о]*сть* с рефлексом

[44] Судя по северноприпятским рефлексам, в ПД сохранялось «севернославянское» позиционное смягчение переднеязычных согласных. Нет оснований предполагать первичными восточно- и верхнеприпятские /Ti, Te/ с твердыми (нейтральными/веляризованными) дентальными, так как в аллегровых формах (в некоторых говорах заменивших полные) *e, *i, *ę оставляют по себе палатализацию дентальных: инф. *ходи́т'* = *ходи́ти*, имп. *ході́т'* = *ході́те*.

*-о- в соответствии с «общеукраинскими» (т. е. в конечном счете днестровско-хорватскими) *у кінці́*, *ра́дість* и с другими рефлексами *-ō-, *-œ̄- [АУМ I, карты 64–69; II, карта 53]; ср. форму *под-* безударной приставки *podъ (укр. *під-*) [АУМ III, ч. III, карта 7]. Таково же соотношение «дулебских» *ка́м*[е]*нь*, *о́с*[е]*нь*, *по́п*[е]*л* с «общеукраинскими» *ка́мінь*, *о́сінь*, *по́піл* и с другими рефлексами *-ē- [АУМ I, карты 42–44; II, карты 30–31; ДАБМ, карта 16]. Относительно западнополесских форм *у к*[у]*нці́*, *ра́д*[у]*сть* см. §3.16.

3.16. В днестровско-хорватском диалекте гласные *е, *о в слогах перед слабыми редуцированными удлинялись как под ударением, так и в безударных слогах (§3.8). Однако в «старожильческих» западнополесских говорах северногалицкого происхождения безударные долгие гласные сократились по «дулебской» модели. В этих говорах на месте праслав. *ę представлены рефлексы дифтонга *iǣ под ударением и *i̯æ в заударном слоге, т. е. система «*м'ŭ*[á]*со* / *м'ŭ*[é]*со* — *па́мŭ*[а]*т'*, *уз'*[а]*ў* / *уз'*[е]*ў* — *м'ío'*[а]*ц'*» [АУМ II, карты 42, 45, 47; ДАБМ, карты 19, 36; AGWB I, мapy 35, 36; III, мapy 147, 149] (в противоположность верхнеприпятской системе «*м'ŭ*[á]*со* — *па́м*[е]*т'*, *уз'*[а]*ў* — *м'ío*[е]*ц'* (§3.10). Краткие *е и *о удлинялись и в безударных «новозакрытых» слогах, на месте *ō представлено /u/ — *у к*[у]*нці́* и *ра́д*[у]*сть*, *ко́н'ум*, *пуд-* при /o/ < *о, *ъ [АУМ II, карта 53; AGWB I, мapa 8 и комментарий][45]. В конечном открытом слоге безударное *ĕ > /ɨ/ (после твердых дентальных) [Зінчук 2010, карты 12, 13; АУМ II, карты 18, 231]. В подляшских говорах отмечены как «северногалицкие» *devjat'*, *des'at'*, так и «древневолынские» *devet'* / *devyt'*, *deset'* / *desyt'* [AGWB I, мapa 36]; к югу от Нарева *ō > *u* (включая *kunéc*, *kuséc* 'косец', куда *-u-* вторично перенесено из косвенных форм *kuncá*, *kuscá*) [AGWB I, мapy 6–11]. Островок говоров с «древневолынскими» твердыми дентальными перед *ĕ (*tisto* / *tysto* / *tyesto*) окружен говорами с «галицкими» мягкими дентальными в этой позиции (*t'isto* / *t'iesto*) [AGWB II, мapa 30].

3.17. Дулебское противопоставление (долгих) рефлексов *ĕ под ударением и в заударных открытых конечных слогах (кратким) рефлексам *ĕ в прочих безударных слогах находит любопытную аналогию в русских говорах. О специфическом безударном рефлексе *ĕ можно судить только по русским «окающим» говорам, в которых различаются рефлексы гласных неверхнего подъема после мягких согласных.

[45] Во многих западноволынских говорах фонемы /u/ и /o/ в безударной позиции нейтрализуются [АУМ II, карта 55], что затрудняет историческую атрибуцию, в частности, многих говоров по Бугу.

В большинстве современных севернорусских говоров рефлекс *ě > /ę/ ([ię, ę]) отличается от рефлекса *е, *ь[46]. О фонологическом единстве рефлекса *ě в русских говорах говорит использование в письменных памятниках буквы «ѣ» под ударением и без него — в частности, в московских XIV–XV вв. и новгородских с X в.

Особый случай представляют собой говоры, в которых предударный *ě перед твердыми согласными в отражается как /о/ и совпадает с рефлексом *е, *ь: *гн'оздó*, *в'одрó*, *зв'оздá* как *с'острá*, *св'окрóвь*. В этих говорах перед мягкими согласными / кластерами рефлексы *ě и *е, *ь также совпадают (исключение — немногие говоры смешанного происхождения): *д'елúт'* как *т'ел'óнок* (редко *д'ил'úт'* как *т'ил'óнок*). В заударных неконечных и закрытых конечных слогах перед твердыми согласными / кластерами *ě > /о/, но чаще вторично > /а, е, і/ вследствие фонетической редукции [ДАРЯ I, карта 23]. В безударных конечных открытых слогах *ě имеет рефлекс /ę/ ([ę], [i]), аналогичный рефлексу *ě под ударением. В этих говорах обычно отмечается и предударное /ę/ на месте *ě, однако оно объясняется морфонологической аналогией (*гн'оздó*, но *в л'есý* по аналогии с *л'ес / л'êс*) — см. [ДАРЯ I, карты 4–6]. Иными словами, для этих говоров надо предполагать древнейшее — до перехода [е] > [о] перед твердыми согласными — совпадение предударных рефлексов *ě, *е (и *ь), аналогичное дулебскому.

Говоры этого типа мозаично рассеяны по северо-западу, а на востоке образуют компактные ареалы между Бежецком и Клином, Ярославлем и Юрьевцем, а также расположены в Поволжье к юго-востоку от линии Муром — Юрьевец. Эти говоры, вероятно, восходят к позднепраславянскому ростово-суздальскому диалекту, на котором говорили носители археологической культуры, характеризовавшейся браслетообразными височными кольцами с сомкнутыми или заходящими концами [Николаев 1994: 43–48; 2011: 15–16; Седов 1982: 194–195; 2002: 388–397].

---

[46] Распространенные в северо-восточных русских говорах симметричные чередования *ě > *ē > /ê/ ([ę, ęe, ię, i̯ę]) ~ /і/ (*л'êс* ~ в *л'úс'и* < *lěsъ, *vъ lěsě), *ę > æ > /а/ ~ /е/ (*с'áду* ~ *с'éд'от* < *sędǫ, *sędetъ), а также *е > /о/ (< *io или *eo) ~ /е/ (*с'óла* ~ *с'éл'ской* < *sela, *selьskъjь), распределенные в зависимости от твердости / мягкости (нейтральности / диезности) последующего согласного / кластера, говорят в пользу первичности монофтонгов на месте *ě, *ę/*ʲa и вторичного *œ (< *е, *ь перед твердыми согласными). В ряде говоров с утратой оппозиции по твердости / мягкости (в частности, в говорах Харовского и Бирюковского р-нов Вологодской обл.) перед первоначально твердыми согласными и кластерами *ě > /ie/; *ę, *ʲa > /ea/, *е, *ь > /eo/, перед первоначально мягкими согласными и кластерами *ě > /i/; *ę, *ʲa > /e/, *е, *ь > /e/ [Тер-Аванесова 2009]. По крайней мере дифтонги /ea/ и /eo/ здесь вторичны, а компонент -*е*- в них является вокалическим субститутом диезности (/ʲ/) предшествующего согласного. Переход *ě > *i* перед мягкими согласными (и в конечном открытом слоге) известен из новгородских берестяных грамот начиная с XII в. [Зализняк 2004: 26]; переход *ę > *i* (?) перед мягким согласным — уже в середине XII в., гр. №1050: *полъ питѣ грвнѣ*.

Именно в этих говорах отмечены формы *о*[д'е́]*нье*, *о*[д'и́]*нье*[47]; *дёнце* 'доска для укрепления гребня в самопрялке и для сидения при работе, донце' Меленк. Влад., также Нижегор., Никол. Волог.; *дёнышко* 'донышко' Кинеш. Костром., Влад., Яросл., а также эти формы и *дёнка*, *дёнко*, *денни́к*, *дённик*, *денно́й* и *дённый* в говорах позднего заселения [СРНГ 7: 351–353]; *одёнок* 'остаток сена, соломы, хлеба на месте стога, скирда' Яросл., Твер.; 'нижний слой сена, соломы в стогу' Калин., Костром., Яросл., Моск.; 'гуща, осадок на дне сосуда от масла, кваса и т. п.' Иван., Волог., также в говорах на территории позднего расселения [СРНГ 23: 12–13].

Эта изоглосса сближает ростово-суздальский диалект с украинскими полесскими, а также подольским, (южно)волынским и галицким (карпатоукраинским) диалектами — укр. литер. *денце* и т. д. Другой «западной» чертой ростово-суздальского диалекта была изоглосса **кричѣти* (**кричѣлъ*), **дьржѣти* (**дьржѣлъ*), **дышѣти* (**дышѣлъ*), **дичѣти* (**дичѣлъ*) с восстановлением суффикса *-ě-* после шипящих по аналогии с другими *ě-/i-* и *ě-/ěj-*глаголами. В Белоруссии конфигурация южной границы форм *маўч*[е́]*ць*, *маўч*[е́]*ла* и т. п. [ДАБМ, карта 36] близка к северной границе северноприпятских говоров[48]. Эта центральнобелорусская особенность характерна также для лехитских языков[49]. Такие формы не характерны для большинства белорусских и русских говоров кривичского происхождения [ДАРЯ II, карта 103; Николаев 1994: 44].

Одновременное наличие в ростово-суздальских говорах этих генетически не связанных между собою изоглосс позволяет предположить миграцию носителей будущего ростово-суздальского диалекта из ареала, сопредельного с северноприпятским.

§ 4. Рефлексы сочетаний праславянских переднеязычных согласных (T = *d, *t, *n, обычно также *l, *s, *z) с передними гласными и *o в диалектах рассматриваемого ареала представлены в сводной таблице 2.

---

[47] В [Николаев 1988: 128 и карта 3] они неверно трактовались как «кривичские» с допущением локального смягчения согласных в **о*[де́]*нье*, *о*[ди́]*нье* — формах, характерных для псковских говоров.

[48] Формы типа *моўч'е́ў* в полесских говорах белорусского юго-запада исторически не связаны с данной изоглоссой, в них *-е-* ([ę]) восходит к древневолынскому *i̯æ, так же как *т'е́гне* < *tę́gne(tь) и т. п.

[49] Данные лехитских языков даже позволяют предположить, что суффикс *-ѣ-* в в формах *кричѣти*, *дышѣли* и т. д. (перед мягкими согласными) является исконым рефлексом *$ě_1$ (монофтонгического), в других славянских диалектах совпавшего с *a после палатальных согласных во всех позициях: ср. польск. *czas ~ wczesny*, *doczesny*, ст.-польск. *żal ~ o żeli* и т. п., где *a*, чередующееся с *e*, происходит только из раннепраслав. *ē [Klemensiewicz, Lehr-Spławiński, Urbanczyk 1955: 83].

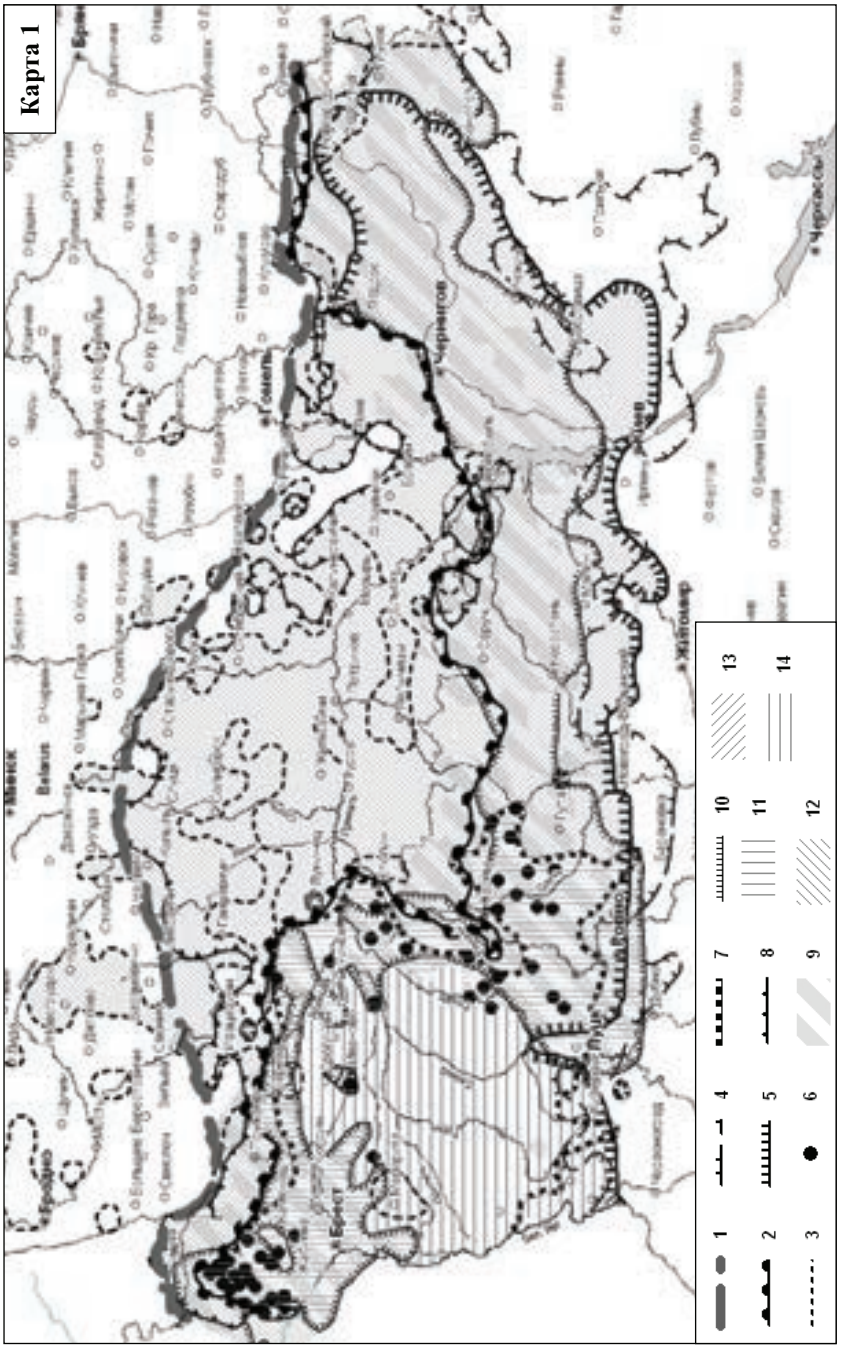
Таблица 2

Праслав.	Днестровско-хорватский диалект	Дулебский прадиалект	Дреговичский диалект	Древне-волынский диалект	Древляно-полянский диалект
*Ti	*T˙ɪ (*xodítɪ / xɔdɪ̯ę́ty*)	*T˙i	*T’i (*xod’ít’i*)	*Ti (*xodíti / xodɨ́ti*)	*Ti > Tɨ (*xodɨ́ti*)
*Tь (сильный *ь)	*T˙ɛ (*den’ / dɪ̯æn’*)	*T˙e	*T’e / T’o (*d’en’*)	*Te (*den’*)	*Te (*den’*)
*Tь (слабый *ь)	*T˙ь̯ > T’/T (*mas’t’ / mask̯; valít’ / valɪ̯ę́t*)	*T˙ь̯	*T˙ь̯ > T’ (*d’en’*)	*T˙ь̯ > T’ (*d’en’*)	*T˙ь̯ > T’ (*d’en’*)
*Tě (под ударением и в безударных открытых слогах)	*T’i̯ē (*d’id / gi̯ęd, na mọrọ́z’i / na morɔ́zi*)	*T˙ē	*T’ē (*d’ęd / d’ied, na moróz’e*)	*Tē (*d’ęd / d’ied, na moróze*)	*T’ie (*d’ied, na moróz’e*)
*Tě (в прочих безударных слогах)	*T’i̯ē (*st’iná / sḳiná*)	*T˙e	*T’e (*stená*)	*Te (*stená*)	*Te (*stená*)
*Tę (под ударением и в безударных открытых слогах)	*T’i̯ǣ (*t’áńne / ḳę́ńne, jáńn’a / ję́ńne*	*T˙ǣ	*T’ā (*t’áńn’e*)	*Ti̯ǣ (*t’áńne / t’i̯ę́ńne*)	*T’ia (*t’áńne*)
*Tę (в прочих безударных слогах)	*T’i̯ǣ (*tr’asłá / tr’ęsłá, dę́s’at’ / dɪ̯ǽs’ęt’*)	*T˙æ	*T’a / *T’e (в 1-м предударном слоге — *trasłá / tresłá*); *T’e (*d’és’et’*)	*T’i̯æ / *Te (в 1-м предударном слоге — *trasłá / tresłá*); *Te (*déset’*)	*T’a / *Te (в 1-м предударном слоге — *trasłá / tresłá*); *Te (*déset’*)

Примечания. 1. Иллюстративные формы даются в фонетике архаичных говоров каждой из групп (в днестровско-хорватском столбце — закарпатских и гуцульских). См. описания фонологии ряда карпатоукраинских говоров с историческими комментариями в [Николаев 1995; 1996б] и статью о юго-западных украинских рефлексах праслав. *ę и *^{j}a [Тер-Аванесова 1995]. В ПД реконструкции знаком (’) показано позиционное «смягчение» (нефонологическая палатализация/диезность) согласных перед переднерядными гласными.

Праслав.	Днестровско-хорватский диалект	Дулебский прадиалект	Дреговичский диалект	Древневолынский диалект	Древлянополянский диалект
*Te (в открытом слоге)	*Te (*zelénыj* / *zælı̯ǽnyj*)	*T˙e	*T’e / *T’o (*z’el’óni*)	*Te (*zełénıj*)	*Te (*zełéni*)
*Te (под ударением в слоге перед слабым *ъ̯)	*T’i̯ō̯ (*n’us* / *n’ıs*)	*T˙œ̄	*T’ō (*n’ǫs* / *n’uos*)		
*Te (под ударением в слоге перед слабым *ь̯)	*T˙ę̄ (*sim* / *si̯em*)	*T˙ē	*T’ē (*s’ęm* / *s’iem*)	*Tē (*sęm* / *siem*)	*T’ie (*s’iem*)
*Te (в безударном слоге перед слабым *ь̯)	*T˙ę̄ (*sidló*, *ósin’*)	*T˙e	*T’e / *T’o (*s’edłó*, *ós’en’*)	*Te (*sedłó*, *ósen’*)	*Te (*sedłó*, *ósen’*)
*To (в открытом слоге)	*To (*nᵘósıt’* / *nɔ́syt*)	*To (*nós’it’*)	*To (*nós’it’*)	*To (*nós’it’* / *nósıt’*)	*To (*nósıt’*)
*To (под ударением в слоге перед слабыми *ъ̯, *ь̯)	*Tǭ (*nus* / *nıs*)	*Tō	*Tō (*nǫs* / *nuos*)	*Tō (*nǫs* / *nuos*)	*Tuo (*nuos*)
*To (в безударном слоге перед слабыми *ъ̯, *ь̯)	*Tǭ (*kun’c’á* / *kın’c’á*, *pǫ́tuk* / *pɔ́tık*)	*To	*To (*koncá*, *rádost’*)	*To (*koncá*, *rádost’*)	*To (*koncá*, *rádost’*)
*Tъ (сильный *ъ)	*Tɔ (*son*)	*To	*To (*son*)	*To (*son*)	*To (*son*)

2. Первоначальные позиции распределения рефлексов краткого *æ в 1-м предударном слоге неясны. Рефлексы праслав. *ę в безударном конечном открытом слоге не картографированы после дентальных согласных, они известны только после губных (*vymę, *sěmę) [ОЛА, вып. 2а, карты 40, 41]. Гипотетически после дентальных согласных должны быть аналогичные рефлексы.


Карта 1
Минск
Belarus
Брест
Гомель
Чернигов
Житомир
Черкассы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1 — северная лингвистическая граница Полесья (§1.5)

2 — южная граница мягкости зубных согласных перед *i: [t’]*íxo*, [c’]*íxo* и т. д. (по АУМ I, карта 102; II, карта 87; III, ч. III, карта 14; ДАБМ, карты 55–56; AGWB II, карты 84, 86)

3 — северная граница удлинения *o в слогах перед слабыми *ъ, *ь под ударением: *ō > /ǫ/, /uo/, /u/, /üö/, /ü/, /i/ и т. д. (по ДАБМ, карта 37; АУМ I, карты 58, 59, 61, 62; II, карты 51, 52; AGWB II, mapa 44)

4 — отсутствие удлинения *o > *ō в предударной позиции: местн. ед. *w k*[o]*ncí* (по АУМ II, карта 53)

5 — рефлекс *ě > /e/ (> /ɨ/) в безударных слогах (кроме конечных открытых) после твердых дентальных: *stěna > *st*[e]*ná*, *st*[ɨ]*ná* и т. д. (по АУМ III, ч. III, карта 6; ср. АУМ I, карты 11–13, 15, 16, 43, 44, 48–51, 53, 54, 56, 64–66, 68, 69; II, карты 10, 11, 13, 14, 30, 31, 42, 45, 46, 53; ДАБМ, карты 5, 6; AGWB I, mapy 26–27)

6 — твердость дентальных согласных перед рефлексами *ě и *ē («нового ятя») под ударением: [tę́]*lo*, [tɨé]*lo*, [tɨ́]*lo* и т. д. (по АУМ II, карта 3; ДАБМ, карта 34; AGWB II, mapa 43)

7 — твердость зубных согласных перед рефлексами *ě в безударном конечном открытом слоге: местн. ед. *w xá*[te] (> *w xá*[ty]); *dví*[ste] (> -[sty]) (по [Зінчук 2010], карты 12–13; АУМ II, карты 18, 231; ДАБМ, карта 18; AGWB III, mapa 178)

8 — северная граница развития *Pę > *Pja* под ударением: *pę > /pja/, /pję/, *mę > /mja/, /mn’a/, /mn’ę/ и т. д. (по АУМ II, карта 76; ДАБМ, карты 50–51; AGWB III, mapa 149)

9 — рефлекс *ę > /e/ (> /y/) в заударных слогах после твердых губных: *devętь > *de*[ve]*t’* (> *de*[vɨ]*t’*), *pamętь > *pa*[me]*t’* (> *pa*[mɨ]*t’*) и т. д. (по АУМ I, карта 53; II, карта 76; III, ч. III, карта 10; ДАБМ, карта 19; AGWB I, mapa 36)

10 — рефлекс *ę > /e/ (> /ɨ/) в заударных слогах после твердых дентальных: *desętь < *de*[se]*t’* (> *de*[sɨ]*t’*) и т. д. (по АУМ III, ч. III, карта 4; AGWB I, mapa 36)

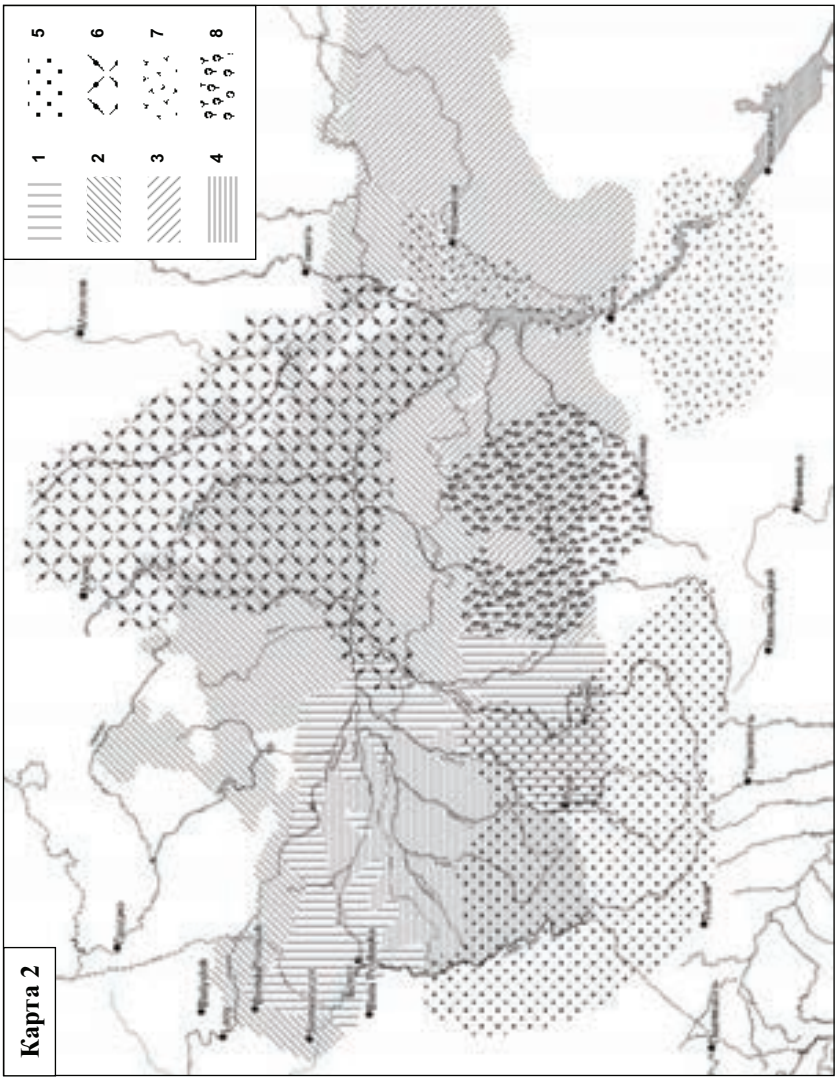
11 — говоры верхнеприпятской группировки, восходящие к древневолынскому диалекту X–XII вв.

12 — говоры северноприпятской группировки, восходящие к дреговичскому диалекту X–XII вв.

13 — говоры восточноприпятской группировки, восходящие к древляно-полянскому диалекту X–XII вв.

14 — говоры смешанного происхождения, в основе которых лежат древневолынские и северногалицкие (северные днестровско-хорватские) говоры X–XII вв.

Карта 2



1 — верхнеприпятские говоры

2 — северноприпятские говоры

3 — восточноприпятские говоры

4 — смешанные говоры, восходящие к древневолынским и северным днестровско-хорватским говорам X–XII вв.

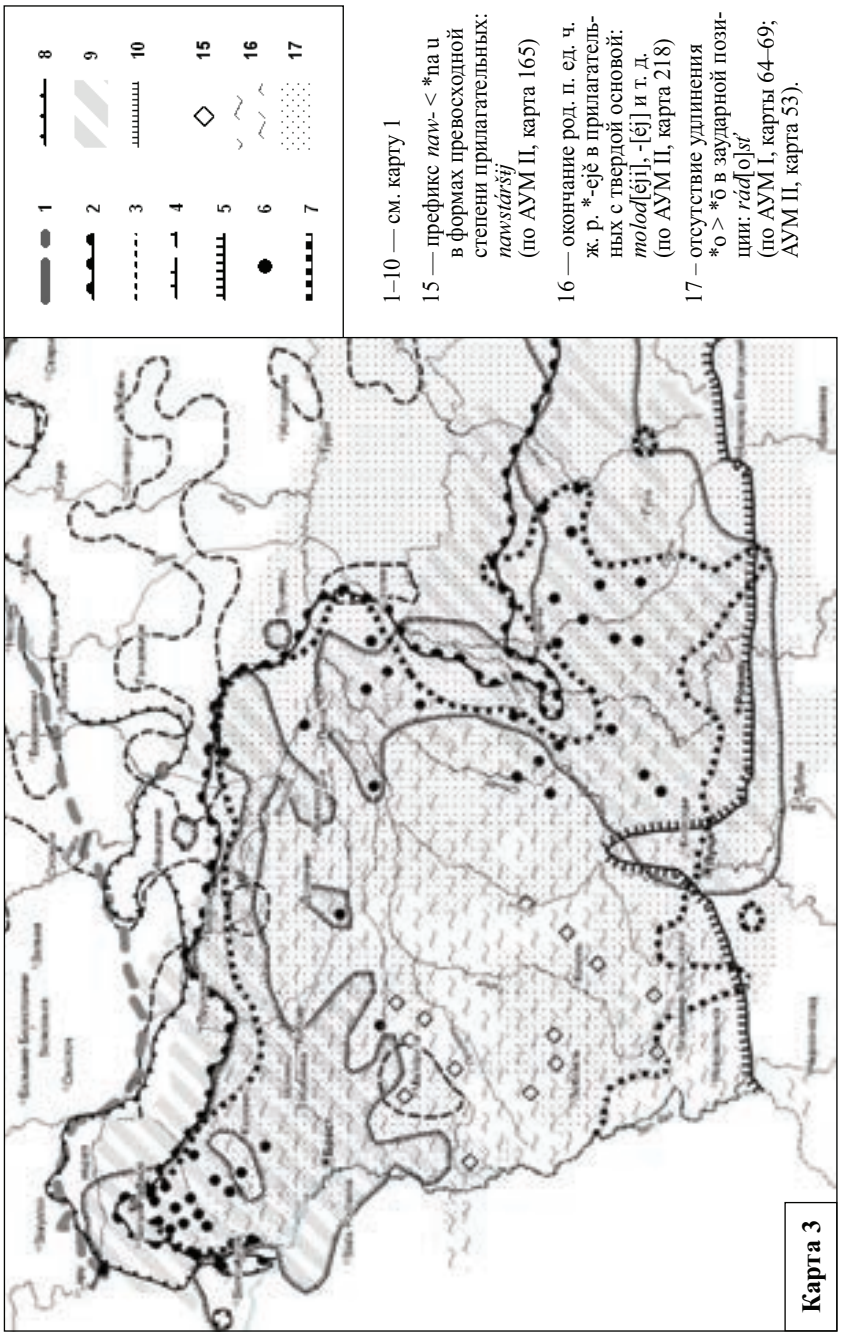
Дулебская группа в X–XII вв. по Седову [1999: 49]

5 — волыняне

6 — дреговичи

7 — древляне

8 — поляне



1–10 — см. карту 1

15 — префикс *naw-* < *na u в формах превосходной степени прилагательных: *nawstaršij* (по АУМ II, карта 165)

16 — окончание род. п. ед. ч. ж. р. *-ějě в прилагательных с твердой основой: *molod*[ěj]], -[ěj] и т. д. (по АУМ II, карта 218)

17 – отсутствие удлинения *o > *ō в заударной позиции: *rad*[o]*st'* (по АУМ I, карты 64–69; АУМ II, карта 53).

Карта 3

Литература

Аркушин 2007 — *Аркушин Г. Л.* Межі західнополіського діалекту // Волинь філологічна: текст і контекст. Західнополіські говірки в просторі та часі: зб. наук. пр. Вип. 4. Луцьк, 2007. С. 9–31.

АССЯ — *Дыбо В. А., Замятина Г. И., Николаев С. Л.* Основы славянской акцентологии. Словарь. Непроизводные основы мужского рода. М., 1993.

АУМ — Атлас української мови. Т. I–III. Київ, 1984–2001.

Бевзенко 1980 — *Бевзенко С. П.* Діалектологія. Київ, 1980.

Букринская, Кармакова 1998 — *Букринская И. А., Кармакова О. Е.* Интерпретация лексических изоглосс в связи с вопросами раннего диалектного членения восточнославянских языков // Славянское языкознание. XII Международный съезд славистов. Краков, 1998. Доклады российской делегации. М., 1998.

Букринская, Кармакова 2002 — *Букринская И. А., Кармакова О. Е.* Лингвогеографическое изучение восточнославянской лексики // Исследования по славянской диалектологии. Вып. 8. Восточнославянская диалектология, лингвогеография и общеславянский контекст. М., 2002.

Булатова, Дыбо, Николаев 1988 — *Булатова Р. В., Дыбо В. А., Николаев С. Л.* Проблемы акцентологических диалектизмов в праславянском // Славянское языкознание. X Международный съезд славистов. София, сентябрь 1988 г. Доклады советской делегации. М., 1988. С. 31–66.

БМЭ — Беларуская мова: энцыклапедыя // Пад рэд. А. Я. Міхневіча. Мінск, 1994.

Галинская 1984 — *Галинская Е. А.* Лингвистическая география и памятники письменности // Совещание по вопросам диалектологии и истории языка: Лингвогеография на современном этапе и проблемы межуровневого взаимодействия в истории языка. Тезисы докладов и сообщений. М., 1984.

Галинская 2001 — *Галинская Е. А.* О возможностях построения русской исторической лингвогеографии // Языковая система и ее развитие во времени и пространстве. Сборник научных статей к 80-летию профессора Клавдии Васильевны Горшковой. М., 2001.

Галинская 2002 — *Галинская Е. А.* О преспективах русской исторической лингвогеографии (опыт создания диахронной лингвистической карты) // Аванесовский сборник. К 100-летию со дня рождения члена-корреспондента АН СССР Р. И. Аванесова. М., 2002.

Ганцов 1923 — *Ганцов Вс.* Характеристика поліських дифтонгів і шляхи їх фонетичного розвитку // Всеукраїнська Академія Наук. Записки історично-філологічного відділу. Кн. II–III (1920–1922). Київ, 1923.

Жовтобрюх, Русанівський, Скляренко 1989 — *Жовтобрюх М. А., Русанівський В. М., Скляренко В. Г.* Історія української мови. Фонетика. Київ, 1989.

Зализняк 1985 — *Зализняк А. А.* От праславянской акцентуации к русской. М., 1985.

Зализняк 2004 — *Зализняк А. А.* Древненовгородский диалект. М., 2004.

Зализняк 2010 — *Зализняк А. А.* «Мерило Праведное» XIV века как акцентологический источник // Зализняк А. А. Труды по акцентологии. Т. I. М., 2010. С. 531–708.

Зінчук 2010 — *Зінчук Р. С.* Атлас словозміни іменників у західнополіських говірках. Луцьк, 2010.

ДАБМ — Дыялекталагічны атлас беларускай мовы. Мінск, 1963.

ДАРЯ I — Диалектологический атлас русского языка. Вып. 1. Фонетика. М., 1986.

Дыбо, Замятина, Николаев 1993 — *Дыбо В. А., Замятина Г. И., Николаев С. Л.* Праславянская акцентология и лингвогеография // Славянское языкознание. XI Международный съезд славистов. Братислава, сентябрь 1993 г. Доклады российской делегации. М., 1993. С. 65–88.

Климчук 1983а — *Климчук Ф. Д.* Гаворкі заходняга Палесся. Мінск, 1983.

Климчук 1983б — *Климчук Ф. Д.* Следы исторических границ в современном диалектном ландшафте Полесья // Полесье и этногенез славян. Предварительные матриалы и тезисы конференции. М., 1983. С. 31–32.

Климчук 1998 — *Климчук Ф. Д.* Да вытокаў фарміраваньня ўсходнеславянскіх народаў // KRYŬJA. Crivica. Baltica. Indogermanica. № 1 (3). Менск, 1998. С. 100–148.

Климчук, Кривицкий, Никончук 1988 — *Климчук Ф. Д., Кривицкий А. А., Никончук Н. В.* Полесские говоры в составе белорусского и украинского языков // Полесье. Материальная культура. Киев, 1988. С. 56–64.

Кривицкий 1983 — *Кривицкий А. А.* Полесские говоры Белоруссии и современный белорусский диалектный язык // Полесье и этногенез славян. Предварительные матриалы и тезисы конференции. М., 1983. С. 50–52.

Кухаренко 1968 — *Кухаренко Ю. В.* Полесье и его место в процессе этногенеза славян (По материалам археологических исследований) // Полесье (Лингвистика. Археология. Топонимика). М., 1968. С. 18–46.

ЛАБМ — Лексічны атлас беларускіх народных гаворак. Т. 1–5. Мінск, 1993–1998.

ЛГГБГ — Лінгвістычная геаграфія і групоўка беларускіх гаворак / Пад рэд. Р. І. Аванэсава. Мінск, 1968–1969.

МЛАБМ — Материалы к ЛАБМ, хранятся в Секторе диалектологин Ин-та языкознания НАН Белоруссии им. Я. Коласа, г. Минск.

Мойсієнко 2006 — *Мойсієнко В. М.* Фонетична система українських поліських говорів у XVI–XVII ст. Житомир, 2006.

Мороз, Чаквин 1988 — *Мороз М. А, Чаквин И. В.* Полесье как историко-этнографическая область, ее локализация и границы // Полесье. Материальная культура. Киев, 1988. С. 56–64.

Назарова 1964 — *Назарова Т. В.* Іменникови *ѣ*-закінчення в північноукраїнських говорах // Українська діалектологія і ономастика. Київ, 1964.

Назарова 1968 — *Назарова Т. В.* Некоторые особенности украинских правобережнополесских говоров // Полесье (Лингвистика. Археология. Топонимика). М., 1968. С. 67–100.

Назарова 1972 — *Назарова Т. В.* К характеристике украинского волынско-полесского вокализма // Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 1970. М., 1972. С. 40–64.

Назарова 1985 — *Назарова Т. В.* Лінгвістичний атлас Нижньої Прип'яті. Київ, 1985.

Николаев 1988 — *Николаев С. Л.* Следы особенностей восточнославянских племенных диалектов в современных великорусских говорах. I. Кривичи // Балто-славянские исследования 1986. М., 1988. С. 115–154.

Николаев 1989 — *Николаев С. Л.* Следы особенностей восточнославянских племенных диалектов в современных великорусских говорах. I. Кривичи (окончание) // Балто-славянские исследования 1987. М., 1989. С. 187–225.

Николаев 1990 — *Николаев С. Л.* Восточнославянские акцентологические изоглоссы. I. Рефлексы оттяжек ударения в галицком диалекте // Исследования по исторической грамматике и лексикологии. М., 1990.

Николаев 1994 — *Николаев С. Л.* Раннее диалектное членение и внешние связи восточнославянских диалектов // Вопросы языкознания. 1994. № 3. С. 23–49.

Николаев 1995 — *Николаев С. Л.* Вокализм карпатоукраинских говоров. 1. Покутско-буковинско-гуцульский ареал // Славяноведение. 1995. № 3. С. 105–122; № 5. С. 101–127.

Николаев 1996а — *Николаев С. Л.* Histoire d'O // Русистика. Славистика. Индоевропеистика. Сборник к 60-летию А. А. Зализняка. М., 1996. С. 203–229.

Николаев 1996б — *Николаев С. Л.* Вокализм карпатоукраинских говоров. 2. Закарпатский ареал // Славяноведение. 1996. № 1. С. 125–139.

Николаев 2001 — *Николаев С. Л.* Из исторической фонетики и просодии северо-западных говоров // Вопросы русского языкознания. Вып. IX. Диалектная фонетика русского языка в диахронном и синхронном аспектах. М., 2001. С. 86–121.

Николаев 2008 — *Николаев С. Л.* Балкано-карпатские изоглоссы как реликт позднепраславянского лингвистического ландшафта // Карпато-балканский диалектный ландшафт: Язык и культура. Памяти Г. П. Клепиковой. М., 2008. С. 125–139.

Николаев 2011 — *Николаев С. Л.* Следы особенностей восточнославянских племенных диалектов в современных великорусских говорах. Верхневолжские (тверские) кривичи // Славяноведение. 2011. № 6. С. 3–19.

Николаев 2012 — *Николаев С. Л.* Восточнославянские рефлексы акцентной парадигмы *d* и индоевропейские соответствия славянским акцентным типам существительных мужского рода с *о*- и *u*-основами // Карпато-балканский диалектный ландшафт: Язык и культура. Вып. 2. 2009–2011. М., 2012. С. 32–188.

Николаев, Толстая 2001 — *Николаев С. Л., Толстая М. Н.* Словарь карпато-украинского торуньского говора с грамматическим очерком и образцами текстов. М., 2001.

Никончук 1983 — *Никончук Н. В.* Правобережнополесские говоры с лингвогеографической и исторической точек зрения // Полесский этнолингвистический сборник. Материалы и исследования. М., 1983. С. 153–173.

Никончук 1994 — *Никончук М.* Лексичний атлас Правобережного Полісся. Київ; Житомир, 1994.

Носович — *Носович И. И.* Словарь белорусского наречия. СПб., 1870.

ОЛА — Общеславянский лингвистический атлас. Вып. 2а. Рефлексы *ę. М., 1990; вып. 6. Рефлексы *е. М., 2011.

ОСА — *Дыбо В. А., Замятина Г. И., Николаев С. Л.* Основы славянской акцентологии. М., 1990.

Півторак 1988 — *Півторак Г. П.* Формування і діалектна диференціація давньоруської мови (историко-фонетичний нарис). Київ, 1988.

Рыко 1998 — *Рыко А. И.* Флексия 3 лица презенса в отдельных селигерских говорах (к проблеме проведения древнейших изоглосс) // Русская филология. Вып. 9. Сб. науч. работ молодых филологов. Тарту, 1998.

СБМ — Слоўнік беларускай мовы. Арфаграфія. Арфаэпія. Акцэнтуація. Словазмянення. Мінск, 1987.

Скопненко 1997 — *Скопненко О. І.* Генеза берестейсько-пинських говірок: Автореферат дис. ... канд. філол. наук. Київ, 1997.

Седов 1970 — *Седов В. В.* Славяне Верхнего Поднепровья и Подвинья. М., 1970.

Седов 1982 — *Седов В. В.* Восточные славяне в VI–XIII вв. М., 1982.

Седов 1999 — *Седов В. В.* Древнерусская народность. Историко-археологическое исследование. М., 1999.

Седов 2002 — *Седов В. В.* Славяне. Историко-археологическое исследование. М., 2002.

Соловьева 1968 — *Соловьева Г. Ф.* К вопросу о приходе радимичей на Русь // Славяне и Русь. М., 1968.

СРНГ — Словарь русских народных говоров. Вып. 1–. М.; Л., 1965–.

Тер-Аванесова 1988 — *Тер-Аванесова А. В.* Об одной славянской акцентной инновации // Славянское и балканское языкознание. Просодия. М., 1988.

Тер-Аванесова 1995 — *Тер-Аванесова А. В.* Рефлексы *'а и *ę под ударением // Восточнославянские изоглоссы 1995. Вып. 1. М., 1995. С. 32–43.

Тер-Аванесова 2002 — *Тер-Аванесова А. В.* Окончания родительного, дательного и местного падежей единственного числа существительных **а*-склонения в восточнославянских диалектах // Исследования по славянской диалектологии. [Вып.] 8: Восточнославянская диалектология, лингвогеография и славянский контекст. М., 2002.

Тер-Аванесова 2009 — *Тер-Аванесова А. В.* Коротко о фонологии и морфонологии Слободского говора // Исследования по славянской диалектологии. Вып. 14. Фонетический аспект изучения славянских диалектов. М., 2009. С. 158–176.

Тер-Аванесова 2012 — *Тер-Аванесова А. В.* Экспедиция в Сарненский р-н Ровенской области // Русский язык в научном освещении. 2012. № 1.

Толстой 1968 — *Толстой Н. И.* О лингвистическом изучении Полесья (предисловие редактора) // Полесье (Лингвистика. Археология. Топонимика). М., 1968. С. 5–17.

Хабургаев 1980 — *Хабургаев Г. А.* Становление русского языка. М., 1980.

Цонев 1903 — *Цонев Б.* Към историята на български език // Сборник за народни умотворения, наука и книжнина. Кн. XIX. София, 1903.

Шахматов 1914 — *Шахматов А. А.* Описание Лекинского говора Егорьевского уезда Рязанской губернии // Известия ОРЯС. 1913. Т. 18, кн. 4. СПб., 1914. С. 171–220.

Шахматов, Крымский 1922 — *Шахматов О., Кримський А.* Нариси з історії української мови та хрестоматія. Київ, 1922.

Шевелева 1993 — *Шевелева М. Н.* Аномальные церковнославянские формы с глаголом *быти* и их диалектные сооотвествия. К вопросу о соотношении церковнославянской нормы и диалектной системы // Исследования по славянскому историческому языкознанию. Памяти проф. Г. А. Хабургаева. М., 1993.

Шевелева 2010 — *Шевелева М. Н.* Вторичные имперфективы с суффиксом *-ыва-/-ива-* в летописях XII–XVI вв. // Русский язык в научном освещении. 2010. № 2. С. 200–242.

Шевельов 2002 — *Шевельов Ю.* Історична фонологія української мови. Переклад с англійської. Харків, 2002.

AGWB — Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. T. I–. Wrocław, 1980–.

Klemensiewicz, Lehr-Spławiński, Urbanczyk 1955 — *Klemensiewicz Z., Lehr-Spławiński T., Urbanczyk S.* Gramatyka historyczna języka polskiego. Warszawa, 1955.

С. М. Толстая

Семантическая реконструкция и лексическая типология

Памяти Н. И. Толстого

В 2013 г. исполняется 90 лет со дня рождения академика Н. И. Толстого (1923–1996) и 50 лет со времени выхода в свет его знаменитой статьи «Из опыта типологического исследования славянского словарного состава» [Толстой 1963]. Эти даты дают повод для нового обращения к проблематике лексической (семантической) типологии славянских языков с учетом современного состояния и достижений нескольких лингвистических дисциплин: славянской этимологии (ЭССЯ, SP, этимологические словари отдельных славянских языков), теоретической семантики (Ю. Д. Апресян и его школа, Е. В. Падучева, Анна А. Зализняк, А. Вежбицкая и др.), славянской и общей лексической типологии (В. Бланар, А. В. Исаченко; А. В. Дыбо, Е. В. Рахилина, В. А. Плунгян и др.), исторической и сопоставительной лексикологии и семасиологии славянских языков (исторические словари и исследования), диалектной лексикографии и лексикологии (региональные словари, атласы, исследования).

Предварительные замечания. Понятие *семантическая реконструкция* может иметь абсолютную (более строгую, предельную) и относительную (более широкую, свободную) трактовку. В первом случае подразумевается восстановление исходного, первичного значения слова, присущего ему в праязыке; во втором случае речь идет о восстановлении семантической структуры слова (или группы слов), его семантических связей с другими словами и его семантических изменений независимо от праязыковой перспективы, применительно к любому этапу его развития.

Понятие *типологии* может применяться как к языку в целом, так и к любым фрагментам языка и любым отдельным языковым явлениям; типология может быть общей и частной, т. е. учитывать все языки мира или же ограничиваться отдельными группами языков

Светлана Михайловна Толстая,
Институт славяноведения РАН (Москва)

или даже отдельными языками. Типология *лексическая*, *семантическая* и *лексико-семантическая* часто не разграничиваются, хотя в ряде случаев между этими понятиями усматривается содержательное разграничение.

Лексическая типология обычно предполагает ономасиологический подход, т. е. изучение того, как средствами лексики «обеспечивается» и членится то или иное денотативное поле (область действительности и соответствующая понятийная область), какие свойства и отношения реальных объектов оказываются релевантными для их номинации и далее — каковы семантические (и структурные) характеристики обозначающей их лексики, какие другие денотативные сферы выступают по отношению к данному полю донорами и реципиентами. По этому принципу построены многочисленные исследования отдельных лексико-семантических полей или тематических лексических групп (таких как фитонимы, лексика рельефа, метеорологическая лексика, предикаты движения, лексика эмоций, лексика предметов-артефактов и т. д.).

Семантическая типология предполагает противоположный подход — от слова к внеязыковой действительности и ставит своей целью изучение семантической структуры слова (словообразовательного или этимологического гнезда, «морфосемантического поля» в смысле П. Гиро, см.: [Guiraud 1956]), возможных для них сочетаний смыслов, типов изменений смыслов (семантические переходы) в рамках данного слова или гнезда слов. Этот подход (от слова к значению) востребован прежде всего этимологией и исторической семасиологией.

Наконец, *лексико-семантическая типология* сочетает в себе оба подхода: она либо исходит из денотативного поля, но ограничивает его лексически, либо, наоборот, исходит из лексического поля (гнезда и т. п.) и изучает набор и соотношение обозначаемых лексикой этого гнезда денотативных сфер (см., например: [Blanár 1984]).

В действительности речь идет, конечно, всего лишь об акцентах и о принципах выбора «начального» объекта исследования, а также о направлении анализа и его «цели», поскольку в обоих случаях ономасиологический подход так или иначе (но в разном соотношении) сочетается с семасиологическим. Естественно, что этимологи прежде всего ориентированы на анализ слов (гнезд), хотя и не могут игнорировать принципов номинации соответствующих объектов действительности. А представителей когнитивного направления будет прежде всего интересовать способ членения и категоризации разных фрагментов реального мира, но свои выводы они будут строить на семантике обслуживающей данную область лексики (из новых

славистических работ этого типа можно указать: [AQUAMOTION 2007] с ценной обзорной вступительной статьей Е. В. Рахилиной и В. А. Плунгяна «О лексико-семантической типологии»; [Боль 2009]; [Круглякова 2010]; польскую серию «Исследования по сравнительной семантике» — [Studia z semantyki 2000, 2003]).

При этом типологические аспекты могут присутствовать и присутствуют при обоих подходах, только это будут разные типологии (с разными «объектами» типологического сопоставления). При лексическом «входе» (от слова к смыслу) это может быть типология многозначности слова или этимологического гнезда, типология конфигураций разных значений, установление типичности или индивидуальности сочетания конкретных значений в рамках одного слова или целого гнезда, а также типичности или нетипичности того или иного характерного для данного слова (гнезда) способа семантической деривации. При ономасиологическом (номинационном, идеографическом, денотативном) «входе» это будет типология структуры (членения) денотативной или понятийной области, типология ее категоризации средствами лексики (принадлежащей разным гнездам) и характерных для данного семантического поля мотивационных (номинационных) моделей[1]. Понятно, что такая типология обладает тем преимуществом перед типологией «семасиологической» (от слова к смыслу), что она может опереться на «общее основание» для всех сравниваемых (классифицируемых) явлений в виде единой (в принципе) универсальной денотативной сферы, что позволяет охватить сопоставлением широкий круг языков независимо от их генетического и иного родства, тогда как «семасиологическая» типология вынуждена ограничиваться родственными языковыми идиомами (языками, диалектами, группами родственных языков).

Если мы занимаемся семантической реконструкцией целого праславянского гнезда, например, гнезда **xorniti*, для нас окажется важным определить сначала общий набор значений (семантическое

[1] Это может быть и «атомарная» типология. В одной из первых работ по лексической типологии славянских языков, принадлежащей А. В. Исаченко [Исаченко 1958], анализируются такие сопоставления, как разные в разных славянских языках названия карандаша, разные обозначения картошки, очков, железной дороги и др., за которыми, однако, автору удается рассмотреть более общие принципы номинации, характерные для разных языков (например, тенденция к «расчлененным» структурам типа рус. *железная дорога* или конденсированным формам типа укр. *залізниця*). При противоположном подходе (от слова к смыслу) этому могла бы соответствовать типология многозначности одной и той же праславянской лексемы в славянских языках.

поле или семантический спектр) слов данного гнезда, затем реконструировать «логику отношений» между этими значениями, т. е. восстановить семантические связи между конкретными, зафиксированными в словарях значениями, в том числе между такими далекими друг от друга значениями, как ‘хоронить’ (рус. *хоронить*) и ‘кормить’ (серб. *хранити*, болг. *храня*), а также другими значениями (такими как ‘сохранять’, ‘прятать’, ‘беречь’, ‘растить, разводить’, ‘пасти скот’ и др.). Подробнее см. [Толстая 2009]. В плане типологии мы должны будем выяснить, насколько типично (или индивидуально) сочетание представленных в семантическом поле данного гнезда значений и моделей семантической деривации. Если же мы занимаемся «лексической» типологией в рамках денотативного и понятийного поля «хоронить, погребать», то нам придется рассмотреть все его лексическое «покрытие» (лексическое поле), т. е. набор и семантическое соотношение слов (гнезд) **xorniti* (рус. *хоронить*, серб. *сахрана*), **xovati* (укр. *ховати*, бел. *хаваць*, пол. *chować* и т. д.), **grebti* (ц.-слав. и рус. *погребать*, *погребение*, пол. *pogrzeb*, о.-слав. *гроб* ‘могила’, рус. вторично ‘гроб’ и т. д.), **kopati* (словен. *kopati*, *pokop*), **klasti* (рус. *кладбище*, диал. *класть*, морав. *klast* ‘хоронить, погребать’ и т. д.), **prętati* (укр. *прятати*) и некоторых других (например, **kojiti*, **ryti*, **valiti*), способных обозначать акт погребения или реалии погребального обряда.

Н. И. Толстой определяет область своих занятий как сравнительную славянскую семасиологию [Толстой 1968] и типологическое исследование славянского словарного состава [Толстой 1963; 1966]. Предложенный им метод построения лексико-семантической типологии основывается на понятии *семантического микрополя*, которое по существу представляет собой некоторую ограниченную денотативную область (сферу внеязыковой действительности и соответствующую область понятий), на которую затем накладывается, по выражению А. В. Дыбо, номинационная решетка (англ. mapping), т. е. реальные для каждой исследуемой языковой или диалектной системы лексические единицы [Дыбо 1996: 27]. При этом сама денотативная область выбирается не на логико-понятийном, а на лингвистическом основании — она задается «семантической амплитудой опорной лексемы[2]», т. е. ее максимальным для всех изучае-

[2] Специального замечания заслуживает термин *лексема*, который употребляется в семасиологических исследованиях в трех разных значениях: 1. ‘единица лексической системы языка, слово, вокабула’ (наиболее распространенное, традиционное значение, используемое в большинстве лексикологических трудов), 2. ‘единица плана выражения слова, его внешняя оболочка, в противоположность *семеме* как содержанию слова, его значе-

мых систем набором значений. Так, в типологических построениях Н. И. Толстого славянская лексема **godina* служит «опорной лексемой», чья «амплитуда колебания», т. е. суммарный для всех славянских языков и диалектов набор ее значений, задает семантическое микрополе, в которое входят понятия (смыслы) «дождь», «время», «погода», «год», «час», выражаемые также другими лексемами со своими индивидуальными семантическими спектрами. Принимая в целом подход Н. И. Толстого, А. В. Дыбо в своей семантической реконструкции соматических терминов в алтайских языках дополняет его «обратной» перспективой, считая целесообразным построение не только таблиц с «ономасиологическим входом», но и таблиц с «семасиологическим входом», т. е. имеющих «на входе» первичные лексемы, а в клетках — значения их рефлексов по языкам.

Опыт построения типологии семантических микрополей, предпринятый Н. И. Толстым, наглядно показал «непрерывность» семантической системы языка, в которой микросистемы, выделенные на основании семантических спектров («амплитуд колебаний») индивидуальных лексем, пересекаются друг с другом, накладываются друг на друга, образуя сложную сеть отношений и вовлекая в эту сеть все новые и новые лексические единицы с их семантическим спектром и потенциалом. Оборвать эти нанизывающиеся друг на друга цепи и выделить строго ограниченные автономные подсистемы или замкнутые микросистемы не всегда возможно (особенно для предикатной лексики). Характерной особенностью таких комплексов микрополей или своего рода лексико-семантических макросистем, объединяющих в единую сеть на основе семантической связанности разные этимологические гнезда, оказывается их «парадигматическая» связь, т. е. наличие среди общих значений не только тех исходных значений, на основании которых складывается данное объединение, но и многих других, занимающих в семантической структуре каждого отдельного гнезда разное место — от доминантного до сугубо периферийного, от актуального до реликтового.

Например, понятия «любить» и «любовь» выражаются в славянских языках разными лексическими единицами (гнездами), главные из которых: **l'ub-* (рус. *любить*, *любовь*), **mil-* (пол. *miłość*), **lask-* (чеш. *láska*), **kox-* (пол. *kochać*), **vol-* (с.-х. *волети*) и **vyk-* (болг. *обич* < **ob-vyk-*), а также, во вторую очередь: **dorg-* (болг. *драгувам* 'любить'), **drug-* (рус. диал. *дружник* 'любовник'), **xot'-* (рус. *похоть*),

---

нию' (используется в работах Н. И. Толстого и его последователей), 3. 'слово в одном из его значений' (принято в работах московской семантической школы Ю. Д. Апресяна).

gal-* (болг. *галя* ‘любить’), **god-* (с.-х. *годити* ‘нравиться’, рус. *угодный*), **norv-* (рус. *нравиться*), **(po)dob-* (пол. *podobać się*), **prijat-* (рус. новгород. *приятка* ‘возлюбленный, возлюбленная’), **žal-* (рус. диал. *жалеть* ‘любить’). При этом в большинстве гнезд так или иначе, на той или иной стадии семантической деривации представлены ключевые для данного семантического поля смыслы (мотивы) — желания, хотения (xotěti*, **voléti*, **želati*, **želěti*)[3]; заботы, опеки (**l’ub-*, **mil-*, **kox-*), физического контакта как способа выражения чувства (**kox-*, **lask-*, **l’ub-*), сострадания, жалости (**mil-*, **žal*), привычки, обычая, нрава (**ob-vyk-*, **norv-*), радости и удовольствия (**l’ub-*, **dorg-*, **kox-*). Подробнее см. [Birnbaum 1978; Jakubowicz 2000; Толстая 2012].

Более подробному анализу далее подвергается отвлеченная понятийная сфера, обозначаемая в славянских языках глаголом **iskati* и его синонимами.

Семантическая сфера «искать» и ее лексическое «оснащение» в славянских языках

Если в качестве опорного слова в смысле Н. И. Толстого выбрать слав. **iskati*, то окажется, что его семантический спектр («амплитуда колебания») очерчивает некое смысловое пространство, не сводимое к какому-то одному определенному понятию, а покрывающее собой ряд достаточно автономных «ситуаций», связанных между собой набором признаков, которые в одних случаях приводят к лексикализации, порождая новые языковые номинации, в других — остаются в пределах семантики одной лексемы, формируя структуру ее многозначности. Поэтому, сравнивая славянские языки по ономасиологическому (идеографическому) принципу, мы говорим не о трудно определимом в своих границах понятии «искать» как основе сравнения (типологии), а скорее о некоей диффузной семантической

[3] Так, в ключевом для данного семантического поля глаголе **l’ubiti* мотив желания реконструируется не только на этимологическом уровне (см. [ЭССЯ 15: 176; Jakubowicz 2000]), но и на уровне семантического толкования, ср. дефиницию рус. *любить*: «X *любит*, <*обожает*> P = ‘X имеет свойство хотеть P, потому что всякий раз, когда X делает P, использует P или находится в контакте с P, он испытывает большое удовольствие’ [Апресян 2000: 180], а также на уровне историко-семантических реконструкций, ср. о языке пушкинской эпохи: «Глагол *любить*, наряду с обычными для современного языка значениями ‘любить’ и ‘нравиться’, мог широко и свободно использоваться в значении ‘страстно желать (чего-либо)’, ‘мечтать (о чем-либо)’» [Пеньковский 2012: 13].

«сфере» (пользуясь удачным термином Х. Бирнбаума — [Birnbaum 1978]) или семантическом поле, выделенных на основании собственно языкового признака — семантического спектра (набора значений) конкретной праславянской (общеславянской) лексемы.

Схематичный суммарный набор значений (семантическое поле, семантическая сфера) слав. **iskati* (*jьskati*) представлен в соответствующей статье (**jьskati*) в Этимологическом словаре славянских языков [ЭССЯ 8: 238]: ‘искать’, ‘хотеть’, ‘стремиться’, ‘просить’, ‘спрашивать’, ‘взыскивать’, ‘испытывать нужду в чем-л.’, ‘искать в голове’, ‘изучать, исследовать’. Будучи обозначенными словами русского языка, эти условные дефиниции, на первый взгляд, не обнаруживают явной семантической близости, тем не менее внутренняя связь этих значений подтверждается фактом их совместного присутствия в семантическом спектре других лексических единиц, используемых в славянских языках для обозначения тех же внеязыковых ситуаций и выступающих в роли межъязыковых синонимов[4].

Синонимический ряд, возглавляемый глаголом **iskati*, включает в славянских языках единицы следующих этимологических гнезд: **isk-* (ст.-слав., др.-рус. *искати*, рус. *искать*, с.-х. *искати*, словен. *iskati*), **šuk-* (пол. *szukać*, укр. *шукати*, бел. *шукаць*), **ględ-* (чеш. *hledat*, словац. *hl’adat’*), **trag-* (с.-х. *тражити*), **trs-* (болг. *търся*), **bar-* (болг. *барам*, макед. *бара*), **dьr-* (болг. *диря*, серб. *дирати*), **sok-* / *sak-* (макед. *сака*, болг. *сакам*, с.-х. *сочити*, укр. *сочити*, бел. *сачыць*, рус. диал. *сачить*, *сочить*). Если далее рассмотреть семантические спектры каждого из перечисленных гнезд, то мы получим представление о том, как членится и концептуализируется интересующее нас смысловое пространство «искать» лексическими средствами разных славянских языков, какие признаки обозначаемых реальных ситуаций становятся релевантными для языковой номинации и как соотносятся между собой разные единицы общеславянского лексикона (разные члены межславянского синонимического ряда).

***iskati**. Праславянский глагол **iskati* (*jьskati*) известен в той или иной мере всем славянским языкам, однако в своем исходном значении ‘искать’ [ЭССЯ 8: 239] он присутствует далеко не везде — в качестве основного глагола он выступает в старославянском, древнерусском, церковнославянском, русском и словенском, в ограниченном наборе значений известен в сербскохорватском, тогда как в

[4] Показательно, что внешние (неславянские) параллели для **iskati* обнаруживают тот же «разброс» значений, ср. лит. *ieškoti* ‘искать’, др.-в.-нем. *eiskōn*, нем. *heischen* ‘требовать’, англосакс. *āscian*, англ. *ask* ‘спрашивать’, др.-инд. *icchátі* ‘искать, желать’, авест. *isaiti* ‘то же’ [ЭССЯ 8: 239].

других языках он либо носит сугубо периферийный характер, либо является архаизмом, утратившим свое прежнее положение, либо получает другое значение (как в болг. *искам* ‘хотеть’). Однако и в сохраняющих исконное значение языках этот глагол имеет, наряду с основным, и другие значения. Так, в старославянском **искати**, кроме ‘искать’ (**иштаи обрѣтаетъ**), может означать ‘стремиться, хотеть, просить’ (**искааше видѣти**) и оказывается в разных контекстах синонимичным глаголам **възискати, изискати, поискати, въпрашати, просити, хотѣти, въстѧзати**, **истѧзати** [SJS 1: 791; СС: 264–265].

В русском литературном языке *искать* имеет довольно широкий круг значений: согласно БАС, это 1. Стараться найти, обнаружить кого-, что-либо; 2. Добиваться чего-либо; 3. устар. Желать, хотеть что-л. сделать; 4. Предъявлять иск, требовать судебным порядком; 5. Стремиться обнаружить местонахождение дичи. О собаке; 6. устар. Лестью и угодничеством добиваться расположения. В диалектах представлено также значение ‘взыскивать, спрашивать с кого-либо, предъявлять требования’: «Мне сказали: ищи, бабушка, с колхоза (добивайся пенсии)», ‘интересоваться чем-либо, вникать во что-л.’ и др.; *искаться* ‘искать’, ‘домогаться чего-л.’: «Тятя, ты к маме не ищись», ‘подавать иск в суд’, ‘случаться с самцом’: «У тебя когда будет корова искаться?» [СРНГ 12: 214].

За этими очень общими дефинициями стоит ряд достаточно автономных значений, связанных с разной трактовкой и разной категоризацией ситуаций, охватываемых глаголом *искать* в русском языке. Этот предикат может обозначать некоторую активность, деятельность (занятие) субъекта, связанную с перебором мест, где может находиться объект поиска, или с выбором искомого из ряда однородных объектов; в этом случае *искать* коррелирует с «результативными» глаголами *находить*, *найти* (ср. [Толстая 2011]). В этой «деятельности» могут использоваться разные способы и «орудия»: можно искать «ногами», т. е. обходя те места, где предположительно находится объект поиска; можно искать «руками», т. е. перебирая содержимое шкафа, папки, книжной полки, листая словарь и т. п.; можно искать «глазами», высматривая искомое в поле зрения (последнее «орудие» поиска так или иначе используется и в двух предыдущих способах, предполагающих обязательный зрительный контакт между субъектом и объектом); реже орудием поиска служит слух (ср. поиск волны в радиоприемнике) или другие органы чувств (ср. рус. *вынюхивать*, укр. диал. *нюшити* ‘искать, вынюхивать’). В других случаях *искать* акцентирует состояние (волю) субъекта и тогда обозначает желание, стремление к чему-л.: *искать знакомства*, *искать смерти* и т. п. Если же ситуация включает еще одного участника (косвенный

объект), то *искать* может выражать желание, просьбу или требование к этому второму участнику (таковы, в частности, все «судебные» контексты). Наконец, по мере сужения, конкретизации денотативного поля объектов поиска может происходить и сужение семантики предиката: *искать* ‘обращаться с иском в суд’, ‘выслеживать зверя’, ‘искать в голове’, ‘искать (стремиться, требовать) полового контакта’ и др.

В сербском языке «активное» (деятельностное) значение выделилось из сферы *искати* и получило отдельное лексическое выражение — *тражити*, соответственно у *искати* произошло усиление «коммуникативного» аспекта значения: *искати* ‘стремиться к получению чего-л., просить о чем-л.’ (*искати хлеба*, *новаца*), а при сужении значения и конкретизации ситуации — ‘просить руки, свататься’ или ‘просить цену за товар’. С другой стороны, может акцентироваться и внутреннее состояние субъекта, ср. значение ‘испытывать потребность в чем-л., нуждаться в чем-л.’: «Његово здравље иште потребу за лечењем» [Его здоровье требует лечения]; *искати помоћ* ‘нуждаться в помощи’ [РСЈ: 480]. В дальнейшем на этом пути естественно развивается значение ‘хотеть’, ставшее главным для этого глагола в болгарском языке, но периферийно присутствующее и в сербскохорватском, ср.: «Kad mu srce ište, nek ide učiti» [Раз сердце просит (хочет), пусть идет учиться] [RJAZU 3: 877], и словенском (*iskati pomoč*, *sočutje* ‘искать помощи, сочувствия’).

В словенском языке глагол *iskati* имеет следующие значения: 1. стараться обрести нечто потерянное, спрятанное или отсутствующее на месте, 2. стараться получить то, чего человек не имеет (работу, квартиру, мужа, способ решения, выход из положения и т. п.), 3. стараться определить или узнать нечто (искать дорогу, слово в словаре, информацию в книге и т. п.), 4. желать, хотеть, ожидать (помощь, поддержку, сочувствие и т. п.), 5. при глаголах *идти*, *ходить* выражает цель: *šel je iskat kruh* [пошел за хлебом], *kaj spet iščeš tu?* [зачем ты сюда пришел?] [SSKJ 2: 73–74].

Судьбу праславянского глагола **iskati* (*jьskati*) в разных славянских языках в общих чертах проследил польский лингвист З. Грень, который изучал способы выражения понятия «хотеть» в славянских языках [Greń 1988]. Не повторяя его данных, приведу основные значения этого глагола в остальных славянских языках, чтобы очертить его общеславянское семантическое поле. В польском, словацком, в некоторых русских, украинских и белорусских диалектах этот глагол представлен только в узком значении ‘искать вшей в голове’ или ‘о животных: выбирать насекомых из шерсти, перьев’ [SJPD 3: 266; Karłowicz 2: 209; SSJ 1: 618; SSN 1: 705; Даль 2: 113; Гринченко 4:

238 — *ськати*; ЭСБМ 3: 399]. Остаточно сохраняются следы исходного значения в украинских и белорусских говорах: укр. закарпат. *иськати* ‘искать’: «Не йськай б’іду — б’іда сама прийде»; *иськатися* ‘искать для себя то, что нужно’: «Не майеш роботы, та йис’кайс’а, не сиди дома» [Сабадош 2008: 135], гуцул. *искати* ‘испрашивать, просить’, *искати гроши* ‘зарабатывать деньги’ [Керча 1: 381]; бел. диал. *іскаць* (= шукаць): «Ён искаў яё па саседзях» [СПЗБ 2: 348], «Бягу свае маткі йскаць» [Бялькевіч: 215]; они известны также в древнепольском и древнечешском, в староукраинском и старобелорусском языках (до XV–XVI в.).

Смена исходного значения праслав. **iskati* в болгарском языке, где этот глагол получил значение ‘хотеть’, произошла в результате грамматикализации праслав. **xotěti* / *хъtěti* в функции показателя будущего времени, вызвавшей утрату его как основной лексической единицы со значением ‘хотеть’ и передачу этого значения глаголу с исходным значением ‘искать’. Сам по себе этот семантический сдвиг весьма показателен и вполне закономерен, поскольку семантический компонент ‘хотеть’ является неотъемлемым составляющим семантики ‘искать’, что подтверждается данными семантической деривации в праславянском гнезде **isk-* во всех славянских языках.

šukati. Глагол **šukati* служит основным обозначением разнообразных ситуаций, относящихся к сфере «искать» в польском (засвидетельствован с XIV в.), украинском и белорусском языках (в последних признается полонизмом). Относительно его этимологии единого мнения не существует — его считают либо германизмом, родственным нем. *suchen* [Brückner 1957: 557], либо собственно славянским образованием первоначально звукоподражательного характера с исходным значением ‘производить шум, шорох’ и дальнейшим развитием значения ‘искать’ через посредство ‘ходить с шумом в поисках чего-л.’ [Boryś 2005: 607–608]. В польском языке предикат *szukać* охватывает основной круг ситуаций, непосредственно связанных с поиском как «действием» (первый круг значений), а также наиболее типичные «субъективные» аспекты ситуаций поиска, акцентирующие волю субъекта и устраняющие по существу акциональный компонент (второй круг значений), а именно: 1. искать, т. е. выяснять, где (обычно во многих местах), находится кто-то или что-то, стараться найти: «Szukał jej po całym mieszkaniu. Zaglądał do wszystkich pokojów» [Искал ее по всей квартире. Заглядывал в каждую комнату]; 2. стремиться к чему-то, стараться что-то получить: «Szukał rozrywki w zabawach szumnych, w sztukach, w literaturze» [Искал развлечений в шумных забавах, в спектаклях, в литературе] [SJPD 8: 1197–1198]. В толковании словаря справедливо подчеркнута при первом, главном

значении роль локативного параметра ситуации. В древнепольских текстах этот глагол представлен также и в юридических значениях, воспринятых, вероятно, от исчезнувшего **iskati*: ‘обращаться в суд с иском’ и далее ‘обвинять’ и ‘мстить’; отражено в них и значение ‘исследовать, расследовать’, характерное и для других единиц интересующего нас лексического поля [SS 8/7: 586].

В украинском *шукати* (засвидетельствовано с XIV в.) также представлены оба основных типа значений — «акциональное» (‘искать, перебирать’) и «субъективное» (‘стремиться к чему-л., желать чего-л., добиваться чего-л.’), с пометой *устар.* дается также «юридическое» значение ‘предъявлять иск в суде’ [СУМ 11: 558–559]. Украинский глагол, кроме беспредложного прямого объекта (*шукати кого*, *чого*), может иметь в диалектах управление с предлогом *за-*: «Єї тато і єї чоловік за нею шукають» [Гринченко 4: 517] (пример из закарпатских записей В. Гнатюка), в чем можно видеть характерный акцент на поиске как движении в сторону искомого объекта.

В белорусском языке круг значений глагола *шукаць* и его дериватов в принципе совпадает с польским и украинским. В диалектах зафиксировано суженное значение *шукацца* ‘искать вшей в голове’ [СПЗБ 5: 504], ср. в этом значении рус. *искать*, *искаться*.

***ględati**. Лексика этого гнезда акцентирует один из видов поиска как действия, а именно поиск с помощью зрения, который имплицитно присутствует или подразумевается как один из прототипических видов поиска (наряду с хождением и перебиранием руками) в семантике всех других лексических средств данной сферы. В чешском и словацком этот глагол (соответственно *hledat* и *hl’adat’*) выступает в качестве основного с общим значением ‘искать’; спорадически он известен в этом значении также и другим славянским языкам (например, укр. *глядіти* ‘искать’ — [СУМ 2: 91; Гринченко 2: 292], карпат. *γl’adati* — [Николаев, Толстая 2001: 84], ср. также рус. *высматривать*; рус. диал. *глядеть* ‘высматривать’, ‘ожидать’: «Подарки дарят — отдарков глядят» [СРНГ 6: 230]; в.-луж. *hladać* ‘искать’, наряду со значениями ‘смотреть’, ‘следить’, ‘ожидать’ и др.), семантические параллели можно найти и в неславянских языках (ср. англ. *look for* ‘искать’).

Для чешского *hledat* (*hledati*) характерны как «акциональные» значения, предполагающие физические действия хождения, перебирания (*hledat ve skříni* ‘искать в шкафу’, *hledat citát v knize* ‘искать цитату в книге’), так и значения, связанные с желанием, стремлением или потребностью субъекта (*hledat práci* ‘искать работу’, *hledat možnost* ‘искать возможность’ и т. д.), а также синкретичное значение ‘искать, усматривать’. Семантическое расхождение с исконным зна-

чением праслав. **ględati* ‘смотреть’ закреплено в морфологическом оформлении разных глагольных классов: *hledat* ‘искать’ и *hledět* ‘смотреть’. Аналогичное формальное размежевание претерпел этот глагол в словацком, где *hl’adat’* — ‘искать’, а *hl’adiet’* — ‘смотреть’, причем первый глагол может иметь как конкретное значение действия (*hl’adat’ cestu* ‘искать дорогу’), так и абстрактное значение стремления, желания чего-л., потребности в чем-то (*hl’adat’ prácu* ‘искать работу’, *hl’adat’ štastie* ‘искать счастья’). В словацких диалектах к этим основным значениям добавляется семантика поиска в смысле исследования, изучения — как в физическом смысле (‘ощупать’), так и в абстрактном (‘проникнуть, познать’) — [SSN 1: 566] (ср. рус. *научный поиск*, *разыскания*, серб. *истраживање* ‘исследование’ при *тражити* ‘искать’ и др.).

Семантической параллелью к развитию ‘смотреть’ > ‘искать’ может служить устаревшее значение пол. *patrzeć* ‘искать’: «Ja, wierz mi, w kobiecie wzajemności patrzę samej» [Я, поверь, ищу в женщине только взаимности] [SJPD 6: 198], а также кашубское *patřëc* 1. редк. ‘искать чего-н. глазами’, 2. ‘следить’, 3. ‘щупать курицу, чтобы узнать, не снесла ли она яйцо’ [Sychta 4: 44].

tražiti. Этот глагол[5], производный от южнославянского (возможно, и праславянского — [Skok 3: 487; Bezlaj 4: 210]) **tragъ* / *traga* ‘след’, является основным в сербскохорватском языке и одним из глаголов с этим значением в македонском (*тражи*, *трага* ‘искать’ как синоним основного *бара*). Его семантическое развитие представляется совершенно прозрачным: ‘идти по следу’, ‘следить’ > ‘искать’. Как и в других языках, его первое значение связано с «акциональным» аспектом поиска (изначально с хождением), т. е. он означает действия, направленные на то, чтобы найти то, что потеряно, скрыто, спрятано. Однако дальнейшие значения развивают в большей степени, чем глаголы поиска в других языках, «коммуникативную» семантику, направленную на внешнего участника: ‘желать, чтобы адресат появился’: «Отац ти је на смрти. Тражи те» [Твой отец при смерти. Хочет, чтобы ты пришел], и далее ‘просить’, ‘нуждаться в чем-л., требовать чего-л.’ («Дете тражи негу» [Ребенок нуждается в уходе]) и ‘предлагать руку и сердце (свататься)’ [РСЈ: 1329]. Подобно своим синонимам в других языках, серб. *тражити* получает значения, связанные с поиском знания, т. е. с исследованием: *истраживати* ‘исследовать’, *истраживање* ‘исследование’ (ср. с той же внутренней формой рус. *исследование*, болг. *изследване*).

[5] Диал. косов. также в огласовке *трагати* ‘расспрашивать, стараться узнать’, *трагача* ‘любопытная женщина’ [Елезовић 2: 332].

***barati**. Этот глагол, известный только южнославянским языкам (болг. разг. и диал. *барам* ‘трогать’, ‘искать’, ‘спрашивать’, макед. *бара* ‘искать’, ‘стараться получить’, ‘испытывать нужду, потребность’, ‘назначать цену’, серб. диал. *барати* ‘искать’, ‘трогать’ и др., словен. устар. *barati* ‘спрашивать’), с исходным «физическим» значением ‘трогать, щупать, касаться’ этимологи предположительно связывают с **borti* / **boriti*, считая его итеративом к этому глаголу и предполагая сложный и не очень понятный путь семантического развития: ‘проникать, искать, спрашивать, просить, требовать’ с дальнейшим сужением значения: ‘ломать, сокрушать’ > ‘трогать, щупать’, ‘рыться’, ‘работать’ [ЭССЯ 1: 159] (там же обзор предшествующих мнений). В краковском «Праславянском словаре» глаголы **barati* ‘бороться’ (как итератив от **borti* / *boriti*) и *barati* ‘трогать, щупать, искать, хватать’ признаются омонимами, причем второй не получает определенного истолкования; не исключается и его родство с первым [SP 1: 192]. Подробную сводку сербских диалектных значений глагола *барати* дает новый этимологический словарь сербского языка: ‘искать’, ‘касаться, дотрагиваться’, ‘дергать, задевать, вызывать’, ‘сердить’, ‘вмешиваться в чужие дела’ и некоторые другие [ЕРСЈ 2: 191]. Этот набор, как нетрудно заметить, совпадает с семантическим спектром многих других глаголов поиска, отличаясь, может быть, только семантикой воздействия на адресата — ‘задевать, сердить’, которая, впрочем, вполне согласуется с общей линией семантической деривации (ср. нередкое у глаголов этого круга значение ‘вмешиваться в чужие дела’).

***trsiti**. Этот глагол является главным среди интересующих нас лексем в болгарском, где *търся* обладает широким кругом значений: ‘искать, стремиться найти нечто (вещественное), конкретный объект’, ‘стремиться найти кого-л., установить его местонахождение’, ‘стремиться получить или узнать нечто необходимое’ (*търся квартира* ‘искать квартиру’, *търся щастие* ‘искать счастья’), ‘стремиться открыть, узнать’ (*търся минерални залежи* ‘искать залежи минералов’), ‘ожидать, требовать’ (платы, вознаграждения, награды и т. п.), ‘хотеть’ (что-то делать) [РСБКЕ 3: 452–453]. Его синонимы *барам* (см. выше) и *диря* отличаются более узким значением или употреблением: *барам* разг. ‘трогать, касаться’, *диря* ‘искать’, ‘стремиться получить, открыть нечто новое’ [РСБКЕ 1: 35, 250].

***dьrati, diriti**. Болгарский глагол *диря* составляет полную параллель с.-х. *тражити*, поскольку он является дериватом имени *диря* со значением ‘след’ и первоначально означал ‘следить, выслеживать’ [БЕР 1: 396]. С другой стороны, с.-х. *дирати*, относящийся к тому же праславянскому гнезду **dьr-*, семантически соответствует другим глаголам с исходным акциональным значением ‘трогать, касаться,

прикасаться’: «Гране су дирале прозора» [Ветки касались окна], в том числе и в переносном смысле — ‘затрагивать какую-то тему, вопрос, касаться какой-то темы, вопроса’ [РСЈ: 282] с дальнейшим развитием ‘вторгаться, вмешиваться’, ‘задевать, задирать’, ‘возбуждать, сердить’ (ср. выше сходное развитие *барати*). С этими глаголами этимологи сопоставляют лит. *dyrėti* ‘следить, подкарауливать, подглядывать’, которое, возможно, тоже развилось из ‘прокладывать след’ < ‘продирать, драть’ и также восходит к и.-е. ***der-*** ‘драть, рвать’ [ЭССЯ 5: 31].

****sokati, *sakati, *sočiti***. В македонском и болгарском этот глагол имеет широкий круг значений, включающий ‘хотеть’, ‘любить’, ‘искать’, ‘думать, считать’, ‘казаться’, и сопоставляется этимологами с лит. *sakyti* ‘говорить’ и лат. *sequor* ‘следить, преследовать’ [БЕР 6: 427][6]. Этот ряд значений оказывается очень близким к тому смысловому полю, на которое проецируется лексика поиска в славянских языках. На первый взгляд, несколько выпадает из этого поля значение ‘любить’, однако оно оказывается логическим продолжением семантики желания, составляющей ключевой мотив лексики любви во многих языках мира (подробнее см. [Jakubowicz 2000; Толстая 2012]), так же как и ключевой мотив лексики поиска. Значение ‘искать’, наряду с другими и часто в суженном объеме, присуще также глаголам этого гнезда в других языках и диалектах: с.-х. диал. *sočiti* ‘искать, находить жену’, ‘искать, выслеживать вора’, ‘свидетельствовать в суде’, ‘ловить, охотиться’ [RJAZU 15: 871]; др.-рус. *сочити* ‘искать, отыскивать’, ‘взыскивать по суду’, ‘разузнавать, расспрашивать’, ‘доносить’ [СРЯ XI–XVII]; рус. диал. *сачить* ‘искать’: пск. «Уж мы сачили, сачили да толк потеряли», арханг. *сачкать* ‘выпрашивать, выманивать’ [СРНГ 36: 158], *сочить* ‘искать’, ‘выслеживать’ [СРНГ 40: 93]; укр. *сочити* ‘подстерегать’, ‘выслеживать’ [Гринченко 4: 171; ЕСУМ 5: 364], бел. *сачыць* ‘следить, наблюдать’, ‘выискивать’, ‘гнать зверя’и др. [ЭСБМ 10: 330–331]; пол. *soczyć* ‘выслеживать зверя по следу’ [Karłowicz 5: 187].

* * *

Сравнение семантических спектров рассмотренных выше основных славянских глаголов, которым присуще значение ‘искать’, обнаруживает, что их объединяет не только это значение, но и многие другие,

[6] Некоторые этимологи считают, что эти слова восходят к двум разным омонимичным и.-е. глаголам — соответственно со значением ‘говорить, показывать’ и ‘следовать’. См. [Gołąb 1961].

которые таким образом можно считать семантически связанными с ‘искать’. Таковы значения ‘трогать, касаться’, ‘шарить, ворошить’, ‘хотеть, желать’, ‘просить’, ‘требовать, нуждаться’, ‘спрашивать’, ‘следовать’, ‘изучать, исследовать’, ‘предъявлять обвинение, иск’ и др., обнаруживаемые в спектрах сразу нескольких или даже многих глаголов. Суммарный набор этих значений образует некую диффузную область смыслов, связанных друг с другом по принципу сети. При этом одни и те же значения в спектре разных гнезд занимают разное место и поразному соотносятся со значением ‘искать’, которое в свою очередь может иметь разный статус — оно может быть этимологически исходным, как в праславянском **iskati*, а может быть семантически производным и появляться на разных стадиях семантической деривации. Иначе говоря, глагол со значением ‘искать’ в славянских языках может быть немотивированным, первичным (**iskati*), а может быть мотивирован одним из признаков (параметров) ситуации поиска.

Для того чтобы понять логику такого рода номинаций и их мотивировок, необходимо снова обратиться к исходной ситуации поиска и способам ее категоризации с помощью предиката. Какие параметры или виды этой ситуации могут быть определяющими для номинации? К числу наиболее релевантных признаков относятся:

1. Состояние субъекта поиска, его желание, стремление, намерение, потребность найти что-то или кого-то. Акцент на этом признаке, органически входящем в понятие поиска, делает естественным сочетание семантики желания с семантикой поиска в семантическом спектре большинства лексем, имеющих значение ‘искать’, ср. также показательное развитие ‘искать’ > ‘хотеть’ в болгарском языке (хотя бы и обязанное не внутреннему, а внешнему импульсу, т. е. грамматикализации **xotěti* / *хътěti*).

2. Характер объекта поиска и связанный с ним характер предиката. Если искомое — конкретный объект (предмет или лицо), поиск будет состоять в переборе мест, где он может находиться; если это неопределенный желаемый объект (работа, квартира, жена и т. п.), то поиск будет предполагать выбор одного из однородных объектов, удовлетворяющих определенным критериям; если же искомым оказывается некое абстрактное состояние, чувство (счастье, признание, внимание, смерть и т. п.), то по существу поиск становится тождественным стремлению не столько найти, сколько получить (или каузировать) желаемое, что отмечается большинством словарных дефиниций, предлагаемых для *искать* и его синонимов[7].

[7] Компонент ‘получать’ присутствует также в семантике глагола *находить* [Толстая 2011].

3. Характер самого предиката, его принадлежность к классу действий или состояний. Этот признак связан с предыдущим: поиск конкретного объекта носит акциональный характер, он требует совершения некоторых физических действий (ходить, перебирать руками, рассматривать и т. п.) с целью найти искомое, поиск-выбор неопределенного объекта также предполагает совершение (многократных) конкретных действий (хождения, знакомства, осмотров и т. п.), тогда как абстрактный объект не требует физических действий для его нахождения-обретения, а предполагает (кроме желания) скорее желание-ожидание благоприятного случая.

4. Прототипическим предикатом поиска следует считать поиск-действие. При этом важными признаками оказываются способ действия и орудие действия. Выше уже говорилось о том, что на первом месте по важности стоит зрение, поскольку всякий поиск предполагает в качестве результата зрительный контакт с искомым объектом. Значимость этого признака подтверждается его генерализацией в чешском *hledat* и словацком *hl'adat'*, обозначающих не ‘искать глазами’, но ‘искать вообще’. Ср. также рус. диал. *зарить* ‘смотреть, искать’: «Зарил, зарил кобыленку да нетути» [СРНГ 10: 384], *зырить* ‘рассматривать, разглядывать’ и ‘искать’ [СРНГ 12: 38], *нырить* ‘высматривать, выслеживать’ и ‘искать’ [СРНГ 21: 324] и т. п.

Из других физических способов поиска основой номинации могут становиться действия, производимые руками (рыться, шарить, перебирать) и ногами (ходить), или какие-то характеристики этих действий: сопровождающие их звуки (ср. приведенную выше этимологию пол. *szukać* < ‘ходить, производя характерный шум’), способ движения — по следам (с.-х. *тражити*, рус. *выслеживать* и др.) и т. п. Во многих случаях такого рода номинации оказываются не основными, а вторичными, часто экспрессивными, обозначениями поиска, ср. рус. диал. глаголы: *барабать*: «Не знаю, где и барабать свою табакерку» (первое значение ‘рыть, копать, перебирать руками’ — [СРНГ 2: 99–100]), *гоножить* ‘искать’ и ‘копаться, рыться’, *грабастать* ‘хватать’, ‘искать’, ‘нащупывать’, *зобать* ‘клевать, хватать клювом’, ‘брать, хватать’, ‘искать’, *колупать* ‘искать, рыться’, *копать* ‘искать’ и т. п. Значение поиска способом хождения демонстрирует прежде всего основной для всех славянских языков глагол со значением ‘находить’ и внутренней формой ‘достигать хождением’ (рус. *находить*, серб. *налазити* и т. п.), ср. также рус. диал. *батать* ‘искать, бегая’, *свашить* ‘слоняться’, ‘искать’, ‘копаться’ (все примеры из СРНГ).

Среди мотивирующих значений для лексики поиска отмечаются также ‘достигать’, ср. *добираться* ‘искать’: «Чтобы вывести ки-

кимору, добираются человека, который ими заведует, т. е. колдуна или колдуньи» [СРНГ 8: 74], ‘проникать, вторгаться, вмешиваться’, ср. *ныкать* ‘проникать’ и ‘искать’: «Схоронила его фонарик, так он полдня ныкал, пока и не сказала ему, где он» [СРНГ 21: 322], ‘получать’, ср. *наживать* ‘искать’: «Пошел он (мужик) работы себе наживать» [СРНГ 19: 268].

Нельзя не заметить, что эти же значения, т. е. значения, выступающие в качестве мотивирующих для лексики поиска, оказываются совмещенными со значением ‘искать’ в многозначных глаголах, в том числе и в семантическом спектре основных глаголов поиска. В то же время некоторые другие значения не могут быть мотивирующими для основных глаголов поиска, а появляются только в качестве их семантических дериватов. К ним относятся, например, значения ‘просить, спрашивать, взыскивать’, которые актуализируют «коммуникативный» (в том числе «юридический») аспект поиска, его ориентацию на партнера, или ‘изучать, исследовать’, которое закономерно развивается на базе значения ‘искать’ путем ограничения понятия ‘искать’ сферой знания[8].

Метод, предложенный Н. И. Толстым, таким образом, позволяет реконструировать состав единиц и внутренние связи как лексического, так и семантического поля поиска в славянских языках, установить основные семантические признаки, лежащие в основе их членения в лексике разных языков, и выявить разные в разных языках способы категоризации соответствующей денотативной области (выбор разных признаков и параметров ситуации в качестве основы номинации), хотя в случае отвлеченных понятий эта типология выглядит менее четкой, чем в случае конкретных номинаций.

Литература

Апресян 2000 — *Апресян Ю. Д.* Любить 2, Обожать; Любоваться // Новый объяснительный словарь синонимов русского языка / Под общим руководством акад. Ю. Д. Апресяна. Вып. 2. М., 2000. С. 180–187.

БЕР — Български етимологичен речник. Т. 1–. София, 1971–.

Боль 2009 — Концепт *боль* в типологическом освещении / Ред. В. М. Брицын, Е. В. Рахилина, Т. И. Резникова, Г. М. Яворская. Київ, 2009.

[8] Семантический компонент знания с необходимостью присутствует в значении глаголов поиска-действия, поскольку они предполагают определение (узнавание) того места, где находится искомый объект, и далее — контакт с ним и, как правило, «получение» его (включение в свою личную сферу). Этого компонента нет в семантике поиска-ожидания (человек, ищущий счастья, не должен выяснять, где оно находится).

Гринченко — *Гринченко Б. Д.* Словарь украинского языка. Т. 1–4. Киев, 1907–1909.

Даль[2] — *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка. Изд. 2-е. СПб.; М., 1880–1882.

Дыбо 1996 — *Дыбо А. В.* Семантическая реконструкция в алтайской этимологии. Соматические термины (плечевой пояс). М., 1996.

Елезовић 1–2 — *Елезовић Г.* Речник косовско-метохиског дијалекта. Св. 1, 2. Београд, 1931.

ЕРСЈ — Етимолошки речник српског језика / Ур. А. Лома. Св. 1–. Београд, 2003–.

ЕСУМ — Етимологічний словник української мови. Т. 1–. Київ, 1982–.

Исаченко 1958 — *Исаченко А. В.* К вопросу о структурной типологии словарного состава славянских языков // Slavia. XXVII/3. S. 334–352.

Керча — *Керча І.* Словник русинсько-руський. Т. 1, 2. Ужгород, 2007.

Круглякова 2010 — *Круглякова В. А.* Семантика глаголов вращения в типологической перспективе. Дисс. … канд. филол. наук. М., 2010.

Николаев, Толстая 2001 — *Николаев С. Л., Толстая М. Н.* Словарь карпато-украинского торуньского говора с грамматическим очерком и образцами текстов. М., 2001.

Пеньковский 2012 — *Пеньковский А. Б.* Исследования поэтического языка пушкинской эпохи. Филологические исследования. М., 2012.

РСБКЕ — Речник на съвременния български книжовен език. Т. 1–3. София, 1955–1959.

РСЈ — Речник српскога језика / Ред. М. Николић. Београд, 2007.

СПЗБ — Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча. Т. 1–5. Мінск, 1986.

СРНГ — Словарь русских народных говоров / Под ред. Ф. П. Филина, Ф. П. Сороколетова. Вып. 1–. М.; Л., 1965–.

СРЯ XI–XVII — Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1–. М., 1975–.

СУМ — Словник української мови. Т. 1–11. Київ, 1970–1980.

Толстая 2009 — *Толстая С. М.* ‘Кормить’ и ‘хоронить’ (к семантической реконструкции славянской погребальной лексики) // Studia etymologica Brunensia. 6 / Ed. I. Janyšková, H. Karlíková. Praha, 2009. S. 341–355.

Толстая 2011 — *Толстая С. М.* Глагол *найти*/*находить* и его семантические корреляты // Слово и язык. Сб. ст. к восьмидесятилетию академика Ю. Д. Апресяна. М., 2011. С. 338–346.

Толстая 2012 — *Толстая С. М.* Этимология и семантическая типология: еще раз о любви // Theory and Empiricism in Slavonic Diachronic Linguistics / Ed. I. Janyšková, H. Karlíková. Praha, 2012. P. 199–217.

Толстой 1963 — *Толстой Н. И.* Из опытов типологического исследования славянского словарного состава [I] // Вопросы языкознания. 1963. № 1.

С. 29–45 [перепечатано в кн.: Н. И. Толстой. Избранные труды. Т. I. Славянская лексикология и семасиология. М., 1997. С. 44–69].

Толстой 1966 — *Толстой Н. И.* Из опытов типологического исследования славянского словарного состава [II] // Вопросы языкознания. № 5. 1966. С. 16–36 [перепечатано в кн.: Н. И. Толстой. Избранные труды. Т. I. Славянская лексикология и семасиология. М., 1997. С. 70–100].

Толстой 1968 — *Толстой Н. И.* Некоторые проблемы сравнительной славянской семасиологии // Славянское языкознание. VI Международный съезд славистов (Прага, авг. 1968 г.). Доклады советской делегации. М., 1968. С. 339–365 [перепечатано в кн.: Н. И. Толстой. Избранные труды. Т. I. Славянская лексикология и семасиология. М., 1997. С. 12–43].

ЭСБМ — Этымалагічны слоўнік беларускай мовы. Т. 1–. Мінск, 1978–.

ЭССЯ — Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд / Под ред. О. Н. Трубачева. Вып. 1–. М., 1974–.

AQUAMOTION 2007 — AQUAMOTION. Глаголы движения в воде: лексическая типология / Ред. Т. А. Майсак, Е. В. Рахилина. М., 2007.

Bezlaj — *Bezlaj F.* Etimološki slovar slovenskega jezika. Knj. 1–4. Ljubljana, 1976–2005.

Birnbaum 1978 — *Birnbaum H.* The sphere of love in Slavic. Some preliminary observations // American Contributions to the Eighth International Congress of Slavists. Zagreb and Ljubljana, sept. 3–9, 1978. Vol. 1 (Columbus, Ohio). P. 155–179.

Blanár 1984 — *Blanár V.* Lexikálno-sémanticka rekonštrukcia. Bratislava, 1984.

Boryś 2005 — *Boryś W.* Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 2005.

Brückner 1957 — *Brückner A.* Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa, 1957.

Giuraud 1956 — *Guiraud P.* Les champs morpho-sémantiques (Critères externes et critères internes en étymologie) // Bulletin de la Société de linguistigue de Paris, 1956. T. 52. F. 1. P. 269–274.

Gołąb 1961 — *Gołąb Z.* Macedońskie *baram* ‘żądam, szukam’ i *sakam* ‘chcę, lubię, kocham’ (próba etymologii) // Studia linguistica in honorem Thaddaei Lehr-Spławiński. Kraków, 1961. S. 213–218.

Greń 1988 — *Greń Z.* Pojęcie ‘chcieć’ w językach słowiańskich // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace językoznawcze. Z. 87. Kraków, 1988. S. 81–91.

Jakubowicz 2000 — *Jakubowicz M.* Dwa oblicza miłości. Porównanie językowych obrazów miłości, tkwiących w etymologii i frazeologii // Język a kultura. T. 14. Wrocław, 2000. S. 234–243.

Karłowicz — *Karłowicz J.* Słownik gwar polskich. T. 1–6. Kraków, 1900–1911.

RJAZU — Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. JAZU. D. 1–23. Zagreb, 1880–1976.

SJPD — Słownik języka polskiego / Red W. Doroszewski. T. 1–11. Warszawa, 1958–1969.

SJS — Slovník jazyka staroslověnského. T. 1–4. Praha, 1966–1997.

Skok — *Skok P.* Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Knj. 1–4. Zagreb, 1971–1974.

SP — Słownik prasłowiański / Red. F. Sławski. T. 1–. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1974–.

SS — Słownik staropolski / Red. nacz. S. Urbańczyk. T. 1–11. Z. 1–76. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk; Łódź, 1953–2002.

SSJ — Slovník slovenského jazyka / Red. Š. Peciar. D. 1–6. Bratislava, 1959–1968.

SSN — Slovník slovenských nárečí. [T.] 1–. Bratislava, 1994–.

SSKJ — Slovar slovenskega knjižnega jezika. D. 1–5. Ljubljana, 1970–1991.

Studia z semantyki 2000, 2003 — Studia z semantyki porównawczej. Nazwy barw, nazwy wymiarów, predykaty mentalne / Pod red. R. Grzegorczykowej i K. Waszakowej. Cz. I. Warszawa, 2000; Cz. II. Warszawa, 2003.

Sychta — *Sychta B.* Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej. T. 1–7. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1967–1976.

II.

Е. Л. Березович

К семантической реконструкции метафоры родства в славянских языках

Метафора — многогранное явление, включающее в себя несколько составляющих: во-первых, реципиентная зона — то, что переназывается в процессе метафоризации, кодируется другим словом; во-вторых, донорская зона — то, с помощью чего происходит кодирование, т. е. слово, получающее переносное значение; в-третьих, собственно процесс метафорического переноса, соотносящий денотативные свойства донора и реципиента. Процедура семантической реконструкции метафоры предполагает учет всех этих составляющих: характер связи между зонами метафоры должен получить двустороннее объяснение (какие признаки донорского денотата актуальны при переносе значения слова; как они проецируются на свойства денотата-реципиента), а для этого слово-донор и слово-реципиент необходимо рассматривать на фоне лексико-семантических полей, которым они принадлежат. Так, для интерпретации рус. костр. *вдо́вка* ‘овсяная каша’ важно привлечь к рассмотрению другие слова, обозначающие продукты питания через образы членов семьи: арх. *вдови́ца* ‘изделие из теста без начинки’, твер. *сиро́тка* ‘гречневая густая кашица’, блр. диал. *халасты* ‘пустой суп’ и др. (подробнее см. дальше). В донорской зоне метафоры — названия родственников, лишенных пары (жены, мужа, родителей). В реципиентной зоне — обозначения постных продуктов питания без начинки, скоромной заправки и т. п. Свойства денотатов донорской и реципиентной зоны проецируются друг на друга: «непарные» родственники уподобляются пище без важного содержимого.

Как нередко отмечалось, метафорическое слово несет в себе двойную трактовку явлений действительности: переносное значение дает интерпретацию прямого, позволяет обнаружить коннотации,

---

Елена Львовна Березович,
Уральский федеральный университет им. Первого президента России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург)

латентно представленные в смысловом объеме слова в его прямом значении. Коннотации обладают свойством капризности и непредсказуемости, которое выражается в том, что «синонимичные или тематически близкие слова языка могут иметь совершенно разные коннотации» [Апресян 1995: 172]. Среди примеров, иллюстрирующих это положение, пары *тесть — теща*, *отчим — мачеха*: «В этих парах имена родственников мужского пола лишены или почти лишены коннотаций, а имена родственников женского пола насыщены ими» [там же]. Но являются ли подобные капризы необъяснимыми? Думается, их причины в ряде случаев могут быть найдены. Так, объясняя примеры Ю. Д. Апресяна, стоит обратиться как к факторам социально-культурного плана (ролевые и статусные позиции членов семьи), так и к особенностям коннотативно-оценочной семантики обозначений максимально большого количества пар родственников (*свекор — свекровь*, *деверь — золовка*, *отец — мать* и др.: в каждой из этих пар женский «элемент» гораздо выразительнее мужского).

Выявление факторов такого рода превращает «каприз» в особую логику — логику языкового выбора. Ее рассмотрение должно войти в круг задач семантической реконструкции, который в последнее время стремительно расширяется, выходя за пределы обоснования семантики этимона, см. об этом в [Толстая 2008: 13–14], где, помимо прочего, указаны такие задачи семантической реконструкции, как определение импульсов и механизмов, лежащих в основе семантических процессов (в том числе метафорических).

В настоящей статье специфика семантической реконструкции метафоры изучается на материале лексики некровного и нарушенного / отсутствующего родства, которая чаще всего принадлежит донорской части метафоры (т. е. является основой переноса), реже — служит реципиентом. Основные выразители признака некровного родства — слова со значениями ‘теща’, ‘свекровь’, ‘зять’, ‘золовка’, ‘мачеха’, ‘отчим’, ‘пасынок’ и др., нарушенного — ‘вдова’, ‘вдовец’, ‘сирота’, отсутствующего — ‘старая дева’, ‘холостяк’[1]. К анализу привлекаются лексемы и фраземы славянских языков и диалектов (большей частью русских); в некоторых случаях в типологических целях приводятся неславянские параллели (германские, романские, тюркские).

---

[1] К анализу условно привлекаются некоторые континуанты праслав. **xolstъjь*, в рамках которого значения ‘неженатый’, ‘пустой’ и др. возникли скорее всего параллельно, а не последовательно. Это делается в тех случаях, когда значения типа ‘пустой’ фиксируются и в других гнездах, обозначающих «аномальных» родственников.

С логической точки зрения избранная группа не отличается единством, поскольку свойствó является социальной нормой, а нарушенное / отсутствующее родство — нет (неслучайно представления о нем нередко сополагаются с представлениями о прочих аномалиях в семейной жизни — распутстве, внебрачных родах, измене и проч.[2], что дает направление поиска дополнительных параллелей в соответствующих лексических сферах). Но, забегая вперед, можно сказать, что наивная языковая логика обнаруживает у той и другой группы персонажей общие черты; наивные понятия о свойствé и нарушенном родстве нередко противопоставлены понятиям о кровном родстве. Данная группа объединяет древнейшую и аксиологически значимую лексику, которая связана с представлениями о сложных, кризисных ситуациях в жизни семьи — потере ее членов, вхождении в нее и освоении новых родственников, отсутствии семейных связей. Как известно, лексическая система языка наиболее выразительно маркирует антинорму. Именно она отражается в коннотациях изучаемой лексики. Осмыслив эти коннотации «от противного», мы можем получить важные сведения о том, как в народной традиции представлялась норма семейной жизни. В то же время данная группа обладает относительно невысокой продуктивностью в плане метафоризации (на фоне лексики кровного родства). Все это делает актуальной и значимой семантическую реконструкцию метафоры некровного и нарушенного / отсутствующего родства.

В статье не ставится цель дать сколь бы то ни было полную характеристику языкового материала. Задача видится в том, чтобы выделить некоторые особенности семантико-мотивационной организации избранной для анализа лексической группы, которые значимы для семантической реконструкции ее элементов. В центре нашего внимания, как уже отмечалось, — метафорическая лексика, по отношению к которой обозначения некровного или отсутствующего родства являются донорами, источниками переноса, однако к анализу иногда привлекаются и обратные случаи, когда наименования родственников становятся реципиентами метафорического переноса. Такой подход можно оправдать единством концептуальной базы образной номинации, вследствие чего разные ее векторы мотивационно поддерживают друг друга. В редких случаях в поле нашего внимания попадает и неметафорическая лексика: это происходит тогда, когда ее мотивация может быть обнаружена с опорой на признаки, реализованные в метафорических лексемах.

---

[2] Это подтверждается сочетанием соответствующих значений в семантической парадигме одного слова или фраземы, например, рус. *соломенная вдова*, диал. *соломенка*, *соломенница*, см. [Березович 2012].

Семантическая реконструкция метафорической лексики должна опираться на системность метафоры, которая имеет различные проявления.

1. Одно из проявлений метафорической системности — наличие **сквозных признаков**, **принадлежащих реципиентной части метафоры**. Эти признаки, как было указано выше, интерпретируют свойства денотатов донорской части метафоры. К примеру, некоторые растения и рыбы, в названиях которых отражены образы некровных родственников или тех, кто потерял родных, обладают признаком **колючести**, переводящим на «язык» растений и животных свойства злобности, нелюдимости, приписываемые «неполноценным» членам семьи.

М а ч е х а: словен. *máčehovje* ‘*собир.* шиповник (колючие отростки шиповника)’ [Pleteršnik 1: 539], рус. *ма́чеха* пск. ‘репейник’ [ПОС 18: 78], арх. ‘колючее травянистое растение (какое?)’: «Шибко колецца, вот и мачеха» [КСГРС];

т е щ а: чеш. диал. *tchyně* (теща) ‘репейник’ [Dial-Brno], рус. ворон., яросл. *чёртова тёща* ‘чертополох’: «А эта чёртова тёща называется, уж дюже колется» [СРНГ 44: 113], *тёщин язык* ср.-обск. ‘растение зигокактус, Zygocactus’, яросл. ‘разновидность кактуса (какая?)’ и др. [СРНГ 44: 113–114], простореч. ‘растение сансевиерия, Sansevieria trifasciata’, чеш. *tchýnin jazyk* ‘то же’ [Rystonová 2007: 548], словен. *taščin jezik* ‘то же’ [SSKJ 5: 36];

с в е к р о в ь: серб. *свекрвин језик* ‘растения gasteria disticha, opuntia ficus indica’ [Симоновић 1959: 209, 655], хорв. *svekrvin jezik* ‘растение opuntia macrorrhiza’ [RHSJ 17: 175], болг. *свекрвин език* ‘бурьян с твердыми и острыми колючками’: «Так <невестин язык> его называют старшие женщины, свекровки, а молодые, невестки, зовут его *свекрвин език*» [БД 4];

з о л о в к а: чеш. диал. *švagrová*, *zlostná švagrová* (золовка, злая золовка) ‘рыба ерш, Gymnocephalus cernuus’ [Dial-Brno]; ср. также поговорку, в которой золовка ассоциируется с репьем: «Золовушкины речи репьем стоят» [Даль$_2$ 4: 691];

з я т ь: серб. *зет* ‘небольшая речная рыба Gasterosteus aculeatus, колюшка трехъиглая’ [РСХКНЈ 7: 17];

н е в е с т к а: болг. диал. *невестин език* ‘бурьян с твердыми и острыми колючками’ (см. выше с в е к р о в ь);

в д о в е ц: сев.-рус. *вдовец* ‘колючее сорное растение: осот, чертополох, репейник, татарник’: «Вдовец колючий, как вдовый мужик» (влг.) [СРГС 2: 38; АОС 3: 68; СРГК 1: 168; СРНГ 4: 86], влг. *вдова* ‘чертополох’: «Вдова невысока растёт с колючками, фиолетовым цветом цветёт» [СГРС 2: 38];

холостяк: рус. дон. *бирюк*, *бирючо́к*, дон., ряз. *бобы́ль* ‘рыба ерш-носарь’ [СРНГ 37: 350; БТДК: 45; СРНГ 3: 39; Сабанеев 1959: 37], блр. диал. *біручок* ‘то же’ [ЖС: 70], ср. также укр. черниг. *сирота*, *сиротка* ‘то же’ [Сабанеев 1959: 37][3].

Объединяющим для реципиентов метафоры может быть не один признак, а разные, но близкие в смысловом отношении. Так, вдовы и старые девы рисуются через «природное» старение и перерождение — **увядание**, **обындевение**, **загнивание** etc. Мотив увядания отражен, вероятно, в рус. простореч. *вдовий цветок* ‘растение семейства бальзаминовых, Impatiens’: стебли бальзамина очень нежны и при недостаточном поливе обвисают тряпочками; сорванные же быстро вянут. В чешских говорах есть выражения, актуализирующие мотив гниения в связи со старой девой: с.-в.-чеш. *zustala* (*zvostala*) *na hniličku*, ганац. *zhnilečet* [Гура 2012: 34]. Ср. также тексты колядок, предвещающих вдовство или безбрачие: рус. костр. «На повети блины позаплесневели» («Девушке — женихов не будет; вообще, скучная жизнь будет») [ВС: 24, № 41], костр. «Стоит колодец, да вода забусела <загнила>» («Замуж не выйдет девка») [ЛКТЭ], смол. «Стоит липа на крутой горы, ды макушки с корня ўся заинела» («Ўдова такая, свянеть и ўсё») [СМЭС 1: 657]. Интересна образная перекличка с болгарской песней: «Есенна слана вдовица, Ситна роса момица» (Осенний иней вдовушка, Мелкая роса девушка) [Геров 1: 114].

2. Метафорическая системность проявляется и на уровне **мотивов**, реконструируемых для **донорской зоны метафоры**. Мотивы различаются по степени индивидуализации — генерализации. На одном полюсе шкалы — индивидуализирующие мотивы, присущие лишь одному образу (или особо акцентированные в его составе). На другом полюсе — обобщенные, генерализованные мотивы, объединяющие максимальное количество различных образов. Между полюсами могут быть мотивы, свойственные какой-либо паре или триаде образов.

При перемещении по шкале меняется не только количество образов, объединенных тем или иным мотивом, но и собственно характер мотивов. Индивидуализирующие мотивы являются в большинстве своем дескриптивными, конкретными, они описывают внешний облик, поведение, социальный статус персонажей и др. Движение по шкале направо снижает «нарративность», «угадываемость» характеристик, но дает нарастание эмоциональной или рациональной оценки.

---

[3] Дополнительными мотивирующими признаками являются, возможно, ночной образ жизни этих рыб и обитание отдельно от других видов.

К числу **индивидуализирующих мотивов** относится, к примеру, мотив траурного черного (темного) цвета в образе вдовы (ср. рус. *вдовий цвет* литер. ‘траурный, не светлый’, простореч. ‘лиловый, фиолетовый’). Признак траурного цвета метафорически преломляется в названиях темных животных (например, рус. карел. *вдова*, *вдовица* ‘рыба’: «Пеструха с пятнам, вдовица черна» [СРГК 1: 168], рус. *вдовушка длиннохвостая*, польск. *wdowa*, чеш. *vdova* etc. ‘африканская птица Vidua, самец которой имеет черную спину и очень длинный черный хвост’[4]), минералов (рус. простореч. *вдовий камень* ‘один из минералов фиолетового цвета — аметист или александрит’) и растений (болг. диал. *свободна вдовица* ‘астра итальянская, Aster amellus L.’ [Ахтаров 1939: 177] <бывают синие или фиолетовые цветы>, блр. диал. *удóвушка палявая*, серб. *удовица* ‘короставник полевой, Knautia arvensis’ [РасС: 104; РСХКЈ 6: 431] <цветы лилового цвета>, блр. диал. *удóвушка* ‘ахименес мексиканский, Achimenes mexicana’ [РасС: 238] <сине-фиолетовые цветы с белым пятном в центре>).

Для образа пасынка характерен мотив «служебности», отсюда многочисленные обозначения вспомогательных, служебных деталей — подпор, передаточных механизмов, ср. рус. *пáсынок* диал. шир. распр. ‘подпорка столба, изгороди и т. п.’, арх. ‘одна из несущих опор при постройке избы’, влг., арх. ‘деталь ткацкого стана — стержень навоя, на который наматываются нити основы’, волж. ‘деревянная наставная часть мачты’ [СРНГ 25: 270–271; КСГРС; СРГК 4: 407; СВГ 7: 15; СПГ 2: 78–79], блр. туров. *пáсынок* ‘подпорка к столбу’ [ТС 4: 17], польск. *pasierb* ‘короткий деревянный столб, вкопанный рядом с другим столбом и подпирающий его’ [SJPD 6: 162], словен. *pástorek* ‘колесо передачи’ [SSKJ 3: 544], слвц. *pastorok* ‘малая шестерня’, диал. ‘передаточное зубчатое колесо (у мельницы и др.)’, ‘вожжа от уздцов до хомута на конской упряжи’ [SSN 2: 746] etc. Эти метафоры имеют «бытийное» обоснование: как известно, пасынки, приемные дети выполняли вспомогательную работу по дому, становились прислугой, помощниками в каком-либо виде деятельности etc.[5]

Из мотивов, объединяющих образы попарно, можно привести в пример мотив плача, слез, рыданий, присущий образам вдовы и сироты. Он реализуется в номинациях дождя и росы (рус. амур.

---

[4] Ср. также англ. *widow* и др.; все эти названия — кальки с лат. номенклатурного *Vidua*.

[5] Ср., к примеру, рус. перм. *пáсынок* ‘помощник пастуха’ [СПГ 2: 78–79], которое, впрочем, появилось не без притяжения слов *пасынок* и *пастух*.

си́роты плачут, *заплачут* ‘о дожде при солнце, затяжном дожде’ [СРНГ 37: 348], арх. *си́роты плачут* ‘об обильной росе’ [КСГРС], укр. «Сонце світить, дощ іде — то *сирота плаче*» [ПП-укр 1990: 132], блр. полес. *ўдавиные слёзы падаюць* ‘дождь при солнце’ (Золотуха Калинковичск. р-на Гомельск. обл.) [БДПА]), а также растений, стебли и листья которых наполнены влагой или же кажутся влажными (рус. амур. *сирота* ‘растение (какое?)’: «Если цветок сирота покроется росой — значит будет дождь» [СРНГ 37: 348], ср.-урал. *вдовьи слезы* ‘комнатное растение с зелеными глянцевыми листьями и красными цветами’ [СРНГ 4: 86]). Мотив слез (влаги) более активен в языковом образе сироты, что, вероятно, в некоторой степени объясняется притяжением слов праслав. гнезда **sir-* к продолжениям **syr-* ‘сырой’, ср. рус. смол. «— Варива *сыра*! — У *сиратѣ* дапрѣить у животѣ» [Добровольский 3: 107]. Континуанты **syr-* нередко выступают в метеорологическом регистре (в разных славянских языках есть факты вроде рус. *сырая погода*, *сырость* (воздуха) и т. п.), что может способствовать появлению «дождевых» значений дериватов «сироты».

Если представленные выше мотивы воссоздают индивидуальные черты персонажей, то обобщающие, **генерализованные** мотивы не дают точной характеристики реалий, а указывают на весьма общие (и имеющие разную степень абстрактности) признаки, которые могут приписываться нескольким «неполноценным» родственникам, а также другим лицам, которые в народных представлениях наделяются низким социальным статусом («бабы», инородцы и др.). Наиболее характерны такие мотивы для образов вдовы, сироты (пасынка), холостяка.

Минимальную степень переосмысления исходной семантики слов «вдова», «сирота», «холостяк» несет в себе идея н е п а р н о с т и, которая представлена в обозначениях лиц (польск. диал. *wdowiec* ‘танцор без пары’ [Karłowicz VI: 84], рус. алтай. *вдо́вушка* (*вдо́ву́шки*) ‘игра «ручеек»’: «Почему вдовушка? Ну, пару-то разлучаешь — вот и вдовушка» [СРГА 1: 125–126], костр. *холостя́к* ‘то же’ [ЛКТЭ]), предметов (укр. диал. *удовець*, *удова* ‘первое или второе блюдо, подаваемое без другого’; ср. также польский обычай ставить после рождественского ужина в углу стола горшок с кутьей и горшок с вареными сухофруктами, чтобы кутья не была *samotną wdowicą* [Kopernicki 1887: 144]) и даже абстрактных понятий — например, субботы, дня, считавшегося непарным (рус. карг. *сирота*: «Воскресенье с понедельником, Вторник со средой, Четверг с пятницей, А суббота — сирота» [БДКА], укр. полес. *вдовушка*: «В этот день не назначали свадьбы» (Любязь Любешовск. р-на Волынск. обл.) [БДПА], ю.-слав. «вдовий день» [СД 5: 193]). От признака непарного производен

признак единичного, одиночного, не имеющего связей, который реализуется, к примеру, в терминологии строительства (рус. арх. *вдовая свая* ‘свая, состоящая из одного бревна’ [СГРС 2: 38], б. м. *вдова* ‘то же’ [Даль$_2$ 1: 173], сиб. *холостой столб* ‘столб в любой постройке, в котором нет паза для соединения досок’ [СРГС 5: 226], влг. *холостой венец*, *холостое дерево* ‘верхний венец, после потолка, без мха’ [КСГРС]), одежды, тканей и материалов (укр. полес. *сірота* ‘вытканная полоса одного цвета в полотне’ [Аркушин 2: 148], болг. *сирàченце* ‘один, единичный узор’ [БЕР 6: 687–688, 700], рус. твер. *вдовка* ‘сеть из одного полотна’ [ТТС 2: 74]), народной ботаники (болг. диал. *сиротица* ‘растение авран лекарственный, Gratiola officinalis’ [Ахтаров 1939: 177] <цветки располагаются одиночно в пазухах листьев>), гидрографии (рус. арх. *холостой* ‘не имеющий притоков (о реке)’ [КСГРС]) и др.

С предыдущими связана идея обособленности, которая может предполагать пространственную отделенность, расположение в стороне: укр. *сиротливий* ‘расположенный обособленно, отдельно от других’ [СУМ 9: 203], болг. диал. *сирàк* (сирота) ‘небольшой арык, отведенный от главного канала для орошения лугов и проч.’ [БЕР 6: 687], *пасынок* арх. ‘рукав реки’ [КСГРС], воронеж. ‘ответвление холма, оврага’ [СРНГ 25: 270], блр. диал. *пасынак* ‘приток реки, ручья’ [ЭСБМ 8: 205]. Встречается и временнáя обособленность: польск. диал. *sierotka* ‘растение стокротка (маргаритка), названо так за то, что цветет осенью, когда других цветов уже нет’ [Karłowicz 5: 126], рус. ворон. *сиротки* ‘пролеска двулистная, Scillabifolia L., зацветающая рано’ [СРНГ 37: 350], болг. диал. *сирак* [БЕР 6: 687], рус. ср.-урал. *сын без* (*раньше*) *отца* ‘растение синий осенний безвременник, Colchicum autumnale’: «Плод появлятца раньше цветка, потому ево еще зовут сын без отца или сын раньше отца» [Коновалова 2000: 190][6].

Идея отсутствия важного содержимого, пустоты тоже имеет разные варианты воплощения. Пищевые «вдовы», «сироты» и «холостяки» — обычно блюда без начинки, заправки (жира, мяса и др.) — рус. арх. *вдовúца* ‘лепешка, изделие из теста без начинки’ [АОС 3: 68], костр. *вдóвка* ‘овсяная каша’ [ЛКТЭ], *холостянка* пск. ‘пустая похлебка, тощая, постная’ [Даль$_2$ 4: 560], смол.

[6] Ср. польск. *syn nad oycem* ‘гвоздика травянка, Dianthus deltoides’: ее веточки (*ojciec*) выпускают из себя молодые ростки (*syn*), которые соответственно находятся выше [Колосова 2009: 25]. Ср. также англ. диал. *son afore* (*before*) *the father* ‘мать-и-мачеха’, ‘сушеница’ [EDD 5: 616]. Источник таких названий — лат. *filius ante patrem* ‘растение безвременник’.

‘о постной пище’ [ССГ 11: 67], блр. диал. *халасты* ‘пустой, из одной крупы (суп)’ [ЭССЯ 8: 65], рус. твер. *сиро́тка* ‘гречневая густая кашица’ [ДО: 242]. Описываемая пищевая модель обратима, ср. рус. перм. *старый морко́вник* ‘женщина, не бывавшая замужем’ [Зверева 2012: 30] (от перм. *морко́вник* ‘пирог из моркови’ [СПГ 1: 523]), арх., яросл. *пустоко́рм* ‘одинокий, бессемейный человек, бобыль’ [СРНГ 33: 148–149].

«Вдовой» или «холостой» может быть и одежда: чеш. морав. *ovdovélý* (вдовый) ‘без подкладки (об одежде)’ [Dial-Brno], рус. влг. *холосто́й* ‘неутепленный (об одежде)’ [СВГ 11: 201].

«Вдовые» («холостые») растения лишены плодов, урожая: словен. стар. *hlast* ‘гроздь после снятия ягод’ [ЭССЯ 8: 64], рус. сиб. *холостой брусничник* ‘листья брусничника без ягод’ [СРГС 5: 226], костр. *вдовый куст* ‘ягодный куст без ягод’ [ЛКТЭ].

Примыкает к рассматриваемой группе и обозначение ситуации проигрыша, неудачи: рус. простореч. *вдовку в жены взять* ‘проиграть при игре в шашки’.

Идея нецелостности реализуется, например, в типографской терминологии — в обозначениях неполной абзацной или висячей строки, ср. рус. *сиротка*, *вдова*, польск. *wdówka*, *sierotka*, чеш. *sirotek* и др.[7] Сюда же можно отнести обратимую метафорическую модель, соотносящую «неполноценных» родственников с разбитой посудой: рус. костр. *сиротки*, ср.-урал. *па́сынки* ‘черепки разбитой посуды’ [ЛКТЭ], олон. *битый горшок* ‘шуточное или бранное название замужних женщин и вдов’ [СРНГ 2: 300], ср. также серб. боснийск. «Udovac — razbijen lonac» (Вдовец — разбитый горшок) [СД 1: 295].

С образами сирот (главным образом), пасынков и вдов связана идея недостаточности, низкий интенсивности. Этот каритивный смысл вырастает из дескриптивных признаков «слабый», «робкий» etc. и оценочных «несчастный, жалкий», «бедный». Возможно также установление вторичных связей с исходным значением ‘сирота’, т. е. формирование фактов двойной мотивации. Такие отношения можно предполагать, к примеру, для серб. *сѝротӣ* ‘маленький, незначительный по количеству, значению, величине, ничтожный’ [РСХКЈ 5: 778]. В ряде случаев «сиротский» = ‘недостаточно интенсивный по температуре (жаркий или холодный)’: рус. простореч. *сиротская баня* ‘недостаточно жаркая баня’, *сиротская зима* ‘теплая,

[7] Термины такого рода являются международными, ср. англ. *orphan* ‘зависшее сообщение’, ‘висячая строка’, *widow*, *widow line* ‘висячая концевая (абзацная) строка’.

без больших морозов зима’, серб. *сиротињско лето* ‘ясные и теплые дни осенью’, хорв. *sirotińsko leto* ‘время осенью или зимой, когда лучше погода’[8] и др. Каритивные значения представлены и в пищевом коде: рус. *пасынок* арх. ‘самогон второго разлива’ [КСГРС], ‘третий слив пива’ [Даль$_2$ 3: 24]; ср. также арх. *одинокая мать с дочерью молоко шилом хлебает* ‘о малом количестве молока у коров’ [БДКА]. Связь образов пасынка, сироты и жидкой (пустой) пищи проявляется и в паремиологии, ср. рус. «Удобрилась мачеха до пасынка: велела в заговинье все щи выхлебать», «Горе мачехино, что пасынок (будто) сметаны не ест; а порой и сыворотке рад!» [Даль$_2$ 2: 310], укр. «Горе мачуси, що пасинок сметани не їсть, бо він і сироватці радий» [ПП-укр 1990: 113]. Вообще, мотив хлебания (чего-то жидкого) глубоко укоренен в представлениях о пасынке. Рассматривая вопрос о происхождении польск. *pasierb* ‘пасынок’, О. Н. Трубачев, вслед за А. Брюкнером, указывает на корень **serb* ‘хлебать, сосать (грудь)’, служивший обозначением ближайших, кровных родственников: *sierb* — ‘сосунок, кровный ребенок’ (при собир. **sьrbь* ‘ближайшая родня’), *pasierb* — ‘«неподлинный ребенок»’ [Трубачев 2006: 53–54]. Интересно и рус. костр. *охлебáй*, *охлéбушек* ‘пасынок’ [ЛКТЭ]: здесь возможна мотивация «нахлебник» (ср. пск., твер. *охлебáй* ‘неблагодарный человек’ [СРНГ 25: 32], пск., твер. *похлебáй* ‘тот, кто ходит обедать к другим’ [СРНГ 30: 349]), но не менее вероятна и мотивация «тот, кто ест „охлебки“», ср. олон. «Как сиротны малы детушки Едят щички охлебочки <остатки жидкого кушанья>» [СРНГ 25: 33]. Итак, существует целая сеть связей между обозначениями пасынка (сироты) и жидкой пищи (хлебания), причем связи эти двунаправленны, что указывает на их древность, и допускают разнообразие мотивационных линий.

Идея н е н а с т о я щ е г о, л о ж н о г о представлена, к примеру, в рус. арх. *сиротский мороз* ‘потепление зимой’ [КСГРС], ср.-урал. *сиротское мыло* ‘растение татарское мыло, Lychnis chalcedonica L.’ [ЛКТЭ].

Мотив в т о р и ч н о г о («о т р а б о т а н н о г о») характерен прежде всего для образов старых холостяков, вдов и девушек, лишенных девственности. Так, вдовы уподобляются старым штанам: польск. «Kto pojął wdowę, jakby też kupił portki na tandecie» («Кто взял в жены вдову, как будто купил шаровары у старьевщика») [NKPP 3: 631]; рус. «На вдове жениться, как старые штаны вздевать, не вошь, ин гнида укусит» [Снегирев 1995: 169]. Закономерно появляются метафоры обработки культурных растений. Так, девушка, лишенная дев-

[8] Сербские и хорватские данные допускают двойную мотивацию: «сиротское лето», «бедняцкое лето».

ственности, уподобляется отходам при переработке льна, ср. перм. *из-под мялки кости́ца* ‘о девушке, лишенной девственности’ [ФСПГ: 173], а вдова — зерновой мякине: костр. *поло́вка* ‘вдова’ (от *поло́ва* ‘мякина’) [ЛКТЭ]; здесь, очевидно, имеет место также аттракция к *полый* ‘пустой’. Фиксируется также образ продуктов горения — отгоревшей искры, головешки и проч., ср. макед. загадку «Угоре оит невеста, удолу идет вдовица» <искра> [ПГ: 211]. Образ головни представлен при обозначении ситуации неудавшегося / нарушенного брака (рус. пск. *ехать с головешкой* ‘получить отказ при сватовстве’ [ПОС 10: 139], новг. *получить головёшку* ‘пережить измену’ [Сергеева 2004: 237]), а образ обгоревших или залежавшихся дров используется для воплощения представлений о старых холостяках: перм. *старый подови́нник* ‘о старом холостяке’ (от *подови́нник* ‘длинное сухое полено, употреблявшееся для отопления овина’) [СПГ 2: 125], болг. *огорел*, *опален пън* ‘о холостых и бездетных’ [Геров 4: 406].

Даже этот неполный перечень оценочных генерализованных мотивов позволяет утверждать, что некоторые образы «неполноценных» родственников (особенно вдова, сирота, холостяк) — своего рода эталоны образного предметного воплощения признака каритивности, который изучался прежде всего на материале атрибутивной лексики, т. е. прилагательных со значениями ‘пустой’, ‘сухой’, ‘пресный’ и др. [Толстая 2008: 50–98], — и это понятно, поскольку каритивность демонстрирует обобщенность семантики качественных прилагательных, которые способны к генерализации своих вторичных значений, воплощающих общие идеи недостаточности, неполноты и проч. Предметные существительные, казалось бы, не должны выражать столь обобщенных смыслов. В то же время включенность анализируемых слов в сферу лексики родственных отношений, которая имеет высокий аксиологический потенциал, обусловила появление у них генерализованной оценочной семантики. Это важное свидетельство силы и яркости оценки, стоящей за изучаемыми словами.

3. Выше говорилось о признаках и мотивах, объединяющих разные образы, однако метафорическая системность проявляется и в рамках одного образа. Отдельные метафорические лексемы, в основе которых одна производящая основа, оказываются «скоординированными» на разных уровнях, что позволяет обнаружить общую конструкцию, логику образа и объяснить выбор того или иного признака или детали. Важно сравнить различные образы, в построении которых участвуют схожие детали, чтобы наиболее рельефными стали **закономерности организации образа**, **ракурса**, **в котором он формируется**.

Рассмотрим, как в перспективе различных образов некровных и «неполноценных» родственников ведется отбор соматических черт. Их появление говорит об усложнении метафоры за счет «удвоения» объектов сравнения, точнее, их детализации: образный аналог подыскивается, к примеру, не собственно теще, а ее пальцам или ребрам. Такой детализации подвергаются только три образа — вдовы, тещи и свекрови. Логика детализации в первом случае и двух других совершенно различна.

Значения фразеосочетаний, в основе которых образы частей тела **вдовы**, не выходят за пределы сферы соматики: мясо — рус. *вдовье мясо* арх. ‘полнота, округлость, развивающаяся у стареющей женщины’ [АОС 3: 67–68], перм. ‘избыточная масса тела’ [СГСПермК 1: 195]; горб — рус. простореч. *вдовий горб* ‘характерная сутулость у женщин’[9]; жила — арх. *вдовья жила* — ‘вздувшаяся вена на внутренней стороне пальцев рук’, ‘вздувшийся на переносице кровеносный сосуд, свидетельствующий о (будущем) вдовстве женщины’ [Качинская 2011: 123]; палец — арх. *вдовьей палец* ‘безымянный палец руки’ (см. выше). Ср. также англ. *widow’s peak* (вдовий пик) ‘волосы, растущие треугольным выступом <в виде буквы V, содержащей, очевидно, аллюзию к слову WIDOW> на лбу; примета, предвещающая раннее вдовство’ [WTNID 2: 1661; ABBYY Lingvo x 3]. «Вдовья» соматическая метафора отражает условия жизни вдовы и работает на «диагностику» вдовства или его предсказание. Это вписывается в общую логику построения лингвокультурного образа вдовы, в котором видное место отводится знакам, предсказывающим вдовство — состояние социально ущербное и опасное [СД 1: 293–297]. Такие знаки особо распространены в невербальных культурных кодах, но есть и вербальные (помимо представленных выше, ср. перм. *светлоло́бица* ‘о женщине с белым гладким лбом (что предвещает скорое вдовство)’ [СРНГ 36: 265]).

Что касается соматических образов, связанных с тещей и свекровью, то здесь «диагностика» и предсказания не нужны. Здесь проявляется другая логика «соматического» восприятия. Наиболее «анатомичен» образ **тещи**.

В первую очередь выделяется образ тещина языка, который прилагается к реалиям из разных сфер действительности — поведенческой (рус. дон. *разболтаться*, *растянуть как тещин язык* ‘сильно разговориться, разболтаться’ [СРНГ 44: 114]), ландшафтной (рус. приамур. *тёщин язык* ‘об участке земли между двумя парал-

[9] Возможно, это калька; ср. англ. *widow’s hump* (вдовий горб) ‘избыточное прогибание позвоночника назад’ [ABBYY Lingvo x 3].

лельно идущими дорогами’ [СРГП: 338–339], простореч. *тёщин язык* ‘резкий поворот дороги-серпантина’), пищевой (рус. новг., ленингр. *тёщин язык* ‘водка, настоянная на перце, перцовка’ [СРНГ 44: 114; СРГК 6: 458], простореч. *тёщин язык* ‘острая закуска из баклажанов или кабачков с перцем и чесноком’), ботанической (обозначения растений с длинными острыми листьями были представлены выше, в рубрике 1), сферы игрушек (рус. простореч. *тещин язык* ‘свернутая бумажная трубочка, в которую надо подуть, чтоб она резко развернулась’).

Отмечаются образы и других частей тела тещи. Р у к а: рус. арх. *тёщина рука* ‘левша’ [КСГРС], простореч. *тёщина рука* ‘миникран, установленный на машине-самопогрузчике’, жарг. спорт. *тёщина рука* ‘в игровых видах спорта: левая рука (при подаче с нее)’; г о л о в а: рус. народн. *тёщина голова* ‘сорт капусты’; н о г а: укр., рус. простореч. *тёщина нога* ‘нерабочая нога в футболе’; р е б р о: рус. *тёщины рёбра* влг. ‘о непроезжей дороге’ [КСГРС], простореч. ‘неровности в асфальте’; п а л е ц: рус. перм. *тёщин палец* ‘о худом, тощем человеке’ [ФСПГ: 251], скала *Тёщин Палец* (Камчатка, Авачинская бухта); з а д: гора *Тёщин Зад*: «Тоўсто место такое, как зад у тещи» (Шарьинск. р-н Костромск. обл.) [ТЭ]; б е д р о: гора *Тёщино Бедро* (окрестности Кисловодска); з у б ы: гора *Тёщины Зубы* (Приэльбрусье); г л а з: рус. простореч. *тёщин глаз* ‘черная муха с красной головой’.

«Анатомия» **свекрови** представлена более скудно (хоть и сходна с «анатомией» тещи своим набором образов и оценочной окраской). Я з ы к: хорв. *svekrvin jezik* ‘растение opuntia macrorrhiza’, ‘вид мусульманской народной вышивки в западной Боснии’ [RSHJ 17: 175], серб. *свекрвин језик* ‘растения gasteria disticha; opuntia ficus indica’ [Симоновић 1959: 209, 655]; г о л о в а: серб. *свекрвина глава* ‘растения echinocactus tortuosus; melocactus communis’ [Симоновић 1959: 176, 655]; з у б: карел. *свекровий* (*свекров*) *зуб* ‘изъян в домотканом полотне’ [СРГК 5: 652]; п у п: рус. иркут. *свекрухин пуп* ‘*фольк. устар.* печная заслонка’ [СРГС 4: 63]; г л а з: болг. *свекървини очи* ‘пестрый садовый цветок’ [Любенов 1993: 123].

Итак, образ тещи в его анатомическом измерении оставил позади образы не только свекрови, но и других родственников женского пола. Кажется, «анатомичностью» с тещей может сравниться только образ «женщины вообще», «бабы». Нам приходилось уже писать, что в русской топонимии «бабья» соматика богаче «мужичьей»; при этом наблюдается сниженная тональность «бабьих» соматических названий (как и в целом образа бабы) [Березович 2009б: 58–62]. Сходная картина наблюдается в диалектной фразеологии различных славянских языков, где представлены «бабий язык»,

«бабье ухо», «бабий пуп» etc. Образным аналогом «бабы» выступает «теща», однако ее портрет более карикатурен и негативно окрашен: в соматических образных сочетаниях, помимо признака подобия по форме (шаржированно представляющего остроту тещиных ребер, худобу пальцев, толщину зада и др.), реализуются признаки «нефункциональный», «острый, жгучий», «труднодоступный, тяжелый для преодоления» и др.

Значит, теща в изображении языка — именно «персонаж», причем персонаж острохарактерный и телесный (чего нельзя сказать о многих других родственниках, в чьих портретах преобладают функциональные, статусные или генерализованные качественные признаки). Думается, такая логика образа могла сложиться под внешним и отстраненным (мужским) углом зрения. Рискуя получить обвинения в вульгарности интерпретации, укажем все же, что отстраненность эта, вероятно, сложилась в условиях той житейской дистанции, которая отделяет семью зятя от тещи. Теща — самый яркий из «внешних» родственников, общение с ней не является повседневным (в отличие от свекрови, занимающей сходную позицию в родственной «сети»), а заключено традицией в определенные сценарии, что и отражается в закономерностях конструирования языкового образа.

4. Еще одно проявление метафорической системности касается внутренних связей между донором и реципиентом, которые могут проецироваться друг на друга, давая **обратимую метафору**. Обратимые метафоры архаичны. К их числу относится, к примеру, орнитологическая метафора. Широко известно, что многие птицы имеют «человеческую» символику, которая ярче всего отражена в культурных ситуациях, связанных с жизнью семьи (в контексте свадьбы, похорон и др.). Эту символику демонстрируют разные культурные коды, причем наиболее активно — фольклорный (см. [Гура 1997: 527–745]), в котором птичьи образы, приложимые к разным членам семьи, обнаруживают высокую вариативность. В системе языка эта метафора менее активна и вариативна — и можно нащупать некоторые закономерности выбора определенных птичьих образов по отношению к некровным и «аномальным» родственникам.

Так, можно говорить об обратимости метафоры «вдова ↔ сова». Антропоморфный образ птицы отражен в рус. костр. *вдóвушка* ‘сова’ [ЛКТЭ], смол. *удавиныя дѣла — якъ савиныя* [Добровольский 3: 11], укр. *життя вдовине — совине* [ПП-укр 1990: 133]; зооморфный образ женщины — в арх. *пýкша* ‘сова’, ‘вдова, к которой по ночам является умерший муж’: «Не колдуньи есь, а пукши. Овдовела баба, а по мужу сохнет, он к ней ходит» [КСГРС]. Обоснование метафоры — в ночном

образе жизни совы, вследствие чего в образе этой птицы представлены мотивы изоляции, одиночества и смерти (см. [Гура 1997: 568–570, 579]), значимые и для образа вдовы, в котором, кроме того, есть и мотив черного цвета (см. выше), ассоциативно связанный с ночью. Не случайно «вдовьи» названия имеют и другие птицы, проявляющие активность ночью: *чеш. kachna vdova* ‘белолицая свистящая утка’ [PSJČ 6: 838]; ср. также англ. *widow* ‘козодой’ [ABBYY Lingvo x 3] (дополнительный мотивирующий признак — темное оперение).

Есть несколько фактов, позволяющих говорить об ассоциативной связи «зять ↔ дятел»: рус. ср.-урал. *зятёк* ‘желна’: «Черного дятла в шутку звали зятёк. Поди, долбит-долбит, как зять тёщу» [ЛКТЭ], ср.-урал. *бортевщи́к* ‘*насмешл.* о зяте’ [ЛКТЭ] < ср.-урал. *бортевщи́к* ‘большой черный дятел — желна, который долбит отверстия в стенках бортей в поисках пчел’ [СРГСУ 1: 53]. Эта обратимая языковая метафора подтверждается и фольклорной, представленной в олонецкой былине-скоморошине «Каково птицам жить на Руси»: «На море зять дегтярь[10], На море теща — загожка[11]: У зятя ноги коротки, У тещи пороги высоки» [Рыбников 2: 313, № 59]. Возможно, в основе связи между образами зятя и дятла — мотив добывания пчел дятлом, который может интерпретироваться как вариация мотива охоты, продуктивного в «языке» славянской свадьбы [Гура 2012: 642–645].

Обратимы и метафоры с участием «кукушки». Это одна из самых мифологизированных птиц с выраженной женской символикой. По народным поверьям, у нее нет пары [Гура 1997: 682–709]. С кукушкой сравниваются старая дева, бездетная женщина, вдова: чеш.-морав. *pude kukat do Paltejova* (пойдет куковать в Палтеёв) ‘о старой деве’ [Гура 2012: 34], рус. *кукушкина свадьба* ‘о свадьбе вдовы’ [СД 1: 296], арх. *кокови́ца* ‘старая дева’, *кокува́ть* ‘жить одиноко’ [СГРС 5: 222, 231]. Ср. также фольклорные тексты, где, помимо этих образов, встречаются также образы сироты, тещи: рус. север. «Закокует в поле кокушечка — Загорюю-то я, сироточка» [СРНГ 14: 106], блр. полес. «Кукушка — это вдовино жыццё» (Велута Лунинецк. р-на Брестск. обл.) [БДПА], хорв. «Zakukalo devet udovica, zaplakalo devet sirotica» [RHSJ 63: 63], рус. север. «На море зять дегтярь, На море теща — загожка <…>» (см. выше).

---

[10] Ср. север. *дегтярь* ‘дятел’ [СРНГ 7: 328].

[11] В тексте Рыбникова допущена опечатка: вместо *загожка* написано *заюжка*; эта опечатка перекочевала в [СРНГ 7: 328]. Однако слово *загожка* вытекает из логики текста, а главное, опечатка исправлена в примечаниях к 3 тому собрания Рыбникова [Рыбников 3: LXIII]. К семантике этого слова ср. новг. *заго́жечка*, олон. *заго́женька* ‘кукушечка’, олон. *заго́жка* ‘кукушка’ [СРНГ 10: 15].

5. При семантической реконструкции необходимо учитывать, что рассматриваемая славянская метафорическая система в ряде своих фрагментов имеет **этнокультурную специфичность** (в ходе предшествующего изложения мы не раз сталкивались с соответствующими примерами). Выявление ее становится и фактором анализа, и одной из его задач.

Так, необходимо принимать во внимание, что метафорические значения могут развиваться на фоне метонимических, отражающих **бытийный, этнографический контекст**, в котором существуют денотаты слов — источников переноса. К примеру, сочетание *зятьево пиво* отражает реальную традицию угощения тещи пивом, которое варилось зятем: рус. ср.-урал. *зятьево пиво* ‘застолье в доме молодых на Масленичной неделе, куда приглашались родственники жены’ [ЛКТЭ]. Тексты народных песен содержат шутливое переосмысление этой традиции, учитывающее неприязненные отношения между зятем и тещей: «Варил зять пиво, Варил молодое, Без солоду-ячменю, Без ярого хмелю. Звал зять в гости Любимую тещу. Как потчевал тещу Он вязом по глазам, Сырым дубом по губам, Обухом по брюху, Поленом по коленам» [Соболевский 7: 201–202] и др. Сочетание *зятьево пиво* имеет и метафорическое значение: рус. коми-перм. *зя́тево* (*зя́тьево*) *пиво* ‘при изготовлении пива: жидкий слив сусла’: «Зятево пиво называется самое жидкое. <…> Зятево пиво второе, а основное пиво — первое» [СРГКПО: 183]. Здесь накладываются две мотивировки: неполноценность напитка отражает на «языке» пищи негативные отношения между родственниками, а «вторичность» пива — «некровность» зятя (ср. арх. *пасынок* ‘самогон второго разлива’ [КСГРС], а также поговорку, соотносящую образы зятя и ненасыщенной, жидкой пищи: «Ни в сыворотке сметаны, ни в зяте племени» [Даль$_2$ 1: 699]).

«Тещины» метафоры тоже могут иметь «этнографическую» подкладку. К примеру, в русской топонимии маркирована тропа к дому тещи: *Тёщина Тропа*: «Из Терменьги брали замуж, парни к теще бегали на блины» (Верховажск. р-н Вологодск. обл».) [ТЭ], *Тёщина Дорожка*: «Девок брали из соседней деревни больше, дак по Тёщиной Дорожке к тещам бегали» (Ревдинск. р-н Свердловск. обл.) [ТЭ]; ср. также *Тёщина Тропа* в Камском устье. Это устойчивое метонимическое сочетание переосмысляется в метафоре, ср. рус. простореч. *тёщина дорожка* ‘дорожка из волос, идущая от пупа к низу живота мужчины’: появление этой дорожки, по мнению наивных носителей языка, излагаемому на Интернет-форумах, свидетельствует о половой зрелости юноши (очевидно, она символизирует «дорогу» к замужеству, к будущей теще).

Еще один пример. «Сцепка» двух сфер действительности, соотнесенных в рус. олон. *свёкор* ‘внешняя часть печи, на которой держится воронец (брус, идущий вдоль стен избы)’ [СРНГ 36: 231], изначально мотивирована тем, что печь у русских — постоянный «локус» свекра и свекрови. Можно предположить, что метонимический импульс восприятия реалии в данном случае сменяется метафорическим, при котором происходит качественно-оценочное переосмысление ее свойств: свекор — опорная фигура в семье, поэтому данный образ выбран для обозначения несущей конструкции (ср. рус. литер. *матица* ‘опорная балка в избе’, костр. *брус да матица* ‘о муже и жене, отце и матери’: «Брус да матица — это отец и мать. Хозяйство ведут, дом-от держат» [ЛКТЭ], а также загадку: «Лютая свекровь семью стережет. Свекровь рассердится — семья разбежится» <матица> [Садовников 1996: 35, № 51].

Этнокультурная специфичность изучаемой лексики определенного языка становится наиболее очевидной **на иноязычном фоне**. Вот пример, связанный с образом вдовы. Славянские языки практически едины в определении социально-экономического статуса вдов, с которыми ассоциируются бедность и нищета. Это проявляется в первую очередь в неметафорической лексике, но есть и соответствующие метафоры, ср. рус. костр. *вдовка* ‘проигрыш при игре в бабки на деньги’, *жениться на вдове* ‘проиграть при игре в бабки’ [ЛКТЭ]. В английской игровой терминологии со вдовой, напротив, связывается выигрыш, а в ее образе отмечается мотив достатка: англ. *widow* (вдова) ‘*карт*. прикуп’ [WTNID 3: 2614][12]. Это объясняется различиями в семейном праве между славянскими и германскими народами (у последних имущественное положение вдов было более благоприятным)[13]. Из германского источника, очевидно, ведет свое происхождение калькированное польск. *ciepła wdówka* (теплая вдова) ‘богатая вдова’ [SJPD 9: 905].

* * *

Несколько заключительных замечаний

Слова, означающие некровное и нарушенное / отсутствующее родство, обладают разными потенциями в плане метафоризации.

[12] Ср. также англ. *dower* ‘вдовья часть наследства’, ‘приданое’, ‘природный дар, талант’ [ABBYY Lingvo x 3].

[13] Ср. англ. *well-off widow* ‘состоятельная вдова’, *widow’s allowance* ‘вдовье пособие (в связи с потерей кормильца)’, нем. *Witwengehalt* ‘то же’ etc., англ. диал. *widow’s bench* (вдовья собственность) ‘доля имущества мужа, которую получает вдова’ [EDD 5: 487].

Более продуктивны обозначения нарушенного родства («вдова», «сирота»). Так, образ вдовы разработан достаточно детально и учитывает такие «подробности», как вздувшиеся жилы на руках, горб от тяжелой работы, обильные слезы, черный наряд, тяжелый характер, стремление повторно выйти замуж и др.; кроме того, здесь представлены оценочные генерализованные мотивы одиночности, нецелостности, вторичного («отработанного») etc. Портрет сироты далеко не так конкретен, нарисован как бы размытой «плачущей» акварелью; доминанту в нем составляют собственно оценочные признаки, причем особый акцент сделан на мотиве низкой интенсивности, непроявленности признака (в то время как в портрете вдовы акцентирован мотив отсутствия содержимого). Меньшей метафорической продуктивностью обладают обозначения некровных родственников. Основная причина — присутствие в их семантике релятивных сем, фиксирующих достаточно сложные отношения между членами семьи, что затрудняет перенос на иные явления действительности. Кроме того, представления о многих некровных родственниках имеют яркую негативную экспрессию, вследствие чего при их вербализации основная «энергия» языка уходит на пейоративные эпитеты («лютая свекровь», «злая мачеха» и проч.), а не на метафору, требующую некоторого отстранения от объекта номинации — для его комплексного качественного осмысления. Наиболее метафорична среди некровных родственников «теща», осмысляемая главным образом «соматически». В целом же, как говорилось выше, изучаемая лексическая группа характеризуется относительно невысоким метафорическим потенциалом (по сравнению с обозначениями кровного родства, служащими регулярным источником переноса).

В соответствии с основными задачами статьи изложение строилось так, чтобы выявить свойства «донорской» области метафоры — лексики родства. Слова из реципиентной зоны рассматривались лишь с точки зрения конкретных признаков номинации, положенных в их основу. Можно говорить и об общих закономерностях строения реципиентной области: «восприемниками» метафоры «неполноценного» родства или свойства́ становятся в первую очередь обозначения растений и животных — явлений живого (и потому максимально антропоморфного) мира. Структура реципиентной зоны во многом зависит и от характера признаков номинации. Так, наиболее разнообразной реципиентная зона метафоры является в тех случаях, когда номинативные признаки носят обобщенный, генерализованный характер: в реципиентной зоне отмечаются названия кушаний, бытовых емкостей, построек и др.

За рамками рассмотрения оказались многие другие особенности семантико-мотивационной организации метафорической лексики некровного или нарушенного / отсутствующего родства, которые значимы для ее семантической реконструкции. Мы не касались вопросов о мотивационной «антонимии» метафорических лексем, образованных от обозначений кровных и некровных родственников (ср. пары «мать» // «мачеха», «сын» // «пасынок» и др.), о «синонимичных» парах (рядах) образов и способах «измерения» их смысловой близости друг к другу (к примеру, метафорическая «свекровь» ближе всего к «золовке», а не «теще»), о семантических связях между «неполноценными родственниками» и образами, относящимися к другим смысловым сферам (так, тонкие и нетривиальные связи объединяют «вдову» и «сироту» с «инородцами» — «жидом», «цыганом» и др. Обе группы образов используются для выражения идей неполноценного, аномального, уязвимого и др. Признак уязвимости представлен в рус. костр. *вдовку ударить* ‘удариться локтем, попав в нервное окончание, что вызывает резкую боль’ [ЛКТЭ] = простореч. *жида убить* ‘то же’; интересны и романо-германские параллели: швед. *få en änkestöt* ‘то же’ (ср. *änka* ‘вдова’, *stöt* ‘удар, толчок’), франц. *le petit juif* (маленький еврей) ‘чувствительное место на локте’ [Robert 5: 853]).

Разработка этих вопросов, равно как и тех, которые более подробно рассмотрены в настоящей статье, поможет не только интерпретировать «темные» в мотивационном отношении лексемы, но и глубже понять механизмы формирования языковых образов. В начале статьи была приведена цитата из работы Ю. Д. Апресяна, отметившего, что образы родственников по женской и мужской линии могут существенно различаться. Наш материал показывает, что различия могут наблюдаться даже между образами родственников, занимающих логически однотипные позиции по всем параметрам, организующим «семейную сеть», — полу, возрасту, отношению к другому родственнику (таковы, к примеру, различия между «тещей» и «свекровью»). Важно не только уловить эти «капризы» языка, но и сделать их по возможности объяснимыми и предсказуемыми. Таким образом, семантическая реконструкция призвана вскрывать глубинные пропозиции, определяющие логику выбора признаков, на базе которых происходит перенос одного явления действительности на другое. Эта логика становится наиболее осязаемой в рамках всего семантического пространства слова, всего объема его семантико-деривационных связей, и далее — на фоне семантических пространств других слов, входящих с данным в отношения лексической системности.

Литература

АОС — Архангельский областной словарь. Вып. 1–. М., 1980–.

Апресян 1995 — *Апресян Ю. Д.* Избранные труды: В 2 т. Т. II. М., 1995.

Аркушин 1–2 — *Аркушин Г. Л.* Словник західнополіських говірок. Т. 1–2. Луцьк, 2000.

Ахтаров 1939 — Материали за български ботаниченъ речникъ / Ред. Б. Ахтаровъ. София, 1939.

БД — Българска диалектология. Проучвания и материали. Кн. I–X. София, 1962–1981. Т. 4.

БДКА — Каргопольский архив этнолингвистической экспедиции РГГУ: база данных (РГГУ, лаборатория фольклора).

БДПА — Полесский архив этнолингвистической экспедиции Института славяноведения РАН: база данных (ИСл РАН, отдел этнолингвистики и фольклора).

БЕР — Български етимологичен речник. Т. 1–. София, 1971–.

Березович 2009а — *Березович Е. Л.* Метафорические комплексы, составленные терминами родства, в славянских языках // Категория родства в языке и культуре. М., 2009.

Березович 2009б — *Березович Е. Л.* Русская топонимия в этнолингвистическом аспекте: Пространство и человек. М., 2009.

Березович 2012 — *Березович Е. Л.* «Соломенная вдова»: семантико-мотивационный и лингвогенетический аспект // Empiricism in Slavonic Diachronic Linguistics. Praha, 2012. S. 277–301.

БТДК — Большой толковый словарь донского казачества. М., 2003.

ВС — Ветлужская сторона. Фольклорный сборник. Вып. 2. Кострома, 1996.

ВФ — Вятский фольклор. Народный календарь. Котельнич, 1994.

Геров 1–5 — *Геров Н.* Речникъ на блъгарския език. Ч. I–V. Пловдивъ, 1895–1904.

Гринченко 1–4 — Словарь украинского языка / Сост. Б. Гринченко. Т. 1–4. Киев, 1907–1909.

Гура 1997 — *Гура А. В.* Символика животных в славянской народной традиции. М., 1997.

Гура 2012 — *Гура А. В.* Брак и свадьба в славянской народной культуре: Семантика и символика. М., 2012.

Даль$_2$ — *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка. 2-е изд. Т. I–IV. СПб.; М., 1880–1882 (1989).

Дилакторский 2006 — Словарь областного вологодского наречия. По рукописи П. А. Дилакторского 1902 г. СПб., 2006.

ДО — Дополнения к Опыту областного великорусского словаря. СПб., 1858.

Добровольский 1–4 — *Добровольский В. Н.* Смоленский этнографический сборник. Ч. 1–4. СПб.; М., 1891–1903.

ЕСУМ — Етимологічний словник української мови. Т. 1–. Київ, 1982–.

Ефименкова 1980 — *Ефименкова Б. Б.* Севернорусская причеть. Междуречье Сухоны и Юга и верховья Кокшенги (Вологодская область). М., 1980.

ЖС — Жывёльны свет: Тэматычны слоўнік. Мінск, 1999.

Зверева 2012 — *Зверева Ю. В.* Тематическая группа «Наименования человека по семейным связям: брачные узы» в пермских говорах // Этнолингвистика. Ономастика. Этимология: Мат-лы II Междунар. науч. конф. Ч. 2. Екатеринбург, 2012. С. 30–32.

Качинская 2011 — *Качинская И. Б.* Термины родства и языковая картина мира (по материалам архангельских говоров): Дис. … канд. филол. наук. М., 2011.

Колосова 2009 — *Колосова В. Б.* Лексика и символика славянской народной ботаники: Этнолингвистический аспект. М., 2009.

Коновалова 2000 — *Коновалова Н. И.* Словарь народных названий растений Урала. Екатеринбург, 2000.

КСГРС — картотека Словаря говоров Русского Севера (кафедра русского языка и общего языкознания УрФУ, Екатеринбург).

ЛКТЭ — лексическая картотека Топонимической экспедиции УрФУ (кафедра русского языка и общего языкознания УрФУ, Екатеринбург).

Любенов 1993 — *Любенов Р.* Бурел: Говор, фолклор, етнография. София, 1993.

Меркурьев 1979 — *Меркурьев И. С.* Живая речь кольских поморов. Мурманск, 1979.

Младенов 1941 — *Младенов С.* Етимологически и правописен речник на българския книжовен език. София, 1941.

Опыт — Опыт областного великорусского словаря, изданный Вторым отделением Императорской академии наук. СПб., 1852.

ПГ — Пословици и гатанки / Изб. и ред. д-р К. Пенушлиски. Скопје, 1969.

ПОС — Псковский областной словарь с историческими данными. Вып. 1–. Л., 1967–.

ПП-укр 1990 — Прислів'я та приказки: Людина. Родина. Життя. Риси характеру. Київ, 1990.

РасС — Раслінны свет. Тэматычны слоўнік. Мінск, 2001.

РСХКЈ — Речник српскохрватскога књижевног језика. Књ. 1–6. Нови Сад; Загреб, 1967–1976.

РСХКНЈ — Речник српскохрватског књижевног и народног језика. Књ. 1–. Београд, 1959–.

Рыбников 1–3 — Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. Ч. I. М., 1861; Ч. II. М., 1862; Ч. III. Петрозаводск, 1864; Ч. IV. СПб., 1867.

Сабанеев 1959 — *Сабанеев Л. П.* Жизнь и ловля пресноводных рыб. Киев, 1959.

Садовников 1996 — Загадки русского народа: Сборник загадок, вопросов, притч и задач / Сост. Д. Н. Садовников. М., 1996.

СБукГ — Словник буковинських говірок. Чернівці, 2005.

СВГ — Словарь вологодских говоров. Вып. 1–12. Вологда, 1983–2007.

СГРС — Словарь говоров Русского Севера. Т. 1–. Екатеринбург, 2001–.

СГСПермК — Словарь русских говоров севера Пермского края. Вып. 1–. Пермь, 2011–.

СД — Славянские древности: Этнолингвистический словарь в 5-ти томах. М., 1995–2012.

Сергеева 2004 — *Сергеева Л. Н.* Материалы для идеографического словаря новгородских фразеологизмов. Великий Новгород, 2004.

Симоновић 1959 — *Симоновић Д.* Ботанички речник: Имена биљака. Београд, 1959.

СМЭС 1 — Смоленский музыкально-этнографический сборник. Т. 1: Календарные обряды и песни. М., 2003.

Снегирев 1995 — Русские народные пословицы и притчи / Сост. И. М. Снегирев. М., 1995.

Соболевский 1–7 — *Соболевский А. И.* Великорусские народные песни. Т. I–VII. СПб., 1895–1902.

СПГ — Словарь пермских говоров. Вып. 1–2. Пермь, 1999–2002.

СПП — Словарь псковских пословиц и поговорок. СПб., 2001.

СРГА — Словарь русских говоров Алтая. Т. 1–4. Барнаул, 1993–1997.

СРГКПО — Словарь русских говоров Коми-Пермяцкого округа. Пермь, 2006.

СРГП — Словарь русских говоров Приамурья. М., 1983.

СРГС — Словарь русских говоров Сибири. Т. 1–5. Новосибирск, 1999–2006.

СРГСУ — Словарь русских говоров Среднего Урала. Т. 1–7. Свердловск, 1964–1987.

СРНГ — Словарь русских народных говоров. Вып. 1–. М.; Л., 1965–.

ССГ — Словарь смоленских говоров. Вып. 1–11. Смоленск, 1974–2005.

СУМ — Словник української мови. Т. 1–11. Київ, 1970–1980.

Толстая 2008 — *Толстая С. М.* Пространство слова. Лексическая семантика в общеславянской перспективе. М., 2008.

Трубачев 2006 — *Трубачев О. Н.* История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 2006.

ТС — Тураўскі слоўнік. Т. 1–5. Мінск, 1982–1987.

ТТС — Тематический словарь говоров Тверской области. Вып. 1–5. Тверь, 2003–2006.

ТЭ — топонимическая картотека Топонимической экспедиции Уральского университета (кафедра русского языка и общего языкознания УрФУ, Екатеринбург).

ФСНП — Фразеологический словарь русских говоров Нижней Печоры / Сост. Н. А. Ставшина. Т. 1–2. СПб., 2008.

ФСПГ — *Прокошева К. Н.* Фразеологический словарь пермских говоров. Пермь, 2002.

ЧТС — Чалавек: Тэматычны слоўнік. Мінск, 2006.
ЭСБМ — Этымалагічны слоўнік беларускай мовы. Т. 1–. Мінск, 1978–.
ЭССЯ — Этимологический словарь славянских языков: Праславянский лексический фонд. Вып. 1–. М., 1974–.
ABBYY Lingvo x 3 — ABBYY Lingvo x 3: шесть языков. Электронный словарь.
Battaglia 1–21 — *Battaglia S.* Grande dizionario della lingua italiana. Vol. I–XXI. Torino, 1961–2002.
Dial-Brno — Archiv lidového jazyka dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, Brno (архив отдела диалектологии Института чешского языка Академии наук Чешской Республики, Брно).
EDD — The English Dialect Dictionary. Vol. I–VI. Oxford, 1981.
Karłowicz 1–6 — *Karłowicz J.* Słownik gwar polskich. T. 1–6. Kraków, 1900–1911.
Kopernicki 1887 — *Kopernicki I.* Przyczynek do etnografii ludu ruskiego na Wołyniu // ZWAK. 1887. T. XI, cz. III. S. 130–228.
NKPP — Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich. W oparciu o dzieło S. Adalberga. T. 1–4. Warszawa, 1969–1978.
OED 1933 — The Oxford English Dictionary. Vol. I–XIII. Oxford, 1933.
Pleteršnik 1–2 – *Pleteršnik M.* Slovensko-nemški slovar. D. 1, 2. Ljubljana, 1894–1895.
RHSJ — Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. JAZU. D. 1–23. Zagreb, 1880–1976.
Robert 1–9 — *Robert P.* Le Grand Robert de la langue française: Dictionnaire aphabétique et analogique de la langue française de P. Robert. T. 1–9. Paris, 1990.
Rystonová 2007 — *Rystonová I.* Průvodce lidovými názvy rostlin i jiných léčivých přírodnin a jejich produktů. Praha, 2007.
SJPD — Słownik języka polskiego / Red. W. Doroszewski. T. 1–11. Warszawa, 1958–1969.
SSKJ — Slovar slovenskega knjiznega jezika. Knj. 1–5. Ljubljana, 1970–1991.
SSN — Slovník slovenských nárečí. T. I–. Bratislava, 1994–.
WTNID — Webster's Third New International Dictionary of the English language unabridged. Vol. I–III. Encyclopedia Britannica, 1993.

М. М. Валенцова

Словацкая мифологическая лексика на общеславянском фоне (этнолингвистический аспект)

Народные мифологические представления как составная часть традиционной духовной культуры и отражающая их лексика обобщены для ряда славянских традиций в монографиях, словарях и энциклопедиях [напр., Черепанова 1983; Власова 1995; Pełka 1987; Baranowski 1981; Георгиева 1993 и др.], а также в трудах, исследующих эту тему в общеславянском масштабе [СД; Виноградова 2000; Плотникова 2004 и др.].

Вместе с тем, приходится признать, что в общеславянских исследованиях явно недостаточно освещена словацкая традиция, которая пока не обеспечена ни сводными этнографическими источниками по народной демонологии, ни специальными работами по мифологической лексике. Отчасти данная тематика и лексика содержится в «Энциклопедии народной культуры Словакии» (EĽKS) и энциклопедии «Словакия» (Slovensko), которые, однако, носят обобщенный характер, не дают точной локализации приводимых сведений. Между тем словацкая традиция занимает особое место в культуре славян, располагаясь в центральном ареале славянского мира, где встречаются и встречались ранее западно-, восточно- и южнославянские языки и народы [см. Ивић 1957–1958; Бернштейн 2000; Аванесов 1977; Николаев 2008; Вендина 2008 и др.], а в словацком языке, вероятно, гетерогенном по происхождению[1], отражены диалектные особенности

[1] См. различные теории образования словацкого языка и диалектов: [Krajčovič 1974: 13–59; Krajčovič 1981: 9–18; Habovštiak 1978]; о теориях И. Поповича, А. Лампрехта, М. Гавацци см. [Куркина 1992: 209].

Марина Михайловна Валенцова,
Институт славяноведения РАН (Москва)

Работа выполнена при поддержке проекта РФФИ № 12-06-00048-а «Мир и человек в этнолингвистическом словаре „Славянские древности“ (к 90-летию со дня рождения академика Н. И. Толстого)».

всех трех групп славянских языков. При этом «особенно тесная связь существует между южнославянскими языками и словацким языком, а точнее, одним из его диалектов, который в настоящее время занимает центральное положение, а в средневековье охватывал большую часть современной южной Словакии» [Куркина 1985: 67]. Эта связь является составной частью комплекса изоглосс, объединяющих западно- и южнославянские языки, например, болгарский язык и севернолехитскую группу диалектов, словенский и серболужицкий языки [там же: 66].

Большой интерес в этом отношении представляет мифологическая лексика, отражающая архаические представления славян. Одни лексемы этой группы восходят к индоевропейским корням, являются праславянским наследием, другие характеризуют контакты, миграции, территорию расселения этносов. Для мифологической лексики, с одной стороны, релевантны выводы, сделанные для конкретного языка в целом, с другой — она имеет особенности, обусловленные «характером соотношения слова и понятия в демонологической системе», ее «особым семантическим статусом. Имеется в виду необычный характер взаимодействия имени и обозначаемой им „реальности“» [Виноградова 2001: 16].

Представляется перспективным определение лексических и семантических связей словацкой демонологической (как подсистемы мифологической) системы с другими славянскими традициями. Мы опираемся при этом на теоретические положения Н. И. Толстого о существовании, наряду с языковыми, культурных диалектов, являющихся практически «единственным источником для внутренней реконструкции древнейшего состояния славянской духовной культуры», в том числе мифологических представлений и системы демонологических персонажей [Толстой 1995: 46, 47].

Основной пласт словацкой мифологической лексики вообще и названий мифологических персонажей (далее — МП) в частности, которые преимущественно и рассматриваются в докладе, — **общеславянский**. К нему относятся лексемы с корнями **bab-*, **blǫd-*, **bog-*, **čar-*, **div-*, **mar-* / *mor-*, **svět-*, **věd-* / **věšt-*, **vьlk-*, **vod-* и др. При этом одни лексемы в целом сохраняют свои общеславянские значения (*upír*, *mora*, *vedma*), другие имеют отличные значения, которые характерны, помимо словацких, также для других говоров карпатского ареала (*bohyňa*, *bohynka*, *čarknižník*) или для всех западнославянских диалектов (*blúdičky*, *svetielka*). Последние вместе с мифонимами, неизвестными вост.- и ю.-слав. языкам (*rarášek*, *pikulík*, *permoník* и др.), формируют группу специфических **западнославянских** названий МП. Как будет показано ниже, большинство

общеславянских мифонимов образуют лексические или семантические изоглоссы, по-разному объединяющие диалектные группы и отдельные славянские языки и диалекты.

Значительное количество словацких мифонимов принадлежит к **карпатской** (или только славяно-карпатской) лексике, то есть является общим для словацкого, карпатоукраинского, южнопольского, моравского (а нередко и для румынского, молдавского и венгерского) языковых ареалов (например, *striga*, *bosorka*, *ďug*, *šarkaň*, *chmurnik* и др.), и часто имеет соответствия в южнославянских языках.

Интересную группу составляют **специфические словацкие** имена МП, не встречающиеся для обозначения персонажей с подобным набором признаков в других славянских традициях (*runa*, *bahorka*, *nelapší*).

Рассмотрим эти группы подробнее (ссылки на источники, ввиду экономии места, даются лишь в самых необходимых случаях; надеюсь на понимание неназванных авторов использованных работ).

1. Из проанализированных нами лексем, пожалуй, лишь одна имеет **общеславянские** соответствия как в плане выражения, так и в плане содержания — словац. ***čarovnica*** ‘колдунья’ (Радава, окр. Н. Замки). Исчерпывающий список лексем в др. славянских языках см. в [ЭССЯ 4: 25]. Отличие касается только форм м. р. в значении ‘колдун’, отсутствующих в словацком и серболужицком (здесь они обозначают ‘растение Circaea alpina’).

Корень ***div-*** представлен у всех славян (главным образом, в составных наименованиях и словосложениях). Обозначаемый им образ МП неконкретен, часто сближается с другими МП, характерными для каждой отдельной традиции, например, с *богинкой* у западных и с *вилой* у южных славян [см. СД 2: 92–93]. В словацком *diva žena* (*diva zona*) ‘дикая лесная женщина’ является синонимом как *богинки*, так и *вилы*, это ‘злое существо, живущее в лесу, около воды, в норах в земле, в скалах’; *divak* — также ‘ребенок богинки’ (Замагурье). Наличие целой семьи «диких» МП объединяет словацкую традицию с моравской: *divížena* ‘дикая лесная женщина’, *divižák* ‘муж дикой лесной женщины’, *divúch*, *divoženče* ‘ребенок дикой лесной женщины, подброшенный ею вместо человеческого’.

Совсем иной персонаж (как и отличный корень **dikъ*, родственный, однако, **divъ* — [ЭССЯ 5: 30, 36]), представлен у восточных славян: бел. *дзікія людзі* ‘одноглазые и большеухие, хвостатые мифические существа, поедающие людей’; рус. *дикарь*, *дикой*, *дикенький мужичок* ‘леший’ (сарат.); *дикий* ‘черт’ (костром.), *диконький* ‘нечистый дух, вызывающий паралич’ (вят.). Переходным образом

является укр. карпат. *діка баба*, имеющая некоторые зап.-слав. черты: ‘отличается красотой, обменивает детей и пьет их кровь, соблазняет молодых мужчин’ [СД 2: 93].

Лексемы с корнем **div-* / *dikъ* противопоставляют восточнославянский ареал западно- и южнославянскому.

Во всех славянских языках находим лексические и персонажные соответствия словацкой *море* / *маре*: ***mara***, ***mora***, *nora*, *mura*, *mor*, *zmor* ‘получеловек-полудемон, ночью в виде животного, предмета или бесформенной тяжести душит и давит, сосет молоко или кровь у спящих’; ‘персонифицированная причина болезней’, ‘материализованная любовная тоска’; ‘душа двоедушника’ (Замагурье); *mora*, *morka*, *saňimorka*, *zmora*, *múra*, *kaňimura*, *mur*, *mara*, *slepá mara* ‘ночная бабочка; кошмар’; *mura*, *nočňí mura* ‘бабочка’ (названия в слав. языках см.: [СД 3: 178–179; ЭССЯ 19: 211–214]).

В з.-слав. и ю.-слав. языках равнозначно представлены корни *mor-* и *mar-*, в в.-слав. — преимущественно *mar-*, причем практически нет производных. Лексема с формантом ***z***: ***zmor***(***a***) является западнославянской изоглоссой (фиксируется лишь в словацком, чешском, польском). К уже отмеченным исследователями изоглоссам, связывающим серболужицкий и болгарский языки, добавим еще одну: н.-луж. *morawa*, *murawa* ‘мора, нечто наваливающееся и мучающее во сне’, ‘персонификация ночного удушья’ — болг. *марава*, *мурава* ‘кошмар’, ‘олицетворение болезни’, ‘невидимый ночной дух, наваливающийся и мучающий спящих’ (ср. также [ЭССЯ 19: 214]). Корень **mar-* также широко представлен в германских языках, в румынском и литовском.

В разных славянских традициях этот персонаж конкретизирует и развивает различные аспекты образа. В целом у словаков, поляков, мораван основная функция мары — давить во сне и высасывать кровь и молоко, воплощающие жизненную силу. Аналогичны представления о маре у южных славян. У белорусов, карпатоукраинцев мара приобретает черты ходячего покойника. В с.-з.-рус. и ю.-рус. диалектах мара трансформируется в страшное существо, обитающее в доме, в *кикимору*.

Отметим также для данной лексемы значение ‘бабочка’ (в мифологии бабочка соотносится с душой), фиксируемое в словацком, чешском, польском и южнославянских языках и отсутствующее, видимо, у восточных славян, где мара перешла в разряд домовых духов.

Словацкая *mara* / *mora* имеет разнообразные этнолингвистические параллели, из которых укажем лишь на одну: мотив внутренних органов (*мора* оставляет внутренности, кишки перед дверью, когда входит в дом через замочную скважину) сближает словацкую

традицию с белорусской (*мара* без кожи, поэтому у нее видны все внутренние органы — [БелМ: 303]). Для данного МП можно говорить о семантической противопоставленности восточнославянского ареала западно- и южнославянскому.

Функционально сходный с *морой* персонаж — ***nočnica*** ‘МП, высасывающий у новорожденного ребенка из груди молоко’; ‘мора, ночное удушье’; ‘ночная бабочка’; *nočnica*, *polnočnica* ‘персонаж, который мешает ребенку спать’ (Кисуце, Гемер); *nočnica* ‘существо, которое наваливается и сосет человека по ночам’ (Верхний Спиш); *nocľica*, *nocľička* ‘ночная бабочка’ (окр. Кошице, в.-словац.).

В различных значениях лексема (в том числе с формантом *пол-* / *полу-*) известна многим славянским языкам, напр.: карп.-укр. *nočlica* ‘ночная бабочка’, гуцул. *нічниці* ‘МП, вызывающий бессонницу; ночные видения’; ‘злобный дух, который сосет детей и молочных женщин’; бел. *начніца*, *начніцы* ‘персонификация детской болезни’, ‘прóклятая душа бездетной женщины’; рус. *ночница*, *ночная* ‘бессонница; детская болезнь и ее персонификация’; *полуночница*, *полуночь*, *полуночник* ‘духи полуночи; болезнь и ее персонификация’; серб. *ноћница* ‘ночной демон, проникающий в дом, где горит свет’, бьет детей (с.-з. Босния), сосет грудь у детей (Левач — Шумадия) и взрослых; с.-х. *noćnica* ‘ночная бабочка’; словен. *nočnine*, *nočnina* или *mračnina* ‘МП, отнимающий у ребенка сон’ (о ночнице см. подробнее [СД 3: 436–437]).

Лексема *nočnica* объединяет Словакию с восточнославянским, с одной стороны, и словенским и сербохорватским, с другой, диалектными ареалами и противопоставляет западнославянскому ареалу (ср. отличные лексически и семантически: морав. *nocuľa* ‘страшилище, которым пугают детей, гуляющих ночью’; чеш. *noční poluda* ‘злой дух’, ‘полуночный полевой дух’; н.-луж. *nocnice*, pl. ‘ночное блуждание больных горячкой’; пол. *nocnica* ‘блуждающие ночные огоньки’).

Конкретная параллель в способе защиты от *ночницы* составляет словацко-белорусскую изодоксу: «Для защиты от ночниц бабки делали из тряпочек узелки, которые днем клали под одеялко, а на ночь — за окно избы — тогда ночницы сосут узелки, а не ребенка» (словац., [Dobšinský 1880: 115]). Для избавления детей от ночниц делали из грязных тряпок несколько кукол и выставляли их в окнах со словами: «Глядзице, лялечкі, каб мой маленькі спаў» [БелМ: 340].

Термины с корнем ***vešt-*** также показывают в разных славянских языках диалектные культурные различия.

В словацком *veštica* ‘знахарка, ведьма’ (Орава); ‘гадалка, колдунья, вещунья’ (Липтов, Турьец); также мужской персонаж: *veštec*

‘знахарь, предсказатель, целитель’; *věštík* (*-šč-*) ‘знахарь’, в.-словац. *veščec*, *veščuch*. *Veštec* и *veštica* могли как снять, так и навести порчу (*odrobiť* и *porobiť*) (Орава). Дети, которые родятся «в чепце» или с зубами, — *veštci* — могут находить клады (Зволен, Теков).

Общеславянское «этимологическое» значение, известное всем славянским диалектам и отраженное в старославянском — ‘ведунья, пророчица, знахарка’, — видимо, является первоначальным. Отрицательные коннотации персонажа преобладают на периферии славянского ареала: в сев. Польше и особенно у кашубов — превращение вештицы в ‘вампира’: пол. *wieszczy* — устар. ‘ведьмак’, *wieszczek*, *wieszczka* ‘упырь’, ‘упырица’, кашуб. *v́ešba* ‘вещий ребенок, родившийся в рубашке, или с зубами, из которого вырастает вампир’ и др. У южных славян это ‘ведьма’, образ которой сближается с мо́рой, вампиром: *вештица* ‘ведьма, превращающаяся в летучую мышь или черную птицу и поедающая ночью сердца детей и молодых людей, после чего они умирают’; словен. *vešča*, *veša* ‘ведьма’; болг. *вещица*, *вещерица* ‘ведьма, душа которой во время сна улетает пить кровь детей и домашних животных’. У мораван произошло смещение значения: *věščica*, *věštka* ‘дикая женка’. У русского населения Урала и южной Сибири *вещица* — ‘ведьма, оборотень, поедающая младенцев, которых забирает из чрева беременной женщины’ (сиб., перм.).

Считается, что наиболее архаичные и «размытые», неявные черты свойственны центру ареала [Трубачев 1985: 8], в то время как с распространением явления возникают инновационные значения и изменение исходной семантики. Можно предположить, что такой центр (скорее, пояс) находился в пределах лужицко-словацко-карпатоукраинской территории, захватывающей западные белорусские области (здесь отмечены только положительные коннотации — ‘знахарка’, ‘пророчица, ворожея’). В пользу такого мнения говорит и отсутствие у терминов этого ареала значения ‘ночная бабочка’, которое бы указывало на ведьмарскую природу персонажа. В то же время на славянском Юге значение ‘бабочка’ и соответствующие поверья представлены широко, ср.: с.-х. диал. *vjèštica*, *višćica*, словен. *véšča*, *vêščka*, *véščec*, болг. *вещица* ‘ночная бабочка’. Представлены «энтомологические» значения рассматриваемого корня также на русской территории: забайк. *вединь* ‘слепень’ [Словарь семейских: 70], дон. *ведьма* ‘насекомое стрекоза’, ‘разновидность саранчи’ [Сердюкова 2005: 40].

Словац. ***vlkolak***, *vlkodlak*, *vilkolak* ‘человек, способный превращаться в волка’; ‘получеловек-полуволк, вредящий людям и домашним животным’; *vrkolak* (Гемер, Малогонт); *vlko*(*d*)*lák* ‘душа ведьмы или ведьмака’, ‘душа умершего, которого вынесли головой вперед’

соотносится с представлениями о человеке-оборотне в других славянских традициях (а также в литовской, немецкой, румынской и др.). Значение ‘человеко-волк, оборотень’ фиксируется во всех славянских языках, но в западно- и восточнославянских языках, а также в словенском оно преобладающее, а в сербском и болгарском — маргинальное, в то время как основным здесь стало значение ‘вампир’ (подробнее см. [СД 1: 418–420]).

Некоторые сюжеты словацких быличек о волколаках соотносимы с сюжетами, представленными в украинских, белорусских и польских традициях, напр., о застрявшей в зубах у мужа нитке от юбки жены. Прослеживаются также мотивы поверий, связывающие волколака с фазами луны, с солнцем, а также с душой колдуна и с вампиром.

По словацким данным, волколаком мог стать человек, рожденный от связи женщины с вампиром (*upírom*); ребенок волколака и ведьмы становился вампиром; чаще всего волколак превращается в волка во время летнего и зимнего солнцеворота [EĽKS-2: 309]. Душа ведьмы (ведьмака) «возвращается в дом… ходит душить и давить молодых женщин… Превращаясь в волка, она душит овец, но не ест их» [Dobšinský 1880: 116–117]. Специфическая зависимость превращения человека в волка от полнолуния представляется отголоском древней связи «волк — Луна», хорошо представленной, например, в карпатоукраинской традиции. Согласно гуцульской легенде, некоторые люди превращались в волка в момент, когда нарождается новый месяц; эвфемистическое название *вовкуна — місічник*, основное значение которого — ‘лунатик’, ‘человек, меняющий свой пол под воздействием месяца’ [Хобзей 2002: 72–73]. Ср. подобные рассказы на Ораве: *vlkoláci* — это такие люди, как лунатики (*namesačníci*), которые в полнолуние превращались в волков (Бобров, окр. Наместово). Мотив поедания месяца, отмеченный в гуцульской традиции [Хобзей 2002: 77], находит соответствие в румынских (*вырколак* — см. [Свешникова 1979: 212–215]) и южнославянских (болг. и серб.) поверьях, объясняющих лунное и солнечное затмения тем, что *върколак* съел или проглотил месяц или солнце.

Весь комплекс «астрономических» мотивов, связанных с волколаком, следует отнести к карпато-южнославянским (у южных славян эти мотивы более частотны и разработаны более подробно, а у румын отличаются значительными смысловыми девиациями — по сравнению с южнославянскими верованиями).

К западнославянско-русским изоглоссам можно отнести мифоним ***poludnica*** ‘антропоморфный МП, появляющийся в полдень, следящий за соблюдением запрета работать в полдень’, известный,

согласно Мошиньскому, почти всем западным славянам, кроме кашубов и мазуров, а также ряду русских традиций. Маргинально термин отмечен у словенцев: «*polednica* — женщина, которая приходила в полдень за ребенком» [Kropej 2008: 327], что также следует отметить как западнославянско-словенскую изоглоссу. Функция словенской полудницы красть и подменивать детей хорошо представлена в среднесловацкой локальной традиции (Верхнее Погронье). (Подробнее о полуднице см. [СД 4: 154–155].)

Указанные изоглоссы и изопрагмы согласуются с выводами Л. В. Куркиной, сделанными при изучении северо-западной группы южнославянских диалектов: «В общей части словаря северо-западного ареала заметное место занимают лексемы с ограниченными сепаратными связями с диалектами чешско-словацкой области, частично изоглоссы этого типа захватывают отдельные лехитские и серболужицкие диалекты» [Куркина 1985: 69].

2. К группе **западнославянских** лексем отнесены мифонимы, не известные восточно- и южнославянским языкам; в нее вошли как славянские, так и заимствованные, в основном из немецкого языка, корни.

Изучением терминов, восходящих к **rarogъ* (напр., словац. ***rároh*** ‘князь злых духов’, др.-чеш. *raroch* ‘огромная птица с огненными искрами’; чеш. диал. *rarach* ‘летающий огненный демон’, морав. *rarach* ‘огненный летающий столб’, ‘чертик’, пол. *raróg* ‘птица’, ‘чудовище, чудо, чертенок’ и укр. *papiг* ‘то же’), занимались В. Махек и О. Н. Трубачев [Трубачев 1967: 64–71, там ссылки на лит.], доказавшие его иранское происхождение.

С лексемой *rarog* / *rarach* связывают и словац. ***rarášek***, ***rarášok*** ‘злобный и хитрый, но дающий счастье демон’; *rarášek*, *rarách* ‘злой дух, черт, партнер ведьмы’, он появляется в виде огненной цепи, огненного змея или шара и влетает через трубу в дом ведьмы для сексуального общения, при этом дает ей сверхъестественную силу и приносит деньги. Также ‘персонифицированная злая сущность ведьмы’, иногда ‘сама ведьма, летающая над селом’. В ряде рассказов смешивается с персонажем *змок* (Белые Карпаты, зап.-словац. — [Bužeková 2009: 37–38, 40]).

В чеш. и морав. значения лексемы *rarášek* связаны с семами ‘вихрь, ветер’, ‘птица’, ‘домашний дух’ (напр., *rarášek*, *rarašík* ‘домашний божок’; *randášek* ‘чертик’; др.-чеш. ‘дух, вызывающий вихрь’, ‘дьявол’, *rarášek*, *rarášík*, *rarach* ‘др.-слав. бог, создающий ветер’, ‘божок счастья и несчастья’, ‘злой дух’, *jerášek* ‘povětroň’ (Всацко, морав.) и др.). Ср. также единичные словенские лексемы: *rarašek* (зап. Паннония — [Machek 2010: 508]); *rarášek* ‘дух ветра, вихря (= *veter*,

veternik), слуга бабы Пехтры, у которого в бочке заперты ветры' [Kropej 2008: 327].

Маргинальность представлений о *рарашке* у словенцев и смешение с другими контекстами позволяют говорить о его заимствовании от западных славян, что подтверждает мнение О. Н. Трубачева: «Западнославянское *rarogъ* было, бесспорно, одним из таких элементов, никогда не известным прочим славянам, и мы трактуем его как праслав. диал. **rarogъ*» [Трубачев 1967: 66].

Словац. ***škriatok*** 'дух-обогатитель, выведенный из яйца, выношенного 9 дней под мышкой'. Представляется днем в виде мокрого цыпленка, а ночью — в виде огненной цепи, влетающей в трубу дома. Приносит богатство, за что хозяин должен давать ему еды от каждого блюда или подписать кровью договор, в котором пообещает отдать ему свою душу или душу своего будущего ребенка. Называют его также *zmok* (Бошацка долина, зап.-словац.); *škrat* 'чертик', *škrata* 'домашний божок; страшилище', *škratek* 'чертик; домашний божок'.

Чешские поверья о духе-обогатителе *skřítek* практически идентичны словацким. Аналогичные в основе своей польские поверья демонстрируют большее развитие и обогащение образа, сохраняя основные идентифицирующие признаки: это дух-обогатитель; который приносит материальные блага в обмен на душу; выведен из яйца; днем — невзрачная курица / цыпленок (или др. птица), ночью — огненный летающий змей; от него трудно или невозможно избавиться. Однако более определенно здесь эксплицировано происхождение персонажа из душ заложных покойников; вместо ипостаси огненного змея, прилетающего по ночам, появляется «*płonącą drapaka* — птица с большим огненным хвостом» [Pełka 1987: 142] (ср. жар-птицу из русских сказок). Пол. *skrzat* 'домашний дух-охранитель', *ziemscy skryatkowie* (форма XVI в.), *skrzaty*, *skrzaki* (великопол.), *skrzaciki* (силез.), *skrzek*, *skrzak* (хелм.) — 'духи, приносящие людям зерно и деньги'. В Вармии и Мазурах очень распространена версия о нахождении *скшатка* после дождя в виде черной мокрой курицы; если его высушить и накормить, он начинает носить хозяевам богатство — сюжет, идентичный словацкому.

Словенский персонаж *škratec*, *škrat*, *škret*, *škratelj*, *škrabec* и под. [Kropej 2008: 331], несмотря на похожее имя, значительно отличается от западнославянских МП, имея, вместе с тем, отдельные частные совпадения с ним (напр., ипостась огненной цепи).

Внелингвистический материал дает нам основания видеть в названиях типа *škriatok* и т. п. производные от глагола: словац. *kryť* 'покрывать, укрывать, скрывать, хранить', чеш. *krýti* 'скрывать, прятать,

хранить, покрывать’ [ЭССЯ 13: 71]. Показательно с точки зрения реализации этих значений поверье, записанное Ф. Бартошем, что *skřítek* — это чертик, который скрывается от грома (молнии) и прячется у человека под мышкой: *skřítek*, *ten čertík*, *před hromem sa krýje a krýje*, *a fuk člověkovi pod pažu*, *a hrom ho zabije* [Зайцева 1975: 107].

Для западнославянских языков характерны и общие заимствования мифонимов из немецкого: *vaserman*, *hastrman*, *permoník*, *fras*, *pikulík*.

3. К **карпатской** лексике в словацкой мифологической системе принадлежат: *striga*, *bosorka*, *šarkan*, *ďug*, *dvojdušnica*, *dva duchy* (*dva srdcia*) *mať*, *čiernokňažník*, *chmarnik* и др. Специфические карпатские черты характеризуют также и верования, связанные с этими персонажами.

Лексема ***striga*** (< лат. *strīx*, *-gis* < греч. στρίγγλα, др.-гр. στρί(γ)ξ [Клепикова 1994: 94–95]) распространена в едином ареале, включающем Словакию, восточную Моравию, южную Польшу, единично встречается в северной Венгрии (диал. *sztriga* ‘boszorkány’ — [Vážný 1955: 89]), практически повсеместно — в Румынии и Молдавии, далее в Словении, Хорватии, Черногории [см. Плотникова 2004: 220–221, 646–650]. В карпатоукраинском слово фиксируется спорадически и с отдаленной от основного значения семантикой. Лексема образует, таким образом, карпато-южнославянскую изоглоссу. (Подробнее см. [Валенцова 2012].)

Корень ***bosor-*** (< венг. *boszorkány*, первоначально ‘дух умершего, привидение’, потом ‘ведьма’ и под., далее из тюрк. **basyrkan* ‘мора’, от *bas-* ‘давить’ — [Machek 2010: 61]) широко распространен во всех диалектах, но в среднесловацких областях ощущается как литературное: *bosorka* ‘ведьма’, ‘злая женщина’, *bosorka*, *bosurka* ‘колдунья’ (зап.-словац.); ‘некоторые виды ночной бабочки’ (новоград., ю.-з.-словац., ю.-земпл.); редк. ‘большая жаба’ (окр. Поважска Быстрица); ‘вихрь, водоворот’ (зап.-словац.). Также широко распространены лексемы муж. рода: *bosorák*, *bosorkáň*, *bosor*, *bosor*(*k*)*oš*, *bosurkoš* ‘колдун’, ‘ведьмак’, *bosorák*, *bosorkáň* ‘ночной мотыль или бабочка темного цвета’ (ю.-з.-словац.), *bosorča*, *bosurče* ‘ребенок босорки’ (вост.-словац.); *bosorča* ‘ребенок, которого по отлучении от материнской груди вновь стали кормить грудью’ (Детва, ср.-словац.). (Подробнее о босорке см. [СД 1: 241–242].)

В чеш. признается заимствованием из словацкого: *bosorka*, *bosorkyně*, *bosořice* — нар. ‘ведьма’. В морав. *bosorka*, *bosora* ‘дикая женка, злая колдунья’, *bosorák* ‘злой колдун’, ‘человек, который засиживается долго ночью’; *bosorča* ‘ребенок босорки, подброшенный

ею в колыбель’. Пол. *buosorka*, *baśorka*, *basorka*, *bąsorkyńa*; *bisurkania* ‘ведьма’ (саноц.-кросн.).

Большое количество вариантов представлено в украинском и особенно в карпатоукраинском: *босорка*, *босорканя* ‘ведьма’, ‘жаба’; *босирка*, *бісурка*(*ня*), *борсуканя*, *босурганя*, *пошурканя* ‘знахарка, ведьма’, *босорканя* ‘ночной мотылек’, ‘жаба’; *босоркун* ‘упырь’, *босоркун* ‘колдун, оборотень; ведьмак’; *босорак*, *босóрош*, карп.-укр. *bosorkán’a* ‘ведьма, колдунья’, ‘стрекоза (детск.)’, *bọsọrkún* ‘колдун, ведьмак’ и т. д.

Единично словен. *bosaruna* ‘ведьма’ [Kropej 2008: 315].

Ареал терминов с корнем *bosor-*, включая венг. *boszorka*, румын. *bosorcáic*, дает основание говорить о них как о типичных карпатских мифонимах.

Двоедушник в целом — карпатский персонаж, известный в западноукраинской, словацкой и польской традициях, хотя представления о двоедушничестве известны также в полесской, белорусской и южнославянских традициях (подробнее см. [СД 2: 29–31]).

По словацким верованиям, *двоедушники* (*стрига*, *босорка*, *мора*, *вампир*, *волколак*) — демонические воплощения людей, у которых от рождения две души. Такой полудемон давит по ночам спящих, пьет их кровь, портит скот, высасывает у коров молоко и кровь, вызывает падёж скота и мор в селе (вост.-словац., ср.-словац.). В Замагурье двоедушниками признаются пастухи, ведьмы, знахари. У словаков, как и у поляков, представления о двоедушниках терминологически не оформились, чаще всего используется словосочетание «человек с двумя сердцами, с двумя душами»: *dve srdcia* (окр. Собранце, Снина, Михаловце; окр. Б. Быстрица, Верхнее Погронье), *dvoje srcov má* (Орава), *dva duchy mať* (окр. Собранце, окр. Стара Любовня, вост.-словац.); *má dvoch duchov* (окр. Чадца, зап.-словац.). Единичны фиксации терминов *dvojdušník* и *dvojdušnica* (окр. Дольный Кубин на Ораве) ‘демоническое существо, которое давит по ночам’ [SSN 1: 418], *dvojdušňicä* ‘двоедушница, то есть ведьма, или мора’ (Ревишне, Орава — [Habovštiak 2006: 274–275]). Поверья о двоедушниках широко распространены в Словакии, в том числе вне связи с термином.

В области поверий общекарпатским с балканскими параллелями можно считать образ «облакопрогонника», воздушного демона, управляющего тучами, дождем, градом, бурей. Общими для карпатского региона лексемами, обозначающими этот МП, являются: *чернокнижник*, *планетник*, *хмарник* (*хмурник*).

Словац. ***čiernokňažník*** (*čarnokňažník*, *černoknižník*), *černokrižník* (с черным крестом через нос — обл. Кисуц и Тренчина), называемый

также *chmurnik*, *chmarnik*, *planetnik*, *veterník* (Замагурье, Спиш), — ‘демонологический персонаж, который управляет природными стихиями’; ‘ведьмак-предсказатель’. Известен преимущественно в горных районах: на Ораве, Верхнем Погронье, Горном Спише и в области Белых Карпат, знаком он также жителям ср.-словац. областей Гемер и Малогонт. В чешском термин имеет другую семантику: *černokněžník* m., *černokněžnice* f. — ‘мифический персонаж, совершающий злую магию’, ‘чародей’, ‘колдун’; перен. ‘священник’.

Близкое к словацкому значение имеет термин в гуцульских говорах: *чорнокнижник* ‘человек, который отводит грозовые тучи, град’. В говорах галицких лемков *чорнокнижник* град спускает, тучи разгоняет.

Значение ‘облакопрогонник’ находим далее в польском: *czernokniżniki* ‘люди, которые с земли отвращали тучи от своего села специальными заклятьями’; *płanetniki* — это *чернокнижники*, которые происходят из душ висельников. А значение ‘злой колдун, читающий по черным книгам’ продолжается в Полесье: «*чорнокнижник*, *чародейнык*, *волшэбник* — то зло делають» (брест.); *чэрнокнижники* ‘колдуны’ (гомел.), *чернокнижник* лечит или насылает болезнь (брест.).

Словацким лексемам ***chmurnik***, ***chmarnik*** ‘чернокнижник’ (Замагурье, Спиш), *chmarňik*, *hmurňik* ‘высокий мужчина в длинном, изорванном молниями плаще, летающий на трехголовом драконе (*smok*), живущем в тучах’ (Замагурье) соответствуют укр. карпат. *хмарник* ‘облакопрогонник, который при приближении градовой тучи способен бороться со злыми духами, не допуская град на сельские угодья’; русин. *гонихмарник* ‘злой дух’, пол. *chmarniki*, *chmurniki* ‘демоны, разносящие тучи с градом по свету’, *chmurniki* ‘духи, которые живут в тучах — духи некрещеных детей, заложных покойников’. В целом термин также характеризует славяно-карпатский ареал.

Еще одно название чернокнижника — ***planetnik*** (Замагурье, Спиш); *planetňik* ‘высокий мужчина в длинном рваном плаще, летающий на трехголовом *smoke*’ (Замагурье). Анализ лексемы с корнем *planet-* в белорусско-польско-украинском ареале показывает, что мотивирующим для названия персонажа было значение ‘туча’, ср.: бел. *пламета*$_3$ ‘туча, облачность’, укр.-зап.-волын. *планіта* ‘большая грозовая туча’, пол. *plametnik* ‘черная туча, передвигающаяся по небу’, пол. диал. *planeta* ‘перелетная туча’, др.-пол. *płaneta* ‘туча, облако’. Эта лексическая связь отражается в верованиях: *Планетником* становится человек, при рождении которого над домом стояла большая туча (*taka chmara*, *taka płaneta*) (ю.-в.-пол.).

Семантический параллелизм наблюдается между словацким представлением о том, что над каждым краем в тучах живет один

«планетник» (Замагурье), польским — о том, что в каждом селе некогда было несколько «планетников», защищавших село от непогоды, и южнославянским поверьем о том, что в каждом селе есть свой защитник от града, *змай*.

Словац. ***šarkan*** (< венг. *sárkány*) — ‘мифическое существо, приносящее бурю с громом’, ‘крылатый дракон’; ‘домовой’ (Б. Быстрица); ‘летающий змей, олицетворение бури’, *šiarkan preletel* ‘о буре с громом’; *šarkaň* ‘домовой’ (в.-словац.); нар.-этимол. *žiarkaň* ‘сказочный дракон’ и ‘домовой’.

О полегшей пшенице говорили, что ее змей хвостом прибил (*šärkan chvostom ušluhau*) (Орава). В Липтове верили, что от *hada-šarkana* все вымерзает. У *шаркана* широкий сильный хвост, которым он ломает верхушки деревьев (Верхнее Погронье). В буре, сопровождаемой вихрем, летит *шаркан*, который голос колоколов считает лаем псов и от страха улетает в другую сторону (Гемер, Малогонт). Ср. венг.: *шаркань* ‘буря’, ‘туча’, ‘трехголовый дракон, который бьет хвостом по земле и уничтожает посевы’; *пролетел шаркань* ‘о буре’.

У мораван лексема отсутствует, но когда бушует вихрь, говорят, что это *чернокнижник* выпустил откуда-то дракона (р-н Рожнова-под-Радгоштем, валаш.). Чеш. *šarkan* ‘мифический дракон’ определяется как заимствование из словацкого.

Мифоним и связанные с ним поверья известны и в карпат.-укр.: *шаркань* ‘12-головая змея, извергающая огонь из пасти’, закарпат. *шаркань* ‘летающий змей, поедающий солнце, которое от этого уменьшается’, лемк. *шаркан* ‘сильный ветер, буря’. Некоторые из украинских поверий аналогичны словацким, другие находят соответствия в болгарских (банатских) верованиях.

К семантическим карпатизмам относятся также лексемы, образованные от о.-слав. корня ***bog-*** / ***bož-***: словац. *boh* ‘целитель, ведун’ (Кисуце); *zemský boh* ‘знахарь, ведун, целитель’ (Мыява); *bohyňa*[1] (*bohiňa*, *bogiňa*) ‘знахарка, целительница, гадалка; добрая ведьма’ (зап.- и вост.-словац.); *božica* ‘колдунья’; *bohiňa*[2] ‘богинка, или дикая женка, которая похищает и обменивает на своих уродцев человеческих детей’ (Липтов, ср.-словац); *bohiňa*[3] ‘бабочка’ (зап.-словац.); *bohynka*[1] (*bohinka*, *boginka*) ‘лесная женка, опасная для рожениц, крадущая человеческих детей’ (Орава, Спиш, Замагурье); *bohinka* (*boginka*) ‘ведьма, двоедушница, отбирающая молоко у коров, давящая ночью спящих людей’ (Орава, ср.-словац.); *bohiňár* ‘муж богинки’ (Орава, Спиш); *bohiň* ‘ребенок богинки’ (Орава), *bohynča*, *bohíňča* ‘уродливый ребенок богинки’ (Орава), ‘ребенок, которого украли и воспитали богинки’ (Верхнее Погронье); *boginče* ‘подменыш, ребенок богинки’ (Замагурье); *buožik*, *buožiček domovy* ‘домашний дух’.

Наиболее близкими к словацкой оказываются моравская, украинско-карпатская и южнопольская традиции, где фиксируются лексемы, совпадающие по внешней и/или внутренней форме: морав. *boh*, *bůh* ‘колдун-заклинатель’, *božec*, *božek*, *bůžek* ‘добрый колдун’, *bohoň* ‘тот, кто заговаривает болезни’, *bohyně* ‘знахарка’, *bohyňář* ‘знахарь’; *bohynník* ‘колдун, предсказатель’, *božice* ‘гадалка’, морав. валаш. *božec* ‘прорицатель, вещун’; ‘целитель’. В карпатоукраинском ареале: гуцул., бойк. *бог земiний* (*земл’iний*, *земний*), *земск’i боги*, pl. ‘человек, владеющий особым даром’, ‘колдун, знахарь, предсказатель’ и под. Спорадически в гуцул. и бойк. говорах — *боги* ‘гадалки, знахари’, а в гуцул. и покут. — *божок*; укр. *біг*, *бог* ‘лесной бог’, ‘знахарь’, *богиня* ‘русалка’, укр. *богині*, *bohynia* ‘богинка’ [Хобзей 2002: 105]. Отчасти в пол.: *boginki* (краков., пинчов.), *bogienki*, *bogunki*, *boginie* (хенчин.), *ubogini*, *ubogenka*, горов. (великопол.) *ubyhyna* ‘ведьма’. (О богинке см.: [СД-1: 215–217].)

Обзор мифонимов позволяет считать термины *bohyňa* / *bohynka* и производные в значениях ‘богинка, лесная женка’ и ‘знахарка, колдунья’ (вместе с соответствующими МП муж. и ср. рода) славяно-карпатскими. Особо следует отметить совпадение частного значения ‘гадалка’ в западнославянских и словенском языках.

4. **Собственно словацкие** мифонимы составляют немногочисленную группу лексем, неизвестных другим славянским традициям. При этом специфическим может быть имя и сам МП (*runa*, *grgalica*), или только имя, в то время как персонаж узнаваем (*slnečnica*, *nelapší*) или типологически сходен с инославянскими МП (словац. *Štvrtnica*):

Futkač ‘МП, который давит крепко спящего человека’ (Рьечница, окр. Чадца — [AT ÚEt, inv. č. 578B]).

Molek ‘водяной’ [ČL I 1892: 52] (возможно, < нем. Mole f. ‘яйцо без зародыша’, ‘уродец, недоносок’).

Nelapší ‘двоедушник, вампир’ (Петровце, окр. Собранце, вост.-словац.). Сосет кровь у скота; вызывает мор скота (В. Рыбница, окр. Собранце). Чтобы его обезвредить, знахари «заклинали» его на могиле; во время борьбы появлялся пламень, синий (побеждает знахарь) или красный (берет верх вампир) — тогда в могилу начинали бить кольями, пока пламень не разольется черной смолой, что означало смерть вампира [AT ÚEt, inv. č. 50].

Pondel(*ní*)*ča* — ‘«Понедельничка», МП, наказывающий за нарушение запрета на домашние женские работы в понедельник’. Известны былички о ее появлении перед прядущими женщинами, после которого все пряхи заболели (окр. Брезно, Верхнее Погронье). Э. Горватова предполагала, что первоначально персонаж был связан

с запретом печь хлеб в понедельник утром. Ср. укр. обычай замужних женщин не работать по понедельникам (*понеділкуванне*).

Štvrt(*n*)*ica* ‘«Четвергиня», МП, следящий за выполнением запрета прясть в четверг’. Появляясь перед пряхой, приговаривала: *Ja som štvrtok-nieštvrtok*, *ja nepradiem vo štvrtok* [Horváthová 1986: 47; EĽKS-2: 62, 1: 371]. Также *štvrtočná víla* (Кисуце). Ср. в Полесье персонификацию пятницы (день, когда запрещалось прясть) в виде *св. Пятницы* и среды (когда не сновали) в образе *св. Среды*.

Slnečnica ‘существо, которое в полдень ходит по полям, и если найдет кого-нибудь спящим, уколет в ухо или горло, отчего они воспалятся’ (Гемер, Малогонт — [Gemer-Malohont: 373]); ‘олицетворение летнего солнца’, ср. *slnečnica ho opálila* [солнечница его обожгла] [Dobšinský 1880: 116]. Персонаж может быть отождествлен с *полудницей*.

Samorac ‘одно из названий *ночницы*’ (Нижна Слана); давит по ночам, иногда его видели в виде большой мухи (Гемер, Малогонт — [Gemer-Malohont: 371]).

Umornica ‘душа умерших колдунов, которая возвращалась домой и давила, мучила своих близких, пока не *уморит* насмерть’ (Викартовце, окр. Попрад, Спиш — [Michálek 1989: 283]).

Bahorka ‘женский МП, сходный с *полудницей* и *руной*: старая женщина с длинными растрепанными волосами’ (Верхнее Погронье — [Horehronie: 336]). Образ нечеткий, термин локально ограничен. Вероятно, имя связано с корнями **baxarь*, *baxora*, **bajati* (словац. *báchorka* ‘побасенка, выдумка’). Ср. укр. *бáхорити* ‘ворожить, гадать’, рус. диал. *бахóра* ‘тот, кто хвастается, бахвалится; знахарь, знахарка’, с.-х. *бȁхорица* ‘колдунья, знахарка’, словен. *bahoríti* ‘колдовать’ [ЭССЯ 1: 135–136]. Учитывая наличие ряда изоглосс между словацким и словенским языками, можно предположить для *bahorka* словацкое словообразование на основе словенского глагола *bahoriti*.

Grgalica ‘лесная женка’. Ее представляли в виде огромной женщины с черными ногами, большими руками, с растрепанными волосами и огромными грудями, перекинутыми через плечи. Она пихала их пойманному человеку в рот, пока не задушит. Ее присутствие означалось протяжным гиканьем (окр. Зволен, ср.-словац.). Жила в горах, и люди слышали только ее гиканье (окр. Б. Быстрицы, ср.-словац.) [EĽKS-1: 155]. *Grgolica* ‘злая вила, завлекающая людей в болота’ [Kálal].

Слово может быть соотнесено по звуковой характеристике МП с **gъrgati*: словен. *gŕgati* ‘клокотать’, ‘ворковать’; бел. диал. *гяргаць* ‘кричать, гоготать’, рус. диал. *гóргать* ‘стучать’ (волог.), *гаркáть*

‘бить’ (арх.), *гу́ргать* ‘стучать, греметь; урчать’ (волог.), *гыргать* ‘стучать’ (волог.), ‘напевать, разговаривать с самим собой’ (перм.) [ЭССЯ 7: 208]. Такая этимология возможна, учитывая наличие словацко-белорусско-севернорусских изоглосс, в том числе в мифологической лексике.

Runa, *zemná pani* (Спиш, Верхнее Погронье, Липтов, Гемер) ‘мощная женщина с длинными золотыми волосами и большими грудями, которая жила под землей с мужем и множеством детей’; либо ‘златовласая женщина в белой одежде и с золотым ключом, у которой было много детей’; в Липтове — ‘лесной демон, поросший шерстью’. *Руна* владела всеми подземными богатствами, но клад показывала только тому, кто ей обещал отдать своего ребенка. Иногда крала человеческих детей. Согласно быличкам, *руна* крала пищу у шахтеров и лесорубов [EĽKS-2: 131; Gemer-Malohont: 371–372]. Это тип «дикой женки» (*divej ženy*) с длинными грудями, закинутыми за спину, которая крала у мужчин еду, а у рожениц детей; жила под землей; иногда людям удавалось ее поймать (Горный Спиш — [Horváthová 1972: 500]).

Возможно объяснение имени на основе лексемы *rúna*: морав. ‘межа между виноградниками’, словац. *rúna*, мор.-словац. *odrunek* ‘одна сторона межа (руны)’ из нем. *Rune* (*Rinne*) [Machek 2010: 525]; *run*, *run*(*a*) (< нем.) ‘борозда, дорожка в виноградниках’ [Kálal]. Это семантически не противоречит значению образа *руны* как *хозяйки земных богатств*. Ср. аналогичное развитие: рус. ‘черт’ < *межа* < *черта* с семантической аналогией: фин. *piiru* ‘линия, черта, граница’ — *piru* ‘черт’» [ЭССЯ 4: 165–166].

С другой стороны, в образе *руны* особо подчеркивается многодетность, похищение ею детей, отсылающие к характерной для многих женских МП гипертрофированной сексуальной энергии, вожделению. В этом смысле можно сопоставить имя *runa* с морав. *rúňat sa*: *roby sa rúňajú* = бегают за мужчинами (Бродско) [Bartoš 1903–1906: 368]. *Rúňat sa* связано с др.-чеш. *říjě* и *řuje* ‘гон у оленей (осенью)’, первонач. *řuja* от *řváti* ‘реветь, кричать’; олений гон сопровождается ревом. От корня *řu-* образовано *řuja*, откуда далее *řuj-ьnъ*, вал. *řujný*, ляш. *řujny*, морав.-словац. *rúňať sa* [Machek 2010: 532].

В докладе рассмотрен лишь небольшой фрагмент словацкой демонологии в связи с анализом избранных мифонимов. Вместе с тем, он дает представление о системе МП и мифологических верованиях словаков в целом, характеризует тип данного культурного диалекта.

В этом диалекте отражено большинство древних мифологем и праславянских корней, обозначающих МП и их функции. Одни из

них известны всем или большинству славянских языков и диалектов (*čarovnica*, *smok*, *upír*, *mora*), другие противопоставляют западнославянский ареал восточно- и южнославянскому (*škriatok*, *lútky*, *mamuna*), третьи — западно- и восточнославянский ареал — южнославянскому (*kúzliť*, *perún*, *ježibaba*, *čert*) и т. д. Ареалы, очерчиваемые мифологическими изоглоссами и изодоксами, не всегда совпадают с современными языковыми границами, что дает возможность говорить о промежуточных стадиях славянского глоттогенеза. Ряд частных, но диагностических особенностей мифологической лексики связывает словацкую демонологическую систему с серболужицкой и белорусской (*mara*, *nočnica*, *veštica*), некоторые из изоглосс имеют продолжение в севернорусских и сибирских диалектах русского языка. Часть изоглосс (*zmiňa*, *poludnica*, *škrat*, *striga*, *vedomec*) и изопрагм (словац. *moria noha* — словен. *morino taco*; словац. *biely had* — словен. *bela kača*) связывает западно- и среднесловацкие диалекты со словенскими, а некоторые из них — далее — с хорватскими и сербскими диалектами.

Чаще всего для рассматриваемой лексики изоглоссы сопровождаются изодоксами, то есть при общем (сходном) имени МП в основном сходны и представления о нем (о проблеме сравнения МП в разных традициях см. [Виноградова, Толстая 1994]). Иногда изоглоссы не подкреплены изодоксами (ср., напр., словац. *černokňažník* и полес., рус. *чернокнижник*, обозначающие разные персонажи; словац. *planeta* ‘воплощение зла, плохой человек, черт’ — и укр.-зап.-волын. *планіта* ‘большая грозовая туча’). Наблюдаются и изодоксы, не связанные с соответствующей изоглоссой, что объясняется подвижностью и вариативносью сочетания мельчайших смысловых элементов, из которых создаются образы МП (напр., признаками вампира может наделяться ведьма или мора; поверья о духе-обогатителе могут реализовываться в персонажах с различными именами).

Наиболее яркие особенности словацкой демонологии связаны с ее принадлежностью к Карпатскому региону, в котором сформировались инновационные признаки и функции МП, часто при сохранении имени (*vlkolak*, *bog-*). С карпатской спецификой также связано появление в словацкой мифонимии иноязычных имен (*striga*, *bosorka*, *šarkan*). Эти неславянские по происхождению термины наложились на известные в традиции образы и драматизировали их, наделив, например, ведьму чертами вампира, людоедки, змéя — чертами демона бури и града. В то же время собственные термины (*veštica* / *vedma* / *vedomkyňa* и *had* / *smok*) получили сугубо положительные коннотации или были вытеснены на периферию.

К карпатским чертам относятся также верования, часто имеющие продолжение на Балканах, например, мотив поедания демоном месяца и солнца, способность МП менять свой рост и др. Последний мотив, не характерный для славянских воззрений, имеет соответствие в финно-угорской мифологии [см. Петрухин 2003], влияние которой на представления и систему МП народов Карпатского ареала, особенно словаков, представляется перспективным для изучения.

Словацкие диалекты имеют определенные связи с серболужицкими, белорусскими и полесскими говорами, что представляется важным для характеристики праславянского диалектного состояния до карпатской миграции славян. В дальнейшем следовало бы уделить особое внимание их изучению. Безусловной необходимостью является картографирование полученных результатов, которое пока невозможно из-за недостаточного количества данных.

Представленные в докладе изоглоссные связи выбранных словацких мифонимов дополняют и уточняют известные изоглоссы между славянскими диалектами. Вместе с тем, «мифологические» изоглоссы качественно отличаются от «языковых», поскольку в духе этнолингвистики рассматриваются в комплексе с изодоксами и характеризуют в целом культурный диалект. Мифологическая лексика, отражающая, помимо языковых, мировоззренческие, философские концепты, имеет большое значение для реконструкции языковой и культурной истории славян.

Литература

Аванесов 1977 — *Аванесов Р. И.* К проблематике Общеславянского лингвистического атласа // Zbornik radova — povodom 70-godišnjice života akademika Jovana Vukovića. Sarajevo, 1977. S. 29–36.

БелМ — Беларуская міфалогія. Энцыклапедычны слоўнік. Мінск, 2004.

Бернштейн 2000 — *Бернштейн С. Б.* Карпатский диалектологический атлас // С. Б. Бернштейн. Из проблематики диалектологии и лингвогеографии. М., 2000.

Валенцова 2012 — *Валенцова М. М.* Из карпато-балканских схождений в области мифологической лексики // Славянский мир в третьем тысячелетии. М., 2012. С. 345–362.

Вендина 2008 — *Вендина Т. И.* Карпато-южнославянские языковые контакты (по материалам ОЛА) // Карпато-балканский диалектный ландшафт. Язык и культура. М., 2008. С. 58–124.

Виноградова 2000 — *Виноградова Л. Н.* Народная демонология и мифоритуальная традиция славян. М., 2000.

Виноградова 2001 — *Виноградова Л. Н.* Славянская народная демонология: проблемы сравнительного изучения. Диссертация в виде научного доклада на соискание ученой степени доктора филологических наук. М., 2001.

Виноградова, Толстая 1994 — *Виноградова Л. Н.*, *Толстая С. М.* К проблеме идентификации и сравнения персонажей славянской мифологии // Славянский и балканский фольклор. Верования. Текст. Ритуал. М., 1994. С. 16–43.

Власова 1995 — *Власова М.* Новая абевега русских суеверий. Иллюстрированный словарь. СПб., 1995.

Георгиева 1993 — *Георгиева И.* Българска народна митология. Второ преработено и допълнено издание. София, 1993.

Дзендзелівський 1958, 1960 — *Дзендзелівський І. О.* Лінгвістичний атлас українських народних говорів Закарпатської области УРСР. Лексика. Т. 1, 2. Ужгород, 1958, 1960.

Зайцева 1975 — *Зайцева Н. И.* Мифологическая лексика в чешском и словацком языках. Дисс. … канд. филологических наук. Минск, 1975.

Ивић 1957–1958 — *Ивић П.* Значај лингвистичке географије за упоредно и историско проучавање јужнословенских језика и њихових односа према осталим словенским језицима // Јужнословенски филолог. Књ. 22. Београд, 1957–1958.

КДА — *Бернштейн С. Б.*, *Иллич-Свитыч В. М.*, *Клепикова Г. П.*, *Попова Т. В.*, *Усачева В. В.* Карпатский диалектологический атлас. М., 1967.

Клепикова 1994 — *Клепикова Г. П.* Мотив движения-полета в семантике карпато-балканского striga (štriga) // Балканские чтения 3. Лингвоэтнокультурная история Балкан и Восточной Европы. Тезисы и материалы симпозиума. М., 1994. С. 94–99.

Куркина 1985 — *Куркина Л. В.* Праславянские диалектные истоки южнославянской языковой группы // Вопросы языкознания. 1985. № 4. С. 61–71.

Куркина 1992 — *Куркина Л. В.* Диалектная структура праславянского языка по данным южнославянской лексики. Narečna struktura praslovanskega jezika v luči južnoslovanske leksike. Ljubljana, 1992.

Николаев 2008 — *Николаев С. Л.* Балкано-карпатские изоглоссы как реликт позднепраславянского лингвистического ландшафта // Карпато-балканский диалектный ландшафт. Язык и культура. М., 2008. С. 125–138.

ОЛА — Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. М., 1965–.

ОКДА — Общекарпатский диалектологический атлас. Вып. 1. Кишинев, 1989; Вып. 2. М., 1994; Вып. 3. Warszawa, 1991; Вып. 4. Львів, 1993; Вып. 5. Bratislava, 1997; Вып. 6. Budapest, 2001; Вып. 7. Београд, Нови Сад, 2003.

Петрухин 2003 — *Петрухин В. Я.* Мифы финно-угров. М., 2003.

Плотникова 2004 — *Плотникова А. А.* Этнолингвистическая география Южной Славии. М., 2004.

СД — Славянские древности. Этнолингвистический словарь / Под общей ред. Н. И. Толстого. Т. 1–5. М., 1995–2012.

Свешникова 1979 — *Свешникова Т. Н.* Волки-оборотни у румын // Balcanica. Лингвистические исследования. М., 1979. С. 208–221.

Сердюкова 2005 — *Сердюкова О. К.* Словарь говора казаков-некрасовцев. Ростов-н/Д., 2005.

Словарь семейских — Словарь говоров старообрядцев (семейских) Забайкалья / Под ред. Т. Б. Юмсуновой. Новосибирск, 1999. С. 70.

Толстой 1995 — *Толстой Н. И.* Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М., 1995.

Трубачев 1967 — *Трубачев О. Н.* Из славяно-иранских лексических отношений // Этимология 1965. Материалы и исследования по индоевропейским и другим языкам. М., 1967. С. 3–81.

Трубачев 1985 — *Трубачев О. Н.* Языкознание и этногенез славян. V // Вопросы языкознания. 1985. № 4. С. 3–17.

Хобзей 2002 — *Хобзей Н.* Гуцульська міфологія. Етнолінгвістичний словник. Львів, 2002.

Черепанова 1983 — *Черепанова О. А.* Мифологическая лексика Русского Севера. Л., 1983.

ЭССЯ — Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд / Под ред. О. Н. Трубачева и А. Ф. Журавлева. Вып. 1–38. М., 1974–2012.

AT ÚEt — Archív textov Ústavu etnológie SAV, Bratislava.

Baranowski 1981 — *Baranowski B.* W kręgu upiorów i wilkołaków. Lódź, 1981.

Bartoš 1903–1906 — *Bartoš F.* Dialektický slovník moravský. V Praze. Část I. 1903. Část II. 1906.

Bužeková 2009 — *Bužeková T.* Nepriateľ zvnútra. Bratislava, 2009.

Dobšinský 1880 — *Dobšinský P.* Prostonárodnie obyčaje, povery a hry slovenské. Turč. S. Martin, 1880.

EĽKS — Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska. T. 1, 2. [Bratislava], 1995.

Gemer–Malohont — Gemer–Malohont. Národopisná monográfia. Ján Michálek a kol. [Martin, 2011].

Habovštiak 1978 — *Habovštiak A.* K otázke genézy slovenských nárečí. Slavica Slovaca 13, 1. 1978. S. 43–56.

Habovštiak 2006 — *Habovštiak A.* Oravci o svojej minulosti. Reč a slovesnosť oravského ľudu. Martin, 2006. S. 264–278.

Horehronie — Horehronie. Kultúra a spôsob života ľudu. Bratislava, 1969.

Horváthová 1972 — *Horváthová E.* Zo zvykoslovných a poverových reálií na Hornom Spiši // Slovenský národopis. 1972. № 3. S. 484–503.

Horváthová 1986 — *Horváthová E.* Rok vo zvykoch nášho ľudu. [Bratislava], 1986.

Kálal — Slovenský slovník z literatúry aj nárečí. Slovensko-český differenciálny. Na základe slovníkov, literatúry aj živej reči spracovali Kar. Kálal a Mir. Kálal. V Banskej Bystrici, 1923.

Kott — *Kott Fr. Št*. Česko-německý slovník zvláště grammaticko-fraseologický. D. 1–7. Praha, 1878–1893. (http://kott.ujc.cas.cz)

Krajčovič 1974 — *Krajčovič R*. Slovenčina a slovanské jazyky. Praslovanská genéza slovenčiny. Bratislava, 1974.

Krajčovič 1981 — *Krajčovič R*. Pôvod a vývin slovenského jazyka. Bratislava, 1981.

Kropej 2008 — *Kropej M*. Od Ajda do Zlatoroga. Slovenska bajeslovna bitja. Celovec; Ljubljana, 2008.

Machal 1891 — *Machal H*. Nákres slovanského bájesloví. Praha, 1891.

Machek 2010 — *Machek V*. Etymologický slovník jazyka českého. Fotoreprint podle 3. vydání z roku 1971. Praha, 2010.

Michálek 1989 — *Michálek a kol*. Ľud hornádskej doliny (na území Popradského okresu). Košice, 1989.

Pełka 1987 — *Pełka L. J*. Polska demonologia ludowa. Wrocław, 1987.

Slovensko — Slovensko. Ľud. II část. Bratislava, 1975.

SSN — Slovník slovenských nárečí / Red. I. Ripka. Bratislava. D. 1. 1994. D. II. 2006.

Stieber 1956–1964 — *Stieber Z*. Atlas językowy dawnej Łemkowszczyzny. I–VIII. Łódź, 1956–1964.

Vážný 1955 — *Vážný V*. O jménech motýlů v slovenských nářečích. Bratislava, 1955.

В. Б. Колосова

Народная этимология и этимологическая магия в славянской народной ботанике

Вино вину творит
Русская пословица

Не твоя вина, что ты хочешь вина…
Наутилус Помпилиус

В процессе изучения явления народной этимологии учеными было предложено несколько различных классификаций: по лексико-семантическим группам (топонимы, фитонимы, названия минералов и т. п.); по частям речи; по алфавитному порядку (в виде словаря); по форме и логическому значению (ассонация, адъидеация и аррадикация), причем различают фонетическую и графическую аррадикацию (подробнее см.: [Шишманов 1893: 470–481]). Все эти классификации разрабатывались применительно к народной этимологии в узком ее понимании, «когда „наивная этимологизация“ приводит к тем или иным изменениям в фонетическом или графическом облике слова и/или в его значении. В этих случаях ссылка на „народную этимологию“ используется лингвистами как средство объяснения того или иного факта истории языка или индивидуального словоупотребления» [Булыгина, Шмелев 1999: 105].

Среди фитонимов также встречаются случаи, когда заимствованные или утратившие прозрачную внутреннюю форму слова изменяются или переосмысляются, сближаясь с другими словами, имеющими похожее звучание. Так, фитоним *василек* ‘василек синий Centaurea cyanus L.’, употребительный в большей части России, имеет и такие варианты, как *висюлёк* (Волгогр.), *висюльки* (Рост.) [Колокольцева, Кудряшова 2003: 66], очевидно, под влиянием глагола *висеть*. Украинское диалектное название того же цветка *глават*, возможно, «является результатом видоизменения деэтимологизированного названия этого же растения *блават*, сближенного с *глава*

Валерия Борисовна Колосова,
Институт лингвистических исследований РАН (Санкт-Петербург)

‘голова’ под влиянием засвидетельствованного в говорах названия другого вида василька — василька лугового — *головатень*» (при этом само слово *блават*, вероятно, является заимствованием из польского) [Коломієць, Шамота 1979: 23; Сабадош 1982: 73]. Широко известное номенклатурное название *цикорий* достаточно непривычно, чтобы вызвать искажения: так, в районе Пултуска «народ изменил слово *cykoryja*, от лат. *cichorium*, на *cukieryja*, под влиянием слова *cukier*»[1] [Malinowski 1885: 137].

В отдельную группу можно выделить названия растений, которые изменили свою форму под влиянием имен собственных и даже слились с ними. Так, в Свердловской обл. отмечены фитонимы *марфа* — из *мальва*; *аверьян* и *марьян* — диалектные народно-этимологические преобразования фитонима *валериана* по созвучию с именами собственными *Аверьян* и *Марья* соответственно [Гридина 1989: 19].

Некоторые из фитонимов, возникших под воздействием народной этимологии, проникли и в научную таксономию, как, например, слово *зверобой*. Очевидно, процесс освоения либо гипотетической исходной формы *дыробой* [Преображенский 1959: 246; ЕСУМ 2: 92, 251], либо литературного *зверобой* все еще продолжается, ср. *веробой* (Чучков. Ряз.), *взоробой* (Шуйск. Иван.), *жеребей* (Нагор. Киров.), *сыробой* (Угрин. Смол.), *зверобат* (Егор. Моск.), *зверобец* (Совет. Киров.) [Вендина 2008: 578–579], бел. *перабой*, *верабой*, *ваябой* [РС 2001: 166] и мн. др.

Попытки истолковать деэтимологизированный фитоним внесли свой вклад в развитие «кабинетной мифологии». Так, П. Соботка мотивирует название этого растения, а также его использование в качестве оберега тем, что злые духи часто появлялись в обличии животных (волка, змеи и др.) [Sobotka 1879: 294]; А. А. Потебня также полагает, что название *зверобой* указывает на свойство растения «прогонять земных змей» [1914: 180]. Интерес с этой точки зрения представляет также слово србх. *калопер*, обозначающее популярное садовое растение пижму бальзамическую Tanacetum balsamita. Так, согласно одной из точек зрения, этот фитоним обозначает одно из растений Перуна, а строка из песни «Калопер Перо Лељо» толкуется как обращение к Перуну [БВ]; по другому мнению, часть *-пер* в этом названии объясняется словом *перо* ‘кривой, изогнутый лист растения’ [Раденковић 2008: 275]. Представляется, что прояснить происхождение этого фитонима можно с помощью восточнославянского материала, а именно бел. *калуфер*, *калуфар* (Вит.) [РС: 105],

[1] Пол. *cukier* ‘сахар’.

укр. *kanufer*, *kanupir*, *kanupir dykyj* [Makowiecki 1936: 366] для пижмы обыкновенной и целого ряда схожих названий для пижмы бальзамической. Источником этих лексем, по всей видимости, является греч. *καρυόφυλλον*, лат. *caryophyllum* ‘гвоздика’, возможно, при посредстве тур. *karanfil* [Фасмер 2: 171; ЕСУМ 2: 366].

Отдельную группу фитонимов, подвергшихся переосмыслению, представляют названия растений, зафиксированные в травниках. Как недавно показала А. Б. Ипполитова, «в принципах описания растений в травниках и в устной традиции существуют значительные схождения. Хотя устные тексты более рудиментарны, а их структура неустойчива, анализ некоторого их количества показывает, что параметры описания и признаки, на которые обращает внимание информант, в целом те же, что и в травниках: фитоним, локус, внешние признаки (цветок, лист и др.), функции» [Ипполитова 2008: 123]. В области народной этимологии травники также демонстрируют единство с устной традицией, хотя в этом случае изменяется не фонетический, а графический облик слова. Не всегда представляется возможным выяснить, явились ли изменения при копировании ошибкой переписчика или же его осознанной попыткой сделать неясное слово более прозрачным. Так, название растения *хеновник* превращается в *хмелник* и *хрестовник* — очевидно, под влиянием слов *хмель* и *крест* соответственно. Схожим образом, «на основе неверного прочтения или переписывания фитонимов *детловина* — *дятлина* (по-видимому, клевер Trifolium L.) возникают варианты *мятлина* — *малина* — *матлика*, соотносящие текст уже с совершенно другими ботаническими видами — малиной и, возможно, мятликом или мятой» [Ипполитова 2008: 95, 96].

Обновленный облик слова порождает необходимость объяснить и обосновать его. Так, название комнатного цветка *фуксия* изменяется в *куксея* (Талицк. Свердл.) под влиянием глагола *кукситься*, со следующей мотивацией: «У куксеи свети розовы, с пальщик, весяцца так. Оне нежны ощень, только дотронешься, сразу завянут» (Свердл.) [Гридина 1989: 29]. Переосмысление названия *бальзаминка* в диалектной речи имеет даже несколько вариантов, с соответствующими народно-этимологическими мотивировками: «*мал*ьзелинки светут розовым светом, у их светощки *мал*еньки» (вариант *мельзелинка* ассоциируется с прилагательным *мелкий*); «Бальзамины еще *мерз*линами зовут, оне *мерз*нут быстро» (Свердл.) [там же: 31].

Потеря внутренней формы изначально родного слова также требует объяснения. Так, название тысячелистника *ранник*, по всей вероятности, первоначально было обусловлено применением этого растения от ран, что подтверждается богатым набором фитонимов и

данными народной медицины. Однако зафиксированы и другие толкования корня *ран-* — не со значением ‘рана’, а со значением ‘ранний’: «*Ран*ник *ран*о вылазит, еще ничего нет» (Том.) [СРНГ 34: 103]; «*Ран*ник эта трава-то. Он *ран*ний. Весной-то выходит — *ран*ник называется» (Том. Том.) [Арьянова 2: 157], хотя на деле тысячелистник не относится к ранним весенним травам. Таким образом, народная этимология, «часто не приводя к ощутимым сдвигам в фонетическом облике слова и его значении, сказывается на его морфонологическом строении и/или его месте в языковой картине мира» [Булыгина, Шмелев 1999: 103].

Однако названия растений — лишь часть растительного кода традиционной культуры. Фитонимы тесно связаны с семиотическим статусом растений, их символической ролью в традиционной культуре, которая реализуется как в текстах разных фольклорных жанров, так и в действиях (ритуальных и бытовых), поэтому целесообразно рассматривать корпус традиционных знаний о растениях с точки зрения принципов народной этимологии в ее расширительном значении, как она понимается в работе [Толстой, Толстая 2008]: «лежащий в основе народной этимологии принцип семантического притяжения (аттракции) созвучных слов (независимо от их этимологического родства) имеет более общий характер и составляет одну из важнейших особенностей ряда архаических фольклорных и ритуально-магических текстов, которую можно назвать этимологической магией, смыкающейся с другими (ритуальными, мифологическими) видами магии. <…> в качестве единицы описания в данном случае выступает не лексическая пара семантически сближенных созвучных слов, а, как правило, целый, нередко достаточно пространный текст, в пределах которого только и может быть выявлена мотивировка самого сближения» [Толстой, Толстая 2008: 226, 227]. Таким образом, в сферу нашего внимания попадают тексты традиционной культуры, в которых актуализируются обновленные связи фитонимов.

По мнению Б. Сикимич, «в мифологическо-фольклорных текстах (в отличие от языка вообще) нельзя разграничить случаи исключительно народной (или ложной) этимологии и „настоящей“ этимологии, т. е. семантической принадлежности родственных слов, поскольку их функция в текстах этого рода одинакова и отличается механизмом вербальной магии (всякое сходство на уровне формального языкового выражения становится знаком внутренней связи денотатов)» [Sikimić 1996: 12–13].

Равенство народной и научной этимологии можно проиллюстрировать на следующих примерах:

На что ж тебе *гард*амон?
— Чтобы мальчик *горд*ен был.
На что ж тебе *васил*ек?
— Чтобы мальчик *весел* был.
На что ж тебе *люб* цветок?
— Чтобы девки *люб*или.
[Автамонов 1902: 253]

Гардамон (очевидно, искаженное *кардамон*) ассоциируется со словом *гордый*, *василек* — со словом *веселый*. Последняя ассоциация, очевидно, вообще сыграла значительную роль в формировании фольклорного образа этого растения: «Васильки — символ счастья… беззаботная девичья жизнь, девичество, проводимое в доме родителей». После замужества «девственность невесты остается в доме ее родителей в образе цветов: рутва-мята — девичество, васильки — связанное с ним счастье и веселье» [там же: 252, 265]. *Люб-цветок* — по всей видимости, любисток, о формировании символики которого речь пойдет ниже. Наряду с этими народно-этимологическими, или, другими словами, «ложными», ассоциациями ту же функцию — обеспечения желаемого состояния — выполняют цветы в сербской песне, где отражена способность календулы Calendula officinalis вызывать любовную тоску (этимологическое родство фитонима *невен* и глагола *вянуть* подтверждается этимологами):

И у стопе *невен* посадила,
Да м’не *вене* срце за дево’ком.
[Бушетић, Мокрањац 1902: 71]

Как отмечают Н. И. и С. М. Толстые, «народная этимология, имеющая весьма ограниченное распространение в языке как таковом, приобретает функцию одного из наиболее продуктивных приемов организации мифопоэтического и ритуально-магического текста и превращается в особый вид магии, который здесь был назван этимологическим. Благодаря этимологической магии язык оказывается неразрывно связанным с другими компонентами архаических типов культуры и мифопоэтического сознания» [Толстой, Толстая 2008: 240]. Так, символика календулы, продемонстрированная в приведенном выше тексте, сыграла свою роль и на акциональном уровне: невеста, согласно обычаю, приносила своему будущему мужу букет календулы (србх. *невен*), «да би венуо за њом» [Чајкановић 1985: 178].

Согласно народной этимологии могут толковаться и сновидения, так, увиденные во сне *гру*ши означают *гру*сть [Шишманов 1893: 507].

Важной частью текстов, использующих принцип народной этимологии, являются рекомендации, приуроченные к сельскохозяйственному календарю. В данном случае уместно разделить контексты на две группы, хотя в обеих содержатся хозяйственные рекомендации о времени посадки, сбора или обработки хозяйственных культур, а народно-этимологическому переосмыслению подвергаются, как правило, имена святых в их связи с названиями календарных праздников.

К первой группе относятся случаи, когда название праздника ассоциируется непосредственно с названием растения, его части или же группы растений. Так, на Симона *Зил*ота украинцы ищут целебные травы (*зілля*): «Крестьяне думают, что эту целебную силу дает Зилот, и убеждены, что он распоряжается растениями» (Радомысл. Киев.); в день Константина и Е*лен*ы следует сеять *лен* (Староконстантин. Волын.) [Чубинский 1872, III: 184, 185]; в день св. мучеников *Мак*кавеев освящают *мак* «видюху» (дикий мак), который затем используется в качестве оберега от ведьм (Радомысл. Киев.) [там же: 225]; в день св. *Луки* следует сажать *лук* [Березович 2007: 500].

Ко второй группе отнесем такие случаи, когда в ассоциативный ряд втягивается не фитоним, а какое-либо слово, имеющее отношение к растению. Нередко основанием осмысления служит какое-либо прилагательное, означающее желательное (или, наоборот, нежелательное) свойство растения. Так, 8 мая (Иван *довгий*) сеют огурцы, чтобы они выросли длинными (*довги*) (Радомысл. Киев.) [Чубинский 1872, III: 184]. В Болгарии компонент *Благ-* в названии праздника Благовещение (*Благо*вец) воспринимается в его прямом значении ‘сладкий’. По этой причине в Кюстендилском крае в этот день «засяват леща и тикви [чечевицу и тыкву], за да са *благи*»; так же поступают в Хасковском и Охридском регионах — «посадват тикви, като вярват, че посадените на той день тикви били много сладки» [Шишманов 1893: 555]. Утрата внутренней формы болг. *празник* привела к его вторичной связи с *празен* ‘пустой’: «Кога пръв пут роди дърво, трябва да се обира делничен ден, а не в *празник*, за да не е *празно* от плод и занапред» (Когда в первый раз плодовое дерево даст плоды, нужно их собирать в будний день, а не в праздник, чтобы дерево потом не было бесплодно (*празно от плод*)» [Толстой, Толстая 2008: 233].

В отдельных случаях вербальные ассоциации подкрепляются на акциональном уровне; так, сажая капусту в день *Голов*атого Ивана, хозяйки произносили фразу: «Дай же, Боже, час добрий, щоб моя капусточка приймалась и в *голов*ки складалась»; затем хватали себя

за *голов*у, говоря: «Щоб моя капусточка была из кореня коренастая, а из листу *голов*астая» (Борисполь) [Чубинский 1872, III: 185].

Имена святых могут также ассоциироваться с какими-либо глаголами, имеющими отношение к посадке или обработке растений. Так, имя св. *Лупа* ассоциируется с глаголом *лупить*, что и привело к рекомендации «на *Лупа* льны *луп*ить» [Шишманов 1893: 504]. В Моравии верили, что кочаны капусты, выкопанные в день св. *Прокоп*ия, будут особенно плотными: «Zelí na den sv. Pro*kopa* o*kopa*né bude samé hlávky» [там же: 505]. В сербском фольклоре бытует представление о том, что день св. Ели*сея* — последний, в который можно *сеять*, что и отразилось в текстах: «Jeli*sije* proso *sije*»; «Alek*sije* proju *sije*»; «Ali*sej*, proso *sej*!» и под., ср. болгарские и македонские тексты: «Като мине деня на пророк Ели*сей*, то вече просо не се *сей*»; «Do Eli*sea* selanite *seia*t proso» [Шишманов 1893: 559; Sikimić 1994: 78].

Наконец, в единичном случае основанием ассоциации служит числительное: считалось, что в день *Сорока* мучеников следует пересаживать деревья, а также сеять, так как растения дадут «*сорока*кратный плод» (болг.) [Шишманов 1893: 501]. Ярким показателем того, что в данном случае именно слово является ключевым фактором магических практик, является тот факт, что толкования (и, соответственно, действия) могут быть прямо противоположными. Так, в Болгарии зафиксировано и обратное поверье: в день *Сорока* мучеников ничего сеять и пересаживать нельзя, так как все посаженное и посеянное будет *сорок* дней лежать в земле, сгниет и не прорастет [там же].

Наиболее информативными в плане изучения «конструктивной роли языка и его воздействия на формирование и функционирование народной культуры, народной психологии и народного творчества» [Толстой 1982: 399] представляются такие случаи, когда растение получает свое имя на основе какого-либо объективного признака, а затем это имя вступает в дальнейшие связи со словами и реалиями, «обрастая» вторичными ассоциациями и диктуя логику своего использования.

Так, цикорий обыкновенный Cichorium intybus, часто растущий возле дорог, получил название пол. диал. *podorożnik*, что обусловило его использование в лечебной магии: на Покутье отваром цикория обмывали изуроченного человека, выливая затем жидкость на *дорог*у [Paluch 1989: 65]. Тот же самый локус в чешской традиции осмыслен с помощью другого имени: цикорий, как бы ожидающий кого-то, получил метафорическое название *čekanka*[2]. С ним связана чешская легенда о девушке по имени Чеканка, которая «убивает себя

[2] Чеш. *čekat* ‘ждать’.

в отчаянии на могиле своего возлюбленного», а после смерти превращается в растение, получившее ее имя [Софрић 1990: 41]. Поэтому цикорию приписывалась способность привлекать любовь: «Цикорий, выкопанный на Великую пятницу босиком, заклятый священным словом и сорванный через белый платок, привлекает любовь того, кто его заденет»; кроме того, считалось, что «цикорий, сорванный на св. Петра, вызывает любовь у той особы, которая этого цикория коснется» [Sobotka 1879: 252–253]. Чешские девушки рвали его «на счастье в любви», говоря при этом:

Čekanko u cestu!
trhám tě pro štěstí:
abys mi milého popřála,
kterého's nadarmo čekala!

Потом сорванный цветок клали за пазуху, говоря: «Bodejž jsi vykvetla!» Если от тепла тела он расцветал, девушка могла надеяться на свое счастье [там же: 252].

Первоцвет Primula officinalis, чьи цветы имеют сходство со связкой ключей, получил по этой причине целый ряд соответствующих названий в русских, белорусских, болгарских, сербских, польских, словацких, чешских, лужицких говорах. Символика ключа как атрибута св. Петра, отпирающего врата рая, или же св. Георгия, отворяющего весну, в сочетании с формой соцветия и временем цветения привела к созданию поверий о том, что первоцвет открывает путь к скрытым кладам (чеш.), весеннего обряда осыпания первоцветом детей и молодежи (укр.), обряда топтания первоцвета каждую весну (укр.) [подробнее см. Колосова 2009а: 199–203].

Рассмотренный принцип формирования символики можно наблюдать и в том случае, когда ботанический вид с точностью не определен. Так, по русским поверьям, *плакун*-трава зарождается «на обидящем месте», т. е. на крови, на месте преступления, и эта трава заставляет *плакать* нечистую силу [Афанасьев 1994, II: 413].

Разумеется, нередки случаи, когда, даже при прозрачности этимологии фитонима, мотивация его не определена. Так, по болгарскому поверью, *обичниче* ‘копытень европейский Asarum europaeum L.’ «возбуждает чувство любви[3], поэтому им украшаются девушки и юноши… склеивают медом два листа обичниче и кладут их под порог избранной девушки или юноши» [Ахтаров 1939: 108]. Здесь налицо

[3] Болг. *обич* ‘любовь’.

связь между названием растения и его функцией, однако причины номинации неизвестны. По тому же принципу в *Гергьовден* украшают ворота геранью Geranium L. (*здравец*, *здравинче*, *здравчец*) «за здраве»; с той же целью пьют воду, в которую погружена герань [там же: 173–174]. Особенно часто этот принцип прослеживается в народной медицине, когда лекарственное растение получает свое название либо по болезни, от которой его применяют, либо по больному органу, либо по причине болезни (более подробный анализ номинации растений по признаку их применения в народной медицине см. в работе [Колосова 2009б]). Наиболее частый случай — соотнесение фитонима с заболеванием, от которого использовалось растение. Так, траве *чернобылец* приписывалось излечение *черной болезни* (эпилепсии). От *черной болезни* могли применяться также растения, описываемые в травниках как имеющие черный цвет (*болотной былец*, *парамон* и др.). Трава *жабная* помогала от болезни *жаба*, *урош*ная трава — от *уро*ков [Ипполитова 2008: 101, 298]. Считалось, что травой *копытцо* можно вылечить различные конские болезни, в том числе и болезни копыт, а травы со «змеиными» названиями, например, *ужевник*, помогали от змеиного укуса: «Кого уж или иная гадина укусит, весь яд выгонит из человека». Трава *полевой хмель* помогала не опьянеть [там же: 101, 102].

Как отмечают Н. И. и С. М. Толстые, «частным случаем паронимии можно считать созвучие по типу рифмы, которое характерно и для языковой, и для мифологической народной этимологии» [Толстой, Толстая 2008: 231]. Как и в предыдущих разделах, здесь можно выделить роль рифмы на разных уровнях. Так, возможности рифмовки сыграли свою роль в образовании фитонима *дунька-медунка* ‘медуница мягкая Pulmonaria molissima’ (Урал.) [Коновалова 2000: 76]. В малых фольклорных жанрах фитонимы рифмуются с сопоставляемыми с ними словами, например, в пословицах: «*Син* като *пелин*, *зет* като *мед*, *щерка* като люта *пиперка*». Ряд зарифмованных слов может быть продолжен: «*Зет* като *мед*, ала до *обед*; *син* като *пелин*, ала до *амин*» [Стойкова 2007: 33 (№ 251, 252)]. Проведение аналогии — не единственный способ демонстрации связи между зарифмованными словами; напротив, они могут противопоставляться: «Яде *коприве*, пък носи *коприна*» [Стойкова 2007: 109 (№ 2090)]; «С търпение и умение от *копривата коприна* стане» [там же: 100 (№ 1857)].

Из более пространных фольклорных текстов можно привести строки из песни «Богородица ищет сына» — «Загрэшыла *ива* чэрв*ива*, Сусу Христу кроў спуст*ыла*», — за которыми стоит мотив грешной ивы, давшей свою древесину на изготовление гвоздей для распятия [Народная Библия 2004: 361 (№ 737)]. На уровне хозяйственных

рекомендаций отмечены такие, как «На *Феклу* копай *свеклу*» [Толстой, Толстая 2008: 231]. В области бытовых табу рифма поддерживает запрет вносить в дом ковыль перистый Stipa pennata L. S. ampl., носящий также выразительное название *холостяцкая трава*: «Где *ковыль*, там *бобыль*, красивый, а дома ставить нельзя, один останешься» (Юрг. Кемер.) [Арьянова 1: 126].

В формировании символики лилии как цветка Богородицы решающую роль сыграл белый цвет в сочетании с культурной коннотацией чистоты (физической и моральной), безгрешности, однако в этом процессе сыграло свою роль и звуковое подобие слов *lilija* и *Maryja* [Piekarczyk 2004: 92–95].

Целый ряд рифмованных ритуальных диалогов, приуроченных к Русальной неделе, зафиксирован для украинской традиции: «Русалка бросается на дивчыну, спрашивает у ней: „полынь или петрушка“? если та ответит: полынь, — русалка убежит; если же: петрушка, — водяная красавица защекочет до смерти земную и увлечет ее в реку. При слове: *полынь*, русалка обыкновенно с досадой отвечает: „сама ты *сгынь*“. А если она к мущине обращается то: „сам ты *згинь*; ты не мій“ — на слово *петрушка* русалка говорит: „ты моя *душка*!“ и потом щекочет» [Маркевич 1860: 80–81]. Возможны и такие диалоги: «А що мати варила?» — «Борщ та *полинь*… от вам *полинь*, сама ти *изгинь*!»; «От вам *петрушка*!» — «Ти ж наша *душка*!»; «От вам *мьята*!» — «Ти ж наша *мати*!» (вар.: «тут тобі и *хата*!») [Максимович 1856: 98–99]. Рифмованное словесное воздействие «Хрен да *полынь*, плюнь да *покинь*!» как один из наиболее действенных оберегов против русалки упоминается и в современных исследованиях, например, в материалах Полесского архива (Радомышл. Житомир.) [Виноградова 2000: 163].

При изучении роли растений в этимологической магии кажется целесообразным проводить различие между случаями «чистой» этимологической магии, когда связь основана лишь на созвучии слов и не подкреплена какими-либо внешними признаками сопоставляемых реалий, и случаями ее сочетания с контагиозной магией, когда ритуально-магические действия основаны также и на внешнем сходстве (цвете, форме, количестве и т. п.) предметов, играющем не менее важную роль, чем вербальные средства. При этом резкую границу между контекстами, имеющими большую или меньшую «долю» вербальной / контагиозной магии, конечно, провести невозможно, и речь идет скорее о некоей шкале их сочетаний с разной пропорцией.

В начале такой шкалы располагаются случаи использования принципа *signatura rerum*, когда «сама природа, как верили…

обозначила, к чему это растение может служить» [Machek 1954: 299], и, следовательно, «проговаривание», называние связи необязательно, а роль слова в ее осознании минимальна. Так, в день Симона Зилота хозяйки кормят скот *желтыми* травами, чтобы масло было *желтое* [Чубинский 1872, III: 184]. Очанка лекарственная Euphrasia officinale L., окраска которой напоминает глаз со зрачком, употреблялась для лечения глаз, что отразилось в ее названиях *глазная трава*, *очная трава*, укр. *очанка*, србх. *видова трава*, *očanica* и мн. др. [см. Колосова 2009а: 67–68; 98–99].

Формой клубней ятрышника Orchis, напоминающих тестикулы, обусловлены как его диалектные названия, так и широкое использование в народной медицине и любовной магии: *поповы яица* (Подол.), *яички*; укр. *любка*, чеш. *vstavač*, пол. *lisje jajka* и под. Все ятрышниковые использовались славянами как приворот или средство от импотенции [Анненков 1876: 196, 233; Потанин 1899: 233; Хатемкин 1900: 8–9; Machek 1954: 299].

На следующем участке шкалы внешнее сходство сопоставляемых реалий уже не так очевидно и требует посредничества слова. Так, цикорий, имеющий жесткую фактуру стебля и получивший поэтому название пол. диал. *twardostój* (Жешувск., Подгужан.), применялся в лечении детей: если у ребенка были слабые ноги, то его купали в *twardostoju*; верили, что это укрепляет поясницу, что ребенок будет раньше вставать и ходить [Czyż 1989: 163; Czyż, Wysakowska 1993: 90–91]. В Белоруссии от «*кол*отья» рекомендовалось поить и обмывать грудь больного, «бока и спину отваром из девяти *кол*ючих растений: крыжовника, розы, „дядовника“ и проч.» [Никифоровский 1897: 270].

Свойство плодов колючих растений цепляться к шкуре животных и одежде людей обусловило их использование в симпатической магии. Так, в Сербии сват, отправляясь в дом к девушке, хватался сначала руками за репейник, «чтобы так же и начатое дело принялось»; сваты бросали репейник на парня, «чтобы девушка к нему прилепилась». Чтобы ребенок любил труд, собирали репьи, которые набрались на его одежде и обуви, и оставляли в квашне, чтобы они пролежали ночь с каким-либо материалом для работы (кудель, шерсть для вязания и др.); при этом три раза говорили: «Как репей прилепился к этому, так бы прилепились и руки моего ребенка» [Чајкановић 1985: 247], ср. србх. *lepča*, *lepir* ‘лопушник Lappa Tourn.’, *lepušina* ‘лопушник большой Lappa major Grtn.’, а также многочисленные образования от корня **rěp-* ‘хватать, цеплять’ [Šulek 1879: 528]. В Скопской Котлине девушки, чтобы к ним

липли (*да се лепат*) парни, опоясывались травой *лепавец*[4] [Толстой, Толстая 2008: 235].

Схожей символикой нагружается в травниках растение *вязиль*. В русских говорах фитонимы *вязиль* / *вязель* относятся к растениям с вьющимися цепкими побегами; «в травниках это название переосмысляется в связи с брачной символикой (ср. рус. *вязаться* ‘ухаживать за кем-либо; сватать кого-либо’, связывание молодых поясом в свадебном обряде; курский обычай связывать кочергу и помело, отправляясь сватать). <…> на Мезени девушки собирали на Иванов день *вязель-траву*, чтобы присушить при ее помощи полюбившегося парня» [Ипполитова 2008: 356]. Та же ассоциация привела к использованию растения со схожим названием в качестве оберега: «Общеслав. *вяз* связывается с глаголом *вязати* и используется как средство борьбы с водяным, которого связывают *вяз*овым лыком, и он не сможет из него выпутаться (Моравия), а в Рожнове полагали, что *вяз*овым лыком можно с*вяз*ать любого демона» [Усачева 2008: 216].

В Сербии тот, кто хотел вылечиться от чахотки, должен был откусить верхушку растущей полыни: если полынь вы*сых*ала, больной ждал выздоровления [Чајкановић 1985: 190]. Здесь передача болезни растению подкрепляется языковыми связями (ср. србх. *сушица* ‘чахотка’), а жизнь человека находится в обратной зависимости от жизни растения — «высохнет» либо больной, либо полынь.

На основании места произрастания подорожника — которое отразилось и в его названиях — возникла уверенность и в его магических способностях помогать путникам: «Натри ноги подорожником и никогда не устанешь, ходя пешком» [Терещенко 1848, 5: 93], или: «А кто пойдет в путь, возьми ее с собой; какая болезнь в пути учинится, пить с водою — поможет; того ради слывет Попутник» [Самолечение… 1884: 441 (№ 46)]. В Полесье ходили «на дорогу женихов гадать, руки назад, а подорожник рвали зубами и клали под голову, молились богу, какой приснится жених, такой и будет» [Толстая 1978: 138] — в гадании совмещается локус обитания растения, место гадания и семантика пути. Другой признак подорожника — упругие тягучие жилки — обусловил одно из его диалектных названий — бел. *цягун* (Новогр.) [РС 2001: 121], а подорожник, сорванный зубами на межах, давали корове с целью «вы*цяг*ти молоко из чужих коров» (Лельч. Гомел.) [Толстая 1978: 138].

На следующем участке шкалы возникают еще более сложные переходы от внешних признаков растений к их магическому использованию при посредничестве слова. Так, у восточных славян

[4] Предположительно подмаренник цепкий Galium aparine.

известно поверье о цветке *иван-да-марья* (этот фитоним может обозначать разные денотаты в разных диалектах), в который были превращены брат и сестра, совершившие инцест. Как фитоним, так и этиологический текст обусловлены двуцветной окраской растения. В свою очередь, образы брата и сестры (= мужа и жены) обусловили использование цветка: его рвали накануне Ивана Купалы и втыкали в углы дома для охраны от воров: «В эту ночь брат с сестрой разговаривают, а вору будет казаться, будто разговаривают хозяин с хозяйкой» [Макаренко 1913: 86]. Кроме того, марьянник знахари использовали «для водворения согласия между супругами» [Анненков 1876: 211].

Различные колючие растения (татарник, чертополох и пр.), которые поедают лишь ослы, получили соответствующие названия: серб. *магарећији трн*, болг. *магарешки бодил* и мн. др.[5] С другой стороны, в южнославянских языках крик осла ассоциируется с сильным кашлем, поэтому коклюш получил названия србх. *магарица*, *магарећи кашаљ*, болг. *магарешка кашлица*, словен. *oslovski kašelj*. Поэтому детей, больных коклюшем, сербы и болгары поят ослиным молоком или кормят лепешкой, приготовленной на ослином молоке [Раденковић 1996: 129; СД 3: 567–568]; с другой стороны, их поят отваром чертополоха (болг. *магарешки тръни*) [Софийски… 1993: 192].

Лесная гвоздика Dianthus sylvestris L., имеющая белые пятнышки на лепестках, как считается, еще хранит следы слез девы Марии. Поэтому она получает название чеш. *slzički Panny Marie* и наделяется свойством лечить болезни глаз, если весной, увидев ее в первый раз, трижды потереть ею глаза, поцеловать и бросить через голову со словами: «Marie Panny slzički, aby mne nebolely očički» [Усачева 2000: 267; Вельмезова 2004: 62, 90]. Пол. *łzy Matki Boskiej* ‘скрученник Spiranthes spiralis’ являлся «предметом мечтаний паломников, прибывающих на отпущение грехов в праздник вознесения Божьей Матери». По легенде, они выросли из слез Богородицы, что падали с ее лица и впитывались в землю. В день погребения Богородицы эти растения «высовывают свои стебельки из трав, чтобы посмотреть на Богородицу, несомую на погребение». В данном случае фитоним связан не только с этиологическим сюжетом, но и с применением: «слезы эти должны вылечить всякую боль». Кроме того, считалось, что и расти эти цветы могли «только на лужайках при дороге, по которой идут толпы паломников за гробом с деревянной статуей Богородицы», а попытки вырастить их в саду успеха не имеют [Seweryn 1946: 307].

---

[5] Србх. *магарац*, болг. *магаре* ‘осел’.

Целая группа названий с корнем *стрел-* обусловлена полым стеблем некоторых растений, как и их использование. Так, *прострел боровой*, или *стрельную траву*, ‘прострел сон-трава Pulsatilla patens Mill.’ охотники пропускали в ствол ружья, что якобы придавало оружию особые свойства (Волог.) [Иваницкий 1890: 147]. Здесь сходство формы полого стебля растения и ружейного ствола подкрепляется сходством фитонима *стрельная трава* и глагола *стрелять*. По принципу этимологической магии воздействие *прострела* приравнивается к воздействию уголька, «вы*стрел*енного» из печи: «Родильница пьет… воду с углей, выскочивших из печи, заранее собираемых и хранимых, для того чтобы родить так же скоро, как уголь выскочил из печи. С этою же целью пьют настой травы, называемой *прострел*» [там же: 108–109]. В Архангельской губ. траву *прострел* вплетали в гривы лошадям или около рогов прочему скоту при заболевании *прострел* [Харитонов 1848: 13]; у сербов при болезни скота с тем же названием также давали *прострел*; под этим именем была известна горечавка перекрестнолистная Gentiana cruciata L. [Туцаков 1965: 66].

Названия, символика и магическое употребление растения переступень белый Bryonia alba обусловлены внешним видом крупного и толстого корня. В Македонии девушки в день св. Георгия надевали венки, в состав которых входила *дебелика* «за да бъдат дебели» (чтобы быть полными, здоровыми) [Спространов 1900: 31]. В районе Косова переступень назывался *дебелица*[6]; им девушки опоясывались в Юрьев день с той же целью [Дебељковић 1907: 268]. В Верхней Пчиньи им опоясывались женщины, «да би млеко било дебело»; этим же растением они обвязывали ведра для молока [Чајкановић 1985: 302–303].

Следующие растения точно не определены, но логика их магического использования та же: «Многи мајстори држе у дућану или носе око себе ушивено у каници *наврат* и *навалу*, те би се муштерије *навраћале* и с послом *навалиле*» (Многие ремесленники держат в лавке или носят зашитой в своем поясе траву *наврат* и *навалу*[7], чтобы клиенты к ним *заворачивали* и с заказами *валом валили*); функция растений обусловлена глаголами серб. *навраћати се* ‘заходить, заворачивать’ и *навалити* ‘валить валом’ [Толстой, Толстая 2008: 235].

Жгучие свойства крапивы, отразившись в названии србх. *жара*, обусловили некоторые элементы юрьевской обрядности сербов. Так, в окрестностях Левча и Темнича рано утром все домашние купались в воде, куда были опущены различные растения,

---

[6] Србх. *дебео* ‘полный, толстый, тучный’.

[7] Предположительно щитовник мужской Aspidium filix mas.

в том числе и крапива — «да деца *жар*ко љубе своје родитеље» [Мијатовић 1907: 106]. В Драгачевском крае в этот день одежду украшали крапивой, чтобы быть «крепкими», как крапива (србх. *оштар* ‘острый’, ‘режущий’, ‘крепкий’) [Плотникова 1999: 358]. Крапивой украшались и ударяли друг друга, «да би били жустри као коприва» (србх. *жустри* ‘ловкий, шустрый, проворный’), или чтобы не кусали комары (последнее, очевидно, по принципу «клин клином») [Чајкановић 1985: 137–138].

Можжевельник получил имя пол. *jałowiec*, поскольку способен расти на бесплодной земле (na *jałowej* ziemi) [Brückner 1985: 198]. В Мазурах сваха на свадьбе ударяла веткой можжевельника по головам молодых со словами «Anu, nie *jałow*iejcie!» («А ну, не будьте бесплодными!» [СД 1: 167; 3: 274]. Можжевельник использовался и как лекарственное средство при лечении бесплодия (з.-слав.) [Усачева 2008: 215–216].

Целая группа диалектных названий пижмы обусловлена ее абортивными свойствами (болг. да *връща* моминството) [БЕР 1: 182; Brückner 1985: 633; Михайлова 1993–1994: 108]. Их число достаточно представительно, см., напр., болг. *вартика*, *вратига* (повсем.), *врати́ка*, *въртига*, *свратика* (Софийск.), макед. *вра́тлика* (Скопье), серб. *вротић* [Ахтаров 1939: 134], србх. *вратижеља*, *вратик*(*а*), *поврат*(*а*), *повратич* [Симоновић 1959: 459], словен. *vratič*, *vratíka* [Barlè 1937: 208, 259], чеш. *vratyč*, *zvrátečka*, *návratníček* [Havlová 1982: 189] и мн. др. Ассоциации этих и подобных фитонимов со словами со значением ‘вертеться’, ‘вращаться’, ‘возвращать(ся)’ обусловили возникновение многочисленных магических практик. Так, в Болгарии пижму используют при обрядовых действиях с косой девушки, так как болг. *вратика* ‘пижма’ связывается с глаголом *въртя се* ‘вертеть(ся)’, и потому используется для того, чтобы парни вертелись около девушки (*се въртят край момите*) [Колева 1981: 158]. Те же представления отражены в фольклоре: «Посѣй ми си лудо врьтыкѫ, Ако не ти никне врьтыка, Много щешь ся *врьтишь* по мене» [Геров 1: 162]. В Сербии (Лозница) пижма используется для *возвращения* молока корове: если подозревают, что у коровы отняли молоко с помощью магии, собирают пижму (*повратич*), варят в воде с мельничного колеса (дополнительное усиление семантики *вращения*) и дают съесть корове [Деспотовић 1983: 21]. В Лесковацком Поморавье пижма называется *поврат* и употребляется в ворожбе с целью отобрать молоко у чужой коровы и вернуть своей — ей мажут вымя пижмой или кладут ее на ворота хлева [Чајкановић 1985: 68, 266]. В Сокобаньском крае считают, что с помощью пижмы (*вратика*, *повратич*) можно *вернуть* прежнее положение дел: венок из пижмы обычно вешают над входом

в хлев или загон, чтобы коровы или овцы снова давали то количество молока, которое у них было во время отела. Сквозь венок из пижмы девушка тайком смотрит на юношу, который ее бросил, чтобы он снова к ней *вернулся* [Радовановић 1995: 45]. С той же целью используют колечко из теста с пижмой, высушенное на солнце: посмотрев сквозь него на парня и произнеся нужный заговор, девушка привлечет его внимание [Havlová 1982: 189, прим. 17]. С ее помощью знахарки делают *вратак*, то есть *возвращают* порчу или сглаз тому, кто их наслал [Пантић 1996: 59]. В Словении пижма (*vratič*) используется в лечении бронхита: ее нужно положить на шею или на грудь, если у человека бронхит (*vretje*) и в груди *takrat vse vre* [Barlè 1937: 259]. Записано чешское поверье о том, что пижма помогает благополучно *возвратиться* домой; поэтому человеку, который отправляется из дому, советуют сорвать себе пижмы. В моравской песне говорится: «Ještě si natrhám *návratníčku*, *návrat'* se mně, *návrat'*, švarný šohajíčku» (Еще себе нарву пижмочки, *вернись* ко мне, *вернись*, пригожий паренек) [Machek 1954: 247, 699].

Упомянутое в травнике растение *матица* (по всей вероятности, мать-и-мачеха Tussilago) должно было усилить любовь матери или мачехи к детям: «И та трава вельми добра, которая мати или мачиха детей не любит, дай пить или носи при себе, поможет» [Ипполитова 2008: 203].

Как уже говорилось выше, этимологическая магия может основываться не на самих фитонимах, но на словах, описывающих признаки растений или этапы их развития. Так, в западном Полесье, «чтобы жито хорошо *трубило* (шло в трубку), во время сева *трубят* в *трубы*» [Толстой, Толстая 2008: 228]. Увидав первый огуречный цвет, следует перевязать его ниткой из пояса с приговором: «Як густо сей пояс вязався, щоб так и мои огирки густо вязалась у пуплянки, в огудини» [Чубинский 1872, III: 185]. В данном случае процесс образования завязи у растений сопоставляется с вязанием пояса; с той же целью использовались и другие плетеные предметы — путо, лапоть, венок [СД 3: 497].

Та же ситуация наблюдается и в травниках. Скрупулезный анализ символики растений, не имеющих *сердце*вины и потому наделенных эпитетом «без *сердца*», проведен в работе А. Б. Ипполитовой. Данный эпитет явился «поводом для развертывания этимологической магии из-за ассоциации со словами *сердце* (орган кровообращения), *сердиться* и фразеологическим оборотом *иметь сердце* (на кого-либо) ‘сердиться, гневаться на кого-либо’» [Ипполитова 2008: 336]. Так, рекомендовалось носить при себе траву *напахт*, «то никто на тебя не думает *иметь сердца*» [там же]. При выкапывании *папо-*

ротника без сердца требовалось произнести: «Господи, благослови мя, отче, сию добрую траву взяти, иже в себе не имеет *серца*. Так бы не имели *серца* на раба Божия имярек недруги мои и супостаты и вси человецы»; на владельца же этой травы «никоторои человек… *сердит* не бывает» [там же: 336–337].

Еще одной важной группой растений, описанных в травниках, являются «материнские» травы. Так, эпитет растения *вербы В* ассоциируется с пчелиной маткой: «Трава есть верба имянуема, иже травам *мать* есть она. А *мать* пчелная без нее пчелных *маток* молодых не засевает никако»; свойство способствовать разведению пчел приписывалось и растению *маточник* [Ипполитова 2008: 202, 203].

Наконец, на другом конце шкалы располагаются ситуации, когда реалии, связь которых опосредована словом, не имеют ни внешнего сходства, ни сопоставимых атрибутов; таким образом, роль вербального компонента в их связи максимальна. Так, в обл. Карлово на новоселье «сперва вносили *сито*, „чтобы дом был *сыт*ым“, и *лук*, поскольку он приносил удачу (спо*лук*а)» [СД 3: 413]. Копытень европейский Asarum europaeum L., имеющий листья в форме копыта, получил название србх. *копитњак* [Чајкановић 1985: 136]. Название травы включилось в последующие связи с фонетически близкими словами: сербские девушки собирали *копитњак* на Юрьев день, «јер ће онда момци *копнети*[8] за њима» (чтобы юноши по ним томились) [Чајкановић 1985: 136]. Целебная сила *чесн*ока, согласно народному поверью, происходит от того, что он вырос над «*честн*ым Божьим крестом», закопанным евреями. По той же причине ему приписывается большая апотропейная сила (Пловдивск.) [Шишманов 1893: 588; Каблешкова 2003: 193].

В этимологической магии, как и в приведенных выше фольклорных примерах, имеет место неразличение / равноправие народной и научной этимологии: в пятницу перед Юрьевым днем сербы собирают *млечик* — «да овце буду *млечне*», *пелин* — «да *пени* се млеко», *дебељачу* — «да буде *дебело* млеко» [СД 4: 384].

В Хорватии «Otroku, ki ni *grešan*, daju pojist tri *grašice*… da bi razagnali *grašicu*» (Непорочному мальчику дают проглотить три горошины… чтобы разогнать град) [Толстой, Толстая 2008: 236]. В Боке Которской «на Юрьев день собираются три девушки на выданье, чтобы пойти рано поутру по воду. При этом одна из них несет просо, а другая за пазухой грабовую ветку. Затем одна из этих двух спрашивает третью: „Ты куда?“, на что получает ответ: „Идем по *воду*, чтобы вели (да *воде*) на свадьбу и меня, и тебя, и ту, что за тобой“.

---

[8] Србх. *копнети* ‘изнывать, томиться по кому-л.’.

Тогда третья спрашивает ту, что несет просо: „Что у тебя в руке?“, и та отвечает: „*Просо*, чтобы пришли *прос*ить руки и моей, и твоей, и той, что за тобой“. Потом третья спрашивает ту, которая несет грабовую ветку, что у нее за пазухой, и та отвечает: „*Граб*, чтобы брали (да се *грабе*) и меня, и тебя, и ту, что за тобой“» [там же: 239–240]; ср.: в этот день девушки «se kupaju na *grabu* ili ga jašu da se momci *grabe* za njima» [Чајкановић 1985: 81].

В Болгарии *клен* служит лекарством от болезни *клинове* (колики, колотье): больного отводят к клену, ставят рядом с деревом с ногами, прислоненными к стволу, и там, куда они достают, просверливают дырку, в которую забивают *клин* из того же дерева; опилки, падающие при работе сверлом, собирают и варят в воде, которую дают больному выпить несколько раз [Илиев 1893: 442].

Имя св. Вита (болг. *Вид* / *Вида*) ассоциируется с глаголом *вижда*м ‘видеть, прозреть’. Традиционные магические обряды лечения, возникшие на этимологической основе, включают ритуальный сбор целебной *видовой травы* (очный цвет полевой Anagallis arvensis L.), цветущей на Видов день; ее отваром слепые и плохо видящие промывали глаза, чтобы прозреть. Девушки и парни добрачного возраста совершают особые обряды, основным компонентом которых является гадание с целью у*вид*еть лицо будущего супруга или супруги [Попов 2004: 134]. Серб. *видовска трава*, *видовчица*, *видовица*, *видовка* ‘то же’, чье название ассоциируется с глаголом *видети*, также применяется для лечения слепоты и слабого зрения [Шпис-Ћулум 1995: 413; Попов 2004: 134; Иванова 2002: 160].

Фитоним укр. и рус. *любисток* ‘любисток аптечный Levisticum officinale L.’ пришел через пол. *lubistek* < ср.-верх.-нем. *lübestecke* < лат. *levisticum*, *ligusticum* < гр. *ligusticon*, что первоначально означало «лигурийское растение, используемое в лекарственных целях» [Сабадош 1982: 72]. В украинской народной магии любисток используется в качестве приворота: «Дівчата цим зіллям поять хлопців, коли хочуть, щоб вони їх *люб*или», ср. варианты *любистик*, *любистина*, *любист*, *любиста*, а также *любця*, *любець*, *любчик*, *любимене*, ст.-укр. *любщик трава* [там же: 73]. *Люб*исток использовался для купания девочек, чтобы их потом *люб*или мужчины, а также детей вообще, «щоб іх, як выростуть, усі *люб*ылы»; девушки носят это растение под мышкой, надеясь скорее понравиться мужчинам [Чубинский 1872, I, 1: 81–82]. В травниках этот фитоним дал варианты *любис*, *любист*, *любим*, *любит* и под.: «Трава *любист* или *лютик* <…> А добър тот корень носить при себе, ино люди *любят* и покаряюца пре[д] тобою станут, и зла на тебя не мыслят» [Ипполитова 2008: 335].

Длинный путь прошло формирование символики чабреца обыкновенного (тимьяна) Thymus serpyllum L. Латинский источник этого названия — *matris animula* — происходит из Севильи и восходит к VI в.; не являясь родными, кальки этого названия тем не менее широко распространены у славян: пол. *macierzyduszka*, чеш. *materi douška*, *materie dausska*, рус. *materduszka*, *matkina duška* [Henslowa 1977: 165], а также бел. *мацержанка* (Гродн.), *мацердушка* (Минск.), укр. *чепчик-матерзанка*, русин. *материнка*, србх. *мајкина душица*, *материна душа*, чеш. *materi dauška* [Анненков 1876: 354–355], болг. *майчина душица*, *материна душица*, *материка*, *матерка* [Ахтаров 1939: 293], србх. *матерка*, *материнка*, *мајчина душица* [Бјелетић 1996: 90]. Сырениуш объясняет название *macierzaduszka* целебным действием растения: «Тимьян, что в сильной тошноте… и других тяжелых случаях, когда кажется, что уже душа тело покидает, дает быструю помощь и душу, как бы убежавшую, возвращает, и становится как мать, укрепляющая силы сердечные и оживляющая тело» [цит. по: Henslowa 1977: 165]. Очевидно, названия чабреца, первоначально переводные, действительно глубоко вошли в культуру славян, так как вторая часть названия, связанная с *душ*ой, стала восприниматься как обозначение *душ*истого растения, а первая — стала обозначать также и *мат*ку: *macierzaduszka* стала означать растение, которое влияет своим запахом на «utrzymanie macicy w spokoju»; Мошиньский толкует его как «wonne ziele maciczne» [там же]; Ростафиньски объяснял этот фитоним так: *macierz* означает матку, а *duszka* — благовоние, *macierzaduszka* означает растение, душистый настой которой полезен для матки [цит. по: Budziszewska 1993: 93]. Такое понимание обусловило и применение растения: тимьян (*maciorka*, *maciurka*) использовали при лечении женских болезней [Szot-Radziszewska 2005: 120]; ванны с этой травой использовали замужние женщины, желающие иметь потомство (Келецк.) [Szot-Radziszewska 1999: 112].

Сложные и разветвленные языковые и мифологические связи характеризуют комплекс южнославянских русальных обрядов. В Болгарии во время *Рус*альной недели не сеяли цветов и не сажали рассаду, чтобы цвет не осыпался, не завязав плода (болг. *изреся се*); по этой же причине в этот период не собирают лекарственных трав, кроме субботнего дня поминовения усопших [Шишманов 1893: 501, 550]. В Духов день, который также носит название болг. *русаля*, в церковь приносят растение *русалія*, которое кладут себе под колени. Слово *русали* означает места, куда ходят больные для исцеления во время Русальной недели. В этих местах растет *росян* (ясенец белый Dictamnus albus), «любимый цветок самодив (*рус*алок) из-за созвучия его с *рус*алями» [там же: 548]. Благодаря тому же созвучию *рус*алки

любят ходить по *рос*истым лугам (*по росните ливади*). В свою очередь, в народном сознании *рос*ен сближается с *рос*ой:

Што гората на росіанъ мириши,
Я полето на чьрвенъ триндафилъ?
Да ли ми са й гората развила
Или ми са *рос*янътъ раз*рос*илъ?
[там же]

или

Тръгнѫла е малка мома,
Ой коладе, мой коладе,
Прѣзъ горицѫ *рос*еновѫ,
Да си бере ситенъ *рос*енъ
[Геров 5: 86].

Кроме того, наиболее известные поляны, заросшие *росен*ом (*русали*), находятся около городов или сел, чьи названия созвучны корню *рус-* / *рос-* [Шишманов 1893: 548]. В Габрово и некоторых других областях красивых *рус*ых бабочек, которые выползают из воды и живут лишь один день (поденка обыкновенная Ephemera vulgata), называют *русалскими*. Некоторые верят, что русалки и есть эти самые бабочки. Кроме того, русалки обычно представляются *рус*оволосыми. В селах Македонии женщины и девушки на *русу среду* (среда Великой недели), возвращаясь с поля, валяются голые по ячменным посевам и собирают *росу* в пузырьки на лекарство [там же: 549]. В тот же день не метут в доме, потому что верят, что любое начинание «не выйдет чисто, а будет *русово* (не годно)» [там же: 550]. Также верили, что русалки насылают болезнь, которая называется *русата* (раны на лице у маленьких детей) [Шишманов 1893: 550; БЕР 6: 349]. На сближении с глаголом *ръся* основано поверье, что русалки кропят (*ръся*) «живой водой колосья на нивах, как раз когда цветут хлеба, и от них всецело зависело, будет урожай или нет» [Шишманов 1893: 550].

* * *

Даже на фоне усилившегося за последнее время интереса к народной этимологии число теоретических или обобщающих работ все еще остается небольшим, а касающиеся народной ботаники — и вовсе исчисляются единицами. В качестве исключения можно назвать лишь специальную статью [Сабадош 1982]. Перечисление работ, содержащих примеры народной этимологии на материале фитонимов в качестве отдельных тематических разделов (величиной от

одной до тринадцати страниц), можно найти в работе [Шишманов 1893]; он же приводит свою подборку на эту тему [там же: 626–636]. Сложность этого направления, высокая изначально, еще усиливается требованиями междисциплинарного подхода, характерного для этнолингвистики, а также необходимостью учета естественнонаучной составляющей материала. При анализе каждого конкретного контекста приходится учитывать не только «отношения» внутри треугольника «исходное слово — формальный мотиватор — результат», но и все «притянувшиеся» к ним фольклорные и мифопоэтические тексты, а также внешние «опоры» в виде объективных или же приписываемых признаков и свойств растений и сопоставляемых с ними реалий. В качестве перспективных направлений внутри обсуждаемой темы можно назвать анализ распределения интересующих нас контекстов по фольклорным и «этнографическим» жанрам (песни, заговоры, календарно-хозяйственные рекомендации и запреты, народная медицина и магия); соотношение данных устной традиции и материалов травников; относительная «доля» вербального и объективного компонентов в этимологической магии, не говоря уже о том, что хотя бы просто возможно более полный свод фактов народно-этимологических переосмыслений фитонимов с сопутствующими контекстами на общеславянском материале послужил бы базой и отправной точкой для дальнейших — несомненно, продуктивных — этнолингвистических исследований.

Литература

Автамонов 1902 — *Автамонов Я. А.* Символика растений в великорусских песнях // Журнал Министерства народного просвещения. Ч. 344. 1902. № 11. Ноябрь. С. 46–101; № 12. Декабрь. С. 234–288.

Анненков 1876 — *Анненков Н.* Ботанический словарь. СПб., 1876.

Арьянова — *Арьянова В. Г.* Словарь фитонимов Среднего Приобья. Т. 1–3. Томск, 2006–2008.

Афанасьев 1994 — *Афанасьев А. Н.* Поэтические воззрения славян на природу: В 3 т. М., 1994. (Репринт издания 1865–1869 г.).

Ахтаров 1939 — *Ахтаров Б.* Материал за български ботаничен речник. София, 1939.

БВ — *Босанска Вила*. 1895. Бр. 10. С. 269; 1896. Бр. 11. С. 339; 1902. Бр. 17. С. 194.

БЕР — Български етимологичен речник. Т. I–. София, 1971–.

Бјелетић 1996 — *Бјелетић М.* Од девет брата крв (фитоними и термини сродства) // Кодови словенских култура. 1996. Бр. 1. С. 89–101.

Булыгина, Шмелев 1999 — *Булыгина Т. В.*, *Шмелев А. Д.* «Народная этимология»: морфонология и картина мира // Славянские этюды. Сборник к юбилею С. М. Толстой. М., 1999. С. 103–115.

Бушетић, Мокрањац 1902 — *Бушетић Т. М.*, *Мокрањац С. С.* Српске народне песме и игре с мелодијама из Левча // Српски етнографски зборник. Књ. 3. 1902.

Вельмезова 2004 — *Вельмезова Е. В.* Чешские заговоры. Исследования и тексты. М., 2004.

Вендина 2008 — *Вендина Т. И.* Карта Л 136 Зверобой / Пробные карты лексического атласа русских народных говоров // Лексический атлас русских народных говоров (Материалы и исследования) 2008. СПб., 2008. С. 577–585.

Виноградова 2000 — *Виноградова Л. Н.* Народная демонология и мифоритуальная традиция славян. М., 2000.

Геров — *Геров Н.* Речник на българския език. Ч. 1–6. София, 1975–1978.

Гридина 1989 — *Гридина Т. А.* Проблемы изучения народной этимологии: Пособие к спецкурсу. Свердловск, 1989.

Дебељковић 1907 — *Дебељковић Д.* Обичаји српског народа на Косову пољу // Српски етнографски зборник. 1907. Књ. 7. С. 171–332.

Деспотовић 1983 — *Деспотовић С.* Из народне магијске медицине (из Лознице) // Расковник. 1983. Пролеће. Година X. Број 35. С. 20–21.

ЕСУМ — Етимологічний словник української мови. Т. 1–. Київ, 1983–.

Иваницкий 1890 — *Иваницкий Н. А.* Материалы по этнографии Вологодской губ. // Известия общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Т. LXIX. Труды этнографического отдела. Т. XI. Вып. 1. М., 1890. С. 1–231.

Иванова 2002 — *Иванова Р.* Култура на кризата — криза в културата. София, 2002.

Илиев 1893 — *Илиев А. Т.* Растителното царство в народната поезия, обичаите, обредите и поверията на българите. Ч. 2 // Сборник за народни умотворения, наука и книжнина. 1893. Кн. 9. С. 409–442.

Ипполитова 2008 — *Ипполитова А. Б.* Русские рукописные травники XVII–XVIII вв.: Исследование фольклора и этноботаники. М., 2008.

Каблешкова 2003 — *Каблешкова Р.* Културните растения във вярванията, обичаите и народното творчество в Пловдивско // Растителният и животинският свят в традиционната култура на българите. Доклади от X-та Национална конференция на българските етнографи, Стара Загора, 2003. София, 2003. С. 190–197.

Колева 1981 — *Колева Т. А.* Гергьовден у южните славяни. София, 1981.

Колокольцева, Кудряшова 2003 — *Колокольцева Т. Н.*, *Кудряшова Р. И.* Варианты наименований растения *василёк* в русских говорах (лингвогеографический аспект) // Лексический атлас русских народных говоров. Материалы и исследования. 2000. СПб., 2003. С. 65–73.

Коломієць, Шамота 1979 — *Коломієць В. П.*, *Шамота А. М.* Семантична мотивація українських назв рослин // Мовознавство. 1979. № 4. С. 20–25.

Колосова 2009а — *Колосова В. Б.* Лексика и символика славянской народной ботаники. Этнолингвистический аспект. М., 2009.

Колосова 2009б — *Колосова В. Б.* Номинация растений в славянских языках по признаку их применения в народной медицине // Диалектная лексика — 2009. СПб., 2009. С. 124–133.

Коновалова 2000 — *Коновалова Н. И.* Словарь народных названий растений Урала. Екатеринбург, 2000.

Макаренко 1913 — *Макаренко А. А.* Сибирский народный календарь в этнографическом отношении: Восточная Сибирь, Енисейская губерния // Записки Русского Географического общества по отделению этнографии. 1913. Т. XXXVI.

Максимович 1856 — *Максимович М. А.* Дни и месяцы украинского селянина // Русская беседа. 1856. № 3. Май. С. 73–108.

Маркевич 1860 — *Маркевич Н. А.* Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян. Извлечено из нынешнего народного быта и составлено Николаем Маркевичем. Киев, 1860.

Мијатовић 1907 — *Мијатовић С. М.* Обичаји српског народа из Левча и Темнића // Српски етнографски зборник. 1907. Књ. 7. Обичаји народа српскога. Књ. 1. С. 1–169.

Михайлова 1993–1994 — *Михайлова Д. А.* Диалектни названия на растението *Tanacetum* (*обротиче*, *обръника*, *оборчлива билка*, *вратига*, *вратика*, *вратлика*, *свъртика*) // Български език. 1993–1994. Кн. 2. С. 107–108.

Народная Библия 2004 — «Народная Библия»: Восточнославянские этиологические легенды / Сост. и коммент. О. В. Беловой. М., 2004.

Никифоровский 1897 — *Никифоровский Н. Я.* Простонародные приметы и поверья, суеверные обряды и обычаи, легендарные сказания о лицах и местах. Витебск, 1897.

Плотникова 1999 — *Плотникова А. А.* Заметки о народном календаре Драгачевского края // Славянские этюды. Сборник к юбилею С. М. Толстой. М., 1999. С. 348–364.

Попов 2004 — *Попов Р.* Народная этимология и культ святых // Язык культуры: семантика и грамматика. К 80-летию со дня рождения академика Н. И. Толстого (1923–1996). М., 2004. С. 131–137.

Потанин 1899 — *Потанин Г.* Этнографические заметки на пути от г. Никольска до г. Тотьмы // Живая старина. 1899. Вып. 1. С. 23–60; Вып. 2. С. 167–239.

Потебня 1914 — *Потебня А. А.* О купальских огнях и сродных с ними представлениях // Потебня А. А. О некоторых символах в славянской народной поэзии. Харьков, 1914. С. 159–187.

Преображенский 1959 — Этимологический словарь русского языка / Под ред. А. Г. Преображенского. Т. 1. А–О. М., 1959.

Раденковић 1996 — *Раденковић Љ.* Симболика света у народној магији јужних словена. Ниш, 1996.

Раденковић 2008 — *Раденковић Љ.* «Теоними» у словенском фолклору // Словенски фолклор и фолклористика на размеђи два миленијума. Београд, 2008. С. 265–280.

Радовановић 1995 — *Радовановић Г.* Вијење венаца у Сокобањском крају // Расковник. 1995. Јесен–зима. Година XXI. Бр. 81–82. С. 42–47.

РС 2001 — Раслінны свет. Тэматычны слоўнік. Мн., 2001.

Сабадош 1982 — *Сабадош І. В.* Прояв народної єтимології в українських діалектних назвах флори // Дослідження лексики і фразеології говорів українських Карпат. Ужгород, 1982. С. 71–79.

Самолечение… 1884 — Самолечение простого народа по травникам // Олонецкие губернские ведомости. 1884. № 40. С. 385–386; № 41. С. 395–396; № 42. С. 405–406; № 43. С. 414–415; № 44. С. 423–424; № 45. С. 430–431; № 46. С. 441–442.

СД — Славянские древности: Этнолингвистический словарь в 5-ти тт. М., 1995–2012.

Симоновић 1959 — *Симоновић Д.* Ботанички речник. Имена биљака. Српска академија наука. Посебна издања. 1959. Књ. CCCXVIII. Институт за српскохрватски језик. Књ. 3. Београд, 1959.

Софийски… 1993 — Софийски край. Етнографски и езикови проучвания. София, 1993.

Софрић 1990 — *Софрић П.* Главније биље у народном веровању и предању код нас Срба. Београд, 1990.

Спространов 1900 — *Спространов Е.* Народен календар от Охрид // Сборник за народни умотворения, наука и книжнина. Кн. 16–17. Ч. 2. Материали. София, 1900. С. 24–40.

СРНГ — Словарь русских народных говоров. Вып. 1–. М.; Л., 1965–.

Стойкова 2007 — *Стойкова С.* Български пословици и поговорки. София, 2007.

Терещенко 1848 — *Терещенко А. И.* Быт русского народа: В 7 ч. Ч. 2. Свадьбы; Ч. 5. Простонародные обряды. СПб., 1848.

Толстая 1978 — *Толстая С. М.* Материалы к описанию полесского купальского обряда // Славянский и балканский фольклор. Генезис. Архаика. Традиции. М., 1978. С. 131–142.

Толстой 1982 — *Толстой Н. И.* Некоторые проблемы и перспективы славянской и общей этнолингвистики // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1982. Т. 41. № 5. С. 397–405.

Толстой, Толстая 2008 — *Толстой Н. И.*, *Толстая С. М.* Народная этимология и этимологическая магия // Толстая С. М. Пространство слова. Лексическая семантика в общеславянской перспективе. М., 2008. С. 226–240.

Туцаков 1965 — *Туцаков Ј.* Психосугестивни елементи у народној медицини Сврљишког Тимока. Српска Академија Наука и уметности. Посебна издања. Књ. 380. Одељење медицинских наука. Књ. 18. Београд, 1965.

Усачева 2000 — *Усачева В. В.* Мифологические представления славян о происхождении растений // Славянский и балканский фольклор. Народная демонология. М., 2000. С. 259–302.

Усачёва 2008 — *Усачёва В. В.* Магия слова и действия в народной культуре славян. М., 2008.

Фасмер — *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка: В 4-х т. СПб.; М., 1996.

Харитонов 1948 — *Харитонов А.* Врачевание, забавы и поверья крестьян Архангельской губернии, уездов: Шенкурского и Архангельского // Отечественные записки. 1848. № 5–6. Т. 58. Смесь. С. 1–24.

Хатемкин 1900 — *Хатемкин А. Г.* Приворотные средства // Киевская старина. 1900. Т. 68. № 4. Апрель. С. 8–9.

Чајкановић 1985 — *Чајкановић В.* Речник српских народних веровања о биљкама. Београд, 1985.

Чубинский 1872 — *Чубинский П. П.* Труды этнографическо-статистической экспедиции в западно-русский край. Т. I. Вып. 1.; Т. III. Народный дневник. СПб., 1872.

Шишманов 1893 — *Шишманов И. Д.* Принос към българската народна етимология // Сборник за народни умотворения, наука и книжнина. 1893. Кн. 9. С. 443–646.

Шпис-Ћулум 1995 — *Шпис-Ћулум М.* Фитонимија југозападне Бачке (коровска флора) // Српски дијалектолошки зборник. XLI. Београд, 1995. С. 397–490.

Barlè 1937 — *Barlè J.* Prinosi slovenskim nazivima bilja // Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena. 1937. Knj. XXXI. Sv. 1. S. 169–292.

Brückner 1985 — *Brückner A.* Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa, 1985.

Budziszewska 1993 — *Budziszewska W.* Z góralskich nazw roślin (na tle porównawczym) // Historia leków naturalnych IV. Warszawa, 1993. S. 87–97.

Czyż 1989 — *Czyż L.* Ziołolecznictwo ludowe Lasowiaków, Rzeszowiaków i Podgórzan — na podstawie materiałów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie // Historia leków naturalnych II. Warszawa, 1989. S. 161–167.

Czyż, Wysakowska 1993 — *Czyż L.*, *Wysakowska B.* Ziołolecznictwo regionu rzeszowskiego w badaniach Franciszka Kotuli // Historia leków naturalnych III. Warszawa, 1993. S. 83–118.

Havlová 1982 — *Havlová E.* Několik slovinských názvů rostlin // Slavia. 1982. Ročník 51. Sešit 2. S. 188–191.

Henslowa 1977 — *Henslowa M.* Z badań nad wiedzą ludową o roślinach. II. *Thymus serpyllum L. — Macierzanka piaskowa*, III. *Ruta graveolens L. — Ruta zwyczajna* // Slavia Antiqua. 1977. T. XXIV. S. 163–212.

Machek 1954 — *Machek V.* Česká a slovenská jména rostlin. Praha, 1954.
Makowiecki 1936 — *Makowiecki S.* Słownik botaniczny łacińsko-małoruski. Kraków, 1936.
Malinowski 1885 — *Malinowski L.* Studia nad etymologią ludową // Prace Filologiczne. 1885. T. I. S. 134–158.
Paluch 1989 — *Paluch A.* «Zerwij ziele z dziewięciu miedz…» Ziołolecznictwo ludowe w Polsce w XIX i początku XX wieku. Wrocław, 1989.
Piekarczyk 2004 — *Piekarczyk D.* Kwiaty we współczesnym obrazie świata. Lublin, 2004.
Seweryn 1946 — *Seweryn T.* Ikonografia etnograficzna // Lud. 1946. T. XXXVII. S. 277–308; 1947. T. XXXVIII. S. 229–276; 1948–1951. T. XXXIX. S. 291–354.
Sikimić 1994 — *Sikimić B.* The Etymological Magic and the Etymology of Text // The Magical and Aesthetic in the Folklore of Balkan Slavs. Papers of International Conference / Ed. D. Ajdačić. Belgrade, 1994. P. 77–84.
Sikimić 1996 — *Sikimić B.* Etimologija i male folklorne forme. Beograd, 1996.
Skok — *Skok P.* Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. T. I–IV. Zagreb, 1971–1974.
Sobotka 1879 — *Sobotka P.* Rostlinstvo a jeho význam v národních písních, pověstech, bájích, obřadech a pověrách slovanských. Příspěvek k slovanské symbolice // Novočeská bibliothéka. Číslo XXII. Praha, 1879.
Szot-Radziszewska 1999 — *Szot-Radziszewska E.* Roślina w etnograficznych publikacjach Władysława Siarkowskiego // Historia leków naturalnych V. Materia pharmaceutica. Warszawa, 1999. S. 106–127.
Szot-Radziszewska 2005 — *Szot-Radziszewska E.* Sekrety ziół. Wiedza ludowa, magia, obrzędy, leczenie. Warszawa, 2005.
Šulek 1879 — *Šulek B.* Jugoslavenski imenik bilja. Zagreb, 1879.

А. А. Плотникова

Полесье как архаическая зона Славии: этнолингвистический аспект

Этнолингвистическое исследование Полесья ведется с начала 70-х гг. XX века. Эти полевые исследования уникальной архаической зоны Славии осуществлялись соратниками и учениками Н. И. Толстого под его руководством до чернобыльской катастрофы 1986 г. (см. об этом [Толстая 1996; 2007]). В 1980 г. была создана «Программа Полесского этнолингвистического атласа», ориентированная на сбор лексического и этнокультурного материала по семейной обрядности, народному календарю, обрядам хозяйственного цикла, народной медицине, фольклору [ПЭС: 21–49]. Программа не только успешно использовалась в украинских, белорусских и русских полесских селах, но и приобрела статус основополагающей этнолингвистической программы по сбору терминологической лексики и экстралингвистических контекстов ее функционирования для работы в любом регионе Славии, в частности, она использовалась в польской части Полесья, в украинских Карпатах, в переработанном виде — на Русском Севере, в Сербии, Болгарии, Македонии и других балканских и карпатских регионах.

Как писал Н. И. Толстой, к славянским архаическим зонам «давно, еще со времен К. Мошинского, относили Полесье („архи-архаическое“, по определению знаменитого польского этнографа)», добавляя, что к таким зонам, «вероятно, следует отнести Русский Север, западную часть Болгарии, центральную и северо-восточную Сербию, Кашубию, Карпаты…» [Толстой 1995: 50]. Особенности этнолингвистической географии самого Полесья также неоднократно исследовались в трудах ученого и сотрудников Отдела этнолингвистики и фольклора Института славяноведения РАН. В этих работах

Анна Аркадьевна Плотникова,
Институт славяноведения РАН (Москва)

Авторская работа выполнена по гранту РФФИ № 12-06-00048-а «Мир и человек в этнолингвистическом словаре „Славянские древности“ (к 90-летию со дня рождения академика Н. И. Толстого)».

нашло подтверждение заключение Н. И. Толстого о делении Полесья «по меньшей мере на три части — западное, среднее и восточное (если провести меридиональные линии приблизительно через Пинск и Мозырь)» [Толстой 1995: 51]. Большой вклад в изучение этнолингвистических аспектов Полесья и его связей с другими славянскими регионами внесли белорусские (Г. А. Цыхун, Н. П. Антропов и др.) и украинские ученые (П. Е. Гриценко, Н. К. Гаврилюк, В. Л. Конобродская и др.).

Полевому исследованию полесской зоны, с особым акцентом на архаические элементы славянской духовной культуры и ее географию, был посвящен специальный выпуск серии «Славянский и балканский фольклор» («Духовная культура Полесья на общеславянском фоне») [СБФ 1986]. Вступительная часть сборника «Материалы к полесскому этнолингвистическому атласу: опыт картографирования» стала первым этапом обобщения богатых экспедиционных данных с представлением их на карте. Картографировались отдельные хронимы и обозначения «чудесных» явлений (например, игра солнца в различные календарные праздники), компоненты обрядности (например, опахивание в обряде вызывания дождя; вид троицкой зелени для украшения дома и т. д.), структурные фрагменты малых словесных жанров (в частности, весенних закличек), типы зачинов и особенности фрагментов баллады о невестке, которая стала тополем, и др. Эти пробные статьи по картографированию архаических явлений полесской зоны показали как возможности самого этнолингвистического картографирования, так и сложную ареальную картину членения Полесья. В следующем сборнике серии, посвященном Полесью, карты стали практически обязательной частью коллективного этнолингвистического исследования (см. [СБФ 1995]), показывающего связи этого архаического региона с культурными диалектами Славии, в частности, восточного Полесья — с русской и другими славянскими традициями; западного Полесья — с западнославянской, а также с карпатской и южнославянской традициями, особенно с востоком славянских Балкан (см., например, [Агапкина 1995: 105]).

С открытием возможностей компьютеризации накопленного в течение многих лет полевого материала в 1993 г. была создана база данных «Полесский архив», развиваемая и пополняемая по сей день. Электронная версия большей части картотеки полесского архива[1]

[1] В качестве итога промежуточного этапа работ над базой данных «Полесский архив» был издан сборник, который включал статьи и материалы, обработанные на основе электронной версии архива первыми наборщиками БД — Т. А. Агапкиной, М. М. Валенцовой, Е. Е. Левкиевской,

позволила значительно расширить фактическую базу этнолингвистического словаря «Славянские древности» и упростить техническую работу с уникальным материалом этой архаической зоны Славии для всех ученых, интересующихся данной проблематикой. Представленные далее в докладе примеры — этнодиалектные контексты, показывающие функционирование тех или иных ключевых терминов народной культуры и отражающие различные мотивы народных представлений, — выбраны почти исключительно на основе базы данных (БД) «Полесский архив». Как будет показано далее, несмотря на то, что внесение рукописной информации в БД не закончено (на протяжении 15 лет сделано лишь две трети всей работы), выборки из БД позволяют представить общую картину географического распространения того или иного (языкового или культурного) явления в Полесье. Это связано с изначальным принципом подбора сел для внесения в электронную версию архива таким образом, чтобы в дальнейшем последовательно и скоординированно заполнялись различные части географической сетки планировавшегося «Полесского этнолингвистического атласа» (подробнее об этих задачах см. [Толстые 1983]).

В 1983 году Н. И. Толстой и С. М. Толстая представили небольшой список полесско-южнославянских этнолингвистических параллелей (лексических, фразеологических, ритуально-обрядовых и др.) [Толстые 1983]. В дальнейшем этот список расширялся, а отмеченные полесско-южнославянские схождения в области лексики и народных поверий рассматривались в отдельных этнолингвистических исследованиях сподвижников ученых (см., например, [Гура 1993; Кабакова 1994; Агапкина 2002; Седакова 2007] и др.); некоторые из них органично составили основу статей словаря «Славянские древности». Многие первоначально зафиксированные факты уточнялись или дополнялись новым материалом в результате применения в полевых исследованиях южнославянских регионов этнолингвистического вопросника [Плотникова 2009], созданного на базе «Программы полесского этнолингвистического атласа» и направленного в первую очередь на исследование терминологической лексики традиционной народной духовной культуры.

В настоящем докладе выбран ареальный аспект полесской этнолингвистической проблематики: анализируются некоторые полесско-южнославянские схождения, касающиеся родильной обрядности и жизни / смерти ребенка. Такие явления в Полесье могут быть известны на уровне ритуала и поверья, тогда как у южных славян — как явление, закрепленное в соответствующей терминологической

А. А. Плотниковой (см. [ВЭС]).

лексике. Например, отмеченное Н. И. Толстым серб. *повратњак* — ‘обладающий способностью к сглазу человек, в детстве дважды отлученный от груди’ — обнаруживает большое число аналогий в разных региональных балканославянских традициях, материал о которых значительно пополнился за прошедшие 15–20 лет. Другие схождения отличаются общностью народно-мифологической лексики вне полесского ареала в восточнославянской традиции (укр. *навки*, *мавки*) и у южных славян (в.-серб. *кукумавки*, словен. *movje*), тогда как в полесской зоне повсеместно фиксируются лишь соответствующие этнокультурные контексты (например, представления о крике и плаче детей, умерших некрещеными, ритуальное предписание наделить их личными именами Адам и Ева, Иван и Мария). Выделяются комплексы параллелей, не имеющих терминологического выражения, но определяющихся на уровне реконструкции древней славянской духовной культуры (например, ярко выраженная в Полесье зависимость жизненного роста ребенка от магических действий — напр., перешагивания через его тело).

(**1**) Рассматриваются явления, которые в Полесье бытуют на уровне ритуалов, народной мифологии и поверий, тогда как у южных славян известна и соответствующая терминологическая лексика для их обозначения. В 1983 г. среди полесско-инославянских соответствий Н. И. Толстой и С. М. Толстая во вводной статье «О задачах этнолингвистического изучения Полесья» к «Полесскому этнолингвистическому сборнику» отмечают: «Полесское поверье о том, что дурной глаз бывает у людей, которых в детстве дважды отлучали от груди (с. Стодоличи, Лельчиц. р-н, Гомельск. обл.; с. Дубровица, Хойницк. р-н, Гомельск. обл. и др.), соответствует болгарским (*повторено дете*), сербским (*повратњак* — Шумадия и Вост. Сербия), словенским (Штирия) представлениям о людях с дурным глазом, причем во всех случаях специально подчеркивается опасность встречи с таким человеком на дороге, на улице и т. п. (полес. *недобры на переход*, болг. *лоша среща* и т. п.)» [Толстые 1983: 11].

В результате последующих полевых экспедиций в Полесье, с одной стороны, и полевого этнолингвистического обследования южнославянских традиций (проведенного в Сербии, Болгарии, Македонии в 1997–2006 гг.), с другой, стало возможным эти аналогии дополнить более подробным материалом, уточнить полесские этнокультурные контексты и определить ареал бытования лексем с семантикой ‘повторить’, ‘повернуть (обратно)’ в Южной Славии.

Для полесской зоны такие контексты можно считать практически повсеместными, так, в западном белорусском Полесье: «Як два

ра́зы гру́дь ма́ты дае [после отнятия от груди опять по какой-то причине начинает кормить грудью], тэ лю́ды шко́дять вже, як доро́гу пэрэйдуть, або як до ха́ты прийдэ» (зап. М. М. Гончаренко, с. Олтуш Малоритского р-на Брестской обл.). Из западного украинского Полесья: «Если ма́ты два ра́за дае гру́дь [отнимает ребёнка от груди, а потом вновь к ней допускает] — та диты́на мо́жэ поврочиты [приобретает способность сглазить]» (зап. Г. И. Берестнева, с. Ветлы Любешовского р-на Волынской обл.); «Як два ра́зы цы́цку ма́ты дае́ диты́ны [отнимет от груди, а потом снова даст грудь], то пога́ны во́чы [у ребенка]. Оно́ гляну́ло — нэ при́дэ ныко́му» (зап. С. М. Толстой, с. Чудель Сарненского р-на Ровенской обл.); «Е така́ ма́ти, што поки́нець корми́ти, одлуча́е корми́ти, а оно́ крычи́ць, то вона́ шкоду́е и зно́ў дае́ ци́цку, то таки́е лю́ди врэ́дные на глаз, глазны́е, ка́юць» (зап. А. А. Архипова и Н. М. Якубовой, с. Боровое Рокитновского р-на Ровенской обл.).

Из центрального Полесья (белорусского и украинского): «Уро́чили, като́рые два раза гру́ди сце. Тэй ребёнок вэ́льми на о́чы пога́ный. Ко́лись моéй ма́тце буў ба́тько — штоб ни поба́чыў, як коро́ва те́лица! Таки́е пога́нэ о́чи мьел» (зап. О. А. Терновской, с. Барбаров, Мозырского р-на Гомельской обл.); «Як мать корми́ла ребёнка гру́дью и пото́м ужэ не могла́ его ко́рмить гру́дью — заболе́ла, чи молока́ не було́, ужэ нельзя дава́ть ему́ гру́дь. Ребёнок бу́дет глазли́вый» (зап. Ф. К. Бадалановой, с. Выступовичи Овручского р-на Житомирской обл.); «Люды́на ма́е пога́ни о́чи. Дитя́ сцэ грудь, сса́ло, ма́ма одлу́чывае — и зра́зу не дала́, а пото́м зноў дала́. И от ви́растэ тэ дитя́ и доро́гу пэрэшо́ў — и ужэ́ як поди́вица свои́ма очы́ма — и дитя́ пропа́ло» (зап. С. М. Толстой, с. Вышевичи Радомышльского р-на Житомирской обл.).

Из восточного Полесья: «Мама кормить грудьми, а патом бро́сить, а патом пажале́е и ў друго́й раз начнёт карми́ть. То будзець дурна́, глаз у челове́ка. И як вырасце, то йому нельзя ни на что молодо́е глядзе́ць (на рабёнка, тялёнка) и на малако́ чужое глядзець — а то што-нибудь абязательно случи́цца. Малако́ прападзець, каро́ва издо́хне» (зап. Н. М. Борзаковской, с. Грабовка Гомельского р-на Гомельской обл.); «А чого́ бува́ють пага́ныя во́чи? Як рябёнка ату́чиш ат груди́, вон крычы́ть, — пажале́е яго́ ма́тка, дасць яму́ груди́ну. Аттаго́ пага́ныя во́чи бува́ють. Бо́же спаси́ яму́ на маладя́тину диви́цца — и на дитя́, и на теля́» (зап. О. А. Терновской, с. Хоробичи Городнянского р-на Черниговской обл.).

Во всех представленных случаях фиксируются наименования человека, способного впоследствии «сглазить» (полес. *поврочиты*) других людей, домашних животных, работу (особенно — тканье) и

т. д.: у ребенка, которого мать дважды допустила до груди, в качестве негативной характеристики отмечаются *поганы вочы*. О самом человеке говорят: *глазный*, *глазливый*, *людына на глаза погана*, *люди врэдныя на глаз* и под.

В Полесской зоне мотивировки запрета на повторное вскармливание грудью сводятся к основным двум вариантам: если мать не соблюдает запрет, ребенок впоследствии будет обладать способностью к сглазу («плохими глазами», «вредными глазами» и т. д.); ребенок станет ведьмой, колдуном (как расширение представлений о «плохих глазах»). Если в первом случае человек, отлученный в детстве от груди дважды, наносит вред окружающим, сам того не зная или не желая[2], то во втором — ведьма или колдун намеренно используют свои сверхъестественные способности во вред окружающим. Этот последний случай при полевом обследовании славянских культурных диалектов встречается достаточно редко, однако в Полесье отмечено именно такое поверье:

«Як ма́ти два разы́ свое́й груди́ дитя́ти дае́ [отняв от груди ребенка, через некоторое время снова кормит], то то́е дитя́ бу́де молоко́ у коро́вы тягти́ — ве́дьма бу́де [Если мать, отняв грудного ребенка от груди, потом снова начинает кормить его грудью, то этот ребенок станет ведьмой (будет отнимать молоко у коров)]» (зап. В. И. Харитоновой, с. Верхние Жары Брагинского р-на Гомельской обл.). Эта запись не является случайной, что подтверждают и другие тексты из того же села, например: «Як мать ко́рмиць, а пото́м ки́не, а диця́ пла́че — його́ исче раз поча́ли корми́ць, то буде́ пога́на [ведьма]» (зап. Н. М. Ших, там же).

В отдельных славянских регионах представление о сверхъестественных свойствах, которые приобретает ребенок, отлученный от груди и вновь допущенный к материнскому молоку, перерастает в поверья о демоне с особыми функциями: например, он якобы становится морой, которая давит по ночам людей (у чехов и словаков [РРОО: 43]), вампиром или ходячим покойником после смерти (у болгар Пирина, в западных и восточных Родопах)[3].

---

[2] В Полесском архиве содержатся подробные записи о таких нежелательных для самого ребенка последствиях: «Оно ж не винова́тое то́е дитя́, а винова́та ма́ти. От она́ не да́ст ему́ цы́цку, што оно́ сса́ло. Пото́м то́е дитя́ ста́не пла́кати мо́цно, ста́не ему́ шко́да, да она́ бу́де зно́ў цы́цку дава́ть, да зно́ў бу́де ссать. От у того́ дитя́тки бу́дуць пога́ные очи. Як он вы́расте, на кого́-то погле́дне, гля́не, — оно́ и не ра́до, — мо́же што-то пога́ное зроби́ца» (зап. Е. М. Назаровой, с. Замошье Лельчицкого р-на Гомельской обл.).

[3] Эти данные предоставляет карта «Мотив повтора» в монографии И. А. Седаковой «Балканские мотивы в языке и культуре болгар» [Седакова 2007: 376].

По полевым этнолингвистическим записям из сербских и македонских культурных регионов, там имеет распространение лишь мотив приобретения таким ребенком способности к сглазу или порче (причиняющей вред окружающим часто помимо его воли), не связанной с превращением такого ребенка в демоническое существо.

Если для болгарской культурной зоны особое значение приобретает мотив повтора (повторение как второе вхождение в исходный статус [Седакова 2007: 283])[4], то в сербских региональных традициях отрицательные качества такого ребенка связываются с представлением о «возвращении», о прекращении последовательности правильных действий на жизненном пути ребенка и повороте течения событий в обратную сторону. Именно с этими поверьями связаны наименования детей, дважды вскормленных грудью: ю.-в.-серб. (Лесковацкий край, Власотинци) *повратњак* букв. ‘возвращенец’, *повратна деца* букв. ‘возвращенные дети’[5], (Пчиня) *повратник*[6]; в.-серб. (Болевацкий край) *повраћено дете* букв. ‘возвращенное дитя’[7], (Пиротский край) *повртњак*, *поврћено* (*поврнуто*) *дете*[8], (Горни Висок) *поврћаљће* букв. ‘возвращенец’ (с уменьшительным суффиксом)[9], *повратено*[10].

Практически повсеместно у сербов мотивировка «неправильных» действий, связанных с возвращением ребенка к груди, — его будущие необычайные способности вредить людям или домашним животным, портить их «глазами» (*тај урочасва* ‘он способен сглазить’). Различны развернутые объяснения этого явления носителями традиции. Так, в Драгачево (западная Сербия) такой ребенок считается *баксуз* ‘приносящий неудачу’: если прохожий повстречает его на своем пути, то все у него пойдет наоборот (*кад га сретне*

---

[4] На карте И. А. Седаковой выделен ареал концентрации наименований такого ребенка: *повторак* и под., охватывающий центральную и южную Болгарию, тогда как само поверье практически общеизвестно у болгар [Седакова 2007: 376]. В качестве добавления к этой карте, подтверждающего данные картографирования, отметим термин *пофтора́к* в том же значении у болгарских помаков в Родопах (с. Аврен, 2001 г., зап. Е. С. Узеневой, А. А. Плотниковой).

[5] Зап. автора, 1998 г., с. Равна Гора.

[6] Зап. автора, 1998 г., с. Ябланица.

[7] Зап. автора, 2005 г., с. Руиште.

[8] Зап. автора, 1998 г., г. Пирот (собеседница из села Паклештица), с. Еловица.

[9] Зап. автора, 1998 г., с. Дойкинци.

[10] Зап. автора, 1998 г., с. Брлог.

човек на путу све ће му се наопако кренути)[11], такое дитя, по поверьям из других сербских регионов, будет вредить людям взглядом (*биће урокљиво*)[12]. Невозможность возвращения к груди ребенка в Драгачево закрепляется через особый ритуал отлучения его от материнского молока: «по-старинному» следовало в пятницу испечь небольшой бублик и через него совершить последнее кормление[13]; в этих ритуально-магических действиях прослеживается идея круга как апотропея — защитного средства ради окончательного и бесповоротного завершения важных действий на жизненном пути человека. В юго-западной Сербии встречаются и «современные» мотивировки негативных последствий нарушения запрета: возвращенный к груди ребенок якобы будет лгать и изворачиваться[14]. Редким исключением можно считать мотивировку данного запрета, связанную с ослаблением сил самого младенца: такой ребенок становится подверженным сглазу (*вата на очи* букв.: ‘хватает <болезнь> от глаз’)[15].

В македонских региональных традициях подтверждаются оба мотива — и нежелательного возвращения к груди младенца (поворота событий на жизненном пути человека в обратную сторону), как у сербов, и повторения, прохождения отрезка жизненного пути дважды, как у болгар. Так, в Тиквешко бытует термин *повратено* (*дете*)[16], а в окрестностях Охрида — оба наименования: и *пофторено* (*дете*), и *повратено* (*дете*)[17]. В толкованиях негативных последствий у македонцев фиксируется то, что в противном случае ребенок будет наносить порчу глазами (макед. диал. *урочува*). На болгарской стороне сербско-болгарского пограничья (с. Железна в районе Чипровцев в северо-западной Болгарии) зафиксировано *пофторено дете*[18]. В западной Болгарии отмечаются также и термины с семантикой ‘возвращение’: например, *повратениче* и описательные наименования — *поврачано на сису* и др. [Седакова 2007: 263].

---

[11] Зап. автора, 1997 г., с. Пшаник.

[12] Зап. автора, 1997 г., с. Вича.

[13] Зап. автора, 1997 г., с. Вучковица.

[14] Зап. автора, 2002 г., с. Рудно.

[15] Зап. автора, 1998 г., с. Еловица.

[16] Устное сообщение Л. Неделкова (1999 г.), многие годы исследовавшего семейную обрядность сел данного региона.

[17] Зап. автора, 1999 г., с. Пештани (обследование данного села по этнолингвистической программе проводилось в рамках проекта «Малого диалектологического атласа балканских языков»).

[18] Зап. Е. С. Узеневой и А. А. Плотниковой, 2000 г.

(2) Обращает на себя внимание южнославянская терминологическая лексика из области народной мифологии, общая с восточнославянской лексикой вне полесского региона, тогда как в Полесье фиксируются лишь архаические представления, связанные с самим обозначаемым денотатом. При этом зафиксированная в Полесье терминологическая лексика народного календаря свидетельствует об общей основе архаических представлений в сфере календаря и народной мифологии.

Так, в славянских народных представлениях умершие некрещеными дети связываются с нечистой силой и, по поверьям, представляют потенциальную или реальную угрозу для окружающих: пугают, беспокоят своим криком; плачут, зовут и даже, по данным отдельных региональных традиций, нападают на людей в облике уродливых птиц и вымышленных животных. В украинской традиции вне полесского ареала зафиксировано также и название духов умерших до крещения младенцев — гуцул. *нявка* [Шухевич 1999: 20], укр. *мавка* (*навка*) [Гринченко 2: 395, 471][19], — восходящее к наименованиям, связанным с широким семантическим полем смерти (др.-рус. НАВИЮ и т. д.), о чем свидетельствуют и «Повесть временных лет», и лексикографические источники данных о древнерусском языке, например, в «Словаре русского языка 11–17 вв.»: *навь* (*навъ*) ‘покойник, мертвец’ (подробнее см. [СД 3: 351–353]). Отчетливы аналогии в южнославянских языках — на сербско-болгарском пограничье и в Словении, где названия духов умерших до крещения («нечистых») детей имеют то же происхождение, — в.-серб. (Горни Висок, окрестности Враня) *навка*, *навјак* (часто собирательное *навје*, *наве*, *навои*, *манавје*)[20], макед. *нави*, *навјаци* и под.[21], з.-болг. *навяк* (pl. *навяци*, *навйаци*)[22] и под., словен. *movje*, *mavi*[23], подробнее см. [Плотникова 2004: 241–242, 686–693, там же — карта].

Как показывают данные «Полесского архива», в Полесье широко распространены обозначения «праздников для мертвых», образованные от **nav-*: *Навский праздник*, *Навское великонне* и т. п. Исследуя мифологические основы народного календаря, Т. А. Агапкина

---

[19] Формулировка толкования *мавка* в словаре Б. Гринченко соответствует полесским представлениям о происхождении русалок: «Дитя женского пола, умершее некрещеным и превратившееся в русалку» [Гринченко 2: 395].

[20] [Златковић 1998; Ђорђевић 1990: 161]; зап. автора, 1998, регион Горни Висок.

[21] См., например, [Вражиновски 1995: 83–84].

[22] См., например, [БМ: 224].

[23] См., например, [Kelemina 1997: 119–121].

справедливо связывает эти полесские хрононимы с южнославянскими и украинскими названиями мифологических персонажей *нави*, *нявки*, *мавки*, показывая на карте их взаимодополняющее распределение в славянских регионах [Агапкина 2002: 298]. Термины от **nav-* в качестве наименования умерших некрещеных детей в Полесье можно считать единичными; так, в монографии Л. Н. Виноградовой приводится текст из села Старые Боровичи Черниговской обл.: «А *ма́ўки* — то нехрэшчоны де́ўки» [Виноградова 2000: 364][24]. Все другие встретившиеся наименования от **nav-* в значении ‘демон — дух умершего некрещеным ребенка’ относятся к другим украинским регионам, южным, а также западным (Карпаты и Предкарпатье), например, у гуцулов: «*Мавки* — се нехрещені душі померлих дїтий, що перед зеленими сьвйитами блукают по польих та над водами та голосьит: „Мав, мав“. Вони ізсисают людий» (с. Зелена Надвирнянского р-на [Хобзей 2002: 139]). В южнорусских народных говорах также фиксируется: *мавка* — «девочка, умершая некрещеной и превратившаяся после смерти в русалку» со ссылкой на Мценский уезд Орловской губернии по данным И. Снегирева из середины XIX в. [СРНГ 17: 287].

Многочисленные полесские контексты свидетельствуют о том, что, несмотря на затемненную, непрозрачную в настоящее время форму наименований типа *Навский праздник*, обозначаемые термином дни посвящаются ушедшим в загробный мир душам умерших, которых следует приобщить к праздникам живых, отмечая так называемую «Пасху мертвых» (*Навский Великдень*)[25], а нередко еще и «Троицу мертвых» (бел.-полес. *Наўска*, *Намска Троица* и т. п.)[26],

[24] Ср. также расширенную версию этого текста в картотеке «Полесского архива»: «Ма́ўки — деўки таки́, ўсе ў белом, лохма́тые, глаза све́тяцца. Да и мущи́на мог руса́лкой стать. Он гла́вный тады́ буў у йих. Маўпу́н, зва́лы. А ма́ўки — то нехри́щаны де́ўки. Як на Тройцу ма́ўки гуля́ють, дак з ними маўпу́н йих. Ўстреть то́ их, дак залоско́чуть до смерти… Ты́е руса́лки на Троéцкой няде́ле гуля́ють ў жы́те, хохо́чут. Як ўстречаеш русалку, бежы са ўсех ног! Догонит — помрёш» (зап. Е. Я. Скидальской от Науменко Т. М., 1929 г. р.). Эта редкая запись представлена также в обширном собрании полесских текстов в разделе «Дети некрещеные» второго тома сборника Л. Н. Виноградовой, Е. Е. Левкиевской «Народная демонология Полесья» (см. [НДП: 232–233]).

[25] На карте в монографии «Мифопоэтические основы славянского народного календаря» Т. А. Агапкина определяет ареал бытования термина *Навский Великдень* ‘Пасха мертвых’ как характерный для всей территории Полесья [Агапкина 2002: 282].

[26] «Три́йца — сэм нэди́ль по Па́сцэ, она зоўэ́цца Сёмуха. И э́то то́жэ ў чэтўэ́р На́ўска Три́йца, мэ́ртўых Три́йца» (зап. О. В. Санниковой, с. Ласицк Пинского р-на Брестской обл.).

причем в связи с поверьями о превращении умерших на Троицу в русалок сам праздник Троицы мог называться *Навская Троица*[27]. Важными моментами такого приобщения является дарение мертвым одежды, праздничных и иных угощений (еды), чистка и приведение в порядок могил — «домов» умерших. Далее приводится выборочный список таких контекстов по базе данных «Полесский архив»; гораздо большее число соответствующих контекстов (как и словоформ хрононимов) включено в монографию С. М. Толстой «Полесский народный календарь», охватывающую содержание также и рукописной части архива по данной проблематике (см. [Толстая 2005: 152–154]).

Отражение в текстах мотива о «празднике (для) мертвых», о поминальных днях: «Навска́я ра́давница, ме́ртвих ра́давница — радавница после Па́ски ў неде́лю, пра́зник, гуля́юць, а ўо ўто́рак навска́я ра́давница, ме́ртвих ра́давница. На е́ту ра́давницу ра́ньшэ бра́ли ба́тюшка на кла́дбишчэ — и ко́жная [т. е. каждая] к своёй моги́лце привэде́ его́ и ён ужэ́ пра́вить. А теперь ужэ́ лю́ди богате́йшые беру́ць во́дку, беру́ть заку́ску, растила́юць полотенце́ и заку́сують ля моги́лки» (зап. О. А. Терновской, с. Барбаров Мозырского р-на Гомельской обл.); «Па́ска для мёртвых [или] На́мский Вэликдэнь — [следующий четверг после Пасхи]» (зап. О. Монаковой, с. Бельск Кобринского р-на Гомельской обл.); «Ва ўто́рник по́сли Па́схи быва́ють На́вии про́вады. Ента усе́ хо́дють на пagóст, ради́тилей памина́ють. И папа́ раньша вади́ли» (запись неизвестного, с. Доброводье Севского р-на, Брянской обл.); «На́мска Па́ска. На ту Па́ску, ужэ по́сле на́шое Па́ски да вот тих мэ́рьтвих Па́ска, то говоры́ли, шо на́до оставля́ть ло́жки на столи́…» (зап. А. А. Плотниковой, с. Нобель Заречнянского р-на Ровенской обл.); «На́ськы вэлы́кдэнь. Ў чэтвэ́р то для мэ́ртвых святку́емо, оччо́т им, похва́ла, для мэ́ршых сьвятку́ют. На́ська Тро́ица — [этот день тоже] для мэ́ршых» (зап. А. В. Гуры, с. Чудель Сарненского р-на Ровенской обл.); «На́сски вели́кдэнь — то от ў нэди́лю Па́ска, а ў четвэ́р — На́сски вели́кдэнь: то йих Па́ска, ка́жемо» (зап. М. А. Бобрик, Щедрогор Ратновского р-на Волынской обл.).

В эти дни совершается и символическое кормление душ умерших: «Навска́я ра́даница — то ужэ хо́дять на кла́дбишчэ. Я́э́чко беру́ть, зако́пують под крест на мо́гилку. Да так покрошы́, да пти́чки поедя́ть» (зап. О. А. Терновской, с. Барбаров Мозырского р-на Гомельской обл.); «У чэтўэ́р На́ўски ўэлы́кдэнь — э́то ужэ́ бэру́ть

[27] «На На́вскую тро́ицу у нас кле́н секу́ть, под око́шки ста́вять, в зе́млю вкопа́ем, в ха́те ста́вили» (зап. В. А. Багрянцевой, с. Золотуха Калинковичского р-на Брестской обл.).

я́йца, кра́сят сўаты́е, нэсу́ть, иду́ть ўси лю́ды на кла́дбишчэ. И там э́тые я́йца зака́пывають. На моги́лы. На матэрь, на ба́тька, на сы́на» (зап. О. В. Санниковой, с. Ласицк Пинского р-на Брестской обл.); «На́вски Вэли́кдэнь. Вэду́ць на кла́дбишча и я́йца зако́паюць, коб там йил [ел умерший]. Та́ки зако́н быў. На́ша Па́ска про́йдэ и их нэжы́вых Вэли́к дэнь на чэтвэ́рг» (зап. С. Н. Железновой, с. Ласицк Пинского р-на Брестской обл.); «На На́мски Вэлы́кдэнь на мо́глицы носили. Там ўжэ яйцэ́ облупим и покрышым на моги́лу» (зап. М. А. Исаченковой, с. Спорово Березовского р-на Брестской обл.); «Писля Па́ски в четверг На́ский Вели́кдень. Вси иду́ть на мо́гилки и пьють, и поляни́цы кладу́ть на мо́гилки, и я́йца зако́пвають ко́ля крижа́. Хай, ка́же, выхо́дять ро́дичи на́ши, беру́ть яи́чко» (зап. А. А. Архипова, с. Щедрогор Ратновского р-на Волынской обл.).

В полесских текстах отмечен и мотив дарения мертвым одежды именно в эти дни: «По́сле па́ски в чэтвэ́р поко́йнику па́ска була́ — На́вьский Велы́кдэн. И и́дуть [в этот день] на мо́глицы и вышы́ють на хрэсты́ хфартучка́. Хто́ пошы́е, а хто́ ле́нты пови́шае» (зап. Л. М. Ивлевой, с. Кончицы Пинского р-на Брестской обл.); «На На́ськы вели́кдэнь жынкы шыю́ть пэрэ́нничкы и ви́шають [на могилы], и мушчы́ны полоти́нца ви́шають» (зап. Т. В. Козак, с. Речица Ратновского р-на Волынской обл.); «От у кого́ деўочки́ помира́ють мали́е, заўсегда́ гуля́ють на э́ту. На́ўска Тро́йца называ́ецца, по́сле Тро́йцы чэтве́р. То ўыно́сять одэ́жу, ўэ́шають где на дўоре́, э́то руса́лочки бу́дуть по жы́ту гуля́ть (на ноч э́то ўэ́шають), оны́ у ноч гуля́ють по жы́ту и э́ту то оде́жу накла́дають. Моя ма́ти ўино́сила, она ба́ло [бывало] на гру́шу поўэ́шае. Это, ка, мои́ деўочки́ приду́ть, да бу́дуть убира́цца да по жы́ту гуля́ть. Руса́лки» (зап. О. В. Санниковой, с. Радчицк Столинского р-на Брестской обл.).

Материалы из разных сел Полесья, помимо богатства терминологии от **nav-*, дают возможность получить представление и о внутренне законченном сюжете, относящемся к ритуально-магическим действиям, связанным с пугающим криком или плачем душ некрещеных детей, в других славянских зонах называемых *нави* (и под.). Эти мифологические существа, по полесским данным, могут появляться в Троицкие праздники, которые называются термином, восходящим к **nav-* (или $^{+}$*рус*(*ал*)-). Например: «У жы́товы на бол'шынсво́ б'э́гали <русалки>, гдэ жыта́. Оны́ ж св'аты́е, ты́йе руса́лкы, ка́жут', нэхрэшчэ́ныэ д'ет'и. Поб'егайут' на руса́л'ный ты́жден'. Пото́м онэ́ на нэбэса́ иду́т'» (зап. А. В. Тер-Аванесовой, М. Н. Толстой, с. Радеж Малоритского р-на Гомельской обл.); «Як зва́лы? [умерших до крещения] — руса́ўкы. На троéцкому ты́жню выхо́дят ты́и руса́ўкы, до со́нэйка. Вэли́ка чэри́дка дытько́в» (зап.

И. Кондрашовой, с. Олтуш Малоритского р-на Брестской обл.). Умершие на Троицкой неделе некрещеные дети становились русалками, о чем свидетельствуют полесско-белорусские тексты: «На руса́льнай няде́ле [на Троицкой. — *А. П.*] нехришчо́нае дитя́ умре́, е́та ужэ́ шчыта́лася руса́лка з яго́ ужэ́» (зап. А. В. Гуры, с. Барбаров Мозырского р-на Гомельской обл.).

Умерший в любое время года некрещеный младенец, по полесским народным представлениям, также превращался в русалку: «…нэхрищёное дитя умэ́рло — гово́рять „русалочка“» (зап. Т. Л. Ермолаевой, с. Мощенка Городнянского р-на Черниговской обл.); «Если ребёнок у́мер да крещéния — стано́вицца руса́лкой» (зап. Ф. К. Бадалановой, с. Челхов Климовского р-на Брянской обл.); «Как умрэ́ нехрещёный хло́пчик чи де́вочка — в руса́лку превраща́ецца. Без ы́мя бы́ли» (зап. Л. В. Зубовой, с. Хоробичи Городнянского р-на Черниговской обл.)[28].

Широко распространенные в Полесье мифологические персонажи (далее — МП), происходящие от умерших некрещеными младенцев, по отношению к людям могут быть агрессивны (напасть на человека, защекотать его и т. д.) или проявлять себя в соответствии с традиционным для младенцев поведением — подавать голос, кричать, плакать, звать мать и т. п. Во всех этих случаях типичным оберегом от данного МП являются ритуально-магические действия, связанные с крещением младенца: называние его личным именем, окропление водой, прикрытие наготы некрещеного (одаривание МП одеждой или символическое выбрасывание тряпки, платка).

У южных славян демонические персонажи, происходящие от душ умерших некрещеными детей, представляются чаще в виде птиц, нападающих на людей и стремящихся разорвать их на части (словенцы), они кричат, свистят, дразнят и гоняют людей (словенцы, хорваты, сербы), мучают и душат маленьких детей (Бока Которска в Черногории), отнимают молоко у роженицы, пьют кровь новорожденных, их крик предвещает смерть (Горни Висок в восточной Сербии), нападают на рожениц и младенцев, вызывая болезнь (Македония, Западная Болгария) и т. д. (см. подробнее [Плотникова 2004: 688–693]), при этом мотив символического крещения

[28] Русалкой, являющейся людям, как правило, на Троицкие праздники, по полесским данным, могли стать и другие «заложные покойники» (люди, умершие неестественной смертью): утопленники, висельники и др., подробнее об этом см. в работах Л. Н. Виноградовой, например, в монографии, в разделе «Кто становился русалкой?» [Виноградова 2000: 145–148].

душ умерших некрещеных детей встречается эпизодически и лишь на периферии Южной Славии: например, на крайнем словенском северо-западе считается, что их следует окрестить водой из ручья [Kelemina 1997: 121].

В большинстве текстов отмечается звуковая характеристика исследуемого полесского МП, соотносимая с традиционными названиями его у южных славян: ю.-в.-серб. *свирац*, з.-серб. *дрекавац*, герцеговин. *плакавац*, *јауд* (подробнее см. [Плотникова 2004: 689–691]), например: «Кали ди́ти поме́рли до крэшчэ́ння, то бу́дут пла́кати. Ка́жуць, на мо́гилках чу́ли плач» (зап. Е. Е. Соболевской, с. Задворяны Пружанского р-на Брестской обл.); «Як дытя́ нэхри́шчанэ, то воно́ на мо́гилках пла́чэ…» (зап. А. В. Гуры, с. Чудель Сарненского р-на Ровенской обл.); «Нэхры́шчэне дитё на кла́дбишчэ пла́чэт с двяна́цаты часоў — яго́ нихто́ не прынима́э ў цэ́ркву» (зап. М. Г. Боровской, Е. С. Зайцевой, с. Присно Ветковского р-на Гомельской обл.); «Ўу́шла я одна́жды на ўу́лицу, а там сирэ́нь у суседа и пуд ту́й сирэ́нь так кричи́ть дитя́, гука́е: „Мама“ и як гукне, кажэцца што аж… Лес ря́дом, е́лье у нас, луна́ [эхо] иде́. Ярко-ярко, голосно гука́е. „Мама“» (зап. О. В. Санниковой, с. Стодоличи Лельчицкого р-на Гомельской обл.).

Как правило, такие полесские тексты составляют жанр текстов-предписаний о том, какие действия следует предпринять, если слышишь детский плач в неожиданном месте (на кладбище, в кустарнике на чужом дворе и т. п.) в неурочное время (чаще — ночью). Услышав голос МП — духа некрещеного ребенка, нужно сразу окрестить его — дать имя. Обычно в Полесье среди имен такого рода главенствующее положение занимают *Адам* и *Ева*[29]: «Як хтось пла́чэ на мо́глицах, то трэ́ба каза́ты: „Як шчо хло́пэць, то Ада́м, а як шчо ди́вчына, то Евка“. Тоди́ нэ бу́дэ пла́каты, бо то воно́ пла́чэ нэхре́шчанэ» (зап. А. В. Гуры, с. Березичи Любешовского р-на Волынской обл.); «Як похоро́нены рэбе́нок нэкрэ́шчэны, крычы́ть рэбёнок. Як почу́ешь, шчо крычы́ть, то, ка́жуть, як дэ́вочка, то Ева, як мальчык, то Ада́м, то больш крыча́ть нэ бу́дэ» (зап. К. Е. Рутковской, с. Ласицк Пинского р-на Брестской обл.); «Ребе́нок, кото́ры некрешчо́ный, он про́сит, шо́бы кто таки́ счастлы́вая душа́ ему́ и́мя дала́, [и ему дают имя] первобы́тного человека: Ада́м и Ева»

[29] Например, в с. Вышевичи Радомышльского р-на Житомирской обл.: некрещеных детей называли *Одам* и *Ева*. Во время Потопа в ковчеге у Господа появились хлопчик и девочка. После Потопа Господь создал людей — девочку — Еву и мальчика — Адама (пересказ текста в записи А. Л. Топоркова).

(зап. О. В. Санниковой, с. Онисковичи Кобринского р-на Брестской обл.). Иногда отмечается, что умерший некрещеным ребенок плачет через семь лет после захоронения, но предписание остается тем же: «Ек ро́дица и умрэ́ нехри́шчэный, че́рес сим лит воно́ пла́чет, про́сит, коб ему́ и́мя дал. Ка́жут, е́сли де́вочка, хай бу́дэ Ева, ек ма́льчик — Ада́м» (зап. Е. Б. Владимировой, с. Заболотье Брестского р-на Брестской обл.)[30].

После этих действий плач прекращается, и опасность, которой подвергается прохожий, исчезает: «Як пла́чэ рэбьёнок ў час но́чы на кла́дбышчах, то скажы́ як ди́ўка, то Ева, а хлопец то Ўода́м. Ў ту мину́ту сцихне, ужэ имъя дасьце́, это нехры́шчэнэ де́ци пужа́юць, кото́рым и́мъя не дава́ли» (зап. Т. А. Агапкиной и А. Л. Топоркова, с. Стодоличи Лельчицкого р-на Гомельской обл.); «Шоў чэлове́к доро́гою и запла́кало на мо́гилках дитя́. То ляка́ло. И вон кажэ: „Як хло́пац, то Ада́м, а як де́ўка, то Ева“. Дав и́мья дитя́ти. И перастáло дитя́ пла́кать» (зап. С. М. Толстой, с. Тхорин Овручского р-на Житомирской обл.).

В качестве вариантов имен, которые даются умершим некрещеным детям во время их плача, крика, «гукания», в Полесье часто встречаются также *Иван* и *Марья*, *Иван* и (*Г*)*анна*, причем если первая пара, возможно, соотносима с названием «двойного» цветка (*Иван да Марья*), то вторая возникает в составе вербальной формулы благодаря возможностям простейшей рифмы: «Як умре́ мале́нький, не хри́шченый ди́тятко — ляка́е, пла́че. Тре́ба сказа́ць: „Я тебе даю имя: як пан, то Иван, як па́нна, то Га́нна“» (зап. Т. А. Коноваловой, с. Боровое Рокитновского р-на Ровенской обл.); «Як и́деш на мо́гилках, а тебе́ здае́ца, шо детки́ некреше́нни гука́ют, то трэ́ба каза́ти: „Як пан — то хай бу́дэ Иван, а як па́нна, то хай бу́дэ Га́нна“» (зап. В. И. Харитоновой, с. Чудель Сарненского р-на Ровенской обл.).

Карта Г. И. Кабаковой, исследовавшей географию полесского сюжета о детях, умерших некрещеными, показывает, что даваемые в этих случаях имена *Адам* и *Ева* распространены в западном Полесье, причем нередко они дополняются и другими именами, а *Иван* и *Мария* — преимущественно в центральном и восточном Полесье (см. карту в: [Кабакова 1994: 315]).

Речевые заклинательные формулы нередко подкрепляются соответствующими ритуально-магическими действиями: называющий

[30] Любопытными здесь представляются балкано-карпатские аналогии с вторичным захоронением умерших, которое чаще совершается через семь лет после смерти, ср., например, [Толстая 1999; Голант, Плотникова 2012: 412–413].

имя ребенка бросает в воздух перед собой, в сторону крика или плача, на дорогу (вариант: разрывает на могилке) какую-либо ткань, часть одежды, ленту: «[Шла по лесу и услышала, что] сэ́ред бе́лого дня тры раза́ ма́ла дыти́на закуво́кола, так то, что нехри́щена поме́рла. Тут трэ́ба ўзять яку́ю шма́точку да ки́нуть. Я ки́нула и кажу́: „Як хло́пец — так Ива́н, а як де́вочка — так Ма́рья“. Оно и не пла́че бо́льше» (зап. Е. Г. Демьяновой, с. Боровое Рокитновского р-на Ровенской обл.); «Дитя́ як умрэ́ нэхрэ́шчэное, то в ночы́ пла́чэт. Кака́я жы́нка у́мная, то ки́нет, где чу́ты го́лос, ху́стку, и гово́рит: „Если хло́пец, то Ива́н цы Степа́н, як ди́вчына, то Га́нна цы Катери́на. Дару́ю я тэбэ и хрэшчу́ я тэбэ“, — [и дитя перестанет плакать. Это русалка]» (зап. О. Ю. Рюрюковой, с. Ветлы Любешовского р-на Волынской обл.); «Ле́нту из косы́ распусти́ть, як почула, що оно́ мня́ [имени] про́сить. Прика́зывали: „Як па́нна, нэха́й бу́дэ Га́нна, а як пан, так хай бу́дэ Ива́н (а як паны́ч, хай бу́дэ Иваны́ч)“» (зап. И. Г. Безруковой, Е. В. Максимовой, с. Чудель Сарненского р-на Ровенской обл.); «Имэна́ называ́ли, кото́рые нехри́щены. Як пла́че — ма́ты в ночь розорвэ́ на мо́ґилке ху́стку, да и ска́же, як оно́ зовэ́тся — Ада́м чи Ева — оно и пэрэста́не» (зап. И. Г. Безруковой, Е. В. Максимовой, с. Курчица Новоград-Волынского р-на Житомирской обл.).

На Брянщине ритуально-магические действия подобного рода приобретают характер ритуала в ежегодном календарном цикле: на Троицу женщины, у которых дети умерли некрещеными, в четверг после Троицы («Сухой») собирались вместе и готовили поминки, угощение для сельских детей, или раздавали им кашу: «А ў Сухи́ чэтве́р, на Гряно́й, ужэ́ ма́тери ты́и сабира́юца, сабира́ют де́так и им ужэ́ абе́д де́лают. [Почему?] А патаму што некряшчо́ный умер» (зап. О. А. Терновской, с. Челхов Климовского р-на); «На Гря́ной [неделе] после Тро́йцы та́я мать, ў кото́рой дитя́тко нехри́шчено [умерло], собира́ет дитя́ток ма́лых и ка́шу дитя́м роздае́т» (зап. В. И. Харитоновой, там же); «Если нехрэ́шченае дитя́ умрэ́, руса́лкой бу́де. „Ой, у́мер не́хрысть! Руса́лкой бу́де!“ У каго́ нехрэ́шченае дитя́ умира́ло, на Гряну́ю неде́лю ва́ри ка́шу э́та ма́тка или пяче́ бала́бки — и раздае́ детём. Мол — нехрэ́шченое ему́ там не хвата́е, нихто́ ему́ ничаго́ не дае» (зап. Ф. К. Бадалановой, там же).

Несколько упомянутых выше мотивов могут встретиться в одном полесском тексте, например, в с. Олтуш Малоритского р-на Брестской области считается, что русалками становятся дети, умершие до крещения, после чего они появляются летом, в мае (на какой-то определенной в году неделе в полдень и в полночь) в лесу, в жите, на кладбище. Если кто-нибудь увидит русалку, то

надо дать ей имя (мужское или женское), и она исчезает: «[Русалки] — нэхрэ́шчэные ди́ты, роды́ца и до хрыста́ помира́е. Як я́вица, поба́чыт и имена́ накладáет — чи Иван, чи Ольга [и они исчезают]. [Появляются] чи в ле́се, ў жы́те, у мо́гилок. Би́льш всего́ в ли́те, в ма́е, у повдня́, повно́чи. Шо-то я чу́в, шо таки́й ты́ждэнь е…» (зап. М. М. Гончаренко).

Помимо поверий о связи душ умерших некрещеных детей с русалками, в Полесье известно и отождествление их с падающими звездами, поверья о местонахождении душ умерших некрещеных детей в вихре. При этом состав и последовательность ритуально-магических действий остаются неизменными, например, в западном Полесье и на Гомельщине: «Як ото́ зи́рка па́дайэ, хрэ́стить ту́ю зи́рочку и ка́жуть: „Во и́мя Отця и Сы́на, чи Ива́н, чи Мари́на“» (зап. В. И. Харитоновой, с. Грабово Любомльского р-на Волынской обл.); «Як нихрэ́шэний умрэ́, а ви́йдэш на двир и па́даэ зи́рка, то ка́[ж]уть, тако́ перэхрэсти́ти и да́ти имя́, дава́ты и му́жски, и жыно́чэ, любэ́ имя, то́льки то и то. То ўжэ ка́[ж]уть, ста́нешь на том све́те кумо́й» (зап. В. И. Харитоновой, с. Забужье Любомльского р-на Волынской обл.); «Як па́дае зве́здочка, то старики́ давно́ казивали: „Як хло́пчик, то Ада́м, як де́вочка, то Ева“. Як она́ ко́тица, то и говора́ть» (зап. В. И. Харитоновой, с. Замошье Лельчицкого р-на Гомельской обл.); «Колы́ ба́чать, шо па́дае з нэ́ба [звезда], то каза́лы: Ада́м и Ева» (зап. Е. М. Шило, с. Оброво Ивацевичского р-на Брестской обл.); «Як идэ́ш и зо́рка па́дае, то, ка, д’э́ты нехри́шчаные, и на́звэш як назвэ́ш, чы Ива́н, чы Степа́н, чы Ева, и хрэ́стишса. Хри́стять, называ́ють по и́меню» (зап. М. Н. Толстой и Н. М. Якубовой, с. Радеж Малоритского р-на Брестской обл.).

В других селах западного Полесья, а также в центре зоны прослеживается мотив местонахождения душ умерших в крутящемся вихре: «Ето та́ко як ду́жэ бу́ря, да вихри́ от та́к летя́ть, песо́к несе́, да як во́де, да на тебе́ лети́ть песо́к уже́, ска́жеш на имья́ жэ́ншчыны и мужыка́. Яко́е любля́шчэе, ти Ма́рья, ти та́м, яко́е вам нра́вица и мужыка́ мо́жно, ме́нне на́до жэ́ньское чы мужско́е. Там чы Ма́рья, чы Йива́н. А то нэхри́шчэные, гово́рать, де́тки. Ду́шэчки. Лета́ють. То таке́ говора́ть» (зап. Е. М. Назаровой, с. Копачи Чернобыльского р-на Киевской обл.). Ср. также: «Вы́хор робы́цьця от тых дытэ́й, шо ны хры́счаны…» (зап. Е. В. Тростниковой, с. Чудель Сарненского р-на Ровенской обл.).

Полесские этнокультурные свидетельства о способах защиты человека при появлении душ умерших новорожденных находят соответствия в ряде архаических славянских регионов, в том числе — на Карпатах. Так, в словацком Замагурье, примыкающем

к польско-словацкому пограничью в районе Татр, отмечается, что по ночам людей пугали души некрещеных детей, просящих о крещении, и тогда, чтобы душа окрестилась, успокоилась и перестала являться, следовало сказать: «Jak jež chlopiec, nech ci be mjano Adam; jak jež džifce, nech ci be mjano Eva» («Если ты мальчик, пусть твое имя будет Адам, а если девочка — пусть твое имя будет Ева» — [Zamagurie: 260], ср. также [Chorvathova 1994: 47]). С метеорологическими поверьями связаны закарпатские мотивы о некрещеных детях. Так, по полевым исследованиям Закарпатья, если сильно гудит, свистит, «пищит» ветер или вихрь (*повітру́ля*), то говорили, что это пищат и плачут души новорожденных (*діточкы́*), которых следовало отвернуть, отправить в пустынные места: «Старші жінкы, коли начиналася повітруля, сіно робили чи шо там, починалася повітруля, забират сіно, и они відправляли, кажэ: „Марья, Агафо, там усяки имена называли, иди на хашчу, на пустыні“» (Межгорский р-н, с. Торунь, соб. зап.). Аналогичные представления о крутящихся в вихре душах некрещеных детей зафиксированы и в другом архаическом регионе Славии — Кашубии: Б. Сыхта в своем словаре при заглавным слове *krącëšk* ‘вихрь’ поясняет, что, по народным поверьям, вихревые кружения возникают в ветре, когда дьявол гонит души умерших, главным образом — некрещеных детей, поэтому при появлении вихря душу некрещеного ребенка следует окрестить, проговорив магическую формулу: «Я тебя крещу: если ты парень, то даю тебе имя *Jadam*, если ты девочка, то даю тебе имя *Jeva*, во имя Отца, сына и святого духа» [Sychta 2: 240–241].

В целом, по представлениям западных славян, умершие некрещеные дети, как правило, превращаются в блуждающие огоньки, способные всячески вредить людям: сбивать с дороги, нападать и т. д. [РРОО: 51; СД 1: 198]; при этом мотив символического крещения вне контактных с полесской зоной регионов встречается достаточно редко (см. [СД 2: 87–88]).

* * *

Полесские диалектные тексты из области народной духовной культуры сохраняют и такие сведения, которые способствуют углубленному изучению самих культурных механизмов славянской культуры, независимо от того, что при этом они не находят прямого отражения в терминологическом «словаре» древней славянской культуры.

Обращаясь к культурному тексту родинной обрядности, в качестве примера можно отметить круг народных представлений, связанных с запретом перешагивать через ребенка. Почти во всех славянских регионах считалось, что перешагивать через дитя (и даже через взрослого молодого человека) опасно для его жизни. Полагали, что ребенок перестанет расти, и это поверье известно у западных и восточных славян, а также у сербов и хорватов-далматинцев. Кроме того, считалось, что он тяжело заболеет (у южных славян в разных регионах), и чтобы этого не случилось, предписывалось перешагнуть через него в обратную сторону, возвращая таким образом ход событий в «исходное», правильное состояние (см. [СД 4: 13–16]). Записи, сделанные в полесских экспедициях и отраженные в базе данных «Полесский архив», показывают весь спектр этих архаических контекстов, относящихся к ритуально-магическим действиям перешагивания, которое трактуется как опасное для жизни ребенка и вызывающее его болезнь, а в ряде случаев, наоборот, как целебное, если совершается с соответствующим приговором в определенном месте и в подходящее время матерью ребенка (подробнее см. [Плотникова 2012]).

Таким образом, мы попытались рассмотреть различные типы полесско-южнославянских соответствий, показывающие роль полесских этнолингвистических данных разного типа в исследовании древней славянской культуры. Именно полесский материал лег в основу монументального труда Московской этнолингвистической школы — пятитомного этнолингвистического словаря «Славянские древности». К концу XX века в результате целенаправленного активного обследования лингвистами, музыковедами, этнографами, фольклористами, культурологами Полесье оказалось одним из наиболее изученных регионов, а данные о его архаической народной культуре и соответствующей терминологической лексике стали доступны широкому кругу ученых (сначала благодаря рукописной картотеке, затем — созданию БД «Полесский архив»). Несмотря на то, что Полесский этнолингвистический атлас остается пока незавершенным, исследования в Полесье стали первым опытом представления результатов этнолингвистического картографирования в отдельно взятой архаической славянской зоне, не только в общеславянской перспективе, но и с точки зрения ее внутреннего членения. Детально проработанные вопросы функционирования терминологической лексики Полесья и изучение возможностей ее реконструкции с привлечением широкого славянского материала позволили в дальнейшем использовать модель изучения Полесья в ареальных исследованиях самых разных архаических регионов, а также древней славянской культуры в целом.

Литература

Агапкина 1995 — *Агапкина Т. А.* Очерки весенней обрядности Полесья // СБФ 1995. С. 21–107.

Агапкина 2002 — *Агапкина Т. А.* Мифопоэтические основы славянского народного календаря. Весенне-летний цикл. М., 2002.

БМ — Българска митология. Енциклопедичен речник. София, 1994.

Виноградова 2000 — *Виноградова Л. Н.* Народная демонология и мифоритуальная традиция славян. М., 2004.

Вражиновски 1995 — *Вражиновски Т.* Народна демонологија на македонците. Скопје; Прилеп, 1995.

ВЭС — Восточнославянский этнолингвистический сборник. М., 2001.

Голант, Плотникова 2012 — *Голант Н. Г.*, *Плотникова А. А.* Этнолингвистические материалы из Мунтении (округ Бузэу, села коммуны Мерей, Мынзэлешть, Пьетроаселе, Скорцоаса) // Карпато-балканский диалектный ландшафт: Язык и культура. Вып. 2. 2009–2011. М., 2012. С. 361–423.

Гринченко — *Гринченко Б.* Словарь української мови. Т. 1–4. Київ, 1907–1909.

Гура 1993 — *Гура А. В. Воробеи испечен* // Philologia Slavica: к 70-летию со дня рождения академика Н. И. Толстого. М., 1993.

Ђорђевић 1990 — *Ђорђевић Т.* Деца у веровањима и обичајима нашега народа. Београд; Ниш, 1990.

Златковић 1998 — *Златковић Д.* Душе умрлих као митолошка бића у Горњем Високу // Расковник. Год. XXIV. Бр. 93–94. Београд, 1998. С. 44–62.

Кабакова 1994 — *Кабакова Г. И.* Дети, умершие до крещения // Проблеми сучасної ареалогії. Київ, 1994. С. 312–317.

НДП — Народная демонология Полесья: Публикации текстов в записях 80–90-х годов XX века / Сост. Л. Н. Виноградова, Е. Е. Левкиевская. Т. II. М., 2012.

Плотникова 2004 — *Плотникова А. А.* Этнолингвистическая география Южной Славии. М., 2004.

Плотникова 2009 — *Плотникова А. А.* Материалы для этнолингвистического изучения балканославянского ареала. М., 2009. Изд. 2-е, испр. и доп. [Изд. 1-е — 1996].

Плотникова 2012 — *Плотникова А. А.* Полесский архив: база данных и исследования // Живая старина. 2012. № 4. С. 35–38.

ПЭС — Полесский этнолингвистический сборник. М., 1983.

РРОО — Рождение ребенка в обычаях и обрядах. Страны зарубежной Европы. М., 1997.

СБФ 1986 — Славянский и балканский фольклор. Духовная культура Полесья на общеславянском фоне. М., 1986.

СБФ 1995 — Славянский и балканский фольклор. Этнолингвистическое изучение Полесья. М., 1995.

СД — Славянские древности. Этнолингвистический словарь / Под общей ред. Н. И. Толстого. Т. 1–5. М., 1995–2012.

Седакова 2007 — *Седакова И. А.* Балканские мотивы в языке и культуре болгар. М., 2007.

СРНГ — Словарь русских народных говоров. Вып. 1–. Л./СПб., 1965–.

Толстая 1996 — *Толстая С. М.* Этнолингвистическое изучение Полесья: состояние и перспективы // Полїсся: мова, культура, історія. Матеріали міжнародної конф. Київ, 1996. С. 47–54.

Толстая 1999 — *Толстая С. М.* Балканский обычай «вторичного погребения» в общеславянской перспективе // Македонский язык, литература и культура в славянском и балканском контексте. М., 1999. С. 249–257.

Толстая 2005 — *Толстая С. М.* Полесский народный календарь. М., 2005.

Толстая 2007 — *Толстая С. М.* Полесские экспедиции // Как это было… Воспоминания сотрудников Института славяноведения. М., 2007. С. 89–99.

Толстой 1995 — *Толстой Н. И.* Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М., 1995.

Толстые 1983 — *Толстой Н. И.*, *Толстая С. М.* О задачах этнолингвистического изучения Полесья // ПЭС. С. 3–21.

Хобзей 2002 — *Хобзей Н.* Гуцульська міфологія. Етнолінгвістичний словник. Львів, 2002.

Шухевич 1999 — *Шухевич В.* Гуцульщина. Ч. III. Видання друге. Верховина, 1999.

Chorváthová 1994 — *Chorváthová L.* Rodinné zvykoslovie // Narodopisné informácie. 1. Bratislava, 1984.

Sychta — *Sychta B.* Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej. T. 1–7. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1967–1976.

Zamagurie — Zamagurie. Národopisná monografia oblasti. Poprad; Košice, 1972.

И. А. Седакова

О ‘ЛЕГКОСТИ’ И ‘ТЯЖЕСТИ / ТРУДНОСТИ’ В ЯЗЫКЕ И КУЛЬТУРЕ СЛАВЯН: ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

В этой статье ставится задача рассмотреть, насколько лексическая семантика ‘легкости’ и ‘тяжести’ / ‘трудности’ соотносится с культурной, какие лексические значения и почему оказываются ключевыми для культурной семантики и прагматики. Для этого необходимо выявить общеславянские семантические доминанты в понятиях ‘легкость’ и ‘тяжесть’ / ‘трудность’ и определить их релевантность / нерелевантность применительно к системе представлений духовной культуры. Еще один важный вопрос, которого мы касаемся, — это насколько симметричны в лексике и культуре оппозиции, то есть насколько велика вероятность заполнения обеих частей бинарного противопоставления, и позитивного, и негативного. Мы будем исходить из ‘легкости’ и ‘легкого’, а ‘тяжесть’ (‘тяжелое’) и ‘трудность’ (‘трудное’) будем привлекать для рассмотрения антонимических отношений и семиотических оппозиций.

Заявленная в заголовке оппозиция трехчленна, и это уже задает лингвистическую интригу. В русском языке нет строгой четырехчленной симметрии противопоставлений, поскольку рус. *легкость* и *легкий* — слова с разветвленной полисемией и соотносятся и с малым весом, и с простотой. Таким образом, *легкость* и *легкий* (**lьgъ*(*jь*) [ЭССЯ 17: 69]) противостоят двум другим существительным и прилагательным — *тяжесть* (*тяжелый*) и *трудность* (*трудный*). В других славянских языках наблюдается иная картина — ‘легкость’ обозначается разными словами, частичными синонимами. Если ‘легкий’ как ‘нетяжелый’ передается общеславянскими континуантами **lьgъ*(*jь*), то ‘нетрудный’ — дериватами от других корней: так, в болгарском и македонском языках ‘нетрудный’ — *лесен*, в сербском — *ласен*, в словенском *lasen* из **lьstьnъ(jь)* [ЭССЯ 17: 100–101];

Ирина Александровна Седакова,
Институт славяноведения РАН (Москва)

Работа выполнена в рамках Программы Президиума РАН (проект «Балканский текст в этнокультурной и этнолингвистической перспективе»).

в польском это значение передается прилагательным *łatwy*, ср. белор. *латва* (‘легко’), укр. *латвий* (**latvъjь*, ср. *latati* ‘брать(ся), хватать(ся), летать’) [ЭССЯ 14: 51]. Лексика ‘тяжести’ / ‘трудности’ тоже представлена в славянских языках и полисемией, и синонимией: если в русском языке используются континуанты обоих корней **trud-* и **tęg-*, то в других славянских языках оба значения могут сочетаться в одном полисемичном слове (чаще всего, дериватах от **tęg-*).

Континуанты праслав. **lьgъ*(*jь*) присутствуют во всех славянских языках (укр. *легкий*, белор. *лёгкі*, болг. *лек*, серб. *лак*(*и*), хорв. *lak* и *lagan*, словен. *lagak*, *lahak*, чеш. *lehký*, словац. *l’ahký*, польск. *lekky*, в.-луж. *lohki*, н.-луж. *lekki*, *letki*[1]) и в отличие от многих дериватов от других общеславянских корней, в том числе **trud-* и **tęg-*[2], не дают огромного множества морфонологических и др. вариаций и имеют почти одинаковые значения, расходясь в некоторых нюансах и в сочетаемости[3]. Язык культуры в каждой славянской традиции развивает и (или) усиливает некоторые значения в контексте ряда поверий, представлений и ритуалов (см. ниже), давая примеры межславянской культурной синонимии или демонстрируя специфические черты в конкретной традиции.

Лексикографические статьи ***Легкий*** заметно различаются между собой, даже если исходить из анализа лишь толковых словарей

---

[1] Мы не ставим целью дать исчерпывающий список дериватов с учетом их диалектных вариантов.

[2] Словообразовательное гнездо **tęg-* очень велико и разнообразно в славянских языках, особенно в южнославянских, где вследствие «мены юсов» наблюдается соединение семантики ‘тужить’ и ‘тяжелый’.

[3] Многие значения и словоупотребления, относящиеся к ‘легкости’, являются общеславянскими и явно архаическими. Интересно в этом плане обозначение внутреннего органа ‘легкое’: за исключением ряда южнославянских языков, где фиксируются иные наименования (болг. *бял дроб*, словен. диал. *drob*, серб. *плућа* и др.), включая заимствования из тур. (болг. *джигер*), все славянские языки дают идентичную лексику (укр. *легеня* — ‘легкое’, *легкуша* — ‘язык, дыхательное горло, легкие, сердце и печенка вместе’ [Гринченко 1908: 350]), подробный перечень см. [ЭСБМ 5: 297–298; Фасмер 2: 474 и др.], см. и карты ОЛА [ОЛА 9: карта 53а, 53б ‘Легкие человека’]. Однако в диалектах южнославянских языков встречаются и общеславянские именования от **lьgъ*(*jь*). О народной терминологии и о восприятии легких см. [Кабакова 2000: 53, прим. 1; МЧТ: 13–17; Siatkowski 2012: 223–243 и др.]. Здесь же отметим народное соотнесение легких и печени, которые иногда противопоставляются: так, идее «легкости» легких может окказионально противостоять идея «тяжести» печени (соответствующие термины фиксируются на белор.-литовском пограничье) [ОЛА 9: карты 54а, 54б ‘Печень человека’].

русского языка (правда, разной направленности и разного времени составления). Так, в Проспекте активного словаря для *легкий* дается 7 основных семантических блоков (автор статьи Е. Бабаева [ПАС: 238–243]), а в Толковом словаре русского языка — 10 [ТСРЯ: 405]. При этом в Словаре В. И. Даля приводятся четыре основных значения с рядом синонимов для каждого значения (1. Маловесный или нетяжелый, нетяжкий; 2. Несильный, необременительный, нетрудный; 3. Подвижный или поворотливый; расторопный; 4. Неосновательный, поверхностный [Даль 2: 242–243]). Не вдаваясь в лексикографический анализ интерпретации лексемы *легкий*, присоединимся к мнению С. М. Толстой, которая в рецензии на «Проспект активного словаря» (ПАС) по поводу прилагательного *легкий* предлагает свести основные значения к трем блокам:

«Семантическим ядром первого блока является физическое понятие веса, реального или воображаемого (условно 1.1). К нему примыкают два блока — „метонимический“ и „метафорический“. Метонимический охватывает все значения, относящиеся к походке, полету, маневренности и т. д., потому что это свойство вытекает из физической легкости (малого веса): легкие предметы движутся свободнее, чем тяжелые (1.2.). Метафорическое значение меняет в прототипическом значении физический вес (массу) на абстрактное „содержание“: *легкий разговор*, *чтиво*, *музыка* (последнее с более специализированным значением) и т. д.; близким было бы *несерьезный* или *неглубокий* (1.3.). Ядром второго, совсем другого, не физического значения является свойство, относящееся к сфере усилий, труда, муки, стараний, преодоления препятствий: 2.1. условно — ‘не требующий больших усилий’ (*легкая задача*, *музыкальная пьеса*; *легкий человек*, *ребенок*, *легкая нажива*, *добыча* и т. п.); 2.2. ‘лишенный препятствий, преград’ (*легкое дыхание*, *легкая жизнь*). Наконец, третья сфера связана с понятием степени: ‘небольшой, слабый, малый’ (*легкий ветерок*, *грусть*, *наказание*, *болезнь*, *флирт*, *завтрак* и т. д.). Эти три главных сферы связаны между собой по-разному: если третью сферу можно воспринимать как семантически производную от первой, прототипической (их объединяет признак „малый, слабый“), то вторая сфера по отношению к прототипической оказывается более автономной» [Толстая, в печати].

Как кажется, эти блоки покрывают основные значения ‘легкости’, во всяком случае из них выводятся все более дробные значения и становятся понятными контексты словоупотребления. Более того, именно такое концептуальное членение семантики во многом объясняет развитие культурной семантики ‘легкости’.

В ‘легкости’ и ‘легком’ имплицитно содержится отрицание, что и делает возможным противопоставление ‘тяжести’ (‘тяжелому’) и ‘трудности’ (‘трудному’) [Спиридонова 2002; ПАС: 221–222]. Не случайно в дефинициях соответствующих лексем нередко присутствуют отрицательные частицы *не* или предлог *без* (ср. рус. *легкий* ‘маловесный или нетяжелый, нетяжкий’ [Даль 2: 242–243], бол. *лек* ‘немъчителен’ [БТР: 413] и мн. др.); болг. *лесен* ‘който става без голяма мъка и труд’ [там же: 415].

Идея С. М. Толстой поддерживается семантическими системами ‘легкого’ в тех славянских языках, где нет полисемии, а используются два различных слова. Обычно бóльшая часть значений принадлежит одному слову, тогда как второе слово менее разнообразно по своей семантике и ограничено в сочетаемости, ср. болг. ***лек***: 1. Имеющий малый вес; 2. Легкий, немучительный; 3. Слабый, едва заметный; 4. Резвый, подвижный; 5. (Перен.) О человеке: поверхностный, легкомысленный; 6. В приветствиях: приятный, нетрудный (*лесен*), хороший [БТР: 413]; ***лесен***: Происходящий без затруднений, легкий (*лек*) [там же: 415]. Интересно, что в македонском языке, столь близком болгарскому, бóльшую часть значений перетягивает прилагательное ***лесен***: 1. Легкий по весу; 2. Нетрудный (о работе); 3. Нетрудный (для понимания); 4. Слабый (о болезни); 5. Проворный; 6. (перен.) Легкомысленный [РМJ 1: 383–384], для ***лек*** дается только одно толкование — ‘лесен’ [там же: 382]. Здесь и в других лексикографических примерах мы обнаруживаем, что два слова (или некоторые их значения) нередко объясняются одно через другое или одно слово семантически полностью покрывает другое. Так, в польском языке ***lekki*** в некоторых значениях объясняется через *łatwy*, а *łatwy* — через *lekki* [SW 2: 709, 801], в сербском — *ласно* через *лак*. То же самое наблюдается и в диалектных словарях: серб. *л’сан* объясняется отсылкой к *л’к* [Митровић 1984: 163], болг. *лек* во втором значении толкуется как ‘лесен, нетруден, немъчителен’ [Вачева-Хотева, Керемидчиева 2000: 261].

Таким образом, наблюдается расплывчатость семантической границы между *лек* и *лесен* и «перетекаемость» значений от одного слова к другому, что отчасти обусловлено диалектными и историческими изменениями в лексике. Кроме того, в ряде контекстов у лексики ‘легкости’ наблюдается диффузия значений [Шмелев 1973; Апресян 1974], когда трудно определить, какое именно значение представлено. (Заметим в скобках, что подобная диффузия наблюдается и с ‘трудностью’ и ‘тяжестью’.)

В таком обобщенном, диффузном значении ‘легкость’ представлена во всех славянских языках. Во всех славянских языках есть и «эталоны» легковесности (перо, пух, бумага, ветер и др.), которые

актуализируются в сравнениях и нередко совмещаются со значением ‘быстроты’ и ‘подвижности’: чеш. *lehký jako pírko*; рус. *легче пуху — ишь летит* [СПГ 1: 467]; словац. *l’ahký ako pavučina*, *pirko*, *paper* «легкий, как паутина, перо, бумага» [Smiešková 1977: 121]. То же относится и к ‘тяжести’, «эталоном» которой служит камень: *ťažký ako kameň* (*klát*, *cent*, *centy*) [Smiešková 1977: 247], ср. болг. родоп. обычай внесения на Новый год во двор камней с пожеланием столь же тяжелых кошельков.

Иерархия сем в языках различается, но повсюду очевиден переход от материального — «легковесности» — к переносным, метафорическим и метонимическим значениям. Каждое из этих значений, в свою очередь, выводит на ряд синонимов, что особенно очевидно в междиалектных и межъязыковых связях, в том числе и относящихся к языку традиционной культуры. Так, ‘легкий’ служит синонимом ‘малого по размеру’, ‘счастливого’, ‘приятного’, ‘безопасного’ и др.

Важная черта ‘легкости’ — это наличие меры и указание на малое количество (этимологически **lьgъ(jь)* родственно греч. ἐλαχύς ‘маленький’ [ЭССЯ 17: 69; Фасмер 2: 473; БЕР 3: 351; ТСРЯ: 405]), что значительно расширяет аксиологический потенциал этого корня, увеличивает его метафорическую деривацию, а в языке культуры расширяет сферы использования. *Легкий* может развивать и позитивную, и негативную семантику, и здесь важны синтаксическая конструкция[4] и лексическая сочетаемость.

‘Легкость’ / ‘тяжесть’ очень важны в характеристике человека, и обычно для этого используются словосочетания с соматизмами. Так, в применении к уму (голове, мозгу) легкость обозначает ‘недоразвитость’, ‘неполноценность’ в соответствии с многочисленными фразеологическими моделями глупости как ‘недостачи чего-л.’ [Березович 2007: 137–150; Леонтьева 2008: 254–255], ср. макед. *лесен-плетен*, серб. *лак испод капе* ‘глупый’, ср. также *легкий* (*легковатый*, *слабый*) *ум* (*умок*, *умком*) ‘несерьезный, молодой, неопытный, психически неполноценный человек’ [ФСНП 1: 377]. Противостоит «легкости ума» его «тяжесть», что в русских диалектах коми соотносится с «глубоким, хотя и медлительным мышлением» [там же 2: 340]. Как кажется, экспрессивное выражение о глупом человеке не выводит нас в сферу об-

[4] Мы не останавливаемся подробно на сравнении синтаксических конструкций с континуантами исследуемых корней, однако различия в языках на фоне максимального сходства заметны. Так, обращает на себя внимание наличие в болг. яз. глагола *тежа* ‘весить’ и безличная (или личная) глагольная конструкция *тежи* (някому) ‘тяжело кому-н.’ с широким спектром контекстов: от буквального «тяжело нести что-л.» до переносного *Тежи ми на сърцето* «У меня тяжело на сердце» [Геров 5: 402].

рядности и традиционных поверий, подобно и некоторым другим словосочетаниям с соматизмами (*легко на сердце* и др.), — то есть поверий или обрядовых актов, актуализирующих эти представления, не выявлено. Но есть случаи, когда фразеологизм с соматизмом коррелирует с этнографической реальностью. Так, словосочетание *легкая рука* о человеке, у которого работа спорится, кроме того, о человеке удачливом[5] (ср. серб. *бити лаке руке*[6] (и пословица серб. диал. *Л’ка рука — тешка кеса* «Легкая рука, тяжелый кошелек» [Митровић 1984: 163], болг. *имам лека ръка* «работать ловко, умело, быстро»; «полагать доброе начало любой работе») вписывается в многочисленные культурные контексты. В традиционной культуре это выражение подкрепляется повседневной и ритуальной практикой. Для начинания трудных работ, для разрешения сложных ситуаций, а также для выполнения продуцирующих действий в качестве «зачинщика» отыскивается обычно человек с «легкой рукой», ср. болг. песню: *Айде*, *ти мари*, *почвай ти*, / *На теб*, *мари*, *льока ръкота* / *Да върви напреш работа* «Давай, девушка[7], ты начинай, / у тебя, девушка, рука легка, чтобы работа спорилась» [Родопи: 212–213]. При трудных родах собирают всех женщин села, чтобы нашлась такая, у которой «легкая рука», способная даже своим присутствием облегчить роды [Сержпутоўски 2009: 264]; если ребенок родится слабым и есть опасность, что он умрет, его «продают» тому, у кого «легкая рука» [там же: 304]; для стрижки волос выбирают и время (в первую пятницу нового месяца), и человека с «легкой рукой», чтобы у девушек росли косы [Сержпутоўски 2009: 229], и мн. др. Синонимическим словосочетанием для «легкой руки» служит «счастливая рука», ср. *щаслива рука* «человек, способный облегчить кончину» [Седакова О. 2004], или просто «счастливый», ср. чеш. *jeho šťastnemu začatku* «с его легкой руки». Поддерживают значение «удачливости» и диалекты, ср. рус. кубан. *легкий* ‘такой, которому везет’ [СРГК 3: 102][8]. Белорусы для купли-

[5] Значение удачи содержится и в термине и обряде первого посещения, ср. болг. *лек полез* ‘об удачном госте, первым совершившем ритуальное посещение дома в определенный день календаря’ [Родопи: 64], а также и серб. *бити тешке среће* букв. «иметь тяжелую встречу», то есть ‘быть несчастливым’, ср. серб. *срећа* — ‘счастье’.

[6] Ср. и другое значение фразеологизма *бити леке руке* ‘о человеке, у которого в руках ничего не задерживается’, то же и в макед. *има лесна рука* ‘о человеке, у которого все уходит из рук’ [РМЈ 1: 384].

[7] *Мари* — обращение к девочке, девушке, женщине; здесь условно переводится как «девушка».

[8] Семантика легкости как удачливости просматривается в представлениях о ‘легких’ днях, которые рекомендуются для начала работы, сватовства и пр. [Родопи: 125, 141].

продажи скота ищут *благую руку*, потому что есть люди с «цяжкаю рукою», у которых скотина не ведется [ЗСПС: 359, 493]. Очевидно, что в этих представлениях заложена оппозиция, которая нередко эксплицируется и терминологизуется, ср. рус. кубан. *рука тяжелая* — о том, кто приносит несчастье [СРГК 6: 555]. «Тяжелая рука» у белорусов уподобляется «лихим очам»: «Есть просто такія людзі… ў іх цяжкая рука, ці ліхія вочы… а толькі штоб яны ні зробілі, та што б ні зірнулі, та зробіцца ліхо» [Сержпутоўски 2009: 427]. С другой стороны, «тяжелая рука» обозначает физически сильную руку, способную нанести тяжелый удар, ср. укр. *тяжкорукий* ‘с тяжелой рукой’ [Гринченко 4: 302].

В рассмотренных выше примерах прослеживаются бинарные оппозиции «легкий — тяжелый», которые смыкаются с другим противопоставлением — «легкий — трудный». Эти оппозиции не относятся к таким основополагающим, как «жизнь — смерть», «мужской — женский», «правый — левый» и др. ‘Легкость’ и ‘тяжесть / трудность’ (не считая смежных понятий ‘взвешивать’, ‘вес’, ‘весы’, ‘измерять’ и др.) не входят в тематические индексы этнолингвистических монографий [Агапкина 2002; Плотникова 2004; Гура 1997; 2012 и др.][9]. При этом лексические и терминологические индексы (или просто однокоренная лексика, поскольку индексы представлены не во всех указанных монографиях) включают некоторые соответствующие термины: славон. *trudni utorak* «тяжелый вторник» [Агапкина 2002: 814; Седакова 2007: 32–34; Толстая 2008: 118]. Получается, что культурная семантика данных понятий не так отчетливо вычленяется и не так эксплицирована, в то время как терминологически, формально соответствующая лексика в словаре традиционной духовной культуры представлена последовательно, особенно если присовокупить паремиологию и речевые ритуально-этикетные формулы.

Как видно из примера с «легкой рукой», противопоставление «легкий — тяжелый» может трансформироваться в «счастливый — несчастливый», «добрый — недобрый». Такая аксиологизация оппозиций, их генерализация — типичное свойство народной культуры, и при исследовании ‘легкости’, ‘тяжести’ и ‘трудности’ мы постоянно с этим сталкиваемся (вывод о сложности и многоплановости противопоставлений см. в [Толстой 1995: 166]).

Собственно груз, тяжесть, вес[10] в его количественном измерении получает трактовку или в позитивной, или в негативной оценке и соотносится с соответствующим членом более общей оп-

---

[9] ‘Тяжелый (трудный)’ по понятным причинам включен в Предметно-тематический указатель книги о родинах [Седакова 2007: 426].

[10] Взвешивание как полноценное самостоятельное магическое действие мы оставляем за пределами статьи, см. [Толстая 1999: 399].

позиции («много — мало», «большой — маленький», «богатый — бедный» и др.). В народных воззрениях легкость некоторых реалий (например, приданого невесты) маркирована как нежелательная, поэтому в свадебном обряде обыгрывается тяжесть сундука с вещами невесты, в него специально подкладываются дубовые доски[11] [Гура 2012: 326].

Вес релевантен для морально-этической оценки человека — считается, что грешный человек очень тяжелый (так, нечестная невеста не решается ступить на дежу, поскольку под грузом ее греха она разломится) [Гура 2012: 622]. Известно также поверье о том, что дружку (как и колдуна) — людей, отягощенных определенными знаниями, умениями — тяжело везти коням [там же]. Грех мыслится как нечто физическое, имеющее определенный вес, поэтому грешникам тяжело подняться на небо (в буквальном смысле этого слова) и попасть в рай. Представление о грехе как о чем-то физическом, что можно взять, порождает семантику «тяжести» (*тяжкий грех*, *под тяжестью грехов*, *тяжело грехи носить*) [Толстая 2008: 427], ср., наоборот, словац. *l’ahké svedomie* ‘чистая совесть’ [СРРС: 84]. Тяжесть физическая ассоциируется с трудной жизнью и душевными муками, отсюда, видимо, запрет ночевать на Великий четверг в жилом помещении, где потолок при строительстве засыпан песком, чтобы человеку не было так тяжело, как потолку под тяжестью песка (рус.) [Агапкина 2002: 511].

Кроме того, оппозиция ‘легкость’ — ‘тяжесть’ отчасти изоморфна категориям жизни и смерти. Так, если новорожденный очень тяжел, считается, что он не живуч, что его «тянет к земле» (белор.)[12].

Понятие ‘тяжести’ (параллельно с ‘трудностью’, ‘грузом’, ‘наполненностью’ и пр.) у всех славян является внутренней формой обозначения беременной [Толстая 2008: 116–118; Коконова 2012: 492–493][13]. Таких терминов много, ср. и белор. *цяжкая*, *цяжарная* [Янкоўскі 1959: 193], рус. *тяжелая* [Толстая 1995], на примере болгарской традиции см. [Седакова 2007: 34]. Подобная терминология преобладает в обозначении будущей матери, но можно ли говорить о симметрии, то есть о наличии семантики и лексики ‘легкости’ для членов лексико-семантической группы ‘беременность’, для обозначения разрешения

[11] Ср. рус. диал. *легонькая свадьба* ‘небогатая’ и, наоборот, болг. *тежки дарове* ‘богатые свадебные дары’.

[12] В приметах о скорой смерти актуализируется мотив тяжести человеческого тела, считается, что его «тянет» к себе земля.

[13] Ср. интересный параллелизм, отраженный в макед. поверье: *Трудна жена ако умрит*, *на то век голема тежина кье носела на сърцето* [Цепенков 2010: 48].

от бремени и др.? Обращение к большему диалектному культурно-языковому материалу показывает, что такая симметрия есть: ср. рус. диал. смол. *нелёзная*, *нелёгкая* ‘беременная’ [СРНГ 21: 71] при урал. *легкая* ‘не беременная’ («Три месяца сношка легка была») [Малеча 2: 347], ср. и рус. диал. псков. глагол *облегчиться* ‘О самке — родить детеныша’ [ПОС 22: 191], а также и соответствующие диал. севернорусские контексты: *родившая женщина не ощущает больше тягости*, *ей становится легко*; *Родиш — легота веть* [Коконова 2012: 492–3]. Очевидно, что понятия ‘легкость’ и ‘тяжесть’, как ‘пустота’ и ‘нагруженность’, имеют отношение к фертильности, ср. животноводческую терминологию: *легчать* ‘скопить, холостить’ [Добровольский 1914], *легчить* ‘то же’ [ЯОС 5: 124]; белор. *злегчаны* ‘кастрированный’ (*Зьлегчаных бычкоў лягчэй прывучыць к рабоце*) [Янкоўскі 1959: 81], *облегченный* [ПОС 22: 191], *легченый* ‘то же’, *нелéгченый* — ‘некастрированный’; *легчиха* ‘женщина, занимающаяся кастрированием’ [ЯОС 5: 124], *лягчай* (белорус.) — профессионал, который кастрирует животных, обладает сверхъестественными способностями, «з ліхім знаецца» [Сержпутоўски 2009: 162].

Как уже упоминалось выше, у качественных прилагательных нередко наблюдается диффузность значений. Подобное явление характерно и для языка культуры в тех этнографических контекстах, когда трудно разграничить семантику явлений (это отражается и в множественности народных интерпретаций одного и того же акта). Особенно это характерно для терминологии переходных обрядов, имеющих отношение к народной медицине и физиологии (рождения и смерти), и метаязыка их описаний. Здесь ‘легкость’ вступает в пару с ‘трудностью’, а не с ‘тяжестью’.

Известны многочисленные запреты и рекомендации по «облегчению» трудных родов [Кабакова 2009: 450–452]. Так, беременной запрещалось шить (болг. *за леко раждане*), перешагивать через веревку (белор. *бо вельмі цяжка прыдзецца рожать*) и мн. др. Здесь «легкость» предполагает отсутствие мучений и затруднений, а также коррелирует с быстротой протекания родов. *Легкий* как ‘быстрый, проворный’ фиксируется во всех славянских языках, этимологические исследования подтверждают, что это метафорическое значение весьма архаично (лат. *lemis* ‘легкий, быстрый’ [БЕР 3: 350–351])[14].

[14] Немало фразеологизмов строится именно на этом значении, ср. серб. *лакац* ‘проворный человек’; рус. *легкий на ход, легкие ноги* [СРНГ 16: 309]; белор. *Лёгкі на ногі* [Янкоўскі 1959: 213]; макед. *лесни нозе* и пр. Тема «легких ног» включает в себя не только проворность, но и эстетические

Вступление в брак и встреча с суженым / суженой также рассматриваются в категориях ‘легкости’ — ‘трудности’ и соотносятся с быстротой (незатягиванием, своевременностью) и отсутствием препятствий, но эта ‘легкость’ семантически почти минимизируется: «легко выйти замуж» = «выйти замуж». Упомянем сербскую констатацию, являющуюся типичным примером метаязыка описания поверий: *Жена са ванбрачним дететом није могла лако удати* «Женщине с внебрачным ребенко выйти замуж было нелегко» (букв. «…не могла легко выйти замуж») [Петровић-Савић 2009: 46]. Разного рода наблюдения в этой сфере фиксируются фольклорными произведениями, ср. укр. песню «Ой як легесенько перстинку да котитися, а ще й легше, легше молодому та женитися» [Гринченко 1908, 2: 350].

Отдельного рассмотрения требует тема легкой и тяжелой с м е р т и в контексте этических и демонологических представлений [Толстая 2012: 61–62]. *Легкая смерть* терминологизуется, и считается, что она посылается Богом праведникам, ср. болг. *Като умря майка ти — а Бог й изпрати лека смърт* «Когда умерла твоя мать, а Бог ей послал легкую смерть» [РСБКЕ 2: 12], болг. диал. солун. *Лека му умирачка дади Госпот* «Господь дал ему легкую смерть» [Вачева-Хотева, Керемедчиева 2000: 260], белор. поверье, что «хороший человек быстро и тихо умирает» и др. Наоборот, если человек долго мучается, умирая (белор. *цяжка канае*), то он великий грешник, его душу мучают черти [Сержпутоўски 2009: 363].

Однако внезапная («слишком быстрая») смерть, казалось бы, легкая, в народном осмыслении не считается праведным окончанием жизни и объясняется или Божьей карой, или другими мотивами наказания и предвещает несчастливую посмертную судьбу: ср. рус. диал. псков.: *Отмучился за грехи, а лекка смерть — эта к черту пайдешь, а не к Богу* [ПОС 16: 544]. Не случайно верят, что тяжелая болезнь дается для искупления тяжких грехов [Ркс.: 308].

В метаязыке описания агонии понятия ‘легкости’ и ‘тяжести’, ‘мучений’ частотны и присутствуют во всех славянских традициях. Известны разные способы для облегчения кончины [Седакова О. 2004: 203; Терновская, Толстая 1995: 90–92], ср., например, белор. *Каб чалавеку лягчэй было паміраць, трээ пракрыць дзверы ці вакно* [ЖАЛ: 261]. В этих же терминах интерпретируются и предсмертные моменты, ср. белор. *Перад смерцю хвораму заўжды бывае лягчэй. Гэто значит, смерць пашла на косу, каб латвей даканаць чалавека* [там же: 362]. Кроме того, считается, что «необычная» смерть

аспекты походки (болг. *леко ходене* [Геров 3: 9]), что особенно важно для девушек и женщин [Седакова 2007: 296].

особенно тяжела: ср. *Говорят*, *смерть на воды сама тяжёла*, *потому что он ешшо долго не умертвится*, *всё слышит*, *что на земле делается* [ФСНП 1: 391].

В контексте погребальной обрядности общеславянскими являются этикетные формулы, в которых фигурирует семантика ‘легкости’. Они произносятся при прощании с умершим и за поминальным столом, а также нередко добавляются в речи при упоминании покойного: *Леукая земелька аццу*, *што научил меня* [ПОС 16: 542]. Самыми частотными являются пожелания легкости земли (болг. *Лека пръст!*), иногда через «эталон» легкости — пух, перо: *Легко йому лежати*, *пером землю держати!*; *Пусть земля ему будет пухом!* [СРНГ 16: 327]. Желают умершему также *Легкого лежаньица!*, а чтобы душам ушедших из жизни было легче (*аби легче було помершим душам*), нищим раздают хлебцы *легкодушник* [Гринченко 1908: 350].

Народная медицина — еще одна сфера, в которой понятия ‘легкости’, ‘тяжести’ и ‘трудности’ являются очень важными. Во всех славянских языках (в том числе и в литературных) лексика с этим значением применяется для обозначения больного, болезни, состояния пациента, прогнозов о выздоровлении и т. д. Представления о больном как «трудящемся», мучающемся, подверженном опасности, а о выздоровевшем — как о том, «кому легко», «для кого опасность миновала», содержатся в метаязыке обрядности: *Кали ў хаце цяжко хворы…* [ЖАЛ: 362]. Особенно многочисленны в словаре народной медицины термины: рус. *труд* ‘затяжная болезнь’; *водный труд* ‘водянка’; укр. *трудний* — ‘тяжело больной’ [Гринченко 4: 289]; болг. *леки и тежки клинове* ‘легкая и тяжелая грыжа’ [Тодорова-Пиргова 2003: 145]; *тежка болест* ‘тиф, туберкулез’ [БЕР 7: 892–893], в том числе и эвфемистические: *нелегкая* ‘припадок болезни’, ‘падучая’ [СРНГ 21: 71–72], ср. также значение ‘вылечить, облегчить состояние’: *Сразу ана мяня аблекчила* [Янкоўскі 1959: 77]. Лечение, в том числе и чтение заговоров, направлено на облегчение состояния больного, что отражается в фольклорных текстах, ср. болг. *Да излезне страха* / *И да олекне*, *да облагне* «Пусть выйдет страх, / пусть полегчает, станет лучше» [Тодорова-Пиргова 2003: 217]. Терминологизуется и дух болезни, ср. рус. диал. *легкая* ‘Название мифического существа в образе женщины, олицетворяющего лихорадку’ [СРНГ 16: 309]. Это табуированное название (в данном случае носящее пожелательный характер) вписывается в систему мифологической лексики. Другой языковой механизм — отрицание — используется в табуировании нечистой силы: рус. *нелегкая* (*Принесла кого-л. нелегкая*) и соотносится

с представлениями о ‘тяжести’ мифических персонажей[15], которые давят по ночам своих жертв [Лов.: 49], садятся им на плечи, ср. болг. родоп. *теготия* ‘ночной демон’. Возможно, здесь, как и в терминологии болезни, важно представление об опасности, которое исходит от демонов, а также и отношение к ним как к «нечистым», ср. и рус. диал. *тяжелые места* ‘заколдованные, мимо которых боятся ходить’ [ЯОС 9: 125], болг. *мръсни места* «нечистые места» [Родопи: 65]. В этом же ряду можно рассматривать болг. терминологические словосочетания *тежък празник* ‘большой, опасный праздник’ [Лов.: 351], *тежка клетва* ‘опасное, действенное проклятие’ [Ркс.: 302], в которых просматривается противопоставление опасного неопасному и значительного (большого) незначительному (маленькому).

Здесь же рассмотрим выражение *легок на помине* (*легонький на поминках*) [СРНГ 16: 315], которое может относиться и к человеку, и к нечистой силе, ср. польск. *Diabeł jest niezmiernie lekki na wspomnienie*, *skoro posłyszał*, *skoczył* [Karłowicz 3: 22]. Здесь опять в ‘легкости’ доминирует семантика ‘быстроты’, хотя выражение базируется на архаической вере в действенность слова и особенно опасности упоминания имени, ср. также обережную формулу: рус. *Легенько ему икнись* (при воспоминании об отсутствующем) [СРНГ 16: 309].

Отдельного анализа требует этикетная афористика с исследуемой лексикой — это позволяет не только увидеть развитие ее семантики, но и выявить междиалектные и межъязыковые синонимы (о погребальном речевом этикете см. выше). Так, например, прощаясь, южные славяне желают «легкого пути» (болг. *Лек път!*, болг. диал. солун. *Лек ти пънт’!* [Вачева-Хотева, Керемедчиева 2000: 260]), тогда как в других языках известны гиперонимы ‘легкого’: рус. *Счастливого пути!*, *Доброго пути!* То же самое относится и к расставаниям на ночь, ср. болг. *Лека нощ!*, серб. *Лаку ноћ!* В современной болгарской речи этикетные формулы с *лек* стали более частотными и разнообразными (*Лек ден*, *Лека вечер*, *Лека работа* и др.), но здесь усматривается и важное для современного дискурса значение «приятного» и «нетрудного».

Пожелания ‘легкости’ включают в себя представления о позитивных ощущениях: ‘беспроблемный, нетрудный, легко переносимый, благоприятный, удачный, радостный[16] и пр.’. Болг. пожелание

---

[15] Обобщение здесь, конечно, невозможно, потому что демонам приписываются и другие свойства — например, легкость и проворность, ср. рус. *Легче беса бегать* [ФСНП 1: 378].

[16] Ср. рус. диал. *облегчение* ‘о состоянии радости, счастья’: *Како облякченьи таперь жыть* [ПОС 22: 191].

Лека година! «Легкого (доброго, счастливого) года!» вписывается в болгарский новогодний ритуал: считается, что «легкость» можно продуцировать, разговевшись на Рождество печеным воробьем (ср. и приговор *Да е лека годината*, *както са леки врабците* «Чтобы год был легким, как легки воробушки») [Лов.: 298]. Известна у болгар и сезонная примета: тот, кто увидит 1 марта птичку, будет «легким» — работящим, живым и счастливым [Каравелов 1861: 189], ср. семантику легкости в полете, в восприятии птицы (*легкий* — эпитет воробья [СРНГ 16: 309]). У сербов фиксируется молитвенное обращение к Богородице и Богу с просьбой о легкости: *Света Богородице*, *помогни ми*, *дај ми л'кос* «Пресвятая Богородица, помоги мне, дай мне легкость (облегчение)», *Боже*, *лакос ми дај к'д ми је тешко* «Боже, дай мне легкости, когда мне тяжело» [Митровић 1984: 163]. Пожелания легкости известны и другим славянам: укр. *А тобі дай Бог крепість і легкість* [Гринченко 1908, 2: 350]. Только у восточных славян фиксируется приветствие для возвращающихся из бани *С легким паром!*[17].

'Легкость', как и 'трудность', нередко сочетается с другими качествами, что особенно распространено в присловьях, пожеланиях и других фольклорных текстах: укр. *Піди собі тихенько і легенько з хати* [Гринченко 1908, 2: 350], рус. *Труднинька-беднинька* / *Рыби белуги без воды* / *Труднея-беднея* / *Молодой деўке без мужа* [Даль 4: 437], болг. *Тежко и горко ми* «Мне тяжело и трудно»[18]. На параллелизме понятий (синонимии или антонимии) — эксплицитном или имплицитном, подразумеваемом — построены многие пословицы, которые, по Г. Л. Пермякову, служат знаками 'легкой / простой' или 'трудной / сложной' ситуации. Так, в словаре пословиц В. Караджича насчитывается 65 афористических конструкций, которые начинаются с *тешко* (не считая других позиций и сравнительной степени), 5 конструкций, начинающихся с *лако*, и 31 — с *ласно* [Караџић 1964, 9: 170, 283]. Афоризмы о 'тяжести' доминируют — то же наблюдается и в сборнике болгарских пословиц, где насчитывается 73 пословицы с *тежко* и 10 с *лесно* [Славейков 1972: 278, 485–487]. Ряд пословиц имеют общеславянский характер, они основаны на бытовых, непереносных значениях наречий 'легко' и 'трудно', ср. рус. *В долг брать легко*, *да отдавать тяжело*; *Легко пришло*, *легко ушло* и др.

---

[17] Здесь надо отметить особый возрастной этикет: *Стараи маладым с лекким парам не дають* [ПОС 16: 542].

[18] Нередко встречается и усиление свойства или способа действия путем повтора однокоренных слов: болг. *лека-полека*, рус. *легким-легко* и др.

И наконец, еще один аспект, который мы не можем обойти стороной, — это развитие семантики под иноязычным неславянским влиянием. Так, на Балканах ‘тяжелый’ приобретает значение ‘весомый’, ‘уважаемый’, ‘авторитетный’ (макед. *тежок човек* — с авторитетом [РМЈ 3: 367–368]), ‘богатый’ (болг. *тежка сватба*). Болгарский этимологический словарь указывает на семантическое влияние тур. *ağir* ‘тяжелый, трудный’ и ‘важный, авторитетный, ценный, торжественный’ [БЕР 7: 893]. В современной Болгарии подобные значения и словоупотребления живы и частотны: *Не можах да не дойда на сватбата*, *че получих много тежка покана* «Я не могла не прийти на свадьбу, так как получила очень весомое приглашение (от очень уважаемого человека)» (24.06.2012, София, соб. зап.). Частотны подобные словоупотребления в фольклоре (*тежко кумство*, *тежко търговче*, *тежка сватба* и др.).

Эти значения заимствуются из турецкого не случайно — в славянских языках есть почва для подобной деривации, ср. ц.-сл. **тѧгота** ‘важность, вес’ [Седакова О. 2005: 366], рус. диал. *тяжелое слово* ‘решающее’ [ФСНП 2: 340] и др. (подробнее о заимствовании и ассимиляции балканской лексики и семантических заимствованиях в болгарском языке см. [Седакова 2007: 85]).

Итак, комплексный языковой анализ ‘легкости’, ‘тяжести’, ‘трудности’ с учетом полисемии, синонимии и антонимии (внутри- и межъязыковой) позволяет увидеть потенциал семантического развития слова и его реализацию в народных традициях и в духовной культуре славян.

К терминологии ‘легкости’, ‘тяжести’, ‘трудности’ относятся обозначения из сферы народно-медицинской (болезни и их протекание, беременность и роды, кастрация животных и др.), демонологической, эстетической и этической (греховность / праведность). Понятия ‘легкости’, ‘тяжести’ и ‘трудности’ играют существенную роль в обрядах перехода — при рождении ребенка (родах) и уходе из жизни (смерти). Важны они и в сферах, связанных с народной демонологией. Оппозиции «легкий — тяжелый», «легкий — трудный» смыкаются с другими, ключевыми для традиционной культуры: «чистый — нечистый», «жизнь — смерть», «опасный — неопасный», «счастливый — несчастливый», «здоровый — больной» и др. Все вместе они входят в базовое противопоставление «хороший — плохой». Это объясняет междиалектную и межъязыковую синонимию, когда в одном языке понятие обозначается как ‘легкое’ или ‘тяжелое’, а в другом языке как ‘счастливое’ или ‘несчастливое’, ‘приятное’ или ‘неприятное’ и др.

Исследование показало, что можно и нужно говорить об относительной симметрии в словаре и в культуре, возможно, не всегда эксплицитной, но в любом случае возможной, хотя и не в одном языке (диалекте), а в целой системе. Для некоторых явлений, однако, трудно найти антонимическое соответствие (словоупотребление или культурный факт). Привлечение большего объема материала позволяет обнаружить хотя бы единичные факты подобного рода.

Так, в современном русском языке востребованным оказалось понятие ‘легкости’, которое нередко совмещает в себе идеи простоты и отсутствия веса (в рекламе компьютеров), но чаще обыгрывает только отсутствие проблем и быстроту: «Легкие деньги!», «Кредит — легко!», «Пополнить баланс легко без тяжелой комиссии», «Трудно произносить, легко сотрудничать», «Права? Легко!». Ответ «Легко» на вопрос или просьбу как согласие также частотен в современном дискурсе. Эти значения и употребления развиваются не случайно, все они находят соответствия в языковой системе, и их корни можно обнаружить в диалектах или инославянских языках[19].

Литература

Агапкина 2002 — *Агапкина Т. А.* Мифопоэтические основы славянского народного календаря. Весенне-летний цикл. М., 2002.

Апресян 1974 — *Апресян Ю. Д.* Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М., 1974.

БЕР — Български етимологичен речник / Ред. В. И. Георгиев. София, 1971–. Т. 1–.

Березович 2007 — *Березович Е. Л.* Язык и традиционная культура: Этнолингвистические исследования. М., 2007.

БТР — Български тълковен речник. София, 1973.

Вачева-Хотева, Керемидчиева 2000 — *Вачева-Хотева М.*, *Керемедчиева С.* Говорът на село Зарово, Солунско. С оглед към лексикалната му система. София, 2000.

Геров — *Геров Н.* Речник на българския език. Пловдив, 1895–1904. Ч. 1–5. Ч. 6: Допълнение / Събрал, наредил и изтълкувал Т. Панчев. Пловдив, 1908. Фототипно издание. София, 1975–1978.

Гринченко 1908 — *Гринченко Б. Д.* Словарь украинского языка. Т. 1–4. Кіев, 1908.

Гура 1997 — *Гура А. В.* Символика животных в славянской народной традиции. М., 1997.

[19] Например, в литературном словенском ответ *Lahko* — немаркированное согласие или положительный ответ на вопрос [SSKJ: 548].

Гура 2012 — *Гура А. В.* Брак и свадьба в славянской народной культуре: Семантика и символика. М., 2012.

Даль — *Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1–4. Фотомеханическое воспроизведение. М., 1978–1980. Изд. 3 / Под ред. И. А. Бодуэна-де-Куртенэ. СПб., 1903–1909.

Добровольский 1914 — *Добровольский В. Н.* Смоленский областной словарь. Смоленск, 1914.

ЖАЛ — Жыцця адвечны лад. Беларускія народныя прыкметы і павер’і. Кн. 2. Мінск, 2010.

Златановић 1998 — *Златановић М.* Речник говора Јужне Србије. Врање, 1998.

ЗСПС — Земля стаіць пасярод свету… / Укл. У. Васілевіч. Кн. 1. Мінск, 2010.

Кабакова 2000 — *Кабакова Г. И.* Антропология женского тела в славянской традиции. М., 2000.

Кабакова 2009 — *Кабакова Г. И.* Роды // СД 4.

Каравелов 1861 — *Каравелов Л.* Памятники народного быта болгар. М., 1861.

Караџић 1964 — *Караџић В. С.* Сабрана дела. Књ. 1–. Београд, 1964–.

Коконова 2012 — *Коконова А. Б.* Представления о беременности в северно-русских диалектах // Славянский альманах 2011. М., 2012.

Леонтьева 2008 — *Леонтьева Т. В.* Интеллект человека в русской языковой картине мира. Екатеринбург, 2008.

Лов. — Ловешки край. Материална и духовна култура. София, 2009.

Малеча — *Малеча Н. М.* Словарь говоров уральских (яицких) казаков. Т. 1–4. Оренбург, 2002–2003.

Митровић 1984 — *Митровић Б.* Речник лесковачког говора. Лесковац, 1984.

МЧТ — Митология на човешкото тяло. Антропологичен речник. София, 2008.

ОЛА 9 — Общеславянский лингвистический атлас. Вып. 9. Человек. Kraków, 2009.

ПАС — Проспект активного словаря русского языка / Отв. ред. Ю. Д. Апресян. М., 2010.

Петровић-Савић 2009 — *Петровић-Савић М.* Лексика свадбених обичаја у Рађевини. Београд, 2009.

Плов. — Пловдивски край. Етнографски и езикови проучвания. София, 1986.

Плотникова 2004 — *Плотникова А. А.* Этнолингвистическая география Южной Славии. М., 2004.

ПОС — Псковский областной словарь с историческими данными. Вып. 1–. Л., 1967–.

Ркс. — Рукописные дипломные работы, выполненные под руководством С. Романского (хранятся в библиотеке Софийского Университета им. св. Климента Охридского, Болгария).

РМЈ — Речник на македонскиот јазик со српскохрватски толкувања. [Т.] 1–3. Скопје, 1961–1966.

Родопи — Родопи. Традиционна народна духовна и социалнонормативна култура. София, 1994.

РСБКЕ — Речник на съвременния български книжовен език. Т. 1–3. София, 1955–1959.

СД — Славянские древности. Этнолингвистический словарь в пяти томах. Т. 1–5. М., 1995–2012.

Седакова 2007 — *Седакова И. А.* Балканские мотивы в языке и культуре славян. Родинный текст. М., 2007.

Седакова О. 2004 — *Седакова О. А.* Поэтика обряда. Погребальная обрядность восточных и южных славян. М., 2004.

Седакова О. 2005 — *Седакова О. А.* Церковнославянско-русские паронимы. Материалы к словарю. М., 2005.

Сержпутоўски 2009 — *Сержпутоўски А. К.* Русальная Нядзеля. Прымхі і забабоны беларусаў-палешукоў. Мінск, 2009.

Славейков 1972 — *Славейков П. Р.* Български притчи или пословици и характерни думи / Събр. от П. Р. Славейков. София, 1972.

СПГ — Словарь пермских говоров. Вып. 1–2. Пермь, 1999–2002.

Спиридонова 2002 — *Спиридонова Н. Ф.* Язык и восприятие: семантика качественных прилагательных. Дисс. … канд. филол. наук. М., 2002.

СРГК — Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей. Вып. 1–6. СПб., 1994–2005.

СРНГ — Словарь русских народных говоров / Гл. ред. Ф. П. Филин. Вып. 1–. Л., 1965–.

СРРС — Словацко-русский и русско-словацкий словарь / Сост. Д. Коллар и др. М., 1973.

Терновская, Толстая 1995 — *Терновская О. А.*, *Толстая С. М.* Агония // СД 1.

Тодорова-Пиргова 2003 — *Тодорова-Пиргова И.* Баяния и магии. София, 2003.

Толстая 1995 — *Толстая С. М.* Беременность // СД 1.

Толстая 1999 — *Толстая С. М.* Измерение // СД 4.

Толстая 2008 — *Толстая С. М.* Пространство слова. Лексическая семантика в общеславянской перспективе. М., 2008.

Толстая 2012 — *Толстая С. М.* Смерть // СД 5.

Толстая, в печати — *Толстая С. М.* Рецензия на «Проспект активного словаря русского языка» (в печати).

Толстой 1995 — *Толстой Н. И.* Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М., 1995.

ТСРЯ — Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов / Отв. ред. Н. Ю. Шведова. М., 2007.

Фасмер — *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. Т. 1–4. М., 1964–1973.

ФСНП — Фразеологический словарь русских говоров Нижней Печоры / Сост. Н. А. Ставшина. Т. 1–2. СПб., 2008.

Цепенков 2010 — *Цепенков М. К.* Фолклорно наследство. Т. 5. София, 2010.
Шмелев 1973 — *Шмелев Д. Н.* Проблемы семантического анализа лексики. М., 1973.
ЭСБМ — Этымалагічны слоўнік беларускай мови. Т. 1–. Мінск, 1978–.
ЭССЯ — Этимологический словарь славянских языков: Праславянский лексический фонд. Вып. 1–. М., 1974–.
Янкоўскі 1959 — *Янкоўскі Ф.* Дыялектны слоўнік. Мінск, 1959.
ЯОС — Ярославский областной словарь. Вып. 1–10. Ярославль, 1981–1991.
Karłowicz 1900 — *Karłowicz J.* Słownik gwar polskich. T. 1–6. Kraków, 1900–1911.
Siatkowski 2012 — *Siatkowski J.* Słowiańskie nazwy części ciała w historii i dialektach. Warszawa, 2012.
Skorupka 1967–1968 — *Skorupka S.* Słownik frazeologiczny języka polskiego. Warszawa, 1967–1968. T. 1–2.
Smiešková 1977 — *Smiešková E.* Malý frazeologický slovník. Bratislava, 1977.
SSKJ — Slovar slovenskega knižnega jezika. Knj. 2. I–Na. Ljubljana, 1975.
SW —*Karłowicz J.*, *Kryńska A.*, *Niedźwiecky W.* Słownik języka polskiego. Warszawa, 1900–1935. T. 1–8.

Е. С. Узенёва

ОКДА и современные полевые этнолингвистические исследования карпато-балканского региона

Общекарпатский диалектологический атлас (ОКДА) был завершен в 2003 г. выходом из печати последнего, седьмого, выпуска [ОКДА 2003]. Проект атласа был изложен С. Б. Бернштейном в докладе «Проблемы интерференции языков Карпато-Дунайского ареала в свете данных сравнительной диалектологии» на VII Международном съезде славистов в Варшаве в 1973 г. [Бернштейн 1973]. В качестве исходной теоретической предпосылки была принята идея о существовании в карпато-балканской макрозоне лингвистического континуума[1], который образован диалектами родственных и неродственных языков и сформировался в ходе длительных этноязыковых контактов и интерференциальных процессов. Были сформулированы цели атласа: «…выявить… сходные элементы разного происхождения именно на диалектном уровне, доказать определенную непрерывность их презентации (или отсутствие таковой) в диалектах карпато-балканской зоны» [ОКДА-ВВ: 9]. Концепция ОКДА предполагала изучение схождений лишь в лексико-семантической сфере; было решено также, что ОКДА создается именно как диалектологический атлас, а не комбинированный лингво-этнографический [ОКДА 1981: 14].

[1] Идеи об особой роли карпатского региона и о необходимости специального изучения балканизмов на Карпатах были высказаны Н. И. Толстым и В. М. Илличем-Свитычем на заседании ОЛА в Ужгороде.

Елена Семеновна Узенёва,
Институт славяноведения РАН (Москва)

Авторская работа выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований Секции языка и литературы ОИФН РАН «Язык и литература в контексте культурной динамики», проект «Карпато-балканские территориальные диалекты: реконструкция культуры по данным языка», рук. А. А. Плотникова.

Позднее С. Б. Бернштейн определил лингвистические задачи карпатистики: 1) создание ОКДА; 2) выявление карпатизмов и балканизмов; 3) проведение историко-этимологических исследований собранного материала; 4) осуществление лингвогеографических исследований, которые «покажут территории распространения общих элементов, выявят изоглоссы на территории Карпат и за их пределами (на Балканах)»; 5) изучение романского аспекта карпатского языкознания [Бернштейн 1976: 9].

Он же сформулировал понятия *карпатизмов* и *балканизмов*: «Исследователь интерференции языков карпатского ареала имеет дело прежде всего с карпатизмами, т. е. с теми тождествами различного происхождения, которые в разной степени объединяют эти языки и противопоставляют их языкам и диалектам соседних территорий (севернее Кавказских гор и восточнее Днестра). Общие элементы (карпатизмы) — различного происхождения, они формировались в течение весьма длительного времени» [Бернштейн 2000: 204]. Ученый выделяет элементы дакского, гетского, кельтского, латинского, греческого, германского и славянского происхождения. Славянские слова, по мнению С. Б. Бернштейна, относятся не только к общеславянскому фонду, но и характеризуют типичные особенности южнославянских языков, поскольку основную роль в карпатской миграции славян играли именно те племена, которые позднее стали базой южнославянских народов.

Однако языки и диалекты карпатского ареала имеют и другие сходства — это наличие так называемых балканизмов, которые С. Б. Бернштейн характеризует как «общие элементы, которые принесены в области к северу от Дуная беженцами от турецкого ига, болгарскими крестьянами, ремесленниками, купцами, а также балканскими пастухами славянского, албанского, романского и греческого происхождения… Таким образом, среди славянских, романских, греческих тождеств необходимо различать древние элементы (т. е. собственно карпатизмы) и балканизмы» [Бернштейн 2000: 205].

Авторы атласа неоднократно обращали внимание на необходимость глубокого изучения материальной и духовной культуры и связанной с ней лексики у народов Карпат [ОКДА 1976]. Первые шаги в этом направлении были сделаны Международной комиссией по изучению народной культуры Карпат (МККК), созданной по инициативе польских этнографов в 1959 г. Именно этнографы, главным образом польские и словацкие, обратили внимание на карпатский культурный комплекс и на тот факт, что население этой зоны, говорящее на разных языках и принадлежащее к разным этническим группам, имеет много

общего в материальной и духовной культуре, в том числе в фольклоре. Благодаря их усилиям этнография Карпат выделилась в качестве самостоятельного раздела этнографии Европы[2].

Тем не менее составителями ОКДА было принято решение о «нецелесообразности создания комплексного лингво-этнографического атласа», ввиду серьезных различий в методологии лингвистического и этнографического картографирования [Бернштейн 2000: 195]. Они понимали, что и собственно лингвистический атлас может содержать ценнейшую информацию для этнографов и историков культуры, а детальное лингвистическое исследование семантических полей лексем, соотносимых с той или иной сферой материальной культуры, позволит «вскрыть такие стороны соотношения и функционирования элементов народной культуры, которые могут остаться в тени при самом тщательном этнографическом описании» [Бернштейн, Клепикова 1984: 40]. Действительно, ОКДА содержит важные данные для изучения типологии и характера варьирования различных сфер материальной культуры и о соответствующей терминологии карпато-балканской зоны[3].

Одной из последних обобщающих работ по карпатскому языкознанию[4] явилась статья Г. П. Клепиковой «Карпатское языкознание и „Общекарпатский диалектологический атлас“» [Клепикова 2003], в которой автор дает определение карпатистики как отрасли науки, определяет ее задачи, состоящие «в постоянном обращении к балканскому материалу, исследуемому в полном объеме балканским языкознанием, с целью установления в балканских языках явлений, корреспондирующих с карпатскими, или, напротив, — для констатации в обеих зонах несоответствующих явлений» [Клепикова 2003: 12], и показывает, как структурируется карпатский ареал, какие выводы

---

[2] Предварительные результаты исследований этнографов были представлены, в частности, в сборнике [ОКДА 1976].

[3] В 1974 г. вышла в свет монография Г. П. Клепиковой «Славянская пастушеская терминология. Ее генезис и распространение в языках карпатского ареала».

[4] Картину развития в СССР карпатского языкознания на протяжении более чем сорока лет (с 1946 по 1989 гг.), а также основных его проблем, этапов развития теории, принципов, методов и задач ОКДА можно проследить по данным аннотированного библиографического указателя [КДО 1972; СИМ ОКДА 1978; ОКДА 1981; Можаева 1989]. Библиография включает лингвогеографические исследования карпатской зоны, этимологические и ономастические работы, диалектологические атласы (главным образом опубликованные выпуски ОКДА). Подробный обзор по истории и проблематике исследований о карпато-украинско-южнославянских языковых схождениях до 1984 г. был сделан В. В. Нимчуком [Нимчук 1984].

могут быть сделаны о его географии на основе данных завершенных к тому времени атласов — КДА («Карпатского диалектологического атласа») и ОКДА («Общекарпатского диалектологического атласа»). Г. П. Клепикова продолжала работать по этой теме, вводя в научный оборот еще не опубликованные данные карпатских атласов и картографируя их [Клепикова 2006][5]. Она подвела некоторые итоги работы над ОКДА в работе «К завершению проекта „Общекарпатский диалектологический атлас“» [Клепикова 2006/2][6].

В 2008 г. были изданы отдельные фрагменты незаконченной монографии Г. П. Клепиковой «Очерки карпатской диалектологии» [Клепикова 2008], где она анализирует понятие карпатской (resp. карпато-балканской) языковой общности, дает оценку ареалогическому изучению диалектов карпато-балканской зоны, характеризует источники изучения карпатских диалектов и, опираясь на труды Н. И. Толстого [Толстой 1997: 70] в области лексикологии и семасиологии, уточняет некоторые вопросы терминологии, связанные с исследованием лексико-семантической сферы генетически гетерогенного континуума, возникшего в ходе конвергентного развития соответствующих языков / диалектов.

Ученые-карпатисты неоднократно указывали на существование особой связи между карпатскими и балканскими языками, особенно южнославянскими, и на необходимость дальнейшего изучения многочисленных лексических соответствий и балканизмов [Бернштейн 2000: 218; Клепикова 2003: 358; Гриценко 2008: 47]. Некоторые участники ОКДА, анализируя материалы, собранные в ходе экспедиций, приходили к осознанию необходимости анализа не только языкового, но и этнографического материала. Так, В. В. Усачёва провела детальное исследование карпато-балканского обряда «полазник» (приход первого посетителя в дом на Рождество), опираясь не только на полевые данные, но и на архивные сведения и опубликованные лингвистические и этнографические источники [Усачёва 1977]. Автор пришла к выводу, что материалы КДА содержат хотя и фрагментарные, но важные для этнографии сведения, которые дают представление о бытовании двух разных типов обряда и об их стратификации. Кроме того, новые материалы значительно расширили имевшиеся представления о семантике лексемы *полазник*, они позволили очертить ареал распространения термина в юго-западных украинских говорах

[5] Картотека материалов, собранных по вопросникам КДА и ОКДА, хранится в Институте славяноведения РАН.

[6] Библиография трудов Г. П. Клепиковой за 1957–2002 гг. опубликована в сборнике «Исследования по славянской диалектологии». Вып. 8. М., 2002; за 2003–2008 гг. — в сборнике «Исследования по славянской диалектологии». Вып. 13. М., 2008.

вплоть до р. Днестр и указали на доминирование на этих территориях обряда с зооморфным полазником [Усачёва 2008: 26]. Оказалось, что в севернославянских языках данная лексема и ее дериваты имеют более развитую семантику, чем в южнославянских. В частности, у украинцев развитие значений шло «по пути переноса их на обрядовые предметы — на пищу, оставляемую от ужина в сочельник, которую утром дают полазнику-животному; она может быть предназначена и для душ умерших предков. Другое значение, появившееся в результате такого переноса, — ‘обрядовый хлебец, опоясанный льном, которым одаривают пришедшего в один из зимних праздников человека-полазника’» [Усачёва 2008: 83][7].

В рамках Московской этнолингвистической школы [Толстая 2003] активно развивается этнолингвистическая ареалогия, использующая при анализе явлений языка и культуры метод этнолингвистического картографирования, при котором на одной карте представлены как лингвистические, так и экстралингвистические (культурные) явления на южнославянском культурно-языковом материале [Плотникова 2004].

В 2005 г. у московских участников проекта Малого диалектологического атласа балканских языков [МДАБЯ] А. А. Плотниковой и Г. П. Клепиковой, занимавшихся сбором материалов по специально составленному для МДАБЯ этнолингвистическому вопроснику А. А. Плотниковой [Плотникова 1996] на территории южных славян, возникла идея расширения ареала полевого исследования на дакорумынскую территорию севернее Дуная и на соседние карпатославянские регионы (западноукраинский, словацкий, южнопольский) [Плотникова 2008: 10][8].

После завершения ОКДА и дополнительной публикации отсутствовавших ранее болгарских материалов[9], встала задача продолже-

---

[7] Позднее исследовательница влилась в группу по этнолингвистике и фольклору, работавшую над общеславянским этнолингвистическим словарем «Славянские древности» (М., 1995–2012. Т. 1–5).

[8] На этой основе был задуман и реализован проект «Карпато-балканский диалектный ландшафт: язык и культура во взаимодействии», поддержанный Программой фундаментальных исследований Президиума РАН (2006–2008). Исследования были продолжены в процессе работы над новым проектом «Карпатская культурно-языковая общность в балканской перспективе» в рамках Программы ОИФН РАН (2009–2011) и проектом Программы фундаментальных исследований Секции языка и литературы ОИФН РАН «Карпато-балканские территориальные диалекты: реконструкция культуры по данным языка» (2012–2014). Руководителем всех трех проектов является д. ф. н. А. А. Плотникова.

[9] В первом выпуске «Карпато-балканских исследований» впервые были опубликованы, т. е. введены в научный оборот, болгарские полевые

ния карпатологических исследований в этнолингвистическом плане. Необходимо было дополнить существующий лингвистический материал ОКДА сведениями по традиционной духовной культуре населения карпато-балканского региона. Важной задачей было возобновление полевых исследований, поскольку, несмотря на наличие разрозненных опубликованных фактов по духовной культуре Карпат, обобщающих работ в этой сфере не было. Чтобы получить сопоставимый материал, пригодный для картографирования, нужно было осуществить систематический сбор этнолингвистического материала по единой программе. Именно такой материал при использовании структурно-типологического подхода мог дать основания для выявления схождений в области традиционной культуры и стать базой для последующих реконструкций.

За прошедшие шесть лет (2006–2012 гг.) участниками проекта было проведено 18 экспедиций, в ходе которых были обследованы Южные Карпаты (Мунтения, Олтения, Горж, Мехединц, Бузэу в Румынии, Н. Г. Голант, А. А. Плотникова), Восточные Карпаты (Гуцульщина и Закарпатье, А. А. Плотникова, Е. С. Узенева), Западные Карпаты (в Словакии: Мартин, Орава, Е. С. Узенева; Верхний Грон, М. М. Валенцова, Е. С. Узенева; Липтов, М. М. Валенцова; венгры Гонта и горный массив Баконь в северо-западной Венгрии, Д. Ю. Ващенко). Кроме того, дополнительно были осуществлены полевые исследования ряда восточноболгарских и родопских сел (с. Осмар, обл. Шумена, с. Тенево, обл. Ямбола, с. Момчиловци, обл. Смоляна, с. Старцево, г. Златоград, обл. Смоляна, Е. С. Узенева; гагаузское село Болгарево, обл. Варны, г. Твырдица, обл. Сливена, О. В. Трефилова).

Основной задачей этнолингвистических экспедиций было продолжение карпатологических исследований в области традиционной духовной культуры, выявление карпатизмов и балкано-карпатизмов в данной сфере. Результаты синхронных культурно-языковых исследований предполагали «получение выводов о происхождении, источниках заимствований и путях распространения лексических и соответствующих культурных явлений в славянских и восточнороманских традициях» [Плотникова 2008: 13].

Была проведена апробация упомянутого вопросника А. А. Плотниковой на материале «новых» (небалканских) традиций, как

материалы для «Общекарпатского диалектологического атласа» [КБС-1: 355–479], подготовленные к печати коллегами из Института болгарского языка БАН Л. Василевой, М. Витановой и С. Керемедчиевой. Эти данные сами по себе являются значительным вкладом в развитие карпато-балканских исследований на их нынешнем этапе и предоставляют обширный материал для выявления новых лексических и др. схождений.

славянских (западнославянская, словацкая; восточнославянская, западноукраинская), так и неславянских (румынской, венгерской) на территории Карпат. Такого рода исследования по этнолингвистической программе в этих регионах проводились впервые. При сборе материала по культурно-языковым традициям изучаемых зон специальное внимание уделялось диалектной терминологической лексике и корреспондирующим явлениям народной духовной культуры, однако собирался также материал и по семантическому вопроснику Лексической программы МДАБЯ [Домосилецкая, Жугра 1997: 70–73], составленному Г. П. Клепиковой на основе данных ОКДА. Собранные данные позволяют проводить анализ лексики и семантики, расширять число и сферу карпатизмов и балканизмов.

А. А. Плотникова, анализируя материалы по традиционной культуре румын, собранные ею в экспедициях, выделила общие элементы для румынской и балканославянской традиций, а в некоторых случаях и для балканских неславянских традиций, и неизвестные вне карпато-балканского ареала, как «балкано-карпатизмы» [Плотникова 2008: 18–19], т. е. «общие для макрозоны элементы», в терминологии Г. П. Клепиковой [Клепикова 2008: 361]. Наиболее значимые итоги этих исследований представлены в статье [Плотникова 2010]. См. также сборники новой серии Института славяноведения РАН «Карпато-балканские исследования» [КБС-1; КБС-2] и статью А. А. Плотниковой «Карпатские традиции в балканской перспективе: этнолингвистический аспект» [Плотникова 2012].

Что же нового дают по сравнению с данными ОКДА современные полевые этнолингвистические исследования карпато-балканского региона?

По этнолингвистической программе были обследованы села, которые увеличили сетку ОКДА по ряду лексических вопросов: дополнительно обследовано 5 румынских сел, 5 западноукраинских, 8 словацких, 2 венгерских.

Полевые материалы значительно расширили спектр изучаемой лексики Карпат по сравнению с ОКДА, в котором число карт, которые включают культурную лексику, т. е. терминологию отдельных праздников, ритуалов, обрядовых лиц и мифологических персонажей, невелико.

Пятый раздел Вопросника ОКДА посвящен родственным отношениям, некоторым праздникам и обычаям, музыке. Выпуск 4 ОКДА включает и ряд культурный явлений, например материалы о праздновании Рождества: карты «Рождество (праздник)» (№ 1), «+polaznik; +polaznička» (№ 2); названия игр и собраний молодежи, посиделок: карты «+IGra» (№ 3), «Посиделки — вечерние собрания девушек, женщин

(для работы, прядения)» (№ 4); названия мифологических персонажей: «+bosor- f; +bosor- m» (№ 5), «+stRIg-» (№ 6); предметов и локусов из сферы погребальной обрядности: карты «Гроб» (№ 7), «Кладбище» (№ 8).

Несколько карт, связанных с родинной и свадебной обрядностью, содержит 3 выпуск ОКДА — это карты «Внебрачный ребенок» (№ 50), «*kopil- » (№ 51), «Крестный отец» (№ 52), «Крестник (общее название)» (№ 53), «Повивальная бабка» (№ 56), «Невеста (девушка, выходящая замуж, в день свадьбы)» (№ 58), «Жених в день свадьбы» (№ 59), «Подруга невесты в день свадьбы» (№ 60), «*zestra» ‘приданое’ (№ 61). Часть материалов по духовной культуре, собранных для ОКДА, не картографировалась.

Вопросник А. А. Плотниковой «Материалы для этнолингвистического изучения балканославянского ареала» содержит около 400 вопросов из разных сфер традиционной духовной культуры: календарная, семейная обрядность (рождение, свадьба, похороны), хозяйственные обычаи, мифология, а также темы для бесед по календарной, семейной обрядности и мифологии, позволяющие выявить искомые этнокультурные явления в иных, в частности, неславянских, традициях. Вопросник построен по принципу «от значения к слову», что обеспечивает сопоставимость результатов и надежность выводов при работе с генетически гетерогенным языковым континуумом.

Даже выборочное обследование зоны словацких и украинских Карпат показало, что метод выбора для анализа отдельных сел — репрезентантов территориальных диалектов достаточно эффективен. В ходе проведенных экспедиций были выявлены и уточнены отдельные балкано-карпатизмы, как лексические, так и этнокультурные (*полазник* ‘первый посетитель на Рождество / Новый год и связанные с ним обряды’[10], *стрига* ‘ведьма’[11], *вила* ‘женский мифологический персонаж, встречающийся в лесу, горах’[12], следы легенды о

[10] Ср. [Усачева 1977].

[11] В статье Г. П. Клепиковой, посвященной семантике карпато-балканского +*StrIg*-, приводятся данные о бытовании на Балканах форм с начальным *str*-, которые зафиксированы в арумынских диалектах и Черногории (*strigna* ‘злая женщина’), а формы на *štr*- отмечены в хорватских диалектах в значении ‘ведьма, злая женщина’ и в албанском ‘колдунья’ [Клепикова 1996: 116]. Если лексемы, образованные от +*StrIg*-, имеют соответствия в карпатском и, отчасти, балканском ареале, то ареал распространения слов с корнем +*bosork*- ограничивается Карпатами (см. карту к ст. Г. П. Клепиковой) [там же: 126].

[12] Этой теме в словацкой традиции посвящен раздел работы М. М. Валенцовой [Валенцова 2003: 24–26]. Данная лексема имеет широкое распространение у южных славян (словен., хорв., *vila*, серб. *вила*, болг. *самовила*) [Толстая 1995: 369–371; Плотникова 2004: 614, карта № II-3–1а]. По мнению

«мартовской старухе» с мотивом окаменения, отмеченные в названиях горных вершин типа *Баба*), и собственно карпатизмы, т. е. лексемы или явления, не встречающиеся вне зоны Карпат (*Крачун* / *Кречун* ‘Рождество; новогодний каравай’, *босорка* ‘ведьма’, *чернокнижник* ‘человек, обладающий магическими способностями останавливать / вызывать бурю, град’, «двоедушники» ‘люди, обладающие двумя душами / сердцами и сверхъестественными способностями’).

Одной из задач экспедиций было выявление заимствованных явлений в языке и культуре различных этносов, населяющих Карпаты[13]. В закарпатских селах юго-западной Украины (Торунь, Колочава) и словацком селе Гельпа были зафиксированы отдельные заимствованные термины (наряду с уже широко известными *босоркой* (из венг.) и *стригой* (из романск.)), в частности, *шаркань* ‘дракон, летающий змей, атмосферный демон’ (из венг.), имеющий более широкое распространение.

Во время украинских экспедиций в сфере семейной обрядности были записаны термины *нанаш* / *нанашка*, имеющие часто два основных значения: 1) ‘посаженый отец / посаженая мать’; 2) ‘крестный отец / крестная мать’. Данная лексема зафиксирована нами в описаниях свадьбы у гуцулов в Прикарпатье (*нанашко* / *нанашка*) (с. Устерики и г. Верховина), у русин Закарпатья (*nanaška* / *nanaško*, ‘крестная мать, крестный отец’, с. Торунь) [Николаев, Толстая 2001: 128], *нанашка* / *нанашкы* ‘крестная мать, посаженая мать’ (с. Колочава Межгорского р-на Закарпатья). Известен термин и молдаванам (*нанаш* / *нанашка*)[14], украинцам Молдовы (*нанашул* / *нанаша*, с. Мусаит Тараклийского р-на)[15], румынам (*nănáş* / *nănáşă*, *naş* / *náşă*) и старообрядцам (*нанашка*)[16], проживающим в Румынии.

Что касается происхождения слова, то наиболее логичной представляется версия заимствования из румынского, в пользу чего

М. М. Валенцовой, в польском и чешском языках данная лексема является книжным заимствованием, а в словацком — скорее всего, собственная лексема, обозначающая, однако, иные мифологические персонажи, чем вила у балканских славян [Валенцова 2003: 25].

[13] Работая над материалами ОКДА, С. Б. Бернштейн подчеркивал, что «одним из важнейших вопросов, которые получают ныне достаточно четкое освещение на завершенных картах ОКДА, является вопрос о роли венгерского и восточнороманского языков в формировании лексических „карпатизмов“» [Бернштейн 1988].

[14] Сведения из Молдавии любезно предоставлены Н. Голант, за что выражаю ей особую признательность.

[15] *Калашникова Н. М.* Путеводитель по экспозиции РЭМ. Л., 1980.

[16] Материалы собраны А. А. Плотниковой в экспедициях в Румынию 2007–2008 гг.

свидетельствует и зона распространения данной лексемы: Румыния, Республика Молдова, Украина, в частности, Гуцульщина и Закарпатье. По сравнению с ОКДА, где есть карта, посвященная изучаемому термину (вып. 3, карта № 52), наши материалы уточняют ареал его распространения на пограничных с Румынией территориях.

Собранные полевые этнолингвистические материалы в некоторых случаях позволяют уточнить границы ареала распространения термина. Например, карта № 1 ‘Рождество’ 4-го выпуска ОКДА выявляет четкие ареалы распространения терминов типа +*Kračun* в венгерских, румынских и молдавских диалектах. Граница их распределения проходит условно по южной границе Словакии с Венгрией. Нам удалось зафиксировать данный термин в словацком селе Гельпа, расположенном в самом центре Словакии (регион Верхний Грон). Лексема отсутствует в ОКДА (с. Гельпа не вошло в число обследованных пунктов в Средней Словакии). Наличие термина *Kračun* на этой территории отводит верхнюю границу распространения лексемы далее на север средней Словакии.

На карте № 2 ОКДА картографируется слово *po*(*d*)*łaznicka* — название маленькой елки, подвешиваемой к потолку на Рождество, или ветки, с которой ходили колядовать. Эта лексема на карте занимает территорию юга Польши. Наши сведения дают дополнительный материал: слово известно в Гельпе (Средняя Словакия), где *polazničká* обозначает елку, подвешиваемую над столом в Рождество.

Полученные нами данные дают новые сведения о семантике картографируемых лексем. На той же семантической карте № 2 ОКДА «Полазник» представлены не все значения лексемы. В с. Зуберец на Ораве (северная Словакия) нами был записан термин *polazník*/*y* ‘длинный прут / прутья, с которыми приходил в дом пастух’. Данный репрезентант семемы «полазник» не присутствует на карте. Отмечены такие значения, как ‘мужчина, который первым приходит с поздравлениями в Сочельник, Рождество, Новый год’; ‘колядующий’; ‘небольшая елка, которую подвешивают под потолком на Рождество’; ‘животное, которое вводили в дом на Рождество, Новый год’.

Материалы экспедиций увеличивают семантическую амплитуду отдельных лексических карпатизмов, например, для лексемы *Kračun*, которая в ОКДА имеет значение ‘Рождество’. В Закарпатье термин *кречун* / *кричун* (с. Колочава), *керечун* (с. Торунь) используется для обозначения рождественского каравая. Диалектные записи фиксируют широкий контекст функционирования термина. Например, в с. Торунь хлеб *керечун* стоял с зажженной на нем свечой на праздничном столе в ночь на Рождество и хранился в доме до Нового года (*св. Василя*), когда его делили между всеми домочадцами.

От хлеба отрывали по куску с четырех сторон крест-накрест и отдавали скоту «для здоровья». Первый пришедший в дом колядовать мальчик нес его к колодцу «обмывать» и возвращал затем в дом. В Колочаве *кричун* катали по дому через неделю после праздника и гадали: если упадет вверх дном, то в этом году умрет хозяин.

Сбор этнолингвистических сведений предполагал фиксацию широкого этнокультурного контекста бытования термина духовной культуры, что также позволяет уточнять и расширять семантическую сферу лексем. На юго-западе Украины мы записали большое число быличек о человеке-оборотне, превращенном в волка, и о его распознавании женой по куску ткани от ее платья / юбки / фартука, застрявшему в зубах мужа-волколака. Этот мотив широко известен сербам и болгарам. Если в закарпатских селах известен как термин (*воўкун*), так и быличка, то в гуцульском селе Замагора, расположенном на границе Украины с Румынией, быличка бытует в виде рассказа о реальных сельских жителях, а термин отсутствует[17].

В материалах украинских экспедиций мы обнаружили большее число схождений с балканской традицией, чем в словацких. В частности, в с. Устерики (Верховинский р-н Ивано-Франковской обл.) и в с. Колочава (Межгорский р-н Закарпатской обл.) известен ритуал изгнания змей на Благовещение поджиганием соломы в четырех углах дома. В закарпатском селе Торунь отмечен термин *прапор*, обозначающий свадебное знамя, представляющее собой украшенную платком и лентами палку со звонком и букетом из барвинка на верхушке. Флаг нес *дружба* во главе свадебного шествия. Сходный термин для знамени *пряпор* и другие наименования от корня *пряпор-* (< **parparъ*, **parparьсъ* < **perą* ‘лететь’ — [БЕР 5: 599]) имеют широкое распространение в средне-восточной Болгарии, северных и восточных Родопах и в восточной Фракии (подробнее см. карту № 14 «Названия свадебного знамени» в [Узенёва 2010: 224]).

Интерес представляет и термин для завершающего танца невесты, исполняемого ею перед прощанием с девичеством и надеванием чепца, так называемый *золотый танець* (с. Торунь). Мотив золота и его символика присутствуют в болгарском свадебном обряде и корреспондируют с болгарской лексикой, связанной с понятием девственности невесты. Определение девственности как болг. *злато* ‘золото’ находит соответствия в обозначениях недевственной невесты,

[17] Экспедиция в с. Замагура Ивано-Франковской обл. была проведена совместно с А. А. Плотниковой в сентябре-октябре 2012 г. при организационной помощи проф. Прикарпатского ун-та им. В. Стефаника Н. П. Лесюка, за что выражаем ему свою признательность.

ср. выражение: *на булката ни е паднал варака* ‘с нашей невесты упала позолота’ (сев.-зап. Болгария), во многих ритуальных предметах и реалиях (символических эквивалентах невесты), изготавливаемых или украшаемых после брачной ночи в случае «честности» молодой. Позолотой покрывали яблоки, посылаемые родителям невесты, сосуд с горячей ракией, букетики из самшита — *варакосани китки* (обл. Врацы) и правую туфлю невесты, рога обрядового барашка и древко знамени (обл. Монтана), а также петуха, которого кум дарил жениху перед первой брачной ночью и который находился в комнате молодых до утра (обл. Котела). Матери молодой отправляли лепешку, покрытую сусальным золотом. Ее привозил деверь, конь которого был также украшен позолотой на лбу (с. Падеж, регион Огражден). А в области Врацы сама свекровь относила родителям новобрачной *честния леб*, надев платье и платок невесты и прилепив ко лбу кружок из золота (подробнее см. [Узенёва 2010: 78–80]).

В структуре карпатоукраинской свадьбы наблюдаются некоторые переклички с балканской традицией — это изготовление букетов, имеющих одинаковое название в исследованных говорах и болгарском языке (закарп., болг. *китки*, гуцул. *киткê*), для участников свадьбы, украшение атрибутов обряда вечнозелеными растениями, принесение жертвы в виде вина и хлеба растению (барвинку или деревцу), которое срезают для свадьбы, круговой танец вокруг растения, изготовление свадебного знамени, а также первые действия невесты в доме жениха, связанные с очагом, в частности, разжигание огня, характерное для балканских славян.

Другим сходным моментом является выпекание множества хлебов для детей. Как и в Болгарии, в Закарпатье девушки выпекали для свадьбы и специальные маленькие хлебцы *калачи* с дырой посередине, предназначенные для одаривания всех приглашенных на свадьбу детей родственников. Иногда их число доходило до ста. В день свадьбы молодая вручала каждому маленькому гостю калачик на ленточке (укр.). Гуцульской невесте, как и жениху, на правую руку на платочке привязывали небольшой калачик. Важно отметить и общность термина для обозначения основного хлебного изделия на свадьбе — *колач*, *калач* — как в южнобалканском ареале (Македония, южная Болгария), так и на Гуцульщине и в Закарпатье.

Свадебный обряд гуцулов по своей структуре и содержательной наполненности также во многом близок балканскому (болгарскому, в частности). В костюме невесты обнаруживаются соответствия с костюмом болгарской невесты: многослойность, пестрота, доминирование красного, белого и золотого цветов, богатство украшений, монеты на головном уборе (гуцул. *чіл’цê* ‘металлический налобник с мелкими

металлическими подвесками, закрывающими лоб молодой’, идентичные украшениям из Софийской обл.) и на колье, называемом в обеих традициях термином, сходным с *гердан* (через тур. *gerdan* из персид. *gerdan* ‘шея’ [БЕР 1: 238]), или гуцул. *згарда*, белая овечья безрукавка, богато украшенная цветной вышивкой, как и шерстяные носки, верхняя одежда из белой шерсти *гугля* (срв. болг. *гугла* ‘капюшон; островерхая шапка’ из румын. *glugă* ‘капюшон’ [БЕР 1: 292]) и пр.

Проводимое по единой программе, современное полевое этнолингвистическое изучение особенностей языковой и культурной интерференции изучаемого региона способствует выяснению происхождения, источников заимствований и путей распространения лексических и культурных явлений в славянских и неславянских традициях, создает основу для составления культурно-языкового атласа карпато-балканского ареала.

Литература

БЕР — Български етимологичен речник. Т. 1–. София, 1971–.

Бернштейн 1973 — *Бернштейн С. Б.* Проблемы интерференции языков карпато-балканского ареала в свете данных сравнительной диалектологии // Славянское языкознание. Доклады советской делегации. VII Международный съезд славистов. М., 1973.

Бернштейн 1976 — *Бернштейн С. Б.* Лингвистические аспекты карпатистики // ОКДА 1976. С. 5–10.

Бернштейн 1988 — *Бернштейн С. Б.* Общекарпатский диалектологический атлас. Некоторые предварительные итоги // Прилози. Т. 13. Кн. 1. Скопје, 1988. С. 133–141 + карты.

Бернштейн 2000 — *Бернштейн С. Б.* Из проблематики диалектологии и лингвогеографии. М., 2000.

Бернштейн, Клепикова 1984 — *Бернштейн С. Б.*, *Клепикова Г. П.* Историко-культурные аспекты лингвогеографического изучения карпато-балканской зоны // Славянское и балканское языкознание. Язык в этнокультурном аспекте. М., 1984. С. 38–68.

Валенцова 2003 — *Валенцова М. М.* Словацко-южнославянские связи: этнолингвистические параллели // Славянское языкознание. К XIII Международному съезду славистов. Материалы конференции (Москва, июнь 2002 г.). М., 2003. С. 17–28.

Гриценко 2008 — *Гриценко П. Е.* Carpato-balcanica в свете «Общекарпатского диалектологического атласа» // Карпато-балканский диалектный ландшафт. Язык и культура. Памяти Г. П. Клепиковой. М., 2008. С. 26–47.

Домосилецкая, Жугра 1997 — *Домосилецкая М. В., Жугра А. В.* Малый диалектологический атлас балканских языков. Лексическая программа. СПб., 1997.

КБС-1 — Карпато-балканский диалектный ландшафт: Язык и культура. Памяти Г. П. Клепиковой. М., 2008.

КБС-2 — Карпато-балканский диалектный ландшафт: Язык и культура. 2009–2011. Вып. 2. М., 2012.

КДО 1972 — Карпатская диалектология и ономастика. М., 1972.

Клепикова 1996 — *Клепикова Г. П.* Семантика карпато-балканского $^{+}$*StrIg-* в свете характеристики некоторых мифологических персонажей («компонент движение») // Концепт движения в языке и культуре. М., 1996. С. 114–126.

Клепикова 2003 — *Клепикова Г. П.* Карпатское языкознание и «Общекарпатский диалектологический атлас» // Studia Slavica Hung. Budapest, 2003. № 48/4. С. 357–374.

Клепикова 2006 — *Клепикова Г. П.* Материалы к «Карпатскому диалектологическому атласу». 2. Из глагольной лексики // Исследования по славянской диалектологии. Вып. 12. Ареальные аспекты изучения славянской лексики. М., 2006. С. 147–191.

Клепикова 2006/2 — *Клепикова Г. П.* К завершению проекта «Общекарпатский диалектологический атлас» // ОЛА. Материалы и исследования. М., 2006. С. 52–79.

Клепикова 2008 — *Клепикова Г. П.* Очерки карпатской диалектологии // Исследования по славянской диалектологии. Вып. 13. Славянские диалекты в ситуации языкового контакта (в прошлом и настоящем). М., 2008. С. 349–379.

МДАБЯ — Малый диалектологический атлас балканских языков. Пробный выпуск / Под ред. А. Н. Соболева. München, 2003.

Можаева 1989 — *Можаева И. Е.* Аннотированный библиографический указатель по проблемам карпатского языкознания // Лексика в ОКДА I. М., 1989. С. 164–169.

Николаев, Толстая 2001 — *Николаев С. Л., Толстая М. Н.* Словарь карпато-украинского торуньского говора с грамматическим очерком и образцами текстов. М., 2001.

Нимчук 1984 — *Нимчук В. В.* Карпатоукраинско-южнославянские языковые параллели и тождества (история и перспектива проблемы) // ОЛА 1984. М., 1989. С. 294–313.

ОКДА 1976 — Общекарпатский диалектологический атлас. Лингвистические и этнографические аспекты. Кишинев, 1976.

ОКДА 1981 — Общекарпатский диалектологический атлас. Вопросник. М., 1981.

ОКДА 2003 — Общекарпатский диалектологический атлас. Серия лексикословообразовательная. Вып. 7. Београд; Нови Сад, 2003.

ОКДА-ВВ — Общекарпатский диалектологический атлас. Вступительный выпуск. Скопје, 1987.

Плотникова 1996 — *Плотникова А. А.* Материалы для этнолингвистического изучения балканославянского ареала. М., 1996. (Переизд.: М., 2009).

Плотникова 2004 — *Плотникова А. А.* Этнолингвистическая география Южной Славии. М., 2004.

Плотникова 2008 — *Плотникова А. А.* Карпато-балканский диалектный ландшафт — новые перспективы: язык и культура во взаимодействии // Карпато-балканский диалектный ландшафт: Язык и культура. Памяти Г. П. Клепиковой. М., 2008. С. 10–25.

Плотникова 2010 — *Плотникова А. А.* Этнолингвистическое исследование румынских Карпат в балканской перспективе // Адаптация народов и культур к изменениям природной сферы, социальным и техногенным трансформациям. Программа фундаментальных исследований Президиума Российской Академии наук. М., 2010. С. 460–467.

Плотникова 2012 — *Плотникова А. А.* Карпатские традиции в балканской перспективе: этнолингвистический аспект // Карпато-балканский диалектный ландшафт: Язык и культура. 2009–2011. Вып. 2. М., 2012. С. 211–222.

СД — Славянские древности. Этнолингвистический словарь / Под общей ред. акад. Н. И. Толстого. Т. 1–5. М., 1995–2012.

СИМ ОКДА 1978 — Справочно-информационные материалы по ОКДА. М., 1978.

Толстая 1995 — *Толстая С. М.* Вила // Славянские древности. Этнолингвистический словарь / Под ред. Н. И. Толстого. Т. 1. М., 1995. С. 369–371.

Толстая 2003 — *Толстая С. М.* Московская школа этнолингвистики: направления и подходы // Праблемы ўсходнеславянскай этналінгвістыкі. Матэрыялы Першай Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Мінск, 25–26 красавіка 2003 г.). Мінск, 2003. С. 11–22.

Толстой 1997 — *Толстой Н. И.* Избранные труды. Т. 1. Славянская лексикология и семасиология. М., 1997.

Узенёва 2010 — *Узенёва Е. С.* Болгарская свадьба: этнолингвистическое исследование. М., 2010.

Усачёва 1977 — *Усачёва В. В.* Об одной лексико-семантической параллели (на материале карпато-балканского обряда «полазник») // Славянское и балканское языкознание. Карпато-восточнославянские параллели. Структура балканского текста. М., 1977. С. 21–76.

Усачёва 2008 — *Усачёва В. В.* Магия слова и действия в народной культуре славян. М., 2008.

III.

А. В. Бондарко

Анализ элементов текста в системе функциональной грамматики

Характеристика речевых и системно-языковых аспектов семантики и структуры текста связывается в дальнейшем изложении с рассмотрением конкретных вопросов: а) функция временного порядка и б) перцептивность как речевое представление наблюдаемости и других типов восприятия явлений внешнего мира. Проводимый анализ включает элементы разрабатываемой нами модели функциональной грамматики.

В сфере исследований, учитывающих влияние различных типов текстов на закономерности функционирования грамматических форм, важную роль играют труды Ю. С. Маслова. В его работах рассмотрение темпоральных и аспектуальных элементов грамматической семантики соотносится с компонентами структуры высказывания и текста (см. [Маслов 1984: 181–208; 2004: 216–248]). Анализ взаимодействия категорий, отражающих идею времени, включается в характеристику «эпического времени» художественного повествования; в частности, высказываются суждения об элементах последовательности и одновременности, предшествия и следования, возвращения вспять и забегания вперед (см. [1984: 181–189; 2004: 216–225]). Характеризуются компоненты художественного повествования, связанные с речью персонажей, с сентенциями и рассуждениями автора, возможные неэпические вставки, интродукции и концовки, соотносящие повествуемые события [1984: 188; 2004: 224]. Рассматриваются различия в «степени отрешенности художественного повествования от реального настоящего рассказчика и читателя». На одном полюсе — «чисто эпическое повествование, выдержанное целиком в 3-м лице», на другом — художественные формы, которые трактуются

Александр Владимирович Бондарко,
Институт лингвистических исследований РАН (Санкт-Петербург)

Исследование выполнено при поддержке Фонда Президента РФ, грант НШ-1348.2012.6 «Петербургская школа функциональной грамматики».

как «неэпические» и даже «антиэпические». Ср. суждения, касающиеся эпического повествования: «Автор как бы всеведущ: он незримо присутствует при всех событиях, видит своих героев „насквозь“ и так же „насквозь“, с их сокровенными помыслами, показывает их читателю. Вместе с тем он нигде, никак и ни в чем не обнаруживает себя и как бы вообще не существует, — действие происходит „само собою“, без его участия» [1984: 183; 2004: 218]. Выявляется роль славянских претеритальных форм в структуре повествовательных текстов [1984: 89–208; 2004: 225–248]. В видо-временной системе художественного повествования выделяются элементы, обладающие разной степенью обязательности и типичности [1984: 183–184; 2004: 219]. Труды Ю. С. Маслова занимают важное место в сфере исследований, включающих анализ функционирования форм и конструкций в высказывании и целостном тексте (см., в частности, [Thelin 1990_1: 3–88; 1990_2: 91–129; Stunova 1993; Падучева 1996: 285–296; Петрухина 2000; Князев 2007; Feldergrammatik 2007; Шелякин 2010; Плунгян 2011]).

В разрабатываемой нами модели функциональной грамматики важную роль играют понятия «функционально-семантическое поле» и «категориальная ситуация» (см. 6-томную коллективную монографию «Теория функциональной грамматики» [ТФГ 1987; 1990; 1991; 1992; 1996а; 1996б], а также новую серию: «Проблемы функциональной грамматики» [ПФГ 2000; 2003; 2005; 2008]). Эти понятия используются и при анализе грамматических элементов текста. Особенно существенным для данной сферы исследований является понятие «категориальная ситуация» (ср. ситуации аспектуальные, темпоральные, таксисные, квалитативные, локативные, экзистенциальные и т. п.). Говоря о категориальных ситуациях, мы имеем в виду типовые содержательные структуры, а) репрезентирующие в высказывании определенную семантическую категорию и соответствующее функционально-семантическое поле; б) представляющие собой один из аспектов выражаемой в высказывании «общей» сигнификативной ситуации; в) являющиеся категориальной характеристикой (одной из характеристик) высказывания[1].

[1] Понятие ситуации выступает в лингвистической литературе в различных вариантах. В частности, о ситуациях идет речь при рассмотрении общих проблем семантики (см. [Dik 1987; Гак 1998: 243–263; Касевич 1988: 55–82]), при анализе категорий глагола (см. [Comrie 1976: 44–48; 2001; Барентсен 1995; Храковский 1997]); ср. также суждения о типовых ситуациях в системе анализа универсальных и специфических элементов синтаксических моделей в славянских языках: [Норман 1988].

Анализ таких функционально-семантических полей, как темпоральность, модальность, локализованность / нелокализованность во времени, залоговость, персональность, включает рассмотрение вариантов текстов, связанных с определенными семантическими категориями в их речевых реализациях. В частности, имеются в виду тексты в планах настоящего или прошедшего времени, тексты с доминирующими элементами реальности или императивности, конкретной временной локализованности или узуальности, активности или пассивности, отнесенности предикатов к 1-му или 3-му лицу (ср., например, живой рассказ от реального 1-го лица и повествование в 3-м лице, отрешенное от личности говорящего).

При рассмотрении элементов грамматической семантики в высказывании и целостном тексте важно учитывать различия и связи между понятиями «значение» и «смысл» (см. [Бондарко 2002: 17–139; 2011: 281–317]). Разграничение и соотнесение языковых значений и смыслового содержания распространяется не только на отдельные высказывания, но и на целостные тексты. Речь идет, с одной стороны, о вербально выраженных языковых значениях в той или иной речевой реализации, а с другой — о «смысле текста». В понятии «смысл» различаются два аспекта: системно-категориальный (имеются в виду семантические категории и их варианты) и речевой. Речевой смысл (смысл высказывания и смысл текста) трактуется как та информация, которая передается говорящим и воспринимается слушающим на основе содержания, выражаемого языковыми средствами в сочетании с контекстом и речевой ситуацией, на фоне элементов опыта и знаний говорящего и слушающего (пишущего и читающего). Речевой смысл включает прагматические элементы дискурса, разного рода импликации и пресуппозиции.

Взаимосвязи элементов значений и смыслов выявляются в разных типах текстов. В зависимости от характера текста в нем может выступать на передний план (с точки зрения коммуникативной значимости) либо смысловая основа, т. е. может быть четко выражена денотативно-референциальная доминанта (ср., например, жанр детектива), либо такой способ представления смысла текста, в котором особую значимость приобретает интерпретационный компонент (ср., в частности, поэтические произведения). Денотативно-референциальная доминанта содержания текста усиливает тенденцию к смысловой эквивалентности при переводе с одного языка на другой. Напротив, сильно выраженный интерпретационный компонент текста расширяет сферу неполной эквивалентности, увеличивая проявления идиоэтничности.

Анализ категориальной структуры высказываний и целостных текстов связан с различными проявлениями взаимодействия системы и среды. Среда по отношению к той или иной языковой единице, категории или группировке, рассматриваемой как исходная система, представляет собой комплекс языковых и смысловых элементов, играющих роль окружения, которое может влиять на структуру исходной системы и на реализацию относящихся к ней значений и функций. В рассматриваемой сфере исследований могут быть выделены два основных типа среды: а) системно-языковая среда — элементы языковых единиц, категорий или группировок, влияющие на данный системный объект, и б) речевая среда — контекст и речевая ситуация. Понятие речевой ситуации включает все то в обстановке речевого акта, что взаимодействует со значениями языковых средств при формировании содержания высказывания, в частности, статус и ролевые отношения говорящего (пишущего) и адресата.

Одним из компонентов анализа элементов текста в сфере грамматики являются межкатегориальные связи (речь идет о различных направлениях исследований; из работ по данной проблеме см. [Межкатегориальные связи 1996; Пупынин 1990; Мелиг 2008]). Связи между категориями могут выходить за пределы «элементарного высказывания» и распространяться на более широкие фрагменты текста и на текст как целое. В частности, имеется в виду соотношение семантики темпоральности, локализованности / нелокализованности во времени, модальности, персональности и залоговости.

Общая категориальная характеристика текста как целого формируется при участии конкретных вариантов темпоральных, аспектуально-темпоральных, модальных, персональных и залоговых функций. Для функций, связанных с такими категориями, как темпоральность, временная локализованность, модальность, персональность, залоговость, характерно сочетание направлений функционального взаимодействия в направлениях «от текста» и «от конкретного высказывания». Учитывается воздействие функциональной направленности целостного текста — повествования, инструкции, приказа, описания закономерностей и постоянных отношений и т. д. — на реализацию соответствующих функций в конкретных высказываниях. «Нисходящая линия зависимостей» идет от категориальной доминанты текста к категориальным характеристикам отдельных высказываний, доходя до выбора соответствующих форм, т. е. до уровня конкретных языковых средств. Детерминируются вероятностные закономерности выбора тех или иных форм наклонения, времени, лица, а также лексических элементов модальности, темпоральности, локализованности / нелокализованности во времени, персональности. С другой стороны, рече-

вые функции, представленные в конкретных высказываниях, влияют на функциональную характеристику текста.

Далее следует характеристика семантической функции, заключающей в себе четко выраженные элементы связи с темпоральной семантикой текста.

Временной порядок

Говоря о временном порядке (ВП), мы имеем в виду представление «времени в событиях» в высказывании и целостном тексте. Речь идет о временной оси, репрезентируемой отношениями последовательности и одновременности, динамичности (связанной с возникновением новой ситуации) и статичности (при сохранении данной ситуации). В ряде случаев обозначается порядок действий в связи с моментами времени и интервалами (*затем*, *через десять минут* и т. п.). ВП выступает в тексте как один из основных компонентов его аспектуально-темпоральной структуры.

Понятие «временной порядок» восходит к концепции Г. Рейхенбаха [1985: 156–170] (в англ. оригинале [Reichenbach 1958] используется термин «temporal order»). Эта концепция предполагает, что речь идет не о «чистом времени», не об абстрактном представлении о его движении (хотя такое представление возможно), а о «времени в событиях». Предметом анализа является поток времени, воплощенный в определенной упорядоченности событий, процессов и состояний вместе с интервалами и «датами».

В структуре ВП могут быть выделены различные комбинации признаков динамичности и статичности, реализующиеся в семантических элементах «возникновение новой ситуации» (ВНС) и «данная ситуация» (ДС). Основная тенденция в выражении рассматриваемых элементов ВП в тексте такова: выражение ВНС связано с формами совершенного вида, выражение ДС — с формами несовершенного вида. Например: *Бык* ***стал*** [ВНС-1], ***опустил*** *рога* [ВНС-2, сукцессивность по отношению к ВНС-1, динамичность]. *Сбоку* ***подбегал*** *Мишка Коряшонок* [ДС-1], ***щелкал*** *кнутом* [ДС-2, симультанность по отношению к ДС-1; статичность (комплекс элементов «ДС-1 — ДС-2», образующий более широкую «данную ситуацию»), симультанность по отношению к комплексу «ВНС-1, — ВНС-2»]. *Тогда Баян* ***замычал*** *жалобно* [ВНС-3; статичность сменяется динамичностью, обозначается возникновение новой ситуации и начало цепочки сменяющих друг друга ситуаций], ***повернулся*** [ВНС-4] и ***пошел*** [ВНС-5] *назад к колодцу* (А. Толстой. Детство Никиты). В данном фрагмен-

те нарративного текста представлена структура ВП, выступающая в варианте «динамичность (ВНС-1 + сукцессивн. ВНС-2) — симультанная статичность (ДС-1 + симульт. ДС-2) — динамичность (ВНС-3 + сукцессивн. ВНС-4 + ВНС-5)».

Различие, отчасти сходное с соотношением временного дейксиса и временного порядка, выявляется и в сфере пространственной семантики. Ср. возможность совмещения элементов временного и пространственного порядка: *Они* ***прошли*** *метров двести по Невскому*, ***свернули*** *на Литейный*, ***остановились*** *возле тира* (С. Довлатов. Солдаты на Невском). В таких случаях соотношение временных и пространственных характеристик находит выражение не только в связи обозначаемых действий с локативными обстоятельствами, но и в самом лексическом значении глаголов с семантикой перемещения. Вместе с тем ВП может быть представлен в контексте, не содержащем указания на пространственные изменения. Например*: Роман* ***был закончен****. И тут* ***разразилась*** *катастрофа* (М. Булгаков. Театральный роман); — *Я так хочу машину. — Будет.* ***Разбогатею*** — ***купим*** (С. Довлатов. Компромисс).

Существенно, что рассматриваемая семантика выражается как при наличии, так и при отсутствии сопряженности «темпоральных сдвигов» с пространственными. Таким образом, семантическое содержание ВП, хотя оно и может быть сопряжено с последовательностью пространственных изменений, имеет собственно временные основания. Это содержание самостоятельно в своих истоках — в «движении событий». Имеющийся в нашем распоряжении языковой материал подтверждает справедливость суждений Г. Рейхенбаха о соотношении временного и пространственного порядка: «…временной порядок возможен в такой области, которая не имеет никакого пространственного порядка, а именно в сфере психического опыта человека. В самом деле, в нашей повседневной жизни мы не ощущаем пространство столь непосредственно, как мы чувствуем течение времени» [Рейхенбах 1985: 130].

В реализации семантики ВП доминирует направление от более ранних событий к более поздним, соответствующее «естественному течению времени», однако возможно и представление хода событий (вместе с ходом времени), идущее от недавних событий к тому, что им предшествовало. Ср. рассуждение, базирующееся на восстановлении хода прошедших событий в направлении «от недавнего к истокам»: *Следователь ушел от Иванушки*, *получив весьма важный материал. Идя по нитке событий с конца к началу*, *наконец удалось добраться до того истока*, *от которого пошли все события* (М. Булгаков. Мастер и Маргарита).

В повествовательных текстах идея ВП находит эксплицитное выражение в замечаниях о «забегании вперед» и «возвращении назад», например: *Мне придется нарушить последовательный ход повествования и забежать вперед*, *чтобы рассказать*, *как мы наконец избавились от Трегубова* (К. Паустовский. Далекие годы); *Мы подходили к могиле и бросали в нее по горсти земли… Но это было гораздо позже*, *а сейчас Казимир ввел меня в приготовительный класс* (там же).

Речевые реализации семантики ВП во многом определяются функциональными характеристиками текста. Так, различное отношение к ВП выявляется, с одной стороны, в нарративных текстах, где данная функция находит наиболее полное выражение, а с другой — в текстах, в которых речь идет об отношениях и закономерностях, не связанных с хронологией (ср., в частности, тексты, относящиеся к сферам математики и физики).

Специфика ВП четко выявляется при сопоставлении этой функции с временным дейксисом. Данное различие связано с двумя функциональными типами обстоятельств, представляющими собой элементы синтагматической среды. Таковы: 1) обстоятельства временного дейксиса — *два месяца тому назад*, *когда-нибудь*, *завтра*, *прошлым летом* и т. п. и 2) обстоятельства временного порядка — *на следующий день*, *несколько месяцев спустя*, *затем*, *потом* и т. п. Рассматриваемое различие сохраняет свою значимость и в тех случаях, когда одно и то же обстоятельство может выступать как в функции временного дейксиса (*Через пять минут я вернусь*), так и в функции временного порядка (*Он вышел и через пять минут вернулся*).

При сопоставлении фактов разных языков выявляется возможность отношений следующего типа: в одном языке в определенных типах высказываний употребляются обстоятельства, отличающиеся друг от друга не только по функции временного дейксиса и временного порядка, но и по форме, тогда как в другом языке в аналогичных высказываниях при различии функций представлено формальное совпадение обстоятельств. Ср., например, формальное различие обстоятельств в немецких высказываниях: а) при выражении временного дейксиса: — *In wenigen Minuten erreicht unser Zug Stadt Berlin* (объявление по радио в поезде); б) при выражении временного порядка (в нарративном тексте)*: Nach wenigen Minuten erreichte unser Zug Stadt Berlin*. В соответствующих русских высказываниях обстоятельства совпадают по форме: а) *Через несколько минут наш поезд прибывает в город Берлин*; б) *Через несколько минут наш поезд прибыл в Берлин*. Как при формальной дифференциации обстоятельств, так и при их формальном совпадении выявляется разли-

чие функций временного дейксиса и временного порядка. В первом случае выражается смысл «через несколько минут (по отношению к моменту речи) наступит новая ситуация». Во втором случае передается смысл «через несколько минут (по отношению к какому-то предшествующему моменту на временной линии повествования) наступила новая ситуация».

Для анализа соотношения временного порядка и временного дейксиса существенно различие ситуативно актуализированной / неактуализированной речи. В ситуативно актуализированном рассказе о прошлом порядок действий определяется прежде всего реальной хронологической последовательностью описываемых событий, хотя значительную роль играет и способ представления этой последовательности, «выбор» фактов и процессов, на которых останавливается внимание говорящего или пишущего. Иные отношения характерны для эпического повествования, не соотнесенного с моментом речи. В этих условиях ВП строится на основе стратегии автора, располагающего описываемые события, процессы и состояния во времени в зависимости от того, как ему представляется ход событий. При этом сохраняется связь представления фабульного времени как элемента создаваемой автором условной картины мира с прототипом повествования о реальном прошлом (в соответствии с существующей нормой художественного повествования в плане прошедшего времени или настоящего исторического). Например: *По прошествии нескольких секунд далеко внизу, в земной черноте,* ***вспыхнуло*** *новое озеро электрического света и* ***подвалилось*** *под ноги летящей, но оно тут же* ***завертелось*** *винтом и* ***провалилось*** *в землю* (М. Булгаков. Мастер и Маргарита).

В зависимости от принадлежности высказывания и текста в целом к ситуативно актуализированной или ситуативно неактуализированной речи наблюдаются различные варианты соотношения функций временного дейксиса и временного порядка. Так, если в тексте выражен ВП, то возможны отношения двух типов: а) ВП сочетается с актуальным временным дейксисом, например: *Только вчера* (*15 января 1927 года*) ***вспомнил*** *я о моей старинной записной книжке и с великим трудом* ***отыскал*** *ее в бумажном мусоре* (А. Куприн. Купол); б) ВП выступает при отсутствии у временного дейксиса признака актуальной соотнесенности с моментом речи, например: *И вот Егор Иванович* ***собрался***. ***Завернул*** *деньги в портянку,* ***натянул*** *сапоги,* ***взял*** *в руки палку и* ***пошел*** (М. Зощенко. Беда).

Возникает вопрос: чем отличается временной порядок от таксиса? Эти понятия частично пересекаются (ср. ситуации типа «цепь фактов», «длительность — наступление факта», «длительность —

одновременная длительность» и т. п.). Вместе с тем понятия ВП и таксиса не совпадают. Таксис — это временные отношения между действиями, выражаемые в полипредикативных конструкциях, тогда как ВП не ограничивается полипредикативными конструкциями. Отношения, охватываемые этим понятием, могут распространяться на текст в целом; так, предметом анализа может быть временная линия в повествовательном тексте. Понятие ВП ориентировано на характеристику аспектуально-темпоральной структуры текста, на отражение в нем представления о течении времени, воплощенном в осуществлении фактов и протекании процессов. Если понятие таксиса сопряжено с синтаксической проблематикой (имеется в виду та или иная речевая реализация синтаксической полипредикативной структуры), то понятие ВП выходит далеко за пределы синтаксиса предложения и сложного синтаксического целого: это понятие относится прежде всего к сфере грамматики текста.

Центральное положение в той сфере, которую можно назвать «полем временного порядка», занимают языковые средства, характеризующиеся наибольшей специализированностью по отношению к рассматриваемой функции и наибольшей степенью регулярности. На вершине иерархии находится последовательность глагольных форм в нарративном тексте. Речь идет прежде всего о формах прошедшего времени (следует учитывать и последовательность форм настоящего времени в функции настоящего исторического). При выражении сменяющих друг друга ситуаций доминирующая тенденция заключается в том, что порядок глагольных лексем в тексте иконически отражает временной порядок — последовательность действий, в которой воплощается временная последовательность: *Мышлаевский* ***выронил*** *папиросу изо рта*, ***откинулся*** *и* ***захрапел*** *сразу* (М. Булгаков. Белая гвардия). На фоне этой господствующей тенденции становятся понятными «исключения»: для выражения ВП, не совпадающего с последовательностью глагольных словоформ в тексте, требуются специальные средства, например: ***Прежде чем*** *я* ***успел*** *дать себе отчет в том*, *что я вижу*, *мною вдруг* ***овладело*** *чувство*, *какое я испытал когда-то в армянской деревне* (А. Чехов. Красавицы). Ср. обстоятельственное выражение «регресса»: *Вдруг* ***зашли*** *попрощаться Юзовский с Лемкусом*. ***До этого*** *я сам* ***разыскал и обнял*** *Панаева* (С. Довлатов. Филиал).

С глагольными формами при выражении ВП взаимодействуют обстоятельства, обозначающие определенные моменты и интервалы, выделяемые на временной оси (*через два дня*, *два часа спустя* и т. п.). Это особая сфера «дополнительных характеристик», близкая к центру. Если видо-временные формы образуют основу ВП — ряды

действий и отдельные действия на оси времени, то обстоятельства представляют собой дополнительную (хотя и очень важную) характеристику «места действий на временной оси».

Очевидны связи ВП с категорией вида и другими элементами аспектуальности. Важную роль в выражении ВП играет синтагматика видо-временных форм, их комбинаторика. В структуре ВП основным средством выражения динамичности сменяющих друг друга ситуаций (отношений сукцессивности) является последовательность форм СВ, а основным средством выражения статичности (отношения симультанности) — формы НСВ. Вместе с тем формы НСВ в определенных условиях способны участвовать в выражении семантики динамичности. Можно выделить две разновидности функционирования форм НСВ при выражении ВП. Первая разновидность — высказывания с формами НСВ в тех временных планах, которые в обычных условиях исключают употребление форм СВ; в таких случаях НСВ как бы выступает «вместо СВ». Ср.: настоящее историческое: ***Идем*** *мы по Невскому* [ДС]; *вдруг нам навстречу какой-то низенький господин в медвежьей шубе* [ВНС-1, импликация смысла «появляется»], *и* ***вдруг*** *этот господин* ***начинает*** [ВНС-2; в прошедшем времени был бы СВ — *начал*] ***обнимать*** *Куфнагеля…* (И. Тургенев. Холостяк); настоящее сценическое: *Занавес* ***распахивается***, *и на эстраде* ***появляется*** *в очень открытом платье Марья Никифоровна* (М. Булгаков. Зойкина квартира); прошедшее время повторяющегося и обычного действия: *Время от времени он* ***вынимал*** *из кармана пальто маленькую книгу с вытисненным на черном переплете золотым щитом Давида*, ***прочитывал*** *одну-две страницы и снова* ***прятал*** *книгу в карман* (К. Паустовский. Время больших ожиданий). Вторая разновидность — функционирование форм НСВ в высказываниях следующего типа: *Он у нас* ***ужинал***, ***потом играл*** *с Лидой в дураки и ушел за полночь* (В. Набоков. Отчаяние). *В субботнее утро Фима и Лора долго* ***завтракали***. ***Потом ходили*** *в магазин*. ***Потом смотрели*** *телевизор* (С. Довлатов. Иностранка). При участии элементов контекста типа *потом* может передаваться смена ситуаций (последовательность «данных ситуаций»), причем формы НСВ выступают в «собственных функциях»: *Забулдыга* ***нес*** *чемодан* [ДС-1], ***ударяя*** *то и дело себя по колену* [ДС-2 симульт.]. *Красноперов* ***шел*** *рядом* [ДС-3 симульт.]. ***Потом*** *Красноперов* ***нес*** *чемодан* [ДС-4; сукцессивность по отношению к предшествующему комплексу «ДС-1 + ДС-2 + ДС-3 симульт.»]. *Незнакомец* ***сопровождал*** *его*, ***задевая*** *плечом водосточные трубы* [комплекс «ДС-4 + ДС-5 симульт.»; данный комплекс присоединяется к предшествующему, образуя сложную многочленную «данную ситуацию длительности»

с отношениями симультанности между отдельными компонентами] (С. Довлатов. Иная жизнь). В подобных случаях основную роль в выражении отношений сукцессивности играют обстоятельства типа *потом*, *затем*. Что же касается самих по себе форм НСВ, то каждая из них выражает определенный процесс: «что-то происходило».

При рассмотрении различных типов высказываний обращается внимание на различные варианты синтагматических отношений между элементами ВП (из работ последнего времени, связанных с анализом ВП, см. [Михеева 2007]). В этих отношениях заключено одно из существенных отличий анализируемой функции от грамматической категории времени. Конечно, и для глагольного времени синтагматическая соотнесенность противопоставленных друг другу граммем в высказывании вполне возможна (ср. высказывания типа *Мы здесь жили*, *живем и будем жить*), однако важно то, что речевые реализации категории времени опираются на особую систему грамматических форм, на морфологическую парадигму. Что же касается функции ВП, то ее полное и наиболее ясное выражение связано с комбинаторикой элементов динамичности и статичности в тексте.

Проводимый анализ ВП представляет собой продолжение и развитие того подхода к семантическим категориям грамматики и категориальным ситуациям, который лежит в основе разрабатываемой нами модели функциональной грамматики. Специфика исследования и описания функции ВП заключается в доминирующей направленности проводимого анализа на изучение реализации изучаемой семантики в тексте.

Речевая интерпретация перцептивности

Предметом анализа является связанная с «уровнем текста» семантика, трактуемая как речевая интерпретация наблюдаемости и других типов восприятия явлений внешнего мира (в частности, восприятия акустического и связанного с ощущением). Учитывается не только наблюдаемость с точки зрения говорящего и слушающего в конкретном акте речи (например: *Посмотри*, *к нам кто-то идет*), но и представленная в письменной речи репрезентация перцептора как автора, повествователя, персонажей, неопределенного множества реальных и потенциально возможных лиц, воспринимающих обозначаемые ситуации. Например: *У входной двери послышались шаги*, *и княгиня Бетси*, *зная*, *что это Каренина*, *взглянула на Вронского. Он смотрел на дверь*, *и лицо его имело странное новое выражение. Он радостно*, *пристально и вместе робко смотрел на входившую и медленно*

приподнимался. В гостиную входила Анна (Л. Толстой. Анна Каренина); *Я шел потупя голову. Вдруг мне послышались голоса: я взглянул через забор — и окаменел… Мне представилось странное зрелище* (И. Тургенев. Первая любовь). Различаются высказывания и тексты перцептивные и неперцептивные.

Рассматриваемая семантическая функция далеко не всегда выступает в ситуациях реального непосредственного наблюдения. В художественных произведениях широко представлена условная наблюдаемость процессов с позиции автора. Подразумевается (и это обычная условность художественного повествования), что автор может выступать в роли наблюдателя, свидетеля описываемых процессов и фактов.

Перцептивность проявляется не во всех высказываниях. Ср., например, отсутствие этого содержательного признака в высказываниях *Я отказался от поездки*; *Он подал в суд*; *Вынесли приговор*; *Его уволили*; *Думаю, что ты прав*; *Посоветуй ему не делать этого* и многих других. Ср. также перформативные высказывания (*Клянусь!* и т. п.). Тем не менее сфера распространения перцептивности достаточно широка. Наличие или отсутствие в высказывании перцептивности в ее языковой интерпретации зависит от функции высказывания и текста в целом, его направленности либо на описание и изображение определенной ситуации (описательно-изобразительная функция, сопряженная с теми или иными вариантами перцептивности), либо на общую информацию о чем-то (общеинформативная функция, обычно не связанная с перцептивностью). Ср. употребление НСВ в конкретно-процессном значении (*Видишь, он пишет*) и в значении обобщенно-фактическом: *Ты писал ему?*

Понятия наблюдателя и наблюдаемости получили интересное истолкование в ряде публикаций (см. [Апресян 1986; Падучева 1996; Кустова 1999; Пупынин 2000: 36–51]). В теории Ю. Д. Апресяна понятия «наблюдаемость» и «наблюдатель» включаются в истолкование наивной модели мира. Языковое представление наблюдаемости, конкретизируемое в анализе лексических и грамматических значений, рассматривается в связи с понятием личной сферы говорящего (см. [Апресян 1986: 5–33; 1995: 629–650]). В работах Е. В. Падучевой особое внимание уделяется понятию эксперианта, т. е. воспринимающего субъекта (см. [Падучева 2000: 185–201; 2001: 23–44]). В статье Г. И. Кустовой понятия субъекта и объекта восприятия рассматриваются в связи с соотношением локативного и перцептивного компонентов обозначаемых ситуаций (см. [Кустова 1999: 229–238]). В работе Ю. А. Пупынина ([2000: 36–51]) рассматривается понятие перцептора в его отношении к функционированию категорий вида,

залога и времени. Анализируются значения начинательности / завершительности, аспектуальные функции глаголов перемещения в пространстве, дейктические аспекты семантики вида и времени.

В целом можно сказать, что уже намечено направление исследований, концентрирующее внимание на языковом представлении восприятия мира человеком. Речь идет об элементах высказывания и целостного текста, так или иначе связанных с наблюдаемостью. Результаты проведенных исследований свидетельствуют о необходимости дальнейшего осмысления данного круга вопросов, связывающих собственно лингвистические аспекты анализа семантики восприятия с широкой проблемой «человек и мир». Очевидна актуальность исследования системы средств выражения данной семантики и ее импликации.

Проблемы отражения семантики времени и перцептивности в художественных текстах связаны с философскими представлениями о времени и восприятии мира. В частности, Л. Витгенштейн обращал особое внимание на такие предметы анализа, как визуальное переживание, зрительное впечатление, понятие «видеть», пространственное видение. Осмысление философских аспектов наблюдаемости непосредственно связывается с суждениями о высказываниях типа «Что ты видишь?», «Я вижу это теперь как…» [Витгенштейн 1994: 276–305].

В последующем изложении представлен вариант лингвистического анализа семантики восприятия в том направлении, которое было намечено в ранее опубликованных работах (см. [Бондарко 2002: 273–285; 2011: 336–344]). Проводимый анализ включает выявление связей между перцептивностью и категориями, отражающими разные стороны идеи времени.

Элементы перцептивности во многих случаях соотносятся с семантикой темпоральности. Прототипическому коммуникативному центру временного дейксиса — моменту речи говорящего — соответствует прототипическая перцептивность: реальная и конкретная. Связь рассматриваемых понятий обусловлена тем, что реальный момент (период) речи может быть (хотя и не обязательно является) и моментом (периодом) наблюдения, того или иного восприятия окружающего мира. «Переживание времени» может быть вместе с тем переживанием акта или процесса перцептивности, например: *Посмотри, к нам кто-то идет*.

В предлагаемом истолковании понятия перцептивности по отношению к функционированию форм глагольного вида обращается внимание на необходимость различать ориентационные элементы грамматических значений видовых форм и перцептивность как

семантический признак высказывания. Соотнесенность этих явлений возможна в определенных типах употребления видов и в различных типах высказываний, но она не является всеобщей и постоянной. В условиях облигаторности грамматической категории вида, охватывающей все глагольные формы и все типы их функционирования, естественно, что различия во «взгляде на действие» далеко не всегда включаются в актуальный смысл высказывания (см. [Бондарко 2002: 273–285; 2004: 156–164; 2006: 67–79]).

Речевое представление перцептивности взаимодействует не только с компонентами аспектуально-темпорального комплекса, но и с локативностью, субъектностью и объектностью. Наблюдаемость предполагает определенную пространственную сферу, то или иное выражение субъекта и объекта восприятия.

В дальнейшем изложении речь будет идти об образно-поэтической перцептивности как особой разновидности перцептивности литературной. Приводится фрагмент анализа семантики настоящего времени и перцептивности в стихотворных текстах А. С. Пушкина.

Прототип в рамках инварианта «настоящее время» в исследуемых текстах — это образно-поэтическое актуальное настоящее. Этот вариант временного дейксиса является не первичным (исходным), прототипом, а вторичным, производным от первичного прототипа — актуального настоящего в устной разговорной речи, однако в цепочке прототипичности он в свою очередь оказывается источником производности по отношению к «окружающим вариантам».

Сфера образно-поэтического актуального настоящего имеет полевую структуру: выделяется центр прототипа и относительная периферия; важную роль играют проявления континуальности, постепенных переходов.

Центр — это образно-поэтическое актуальное настоящее в условиях явно выраженной образно-поэтической перцептивности. Имеются в виду ситуации следующего типа: «я» (образ поэта-перцептора) — «сейчас» (образ момента восприятия и представления зримого мира) — «это», т. е. воспринимаемая и представляемая картина. В семантике временного дейксиса явно выражены признаки интенциональности и личностной характеризации (также в образно-поэтическом варианте). Например*: Кавказ подо мною. Один в вышине* / *Стою под снегами у края стремнины*; / *Орел, с отдаленной поднявшись вершины*, / *Парит неподвижно со мной наравне.* / *Отселе я вижу потоков рожденье* / *И первое грозных обвалов движенье* (Кавказ); *На холмах Грузии лежит ночная мгла*; / *Шумит Арагва предо мною...* (На холмах Грузии лежит ночная мгла); *Дро-*

бясь о мрачные скалы, / *Шумят и пенятся валы*, / *И надо мной кричат орлы*, / *И ропщет бор*, / *И блещут средь волнистой мглы* / *Вершины гор* (Обвал).

В приведенных примерах четко проявляются особенности образно-поэтического актуального настоящего в отличие от реального. В данном случае особенно важно следующее: реальный момент речи, реальное настоящее, переживаемое говорящим, движется вместе с развертывающимся процессом коммуникации, тогда как образно-поэтическое настоящее раскрывается как «остановившееся мгновение». Изображаемая картина представлена как открывшийся взору автора образ зримого мира. Есть еще одна особенность: поэтический текст предполагает потенциальную воспроизводимость этого образа в каждом акте прочтения данного произведения. Представление поэтического образа распространяется и на потенциальное восприятие со стороны адресата-читателя.

Перед нами вариант, в котором все элементы наблюдаемости характеризуются образной конкретностью: а) перцептор — поэтическое «я»; б) наблюдаемость, конкретизированная с точки зрения пространственного дейксиса; в) предикаты, представленные глаголами, обозначающими воспринимаемые (видимые или слышимые) процессы и состояния, а также позицию поэтического «я» как перцептора.

Приведенные примеры наглядно демонстрируют тесную связь образно-поэтической перцептивности с образно-поэтической разновидностью актуального настоящего. Поэтическое представление «переживания времени» оказывается вместе с тем представлением восприятия природы в единстве с поэтическим выражением связанных с этим чувств и мыслей.

Актуальное настоящее в рассматриваемой разновидности включается в поэтическую функцию высказываний и текста в целом.

Могут быть выделены варианты образно-поэтической перцептивности с различными оттенками представления перцептора. Один из вариантов — включение в сферу перцептивности не только поэтического «я», но и «ты» в контексте произведения: *Мороз и солнце*, *день чудесный!* / *Еще ты дремлешь*, *друг прелестный —* / *Пора*, *красавица*, *проснись...* / *Вечор*, *ты помнишь*, *вьюга злилась*, / *На мутном небе мгла носилась...* / *А нынче... погляди в окно:* / *Под голубыми небесами* / *Великолепными коврами*, / *Блестя на солнце*, *снег лежит...* (Зимнее утро).

Промежуточное положение между перцептивностью с точки зрения поэтического «я» и перцептивностью обобщенной занимает вариант, характеризующийся тем, что изображаемая картина представлена не только с точки зрения перцептора, выступающего как

поэтический образ «я», но и с точки зрения любых наблюдателей. Перцептор «я» оказывается представителем обобщенной точки зрения и обобщенного (потенциально любого возможного) перцептора. При этом предмет наблюдения («это») может быть вполне конкретным, известным: *Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила.* / *Дева печально сидит, праздный держа черепок.* / *Чудо! не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой*; / *Дева над вечной струей, вечно печальна сидит* (Царскосельская статуя). Образ статуи конкретен и конкретно наблюдаем — всеми, кто оказывается перед нею, однако этот образ рисуется автором, включающим свое «я» в поэтическое пространство, и именно он является «первичным наблюдателем». При всей конкретности наблюдаемого образа конкретное настоящее время «акта наблюдения» в данной поэтической интерпретации перерастает в перспективу «не-временности». Образ статуи предстает перед глазами «тех, кто видит» не только *сейчас*, но и *всегда* — пока существует эта статуя и пока ее можно видеть. «Импликация не-временности» — важный элемент рассматриваемой поэтической функции.

Перцептивность как элемент функции актуального настоящего может быть «обобщенной» и в том более широком смысле, что изображаемая картина представлена вне непосредственного отношения к наблюдателю-автору. Например: *Ворон к ворону летит.* / *Ворон ворону кричит:* / *Ворон, где б нам отобедать?* / *Как бы нам о том проведать?* (Ворон к ворону летит). Воображаемая картина по своей сути такова, что она наблюдаема, однако конкретные условия и источники (субъекты-наблюдатели) не выражены.

Интерпретация перцептивности в разных типах высказываний и текстов представляется актуальной в дальнейшей перспективе функционально-семантических исследований. Заслуживают внимания взаимосвязи собственно лингвистического, литературоведческого и философского аспектов проводимого анализа.

Литература

Апресян 1986 — *Апресян Ю. Д.* Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира // Семиотика и информатика. Вып. 28. М., 1986.

Апресян 1995 — *Апресян Ю. Д.* Избранные труды. Т. II. Интегральное описание языка и системная лексикография. М., 1995.

Барентсен 1995 — *Барентсен А. А.* Трехступенчатая модель инварианта совершенного вида в русском языке // Семантика и структура славянского вида. I. Kraków, 1995.

Бондарко 2002 — *Бондарко А. В.* Теория значения в системе функциональной грамматики: На материале русского языка. М., 2002.

Бондарко 2004 — *Бондарко А. В.* Теоретические проблемы русской грамматики. СПб., 2004.

Бондарко 2006 — *Бондарко А. В.* Перцептивность и аспектуально-темпоральный комплекс // Глагольный вид и лексикография: Семантика и структура славянского вида. IV. München, 2006.

Бондарко 2011 — *Бондарко А. В.* Категоризация в системе грамматики. М., 2011.

Гак 1998 — *Гак В. Г.* Языковые преобразования. М., 1998.

Касевич 1988 — *Касевич В. Б.* Семантика. Синтаксис. Морфология. М., 1988.

Князев 2007 — *Князев Ю. П.* Грамматическая семантика: Русский язык в типологической перспективе. М., 2007.

Кустова 1999 — *Кустова Г. И.* Перцептивные события: участники, наблюдатели, локусы // Логический анализ языка: Образ человека в культуре и языке. М., 1999.

Маслов 1984 — *Маслов Ю. С.* Очерки по аспектологии. Л., 1984.

Маслов 2004 — *Маслов Ю. С.* Избранные труды: Аспектология. Общее языкознание. М., 2004.

Мелиг 2008 — *Мелиг Х. Р.* Взаимодействие между видом и «накопителями» в русском языке // Динамические модели: Слово. Предложение. Текст. Сборник статей в честь Е. В. Падучевой. М., 2008.

Михеева 2007 — *Михеева С. Л.* Семантика временного порядка в повествовательном тексте (на материале русского языка). Чебоксары, 2007.

Норман 1988 — *Норман Б. Ю.* Универсальное и специфическое в синтаксических моделях славянских языков. Минск, 1988.

Падучева 1996 — *Падучева Е. В.* Семантические исследования. Семантика времени и вида в русском языке. Семантика нарратива. М., 1996.

Падучева 2000 — *Падучева Е. В.* Наблюдатель как Эксперимент «за кадром» // Слово в тексте и в словаре. Сб. статей к семидесятилетию академика Ю. Д. Апресяна. М., 2000.

Падучева 2001 — *Падучева Е. В.* К структуре семантического поля «восприятие» (на материале глаголов восприятия в русском языке) // Вопросы языкознания. 2001. № 4.

Петрухина 2000 — *Петрухина Е. В.* Аспектуальные категории глагола в русском языке в сопоставлении с чешским, словацким, польским и болгарским языками. М., 2000.

Плунгян 2011 — *Плунгян В. А.* Введение в грамматическую семантику: грамматические значения и грамматические системы языков мира. Учебное пособие. М., 2011.

Пупынин 1990 — *Пупынин Ю. А.* Функциональные аспекты грамматики русского языка: Взаимосвязи грамматических категорий. Л., 1990.

Пупынин 2000 — *Пупынин Ю. А.* О роли перцептора в функционировании грамматических категорий вида, залога и времени в русском языке // Проблемы функциональной грамматики: Категории морфологии и синтаксиса в высказывании. СПб., 2000.

ПФГ 2000 — Проблемы функциональной грамматики: Категории морфологии и синтаксиса в высказывании. СПб, 2000.

ПФГ 2003 — Проблемы функциональной грамматики: Семантическая инвариантность / вариативность. СПб., 2003.

ПФГ 2005 — Проблемы функциональной грамматики: Полевые структуры. СПб., 2005.

ПФГ 2008 — Проблемы функциональной грамматики: Категоризация семантики. СПб., 2008.

Рейхенбах 1985 — *Рейхенбах Г.* Философия пространства и времени (перев. с английского). М., 1985.

ТФГ 1987 — Теория функциональной грамматики: Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. Л., 1987 (ТФГ 1987; изд. 6-е, стереотипное, — М., 2011).

ТФГ 1990 — Теория функциональной грамматики: Темпоральность. Модальность. Л., 1990.

ТФГ 1991 — Теория функциональной грамматики: Персональность. Залоговость. СПб., 1991.

ТФГ 1992 — Теория функциональной грамматики: Субъектность. Объектность. Коммуникативная перспектива высказывания. Определенность / неопределенность. СПб., 1992.

ТФГ 1996а — Теория функциональной грамматики: Качественность. Количественность. СПб., 1996.

ТФГ 1996б — Теория функциональной грамматики: Локативность. Бытийность. Посессивность. Обусловленность. СПб., 1996.

Храковский 1997 — *Храковский В. С.* Понятийная база и опыт классификации семантических типов множества ситуаций // Труды аспектологического семинара филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Т. 2. М., 1997.

Шелякин 2010 — *Шелякин М. А.* Очерки по прагматике русского языка. М., 2010.

Comrie 1976 — *Comrie B.* Aspect. An introduction to the study of verbal aspect and related problems. Cambridge, 1976.

Feldergrammatik 2007 — Feldergrammatik in der Diskussion. Funktionaler Grammatikansatz in Sprachbeschreibung und Sprachvermittlung / Joachim Buscha, Renate Freudenberg-Findeisen (Hrsg.). Frankfurt am Main; Berlin; Bern; Bruxelles; New York; Oxford; Wien, 2007.

Reichenbach 1958 — *Reichenbach H.* The Philosophy of Space and Time. New York, 1958.

Stunova 1993 — *Stunova A. A.* Contrastive Study of Russian and Chech Aspect: Invariance vs. Discourse. Amsterdam, 1993.

Thelin 1990_1 — *Thelin N. B.* Verbal Aspect in Discourse: on the State of the Art // Verbal Aspect in Discourse. Contributions to the Semantics of Time and Temporal Perspective in Slavic and Non-Slavic Languages / Thelin Nils B. (ed.). Amsterdam; Philadelphia, 1990.

Thelin 1990_2 — *Thelin N. B.* On the concept of time: Prolegomena to a theory of aspect and tense in narrative discourse // Verbal Aspect in Discourse. Contributions to the Semantics of Time and Temporal Perspective in Slavic and Non-Slavic Languages / Thelin Nils B. (ed.). Amsterdam; Philadelphia, 1990.

М. Я. Дымарский

От моделей предложения — к моделированию высказывания

1. Введение

Вторую половину прошлого века, если иметь в виду одну из наиболее заметных тенденций в теоретическом синтаксисе, можно было бы назвать «эпохой моделирования». Это время, когда синтаксис совершил огромный скачок, превратившись из дополнения к морфологии (каким он, в сущности, оставался в русистике почти до середины века, несмотря на две крупные монографии — А. А. Шахматова и А. М. Пешковского) в ведущий раздел грамматики. Чтобы убедиться в справедливости такого суждения, достаточно сопоставить композицию академической Грамматики русского языка 1952–1954 гг. с композицией «Коммуникативной грамматики русского языка» под ред. Г. А. Золотовой [Золотова и др. 1998]. В Грамматике-54 Введение В. В. Виноградова к «синтаксическому» тому носит характер программы будущих исследований [Виноградов 1954], а основное изложение подводит итоги прошлых, и, если бы не более чем 100-страничное Введение, объем этих итогов был бы существенно меньше объема «морфологического» тома. В «Коммуникативной грамматике…» под ред. Г. А. Золотовой первый же раздел называется «Синтаксис — организующий центр грамматики».

Перечень достижений, сообщивших синтаксису столь впечатляющую динамику, весьма пространен: это и учение о предикативности, составившее новый фундамент теории предложения, и разработка теории семантической структуры предложения, и новая теория словосочетания, и понятие детерминации, и учение о сложном синтаксическом целом (предвосхитившее лингвистику текста), и учение об актуальном членении, и новая теория сложного предложения и мн. др., причем за

Михаил Яковлевич Дымарский,
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена;
Институт лингвистических исследований РАН (Санкт-Петербург)

каждым из перечисленных пунктов скрываются целые системы новых или принципиально обновленных понятий. И все же несомненно, что центральным достижением синтаксиса второй половины XX века стало создание стройного, компактного структурно-семантического описания ядра языковой синтаксической системы.

Можно по-разному относиться к синтаксическим концепциям Н. Ю. Шведовой и ее соавторов [Шведова 1970; 1980], В. А. Белошапковой [1977], Ф. Данеша, Е. Беличовой-Кржижковой и других создателей пражской «Русской грамматики» [Bárnetova et al. 1979], Г. А. Золотовой и ее соавторов [Золотова и др. 1998] и целого ряда других крупных синтаксистов второй половины XX в., но бесспорно то, что трудами этих ученых создана эффективная модель описания синтаксической системы конкретного национального языка, причем в самых общих чертах это именно единая модель, несмотря на глубокие расхождения между самими концепциями. Суть этой модели заключается в том, что синтаксическая система представляется как упорядоченная совокупность формализованных абстрактных образцов (структурных схем, моделей предложения), по которым может строиться неограниченное количество высказываний и к одному из которых может быть сведено любое (или почти любое) реальное высказывание. Различия же между концепциями начинаются с того, что́ рассматривается в качестве организующего эту систему начала и, соответственно, кладется в основание типологии. Например, у Н. Ю. Шведовой в качестве типологизирующего основания выступает формальный способ реализации предикативного значения (предикативный минимум), у Г. А. Золотовой — коммуникативная предназначенность высказывания (принадлежность его к одному из постулируемых коммуникативных регистров).

Разработано несколько вариантов представления синтаксической системы русского языка. Самым компактным оказывается вариант Г. А. Золотовой: пяти коммуникативным регистрам соответствуют пять базовых моделей русского предложения. Самыми детализированными — варианты, предложенные пражской «Русской грамматикой», С. А. Киселевым [Киселев 1990], а позднее — авторским коллективом под руководством Л. Г. Бабенко [Русские глагольные… 2002]: разные способы обязательного распространения одного и того же — формально — предикативного центра (в зависимости от семантического типа предиката) рассматриваются авторами как разные модели, поэтому количество структурных схем простого предложения возрастает до семи-восьми десятков. Объединяющая эту группу вариантов идея удачно обозначена В. А. Белошапковой как «номинативный» — а не предикативный — минимум предложения

[1977]. Версия Н. Ю. Шведовой занимает промежуточное положение между этими двумя подходами: по-разному исполненная в Грамматике-70 и «Русской грамматике» 1980 г., она насчитывает от трех с половиной до четырех с половиной десятков структурных схем. Однако, несмотря на указанные и другие различия, понятие модели простого предложения может считаться устоявшимся в своих основных чертах: не случайно оно, с одной стороны, прочно вошло в практику высшей школы, с другой — получило дальнейшее развитие в работах коллектива авторов академической грамматики чешского языка [Mluvnice češtiny 1987], Б. Ю. Нормана [1975; 1988], З. Л. Новоженовой [1983], С. А. Киселева [1990], М. В. Всеволодовой [2000; 2004], З. К. Тарланова [2000], Л. Г. Бабенко с соавторами [Русские глагольные… 2002] и мн. др. Эта теория сегодня широко используется для описания систем простого предложения большинства славянских языков (см., например, [Kiklewicz, Korytkowska 2010]).

Следует подчеркнуть, что идея моделирования предложения отнюдь не была исключительным достоянием славистики. Она была предвосхищена, в частности, «стеммами» Л. Теньера [1959/1988]; параллельно с работами славистов в 60-е гг. и далее на материале разных языков разрабатывались принципы моделирования предложения в рамках генеративной грамматики, в рамках теории «Смысл ↔ Текст» — И. А. Мельчуком [Mel'čuk, Pertsov 1987; Mel'čuk 1988] и его единомышленниками [Апресян и др. 2010][1], в концепции функционально-структурного синтаксиса А. М. Мухина [1968; 2004] и мн. др. Разработка принципов моделирования синтаксических единиц и построение систем моделей, таким образом, действительно составили важнейшее направление развития теоретического синтаксиса второй половины XX в.

Тем не менее, хотя сегодня нет недостатка в различных версиях таких систем, вряд ли кто-либо из специалистов в этой области решится заявить, что разработан такой свод моделей простого предложения, который охватывал бы — пусть даже с относительной полнотой — всё синтаксическое богатство и многообразие речи. Более того: существующие своды синтаксических моделей выполняют преимущественно дескриптивную, но не экспланаторную функцию. Описывая ядро синтаксической системы некоторого языка, эти своды не объясняют, каким образом и в какой форме синтаксическая система

[1] См. также: http://www.ruscorpora.ru/en/search-syntax.html — приложение в рамках Национального корпуса русского языка, разработанное группой под руководством Ю. Д. Апресяна и Л. Л. Иомдина и демонстрирующее аналитические возможности модели «Смысл ↔ Текст» применительно к конкретному высказыванию.

хранится в памяти носителя языка, а главное — как она функционирует непосредственно в процессе порождения высказывания.

Последнее утверждение, надо заметить, вступает в явное противоречие с идейным фундаментом теорий моделирования предложения. Изначально предполагалось как раз противоположное: научившись моделировать предложение, мы ответим на вопрос, как на основе языковой модели порождается конкретное высказывание. Это представление редко декларируется — видимо, потому, что мыслится очевидным по умолчанию; но оно актуально и сегодня; ср. характерный контекст: «Мы <…> получаем подтверждение того, что *наряду с синтаксическими моделями в „классическом“ понимании* (будь то структурные схемы, стеммы, предикатно-аргументные структуры и т. п.) в сознании носителя языка действуют и модели иного ранга и иного строения» ([Норман 2012: 442]; курсив мой. — *М. Д.*); из построения фразы следует, что существование и действие **в сознании** моделей типа структурных схем сомнению не подвергается.

Между тем такое сомнение целесообразно: оно диктуется самим характером разработанных моделей предложения, к какой бы версии этих моделей мы ни обратились. Синтаксическая система языка, как мы ее себе представляем, и индивидуальная синтаксическая система говорящего на этом языке суть совершенно различные сущности. Первая есть конструкт высочайшей степени абстракции, плод аналитико-синтетических усилий нескольких поколений ученых, стремившихся прежде всего к построению адекватного описания языка. Вторая, напротив, — не виртуальный продукт, а реально существующий нейролингвистический механизм, в общем случае работающий безотказно. Что еще важнее — для того чтобы нормально функционировать, этому механизму не требуется, чтобы в сознании его владельца имелись специальные знания о синтаксической системе языка. Нет никаких оснований предполагать, будто этот механизм основывается именно на этой системе, и представлять себе процесс порождения высказывания как последовательный перебор базовых синтаксических моделей, сопровождаемый поиском подходящего слова (и его нужной формы) для каждой позиции модели и т. п., что требует сотен тысяч мыслительных операций в секунду. Несмотря на свою популярность, такое представление в высшей степени неправдоподобно — и не потому, что человеческий мозг неспособен к такому быстродействию (вполне возможно, что как раз способен), а потому, что такой путь порождения высказывания неэкономен и неэффективен.

Вектор такого развития синтаксической теории, которое обещает решить как проблему (более) полного описания синтаксического богатства речи, так и проблему порождения высказывания, был столетие

назад предсказан Ф. де Соссюром, а в середине прошлого века намечен В. Скаличкой [1948] и Ф. Данешем [Daneš 1964]. Сегодня уже можно говорить, пожалуй, о программе исследований, нацеленных на описание моделей не предложения, но высказывания — приблизительно в том смысле, который имел в виду в указанной работе Ф. Данеш, предлагая различать 1) структурную модель предложения, 2) модель высказывания и 3) конкретное высказывание как живой факт речи. Эта программа складывалась отчасти стихийно, но вместе с тем и закономерно, постепенно обретая свои черты в работах, посвященных осмыслению предмета синтаксиса речи (в том числе разговорного синтаксиса), онтологии высказывания, аспектов его организации и функционирования [Адамец 1966; Земская 1968; Распопов 1970; Гак 1973; Ширяев 1975; Ковтунова 1976; Лаптева 1976; Ванников 1979; Норман 1988, 2012; Ильенко 1989; Адмони 1994; Пиотровская 1994; Попова 1996; Сиротинина 1999; Меликян 1999, 2002; Янко 2001; Вахтель, Голицына 2001; Гаврилова, Кожина 2002; Андреева 2005; Дымарский 2005б, 2007; Копотев 2008 и мн. др.]. Для реализации этой программы существен также учет результатов многолетних исследований, в которых описываются, по сути, различные аспектуальные типы высказываний (имеется в виду, прежде всего, большая серия диссертаций, выполненных под руководством А. В. Бондарко)[2]. Наконец, стоит подчеркнуть, что активно развивающаяся в последнее время «грамматика / лингвистика конструкций» [Construction Grammar; см., в частности, Fillmore 1988; Goldberg 1995; Kay, Fillmore 1999 и др.] в ряде отношений близка к программе изучения моделей высказывания, поскольку реализует, в конечном счете, сходную целеустановку.

Итак, программа построения синтаксиса речи нацелена, с одной стороны, на описание всего богатства и многообразия синтаксических конструкций и моделей, активно функционирующих в речевой практике носителей данного языка, с другой стороны — на приближение к пониманию механизма порождения высказывания. Фундамент, на котором синтаксис речи может быть построен, включает 1) общую синтаксическую теорию высказывания как базовой единицы речевого общения; 2) систему языковых синтаксических моделей; 3) теорию речевых синтаксических моделей и моделей высказывания. Это, безусловно, не закрытый список: в него включены лишь минимально необходимые компоненты. Поскольку второй из названных компонентов нуждается в характеристике менее всего, ниже сосредоточим внимание на первом и третьем компонентах.

---

[2] Полный список см. в кн.: От значения к форме, от формы к значению: Сб. статей к 80-летию чл.-корр. РАН А. В. Бондарко. М., 2012.

2. Предпосылки к общей синтаксической теории высказывания

Для общей теории высказывания существенны положения, которые были в разное время выдвинуты М. М. Бахтиным [1953/1979], Ф. Данешем [1964], Н. Ю. Шведовой [1970, 1980], В. Г. Гаком [1973], В. А. Звегинцевым [1976], В. Г. Адмони [1994] и многими другими, в том числе и названными выше, исследователями. Учитывая широкую известность указанных работ, обзор этих положений опускаем.

Исходным положением синтаксической теории высказывания является выработанное в рамках лингвистического функционализма противопоставление предложения как абстрактного образца, языковой модели, — и высказывания как живого факта речи.

Под высказыванием целесообразно понимать, вслед за Н. Ю. Шведовой, «любой линейный отрезок речи, в данной речевой обстановке выполняющий коммуникативную функцию и в этой обстановке достаточный для сообщения о чем-либо»; при этом «признаками, общими для всех высказываний, являются: 1) организация формами слов — одной или несколькими, грамматически между собою связанными; 2) функция сообщения (коммуникативная); 3) интонация сообщения: повествование, побуждение, вопрос…; 4) способность соединяться с другими высказываниями в составе текста» [Шведова 1980: 83–84]. Данное понимание в «Русской грамматике» характеризуется как «широкое», в противоположность «узкому», согласно которому термин *высказывание* закрепляется только за коммуникативными единицами, не представляющими собой грамматически оформленного предложения [там же]. Широкая трактовка высказывания имеет то очевидное преимущество, что она одним понятием охватывает весь круг речевых фактов («линейных отрезков речи»), объединенных ведущим признаком — способностью реализовать коммуникативную функцию.

Следует, однако, уточнить, что способностью выполнить коммуникативную функцию — то есть коммуникативностью — могут обладать и целиком воспроизводимые отрезки речи, которые организованы не **формами** слов, «грамматически между собою связанными», а **словами** (часто незнаменательными), грамматическую связь между которыми усмотреть затруднительно (*Ну вот еще!*; *Ну да*, *как же!* и мн. под.). Широкая трактовка высказывания должна учитывать и такие речения, которые вполне способны служить репликой диалога, «оживляясь» каждый раз волей говорящего (коммуникативной интенцией) и наполняясь реальным содержанием из контекста / конситуации.

Представляется уместным особое внимание к центральному признаку высказывания — его коммуникативности. Это понятие принадлежит к числу фундаментальных и потому трудноопределимых. Приблизиться к пониманию сущности коммуникативности позволяет анализ, с одной стороны, непредикативных высказываний, с другой стороны — высказываний, опирающихся на модель предложения, но не достигающих цели (коммуникативных неудач). Такой анализ приводит к трактовке коммуникативности как **интенционально обусловленной соотнесенности факта высказывания с базовыми параметрами текущей ситуации общения** — фигурами говорящего и слушающего, временем, местом, предметом разговора [подробно см. Дымарский 2005а].

Коммуникативность в этой трактовке предстает как качество, сообщаемое высказыванию самим фактом его осуществления, качество, для возникновения которого достаточно наличия коммуникативной интенции и не требуется никаких специальных языковых средств, кроме интонации (которая является естественной и неотъемлемой оболочкой человеческой речи). Нейрофизиологической опорой коммуникативности служит механизм мгновенного и безусловного соотнесения воспринимающим сигнала со своим актуальным настоящим и с самим собой, отработанный миллионами лет эволюции в системах коммуникации животных, а затем унаследованный человеком. Этот механизм лежит в основе коммуникативности, но он не равен ей. Последняя возникает только тогда, когда рождается коммуникативная интенция. М. Арбиб, выстраивая последовательность из 7 стадий глоттогенеза — от хватательных движений до человеческого языка, — относит возникновение коммуникативной интенции к пятой стадии — эпохе протознака («S5: Protosign»); при этом если первые три стадии, по его мнению, были общими для прегоминидов, то стадии 4–6 отличали линию гоминидов от линии больших обезьян [Arbib 2005: 4–9]. Иначе говоря, возникновение коммуникативной интенции, а вместе с ней и коммуникативности, предшествовало формированию человеческого языка и послужило последнему, надо полагать, сильнейшим стимулом. Возникновение же коммуникативной интенции в глоттогенезе должно связываться с необходимостью регуляции совместной деятельности, прямо вытекающей из употребления орудий, характерного как раз для гоминидов: именно при этом условии автоматическая (изначально) отнесенность сигнала к актуальному настоящему может быть одухотворена адресованностью, включающей осознание себя как субъекта и другого — как объекта коммуникации (и наоборот); синтез этих факторов уже означает коммуникативность.

3. Речевые синтаксические модели и модели высказывания

Трехуровневый подход к синтаксису, предложенный в свое время Ф. Данешем, предполагает разграничение 1) уровня абстрактных образцов, лишенных связи с лексикой, — моделей (структурных схем) предложения; 2) уровня моделей высказывания, фиксирующих, помимо предикативного минимума, определенные ограничения, в том числе лексические, накладываемые типовой функцией высказывания в типовой речевой (контекстной) ситуации; 3) уровня высказывания как конкретного живого факта речи [Daneš 1964].

Следует по достоинству оценить смелость решения, предложенного Ф. Данешем. Оно не только заменяло прозрачную бинарную оппозицию *модель предложения* vs. *конкретное высказывание* — корреспондирующую с антиномией языка и речи — более сложной тернарной оппозицией с промежуточным уровнем, отношение которого к языку, с одной стороны, и речи, с другой, неоднозначно. Это решение, кроме того, фактически постулировало существование особого уровня системности в синтаксисе — уровня синтаксиса речи, обладающего собственной единицей — моделью высказывания. Наконец, это решение сильно опережало свое время: ведь середина 60-х гг. — это период интенсивной разработки типологии структурных схем предложения, ориентированной именно на указанную бинарную оппозицию; статья, в которой Н. Ю. Шведова приходит к понятию *регулярной реализации структурной схемы простого предложения* — отнюдь не совпадающему с понятием модели высказывания у Ф. Данеша, но знаменующему движение мысли в том же направлении, — появилась лишь пятилетием позже [Шведова 1969]; время же первых попыток реализовать идею Ф. Данеша в конкретных исследованиях, причем с разной мерой эксплицитной преемственности, пришло лишь три десятилетия спустя — во всяком случае, в России [Пиотровская 1994; Попова 1996; Меликян 1999; Андреева 2005 и др.].

Предлагаемый нами подход следует мысли Ф. Данеша, однако отличается наличием не одного, а двух уровней, располагающихся между языковой моделью предложения и конкретным высказыванием: уровня **речевых синтаксических моделей** и уровня **моделей высказывания**. Такое решение продиктовано учетом следующих критериев:

1) элементарный (непроизводный) / неэлементарный (производный) характер структуры модели;

2) отсутствие / наличие строго закрепленных за данной моделью лексических единиц;

3) возможность варьирования модели путем изменения коммуникативного задания, актуального членения, порядка слов.

Каждый из этих критериев допускает по меньшей мере два значения, и потому теоретически выделяемых уровней может быть больше. Однако анализ материала — во всяком случае, на данном этапе — показывает целесообразность различения трех уровней синтаксического абстрагирования и, соответственно, трех единиц. (Четвертый уровень — конкретного высказывания — в данном случае из рассмотрения исключен, поскольку абстрагирования он не предполагает.) В табл. 1 приведены характеристики этих единиц по названным критериям. Включенные в табл. 1 примеры призваны продемонстрировать не только сами модели разных уровней, но и возрастание количества моделей, представляющих собой модификации одного и того же языкового образца, при переходе от уровня к уровню. Подчеркнем, что это именно *примеры*, но никак не полная номенклатура речевых моделей и моделей высказывания, восходящих — в данном случае — к базовой структурной схеме инфинитивного предложения.

Таблица 1. Характеристика единиц трех уровней синтаксического абстрагирования

	характер структуры	связь с лексикой	возможность варьирования коммуникативных параметров
	1	2	3
Языковая синтаксическая модель	**непроизводная**	**отсутствует**	**не ограничена**
	Пример:	**Inf**	
Речевая синтаксическая модель	**производная**	**отдельные компоненты** выражены **определенными лексическими единицами**	**ограничена** связью с определенной группой ситуаций[3]
	Примеры: **(Inf) бы $\mathbf{N^{opt}_{2/4}}$**, где N^{opt} — имя предмета желания; **(Inf) $\mathbf{N^{imp}_{2/4}}$**, где N^{imp} — имя требуемого предмета (ситуация приказа).		

Модель высказывания	**производная** или **отсутствует**	**отдельные компоненты** выражены строго **определенными лексическими единицами**; фиксированы **наличие и позиция вспомогательных элементов**	**отсутствует**; актуальное членение и порядок слов строго закреплены; фиксированы не только связь с определенным типом ситуаций, но и тип коммуникативного задания
	Примеры: **(Interj$_{эмоц.}$) D$_t$ бы / N$^{opt}_{2/4}$** или **(Interj$_{эмоц.}$) N$^{opt}_{2/4}$ бы \ (D$_t$)** или **(Interj$_{эмоц.}$) N$_3$ бы (D$_t$) / N$^{opt}_{2/4}$** *Ох*, *теперь бы пивка…*; *Кофейку бы* (*сейчас*)…; *Мне бы вот эти часы*. (Позиция частицы *бы* подчиняется закону Вакернагеля); **N$^{imp}_4$ \ N$_3$** *Кресло мне…* (М. Булгаков); *Звезду Суворову Александру Васильевичу!* (Рекламный ролик)		

Примечание: здесь и ниже косая черта (/) — знак актуального членения при постпозиции ремы; обратная косая черта (\) — при препозиции ремы.

Речевые синтаксические модели — это модели,

а) производные от языковых,

б) обладающие более сложной структурой,

в) обладающие ограниченной вариативностью коммуникативного задания и актуального членения, а также

г) фиксированным с точностью до лексико-семантической группы (в отдельных случаях — до лексической единицы) способом выражения по меньшей мере одного из компонентов исходной языковой структуры.

Модель высказывания — это регулярно воспроизводимая в живой коммуникации совокупность следующих признаков отрезка речи:

а) способность быть отдельной репликой в диалоге. Этот признак тесно связан с признаками (в) и (д);

б) наличие / отсутствие модели предложения (структурной схемы), реализацию которой представляет собой данное высказывание;

б′) в случае наличия — характер этой модели и полнота ее реализации;

б″) в случае отсутствия — степень воспроизводимости высказывания как готового речения;

в) типовая функция высказывания в контексте и обусловленный этой функцией характер реализации и распространения схемы (последнее — для высказываний, опирающихся на структурную схему предложения);

г) характер тема-рематической организации (количество компонентов, их соотнесенность с компонентами грамматической структуры, полная / неполная реализация и взаимное расположение);

д) интонационное оформление;

е) фиксированный с точностью до лексико-семантической группы (часто — до лексической единицы) способ выражения по меньшей мере одного из компонентов;

ж) наличие и позиция вводных и вставных компонентов, междометий, модальных частиц, обращений (подробнее см. [Дымарский 2005б]). Из приведенного перечня признаков видно, что модель высказывания представляет собой регулярную реализацию (разновидность) речевой модели и отличается от последней полной фиксированностью коммуникативного задания, актуального членения, порядка слов и интонационного оформления, а также наличия и позиции вспомогательных элементов (вводных компонентов, частиц).

Если принять изложенные представления, то описание синтаксической системы приобретает трехуровневую структуру — в соответствии с тремя ступенями абстрагирования и тремя типами синтаксических моделей.

4. Каковы преимущества многоуровневого подхода?

4.1. Во-первых, многоуровневый подход позволяет сделать более строгим описание ядра системы, принадлежащего собственно языку, освободив его от моделей, которые являются производными, вторичными, — например, от модели ***Ни*** $\boldsymbol{N_2}$ (*Ни ветерка*), которая вызвала в свое время немало споров[3].

Высказывания типа (*В доме*) *ни души* являются регулярными неполными реализациями безличной модели с отрицательной спрягаемой формой экзистенциального глагола $\boldsymbol{N_2}$ ***Neg*** $\boldsymbol{V_{\text{f exist}}}$: *В доме* (*нет* / *не было* / *не оказалось* / *не слышалось*...) *ни души*. Если же учесть тот очевидный факт, что форма $\boldsymbol{N_2}$ регулярно заменяет форму $\boldsymbol{N_1}$ при введении в предложение отрицания (*В доме оказалась* / *была лишь*

[3] См., в частности, [Ильенко 1984: 7–8].

одна живая душа → В доме не оказалось / не было ни души; *В кармане нашлись спички → В кармане спичек не нашлось*), то становится ясно, что перед нами две ступени производности от базовой языковой модели $\boldsymbol{N_1\ V_f}$:

1) на первой ступени синтаксической деривации при введении отрицания получаем речевую модель безличного предложения с относительно строгим лексико-семантическим ограничением[4]:

$$\boldsymbol{N_2\ Neg\ V_{f\ exist}};$$

2) на второй ступени деривации имеем модель высказывания с фиксированными актуальным членением, порядком слов, коммуникативным заданием и т. д.:

$$(\boldsymbol{D_{loc}})\ /\ \boldsymbol{ни\ N_2}.$$

Сходные результаты можно получить и при обращении к другим структурным схемам, выделяемым в «Русской грамматике»: моделям генитивно-количественных предложений (схема $\boldsymbol{N_2}$: *А зверя в тех лесах!*) и аккузативно-генитивных императивного характера (схема $\boldsymbol{N_{4/2}}$: *Кресло мне...*; *Огня! — кричат, — Огня!*) [Русская грамматика 1980: 369–370]. Частично эти результаты — применительно к схеме $\boldsymbol{N_{4/2}}$ — показаны выше, в табл. 1.

При одноуровневом подходе вполне понятное стремление Н. Ю. Шведовой обеспечить полноту синтаксического описания оборачивалось тем, что модели разных ступеней абстракции оказывались в одном ряду, так как для производных моделей не было предусмотрено классификационного места. Трехуровневый подход позволяет решить эту проблему.

4.2. Во-вторых, одноуровневая модель описания не позволяет приблизиться к ответу на вопрос, каким образом носитель языка владеет его синтаксической системой, — прежде всего потому, что структурные схемы максимально отвлечены от лексики. Когда говорят о воспроизводимости языковой синтаксической модели, подразумевается, что число лексических единиц, способных выполнить функцию **любого** из ее компонентов, теоретически по меньшей мере больше единицы, практически — исчисляется сотнями и тысячами, а во многих случаях — труднообозримо. Проще говоря, в языковой

[4] Оценка этого ограничения как *относительно* строгого связана с тем, что под давлением модели соответствующую семантику могут приобретать глаголы, значение которых вне высказываний данного типа невозможно квалифицировать как экзистенциальное (ср. в приведенных примерах *найтись*). Ср., впрочем, и более очевидный результат трансформации лексического значения под давлением синтаксических условий в видовой паре этого глагола — *находиться* (*Аптека находится за углом*).

модели **каждый** компонент соотнесен с целой частью речи. Именно этот факт дал Б. М. Гаспарову повод для уничтожающей «арифметической» критики синтаксической концепции Н. Ю. Шведовой: задавшись вопросом, каким образом говорящий строит высказывание, исходя при этом из структурной схемы предложения, исследователь путем простейших подсчетов показывает, что только в процессе выбора схемы, отбора нужных слов и их форм говорящий должен совершать сотни тысяч мыслительных операций [Гаспаров 1996: 56–63]. По мнению автора, сколь ни велика вера в безграничные возможности человеческого мозга, поверить в то, что эти сотни тысяч операций человек совершает в считанные доли секунды, трудно.

Но трудно, с другой стороны, и согласиться с радикальными выводами Б. М. Гаспарова, полностью отвергающего — на указанных основаниях — системно-структурное представление о языке и выдвигающего концепцию языка как беспорядочного конгломерата «коммуникативных фрагментов».

Многоуровневое описание синтаксической системы позволяет приблизиться к ответу на вопрос, каким образом человек владеет синтаксической системой, как она представлена в его памяти и как функционирует при построении высказывания. Действительно, слишком маловероятно, чтобы синтаксическая система была представлена в языковой памяти человека в виде совокупности образцов высшей ступени абстракции. Другое дело — совокупность образцов низших ступеней абстракции, **тесно связанных со строго ограниченными группами лексики и с конкретными лексемами**. В этом случае процесс построения высказывания представляется избавленным от перебора сотен тысяч вариантов «лексического наполнения» и его грамматического оформления. Схема этого процесса, в самом первом приближении, по-видимому, такова: параметры ситуации и коммуникативные намерения говорящего «вызывают» из памяти определенный фрейм, который, в свою очередь, актуализирует в активной речевой зоне[5] совершенно определенный участок

[5] Строгое научное определение этого понятия является, по-видимому, делом будущего. Известно, что в контроле речевой функции активное участие принимает премоторный кортекс (в частности, зона Брока); но известно также, что «функциональная карта мозга размыта, диффузна»; «можно говорить лишь о ключевой роли в речевом процессе префронтальной коры и нечетко локализованных областей вблизи сильвиевой щели, но также и ряда других структур вплоть до мозжечка. Межполушарная асимметрия гораздо менее отчетлива, чем казалось недавно. В процессе онтогенеза (не только у детей, но и у взрослых) язык как бы блуждает по коре, выбирая в зависимости от обстоятельств, где ему „угнездиться“» [Козинцев 2004: 43,

ассоциативно-вербальной сети (по Ю. Н. Караулову) с совершенно определенными лексическими единицами, с которыми этот фрейм прочно связан; параллельно с этим действие тех же факторов актуализирует в активной речевой зоне и определенную коммуникативную перспективу будущего высказывания; а так как любая лексическая единица, далее, существует в языковой памяти не изолированно, а в составе типичных для нее синтаксических конструкций, то вместе с лексической единицей в активную речевую зону «приходит» и набор этих конструкций — однако, заметим, весьма ограниченный. Б. М. Гаспаров рисует отчасти сходную картину, но синтаксические конструкции, связанные с лексическими единицами, называет «коммуникативными фрагментами», которые в качестве синтаксических конструкций не рассматривает и полагает неисчислимыми. Между тем, если ориентироваться не на отдельные лексемы, а на фреймы, то окажется, что эти конструкции не так уж неисчислимы и вполне типизируемы; более того — тесно связаны друг с другом и с конструкциями более высокой ступени абстракции, другими словами — представляют собой систему, а не конгломерат. Для того, чтобы описать эту систему, как раз и требуется многоуровневый подход.

Проиллюстрируем данные положения анализом конкретного высказывания (в приводимом примере оно выделено курсивом):

(1) — Скидывай-ка, приятель, свою страшную личину! Полно тебе дурачить людей! — проговорил голова, ухватив его за ворот, и оторопел, выпучив на него глаз свой. — Левко, сын! — вскричал он, отступая от удивления и опуская руки. — Это ты, собачий сын! вишь, бесовское рождение! Я думаю, какая это шельма, какой это вывороченный дьявол строит штуки! *А это*, *выходит*, *все ты*, *невареный кисель твоему батьке в горло*, *изволишь заводить по улице разбои*, *сочиняешь песни!*.. Эге-ге-ге, Левко! А что это? Видно, чешется у тебя спина! Вязать его! (Н. В. Гоголь. Майская ночь, или Утопленница)

Высказывание опирается на **языковую модель** $N_1 V_f$. Очевидно, тем не менее, что его связь с этой моделью исчерпывается строением предикативного ядра (*ты изволишь заводить* [*разбои*], *сочиняешь*

42, со ссылкой на работу: Deacon T. The Symbolic Species: The Co-evolution of Language and the Brain. N. Y., 1997]. Отсюда вытекает предположение, что конфигурация «активной речевой зоны» у каждого человека может быть индивидуальной. По названным причинам используем это понятие пока лишь как интуитивно ясное.

[*песни*]). Между тем структура данного высказывания существенно сложнее языковой модели: роль темы здесь играет местоименный элемент *это*, регулярно функционирующий в высказываниях, имеющих семантическую структуру **{Ситуация$_0$ *есть* Ситуация$_1$}**[6], то есть в биситуативных высказываниях. Такие высказывания не только биноминативны (в данном случае *это* и *ты* в И. п.), но и бипредикативны. Во-первых, отношения логической предикации устанавливаются между темой (*это*) и ремой, хотя здесь они лишены прототипического грамматического выражения. Во-вторых, предикативное отношение устанавливается между подлежащим (существительным) и сказуемым (спрягаемой формой)[7], и это отношение оформлено предикативной связью. Производность и неэлементарность данной структуры, таким образом, налицо. Эта структура регулярно воспроизводится с фиксированным соотношением темы и ремы: тема, служащая анафорической номинацией Ситуации$_0$, всегда выражается именительным падежом местоимения *это* (значительно реже — *то*, *сие*), рема представлена предикативной группой, построенной по указанной языковой модели. Отмеченные особенности данной **речевой синтаксической модели** фиксируются схемой ***Это*** / $\boldsymbol{N_1}$ $\boldsymbol{V_f}$[8].

Приведем дополнительные примеры реализации данной речевой модели:

(2) Вдруг поднялся великий стук да гром — весь дворец затрясся. Гости испугались, повскакали с мест, а Иван-царевич говорит:
— Не бойтесь, честные гости! Это моя лягушонка в коробчонке приехала (Царевна-лягушка. Ред. А. Толстого);

(3) А н н а А н д р е е в н а. Что тут пишет он мне в записке? (*Читает.*) «Спешу тебя уведомить, душенька, что состояние мое было весьма печальное, но, уповая на милосердие божие, за два соленые огурца особенно и полпорции икры рубль двадцать пять копеек…» (*Останавливается.*) Я ничего не понимаю: к чему же тут соленые огурцы и икра?

---

[6] Первый компонент — ситуация, названная в предшествующей реплике собеседника, предшествующем высказывании, а также конситуация или некоторая прошлая ситуация действительности, наличная в актуальном опыте обоих коммуникантов, второй — интерпретация этой ситуации (конситуации) говорящим. *Есть* в этой экспликации — не реальная связка, а глубинный логико-семантический оператор.

[7] Точнее, оно устанавливается между семантическими компонентами, которые грамматически оформлены как подлежащее и сказуемое.

[8] Более подробно об этой модели см. [Дымарский 2007]. Ср. укр. *Це літак летить*, белор. *Гэта самалет ляциць*, польск. *To samolot leci*.

Д о б ч и н с к и й. А, это Антон Антонович писали на черновой бумаге по скорости: там какой-то счет был написан (Н. В. Гоголь. Ревизор);

(4) — А что это за шаги такие на лестнице? — спросил Коровьев, поигрывая ложечкой в чашке с черным кофе.
— А это нас арестовывать идут, — ответил Азазелло и выпил стопочку коньяку (М. А. Булгаков. Мастер и Маргарита)[9];

(5) Г р е к - д о н ж у а н. Что это? Такое что?..
С е р а ф и м а. Боже мой!.. Позор, позор!
Ч а р н о т а. Господин грек!
Г р е к - д о н ж у а н. А, это я в мухоловку попал, притон! (*Печален.*) (М. А. Булгаков. Бег)

(6) …я встретил Фази, он весело шел с несколькими итальянскими выходцами.
— А, здравствуйте, что нового? — сказал он, увидав меня.
— Много, — отвечал я с изысканной сухостью.
— Что же такое?
— Да вот, например, в Женеве, точно в Париже, людей хватают на улице, насильно увозят, il n'y a plus de sécurité dans les rues, — я боюсь ходить…
— А, это вы говорите насчет Струве… (А. И. Герцен. Былое и думы)

Сопоставление примеров (2–6) с примером (1) показывает, далее, что в (1) имеется особенность, отличающая его от серии (2–6): в нем более сложное актуальное членение и непрямой порядок слов. В примерах (2–5) вся предикативная группа является единой ремой[10]; в (1) рема двухвершинна, и абсолютной рематической силой наделено подлежащее *ты*, выделяемое внушительным комплексом средств: интонацией, акцентом, частицей *всё* и постпозитивным

[9] Пример (4), строго говоря, соответствует иной, хотя и близкой модели: ***Это*** / $V_{f\ pl\ 3}$, восходящей к языковой модели неопределенно-личного предложения. Однако, поскольку отношения между языковой и речевой моделями здесь аналогичные и поскольку неопределенно-личные предложения иногда рассматриваются как неполные реализации двусоставных, считаем возможным использовать этот пример.

[10] В (6) иная структура, демонстрирующая явление коммуникативного динамизма (по Я. Фирбасу): исходный элемент *это* является абсолютной темой, вся предикативная группа является по отношению к ней ремой, однако сама распадается вторичную тему *вы говорите* (метаречевая семантика которой сводит ее рематический характер к нулю) и абсолютную рему *насчет Струве*.

ругательно-междометным восклицанием. Перед нами одна из регулярных реализаций данной речевой модели[11]; эта регулярная реализация и должна быть интерпретирована как модель высказывания **{*вводн.*$_{когн.}$ [(*А, Так*) *это* // N_1 \ V_f*!*]}**[12]. В отличие от речевой модели, здесь жестко фиксированы: а) интонация удивления (возможно использование и с имитацией удивления: [*Ипполит*] *Ребята!.. А это я ломаю дверь!..* [Э. Рязанов, Э. Брагинский. Ирония судьбы, или С легким паром!]), б) семантика возможного вводного компонента, в) инициальная частица *А*, *Так* или их сочетание, г) порядок слов и интонационно-акцентный рисунок с выделением абсолютной ремы — подлежащего. Всё это связано с максимально четко определенной функцией высказываний, построенных по этой модели, в контексте. Речевая модель ***Это*** / N_1 V_f имеет тесную связь с предшествующим высказыванием (репликой), в котором должна быть обозначена Ситуация$_0$, но способна реализовать ряд коммуникативных заданий и служить ответом на вопросы «Что представляет собой Ситуация$_0$?» (ср. примеры 2, 4, 5), «Кто является агенсом Ситуации$_0$?» (1), «Какова причина Ситуации$_0$?» (3) и даже «Что является темой / причиной речевой Ситуации$_0$?» (6). Модель высказывания **{*вводн.*$_{когн.}$ [(*А, Так*) *это* // N_1 \ V_f*!*]}** может служить только ответом на вопрос об агенсе, то есть ее типовая функция в контексте закреплена предельно четко. (Ср. также укр. *Хлопці!.. А це я ламаю двері!*; белор. *Хлопцы!.. А гэта я ламаю дзверы!*)

Приведем дополнительные примеры реализации этой модели[13]:

(7) — Странно как-то получается… темы пропадают только в Брокерах и Рекламе… в тех ветках, где обсуждается не только «Альпари», а другие подобные конторы… Laughing и модераторы не могут исправить эту ошибку… или не хотят?

---

[11] Множественность этих регулярных реализаций доказывается неполной однотипностью примеров (2–6).

[12] Косую черту с наклоном влево используем как знак дополнительного членения при срединном положении абсолютной ремы. Символ ***вводн.***$_{когн.}$ означает вводный компонент с когнитивным значением (*оказывается*, *значит*, *получается*, *выходит*, *как выясняется*, *вишь* и т. п.); его позиция в высказывании может варьировать, что отображено в схеме вынесением его за скобки. Запись (***А, Так***) следует читать: возможно появление обеих частиц, в том числе и совместное. Впрочем, если N_1 представлено местоимением 1-го лица, частица *так* исключена.

[13] Все примеры этой серии найдены на «чатах» Интернета с помощью Rambler.ru. Орфография и пунктуация приведены в соответствие с действующими нормами.

— А это я темы убиваю…
(8) Так это ты его тогда в больницу отправил?
(9) Так это ты весь тираж скупил?!
(10) Так это вы отстроили Британскую империю?
(11) — Это я вчера так напился или у тебя правда лимон по столу скакал?
— Так это ты, гад, выжал в чай мою канарейку?!

Таким образом, выстраивается иерархия:

языковая синтаксическая модель	$N_1\ V_f$
речевая синтаксическая модель	***Это*** / $N_1\ V_f$
модель высказывания	**{*вводн.*$_{\text{когн.}}$ [(*А, Так*) *это* // $N_1 \setminus V_f$!]}**

Ясно, что эта иерархия, как и намеченная в табл. 1 применительно к базовой модели инфинитивного предложения, — лишь дает представление о множестве нитей, тянущихся от языковых моделей — из глубинной, невидимой и не осознаваемой рядовым носителем, структуры языка — к живой «поверхности» языкового сознания и речевой деятельности. Проследить эти нити и означает построить такое описание синтаксической системы, которое даст вполне определенный ответ на вопрос, каким образом человек строит свое высказывание.

Возвращаясь к этому вопросу, еще раз подчеркнем, что в процессе построения высказывания непосредственного обращения к базовому уровню (языковых моделей) не происходит, а следовательно, не происходит и перебора многотысячных вариантов, вопреки Б. М. Гаспарову. Непрерывный анализ текущей ситуации действительности, происходящий уже в силу того, что говорящий воспринимает эту ситуацию (участвуя или не участвуя в ней), актуализирует в его речевом сознании определенный фрейм, ассоциированный с четко очерченной семантической группой предикатов (конкретных лексем), которые, в свою очередь, связаны с типовым лексико-синтаксическим окружением. Таким путем в активной речевой зоне возникает лексико-грамматический прообраз высказывания, представленный глагольной группой[14]. Пример (1) выразительно демонстрирует присутствие в активной речевой зоне говорящего именно семантической группы предикатов, порождающей в соседствующих высказываниях ряд глагольных групп, связанных отношениями контекстуальной синонимии: (*тебе*) *дурачить людей*, (*дьявол*) *строит штуки*, (*ты*) *… заводить по улице разбои*, *сочиняешь песни*.

[14] Об этом убедительно писал С. Д. Кацнельсон [1984].

Параллельно с анализом ситуации действительности в сознании говорящего так же непрерывно идет анализ текущей коммуникативной ситуации (участником которой он является по определению) и выработка коммуникативных интенций; результатом последней является актуализация в активной речевой зоне определенной коммуникативно-синтаксической модели с предзаданным актуальным членением, то есть, в сущности, модели высказывания. Так, в случае *Полно тебе дурачить людей!* лексико-грамматический прообраз (*ты*) *дурачи*(*ть*) *людей* подчиняется модели высказывания с типовым значением волитивной каузации прекращения некоторого действия ***Полно* (*Хватит*)** \\ $\boldsymbol{Pron_{2/3}}$ / ***Inf!***, в результате чего исходный предикат включается в безличную конструкцию. В случае же *А это, выходит, все ты… изволишь заводить по улице разбои, сочиняешь песни!..* лексико-грамматический прообраз той же семантической группы подчиняется модели высказывания с типовым значением идентификации агенса Ситуации$_0$ (остальные фиксированные признаки этой модели перечислены выше), и результат оказывается иным. Ни в том, ни в другом (и ни в каком!) случае, повторим, в процессе порождения высказывания не происходит непосредственного обращения к уровню языковых синтаксических моделей: такая операция избыточна, поскольку весь набор базовых языковых моделей представлен в речевых моделях и их регулярных реализациях — моделях высказываний.

Итак, изучение речевых моделей и моделей высказываний в их соотнесенности с базовыми языковыми моделями открывает перспективу построения значительно более последовательного и полного описания синтаксических систем славянских языков — описания, которое обещает существенно приблизиться и к объяснению процесса порождения высказывания.

Литература

Адамец 1966 — *Адамец П.* Порядок слов в современном русском языке. Praha, 1966.

Адмони 1994 — *Адмони В. Г.* Система форм речевого высказывания. СПб., 1994.

Андреева 2005 — *Андреева С. В.* Конструктивно-синтаксические единицы устной русской речи. Саратов, 2005.

Апресян и др. 2010 — *Апресян Ю. Д.*, *Богуславский И. М.*, *Иомдин Л. Л.*, *Санников В. З.* Теоретические проблемы русского синтаксиса: Взаимодействие грамматики и словаря / Отв. ред. Ю. Д. Апресян. М., 2010.

Бахтин 1979 — *Бахтин М. М.* Проблема речевых жанров // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.

Белошапкова В. А. Современный русский язык. Синтаксис. М., 1977.

Ванников 1979 — *Ванников Ю. В.* Синтаксис речи и синтаксические особенности русской речи. М., 1979.

Вахтель, Голицына 2001 — *Вахтель Н. М.*, *Голицына Т. Н.* Предложение, высказывание, речевой акт // Традиционное и новое в русской грамматике: Сб. ст. памяти Веры Арсеньевны Белошапковой. М., 2001. С. 42–44.

Виноградов 1954 — *Виноградов В. В.* Введение // Грамматика русского языка. Т. II. Синтаксис. Ч. 1. М., 1954. С. 5–111.

Волохина Г. А., *Попова З. Д.* Синтаксические концепты русского простого предложения. Воронеж, 1999.

Всеволодова 2000 — *Всеволодова М. В.* Теория функционально-коммуникативного синтаксиса. Фрагмент прикладной (педагогической) модели языка. Учебник. М., 2000.

Всеволодова 2004 — *Всеволодова М. В.* Межнациональный проект «Модели славянских простых предложений с учетом их типовых значений и речевых реализаций». Задачи и перспективы // VI международный симпозиум. Проекты по сопоставительному изучению русского и других языков. Тезисы (Белград, 1–4 июня 2004 г.). Белград, 2004.

Гаврилова, Кожина 2002 — *Гаврилова Г. Ф.*, *Кожина Е. К.* Коммуникативы в системе синтаксиса: коммуникативы и предложения // Актуальные проблемы методики преподавания русского языка как иностранного. Ростов н/Д., 2002.

Гак 1973 — *Гак В. Г.* Высказывание и ситуация // Проблемы структурной лингвистики 1972. М., 1973.

Гаспаров 1996 — *Гаспаров Б. М.* Язык. Память. Образ: Лингвистика языкового существования. М., 1996.

Дымарский 2005а — *Дымарский М. Я.* Высказывание и коммуникативность // Проблемы функциональной грамматики. Полевые структуры: Коллект. моногр. / Отв. ред. А. В. Бондарко. СПб., 2005. С. 292–332.

Дымарский 2005б — *Дымарский М. Я.* Трехуровневая система синтаксических моделей и проблема порождения высказывания // Функционально-лингвистические исследования 2005: Сб. ст. в честь проф. А. В. Бондарко. СПб., 2005. С. 13–25.

Дымарский 2007 — *Дымарский М. Я. Это* / N_1 V_f: К понятию речевой синтаксической модели // Язык в движении: К 70-летию Л. П. Крысина. М., 2007. С. 159–171.

Звегинцев 1976 — *Звегинцев В. А.* Предложение и его отношение к языку и речи. М., 1976.

Земская 1968 — *Земская Е. А.* Русская разговорная речь: Проспект. М., 1968.

Золотова и др. 1998 — *Золотова Г. А.*, *Онипенко Н. К.*, *Сидорова М. Ю.* Коммуникативная грамматика русского языка. М., 1998.

Ильенко 1984 — *Ильенко С. Г.* Синтаксическая концепция «Русской грамматики» и место в ней сложного предложения // Сложное предложение в системе других синтаксических категорий: Межвуз. сб. науч. тр. Л., 1984. С. 4–16.

Ильенко 1989 — *Ильенко С. Г.* Синтаксические единицы в тексте. Л., 1989.

Кацнельсон 1984 — *Кацнельсон С. Д.* Речемыслительные процессы // Вопросы языкознания. 1984. № 4. С. 3–12.

Киселев 1990 — *Киселев С. А.* Коммуникативная значимость синтаксических моделей. Автореф. дисс. … канд. филол. наук. Минск, 1990.

Ковтунова 1976 — *Ковтунова И. И.* Современный русский язык. Порядок слов и актуальное членение предложения. М., 1976.

Козинцев 2004 — *Козинцев А. Г.* Происхождение языка: новые факты и теории // Теоретические проблемы языкознания: Сб. ст. к 140-летию каф. общего языкознания СПбГУ. СПб., 2004. С. 35–50.

Копотев 2008 — *Копотев М.* Принципы синтаксической идиоматизации. Хельсиинки, 2008.

Лаптева 1976 — *Лаптева О. А.* Русский разговорный синтаксис. М., 1976.

Меликян 1999 — *Меликян В. Ю.* Проблема статуса и функционирования коммуникем: язык и речь. Ростов н/Д., 1999.

Меликян 2002 — *Меликян В. Ю.* Актуальные вопросы синтаксиса русского языка: Теория нечленимого предложения. Ростов н/Д., 2002.

Мухин 1968 — *Мухин А. М.* Структура предложений и их модели. Л., 1968.

Мухин 2004 — *Мухин А. М.* Эксперимент и моделирование в лингвистике: Структурный синтаксис предложения. СПб., 2004.

Новоженова 1983 — *Новоженова З. Л.* Структурно-семантические типы глагольных предложений в современном русском языке. Автореф. дисс. … канд. филол. наук. Саратов, 1983.

Норман 1975 — *Норман Б. Ю.* Выбор синтаксической схемы в процессе порождения текста // Материалы семинара по теоретическим проблемам синтаксиса. Пермь, 1975.

Норман 1988 — *Норман Б. Ю.* Универсальное и специфическое в синтаксических моделях славянских языков // X Международный съезд славистов. Доклады. Минск, 1988.

Норман 2012 — *Норман Б. Ю.* О двучленных конструкциях типа *Взрослым о детях*, *С песней в дорогу*, *Привет родителям* // От значения к форме, от формы к значению: Сб. статей к 80-летию чл.-корр. РАН А. В. Бондарко. М., 2012. С. 432–444.

Пиотровская 1994 — *Пиотровская Л. А.* Эмотивные высказывания как объект лингвистического исследования (на материале русского и чешского языков). СПб., 1994.

Попова 1996 — *Попова З. Д.* Структурная схема простого предложения и позиционная схема высказывания как разные уровни синтаксического анализа // Словарь. Грамматика. Текст. М., 1996.

Распопов 1970 — *Распопов И. П.* Строение простого предложения в современном русском языке. М., 1970.

Русская грамматика: В 2 т. / Отв. ред. Н. Ю. Шведова. Т. 2. М., 1980.

Русские глагольные… 2002 — Русские глагольные предложения: Экспериментальный синтаксический словарь / Под общ. ред. Л. Г. Бабенко. М., 2002.

Сиротинина 1999 — *Сиротинина О. Б.* Место предложения в синтаксисе разговорной речи // Предложение и слово. Саратов, 1999.

Тарланов З. К. Модели русского предложения в аспекте контрастивной синтаксической типологии // V Международный симпозиум: Состояние и перспективы сопоставительных исследований русского и других языков. Доклады (Белград — Ниш, 30 мая — 1 июня 2000 г.). Београд, 2000.

Шведова 1969 — *Шведова Н. Ю.* О понятии «регулярная реализация структурной схемы простого предложения» // Мысли о современном русском языке. М., 1969.

Шведова 1970 — *Шведова Н. Ю.* Синтаксис простого предложения // Грамматика современного русского литературного языка / Отв. ред. Н. Ю. Шведова. М., 1970.

Шведова 1980 — *Шведова Н. Ю.* Синтаксис простого предложения // Русская грамматика: В 2 т. / Отв. ред. Н. Ю. Шведова. Т. 2. М., 1980.

Ширяев 1975 — *Ширяев Е. Н.* Об основной синтаксической единице разговорного языка // Теоретические проблемы синтаксиса современных индоевропейских языков. Л., 1975. С. 130–132.

Янко 2001 — *Янко Т. Е.* Коммуникативные стратегии русской речи. М., 2001.

Arbib 2005 — *Arbib M. A.* From Monkey-like Action Recognition to Human Language: An Evolutionary Framework for Neurolinguistics // Behavioral and Brain Sciences. 2005.

Bárnetova et al. 1979 — *Bárnetova V.*, *Beličova-Kržižkova H.*, *Leška O.*, *Skoůmalová Zd.*, *Stráková Vl.* Русская грамматика. Т. 2 / Отв. ред. тома H. Beličova-Kržižkova. Práha, 1979.

Daneš F. A three-level approach to syntax // Travaux linguistiques de Prague. Prague, 1964.

Fillmore 1988 — *Fillmore C. J.* The mechanisms of construction grammar // Proceedings of the Berkeley Linguistic Society. 1988. Vol. 14. P. 35–55.

Goldberg 1995 — *Goldberg A. E.* Constructions. A Construction Grammar Approach to Argument Structure. Chicago; IL/London: University of Chicago Press, 1995.

Kay, Fillmore 1999 — *Kay P.*, *Fillmore C. J.* Grammatical Constructions and linguistic generalizations: The *What's X doing Y?* construction // Language. 1999. Vol. 75. P. 1–33.

Kiklewicz, Korytkowska 2010 — *Kiklewicz A. K.*, *Korytkowska M.* (ред.). Podstawowe struktury zdaniowe współczesnych języków słowiańskich: białoruski, bułgarski, polski. Olsztyn, 2010.

Mel'čuk, Pertsov 1987 — *Mel'čuk I. A.*, *Pertsov N. V.* Surface Syntax of English. A Formal Model within the Meaning–Text Framework. Amsterdam, 1987.

Mel'čuk 1988 — *Mel'čuk I. A.* Dependency Syntax: Theory and Practice. Albany; N. Y., 1988.

Mluvnice češtiny 1987 — *Mluvnice češtiny.* (T.) 3. Skladba (Syntax). Praha, 1987.

Skalička V. The need for a linguistics of 'la parole' // Receuil linguistique de Bratislava. 1948. 1. P. 21–38.

В. М. Живов

Порядок слов при verba dicendi в восточнославянских памятниках письменности

Общие замечания

Для восточнославянских языков в их историческом развитии неправомерно постулировать один из порядков слов SV или VS как «основной» или «базовый», а остальные словорасположения рассматривать как отклонения от этого порядка. В разных типах текстов статистические параметры словорасположений различны, и опосредованно это связано с тем, какого типа информация сообщается в текстах разного типа и как эта информация в них упаковывается. В целом эта зависимость известна, хотя соответствующие факты могли интерпретироваться разным образом. Еще Э. Бернекер, говоря об относительно редких случаях постановки глагола в Повести временных лет (далее: ПВЛ) в конце предложения, отмечал, что данное явление редко в повествовании, но «weit häufiger in Schilderungen und Beschreibungen» [Бернекер 1900: 10]. Равным образом, С. М. Кардашевский, отмечая, что в ПВЛ доминирующим словорасположением является VS, указывает, что это характерно для сообщений «светского» характера, в «частях же памятника с религиозным содержанием, а также рассуждениях летописца чаще наблюдается постпозитивное употребление сказуемого» [Кардашевский 1948: 39]. Сходное наблюдение над ПВЛ в несколько более корректных терминах делает Акихиро Сато, различающий «тексты типа фактографии» и «тексты типа комментария» и указывающий, что если в первых доминирующим порядком является VS, то во вторых — SV [Сато 2008: 10–11]. Теоретически более изысканным образом об этом пишет С. Тернер, вводящая в исследование порядка слов постулированную Г. Вейнрихом оппозицию Besprechung — Erzählung [Тернер 2006: 87; ср.: Вейнрих 1964]. Наконец, весьма инструктивна работа Дж. МакАннален,

---

Виктор Маркович Живов,
Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН (Москва)

посвященная Хожению игумена Даниила; в ней показано, как отличаются параметры порядка слов в части, представляющей собой своего рода путеводитель по Святой Земле, и в части, содержащей рассказ о нисхождении святого огня — повествование о личном опыте Даниила [МакАннален 2009].

Нет сомнений, вместе с тем, что зависимости между типом текста и порядком слов не являются однозначными. В этом отношении показательны данные, приводимые С. Тернер. В одной из ее работ анализируются четыре совокупности текстов: (1) новгородские грамоты берестяные и пергаменные XI–XIV вв. [Gr], (2) Новгородская первая летопись с 1016 по 1210 г. (за исключением статьи 1204 г. о взятии Царьграда) [Nov1], (3) Новгородская первая летопись с 1211 по 1234 г. (с присовокуплением статьи 1204 г.) [Nov2], (4) Житие Феодосия [Th]. Эти тексты характеризуются следующими статистическими данными [Тернер 2006: 99]:

	SV(%)	VS (%)	Ø	Total
Gr	145 (32)	57 (13)	249 (55)	451
Nov1	141 (12)	477 (40)	564 (48)	1,182
Nov2	236 (24)	239 (24)	502 (51)	977
Th	345 (33)	114 (11)	602 (57)	1,061

Как можно видеть, в нарративных текстах, представленных в данном корпусе двумя частями Новгородской первой летописи и Житием Феодосия, параметры словорасположения могут весьма сильно различаться: в первой части Новгородской летописи VS доминирует над SV, во второй части они оказываются равно употребительными, а в Житии Феодосия SV встречается второе чаще, чем VS. Язык Жития Феодосия существенно больше ориентирован на тексты основного корпуса (т. е. на переводные памятники), чем многие другие агиографические тексты, а с текстами анналистическими он не идет в этом отношении ни в какое сравнение. Между тем, для нарративных текстов основного корпуса, о которых достаточно адекватное представление дает корпус старославянских памятников, характерна постановка глагола в абсолютном начале предложения или после различных второстепенных членов предложения, но перед субъектом [Вечерка I: 65–69]. Вместе с тем данные С. Тернер свидетельствуют о том, что весьма сходные статистические параметры могут быть у очень разных по типу текстов — у жития, с одной стороны, и у бытовых и деловых документов — с другой. Из этого с необходимостью следует, что зависимость порядка слов от коммуникативного

(тематического) задания не является прямой, что реализация этого задания может осуществляться разными способами, с заметными различиями в упаковке информации, отражающимися в статистических параметрах отдельных текстов. Мы можем говорить о связи отдельных элементов стратегии изложения с определенным порядком слов и о том, что разные жанры (типы текста) по-разному и в разных пропорциях группируют эти элементы, но эта опосредованная зависимость жанра и порядка слов не дает возможности предсказать, исходя из жанра, статистические показатели конкретного текста[1].

Разные схемы словорасположения выполняют разные коммуникативные задания. Обычный инструмент для описания коммуникативных стратегий — это актуальное членение. Попытки описать в этих терминах историю порядка слов в восточнославянских памятниках предпринимались, и они свидетельствуют о существенно иных принципах упаковки информации, чем те, которые характерны для современного русского языка; объяснительная сила аппарата актуального членения в приложении к русскому историческому материалу оказывается проблематичной. Как замечает И. И. Ковтунова, рассуждая о порядке слов в Петровскую эпоху (до начала нормализации), «в одних случаях расположение слов и групп слов в предложении соответствовало его актуальному членению, в других случаях не было такого соответствия <…> Иначе говоря, и в этой сфере не было того единого принципа словорасположения, который существует в современном русском литературном языке» [Ковтунова 1969: 90].

Основная проблема, на которую наталкивается анализ порядка слов в древней восточнославянской письменности, — это частота последовательности VS в различных типах текстов. В некоторых из них этот порядок является доминирующим, в некоторых — занимающим более скромное положение, но повсеместно — существенно более употребительным, чем в современном русском литературном языке. Такая ситуация противоречит идее актуального членения как организующего распределение информации принципа, поскольку глагол, как правило, бывает нереференциальным, т. е. в большинстве случаев не выступает как тема. Поэтому интенсивное использование порядка VS несовместимо с принципом «сначала тема, потом рема».

[1] Данные С. Тернер не в полной мере сопоставимы с данными других исследований в силу двух причин. Она с полным основанием подсчитывает не только фразы с VS и SV, но и фразы без эксплицитного субъекта (Ø). Поскольку последние во всех случаях составляют большинство (см. об этом ниже), VS и SV делят между собой лишь около половины всех подсчитываемых элементов.

Существующие объяснения распространенности порядка VS в средневековых славянских текстах отмечены слишком высоким уровнем необязательности, чтобы быть приемлемыми. Р. Вечерка, анализируя старославянские памятники, указывает на «архаичность» этого порядка, восходящего к глубокой праиндоевропейской древности [Вечерка I: 64], говорит о том, что он в целом соответствует греческому (тому, который наблюдается в греческих оригиналах славянских переводов), но не идет дальше этого мало что объясняющего диахронического соображения, замечая: «Die AP [Anteposition] des V vor dem N bildete im Aksl. keine strenge Wortfolgenorm, sondern stellte nur einen der Typen der linearen Satzorganisation dar, und zwar den archaischen» [там же: 68]. О. Йокояма приписывает порядку VS старых восточнославянских текстов связь с их «эпичностью», выдвигая «the tentative idea that Russian is moving from an epic, event-oriented word order [т. е. VS] to a participant-oriented one [т. е. SV]» [Йокояма 1986: 296]; ориентированность на события — это слишком общая характеристика, в наличии которой трудно удостовериться, причем трудно отделаться от мысли, что, приписывая это свойство древним восточнославянским текстам, исследователь исходил из стилистической значимости порядка VS в современном русском литературном языке, попадая тем самым в своих рассуждениях в порочный круг.

Выбор порядка слов определяется, хотя и неоднозначно, действием многих факторов. Изучение истории порядка слов кажется целесообразным начинать с более частных и конкретных случаев, когда оказывается возможным исключить одновременное действие множества факторов и сосредоточиться на однотипных случаях, в которых критерии выбора словорасположения поддаются реконструкции, хотя нет оснований ожидать, что даже для частных случаев можно будет сформулировать строгие правила: когда языковое поведение нестрогое, строгие правила появляются только благодаря ненужным натяжкам, которые позволяет себе исследователь. Для того чтобы проследить, что меняется в языке и как, например, порядок VS из нейтрального становится маркированным, нужно обратиться к частным параметрам. Технически это может быть сделано разными способами. Наиболее простым и целесообразным представляется такой, при котором примеры распределяются по разрядам, определяемым лексической семантикой составляющих их элементов. При исследовании соотносительного расположения предиката, субъекта и объекта основой может служить семантика глагола. Семантика глагола определяет (пусть и неоднозначно) тип описываемой ситуации, можно сказать, что семантика глагола в

самом общем виде задает подклассы ситуаций, с которыми соотносится трактовка описываемого события.

В принципе можно думать, что такой подход «реалистичен» — в том смысле, что он соответствует языковому поведению пишущего, который, надо полагать, не вырабатывал общей стратегии словорасположения на все времена и ситуации, а выбирал тот или иной порядок слов в конкретном, обычно знакомом ему, контексте, ориентируясь на устойчивые модели изложения событий определенного типа. Глаголы разных семантических групп характеризуются разными статистическими конфигурациями словорасположений и разным распределением по группам, мотивирующим тот или иной порядок слов. Это означает, что пишущий по-разному решал задачи словорасположения (упаковки информации) для разных семантических классов предикатов. Отсюда можно сделать вывод, что и рассматривать проблемы порядка слов нужно не в общих категориях, а применительно к отдельным классам слов и связанным с ними ситуациям. В принципе такая методика хорошо вписывается в общие представления о связях лексического значения глагола и его синтаксического поведения. Как пишет Бет Левин, анализируя связь между структурой аргументов и лексическим значением глагола: «Presumably, predictions about verb behavior are feasible because particular syntactic properties are associated with verbs of a certain semantic type <…> allowing the syntactic behavior of a verb to be predicted from its meaning» [Левин 1993: 5]. Подобная зависимость, хотя и в менее детерминированной форме, существует, надо думать, между лексической группой глагола и порядком слов.

В первую очередь такая техника исследования может прилагаться к нарративным текстам. Сюжеты как агиографического, так и анналистического повествования отличаются определенным однообразием или во всяком случае составляют не слишком обширный набор типов, и в этих сюжетах многочисленны повторяющиеся ситуации, которые описываются несильно варьирующимися лексическими средствами. Нельзя сказать, что сочетание ситуации и относящейся к ней глагольной лексемы детерминирует положение аргументов относительно предиката, однако в этих рамках оказывается возможным наблюдать (1) параметры, однозначно благоприятствующие тому или иному словорасположению, (2) случаи, где выбор оказывается зависимым от вкусов и пристрастий автора, и (3) зоны свободной вариативности, где никакой авторской интенции не просматривается. Вообще, вариативность в словорасположении древнерусских нарративных текстов неустранима, и совсем не все варьирующиеся в одном контексте словорасположения соотносятся с какой-либо семантиче-

ской и прагматической мотивацией. В этой сфере отчетливо видно, что детерминативность в языке имеет ограниченный характер, и это соответствует устройству языка как механизма с потенциалом приспособления и изменения.

В летописных и агиографических текстах даже устойчивые трафареты не создают абсолютной детерминированности порядка слов: жесткие правила не работают, а имеются лишь вероятностные соотношения. Например, в сообщениях о смерти в летописи *преставися* обычно ставится перед субъектом, ср., например, в Лаврентьевской: «В лѣ҃т . ҂ѕ҃ . ф҃ . ѳ҃ . [6509 (1001)] Престависа Изаславъ ѡц҃ь Брачиславль сн҃ъ Володимерь» [л. 44 об.; ПСРЛ, I, стб. 129]; «В лѣ҃т . ҂ѕ҃ . ф҃ . ѯ҃ . [6560 (1052)] Престависа Володимеръ сн҃ъ Ꙗрославль . старъ Новѣгородѣ» [л. 54 об.; там же, стб. 160] и т. д. Такое словорасположение вполне поддается объяснению: сообщается прежде всего о событии как о «holistic situation» [Тимберлейк 2004: 452], а не о субъекте, собирающемся совершить какие-то действия; да и субъект некоторым образом неполноценен, поскольку сообщается именно о том, что он утерял агентивность. В Лаврентьевской летописи 24 сообщения о смерти устроены таким образом, однако в двух случаях порядок оказывается обратным: «В лѣ҃т . ҂ѕ҃ . ф҃ . ѻа ∴— [6571 (1063)] Судиславъ престависа. Ꙗрославль братъ. и погребоша и въ цр҃кви ста҃т Геѡргиꙗ» [л. 55; там же, стб. 163]; «В лѣ҃т .҂ѕ҃ . ф҃ . пв ∴— [6582 (1074)] Ѳеѡдосии игуменъ Печерьскъıи престависа» [л. 61 об.; там же, стб. 183]. Никакого содержательного объяснения этому дать невозможно; мы сталкиваемся здесь с произволом пишущего, не позволяющим нам говорить о жестких правилах.

В дальнейшем мы будем преимущественное внимание уделять именно нарративным текстам. Обращаясь к этим последним, необходимо иметь в виду, что для восточнославянского нарратива характерен не порядок SV и не порядок VS, а порядок V (см. приведенные выше статистические данные из работы: [Тернер 2006: 99–100]). Субъект внутри нарратива обычно эллиптирован. Эллипсис — одно из важных средств обеспечения связности текста [Холлидей и Хасан 1976: 142–225]. Эллипсис субъекта, как правило, указывает, что субъект тот же, что и в предшествующем предложении (в предшествующей предикативной единице). Субъект появляется (чаще всего в порядке SV), когда происходит смена субъекта, когда заходит речь о новом агенте повествования. Приведу простой пример из Жития Александра Невского, отмечая двумя косыми чертами смену агенса и в ряде случаев опуская прямую речь, которая может рассматриваться как вставка, не влияющая на словорасположение в основном тексте:

(1) **Си же слышавъ король части римскїѧ ѿ полꙋнощныѧ страны таковое мꙋжество кн҃ѧ алеѯанⷣра, помысли в себѣ: поидꙋ, плѣню землю алеѯанⷣровꙋ; и собравъ силꙋ великꙋ, наполни корабля мнѡгы полковъ своих, подвижеся в силѣ велицѣ, пыхаѧ дꙋхом ратным. Прїиде в невꙋ, шатаѧсѧ безꙋмїемъ, посла послы, загордѣв'сѧ къ кн҃ю алеѯанⷣрꙋ в новъграⷣ, рече: аще мѡжеши противитисѧ мнѣ, то се есмь оуже здѣ, плѣнѧа землю твою. // Алеѯанⷣръ же, слышавъ словеса ихъ, разгорѣсѧ срⷣцемъ и вшедъ въ цр҃ковь ст҃ыѧ софїѧ, паⷣ на колѣнꙋ преⷣ олтаремъ, начѧ молитисѧ бг҃ꙋ съ слезами: <…> Въспрїемъ ѱл҃ѡмскꙋю пѣ҃с, рече: <…> И скончавъ молитвꙋ, въставъ, поклонисѧ; // архїеп҃с-пъ же спиридонъ бл҃с-вивъ его, ѿпꙋсти. // онъ же, идѧ из' цр҃кве, оутираше слезы, и нача крѣпити дрꙋжинꙋ свою и рече <…> И сїа рекъ, прїиде на ниⷯ в малѣ дрꙋжинѣ, не сождавсѧ со многою силою своею, но оуповаа на ст҃ꙋю тр҃ц҃ꙋ**

[Серебрянский 1915, тексты: 111–112]

В данном отрывке смена субъекта подчеркивается частицей *же*, одна из основных функций которой — указывать на референциальную связь слова, к которому она присоединяется как энклитика, с элементом предшествующего текста, нередко, но не непременно с предшествующим вхождением этого же слова или иным обозначением того же агента или действия. Мы находим такое *же* при имени **Алеѯанⷣръ** при первой смене субъекта и при местоимении **онъ** при третьей смене субъекта. В то же время архиепископ Спиридон является новым персонажем в повествовании, и *же* в данном случае не сигнализирует о референции, а подчеркивает переход от одного действия (молитвы) к другому (благословению и отпусту епископа), которое закономерно за ним следует[2]. Такое референциальное или псевдо-референциальное *же* выдвигает субъект в препозицию к предикату (т. е. обусловливает порядок SV).

[2] Впрочем, в другой редакции Жития мы находим: «И, скончавъ молитву, въставъ, поклонися архиепископу. Епископъ же бѣ тогда Спиридонъ, благослови его и отпусти» [БЛДР, V: 350]. Здесь *же* обретает свою референциальную функцию, *епископъ же* отсылает к *архиепископу* предшествующей предикации. Не вполне очевидно, однако, что данное чтение является первоначальным: предложение «Епископъ же бѣ тогда Спиридонъ, благослови его и отпусти» синтаксически ущербно (глагол-связка выступает в однородной связи со знаменательными глаголами) и, возможно, является результатом неудачного редактирования.

Глаголы речи в древнейший период

В данной работе мы рассмотрим глаголы речи, выполняющие специфические коммуникативные функции и обнаруживающие собственные особенности словорасположения. Как мы увидим, эти особенности с течением времени меняются, хотя некоторые факторы, характерные для verba dicendi, оказываются достаточно устойчивыми и создают своего рода фон, на котором происходит рассматриваемая эволюция.

Я анализировал, пользуясь электронными версиями текстов, предикации с глаголами *глаголати* и *рещи* в летописных и агиографических текстах; этими глаголами данный семантический класс не исчерпывается (в него входят также, например, *отвѣщати*, *съказати*, *повѣдати* и *възглашати*), однако они покрывают более 90% всех конструкций с глаголами речи и дают достаточный статистический материал. Основная функция этих глаголов в восточнославянских нарративных текстах — это введение прямой или несобственно-прямой речи, широко, хотя и в разной степени использующейся восточнославянскими нарративными текстами. Описывая условия препозиции глагола в старославянских памятниках, Р. Вечерка особо отмечает глаголы речи, вводящие прямую речь. В рассматриваемых Вечеркой примерах эти глаголы употребляются «am Anfang der direkten Reden oder der Einleitungssätze in Dialogen bei einem Wechsel der Sprecher, vgl. z. B. Matth 19, 19, wo die direkte Rede Jesu Christi endet und der Vers 20 folgt: *ºgla emu junoša* <…> — *λέγει αὐτῷ ὁ νεανίσκος*; darauf folgt die direkte Rede des Jünglings, und die darauffolgende Replik Jesu Christi wird in Vers 21 folgendermaßen eingeleitet: *reče emu ºis* <…> — *ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς*» [Вечерка I: 65]. Восточнославянский нарратив построен по этой модели, и глаголы речи играют в нем в целом такую же роль, как и в евангельском повествовании; при этом сохраняется и ряд формальных черт их использования (в том числе и словорасположение), которое в славянских евангельских переводах восходит к греческому.

В ранних летописях основным глаголом говорения является *рещи*, в ПВЛ он употребляется (в предикациях с выраженным субъектом) 321 раз, причем в 317 случаях (99%) он вводит прямую речь. Во многих случаях, как и в старославянских памятниках, он используется при конструировании диалога, ср.: «и возва є Ѡльга к собѣ. [и ре҂ имъ] добри гостьє придоша. и рѣша Деревлѧне придохомъ кнѧгине. и ре҂ имъ Ѡльга да гл҃те что ради придосте сѣмо. рѣша же Древлѧне. пºсла нъı Дерьвьска землѧ. <…> ре҂ же имъ Ѡльга люба

ми єсть рѣчь ваша» [л. 15; ПСРЛ I, стб. 55–56]. В нескольких случаях появляются нарративные сообщения о речевых актах (см. об этой категории использования verba dicendi [Лич и Шорт 1981: 323–324; Коллинз 2001: 124–132]). В двух случаях в ПВЛ *рещи* описывает событие говорения, ср.: «на пѧтоє лѣ^т^ помѧнꙋ конь. ѿ него^же^ бѧхꙋть рекли во^т^сви оумр҃ти. и призва стареишинꙋ конюхо^м^» [л. 19; ПСРЛ I, стб. 38]. В двух случаях *рещи* выступает как переходный глагол с объектом, выраженным местоимением (*се*): «се же рѣша Грьци льстѧче подъ Русью» [л. 21; там же, стб. 70].

Глаголати в ПВЛ ведет себя иным образом. Во-первых, оно употребляется существенно реже, всего 36 раз (имею в виду опять же предикации с выраженным субъектом), во-вторых, для *глаголати* характерна иная статистическая конфигурация функций. И в этом случае основная функция — это введение прямой речи, она реализуется в 27 примерах (75%; статистически значимое отличие от *рещи*), в основном при цитировании Св. Писания, ср.: «сего ради виноградъı вашѣ и смоковьє ваше. нивъı и дубравъı ваша истрохъ гл҃еть Г^ѻ^ь. а злобъ вашихъ не могохъ истерти» [л. 56 об.–57; там же, стб. 168]. В 5 случаях *глаголати* описывает событие говорения, ср., например: «Присла Романъ и Костѧнтинъ. и Степанъ слъı к Игореви. построити мира первого. Игорь же гл҃а с ними ѡ мирѣ» [л. 11; там же, стб. 46]. В 5 случаях *глаголати* употреблен как переходный глагол с выраженным объектом, ср.: «и не бъı^ѻ^ свѣтло. но акъı м^ѻ^ць бъ^ѻ^. ѥгоже невѣгласи гл҃ють. снѣдаѥму сущю» [л. 55 об.; там же, стб. 164]; как и в случае *рещи*, объект обычно выражен местоимением, в двух случаях указательным (*то*), в двух — относительным (*егоже*).

Новгородская первая летопись старшего извода отличается от ПВЛ в плане употребления глаголов речи. Она существенно менее интенсивно пользуется прямой речью и, в особенности, избегает тех пространных диалогов, которые характерны для ПВЛ (эту черту новгородского летописания отмечал Д. С. Лихачев — [Лихачев 1946: 119]). При всех различиях в функциональных параметрах двух рассматриваемых глаголов наблюдаются определенные сходства. Так, глагол *рещи* употребляется в Синодальном списке всего 35 раз (что весьма мало сравнительно с ПВЛ), однако во всех этих случаях он вводит прямую речь (за одним исключением, что похоже на ПВЛ), ср. типичный пример: «Рекоша ему новгородьци: „камо, княже, очима позриши ты, тамо мы главами своими вьржемъ“» [л. 79; НПЛ: 53]. Любопытно, что и в Синодальном списке глагол *глаголати* оказывается не так тесно связан с функцией введения прямой речи, как *рещи*. *Глаголати* употреблено в предикациях с выраженным субъектом всего 6 раз, из них только в одном случае мы имеем дело с бесспорной

прямой речью: «якоже глаголеть писание: дивно оружие молитва и постъ» [л. 145; НПЛ: 86], — и этот случай представляет собой цитировние Св. Писания. В двух других случаях прямую речь можно постулировать лишь с оговорками: «инии же мнози глаголаху, яко, полупивъ святую Софию, пошьлъ Цесарюграду» [л. 28 об.–29; там же: 29]; «а зовутъ я Татары, а инии глаголють Таурмены, а друзии Печенѣзи» [л. 95 об.; там же: 61]. Еще в двух случаях зависимая от *глаголати* предикация скорее представляет собой придаточное изъяснительное, нежели прямую или несобственно-прямую речь, ср.: «Тако бо Мефодии глаголеть, яко скончанию врѣменъ явитися тѣмъ, яже загна Гедеонъ, и поплѣнять всю земьлю от въстокъ до Ефранта» [л. 96; там же: 61; ср. еще: л. 95 об.–96; там же: 61]. Еще в одном случае фиксируется событие говорения: «Богъ же вѣсть, како скончася: много бо глаголють о немь инии» [л. 124; там же: 76].

Когда глаголы говорения вводят прямую или несобственно-прямую речь, они выполняют в дискурсивном плане интродуктивную функцию. И в евангельском греческом, и в церковнославянских евангельских переводах эта функция у глаголов речи давала словорасположение VS в качестве доминирующего порядка в соответствующих предикативных единицах [ср.: Вечерка I: 65; Тернер 2006: 111]. На эту модель в целом ориентированы ранние восточнославянские летописные тексты.

Так, в ПВЛ по Лаврентьевскому списку в предикациях с глаголом *рещи* порядок VS наблюдается в 188 случаях (59%), а порядок SV — в 133 случаях (41%). Порядок VS можно считать для данных предикаций немаркированным, не столько в силу численного превосходства, сколько в силу того, что большинство примеров с порядком SV могут быть объяснены специальными условиями. Конечно, индуцирующая порядок SV мотивация может быть найдена не в 100% случаев; как уже говорилось, выбор порядка слов, как и вообще выбор оптимального способа упаковки информации, осуществляется не на уровне правил, а на уровне тенденций и подвержен влиянию различных мало поддающихся учету факторов. Тенденции в ПВЛ, однако, просматриваются достаточно отчетливо.

Прежде всего SV появляется, когда в действие вступает новый субъект, отличный от субъекта предшествующей предикации, и эта смена субъекта означена частицей *же* (которая вообще в летописи является основным средством выделения субъекта, так что А. Сато трактует конструкции с нею — на мой взгляд, без достаточных оснований — как отдельный разряд синтаксических построений [Сато 2008]). Примеры многочисленны, всего их в ПВЛ 104, т. е. 78% от всех предикаций с порядком SV при глаголе *рещи*, ср.: «и по крщ҃ньи

возва ю цр҃ь и рече єи хощю та поꙗти собѣ женѣ. ѡна же ре҃ какоо хочеши ма поꙗти кр҃ть ма самъ» [л. 17 об.; ПСРЛ I, стб. 61]. С помощью частицы *же* может выражаться чередование участников при конструировании диалога; ср., например, беседу Яна Вышатича с волхвами: «Ꙗнь же ре҃ по истинѣ лжа то створилъ Бъ чл҃вка ѿ землѣ <…> ѡна же рекоста вѣ вѣвѣ. како єсть чл҃вкъ створенъ. ѡн же ре҃. како. ѡна же рекоста Бъ҃ мывъса въ мовници и вспотивъса <…> ре҃ има Ꙗнь. поистинѣ прельстилъ ва҃ єсть бѣсъ. коюму Бу҃ вѣруюта. ѡна же рекоста антих҃у. ѡн же ре҃ има то кдѣ єсть. ѡна же рекоста сѣдить в безднѣ. ре҃ има Ꙗнь. какыи то Бъ҃ сѣда в безднѣ. то єсть бѣсъ» [л. 59 об.; там же, стб. 176–177]. В некоторых случаях субъект оказывается выделен не частицей *же*, а другими средствами, например частицей *и* или прилагательным *другии*, указывающим на смену субъекта, ср.: «ре҃ бо Г҃ь. ꙗко радость бываю҃ на н҃бси ѡ єдиномь грѣшницѣ кающемьса. се же не юдинъ ни два. но бещисленоє множьство. к Бу҃ прїступиша. ст҃ымь крщ҃ньємь просвѣщени. ꙗкоже и прр҃къ ре҃. въскроплю на вы воду ч҃ту і ѡч҃титеса. <…> пакы другии прр҃къ ре҃. кто ꙗко Бъ҃ ѿємьла грѣхы» [л. 41 об.; там же, стб. 120].

Нередко субъект вводится причастным оборотом, оказываясь тем самым элементом двух предикаций (в нашей выборке с глаголом *рещи* в ПВЛ насчитывается 16 таких примеров); в случае препозитивного причастного оборота и субъект оказывается в препозиции к основному предикату (глаголу речи), ср.: «и посѣдѣвъ Дв҃дъ мало ре҃ кде є҃ бра҃» [л. 87 об.; там же, стб. 259]. Иногда промежуточный статус субъекта, принадлежащего одновременно причастной и матричной предикации, подчеркивается тем, что матричная предикация соединяется с причастной с помощью соединительного союза, см.: «ѿвѣщавши Ѡльга. и ре҃ къ сломъ. аще ты рьци такоже постоиши оу мене в Почаинѣ ꙗкоже азъ в Сюду то тогда ти дамь» [л. 18; там же, стб. 63]. В принципе предложения с препозитивным причастным оборотом, субъект которого является также субъектом матричной предикации, могут быть разного типа. Наряду со структурами типа Part + S + V и Part + S & V, которые соответствуют двум приведенным выше примерам, могут быть и структуры типа S + Part + V или S + Part & V, ср.: «Игуменъ и черноризци свѣтъ створше рѣша не добро єсть лежати ѡц҃ю нашему. Ѳеѡдосьєви кромѣ манастыра» [л. 70; там же, стб. 209], ср. еще в Московском летописном своде: «Тоя же осени князь великы Витовтъ, събравъ епископы области своея, Исакиа Черниговъского, Федосиа Полотьскаго, Деонисиа Лучьскаго <…>, и рече к ним…» [ПСРЛ XXV, л. 338 об.]. Построения последних двух типов встречаются несколько реже, чем построения первых двух, однако во всех

этих случаях субъект оказывается в препозиции к глаголу матричной предикации, так что не кажется целесообразным разбирать эти случаи отдельно. Существенно, что в рассмотренных текстах практически не встречаются предложения типа «Рѣша игуменъ и черноризци свѣтъ створше» или «Рѣша свѣтъ створше игуменъ и черноризци», т. е. предложения со структурой V + S + Part или V + Part + S, что и позволяет говорить о том, что препозитивный причастный оборот является фактором перемещения субъекта в препозицию[3].

Эти факторы не объясняют всех случаев, когда в предикациях с глаголами речи субъект стоит перед предикатом. «Игнорирующий правила» остаток составляет в ПВЛ 7 примеров. В принципе такие примеры требуют не объяснения, которого нет, а фиксации и определения их количественных параметров (в нашем случае весьма скромные 5% от всех конструкций с порядком SV). Нельзя, однако же, не отметить, что в 6 из этих 7 примеров глагол вводит библейскую цитату; тем самым намечается какая-то связь между порядком SV и тематическими свойствами контекста, ср.: «Г҃ь ре҃ приходѧщаꙗ ко мнѣ не иженуть вонъ» [л. 18; там же, стб. 62].

Порядок слов в ПВЛ в предикациях с глаголом *глаголати* во многом напоминает — в уменьшенном размере — те особенности, которые мы наблюдали в случае *рещи*, хотя обнаруживаются и некоторые небезынтересные частные отличия. Как уже говорилось, в ПВЛ имеется 36 таких предикаций. В 21 (58%) наблюдается порядок VS, в 15 (42%) — порядок SV; статистически эти цифры никак не отличаются от приводившихся выше для глагола *рещи*, и это само по себе вполне знаменательно. И здесь VS может рассматриваться как немаркированный порядок, ср. примеры: «ѡбратитесѧ ко мьнѣ. и ѡбращюсѧ к вамъ гл҃ть Г҃ь» [л. 57; там же, стб. 169]. Как и в случае *рещи*, большинство примеров с SV мотивированы какими-либо специальными характеристиками, прежде всего сменой субъекта, на которую указывает частица *же* при субъекте. Таких случаев 6, что составляет всего 40% от всех предикаций с порядком SV — существенно меньше, чем в случае *рещи*, ср.: «начаша же друзии несмъслении гл҃ти. поиди кнѧже. смъслении же гл҃ху. аще бы [ихъ] пристроилъ

[3] Возможна, конечно, такая трактовка сочетания препозитивного причастного оборота и матричной предикации, при которой субъект приписывается исключительно причастной предикации, а матричная предикация рассматривается как предикация с эллиптированным субъектом, отсылающим к субъекту причастной предикации, т. е. можно считать, что в «и посѣдѣвъ Дв҃дъ мало ре҃ где є҃ бра҃» имеется предикация с субъектом «и посѣдѣвъ Дв҃дъ мало» и бессубъектная предикация «ре҃ где є҃ бра҃». Мне такая трактовка не кажется привлекательной.

и. ѝ. тъсѧчь не лихо то ѥсть» [л. 73; там же, стб. 218]. В двух случаях препозиция субъекта мотивирована тем, что субъект представляет собой местоимение 2 лица; местоимения 1 и 2 лица практически всегда (когда они являются субъектами) ставятся перед предикатом, что, видимо, связано с их особым коммуникативным статусом как шифтеров, маркирующих выход из нарративного режима, ср. в разговоре Яна с волхвами: «за величаньє ѥго низъверженъ бы҃ с н҃бсе . и єсть в безднѣ ꙗко҆ то въı гл҃ета» [л. 59 об.; там же, стб. 177]. В немотивированный остаток попадает 6 предикаций с SV, что составляет 40% всех предикаций с SV, и это существенно выше, чем в случае с *рещи*. 5 из этих 6 предикаций вводят библейские цитаты, что в принципе похоже на примеры с *рещи*, однако не обладает тем же выделительным потенциалом, поскольку большинство цитат, вводимых глаголом *глаголати*, являются библейскими (см. выше), ср.: «ꙗкоже Исаиꙗ гл҃еть. ѿиметь Гь ѿ Иєр҃лма крѣпкаго исполина» [л. 48; там же, стб. 140]. Таким образом, здесь, в предикациях с SV, как и при функциональном употреблении *глаголати*, доминирующие модели работают менее жестко, чем в случае *рещи*[4].

Обратимся теперь к Новгородской первой летописи. Прямая речь используется в этом памятнике существенно менее интенсивно, чем в ПВЛ (см. выше). Меньше поэтому и предикаций с глаголами речи. Глагол *рещи* употребляется (при эксплицитном субъекте) 35 раз, *глаголати* — 6 раз. Предикации с *рещи* устроены в целом так же, как в ПВЛ. В 23 случаях (66%) мы находим порядок VS, который и следует рассматривать как немаркированный, ср.: «И рече Гюрги и Андрѣи: „се Яропълкъ, брат наю, по смерти своеи хощеть дати Кыевъ Всеволоду“» [л. 14; НПЛ: 22]. Порядок SV появляется в 12 примерах (34%), и в большинстве случаев для этого порядка

[4] Здесь и далее мы игнорируем такой фактор, как положение глагола речи, вводящего прямую речь, по отношению к прямой речи. В обычном случае verba dicendi стоят перед прямой речью. Так, например, обстоит дело с глаголом *рещи* в ПВЛ во всех 317 рассмотренных нами случаях. Постпозиция вводящего прямую речь глагола (tag'a) редка, она появляется в маркированных контекстах цитирования авторитетных сентенций, прежде всего из Св. Писания [ср.: Коллинз 2001: 7–8]. В ПВЛ встречается 4 таких случая с tag'ом *глаголати*, ср.: «ѡбратитесѧ ко мьнѣ. и ѡбращюсѧ к вамъ гл҃ть Г҃ь» [л. 57; ПСРЛ I, стб. 169]. В Суздальской летописи, равно как и в Новгородской первой, постпозиция tag'a вообще не встречается. Точно так же обстоит дело и в Житии Феодосия. При постпозиции субъект всегда, видимо, стоит после глагола (как и в современном русском языке). Поскольку, однако, существенной (в статистическом отношении) роли данный фактор не играет, в настоящей работе он учитываться не будет.

может быть найдена мотивация. В 5 случаях (42% от всех предикаций с SV) субъект вынесен вперед в качестве нового с помощью частицы *же*, ср.: «Онъ же рече: „въвѣдете Грьцина, попа святую Костянтину и Елены“» [л. 102 об.; там же: 65]. В нескольких случаях фокусирование на субъекте (или контрастное противоположение субъекта данной предикации субъекту предшествующей предикации) осуществляется за счет иных дискурсивных средств. В одном случае таким средством является местоимение *сам*, всегда содержащее противопоставление данного субъекта другим потенциальным субъектам и поэтому всегда помещаемое в препозиции к предикату, см.: «и терпить о насъ, ожидая покаяния, якоже самъ реклъ есть: не хощю смерти грѣшнику, но обращения животу его» [л. 132–132 об.; там же: 80]. В другом случае оппозиция субъекта рассматриваемой предикации субъекту предшествующей выражена лексически (*инии*) и подчеркнута употреблением противительного союза *но*: «и хотѣша новгородци на нихъ ударити, но инии рекоша: „уже есть велми к ночи, еда како смятемся и побиемся сами“» [л. 146; там же: 87]. Еще в одном случае оппозиция выражена местоимением *они*, отсылающим ко второму участнику диалога; в рассказе о конфликте князя Ярослава и новгородцев с псковичами в 1228 г., когда псковичи заключили союз с Ригой против Новгорода, об этом событии говорится следующим образом: «То же слышавъше пльсковици, яко приведе Ярослав пълкы, убоявшеся того, възяша миръ съ рижаны, Новгородъ выложивъше, а рекуче: „то вы, а то новгородьци; а намъ ненадобе; нъ оже поиду на насъ, тъ вы намъ помозите“; и они рекоша: „тако буди“; и пояша у нихъ 40 муж въ талбу» [л. 104 об.; там же: 66].

Как и в ПВЛ, в Новгородской первой летописи остается «игнорирующий правила» остаток; он представлен 3 примерами, что в процентном выражении немало — 25% всех предикаций с SV. Приведу примеры: «Князь и новгородьци рекоша Митрофану и Онтону: „идита къ митрополиту <…>“» [л. 92 об.; там же: 60]; «Гюрги рече посломъ: „выдаите ми Якима Иванковиця, Микифора Тудоровиця…“» [л. 100 об.; там же: 64]. Стоит, видимо, заметить, что первый подобный пример встречается в Новгородской летописи под 1219 г., т. е. в достаточно позднем ее слое (о членении Новгородской первой летописи на слои см.: [Гиппиус 1997]), по времени более чем на сто лет отстоящем от последних статей ПВЛ.

В предикациях с глаголом *глаголати* картина иная, не напоминающая ПВЛ и — в силу малочисленности примеров — вообще несколько невнятная. Из 6 встретившихся примеров лишь в двух (33%) фиксируется порядок VS, ср.: «и отъятъ от насъ мужи добрыѣ да быхом ся покаяли, якоже глаголеть писание: дивно оружие молитва

и постъ» [л. 145; там же: 86]. В четырех случаях (67%) мы находим порядок SV, который ранее мы рассматривали как маркированный. В трех случаях из этих четырех порядок SV представляется мотивированным. В двух примерах встречается субъект, выдвинутый в препозицию к предикату с помощью *же*, ср.: «инии же мнози глаголаху, яко, полупивъ святую Софию, пошьлъ Цесарюграду» [л. 28 об.–29; там же: 29]; в одном примере мы находим пару противопоставленных субъектов, оппозиция которых выражается лексически (*инии — друзии*): «а инии глаголють Таурмены, а друзии Печенѣзи» [л. 95 об.; там же: 61]. В одном случае (17%) порядок SV кажется немотивированным: «Тако бо Мефодии глаголеть, яко скончанию врѣменъ явитися тѣмъ, яже загна Гедеонъ, и поплѣнять всю земьлю от въстокъ до Ефранта» [л. 96; там же: 61]. Хотя пропорция предикаций с SV кажется «неправильной» при сопоставлении с другими текстами, распределение этих предикаций по классам не представляет собой ничего необычного.

Оставаясь в пределах древнейших восточнославянских текстов, мы можем перейти теперь от анналистической традиции к агиографической и обратиться к Житию Феодосия. Стоит сразу же отметить, что основным глаголом речи для этого текста является *глаголати* (39 примеров), а не *рещи* (6 примеров). В этом можно видеть свидетельство большей ориентации агиографической литературы на каноническую церковнославянскую традицию в сравнении с литературой анналистической. Оба глагола в основном используются для введения прямой речи. *Глаголати* употреблен в этой функции 38 раз (97% всех употреблений), *рещи* — 5 раз (83% всех употреблений). *Глаголати* один раз выступает как переходный глагол с объектом, выраженным относительным местоимением *еже*: «**ѡ како, ѡч҃е, запрещеніѥ твоѥ ѥже гл҃ть чьрноризьць сии. ꙗко аще и кнѧзь приидеть, не поустити ѥго**» [Усп. сб., л. 40г]. *Рещи* один раз вводит несобственно-прямую речь: «**они же вьси рекоша ꙗко стефаноу достоиноу быти по тебѣ игоуменьство приꙗти**» [там же, л. 63а]. Связь verba dicendi с функцией введения прямой речи выглядит здесь еще более тесной, чем в описанных выше летописных памятниках.

Любопытным образом, в Житии Феодосия в предикациях с глаголами речи порядок SV появляется чаще, чем VS. Тем не менее, как и в летописных памятниках, именно VS скорее представляется немаркированным порядком, нежели SV, поскольку употребление SV может рассматриваться как мотивированное, а мотивация VS, если о ней вообще можно говорить, сводится к общей интродуктивной функции. В предикациях с *глаголати* порядок VS встречается 15 раз (38%), а порядок SV — 24 раза (62%). Мотивирующими для порядка

SV факторами являются следующие. Субъект выдвигается в препозицию к предикату, когда он выделен частицей *же*; таких примеров 10 (42% всех предикаций с SV), ср.: «**Братиꙗ же ишьдъше вънъ гл҃ахꙋ къ себѣ. чьто оубо сии сицево гл҃еть**» [там же, л. 62б]. Субъект принадлежит одновременно к главной предикации с глаголом речи и к находящейся в препозиции к ней причастной предикации; таких случаев 4 (17% всех предикаций с SV), ср.: «**Таче пакы хо҃любьць възвѣщаꙗ ѥмоꙋ да оувѣсть къто ѥсть. и гл҃аше се бо азъ ѥсмь. и мнѣ отъврьзи врата ѥдиномоꙋ**» [там же, л. 40в]. В 6 случаях (25%) предикация с глаголом речи вводится союзом *тоже*, переключающим повествование с одного участника события на другого, реагирующего на действия первого и составляющего с первым своего рода пару; этот союз продвигает субъект в препозицию к предикату, ср.: «**и се вънидe икономъ гл҃ꙗ блаженомоꙋ. ꙗко въ оутрии дн҃ь не имамъ коупити ѥже на ꙗдь братии. и на иноꙋ потребоꙋ. тоже бл҃женыи гл҃а ѥмоꙋ. се ꙗко же видиши оуже вечеръ соущь и оутрьнии дн҃ь далече ѥсть**» [там же, л. 44г]. В 4 случаях (17% всех предикаций с SV) аналогичную дискурсивную функцию имеет наречное сочетание *тогда же*, ср., например, в рассказе о том, как князь Изяслав удивлялся сладости монастырской пищи и спрашивал Феодосия о причине этого феномена: «**Тъгда же бо҃дъхновеныи оц҃ь ѳеодосии. хотꙗ оувѣрити того на любъвь божию. гл҃а емꙋ. то аще бл҃гыи вл҃дко сиꙗ оувѣдѣти хощеши. послушаи насъ и повѣде ти**» [там же, л. 48вг].

Как уже отмечалось, предикации с *рещи* встречаются существенно реже предикаций с *глаголати*, имеется всего 6 примеров. В двух из них (33%) имеет место порядок VS, ср.: «**о семь бо словеси рече пр҃рокъ. близъ г҃ь призывающиимъ въ истиноꙋ**» [там же, л. 33а]. В четырех примерах (67%) имеет место порядок SV, во всех этих примерах новый субъект выдвинут в препозицию с помощью частицы *же*, ср. в диалоге преп. Феодосия с матерью после реплики матери: «**бл҃женыи же рече къ неи. то аще хощеши видѣти мꙗ по всꙗ дн҃и иди въ сии градъ**» [там же, л.32г]. Важно отметить, что — в отличие от летописей — в Житии Феодосия не обнаруживается никакого «игнорирующего правила» остатка, во всех предикациях с порядком SV просматривается мотивация этого порядка. Можно сказать, что агиограф — в сравнении с летописцем — строже придерживается синтаксически регламентированных моделей.

В этом контексте можно взглянуть и на Житие Авраамия Смоленского [БЛДР V], небольшой объем которого ограничивает возможности его использования, однако не мешает обсуждению общих тенденций, выявляющихся в более пространных памятниках. В этом

тексте встречается 12 предикаций с глаголом *глаголати* и 9 с глаголом *рещи*, преобладание первых над вторыми и здесь может интерпретироваться как черта агиографической языковой традиции.

Поскольку текст невелик, мы не будем рассматривать по отдельности предикации с *глаголати* и предикации с *рещи*. Порядок VS представлен в 12 из них (57%), порядок SV — в 9 (43%), порядок VS может считаться немаркированным, поскольку мотивированность употребления характеризует именно порядок SV. Мотивирующие факторы оказываются теми же, что и в Житии Феодосия; и в принципе общие контуры выбора словорасположения вполне сходны с теми, которые мы наблюдали в Житии Феодосия, они отличаются от того, что характерно для древнейших летописных памятников. Это позволяет предположить существование в сфере порядка слов отдельной агиографической языковой традиции, отличной от традиции летописания.

Данные XIII–XV веков

Располагая минимальными сведениями о древнейших восточнославянских текстах, мы можем сделать следующий шаг и попытаться определить, какие изменения характеризуют следующий этап в развитии письменного языка. Для этого можно обратиться к Суздальской летописи по Лаврентьевскому списку, отражающей письменные навыки летописцев XII–XIV вв. В Суздальской летописи, как и в ПВЛ, глагол *рещи* употребляется существенно чаще, чем *глаголати*: первый встречается 62 раза, второй — 23 раза. Функциональный диапазон обоих глаголов по сравнению с ПВЛ сужен. *Рещи* во всех своих употреблениях вводит прямую речь. *Глаголати* слегка более гетерогенен, хотя эта гетерогенность далека от той, которая характеризовала ПВЛ. Из 23 примеров с *глаголати* в одном глагол не вводит прямую речь, а описывает акт говорения: «и свѣтлна поколѣбаша и люѭ мно изумѣша <…> и ꙗко другъ къ друг глху не вси бо разумѣвах. дивна то чюѭсе» [л. 157; ПСРЛ I, стб. 454]. Как и в ПВЛ, *глаголати* по преимуществу вводит цитаты из Св. Писания, а также патристических сочинений; в Суздальской летописи из 23 примеров с *глаголати* так обстоит дело в 20 случаях (87%), ср.: «ꙗкоже Гь глть на кого призрю. не на кроткаго ли. и смѣренаго» [л. 157 об.; там же, стб. 456]; надо заметить, что, как и в ПВЛ, вводить библейские цитаты может и глагол *рещи* (таких примеров 24). Итак, в Суздальской летописи мы видим меньшее функциональное разнообразие в употреблении глаголов говорения, чем в ПВЛ.

Что касается порядка слов, то в предикациях с *рещи* мы находим порядок VS в 27 примерах (44%), а порядок SV — в 34 примерах (56%), и это, конечно, существенная инновация сравнительно с ПВЛ. Как и в ПВЛ, порядок VS может рассматриваться как немаркированный, поскольку он — в отличие от порядка SV — лишен мотивации (ср. тот же аргумент относительно Жития Феодосия). Основным классом предикаций с порядком SV являются предложения, в которых новый субъект выдвигается вперед с помощью частицы *же*; таких примеров 19 (56% всех предикаций с SV), ср.: «Андрѣи же ре҂. на томъ ѥсмъı цѣловали кр҃ь. ако поити нъı Суждалю» [л. 112; там же, стб. 335]. В одном случае имеется пара противопоставленных субъектов и переход от одного к другому маркируется союзом *а*: «Всеволодъ же посла по ни҃ и вороти єп҃па с ними. и держа и съ єп҃пмъ. а Новгородци сдумавше рекоша. даи нъı шюрина своѥго Мстиславича» [л. 102 об.; там же, стб. 308]. В двух случаях субъект выделен местоимением *сам*, см.: «и здумавше сами рекоша. любо лихо. любо добро всѣ҃м намъ поидемъ вси» [л. 126; там же, стб. 372]. В двух случаях субъект принадлежит одновременно причастному обороту и предикации с *рещи*, см.: «и Новгородци сдумавше рекоша Всеволоду. не хоче҃м сн҃а твоѥго» [л. 102 об.; там же, стб. 308]. Хотя в большинстве примеров с SV вполне отчетливо просматривается мотивация, остается класс «игнорирующих правила» словорасположений, включающий в себя 9 единиц; это составляет 26% всех предикаций с SV, что существенно больше, чем в ПВЛ, и напоминает Новгородскую первую летопись, в значительной своей части современную Суздальской. Приведу примеры: «и пакъı Г҃ь ре҂ ко мнѣ сн҃ъ мои ѥси тъı. и азъ дн҃ь роди҃ тѧ» [л. 142; там же, стб. 421]; «но ꙗко҃ Приточни҃ ре҃. в злохитру дш҃ю не вниде҃ прмдр҃ть» [л. 168; там же, стб. 477]. Отметим, что, как и в ПВЛ, большинство примеров из этой группы (7 из 9) составляют предикации, вводящие библейские цитаты.

Как и в ПВЛ, употребление *глаголати* менее урегулировано, нежели употребление *рещи*. Достаточно сказать, что *глаголати* встречается с порядком VS всего один раз (4%), а с порядком SV — 22 раза (96%). В некотором количестве предикаций с SV просматривается мотивированность. В одном случае субъект вынесен в препозицию с помощью *же* и принадлежит одновременно причастному обороту в препозиции и предикации с *глаголати*, см.: «вси же зрѧще таковаго чюда. гл҃ху кнѧже правъ ѥси поѣди противу ѥму» [л. 128 об.; там же, стб. 380]. В двух случаях оппозиция субъекта по отношению к субъекту предшествующей предикации выражена местоимением *инии*, см.: «ини гл҃ють ꙗко се су҃ ѡ ни҃же Мефоди|и Патомьскъıи єп҃пъ свѣдѣтельствує҃т» [л. 153; там же, стб. 445–446]. В одном случае

субъект является местоимением 1 лица, всегда стоящим в препозиции к глаголу, см.: «тѣмже и мы послѣдующе Дв҃ду пр҃рку. гл҃емъ Бе҃ мои положи ꙗ ꙗко коло. ꙗко ѡгнь предъ лицемъ вѣтру» [л. 130; там же, стб. 384]. Тем не менее немотивированные употребления существенно превосходят по числу мотивированные, «игнорирующий правила остаток» состоит из 16 единиц, что составляет 73% всех предикаций с SV. Такого доминирования немотивированного порядка SV мы еще не видели (напомню, что в предикациях с *глаголати* в ПВЛ немотивированный остаток составлял 40%), и оно, надо думать, свидетельствует об изменении синтаксических стратегий пишущего — вместе с увеличением порядка SV у предикаций с *рещи*, но более выразительным образом.

Изменения затрагивают и агиографическую языковую традицию. Об этом можно судить по Житию Сергия Радонежского (XV в.), памятнику существенно более позднему, чем Суздальская летопись, но все же наиболее подходящему для наших целей, поскольку в литературе XIV в. нет достаточно обширного оригинального житийного текста. Первое, что бросается в глаза при чтении Жития Сергия, это преобладание предикаций с *рещи* в сравнении с предикациями с *глаголати*: предикации с *глаголати* встречаются 20 раз (подсчитывались только предикации с эксплицитным субъектом), предикации с *рещи* — 81 раз, т. е. в четыре раза чаще. Такое употребление чуждо ранней агиографической традиции (см. выше) и напоминает традицию летописную, которая, возможно, и оказывает влияние на Епифания [ср.: Клосс 1998: 100–128; Живов 2004: 89–90]. Показателен, видимо, и другой момент. Предикации обоих типов служат прежде всего для введения прямой или несобственно-прямой речи: в 85% примеров в случае *глаголати* и в 98% примеров в случае *рещи*. Как указывалось выше, в ПВЛ и в Суздальской летописи *глаголати* преимущественно употребляется для введения цитат из Св. Писания и святоотеческих сочинений. Такая связь, хотя и в менее выраженном виде, просматривается и в Житии Сергия: *глаголати* вводит библейские цитаты в 11 случаях, другого рода прямую речь в 6 случаях, т. е. на библейские цитаты приходится 65% такого рода употреблений; *рещи* вводит библейские цитаты в 27 случаях, другого рода прямую речь в 52 случаях, т. е. на библейские цитаты приходится 34% такого рода употреблений — различие статистически значимо и опять же указывает на связь с летописной традицией.

Инновации распространяются и на порядок слов. В предикациях с *рещи* порядок VS наблюдается в 14 примерах (17%), а порядок SV — в 67 примерах (83%), и это кажется существенным движением в сторону SV. Можно было бы сказать, что порядок SV становится

здесь немаркированным, а порядок VS маркированным, однако такое утверждение предполагало бы не только количественное преобладание, но и какую-то (семантическую или прагматическую) мотивированность маркированного употребления — для порядка VS никаких мотивирующих факторов не просматривается. Вместе с тем порядок SV в большинстве случаев появляется под воздействием хорошо известных нам мотивирующих факторов. В 41 случае (61% всех предикаций с SV) субъект выдвигается в препозицию с помощью частицы *же*, ср.: «Жены же рѣша к ней: „До како дасться глас преже рожениа младенцу, въ утробѣ сущу?“ Она же рече: „Аз о семь и сама удивляюся и вся есмь въ страсѣ, трепещу, не вѣдущи бываемаго“» [БЛДР VI: 264]. В 6 случаях субъект принадлежит одновременно матричной предикации и причастному обороту, стоящему к ней в препозиции, ср.: «Слышавъ же блаженный хвалящася Михаила на нь, рече къ ученикомъ своим, яко Михаилъ, хваляйся на святую обитель сию, не имать получити желаемаго» [там же: 378 — пунктуация издателя изменена в сторону осмысленности]. В двух случаях субъект является местоимением 1 лица, ср.: «Мы же речем ти: или сам буди игуменъ, или шед спроси нам игумена у святителя» [там же: 316]. В одном случае оппозиция с субъектом предшествующей предикации реализуется за счет определения *другий*: «И другый пророкь рече: „Отступите от земля и взыдете на небо“» [там же: 288].

В 6 случаях трактовка неоднозначна. Субъектом в этих предикациях является Бог (Бог, Господь, Христос), который может рассматриваться как действующее лицо, обладающее суперагентивностью; можно было бы предположить, что эта черта обусловливает постановку субъекта перед предикатом, ср. примеры: «по толику же и Богъ о нем речет: „С ним есмь въ скръби; изму и и прославлю и“» [там же: 306]; «трикраты же Христос по въскресении рече: „Петре, любиши ли мя?“» [там же: 270]. Для такого предположения есть некоторые, хотя и отнюдь не бесспорные, основания (ср. о препозиции сверхъестественного субъекта в оборотах дат. самостоятельного: [Живов 2008: 11–13; ср. также: Бернекер 1900: 7]). Возможно, здесь следует постулировать формирующуюся тенденцию, реализующуюся, однако, нерегулярно. От трактовки этих случаев зависит, насколько многочисленным оказывается «игнорирующий правила» остаток. Если считать, что «божественные имена» представляют собой фактор, продвигающий субъект в препозицию, в этом остатке оказывается 11 примеров (16% всех предикаций с SV); если отказаться от такой трактовки, примеров станет 17 (25% всех предикаций с SV), ср. примеры: «Егда же отпущаше игумена оного, иже постригшаго и, съ мнозѣмъ смиреномудрием Сергий рече ему: „Се убо, отче, отходиши

ты днесь еже от здѣ, а мене смиренаго, якоже и произволих, единого оставляеши“» [там же: 296]; «Давидъ рече: „Приидѣте, чада, послушайте мене“» [там же: 322]. В любом случае в Житии Сергия появляются предикации с немотивированным порядком SV, которые, как мы видели, были нехарактерны для предшествующей агиографии, и пропорция этих предикаций достаточно значительна, так что в данном феномене следует видеть важное новое развитие, направленное, как и в анналистической литературе, в сторону легализации немотивированного порядка SV.

Предикации с *глаголати* представляют меньший интерес и не показывают такой динамики, как предикации с *рещи*. Их всего 20, из них 5 (25%) характеризуются порядком VS (ср.: «Глаголаху нѣции от здѣшних старець о преподобном Сергии, яко риза нова никогдаже взыде на тѣло его» [там же: 340]), 11 (55%) — порядком SV, а 4 представляют собой особый случай. Во всех этих четырех контекстах воспроизводится одна и та же фраза: «Святое глаголеть писание» [там же: 256, 280 (bis), 308], за которой следует цитата из Библии. Глагол помещен здесь между прилагательным и существительным-подлежащим, вероятно, в силу пристрастия автора к риторически мотивированным нарушениям проективности (инверсиям); целесообразнее, видимо, рассматривать такие предикации как особые случаи реализации порядка SV, и в этом случае пропорция предикаций с SV возрастает до 75%. Это, конечно, значимая динамика, хотя лишь в одном случае (7%) этот порядок является немотивированным (если только он не обусловлен сакральным субъектом), см.: «Азъ не изждену вас, понеже Спасъ нашь глаголаше, яко: „Грядущаго къ мнѣ не ижьждену вънъ“» [там же: 310]. В 6 случаях мы находим конструкции с частицей *же*, ср.: «Святый же к нему глаголаше: „Прелстился еси, о человече, и не вѣси, что глаголеши“» [там же: 350]. В двух случаях субъектом являются местоимения 1 или 2 лица, ср.: «Отци и братиа! Азъ супротивъ вам ничтоже глаголю, воли Господни предавшися» [там же: 318]. Еще в двух случаях субъект принадлежит матричной предикации и причастному обороту, ср.: «Сладость бо словесную Давидъ вкусивъ, удивляяся, къ Богу глаголет: „Коль сладка грътани моему словеса твоя, паче меда устомь моим!“» [там же: 392]. Обобщая, можно все же сказать, что изменения в предикациях с *глаголати* идут в том же направлении, что и в предикациях с *рещи*, и это те изменения, которые постепенно делают порядок SV доминирующим.

Двигаясь дальше по хронологической шкале, мы можем обратиться к Московскому летописному своду, рассмотрев только последнюю его часть, описывающую события с 1380 по 1492 г. [ПСРЛ XXV,

лл. 276–472 об.]. Здесь еще отчетливее видны направления эволюции, начальные этапы которой мы наблюдали при анализе Суздальской летописи; заметны, впрочем, и некоторые совсем новые тенденции. В частности, в последней части Московского летописного свода предикации с *глаголати* встречаются приблизительно с той же частотой, что и предикации с *рещи*: на 38 предикаций с *глаголати* приходится 39 предикаций с *рещи* (добавляю к ним несколько предикаций с *говорити*, появляющихся в конце летописи и не отличающихся по употреблению от предикаций с *рещи*). Принимая во внимание те данные об употреблении *рещи* и *глаголати* в Житии Сергия, которые обсуждались выше, это равноправие *рещи* и *глаголати* в летописи наводит на мысль о том, что рассматривавшаяся выше оппозиция летописной и агиографической традиции в XV в. нейтрализуется. Само по себе подобное наблюдение не кажется экстраординарным: тексты накапливаются, и вместе с их накоплением растет их взаимодействие. Как и в более ранних памятниках, предикации с *глаголати* более разнообразны в функциональном отношении. Хотя основной функцией предикаций с *рещи* и *глаголати* остается введение прямой или несобственно-прямой речи, использование этих глаголов в других функциях в Московском летописном своде возрастает, и в основном этот рост приходится на предикации с *глаголати*, ср.: «Нынѣ же слыши, царю, о сих, что папа глаголеть, седми святыхъ вселенскых зборъ не хочет поминати» [л. 357; там же: 255–256]; «и снидеся весь град на вѣче то, посадники и тысяцкие и прочии вси людие, и не умѣюще, что молвити, но смутишася и восколебашеся, яко пьяны, инъ инаа глаголаше» [л. 384 об.; там же: 275]. В рассматриваемом фрагменте *глаголати* 7 раз употреблено для описания события говорения и 7 раз в качестве переходного глагола. *Рещи* и *говорити* употреблены для описания события говорения по одному разу.

Глаголы *рещи* и *говорити* встречаются в рассматриваемом фрагменте 44 раза; в 7 случаях наблюдается порядок VS (16%), ср.: «И рекоша Татарове к нимъ: „царево слово к вам, даю вам сына своего Мамутека“» [л. 363; там же: 260], в 37 случаях (84%) — порядок SV. И здесь, таким образом, заметно общее движение к употреблению субъекта в препозиции. Ряд употреблений SV обычным образом мотивирован. В 16 примерах субъект вынесен в препозицию с помощью частицы *же*, ср.: «Князь же Дмитреи, объдумавъ с бояры своими, рече: „брате, что томити мнѣ не тетку, но и госпожу свою великую княгиню“» [л. 376; там же: 269]; здесь, впрочем, субъект принадлежит одновременно причастному обороту и предикации с глаголом речи. В двух случаях субъект является местоимением 1 или 2 лица, ср.: «Аз же толико сиа рекох имъ: „аще хто отступит заповеди

святыхъ апостолъ <…> да будеть анафема“» [л. 356 об.; там же: 255]. В двух случаях оппозиция субъектов соседствующих предикаций реализуется союзом *а*: «А житии говорили с товарищи о том, что князю великому кобряне позывают Новогородцев» [л. 441 об.; там же: 314]. В одном случае выделение субъекта осуществляется местоимением *сам*: «яко же сама истинна въ еуангелии рече: „бывает радость на небеси о едином грѣшницѣ кающемся“» [л. 317; там же: 227]. В пяти случаях субъект принадлежит и матричной предикации, и причастному обороту, ср.: «Отвѣщавъ же Марко рече к ним: „и нынѣ, царю, не послушаю вас, но яко же богъ въсхощет, тако и сотворить“» [л. 358; там же: 356]. В 10 случаях (27% всех предикаций с SV) мы имеем «нерегламентированный» остаток, ср.: «Князь Иван Юрьевичъ рѣче сице: «Князь велики Иванъ Васильевич всея Русии тебѣ своему богомольцу владыцѣ и посадникомъ и житиим тако отвещевають» [л. 442; там же: 315]. Отметим, что число примеров с немотивированным порядком SV превышает число примеров с VS, и это явным образом свидетельствует о тенденции к употреблению порядка SV как немаркированного (основного).

Не менее отчетливо эта тенденция прослеживается в предикациях с *глаголати*. Из 38 предикаций с этим глаголом 3 (8%) характеризуются порядком VS, а 35 (92%) — порядком SV. В ряде предикаций с SV заметно действие известных нам факторов. В 8 случаях субъект в препозиции отмечен частицей *же*, в одном случае субъект является местоимением 2 лица, в 3 случаях оппозиция между субъектом данной предикации и предшествующей означена союзом *а*: «Диакон же видѣвъ сие и от страха оцепѣнѣ, а князь такы то же слово глаголаше» [л. 365; там же: 261]. В 2 случаях субъект выделен местоимениями *сам* и *тои*: «но единъ точию от ученикъ его Инокентии именем, тои съ многими же слезами надгробнаа проглагола» [л. 434 об.; там же: 310]. В 7 случаях фокусирование субъекта осуществляется словами *друзии*, *ин* / *инии*, *овии*, ср.: «а от того часа възбеснѣша, яко пьании, инъ инаа глаголаше, и къ королю пакы въсхотѣша» [л. 435 об.; там же: 310]. Однако большая часть предикаций с SV остается без мотивации; в этот остаток попадают 13 примеров (37% предикаций с порядком SV), ср.: «О семъ убо мнози князи и воеводы глаголаху ему: „господине княже великыи, не стави ся напереди битися, но назади или на крылѣ, или индѣ въ опришнемъ мѣстѣ“» [л. 282 об.; там же: 204]. Тенденция к порядку SV как к немаркированному заметна здесь еще сильнее, чем в предикациях с *рещи*: число примеров с немотивированным порядком SV превышает число примеров с VS в четыре раза.

Если придерживаться хронологии, то правильным агиографическим соответствием для последней части Московского летописного

свода скорее должно быть Житие Михаила Клопского, нежели Житие Сергия Радонежского. Житие Михаила Клопского, однако, настолько своеобразно по языку, а различные его редакции дают столь богатый материал для суждения о вариантах гибридного языка, что заслуживают особо тщательного обсуждения. Вариант А первой редакции Жития был создан в 1470-х годах в Новгороде и отличается большей, чем обычная, интерференцией с некнижным языком: некнижные элементы появляются и на синтаксическом, и на лексическом, и на морфологическом уровнях. Явления порядка слов также весьма характерны. Поскольку памятник невелик по объему, мы, чтобы получить достаточно большой материал, рассмотрели все verba dicendi, а не только *глаголати* и *рещи*, тем более что Житие отходит в этом отношении от книжной традиции и весьма широко использует, например, глагол *молвити*, нечасто встречающийся в других книжных памятниках.

В варианте А употреблено 40 глаголов речи, в 39 случаях они вводят прямую речь, в одном случае содержание речи эллиптировано, и этот эллипсис отсылает к предыдущей предикации: «и пойде понамарь по водицу к церкви, аже Михайла пишет на песку: „Чашу спасениа прииму, имя господне призову. Ту будет кладяз неисчерпаемый“. И пономарь, как обедню отпели, сказал игумену Феодосию» [Дмитриев 1958: 91]. В варианте А глаголы речи стоят в препозиции к субъекту в 8 случаях (20%), в постпозиции — в 32 случаях (80%). Можно сказать, что именно порядок SV является здесь немаркированным, и это утверждение выглядит правдоподобным, в частности, и потому, что в подавляющем большинстве случаев употребление этого порядка никак не мотивировано. Лишь в трех случаях субъект принадлежит одновременно матричной предикации и препозитивному причастному обороту, соединенному с матричной предикацией соединительным союзом, ср.: «И пришедши Олферий Иванович к церкви святой Богородици в Курьско и молвит: „Брате Иоан, то земля моя!“» [там же: 95]. В 29 случаях никакой мотивации не заметно, и этот класс составляет 91% всех предикаций с SV. Предикации с SV появляются в самом обычном контексте, когда нужно ввести прямую речь, в частности, в диалогах, ср.: «и Феодосей игумен ему молвит: „Чему, сынько, имени своего нам не скажеши?“ И он молвит противу: „Бог знает!“» [там же: 91]. Приписывая немаркированный статус порядку SV, мы должны были бы определить особые условия, в которых появляется порядок VS, т. е. факторы, мотивирующие этот порядок. Таких факторов, однако, не обнаруживается, SV и VS сменяют друг друга без всякого видимого основания в коммуникативной структуре текста или в иных его прагматических параметрах, ср.,

например, два следующих друг за другом предложения: «И старець рече Феодосию: „Зови их хлеба ясти, занеже издалече пришли тыи людие“» [там же: 90–91; в предшествующем предложении другой субъект]; «И вопроси их старец: „О чем, детки, не ядите?“» [там же: 91; и здесь в предшествующем предложении другой субъект]. Можно думать, что порядок VS употребляется здесь без всякого коммуникативного или стилистического задания, как дань традиции, в которой этот порядок был немаркированным.

Из сопоставления с последующими переработками Жития создается впечатление, что порядок SV идет из живого языка автора, в котором в таком случае он уже был таким же доминирующим, как и в современном русском языке. Хотя ни порядок SV, ни порядок VS не выполняют какого-либо ясного стилистического задания, а скорее находятся в свободной вариации, абсолютное доминирование SV в книжном тексте могло, видимо, создавать впечатление необычности, несоответствия канону. Поэтому уже в варианте Б первой редакции ситуация несколько меняется. В этом варианте текст Жития не подвергается какой-либо заметной лингвистической редактуре, но лишь пополняется — в одних случаях новыми эпизодами, в других — несколько более многословным повествованием о событиях, описанных и в варианте А. Это расширение текста изменяет пропорции предикаций с SV и VS. В варианте Б 30 предикаций с SV (54%) и 26 предикаций с VS (46%). Пропорция, в которой употребляются два словорасположения, становится куда более традиционной (см., например, цифры, характеризующие Суздальскую летопись), однако употребление порядка SV так же не соответствует старому канону, как и в варианте А. Только 3 примера с SV обладают мотивацией, а именно принадлежностью субъекта причастному обороту, ср.: «И седячи владыка за столом да молъвит: „Михайлушко, моли бога о мьне, чтобы было совершение от великого князя Василья“» [там же: 105]. В 27 случаях появление SV так же немотивированно, как и в варианте А (примеры по большей части совпадают, так что нет смысла их приводить). Очевидно, что, делая добавления, составитель варианта Б следует более традиционным моделям словорасположения, чем его предшественник.

Еще дальше этот процесс идет во второй редакции Жития, для которой характерно прежде всего чрезвычайное риторическое многословие. Хотя лингвистическое редактирование в этой редакции весьма ограниченно и в тексте остаются многочисленные некнижные элементы, некоторые изменения в сфере порядка слов вполне показательны (см. таблицу):

сстр	Вариант А первой редакции	сстр	Вторая редакция
991	И князь молвить игумену и старцам: «Поберегите его — нам человек той своитин!»	**1118**	И тако глагола князь Феодосию игумену и всей братии: «Поберезите, отцы, сего старца: нам человек той своитин!»
995	И Михайла рече против того: «Еже уготова бог любящим его и заповеди его хранящим».	**1128**	И против того рече Михайло блаженный: «Еже уготова бог любящим его и заповеди его хранящим».
996	И Михайла владыке молвит: «И позовут тя на Москву и тебе ехати».	**1131**	И рече блаженный владыки: «Позовут тя на Москву не за долго время и тебе ехати».
996	И Михайла рече ему: «Княже, досягнеши 3-лакотнаго гроба!»	**1132**	И отвеща блаженный: «Княже, досягнеши <…> трехлакотнаго гроба».

Подобные отдельные изменения не устраняют, конечно, немотивированного употребления порядка SV, но значимым образом изменяют конфигурацию словорасположения. Во второй редакции порядок SV наблюдается в 29 случаях (45%), а порядок VS в 35 случаях (55%). Несколько возрастает и число примеров, в которых порядок SV традиционным образом мотивирован. В двух случаях препозиция субъекта отмечена употреблением частицы *же*, ср.: «Он же отвеща ему: „Был есмь, честный отче, у своей пратещи, у Ефросинии, да приехал есмь у тебе благословитися» [там же: 134]. В 6 случаях субъект принадлежит одновременно матричной предикации и препозитивной причастной конструкции, ср.: «И тако пришед Михайло преподобный, глаголаше князю: „Не скорби, княже, о милости божии“» [там же: 122]. Немотивированным остается 21 употребление порядка SV (72%), что, несомненно, также указывает на постепенное становление в книжном языке порядка SV в качестве немаркированного.

Наиболее красноречивы, однако, данные Тучковской редакции. Глаголы речи встречаются здесь не слишком часто (сравнительно, например, со второй редакцией), поскольку Тучков предпочитает торжественность рассуждений и комментариев оживленному прямой речью нарративу. Соотношение порядка SV и порядка VS здесь не особенно показательно. В 25 случаях (78%) наблюдается порядок SV, в 7 случаях (22%) порядок VS. Такое соотношение похоже

не только на вариант А первой редакции Жития Михаила Клопского, но и на Житие Сергия Радонежского, так что для XVI в. такую пропорцию можно считать достаточно обычной. Замечательно другое. Из 25 предикаций с порядком SV только в двух не просматривается мотивации, ср.: «Господь бог нашь Иисус Христос в иевангелии глаголеть: веруяй в мя, аще и умрет, жив будет» [там же: 160]. В 21 случае мы находим знакомое нам вынесение субъекта в препозицию с помощью частицы *же*, причем нередко в тех самых пассажах, которые в предшествовавших редакциях были примерами немотивированного порядка SV. См., например: «Он же отвеща: „Един създавый весть, кто есмь аз“» [там же: 147], ср. во второй редакции: «И он отвеща против ему: „Бог знает, отче, всех нас создавый!“» [там же: 118]; «Блаженный же, отвещав ему, рече: „Княже, всякая власть от бога даруется“» [там же: 156], ср. во второй редакции: «И Михайло рече: „Всякая власть дается от бога“» [там же: 132]. Данные изменения в стратегии словорасположения полностью вводят отредактированный текст в рамки характерного для XV–XVI вв. книжного узуса.

Об этом движении к нормативному свидетельствует и еще один момент. Поскольку в случае Жития Михаила Клопского мы рассматривали все глаголы говорения, мы не останавливались на соотношении глаголов *рещи* и *глаголати*. Между тем оно заслуживает внимания. В первой редакции глагол *глаголати* вообще не употребляется, что, конечно же, ставит данный памятник особняком в агиографической традиции, глагол *рещи* (в форме *рече*, *рекоша*, *рек* и т. д.) употребляется 17 раз в варианте А, 31 раз в варианте Б (таким образом, в варианте Б это более половины всех употреблений глаголов речи). Во второй редакции *рещи* употребляется 30 раз и появляется *глаголати* с 17 употреблениями (в сумме они покрывают почти три четверти всех употреблений глаголов говорения). В Тучковской редакции *рещи* употребляется 15 раз, *глаголати* 7 раз, и вместе они покрывают более двух третей всех употреблений глаголов говорения. Параметры употребления этих глаголов во второй редакции и в редакции Василия Тучкова вполне традиционны (ср. эти данные, например, с данными Жития Сергия Радонежского), и здесь, таким образом, можно видеть еще один аспект восстановления редакторами традиционного узуса.

Отсюда напрашивается вывод, отчасти уже сделанный выше, согласно которому первая редакция отражает в сфере порядка слов сформировавшееся в некнижном (скорее всего, разговорном) языке употребление, в котором SV, во всяком случае в предикациях с глаголами говорения, становится доминирующим порядком слов,

а последующие редакции стремятся примирить особенности этого текста с традиционным агиографическим узусом; в то же время порядок VS, не приобретая каких-либо специальных прагматических или стилистических функций, сохраняется в употреблении как дань традиционным книжным навыкам.

Данные XVI–XVII веков

Как развивались рассмотренные нами процессы в конце XVI — XVII вв., требует дополнительного исследования. Те выборочные данные, которыми я располагаю, не показывают никакой ярко выраженной динамики. Так, например, во Второй Новгородской летописи имеет место преобладание SV над VS у глаголов говорения, однако не столь выраженное, как, например, в первой редакции Жития Михаила Клопского (вариант А). *Рещи* употреблено в постпозиции 5 раз, во всех пяти случаях выдвижение субъекта в препозицию означено частицей *же*, ср.: «Он же рече: „с радостию, учителю, иду по тебѣ“» [л. 56 об.–57; ПСРЛ XXX: 165]; с порядком VS *рещи* употреблено 3 раза. *Глаголати* употреблено в постпозиции 4 раза, в основном эти употребления обычным образом мотивированы: один раз частицей *же* при субъекте; один раз принадлежностью субъекта к причастному обороту (ср.: «И людие богобоязнивии приподающе ко святителю ногама с плачем глаголаша: „поиди, святителю, благослави народы“» [л. 57; там же: 165]); один раз оппозиция субъекта по отношению к субъекту предшествующей предикации обозначена словом *иныи*. В одном случае препозиция субъекта не имеет мотивации, любопытным образом при введении библейской цитаты: «Яко же Соломонь глаголаше: „се же есть мудръ, еже вѣсть древняя повѣда“» [л. 116; там же: 185]. С порядком VS *глаголати* встречается 2 раза.

Летописец 1619–1691 гг. любопытен в основном тем, что глаголы говорения вообще не встречаются в нем с порядком VS, тогда как с порядком SV глагол *рещи* встречается 6 раз, глагол *глаголати* — 9 раз. В 4 случаях (27%) из этих 15 препозиция субъекта не мотивирована, ср.: «И странныя люди многия рекоша в укоризну ему, яко нелеть ти есть сие творити» [л. 706 об.; ПСРЛ XXXI: 189]; «яко же писание глаголет: „Богу попущающу, врагу же действующу“» [л. 704 об.; там же: 188]. В остальных случаях можно постулировать действие известных нам факторов, обусловливающих препозицию субъекта. Таким образом, употребление здесь достаточно традиционно, нетрадиционно лишь полное отсутствие предикаций с порядком VS.

Для динамики агиографической традиции, кажется, должны были бы быть интересны данные Жития Аввакума, не менее полного некнижными элементами, чем первоначальный вариант Жития Михаила Клопского. Ничего нового, однако, эти данные не показывают. Приходится думать, что Аввакум, весьма умело использовавший регистровые оппозиции языковых элементов для решения своих специфических риторических задач (совмещения жития и автобиографии — см.: [Виноградов 1980; Живов 2002]), к порядку слов в предикациях с verba dicendi в этих целях не обращался. Поэтому в данной сфере его узус остается вполне традиционным. В Житии по редакции Пустозерского сборника [Пустозерский сборник 1975] предикации с *рещи* встречаются 8 раз, предикации с *глаголати* — 5 раз. В 10 случаях (77%) субъект стоит в препозиции к глаголу, в 3 (23%) — в постпозиции. Порядок SV в большинстве случаев мотивирован. В 3 случаях выдвижение субъекта в препозицию отмечено частицей *же*, см.: «Он же, вздохня из глубины сердца, ко мнѣ прог(лаго)ла сице: „Спаси б(о)гъ тебя, батюшко, что ты меня отнял у ц(а)р(е)вича и у двух кн(я)зей бѣсовских!“» [там же, л. 86 об.]. В 3 случаях субъект является местоимением 1 лица, см.: «И я рекль: „Востани! Б(о)гъ простит тя“» [там же, л. 20]. В одном случае субъект принадлежит и матричной, и причастной предикации. В трех случаях препозиция субъекта остается без мотивации, во всех трех случаях вводятся цитаты из Св. Писания и святоотеческой литературы, ср.: «якоже и ап(о)ст(о)лъ г(лаго)летъ: „Аще и невежда словомъ, но не разумомъ“» [там же, л. 83]. Любопытно, что и во всех трех случаях, в которых мы сталкиваемся с порядком VS, мы имеем дело с цитатами из Св. Писания, ср., например: «Рече от(е)ц с(ы)нови: „Сотворим ч(е)л(о)вѣка по образу нашему и по подобию“. И отвѣща другий: „Сотворим, отче, и преступит бо“» [там же, л. 12]. Можно сказать, что порядок VS появляется исключительно в традиционных контекстах и может рассматриваться как дань унаследованным навыкам книжного письма.

Некоторые выводы

Таким образом, мы прочертили, хотя бы и предварительным образом, основные линии развития порядка слов в предикациях с verba dicendi. Полученные нами данные могут быть суммированы в следующей таблице:

Тексты	SV						VS
	же	др. выде-лители	местоим. (особый) субъект	при-частие	немо-тиви-ров.	всего	
ПВЛ	110	7	2	16	13	**148**	**209**
Новг. первая	7	4	1	—	4	**16**	**25**
Житие Феодосия	14	10	—	4	—	**28**	**17**
Житие Авраамия	1	5	1	2	—	**9**	**12**
Суздаль. летопись	20	6	3	2	25	**56**	**28**
Житие Сергия	47	1	10	8	12	**78**	**19**
Моск. лет. свод	24	12	8	5	23	**72**	**10**
Михаил Клопский IA	—	—	—	3	29	**32**	**8**
Михаил Клопский IB	—	—	—	3	27	**30**	**26**
Михаил Клопский II	2	—	—	6	21	**29**	**35**
Михаил Клопский Тучков	21	1	—	1	2	**25**	**7**
Новг. вторая	6	1	—	1	1	**9**	**5**
Аввакум	3	—	3	1	3	**10**	**3**
Летописец 1619–1691	3	5	2	1	4	**15**	—

В древнейших памятниках немаркированным порядком слов является VS, тогда как SV появляется при особых обстоятельствах, которые могут рассматриваться как факторы, индуцирующие появление маркированного порядка SV. Для раннего периода можно говорить о различиях двух нарративных традиций: летописной (представленной в нашем материале ПВЛ и Новгородской первой

летописью) и агиографической (представленной Житием Феодосия и Житием Авраамия Смоленского). В основе их различия лежит разная степень ориентированности на образцовые церковнославянские тексты. Эти различия заметны в употреблении глаголов *рещи* и *глаголати*; последний сравнительно редко появляется в летописных текстах, но господствует в агиографических. Важным моментом, противопоставляющим ранние летописные и ранние агиографические тексты, является наличие «игнорирующего правила» остатка, т. е. предикаций с порядком SV, для которого никакой мотивации не просматривается.

К числу мотивирующих факторов относится: (1) появление нового, сравнительно с предшествующей предикацией, субъекта, обращение к которому означается частицей *же*; (2) иные способы постановки субъекта в фокус и противоположения его субъекту предшествующей предикации, например, с помощью слов *инии*, *друзии*, частицы *бо*, союзного словосочетания *тогда же* и т. д.; (3) появление в качестве субъекта местоимений первого или второго лица, а также местоимения *сам*; (4) принадлежность субъекта одновременно и основной предикации с глаголом говорения, и причастной предикации, стоящей в препозиции к основной.

Дальнейшая динамика состоит в постепенном изменении пропорции порядка SV и VS в сторону возрастания порядка SV, в отдельных случаях вплоть до полного исчезновения предикаций с VS. Это изменение сопровождается ростом пропорции немотивированного употребления порядка SV: в отдельных памятниках XV в. численность этого немотивированного остатка начинает превышать численность предикаций с порядком VS. При таком соотношении VS перестает быть немаркированным порядком, хотя предикации с VS и не приобретают какой-либо специальной мотивации или стилистического значения, но выступают как окказиональное воспроизведение моделей предшествующей традиции (традиционных навыков книжного письма). Материал первоначального текста Жития Михаила Клопского побуждает предположить, что стимулом к этой динамике являются изменения в некнижном (живом) языке, в котором, возможно уже в XV в., SV становится доминирующим порядком (во всяком случае в сфере глаголов говорения). Вместе с тем в XV в. исчезают и те различия между агиографическими и анналистическими текстами, которые определяли их оппозицию в более ранний период.

Нарративные тексты конца XVI — XVII в., как кажется, не привносят чего-либо принципиально нового в ту ситуацию, которая складывается в конце XV — начале XVI в. Положение SV как доминирующего порядка стабилизируется, тогда как порядок VS

в предикациях с глаголами говорения продолжает существовать как наследие предшествующей письменной традиции, его специфические стилистические коннотации появляются за пределами рассматриваемого периода и, предположительно, могут быть следствием той стилистической нормализации, которой сопровождается формирование русского языкового стандарта в XVIII–XIX вв.

Литература

Бернекер 1900 — *Berneker E.* Die Wortfolge in den slavischen Sprachen. Berlin, 1900.

БЛДР I–XX — Библиотека литературы Древней Руси / Под ред. Д. С. Лихачева и др. Т. I–XX. СПб., 1997–2008–.

Вейнрих 1964 — *Weinrich H.* Tempus; besprochene und erzählte Welt. Stuttgart, 1964 (Sprache und Literatur, Bd. 16).

Вечерка I–IV — *Večerka R.* Altkirchenslavische (altbulgarische) Syntax / Unter Mitarbeit von F. Keller und E. Weiher. Bd. I–IV. Freiburg i Br.: U. W. Weiher, 1989–2002 (Monumenta linguae Slavicae dialecti veteris, Bd. 27, 34, 36–37).

Виноградов 1980 — *Виноградов В. В.* Избранные труды. О языке художественной прозы. М., 1980.

Гиппиус 1997 — *Гиппиус А. А.* К истории сложения текста Новгородской первой летописи // Новгородский исторический сборник. Вып. 6 (16). СПб., 1997. С. 3–72.

Дмитриев 1958 — Повести о житии Михаила Клопского / Подг. текстов и статья Л. А. Дмитриева. М.; Л., 1958.

Живов 2002 — *Живов В. М.* Формы инфинитива в Житии протопопа Аввакума // Rossica Romana, IX (2002). In ricordo di M. Colucci — II. P. 277–293.

Живов 2004 — *Живов В. М.* Очерки исторической морфологии русского языка XVII–XVIII веков. М., 2004.

Живов 2008 — *Живов В. М.* Референтная структура и порядок слов: Дательный самостоятельный в двух древних церковнославянских текстах // Русский язык в научном освещении. № 1 (15). 2008. С. 5–56.

Йокояма 1986 — *Yokoyama O. T.* Discourse and Word Order. Amsterdam; Philadelphia: J. Benjamins Pub. Co., 1986.

Кардашевский 1948 — *Кардашевский С. М.* Порядок слов в Повести временных лет // Ученые записки Московского областного педагогического института. XII (1948). Труды кафедры русского языка. Вып. 1. М., 1948. С. 33–52.

Клосс 1998 — *Клосс Б. М.* Избранные труды. Т. I. Житие Сергия Радонежского. М., 1998.

Ковтунова 1969 — *Ковтунова И. И.* Порядок слов в русском литературном языке XVIII — первой трети XIX в. М., 1969.

Коллинз 2001 — *Collins D. E.* Reanimated Voices: Speech Reporting in a Historical-Pragmatic Perspective. Amsterdam, 2001. (Pragmatics and Beyond: New Series, 85).

Левин 1993 — *Levin B.* English Verb Classes and Alternations: A Preliminary Investigation. Chicago; London, 1993.

Лихачев 1946 — *Лихачев Д. С.* Литература Новгорода XIII–XIV вв. // История русской литературы. Т. II: Литература 1220-х — 1580-х гг. Ч. 1. М.; Л., 1946. С. 107–127.

Лич и Шорт 1981 — *Leech G. N.*, *Short M. H.* Style in Fiction: A Linguistic Introduction to English Fictional Prose. London, 1981 (English Language Series, 13).

МакАннален 2009 — *McAnnalen J.* The Competing Roles of SV(O) and VS(O) Word Orders in *Xoždenie igumena Daniila* // Russian Linguistics. Vol. 33. 2009. N 2. P. 211–228.

НПЛ — Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / Под ред. и с предисловием А. Н. Насонова. М.; Л., 1950.

ПСРЛ, I–XLIII — Полное собрание русских летописей, издаваемое Археографическою комиссиею. Т. I–XLIII. СПб.; М., 1841–2007.

Пустозерский сборник 1975 — Пустозерский сборник. Автографы сочинений Аввакума и Епифания / Изд. Н. С. Демкова, Н. Ф. Дробленкова, Л. И. Сазонова. Л., 1975.

Сато 2008 — *Сато А.* Стиль повествования древнерусской летописи «Повесть временных лет» и язык Житий Кирилла и Мефодия: опыт сопоставительного исследования // Comparative and Contrastive Studies in Slavic Languages and Literatures. Tokyo, 2008. P. 1–40. (Japanese Contributions to the Fourteenth International Congress of Slavists, Ohrid, September 10–16, 2008).

Серебрянский 1915 — *Серебрянский Н.* Древне-русские княжеские жития. (Обзор редакций и тексты) // Чтения в Имп. Обществе Истории и Древностей Российских. 1915. Кн. 3 (254). Исследования. С. 1–296, 1–186.

Тернер 2006 — *Turner S.* Post-Verbal Subjects in Early East Slavonic // Transactions of the Philological Society. Vol. 104: 1 (2006). P. 85–117.

Тимберлейк 2004 — *Timberlake A.* A Reference Grammar of Russian. Cambridge, 2004.

Усп. сб. — Успенский сборник XII–XIII вв. / Изд. подг. О. А. Князевская, В. Г. Демьянов, М. В. Ляпон. М., 1971.

Холлидей и Хасан 1976 — *Halliday M. A. K.*, *Hasan R.* Cohesion in English. London and New York: Longman, 1976.

А. А. Зализняк, Е. В. Падучева

Об инициальном отрицании в древнерусском и старославянском

1. Постановка задачи

Отрицание в древнерусском и старославянском языке часто стояло в начале предложения (или клаузы) — как бы независимо от того, с каким словом оно связано по смыслу и синтаксически. Вот несколько евангельских и иных примеров[1]:

(1) а. Господи, не ꙗростию твоею обличи мене!
б. Слышасте, ꙗко речено бысть древьнимъ: не въ лъжю кльнешися.
в. Не и мытаре ли тако творѧть?
г. Не даите пакости дѣѩти …, да не клѧти васъ начнуть.

Возникает ощущение, что древнерусский порядок слов был сходен с санскритским, с его господством инициального отрицания, например:

(2) Na bhartr̥hīnā vyavasāmi jīvitum ‘лишенная мужа, я не хочу жить’ (*букв.* «не лишенная мужа хочу жить»).

В работе ставится задача описать различие между древнерусской и современной стратегией расстановки слов в отрицательном предложении.

---

[1] Примеры здесь и далее даются в нормализованной и несколько упрощенной древнерусской (или соответственно старославянской) орфографии; в частности, раскрывается большинство сокращений, добавляется современная пунктуация и др.

Андрей Анатольевич Зализняк,
Институт славяноведения РАН (Москва)
Елена Викторовна Падучева,
Всероссийский институт научной и технической информации (Москва)

Здесь существенно то, что некоторые из древних стратегий продолжали существовать вплоть до XIX века. Вот, например, как пишет Гоголь[2]:

(3) Не унынью должны мы предаваться при всякой внезапной утрате, но оглянуться строго на самих себя, помышляя уже не о черноте других и не о черноте всего мира, но о своей собственной черноте. [Н. В. Гоголь. Выбранные места из переписки с друзьями (1843–1847)]

Скорее всего, мы бы сейчас, чтобы выразить эту мысль, поставили отрицание при глаголе. А слово, перед которым у Гоголя стоит отрицание и которое воспринимается как выделенное фразовым ударением, убрали из начальной позиции:

(3′) Не предаваться унынью↘ должны мы при всякой внезапной утрате, но оглянуться

Можно думать, что и предложение (1а) звучит необычно с точки зрения современного языка не потому, что в нем отрицание стоит в начале, а потому, что в нем необычна эмфатическая препозиция слова — носителя фразового ударения; достаточно поставить ударную именную группу в конец, чтобы фраза стала нормальной:

не ꙗростию твоею обличи мене! = не обличи мене ꙗростию↘ твоею.

Ср. еще пример (4) — из Радищева. Речь идет о том, что́ сохранит память о человеке в потомстве. Порядок слов в предложениях (а) и (б), с начальным *не*, вполне нормативен с современной точки зрения — это обычная экспрессивная препозиция ремы (об экспрессивной препозиции ремы в современном русском языке см. [Ковтунова 1976: 95ff]).

(4) <Но гробницы великолепные? Суть знаки несомненные человеческия гордыни, но знаки желания его жити вечно. Но се ли вечность, которыя человек толико жаждущ?> (а) *Не* столп, воздвигнутый над тлением твоим, сохранит память твою в дальнейшее потомство. (б) *Не* камень со иссечением имени твоего пренесет славу твою в будущие столетия. (в) Слово твое, живущее присно

[2] Этот пример, как и ряд других, — из Национального корпуса русского языка. Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru/.

и вовеки в творениях твоих, слово российского племени, тобою в языке нашем обновленное, прелетит в устах народных за необозримый горизонт столетий. [А. Н. Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву (1779–1790)]

В самом деле, отрицаемая составляющая могла бы находиться и в конечной позиции:

(а) = ‘сохранит память твою в дальнейшее потомство *не* столп, воздвигнутый над тлением твоим’;
(б) = ‘пренесет славу твою в будущие столетия *не* камень с иссечением имени твоего’.

Аналогичная экспрессивная препозиция ремы имеет место и в предложении (в), не отрицательном. С этой интерпретацией инициальное отрицание в примере (4) вполне вписывается в современные нормы.

Однако за рамками современного языка предположение о том, что инициальное отрицание возникает в контексте экспрессивной препозиции акцентоносителя, не проходит. Так, в евангельском тексте (5) порядок слов никакой экспрессии не выражает:

(5) не прѣлюбы сътвориши [Матф. 19.18]

Более общая гипотеза относительно древнерусского (и старославянского) состоит в том, что отрицательная частица имела такой синтаксический статус, который позволял ей быть синтаксически связанной не со словом, а с составляющей предложения. Иначе говоря, важно было не то, перед каким словом стоит отрицание: сфера действия отрицания в отрицаемом предложении определялась его членением на составляющие. А именно, отрицание перед начальным словом составляющей распространялось на всю составляющую; если вершиной составляющей был финитный глагол, то на всю клаузу.

Ниже рассматриваются стратегии размещения отрицания в древнерусском (и старославянском), под действием которых оно так часто оказывалось инициальным.

2. Общее

Чтобы объяснить отличия древнерусского местоположения отрицания от современного, необходимо в общих чертах охарактеризовать

ситуацию с местом отрицания в современном языке. Для начала уточним некоторые понятия.

В современной лингвистике, как и в логике предикатов, принимается положение о том, что отрицание воздействует всегда на пропозицию. Иначе сказать, **сферой действия** отрицания всегда является пропозиция, а не отдельное слово. С семантической точки зрения различается **общее** (полное) и **частное** (неполное) отрицание. Соответственно, предложения делятся на **общеотрицательные** и **частноотрицательные** (термины — из [Пешковский 1956 /2001]). Отрицание является общим, если предложение имеет перефразировку с оборотом НЕВЕРНО, ЧТО (it is not the case that), который стоит в начале предложения. Иначе говоря, предложение общеотрицательное, если сферой действия отрицания в нем является все предложение [см. Падучева 1974 /2007] — естественно, «за вычетом» отрицания (аналогичное определение в [Jackendoff 1990]). Отрицание частное, если какой-то фрагмент смысла предложения не входит в сферу действия отрицания. Например, в предложении (6) общее отрицание, а в (7) — частное (здесь и далее НЕ — сокращение для НЕВЕРНО, ЧТО / НЕ ИМЕЕТ МЕСТА ТО, ЧТО):

(6) *Они не ссорятся из-за пустяков* = НЕ [Они ссорятся из-за пустяков];
(7) *Дети не спят из-за шума* = из-за шума НЕ [дети спят].

С другой стороны, с синтаксической точки зрения различается **предикатное** отрицание (т. е. отрицание при финитном глаголе или предикативе, иначе — **фразовое**, см. [Падучева 1974 /2007], или **сентенциальное**), как в (8а), и **присловное**, как в (8б):

(8) а. *Иван не попал на выставку*,
б. *Не все попали на выставку.*

Лингвисты долгое время не могли отказаться от идеи о том, что предложение с предикатным отрицанием является семантически общеотрицательным, а предложение с присловным отрицанием — семантически частноотрицательным. Однако этого совпадения нет — имеются все четыре возможности.

<u>Семантически общеотрицательные предложения с предикатным отрицанием</u>:

Коля *не приедет* = ‘НЕ [Коля приедет]’;

Иван *не повез* жену в больницу = ‘НЕ [Иван повез жену в больницу]’.

Семантически общеотрицательные предложения с присловным отрицанием:

Это был *не портрет* = ‘НЕ [Это был портрет]’;

Он решил *не все задачи* = ‘НЕ [Он решил все задачи]’;

Я *не всегда буду* с вами = ‘НЕ [Я всегда буду с вами]’.

Семантически частноотрицательные предложения с предикатным отрицанием:

Мы с вами *долго* не увидимся = ‘долго НЕ <БУДЕТ ИМЕТЬ МЕСТО> [мы с вами увиделись]’.

Семантически частноотрицательные предложения с присловным отрицанием:

Иногда он отвечает *не сразу* = ‘иногда НЕ [он отвечает сразу]’.

Термины предикатное отрицание и присловное отрицание приблизительно соответствуют английским sentential negation и constituent negation. Несколько уточнений по поводу этого соответствия.

В русском языке естественно говорить о «присловном» отрицании, а не об «отрицании в составляющей» (constituent negation), поскольку русские синтаксисты традиционно оперируют словами, а не составляющими, как английские (во всякой составляющей есть вершина, которая является ее «представителем»). Что же касается соответствия «sentential negation — предикатное отрицание», то тут дело осложняется тем, что в самой англоязычной лингвистической литературе термин sentential negation понимается по-разному. В русской лингвистической терминологии удалось установить различие между семантически общеотрицательным предложением и предложением с предикатным отрицанием, т. е. отрицанием при сказуемом, которое является синтаксической вершиной предложения, но не обязательно выражает общее отрицание, т. е. такое, сферой действия которого является все предложение. Между тем английский термин sentential negation употребляется в обоих смыслах — семантическом и синтаксическом.

В классической статье о семантике отрицания [Klima 1964] термин sentential negation понимается как общее отрицание в семантическом смысле. В предложениях *No one objected* ‘никто не возражал’, *John ate nothing* ‘Джон ничего не съел’, *Not everyone agreed* ‘не все согласились’ Клима, основываясь только на разного рода синтаксических тестах, проницательно усматривает семантическое общее отрицание. А Есперсен [см. Jespersen 1924/1958], который ориентируется строго на форму, трактует подобные примеры как содержащие

constituent negation (= ‘special negation’), поскольку отрицание в них стоит не при предикативной вершине предложения, а входит в состав именной группы.

Исходя из этого, употребление термина «сентенциальное отрицание» в русскоязычной лингвистической литературе можно считать безопасным только в синтаксическом смысле — в качестве синонима для термина предикатное или, что то же, фразовое отрицание. Но не как синоним для семантически ориентированного термина «общее отрицание».

В [Večerka 1996], важнейшей монографии о синтаксисе старославянского простого предложения, различаются Satznegation и Satzgliedernegation — что, очевидно, соответствует английским «sentential negation» и «constituent negation», причем Satznegation определяется именно как предикатное (= фразовое) отрицание, т. е. термин понимается в синтаксическом смысле. Утверждается [Večerka 1996: 132], что Satzgliedernegation, т. е. «конституентное» (а в наших терминах — присловное) отрицание, является способом выражения семантически частного отрицания, тогда как Satznegation, т. е. фразовое отрицание, выражает как общее, так и частное отрицание. На самом деле, однако, Satzgliedernegation тоже неоднозначно, т. е. может выражать как семантически общее, так и частное отрицание, см. примеры выше.

3. Разбор примеров

Рассмотрим ряд контекстов употребления отрицания в нескольких древнерусских и старославянских источниках.

По большей части инициальное *не* встречается в составе тех или иных устойчивых сочетаний — мы будем говорить, **оборотов**. Но оно возможно и вне оборотов; см. примеры (1а), (1б), а также:

(9) а. не ѡбычаи имъ єсть ѡбратити плещи когда побѣжени боудѹть (Флавий, 413а) ‘нет у них обычая обращаться спиной в случае поражения’.
б. и нра́въ ихъ вѣдѧ́шеть, ꙗко не добро разидѹтсѧ (Флавий, 420а) ‘и нрав их знал, что они добром не разойдутся’.

Во всех этих примерах отрицание (занимающее инициальное положение в своей клаузе) относится по смыслу не к слову, перед которым стоит, как было бы естественно его понять в современном русском языке, а к той составляющей, вершиной которой является

ближайший глагол (в наших примерах отрицание и глагол-вершина подчеркнуты).

Обратимся теперь к *не* в составе оборотов.

Оборот *да не*

Примеры ниже подтверждают предположение о том, что в древнерусском и старославянском языке отрицание синтаксически связано не со словом, а с составляющей. С точки зрения современного синтаксиса естественно связывать отрицание с вершиной составляющей, т. е. с глаголом:

(10) а. не осѫждаите, да не осѫждени бѫдете (Матф. 7.1) = … да не [осѫждени бѫдете] '… да не будете осуждены';
б. і запрѣти имъ, да не ѣвѣ его сътворѧть (Матф. 12.16) = … да не [ѣвѣ его сътворѧть] '… да не сделают его явным';
в. да не како ослабѣѭть на пѫти (Матф. 15.32) = да не [како ослабѣѭть на пѫти] 'да не ослабеют как-нибудь в пути'.

В таком случае, можно сказать, что с точки зрения современного языка необычным в древнерусском является не место отрицания, а порядок слов в глагольной группе — если переставить подчиненную глаголу группу (или группы), то отрицание окажется перед глаголом:

(11) а. глаголахѫ же: нъ не въ праздникъ, да не мльва бѫдетъ въ людехъ (Матф. 26.05) ''… чтобы не было ропота в людях';
б. поповьство долъжно ѥсть много воздѣржаниѥ имѣти, да не с грѣхы входить въ ст҃ыи олтарь (ЖАЮ, 48г) '… чтобы не входил в святой алтарь с грехами';
в. не мози створити ѥго дѣла на хлапѣ оц҃а моѥго, да не како и тебе самого начнеть оукарѧти. (ЖАЮ, 17а) '… чтобы не начал как-нибудь укорять и тебя самого';
г. не мози не вѣровати, да не въ винѫ въпадеши (Супр., II-2) '… да не впадешь в вину';
д. да не таковыихъ хлѣбъ въкоусѧть (Феод., 52г) 'да не вкусят таких хлебов'.

Между отрицанием и глаголом может находиться не только подчиненная глаголу предложная или косвенно-падежная группа, но и подлежащее:

(12) а. дале сего не исходи, да не по правдѣ бж҃ии гнѣвъ нѣкакъ на тобѣ будеть (ЖАЮ, 15в) '… чтобы не был как-нибудь по справедливости божий гнев на тебе';
б. нъ блюди, чадо, да не богатьство и слава мира сего възврати тѧ въспѧть (Феод., 33г) '… чтобы богатство и слава мира сего не возвратили тебя вспять'.

В начальной позиции, а значит, перед глаголом, к которому, с нашей точки зрения, синтаксически относится отрицание, может быть сравнительный оборот, деепричастный оборот, dativus absolutus:

(13) а. да не ꙗко зълодѣи зьлѣ оумьреши (Супр. 52) '… чтобы ты не умер злой смертью как злодей';
б. стрѣгыи ꙗко да не въшьдъ змии лоукавыи плѣнить кого ѿ оученикъ ѥго (Феод., 57а) 'следя за тем, чтобы лукавый змей не пленил, войдя, кого-либо из учеников его';
в. да не пастоухоу оубо ѿшъдъшю да опоустѣѥть пажить юже б҃ъ благослови (Феод., 28г) 'чтобы не случилось так, что когда пастух уйдет, то опустеет пажить, которую Бог благословил'.

Возникает вопрос, каков был бы порядок слов в предложении, если бы не отрицание. Иными словами, не обусловлена ли препозиция подчиненных глаголу составляющих наличием в предложении отрицания. (Так, в современном языке отрицание может вызывать существенную перестановку слов, ср. *В аптеке были покупатели — Покупателей в аптеке не было.*)

Препозиция подчиненных глаголу групп вполне возможна и в неотрицательных предложениях; см. в примерах ниже препозитивные сравнительные обороты, препозитивные падежные и предложно-падежные группы, деепричастия и адвербиалы вне контекста отрицания:

(14) а. бѣахѫ бо ꙗко кон'и ръжѫште о добротѣ ѥѩ (Супр., 2) 'ржали как кони на красоту ее';
б. яко стрѣлы младеништъ бышѧ раны ихъ (Супр., 57) 'как стрелы младенцев были наносимые ими раны';
в. и ѥд'нооуменъ ми бѫди, или зьлѣ оумьреши (Супр., 33) 'и будь со мною единодушен или умрешь злой смертью';
г. съ нами ед'нако бѫди, да и честь великѫ отъ мене вьзьмеши (Супр., 30) 'будь с нами заодно и получишь от меня великую честь';
д. ꙗже въ толикѫ напасть въпадоста (Супр., III-047) 'которые в такое бедствие впали';

е. и своима роукама измълъ, пакы проскоуры творѧше (Феод., 29б) ‘и своими руками измолов, снова делал просвиры’.

Итак, основной вывод таков: инициальная позиция отрицания в древнерусском и старославянском объясняется тем, что отрицание, которое относится к глагольной предикации в целом, стоит не перед глаголом как синтаксической вершиной группы (что обычно для современного языка), а перед всей глагольной группой, т. е. глаголом и его подчиненными — которые имеют тенденцию быть в препозиции по отношению к глаголу.

Оборот *аще не*

Отрицание в составе оборота *аще не* тоже распространяется на всю предикацию, т. е. является фразовым:

(15) а. ну, помни же себя, что нѣтъ тебя ни со што, аще не господь что сотворит по милости своей (Аввакум, 108) ‘ну, помни же о себе, что нет тебя нисколько, если только Господь что-то не сотворит по милости своей’;
б. аще не господь помога^л^ бы, вмалѣ вселися бы во а^д^ душа моя (Аввакум, 53) ‘если бы не помогал Господь, скоро вселилась бы в ад душа моя’;
в. не имамъ съде вѧште пѧти хлѣбъ і рыбоу дъвоѭ, аще оубо не мы шьдъше во вьсѧ люди сиѩ коупимъ брашъна (Лук. 9.13) ‘… если мы не пойдем купить (*букв.* „не мы, пойдя, купим“) пищи для всех этих людей’.

Книжный оборот *аще не* встречается (практически только в цитатах или их перифразах) и в более поздних текстах, с таким же отделением отрицания от синтаксической вершины составляющей:

(16) а. Всуе трудишися скудельный человече, аще не Бог созиждет дом твой! [И. Н. Скобелев. Рассказы русского инвалида (1838–1844)];
б. хотя страшно, а надобно сказать: лучше бы было, аще не бы родился человек тот. [архиепископ Платон (Левшин). Слово на день рождества Пресвятыя Богородицы (1777)]

Оборот *не … ли*

Структура отрицательно-вопросительного предложения с *не... ли* в древнерусском языке вполне аналогична современной. Дело в том,

что частица *ли* ведет себя как энклитика и подчиняется закону Ваккернагеля, сохраняя это свое свойство вплоть до современного состояния русского языка. Поэтому первое слово составляющей (с которой соотносится *не*) — каким бы оно ни было — ставится перед *ли*, т. е. оказывается как бы внутри оборота *не... ли*:

(17) а. господи, господи, не в твое ли имѧ пророчествовахомъ? (Матф. 7.22);
б. не дьвѣ ли пьтици на (а)ссарии вѣнимѣ есте (Матф. 10.29);
в. не добро ли сѣмѧ сѣлъ еси на селѣ твоемь (Матф. 13.27);
г. не въ моихъ ли роуках дш҃а ва́ша соу́ть (Флавий 461в).

Строго говоря, частицы *не* и *ли* не образуют никакого специального синтаксического единства, а подчиняются каждая своим законам: *не* — проклитика, так что инициальное отрицание стоит в начале (глагольной) составляющей, на которую воздействует; а *ли*, как энклитика, ставится после первого акцентно самостоятельного слова этой же составляющей.

По смыслу, однако, *ли* ≈ ‘разве’ и включает в свою сферу действия отрицание. Так, если обозначить оператор вопроса *ли* как ли, то сферы действия семантических операторов в предложении (17а) можно представить так:

ли [не [в твое имѧ пророчествовахомъ]].

При этом, в соответствии с общими синтаксическими правилами поведения клитик, проклитика *не* и энклитика *ли* могут объединяться, образуя проклитико-энклитический комплекс [Зализняк 2008, § 1.39–41], как, например:

(18) нели́ цр҃ь ѥси́ ты (Чуд., 51а) ‘не царь ли ты?’

Оборот *не ... ли*, со свойственным ему специфическим воздействием на порядок слов, остался почти неизменным в современном языке [см. Падучева 2012]. Отметим, однако, ряд отличий. Одно касается биноминативного предложения. В современном языке вопрос в биноминативном предложении требует субъектно-предикатной инверсии. Так, вопросительное предложение (19б) соответствует утвердительному (19а) — перед *ли* ставится составляющая, несущая фразовый акцент, т. е. сказуемое:

(19) а. Это утопия↘; б. Не утопия ли это?

Подлежащее будет препозитивным в вопросе только в том случае, если в соответствующем утвердительном предложении оно рематично:

(20) а. Зачинщик он↘; б. Не он ли зачинщик?

Между тем в древнерусском и старославянском при переходе от утверждения к вопросу инверсии не происходит. Так, исходным утвердительным предложением для (21а) будет (21б), где *сь* ‘он’ — обычное подлежащее-тема:

(21) а. не сь ли есть тектоновъ сынъ? (Матф. 13.55) ‘не плотников ли он сын?’ (*букв.* „не этот ли плотников сын?“);
б. сь есть тектоновъ сынъ.
[Русский перевод предложения (21а) требует инверсии; «расщепление» именной группы *плотников сын* такое же, как в примерах (17а) — (17г), *он* уходит из конечной позиции, видимо, из-за своей безударности.]

Трудно сказать, когда происходит это изменение, но в XIX веке инверсия заведомо уже была так же обязательна, как в современном языке:

(22) а. — Постойте-ка! — сказал я. — Днепровская? … *Не* жена *ли* она Алексея Семеновича Днепровского? [М. Н. Загоскин. Искуситель (1838)];
б. *Не* выходец *ли* ты с того света? [А. А. Бестужев-Марлинский. Вадимов (1834)].

Другое отличие демонстрирует пример (23), который показывает, что *не* могло иметь в своей сфере действия *ю* ‘уже’. Между тем в современном языке структурному фрагменту НЕ [Ю …] соответствует сочетание *еще не*:

(23) не ю ли разоумѣваате, ѣко вьсѣко еже въходитъ въ оуста, въ чрѣво въмѣщаатъ сѧ і афедрономъ исходитъ (Матф. 15.17) = ‘ли [НЕ [Ю разоумѣваате, ѣко вьсѣко еже въходитъ въ оуста…]] ‘неужели вы еще не понимаете, что всё, входящее в уста, попадает в чрево и выходит через афедрон?’

Способность *не* подчинять *уже* проявляется и вне оборота *не … ли*:

(24) ономоу не оу єще явивъшю еуанглия ‘когда он (Климент) еще не показал евангелия’ (Феод., 48б), *букв.* „тому не уже еще показавшему евангелия“.

В современном языке сочетание *не уже* невозможно. Пример (25) интересен тем, что Н. К. Гудзий, цитируя в своей книге древнерусский текст, производит в нем проясняющую замену, которая выводит частицу *уже* из сферы действия отрицания, заменяя *не уже* на *еще не* (см. о механизме этого рода замен в общем виде в [Богуславский 2002; Paducheva 2008]):

(25) Близко к народным причитаниям-заплачкам звучит его просьба, обращенная им к своим убийцам: «Не пожьнете мене, от жития не созьрела, — умоляет он, — не пожьнете класа (колоса), *не уже* (*ещё не*) созьревша, но млеко беззлобия носяща!» [Н. К. Гудзий. История древней русской литературы (XI–XV вв.) (1938)]

Рассмотрим еще пример:

(26) не и мытаре ли тако <u>творѧтъ</u> (Матф. 5.47) ‘ли [не [и мытаре тако творѧтъ]]’ ‘не так же ли <u>и</u> мытари поступают?’

Исходное предложение отличается от его перевода на современный язык порядком слов. Дело в том, что в старославянском можно было употребить оборот *не ... ли* в контексте предложения с препозитивной ремой: *и мытаре тако творѧтъ* (NB рематизирующую частицу *и*). Между тем в современном языке оборот *не ... ли* может быть использован только к предложениях с более обычным порядком слов, например: *Так же поступают и мытари*↘ или *Так же и мытари*↘ *поступают*. Получаем: *Не так же ли поступают и мытари?* или *Не так же ли и мытари поступают?*

Отрицание может включать в свою сферу действия союзы

Отрицание в составе оборота *не ... ли* может иметь в своей сфере действия сочинительный союз. В примерах ниже отрицание в составе первого из сочиненных предложений включает в свою сферу действия сочинительный союз *и* и вводимое им предложение — что совершенно исключено в современном языке:

(27) а. господи, господи, не въ твое ли имѧ <u>пророчствовахомъ</u> **и** твоимь именемь бѣсы <u>изгонихомъ</u>? (Матф. 7.22) = господи, господи, ли [не [въ твое имѧ <u>пророчствовахомъ</u> **и** твоимь именемь бѣсы <u>изгонихомъ</u>]] ‘разве неверно, что мы от твоего имени пророчествовали и твоим именем бесов изгоняли?’

б. не мати ли его нарицаетъ сѧ Мариѣ **і** братрьѣ его иѣковъ и осифъ? (Матф. 13.55) = ли [не [мати его нарицаетъ сѧ Мариѣ **і** братрьѣ его иѣковъ и осифъ]] ‘разве неверно, что мать его зовется Мария и братья его <зовутся> Иаков и Иосиф?’

То же касается оборота *аще не* — отрицание в составе первого из сочиненных членов включает в свою сферу действия сочинительный союз *и*:

(28) аще не пръвѣе съвѧжетъ крѣпъкааго **і** тогда домъ его расхытитъ (Матф. 12.29) = аще не [пръвѣе съвѧжетъ крѣпъкааго **і** тогда домъ его расхытитъ] ‘разве не так он поступит, что сперва свяжет сильного и тогда дом его расхитит’.

То же верно для оборота *да не* — в сферу действия отрицания, синтаксически относящегося к глаголу, входит связанный с этим глаголом сочинительный союз *или* и, соответственно, вводимая им сочиненная пропозиция:

(29) оубоявсѧ ѡ немъ, да не ѡтравѧть єго **или** оубиють прельсти́вше (Флавий 355а) ‘испугавшись за него, как бы его не отравили или, обманув, не убили’.

Сочетания с фазовыми глаголами

В древнерусском языке в сочетаниях *не* с фазовым глаголом нельзя отличить, является ли сферой действия отрицания вся глагольная группа, возглавляемая фазовым или модальным глаголом, или только группа подчиненного ему инфинитива. Так, в (32а) и (32б) дело только в порядке слов, и отрицание воспринимается как синтаксически связанное с фазовым глаголом и распространенное на всю группу. А в (32в) и (32г) наблюдается подъем отрицания с инфинитива на главный предикат, который противоречит нормам современного языка — по смыслу отрицание относится к инфинитиву:

(32) а. не даите пакости дѣѩти ѡтрокомъ ни своимъ ни чюжимъ, ни в селѣ^{х} ни в житѣ^{х}, да не клѧти ва^{с} начнуть (Мономах, 80б) ‘… да не начнут вас проклинать’;
б. и ѿселѣ не имоуть ти никоюѩ же пакости створити лоукавии бѣси, не бо видѣти ихъ имаши (Феод., 44в) ‘… ибо не будешь <даже> их видеть’;

в. и не поча по тому чинити, яко же люди хотяху (Увар., 34б) = и поча НЕ [по тому чинити, яко же люди хотяху] ‘и начал поступать не так, как хотели люди’;
г. А будетъ которой судья не учнетъ ѣздить въ приказъ своимъ упрямствомъ… (Улож., гл. 10, § 24) ‘а если какой-либо судья начнет не ездить в приказ, по своему упрямству…’

Остатки такого употребления сохраняются и в более позднее время:

(33) Почтенный гостинодворец тужит: «Сын мой, Пронька, стакався с веселыми людьми — перегудниками, не почал меня, отца своего, слушать». [Б. В. Шергин. Слово о Москве (1930–1960)]

Современное *не велел* в значении ‘велел не’, т. е. ‘запретил’, представляет собой реликт именно такого словоупотребления. Интересно, что отрицание в (30в, г) стоит перед финитным глаголом как раз там, где оно к этому глаголу не относится.

Предложения с кванторными словами

Как и в современном языке, отрицание при кванторном слове — это общее отрицание:

(34) а. и коуманъ оубоѩсѧ, да не всѝ лю́дїе оустремѧ́тсѧ на́ нь (Флавий, 396б) ‘и Куман побоялся, как бы на него не устремились все люди’;
б. не бо николи же на ребрѣхъ своихъ лѩжашеть (Феод., 38б) ‘ибо никогда на ребра свои не ложился’ (т. е. вообще не лежал);
в. аще не мно́si бы́ша видѣли и повѣда́ли (Флавий, 424в) ‘если бы не то, что многие видели и рассказали’.

Древнерусский и старославянский, в отличие от современного русского, не требовал обязательного отрицательного согласования, т. е. допускалось отсутствие *не* при глаголе в контексте *ни*-местоимения или *ни*-наречия:

(35) добии же христосовъ кодратъ, ѩко никакоже чоуѩ мѫкъ. пооучааше каѩштаѩ сѧ (Супр., 56) ‘доблестный же Христов <воин> Кодрат, как бы нисколько <не> чувствуя мук, поучал кающихся’.

Сочетание *не всѧ́кии* могло пониматься как ‘никакой’, ‘никто’ (см. об этом [Večerka 1996: 133]):

(36) не се́ ли єсть казавыи мнѣ прежде блюстисѧ алексан҆дра, и не всѧ́комоу приближа́тисѧ къ тѣлоу моємꙋ, не се́и ли мене водѧ́ше до ѡдра, и без҆печѧлноє житиє мнѣ подава́ше, и сонъ хранѧше (Флавий, 378в).

Предложения с адвербиалами

В современном языке адвербиал может выступать как оператор, который семантически подчиняет глагольную предикацию, причем отрицание перед адвербиалом понимается как отрицающее только этот оператор — глагольная предикация составляет неотрицаемую пресуппозицию. Так, в (37) отрицается только *скоро*; не подвергается отрицанию тот факт, что наши предки ели:

(37) Не скоро ели предки наши = ‘ели наши предки не быстро’.

Между тем в древнерусском отрицание свободно понимается как имеющее **широкую сферу действия** [Богуславский 1985: 54], т. е. включает и адвербиал, и семантически подчиненную глагольную предикацию. В примерах ниже в сферу действия отрицания входит составляющая, которая включает глагол и все его синтаксические подчиненные, включая адвербиал:

(38) а. аще же кто̀ ѿ ме́ншихъ съгрѣшить, не ско́ро пострѣка́итесѧ на нѧ (Флавий, 408б) ‘… не набрасывайтесь сразу же на них’;
б. аще не ско́ро врати́те ми жены́, раздроушю стѣны и внидоу (Флавий, 432б) ‘если вы немедленно не вернете мне жену, разрушу стены и войду’;
в. блюдоущи, да не пакы отъбѣжить отъ неѩ (Феод., 29а) ‘следя за тем, чтобы он не убежал от нее опять’.

Так, в (38б) угроза вступает в силу, если не выполняются два условия — возвращение жены, и притом немедленное; глагольная предикация не составляет пресуппозиции.

В современном языке принципиальным для возможности отрицания глагольно-адвербиального комплекса как целого является **контекст снятой утвердительности** [Weinreich 1963/1970; Падучева 2005], который порождают, в частности, союзы типа *если*, *пока*, *чтобы* или частицы *разве*, *едва ли* и проч. Так, сочетания *резко не затормозил*, *тщательно не оделся*, *немедленно не уйдем*, *периодически не вспыхивали*, *клятвенно не пообещал*, *вскоре не сделался*

негодяем, *неустанно не взывал* возможны только в таком контексте. В примерах (36а–в) мы имеем именно этот контекст. И тогда различие сводится, опять-таки, к тому, что в древнерусском отрицание стоит перед всей своей сферой действия, а в современном языке – перед синтаксически главным словом, ср. *не скоро вратите* и *немедленно не вернете* или *да не пакы отъбѣжить* и *чтобы опять не убежал*.

Типологическое разнообразие стратегий размещения отрицания

В современных языках действуют две основных стратегии размещения отрицания:

– **синтаксическая**, когда отрицание ставится при синтаксической вершине предложения, а именно, при финитном глаголе; и

– **семантико-просодическая**, когда отрицание ставится при семантически главном операторе; например, при кванторном слове, ср. *не все* ⇐ НЕ [*все*]; *никакой* ⇐ НЕ [*какой-нибудь*]; при союзе, ср. *не потому*; или при слове, несущем главное фразовое ударение; ср. *он любит не тебя* = НЕ [*та*, *кого он любит*, *есть ты*].

Языки могут расходиться в возможностях выбора той или иной стратегии. Например, русский часто предпочитает семантико-просодическую стратегию там, где английский выбирает синтаксическую. Так, О. Есперсен [Jespersen 1924/1958] допускает для предложения (39), с отрицанием при сказуемом главного предложения, такое понимание, при котором его следует перевести на русский язык предложением (40), с отрицанием при подчинительном союзе:

(39) I didn't call because I wanted to see her <but for some other reason>;
(40) Я позвонил не потому, что хотел увидеть ее <а по какой-то другой причине> ≠ Я не позвонил потому, что хотел увидеть ее.

В старославянском и древнерусском, равно как и в санскрите, действовала третья стратегия – **инициальная**: отрицание ставилось перед началом всей той группы слов, которая составляет сферу действия отрицания. При этом экспрессивная препозиция подчиненных, но просодически выделенных слов способствовала отделению отрицательной частицы от синтаксической вершины предложения.*

* Благодарим Лидию Николаевну Иорданскую и Игоря Александровича Мельчука за множество полезных замечаний.

Источники

Аввакум — «Житие» Аввакума. По изд.: Пустозерский сборник. Автографы сочинений Аввакума и Епифания. Л., 1975.

Флавий — «История Иудейской войны» Иосифа Флавия: Древнерусский перевод / Изд. подг. А. А. Пичхадзе, И. И. Макеева, Г. С. Баранкова, А. А. Уткин. Т. I–II. М., 2004, на основе списка последней трети XV века.

ЖАЮ — *Молдован А. М.* Житие Андрея Юродивого в славянской письменности. М., 2000.

Лавр. — Полное собрание русских летописей. Том первый. Лаврентьевская летопись. Вып. 1–3. Л., 1926–1928.

Лук. — Евангелие от Луки (цитируется по Мариинскому евангелию).

Мономах — сочинения Владимира Мономаха (по Лавр.).

Матф. — Евангелие от Матфея (цитируется по Мариинскому евангелию).

Супр. — *С. Северьянов.* Супрасльская рукопись. Памятн. старосл. языка II, 1, СПб., 1904.

Феод. — Житие Феодосия. По изд.: Усп. сб. — Успенский сборник XII–XIII вв. М., 1971.

Увар. — Московский летописный свод конца XV века. Полное собрание русских летописей. Т. XXV. М., 1949.

Улож. — Соборное уложение царя Алексея Михайловича. М., 1649.

Чуд. — Чудовский Новый Завет. По изд.: Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Труд святителя Алексия Митрополита Московского и всея Руси. (Фототипическое издание Леонтия, Митрополита Московского). М., 1892.

Литература

Богуславский 1985 — *Богуславский И. М.* Исследования по синтаксической семантике. М., 1985.

Богуславский 2002 — *Богуславский И. М.* «Сандхи» в синтаксисе // Вопросы языкознания. 2002. № 5. С. 19–37.

Есперсен 1958 — *Есперсен О.* Философия грамматики. М., 1958. — Англ. ориг.: *Jespersen O.* The Philosophy of Grammar. London, 1924.

Зализняк 2008 — *Зализняк А. А.* Древнерусские энклитики. М., 2008.

Ковтунова 1976 — *Ковтунова И. И.* Современный русский язык: Порядок слов и актуальное членение предложения. М., 1976.

Падучева 1974/2007 — *Падучева Е. В.* О семантике синтаксиса. М., 1974; 2-е изд. 2007.

Падучева 2005 — *Падучева Е. В.* Эффекты снятой утвердительности: глобальное отрицание // Русский язык в научном освещении. 2005. № 2 (10). С. 17–42. http://lexicograph.ruslang.ru/TextPdf2/ryns2005.pdf

Падучева 2012 — *Падучева Е. В.* Порядок слов и фразовая просодия // Смыслы, тексты и другие захватывающие сюжеты: Сб. ст. в честь И. А. Мельчука. М., 2012. С. 473–485.

Пешковский 1956 — *Пешковский А. М.* Русский синтаксис в научном освещении. 7-е изд. М., 1956; 8-е изд. М., 2001.

Jackendoff 1990 — *Jackendoff R. S.* Semantic Structures. Cambridge etc.: MIT Press, 1990.

Jespersen 1924 — *Jespersen O.* The Philosophy of Grammar. London, 1924. — Рус. пер.: Есперсен О. Философия грамматики. М., 1958.

Klima 1964 — *Klima E.* Negation in English // Fodor J., Katz J. (Eds.). The Structure of Language. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1964. P. 246–323.

Paducheva 2008 — *Paducheva E.* Negation, suspended assertion and duality // The Third International Conference on Cognitive Science. Moscow, 20–25.06.2008. V. 1. P. 122–123.

Večerka 1996 — *Večerka R.* Altkirchenslavische (altbulgarische) Syntax. III. Die Satztypen: der einfache Satz. Weicher — Freiburg I. Br. 1996.

Weinreich 1963/1970 — *Weinreich U.* On the semantic structure of language // Universals of Language / Ed. J. Greenberg. Cambridge (Mass.): MIT Press, 1963. P. 114–171. — Русский перевод: *Вейнрейх У.* О семантической структуре языка // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 5. Языковые универсалии / Ред. В. А. Звегинцев. М., 1970. С. 163–249.

Е. Ю. Иванова

Сентенциальные клитики в русском и южнославянских языках

Интерес к изучению клитик в славянских языках не ослабевает в течение многих десятилетий. Успехи, которые достигнуты в этой области, невозможно переоценить[1]. В последние годы произошел и качественный скачок. Он связан с появлением в отечественной лингвистике обобщающих концептуальных исследований, касающихся как морфологического статуса и истории славянских клитик, так и условий и правил их функционирования, — это, прежде всего, работы А. А. Зализняка [1993, 2008] и Т. М. Николаевой [2008]. Богатый материал предоставляют данные диалектов. Все это позволяет привлекать новые данные и современный (и уже апробированный) исследовательский инструментарий для сопоставительного анализа, в том числе на широком типологическом фоне [Циммерлинг 2012].

В первой части этой статьи представлена система клитик в сербском, македонском и болгарском языках (остальные языки будут привлекаться лишь эпизодически) и затронуты проблемы, связанные с рангом некоторых элементов. Во второй части работы

[1] К сожалению, многоаспектность проблемы, да и ограниченный объем статьи не позволяют не только дать краткий обзор последних трудов по клитикам, но даже перечислить их.

Елена Юрьевна Иванова,
Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург)

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта № 12-04-00003а.
Выражаю также благодарность своим коллегам, прочитавшим статью и сделавшим ценные замечания, — это акад. З. Тополиньска (Македония), проф. П. Пипер (Сербия), д-р М. Димитрова (Болгария), д-р Л. Тантуровска (Македония), д-р А. Павлова (Македония), д-р У. Гайдова (Македония), д-р Д. Дракулич-Прийма и доц. З. К. Шанова. Вся ответственность за конечные формулировки лежит на авторе статьи.

рассматривается современный статус и синтаксис общеславянских частиц БЫ/БИ и ЛИ — двух частиц, которые сохранились как в русском, так и в рассматриваемых южнославянских языках.

Цель данной работы — показать, в какой степени сохранен и сохранен ли энклитический статус этих частиц на фоне всей системы клитик конкретного языка, каково синтаксическое поведение этих элементов и с чем связано его изменение в том или ином языке. Сначала остановимся на нескольких важных для данной темы общих вопросах.

I. Системы клитик

1.1. Просодические факторы в определении клитик в современных славянских языках

Хотя однозначного определения клитик, как известно, до сих пор не дано, общеприемлемым является утверждение о том, что клитики — это акцентно несамостоятельные элементы, имеющие свой синтаксис (см. блестящий обзор работ и концепций в [Николаева 2008]). В современной науке о клитиках активно обсуждаются просодические и синтаксические критерии их определения. Установлено, что просодические факторы выделяют одну группу клитик, синтаксические — нескольку иную, а при их наложении образуются «несовпадающие остатки».

Важность синтаксических критериев при определении клитик в настоящее время кажется неоспоримым. Но в какой степени значимы просодические свойства?

С одной стороны, имеются просодические характеристики, которые обладают парадигматической значимостью, как, например, существование акцентированных и неакцентированных пар в сербском языке: *нас*, *вас*, *нам*, *вам*, *их*. Эта парность устанавливается на фоне всей остальной местоименной парадигмы, включающей парные краткие и длинные формы, и поддерживается разной исходной акцентированностью (что принципиально важно для языка с музыкальным ударением). Но, помимо того, наличие клитических и неклитических словоформ *нас*, *вас* и под. подтверждается и их специфическим синтаксическим поведением. Так, безударные члены пар включаются в кластеры и, более того, могут перемещаться вместе с кластером в такие позиции, куда неклитикам вход запрещен, например в расщепленную именную группу, как в разг. серб. *На аутобуској* ***нас jе*** *станици чекао Иван*.

С другой стороны, не имеют никакого значения для статуса элемента как клитики случаи «привнесенного» ударения, т. е. принятия клитикой «внешнего» ударения или попадания на нее общегруппового акцентного ударения. Так, в болгарском языке после отрицания *не* происходит обязательное акцентирование последующей клитики: *Не* ***смé*** *му се обидили*. Другой пример — «фразовая», зависящая от места в акцентной группе, ударность клитик в македонском языке: в предложениях с отрицанием *не* или с вопросительным местоимением и наречием ударение падает на третий слог с конца: *нé даде*; *не му гó даде*; *не би мý рекол* (*нему*); *Што си гó викал?*

Не являются релевантными для определения клитичности примеры акцентированного произношения обычно безударных единиц. Так, окказионально может получить ударение болгарский связочный глагол *съм*: *Ти си виновен за това! — Не съм. —* ***Си****!*; *Той не е виновен. —* ***Е****!*, где связка акцентирована в контрастивном контексте.

Вообще южнославянские глагольные клитики, особенно показатели кондиционала и будущего времени, легко позволяют обыгрывать свою (без)ударность: макед. *Би го направил тоа за тебе. —* ***Би*** *ли? —* ***Би***; болг. *Ще се видим ли в сряда? —* ***Ще****.* Такие употребления акцентируют модальные и временные значения в аналитических формах, делая контрастоспособным вспомогательный и обычно безударный компонент.

Однако, если вернуться к системно обусловленным характеристикам, то следует обратить внимание на то, ограничивается ли такое акцентирование коммуникативно-прагматическими причинами или же оно имеет строгие синтаксические ограничения. И тогда обнаружится, что акцентное выделение болгарского *съм*, *ще* и македонского *би* — относится к первому случаю, а вот акцентирование сербского *бих* в следующем примере — ко второму: *Да ли би дошао?* (реже ***Би*** *ли дошао?*) — ***Бих***, см. аргументацию в подразделе 2.4.

1.2. Наборы клитик и их ранги

1.2.1. Русский язык — древнее и современное состояние. Русский язык до недавних пор выпадал из сферы внимания «клитиковедов». Теперь же, после тщательного изучения и описания берестяных грамот, стало возможным ориентироваться на систему энклитик в новгородском диалекте древнерусского языка как на состояние, приближенное к прежней общеславянской клитической системе [Зализняк 1993; 2008]. Система энклитик и их рангов в книге А. А. Зализняка «Древнерусские энклитики» представлена следующим образом: (1) *же* — частица, (2) *ли* — частица, (3) *бо* — частица, (4) *ти* —

частица, (5) *бы*, (6) местоимения в дат. падеже *ми*, *ти*, *си* и др., (7) местоимения в винит. пад. *мѧ*, *тѧ*, *сѧ* и др., (8) связки 1 и 2 л. *есмь*, *еси*, *есмъ* и др. и — как дополнительная группа — связки 3 л. *есть*, *суть*, *еста* [Зализняк 2008: 28].

В современном русском языке из старых сентенциальных энклитик остались только ЖЕ, ЛИ, БЫ: «эти „выжившие“ энклитики и поныне до некоторой степени сохраняют свои древние свойства в том, что касается их места в предложении» [Зализняк 2008: 267].

Близкое положение и в других **восточнославянских языках**, исключая закарпатские говоры украинского языка, где сохранилась довольно представительная система клитик [Толстая 2000]. Еще недостаточно изучена ситуация с клитиками в **галицко-буковинских диалектах**, хотя данных о них немало. Они имели счастливую (с лингвистической точки зрения) судьбу, будучи не только территориально и исторически изолированы от других украинских территорий, но и зафиксированы в значительном количестве литературно-художественных произведений — от книг Василя Стефаника начала XX века вплоть до новых произведений Марии Матиос.

Например, здесь мы можем наблюдать процесс, который закончился в восточнославянских языках уже давно, а в этих говорах задержался до XX века. Это вытеснение глагольных клитик 1 и 2 л. личными местоимениями в им. п. — изменение, которое привело к масштабной перестройке всей системы клитик в восточнославянских языках [Зализняк 2008]. Ср. далее *сь’те* (вспом. глагол 2 л. мн. ч.) → *ви* (личное мест. 2 л. мн. ч. им. п.) в одинаковых репликах представительниц самой старшей и самой молодой возрастной группы.

1) *Просила пані молода*, *тато й мама пані молодої*, *і я вас дуже файно прошу*, ***абись’те*** *були такі ласкаві прийти до нас на весілля завтра рано.*
2) *Просили тато-мама*, *і я вас дуже гречно прошу*, ***аби ви*** *були такі ласкаві прийти до нас завтра на весілля* (М. Матіос. «Нація». Львів, 2011, с. 156 и 163).

1.2.2. Южнославянские языки. По сравнению с древнеславянской энклитической системой наибольшему изменению рангов в современных южнославянских языках подверглись связки 1 и 2 л. — они обрели гораздо более высокие позиции в цепочке. Утрачены и некоторые частицы. Тем не менее картина очень близка.

Наборы клитик южнославянских языков хорошо исследованы и описаны. Тем не менее, учитывая, что примеры в статье приводятся

без грамматической расшифровки глоссов, перечислим все клитики сербского, болгарского и македонского языков.

Сербский язык: а) местоименные энклитики: род. п. *ме*, *те*, *га*, *је*, *га*; *нас*, *вас*, *их*, дат. п. *ми*, *ти*, *му*, *јој*, *му*; *нам*, *вам*, *им*; вин. п. *ме*, *те*, *га*, *је* (*ју*), *га*; *нас*, *вас*, *их*; возвратно-местоименная клитика *се*, б) глагольные энклитики: краткие формы глагола *бити* в индикативе *сам*, *си*, *је*[2], *смо*, *сте*, *су*; формы показателя кондиционала *бих*, *би*, *би*, *бисмо*, *бисте*, *би*; формы показателя будущего времени («футур 1»): *ћу*, *ћеш*, *ће*, *ћемо*, *ћете*, *ће*, в) иллокутивные и дискурсивные энклитики: частица *ли*, этический датив *ми*, *ти*.

Болгарский язык: а) местоименные энклитики: дат. п. *ми*, *ти*, *му*, *ѝ*, *му*; *ни*, *ви*, *им*, вин. п. *ме*, *те*, *го*, *я*, *го*; *ни*, *ви*, *ги*; возвратно-местоименные клитики *се*, *си*, б) глагольные клитики: формы глагола *съм* в индикативе (энклитики): *съм*, *си*, *е*, *сме*, *сте*, *са*; показатель будущего времени *ще* (проклитика); в) иллокутивные и дискурсивные энклитики: частица *ли*, этический датив *ми*, *ти*, свободный возвратный датив *си*.

Македонский язык[3]: а) местоименные клитики: дат. п. *ми*, *ти*, *му*, *ѝ*, *му*; *ни*, *ви*, *им*, вин. п. *ме*, *те*, *го*, *ја*, *го*; *нѐ*, *ве*, *ги*; возвратно-местоименные клитики *се*, *си*, б) глагольные клитики: формы глагола *сум* в индикативе: *сум*, *си*, *е*, *сме*, *сте*, *се*; показатель будущего времени *ќе* (проклитика); показатель кондиционала *би*, в) иллокутивные и дискурсивные энклитики: частица *ли*, этический датив *ми*, *ти*, свободный возвратный датив *си*.

Ранги клитик. Исключительно удобны для демонстрации ранга клитик табличные записи: они наглядны и не связаны с нумерацией, см., напр., таблицы для некоторых славянских языков в [Циммерлинг 2013] или, напр., [Поповић 1997: 290]. Чтобы не загружать текст несколькими таблицами, все равно требующими пространных комментариев, возьмем в качестве основы выверенную на объемном материале таблицу, предложенную Л. Поповичем для **сербохорват-**

---

[2] В начале вопросительного предложения может употребляться акцентированное ***је*** *ли* или его разговорный вариант *је л'*, но этот комплекс уже вполне оформился как вопросительная частица: он присутствует в предложении даже с глагольным предикатом: *Је л' имате викендицу?*

[3] Большинство клитик македонского языка могут начинать предложение, сохраняя фонетическую клитичность. Энклизу соблюдает в норме и глагол *сум* в составном сказуемом: *Студентка сум*; *Среќна си*; *Дојден сум*. При сказуемом в императивной форме и при деепричастии македонские клитики располагаются после глагольной формы.

ского[4] языка, и на ее примере обсудим некоторые вопросы ранжирования южнославянских клитик.

ли	Глагольные энклитики, кроме *je*	Местоименные энклитики				*се*	*je* (3 л. ед. ч.)
		dativus ethicus	Синтаксический датив	Аккузатив	Генитив		

Если не учитывать первую клетку (так как вопрос с ЛИ может строиться с нарушением цепочки, см. далее), табличная запись **македонского языка** близка к сербскому за исключением правой части таблицы, где не нужна клетка для род. п. и, соответственно, могут быть записаны вместе местоименная клитика вин. п. и возвратный элемент, как это часто делается при описании места клитик в грамматиках славянских языков.

В **болгарском языке**, в отличие от македонского**,** надо учитывать еще и отсутствие клитики кондиционала (болгарский глагол БИХ ударный). Кроме того, показатель будущего времени в македонском и болгарском языках — это проклитика.

Основная (и пока неразрешимая) проблема табличных записей рангов состоит в том, что они не позволяют доступно показать **запрещенные сочетания** клитик в каждом конкретном языке или такие сочетания, которые, по крайней мере, избегаются. Таких запретов или ненормативных сочетаний особенно много среди высоких рангов, ср. малую вероятность совместной кластеризации показателей модальности, иллокуции и т. п., напр. македонских частиц *ли*, *ќе*, *би*, *ми*/*ти* (dativus ethicus). Эти ограничения касаются и других языков.

В таблице Л. Поповича вторая клетка предполагает все варианты глагольной клитики — показатели будущего времени, кондиционала и индикатива. И это, безусловно, правильно, — они в сербском языке не употребляются вместе. Но в каких случаях они кластеризуются с ЛИ?

Для доказательства высшего ранга частицы ЛИ в кластерах клитик часто используются вопросы типа серб. *Шта* ***ли ће јој*** *рећи кад је види?*, макед. *Ти* ***ли ќе ми*** *кажуваш што да правам?*; *Тоа* ***ли би го*** *сакал?*; болг. *Тя* ***ли ще ми се*** *обади?* Эти примеры, однако, нерелевантны для определения ранга ЛИ по отношению к смежным с ней клитикам, поскольку здесь ЛИ, оформляя частный вопрос, оказывается

[4] Языковой корпус этой монографии отвечает состоянию 70-х гг. XX в.

в мнимом начале мнимой цепочки[5]. Ср. еще примеры, где знак | показывает истинное начало кластера сентенциальных клитик: серб. *Од кога ли | си је добио?*, макед. *Во неа ли | си се вљубил?*, болг. *Често ли | ви се случва това?*

Очевидное доказательство некластерного ЛИ — возможность (не всегда, впрочем, отвечающая стилистической норме) вставки в цепочку акцентно самостоятельных словоформ, напр. болг. *Често ли | ви се случва това?* → *Често ли* ***това*** *ви се случва?* или *Често ли* ***на вас*** *ви се случва това?*

ЛИ-вопросы при определении рангов должны быть только общими, т. е. к предикатной группе, напр. серб. *Хоће* ***ли га*** *икада видети?*; болг. *Обидил* ***ли ми се е****?*; *Дал* ***ли си му го****?* Но и в этом случае не удастся так же легко проверить взаиморасположение ЛИ и глагольных частиц второй клетки (т. е. кондиционала и будущего времени). Дело в том, что такой вопрос либо будет требовать ударного элемента перед ЛИ (серб. *Би ли дошао?*[6]), либо ЛИ будет отходить вправо, в постпозицию к глаголу (макед. *Би го направил ли?*). Некоторые возможности для проверки места БИ + ЛИ / ЛИ + БИ в сербском и македонском языках см. в 2.3., 2.4.

Несмотря на наличие отдельных клеток для **возвратного элемента и глагола 3 л. ед. ч.**, в сербском языке эти две клитики редко встречаются вместе, чтобы избежать омонимии с *је се*, где *је* — местоименная клитика, поэтому глагольная клитика *је* при возвратном глаголе просто опускается. Регионально такое совмещение возможно — преимущественно в виде последовательности *се је*.

В болгарском и македонском литературных языках порядок такой же — *се е*. Но взаимное расположение этих клитик и в диахронии, и во всех южнославянских диалектах крайне неустойчивое.

Л. Попович предлагает отдельную ячейку для **клитики род. п.** Поскольку сочетание клитик вин. и род. п. практически не встречается (убедительными примерами мы не располагаем), в этом, в прин-

---

[5] Иное состояние фиксируется в древних языках, где не было еще того переключения связи, которое сейчас имеем в частных вопросах, даже если ЛИ оказывалось, например, после дополнения к глаголу [Зализняк 1993: 281].

[6] Однако чаще в сербском языке такой вопрос будет формулироваться с частицей *да ли*: *Да ли би дошао?* Здесь же заметим, что, поскольку в сербском и македонском языках функции частицы ЛИ значительно сокращены, приводимые в статье примеры, демонстрирующие ее место в предложении, могут быть менее частотны, чем вопросы с другими частицами, или стилистически окрашены. В тексте статьи это не всегда оговаривается.

ципе, нет необходимости. Что касается порядка следования этих падежей, то имеется теоретическое обоснование для такой последовательности — это историческая очередность их присоединения к цепочке клитик. Если учитывать, что более молодые клитики присоединялись к уже существующей цепочке справа (А. А. Зализняк), местоимение род. п., оформившееся как клитика позже, по логике должно занимать место после вин. п.

Во многих исследованиях считается очевидным, что место **dativus ethicus** (или, в славянской лингвистике, «этического» датива) там же, где и местоименной клитики дат. п. Л. Попович выделяет для dativus ethicus отдельную ячейку, так как их совместное употребление — хоть и редкое явление, но не исключено, при этом dativus ethicus ставится перед местоимением дат. п.: серб. *Откуд знаш тај виц? — Она* ***ти*** *ми га исприча!*, макед. *Господ здравје да* ***ми*** *ти даде*.

В южнославянских языках есть и сдвоенный этический датив *ми ти*, но он с клитикой дат. п. не соединяется и встречается либо в составе фразеосхем: болг. *И това* ***ми ти*** *било справедливост!* — И это называется справедливость!?, либо в именных группах, как болг. *Като се разтече онзи* ***ми ти*** *крем!* — Весь этот крем как поток!, являясь маркером разговорности и выполняя интенсифицирующие и интимизирующие функции.

Близкие «дискурсные» функции имеет «**свободный возвратный датив**» *си* в болгарском и македонском языках: болг. *Това* ***си*** *е моя работа*; макед. *Тој* ***си*** *седи и* ***си*** *пие кафенце*. Свободному возвратному дативу тоже отводят место среди местоименных клитик дат. п. Но примеры показывают, что они могут использоваться вместе, ср. болг. *Ти сама* ***си ми*** *я даде*. Основное место свободного возвратного датива — перед клитикой дат. п., т. е. там же, где и этический датив, хотя свободное *си* имеет не столь устойчивое положение в кластере клитик, ср. два грамматически верных варианта, оба разговорные, но второй более эмоционально окрашен: болг. *Дай си ми го. — Дай ми си го.*

В литературном сербском языке *си* утрачено, но сохранено в сербских диалектах, а также в хорватском: *Kupit ću si nove traperice*; *To si mogu priuštit*.

Примеры расстановки элементов в сербской цепочке клитик:

Добро ***смо га се*** *сећали свих ових година*; *Кад* ***ће ти га*** *донети?*; *Нагледао* ***сам га се***; *Да ли је код тебе Миланов речник? — Не, вратила* ***сам му га***; *Јесу* ***ли се*** *видели? — Видели* ***су се***; *Она* ***му га је***

показала; *Имам добре часописе*, *донећу* ***ти их*** *сутра*; *Да ли* ***си јој га*** *дала?*; *Отац* ***му га је*** *прочитао*; *Било* ***нам га је*** *много жао*; *Она* ***га је*** *видела и ја* ***сам га*** *видео.* Отрицание *не* в сербском всегда стоит в препозиции к глаголу и не подключается к блоку кластеризуемых клитик: *Не бојим* ***те се***; *Овде* ***се*** *не пуши*; *Снег* ***се*** *још не топи*; *Она* ***га се*** *више не сећа.*

Примеры расстановки элементов в македонской цепочке клитик:

Сега ***ќе им се*** *јавам*; ***Им ги*** *донесов подароците*; ***Ќе ти ја*** *испеам саканата песна*; *Тој* ***би ми се*** *смеел ако знае…*; *Од уста* ***си ми ги*** *зел зборовите*; *Да* ***си го*** *оставила млекото да истине*; ***Ви се*** *допаѓаат* ***ли*** *моите чизми?*; *Не* ***ти го*** *дадоа* ***ли*** *клучот?*

Примеры расстановки элементов в болгарской цепочке клитик:

Сложил ***съм го*** *в хола*; *Често* ***ми се*** *сърди*; *Винаги* ***съм му го*** *казвал*; *Ти* ***си ми*** *всичко*; *Да не* ***си ми се*** *показал още веднъж пред очите*; *Бихте* ***ли ми го*** *показали?*; ***Ще ти го*** *донеса утре*; *Върнал* ***съм му*** *парите*; *Не* ***съм му ги*** *върнал парите*; *Той не* ***му ги е*** *върнал парите*; *Върнал* ***ли си му*** *парите?*; *Той върнал* ***ли му е*** *парите?*

1.3. Клитики уровня предложения и уровня группы

В данной работе будут рассматриваться только сентенциальные клитики (относящиеся к предикатной группе или ко всему предложению в целом). Сентенциальные клитики способны кластеризоваться, иметь закрепленное место в цепочке, двигаться вместе с кластером. При групповых клитиках либо не образуются кластеры, либо двухэлементные кластеры неподвижны.

Так, помимо клитик, относящихся к предикатной группе, небольшие цепочки могут образовывать клитики при некоторых нефинитных глагольных формах, но они неподвижны. Наиболее обычны деепричастные базисы: серб. *Жалећи* ***ми се*** *на лошу представу*, *Наташа ми је показала програм*, болг. *Оплаквайки* ***ми се*** *от родителя*, *учителката твърдеше*, *че тя никога не била използвала подобни думи*, макед. *Читајќи* ***му го*** *писмото*, *се расплака*.

В составе именной группы цепочки клитик не оформляются, если не считать клитикой определенный артикль (по И. А. Мельчуку, «смещенный аффикс»); именно он в болгарском языке является элементом, допускающим при себе притяжательную клитику (гене-

тически форму дат. п. личного местоимения): *къщата ми — старата ми къща*[7].

В сербском языке падежные клитики не исключены и после первичных предлогов, напр. *гледа на ме*; *донео је за те* (поэт. или регион.). В болгарском и македонском языках краткие местоимения, причем только дат. п., присоединяются лишь к производным предлогам-наречиям, в основном отыменного происхождения, как болг. *насреща му*, *наоколо ни*, *помежду си*, макед. *спроти му*, *одозгора ми*. Кластеры в любом случае не образуются.

1.4. Место сентенциальных клитик в предложении

Расположение славянских клитик в предложении — объект рассмотрения в десятках исследований, особенно за пределами славянских стран [Clitics 1997; Clitics 1999]. Сербохорватский язык вообще, по выражению Ж. Бошковича, стал испытательной площадкой для приложения разных теорий порядка слов [Bošković 2000: 72]. Не меньший интерес сейчас вызывают болгарский и македонский языки, противопоставленные всем остальным: болгарские и македонские клитики, как известно, занимают позиции, смежные с глаголом (VA-клитики), а сербохорватский, словенский и другие языки обычно рассматриваются как языки 2P-типа, поскольку их клитики регулярно продвигаются во вторую позицию. А. В. Циммерлинг [2013: 70–72], впрочем, предлагает доказательства того, что болгарские кластеризуемые местоимения и связки одновременно являются 2P- клитиками и VA-клитиками.

Правило регулярности продвижения клитик на второе место в предложении в 2P-языках часто абсолютизируется и неправомерно обобщается для группы языков, не столь уж похожих в соблюдении этого правила. Так, примечательным свойством сербского, хорватского и словенского языков является разрыв сложной начальной составляющей одиночными и кластеризованными клитиками. Но для сербского языка это лишь одна из коммуникативно-стилистических возможностей (см., напр., разбор разных вариантов расщепления и нерасщепления именной группы в [Синтакса 2005: 104–105]), в то время как в хорватском и словенском языках нормативен как раз разрыв, хотя и там имеются блокирующие факторы.

Многочисленные уточнения того, что понимается под «ваккернагелевским» **первым местом в предложении**, как кажется, уже

[7] Мы не затрагиваем здесь важный вопрос о перемещении болгарской притяжательной клитики в предикатную группу: *Не* ***му*** *чух думите*, *но разбрах* (П. Незнакомов).

исчерпывающе доказывают, что первое место в предложении, за которым может следовать клитика или цепочка клитик, представляет собой не обязательно одно ударное слово, а ударный комплекс, как напр. серб. ***А како*** *се Ви зовете?* Сохраняет свою актуальность и тот факт, что первое место в предложении не всегда должно быть и ударным. В начале фразы вполне возможна и проклитико-энклитическая группа, как это было и в более древний период [Зализняк 2008: 9]. В обсуждаемых языках такой наиболее распространенной группой является сочетание энклитик с частицей или союзом *да*, напр. болг. ***Да*** *му се обадиш!*; макед. ***Да*** *му се јавиш!*; серб. ***А да*** *би ми ти рекао шта ја треба да пишем*, *зовнућу те увече*. Современные славянские языки, разумеется, имеют не столько фонетические, сколько грамматические допуски и ограничения на возможные начальные группы, см., напр., списки возможных и недопустимых «начал» в [Циммерлинг 2012] и обобщение опросников в таблицах [Clitics 1999].

Причины расположения кластера клитик на значительном расстоянии от «второго места» в подавляющем большинстве случаев хорошо объяснимы с привлечением понятия **ритмико-синтаксического барьера** — условной границы внутри предложения, после которой отсчет позиции начинается заново. «Наличие во фразе барьера означает, что вопрос о положении энклитик решается уже в рамках послебарьерного отрезка» [Зализняк 2008: 90]. В работах А. А. Зализняка 1993 г. и 2008 г. были описаны виды барьеров, которые влияли в древнерусском языке на порядок клитик. Оказалось, что ими можно истолковать многие случаи расположения клитик и в современных славянских языках, а именно постановку клитик значительно правее второго (послеударного) места в предложении, что раньше объяснялось паузой и — шире — интонационными и коммуникативными причинами.

В разных языках список обязательных барьеров различен. Так, в македонском языке обязательный барьер возникает перед положительным императивом, в то время как в болгарском его нет: ср. макед. *Таа смеса* //[8] ***нанесете ја*** *на лице*, *а после пола саат* // *измијте ја со дождовница или со сварено ладно млеко* (пример Л. Тантуровской [2005: 208]) и болг. *Нарязаната на ленти ябълка* ***я прибавете*** *в купата*. Конечно, в диалектах и в разговорной речи правило не столь категорично реализуется в обоих языках.

Наиболее частая причина сильного сдвига клитик вправо в современных славянских языках — это коммуникативно единообразные элементы предложения, напр. множественная тема — чаще

[8] Знаком // здесь и далее показывается барьер.

всего подлежащее или детерминанты, напр. серб. *У току те вечери, већ на крају, // пришао ми је човек кога дотле нисам био ни запазио* (И. Андрић).

В работе А. Циммерлинга, где виды сложных «начал» рассматриваются с формально-синтаксических позиций, выявлены возможные для славянских языков неодиночные базисы, или, по удачному выражению автора, «ансамбли» разрешенного типа, которые служат для славянских языков «дополнительным ресурсом, позволяющим вставлять в начальную позицию предложения с клитиками более длинные группы» [2013: 64], там же приведены и ограничения на состав синтаксических групп, предшествующих кластеризуемым клитикам.

Заметим, что, поскольку строй славянских языков находится в постоянном развитии, список допустимых и недопустимых комбинаций начальных групп может меняться. Так, в македонском языке варианты допустимых начал перед клитиками расширяются за счет возможности сочетания подлежащего и прямого объекта даже в коммуникативно-нейтральных предложениях, причем в разных стилях речи: ***Медениот месец, двојката*** *го одложи поради синот Далас*; ***Република Македонија кредитот од член 1 на овој закон*** *ќе го отплатува*; ***Одделни автори некои вакви образувања*** *обично ги вклучуваат во придавки* (примеры из [Тантуровска 2005: 200, 333]). Это является следствием тенденции к грамматикализации удвоения объекта (не только косвенного, но и прямого) — процесса, который убедительно описала Л. Тантуровска, сопоставив грамматические, коммуникативные и функциональные условия удвоения объекта в истории македонского языка (а именно язык XIX века и современное состояние) [1998; 2005][9].

Далее обратимся к двум славянским частицам, БЫ/БИ и ЛИ, — более молодой и более старой, которые сохранились во всех обсуждаемых здесь славянских языках.

II. Частица БЫ/БИ

2.1. Положение **современного русского БЫ** во многом подчиняется предшествующим закономерностям [Зализняк 2008]. Наиболее частотная для БЫ позиция — сразу после акцентно выделенного начального компонента, напр. после контрастного акцентного

[9] В болгарском языке тоже существует местоименное удвоение, но за ним всегда стоят какие-либо причины — коммуникативные или синтаксические.

выделения темы: *Тебе ничего, — с упором на слово «тебе» произнесла Мариша. —* ***Со мной*** *бы такого не было.* ***Я*** *бы вот так держала, — она сжала перламутровые пальцы в кулак и показала, как* (И. Муравьева)[10]; после акцентного выделения ремы (при инверсии): *Прямо-таки видел его ликующую рожу:* ***руку*** *бы дал на отсечение, что он сидит, развалясь, за накрытым утренним столом перед недопитой чашкой кофе* (А. Волос); в том числе с расщеплением именной группы: *Конечно, не* ***в такой*** *бы* ***постели****, не в этом логове, но не одни мы нынче такие бесприютные* (В. Астафьев), хотя это совсем не обязательный вариант: возможно перемещение частицы и в конец именной группы. Вообще позиция БЫ в предложении показывает расширение ее функций: в разговорной речи, по крайней мере, она уже работает не только как элемент формообразования, но и на уровне предложения — наподобие иллокутивной частицы.

Хотя рус. БЫ «тяготеет к контактному положению с глаголом» [Циммерлинг 2001: 225], оно хорошо переместимо в рамках от левой границы предложения до сказуемого. Так, начальный акцентированный глагол легко допускает несколько возможностей позиционирования БЫ, ср.: *Шли* ***бы*** *вы, ребята, домой! — Шли вы, ребята,* ***бы*** *домой!, Шли вы, ребята, домой* ***бы****!, Шли* ***бы*** *вы, ребята, домой* ***бы****!* [Циммерлинг 2001: 225].

В коммуникативно-нейтральных предложениях БЫ может оказаться довольно далеко от начала предложения, если сам глагол тоже далеко смещен, например, из-за наличия множественных тем: *Утром // наши милые соседи // высказали* ***бы*** *нам все, что думают*. Переместимость БЫ еще дальше вправо от сказуемого, не находящегося в начале предложения, затруднено.

БЫ сохраняет свой более низкий ранг при сочетании с ЛИ: *Хотела* ***ли бы*** *я, чтобы он ко мне вернулся?*; *Не согласились* ***ли бы*** *вы?*, как это было и в древнерусском языке [Зализняк 2008: 268].

В южнославянских языках показатель кондиционала — наследник более старой старославянской формы сослагательного наклонения со вспомогательным глаголом с основой на БИ-: *бимь, би, би, бимъ* (*бихомъ*), *бисте, бѫ* (*бишѫ*). В современных языках он имеет разный просодический и синтаксический статус.

2.2. В болгарском языке этот элемент сохранил формоизменение, но утратил статус клитики, стал ударным, может начинать предложение и служить базисом для ЛИ: болг. ***Бих*** *го купил, но не сега*; *Разбира се,*

[10] Русские примеры собраны с помощью Национального корпуса русского языка.

би *ми се искало и аз да бъда с вас*; ***Би*** *ли ми го дал?*; ***Бихте*** *ли ми се обадили?*; *Не* ***би*** *ли се досетил и ти?*

2.3. **В македонском языке** элемент БИ (утративший формоизменение) в норме относится к безударным клитикам, при этом он, как и большинство македонских клитик, может начинать предложение, возглавляя цепочку как имеющий высокий ранг: ***Би ни го*** *вратиле долгот*; ***Би ѝ го*** *купила бисерот*; *Дали вие* ***би ги*** *пуштиле децата сами на одмор?* — ***Би ги*** *пуштила*, *ама нема да преживеат*; *Ти* ***би го*** *направил тоа за мене?*

Но македонское ЛИ еще более высокого ранга. Взаиморасположение клитик БИ и ЛИ показывает их возможная кластеризация при неглагольном предикате: *Каков* ***ли би*** *бил светот без Facebook?*; *Среќна* ***ли би*** *била кога би знаела дека те сака?* Как уже говорилось, акцентированный македонский вариант БИ в сопровождении фокусирующей частицы ЛИ (***Би ли*** *дошол?*) не является релевантным для определения рангов частиц.

2.4. **В сербском языке** показатель сослагательного наклонения (сохранивший формоизменение) представлен, как считается, в неакцентированном и акцентированном варианте: *Урадио* ***бих*** *то.* — ***Би*** *ли?*

В утвердительных предложениях он не акцентирован: *Кад* ***би*** *ми га донела*, *много* ***бих*** *ти била захвална на помоћи*. Ударным он становится в самом начале предложения с последующей ЛИ и в самостоятельном употреблении в ответных репликах: ***Би*** *ли му га донела?* (хотя гораздо чаще: *Да ли би му га донела?*; *Је л' би му га донела?*) — ***Бих***. То есть условия, при которых БИХ акцентируется, очень похожи на македонские, — но с важным отличием: они строго синтаксически регламентированы. В сербском языке невозможно построить вопросительное предложение с начальным глаголом в сослагательном наклонении и частицей ЛИ, разместив их как-либо иначе, чем в примере выше. Иначе говоря, в македонском акцентирование БИ обусловлено коммуникативно-прагматическими причинами, а в сербском — синтаксическими правилами.

Можем ли мы утверждать в таком случае, что сербское БИХ существует в двух исходных ипостасях — как ударный элемент, так и безударный, — как, например, формы типа *нас*, *вас*? Думается, что нет. Если бы в сербском существовал парный клитике акцентированный глагол БИХ, он бы начинал предложение. Этого не происходит, с этой клитики мы не можем начать невопросительные предложения типа *Молила бих чашу воде*; *Рекао бих да то није тачно.* Ср. также автоматическое перемещение БИХ в постпозицию к глаголу при

опущении подлежащего: *Да сам могао, да сам смео, ја* ***бих јој*** *казао... казао* ***бих јој****: слатка моја мајка* (Л. Лазаревић), пример Л. Поповича [1997: 311].

БИХ не может начинать и внутреннюю клаузу: *Да сам јуче одмах пошао, затекао бих га код куће. — Да сам јуче одмах пошао, *бих затекао га код куће.*

Следовательно, сербское БИХ является энклитикой, кроме ее сочетания с ЛИ в вопросе и последующего одиночного ответа. Причины этой частно-синтаксической акцентированности, по-видимому, надо искать не в БИ, а в ЛИ — об этой частице мы поговорим в следующем разделе.

Безударная сербская энклитика БИХ движется в рамках предложения по обычным для сербского языка правилам, в частности, эта энклитика, вместе с кластером, может передвинуться на первое послеударное место, разорвав именную группу: *Чак иако изгубим све, свака* ***би ми*** *жалост била подношљива, само ако би ми ти била верна; Рођена* ***би се*** *матер препала од нас* (Б. Ћопић), пример Л. Поповича [1997: 334].

Сербское БИ сохраняет свой высокий ранг среди других клитик: *Шта да урадим да* ***би ми*** *ти поверовала; У шетњи* ***би вам*** *било пријатније; Могла* ***бих ти*** *дати богату вечеру; Било би лепо када* ***бисте нам се*** *придружили; Изгубио сам тај превод и био бих захвалан ако* ***би ми га*** *неко послао.* Клитические характеристики безударного БИХ разделяет эта же частица в форме прошедшего кондиционала: *Био* ***бих*** *дошао да сте ме звали.*

Взаимный ранг энклитик БИХ и ЛИ в сербском языке проверить трудно (БИХ перед ЛИ всегда ударное). Обратим лишь внимание на структуру общеотрицательных вопросов, где ударным является отрицание перед БИХ: *Не бисте ли и мене научили да плешем?*

2.5. Несколько слов о статусе данного элемента в других славянских языках. В **чешском языке** изменяемый показатель сослагательного наклонения — типичная энклитика, причем ранг *by* ниже, чем *li*: *Chtělo***-li by se mu** *to s nimi zahrát?*

В польском языке показатель сослагательного наклонения приобрел статус «мигрирующего аффикса» (И. А. Мельчук), что позволяет ему образовывать и синтетическую, и аналитическую формы: *Ja* ***bym*** *to wyjął i wyrzucił. — Wyjął****bym*** *to i wyrzucił.* Вместе с показателями прошедшего времени мигрирующий комплекс стремится соединиться с начальными союзами (реже — с другими частями речи): ***Czyżbyś*** *zapomniał?; Chce* ***abyśmy ją*** *podpisali od razu.* Имеется и прошедший кондиционал (*byłbym czytał*).

Заметим, что близкие свойства показывает эта частица в галицко-буковинских говорах украинского языка начала XX в.: в примерах далее наблюдаем миграцию лично-числовых окончаний к начальным служебным словам (ср. польск. ***Alem*** *się zmęczył!* — гал. ***Але-м*** *нагнав коні та й прімкнув*), в том числе в комплексе с показателем условного наклонения, ср. ***Alebym*** *się uśmiała gdyby okazało się że…* — ***Але би-м*** *сказав панам, що ні жінка била* (В. Стефаник). Есть и форма прошедшего кондиционала: *Іларій* ***був би присягнув***, *що побоявся він* (М. Матиос). В отличие от польского языка, однако, украинское БИ являлось (и остается) клитикой, не образуя синтетическую форму.

III. Частица ЛИ

3.**1**. Частица ЛИ, в отличие от показателя сослагательного наклонения, поразительным образом сохраняет во всех славянских языках свои энклитические свойства. Конечно, эта частица в разных своих функциях представлена неравномерно в каждом из языков (тем более на фоне ее универсальности в болгарском), но даже то, что имеется, все равно демонстрирует наибольшую устойчивость ее энклитической позиции по сравнению с другими клитиками.

Наиболее показательный пример устойчивой энклизы ЛИ — это симметричное по отношению к глаголу расположение ЛИ и других клитик при неударном начале предложения. Такую симметрию к ЛИ демонстрируют македонские и болгарские проклитико-энклитические комплексы с показателями будущего времени *ќе* и *ще*: макед. ***Ќе ми*** *дойдеш* ***ли****?*, болг. ***Ще му се*** *обадим* ***ли****?*, *да*-конструкции: макед. ***Да му*** *кажам* ***ли****?*, болг. ***Да ти го*** *върна* ***ли****?*[11] То же разделение наблюдается и в македонских цепочках с начальными клитиками: ***Ти се*** *спие* ***ли****?*

Как видим, из всех энклитик только ЛИ выжидает ударный базис, пропуская вперед все остальные клитики.

Устойчивость энклизы ЛИ, несомненно, определяется тем, что эта частица имеет совершенно определенную функцию в высказывании — она указывает на коммуникативно-смысловое выделение левостоящего элемента, и это требует неизменности ее позиции[12].

---

[11] В сербском языке в таких случаях должна быть выбрана другая частица и другая форма вопроса: серб. **Да ти га вратим ли?* (но: *Да ли да ти га вратим?*); **Бих му га дао ли*? (но: *Да ли бих му га дао*?).

[12] Мы не будем останавливаться на проблеме изменения порядка слов при формировании вопросительных предложений в обсуждаемых славянских языках, поскольку это на постановку ЛИ, собственно, влияет мало:

Частица ЛИ в обычном случае находится после фокусируемого элемента, который выделен и по смыслу, и ударением и потому обладает и просодическими возможностями служить базисом для ЛИ. Два отступления от этого правила, противоположные по векторности, наблюдаются в болгарском языке, когда энклиза ЛИ обусловлена либо только просодически, либо только функционально, об этом см. далее.

Основные сферы, где встречается ЛИ в южнославянских языках (с разной степенью допустимости), — *да*/*нет*-вопросы, разные виды риторических и рефлексивных вопросов; косвенные вопросы; союз-частица в разделительных и условно-уступительных предложениях. Хотя способы построения всех указанных видов конструкций с ЛИ различаются, в тривиальном случае частица находится справа от фокусируемого элемента, ср. болг. *Готова* ***ли*** *е статията? — Питай го готова* ***ли*** *е статията. — Готова* ***ли*** *ти е статията или още искаш да я доработиш?*

3.2. **Русское ЛИ** полностью утратило функцию формирования «истинного» вопроса: подавляющее большинство случаев употребления ЛИ в современном русском языке приходится на риторический и косвенный вопрос.

Русское ЛИ находится, как правило, в первой послеударной позиции: *Способна* ***ли*** *была бы я на такое?* (И. Грекова), включая сочетание ударного слова с некоторыми союзами и частицами, напр. ***Да и можно*** *ли мерить жизнь результатами?* (Д. Гранин). Барьер сдвигает фокусируемый компонент предложения вместе с ЛИ вправо от начала предложения: *Господи*, // *да нужно* ***ли*** *говорить о таких пустяках* (В. Гроссман); *Только вот* // *нельзя* ***ли*** *убрать это* (Ю. Домбровский); *Простите*, // *костюмчик этот* // *не в Париже* ***ли*** *брали?* (В. Аксенов); *Он всё спрашивал — что они будут делать*, // *покормят* ***ли*** *их* // *и удобно* ***ли*** *попросить что-нибудь съестное хоть немного раньше работы* (В. Шаламов).

Русское ЛИ, как правило, расщепляет именную группу при частном вопросе: ***Эту*** *ли* ***женщину*** *он боготворил еще недавно?*; ***Такой*** *ли* ***конец*** *он заслужил?* В функции разделительного союза ЛИ разрывает именную группу и без обязательного фокусирования именно

в тривиальном случае частица просто следует за перемещаемым элементом. Другое дело, что изменение порядка слов ведет за собой возникновение ритмико-синтаксических барьеров после, например, «задержавшегося» в инициальной позиции подлежащего. Так происходит практически всегда при частном вопросе: болг. *Той* // *вчера ли замина?* — Он вчера (ли) уехал?, ср. с повествовательным *Той замина вчера*.

атрибута: *Вся их способность радоваться связана лишь с тем, румяны ли их Танечки и Виталики*, ***хорошие*** *ли* ***отметки*** *приносят из школы* (В. Гроссман); *фильмы* ***ли*** *Эйзенштейна*, *пирожки* ***ли*** *с капустой*, см. и другие особые условия постановки ЛИ в статьях [Циммерлинг 2001] и [Минлос 2003].

Материал южнославянских языков подчеркивает парадоксальные энклитические свойства этой частицы.

3.3. Особенно показательно энклитическое поведение ЛИ в **македонском языке**. ЛИ — единственная частица, которая сохраняет свой статус как энклитика. Этим она принципиально отличается от других македонских клитик, способных находиться в предударной позиции: ***Ти се*** *спие* ***ли****?*; ***Си му ја*** *вратил* ***ли*** *книгата?*; ***Сум ти*** *кажувал* ***ли*** *за тоа?*; ***Ни се*** *заканува* ***ли*** *најладна зима во последните 1000 години?*; ***Ќе ми ја*** *донесеш* ***ли*** *топката?*

С другой стороны, фокусообразующие свойства ЛИ могут менять безударность македонских клитик. В разговорной речи встречается особый тип удостоверяющих вопросов, с помощью которых спрашивающий пытается убедиться в истинности информации (часто при таком переспросе присутствует сомнение или ирония), — *Би го направил.* — ***Би*** *ли?*; ***Си*** *ли претседател или не си?*

Но даже в этих случаях македонское ЛИ сохраняет все свои энклитические и коммуникативные свойства. Более того, эти примеры особого поведения ЛИ, наоборот, только еще раз подтверждают цельность просодико-функциональной энклизы ЛИ: она следует за фокусируемым элементом, она единственная из всех клитик не допускает инициальной позиции и ударности (т. е. ее безударность и энклизу невозможно изменить даже намеренной игрой).

Каков ранг современного македонского ЛИ? Македонская частица в положительных формах вопросов (типа ***Ти се*** *спие* ***ли****?* и под.) обособлена от других клитик, не будучи в состоянии включиться в цепочку, поэтому проверку рангов надо осуществлять по иным типам вопросов. Сохранение ее высшего ранга в цепочке показывают те редкие случаи, когда вся группа клитик вместе с ЛИ оказывается в постпозиции к предикативной именной группе: *Таа//шефица* ***ли ти е****?*; *Среќна* ***ли си****?*; *Дојден* ***ли е****?*

При вопросах к компонентам сложных составляющих македонское ЛИ, как правило, расщепляет именную группу: *Голема* ***ли*** *плата бараш?*; *Оваа* ***ли*** *песна ја пееле вашите предци?*; *Црвен* ***ли*** *молив бараш?*, гораздо меньше представлены варианты выноса ЛИ

к концу именной группы: ***Голема плата ли*** *бараш?*; *За* ***оваа песна ли*** *прашуваш?*[13]

В целом же в македонском языке ЛИ-предложения являются лишь одним из вариантов построения *да*/*нет*-вопросов наряду с вопросительной частицей *дали* (другие реже) и вопросов лишь с участием вопросительной интонации.

3.4. **В сербском языке** функции частицы ЛИ также значительно сокращены. Конкурентами являются другие вопросительные маркеры: *да ли*, *је ли*, *зар*. В сохранившихся употреблениях ЛИ не меняет своей первой заударной позиции: *Бојиш* ***ли се*** *ти мене*, *мала?*; *Јеси* ***ли му га*** *вратио?*

Сербское ЛИ при частном вопросе может разрывать именную группу, причем в ту же нишу могут одновременно передвинуться и приглагольные клитики, составляя мнимую цепочку с ЛИ: *С том* ***ли си*** *дружином креноу да ратујеш!* (Ч. Вуковић) — пример Л. Поповича [1997: 270–272], ср. там же пример и хорватского автора: *Шта ја знам*, *којим* ***ли ћу*** *путем натраг, када нађемо врело?* (А. Ковачић).

Сербская частица сохраняет способность расщеплять сложные составляющие даже во вторичных своих (восклицательных) функциях: *Мрска* ***ли*** *призора!*; *Велике* ***ли*** *разлике!*

3.5. **В болгарском языке** частица ЛИ взяла на себя функции формирования всех *да*/*нет*-вопросов — общего и частного: *Върнал* ***ли*** *си му книгата?*; *На Боби* ***ли*** *се обаждаш?* Без ограничений участвует болгарское ЛИ и в различных функциональных типах вопросов («истинных» и «неистинных»). Более того, болгарская частица показывает тенденцию к дальнейшему расширению своего функционального диапазона.

3.5.1. В болгарском языке частица ЛИ имеет самый высокий **ранг** из всех энклитик, именно она начинает (в тривиальном случае, после начального глагола) цепочку энклитик: *Обадил* ***ли си му се?***; *Подигравате* ***ли ми се?***; *Носиш* ***ли ми го?***, в том числе после ритмико-синтаксического барьера: *Тези хора // подиграват* ***ли ми се?***; *Кражби // ставали* ***ли са*** *при вас?*; *Когато се върна снощи*, *// видя* ***ли го?***; *Ваньо*, *// обичаш* ***ли ме?***

[13] О семантических и коммуникативных различиях между расщепленными и нерасщепленными именными группами в южнославянских языках см. [Иванова 2012].

При неначальном положении основного глагола в предложении все сентенциальные энклитики болгарского языка, кроме ЛИ, лишь механически привязываются к начальному компоненту, оказываясь перед глаголом: *Винаги съм му го казвал*; *Ще ти го върна*; *Да ми се обадиш веднага!*

Но ЛИ не ведет себя столь же автоматически: она не может следовать за безударным словом, поскольку является классической (строгой) энклитикой. Например, в вопросительных *да*-конструкциях частице приходится пропускать вперед всю безударную цепочку, дожидаясь ударного глагола *Да ми се обадиш* ***ли****?*; *Да ти го донеса* ***ли****?* То же наблюдаем и с формами будущего времени, где показатель *ще* безударный: *Ще ми се обадиш* ***ли****?*; *Ще ми го върнеш* ***ли****?* Интересно, что пока в болгарском языке показатель будущего времени *ще* еще удерживал свою семантическую связь с глаголом желания *ща*, ЛИ ставилось после него: *Ще* ***ли*** *спим още?* (Х. Ботев); *Ами ще* ***ли*** *се оправите на връщане?* (И. Вазов).

3.5.2. **Базисом** для ЛИ может служить любой из элементов предложения, который способен быть фокусируемым (т. е. может быть выделен «логически» и акцентно). Это и глагольное сказуемое (*Той // върнал* ***ли*** *му го е?*), и неглагольный предикат в связочном предложении: *Ами вие // оттук* ***ли*** *сте?*; *Той // в командировка* ***ли*** *е?*, и любой другой член предложения, готовый нести фокусируемую смысловую нагрузку: *Тя // също* ***ли*** *е от България?*; *Той // всичко* ***ли*** *ти разказва?*; *За танци* ***ли*** *сме тръгнали?* (Д. Димов); *Пак* ***ли*** *почваш?*; *Отначало* ***ли*** *да започна?*; *А бе още* ***ли*** *да се разправям?* (С. Стратиев).

Примечательно, что в болгарском языке базисом для ЛИ могут быть частицы «степени» *по-* и *най-*, которые в этом языке имеют самостоятельное ударение и часто являются ударным началом для цепочек клитик: ***Най ги е*** *яд за парите*; *Този път интервюто* ***по се е*** *получило.* На этом фоне использование *по-* и *най-* как базиса для ЛИ в болгарском языке совершенно естественно: ***По ли*** *ще се харесваш с права коса?* — Ты больше будешь себе нравиться с прямыми волосами?; ***По ли*** *ти се нрави една вечно съгласяваща се жена?* — Тебе что, больше нравится, когда женщина вечно соглашается?

Причем не только частицы *по-* и *най-*, в целом обладающие достаточной линейно-синтагматической свободой, но и сами грамматические показатели — морфемы *по-* и *най-* при качественных прилагательных и наречиях (ср. *по-хубав*; *най-добре*) допускают фокусирование с помощью ЛИ: *По* ***ли*** *е хубава новата му кола?*; *Най* ***ли*** *е добре да излезем?* (эти два примера предоставлены д-ром М. Димитровой).

3.5.3. Энклитичность болгарского ЛИ в стандартных функциях обусловлена и просодически, и функционально — она регулярно ставится правее акцентно самостоятельного элемента, маркируемого ею как коммуникативный фокус.

Рассмотрим особые случаи, в которых энклиза ЛИ определяется лишь одним из указанных факторов.

3.5.3.1. **Просодическая энклиза ЛИ**. Важнейшая особенность ЛИ на фоне других сентенциальных клитик болгарского языка заключается в том, что эта типичная энклитика никогда не принимает на себя (даже механически) ударение после болгарской частицы *не*, всегда акцентирующей следующее за ней безударное слово. После отрицательной частицы в болгарском языке могут стоять только клитики, способные принять ударение, — это все клитики, кроме ЛИ. Ударение получает первая же клитика после *не*, остальные продолжают безударную цепочку в порядке, соответствующем их рангам: *Не* ***му́ го*** *казах*; *Не* ***сме́ му се*** *обидили*.

Поэтому порядок следования клитик при начальном *не* требует для болгарского языка оговорки: в вопросительно-отрицательных предложениях с клитиками частица ЛИ отступает на шаг вправо, чтобы дать образоваться базису тактовой группы, т. е. пропускает вперед (следующую по рангу) энклитику, которая и принимает на себя ударение после *не*: ***Не я́ли*** *виждаш?*; ***Не се́ли*** *вижда?*; ***Не ми́ ли се*** *обиждаш?* При этом ЛИ, в соответствии с высотой своего ранга, упорно стремится на первое же место после ударной клитики, ради этого разрывая даже тесно связанную пару местоименных клитик дательного и винительного падежей: *Не* ***ми́ ли я*** *даваш?*; *Не* ***ти́ ли го*** *казах?*

Иначе говоря, другой (но не смысловой) ударный базис для ЛИ становится сильнее ее коммуникативно-смыслового базиса, т. е. ЛИ ставится не после нуждающегося в смысловом выделении слова, а после первого ударного: *Ти не ми́* ***ли*** *го върна вече?* (притом что в смысловом фокусе — основной глагол: Ты разве мне его **еще не вернул**?).

Просодически обусловленную энклизу демонстрирует болгарское ЛИ и в аналитических глагольных формах с полноакцентными вспомогательными глаголами: *Няма* ***ли*** *да ми го дадеш?*; *Щеше* ***ли*** *да му се обаждаш?* Постановка ЛИ после всей формы тоже возможна (*Няма да ми го дадеш* ***ли****?*), но это уже происходит в рамках тех расширений функций ЛИ, о которых пойдет речь далее.

Далее мы увидим, что функциональная энклиза ЛИ (иначе говоря, коммуникативно-смысловое выделение ею всей рематической части вопроса) может менять обычные, в том числе и указанные «просодические», правила постановки ЛИ в болгарском предложении.

3.5.3.2. Функциональная энклиза ЛИ. Обратимся к тем характеристикам болгарского ЛИ, которые связаны с приобретением ЛИ новых функций и которые уже не имеют привязки к просодическим закономерностям.

ЛИ в болгарском языке становится универсальным средством оформления вопроса. В связи с этим оно меняет и свой синтаксис. Основное отличие позиции современного болгарского ЛИ от других славянских языков заключается в двух синтаксических особенностях: а) имеется очевидная тенденция к нерасщеплению именной группы — как при общем, так и при частном вопросе, б) ЛИ способна брать в фокус всю рематическую часть вопроса, выполняя роль «заключительно-удостоверяющего» вопросительного маркера, в том числе в «эхо»-вопросе даже при участии других вопросительных маркеров. Иначе говоря, ЛИ в современном болгарском языке способно завершать и именную группу (даже при вопросе к атрибуту), и весь вопрос.

3.5.3.2.1. Современное болгарское ЛИ, выводя в фокус именную группу или ее атрибут, не расщепляет, а замыкает ее: *А майсторът* // ***възпитан господин ли*** *е?* (Д. Димов); *Ти* // ***всеки ден ли*** *искаш да стават убийства?* (П. Вежинов); *Сега* // *от* ***един нищо и никакъв шофьор ли*** *ще се притеснявате?* (С. Стратиев), в том числе при союзных функциях: *Не знам кой е виновен — ние ли*, *децата ли*, // ***средното училище ли****...* («Арена»).

Расщепление может отсутствовать даже при выраженном контрасте, ср. соответственно эксплицитный и имплицитный контраст (сопоставляемые компоненты выделены): *Ама*, *какво става тук! Тя* ***ваша*** *съученичка ли е*, *или* ***моя****?* (С. Стратиев); *Това тук* // ***вашият*** *подпис ли е?* ***Вашият****. На* ***официален*** *документ ли е? На* ***официален*** (С. Стратиев).

Синтаксические позиции именной группы здесь не имеют существенного значения — это может быть и предикатная группа (как в предыдущем абзаце), и актантная — что, конечно, встречается чаще: *В тази жена* ***ли*** *се беше влюбил?* Не важен и характер расширения (препозитивные или постпозитивные определители, согласованные или несогласованные): ***С този мъж ли*** *ще правиш семейство?*; *Котешкият грим* // *само* ***с черен молив ли*** *го правиш?*; ***В дома на издателя Бисеров ли*** *ви дойде тази идея?* (Ц. Марангозов); — *Братко — обърна се тя към по-високия от тях — вие* // *от* ***болницата на отец Ередия ли*** *сте?* (Д. Димов); *Иван* // ***брат ти ли*** *е?*

Именная группа, которую завершает ЛИ, может быть достаточно протяженная, если включает относительные (определительные)

придаточные: ***Същия ден, когато те би*, *ли*** *е откраднал тия неща?* (Б. Биолчев); *Та тъкмо* ***на човека, който прояви благородство към него, ли*** *ще прави мръсно?* (А. Мандаджиев).

Расщепление именной группы, разумеется, тоже встречается, прежде всего в устной речи при выраженном контрасте и в некоторых типах именных синтагм, см. подробнее [Иванова 2008]: *И тази* ***ли*** *година цялата диплома е балообразуваща?*; *Всички* ***ли*** *овце са такива*, *не знам*, *ама нашата…* (С. Стратиев).

3.5.3.2.2. Функциональная экспансия болгарского ЛИ выражается прежде всего в распространении ее употребления как «удостоверяющей» и заключающей общий вопрос частицы. Такие вопросы наиболее распространены в тех контекстах, когда требуется подтверждение предполагаемой (или оговоренной и очевидной) информации: *Не ми го даваш* ***ли****?*; *Няма да му кажеш* ***ли****?* (на фоне обычных вопросительных предложений *Не ми* ***ли*** *го даваш?*; *Няма* ***ли*** *да му кажеш?*): напр. *Това много ми трябва. Не ми го даваш* ***ли****?* — Мне это очень нужно. Так ты мне (это) не даешь? (‘отказываешься дать’).

Завершающее ЛИ оказывается удобным маркером и для эхо-вопросов: *Няма никакъв начин. — Няма начин* ***ли****? Ти си мислиш така!* — Нет никакого выхода… — Нет никакого выхода (ли)? Я так не думаю! (букв. Это ты так думаешь!).

Исходные (повторяемые) вопросы при этом могут быть не только общими, но и специальными и потому включать знаменательные вопросительные слова (К-слова), но «эхо»-реплика с ЛИ оформляет их как общий переспрос: *Какво мога да ти кажа за тази жена* ***ли****?*, в том числе в составе изъяснительно-вопросительных предложений: *Питаш ме какво мога да ти кажа за тази жена* ***ли***. — Спрашиваешь, что я могу тебе сказать про эту женщину (ли).

См. и другие примеры, где нехарактерное завершающее место частицы ЛИ (без обычного продвижения вперед вместе с фокусируемым элементом) указывает на то, что это удостоверяющий или эхо-вопрос: *Значи*, *обадил ти се е вчера от гарата ли*? — Значит, он позвонил тебе вчера с вокзала (ли)?; *Какво правя в тази кола ли? Чакам едно момиче* (Д. Енев). — Что я делаю в этой машине (ли)? Жду девушку[14].

[14] Прагматика эхо-вопросов с ЛИ остроумно описана болгарским лингвистом Владко Мурдаровым, показавшим распространенность ЛИ-переспросов в ситуации оттягивания ответа или ухода от ответа, ср., напр., диалоговые реплики журналиста и интервьюируемого:

– *Кой трябва да поеме отговорност за допуснатите злоупотреби?*

– *Кой трябва да поеме отговорност за допуснатите злоупотреби* ***ли****?*

Новые функции вопросительной частицы ЛИ в болгарском языке, не требующие обязательной просодической привязки к ударному компоненту, являются расширением ее иллокутивной функции. Частица ЛИ становится универсальным маркером вопросительного предложения — как для *да*/*нет*-вопросов, так и для «неистинных» вопросов различной структуры.

Надо заметить, что такое распространение функций ЛИ происходит на фоне выхода из обращения других болгарских вопросительных частиц, в частности *нима* и *мигар.* Теперь же, принимая на себя «заключительно-удостоверяющие» функции, ЛИ становится конкурентом и специально предназначенных для этого частиц *нали*, *така ли*.

Почему болгарский язык стал использовать именно этот универсальный маркированный способ, в то время как другие славянские языки избавляются от «безликого» ЛИ-маркера, расширяя круг семантически непустых частиц или довольствуясь только интонацией? Как представляется, ответ может быть связан с большей сглаженностью интонационного контура болгарского вопроса по сравнению с другими славянскими языками. В частности, экспериментальными данными доказано, что интонационные реализации болгарских вопросительных предложений с ЛИ хоть и близки к параметрам русского контура ИК-3, но выделение интонационного центра по высоте и характеру подъема и падения тона на гласном центра менее контрастно, чем в русском. Это проявляется и в акценте болгар при произнесении русских вопросов с ИК-3: интонационные нарушения таковы, что приводят к стертости коммуникативного предназначения фразы (вопрос? сообщение?), см. об этом [СБРГ I: 248–251]. Маркер ЛИ, безусловно, является существенной эксплицитной поддержкой для формирования вопросительного предложения в болгарском языке.

Таким образом, судьба частиц БЫ и ЛИ как энклитик поразному сложилась в южнославянских языках. Показатель сослагательного наклонения БЫ отличается бóльшей неустойчивостью энклитических характеристик: будучи только компонентом грамматической формы, эта молодая энклитика не имела блокирующих перестановку факторов. Энклиза ЛИ оказалась закреплена надежнее, чем у других энклитик, благодаря ее специфической

(Кто должен принять на себя ответственность за допущенные злоупотребления? — Кто должен принять на себя ответственность за допущенные злоупотребления (ли)?).

коммуникативной функции в предложении — как маркера фокуса для левостоящего элемента. Это создает цельность просодико-функциональной энклизы ЛИ, позволяя ей (по крайней мере в рамках типичных ее функций) оставаться наиболее последовательной «ваккернагелевской» клитикой.

Литература

Зализняк 2008 — *Зализняк А. А.* Древнерусские энклитики. М., 2008.

Зализняк 1993 — *Зализняк А. А.* Место энклитик в предложении и их порядок // Янин В. Л., Зализняк А. А. Новгородские грамоты на бересте: Из раскопок 1984–1989 гг. М., 1993.

Иванова 2008 — *Иванова Е. Ю.* Болгарское и русское ЛИ в свете закона Ваккернагеля // Лингвистични дискурси. Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. д.ф.н. Стефана Димитрова. Пловдив, 2008.

Иванова 2012 — *Иванова Е. Ю.* Клитики и расщепление именной группы (грамматика и семантика) // XXXIX Меѓународна научна конференција (Охрид, 20–21 јуни 2012). Лингвистика. Скопје, 2012 (в печати).

Минлос 2003 — *Минлос Ф. Р.* Некоторые особенности поведения русской клитики ЛИ // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии. Труды международного семинара Диалог'2003. М., 2003.

Николаева 2008 — *Николаева Т. М.* Непарадигматическая лингвистика (История «блуждающих частиц»). М., 2008.

Поповић 1997 — *Поповић Љ.* Ред речи у реченици. Београд, 1997.

СБРГ — Сопоставительная болгарско-русская грамматика. Т. 1: Фонетика / Под ред. С. Димитровой. Шумен, 2009.

Синтакса 2005 — Синтакса савременога српског језика: проста реченица / Пипер П. и др. Београд, 2005.

Тантуровска 2005 — *Тантуровска Л.* Директниот и индиректниот објект во македонскиот стандарден јазик. Скопје, 2005.

Тантуровска 1998 — *Тантуровска Л.* Директниот и индиректниот објект во јазикот на македонските автори од XIX век. Скопје, 1998.

Толстая 2000 — *Толстая М. Н.* Форма плюсквамперфекта в украинских закарпатских говорах: место вспомогательного глагола в предложении // Балто-славянские исследования 1998–1999 [XIV]. М., 2000.

Циммерлинг 2001 — *Циммерлинг А. В.* Синтаксис слабоударных элементов предложения в русском языке // Русский язык: исторические судьбы и современность. М., 2001.

Циммерлинг 2012 — *Циммерлинг А. В.* Системы порядка слов в славянских языках // Вопросы языкознания. 2012. № 5.

Циммерлинг 2013 — *Циммерлинг А. В.* Типология порядка слов в славянских языках // Вяч. Вс. Иванов (ред.). Исследования по типологии славянских, балтийских и балканских языков. СПб., 2013.

Bošković 2000 — *Bošković Ž.* Second Position Cliticisation: Syntax and/or Phonology? // Clitic phenomena in European languages / Frits Buekema and Marcel den Dikken, eds. Amsterdam, 2000.

Clilics 1999 — Clitics in the languages of Europe / Ed. by H. Van Riemsdijk. Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 1999.

Clitics 1997 — Clitics, pronouns and movement / Ed. by J. R. Black. Amsterdam; Philadelphija, 1997.

Е. Э. Пчелинцева

Аспектуальность отглагольных имен действия в русском, украинском и польском языках

1. Предварительные замечания

Как известно, традиция резкого разграничения категорий имени и глагола берет начало еще в древнеиндийских и античных грамматиках. Однако для современного языкознания, скорее, характерна идея неправомерности их абсолютного противопоставления и отсутствия между ними непереходимой грани, что подтверждается, в частности, фактами языков Северной Америки, в которых часто отсутствует формальное различие между именем и глаголом [Есперсен 1958; Бенвенист 2009; Иванов Вяч. Вс. 2004]. В русле этого подхода находятся многочисленные исследования, посвященные сохранению глагольности в именах действия. Гибридный характер имен действия порождает ряд вопросов в отношении категориальной семантики: является ли девербатив глагольной формой, какие глагольные категории сохраняет, а какие утрачивает, как влияет редукция глагольности на функциональные свойства имен и пр.

Отглагольные имена действия в русском, украинском и польском языках, как и все имена существительные, имеют грамматическое значение субстанциональности, стандартный набор грамматических категорий и синтаксических функций, но, в то же время, сохраняют ряд грамматических дифференциальных признаков мотиватора. Отечественных и зарубежных языковедов интересует способность девербативов сохранять глагольные залоговые [Есперсен 1958; Петров 1985], временные [Арутюнова 1976; Казаков 1993], видовые значения [Иванникова 1972; Теньер 1988], выражать таксисные

Елена Эдуардовна Пчелинцева,
Институт лингвистических исследований РАН (Санкт-Петербург)

Исследование выполнено при поддержке Фонда Президента РФ, грант НШ-1348.2012.6 «Петербургская школа функциональной грамматики».

отношения [Золотова 1998]. В последние годы в целом ряде работ изучалась проблема аспектуальности имен действия в функциональном, семантическом, формальном аспектах [Падучева 1991; Зализняк Анна А. 2007; Пазельская 2003; Миронов 2008]. Глагольность украинских девербативов была предметом исследования в работах [Ращинская 1968; Юрчук 1975; Марван 1992]. Особенности репрезентации глагольных признаков в польских отглагольных дериватах рассматриваются в работах [Tokarsky 1951; Grzegorczykowa 1979; 1990; Puzynina 1979; Jędrzejko 1993; Vetulani 2000].

Особый интерес представляют сохранение и репрезентация отглагольным именем семантических признаков, составляющих семантическую категорию аспектуальности. Если в глаголе аспектуальные значения регулярно выражаются с помощью видовых оппозиций, временной парадигмы, а также способов глагольного действия, то в производном имени действия семантика вида, как правило, в разной степени нейтрализована, значение глагольного времени полностью утрачено. Тем не менее, как в словаре, так и в речи имя действия в русском, украинском и польском языках обнаруживает аспектуальное небезразличие.

Выбор названных языков не случаен. Польские и украинские имена действия более «глагольны», чем русские: они гораздо регулярнее образуют видовые пары и в некоторых грамматиках включаются в парадигму глагола. В самом общем виде разницу между девербативами в исследуемых языках можно сформулировать следующим образом: в русском языке образование имен действия, во-первых, нерегулярно, во-вторых, сопровождается утратой важных семантических компонентов. В украинском языке девербативы более «глагольны», чем в русском, и образуются значительно регулярнее. В польском языке большинство глаголов (но не все!) могут быть номинализированы, при этом большая часть их категориальных значений сохраняется. Поскольку нас интересует степень сохранения глагольной семантики, рассмотрим вопрос подробнее.

Тривиальным является факт, что русские отглагольные существительные практически утратили формальные видовые показатели — и как следствие, функциональную дифференциацию по виду. Из 5500 русских отглагольных имен[1] только 414, по нашим подсчетам,

[1] Материал для исследования получен методом сплошной выборки русских отглагольных имен действия из Словаря современного русского литературного языка в 17 т., Словаря русского языка под ред. А. П. Евгеньевой в 4-х томах. Корпус украинских девербативов составлен на основе Словника української мови в 11 томах. Польские девербативы были выбраны из Słownika języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 1–3; Praktycznego słownika współczesnej polszczyzny, red. H. Zgółkowa, t. 1–50.

сохранили формальные коррелятивные видовые пары типа *накапливание — накопление*, при этом в речи такая дифференциация — большая редкость и является скорее исключением.

В украинском языке ситуация иная: по данным Г. Н. Ращинской, более половины корпуса украинских отглагольных имен сохранили формальную и семантическую коррелятивность с обоими членами видовой глагольной пары (*вивчання — вивчення*) [Ращинская 1968]. И хотя украинские грамматики не относят имя действия к парадигме глагола, не выделяют категории вида у отглагольных существительных, но в любом современном учебнике по научно-технической или деловой речи обязательно найдутся рекомендации по употреблению отглагольных существительных — в соответствии с видом мотивирующего глагола. Например, в одном из наиболее удачных и пользующихся спросом справочников для ученых, которые хотят усовершенствовать свое владение научным стилем украинской речи, — «Сам собі редактор» Н. Ф. Непийводи — читаем: «Коли ідеться про сприймання як процес, що ще не закінчився, вживають термін, який походить від дієслова недоконаного виду — *сприймання*, коли ж характеризується процес у цілому, як цілісне явище, віддають перевагу іменникові *сприйняття*» [Непийвода 1996] — то есть речь идет, по сути, о последовательной дифференциации парных девербативов по видовому показателю. Та же тенденция действует при употреблении девербативов в украинской художественной речи, ср.: *Я малюю їй найбільш безнадійні хмарні картини, які доводять мене самого мало не до щирого* ***роздратовання*** (Винниченко) — *Це не життя, а безпотрібне, безладне витрачання часу і постійне* ***дратування*** (Винниченко).

В польском языке, как известно, отглагольные имена сохраняют больше глагольных значений: вид, залог, возвратность, основное управление, способность иметь обстоятельства. Их прагматические параметры выражены менее ярко: поскольку девербативы в польском языке регулярнее, чем в русском, они более привычны, более «нормальны» в речи, чем соответствующие образования в русском языке, ср.: *Kto wydał rozkaz strzelania? — Кто приказал стрелять? — *Кто отдал приказ стреляния* (*стрельбы*)*?*; *Biegliśmy, aż do wyschnięcia. — Мы бежали, пока не высохли. — *Мы бежали аж до высыхания*. Это подтверждается и количественным анализом переводов польских текстов, содержащих отглагольные имена действия, на русский язык: по данным Ю. Н. Федоровой, только половина отглагольных имен (47,4%) переводится на русский язык аналогичными отглагольными образованиями. В остальных случаях переводчик избирает инфинитив (20%), личные формы глагола

(6%), причастия и деепричастия (5%) и другие способы перевода [Федорова 2006].

В связи с таким различием в образовании и употреблении девербативов в исследуемых языках представляется важным следующее. Согласно новейшим сопоставительным исследованиям семантики и функционирования глагольного вида, грамматическое содержание совершенного вида в западных и восточных славянских языках отнюдь не идентично: в западнославянской подгруппе основным значением совершенного вида является простое понятие целостности, в восточнославянской — значение временно́й определенности[2]. К этому выводу приходит С. Дики в работе [Dickey 2000]: «My overall point, which may not be clear from this chapter alone, is that one can explain the lack of pairs of verbal nouns in contemporary Russian and Ukrainian by assuming the incompatibility of „temporal definiteness“ as the meaning of the perfective aspect in those languages with the temporally stable nature of nouns. This clash does not occur in other languages, e. g., Polish, where the simpler concept of „totality“ (celostnost’) is a main meaning of the perfective» [Dickey 2000]. Эта же идея высказывается в работах амстердамской аспектологической группы под руководством А. Барентсена, а также в исследованиях Р. Бенаккьо: анализ поведения разных групп славянских языков при выражении повторяемости действия указывает на «экспансию» совершенного вида в западнославянских языках по сравнению с восточнославянскими [Barentsen 2011; Benacchio 2011]. Это означает, что, несмотря на общую историю формирования этой глагольной категории, семантическое пространство совершенного вида в западнославянских языках шире, чем в восточных. Возможно, это интересное наблюдение имеет непосредственное отношение к интересующему нас вопросу об отглагольных именах. Существен в этом контексте тот факт, что именно в западнославянских языках имена действия имеют практически регулярную соотносительность по виду. Возможно, что целостность не препятствует образованию имен действия, в то время как временна́я определенность оказывается несовместимой со стабильным во временно́м плане характером существительных. Поскольку выяснение столь тонких семантических различий между видовыми значениями в родственных языках — это задача скорее перспективная

[2] Вслед за А. В. Бондарко мы понимаем целостность как представление действия вне членения на фазы, без выражения внутренней динамики его протекания во времени [Бондарко 2011: 360–367], а временную определенность — как ограниченность действия пределом, акцентирование временно́й границы проявления действия (в этом смысле временна́я определенность, по всей видимости, соответствует понятию количественно-временного предела действия).

и, по всей видимости, требующая совместных усилий целой группы исследователей, то в этой статье мы ставим перед собой более скромную цель: выяснить, какой глагольный аспектуальный семантический признак не сочетается с категориальной формой существительного и препятствует транспозиции глагола в имя действия. При этом мы берем за основу семантику более узких аспектуальных разрядов — способов глагольного действия.

2. Основные понятия и принципы анализа

Согласно [ТФГ 1987], в составе категории аспектуальности выделяются семантические признаки кратности, длительности, интенсивности, фазовости, лимитативности, перфектности, а также различия между собственно действием (акциональность), состоянием (статальность) и отношением (реляционность). Одним из важных средств формирования аспектуальной семантики в русском языке являются аспектуальные разряды — способы глагольного действия. С позиций структурной грамматики, способы действия — это семантико-словообразовательные группировки глаголов, «в основе которых лежат формально выраженные модификации значений беспрефиксных глаголов с точки зрения временных, количественных и специально-результативных характеристик» [Русская грамматика 1980, 1: 596; Авилова 1976]. В соответствии с другой точкой зрения, любой глагол русского языка может быть охарактеризован в отношении его способа действия, независимо от формальной выраженности, то есть способ действия является, в первую очередь, семантической характеристикой глагола [Маслов 1959; Бондарко 1967; Шелякин 1983]. Принимая в целом семантическую интерпретацию аспектуальных разрядов глаголов, мы в данном случае сосредоточили основное внимание на морфемно-характеризованных СД, поскольку это позволяет более строго соотнести аспектуальные значения с формальными средствами их выражения.

Семантика глагольных аспектуальных разрядов — способов действия — это существенный признак семантической структуры девербативов, который до сих пор мало учитывался при исследовании отглагольных имен. Но даже по самым скромным подсчетам от глаголов морфемно-характеризованных СД в русском языке образовано более 2000 существительных со значением действия! В польском и украинском их количество еще больше. Это представляется достаточным основанием для того, чтобы принять во внимание этот уровень аспектуальной семантики при анализе девербативов. В основание анализа положена словообразовательно-семантическая

соотнесенность производных существительных с глаголами определенных способов действия. Анализируя отглагольные существительные, мы опирались на классификацию способов действия, предложенную М. А. Шелякиным [Шелякин 1983]. В качестве дополнительных привлекались также классификации, представленные в работах [Русская грамматика 1980; Маслов 1984; Бондарко, Буланин 1967; Авилова 1976; Шелякин 2001].

Безусловно, релевантными для формирования аспектуальной семантики девербатива являются и видовая характеристика, и аспектуальный класс мотивирующего глагола, и его предельность / непредельность [см., например, Пчелинцева 2009; Пазельская 2003]. Но, учитывая сложность и многомерность категории аспектуальности, в данном случае мы исследовали влияние семантики способа действия мотивирующего глагола: вначале были выделены классы имен, мотивированные глаголами определенных способов действия, а затем полученные группы были объединены по превалирующему семантическому признаку (интенсивности, длительности, фазовости, предельности, кратности). Далее мы сопоставили полученные аспектуальные группировки отглагольных имен действия и соответствующие глагольные разряды, установив таким образом словообразовательные лакуны и объединяющий их семантический признак. Для достижения максимальной объективности результатов был проведен сплошной количественный анализ русских глаголов морфемно-характеризованных способов действия с точки зрения их продуктивности по отношению к именам действия. Данные польского и украинского языков привлекаются преимущественно в сопоставительном аспекте.

3. Семантика интенсивности

Мы исходим из понимания интенсивности как количественного изменения признака, «уровня развития признака в рамках данной меры, не влекущего за собой изменение данного качества» [Шейгал 1981: 13]. Диапазон значений интенсивности — компонента количественной аспектуальности[3] — в отглагольных именах действия достаточно широк: от неполноты, ослабленности действия «аттенуативных» имен (*подкрашивание*) до высокой степени проявления признака в «усилительно-интенсивных» (*разгул*). Мы расположили соответствующие именные группировки по мере возрастания в них

[3] См. другой подход к интерпретации интенсивности у С. Е. Родионовой: [ПФГ 2005].

степени проявления рассматриваемого признака. Самая слабая степень интенсивности выражается глаголами аттенуативного способа действия. От них регулярно образуются имена действия во всех исследуемых языках: рус. *приостанавливание*, *надкалывание*, *замывание*, *подкрашивание*, *подсаливание*, *насвистывание* (более 100 единиц), укр. *надколювання*, *надрізання*, *замивання*, *підкормка*; пол. *nagranie*, *pogwizdywanie*, *podkarmiacz* и под.

Бóльшая степень интенсивности выражается в глаголах интенсивно-усилительного способа действия. Формальный показатель — префикс *раз-* (*рас-*). Этим параметрам соответствует 20 русских производных девербативов. Все имена действия образованы от парновидовых глаголов: *разрабатывание — разработка* (*проекта*), *разогревание — разогрев*, *расспрашивание — расспрос* и т. д. Аналогичные девербативы в небольшом количестве представлены в польском: *rozpałka*, *rozpalanie*; в украинском: *розроблянння — розробка*, *розпитування*, *розкурювання* и под. От глаголов с высокой степенью интенсивности — интенсивно-процессного и усилительно-интенсивного способов действия — в русском языке образуется лишь несколько имен действия: *выспрашивание*, *выпытывание*, *выпрашивание*, *вымучивание*, *вымаливание*, *выклянчивание*, *распаривание — распарка*, *раскуривание — раскурка* (*костра*, *огня*), *раскачивание — раскачка*, *разгул — разгулье*, *размах*, *разлет* и т. д. Сходные образования немногочисленны и в сопоставляемых языках: пол. *dowiadywanie się*, *wywiadywanie się*; *rozmach*, *wymach*, *rozpalenie*; укр. *виторговування*, *виговорювання*, *вивідування*; *розпал*, *розпалювання*, *розігрів*, *розкурювання*, *розкурка* и некоторые другие.

Крайняя степень интенсивности выражается в длительно-усилительном, интенсивно-качественном и чрезмерно-интенсивном способах глагольного действия. Имена существительные, образованные от русских глаголов с длительно-усилительной семантикой, в БАС и МАС отсутствуют[4]. Не зафиксировано в академических словарях и девербативов, образованных от глаголов интенсивно-

[4] Однако в орфографических словарях последнего десятилетия кодифицировано отглагольное образование *дозвон* (и как вариант — *автодозвон*), прочно вошедшее в устную речь со значением «функция, программа Интернет- или мобильной связи», например: *Это удобная программа дозвона, насыщенная необходимыми функциями. Дозвон и отключение производятся «горячими» клавишами* [Интернет-ресурс. Режим доступа: http://missioner2.narod.ru/programs/internet/dozvon.htm]. На наш взгляд, в этом случае происходит погашение длительно-усилительной семантики и актуализируется общерезультативное значение, не препятствующее образованию имени действия.

качественного (*набедоваться*) и чрезмерно-интенсивного[5] (*уездиться*) способов действия. Анализ польского и украинского материала также не выявил именных классов, соотносительных с глаголами длительно-усилительного, интенсивно-качественного и чрезмерно-интенсивного способов действия.

Показатели словообразовательной активности глаголов интенсивных способов действия во всех исследуемых языках представлены в Таблице 1:

Таблица 1

Аспектуальная семантика (в порядке усиления признака интенсивности)	Процентное соотношение глаголов и производных имен	Примеры глаголов: рус., укр., пол.	Примеры отглагольных имен действия
Аттенуативные	95–100%	*приостановить* *надколювати* *podkarmiać*	*приостановка* *надколювання* *podkarmianie*
Интенсивно-процессные	75–80%	*выклянчить* *вивідувати* *wywiadywać się*	*выпытывание* *вивідування* *wywiadywanie się*
Интенсивно-усилительные	45–50%	*раскурить* *розпарити* *rozpalać*	*распаривание* *розробляння* *rozpalanie*
Усилительно-интенсивные	13–15%	*разлетаться* *распрыгаться* *розмахатися* *розтанцюватися* *roz…* *rozdyskutować się*	*разлет* — *розмах* — *rozmach* —
Длительно-усилительные	0%	*дожидаться* — ? *дочекатися* — ? *dowołać się* — ?	—
Интенсивно-качественные	0%	*наголодаться* — ? *наголодуватися* — ? *nasiedzieć się* — ?	—
Чрезмерно-интенсивные	0%	*уездиться* — ? *укоситися* — ?	—

[5] Другие ЛСВ таких глаголов, например, с результативной семантикой, свободно мотивируют имена действия, например: *укатка*, *упарка*, *уход* и т. д.

Расхождения по трем языкам оказались незначительными (до 5%) и не повлияли на общую тенденцию. Количественное сравнение выделенных классов существительных с соответствующими глагольными группировками показывает, что уровень словообразовательной активности соответствующих глаголов находится в прямой зависимости от степени проявления данного значения: чем выше интенсивность глагольного способа действия, тем ниже продуктивность глагола по отношению к девербативам. Определенную роль здесь, вероятно, играет тот факт, что параллельно с увеличением степени интенсивности усиливается эмоционально-экспрессивная окраска. Однако, как кажется, здесь возможно и другое объяснение: вместе с ростом интенсивности усиливается семантика количественно-временной предельности, доходя до максимума в интенсивно-качественных, чрезмерно-интенсивных и длительно-усилительных СД. Глаголы, выражающие крайнюю степень интенсивности действия, демонстрируют в данном случае нулевую продуктивность: имена действия от них не образуются ни в одном из исследуемых языков.

4. Семантика кратности

Кратность — компонент количественной аспектуальности — реализуется в результате взаимодействия двух значений — однократности и многократности. Согласно [ТФГ 1987], многократность может выступать в трех разновидностях: мультипликативной, дистрибутивной и итеративной, которые отличаются рядом признаков. Мы предположили, что разные виды кратности могут вести себя по-разному при номинализации глагола. Соответственно были выделены группы русских, украинских и польских существительных, образованных от глаголов с мультипликативной, дистрибутивной и итеративной семантикой.

Мультипликативная неоднократность (ограниченное или неограниченное пределом монотемпоральное множество повторяющихся микроситуаций, в которых задействованы одни и те же участники) характерна для классов имен действия, образованных от глаголов прерывисто-смягчительного, процессно-комитативного, процессно-длительного, осложнено-интенсивного, длительно-взаимного способов действия[6]. Каких-либо заметных ограничений на их образование

[6] Мультипликативная неоднократность может быть также представлена как ограниченное пределом множество ситуаций (*попрыгать*,

нет. Например, от глаголов прерывисто-смягчительного способа действия в русском языке образовано более 50 лексем (*поплясывание*, *попискивание*, *покрикивание*, *позвякивание* и т. д.), все они имеют значение прерывистости, нерегулярной кратности, неполноты действия, различных конкретных движений или звуков и реализуют в речи оттенки имперфективного значения. Ср. в польском: *popiskiwanie*, *pobrzękiwanie*, *postukiwanie*, *poświst*, *poświstywanie*, *pogwizdywanie*; в украинском: *посапування*, *постукування*, *постогнування*, *посмоктування*. Не встречает каких-либо ограничений образование девербативов от процессно-комитативных глаголов: рус. *подыгрывание*, *подсвистывание*, *приплясывание*, пол. *podrygiwanie*, *przebieranie*, *przygwizdywanie*, укр. *підтанцьовування*, *підсьорбування*, *підсвистування* и т. д.; от процессно-длительных глаголов: рус. *разгуливание*, *размахивание*, *раздумывание*, *распевание*, *расхаживание*, пол. *roztyślanie*, укр. *розкурювання*, *розмахування*, *роздумування*, *роздумы* и пр.; от осложненно-интенсивных глаголов: рус. *выщелкивание*, *вызванивание*, *высматривание*, *выстукивание*, пол. *vyzvanivanie*, *vysmatrivanie*, укр. *видзвонювання*, *вигукування*; от глаголов длительно-взаимного способа действия: рус. *пересмеивание*, *пересвистывание*, *пересвист*, *перешептывание* и т. д. Длительно-взаимное значение в польском языке передается другими средствами, а вот в украинском аналогичные примеры есть: *перешіптування*, *перештовхування*, *перешушукування* и под.

Другим семантическим типом неоднократности является дистрибутивная неоднократность, характеризующаяся обозначением монотемпорального множества повторяющихся микроситуаций, в каждой из которых задействованы различные единичные представители совокупного актанта. Существенным для нас отличием этого типа неоднократности от предыдущего является обязательное (имплицитное или эксплицитное) присутствие признака ограниченности пределом, то есть пересечение с полем лимитативности. Дистрибутивная неоднократность характерна для классов имен, образованных от глаголов дистрибутивно-суммарного, кумулятивного

застучать). Это значение релевантно для начинательных и длительно-ограничительных глаголов, образованных от исходных многоактных. В русском языке такие глаголы не мотивируют имен действия (в польском и украинском ситуация аналогична), и значение мультипликативной неоднократности, ограниченной пределом, может выражаться только средствами контекста: *После некоторого* ***колебания*** *он сказал твердо, но по-дружески* (М. Филиппов) = *поколебавшись немного...*; *Вдруг в окне раздался* ***стук***, *такой громкий и необычайный, что Савелий побледнел и присел от испуга* (Чехов) = *Вдруг в окно застучали...*

и тотального способов действия. Группа имен, образованных от дистрибутивно-суммарных глаголов, является немногочисленной, ее состав определяется степенью выраженности признака ограниченности пределом. Так, для русских образований с приставками *раз-* и *об-* релевантны предельность в потенциальной форме и наличие признака процессуальности. Мы обнаружили в русском языке около 60 соответствующих имен с дистрибутивно-суммарным значением: *разбрызгивание* (*во все стороны*), *рассылание* (*во все концы*), *обдаривание*, *обшаривание*, *обход*, *опрашивание*, *объезд*, *охват*, *охватывание* и пр. Подобная ситуация в польском и в украинском языках: предельность в потенциальной форме не мешает образованию девербативов: пол. *rozesłanie* / *rozsyłanie*, *obdarzenie*, *obchód*; укр. *обдарування*, *розсилання* и т. д.

Подкласс имен действия, образованных от дистрибутивно-суммарных глаголов с префиксом *по-* и *пере-*, оказался пустым — такие девербативы в русском, польском и украинском языках отсутствуют[7]. Предположительная причина: глаголы типа *пострелять* (*всех птиц*), *перецеловать*[8] (*всех девушек*), *wystrzelać*, *powspominać*, *wycałować*; *позгадувати*, *перецілувати* и под. эксплицитно предельны, лишены признака процессуальности и обозначают конечное множество повторяющихся ситуаций. Таким образом, дистрибутивно-суммарные глаголы обнаруживают различную продуктивность по отношению к именам действия в зависимости от характера признака предельности в их семной структуре.

Класс имен, мотивированных кумулятивными глаголами, также является пустым — в исследуемых языках не обнаружено ни одного девербатива, образованного от глаголов с такой семантикой (хотя, например, в русском языке таких глаголов насчитывается почти 200 единиц): *накосить* (*травы*) — **накошение*, *настирать*

---

[7] Процессно-результативные ЛСВ таких глаголов мотивируют девербативы: *побуждение* (*побудить всех соседей*?), *порез* (*порезать всех кур*?), *подавление* (*подавить всех комаров*?), *погружение* (*погрузить все мешки*?), *поломка* (*поломать все стулья*?).

[8] Глаголов с префиксом *пере-* и дистрибутивно-суммарным значением насчитывается около 350. Если дистрибутивный ЛСВ является единственным, то имя от него не образуется: *переловить*, *перетерять*, *перецеловать*. Несмотря на то, что, согласно словарным данным, в приведенных ниже девербативах присутствует дистрибутивно-суммарное значение: *перемежевка* (*участков*), *перекраска* (*всех заборов*), *переклепка* (*всех кастрюль*), *перевеска* (*всех игрушек*), *перепашка* (*всех участков*), *перемерка* (*всех платьев*), *перемол — перемолот* (*всего зерна*), мы не обнаружили ни одного случая соответствующего употребления этих имен.

(*белья*) — **настирание*, *наделать* (*посуды*) — **наделание*, *надавать* (*подарков*) — **надавание*[9]. Аналогично в польском: глаголы *naprać*, *nanieść*, *nasprasząć* и подобные им не образуют девербативов.

От глаголов тотального способа действия в русском языке обнаружено более ста единиц (на почти 200 глаголов): *изукрашивание*, *израсходование*, *изнашивание*, *изрисовывание*, *изувечивание*, *вытаптывание* и т. д., достаточно продуктивна эта модель в польском и украинском языках: пол. *zarysowanie*, *okaleczenie*; укр. *витоптування*, *витруювання* и под. Основная аспектуальная семантика — крайняя степень интенсивности действия, проявляющаяся в его рассредоточенном воздействии на весь субъект или объект. Интенсивность действия обусловливается тем, что актант состоит из максимального количества своих частей, и это увеличение его составляющих до максимума оценивается как качественное изменение. Характерно, что имена действия образуются только от глаголов, способных образовывать имперфективные формы, и в большинстве случаев словообразовательно соотносятся именно с имперфективной основой.

Таким образом, реализация в именах дистрибутивной неоднократности возможна только при условии имплицитного потенциального характера признака предельности мотивирующего глагола. Семантика реального предела кратного дистрибутивного действия, по всей видимости, входит в противоречие с именной формой выражения.

В качестве фактора, ограничивающего реализацию семантического признака кратности в девербативах, выступает тип отношения кратного действия к пределу: девербатив может выражать непредельное повторение действий или содержать признак предельности в потенциальном виде (в качестве стремления действия к достижению предела). Реальный тип количественно-временного предела кратного

---

[9] Однако чаще всего кумулятивность — это только одно из значений глагола, и в этом случае имя действия потенциально возможно, но соотносится оно с общерезультативным ЛСВ: *нажатие* — действие по значению глагола *нажать* — *нажимать* в значении «произвести давление», то есть «*нажать на что-то*». ЛСВ *«выжать сок в определенном количестве»* (*нажать банку сока*) не образует девербатив. Аналогично в следующих девербативах: *нажим* (*нажать сока* — **нажим сока*), *набивка* (*набить орехов* — **набивка орехов*), *нанесение* (*нанести подарков* — **нанесение подарков*), *навязка* — (*навязать кофт* — **навязка кофт*), *наезд* — *наездка* (*наехала уйма гостей* — **наезд уймы гостей*), *наведение* — *наводка* (*навести кучу гостей*), *налет* (*налетело птиц*), *навал* — *навалка* (*навалить кучу земли*). Аналогично украинские лексемы *надоювання*, *нажарювання*, *наживання*, *нажинання*, *назбирування* мотивированы исключительно общерезультативными глаголами НСВ.

действия является для них нерелевантным. В наибольшей степени это ограничение касается дистрибутивного типа неоднократности, так как в нем ограниченность пределом выступает наиболее явно.

5. Семантика длительности

Семантический признак длительности может иметь имплицитный и эксплицитный характер, выражаться внутренними и внешними (контекстуальными) средствами. Нас интересует внутренняя длительность, внешняя же учитывается лишь постольку, поскольку в ряде случаев сочетаемость с детерминантами является маркером определенной аспектуальной структуры. Неопределенная разновидность этого признака представлена в тех случаях, когда временная протяженность по своим признакам явно не характеризована. Такая длительность свойственна, например, рассмотренным выше именам действия с итеративной семантикой, в которых она является одновременно прерывной и пересекается с полем кратности. Что касается выражения именем семантики определенной длительности, то здесь обнаруживаются существенные отличия имени от глагола. Остановимся на этом подробнее.

Класс имен, образованных от глаголов чрезмерно-длительного и чрезмерно-продолжительного способов действия (чрезмерная частотность или продолжительность действия, в результате чего объект приобретает отрицательно оцениваемое состояние), в исследуемых языках немногочислен — всего лишь несколько единиц: рус. *загляденье*, *застаивание*, *засиживание*; пол. *wycieńczenie*, *wyczerpanie*, *zapatrzywanie*, *zależywanie*; укр. *виснаження*, *знос*, *знемога*, *застій* и под. Характерно, что другие ЛСВ таких глаголов более продуктивны, например: *заговаривание* (начинательное и чрезмерно-продолжительное значение *заговорить*), *заигрывание* (чрезмерно-продолжительное значение *заиграть*), *застирывание* (аттенуативное и чрезмерно-продолжительное значение *застирать*) и т. д.

Группа имен, мотивированных глаголами пердуративного (длительно-ограничительного) способа действия, представлена буквально единичными существительными (в отличие от соответствующих глагольных разрядов, насчитывающих в исследуемых языках от 400 до 500 лексем): *перезимовка*, *перезимовывание*, *передержка* (*проф.*), *отслуживание*, *отгуливание* (*положенного времени*), *отбывание — отбытие* (*срока*); *przestój*, *odbywanie*, *odsiadywanie*, *odsiadka*; *простій*, *відбування*, *відгул*, *відгулювання*, *відсиджування*. Отличительным признаком этих немногочисленных (в сравнении с качественно-

оценочными и др.) девербативов с пердуративным значением является сочетаемость с обстоятельствами ограниченной длительности: *двухдневный простой*, *трехлетняя отработка* (сравните невозможность сочетания: **двухдневный проход*, *пропарка*, *пересып* и пр.). Класс имен, образованных от делимитативных глаголов с префиксами *по-*, *про-*, *при-*, *вз-*, *пере-*, оказался пустым: анализ русских глаголов с ограничительным значением, для которых оно является единственным (как *позубрить*, *покипеть*), показал, что имена действия от них не образуются[10]. В украинском языке сходная ситуация: есть несколько девербативов (*посидінки*, *посидіння*, *посиденьки*, *посидіннячко*, *посідання*, *посідки*, *перекус*, *перекуска*, *перекушування*), которые формально образованы от делимитативных глаголов, однако практически не сохраняют этого аспектуального значения, именуя целостную ситуацию. В польском языке мы не обнаружили соответствующих коррелятов (ср., например: *posiedzieć*, *potańczyć*, *potrzymać* — имен действия нет), и даже привычное *перекур* передается словосочетанием *przerwa na papierosa*.

Классы имен, образованных от глаголов сативного, финально-отрицательного и сверхнормативно-длительного способов действия в русском, украинском и польском языках отсутствуют. Если такое аспектуальное значение является единственным[11] (этим характеризуется примерно половина рассмотренных глаголов), то глагол вообще не способен словообразовательно мотивировать имя действия (рус. *наволноваться*, *доплакаться*, *насердиться*; укр. *натанцюватися*, *докричатися*; пол. *nasiedzieć się*, *doigrać się* и т. д.).

Таким образом, специфика отглагольного имени в выражении значений длительности обнаруживается в области пересечения семантических признаков длительности и лимитативности

---

[10] Аналогичные словообразовательные последствия дает сочетание указанного значения с дистрибутивно-суммарным (*попугать — немного*, *всех детей* — девербатива нет; *помотать — все нитки*, *немного* — девербатива нет, и т. д.). 40 глаголов с *по-*, которые совмещают с ограничительным другие аспектуальные значения, образуют имена действия с общерезультативными, конструктивными и другими значениями: *погашение*, *погрешение*, *погром*, *погрузка*, *порез*, *порезка*, *построение* и т. д.

[11] Кумулятивные, общерезультативные или аттенуативные ЛСВ соответствующих глаголов мотивируют имена действия. Сативные: *накачка*, *навозка*, *наглядка*, *набег*, *наброска*, *навалка*, *намолот* и т. д. Финально-комплетивные: *долечиться* (*закончить лечиться*, *...до плохих последствий*) — *долечивание*, *докупаться* (*закончить купаться*, *...до простуды*) — *докупывание*, *докваситься* (*закончить кваситься*, *...до плохих последствий*) — *докваска*, терминативно-локальный: *допалзывание*, *доезжание — доездка*, *доплескивание*, *допечатывание* и т. д.

(ограниченности действия тем или иным пределом) — имя действия практически не способно внутрисловно выражать семантику внутренней длительности, ограниченной реальным пределом.

6. Фазовость

Хотя можно утверждать, что «любой способ глагольного действия имеет отношение к выражению фазового предела или фазового значения» [Соколов 1997: 129], для удобства анализа мы рассмотрим только те девербативы, которые мотивированы глаголами специализированных фазовых способов действия.

Анализ лексико-грамматической семантики всех девербативов с начинательным значением позволяет нам утверждать, что в данном случае играет роль тип начинательного значения: эволютивный и неэволютивный [ТФГ 1987: 185–186]. В эволютивном присутствует начальный переходный период, имеющий определенную протяженность, в течение которого идет постепенное накопление свойств, ведущих к появлению качественно новой ситуации, характер предела — потенциальный (как направленность действия на его достижение). Неэволютивное (контактное)[12] значение начинательности — это только сам момент появления действия, которое до этого не имело места: *запрыгать* (обозначает реальный предел действия).

Выяснилось, что отглагольные имена действия в исследуемых языках образуются только от глаголов с эволютивным начинательным значением: рус. *зажигание*, *зацветание*; *возжигание — возжжение*[13]; пол. *rozpuszczanie*, *rozkwitanie*, *zapalanie się*; укр. *закипання*, *зацвітання*, *зажовтіння* и некоторые другие. Однако начинательных глаголов с эволютивным значением (оно маркируется имперфективной формой) в этих языках очень мало, например, с префиксом *за-* в русском языке, по данным А. Н. Тихонова, всего 30 пар [Тихонов 1959: 56] (самих глаголов с указанными признаками в БАС насчитывается около 900). По всей видимости, именно этим

[12] Неконтактное неэволютивное значение в русском языке выражается только аналитически [ТФГ 1987: 186].

[13] От остальных глаголов данного типа имена действия не образуются: *взреветь*, *взревновать*, *взлаять*, *взныть*, *взлюбить*, *взгрустить*. Слова *вскрик*, *возглас*, *всхрап* не соотносятся с начинательными ЛСВ (*начать кричать*, *храпеть*, *голосить = вскричать*, *взгласить*, *всхрапеть*), а имеют семантику однократного моментального действия: *В это время в сад долетел рев труб... гул народа*, *неистовый* ***вскрик*** *женщины и еще женские голоса*, *крики* (Бородин).

фактором обусловлен низкий процент образования начинательных девербативов[14]: в русском языке их меньше 30, в украинском и польском — около 50 единиц.

Начинательных девербативов с префиксом *по-* в русском, украинском и польском языках нет[15] — предположительно, вследствие реальной предельности и практически полного отсутствия в их структуре соответствующих глаголов признака эволютивности (*побежать*, *поскакать* и пр.). Таким образом, именно признак эволютивности является моментом, определяющим способность глагола к мотивации имени действия, а также сохранение соответствующего значения приставки.

Класс девербативов, образованных от финитных глаголов, также демонстрирует «чувствительность» к эволютивности / неэволютивнсти (а по сути — к типу предела — реальному или потенциальному). Так, например, семантическая специфика префикса *от-* (укр. *від-*) состоит в том, что большая часть маркированных им глаголов обозначает сам временной предел, момент прекращения действия, то есть выражает контактное неэволютивное значение: рус. *отзвучать*, *отпеть*, укр. *відлюбити*, *відходити* (*своє*) — и соответственно не образует имен действия. Лишь несколько финитных глаголов

---

[14] Общерезультативные, аттенуативные, тотальные ЛСВ таких глаголов более продуктивны, например: *задымить* (начать дымить, заполнить дымом) — *задымление* (заполнить дымом), *заколоть* (начать колоть, убить) — *закол* (убийство), *зарисовать* (начать рисовать; покрыть рисунками; нарисовать слегка, небрежно) — *зарисовывание* (покрыть рисунками, нарисовать слегка), *запросить* (начать просить, попросить) — *запрос* (попросить) и т. д.

[15] От начинательных глаголов движения с префиксом *по-* образовано 11 девербативов, но ни один из них не сохраняет значения приступа к действию: *побежать — побег — побежка*, *повезти — повоз*, *повалить — повал*, *покатить — покат*, *поскакать — поскачка*, *погнать — погоня*, *полететь — полет*, *пойти — поход*, *поползти — поползновение*, то есть начинательное значение приставки полностью нейтрализуется. Во всех названных девербативах (кроме последнего) присутствует значение движения определенным способом, не маркированного с точки зрения фазового признака: *И с шумом высыпал народ... готовы двинуться в* ***поход*** (Пушкин). Слово *поползновение* вообще приобретает другое лексическое значение — *стремление*, *попытка воздействовать*: *Такое* ***поползновение*** *муж моей тетки обнаружил в Париже* (Лесков). Во всех подобных случаях мы наблюдаем нейтрализацию начинательного значения приставки *по-*. Польские лексемы *pogon*, *pościg* и подобные им также утрачивают значение начинательности.

с *от-* мотивируют девербативы[16] (что опять-таки объясняется наличием инхоативного признака, значением эволютивности, то есть действие находится в конечной стадии существования, на протяжении которой происходит накопление определенных свойств, приводящих к прекращению действия, значение предела — потенциально): *отцветание — отцветение*, *отмучивание*, *отживание — отжитие*, *отмирание*; укр. *відцвітання*, *віджиання*. В отличие от них, глаголы финитно-комплетивного способа действия обязательно содержат процессуальный признак, значение еще длящегося действия в конечной стадии его осуществления (НСВ), или уже завершенного (СВ), но обязательно процессуального. Видимо, поэтому от них гораздо регулярнее образуются имена действия (в русском языке около 50 единиц, в украинском — больше 80 лексем, в польском — больше 100): рус. *допевание*, *догибание*, *допиливание*, *донашивание*; пол. *dobijanie*, *doginanie*; укр. *довершення*, *доживання*, *дожиття* и под.

Итак, лексико-грамматическое выражение фазовости в девербативах (без учета фазовых средств контекста) имеет свою специфику и значительно у́же по сравнению с возможностями глагола в этой области значений. В отглагольных именах сохраняются только эволютивные начинательные значения, включающие семантический признак процессуальности. Это утверждение косвенно подтверждается и тем фактом, что русские глаголы, не маркированные начинательными приставками, но лексически выражающие контактное неэволютивное значение (*хлынуть*, *ринуться*), не образуют девербативов (в отличие от близких по значению моментативов *оговориться*, *ушибиться*, *рвануться* и т. д.). Аналогично не мотивируют имен глаголы со значением абсолютного фазового предела *разбиться* (в значении «погибнуть»), *рухнуть* (в то же время, эволютивные глаголы с таким значением могут выступать в качестве мотиватора: *умирать — умереть — умирание*).

Таким образом, определяющим фактором является характер признака предела. Имя действия способно наследовать от производящего глагола только эволютивное фазовое значение с потенциальной предельностью. Неэволютивные фазовые глаголы выражают ре-

[16] Остальные девербативы с префиксом *от-* соотносятся с другими глагольными ЛСВ: *отсев* (отделительно-партитивное), *отстраивание* (качественно-оценочное), *отпевание* (качественно-оценочное с оттенком финитности), *откупание — откуп* (*покупать что-либо*), *отзвук* (*отражение звука*): *Экзамена по русскому языку особенно боялись, так как наперед знали. что он повлечет за собой* ***отсев*** *не менее 20% кандидатов* (Игнатьев) (отделительно-партитивное значение) и т. д.

ально предельное действие, а потому не образуют девербативов, или их фазовая семантика нейтрализуется при номинализации[17].

7. Лимитативность

Ограничение действия пределом в сфере глагола может иметь различный характер: внутренний или внешний, имплицитный или эксплицитный, реальный или потенциальный. Особый интерес представляет для нас классификация содержательных типов предела, так как они реализуются в различных способах глагольного действия:

— результативный (как основной),

— количественно-временной (временная граница определенной длительности действия, временная граница начала или конца действия, крайняя граница интенсивности, продолжительности или повторяемости),

— одноактный (действие совершается в один прием с минимальной длительностью).

Результативный тип предела действия реализуется в глаголах специально-результативных способов действия. Практически все глаголы этих способов действия без ограничений образуют девербативы. Например, русских имен действия с результативно-аннулирующим значением насчитывается более 200 единиц (*организация* —

[17] Вместе с тем, фазовое значение в речи выражается не только — и не столько — определенным аффиксом или лексической единицей, а является результатом взаимодействия целого комплекса факторов. В принципе, с помощью средств контекста в девербативе может выражаться любое фазовое значение (классификация — по [ТФГ 1987: 185–187]):

Контактное неэволютивное (момент появления ситуации, до этого не имевшей места): *Началась* (*закончилась*) *работа по восстановлению памятника*.

Неконтактное неэволютивное (первые признаки начала действия в эволютивной фазе): *Начало* (*конец*) *зацветания тюльпанов — конец марта*.

Неадвербиальное серийное итеративное (начало проявления идентичных повторяющихся действий): *началось* (*закончилось*) *мерное постукивание*.

Неадвербиальное серийное константное (начало деятельности, имеющей неодинаковые проявления)*: В 5-летнем возрасте начинается* (*заканчивается*) *обучение танцам*.

Адвербиальное (изменение условий осуществления ситуации):

— узуальное: *пение стало громче*;

— континуальное: *пение на несколько минут стало громче*;

— итеративное: *начались тренировки на снарядах* (имеется в виду, что до этого были без них).

дезорганизация, *откупоривание — закупоривание*, *расшифровывание — зашифровывание*, *калькирование — декалькирование*, *кодирование — декодирование*). Польские и украинские девербативы также образуются без ограничений: *demaskowanie — zdemaskowanie*, *odkorkowywanie*, *rozbrojenie*; *демаскування*, *роззброєння*, *відкорковування* и т. д. Свободно образуются имена действия от глаголов комплетивно-партитивного, отделительно-партитивного, недостаточно-нормативного, чрезмерно-нормативного, качественно-оценочного и других специально-результативных способов действия: рус. *присаливание*, *дозаправка*, *отвоевание*, *надвязывание*, *пересаливание*; укр. *доочищення — доочищання*, *підгризання*, *перекорм*, *недоїдання*, *виточування*; пол. *dopisywanie*, *odpruwanie*, *przekarmianie*[18], *przeliczenie*, *wytoczenie*. Таким образом, отглагольные имена действия способны актуализировать все типы результативного предела действия: реальный и потенциальный, эксплицитный и имплицитный. Семантический признак результативного предела действия является релевантным для именной формы выражения действия и легко транспонируется в девербативы.

Второй содержательный тип предела — одноактный. Класс имен, образованных от русских глаголов одноактного способа действия, является немногочисленным — около 30 единиц (*гребок*, *замах*, *взмах*, *зевок*, *пинок* и пр.) — одноактность значительно реже, чем в глаголе, маркируется внутрисловно. Тем не менее, при наличии формальных показателей (суффикса *-ок* в бесприставочных или нулевого суффикса в префиксальных девербативах, чаще — с префиксом *вз-*) они обозначают только одноактное действие. Этот разряд девербативов, в общем, можно считать уникальным в том отношении, что исключительно именной суффикс аспектуально маркирует именное действие, причем совершенно однозначно (слово *кивок* или *хлопок* в форме единственного числа не может обозначать кратное повторяющееся действие ни при каких условиях). В форме множественного числа эти девербативы актуализируют многократно повторяющееся непредельное действие (*хлопки*, *кивки*), и это значение в общем сопоставимо с значением парных многоактных имен действия (*хлопание*, *кивание*), но в первом случае более явно выражен признак дискретности повторяющихся действий. Как кажется, в польском и украинском языках одноактность без заметных ограничений транспонируется в девербативы: *ziewanie — ziewnięcie*, *machanie — machnięcie*, *trzaskanie — trzask*, *klaskanie — klaśnięcie*, *łykanie — łyk*; *ковтанння — ковток*, *махання — помах* и т. д.

---

[18] Недостаточно-нормативное значение в польском языке передается другими средствами (*niewystarczające solenie*, *brak*).

Существует и третий тип предела действия, который М. А. Шелякин [Шелякин 1983: 163] называет количественно-временным, так как он указывает на количественно-временную границу действия. Именно он является тем глагольным признаком, который вступает в противоречие с формой имени существительного и способен сохраняться при транспозиции в имя только в потенциальном, имплицитном виде. Все содержательные типы количественной эксплицитной реальной предельности глагольного действия не сочетаются с именной формой и потому не допускают образования отглагольного имени или полностью нейтрализуются при номинализации: соответствующие классы отглагольных имен оказываются пустыми. Это уже рассмотренные нами 1) временная граница определенной длительности действия (взаимодействие с признаком длительности), присутствующая в структуре сативного, финально-отрицательного, чрезмерно-интенсивного, чрезмерно-кратного, протяженно-одноактного, сверхнормативно-длительного, чрезмерно-длительного, чрезмерно-продолжительного, терминативно-локального, длительно-ограничительного и делимитативного способов действия; 2) временная граница начала или конца действия (взаимодействие с признаком фазовости), релевантная для финитных и начинательных способов действия, 3) крайняя граница интенсивности (взаимодействие с признаком интенсивности), содержащаяся в семантике чрезмерно-интенсивного и длительно-усилительного способов действия, 4) крайняя граница повторяемости действия (взаимодействие с признаком кратности), характерная для кумулятивного, дистрибутивно-суммарного, чрезмерно-интенсивного способов действия.

8. Заключительные замечания

Установленные ограничения на образование имен действия в исследуемых языках обусловлены двумя факторами: во-первых, их ресурсами в отношении морфемного внутрисловного выражения разнообразных аспектуальных значений, которые реализуются в способах глагольного действия, и, во-вторых, невозможностью транспозиции части этих значений в имя существительное. Эти ограничения касаются, прежде всего, невозможности образования имен действия от глаголов, содержащих семантический признак количественно-временного предела действия. Возможно, это явление обусловлено влиянием категориального значения существительного — субстанциональности, для которого результативные семы являются более релевантными, чем количественно-временные признаки, так как

имя генетически не связано с временными параметрами. Несмотря на действительно чрезвычайную открытость имени существительного по отношению к самым разным языковым значениям, семантика количественно-временного предела действия оказывается для него неприемлемой.

Привлеченный материал близкородственных польского и украинского языков выполнял в представленном анализе преимущественно вспомогательную иллюстративную функцию, и для более точных выводов, безусловно, необходим дополнительный содержательный и количественный анализ. Однако даже предварительные результаты оказались весьма показательными: несмотря на сохранение у польских и украинских имен действия видовых оппозиций, в этих языках действует такое же довольно жесткое категориальное ограничение на их образование, как и в русском: глаголы, внутрисловно выражающие реальный количественно-временной предел действия, не мотивируют девербативов. Этот результат, как кажется, отчасти коррелирует с приведенными в начале выводами С. Дики и А. Барентсена о разнице в значениях совершенного вида в западно- и восточнославянских языках. И хотя в нашей статье «за кадром» остался ответ на вопрос, почему в украинском и польском языках гораздо более регулярны «видовые» пары отглагольных имен, есть основания предполагать, что причина кроется в более мягких семантических границах совершенного вида в этих языках по сравнению с русским (в особенности это касается польского языка) и, возможно, меньшей выраженности значения временной определенности в украинских и польских перфективных глагольных формах. Надеемся, что разрешение этой проблемы — дело недалекого будущего.

Литература

Авилова 1976 — *Авилова Н. С.* Вид глагола и семантика глагольного слова. М., 1976.

Арутюнова 1976 — *Арутюнова Н. Д.* Предложение и его смысл. М., 1976.

БАС — Словарь современного русского литературного языка: В 17 т. М.; Л., 1948–1965.

Бенвенист 2009 — *Бенвенист Э.* Общая лингвистика. М., 2009.

Бондарко 1967 — *Бондарко А. В.*, *Буланин Л. Л.* Русский глагол. Л., 1967.

Бондарко 1986 — *Бондарко А. В.* Семантика предела // Вопросы языкознания. 1986. № 1. С. 41–47.

Бондарко 2011 — *Бондарко А. В.* Категоризация в системе грамматики. М., 2011.

ВТССУМ — Великий тлумачний словник сучасної української мови / за ред. В. Т. Бусел. Київ, 2007.

Есперсен 1958 — *Есперсен О.* Философия грамматики. М., 1958.

Зализняк Анна А. 2007 — *Зализняк А. А.* Связь отглагольных существительных на *-ние*, *-тие* с глагольным видом // Terra balkanica. Terra slavica: К юбилею Т. В. Цивьян. М., 2007. С. 43–51. (Балканские чтения 9).

Золотова 1998 — *Золотова Г. А.*, *Онипенко Н. К.*, *Сидорова М. Ю.* Коммуникативная грамматика русского языка. М., 1998.

Иванникова 1972 — *Иванникова Е. А.* К вопросу об аспекте изучения категории вида у отглагольных существительных в русском языке // Известия АН СССР. Сер. лит. и яз. Т. 31. 1972. Вып. 2. С. 113–120.

Иванов Вяч. Вс. 2004 — *Иванов В. В.* Лингвистика 3-го тысячелетия. Вопросы к будущему. М., 2004.

Казаков 1993 — *Казаков В. П.* Имена действия в грамматике и словаре // Филологические науки. 1993. № 3. С. 102–108.

Марван 1992 — *Марван І.* Статус українських дієслівних субстантивів і дієприкметників // Мовознавство. 1992. № 2.

МАС — Словарь русского языка под ред. А. П. Евгеньевой: В 4-х т. М., 1981.

Маслов 1959 — *Маслов Ю. С.* Глагольный вид в современном болгарском литературном языке (значение и употребление) // Вопросы грамматики болгарского языка. М., 1959. С. 157–312.

Маслов 1984 — *Маслов Ю. С.* Очерки по аспектологии. Л., 1984.

Миронов 2008 — *Миронов Д.* Глагольность в сфере имен: к проблеме семантического описания девербативов (на материале русского языка). Таллин, 2008.

Непийвода 1996 — *Непийвода Н. Ф.* Сам собі редактор. Київ, 1996.

Падучева 1991 — *Падучева Е. В.* Отпредикатные имена в лексикографическом аспекте // Научно-техническая информация. Серия 2. Информационные процессы и системы. 1991. № 5.

Пазельская 2003 — *Пазельская А. Г.* Аспектуальность и русские предикатные имена // Вопросы языкознания. 2003. № 4. С. 72–90.

Петров 1985 — *Петров А. В.* Залоговая семантика в отглагольных именах русского языка. Дис. … канд. филол. наук. Симферополь, 1985.

ПФГ 2005 — Проблемы функциональной грамматики: Полевые структуры. СПб., 2005.

ПФГ 2008 — Проблемы функциональной грамматики: Категоризация семантики / Отв. ред. А. В. Бондарко, С. А. Шубик. СПб., 2008.

Пчелинцева 2009 — *Пчелинцева Е. Э.* Отглагольное имя действия как периферийный компонент поля аспектуальности // Научное наследие Владимира Григорьевича Адмони и современная лингвистика. Материалы Международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения В. Г. Адмони. СПб., 2009. С. 217–219.

Ращинская 1968 — *Ращинская Г. Н.* Отглагольные имена существительные на *-ння*, *-ення* (*-іння*), *-ття* в современном украинском языке: Дисс. … канд. філол. наук. Львов, 1968.

РГ 1980 — Русская грамматика: В 2 т. Т. 1. М., 1980.

Соколов 1997 — *Соколов О. М.* Основы имплицитной морфологии русского языка. М., 1997.

СУМ — Словник української мови: В 11 т. Київ, 1970–1980.

Теньер 1988 — *Теньер Л.* Основы структурного синтаксиса. М., 1988.

ТФГ 1987 — Теория функциональной грамматики. Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. Л., 1987.

Тихонов 1959 — *Тихонов А. Н.* Способы выражения начинательного значения глаголов в русском языке // Труды Узбекского ун-та. Новая серия. № 95. 1959. С. 43–75.

Федорова 2006 — *Федорова Ю. Н.* Семантика глагольного имени в польском и русском языках. Дисс. … канд. филол. наук. Пермь, 2006.

Шейгал 1981 — *Шейгал Е. И.* Интенсивность как компонент семантики слова в современном английском языке: Дис. канд. … филол. наук. М., 1981.

Шелякин 1983 — *Шелякин М. А.* Категория вида и способы глагольного действия русского глагола. Таллин, 1983.

Шелякин 2001 — *Шелякин М. А.* Функциональная грамматика русского языка. М., 2001.

Юрчук 1975 — *Юрчук Л. А.* Про лексикографічне відображення віддієслівних іменників на *-ння*, *-ття* // Мовознавство. 1975. № 2.

Яковлев 1975 — *Яковлев В. Н.* Многоактность как способ глагольного действия // Филологические науки. 1975. № 3. С. 97–105.

Barentsen 2011 — *Barentsen A.*, *Genis R.*, *van Duijkeren-Hrabova M.* О сходствах и различиях между русским, польским, чешским и хорватским языками при выборе вида в случаях «ограниченной кратности» // Тезисы III Конференции Комиссии по Аспектологии Международного Комитета Славистов. Падуя, 2011. С. 13–14.

Benacchio 2011 — *Benacchio R.*, *Pila M.* Выражение повторяемости действия в словенском языке (в сопоставлении с русским) // Тезисы III Конференции Комиссии по Аспектологии Международного Комитета Славистов. Падуя, 2011. С. 14–15.

Grzegorczykowa 1979 — *Grzegorczykowa R.*, *Puzynina J.* Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. Warszawa, 1979.

Grzegorczykowa 1995 — *Grzegorczykowa R.* Wprowadzenie do semantyki językoznawczej. Warszawa, 1995.

Dickey 2000 — *Dickey S.* Parameters of Slavic Aspekts. A cognitive approach. Stanford, 2000.

Jędrzejko 1993 — *Jędrzejko E.* Nominalizacje w systemie i w tekstach współczesnej polszczyzny. Katowice, 1993 // Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.lingwistyka.uni.wroc.pl/jk/JK-08/JK08-jedrzejko.pdf.

PSWP — Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny / Red. H. Zgółkowa. T. 1–50. Poznań, 1994–2005.

SJP — Słownik języka polskiego / Red. M. Szymczak. T. 1–3. Warszawa, 1994.

Tokarsky 1951 — *Tokarsky J.* Czasowniki polskie. (Formy. Typy. Wyjątki. Słownik). Warszawa, 1951.

Vetulani 2000 — *Vetulani G.* Rzeczowniki predykatywne języka polskiego. Poznań, 2000.

Сокращения

НСВ — несовершенный вид
СВ — совершенный вид
СД — способ действия

Е. В. Рахилина, А. Б. Летучий

Начальная стадия грамматикализации значений глагольной множественности в квазиграмматических конструкциях

Введение

Зона аспекта считается одной из наиболее разработанных в грамматических системах грамматических зон. Если категории времени или залога, при всей своей частотности, все же могут отсутствовать в языке, то языки «без аспекта» практически не встречаются.

Аспектуальные значения чрезвычайно многообразны. Их классификация предпринималась очень многими исследователями (ср. [Dahl 1985; Comrie 1976; Плунгян 2011] и др.), однако единого мнения нет не только об устройстве категории, но даже и о наборе ее значений. Неудивительно, что и набор терминов варьирует в зависимости от теории и подхода.

К аспектуальным, в частности, относятся следующие значения:

1. значения, связанные с фазой ситуации и ее компонентами: терминатив, инцептив, прогрессив, проспектив и стоящий несколько особняком результатив.
2. лексический «вид», как в русском и болгарском языках.
3. акциональные классы, выделенные З. Вендлером [1957] и подробно рассматриваемые в применении к русскому языку Е. В. Падучевой [1996; 2004].
4. аспектуальные классы, выделяемые С. Г. Татевосовым [2005].

Екатерина Владимировна Рахилина,
Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики (Москва)
Александр Борисович Летучий,
Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики (Москва)

Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2013 году.

5. специфические значения типа фрустратива, антирезультатива или плюсквамперфекта, находящиеся на стыке вида и времени или вида и модальности.
6. значения глагольной множественности, наиболее детально анализируемые А. Б. Шлуинским [2006].

В подавляющем большинстве работ рассматривается именно грамматическое выражение вида, и это естественно. Тот факт, что язык грамматикализовал, сделал в той или иной мере обязательным некоторую видовую граммему, закрепил за ней особый показатель с собственным местом в словоформе или (при аналитическом выражении вида) в предложении, свидетельствует о важности данного значения для грамматической системы.

Как известно, русский язык принадлежит к языкам с лексическим видом. Здесь мы не будем вдаваться в дискуссию о словоизменительном vs. словоклассифицирующем статусе вида. Существенно, что для любой формы инфинитива, исходной для глагола, можно сказать, какого она (и, соответственно, все образованные от нее формы) вида. Напротив, грамматического аспекта в смысле английского или болгарского языка в русском языке нет — иначе говоря, нет возможности образовать от одной лексемы несколько форм прошедшего или другого времени, различающиеся аспектуальными характеристиками. Исключение составляют двувидовые глаголы типа *женить*, однако они составляют явное меньшинство в русской лексике.

В нашем исследовании в центре находятся неморфологические и даже неграмматические способы выражения значений, аналогичных видовым. Если точнее, они примыкают к шестому типу значений — значениям глагольной множественности. К данной зоне относятся итератив (простая множественность, например, *Он часто ходит гулять в парк*), мультипликатив (сходные между собой и сжатые во времени кванты, составляющие одно событие. — *вибрирует*) и хабитуалис (ситуация, характерная для некоторого участника и становящаяся его постоянным свойством, например, социальной обязанностью или профессией: *Вася ходит в школу*, *Мой брат играет на рояле в оркестре*). Как показывает пример русского языка, данная группа значений может обслуживаться одними и теми же грамматическими средствами (в русском — несовершенный вид), но это не обязательно.

Квазиграмматические конструкции

В центре нашего внимания — конструкции, которые мы называем квазиграмматическими. Это единицы, состоящие из нескольких

слов и никак не являющиеся грамматическими показателями, но выражающие значения, которые во многих языках выражаются с помощью грамматических средств.

Мы включаем в число квазиграмматических конструкций такие единицы, как *в интересах* (бенефактивное значение, выражающееся во многих языках показателями актантной деривации), *в бытность* (таксис одновременности, часто кодируется показателями из зоны времени или специальными таксисными показателями, см. описание в [Храковский, Крапивина 2008]) или квантификаторы типа *пара*, *куча*, *море* (близки по значению к показателям множественности или именным классификаторам, см. [Рахилина, Ли Су Хён 2009]).

Граница, отделяющая квазиграмматические конструкции от всех остальных, размыта. Действительно, почему нельзя считать словосочетание *за X до* (*за день до*, *за год до*, *за пять лет до*) квазиграмматической временной конструкцией?

На вопрос такого рода можно дать два ответа. Во-первых, осмысленное ограничение состоит в том, чтобы не рассматривать конструкции, содержащие в структуре место для выражения конкретного времени, конкретного места и т. д. Действительно, грамматические показатели кодируют время, но, как правило, не обозначают с высокой точностью протяженность интервала, отделяющего события друг от друга (например, ‘с промежутком в день’, ‘с промежутком в месяц’ и т. д.). Именно поэтому конструкция *за X до* не считается квазиграмматической — она «более конкретна», чем показатели времени.

Во-вторых, дополнительный критерий для включения конструкции в число квазиграмматических — высокая спаянность компонентов конструкции. Как правило, наши конструкции не обладают композициональной семантикой, их смысл не до конца вытекает из набора составных частей и их синтаксических связей. По этому критерию конструкция *за X до* также не должна считаться квазиграмматической — и предлог *за*, и предлог *до* встречаются в сходном значении вне данной конструкции:

(1) Предупреди меня за две недели.
(2) Еще до отправления поезда выяснилось, что окно не закрывается.

Если сравнить, например, единицы *по плечу* и *по желанию* (см. подробнее [Крейдлин, Летучий 2005] и [Шеманаева 2008]), то квазиграмматической конструкцией мы считаем только первую из них. Из формы конструкции *по плечу* никак не вытекает тот факт, что она выражает возможность. Напротив, значение желания вычленяется из формы конструкции *по желанию* — безусловно, это словосочетание может обладать особыми ограничениями на сочетаемость, кодирует

значение, близкое к грамматическому, но не считается квазиграмматической конструкцией.

Мы рассмотрим следующие квазиграмматические конструкции:

время от времени
на каждом шагу
направо и налево
нет-нет да и
сплошь и рядом
то и дело

Мы покажем, что описание этих конструкций только выигрывает, если сопоставлять их с традиционно выделяемыми грамматическими значениями глагольной множественности. С другой стороны, наша цель — продемонстрировать, что в семантике конструкций есть дополнительные компоненты, и практически никогда они не выражают хабитуалис, итератив или дистрибутив в чистом виде.

Итератив

Итеративную функцию несет большинство из наших конструкций: *на каждом шагу*, *то и дело*, *время от времени*, *нет-нет да и*. При этом *то и дело* обозначает высокую частоту повторяющейся ситуации и этим отличается от двух прочих конструкций. Ясно, что предложение *он то и дело выходил в коридор* обозначает более частотную ситуацию, чем *он время от времени* / *нет-нет да и выходил в коридор.*

Время от времени и *нет-нет да и* обозначают меньшую частоту — при этом *время от времени* зачастую относится к ситуациям, которые повторяются примерно с равными интервалами. Если для ситуаций, возникающих по расписанию, *время от времени* не годится (странно *Время от времени отходили автобусы*, если автобусы всегда отходят с интервалом ровно в 15 минут), то для **примерно** равных промежутков подходит:

(3) Регистрация на первые 3 мес. не нужна, если не ошибаюсь, к тому же можно покупать билеты <u>время от времени</u> (*раз в 3 мес*) <…> [коллективный. Разорять область они не боялись, а книжку боятся (2011)]

В примере (3) обстоятельство *время от времени* затем конкретизируется группой со значением интервала повторения (*раз в три месяца*), и противоречия не возникает. Аналогичным образом устроен пример (4), только вместо чисто временнóй единицы выступает группа *через каждые 500 измерений*:

(4) Перед началом исследования динамометр тщательно выверялся и далее время от времени (приблизительно *через каждые 500 измерений*) подвергался новой проверке. [Ф. Ф. Эрисман. Профессиональная гигиена (1871–1908)]

Для *то и дело*, кстати, точная характеристика интервала повторения также возможна, и противоречия также не возникает.

(5) Сергей стал быстро разматывать шнур в глубину, то и дело, *через каждые два-три метра*, останавливаясь и пытаясь подсечь. [Фазиль Искандер. Морской скорпион (1977)]
(6) Мяч то и дело в корзине, *каждые пять секунд*. [Георгий Полонский, Наталья Долинина. Перевод с английского (1972)]

Конечно, предложение *Мяч время от времени / нет-нет да и оказывался в корзине*, *через каждые пять секунд* вполне грамматично, но семантически оно странно. Оно подразумевает, что интервал в пять секунд считается большим, тогда как в нормальной ситуации это маленький промежуток.

Напротив, для третьей конструкции (*нет-нет да и*) сходных контекстов с уточнением временнóго интервала не найдено. Это связано с тем, что *нет-нет да и* представляет ситуацию не как последовательность, состоящую из многих квантов, — внимание при употреблении этой конструкции сосредоточено на отдельном кванте, хотя учитывается, что он является частью последовательности. Не случайно при *нет-нет да и*, в противовес большинству других конструкций со значением повторяемости, возможен совершенный вид глагола (более того, по данным Национального корпуса русского языка он частотнее несовершенного почти в два раза — 316 вхождений совершенного вида против 182 вхождений несовершенного сразу после конструкции *нет-нет да и*).

Можно сказать, что *нет-нет да и* фокусирует внимание на том, что событие **вообще имело место**, а компонент повторяемости находится на периферии. Ср., например, предложение:

(7) Это ее нервирует; нет-нет да и попрекнет: раньше ты меня больше любил. [И. Грекова. Перелом (1987)]

Основное значение (7) — ‘случаи, когда героиня попрекала героя, имели место, причем были неожиданны. Таких случаев было бо-

лее одного’. При замене *нет-нет да и* на *время от времени* значение повторяемости выйдет на первый план.

Наконец, *нет-нет да и* отличается от двух других итеративных конструкций тем, что способно употребляться при описании свойств участника. Например, предложение *Он человек непредсказуемый*, *нет-нет да и совершит какую-нибудь глупость* не синонимично *Он человек непредсказуемый*, *время от времени совершает глупости*. Точно так же и приводимый выше пример (7) отличается по значению от *время от времени попрекает*: в примере (7) упреки благодаря показателю *нет-нет да и* становятся некоторым общим свойством героини; если же употребить *время от времени*, то пример будет выражать констатацию факта: время от времени имеют место упреки.

Аналогичным образом, *нет-нет да и* явно хуже, чем *время от времени*, при описании действий и поступков, которые вообще затруднительно понять как свойства мира или отдельного участника:

(8) Петя нет-нет да и отпустит шуточку относительно внешнего вида брата.
(9) #Петя нет-нет да и поправит ремень.
(10) #В аудиторию нет-нет да и заглянет кто-нибудь.

В первом предложении шутки Пети легко осмыслить как свойство Пети (любовь к шуткам) или особенность его взаимоотношений с братом. Во втором случае сложно связать тот факт, что Петя поправляет ремень, со свойствами мира или Пети. Однако при добавлении контекста предложение становится лучше:

(9’) Петя вроде как не следит за своей внешностью, но это так кажется: он нет-нет да и поправит ремень или сдует пылинку с пиджака.
(10’) В аудитории работать было неудобно — нет-нет да и заглянет кто-нибудь из студентов с вопросами.

Время от времени как конструкция с чисто итеративным значением не подпадает под такие ограничения, и примеры типа (11) и (12) абсолютно нормальны:

(11) Он время от времени поправлял ремень.
(12) Время от времени в аудиторию заглядывали люди.

Тем самым, можно сделать вывод, что из итеративных конструкций *нет-нет да и* занимает промежуточное положение между

итеративом и хабитуалисом (свойством мира или предмета, выраженном в повторяющейся ситуации). Ниже мы рассматриваем еще одну конструкцию с хабитуальным значением — *на каждом шагу.*

На каждом шагу: от квантов ситуации к итеративу

Более сложно, чем три ранее рассмотренных итеративных конструкции, устроена единица *на каждом шагу.* Во-первых, она имеет, помимо аспектуального, и локативное употребление. При этом различить данные прочтения не всегда легко. В следующем примере они явно совмещены: имеется в виду, с одной стороны, что событие имеет место во многих местах (локативное значение), а с другой, что Говорящий или Наблюдатель обнаруживает его часто, несколько раз (аспектуальное значение):

(13) На каждом шагу я видел изображения Пушкина. [С. Довлатов. Заповедник]

Впрочем, имеются и более простые случаи. Так, в примере (14) значение только локативное: неочевидно, что подразумевается много событий, когда Говорящий обнаруживает некоторый предмет, но явно обозначается его наличие во многих местах:

(14) В Сочи на каждом шагу магазины и парки аттракционов.

В этом примере присутствие Наблюдателя не слишком очевидно — можно подумать, что речь идет просто о том, что магазины и парки имеются во многих местах, и это объективная информация, не зависящая от присутствия Наблюдателя. Впрочем, следующий, похожий, пример уже явно предполагает Наблюдателя — узнать, что все магазины забиты товаром, можно только просмотрев их:

(15) — Магазины на каждом шагу, и все забиты товаром. [А. Платковский. Китай как победитель в социалистическом соревновании // «Комсомольская правда», 1991]

На противоположном, аспектуальном полюсе находятся употребления, где множественная локализация не подразумевается вообще — речь идет только о событийной множественности:

(16) Да, смерть подстерегает их на каждом шагу: от голода, от непосильной работы, просто расстрел ни за что... [Анатолий Рыбаков. Тяжелый песок (1975–1977)]
(17) <…> именно таких замен, которые на каждом шагу свободно допускает любитель. [Андрей Зализняк. О профессиональной и любительской лингвистике // «Наука и жизнь», 2009]
(18) Он на каждом шагу меня обижал и упрекал в некомпетентности.

Как и всегда в случае совмещения локативного значения с более абстрактным (аспектуальным или темпоральным), возникает соблазн считать локативное значение исходным. Однако это неожиданным образом оказывается неверно.

По всей видимости, исходным для данной конструкции является третье значение — не локативное и не аспектуальное. Оно подразумевает, что что-либо происходило действительно на каждом шагу (шаге) участника ситуации — и, тем самым, речь идет обязательно о ситуации ходьбы. При обобщении из него получается, с одной стороны, значение ‘во всех местах’, причем Наблюдатель, обходящий эти места, не обязательно выражен в предложении (шаг метонимически отождествляется с местом, где он сделан), а с другой стороны, ‘постоянно, часто’ (в этом случае шаги — кванты ситуации ходьбы — в каком-то смысле сопоставляются с квантами или частями другой ситуации, например, ситуации общения двух людей в (18)). Пример (19) иллюстрирует именно буквальное значение ходьбы, однако в целом таких примеров не слишком много:

(19) Он <…> пошагал по коридору, на каждом шагу честно воскрешая в памяти лица офицеров <…> [Олег Павлов. Карагандинские девятины, или Повесть последних дней // «Октябрь», 2001]

Иначе говоря, исходное значение предполагает некие кванты ситуации (шаги), с каждым из которых совпадает некоторое событие. В производных значениях кванты утрачиваются — а речь идет просто о местах или отрезках времени, ситуация не обязательно делится на очевидные кванты.

Подобный переход, судя по всему, не засвидетельствован или редко описывается для грамматических показателей. Т. А. Майсак [2005] убедительно показывает, что диахроническими источниками аспектуальных показателей (в том числе выражающих глагольную множественность) очень часто становятся глаголы движения. Однако отождествление при грамматикализации в строгом смысле слова, видимо, происходит между некоторым типом движения и некоторым

аспектуальным типом, а кванты движения (шаги), по всей вероятности, не задействуются при переходе (во всяком случае, это не показано в известных нам работах по аспекту).

Хабитуалис

Хабитуалис — это значение, дальше всего отстоящее от простой повторяемости. При хабитуальных контекстах типа *Вася ходит в школу* ситуация «срастается» с участником, становится его свойством — а реальное число ее повторений не так уж важно. Об ученике, который два раза в год появляется в школе, а в остальное время ходит вместо этого в кино, тоже можно сказать *Он ходит в школу* (т. е. является учеником).

Хабитуалиса в чистом виде не выражает ни одна из конструкций. И это вполне понятно: наши конструкции содержат в себе компонент интенсивности, который, в свою очередь, ассоциируется с множественностью ситуаций (а не со значением свойства). В определенном смысле к этой граммеме наиболее близка по семантике конструкция *сплошь и рядом*.

Значение *сплошь и рядом* кажется естественным разбивать на три употребления: 1) чисто локативное значение; 2) повторяемость, высокая частотность; 3) ‘много’, большое количество объектов обладают данным свойством. В первом по времени примере (20) выступает чисто локативное значение, вытекающее из внешней формы *сплошь и рядом*.

(20) Я по обязанности своей живу в Тегеране, где много любопытных, но мало любопытного, так что не на что смотреть, разве только на тех, которые ходя по улицам останавливаются беспрестанно, и осматривают все сплошь и рядом, хотя все это видели уже миллионы раз! [Н. Т. Муравьев. Письма русского из Персии (1844)]

Отметим, впрочем, что даже для этого значения устройство конструкции не вполне ясно (например, непонятно, каким образом наречие *рядом* употребляется в значении ‘везде, рядом друг с другом’ — вне данной конструкции постулировать такое употребление нельзя).

Уже в XIX веке в корпусе появляется много нелокативных примеров, где конструкция означает ‘очень часто’.

(21) Еще замечательно, что большая часть ревнителей свободы и равенства, прав угнетенного народа сами были гордые аристократы <…>. Впрочем, мы видим это сплошь и рядом. [Н. И. Греч. Записки о моей жизни (1849–1856)]

В большом классе случаев *сплошь и рядом* взаимозаменимо с рассмотренной выше конструкцией *то и дело* — напомним, что последняя единица выражает чисто итеративное значение:

(21') Если делалось это в спешке или не в подобающем рабочем настроении (а настроение в таких случаях вряд ли может быть хорошим) — на место сочного слова приходило случайное, бледное, а главное — сплошь и рядом ломался ритм. [Аркадий Мильчин. В лаборатории редактора Лидии Чуковской // «Октябрь», № 8, 2001] (ср. возможное *то и дело ломался ритм*)

(22) Существует закон, по которому с нами никогда не может быть того, что сплошь и рядом должно приключаться с другими. [Б. Л. Пастернак. Воздушные пути (1924)]

Однако немало и примеров, где замена невозможна:

(23) Но, скажет демократическая интеллигенция, олигархи с высокой вероятностью сплошь и рядом — подонки, конечно. [Сергей Доренко. Левые силы — перезагрузка (2003) // «Завтра», 2003.08.13]

Особенность *сплошь и рядом* в том, что эта конструкция может выступать в предложениях без выраженного глагола (= с нулевой связкой). Приведем также некоторые другие примеры:

(24) Посмотрите на актеров крупных габаритов — это сплошь и рядом комедийные персонажи. [Елена Светлова. Поколение XXL (2003) // «Совершенно секретно», 2003.09.01]

(25) Наши выразительные движения — это сплошь и рядом метафоры. [С. Л. Рубинштейн. Основы общей психологии. Части 4–5 (1940)]

Еще одна нестандартная для конструкций со значением повторяемости черта данной единицы — способность модифицировать вторичную предикацию и близкие структуры:

(26) Представляешь их владелиц сплошь и рядом как пожилых женщин с отекшими, в набухших варикозных венах, ногами. [Константин Кондаков. Два шага вперед, полтора шага назад (2003) // «Лебедь» (Бостон), 2003.06.02]

Тем самым, обоснованно упомянутое выше деление нелокативных употреблений *сплошь и рядом* на две части — итеративную (событие имеет место часто) и хабитуальную квантитативную (многие

объекты обладают тем или иным свойством **или** свойством данных объектов является участвовать в данной ситуации).

При этом многие примеры имеют две интерпретации. Например, предложение:

(27) — У алкоголиков это сплошь и рядом — провалы памяти. [Владимир Черкасов. Черный ящик (2000)]

можно понимать двумя способами:

- у алкоголиков (у каждого отдельного) часто встречаются провалы в памяти;
- среди алкоголиков у многих встречаются провалы в памяти.

Первое употребление *сплошь и рядом*, безусловно, не хабитуальное в чистом виде (например, потому, что для него обязательно большое количество повторяющихся ситуаций). Однако оно находится ближе к хабитуальному, чем к итеративному, поскольку фиксирует, как правило, положение дел, являющееся постоянным свойством мира, а не просто повторяемость событий. Не случайно при *сплошь и рядом* субъект и другие актанты зачастую являются нереферентными или даже генерическими (ср. *того, что сплошь и рядом должно приключаться с другими*). Вероятно, это связано с тем, что даже при видовых употреблениях присутствует квантифицирующий оттенок (событие не просто возникает часто, но и у многих людей — а следовательно, является свойством людей и мира как такового).

Во многих примерах типа (28):

(28) Взяточничество в нашей стране считается одним из тягчайших преступлений, за которое смертную казнь дают сплошь и рядом. [Владимир Войнович. Иванькиада, или рассказ о вселении писателя Войновича в новую квартиру]

— стоит усматривать скорее хабитуальное значение, нежели итеративное. Замена на *то и дело* в таких примерах изменила бы смысл примера: при *то и дело* предложение бы означало, что смертная казнь присуждается просто часто, тогда как *сплошь и рядом* предполагает, что общее устройство мира (в данном случае государства) включает частые смертные приговоры за взяточничество. Неважно, насколько часто в точности повторяются смертные приговоры, — важно, что среди приговоров за взяточничество довольно большую часть составляют смертные.

Различие между примером (12) и преобразованным вариантом с *то и дело* (а также *время от времени* или *нет-нет да и*) можно сформули-

ровать и по-другому. При использовании *сплошь и рядом* ситуация рассматривается как статическая, некоторое состояние вещей (среди всей массы случаев много смертных приговоров), а при других конструкциях — скорее как динамическая (часто, с небольшим временным интервалом, за взяточничество выносят смертные приговоры). В частности, в следующем примере *то и дело* уже явно лучше, чем *сплошь и рядом*:

(29) Прокурор то и дело просил об отводе свидетелей.

Это связано с тем, что в примере (29) вероятнее всего, что Говорящий был свидетелем ситуации (он видел прокуроров и слышал, как они просили судью вынести смертный приговор). Тем самым, ситуация рассматривается не как состояние, статистическая тенденция, а как динамический процесс. Итеративные конструкции сразу становятся предпочтительнее.

Различие по стативности также склоняет к мысли, что *сплошь и рядом* — именно хабитуальная конструкция. Напомним, хабитуалис и определяется не просто как повторяемая ситуация, а как повторяемая ситуация, ставшая в конце концов свойством участника. В данном случае свойством мира или, конкретнее, судебной системы является выносить смертные приговоры за мошенничество.

Многие глаголы среди вхождений *сплошь и рядом* (*встречаться*, *попадаться*, *бывать*, *оказываться*) — бытийные или близкие к ним. С одной стороны, это может быть связано с исходной локативной семантикой. Однако одно это явно не объясняет класса глаголов — ср. примеры, где *сплошь и рядом* явно не локативное:

(30) Необходима честная констатация того наблюдения, что в реальной математике сплошь и рядом встречаются теоремы, доказываемые без опоры на какие бы то ни было аксиомы. [В. А. Успенский. Семь размышлений на темы философии математики (2002)]

(31) — Дело, господа, происходило в Ярославской губернии, — начал маленький господин, откашливаясь, — там, как вы, вероятно, знаете, сплошь и рядом попадаются деревни, в которых почти совсем нет мужиков: они не живут дома. [Д. В. Григорович. В ожидании парома (1857)]

Вероятно, глаголы с бытийной и локативной семантикой часто встречаются еще и потому, что постоянные свойства и состояния труднее подвергаются изменениям, чем динамические ситуации. Поэтому именно глаголы со значением состояния являются благоприятными для употребления данной конструкции.

Конечно, *сплошь и рядом* даже в таких случаях несет значение частотной ситуации: *Риелторы сплошь и рядом оказываются обманщиками* означает, что недобросовестных риелторов **много**, данная ситуация возникает **часто**. Однако верно и то, что *сплошь и рядом* в подобных контекстах скорее фиксирует свойства мира или отдельных предметов, чем высокую частотность ситуаций. Ср., например:

(32) Олигархи — это сплошь и рядом необразованные люди.

Речь здесь, вероятно, идет не о точной статистике, а о свойствах олигархов как массы.

Этот второй компонент можно сформулировать по-разному. Можно сказать, что в (32) речь идет об обычной, именной множественности, только вынесенной за пределы именной группы *олигархи*, а можно толковать то же употребление как хабитуалис со значением свойства олигархов. Во всяком случае, существенно, что значение *сплошь и рядом* не сводится к значению итератива — повторяемости ситуаций.

Дистрибутив

Пожалуй, наиболее неоднозначное из значений повторяемости — дистрибутив. Эта граммема, безусловно, содержит в себе аспектуальный компонент (ситуация *он всех перецеловал* требует повторяемости ситуации, тогда как глагол (*по*)*целовать* может относиться к единичному событию). Однако в то же время граммема дистрибутива явно соприкасается с областью актантной деривации. Множественность ситуации в данном случае напрямую вытекает из множественности актанта — либо одного (чаще встречается ситуация, когда ситуации различаются объектом — объектный дистрибутив), либо нескольких.

В ряду квазиграмматических конструкций дистрибутив представлен единицей *направо и налево*. Как и у прочих рассматриваемых нами конструкций, ее значение не сводится к дистрибутивному, а содержит приращение: ситуация должна не просто повторяться, а повторяться **часто, много раз**, и несовпадающих участников тоже должно быть **много**. Для грамматически выраженного дистрибутива это не обязательно — хотя, надо сказать, тенденция к большому количеству участников и ситуаций наблюдается и здесь. Предложение *он перезнакомился с гостями* наиболее уместно, если гостей было много (и уж точно больше, чем два) — иначе скорее всего о ситуации бы сказали *Он познакомился с гостями*.

Как и некоторые другие конструкции, *направо и налево* изначально употреблялась пространственно, в буквальном значении ‘и в правую, и в левую сторону’:

(33) Становясь всегда в уголке трапезы, Наталья молилась богу с усердием и между тем исподлобья посматривала направо и налево. [Н. М. Карамзин. Наталья, боярская дочь (1792)]

Даже в современном языке существуют пространственные употребления. С другой стороны, однозначно непространственные контексты появляются в XIX веке:

(34) Одною рукою раздавал он милостыню, другою занимал он деньги направо и налево и не платил долгов своих; облегчая участь иных семейств, он разорял другие. [П. А. Вяземский. Старая записная книжка (1830–1870)]

(35) Иногда заезжали в гостиницу и советники … погулять на холостую ногу, потихоньку от супруги (холостых советников так же не бывает, как женатых аббатов), — для достижения последнего они недели две рассказывали направо и налево о том, как кутнули. [А. И. Герцен. Кто виноват? (1841–1846)]

Так, *занимать деньги направо и налево* явно не значит ‘занимать деньги у людей, стоящих и с левой, и с правой стороны’. Сегодня контексты такого рода уже являются основными:

(36) Думаешь, почему он так громогласно кроет всех направо и налево, ни правительства не щадит, ни президента? [Н. Леонов, А. Макеев. Гроссмейстер сыска (2003)]

Как многие рассматриваемые нами конструкции, *направо и налево* имеет некоторые дополнительные правила употребления. Они во многом связаны с внутренней формой и исходным употреблением.

Во-первых, ограничена семантическая роль дистрибутивного участника. В наиболее типичном случае это ‘получатель’ — не обязательно материальных предметов, возможно, некоторой информации, оценок и т. д. Так, с глаголом *продавать* конструкция встречается в интернете много чаще, чем с *покупать*. Это связано с тем, что покупка концептуализируется, прежде всего, как получение некоторой вещи Агенсом (хотя второй участник получает деньги), а продажа, напротив, как передача некоторой вещи Контрагенту,

выраженному на позиции непрямого дополнения (хотя Агенс также получает деньги). Поскольку подлежащее в русской конструкции дистрибутивным участником быть не может, это ограничивает употребление *покупать*.

Ограничение на роль участника вполне объяснимо исходя из того, что в исходном употреблении *направо и налево* выражает конечную точку некоторого действия. Получатель — это участник, который в результате ситуации получает некоторый материальный или нематериальный предмет, тогда как Источник / Исходный посессор, напротив, близок к исходной точке — ситуация приводит к тому, что у него изымается некоторый предмет. Судя по всему, конструкция не до конца утратила связь с локативным употреблением и «предпочитает» участников-получателей.

Во-вторых, синтаксически различаются конструкции, где дистрибутивный участник занимает в исходной конструкции позицию прямого дополнения vs. любую другую. Если *направо и налево* обозначает множественность прямых дополнений, то само прямое дополнение также должно быть выражено (ср. прямое дополнение *всех* в (36), где было бы невозможно просто *Кроет направо и налево*). Если же конструкция относится к любой другой синтаксической позиции, дублирования не требуется (ср. *рассказывали направо и налево* в (35), где вариант *рассказывали всем направо и налево* с дублированием непрямого дополнения, безусловно, возможен, но не обязателен и даже не очень типичен).

Говорящий и Наблюдатель в значении конструкций: требование неагентивности

Как известно, категория аспекта напрямую зависит от восприятия ситуации Говорящим. Эта зависимость иногда прямая (см. [Хонг 2003], где показано, что несовершенный vs. совершенный вид выбирается исходя из дискурсивной стратегии и восприятия событий Говорящим). Но даже за пределами данных случаев выбор аспектуальной формы не обусловлен полностью объективными свойствами ситуаций: см. [Падучева 1996; 2004] со множеством примеров.

Рассматриваемые нами конструкции также эгоцентричны — возможно, зависимость от свойств Говорящего и Наблюдателя еще сильнее, чем при выборе грамматических форм. При этом интересно, что свойства Говорящего и восприятие им ситуации различным образом влияют на разные конструкции.

Единица *то и дело* требует, чтобы Говорящий или Наблюдатель не контролировали ситуацию, играли в ней пассивную роль. Ср. следующие примеры, из которых (41) явно хуже всех остальных из-за того, что в этих двух примерах Говорящий контролирует ситуацию:

(37) Я то и дело натыкался на колышки.
(38) Я то и дело сбивался с пути.
(39) Меня то и дело останавливали.
(40) Мне то и дело звонили недовольные покупатели.
(41) *Я то и дело звонил в магазин с жалобами.

Отметим, что, по всей видимости, не обязательно, чтобы неагентивным был синтаксический субъект — важно только, чтобы ситуацию не контролировал Говорящий или Наблюдатель. В (39) и (40) подлежащее глаголов, соответственно, *останавливать* и *звонить* является Агенсом и контролирует ситуацию. Однако Говорящий не контролирует ни саму ситуацию, ни периодичность ее возникновения. Именно поэтому *то и дело* в примере (40) допустимо. Тем самым, если синтаксический субъект совпадает с Говорящим или Наблюдателем, то он должен быть неагентивным, как в (37) и (38). Если субъект не совпадает с Говорящим или Наблюдателем, он может быть агентивным, как в (39) и (40). В этом смысле конструкция *то и дело* сильно эгоцентрична.

Интересно рассмотреть в этой связи примеры с глаголами, которые могут быть агентивными. Ср., например, следующие два предложения:

(43) Думая об Ираклии Луарсабовиче <…>, я то и дело обращаюсь к словам «праздник», «радость», «веселье»… [Галина Шергова. …Об известных всем (2002–2004)]
(44) Я то и дело ошеломленно оглядывался за спину — это должно было еще где-то летать. [Александр Терехов. Каменный мост (1997–2008)]

Глагол *обращаться* в данном значении, безусловно, может обозначать сознательный выбор участника — например, *Я считаю нужным обратиться к более старым работам Виноградова*. Однако в данном примере подразумевается, что Говорящий обращается к некоторым словам, не выбирая их сознательно в своей речи, а подсознательно, думая о своем друге. Тем самым, здесь *обращаться* обозначает все же неконтролируемое действие.

Глагол *оглядываться*, как и *смотреть* и в отличие от *видеть*, всегда обозначает контролируемое действие. Однако добавление

наречия *ошеломленно* показывает, что и здесь агентивность неполная. Формально Говорящий, конечно, контролирует то, в какую сторону смотрит, однако смотрит он назад под действием внешних факторов, некоторой необычной ситуации, и в каком-то смысле он не может туда не смотреть, а значит, его действия вынужденны и не в полной мере являются результатом его выбора.

Независимости ситуации от воли Говорящего / Наблюдателя требует и *нет-нет да и*. Например, возможно предложение (45), но существенно хуже (46):

(45) Казалось, что он забыл Машу, но нет-нет да и зайдет к ней.
(46) ?Я не забыл Машу, нет-нет да и зайду к ней.

Пример (46) не полностью приемлем именно потому, что требовал бы для интерпретации двух несовместимых условий: (1) агенсом ситуации является сам Говорящий и (2) ситуация не зависит от воли Говорящего и неожиданна для него. Напротив, в (45), хотя агенс контролирует ситуацию, ее не контролирует Говорящий. В частности, хотя Говорящий может понять, что ситуация имела место более одного раза, он не в состоянии определить ее периодичность и причины возникновения. В этой связи он может употребить *нет-нет да и*.

Единица *на каждом шагу*, видимо, имеет аналогичное ограничение — она также требует, чтобы Говорящий или Наблюдатель не контролировал ситуацию:

(47) На каждом шагу меня упрекали в некомпетентности.
(48) *На каждом шагу я упрекал его в некомпетентности.

Однако причина ограничения здесь другая, чем в случае *то и дело*. Вероятно, *на каждом шагу* требует, чтобы *шаги* (продвижение по ситуации и ее итерациям) совершал Говорящий или Наблюдатель — иначе говоря, чтобы Говорящий или Наблюдатель совершал некоторое основное действие (кванты которого и выражаются метафорически словом *шаг*), а находящийся вне этого действия Агенс воздействовал на Говорящего. Так и происходит в примере (47). Говорящий совершает некоторые действия (например, делает научный доклад), а внешний Агенс воздействует на него своими упреками. Напротив, в (48) действие совершает — и, тем самым, производит метафорические *шаги* — некоторый другой участник, не совпадающий с Говорящим или Наблюдателем. Именно поэтому пример (48) кажется нам неприемлемым.

Аналогичное ограничение не действует, например, для наречия *часто*:

(49) Я ему часто звоню.
(50) Я часто хожу в театр.

Более того, конструкция *время от времени* также допускает, чтобы Говорящий или Наблюдатель участвовал в ситуации на правах Агенса:

(51) Время от времени я звоню своим родственникам, узнаю, как у них дела.

Данное противопоставление хорошо согласуется с тем, что *время от времени* точнее, чем *то и дело*, описывает частоту итераций. Если Говорящий — Агенс, осуществляющий контроль над ситуацией, он способен сам задавать периоды повторений. Напротив, для Экспериенцера или Пациенса ситуация в большинстве случаев неожиданна, он не может контролировать периодичность ее возникновения и даже не всегда способен ее отследить. Тем самым, поле аспектуальных конструкций позволяет нам обнаружить **связь** между признаками (неагентивность Наблюдателя и неточные периоды повторов), которые могут быть существенны и для грамматических маркеров аспекта.

Заключение

Мы проанализировали значение русских квазиграмматических конструкций со значением глагольной множественности.

Оказалось, что конструкции распределяются между выделяемыми в аспектологии значениями: итеративом, хабитуалисом и дистрибутивом. Больше всего конструкций: *то и дело*, *время от времени* и *нет-нет да и* — выражают итеративное значение.

С одной стороны, привязка к аспектуальным граммемам дает описанию конструкций новую перспективу. В первую очередь она связана с общими семантическими свойствами ситуации и ее участников, которые не всегда в достаточной мере принимаются во внимание при анализе семантики идиом и фразеологических единиц: частотой повторяющихся событий, (не)агентивностью Говорящего и т. д. В частности, нам удалось показать, что параметр агентивности Говорящего / Наблюдателя связан с (не)регулярностью повторяемости события (ср. конструкции *время от времени* и *нет-нет да и*).

Полезным оказывается различение хабитуалиса и итератива, введенное именно в работах по грамматике. Оказывается, что единица *сплошь и рядом* выражает скорее хабитуалис, а *нет-нет да и* находится между итеративным и хабитуальным значениями.

Оказывается, что, как и в сфере грамматики, для квазиграмматических конструкций актуален переход от повторяющихся ситуаций к свойствам. Впрочем, полного перехода не происходит ни в одной из них — даже конструкции, близкие по значению к хабитуалису, требуют, чтобы ситуация имела место несколько раз (ср. приводимые выше примеры хабитуального значения русского несовершенного вида типа *Вася ходит в школу*, где на самом деле Вася мог ни разу не сходить в школу или появиться там всего однажды). Возможно, это связано с тем, что значение повторяемости ситуации тесно связано со значением интенсивности, а интенсивность играет огромную роль в системе русских конструкций. Поэтому компонент повторяемости не отменяется ни в одном из употреблений конструкций.

В то же время конструкции не тождественны по значению соответствующим грамматическим маркерам. Во-первых, в их значении играют роль такие свойства Говорящего или Наблюдателя, которые не всегда значимы для грамматических аспектуальных показателей. Во-вторых, наблюдаются нестандартные модели многозначности (например, множественность событийная и предметная в употреблении конструкции *сплошь и рядом*).

В докладе мы рассмотрим данные конструкции подробнее и сопоставим их с аналогами из болгарского языка.

Литература

Крейдлин, Летучий 2005 — *Крейдлин Г. Е.*, *Летучий А. Б.* Семантическая структура слова *плечи* и его производных (на примере плеч) // Московский лингвистический журнал. 2005. № 8/2. С. 48–67.

Майсак 2005 — *Майсак Т. А.* Типология грамматикализации конструкций с глаголами движения и глаголами позиции. М., 2005.

Падучева 1996 — *Падучева Е. В.* Семантические исследования. М., 1996.

Падучева 2004 — *Падучева Е. В.* Динамические модели в семантике лексики. М., 2004.

Плунгян В. А. Введение в грамматическую семантику: грамматические значения и грамматические системы языков мира. М., 2011.

Рахилина, Ли Су Хён 2009 — *Рахилина Е. В.*, *Су Хён Ли.* Семантика лексической множественности в русском языке // Вопросы языкознания. 2009. № 4. С. 13–40.

Татевосов 2005 — *Татевосов С. Г.* Акциональность: типология и теория // Вопросы языкознания. 2005. № 1. С. 108–141.

Храковский, Крапивина 2008 — *Крапивина К. А.*, *Храковский В. С.* Таксисная конструкция с грамматикализованной единицей *в... бытность...* // Русский язык в научном освещении. 2008. № 1. С. 174–191.

Хонг 2003 — *Хонг Тэк-Гю.* Русский глагольный вид сквозь призму теории речевых актов. М., 2003.

Шеманаева О. Ю. Конструкции размера в типологической перспективе. Дисс. … канд. филол. наук. М., 2008.

Шлуинский А. Б. К типологии предикатной множественности: организация семантической зоны // Вопросы языкознания. 2006. № 1. С. 46–75.

Comrie B. Aspect: An introduction to the study of verbal aspect and related problems. Cambridge: Cambridge University Press, 1976.

Dahl Ö. Tense and aspect systems. Oxford: Blackwell, 1985.

Vendler Z. Verbs and times. The philosophical review 66. 1957. P. 143–160.

В. С. Храковский

Грамматика и лексика: пограничная зона

Несколько упрощая реальное положение дел, но в принципе нисколько его не искажая, мы можем моделировать языковую систему любого конкретного языка, а тем самым и языка вообще, как состоящую из двух подсистем. Одна подсистема — грамматика, другая подсистема — словарь. Грамматика при ее широком понимании, как известно, содержит в себе сведения о единицах и правилах всех уровней языка, включая единицы и правила фонетики, фонологии, морфологии (словоизменение и словообразование) и синтаксиса, а словарь, иначе лексикон, содержит в том или ином объеме лексику данного языка. Мы изучаем грамматику и лексику любого конкретного языка только с одной целью: обладая знанием грамматики и лексики, уметь строить и понимать на этом языке полноценные осмысленные и грамматически правильные высказывания. В принципе, можно считать, что любое осмысленное и грамматически правильное высказывание представляет собой равнодействующую двух составляющих. Первая составляющая — это лексические единицы и правила их семантического и формального взаимодействия, а вторая составляющая — это грамматические единицы и правила их семантического и формального взаимодействия.

При этом важно подчеркнуть, что именно грамматика создает индивидуальный облик любой конкретной языковой системы, тогда как лексика в большей степени, чем грамматика, отвечает за полноценное речевое общение. О такой роли лексики позволяют судить следующие примеры. Любой человек, владеющий русским языком, очевидно, без труда интерпретирует следующее грамматически неправильное, но осмысленное высказывание *Моя прийти завтра* = ‘Я приду завтра’, которое вполне может произнести человек, который еще только изучает русский язык. Иная ситуация

Виктор Самуилович Храковский,
Институт лингвистических исследований РАН (Санкт-Петербург)

возникает с известным предложением Н. Хомского в русском переводе *Зеленые идеи яростно спят*. Это предложение грамматически абсолютно правильное, все слова этого предложения представлены в словаре русского языка, однако они не согласованы по смыслу и в силу этого, как показал в свое время Ю. Д. Апресян [Апресян 1967], дать разумную интерпретацию этому предложению не представляется возможным. Сходная, но еще более затруднительная ситуация возникает с известным предложением Л. В. Щербы *Глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит бокрёнка*. Это предложение грамматически правильное, но представленные в нем слова, хотя их и можно предположительно отнести к определенным частям речи, отсутствуют в словаре русского языка, и соответственно это предложение при его грамматической правильности является абсолютно неинтерпретируемым.

Важное и естественное разграничение грамматики и лексики является вместе с тем в какой-то мере относительным. Так, в грамматике всегда говорится о служебных частях речи типа предлогов, послелогов, союзов, местоимений, а в словаре всегда перечисляются все слова, являющиеся предлогами, послелогами, союзами, местоимениями. Однако слова, имеющие отношение к грамматике, многие исследователи выделяют и в знаменательных частях речи. Касаясь этого вопроса, уже довольно давно С. Д. Кацнельсон писал: «Проблема, как отграничить грамматические значения от лексических, становится особенно острой при рассмотрении строевых слов. Многие слова, как подчеркивал Л. В. Щерба, выражают значения, близкие к грамматическим, ср. *быть*, *делать*, *становиться*, *пытаться*, *длиться*, *каждый*, *любой*, *весь*, *очень*, *обычно*, *внезапно*, *само собой* и т. п. Лишь немногие слова этого типа зарегистрированы грамматикой как „служебные“. Из рассмотрения таких слов явствует, что лексемы не всегда имеют именно лексическое значение. Но чтобы с уверенностью отличать строевые слова и не смешивать их со знаменательными, нужны критерии функционального порядка» [Кацнельсон 1972: 92][1].

Несколько позже было высказано предположение, что «существуют значения, которые обладают вполне определенной спецификой в собственно семантическом плане и в то же время обнаруживают „склонность“ к выражению служебными, грамматическими

[1] С позиций теории грамматикализации слова из списка Л. В. Щербы сами по себе, очевидно, еще не имеют отношения к грамматике, а всего лишь служат базой для возможного формирования грамматических показателей [Bybee, Perkins, Pagliuca 1994].

средствами или строевой глагольной лексикой с ее яркой грамматической спецификой, это значения, выступающие в качестве непредикатных функторов (не исключено, что и некоторые другие). Возможно, что подобные значения следует квалифицировать как грамматические по своей природе» [Касевич, Храковский 1981: 26]. Напомним, что функторами принято называть семантические элементы, которые обладают обязательными валентностями, или, что то же самое, открывают места для других семантических элементов [Ильин и др. 1971]. Функторы, у которых первая и вторая валентности не могут быть пропозиционными, было предложено считать предикатами, а функторы, у которых первая и/или вторая валентности являются пропозиционными, было предложено считать непредикатными или операторными. Заполнение других валентностей в рамках этой классификации не учитывается. Основанием для такой первичной классификации функторов послужило представление о том, что связь между функтором и его первыми двумя предметными актантами является более тесной (связь первого уровня), чем связь функтора с его первыми двумя пропозициональными актантами (связь более низкого уровня) [Hsieh Sin-I 1979]. Оказалось, что значения непредикатных функторов выражают глаголы: отрицательные (араб. *laysa* ‘не’ — *laysa* ‘*umaru yaktybu*:3SG:M *r-risa:lata* ‘Омар не пишет письмо’); фазовые (*начинать* — *Оркестр начал играть вальс*), аспектуальные (*повадиться* — *Повадился кувшин по воду ходить*, *тут ему и голову сломить*; *привыкать* — *Я привык гулять по вечерам*), темпоральные (араб. *sabaqa* ‘быть прежде’ — *’a lam yasbiq:*OPT:3SG:M *laka ’an qara’ta xa:Za: l-kita:ba?* ‘А ты раньше не читал эту книгу?’), пассивные (*подвергаться* — *Город подвергся бомбардировке*), модальные (*мочь* — *Бомба может взорваться в любую минуту*), ориентации (бурят. *ерэхэ* ‘сюда’ — < ‘приходить’, *Хажуудам хурэжэ ерэбэл даа* ‘Он ко мне приблизился’), движения (*идти* — *Я иду гулять*), положения в пространстве (*сесть* — *Старик сел отдохнуть*), таксисные (*предшествовать* — *Защите диссертации предшествовало ее обсуждение*), каузативные (*заставлять* — *Плохая погода заставила нас не выходить из дому*) и некоторые другие. Если говорить о специфике значений глаголов перечисленных групп, то можно прийти к выводу, что эти значения с определенной долей вероятности могут выражаться в языках различными грамматическими средствами и тем самым выделенные группы значений входят в то множество значений, которые могут выражаться как лексическими, так и грамматическими средствами. Более того, одни и те же значения могут в одном и том же языке параллельно выражаться и глагольными лексемами, и грамматическими средствами. Ограничимся двумя

примерами. В литературном арабском языке отрицательное значение, наряду с рассмотренным выше отрицательным глаголом, может выражаться отрицательнми частицами (*la: yaktybu*:3SG:M *'umaru r-risa:lata* 'Омар не пишет письмо'). В русском языке начинательное фазовое значение наряду с глаголом *начинать* может выражать глагольный префикс *за-* (*Оркестр заиграл вальс*).

В данном докладе мы хотим показать, что к числу глаголов, чье значение может выражаться и грамматическими средствами, относятся и такие, которые, насколько мы можем судить, в славянском языкознании традиционно не попадают в списки подобных глаголов. Таким в русском языке является глагол *притворяться*[2]. В этой работе мы проанализируем этот глагол вместе с глаголом *быть*. Выбор именно этих двух глаголов для сопоставительного анализа может на первый взгляд показаться случайным, но, как мы покажем далее, значения этих глаголов очень близки друг другу. Глагол *быть*, вообще-то говоря, традиционно считается служебным, однако Ю. Д. Апресян [Апресян 2010] выделяет у него шесть значений. Четыре значения — лексические. Это — основное связочное значение (*Мой отец был архитектором*), локативное (*Дети были на озере*), посессивное (*У него была прекрасная библиотека*), экзистенциональное (*Есть еще добрые люди на свете*). Пятое значение — этноспецифическое модальное (*Быть грозе*), а шестое значение — грамматическое, выступающее в двух вариантах (*Не буду вам мешать*, *Проект был закончен*).

С такой трактовкой можно было бы согласиться, если не принимать во внимание, что существуют языки, в которых основное связочное значение этого глагола выражается грамматическими средствами, а глагола с таким значением вообще в языке нет. К числу таких языков относятся, например, эскимосско-алеутские и чукотско-камчатские языки. В частности, в эскимосском языке есть суффикс *-у* / *-н'у* / *-гу*, который «присоединяется к основе практически любого имени» и образует глаголы со значением «быть тем, что указано в основе». «Полученные глаголы имеют обычные для эскимосских глаголов формы времени, лица, наклонения, ср.: *игах'ты-н'у-н'а* „я учитель", *игах'ты-н'у-т* „они учителя", *игах'ты-н'у-мак'* „он был учителем", *игах'ты-н'ы-лъук'ун'а* „я буду

[2] Такой же глагол есть и в других славянских языках. В украинском — *прикидатися*, белорусском — *прыкідвацца*, в польском это *udawać*, в чешском — *zatvařiti se*, в словацком — *tvárit' sa*, словенском — *se pretvarjat*, сербохорватском — *се претварати*, болгарском — *се преструвам*, македонском — *се преправам*.

учителем“» [Вахтин 1995: 106]. Далее, что очень важно в ракурсе рассматриваемой нами проблемы, Н. Б. Вахтин специально отмечает, что «отыменные глаголы этого типа функционально представляют собой аналог русского составного именного сказуемого с глагольной связкой „быть“. Особенностью эскимосского языка является то, что данные глаголы — это единственный способ выразить бытийное значение; данные свернутые конструкции не имеют параллельных полных, так как в ЯАЭ (языке азиатских эскимосов. — *В. Х.*) отсутствует глагол „быть“ в функции связки» [Вахтин 1995: 107–108]. Если учитывать факты такого рода, то основное лексическое связочное значение русского глагола *быть* следовало бы считать грамматическим, что вполне соответствует традиционной трактовке. Выражаясь более точно, следует, очевидно, говорить, что это значение входит в то множество значений, которое может выражаться как лексическими, так и грамматическими средствами. Заметим, между прочим, что специфика связочного значения состоит в том, что его конкретная интерпретация определяется лексическим заполнением второй аргументной позиции. Быть архитектором совсем не то, что быть врачом. Тем самым связочное значение глагола *быть* принципиально отличается, например, от значений знаменательных глаголов типа *читать*, *убивать* и т. п. Когда мы имеем дело с глаголами типа *читать* и *убивать*, то мы знаем, в чем заключается процесс и/или результат называемых этими глаголами ситуаций, независимо от того, что́ мы читаем или кого мы убиваем, а когда мы имеем дело с глаголами типа связочного глагола *быть*, мы такой информацией не располагаем, если мы не знаем, какое конкретно имя занимает вторую аргументную позицию. Если ту же самую мысль выразить в терминах грамматики конструкций, глаголы типа *читать* и *убивать* образуют одну и ту же конструкцию при любом лексическом заполнении аргументных позиций, тогда как сваязочный глагол *быть* образует разные конструкции при различном лексическом заполнении второй аргументной позиции.

В отличие от глагола *быть* глагол *притворяться* традиционно считается знаменательным и не имеющим никакого отношения к грамматике, однако с типологической точки зрения его значение можно трактовать как служебное, или, выражаясь более точно, как значение, которое может выражаться как лексическими, так и грамматическими средствами. Лексема этого глагола входит в синонимический ряд лексем ПРИТВОРИТЬСЯ, ПРИКИНУТЬСЯ, СИМУЛИРОВАТЬ, к которым добавлена фразема ДЕЛАТЬ ВИД. Насколько мы можем судить, единицы приведенного синонимического ряда практически во всех толковых словарях толкуются примерно одинаково. См., например:

1. ПРИТВОРИТЬСЯ. Представиться каким-л., принять на себя какой-л. вид с целью ввести в обман, в заблуждение [МАС, III, 1983: 448], 2. ПРИКИНУТЬСЯ *обычно кем-чем. Разг.* Принять какой-л. вид с целью обмана; притвориться [МАС, III, 1983: 414], 3. СИМУЛИРОВАТЬ. Притворством, обманом создать (создавать) ложное представление о наличии какого-л. состояния или явления [МАС, IV, 1984: 94], 4. ДЕЛАТЬ ВИД (*обычно с союзом что*) — создавать видимость чего-л.; притворяться [МАС, I, 1981: 172]. Основной, наиболее употребительной и не имеющей стилистических ограничений в этом ряду является лексема ПРИТВОРИТЬСЯ. Не случайно при характеристике почти всех остальных лексем этого синонимичного ряда делается отсылка к этой лексеме.

В следующих примерах представлены наиболее типичные употребления лексем этого ряда (все примеры заимствованы из НКРЯ: www.ruscorpora.ru):

(1) Я не сплю, я *притворяюсь*, что сплю (Каверин),
(2) Боясь его смутить, он закрыл глаза и *притворился* спящим (Катаев),
(3) Когда прибыли на Итаку собравшиеся в поход, чтобы прихватить с собой под Трою Одиссея, он *прикинулся* сумасшедшим (Кушнер),
(4) Я *прикидываюсь*, что не понимаю (не знаю впрочем, для чего *прикидываюсь*, так, для красы, вероятно) (Достоевский),
(5) Для того, чтобы в глазах всего мира мое участие не вызывало подозрений, я с ведома советского правительства *симулирую*, что, разойдясь с ним в корень и отряхнув прах от моих ног, я бежал от него в Швецию (Соломов),
(6) Но с особой охотой поэт *симулирует* страдание (Анненский),
(7) Может, и не по-настоящему плюнул, но *сделал вид*, что плюнул (Грекова),
(8) Я все это умею, но я стараюсь не обидеть по крайней мере моего мужчину и не *делаю вид*, что, уйди он сейчас, я все сделаю сама (Сычевский).

Лексемы данного синонимического ряда исчерпывающим образом проанализированы Ю. Д. Апресяном в работе [Апресян и др. 2000: 290], где он справедливо обратил внимание на то, что «признак „кажимости“ несовпадения фактического положения дел с тем, что представляется наблюдателю, лежит в основе важного для языка противопоставления **реального** и **мнимого** (воображаемого или обманного) миров». К сказанному, пожалуй, следует добавить, что мы моделируем мнимый мир по образу и подобию реального мира, и в частности для значения ПРИТВОРЯТЬСЯ базовым является связочное БЫТЬ, ИБО ПРИТВОРЯТЬСЯ — по сути своей КАК БЫ БЫТЬ (а для

наблюдателя «быть на самом деле»). Иными словами, связочное значение глагола *быть* и значение глагола *притворяться* очевидным образом связаны друг с другом.

Заметим, однако, что интересующая нас проблема соотнесенности значений, которые могут выражаться как глагольными лексемами, так и грамматическими показателями в глаголе, осталась вне поля зрения Ю. Д. Апресяна. Чтобы перейти к ее рассмотрению, мы прежде всего напомним то толкование, которое Ю. Д. Апресян дает лексеме притворяться: «*X* ***притворяется*** *Y-м перед Z-м* = ‘не делая Y, не будучи в состоянии Y или не имея свойства Y, X подражает типичному поведению человека, который делает Y, находится в состоянии Y или имеет свойство Y, чтобы Z считал, что X — Y, потому что X считает, что это поможет ему достичь цели’». По мнению Ю. Д. Апресяна, у всех синонимов рассматриваемого ряда три валентности: субъекта действия, создаваемого образа и аудитории. Мы согласны с такой трактовкой валентностей, но характеризуем их несколько иначе. С нашей точки зрения, три места ситуаций, называемых данными лексемами, занимают Агенс (у Ю. Д. Апресяна субъект действия), Наблюдатель (у Ю. Д. Апресяна аудитория), который чаще всего остается за кадром, и создаваемый Образ (первого участника некоторой конкретной ситуации). Выражаясь более формально, ‘участник X (человек) имитативной ситуации P, называемой лексемой притворяться, выполняя роль Агенса, совершает определенный набор действий с целью предстать перед участником Z-ом (Наблюдателем), изображая первого (единственного) участника Y некоторой конкретной ситуации P_1, притом что ситуация P_1 фактически не имеет места. Имитация наличия ситуации P_1 совершается X-ом в своих собственных интересах, преимущественно чтобы избежать каких-то неприятных для него коллизий’.

Здесь очень интересен формальный статус ситуации, называемой лексемой притворяться. Дело в том, что эта ситуация является обобщенной, абстрактной, примерно такой же, что и лексема быть. И под эту абстрактную ситуацию теоретически подводится все множество конкретных ситуаций, которые X может сымитировать. Для имитации любой конкретной ситуации X должен выполнять индивидуальный набор определенных действий. И таких наборов в принципе может существовать ровно столько, сколько можно сымитировать конкретных ситуаций. Иначе говоря, лексема притворяться, как и лексема быть, принципиально отличается от лексем, называющих конкретные ситуации. Как мы уже отмечали выше, любая такая лексема, например, читать, убивать и т. п., имеет одну и ту же интерпретацию, независимо от того, кто конкретно

выступает в роли участников этих ситуаций. В терминах грамматики конструкций это означает, что соответствующие глаголы образуют одну и ту же конструкцию при любом лексическом заполнении аргументных позиций. Иначе говоря, интерпретация любой такой лексемы не зависит от лексического заполнения аргументных позиций. В то же время в случае имитативной ситуации набор действий, которые выполняет Агенс, и результат этих действий, а тем самым и интерпретация ситуации, меняются в зависимости от того, какая конкретная ситуация имитируется. В терминах грамматики конструкций это означает, что глагол *притворяться* образует различные конструкции при каждом лексическом заполнении второй аргументной позиции. Выражаясь более точно, интерпретация имитативной лексемы определяется лексическим наполнением второй аргументной позиции. Таким образом, лексемы этого синонимического ряда, как и лексема быть, фактически выполняют ту же функцию, которую в принципе могут выполнять грамматические показатели, и соответственно есть определенные основания говорить об особом статусе значения ‘притворяться’, практически таком же, что и у значения связочного ‘быть’.

Если говорить о синтаксической конструкции, образуемой глаголами данного синонимического ряда, то в ее состав входят два обязательных актанта и один факультативный. Первый обязательный актант — подлежащее. Его позицию занимает имя Агенса ситуации, называемой имитативной лексемой. Второй обязательный актант — это либо косвенное дополнение, см. (2), (3), либо сентенциальный актант, см. (1), (4), (5), (7), (8), либо прямое дополнение, см. (6). Позицию косвенного дополнения занимает имя первого участника имитируемой ситуации, позицию сентенциального актанта занимает придаточное изъяснительное предложение, в котором финитный глагол называет имитируемую ситуацию, позицию прямого дополнения занимает имя имитируемой ситуации. Необязательный актант — это косвенное дополнение, позицию которого занимает обозначающая Наблюдателя предложно-именная группа *перед кем-либо* / *с кем-либо*:

(9) Я никогда ни перед кем не *притворяюсь* (Л. Толстой),
(10) Может быть, я только *притворяюсь* с ней (Масленникова).

Заметим, что в роли Агенса имитативной ситуации наряду с людьми могут выступать и другие живые существа:

(11) Если они [уши] прижаты к голове, зверь *притворяется* мертвым (Бурлак).

Особых комментариев заслуживают примеры следующего типа:

(12) — Да и немочка — фрукт: ишь, козочкой *притворяется* (Бондарев).

Разумеется, не следует думать, что речь идет об имитации внешнего сходства с козочкой. Фактически речь идет о внутренних качествах (например, нежность, доброта, ласковость), которые принято приписывать этому животному.

Обратим внимание на то, что, если говорящим является имитатор, то нет никаких оснований сомневаться в наличии факта имитации:

(13) Однако, видя бесполезность дальнейшего сопротивления, я *притворился* мертвым (Кошко), см. также (1), (4), (5), (8).

Несколько иначе обстоит дело, если говорящим является Наблюдатель, ибо Наблюдатель должен считать имитируемую ситуацию реальной, хотя он может и усомниться в ее реальности.

(14) Накануне рубки избы ему занедужилось, или он *притворился*, чтоб приучать детей, но он направил смотреть за работой младшего сына своего Тимофея (Вс. Иванов), см. также (7).

Необходимо отметить, что существуют такие предложения, в которых сентенциальный актант на первый взгляд не обозначает имитируемую конкретную ситуацию с первым участником-имитатором. Мы имеем в виду примеры типа

(15) Ефрем *притворялся*, что все это очень любопытно ему… (Эртель),
(16) Сперва я стала *притворяться*, что насмешки моей соперницы мучат меня все нестерпимей (Брюсов),
(17) Ему надоело *притворяться*, что все идет хорошо (Шим).

Фактически в примере (15) речь идет о том, что Ефрем притворялся любопытным человеком, в примере (16) речь идет о том, что говорящая женщина притворно мучится от насмешек своей соперницы, а в примере (17) речь идет о том, что тому, о ком идет речь, надоело притворяться человеком, у которого все идет хорошо.

Возвращаясь к высказанной выше мысли о том, что с типологической точки зрения имитативное значение глагола *притворяться* можно трактовать как значение, которое может выражаться как лексическими, так и грамматическими средствами, обратимся к данным литературного арабского языка. В этом языке некоторые

исходные глаголы состояния так наз. I породы преобразуются в так наз. имитативные (симулятивные) глаголы VI породы (типа *SaKiRa* ‘быть пьяным’ → ***taSa:KaRa*** ‘притворяться пьяным’, *MaRiḎa* ‘болеть’ → ***taMa:RaḎa*** ‘притворяться больным’). Маркером деривационного процесса служит замена краткого /a/ после первой корневой фонемы долгим /a:/ и прибавление префикса *ta-*. Соответственно в этом языке существуют деривационные цепочки типа:

(18) *MaRiḎa muḥammad* ‘Мухаммед (за)болел/был больным’ →
(19) ***taMa:RaḎa muḥammad*** ‘Мухаммед притворился больным’.

В результате этого деривационного процесса происходят следующие принципиально важные изменения: во-первых, единственный участник ситуации меняет роль Пациенса на роль Агенса, во-вторых, в ситуации, обозначаемой имитативным глаголом, появляется фигура Наблюдателя.

Заметим, что в арабском языке есть также глагол *taẓa:hara* ‘изображать, делать вид’, который с помощью предлога *bi* (с инструментальным значением) управляет отглагольным именем (масдаром), называющим конкретное состояние или действие: *taẓa:hara bi l-MaRaḎi* 'он изобразил болезнь', т. е. ‘он притворился больным’. Это выражение является абсолютным синонимом глагола VI породы ***taMa:RaḎa*** ‘притвориться больным’.

Обратимся теперь к данным японского языка. Пример (20) идентичен по смыслу арабскому примеру (18):

(20) *Taroo wa byooki dat-ta.*
Тароо TOP болезнь COP-PST
‘Таро (за)болел’

Интересующий нас деривационный процесс представлен в примере (21):

(21) *Taroo wa byooki no huri o shi-Ø-ta*
Тароо TOP болезнь GEN вид ACC делать-PFV-PST
‘Таро притворился больным’.

Маркером деривационного процесса служит отглагольное имя *huri* ‘вид’ от функционирующего в качестве вербализатора глагола *huru* (*buru*) и служебный глагол *suru* ‘делать’.

Кроме того, в японском языке есть глагол *yosoou* ‘наряжаться’, который используется для выражения того же самого смысла.

(22) *Taroo wa byooki o yosoot-Ø-ta*
Тароо TOP болезнь ACC наряжаться-PFV-PST.
‘Таро притворился больным’, досл. ‘Таро нарядился в болезнь’.

Ситуация в японском языке напоминает ситуацию в арабском языке, однако именно для обозначения симуляции болезни используется также конструкция со словом *kebyoo* ‘лжеболезнь’ и глаголом *tsukau* ‘пользоваться, использовать’.

(23) *Taroo wa kebyoo o tsukat-Ø-ta.*
Тароо TOP симуляция болезни ACC пользоваться-PFV-PST.
‘Таро притворился больным’.

Имитативное значение выражается грамматическими средствами во многих языках. Например, в языке гуарани есть глагольный суффикс *gua’u* со значением ‘притворяться, делать вид’:

(24) *-Ha mokõi tahachi (upe aja o-kañy-va’e-kue)*
и два солдат DEM пока ЗA-прятаться-REL-NPAST
o-ñe-kytĩ-gua’u o-mbo-tavy-potá-vo huvichá-pe, ha
ЗA-REFL-ранить-SML ЗA-CAUS-дурак-хотеть-SIM 3.командир-OBL и
o-mbo.ja avei ore-rehe
ЗA-обвинять также 1PL.EXCL-через

‘А два солдата, которые прятались в это время, ранили себя понарошку, желая обмануть своего командира, и свалили вину на нас’.

Очень интересна ситуация в кхмерском языке, где имитативное значение ‘притворяться’ передается серией, состоящей из агентивного глагола *thvɤ*: ‘делать’ и связочного глагола *ciə* ‘быть’:

(25) *prəpɔ:n ... thvɤ: ciə chɯ: de:k thŋou hɯŋ-hɯŋ*
жена делать быть болеть лежать стонать очень.громко

‘Жена притворилась больной и лежала, издавая громкие стоны’[3].

Если теперь суммировать все изложенное, учитывая анализ связочного значения глагола *быть* и значения глагола *притворяться*,

[3] Я искренне признателен Ю. Конума за японские примеры, Д. В. Герасимову за пример из языка гуарани и С. Ю. Дмитренко за пример из кхмерского языка.

то можно прийти к следующим выводам. Существует определенный круг значений, которые в различных языках могут выражаться как глаголами, так и грамматическими морфемами в глаголе. Соответствующие грамматические морфемы имеют словообразовательное значение. Что касается глаголов, то они могут выступать в роли словообразовательных элементов, участвуя в формировании так наз. «сложных» глаголов. Кроме того, эти глаголы (как и некоторые другие) могут подвергаться процессу грамматикализации, в результате чего они превращаются в компоненты аналитических форм, выражая обычно значения словоизменительных (чаще всего аспектуальных и темпоральных) категорий. Особый статус значений, выражаемых как глагольными лексемами, так и грамматическими морфемами в глаголе, определяется их специфическими особенностями. Первое свойство таких значений — их универсальность. Они должны выражаться как отдельные сущности в любом языке. Иначе говоря, они входят в «универсальную библиотеку смыслов» (выражение А. А. Холодовича), или, пользуясь другой терминологией, представляют собой значения (или комбинации значений) универсального семантического языка. Второе свойство этих значений состоит в том, что у них простая семантическая структура. Третье свойство этих значений состоит в том, что они либо не обозначают ситуаций (непредикатные функторы), либо обозначают абстрактные ситуации, т. е. ситуации, чья интерпретация зависит от заполнения аргументных позиций (определенные типы предикатных функторов). Обратим внимание на то, что эти значения в какой-то мере совпадают со смыслами, которые выделяются в качестве стандартных лексических функций — параметров. А эти лексические функции, по словам И. А. Мельчука [Мельчук 1999: 106], представляют собой «„ядерные“, „основные“ смыслы, образующие для языков мира универсальный инвентарь грамматических и/или словообразовательных категорий».

Литература

Апресян 1967 — *Апресян Ю. Д.* Экспериментальное исследование семантики русского глагола. М., 1967.

Апресян и др. 2000 — *Апресян Ю. Д.* Притворяться // Апресян и др. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Вып. 2. М., 2000. С. 290–295.

Апресян 2010 — *Апресян Ю. Д.* Принципы лексикографического описания многозначных слов // Исследования по лингвистике и семиотике. Сборник статей к юбилею Вяч. Вс. Иванова. М., 2010.

Вахтин 1995 — *Вахтин Н. Б.* Синтаксис языка азиатских эскимосов. СПб., 1995.

Ильин и др. 1971 — *Ильин Г. М.*, *Лейкина Б. М.*, *Никитина Т. Н.*, *Откупщикова М. И.*, *Фитиалов С. Я.* Лингвистический подход к задаче построения информационной системы // Информационные вопросы семиотики, лингвистики и автоматического перевода. Вып. 2. М., 1971.

Касевич, Храковский 1981 — *Касевич В. Б.*, *Храковский В. С.* Конструкции с предикатными актантами. Проблемы семантики // Категории глагола и структура предложения. Л., 1983.

Кацнельсон 1972 — *Кацнельсон С. Д.* Типология языка и речевое мышление. Л., 1972.

МАС, I, 1981 — Словарь русского языка. Т. I. М., 1981.

МАС, III, 1983 — Словарь русского языка. Т. III. М., 1983.

МАС, IV, 1984 — Словарь русского языка. Т. IV. М., 1984.

Мельчук 1999 — *Мельчук И. А.* Опыт теории лингвистических моделей «СМЫСЛ ⇔ ТЕКСТ». М., 1999.

Bybee, Perkins, Pagliuca 1994 — *Bybee J. L.*, *Perkins R.*, *Pagliuca W.* The evolution of grammar: Tense, aspect and modality in the languages of world. Chicago: University of Chicago Press, 1994.

Hsieh Sin-I 1979 — *Hsieh Hsin-I.* Logical, syntactic, and morphological notions of subject // Lingua. Vol. 48. N 4. 1979. P. 329–353.

IV.

Н. Е. Ананьева

Типология польских говоров Сибири и результаты их контактов с русским идиомом

За последние 40 лет усилиями польских и отечественных историков сформировалось направление, исследующее историю возникновения полоноязычной диаспоры Сибири [см. Шостакович 1974; Масярж 1995; Польская ссылка 1998; Сибирь 2002; Шайдуров 2012 и др.]. В том числе изучается история формирования польских крестьянских поселений в Сибири (см., например, [Масярж 2002]), с появлением которых начинается, по словам историка В. Шайдурова, «качественно новый этап в формировании польской общины Сибири» [Шайдуров 2012: 118]. Если до этого появление поляков на территории Сибири носило вынужденный характер (это были либо пленные и их потомки на русской службе, либо ссыльные участники восстаний 1830 и 1863 гг.), то с рубежа XIX–XX вв. «все большее значение начинает приобретать добровольное переселение» [там же]. Меняется и качественный состав переселенцев: среди них начинают преобладать крестьяне. Если в 1880-х и 1890-х гг. такое добровольное переселение на сибирские просторы носило самовольный характер (переселенцы направлялись в Сибирь по паспортам и без переселенческих свидетельств [там же: 119]), то в годы столыпинской аграрной реформы переселение приобретает организованный и массовый характер, и на карте Сибири появляются отдельные полоноязычные поселения. Одним из старейших сибирских польских поселений является поселок Белосток (польск. Białostok или Białystok) под Томском, основанный в 1899 г. выходцами с территории северо-восточных «Кресов», назвавшими новое поселение в память о своей «прародине».

Перед переселением из какой-либо местности в Сибирь туда «на разведку», как правило, отправлялись так называемые ходоки. Так, первым ходоком среди поселенцев пос. Белосток был Александр Йоч, из семьи которого происходит и последняя полоноязычная

Наталия Евгеньевна Ананьева,
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (Москва)

жительница Белостока Мария Маркиш (1928 г. рождения), польскую речь которой нам удалось записать в 2004 г. Переселенцам в Сибирь бесплатно выделялись земельные наделы (10–15 десятин), давалось сторублевое пособие и лес для строительства жилья. Переезд в Сибирь также или был бесплатным, или оплачивался по льготным условиям: переселенец должен был оплатить четверть стоимости билета третьего класса. Первые пять лет проживания в Сибири переселенец освобождался от налогов, а последующие пять лет пользовался при уплате налогов льготами (подробнее см. [Петшик 2007: 6–8]). О том, что именно в ходе реформ П. А. Столыпина возрос поток польских малоземельных крестьян, а также утративших работу в период экономического кризиса 1905–1907 гг. шахтеров и рабочих (в частности, жителей Домбровского бассейна) на просторы Сибири, свидетельствуют такие цифры: «если в первые триста лет в Сибирь переехало 4,5 млн. человек, то с 1895 по 1910 г. — 3 млн., из них половина — в 1907–1909 годах» [там же: 6]. Выходцы из Домбровского угольного бассейна основали в 1910 г. самое известное из сохранившихся сибирских полоноязычных поселений — дер. Вершину (первоначальное название Вершинино), расположенную в 120 км от Иркутска. В настоящее время деревня Вершина относится к Боханскому району Иркутской области, а в состав польского анклава, помимо Вершины, входят еще 2 населенных пункта: деревня Нашата (произносительные варианты диалектоносителей: *Našyta* // *Našata* // *Našeta*) и бывший заречный улус Хонзой (поляки произносят: *Xunzój*). Первыми тремя ходоками, за которыми приехали польские семьи (первоначально 450 семей: 1281 мужчина и 1113 женщин), были: Томаш Лабуда, Антон Петшик и Михаил Фасинский [там же: 8]. Их потомки проживают в деревне до настоящего времени.

Если по истории образования сибирских полоноязычных анклавов уже накоплена довольно обширная литература (хотя исследователь истории польских крестьянских поселений в Сибири В. Масяж и сетует на то, что «проблематика миграции польских крестьян в Сибирь так и не стала до настоящего времени предметом отдельного направления в научных исследованиях» [Масяж 2002: 241]), то изучение языковых особенностей сохранившихся польских сибирских диалектов, функционирующих в условиях контакта с русским идиомом (как в его литературной, так и в диалектной форме), только начинается (статьи Ю. П. Гольцекера, Л. Фигуры-Вежинтас, Н. Е. Ананьевой в России, В. Децик, Д. Пасько, М. Глушковского, Е. Ступиньского в Польше). Наибольшее внимание исследователей привлекает к себе сохранивший яркие черты материнского малопольско-силезского диалекта польский говор жителей дер. Вершина (см., например,

[Гольцекер 1989; 1991; Decyk 1995; 1997; Figura 2003; Ananiewa 2006; 2011; 2013; Paśko 2009; Пасько 2011; Ананьева 2011; 2013]).

В июле 2010 г. в ходе полевых исследований, проведенных в данном пункте, нами был собран значительный диалектный материал, свидетельствующий о сохранении в вершинском говоре основных признаков, характерных для южных и юго-западных польских говоров на территории Польши (малопольско-силезский ареал).

Приведем из них наиболее яркие фонетические особенности:

- *o* на месте **ā* (а также распространившееся вследствие аналогических процессов): *jo* «ja», *trova* «trawa», *jojka* «jajka», им. ед. ж. р. прилаг. *tako* «taka», *Sojino* «Soina» — фамилия жены, образованная от фамилии мужа *Soja*, *nos* «nas» и т. д.;
- *i*/*y* на месте **ē* (и по аналогии): *polyfka* «polewka», *ml'iko* // *mlyko* «mleko», *xl'iv* // *xlyf* «chlew», *p'ic* «piec», *v'im* «wiem»;
- *u* на месте **ō* (*curka* «córka»);
- узкий характер континуантов носовых гласных и такое же произношение континуантов **ě* и **ā* перед носовыми согласными (*śv'into* «święto», *jinzyk* «język», *zajunc* «zając», *prus''untko* «prosiątko», *mum* «mam»);
- наличие бифонемного сочетания *um* (реже *un*) в качестве континуанта носового гласного заднего ряда в позиции конца слова (*sum* «są»);
- мазурение (вернее, цеканье, поскольку в качестве системного фонетического явления представлено только *c* на месте *č*);
- наличие в речи некоторых информантов характерного среднеевропейского *l*, после которого фиксируется *y*: *mlyko* «mleko», *klyš* «kleszcz», *xlyp* «chleb», *lyń* «leń», *oblykać* «oblekać», *podlyfka* «podlewka» и под.
- звонкий тип сандхи и звонкость *v* после глухих согласных и другие (подробнее [Ананьева 2011; Ananiewa 2013]).

К малопольско-силезским особенностям относятся и добавление *k* к наречиям (*doteras<u>k</u>a*), а также яркие лексические признаки, характерные для южной и юго-западной Польши, в том числе усвоенные материнским диалектом из чешского, словацкого и немецкого идиомов. Примеры подобных лексем: малопольск. *kaj* «где», *k'ej* «когда», *gadźina* «скот», *furgać* «порхать», силезск. *dźou̯xa* и *dźou̯ška* «девушка, девочка». Ср. германизм *fest* «очень; быстро; сильно», словакизмы и богемизмы *ohyńe* «голубика», *modžyń* «лиственница», *rusy* «тараканы». В говоре представлены интересные макросистемные метатезы (*rustel'ko* 'lusterko' «зеркало», *garalyta* 'galareta' «желе; студень», в фамилии *Rolek* 'Lorek'), архаизмы (ср. *uny* — генетически

им. мн. жен. р. ‘ony’), упрощения групп согласных (особенно частотно выпадение *ł* после консонанта, но не только: *sup* ‘słup’ «столб», *xop* ‘chłop’ «мужик; муж», *dyš* ‘deszcz’ «дождь» и мн. др.), лексико-морфонологическое отсутствие носового в футуральных формах глагола *być* (*byde*, *bydźeš* и т. д.) при одновременном лексико-фонетическом наличии вторичных (неэтимологических) носовых (*jin̲źoro* ‘jezioro’ «озеро», *jan̲grest* ‘agrest’ «крыжовник»). О морфонологических и морфологических особенностях глагольной парадигматики, в которых также отражены характерные черты материнского диалекта, например, отсутствие чередований *e* ~ *o* (*n’ese*, *n’esum*; *b’ere*, *b’erum*) и *r* ~ *ž* (*b’ere*, *b’ereš*, императив *b’er!*), наличие в парадигме презенса оппозиции 1 л. ед. ч., 1 л. мн. ч., 3 л. мн. ч. ~ остальные формы в глаголах, соответствующих глаголам *e*- и *i*-спряжения польского литературного языка (далее ПЛЯ) типа *moge*, *mogymy*, *mogum* ~ *možeš*...; *saʒe*, *saʒymy* // *saʒemy*, *saʒum* -*sadźiš*…) см. в [Ананьева 2011; Ананьева 2013_1].

Второй обследованный нами полоноязычный пункт — это пос. Белосток, в котором по-польски, как уже было отмечено выше, говорила одна 75-летняя диалектоносительница. Поселок был основан переселенцами из Гродненской губернии, и в польском языке информантки Марии Маркиш представлены следующие особенности, характерные для обеих разновидностей «польщизны кресовой»:

- отсутствие среднеязычного палатального ряда *ś*, *ź*, *ć*, *dź*, которому соответствуют палатализованные *s’*, *z’*, *c’*, *dz’*;
- качественная редукция безударных гласных («иканье» — *s’ed**y**mdz’es’unt*, «уканье» — *p**u**žyl’i*, *p**u**jexal’i*); при этом «иканье» представлено непоследовательно (*pus’**e**l’il’i*, *n’e xc**e*** ‘nie chcę’);
- отсутствие носовых в позиции конца слова (*s trav**o***, *pšyjad**o***, *n’e pujd**e***);
- отсутствие личных окончаний в прошедшем времени (*ja pošła*);
- отсутствие лично-мужских форм во всех частях речи.

В записанных от М. Маркиш текстах встречаются примеры с *i* < *ē* (*n’i ma*, *ml’ika zəstavl’al’i nos’ic’*), хотя в других словах с *ē представлено только *e* (*xl’ep*, *sn’eg*), возможно, не без влияния в данных случаях русского языка. Отмечается у нее также лексикализованный пример смешения *ó* (*u*) и *o*, столь характерный для северо-восточной разновидности «польщизны кресовой» (*xuc’* ‘chodź’). Однако одновременно последовательно, в отличие от типичной северо-восточной формы *dvor*, представлена в речи М. Маркиш форма им.-вин. ед. *dvur* (*na dvur* и т. п.).

Наряду с непоследовательным «иканьем» в записанных у Маркиш текстах встречаются характерные для северо-восточных Кресов формы с расширением *e* в безударной позиции («аканье»): в возвратной частице *się* (*s'a*: *ja ruzd'ene s'**a***), в вин. п. ед. ч. существительных женского рода на *-a* (*zakupc'il'i ta xałup**a**, f ško**ła** bral'i*). В идиолекте Маркиш представлены также отдельные морфологические «кресовизмы»: окончание дат. мн. существительных *-am* (*xałup**am***); отсутствие местоименной формы *je*, в функции которой выступает форма *ich* (*katamy **ix***, т. е. яйца); расширенное употребление флексии твор. мн. существительных *-ami* (*z d'et'**ami*** 'z dziećmi'). Зафиксированы также отдельные лексические «кресовизмы»: *kuc'a* «кутья», *dryg'il'ina* «студень», *nastol'n'ik* «скатерть». Подробнее об идиолекте М. Маркиш см. [Ananiewa 2006: 96–97].

Предки М. Маркиш со стороны отца прибыли из Гродненской губернии во время первой волны переселения. О своей матери информантка говорит, что она родом «из-под Кракова». Возможно, что мать М. Маркиш прибыла в Сибирь с другой группой переселенцев. Известно, что последние переселенцы прибыли в Белосток в 1914 г. из окрестностей г. Бяла-Подляска [Масяж 2002: 244–246]. Во всяком случае, в польской речи последней полоноязычной жительницы пос. Белосток наряду с чертами, общими для обеих территориальных разновидностей периферийного польского диалекта, и особенностями, характерными для его северо-восточного подтипа, фиксируются также некоторые черты, совпадающие с признаками юго-восточной разновидности «польщизны кресовой»: фонетические сегменты *pl'* и *bl'* (*ku**pl'**al'i* «покупали»), *i* < **ē*. Даже лексемы *štany* и *dočka*, наличие которых в идиолекте М. Маркиш можно было бы счесть результатом влияния русского идиома, одновременно относятся к давним лексическим особенностям польских говоров Украины. Таким образом, определение типа «кресового» диалекта, представленного идиолектом М. Маркиш, является в настоящее время делом довольно сложным и, возможно, вследствие отсутствия других полоноязычных диалектоносителей в данном пункте, даже невыполнимым.

Носителем «кресового» польского диалекта были, по всей видимости, и жители дер. Малиновка под Томском, которые не сохранили своего диалекта (отдельные жители помнят только несколько слов и начало молитв «Ojcze Nasz» и «Zdrowaś Maryja»). На «кресовое» происхождение утраченного диалекта косвенно указывает большое число белорусизмов в их русской речи.

Таким образом, в настоящее время мы можем говорить о двух основных типах «польщизны сибирской»: континуанты старых материковых польских диалектов (малопольско-силезских, как говор дер. Вершина,

мазовецких — говор сел Знаменка и Александровка под Абаканом [Stupiński 2008; Stupiński 2009]) и континуанты более новых восточных периферийных кресовых говоров (к каким, по всей видимости, относился, судя по его остаткам, говор диалектоносителей пос. Белосток).

Островные польские сибирские говоры функционируют в иноязычном окружении, подвергаясь главным образом воздействию русского языка. Результат влияния языков коренных жителей Сибири (эвенкийского или бурятского) минимален. Так, в Вершине повсеместно функционируют две лексемы, заимствованные из этих языков: название напитка — *tarasún* «самогон» (в бурятском обозначает алкогольный напиток, приготавливаемый на кислом молоке) и *unty* (из эвен. *unta* «сапог»). Последняя лексема могла прийти в говор через посредничество русского языка, как и давнее заимствование в русском *šaman* (и производный от него глагол *šamańić*). Глагол *šamańić*, которым поляки обозначают религиозные практики бурят, довольно частотен в вершинском говоре.

Иные последствия для польского говора имеет его контакт с родственным ему русским идиомом, и изучение результатов этих контактов в последнее время привлекает особое внимание исследователей (см., например, [Paśko 2009; Пасько 2011; Głuszkowski 2011]).

В обследованных нами пунктах (и в Вершине, и тем более в белостоцком идиолекте) влияние русского языка представлено на всех уровнях, но, что естественно, в первую очередь на лексическом. Так, жители Вершины совершенно забыли польские названия месяцев и употребляют русские номинации. Повсеместны такие лексемы, как *čaj* «чай», *strojeńe* «строение», *daže* «даже», *gotov'im* «готовим», *uxážyvać* «ухаживать», *skotn'ik* «скотник», *sup* «суп», *kan'ešno* «конечно», *počka* «почка (анатомич.)», *bábuška* и мн. др. (примеры см. также в [Ананьева 2011; 2013_1; Ananiewa 2013]).

Русизмы отмечались в вершинском говоре участниками самых первых (пробных) обследований села, проведенных в 70-е и 80-е гг. XX в. студентами Самаркандского госуниверситета под руководством Ю. П. Гольцекера. Материалы этого обследования хранятся в картотеке польских говоров Института языкознания Белорусской Академии Наук. Приведем отдельные примеры лексических русизмов из этой картотеки:

1) nomina personalia: *brakon'ér*, *n'er'áxa*, *partnój*, *portn'íxa*, *prokurór*, *pčo^{a}łovót*, *p'ečn'ík*, *sapóžn'i**g***[1], *sołdát*, *spl'etn'i**g***, *xvastún*, *šutn'í**g***;

[1] Мы сохраняем авторскую запись эксплоратора, который довольно последовательно аллофон фонемы *k* в слабой для глухости-звонкости

2) лексика, связанная с темой «Болезни и их лечение»: *bol'n'ica*, *grádus'n'ik*, *m'in'ing'ít*, *s'ib'irska jazva*, *s'in'á**g***;
3) номинации частей тела: *gruʒ'*, *ładuška* «ладошка», *łodón'*, *l'icó*, *r'es'n'ica*;
4) лексика, относящаяся к теме «Домашняя утварь и уборка помещения»: *bačó**g*** «бачок», *głaʒ'ic'*, *porošó**g*** «порошок» (стиральный)», *sc'irál'naja daská*, *sc'iral'na mašyna*, *tr'apka*, *uc'úk*;
5) лексика, связанная со школой и учебой: *bukvár'*, *karandáš*, *m'eł*, *rez'ínka*, *čern'iło*;
6) лексика, относящаяся к теме «Почта»: *konv'ért*, *marka*, *počtal'ón*, *p'ismó*;
7) ботаническая лексика: *buk'ét* (в том числе употребляется и во вторичной функции в качестве зоонима — кличка собаки), *patsn'ežn'ik*;
8) «административная» лексика: *c'urmá*.

Ср. также русизмы из записей Ю. П. Гольцекера, сделанных в Вершине в 1986 г.: *gosudarstwo*, *zaklucen'e* «заключение, тюрьма», *zajavl'en'e*, *namučyl'is'my s'en* «мы намучились», *šaxta*, *pojest*, *t'elega*, *čeres*, *daže*, *n'i pomne* [Гольцекер 1991].

В картотеке отражены различия между идиолектами, при этом материал картотеки позволяет выявить наличие русизмов, характерных для всех обследованных диалектоносителей и представленных лишь в части идиолектных микросистем. Примеры второго рода демонстрируют записи номинаций одной и той же реалии, функционирующих в речи нескольких информантов. Например, записи слов у трех диалектоносителей, из которых польское слово зафиксировано в одном идиолекте, а русизмы — в двух: *atroment* — *čern'iło*, *čern'iło*, *gumka* — *rez'inka*, *rez'inka*, *žołn'eš* — *sołdat*, *sołdát*, *kreda* — *m'eł*, *m'eł*, *ołuve**g*** — *karandáš*, *karandáš*, *p'ers'i* — *gruʒ'*, *gruʒ'*. Сделать же вывод об исключительно идиолектном характере какого-либо русизма на основании записей подобного рода (например: *želosko*, *želosko* — *uc'úk*), естественно, не представляется

позиции конца слова передает через *g*. Для говора действительно характерна тенденция к повышенному озвончению консонантов: звонкий тип сандхи, звонкость согласного перед гласным в отдельных словах (ср. русизмы *čern'i**g**a* «черника» и ***z***''*u**z***''*l'ik* «суслик», *gl'i**z**da* «червяк», *dźiń**dź**uł* 'dzięcioł' «дятел»).

Но во всех этих случаях звонкость консонанта представлена перед гласным или сонорным. Вряд ли в абсолютном конце слова информанты произносили звонкий *g*. Тем не менее вносить какие-либо коррективы в запись мы не сочли возможным и ограничились лишь выделением жирным шрифтом сомнительного для нас знака *g*.

возможным. Для этого необходимо обследование всех диалектоносителей данного пункта.

Следствием контактов полоноязычных диалектоносителей с русским идиомом является не только функционирование в их польской речи не подвергшихся какой-либо трансформации лексем и форм языка-донора (так называемых «цитат»). Ср.: *stakán*, *v górod'e*, (*f tej*) *bystrot'é*, *représ'ija*, *bábušk'i*, *sýf'il'is*, *sup* (польск. *zupa*), *izbuška*, *spas* (польск. *uratował*) и под. Функционирующие в польской речи генетические русизмы могут также претерпевать различные модификации, обусловленные теми или иными особенностями диалекта-реципиента. В таком случае они превращаются в своего рода гибридные (русско-польские) образования. Рассмотрим на примере некоторых генетических русизмов, зафиксированных нами в говоре Вершины, типы их возможной адаптации полоноязычными диалектоносителями.

1) *Фонетическая адаптация*. Примеры: *ćapka* «тяпка» (сохранение польского среднеязычного мягкого *ć*); *róspux* «распýх» (сохранение польского парокситонического ударения); *čern'iło* (наличие *o* на месте русск. *а* обусловлено существующей в говоре закономерностью, в соответствии с которой литер. польскому *a* разного происхождения обычно соответствует диалектное *o* — см. выше); *zakl'ucen'e* «заключение, тюрьма» (отражение мазурения).

В одном и том же заимствовании возможно проявление не одной, а нескольких фонетических адаптаций. Примеры: *guxár* «глухарь» (твердость *r* и утрата *ł* в соответствии с обычным диалектным выпадением *ł* после согласных перед гласными типа *kucymy śe* «kłócimy się», *puca* «płuca», *xop* «chłop», *sup* «słup» — см. выше); *vusp'ityváụa* «воспитывала («уканье» и парокситоническое ударение); *tel'ev'i**dź**én'e* «телевидение» (среднеязычный мягкий согласный *dź* и парокситоническое ударение); *spáśl'i* «спаслѝ» (среднеязычный мягкий *ś* и парокситоническое ударение); *póśiv* «посев» (парокситоническое ударение, среднеязычный палатальный *ś*, субституция русск. *'é* польским *i* в связи с фонетическими закономерностями данного говора — см. выше); *jo soprovóždoł* «я сопровождал» (парокситоническое ударение и наличие *o* в качестве субститута русск. *а*, обусловленное фонетическими закономерностями вершинского говора — см. выше).

2) *Лексико-фонетическая адаптация*. Примеры: *trop'ić śe* «торопиться» (замена полногласия *torot* на польское неполногласие *trot*); *s'c'iral'na* «стиральная» (с польским стяжением).

3) *Морфологическая адаптация*. Примеры: 1 л. ед. ч. наст. вр. *jo soxran'um* «я сохраняю» (обычная диалектная флексия 1 л. ед. ч. презенса глаголов *um*-спряжения, соответствующих глаголам *am*-

спряжения ПЛЯ: *cytum* «czytam» и т. д.), 3 л. мн. ч. наст. вр. *otm'ečajum* «отмечают», *poproščajun śe* «попрощаются» (обычное диалектное окончание 3 л. мн. ч. презенса -*um* / реже -*un*), 1 л. мн. ч. *rugumy* «ругаем» (обычная диалектная флексия 1 л. мн. ч. презенса глаголов *um*-спряжения).

Теоретически возможны словообразовательная и синтаксическая адаптации, но в нашем материале в чистом виде они не зафиксированы, а отмечены в сочетании с другими типами адаптации. Именно с одновременным наличием в русизме нескольких типов адаптации чаще всего мы и имеем дело (фонетико-морфологической, словообразовательно-фонетической и т. д.).

Примеры смешанных типов адаптации:

а) *словообразовательно-фонетическая адаптация*: *kal'itecka* «калиточка» (польск. суффикс -*ečk*-, которому соответствует русск. -*очк*-, представлен в диалектном виде с мазурением);

б) *фонетико-морфологическая адаптация*: *prygájum* «прыгают» (парокситоническое ударение и диалектное окончание 3 л. мн. ч. презенса -*um*);

в) *лексико-фонетическая* и *собственно фонетическая адаптация*: *pšygłóśić* (огласовка префикса *pšy*-, соответствующего русск. приставочной морфеме *при*-, парокситоническое ударение, среднеязычные палатальные *ś* и *ć*), *pšyvlýkać* «привлекать» (огласовка префикса *pšy*-, парокситоническое ударение, наличие сочетания *ly* — см. выше, среднеязычный палатальный *ć*)[2];

г) *словообразовательная и лексико-фонетическая адаптация*: *spl'otn'oš* «сплетник» (с польским суффиксом -*oš*, соответствующим литер. -*arz* — ср. *plotkarz*-, и польской огласовкой корня);

д) *фонетико-синтаксическая адаптация*: *po tvardyx* (!) *cynam* «по твердым ценам» (сохранение закономерного предложного падежа после предлога *po* в прилагательном и наличие в соответствии с русским языком дательного для существительного, при этом в существительном сохраняется польская огласовка с *y*, обусловленная фонетическими закономерностями вершинского говора).

Подчас трудно однозначно определить тип адаптации. Так, в русизме *n'e uśp'ol'i* «не успели» наряду с однозначно устанавливаемой в качестве фонетического типа адаптации субституцией русск. *s'* польским палатальным среднеязычным *ś* представлен сегмент *ol'*, соответствующий русск. *el'*. С одной стороны, это результат аналогического

[2] Поскольку префикс в этих двух лексемах выделяется лишь на уровне морфемного членения, мы не относим этот тип адаптации к словообразовательному.

воздействия частотных моделей прошедшего времени с *o* перед согласным *ł* (*cytoł*, *broł* и т. д.), но с другой стороны, эти модели являются следствием реализации фонетической закономерности (см. выше).

Русизмами насыщена также польская речь последней полоноязычной жительницы с. Белосток Марии Маркиш. Примеры из ее идиолекта: *dočka*, *zavut* «завод», *p'át'ero*, *bryγad'ír*, *čyhún*, *l'eb'edá*, *skut'ina* «скотина».

Таким образом, изучение интерференционных процессов со стороны языка-донора, которым является по отношению к польскому диалекту русский идиом, а также воздействия особенностей диалекта-реципиента на вид, который приобретает функционирующий в польской речи русизм (а точнее, в случае наличия разного типа адаптаций, — русско-польский гибрид), представляет собой особую и важную область в исследовании феномена сибирской «польщизны».

В заключение перечислим задачи, которые, на наш взгляд, стоят в настоящее время перед исследователями феномена «польские диалекты Сибири».

1. Безотлагательное проведение комплексных полевых обследований всех пунктов, основанных в Сибири переселенцами-поляками (список их приведен В. Масяжем [Масяж 2002]), записи польских текстов любого характера (бытового, фольклорного и т. д.) на современных носителях.

2. На основе доступных исторических данных и с учетом выявленных языковых особенностей того или иного полоноязычного пункта — возможное установление материнского диалекта переселенцев.

3. Продолжение начатого в Томском госпедуниверситете сбора ономастического материала (в первую очередь, антропонимикона переселенцев-поляков и их потомков) по всем возможным источникам (письменным, печатным, надгробным надписям польских некрополей и др.).

4. При исследовании языковых особенностей польских говоров учет возрастной дифференциации диалектоносителей и зависящей от нее степени воздействия русского (и других) языков.

5. Создание типологии контактем, как функционирующих в польской речи полоноязычных диалектоносителей, так и проявляющихся в их коммуникации на русском языке; выявление в них общедиалектного, характеризующего лишь часть диалектных микросистем, и идиолектного.

6. В случае сохранения польского говора выявление наличия / отсутствия воздействия на него ПЛЯ, с которым диалектоносители сталкиваются в костеле и в процессе преподавания ПЛЯ миссионерами-учителями из Польши.

Изучение польских говоров Сибири расширяет наше представление о типах польских диалектов, функционирующих (или некогда функционировавших) за пределами польского государства. Материал, полученный в ходе подобных исследований, обогащает как практическую контактологию, так и теорию языковых контактов.

Литература

Ананьева 2011 — *Ананьева Н. Е.* Фрагмент диалектной морфонологии польского говора дер. Вершина под Иркутском // Современная славистика и научное наследие С. Б. Бернштейна. Тезисы докладов международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения выдающегося отечественного слависта д. ф. н., проф. С. Б. Бернштейна. 15–17 марта 2011 г., г. Москва. М., 2011. С. 47–48.

Ананьева 2013 — *Ананьева Н. Е.* Островной польский диалект (в печати).

Ананьева 2013_1 — *Ананьева Н. Е.* Морфология глагола в польском говоре деревни Вершина Боханского района Иркутской области (в печати).

Гольцекер 1989 — *Гольцекер Ю. П.* Из наблюдений над особенностями польского говора села Вершина в Сибири // Interferencje językowe na różnych obszarach Słowiańszczyzny, [Rozprawy Slawistyczne 4]. Lublin, 1989. С. 133–147.

Гольцекер 1991 — *Гольцекер Ю. П.* Тексты из села Вершина (Иркутская область) // Studia nad polszczyzną kresową. T. VI. Wrocław i in., 1991. С. 209–212.

Масярж 1995 — *Масярж В.* Поляки в Восточной Сибири (1907–1947 гг.). Автореф. дисс. … канд. ист. наук. Иркутск, 1995.

Масяж 2002 — *Масяж В.* Миграция польских крестьян в Сибирь в конце XIX — начале XX века // Сибирь в истории и культуре польского народа. М., 2002. С. 241–246.

Пасько 2011 — *Пасько Д.* Польский островной говор жителей дер. Вершина в Сибири // Русско-польские языковые, литературные и культурные контакты. М., 2011. С. 72–80.

Петшик 2008 — *Петшик В.* Маленькая Польша в таежной Сибири. Норильск, 2008.

Польская ссылка 1998 — Польская ссылка в России XIX–XX веков: региональные центры. Казань, 1998.

Сибирь 2002 — Сибирь в истории и культуре польского народа. М., 2002.

Шайдуров 2012 — *Шайдуров В.* О некоторых особенностях польской общины в Западной Сибири: вторая половина XIX — начало XX в. // Przegląd Wschodnioeuropejski. III. Olsztyn, 2012. С. 117–128.

Шостакович 1974 — *Шостакович Б. С.* Поляки в Сибири в 1870–1890-е гг. Автореф. дисс. … канд. ист. наук. Иркутск, 1974.

Ananiewa 2006 — *Ananiewa N.* Zróżnicowanie pokoleniowe polskich gwar kresowych (wybrane zagadnienia) // Gwary dziś 3. Wewnętrzne zróżnicowanie języka wsi. Poznań, 2006. S. 96–97.

Ananiewa 2007 — *Ananiewa N.* O polskich gwarach Syberii: projekt badawczy // Acta Baltico-Slavica XXXI. Tom dedykowany Pani Profesor Irydzie Grek-Pabisowej. Warszawa, 2007. S. 25–32.

Ananiewa 2011 — *Ananiewa N.* Gwarowe postacie niektórych onimów w gwarach polskich (na przykładzie polszczyzny kresowej Dwińska i wsi okolicznych oraz polskiej gwary wyspowej na Syberii // Rozprawy Slawistyczne 23. Z zagadnień językoznawstwa słowiańskiego. Tom dedykowany Profesorowi Stefanowi Warchołowi. Lublin, 2011. S. 21–26.

Ananiewa 2013 — *Ananiewa N.* Niektóre właściwości gwary wyspowej na Syberii [в печати].

Decyk 1995 — *Decyk W.* Próba opisu polskiej gwary we wsi Wierszyna // Poradnik Językowy. Z. 8. 1995. S. 20–30.

Decyk 1997 — *Decyk W.* Uwagi o języku społeczności polskiej w Rosji // Język polski poza granicami kraju. Opole, 1997. S. 109–123.

Figura 2003 — *Figura L.* Historia i teraźniejszość polskiej syberyjskiej wsi // Wierszyna z bliska i z oddali. Obrazy polskiej wsi na Syberii. Kraków, 2003. S. 71–132.

Głuszkowski 2011 — *Głuszkowski M.* Vershina — a Polish village in Siberia. Factors influencing language maintenance under changing social, cultural, economic and political conditions // Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics ESUKA — JEFUL. 2–1. 2011. S. 157–170.

Paśko 2009 — *Paśko D.* O kalkach słowotwórczych w polszczyźnie mieszkańców Wierszyny na Syberii // Slavia Meridionalis. 9. 2009. S. 21–28.

Stupiński 2008 — *Stupiński E.* Geneza polszczyzny w okolicy Krasnojarska // Rozprawy Komisji Językowej. T. LIII. Łódź, 2008. S. 207–217.

Stupiński 2009 — *Stupiński E.* Wpływy wschodniosłowiańskie na polszczyznę okolic Krasnojarska // Rozprawy Komisji Językowej. T. LIV. Łódź, 2009. S. 197–204.

Т. И. Вендина

Типология архаичных ареалов Славии

Проблема центрально-периферийной противопоставленности ареалов архаизмов и инноваций является одной из важнейших проблем лингвистической географии, которая берет свое начало в «теории волн» И. Шмидта.

В разных лингвистических школах она решалась по-разному. На это обратил внимание Н. И. Толстой, предложивший на одном из симпозиумов по ареальной лингвистике для исследования следующий вопрос: является ли у славян, как у романцев, центр сферой инноваций, а периферия — областью архаики. Решение этой проблемы он попытался найти в статье «О соотношении центрального и маргинальных ареалов в современной Славии». Приводя отдельные факты из области исторической фонетики и лексики, он высказал предположение, что архаизмы у славян часто не окраинны, **в некоторых случаях** они локализуются и в эпицентре Славии в виде **разорванных ареалов** или **небольших островов**, перекликаясь с латеральными зонами [Толстой 1977: 37].

Со времени написания этой статьи прошло более 30 лет, однако проблема эта при всей ее очевидной значимости для ареалогии и в целом для сравнительно-исторического языкознания до сих пор не получила своего решения, хотя накоплено уже немало интересных наблюдений.

Причина, по-видимому, заключается, с одной стороны, в глобальности самой проблемы, а с другой — в отсутствии материала, отвечающего критериям сопоставимости и позволяющего провести конфронтационное исследование с равной степенью глубины и детализации. Оперирование разрозненными фактами фонетических, лексических или грамматических явлений мало что проясняет в этом вопросе, поскольку кроме фиксации того или иного архаического

Татьяна Ивановна Вендина,
Институт славяноведения РАН (Москва)

явления необходима его пространственно-топологическая стратификация на диалектном ландшафте Славии.

В этой связи бесценным источником нового материала и новых возможностей является Общеславянский лингвистический атлас, позволяющий **создать принципиально иную фактографическую базу** для решения этой проблемы.

Исследование славянского диалектного континуума с учетом всех микрозон его лингвистического пространства дает возможность локализовать архаические явления и рассмотреть их в пространственно-временном аспекте.

В настоящее время в лингвистической географии прочно утвердился тезис основателя «неолингвистической» школы М. Бартоли о существовании взаимосвязи между географическим распространением языкового явления и временем его возникновения. Возможность пространственной визуализации межъязыковых схождений делает реальной и их временну́ю стратификацию подобно той, которой располагает славистика, предлагая относительную и даже абсолютную хронологию для многих фонетических и грамматических явлений праславянского языка.

В соответствии с постулатом лингвистической географии, карта, являясь пространственной проекцией элементов языковой системы диалектов, позволяет исследователю описать формирование диалектных различий в их исторической перспективе, поскольку фактор пространства всегда неразрывно связан с фактором времени. Языковые различия в пространстве тождественны языковым различиям во времени: «Существование языка в пространстве и существование языка во времени — одно и то же явление существования языка во времени-пространстве» [Степанов 1975: 304]. Это, соответственно, означает возможность стратификации диалектного материала в пространственно-временном аспекте, разграничения архаизмов и инноваций, определения центров иррадиации новых явлений.

Между тем конкретизация этого положения наталкивается на определенные трудности, связанные с хронологическим расслоением картографируемого материала.

Встает вопрос: какие критерии являются надежными, необходимыми и достаточными при его хронологической стратификации? Можно ли вообще найти такие критерии или, вслед за Н. С. Трубецким[1], следует признать, что «всякое отдельно взятое слово распро-

[1] «Всякое отдельно взятое слово, которое обнаруживает какое-то звуковое изменение, распространяется в своих собственных границах, и поэтому

страняется в своих собственных границах» и имеет свою собственную топографическую историю? А потому от поисков таких критериев следует отказаться.

Действительно, карты Общеславянского атласа свидетельствуют о том, что ареальные характеристики картографируемых языковых явлений являются часто довольно сложными, демонстрирующими наложение и пересечение векторов изоглосс, имеющих различные направления. Поэтому топография изоглосс, их реальная пространственная «наполненность» оказывается не одинаковой, что свидетельствует об их разном историческом прошлом и соответственно разной хронологии. Карты Атласа со всей очевидностью показали, что эксплицированный на них материал в хронологическом плане оказывается разнородным, так как изоглоссы межславянских соответствий проецируются в разновременные плоскости:

— одни из них детерминированы факторами генетического порядка (они имеют глубокие корни и восходят часто к периоду праславянской языковой общности);

— другие определяются факторами ареально-типологическими, связанными с независимым и параллельным развитием сходного явления;

— третьи — факторами пространственно-генетическими (они во многом порождены явлением интерференции славянских диалектов и восходят к эпохе самостоятельного развития славянских языков).

А это значит, что праславянские языковые явления сосуществуют на картах Атласа в одном хронологическом срезе с более поздними образованиями, являющимися фактом уже собственной истории отдельных славянских языков.

Поэтому перед читателем предстает довольно сложная ареалогическая картина связей и отношений славянских диалектов. Для осмысления этой картины простое суммирование славянских изоглосс мало что дает, ибо происходит отождествление разных по времени изоглосс, которые отличаются друг от друга и по своей древности, и по устойчивости, и по количеству и употребительности охватываемых ими слов, и по своему значению для разных уровней языка (см., например, [Жирмунский 1954: 23]).

В связи с этим представляется, что первое, что необходимо выяснить, — можно ли вообще говорить о типологии архаических ареалов, **действительно ли ареалы каждого картографируемого языкового явления являются индивидуальными** или же они все-

---

границы географического распространения звуковых изменений никогда не могут быть установлены надежно и точно» [Трубецкой 1987: 32].

таки повторяются? Если же они повторяются, то в чем причины их повторяемости?

Для выяснения этого вопроса мы обратились к материалам Общеславянского лингвистического атласа, карты которого подсказали, в каком направлении необходимо двигаться.

Следует сразу отметить, что основные трудности при решении этого вопроса возникают при хронологической стратификации лексического материала. Что касается фонетики, то здесь само фонетическое явление, его история указывает на время его возникновения (например, явление непоследовательности палатализаций заднеязычных согласных, сохранение фонологической индивидуальности *ě или слоговых сонантов, судьба сочетаний *tort, *tert, *tolt, *telt и т. д.).

При решении же вопроса о хронологической стратификации лексического материала следует, по-видимому, учитывать, с одной стороны, формально-картографические признаки, а с другой — собственно лингвистические.

Формально-картографические признаки позволяют установить место локализации ареала, а также его топографические характеристики. Находятся ли ареалы в трех славянских языковых группах — в восточной, западной, южной, в двух — в восточной и западной, в восточной и южной или в западной и южной или только в одной — восточной, западной или южной группе? Какова степень плотности этого ареала (является ли он сплошным, размытым или разрушенным, островным или даже мерцающим, точечным)? Объективность топографического критерия связана с тем, что он дает возможность выявить **закономерности** в формировании ареальных сценариев, существующих в разных пространственных контекстах, поскольку именно пространственный контекст определяет статус ареала, ибо он может свидетельствовать как об архаичности, так и о вторичности картографируемого языкового явления.

Лингвистические признаки отсылают к самому картографируемому явлению и предполагают выяснение типа основы лексемы (производный / непроизводный); ее этимологии (в частности наличие или отсутствие и.-е. соответствий, определение самого характера ее значения — прямое или переносное); наличия / отсутствия у нее дериватов; локализации дериватов (в рамках одной или разных языковых групп); наличия / отсутствия явления конкуренции с другой лексемой в данном ареале; определение характера диалектного противопоставления, представленного на карте (двучленное или многочленное); самой типологии выявленных лексических соответствий (являются ли они случайными или вписываются в некую микросистему); определение количественного показателя выявленных

соответствий (являются ли они массовыми или единичными: массовость выявленных схождений трудно приписать случайности, поэтому она лежит за границей произвола исследователя).

Эти классификационные признаки не претендуют на статус единой всеобъемлющей модели интерпретации лингвистической карты (тем более что создание такой модели, в связи с многообразием типов атласов, — вряд ли выполнимая задача). Однако они позволяют, как представляется, соотнести генетический и ареальный критерий и установить относительную хронологию выявленных изоглосс, ибо «смысл лингвогеографического метода — в его эвристических возможностях, в том, что пространственное распределение языковых феноменов диагностирует их временную развертку, их генезис» [Мартынов 1983: 5].

Пространственный критерий дает возможность определить тип ареала, а также его локализацию. При этом диагностирующей силой при определении относительной хронологии соотносительных явлений обладают не только масштабные, но и дистантные островные ареалы, ибо наличие изоглосс, связывающих языки, удаленные на очень большое расстояние, говорит о том, что «языковая общность, сосредоточенная первоначально на сравнительно ограниченной территории, с течением времени рассеялась» [Принципы 1976: 184][2]. Языковые явления, отмеченные в дистантных ареалах, могут сигнализировать, однако, не только о древних контактах между двумя этносами или этническими группами в пределах одного этноса, но и о независимой параллельной инновации, а также о сохранении общего архаического фонда (подробнее см. [Гриценко 1988: 104–105]).

Немаловажной является и качественная характеристика ареала, так как микроареалы являются, как правило, территориальными величинами позднего времени, поскольку репрезентируемое ими языковое явление как новое, только нарождающееся не получило еще в них широкого распространения из-за наличия других, более употребительных и лингвистически активных форм.

При этом следует отметить, что каждый тип ареала требует к себе особого внимания, поскольку даже так называемые *чистые ареалы* (когда существенных диалектных различий не наблюдается) или *мозаичные* (когда четкие изоглоссы выявить не удается) свидетельствуют о разных внутридиалектных процессах и их временнóй глубине.

---

[2] Ср. в связи с этим следующий тезис: «Когда в лингвистическом пространстве могут быть найдены два или более ареала с тем же явлением, это указывает на то, что данное явление существовало на промежуточной между ними территории» [Бородина 1980: 34].

Что касается лингвистического критерия, то здесь чрезвычайно важным является характер основы выявленных корреспонденций, поскольку славянские лексемы с непроизводной основой (особенно если они имеют дериваты в диалектах разных языковых групп) и имеющие и.-е. соответствия будут обладать бóльшим классификационным весом при хронологической стратификации материала, нежели их производные. И наоборот, «лексемы, строение которых в плане их словообразовательной структуры является прозрачным, оказываются более поздними» [Климов 1990: 122]. Это, однако, не означает, что лексемы, представленные производной основой, следует исключить из поля зрения. Ведь даже «Этимологический словарь славянских языков» — это словарь словообразовательно-этимологический, и «его задачей является инвентаризация праславянского пласта лексики славянских языков во всем словообразовательном многообразии, а отнюдь не одной только корневой лексики» [Трубачев 1967: 35][3].

Важным (хотя и не определяющим) является и характер условий бытования картографируемой лексемы, в частности, отсутствие явления конкуренции с другой лексемой в данном ареале, что свидетельствует о ее своеобразной «стойкости», устойчивости к переменам, ибо хорошо известно, что чем больше зафиксировано лексем в том или ином ареале, тем больше оснований говорить о нестабильности языкового явления в этом ареале. Таким образом, при использовании лингвистического критерия важное значение приобретает и фактор системных отношений.

В этой связи существенным критерием является этимология лексемы, характер ее значения, так как диалектные названия, «возникшие в результате метафорического употребления, эвфемизации, табу и проч., обыкновенно являются более поздними сравнительно с обыкновенным названием на широком ареале» [Дзендзелевский 1963: 97].

Наконец, чрезвычайно важным критерием, позволяющим провести стратификацию материала в хронологическом аспекте, является

[3] Обосновывая такой подход к составлению «Этимологического словаря славянских языков», О. Н. Трубачев пишет: «Едва ли полезно проводить слишком ригористическое общее правило такого рода, так как в этом случае предлагается отбросить многое, несомненно, древнее и праславянское. Став на этот путь, следовало бы включить в словарь в основном темные и непрозрачные слова, что резко бы обеднило представление о вероятном реальном составе живых слов праславянского языка. Кроме того, сама специфика славянских языков во многом такова, что словообразовательная структура особенно долго сохраняет в них свою прозрачность» [Трубачев 1967: 36–37].

тип диалектного противопоставления, зафиксированный на карте, — двучленный или многочленный, так как двучленные противопоставления хронологически являются более древними, чем многочленные[4].

Следует, однако, отметить, что провести хронологическую стратификацию представленного на карте материала и решить вопрос об архаичном характере тех или иных лексем по-прежнему трудно, поскольку «в лексике более чем в какой-либо иной области языка, имеют значение междиалектные контакты, в результате чего может явиться экспансия одних лексем и утрата других» [Клепикова, Попова 1968: 106]. Думается, что в решении этого вопроса важная роль принадлежит именно ареальному критерию, ибо локализация лексемы на всем пространстве terra Slavia (даже если она будет представлена в виде островных ареалов) является убедительным свидетельством ее архаичности (при условии, конечно, что это не позднее заимствование из неславянских языков).

Поэтому именно пространство является центральным понятием для всего комплекса проблем, связанных с диалектным членением языковой общности и хронологической стратификацией картографируемого материала, «именно оно структурирует многообразные микросистемы тех языков, которые по ряду причин оказались втянутыми в данное языковое пространство, накладывая на них неизгладимый отпечаток пространственной характеристики» [Макаев 1965: 18].

В связи с этим при решении вопроса о хронологической стратификации материала, и в частности, выделения архаизмов, были использованы как формально-картографические признаки ареала, так и собственно лингвистические. При проведении анализа мы обратили особое внимание на те праславянские лексемы, которые имеют не только общеславянское распространение, но и и.-е. соответствия. Это позволило повысить чистоту эксперимента при проверке гипотезы о центрально-периферийной противопоставленности ареалов архаизмов и инноваций. При этом взаимоотношения центра и периферии рассматриваются в пространственно-типологическом аспекте **современной Славии**, а не «доисторической».

В распространении этих лексем выявились следующие закономерности.

---

[4] Эти наблюдения, свидетельствующие о существовании связи между типом ареала и хронологией репрезентируемых им явлений, носят предварительный характер, так как для выявления типологии этих связей необходимо изучение и каталогизация максимально большого количества ареалов.

1. Лексема имеет общеславянское распространение и равномерно покрывает всю территорию Славии

Эта ситуация характерна в основном для фонетических карт Атласа, где исключена лексическая вариативность, так как предметом картографирования является рефлекс той или иной праславянской фонемы, представленной именно в данной словоформе, ср., например, распространение таких лексем, как *pol-j-e* (**polje* < и.-е. *p(e)lā- или *pel-/pol- [Фасмер III: 307; ЕСУМ 4: 486]), *mor-j-e* (**morje* < и.-е. *mōri [Фасмер II: 654; ЭССЯ 19: 227], *sol-ь* (**solь* < и.-е. *sal- [Фасмер III: 715; ЕСУМ 5: 252]), *snop-ъ* (**snopъ* < и.-е. *(s)nē(u)- [Фасмер III: 700; ЕСУМ 5: 335]), *rog-ъ* (**rogъ* < и.-е. *rogo-s [Фасмер III: 489; ЕСУМ 5: 88]), *ros-a* (**rosa* < и.-е. *ere-s-/rē̆s-/rō̆s- [Фасмер III: 503; ЕСУМ 5: 123]), *kor-a* (**kora* < и.-е. *(s)ker-/(s)kēr-/(s)kor- [Фасмер II: 321; ЭССЯ 11: 44]), *vod-a* (**voda* < и.-е. *u̯ĕd-, *u̯od-, ud- [Фасмер I: 330; ЕСУМ 1: 414]), *kon-j-ь* (*konь < и.-е. *k̂a(n)k- [ЭССЯ 10: 197]) и др. в фонетическом томе «Рефлексы *о» или распространение лексем *zem-j-a* (**zemja* < и.-е. *ĝhđem-, *ĝhđom- [Фасмер II: 93; ЕСУМ 2: 259]), *med-ъ* (**medъ* < и.-е. *medhu- [Фасмер II: 589]), *ber-e-tь* (**beretь* < *bьrati < и.-е. *bher- [Фасмер I: 159; ЭССЯ 3: 162]), (*j*)*ezer-o* // *ozer-o* (*(*j*)*ezero* // **ozero* < и.-е. *eĝhero- [Фасмер III: 125; ЭССЯ 6: 33]), (*j*)*elen-ь* // *olen-ь* (*(*j*)*elenь* // **olenь* < и.-е. *el- [Фасмер III: 134; ЭССЯ 6: 20]), *per-o* (**pero* < и.-е. *per-, *pet- [Фасмер III: 243; ЕСУМ 4: 352]), *sestr-a* (**sestra* < и.-е. *su̯esor-, *su̯esr- [Фасмер III: 612; ЕСУМ 5: 223]) и др. в томе «Рефлексы *е», которые представлены на всем пространстве terra Slavia.

В лексических томах этот ареальный сценарий встречается редко. В опубликованных томах лексико-словообразовательной серии Атласа только лишь в томе «Растительный мир» встретилась такая карта (см. карту *mal-in-a* (**malina* < и.-е. *mel- [ЭССЯ 17: 160]) к. 39 ‘малина’ т. 3 «Растительный мир»). Не случайно такой тип ареала всречается, как правило, на тех картах, где вопрос имеет индекс F, т. е. является фонетическим (см., например, материалы к карте *be̯rza* (**be̯rza* < и.-е. *bherəĝā [ЭССЯ 1: 201]) т. 3 «Растительный мир» или *vьrb-a* (**vьrba* < *и.-е. u̯erb- [Фасмер I: 293; ЕСУМ 1: 350] т. 3 «Растительный мир»).

Системный характер ареалов этих праславянских лексем, имеющих и.-е. соответствия и равномерно покрывающих всю территорию Славии, является убедительным свидетельством их архаичности.

2. Лексема имеет общеславянское распространение, но в ее локализации на территории Славии существуют ограничения

Значительно чаще на территории Славии встречаются разрушенные ареалы лексем, имеющих общеславянское распространение.

История славянских диалектов свидетельствует о том, что праславянские лексемы постепенно вытесняются региональными диалектизмами, так как язык находится в постоянном развитии. Карты Атласа указывают на такую яркую особенность славянских диалектов, как их динамичность, которая проявляется в том, что диалекты всех славянских языков способны к активному порождению эксклюзивных лексем, отличительно характеризующих каждый славянский язык. Наличие эксклюзивных образований дает основание предположить, что на современном этапе развития славянских языков возникает некая новая диалектальность, связанная с утратой архаичной лексики и появлением новых диалектизмов, имеющих существенные отличия как от литературного языка, так и от других диалектов.

Невольно напрашивается вывод: чем больше территория, тем меньше праславянских лексем, способных ее «освоить» (или «удержать») полностью. Однако в этой эволюции лингвистического пространства Славии прослеживается определенная повторяемость, о чем свидетельствуют следующие ареальные сценарии:

2.1. Лексема **широко распространена в восточно- и западнославянских** диалектах, но имеет **ограниченный ареал в южнославянских диалектах**.

Этот ареальный сценарий встречается довольно часто, ср. распространение следующих лексем:

krъt-ъ (**krъtъ* < и.-е. *(s)ker- [ЭССЯ 13: 57]) к. 12 ‘крот’ т. 1 «Животный мир»: лексема равномерно покрывает территорию восточной и западной Славии, но имеет ареальные ограничения в южнославянских языках, в частности в сербских, хорватских, македонских и болгарских диалектах, где ее вытесняет лексема *krъt-ic-a*;

dǫb-ъ к. 26 ‘дуб’ (**dǫbъ* < и.-е. *dheubh- [ЭССЯ 5: 97]) т. 3 «Растительный мир»: лексема широко распространена в северной Славии и имеет ограниченный ареал — в южной, в частности, в словенских, хорватских и сербских диалектах, где с ней конкурирует лексема *xvo̯rst-ъ*;

ob-ěd-ъ (**obědъ* [ЭССЯ 27: 184]) к. 59 ‘обед, еда в дневное время’ т. 6 «Домашнее хозяйство и приготовление пищи»: лексема имеет обширный ареал в восточной и западной Славии и ограниченный — в южной, где ее вытесняют лексемы *už-in-a*, *rǫč-ьk-ъ*, *pol-u-dьn-e*.

Особенно много ареалов такого типа представлено на картах фонетических томов Атласа, ср., например, карты *on-ъ* (**onъ* < и.-е. *eno-/*ono-/*no- [Фасмер III: 140; Шапошников 2: 69]); *ogn-ь* (**ognь* < и.-е. *ognis /*egnis [Фасмер III: 78; ЕСУМ 1: 414]); *ovьs-ъ* (**ovьsъ*

< и.-е. *awiĝ- [Фасмер III: 113; ЕСУМ 4: 150]); *stol-ъ* (**stolъ* < и.-е. *st(h)el- [Фасмер III: 764; ЕСУМ 5: 419]); *dom-ъ* (**domъ* < и.-е. *dōm-, dĕm-, dm̥ [Фасмер I: 526; ЭССЯ 5: 72]); *dъn-o* (**dъno* < **dъbno* < и.-е. *dhub-/dheub- [Фасмер I: 519; ЭССЯ 5: 174]); *gor-a* (**gora* < и.-е. *gᵘer- Фасмер I: 438; ЭССЯ 7: 29); *sox-a* (**soxa* < и.-е. *k̂ăk- [Фасмер III: 729; ЕСУМ 5: 362]); *nog-a* (**noga* < и.-е. *onogh-, *ongh-, *n̥gh- [Фасмер III: 78; ЭССЯ 25: 161]); *kost-ь* (**kostь* < и.-е. *ost- [ЭССЯ 11: 167]), *gost-ь* (**gostь* < и.-е. *ghost(i)s [ЭССЯ: 67]), *pot-ъ* (**potъ* < и.-е. *poktos [Фасмер III: 342; ЕСУМ 4: 417]), *voj-ьn-a* (**vojьna* < и.-е. *u̯eia-, *u̯ĕi- [Фасмер I: 334; ЕСУМ 1: 431]), *topor-ъ* (**toporъ* < и.-е. *tep-/*top- [Фасмер IV: 79]) т. 5 «Рефлексы *о» или карты *led-ъ* (**ledъ* < и.-е. *ledu- [ЭССЯ 14: 91]), *nes-l-ъ* (**neslъ* < и.-е. *nesti < и.-е. *enek̂-, *nek̂, n̥k̂- [Фасмер III: 67; ЭССЯ 25: 19]); *pepel-ъ* // *popel-ъ* (**pepelъ* // **popelъ* < и.-е. *pel-/pol- [Фасмер III: 234; Шапошников 2: 117]) т. 6 «Рефлексы *е» и др. Все они демонстрируют ограничения в распространении указанных лексем в южнославянских диалектах, т. е. на одной из периферий современной Славии.

Плотный ареал этих лексем, имеющих праславянское происхождение, в восточно- и западнославянских языках и дискретный в южнославянских является свидетельством тех древних диалектных отношений славянских языков, которые оказались разрушены их многовековой историей. Эти ареалы сформировались в достаточно древний период, еще до того, как венгерские племена вклинились между словаками и южными славянами, вследствие чего южнославянские диалекты оказались оторваны от севернославянских. Показательно, что разрушение ареалов этих общеславянских лексем происходит именно в южнославянских диалектах, причем и на юго-восточной периферии (ср. ареалы лексем *onъ*, *otьcь*, *domъ*, *kostь*, *noga*, *gora*, *dъno*), и на юго-западной (ср. ареалы лексем *gostь*, *soxa*, *dǫbъ*), и в цетральной части (ср. ареалы лексем *ognь*, *ovьsъ*, *potъ*, *stolъ*, *toporъ*, *krъtъ*).

2.2. Лексема **широко распространена в восточно- и южнославянских** диалектах, но имеет **ограниченный ареал в западнославянских диалектах**.

Таких ареальных сценариев отмечено сравнительно немного. В качестве иллюстрации можно привести следующие:

dьrž-i-tь (**dьržati* < и.-е. *dr̥ĝh-i̯e- [ЭССЯ 5: 231]) к. 56 ‘держит’ т. 9 «Человек»: лексема имеет широкое распространение во всех славянских диалектах, за исключением польских, где она имеет островной ареал в говорах Силезии (по-видимому, под влиянием чешских и словацких диалектов), тогда как на остальной территории

представлена лексема *trim-a-j-e-tь*, утвердившаяся в польском языке в XIV в. [Boryś: 651];

pis-ьm-o (**pisьmo* < и.-е. *peiĥ- [Skok: 662]) к. 38 ‘письмо, сообщение, написанное на бумаге и отправленное по почте в конверте’ т. 8 «Профессия и общественная жизнь»: лексема широко распространена в восточно- и южнославянских диалектах, но имеет ареальные ограничения во всех западнославянских диалектах, где ее активно вытесняют лексемы *pьs-an-ьj-y*, *do-pis-ъ* (чешские диалекты) и лексема *list-ъ* (словацкие, лужицкие и польские диалекты);

znaj-e-tь (**znati* < и.-е. *ĝen- [Фасмер II: 101]) к. 73 ‘знает’ т. 9 «Человек»: лексема имеет такой же ареал, ареальные ограничения наблюдаются во всех западнославянских диалектах, где получила широкое распространение лексема *věs-tь*.

Сходный ареал образуют лексемы, содержащиеся в фонетических томах Атласа: *kor-a* (**kora* < и.-е. *ker- [ЭССЯ 11: 44]) к. 45 FP *kora т. 5 «Рефлексы *o», *moj-a* (**mojь*, **moja* < и.-е. *moi̯os [ЭССЯ 12: 128]) к. 32 FM Nsg f *moja т. 5 «Рефлексы *o» и др.

Дистантная локализация ареалов этих праславянских лексем, а главное — их континуальность, являются живым свидетельством диалектальности славянского языкового континуума еще в праславянскую эпоху.

Эти межславянские корреспонденции сформировались также, по-видимому, в достаточно древний период, когда южнославянские диалекты еще не были оторваны от севернославянских. Примечательно, что многие из лексем, имеющих ограниченные ареалы в западнославянских языках, в прошлом были им хорошо известны, однако в процессе их языковой истории они либо утратились, либо сохранились лишь в своих производных (ср., например, **плс**. *pismičko*, *pismar*, *pismak*; *doznać*, *poznać*, *znajomy*, *znajomość*; *dzierżawa*, *dzierżawca*; *korować*, *kornik* (диал.); **чеш**. *dopis*, *písmeno*, *písemný*, *písemost*, *písmák*, *psaňí*; znalec; *država*, *držadlo*, *držák*; **слц**. *držiak*, *držadlo*, *držba*, *držitel’*; *známy*, *znamost*, *znalectvo*; *pismák*, *písmeno*, *pisomka*; **луж**. *pismješko*, *pismičko*, *pismik*, *pismjeńko*; *znajomosć*, *znajomstwo*; *dźeržadło*, *dźeržak*, *dźeržadlik* и др.).

2.3. Лексема **широко распространена в западно- и южнославянских** диалектах, но имеет **ограниченный ареал в восточнославянских** диалектах. Этот ареальный сценарий встречается довольно часто, ср.:

večer-j-a (**večerja* < и.-е. *veker- [Фасмер I: 309; ЕСУМ 1: 366]) к. 62 ‘ужин, вечерняя еда’ т. 6 «Домашнее хозяйство и приготовление пищи»: лексема имеет обширный ареал в южно- и западнославянских диалектах, а также в украинских и белорусских; в русских

диалектах ее ареал является латеральным, так как ее распространение ограничено в основном южнорусскими говорами, причем преимущественно смоленскими, брянскими и примыкающими к ним с юга белгородскими;

сходный ареал имеет и лексема *oč-i* (**oko*, **oči* < и.-е. *ok-, *ok^{w}- [Фасмер III: 128; Шапошников 2: 65]) к. 6 ‘глаза человека’ т. 9 «Человек», которая плотно покрывает территорию южной и западной Славии, а также украинских и белорусских диалектов, тогда как в русских она отмечена в основном в южнорусских смоленских и брянских говорах;

žab-a (**žaba* < и.-е. g^{w}ēbā [Фасмер II: 31; ЕСУМ 2: 183]) к. 31 ‘лягушка’ т. 1 «Животный мир»: лексема имеет плотный ареал в южно- и западнославянских диалектах, а также в украинских и белорусских, тогда как в русских говорах в этом значении она встречается редко;

ov-ьc-a (**ovьca* < и.-е. *ovīkā [Фасмер III: 116; ЕСУМ 1: 389]) к. 5 т. 5 «Рефлексы *o»: лексема широко распространена в западно- и южнославянских, а также в русских диалектах; в украинских и белорусских диалектах ее ареал является ограниченным: в украинских диалектах она локализуется в основном в юго-восточных и юго-западных говорах; в белорусских диалектах она имеет небольшие островные ареалы на юге среднебелорусских говоров; в украинских и особенно в белорусских диалектах широкое распространение получила возникшая на ее основе лексема *ov-ьč-ьk-a*;

сходный ареал имеет и лексема *žen-a* (**žena* < и.-е. *g^{u}enā [Фасмер II: 46; ЕСУМ 2: 206]) к. 57 т. 6 «Рефлексы *e»: в украинских и белорусских диалектах она активно вытесняется лексемой **žen-ъk-a*.

Подобные ареалы образует также лексема *per-et-ь* (**peretь* < и.-е. *per- [Фасмер III: 240; ЕСУМ 4: 557]) к. 30 т. 6 «Рефлексы *e», имеющая ограниченный ареал в русских диалектах и довольно плотный в украинских и белорусских, и лексема *pas-t-yr-ь* (**pastyrь* < и.-е. *pa-sk- [Фасмер III: 215; Шапошников 2: 114]) к. 23 ‘человек, пасущий скот’ т. 8 «Профессии и общественная жизнь», имеющая ограниченный ареал во всех восточнославянских диалектах, особенно в русских, тогда как в западно- и южнославянских диалектах обе лексемы имеют обширные ареалы.

Ограниченный ареал этих праславянских лексем в диалектах восточнославянских языков связан с теми эволюционными процессами, которые протекали в их лексических системах в процессе исторического развития. Все эти лексемы (за исключением лексемы *žaba* ‘лягушка’) были известны восточнославянским языкам в древности, о чем свидетельствуют памятники древнерусской письменности (ср.: **вечерꙗ** ‘ужин, вечерняя трапеза’ [Срезн. I: 251–

252]; **клѧчити** ‘нагибаться’ [Срезн. I: 1238]; ст.-укр. **клячати** ‘стоять на коленях’ [ЭССЯ 10: 29]; **очи** ‘глаза’ [Срезн. II: 642]; **овьца** ‘овца’ [Срезн. II: 596]; **жена** 1) ‘женщина’; 2) ‘жена’ [Срезн. I: 856]; **пастꙋрь, пастырь** 1) ‘пастух’; 2) ‘наставник’ [Срезн. II: 886]; **пьрати** ‘мыть, стирать’ [Срезн. II: 1761]). Однако в процессе их языковой истории они либо сократили свою сферу использования, так как приобрели определенную стилистическую окраску (ср. **очи**, **пастырь**), либо изменили значение (ср. **вечерꙗ**), либо вообще утратились (ср. **пьрати**), оставив свой след в производных (ср. рус. *прачка*). Все это привело к изменению их локализации в пространстве.

Так, в частности, разрушение ареала праславянских лексем **žena* и **ovьca* в украинских и белорусских диалектах произошло под влиянием возникших на их основе дериватов *žen-ъk-a* и *ov-ьč-ьk-a*, претерпевших десемантизацию, приведшую к утрате их деминутивного значения. О позднем характере формирования ареалов лексем *žen-ъk-a* и *ov-ьč-ьk-a* свидетельствует сама их словообразовательная структура, производный характер которой указывает на вторичность этих номинаций.

Что касается лексем *večer-j-a* и *oč-i*, имеющих латеральный юго-западный ареал в русских диалектах, то обе эти лексемы были известны русскому языку на ранних этапах его развития, а лексема *oči* до сих пор продолжает свое существование, хотя и является стилистически маркированной. Об этом говорят памятники древнерусской письменности, в которых они употреблялись в том же значении (ср.: **вечерꙗ** ‘ужин, вечерняя трапеза’: **ѥгда твориши обѣдъ или вечерю**. Панд. Ант. XI в.; **Сладъкаꙗ вечерꙗ и сласть, хлѣбъ ти соль, новаꙗ ꙗдь**. Гр. Наз. XI в.; **Видиши обѣды и вечерѫ и питѣния и прелесть и говоръ**. Златостр.; **оуготоваи чьто вечераѭ**. Остр. Ев.; Панд Ант. XI в.; **вечеряхомъ много же бесѣдовавъше**. Мин. Чет. февр. 288 [Срезн. I: 251–252]; **пьрати** ‘мыть, стирать’ [Срезн. II: 1761]: **самъ варяше, самъ пьраше** Пат. Син. XI. в.; **очи** ‘глаза’ [Срезн. II: 642]: **съмотря бываемыихъ съ вѣрою тѣлесьныима очима и дш҃евьныима** Изб. Св. 1076). И лишь значительно позднее, но не ранее XVI–XVII вв., появляются в современном значении лексемы *ужин* и *глаза* [см. Черных I: 190; II: 285], а с XVIII в. — и лексема *стирать* [Шапошников 2010: 381].

Витальность этих древних лексем в русских диалектах, граничащих с украинскими и белорусскими, во многом поддерживается благодаря этим диалектам, в которых они имеют повсеместное распространение.

2.4. Лексема **широко распространена в южнославянских** диалектах и имеет **ограниченный ареал в восточно- и западнославянских**.

Этот ареальный сценарий встречается довольно часто. Ценность его определяется тем, что именно на периферии Славии до сих пор хорошо сохраняются древнейшие праславянские лексемы, ср., например, распространение лексем:

//ež-ь (*(*j*)*ežь* // **ožь* < и.-е. *eĝh-i̯o [Фасмер II: 10; ЭССЯ 6: 37]) к. 10 ‘ёж’ т. 1 «Животный мир»: лексема имеет плотный ареал в южнославянских языках, а также в русских, польских, словацких и лужицких диалектах, тогда как в остальных восточно- и западнославянских языках ее ареал ограничен лексемами *//ež-ьk-ъ* (в чешских диалектах), *//ež-ak-ъ* (в украинских), *//ež-ik-ъ* (в белорусских);

bod-e-tь <*sę*> (**bodetь* < и.-е. *bodh-, bedh- [ЭССЯ 2: 222]) к. 56 ‘бодает (о корове)’ т. 2 «Животноводство»: лексема имеет обширный ареал в южнославянских диалектах, а также в польских и лужицких и ограниченный в остальных западнославянских, а также восточнославянских диалектах; в русских диалектах с ней конкурирует лексема *bod-a-j-e-tь* <*sę*>, в украинских — *bьj-e-tь* <*sę*>; в белорусских и словацких — *kol-j-e-tь* <*sę*>; в чешских — лексема *tъr̯k-a-j-e-tь* <*sę*>;

tъr̯n-ъ (**tъr̯nъ* < и.-е. *(s)ter- [Фасмер IV: 48]) к. 50 ‘терн’ т. 3 «Растительный мир»: лексема имеет плотный ареал в южнославянских диалектах, а также в чешских, лужицких, украинских и русских; в польских диалектах с ней конкурируют лексемы *tъr̯n-j-ь*, *tъr̯n-in-a*, *tъr̯n-ьj-e*; в словацких — лексема *tъr̯n-j-ь*; в белорусских она имеет спорадическое распространение;

smol-a (**smola* < и.-е. *smelti [Фасмер III: 690; Черных II: 180]) к. 3 ‘смола хвойного дерева’ т. 3 «Растительный мир»: лексема широко распространена в южнославянских диалектах, но имеет ограниченные ареалы в восточно- и западнославянских: в русских диалектах с ней конкурирует лексема *sěr-a*, в украинских, белорусских, польских, лужицких, западно- и среднесловацких — лексема *živ-ic-a*, в чешских — лексема *plusk-yr-ic-a*, в южнорусских, в юго-западных украинских и в западнословацких — лексема *kъlěj-ь*;

večer-j-a-j-e-tь (< и.-е. *veker- [Фасмер I: 309; ЕСУМ 1: 366]) к. 64 ‘ест ужин’ т. 6 «Домашнее хозяйство и приготовление пищи»: лексема широко представлена во всех славянских диалектах, за исключением польских и русских, где ее распространение локально ограничено: в русских диалектах ареал этой лексемы находится в основном в говорах южнорусского наречия, реже в западных среднерусских (псковских) говорах; в польских диалектах она локализуется в некоторых малопольских, мазовецких и силезских говорах. Причем во всех случаях ее функционирование ограничено

другими, более употребительными лексемами: в русских диалектах лексемой *užin-a-j-e-tь*, а в польских — описательной конструкцией *ěs-tь kolacij-ǫ*. Разрушение ареала этой праславянской лексемы произошло, по-видимому, в XVI–XVII вв., когда в русском языке утверждается лексема *ужинать* [см. Черных I: 190; II: 285], а в польском — заимствованная из латинского языка лексема (*kolacij*)-*a* [см. Brückner 1927: 244].

měst-o (*měst-o* < и.-е. *meit(h)-, *mēit- [ЭССЯ 18: 206]) к. 46 ‘место’ т. 8 «Профессии и общественная жизнь»: лексема широко распространена в южнославянских диалектах, но имеет ареальные ограничения в восточно- и западнославянских диалектах, особенно в польских, где ее активно вытесняет лексема *měst-ьc-e*; под влиянием польского языка происходит разрушение и восточнославянского ареала лексемы *měst-o*, так как в украинских и белорусских диалектах все более широкое распространение получает лексема *měst-ьc-e*.

Плотный ареал этих лексем, имеющих праславянское происхождение, в южнославянских языках и дискретный в западно- и восточнославянских является свидетельством тех древних диалектных отношений славянских языков, которые оказались разрушены в процессе их языковой истории. Разрушение их ареала произошло в результате дальнейшей языковой эволюции, в частности за счет возникновения на их основе производных лексем (например, *měst-ьc-e*, //*ež-ak-ъ*, //*ež-ik-ъ*, *tь͡r̥n-in-a*), которые постепенно расширяли свою экспансию.

2.5. Лексема **широко распространена в восточнославянских** диалектах, но имеет **ограниченный ареал в западно- и южнославянских**.

Этот ареальный сценарий встречается довольно редко, причем в основном на фонетических картах атласа. В качестве иллюстрации можно привести распространение таких лексем, как:

med-j-a (**medja* < и.-е. *medhi̯ā [ЭССЯ 18: 46]) к. 35 т. 6 «Рефлексы *е»: лексема имеет обширный ареал в восточнославянских диалектах и ограниченный в западно- и южнославянских: в западнославянских диалектах ограничение ареала наблюдается в западной группе чешских говоров, а в южнославянских — в юго-восточных болгарских;

bob-ъ (*bob-ъ < и.-е. *bhabhā [ЭССЯ 2: 148]) к. 13 т. 5 «Рефлексы *о»: лексема имеет ограниченный ареал в лужицких и польских диалектах, а из южнославянских — в македонских и боснийских, тогда как в восточнославянских, чешских, словацких, словенских, сербских, хорватских и болгарских диалектах она распространена повсеместно;

orb-ot-a (**orbota* < и.-е. **orbhos* [Фасмер III: 427]) ‘работа’ к. 44 т. 8 «Профессии и общественная жизнь»: лексема имеет широкое распространение в восточнославянских диалектах; из западнославянских — лишь в словацких; из южнославянских — в македонских и болгарских говорах; распространение этой лексемы в польских, чешских и лужицких диалектах ограничено лексемами *port-j-a* и *děl-o*, а в сербских, хорватских и словенских диалектах — лексемами *rad-ъ*, *po-sъl-ъ* и *děl-o*. Примечательно, что лексема *port-j-a*, восходящая к глаголу *portiti ‘посылать, отправлять кого-то или быть посланным с каким-то заданием’, появляется в польском языке не ранее XV века (1461 г. [Boryś: 478]). Еще позже, не ранее XVII в. (1638 г.), она фиксируется и в чешском языке [Machek: 472]. Лексема *po-sъl-ъ* в южнославянских диалектах появляется не ранее XIII в. [Skok III: 13]; значение ‘работа’ у лексемы *rad-ъ* в сербскохорватском языке является вторичным, возникшим на основе словосочетания *raditi o poslu* [Skok III: 97], и только лишь лексему *děl-o* П. Скок относит к балто-славянской эпохе [Skok: 412]. Показательно, что лексема *orb-ot-a* до сих сохраняется в южно- и западнославянских языках, но в ином значении, ср. серб. *работа* ‘барщина’ (П. Скок сопровождает это слово пометой «феодальный термин» [Skok: 91]); слн. *rabôta*, чеш., слц. *robota* ‘барщина’, плс., луж. *robota* ‘то же’. В связи с этим можно предположить, что лексема *orb-ot-a* в славянских языках является праславянским диалектизмом. Интересно, что и в восточнославянском ареале она начинает «сдавать свои позиции»: в белорусских и особенно в украинских диалектах под влиянием польского языка ширится распространение лексемы *port-j-a*.

2.6. Лексема **широко распространена в западнославянских** диалектах, но имеет **ограниченный ареал в восточно- и южнославянских**.

Этот ареальный сценарий также встречается довольно редко, ср. распространение лексем:

pьs-ъ (**pьsъ* < и.-е. *peik’-, pĭk’- [Фасмер III: 248; Черных II: 25]) к. 9 ‘собака’ т. 2 «Животноводство»: лексема имеет плотный ареал в западнославянских диалектах, а также в словенских и ограниченный в восточно- и южнославянских: в восточнославянских диалектах наряду с лексемой *pьs-ъ* широко распространена также заимствованная из иран. лексема (*sabak*)-*a*; в болгарских, македонских, сербских диалектах — лексема *kuč-ę*, а в хорватских — лексема *cuc-ьk-ъ*;

mal-in-a (**malina* < и.-е. *mel- [ЭССЯ 17: 160]) к. 40 ‘один плод малины’ т. 3 «Растительный мир»: лексема плотно покрывает территорию

западной Славии, тогда как в восточно- и южнославянских диалектах ее ареал ограничен лексемами *mal-in-in-a*, *mal-in-ъk-a*.

2.7. Лексема имеет общеславянское распространение, но в ее локализации **во всех славянских диалектах существуют территориальные ограничения**. Этот ареальный сценарий также встречается редко, ср. распространение лексем:

sěr-a (**sěra* родств. лат. *sērum* [Фасмер III: 603]) к. 32 ‘молоко коровы сразу после отела, молозиво’ т. 6 «Домашнее хозяйство и приготовление пищи»: лексема имеет ареальные ограничения во всех славянских диалектах, за исключением польских, где она представлена довольно плотным ареалом;

(*j*)*elx-a* (*(*j*)*elx-a* < и.-е. *alisā [Фасмер III: 137; ЭССЯ 6: 23]) к. 37 ‘ольха’ т. 3 «Растительный мир»: лексема имеет ограниченный ареал практически во всех славянских диалектах, за исключением словацких и лужицких, где ее ареал является сплошным; в восточнославянских, польских и чешских диалектах ее распространение ограничивает лексема *olьš-in-a*, а в южнославянских — лексемы *olьš-ik-a* и *olьš-ьk-a*;

byk-ъ (**byk-ъ* < и.-е. *bukati, bučati, byčati [ЭССЯ 3: 148]) к. 3 ‘некастрированный самец коровы’ т. 2 «Животноводство»: лексема зафиксирована во всех славянских диалектах, однако во всех диалектах она имеет ограничения в своем распространении: в украинских, белорусских, польских и болгарских диалектах ее ареал ограничивает заимствованная из тюркских языков лексема (*bugaj*)-*ь*, в русских диалектах — лексема *po͡rz-ъ*; в словацких диалектах — лексема *bu-j-ak-ъ*, а в македонских, словенских и сербских диалектах — лексема *jun-ьc-ь*.

miš-ь (**myšь* < и.-е. **mūs-* [ЭССЯ 21: 65]) к. 14 ‘мышь’ т. 1 «Животный мир»: лексема распространена во всех славянских диалектах, однако в польских, украинских и белорусских диалектах ее активно теснит лексема *miš-a*, в болгарских — лексема *miš-ьk-a*, а в македонских — лексема *gluš-ьc-ь*.

Как видно из приведенного материала, распространение того или иного слова происходит не в его собственных границах, а определяется повторяющимися закономерностями, позволяющими говорить **о типологии ареалов**. То, что на первый взгляд казалось произвольным в распространении того или иного явления, на самом деле вписывается в типологию ареалов и обретает свой глубокий смысл. За всем этим стоят факты истории языковых явлений, локализация которых на пространственно-временной оси позволяет говорить

об определенных закономерностях в их распределении. Более того, все многообразие ареальных сценариев лексем, имеющих общеславянское распространение и статус архаизма, можно свести к нескольким типам ареалов, а именно:

— **системный** (или сплошной): когда лексема равномерно покрывает всю территорию Славии (ср., например, ареалы праславянских лексем типа *pol-j-e*, *mor-j-e*, *snop-ъ*, *rog-ъ*, *ros-a*, *kor-a*, *vod-a*, *kon-j-ь* и др. в фонетическом томе «Рефлексы *о»; или распространение лексем *zem-j-a*, *med-ъ*, *ber-e-tь*, (*j*)*ezer-o* // *ozer-o*, (*j*)*elen-ь* // *olen-ь*, *per-o*, *sestr-a* и др. в томе «Рефлексы *е»; или *mal-in-a*, *b͡er-z-a*, *vьrb-a* в 3 томе «Растительный мир»);

— **разреженный** (или дискретный), когда ареал общеславянской лексемы не является плотным, однако она еще довольно хорошо представлена во всех славянских диалектах, ср., например, распространение таких праславянских лексем, как *ov-ьc-a* к. 14 ‘овца’ т. 2 «Животноводство»; *žen-a* к. 57 т. 6 «Рефлексы *е»; *měst-o* к. 46 ‘место’ т. 8 «Профессии и общественная жизнь», //*ež-ь* к. 10 ‘ёж’. Примечательно, что разрушение ареала этих праславянских лексем происходит чаще всего за счет возникающих на их основе производных;

— **разрушенный**, когда ареал общеславянской лексемы в одних славянских диалектах является плотным, а в других — островным, причем нередко латеральным. На былое существование лексемы на данной территории указывают либо памятники письменности, либо возникшие на ее основе дериваты, ср., например, ареалы таких лексем, как *večer-j-a* к. 62 ‘ужин, вечерняя еда’ т. 6 «Домашнее хозяйство и приготовление пищи»; *večer-j-a-j-e-tь* к. 64 ‘ест ужин’ т. 6 «Домашнее хозяйство и приготовление пищи»; *oč-i* к. 6 ‘глаза человека’ т. 9 «Человек»; *dьrž-i-tь* к. 56 ‘держит’ т. 9 «Человек»; *pisьm-o* к. 38 ‘письмо, сообщение, написанное на бумаге и отправленное по почте в конверте’ т. 8 «Профессия и общественная жизнь»; *ob-ěd-ъ* к. 59 ‘обед, еда в дневное время’ т. 6 «Домашнее хозяйство и приготовление пищи» и др. Этот тип ареала встречается довольно часто, причем он может локализоваться в диалектах как северной, так и южной Славии;

— **островной**, когда ареал общеславянской лексемы во всех славянских диалектах является фрагментарным, ср., например, ареалы лексем *sěr-a* (**sěra*) к. 32 ‘молоко коровы сразу после отела, молозиво’ т. 6 «Домашнее хозяйство и приготовление пищи»; (*j*)*elx-a* к. 37 ‘ольха’ т. 3 «Растительный мир». Этот тип ареала лексем, имеющих общеславянское распространение, встречается довольно редко.

Несмотря на то что ареалы всех этих праславянских лексем являются разными, общеславянский характер их распространения

не может не свидетельствовать в пользу их архаичности. Их статус является самым высоким в типологии славянских ареалов, поскольку они являются живым свидетельством диалектальности праславянского языкового континуума. Показательно, что все эти лексемы имеют и.-е. соответствия, что также подтверждает их праславянскую древность. Данная ситуация находится в полном соответствии с положениями лингвистической географии: «Когда какое-либо новое языковое явление распространилось до того, что оно охватывает уже почти всю, но не целиком всю территорию данного языка, то понятно, что старое, теперь, так сказать, затопленное другим явлением, сохраняется только кое-где в отдаленных углах. Поэтому можно предположить, что одинаковые языковые явления, находящиеся теперь в разных углах данной территории, представляют собой отдельные остатки некоторого старого явления, некогда охватывавшего целую территорию, но теперь отступившего перед наплывом нового» [Теньер 1966: 114].

Этот вывод позволяет внести коррективы в сформировавшееся ранее представление о том, что общеславянское и праславянское являются непересекающимися понятиями (ср., например, точку зрения С. Б. Бернштейна, согласно которой «праславянские процессы — это процессы, проходившие в праславянскую эпоху, а общеславянские процессы — это процессы, проходившие в отдельных славянских языках после распада праславянского языка» [Бернштейн 1962: 51]). Материалы Атласа убедительно свидетельствуют о том, что общеславянские ареалы могли сформироваться и в праславянскую эпоху.

Итак, из приведенного материала видно, что история лингвистического пространства лексем, имеющих общеславянское распространение, повторяется в различных ареальных сценариях. Более того, разные ареалы (системный, разреженный, разрушенный, островной) в одном и том же пространственном контексте (а именно, в общеславянском) имеют одну и ту же временну́ю интерпретацию (т. е. относятся к праславянским и являются иллюстрацией архаики). При этом архаичные языковые явления могут находиться как на периферии, так и в центре современной Славии. Они могут иметь не только островные, но и обширные ареалы, разрушение которых может происходить как в центре, так и на периферии. Причем при их разрушении центр иногда оказывается даже более архаичным, чем периферия, где чаще всего происходит зарождение новых диалектизмов. Как свидетельствуют карты Атласа, вся периферия Славии подвержена разрушительным процессам.

Эта типология ареальных сценариев архаичных лексем убедительно свидетельствует о том, что противопоставление центрального

и маргинальных ареалов в современной Славии как зон инноваций и архаики в славянском диалектном континууме является упрощенной схемой их отношений, которые в действительности оказываются значительно сложнее. Поэтому при решении диахронических и этногенетических проблем «целесообразнее оперировать условным понятием архаических и неархаических зон, нежели понятием центрально-периферийной противопоставленности» [Толстой 1977: 37][5].

Материалы Общеславянского лингвистического атласа, таким образом, дают основания для нового взгляда на некоторые стереотипы лингвистической географии.

Существование различных типов ареалов в славянских диалектах является ярким свидетельством процесса их постоянного изменения и языковой эволюции. Это еще раз подтверждает тезис о том, что ареалы — это пространственно-временные образования, ибо время — лишь одна из форм существования материи, тогда как другой ее формой является пространство. И разные временные фазы находят соответствия в своих пространственных структурах. Разреженные и разрушенные ареалы праславянских лексем красноречиво свидетельствуют о том, что явление более древнее нередко занимает бóльшую площадь, чем явление более позднее, ибо оно начало распространяться значительно раньше, поэтому часто становится причиной возникновения нового явления. В этом смысле показательна сама типология процесса разрушения ареалов архаичных лексем: этот процесс связан, как правило, с возникновением на базе старой лексемы новой, в которой сохраняется как бы «мерцающий» свет ее производящей (ср., например, ареалы лексем *krъt-ic-a*, *ov-ьč-ьk-a*, *žen-ъk-a*, //*ež-ьk-ъ*, //*ež-ak-ъ*, //*ež-ik-ъ*, *měst-ьc-e*, *miš-ьk-a*). Таким образом, «историческая последовательность языковых событий записывается, так сказать, географией на данной территории, где запись эту остается только прочесть» [Теньер 1966: 114].

В связи с этим следует отметить, что на современном этапе развития лингвистической географии необходимо начать инвентаризацию славянских ареалов с учетом формально-картографических и лингвистических критериев.

Публикация следующих томов Атласа даст возможность провести полную каталогизацию и локализацию явлений славянской

---

[5] Ср. в связи с этим еще более категоричное утверждение А. В. Десницкой, которая на ином материале пришла к сходным выводам: «Совершенно не оправдало себя использование понятия центрального и маргинального ареалов, в оперировании которым проявляется максимальный субъективизм в отборе дифференциальных явлений» [Десницкая 1977: 27].

архаики, выстроить иерархию реликтовых зон, оценив их с точки зрения характера ареала, его исторической глубины и степени концентрации в нем архаизмов. Каталогизация ареальных сценариев выявит закономерности в их организации, которые станут своеобразными ориентирами в их типологической интерпретации. Введение в научный оборот этих сведений позволит взглянуть на ряд диахронических и этногенетических проблем сквозь призму новых лингвогеографических данных, что создаст веские основания для верификации старых и разработки новых гипотез, связанных с этногенезом славян. Так, в частности, инвентаризация ареалов позволит связать картину центрально-периферийной противопоставленности ареалов современной Славии с праславянской (или, по крайней мере, с позднепраславянской) и выявить исторический центр и периферию.

Изучая типологию ареалов, мы сможем перейти от эмпирических данных лингвистической географии к их интерпретационному анализу, подняться с уровня регистрации фактов на уровень их объяснения, ибо современное развитие лингвистической географии свидетельствует о том, что она перешла на новую парадигму исследования, парадигму «объясняющей лингвогеографии» [Гриценко 1993: 7]. Это значит, что фиксация диалектно-языковых фактов, представленных на картах различных атласов, требует сегодня своего теоретического осмысления, имеющего целью глубинную интерпретацию лингвистической карты и сопряженный с ней анализ эксплицированных языковых явлений.

Литература

Бернштейн 1962 — *Бернштейн С. Б.* Сравнительная грамматика славянских языков. М., 1962.

Boryś — *Boryś W.* Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 2005.

Brückner — *Brückner A.* Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa, 1985.

Гриценко 1988 — *Гриценко П. Ю.*, *Стоянов І. А.* Українсько-інослов'янські лексико-семантичні міжзональні паралелі // Слов'янське мовознавство. X Міжнародний з'їзд славістів: Зб. доповідей. Київ, 1988.

Гриценко 1993 — *Гриценко П. Е.* На подступах к объясняющей лингвогеографии // Арэалогія. Праблемы і дасягненні. Київ, 1993.

Десницкая 1977 — *Десницкая А. В.* К вопросу о предмете и методах ареальной лингвистики // Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Л., 1977.

Дзендзелевский 1963 — *Дзендзелевский И. А.* Некоторые вопросы интерпретации лингвистических карт // Вопросы языкознания. 1963. № 4.

ЕСУМ — Етимологічний словник української мови. Київ, 1982–. Т. 1–.

Жирмунский 1954 — *Жирмунский В. М.* О некоторых проблемах лингвистической географии // Вопросы языкознания. 1954. № 4.

Клепикова, Попова 1968 — *Клепикова Г. П.*, *Попова Т. В.* О значении данных лингвистической географии для решения некоторых вопросов истории болгарского языка // Вопросы языкознания. 1968. № 6.

Климов 1990 — *Климов Г. А.* Основы лингвистической компаративистики. М., 1990.

Machek — *Machek V.* Etymologický slovník jazyka českého. Praha, 1968.

Макаев 1965 — *Макаев Э. А.* Проблемы и методы сравнительно-исторического языкознания // Вопросы языкознания. 1965. № 4.

Мартынов 1983 — *Мартынов В. В.* Язык в пространстве и времени. М., 1983.

Принципы 1976 — Принципы описания языков мира. М., 1976.

Skok — *Skok P.* Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb, 1971–1988. Knj. 1–3.

Срезн. — *Срезневский И. И.* Материалы для словаря древнерусского языка. М., 2003. Т. I–III.

Степанов 1975 — *Степанов Ю. С.* Методы и принципы современной лингвистики. М., 1975.

Теньер 1966 — *Теньер Л.* О диалектологическом атласе русского языка // Вопросы языкознания. 1966. № 5.

Толстой 1977 — *Толстой Н. И.* О соотношении центрального и маргинальных ареалов в современной Славии // Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Л., 1977.

Трубачев 1967 — *Трубачев О. Н.* Работа над этимологическим словарем славянских языков // Вопросы языкознания. 1967. № 4.

Трубецкой 1987 — *Трубецкой Н. С.* Фонология и лингвистическая география // Трубецкой Н. С. Избранные труды по филологии. М., 1987.

Фасмер — *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. М., 1964–1973. Т. I–IV.

Черных — *Черных П. Я.* Историко-этимологический словарь современного русского языка. М., 1994. Т. I–II.

Шапошников — *Шапошников А. К.* Этимологический словарь современного русского языка. М., 2010. Т. 1–2.

ЭССЯ — Этимологический словарь славянских языков. М., 1974–. Т. 1–.

М. Л. Каленчук

Особенности произношения заимствованных слов в русском литературном языке начала XXI века

Слова иноязычного происхождения, входя в чуждую для них языковую систему, должны быть освоены заимствующим языком с разных точек зрения — фонетической, графической, лексической, грамматической. При этом под процессом фонетического освоения заимствованных слов понимают их приспособление к звуковой системе русского языка: в иноязычных по происхождению словах должна произойти замена фонем языка-источника на русские фонемы, и эти фонемы должны подчиниться законам позиционного поведения, свойственным русскому языку. В результате этого процесса большинство заимствованных слов полностью осваиваются русской фонетической системой, ничем не отличаясь ни по составу фонем, ни по особенностям их реализации от исконно русских слов. Другие же иноязычные слова и морфемы продолжают сохранять в своем звуковом облике нечто необычное, не свойственное произношению русских слов. Именно эта группа и формирует орфоэпическую подсистему заимствованных слов.

Как известно, в процессе фонетического освоения заимствованных слов наблюдается три разных ситуации:

1) заимствованное слово полностью сохраняет произносительные особенности языка-источника;

2) заимствованное слово полностью подчиняется фонетическим законам языка-реципиента;

3) произношение заимствованного слова нарушает первую и вторую возможность, формируя тем самым специфические черты произносительной подсистемы иноязычных слов. Именно третий способ активно использовался русским языком последнего столетия. После эпохи русско-французского двуязычия, при котором переход с одного языка на другой «был совершенно свободным и обыденным,

---

Мария Леонидовна Каленчук,
Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН (Москва)

…возобладало общественное мнение, что французские слова не должны оставаться подлинными „французами“, но и слишком ярко одомашниваться тоже не должны» [Панов 1990: 147]. Именно в это время и возникает особое произношение заимствованных слов — и не по-русски и не по-французски.

При этом выбор того или иного способа звукового оформления иноязычного слова во многом диктуется не языковыми, а экстралингвистическими причинами — «распространение образования, роль в усвоении литературного языка книги или устного общения, наличие или отсутствие семейных традиций литературного говорения, степень приобщенности к иноязычным культурам — все это влияет на произношение заимствованных слов» [Фонетика современного русского литературного языка 1968: 116].

Особые фонемы подсистемы заимствованных слов

В начале XX века состав фонем подсистемы заимствованных слов несколько отличался от состава основной фонологической системы за счет согласных фонем /l/-европейское, /γ/, /ц’/, /ш’/, /ж’/. Употребление этих фонем было лексикализовано.

Какова судьба этих фонем на современном этапе развития фонетической системы русского языка?

1. /l/-европейское или среднее, которое, по свидетельству Е. Д. Поливанова, было приметой речи интеллигенции в первой трети XX века, употреблялось в словах типа *ко*[l]*ёга*, *спеку*[l]*яти́вный*, *ассими*[l]*яти́вный*, но обязательно было только в названии музыкальной ноты *la* [Поливанов 1968] и перестало употребляться еще в середине XX века [Гловинская 1971].

2. Фонема /γ/ в начале XX века произносилась не только в заимствованных словах типа *бухгалтер*, *бюстгальтер*, *габитус* и др., но и в словах основной системы — «[γ] произносился наряду с [г] в словах *легок*, *мя́гок*, *но́готь*, *ко́готь*, *Госпо́дь*, *Бо́га* (и других косвенных падежах), *бла́го* (и производных: *благоде́тель*, *благодарю́*, *благоро́дный* и др.), *господи́н*, *бога́тый*, *богаты́рь*, в междометиях *го́споди*, *ей-бо́гу*» [Касаткин 2006: 197]. В связи с этим в указанный период фонема /γ/ не была специфична для подсистемы заимствованных слов. Но затем произошел процесс замены [γ] на [г] во всех словах основной системы, а звук [γ] как представитель фонемы /γ/ закрепился в частных подсистемах заимствований и междометий.

Каково положение этой фонемы в системе современного произношения? Словари указывают на обязательное произношение [γ]

в позиции перед гласным всего для нескольких иноязычных по происхождению слов: *бухгалтер*, *габитус* [напр., ОС]. Но исследование речи современного молодого поколения показывает, что в слове *габитус* уже практически все информанты произносят [г] (проверялась речь как врачей и биологов, для которых это слово вполне освоенное, так и людей других профессий — в 94% случаев было произнесено [г]*áбитус*).

Только в слове *бухгалтер* и производных от него, по мнению многих лингвистов, обязательным остается произношение звука [γ] — *бу*[γ]*áлтер.* Но и в этом случае носители «младшей» нормы чаще употребляют взрывной звук, а не щелевой, произнося *бу*[г]*áлтер*, *бу*[г]*алтéрия*, *бу*[г]*áлтерский*. Так, в популярной песне в исполнении Алены Апиной поется «*бу*[г]*алтер*, *милый мой бу*[г]*алтер*».

Судя по всему, фонема /γ/ уходит и из подсистемы заимствований, сохраняя свои позиции только в подсистеме междометий (например, *а*[γ]*á*, *о*[γ]*ó*, *ей-бó*[γ]*у* и пр.).

3. Фонема /ц’/, которая встречалась в речи образованных людей в словах типа *революю*[ц’]*ия*, *конституц*[ц’]*ия*, *сентен*[ц’]*ия* и пр., перестала употребляться в первой трети XX века.

4. А вот мягкие фонемы /ш’/ и /ж’/ еще в середине прошлого века оставались языковой реальностью для ограниченного круга слов. По результатам исследования М. Я. Гловинской, например, в слове *жюри* мягкий и полумягкий звук в речи информантов старшего поколения встретился в 34 случаях, а твердый лишь в 7, в то время как соотношение этих вариантов в речи младшего поколения середины XX века было 19 и 22.

Вопрос о произношении звуков [ш’], [ж’] в современной норме спорен. Так, ОС разрешает только произношение [ж’у]*рú*, *п*[ш’у]*т*, снабжая вариант [жу]*рú* и *п*[шу]*т* запретительной пометой. Такие же рекомендации предлагают почти все словари и пособия по культуре речи. Р. Ф. Касаткина пишет: «…из орфоэпической системы уходит старое произношение *жюри* с мягким [ж’], а мягкость [ш’] и [ж’] в таких словах как *амбушюр*, *брошюра*, *жюльверновский*, *жюльен*, *жямайтский*, *парашют* уже ушла в прошлое. Едва ли не единственными словами, произносимыми с мягкими шипящими и в наше время, остаются редко употребляемые старые заимствования из французского *пшют* (‘фат’) и *жен-премьер* (театральное амплуа ‘герой-любовник’)» [Касаткина, в печати].

Исследование закономерностей распределения твердых и мягких вариантов согласных в указанных словах в речи 52 носителей современной «младшей» произносительной нормы показало следующее:

жюльен: 8 [ж’у]*льéн*, 44 [жу]*льéн*;
жюль-верновский: 9 [ж’у]*ль-вéрновский*, 43 [жу]*ль-вéрновский*;
жюри: 2 [ж’у]*рú*, 50 [жу]*рú*;
пшют: 4 *п*[шу]*т*, 48 *п*[ш’у]*т*.

Слово *жен-премьер* оказалось незнакомо информантам, и в связи с этим его произношение не изучалось.

Данные, полученные в ходе исследования, не соответствуют словарным рекомендациям и заставляют пересмотреть вопрос о кодификации указанных слов в словарях, что и сделано в БОС.

Мягкость /ж’/ и /ш’/ в проверяемых словах поддерживало два фактора — фонологический (указанные фонемы образовывали пары по твердости-мягкости с фонемами /ж/ и /ш/, что делало систему более устойчивой) и графический (написание букв *ж* и *ш* перед буквой *ю*, которую обычно ассоциируют с указанием на мягкость предшествующей фонемы). Но очевидно, что эти факторы перестали оказывать влияние — слишком ограничен круг слов, в которых были возможны /ж’/ и /ш’/, что ведет к постепенному исчезновению этих фонем из системы и требует пересмотра орфоэпических рекомендаций.

Итак, за прошедшие сто лет «пришлые» фонемы (как их называл М. В. Панов), бывшие специфичными для заимствованных слов, ушли из русской фонологической системы. Значит ли это, что состав фонем рассматриваемой подсистемы в настоящее время ничем не отличается от состава фонем основной системы русского языка? Как кажется, это не так.

Ориентированность произношения иноязычных по происхождению слов на английский манер привела к появлению губно-губной фонемы /w/: [w]*ик-э́нд*, [w]*úпет*, [w]*ипс*, [w]*итлéндер*, [w]*óки-тóки*, [w]*óкмен*, [w]*ош*, [w]*айт-спúрит*, [w]*акáри*, [w]*áнстеп*, в именах собственных [w]*олл-стрúт*, [w]*отергéйт*, [w]*имблдóн* и пр. [ср. Богданова 2001]. Практически никто из образованных людей, как показывают наблюдения, не произносит [уи]*к-э́нд* или [уо]*лл-стрúт*, как этого требует написание. Интересно отметить, что носители языка осознают заимствованный характер подобных слов и маркируют их особой фонемой, в то время как в русском слове *уазик*, например, никто не произносит [w]*áзик*, а говорят [уá]*зик*.

По сути, ситуация с употреблением в отдельных заимствованных словах /w/ ничем не отличается от употребления ранее, например, /l/-европейского. Р. Ф. Касаткина считает, что «такие случаи надо рассматривать как цитаты из английского языка» [Касаткина, в печати]. Как же трактовать подобные произношения — как

«цитирование» чужого языка или как факты особой подсистемы заимствованных слов русского языка? И можно ли считать, что это одно и то же? Как представляется, нет. Сравним две ситуации. Диктору телевидения необходимо произнести название журнала «The Wall Street Journal». Он может это сделать, точно используя звуки английского языка [ðiː wɔːl strɪːt ʤɜːnəl] — это прямая цитация, воспроизведение без изменений первоисточника, вставка в русский текст иностранного фрагмента. Такая манера произношения была принята в СМИ после перестройки, когда считалось престижным демонстрировать хорошее знание английского языка. Диктор мог бы произнести название журнала полностью русифицировано — [з’и во́л (или [уо́]л) стр’ид д͡жжо́рнəл], но, как показывают наблюдения, так никто не произносит. Практически всегда (было зафиксировано 15 произнесений указанного названия комментаторами и ведущими телеканала РБК) происходит «смесь французского с нижегородским» — иноязычный характер названия маркируется несколькими орфоэпическими черточками: межзубным звуком [ð] в артикле и звуком [w] в слове Wall Street. Остальные звуки — русские. Как представляется, именно такое произношение А. А. Реформатский называл Fremd-sprachphonetik (элементы чужой фонетики). И это не прямая цитация. Это, скорее, стилизация иностранного произношения, позволяющая послать сигнал — произносится заимствованное слово. Подобный способ оформления заимствованных слов можно сравнить с использованием отдельных орфоэпических красок в сценической речи. Например, для создания образа диалектно говорящего персонажа актеру достаточно небольшой речевой «краски» — например, оканья или произношения [γ], остальные фрагменты речи оформляются по нормам литературного языка.

Еще одна иллюстрация. Было исследовано произношение названия операционной системы *Windows* московскими студентами-филологами в составе фразы *Уже не одно десятилетие основной операционной системой продолжает оставаться Windows*. Ни один из информантов не произнес это очень частотное и освоенное слово полностью русифицировано — [в’и́ндоус]. Примерно половина произносили с хорошим английским произношением — ['wɪndəuz]. Это цитация. Но остальные произносили [w’и́ндоус], с первым мягким губно-губным (мягкость его противоречит английскому произношению) и с глухим звуком на конце слова, как и положено в русском языке, но не в английском. Билабиальность первого звука — фонетический намек, достаточный для маркирования иноязычного характера слова.

Особенности позиционного распределения звуков в заимствованных словах

Специфичность позиционного поведения звуков в подсистеме заимствованных слов создает несколько разных сценариев. Не давая исчерпывающего списка всех отмечаемых в настоящее время фактов, проанализируем несколько типичных ситуаций, связанных с позиционным распределением звуков в заимствованиях.

В заимствованных словах произносятся звуки, существующие в основной произносительной системе, но употребляющиеся в других фонетических позициях — «проявление тенденции к отрыву определенных аллофонов от позиций, обусловивших их произношение, и к распространению этих аллофонов на другие позиции» [Касаткина, в печати]. Ярким примером этого явления может служить возможное в качестве варианта произношение твердого звука [ч] на конце заимствованных слов — *ха*[ч] (*хадж*), *котте́*[ч] (*коттедж*) и пр. [Касаткин 2006: 44]. Твердый звук [ч] в основной подсистеме русского произношения встречается только в позиции перед звуком [ш] — *лу́*[ч]*ше*, *мла́*[ч]*ший*, *ве*[ч]*ша́ть* и пр. Благодаря появлению [ч] в новых заимствованиях в другой позиции — на конце слова — укрепляется положение этого звука в системе, что чисто гипотетически может привести к его распространению на другие позиции и не в заимствованных словах, создав новые оппозиции и отношения.

Частные произносительные подсистемы языка становятся полигоном для реализации новых тенденций. Известно, что разрушение тех или иных фонетических закономерностей всегда происходит в определенном порядке; внутренняя языковая логика требует строгой очередности в установлении новых правил произношения для конкретных слов и позиций. Например, раньше в русском языке для большинства согласных действовало правило, по которому согласный перед мягким согласным произносился мягко. Затем возникла тенденция к отвердению первого согласного, но процесс разрушения позиционной мягкости происходил неравномерно в разных сочетаниях согласных, в разных группах слов и в разных орфоэпических позициях. Известна строгая языковая логика, диктовавшая порядок распространения нового произношения с твердым звуком перед мягким согласным. Можно предположить, что процесс разрушения позиционной мягкости следует рассматривать как модель осуществления подобных процессов. Скорее всего, порядок появления новых вариантов произношения, не подвергшихся позиционному чередованию, должен быть примерно одинаков при разрушении позиционной

закономерности любого типа. Так, одними из первых «захватываются» малоосвоенные, редкие (в первую очередь — заимствованные слова), и лишь потом освоенная частотная лексика.

Известно, что дольше всего позиционная мягкость держалась в сочетаниях [н’ч’] и [н’ш’] — «согласный *н* перед *ч* и *щ* произносится мягко» [ОС: 672]: *кля́*[н’]*чить*, *кармá*[н’]*чик*, *жé*[н’]*щина* и пр. Но в заимствованиях стали возможны произношения *а*[н]*чóус*, *хва*[н]*чкарá*, *ви*[н]*чéстер* (в значении ‘компьютерный термин’), *фре*[н]*ч* и пр. [БОС: 972]. То же самое наблюдается и в подсистеме имен собственных: не раз приходилось слышать произношение фамилии автора данной статьи как *Кале*[н]*чу́к*, а не *Кале*[н’]*чу́к*.

Приведенные факты позволяют предположить, что на следующем этапе развития звуковой системы станет возможно в качестве варианта твердое произношение звука [н] перед [ч’], и это консонантное сочетание разделит судьбу всех остальных сочетаний согласного с мягким звуком.

Известно, что одной из особенностей позиционного распределения гласных в заимствованных словах является возможность произношения в безударных положениях звуков [о] и [э], не подвергшихся качественной редукции (*п*[о]*э́т*, [э]*ллипти́ческий*). Сравнение данных о реализации этой нормы в разных орфоэпических срезах на протяжении последних ста лет безусловно показывает, что рассматриваемая произносительная «странность» постепенно заменяется фонетической «обычностью» — вместо безударных нередуцированных гласных все чаще произносятся гласные, подвергшиеся обычной степени редукции, характерной для слов русского происхождения.

Рассматриваемая произносительная норма неоднократно изучалась на материале речи разных поколений XX века. Наиболее серьезные исследования выполнены Л. А. Вербицкой и М. Я. Гловинской [Вербицкая 1976; Гловинская 1971; 1976]. При этом удивительным представляется тот факт, что при орфоэпических описаниях данной нормы авторы останавливаются лишь на констатации факта произношения каждого конкретного слова, устанавливая, возможен ли в них безударный [о], но не пытаются выявить систему факторов, определяющих наличие или отсутствие этого варианта произношения (в отличие от описания других особенностей этой подсистемы). Скорее всего, это не случайно.

С момента исследований Л. А. Вербицкой и М. Я. Гловинской прошло около полувека, и неизвестно, каково положение дел с реализацией этой особенности произношения в современной норме.

Для выяснения этого вопроса было проведено орфоэпическое исследование, в ходе которого 24 носителя «младшей» нормы

литературного произношения начитали на магнитофон фразы, в которые были включены 90 слов иноязычного происхождения с потенциально возможным безударным [о]. Результаты аудирования резко контрастировали с рекомендациями орфоэпических словарей: безударный [о] часто произносился в словах, в которых эта возможность не отмечена при кодификации нормы, и не произносился во многих случаях там, где это допускалось как вариант произношения. Например, в словах *жокей*, *коллаж*, *коллега*, *конспект*, *конферансье*, *модерн*, *прогресс*, *проект*, *рояль*, *фольклор*, *шокировать* и др. в [ОС] не предусмотрено безударного [о], а информанты в целом ряде случаев допускали такое произношение. В то же время в словах *боа*, *бомонд*[1], *бонвиван* многие дикторы произносили гласный обычной степени редукции, что запрещается кодификаторами.

Примерно то же самое наблюдается и при распределении редуцированного / нередуцированного звуков на месте э. В ОС сказано, что в словах иноязычного происхождения на месте э в начале слова и после гласного должен произноситься «несколько редуцированный гласный, по типу близкий к [э]», и в этих позициях «не должен произноситься звук [и] или близкий к нему» [ОС: 663] — в качестве примеров приведены слова *экран*, *эгида*, *экватор*, *этаж*, *экзотика* и мн. др. Совсем другие факты получила М. Я. Гловинская, изучавшая описываемую норму на материале речи середины XX века: проведенное ею исследование показало, что «[э] в безударных слогах произносится крайне редко, в единичных случаях» [Гловинская 1971: 89]. Л. Л. Касаткин показывает, что в современном состоянии языка «возникает нейтрализация /э/ и /и/ в безударных слогах в начале слова: одинаково произносится *эскадра вышла* и *из кадра вышла*, *и кран передвинули* и *экран передвинули»* [Касаткин 2006: 205].

Выяснилось, что из описанных в литературе факторов в системе современной «младшей» нормы действует лишь один — безударные [о] или [э] продолжают произноситься в очень узком круге редких, малоосвоенных слов (*бомонд*, *бонвиван*, *консоме*, *экзистенциализм*, *эвентуальный* и пр.). Причем для большинства информантов подобные слова являются сугубо книжной архаикой, многие из дикторов не знают их значения. Проверить влияние высокого произносительного стиля на появление рассматриваемого варианта в условиях лабораторного эксперимента невозможно,

[1] Некоторое время назад по телевидению шла передача «Бомонд», которую вел Матвей Ганапольский, произносивший название своей передачи только как *б*[а^{э}]*мóнд.*

но наблюдения над телевизионной речью, порождаемой в особых торжественных, официальных ситуациях, допускающих, а ранее и требовавших оформления по нормам высокого стиля, показывают, что и там указанный вариант практически не используется в наше время. Очевидно, что высокий стиль вообще уходит из стилистической произносительной парадигмы, что вызвано, скорее всего, экстралингвистическими причинами.

Судя по всему, произношение безударных [о] и [э] в заимствованных словах утратило ту функциональную нагрузку, которую эти варианты имели ранее, когда они воспринимались как «обобщенный звуковой сигнал заимствованности» [Панов 1990], как показатель «чуждости» слова. На этом этапе рассматриваемая особенность произношения была приметой конкретных заимствованных слов. Но этот вариант, выполнив в языке роль показателя «пришлости» слова, не ушел из системы, а получил новую функциональную нагрузку. Анализ позиционного распределения безударных звуков [о] и [э] и редуцированных гласных в корнях заимствованных слов на материале большого массива записей звучащей речи позволяет прийти к выводу, что нередуцированные варианты стали использоваться для маркирования сильных фразовых позиций. При этом они не «привязаны» к конкретному слову. Если ранее, сто лет назад, произношение, скажем, *с*[о]*не́т* или [э]*кза́мен* было единственно возможным, то в наше время на лексическом уровне невозможно предсказать, как будет произнесено — *с*[о]*не́т* или *с*[а^{ə}]*не́т*, [э]*кза́мен* или [и^{ə}]*кза́мен*. Распределение указанных вариантов нормы обусловлено фразовыми позициями, что и объясняет кажущуюся случайность появления нередуцированных звуков в описанных выше экспериментах.

Приведем в качестве иллюстрации примеры позиционного распределения в зависимости от фразовых условий редуцированных и нередуцированных вариантов произношения. Все примеры записаны на магнитофон во время телевизионных передач монологического характера на телеканале «Культура». Во всех случаях записано произношение одним и тем же человеком одного и того же слова или слов с одинаковым корнем, стоящих то в позиции просодического выделения, то в нейтральных условиях:

(1) *Этот с*[а^{ə}]*нет Шекспира известен в трех разных переводах. ...Я не знал, как называется то, что он читал, но для себя я сразу назвал это с*[о]*нетом* (А. Вознесенский).

(2) *Мне п*[э]*этессой было быть стыдно. Я не п*[о]*этесса, я п*[о]*эт* (Б. Ахмадуллина).

(3) *Он был не просто л*[о]*ялен, он был предан. Л*[а^{э}]*яльность была повальной, преданность же единичной* (Е. Яковлев).

(4) *Сцена для них всегда была площадкой для* [и^{э}]*ксперимента, оправдывающего любые решения. Иногда казалось, что это был* [э]*ксперимент ради* [э]*ксперимента* (В. Вульф).

В рассмотренных примерах можно отметить разные причины акцентирования слова — нахождение в рематической группе, семантический контраст, эмфаза и пр., — но во всех случаях сильная фразовая позиция маркируется безударным [о] или [э], а в нейтральных позициях произносится гласный, подвергшийся редукции обычной степени.

Об использовании безударных [о] и [э] в заимствованных словах для подчеркивания семантической нагруженности слова говорят и объявление названия станции московского метро «Ш[о]ссе [э]нтузиастов»[2], и тексты рекламных телевизионных и радиороликов с произношением *м*[о]*нитор, к*[о]*ллаж*, [э]*кспериментальный*, *пр*[о]*ект* и др. В словарях подобные варианты произношения указанных слов не зафиксированы, но в реальных текстах они используются для прагматического выделения слова в потоке речи. Возможность появления безударного [о] или [э] потенциально заложена в большем числе слов, чем это обычно представляется. По сути дела, в корнях всех иноязычных слов, кроме частотной бытовой лексики, может проявиться эта орфоэпическая особенность.

Интересно отметить, что рассматриваемые варианты — безударные качественно нередуцированные [о] или [э] — активно употребляются в некоторых новейших заимствованиях как единственная возможность произношения (*бл*[о]*кба́стер*, *бл*[о]*кпо́ст*, *б*[о]*диа́рт*, *б*[о]*диби́лдинг*, *к*[о]*рнфле́кс*, *н*[о]*утбу́к*, *н*[о]*у-ха́у*, *п*[о]*пко́рн*, *п*[о]*ртфо́лио*, *сн*[о]*убо́рд*; *д*[э]*дла́йн*, *ск*[’э]*йтбо́рд*, *г*[’э]*ймпле́й* и мн. др.), вновь принимая на себя роль маркера иноязычного слова. Язык уже «переварил» массив заимствований, вошедших в русский язык на предыдущих этапах, этим иноязычным по происхождению словам в настоящее время не нужно подчеркивать свою «чуждость» фонетическими средствами, а новейшие заимствования все еще нуждаются в звуковых приметах своего иноязычного происхождения.

---

[2] Как показывают наблюдения, в метро записана речь разных дикторов, и можно зафиксировать три разных произнесения названия станции: *Ш*[о]*ссе энтузиастов*, *Ш*[э]*ссе энтузиастов* и *Ш*[а]*ссе энтузиастов.*

Литература

Аванесов 1984 — *Аванесов Р. И.* Русское литературное произношение и ударение. М., 1984.

Богданова 2001 — *Богданова Н. В.* Живые фонетические процессы русской речи. СПб., 2001.

БОС — *Каленчук М. Л.*, *Касаткин Л. Л.*, *Касаткина Р. Ф.* Большой орфоэпический словарь русского языка / Под ред. Л. Л. Касаткина. М., 2012.

Вербицкая 1976 — *Вербицкая Л. А.* Русская орфоэпия. Л., 1976.

Гловинская 1971 — *Гловинская М. Я.* Об одной фонологической подсистеме в современном русском литературном языке // Развитие фонетики современного русского языка. М., 1971.

Гловинская 1976 — *Гловинская М. Я.* Вариативность произношения заимствованных слов в современном русском литературном языке // Социально-лингвистические исследования. М., 1976.

Касаткин 2006 — *Касаткин Л. Л.* Фонетика современного русского литературного языка. М., 2006.

Касаткина, в печати — *Касаткина Р. Ф.* Особенности произношения заимствованных слов // Активные процессы в русской звучащей речи начала XXI века (в печати).

ОС — Орфоэпический словарь русского языка: Произношение. Ударение. Грамматические формы / Под ред. Р. И. Аванесова. М., 1983.

Панов 1990 — *Панов М. В.* История русского литературного произношения XVIII–XX вв. М., 1990.

Поливанов 1968 — *Поливанов Е. Д.* Фонетика интеллигентского языка // Е. Д. Поливанов. Статьи по общему языкознанию. М., 1968.

Словарь трудностей русского произношения — *Каленчук М. Л.*, *Касаткина Р. Ф.* Словарь трудностей русского произношения. М., 2001.

Фонетика современного русского литературного языка 1968 — Русский язык и советское общество. Фонетика современного русского литературного языка. М., 1968.

М. М. Макарцев

Инновации в глагольной системе славянского говора Бобоштицы (обл. Корчи, Албания)

Славянский говор Бобоштицы (носители называют его *kajnas* ‘у нас’ или ‘как мы’; этот термин будет использоваться и в настоящей статье; алб. название села *Boboshticë*) представляет собой интересный случай островного славянского говора в иноязычном балканском (албанском) окружении. Исторически он являлся частью большого клина южнославянских диалектов, которые существовали в бассейнах рек Девол, Осум, Семан и Вёса до побережья Адриатического и Ионического морей, см. карту славянской топографии в: [Селищев 1931/1981]. В настоящее время кайнас является крайним юго-западным славянским говором. Структурно к нему наиболее близок говор соседнего села Дреновене (*Drenovë*), последний носитель которого, насколько нам известно, живет в Корче. Нам уже приходилось писать о говоре Бобоштицы, прежде всего о его системе местоимений [Макарцев (в печати)], а также о социолингвистической ситуации в селе [Макарцев 2011а] и о шкале ценностей у носителей говора [Макарцев 2011б]. Бобоштенскому славянскому говору достаточно повезло с точки зрения научных описаний: начало исследованиям говора положил А. Мазон, который в 1933–1934 гг. осуществил две экспедиции в Бобоштицу, результатом чего явилась монография в двух частях с описанием грамматики говора, собранием фольклора и личной корреспонденции: [Mazon 1936] и [Mazon, Bajrova 1965]. Благодаря помощи А. Мазона носитель говора Сотир Кунешка смог поехать в Париж для получения высшего образования в области физики. В Париже с ним имел возможность работать в фонетической лаборатории А. Шрамек [Šrámek 1934]. Позднее Бобоштица была

Максим Максимович Макарцев,
Институт славяноведения РАН (Москва)

Работа подготовлена в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Традиции и инновации в истории и культуре» (проект «Балканский текст в этнокультурной и этнолингвистической перспективе»).

включена в сетку «Общеславянского лингвистического атласа» под номером 106 [Видоески 1981; ОЛА 1994]. Новый виток интереса к говору начался в наше время, после изменения политической ситуации в Албании и открытия границ. Здесь отметим главу в многотомном описании славянских говоров Албании К. Штайнке и Дж. Юллы [Steinke, Ylli 2007]. В библиографию говора входят и некоторые другие работы[1]. Общее, что их объединяет, — это признание бóльшего значения языкового прошлого кайнас по сравнению с настоящим. Как правило, делается попытка описать некоторое «идеальное» состояние говора, в котором он пребывал до начала сильного влияния со стороны албанского литературного языка (в меньшей мере его корчанского диалекта)[2].

У этого подхода есть свои преимущества, и весьма серьезные: такие исследования интерпретируют говор как часть южнославянского диалектного континуума, связанную с достаточно отдаленными диалектными ареалами (описание говора для ОЛА — [Видоески 1981; Антонова-Василева 2011]), позволяют показать, какие элементы были утеряны с течением времени (это отчасти сводится к сравнению работ А. Мазона и А. Шрамека с материалом позднейших исследований, что задает значительную временну́ю перспективу).

В то же время, изменения, которые произошли в говоре под иноязычным влиянием, но также и в силу логики его внутреннего развития, дают исключительно интересный материал для дискуссии о пластичности языковой системы, причинах и глубине языковых изменений. Таким образом, в центре нашего внимания будет находиться не реконструкция некоторого состояния говора в прошлом

[1] Ср., в частности: Л. Милетич [Милетич 1937а; 1937б; 1937в], Б. Шклифов [Шклифов 1971], М. Куртьяд [Courthiade 1988; 1993], Л. Джамо-Дяконица [Djamo-Diaconiţa 1968; 1982], Л. Спасов [Спасов 2001], П. Асенова [Асенова 2007], Л. Антонова-Василева [Антонова-Василева 2011].

[2] Это влияние достаточно сильно сказывалось еще в начале 1930-х гг., по крайней мере в области лексики, ср. характерный пример из личного письма (написанного Миле Кунешкой сыну Сотиру в Париж): «Da imash *parasysh* da *formasash personaliteto* tvoj. Da ne kllavash vume nish veç *qellimo* za koj esi oden tamo. Da ne se sekledisash *fare*, ako *meriton besim* sozi djete» («‘Имей в виду <следующее> — формируй свою личность. Не думай ни о чем другом, кроме как о той цели, ради которой ты отправился туда. Не колеблись нисколько, если этот парень (франц. ‘enfant’, но также и ‘garçon’) заслуживает доверия’» — [Mazon, Bajrova 1965: 56]). В примере мы выделили курсивом бесспорные лексические заимствования из албанского, к которым можно прибавить фразеологические кальки («da ne kllavash vume» < алб. *mos e mbaj në mend*), синтаксические кальки (определение в постпозиции по албанской модели, ср. «personaliteto tvoj»).

(бесспорно, исключительно важная, коль скоро помимо кайнас в нашем распоряжении практически отсутствуют иные данные, свидетельствующие о славянской речи на обширной территории от Корчанской долины и до Ионического моря, за исключением, разве что, топонимики), а его современное состояние.

В какой-то мере акцент на «идеальном» состоянии говора, по крайней мере, в современных исследованиях, вызван причинами социолингвистического характера: если в начале XX века абсолютное большинство жителей села говорило на кайнас, и значительное их количество было моноязычным — албанки из соседних сел, выходившие замуж в Бобоштицу, и первые переселенцы-арумыны из района Пэрмета (15 семей, переехавших сюда в 1927–1933 гг. — [Dhamko 2010: 131]) учили кайнас, чтобы иметь возможность поддерживать общение, — то в 2011 году в селе оставалось всего шесть носителей, из которых в полном объеме говором владел один человек (Ильо Кунешка, 1925 г. р., младший брат Сотира Кунешки, закончил Французский лицей в Корче и Карлов университет в Праге, работал инженером-техником в Корче). Еще одна носительница (Эльпи Манчо, 1936 г. р., закончила педагогическое училище в Корче, работала учительницей албанского языка в школах области Корчи) хотя и владела кайнас пассивно с детства, начала активно использовать его только будучи взрослой, когда ей три года пришлось ухаживать за больной матерью. Мы имели возможность провести интервью еще с одним носителем: Сотиром Бамбуллы (1927 г. р., закончил институт в Тиране, работал учителем математики и физики в селе, после установления демократического режима в стране стал секретарем Албанской православной Церкви, после того, как главой Церкви стал архиепископ Анастас (Яннулатос), ушел на покой — см. [Макарцев 2011]), но он помнит кайнас гораздо хуже, чем Ильо и Эльпи (ему с трудом удается строить достаточно простые фразы; некоторые элементы грамматики, в частности, систему числительных, он не помнит вообще, а начиная с какого-то момента интервью он полностью перешел на албанский).

Основные особенности кайнас описаны в: [Mazon 1936; Courthiade 1988; 1993; Steinke, Ylli 2007]. В области морфосинтаксиса в кайнас выделяются следующие балканизмы[3]: 1) грамматикализация определенности, артикль в постпозиции; 2) местоименная реприза (проявляется более ограниченно, чем в литературном македонском); 3) поглощение генитива личных местоимений дативом;

[3] Мы следуем порядку, в котором их перечисляет В. Фридман в: [Friedman 2006: 668].

4) значительно редуцированное склонение (хотя и не настолько, как в болгарском и македонском; наиболее полная парадигма склонения выделена А. Мазоном для мужского рода: номинатив, генитив-аккузатив, датив, локатив и специальная звательная форма; в настоящее время с падежными формами в речи Ильо и Эльпи конкурируют аналитические формы выражения падежных отношений при помощи предлогов); 5) аналитические степени сравнения прилагательных (при помощи приставок *po-* и *naj-*); 6) образование числительных второго десятка по славянской модели; 7) «балканский конъюнктив» (*da*-формы); 8) будущее с глаголом желания (кайнас *ža* < **šče da* — [Mazon 1936: 90]); 9) будущее в прошедшем для выражения условных отношений; 10) *иметь*-перфект[4].

В своем современном виде глагольная система кайнас сочетает элементы, общие для юго-западных южнославянских диалектов, в том числе и не находящихся в контакте с албанским языком; элементы, возникшие под влиянием интерференции с албанским, а также уникальные инновации.

Временна́я перспектива, в которую мы могли бы поместить рассматриваемые явления, достаточно широка; первые доступные тексты на кайнас относятся к 1873 (письмо бобоштенцев экзарху Анфиму, опубликовано в: [Снегаров 1933]) и к 1874 г. (отрывок речи Д. Цанцо; перевод отрывков из Евангелия), затем следуют сказки и песни, записанные А. Мазоном в 1933–1934 гг. Ряд небольших текстов опубликовал Л. Милетич [Милетич 1937 а; б; в]. В работе К. Штайнке и Дж. Юллы приводится достаточно большой материал по говору (2 часа расшифрованных записей). В экспедициях 2010–

[4] К этому следует прибавить перфект по аромунской модели *esa dojden* ‘я пришел, досл. *я прийден’ (ср. македонск. *сум дојден*) — не являясь в строгом смысле балканизмом, он объединяет юго-западные македонские говоры с аромунскими говорами региона, причем по отношению к этой форме нельзя говорить о языке-доноре и о языке-реципиенте. Как кажется, эта форма первоначально возникла в аромунском для того, чтобы передавать оппозицию по виду (*esk*-перфект имеет только значение совершенного вида, в то время как *am*-перфект может передавать значения и совершенного, и несовершенного вида), катализатором чему послужил македонский, в котором есть оппозиция по виду, причем дополнительное влияние на семантику форм оказал албанский язык, в котором вспомогательный глагол в формах перфекта указывает на возвратность: *kam larë* ‘I have washed’ vs. *jam larë* ‘I am washed’. Македонский в этом случае выступает сначала в качестве языка-катализатора (исходно оппозиция по виду была только в македонском), а затем под влиянием аромунского в нем образуются соответствующие формы (*сум дојден* vs. *имам дојдено*); соответственно, аромунский сначала выступает как язык-донор, а затем как язык-реципиент. Ср.: [Марковиќ 2007: 148–150].

2011 гг. нами было записано около 13 часов речи на кайнас, из которых на настоящий момент расшифровано около 16 000 слов. Носительница диалекта Эльпи Манчо подготовила записи фольклора (245 тетрадных (формат 17×20 см) страниц на албанском языке и кайнас по состоянию на 2011 г.). В 2011 г. мы работали также по специальной анкете, составленной на основе синтаксической программы МДАБЯ (выборочно — пункты с 6.4 по 6.11, т. е. та ее часть, которая рассматривает наклонение, эвиденциальность и адмиративность, отглагольные существительные и под.), что позволило записывать материал по предварительно выделенным «диагностическим точкам». В рамках анкеты было предусмотрено несколько видов работы, в том числе перевод с албанского на кайнас специально сконструированных предложений. Мы полностью разделяем осторожное отношение к сконструированным примерам и считаем, что анализировать надо прежде всего живую речь. Однако в данном случае перевесили экстралингвистические соображения: желание записать как можно больше материала, пока это еще возможно. Соответственно, в интервью с Ильо мы комбинировали живую беседу на разнообразные темы (мемораты, рассказ об истории села, о работе и т. д.), перевод на кайнас сконструированных нами на албанском примеров, оценивание сконструированных нами на кайнас предложений («можно ли так сказать? хорошо ли это звучит? как бы вы это сказали?»).

В записи текстов на кайнас используется латинская графика с добавочными символами. Символ *ǵ* соответствует албанскому *gj* и, как и *gj*, может реализовываться по-разному в речи разных носителей, от [ɟ] (в случае Ильо) до [d͡ž’] (в случае Эльпи). Ударение выделено подчеркиванием. При цитировании примеров, опубликованных другими исследователями, мы сохраняем их орфографию (и, соответственно, способ выделения ударения).

В настоящей работе мы рассмотрим следующие инновации в говоре: 1) специальную форму прогрессива; 2) «*л*-перфект»; 3) парадигму *л*-форм в адмиративном значении.

Для того чтобы показать периферийность некоторых инноваций в грамматике кайнас, вслед за уорфовским *Standard Average European* можно было бы выделить *Standard Average Slavic*, т. е. некоторый условный конструкт, который включил бы в себя те явления, которые наиболее характерны для большинства славянских языков (своего рода теоретико-множественную сумму конвергентных явлений). Когда мы говорим о конвергентных процессах в славянских языках, фактически мы исходим из некоторой «идеальной» славянской языковой структуры, которая не имеет полного воплощения ни в одном из существующих или существовавших славянских языков.

Не похоже ли это типологически на грамматическую структуру балканского языкового союза — конвенциональный конструкт, который не представлен целиком ни в одном из балканских языков, но скорее указывает основные направления их развития?

Одним из явлений, не характерных для *Standard Average Slavic*, является прогрессив, или форма продолженного действия (по значению соответствующая английскому Continuous). В славянских языках прогрессивное значение на морфологическом уровне может выражаться только при помощи несовершенного вида. В то же время, в кайнас, наряду с сохраняемым противопоставлением совершенного и несовершенного вида, по всей видимости, под албанским влиянием возникла перифрастическая конструкция для выражения настоящего прогрессивного: *tija ǵe je̱de lje̱b* ‘они едят хлеб [в данный момент]’ (в албанском этому соответствует настоящее время с частицей *po*: *ata po hanë bukë*), ср. *tija sve̱no je̱de lje̱b* ‘они всегда едят хлеб’ (албанск. *ata gjithmonë hanë bukë*).

В текстах 70-х гг. XIX в. и в записях фольклора, сделанных А. Мазоном, слово *ǵe* (в орфографии Мазона *gje*) имеет прежде всего значение локативного показателя (‘где’ или ‘там, где’). Достаточно редко встречается временное значение (‘когда’): «Na godinata mu se rodi eno djëte. Tos detjëto rastjëshe mnogo. Dur gje̱ ne bje rodeno detjëto, zhivjëje mnogo dobre; otqen se rodi detjëto, mu vljëze ena grizoma goljëma» (‘В тот год родился у них ребенок. Этот ребенок рос быстро. Пока не родился ребенок, они жили очень хорошо, а когда родился, у них началась большая нищета’ — [Mazon 1936: 320]); «Vo sozi dhiastima shço zborvjëje, petello so kokoshqjëte kajshço si karçjëje, i kuçjëto, k’i puljëshe, taka mu reçe petellutomu: „N’e te stram, mu reçe, gospoino gje̱ se fale vo bolest, esti qederosan, a ti toko igrash so kokoshqjëte?“» (‘В то время, когда они говорили и когда петух кудахтал с курами, собака, которая на них смотрела, так сказала петуху: «Как тебе не стыдно, — сказала она, — в то время, когда наш хозяин болеет, опечален, ты только гуляешь с курами?»’ — [Mazon 1936: 296])[5]. В записях Мазона был также найден один случай употребления *ǵe* вместе с *da* для выражения цели: «A mor çarni, mu reçe toj goljëmjo, ne znjëte vije shço pati je: marjëto viçjëshe, vollo revjëshe, toj so grebeneco skokaj ot grjënda vo grjënda gje̱ da m’ubjëse, oveno i kozata tarçej ot rok vo rok da najde litar da m’ubjëse» (‘Эх, бедолага, — сказал ему большой

[5] Перевод А. Мазона: «Cependant qu'ils parlaient, le coq et ses poules gloussaient, et le chien, les voyant, dit au coq: „N'as-tu pas honte, lui dit-il, alors que le maître tombe malade et a du chagrin, de ne faire que jouer avec tes poules?“»

[волк], — вы не знаете, как я страдал: осел ревел, вол мычал, тот, с гребешком, скакал с балки на балку, чтобы меня повесить, баран и коза бегали из угла в угол и искали веревку, чтобы меня повесить’ — [Mazon 1936: 190])[6].

Большинство примеров с *ǵe* в текстах, приводимых Мазоном, интерпретируется достаточно просто (обычно это пространственный или временной шифтер; остальные значения, например, цель, встречаются редко, и их нельзя истолковать однозначно), ср., однако, более сложный случай: «Mu otvorije portata, vljëze natri, mu dade vafto, go pribraje. Mu veli: „Gj’e çupata?“ — „Ja gj’eje, gje pllaçi“» (‘Ему открыли дверь, он вошел внутрь, поприветствовал их, они его. Он им говорит: «Где девушка?» — «Вот она, [ǵe] плачет»’ — [Mazon 1936: 334]). Мазон переводит «La voilà *qui* pleure» (‘Вот она, которая плачет’), по всей вероятности, интерпретируя *ǵe* как комплементарный коннектор (ср. мак. *дека* и греч. *που*). Но из текста, строго говоря, это не следует («Вот она где, — плачет»; «Вот она, сейчас плачет$_{\text{Progr}}$»?[7]). Если рассматривать этот пример изолированно, то может показаться, что общее значение *ǵe* ясно из контекста. Однако в дальнейшем в текстах на кайнас *ǵe* используется в качестве показателя прогрессива с гораздо большей очевидностью. Ср. в письме Констанцы племяннику Сотиру в Париж: «Za tos opet gje ti vela da siësh reat i da iësh para mnogo» (‘Поэтому я опять тебе говорю: не беспокойся и не экономь на питании’ — [Mazon, Bajrova 1965: 70])[8]. Очевидно, что *ǵe* в данном предложении не означает ни ‘где’, ни ‘когда’, ни ‘который’ и вполне надежно интерпретируется как показатель прогрессива (‘Поэтому я опять тебе говорю$_{\text{Progr}}$’).

[6] Отметим, что употребление *da* без *ǵe* было бы достаточно для выражения значения цели. Во французском переводе А. Мазона используется конструкция цели с *pour*: «Eh, malheureux! leur dit le grand loup, vous ne savez pas ce que j’ai souffert: l’ane criait, le bœuf mugissait, l’animal à la crête sautait de solive en solive pour me pendre, le bélier et la chèvre se jetaient d’un coin dans l’autre pour trouver la corde». Отметим, что в принципе возможно и другое толкование приведенного отрывка, когда *ǵe* интерпретируется не как показатель цели, а как локативный маркер, например, если исходить из того, что рассказчик пропустил необходимый по смыслу глагол: «toj so grebeneco skokaj ot grjënda vo grjënda [i iščej] gje da m’ubjëse» («этот, с гребешком, прыгал с балки на балку и искал, где бы меня повесить»).

[7] В последнем случае в албанском переводе использовался бы прогрессив: *Ja ku është*, *po qan*.

[8] Во французском переводе А. Мазон отчасти отражает прогрессивное значение: «C’est pourquoi, je te le dis encore, reste là tranquille, et mange bien» (*encore* ‘еще; опять; вдобавок, кроме того’). Впрочем, здесь *encore*, по всей видимости, переводит *opet* ‘опять’.

Эта интерпретация приведенных примеров так бы и осталась на грани догадки, если бы не наше интервью с Ильо Кунешкой, который прокомментировал свое использование показателя *ǵe*.

При переводе *Ata po këndojnë* ‘Они поют$_{\text{Progr}}$’ Ильо использовал следующую форму: *Tija ǵe pjä sega*, и уточнил: *Toz „ǵe“ esti „po“. „Po“ to albaska esti „ǵe“, „ǵe pjä“. „Tija ǵe jede ljep“. „Tija ǵe pjä“. „Tija ǵe tarče“. <...> „Tashi po pi raki“. „Sega ǵe pijam rakija“. <…> „Tashi po filloj“. „Sega ǵe kinisva“* (‘Это «ǵe» переводится как «po». «Po» по-албански это «ǵe», «ǵe pjä» ‘сейчас поют’. «Они сейчас едят хлеб». «Они сейчас поют». «Они сейчас бегут». «Сейчас я пью ракию». «Сейчас я начинаю»’) Этот показатель он использовал и в других случаях: так, алб. *Tani po pushon*, *por pas ca minutash duhet të esë* ‘Сейчас он/а отдыхает, но через несколько минут ему/ей надо будет идти’ Ильо перевел как *Sega ǵe sjädi, toko za tro minute trjäbi da bara*[9]. *Po gjëmon — Ǵe garmi. Sega ǵe garmi* ‘Гремит гром (алб.); Гремит гром. Сейчас гремит гром (кайнас)’. Эти формы используются также в имперфекте: *Ǵe pišej filadha i dojde čovjäko* ‘Я писал письмо / книгу, и <в это время> этот человек пришел’[10].

В какой мере конструкции с *ǵe* можно считать заимствованием из албанского? Формально *ǵe* + настоящее время в кайнас соответствует *po* + настоящее время в албанском, но *ǵe* и *po* в словарных значениях едва ли являются переводными эквивалентами. Если для *ǵe* развитие семантики, по всей видимости, было следующим: местоименное наречие места > временно́й показатель > прогрессив, то неясно, как это сопоставить с албанским *po*. В современном албанском (различия между корчанским диалектом и литературным языком здесь несущественны) *po* имеет следующие значения: утвердительная частица (‘да’); топик вопроса (*Unë jam nga Shqipëria. Po ti?* ‘Я из Албании. А ты?’); уступка (‘но’); условие (‘если’); прогрессив. По всей видимости, албанский прогрессив сыграл скорее роль катализатора: в связи с развитием двуязычия носители кайнас начали ощущать в своем языке лакуну в системе значений, которая была заполнена при помощи собственных языковых средств.

---

[9] Отметим, впрочем, что албанское предложение с прогрессивом, выраженным деепричастием, *Jam duke vrapuar* ‘Я сейчас бегу’ Ильо перевел как *Esa tarčeničkim* «Esse.1sg + ‘бегать’.Part». В корчанском говоре, как и в литературном албанском языке, используются обе формы прогрессива, с *po* и с деепричастием, см. [ADGJSh], карта 320, вопрос анкеты 131, с. 391. В ответ на наш вопрос он добавил, что это совершенно нормальное предложение, и он вполне мог бы сказать его на кайнас. Однако, в отличие от конструкций с *ǵe*, он не употребил такой формы ни разу.

[10] Все эти примеры сконструированные.

Вопрос о том, насколько конструкции с *ǵe* в значении прогрессива вошли в систему говора, остается открытым. Для ответа на него следовало бы собирать и анализировать примеры из живой повседневной речи, потому что жанр предметного интервью все же накладывает определенные ограничения на речь информатора. Следует учесть, что мы имеем дело с единственным носителем кайнас, владеющим грамматикой в относительно полном объеме. Эльпи Манчо таких конструкций не употребляет (Эльпи и Ильо обычно разговаривают между собой на албанском). Не исключено, что в случае кайнас начала XXI века вообще нельзя говорить о существовании функционального стиля повседневной разговорной речи (который подразумевает наличие как минимум двух говорящих), и, таким образом, вопрос о прогрессиве также останется открытым.

Вторая тема, связанная с инновациями в говоре, — это употребление перфекта по модели «Esse + *л*-форма полнозначного глагола» [Макарцев 2011в].

На южнославянском пространстве выделяются следующие формы перфекта: 1) Esse + *л*-форма полнозначного глагола (болг. *дошъл съм*, *дошъл е*; макед. *дошал сум*, *дошал*; сербск. *дошао сам*, *дошао је*; в македонской грамматической традиции это перфект I; 2) Habere + окаменевшая форма страдательного причастия на *н*/*т* (макед. *имам напишано*, *има напишано*); в македонской грамматической традиции это перфект II; 3) Esse + страдательное причастие на *н*/*т* (макед. *сум дојден* (*-а*, *-о*), *е дојден* (*-а*, *-о*)), в македонской грамматической традиции это перфект III. В македонском литературном языке существуют все три перфектных формы, в то время как болгарский и сербский знают только перфект I[11]. В македонских диалектах прослеживается следующая тенденция: в направлении с северо-востока на юго-запад *л*-формы как морфологические показатели последовательно исчезают (имперфектное *л*-причастие; формообразующее *бил*; вспомогательный глагол ‘быть’ в третьем лице), а там, где они используются, их значения ограничиваются (перфектное; репортативное), см. схему, опубликованную в [Friedman 1988]. По техническим причинам эта схема была опубликована без изоглосс. Изоглоссы носят условный характер:

[11] Болгарские формы «имам написана статия» (‘у меня написана статья’) мы в данном ряду не рассматриваем, поскольку вслед за Р. Ницоловой, К. Мирчевым и Й. Пенчевым считаем их свободными сочетаниями слов, а не грамматикализованными конструкциями [Ницолова 2008: 270]. Т. Бояджиев выделяет формы, построенные по модели «Habere + неизменяемая форма полнозначного глагола на *н*/*т*», в болгарских юго-западных и фракийских говорах [Бояджиев 1968: 460], таким образом, нельзя говорить, что они принадлежат исключительно македонскому.

Комментарий к схеме:

Семантические изоглоссы:

a — *л*-формы вышли из активного употребления и являются языковым архаизмом;

b — *л*-формы — маркированные показатели эпистемического недоверия; появляются формы *има имано*, *има бидено*;

c — появляются формы типа *имаше дојдено*;

Морфологические изоглоссы:

d — полностью исчезает связка в третьем лице *л*-форм;

e — *бил* может использоваться в качестве связки;

f — исчезают *л*-имперфектные формы.

Соответственно, ожидается, что в кайнас не должно быть перфекта I, а *л*-формы должны быть показателем дубитатива (возможно также адмиратива). Действительно, Мазон выделяет в кайнас только формы перфекта II и III (*da spomenvíme dobrineáte tí̄am ščo <u>íme storéno</u> vo sełóto náše*[12] ‘будем вспоминать то благое, что они сделали в нашем селе’; *<u>ésti dójden</u> en çóvek* ‘пришел один человек’ — [Mazon 1936: 89]). Мазон пишет, что *л*-причастие (*participe passé actif*)

[12] У Мазона написание *ll* / *ł* обозначает «твердое» *л* («как в русском языке», МФА: [Ł]).

не используется для образования форм перфекта, а его присутствие в некоторых песнях или свидетельствует о том, что данные песни были заимствованы из других регионов, или является архаизмом. Согласно Мазону, можно также выделить примеры, в которых *л*-формы имеют функции адмиратива (*oh*, *kume*, *tuva si bill!* ‘о, кум, да это ты!’; *ščo si bił júnak* ‘какой храбрец!’; *ščo si biła izgorìăno kaj sarcéto moje!* ‘ты подгорела, как мое сердечко!’[13]; *am ka ne znjëll!* ‘как же это он не знал!’ [Mazon 1936: 92] — отметим, что все они взяты из сказок, где степень клишированности языка ниже, чем в песнях[14]).

Тем более удивительно достаточно большое количество примеров с *л*-формами в претеритном значении, приводимое у Штайнке и Юллы ([Steinke, Ylli 2007: 333–335] — почти семьдесят под заголовком «перфект» и еще 24 под заголовком «ренарратив», притом что количество собранного ими материала при самом грубом подсчете почти в десять раз меньше, чем у Мазона.

Уточняет функции употребления *л*-форм в кайнас М. Куртьяд [Courthiade 1993: 311]: он выделяет значения незасвидетельствованности, адмиративности («со значением, в точности соответствующим албанскому адмиративу») и кондициональности (последнее значение необычно для балканославянских *л*-форм и, по всей видимости, образовано на основе форм типа макед. *би*$_{\text{быть.Subj}}$ *дошо-л-ø*$_{\text{прийти-lpart-Masc}}$, болг. *би-х*$_{\text{быть.Subj.1sg}}$ *дошъ-л-ø*$_{\text{прийти-lpart-Masc}}$ ‘(я) бы пришел’ с пропущенным вспомогательным глаголом). К сожалению, парадигмы *л*-форм в его работе не приводятся, как и новые примеры на перечисленные значения (Куртьяд отмечает, что носители кайнас знают эти формы, но ни разу не употребили их при заполнении его анкеты, поэтому он использует примеры Мазона). К незасвидетельствованности и адмиративности у *л*-форм в кайнас мы еще вернемся.

Если принять во внимание все сказанное о значениях *л*-форм в кайнас и о месте этого островного диалекта в балканославянском диалектном пространстве, возникает закономерный вопрос: откуда у *л*-форм в кайнас появилось перфектное значение?

---

[13] Героя сказки угощают подгоревшей едой, и он произносит эту фразу, чтобы подать знак, что он влюблен в дочку ходжи.

[14] Если исходить из концепции Перри-Лорда, согласно которой народные песни (А. Лорд пишет прежде всего об эпических песнях) каждый раз создаются заново с использованием клише: «Даже в пределах ограниченного материала, использованного в нашем эксперименте (т. е. 12 тысяч строк), четверть всех целых стихов выбранного отрывка и половина полустиший представляют собой формулы» [Лорд 1994: 61]. В то же время, сказки не имеют жесткой ритмической структуры, и поэтому, как и любой пересказываемый прозаический текст, не требуют такого частого использования клише и формул.

Это можно было бы объяснить через «архаичную периферию»: кайнас мог бы быть периферийным ареалом, где *л*-формы сохранили перфектное значение, в то время как инновационные для македонской языковой системы перфект II и III значительно продвинулись на территорию западных и юго-западных македонских говоров, вытеснив или значительно потеснив в них перфект I[15]. Однако, если эти формы являются архаизмом, то следовало бы ожидать, что в 1930-х гг. они бы использовались не менее, а скорее всего, более часто, чем в начале XXI века. Но оказывается, что в 1930-х гг. перфект по такой модели в говоре не выделяется: следовательно, он возник в последние семьдесят лет. Откуда?

Прежде всего отметим, что перфект I используется в речи только одного информанта — Ильо Кунешки. Приведем выборку из наших записей:

*Jaskaj pitaj: „Da oda vo Korča da rabota, čunḱi imam starciti sami“. **Ne sakal'e** da begam od Tirana. Ama togaz sviti l'udi **sakal'e** samo vo Tirana da ode, koga jas sakam da oda tuka vo selo* ‘Я сказал: «Поеду в Корчу работать, потому что там мои старики остались одни». Они не хотели, чтобы я уехал из Тираны. Но тогда все хотели ехать только в Тирану, а я хочу сюда, в село’; *Makinerіete od tekstil' ese dalǵe, poveḱeto ese dalǵe, ese petnajse metri dalgi i taka telka široḱe. Toko taz tiä **ne se možel'e** da se transportojve* ‘Текстильные машины длинные, по бóльшей части длинные, в длину пятнадцать метров и вот настолько широкие. Но их нельзя было перевозить’; *Tienta teknika razbervev. Za tekn̆ični taka, razbervev toz, ne bjä gol'emo. A togaz **sem znal'** podobre ruskiot od dnes, da*. ММ: *A ǵe go učejte, vo Praga?* ИК: *Ne-ne-ne-ne, i vo Praga, nijde **ne sem*** ‘Я немного разбирался в технике. В технических вещах, это было не сложно. А тогда я знал русский лучше, чем сейчас, да. ММ: А где вы его учили, в Праге? ИК: Нет-нет, не в Праге, нигде не учил <специально>’; *Tie svjä ščo bjäje od Iztok, rusite ne i sakaa. Ne ti francite ne i sakat. I tijä **ne sakal'e**. Taka, taka, **ne sakal'e*** ‘Все они, которые были в Восточной Германии, не любили русских. И французов не любили. И они не любили. Так, так, не любили’; *Sija ščo bjejäje tamo, od ministerstvata l'udi, čunḱi mu rekoj, „Ruski da zborvime ili francuski“, tijä ni te francuski **ne sakal'e**. I tijä so sve ščo bjäjme, bjäje OTS, od istok, tijä **ne sakal'e** da mi pomožet. **Ne sakal'e***

[15] О противопоставлении центра и периферии sub specie оппозиции «инновация / архаизм» см. [Толстой 1977/1999]; М. Бартоли писал о том, что периферия обычно более архаична, чем центр [Bartoli 1945], П. Асенова указывает на балканославянские языки, которые находятся на периферии славянского языкового пространства, но при этом включают в себя большое число инноваций; фактически на периферии инновации сосуществуют с архаизмами [Asenova 2012].

da mi dadat makine ‘Все, кто был там, люди из министерств. Потому что я сказал ему: «По-русски будем говорить или по-французски?» А они даже французский не любили. И даже при том, что мы были в ОТС[16], на востоке, они не хотели нам помочь. Не хотели дать мне машины’; *Mu zboruvaj vo italjanski. Malko zboruvam italjanski. Toko tro malo* ***znal’e***, ***znal’e*** *tie italjanski* ‘Я с ним говорил по-итальянски. Я немного говорю по-итальянски. Только они мало знали по-итальянски’; *I tamo i kupi i vo Praga, i vo Berlin, i vo Ungarija,* ***săm kupil*** *mašinerie, i montiraj tua jas, vo Korča.* ‘И там я их купил, и в Праге, и в Берлине, и в Венгрии, я купил машины и монтировал их тут, в Корче’; *Francuskiot ima regula, ima <...> nešta. I za nas francuskiot... ja* ***se počnal*** *vo ǵimnazo francuskiot, ǵimnazio tua vo Korča. Mi mjäše profesori francezi, i* ***sme imali*** *profesori francuzi, i od koga se počnuva od mladi, se uči podobre* ‘Во французском есть правила, есть <…> вещи. И для нас французский… я начал учить французский в гимназии, в гимназии тут, в Корче. У нас были французские преподаватели. Когда начинаешь учить язык с юного возраста, он учится лучше’; *Tamu si kupej mašinerie. Toko vo Čekoslovakia gu mjej l’esno, čunḱi mu* ***săm znal*** *jäzikot* ‘Там я купил машины. Но в Чехословакии это было легко, потому что я знал их язык’; *Sega nemam so kogo da zborva i francuski. Toko francuski jazik* ***ne săm zaboravil’***, *čunḱi vo biblioteka vo Korča, ima ena biblioteka samo so knige, francuske knige. I joz... i sega ne zemam, toko ponapre, i koa rabotaj vo Korča, erkoj mjäsec odaj zemej po tri-četir filađe, knigi, na francuski, samo na francuski jazik. I taka* ***săm čital’*** *jazikot* ‘Сейчас мне не с кем разговаривать и на французском. Но французский я не забыл, потому что в Корче есть библиотека, в которой только французские книги. И я (?)… сейчас я (их) не беру, но раньше <брал>. И когда я работал в Корче, я каждый месяц ходил туда, брал по три-четыре книги на французском. Только на французском. И так я читал на языке’; *Toko nie* ***sme počnal’e*** *da učime... čunḱi i italiansḱi jazik esti blisku so francuski. Tua imejme, četir godini imejme italianci tua. I tija italianciti* ***imal’e*** *mnogo vojska tua, vojski* ‘И вот когда мы начали учить… потому что итальянский язык похож на французский. Здесь у нас итальянцы были четыре года. И у этих итальянцев тут было много войска’; *Ja* ***săm bil’*** *mlad togaz* ‘Я тогда был молодой’; *Ja* ***săm pil’*** *voda* ‘Я пил воду’[17].

---

[16] Ильо произносит это как аббревиатуру [o-t-să]. Когда мы обрабатывали записи, мы не смогли выяснить, что это такое. Албанцы не смогли нам в этом помочь.

[17] Последний пример — изолированный. Большой отрывок из интервью с Ильо Кунешкой, в котором средняя частотность *л*-форм гораздо выше, чем в среднем в речи Ильо, приведен в конце статьи. Всего в

Можно видеть, что *л*-формы в речи Ильо имеют некоторые характерные особенности, отличающие их употребление от описанного Мазоном. Прежде всего, это смягчение согласной *л*. Множественное число *л*-форм (*sakal'e*, *znal'e*) в данном случае не так показательно, потому что перед *е* в говоре *л* смягчается. Однако в единственном числе смягчение возникает в абсолютном конце слова: *sem znal'*, *săm pil'*, *sem imal'*, *ja sakal'*, *ne săm zaboravil'*, *săm čital'* (ср. приводимые Мазоном формы: *zusnáła*, *pomináła*, *teknáło*, *puščiťła*, *si bill*, *si biłł*, *ne znjëll*; в речи Ильо в большинстве случаев в этой позиции *l* мягкий, мы нашли только один пример с твердым *l*: *săm znal*). Затем, это характер гласной основы вспомогательного глагола 'быть': не только *a*/*ă*, как обычно в связке 'быть' в кайнас, но также и *е*[18].

Для объяснения этих особенностей следует обратиться к истории жизни Ильо Кунешки. В 1946–1951 гг. он учился в Праге, в Карловом университете, где выучил чешский язык, на котором говорил свободно. Мог ли повлиять на него чешский язык, в котором существует одна генерализованная форма прошедшего времени? Перечисленные особенности характерны именно для чешского претерита. Если в кайнас есть два вида *л*: [ł] и [l'], то в чешском только одно *л* — «среднеевропейское»; соответственно, если в кайнас исторически в *л*-формах конечный гласный был твердым, то его мягкость в речи Ильо может свидетельствовать об аналогиях с чешским претеритом. Кроме того, гласный основы первого лица вспомогательного глагола *být* в чешском — именно *е* (в речи Ильо гласный основы реализуется чаще всего как *ă*, иногда как *е*).

Второй источник *л*-форм в речи Ильо, по всей видимости, — македонское радио, которое он часто слушает. Ср. частое использование частицы *ќе* вместо *ža* для образования будущего времени; перенос ударения на третий слог от конца вместо второго, ср. *godíni* и *gódini*; аорист на *-v* вместо *-j*. Ильо известно, что в македонском повествовательном фольклоре и стилизациях под него в основном используются *л*-формы. В подготовленной нами анкете, основанной на вопроснике МДАБЯ, было следующее предложение для перевода с албанского на кайнас: *Natën e morën nga shtëpia dhe e sollën tek kadiu* 'Ночью ее забрали из дома и отвели к кадии'[19]. Услышав архаизм «кадия», Ильо истолковал эту фразу

расшифрованных на настоящий момент фрагментах интервью с Ильо (свободный рассказ об истории жизни; 3 200 слов) было найдено 33 *л*-формы.

[18] О вспомогательном глаголе мы еще будем говорить в связи с парадигмами *л*-форм в адмиративной функции.

[19] См. [Соболев 1997: 61, № 5].

как отрывок сказки и перевел ее на кайнас со следующим комментарием: *Nojčata jo zvjäje od kaščata i jo zavedoje u kadijata. Vo sjăz jaziciti blizko tua vel'e „jo* ***zemal'e***“, *toko nie velime „jo zvjäje“, vel'ime nie vo Boboshtica* ‘Ночью ее забрали из дома и отвели к кадии. В языках, на которых говорят неподалеку, говорят «jo zemal'e», а мы в Бобоштице говорим «jo zvjäje»’.

Косвенным подтверждением тому, что описанное использование *л*-форм является особенностью идиолекта Ильо, может служить тот факт, что в речи других носителей не зарегистрировано ни одной такой формы, в то время как перфект типа *imam*$_{\text{иметь.1sg}}$ *bandjä-n-o*$_{\text{быть-n/tpart-Neut}}$ ‘я был’ (ср. лит. макед. перфект II *имам бидено* ‘то же’) и (*j*)*esa*$_{\text{быть.1sg}}$ *dojde-n*$_{\text{прийти-n/tpart}}$ ‘я пришел’ (ср. лит. макед. перфект III *сум дојден* ‘то же’) употребляются свободно. Отсюда их использование в контекстах, которые требуют аориста / имперфекта или перфекта (кайнас: *bjäj*$_{\text{быть.Impf}}$ или *imam bandjäno* ‘я был’), а также в контекстах, которые К. Штайнке и Дж. Юллы называют ренарративом. Мы считаем, что в идиолекте Ильо перфект I приобрел статус немаркированного претерита — как в чешском языке. Поэтому он может употребляться вместо аориста / имперфекта или перфекта, при том что последние формы не теряют своего значения и не смешиваются друг с другом. «Перфект на -*л*» — на самом деле не перфект, а генерализованное прошлое[20], употребленное под чешским влиянием[21] в контексте, который требует перфекта.

Не исключено, что функции описанных форм в идиолекте Ильо Кунешки несколько сложнее, чем только «генерализованное прошлое». В частности, обращает на себя внимание, что глагол *saka* ‘хотеть’ в претеритных контекстах имеет только форму *sakal'e*, а форм аориста / имперфекта у этого глагола в нашем материале не зареги-

[20] Термин «генерализованное прошлое» (generalized past) используется Р. Александер [Alexander 2001] в описании болгарских *л*-форм, которые могут выступать и как перфект, и как показатели косвенной эвиденциальности (несвидетельские формы / пересказывательные формы / конклюзив). Этот термин позволяет описывать их как максимально немаркированную категорию, которая передает те или иные значения в зависимости от контекста.

[21] Ильо также читает по-словацки (с опорой на чешский) и по-русски (он выучил его самостоятельно) — то есть на языках, где *л*-формы также используются в функции генерализованного прошлого. Впрочем, едва ли влияние этих языков может проявляться в его речи: он владеет ими пассивно, никогда не говорил на них, и кроме того, его знакомство с ними ограничено технической литературой.

стрировано. Возможно, Ильо не умеет образовывать аорист / имперфект от этого глагола[22]. Можно попробовать выделить ряд значений «перфекта I» («рамка»[23], статальный перфект, действие, предшествующее точке референции в прошлом[24], однократное действие в прошлом[25], повторяющееся действие в прошлом[26]), но несложно убедиться, что те же самые значения можно выделить или у перфекта II и III, или у аориста, или у имперфекта, а у «перфекта I» не остается собственного значения, которое бы отличало его от всех остальных форм. Поэтому мы бы назвали «перфект I» в функции претерита внесистемной гетерогенной формой: на уже имеющиеся в системе *л*-формы были распространены чешские правила употребления, возможно, что некоторое влияние оказали также *л*-формы в стандартном македонском языке.

Помимо функции немаркированного претерита, *л*-формы могут выражать значения, обычно связываемые с албанским «адмиративом» (*mënyra habitore* — [Courthiade 1993]): их основное значение — выражение эмоций говорящего (не обязательно удивление), сомнение. Эвиденциальное значение может встречаться в кайнас только как производное от контекста, как и в албанском. Это совпадает с отмеченной В. Фридманом тенденцией к ограничению значений *л*-форм в македонских диалектах при движении с северо-востока на юго-запад. В то же время, структура *л*-форм в кайнас, бесспорно, инновационная, ср. спряжение адмиративного перфекта (мы попросили Ильо перевести на кайнас албанскую конструкцию *Unë paskam marrë paratë* ‘Это я-то взял деньги?!’) и проспрягать ее:

jäskaj imal zviäto	*nie imalme* / *imalo zviäto*
ti imal zviäto	*vie imalte* / *imalo zviäto*
toj imal zviäto	*tie imalo zviäto*

[22] Ср. предложение *I brat i imjäše završeno, i jas saka da oda da nauča* ‘И мой брат закончил их, и я хотел поехать, чтобы научиться’, в котором вместо ожидаемой формы +*sakaj* использована «чистая» основа.

[23] То, что Р. Ницолова описывает как одну из основных функций (болгарского) перфекта: «время, которое используется для передачи обобщений, выводов, констатаций, то есть во всех тех случаях, когда речь идет не о конкретном протекании процессов, а только о фактах» [Ницолова 2008: 295].

[24] Т. е. значение, которое в болгарском и македонском передается плюсквамперфектом.

[25] Т. е. то же значение, что и у аориста в кайнас.

[26] Т. е. то же значение, что и у имперфекта в кайнас.

Отметим, что в принципе здесь возможны расхождения со спонтанной речью, но, к сожалению, как уже было сказано, у нас не было другой возможности быстро получить языковой материал по редко используемым категориям. (Ад)миратив[27] в кайнас является именно редкой категорией: в расшифрованном нами до сих пор материале *л*-формы в (ад)миративном значении встречаются исключительно редко, до сих пор в спонтанной речи была зарегистрирована всего одна такая форма: *Mnogo masno go naučil*, *pa ti esi boboshtjenin bre!* ‘Ты очень хорошо это выучил, да ты вообще бобоштенец!’.

В приведенной выше парадигме связка не употребляется. В то же время, Ильо может образовывать и (ад)миративные формы со связкой ‘быть’ в настоящем времени или имперфекте / аористе. Например, албанское предложение *O*, *qenke njeri i pasur!* ‘О, а ты богатый человек!’ (подчеркнутая форма — (ад)миратив) Ильо перевел двумя способами:

1. (‘быть’$_{\text{Aor/Impf}}$ + *л*-форма)

O,	*ti*	*bɪä*	*bi-l-ø*	*čovjek*	*zenǵin!*
О	ты	быть$_{\text{Impf/Aor}}$	быть$_{\text{l-part-Masc}}$	человек	богатый

2. (‘быть’$_{\text{Praes}}$ + *л*-форма)

O,	*ti*	*si*	*bi-l-ø*	*zenǵin!*
О	ты	быть$_{\text{2sg}}$	быть$_{\text{lpart-Masc}}$	богатый

Судя по всему, конструкция типа ‘быть’$_{\text{Aor/Impf}}$ + *л*-форма возможна только для настоящего времени, в то время, как ‘быть’$_{\text{Praes}}$ + *л*-форма могут использоваться как в настоящем, так и прошедшем[28].

---

[27] Так С. Дилэнси [DeLancey 2007] предложил изменить термин *admirative*, предложенный еще О. Дозоном, совершенно справедливо утверждая, что с *admiration* ‘восхищение’ у этой категории мало общего, а скорее имеет смысл говорить о выражении непосредственной реакции говорящего на новую для него информацию — *unprepared mind* ‘неподготовленность’.

[28] По словам Ильо, фразы *O*, *šo*$_{\text{как}}$ *dobre*$_{\text{хорошо}}$ *bɪä*$_{\text{быть.Impf/Aor.2/3Sg}}$ *bi-l-o*$_{\text{быть-lpart.Neut}}$! (‘быть’$_{\text{Aor/Impf}}$ + *л*-форма) ‘Как же хорошо!’ и *šo*$_{\text{как}}$ *dobre*$_{\text{хорошо}}$ *bi-l-o*$_{\text{быть-lpart.Neut}}$! являются синонимическими. В то же время, албанское предложение *O*, *ti*$_{\text{ты}}$ *pas-ke*$_{\text{иметь.Part-иметь.2sg}}$ *qenë*$_{\text{быть.Part}}$ *i-pasur*$_{\text{Masc-богатый}}$! ‘О, да ты богат!’ может иметь несколько переводов в кайнас — *O*, *ti*$_{\text{ты}}$ *esi*$_{\text{быть-2sg}}$ *bande-n*$_{\text{быть-Part}}$ *zenǵin*$_{\text{богатый}}$*!* (‘быть’$_{\text{Praes}}$ + причастие на *-н* в ср. р.); *O*, *ti*$_{\text{ты}}$ *si*$_{\text{быть-2sg}}$ *bi-l-ø*$_{\text{быть-lpart-Masc}}$ *zenǵin*$_{\text{богатый!}}$ (‘быть’$_{\text{Praes}}$ + *л*-форма); *O*, *ti bɪä bande-n*$_{\text{быть-Part}}$ *zenǵin*$_{\text{богатый}}$*!* (‘быть’$_{\text{Aor/Impf}}$ + причастие на *-н* в ср. р.), но не **O*, *ti*$_{\text{ты}}$ *bɪä*$_{\text{быть.Impf.2/3Sg}}$ *bi-l-ø*$_{\text{быть-lpart-Masc}}$ *zenǵin*$_{\text{богатый!}}$

Отметим, что в парадигме (ад)миратива, в отличие от «генерализованного прошлого», связка опускается во всех трех лицах. По структуре эта парадигма исключительно интересна: во множественном числе допускается синонимическое употребление двух конструкций. Первая из них включает вспомогательный глагол ‘иметь’ в форме среднего рода (*imalo*). Во второй из них мы имеем дело со связкой, переосмысленной в качестве глагольного окончания. Соблазнительно усмотреть здесь следование албанской модели: *pas-kemi marrë = imal-me zvjäto*; *pas-keni marrë = imal-te zvjäto*, тем более что в этой форме причастие в кайнас, как и в албанском, имеет усеченную форму (отброшено окончание рода и числа). Укажем, что по окончанию (*-me*, *-te*) мы не можем определить, идет ли речь о сокращенной форме глагола ‘быть’ или ‘иметь’ (*esme* / *imame? este* / *imate?*), но скорее всего это был глагол ‘быть’. Нам не известны балканославянские диалекты, где бы *л*-формы имели вспомогательный глагол ‘иметь’; его пропуск в третьем лице также свидетельствует в пользу глагола ‘быть’ — глагол ‘иметь’ присутствовал бы во всех трех лицах. Из этого следует, что если мы примем албанское влияние в качестве решающего для образования данной формы, то албанский (ад) миратив скорее играл роль катализатора, чем источника кальки: форма образована из собственного материала говора.

Каковым бы ни был источник этих форм, типологически это сближает кайнас с другими славянскими языками и диалектами, причем достаточно удаленными, резко противопоставляя его соседним южнославянским языкам и диалектам. Спрягаемые формы *л*-причастия появились в польском языке. Исчезновение связки во всех лицах произошло в восточнославянских языках (прошедшее время в русском, украинском и белорусском). Исключительно интересный материал для сравнения с кайнас дает полабский язык, оказавшийся в похожих социолингвистических условиях в середине XVIII в. В нем одним из наиболее употребимых времен был «претерит» (*l*-формы), в котором обычно опускалась связка: *joz krodāl* ‘я крал’, *tåi krodāl* ‘ты крал’, *vǫ̊n sḿól-sə* ‘он смеялся’[29] [Lehr-Spławiński 1929: 233].

Уникальные особенности, которые кайнас развил под иноязычным влиянием, свидетельствуют и о пластичности языковой системы идиома, находящегося под угрозой исчезновения. Конечно, по внеязыковым причинам наш анализ языковой системы основан всего на одном идиолекте, но не с изменений на идиолектном ли уровне начинается изменение всей языковой системы?

---

[29] И, отметим, под влиянием немецкого возникла особая форма перфекта с «иметь»: (*vǫ̊n*) *mo vǫ̊ijədǫ̊nə* ‘он съел’ [Lehr-Spławiński 1929: 235].

Приложение. Образец речи Ильо Кунешки

Se odeše vo gimnazium vo Korča. <…> Vo Lise franse. Taka odaj jeskaj, počnaj da odam. Po nodze odejme. I se varnejme večerta. Kata den.	<Люди> ходили в гимназию в Корче. Во Французский лицей. Так я ходил, начал ходить. Мы пешком ходили. И возвращались вечером. Каждый день.
MM: *Kolko sati odajte tamo?* IK: Nekoj sat i četiriese minuti. Da-da, se odi do Korča, po noze i da se varniš. Taka **sme se odeli**, i sos e čudno, da go pišite ako se moži, šo od drugite sela ne odea da uče vo gimnazium vo Korča. Boboščjäni odäje.	MM: Сколько времени занимала дорога? ИК: Около часа сорока минут. Да-да, пешком идешь в Корчу и возвращаешься. Так мы ходили, и это интересно, напишите, если можно, что из других сел не ходили учиться в гимназию в Корче. Бобоштенцы ходили.
MM: *Žošo od drugite sela ne odäje?* IK: Žošo **ne sakale** da se uče. I toa se počna od brat mi. Brat mi beše trinajset godini pogol'em od mene. I toj se taka počna, po nodze se odješe i po noze se vărneše. I togaz se odeše na utrinata, od na osam sato do dvanajse, posl'e od na dva, dur na četiri. Po četir sato nie <…> nojčata, zimata esti nojča goljäma. Rekojme za sneg, tashi ima mnogo vo Moskva, tuku i tua snjäg nekoj den odi taka. I pato ne mjäše mnogo automobili šo da pomine. Pato ne mjäše ni eden automobil'. Da baraš vo sneg dur tua, po nodze taka. Taka **sme počneli** da odime. Devet godini bje Liseto franse. Od tuka odej vo Korča, toko posl'e jas počna so bičikl'eta sen'e. Nekoj tri godine so noge, so nodze <…>.	MM: Почему не ходили люди из других сел? ИК: Потому что они не любили учиться. А это (интерес бобоштенцев к образованию. — *М. М.*) началось с моего брата. Он был на тринадцать лет старше меня. И он вот так начал, пешком ходить. Тогда мы ходили утром, с восьми до двенадцати, потом с двух часов и до четырех. После четырех часов мы <…> ночью, зимой ночь длинная. Мы говорили о снеге, сейчас его много в Москве, но и тут снег иногда выпадает в таком количестве. И на дороге не было много автомобилей, которые бы ездили. Ни одного автомобиля не было на дороге. Идешь в снегу прямо досюда, пешком. Так мы начали ходить. <Обучение> во Французском лицее занимало девять лет. Отсюда я ходил до Корчи, а потом начал ездить на велосипеде. Около трех лет: пешком, пешком <…>
MM: *A so bičikl'eta kolku vreme?* IK: Dur bitisa, dur od devet godini.	MM: А на велосипеде сколько времени? ИК: Пока не закончилось, девять лет.

MM: *Kolku sata so bičikl'eta?* IK: Za odenje? Trieset i pjet minuti, i za varnatje se trjäbjäše poveḱe. Čunḱi esti mnogo nagore da se <…>iš. Koga odiš dolu. Taka **sme počnali** da odime vo Korča. I od Boboštica **učel'e** mnogo, i druǵe sela ese poblisku od Boboštica za vo Korça, i od Drenova ode da uče, toko bjäje ni polovinata od boboštjäni šo odäje da uče vo Korča. Pomalo. Koga druǵete sela, šo ese ovkolu Korça, **ne odel'e** ič vo škol'e <… > da uče, ne odea, ne. Koga nie **sme sakali** učenjeto, pravinata e toa.	MM: Сколько часов на велосипеде? ИК: Ехать? Тридцать пять минут, а на возвращение нужно было больше. Потому что надо ехать в гору. Когда едешь вниз. Так мы начали ездить в Корчу. И из Бобоштицы учились многие, другие села находятся ближе к Корче, чем Бобоштица, и из Дреновы ходили учиться, но их там училось более чем в два раза меньше, чем бобоштенцев. Меньше. А из других сел, которые вокруг Корчи, вовсе не ходили учиться. А мы любили учиться, что правда, то правда.
MM: *Pse ju deshit të shkoni të mësoni atje në Pragë?* IK: Atëherë mbaroi lufta. Bitisa vojnata. I jas **sem imal'** završeno gimnazium. I ja **sakal'** da oda vo visoka škol'a.	MM (по-албански): Почему Вы решили уехать учиться в Прагу? ИК (по-албански): Тогда закончилась война. (по-македонски) Закончилась война. И я закончил гимназию. И хотел попасть в университет.
MM: *Vo Albanija ne mjäše?* IK: Ne mjäše visoka škola tua vo Albanija. <Kače> i brat i imjäše završeno, i jas saka da oda da nauča.	MM: В Албании тогда не было университета? ИК: Нет, в Албании не было университета. Так что и мой брат закончил, и я хотел поехать учиться.
MM: *A toj? Isto taka vo Praga imjäše završeno?* IK: Ne, toj vo Paris, vo Francko, vo Paris. Pred vojnata toj, bjä trinajse godine bjä goljäm od mjene. Toj bjä završen od koga… I taka, bjä komunizmo i **sakal'e** koj saka da odi da uči. <…> I taka me tija, od carščinata, me pušči mene da otida vo Praga da uča za mekanika. Dobro. Jäskaj otidoj vo Praga. Pjät godine.	MM: А он? Он тоже закончил университет в Праге? ИК: Нет, он учился в Париже, во Франции. Еще до войны, он был на тринадцать лет старше меня. Он закончил еще когда… И вот, был коммунизм и захотели… кто хочет отправиться учиться. <…> И вот, они меня, от государства меня отправили в Прагу учить механику. Хорошо. Поехал я в Прагу. Пять лет.
MM: *Kako odajte do Praga?* IK: Beše vednaš na četiriest i šesta godina, vednaš koga završi vojnata. **Počnal'e**… trebjäše da si odime vo Praga, da befme od vo septemvri, toko nie **ne sme možel'e**. Počnavme da odime vo Čer… Montenegro, tuka. Čekajme tamo nekoj dva-tri novi. Posl'e otidojme vo Sarajevo.	MM: Как Вы ехали до Праги? ИК: Было это в сорок шестом году, сразу после войны. Начали… надо было отправиться в Прагу, чтобы мы были там с сентября, но мы не смогли. Поехали в Черногорию, тут. Подождали там около двух-трех дней. Потом отправились в Сараево.

Литература

Антонова-Василева 2011 — *Антонова-Василева Л.* Документи на езика на с. Бобощица, Корчанско (Р. Албания) // Македонски преглед. Списание за наука, литература и обществен живот. Год. XXXIV. 2011. Кн. 3. София, 2011. С. 113–124.

Асенова 2007 — *Асенова П.* Бележки върху българските говори в Албания // Българските острови на Балканите. София, 2007. С. 45–51.

Бояджиев 1968 — *Бояджиев Т.* Аналитични форми с глагола *имам* в тракийските говори // Известия на Института за български език. Кн. 16. София, 1968.

Видоески 1981 — *Видоески Б.* Бобошчица // Fonološki opisi srpskohrvatskih / hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora, obuhvaćenih opšteslovenskim lingvističkim atlasom. Sarajevo, 1981. S. 753–761.

Лорд 1994 — *Лорд А.* Сказитель. М., 1994.

Макарцев 2011а — *Макарцев М. М.* Образы России и Европы у славян Бобоштицы (область Корчи, Албания) // К. В. Никифоров, И. А. Седакова (ред.). Образ России на Балканах: Мифологемы, идеологемы, религиозные, исторические и культурные связи. Доклады российских ученых к научному коллоквиуму Международной ассоциации по изучению стран Юго-Восточной Европы (Варшава, 7–9 ноября 2011 г.). М., 2011. С. 58–69.

Макарцев 2011б — Проблема идентичности и система ценностей у носителей славянского говора in statu moriendi // Эволюция ценностей в языках и культурах / Отв. ред. И. А. Седакова. М., 2011. С. 151–168.

Макарцев 2011в — *Макарцев М. М.* К вопросу об *л*-формах в славянском говоре Бобоштицы, обл. Корчи, Албания // Acta Linguistica Petropolitana. Т. 7. Ч. 3 / Отв. ред. Н. Н. Казанский, Д. В. Герасимов. (Труды Института лингвистических исследований РАН. Т. VII. Ч. 3). СПб., 2011. С. 360–365.

Макарцев (в печати) — *Макарцев М. М.* Система личных местоимений в славянском говоре с. Бобоштицы (округ Корчи, Албания) // Исследования по славянской диалектологии. М. (в печати).

Марковиќ 2007 — *Марковиќ М.* Ароманскиот и македонскиот говор од охридско-струшкиот регион во балкански контекст. Скопје, 2007.

МДАБЯ — *Соболев А. Н.*, *Воронина И. И.*, *Лопашов Ю. А.*, *Русаков А. Ю.* Малый диалектологический атлас балканских языков. Синтаксическая программа. СПб., 1997.

Милетич 1937а — *Милетич Л.* Нови сведения за македонските българи в Бобощица (Корчанско) и техният език // Македонски преглед. X. № 3 и 4. 1937. С. 19–32.

Милетич 1937б — *Милетич Л.* Образци от говора на с. Бобощица (Корчанско) // Македонски преглед. X. № 3 и 4. 1937.

Милетич 1937в — *Милетич Л.* Най-старинният днес български говор е в Македония // Македонски преглед. XI. № 1 и 2. 1937.

Ницолова 2008 — *Ницолова Р.* Българска граматика. Морфология. София, 2008.

ОЛА 1994 — Общеславянский лингвистический атлас. Вступительный выпуск: Общие принципы. Справочные материалы. М., 1994.

Селищев 1931/1981 — *Селищев А. М.* Славянское население в Албании. София, 1931. (Репринт: 1981).

Снегаров 1933 — *Снегаров И.* Един важен български документ от Корчанско // Македонски преглед. IX. № 1. 1933. С. 1–16.

Спасов 2001 — *Спасов Љ.* Говорот на Бобошт(шч)ица денес (врз основа на нов снимен материал) // XXVII Научна Конференција на XXXIII меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура. Скопје, 2001. С. 227–231.

Толстой 1977/1999 — *Толстой Н. И.* О соотношении центрального и маргинальных ареалов в современной Славии // Н. И. Толстой. Избранные труды. Т. II. Очерки по славянскому языкознанию. М., 1999. С. 10–30.

Шклифов 1971 — *Шклифов Б.* Общността на говора на село Бобошчица с костурския говор // Български език. XXI. № 1. 1971. С. 71–73.

ADGJSh — Atlasi dialektologjik i gjuhës shqipe / B. Beci, Gj. Shkurtaj, Xh. Gosturani; Bashkëpunuan A. Dodi, M. Totoni; Drejt. J. Gjinari. Vëll. 1–2. Napoli, 2007–2008.

Asenova 2012 — *Asenova P.* Balkan borderline phenomena through the prism of areal linguistics // Zeitschrift für Balkanistik. IIL. № 2. 2012. P. 149–157.

Bartoli 1945 — *Bartoli M.* Saggi di linguistica spaziale. Torino, 1945.

Courthiade 1988 — *Courthiade M.* Les derniers vestiges du parler slave de Boboščica et Drenovene (Albanie) // Revue des études slaves. LX. № 1. 1988. P. 139–157.

Courthiade 1993 — *Courthiade M.* Un parler slave singulier: le „kajnas“ d'Albanie orientale // Balcanica Posnaniensia. Acta et studia. VI. 1993. P. 237–326.

DeLancey 2001 — *DeLancey S.* The mirative and evidentiality // Journal of pragmatics. № 33. 2001. P. 369–382.

Dhamko 2010 — *Dhamko S.* Th. Boboshtica. Historie. (Një variant). Boboshtica, 2010 (рукопись).

Djamo-Diaconiţa L. Contributions à l'étude du lexique d'un patois slave d'Albanie (Boboscica et Drenovjâne) // Romanoslavica. 16. 1968. P. 175–192.

Djamo-Diaconiţa L. Formarea cuvintelor în graiul slav din Boboştiţa // Македонски јазик. 32–33. 1982. С. 215–225.

Friedman 1988 — *Friedman V. A.* Morphological innovation and semantic shift in Macedonian // Zeitschrift für Balkanologie. Band 24/1. P. 34–41.

Friedman 2006 — *Friedman V. A.* Balkans as a Linguistic Area // K. Brown (ed.). Encyclopedia of Language & Linguistics. Vol. 1. Oxford, 2006. P. 657–672.

Lehr-Spławiński 1929 — *Lehr-Spławiński T.* Gramatyka połabska. Lwów, 1929.

Mazon 1936 — *Mazon A.* Documents, contes et chansons slaves de l'Albanie du Sud. Paris, 1936. (Bibliothèque d'études Balkaniques — V).

Mazon, Bajrova 1965 — *Mazon A.*, *Filipova-Bajrova M.* Documents slaves de l'Albanie du sud. II. Pièces complémentaires. Paris, 1965. (Bibliothèque d'études Balkaniques — VIII).

Šrámek 1934 — *Šrámek E.* Le parler de Boboscica en Albanie:étude expérimentale d'une prononciation // Revue des études slaves. XL. № 3–4. 1934. P. 171–203.

Steinke, Ylli 2007 — *Steinke Kl.*, *Ylli Xh.* Die Slavischen Minderheiten in Albanien (SMA). Teil 1. Münich, 2007.

С. А. Мызников

Лексика финно-угорского происхождения в восточнославянских атласах

Работа над «Лексическим атласом русских народных говоров» (пробный выпуск вышел в 2004 г.) показывает, что в настоящее время лингвогеографические исследования в России интенсифицировались. Это стало возможным во многом благодаря тому, что в большинстве российских регионов завершилось накопление диалектных данных и описание их в региональных словарях.

Проектом, оказавшим влияние на развитие российской лингвогеографии второй половины XX века, был «Диалектологический атлас русского языка» [ДАРЯ], задуманный Р. И. Аванесовым в составе 11 томов. Однако был издан только «Атлас русских народных говоров центральных областей к востоку от Москвы» [АРНГЦВ 1957], позднее планы были скорректированы и число томов было уменьшено: «Атлас русских народных говоров центральных областей к западу от Москвы», «Атлас русских народных говоров юго-западных областей РСФСР», «Атлас русских народных говоров центральных областей к северу от Москвы», «Атлас русских народных говоров юго-восточных областей РСФСР», однако к печати были подготовлены следующие тома: «Атлас русских говоров северо-западных областей РСФСР» (под редакцией В. И. Борковского, С. С. Высотского), «Атлас русских говоров центральных областей к западу от Москвы» (под редакцией Р. И. Аванесова), «Атлас русских говоров центральных областей к северу от Москвы» (под редакцией О. Н. Мораховской, Т. Ю. Строгановой), «Атлас русских говоров центральных областей к югу от Москвы» (под редакцией В. Г. Орловой) [ДАРЯ 1: 10–13]. Следует отметить, что программы многих русских региональных атласов или базируются на Программе ДАРЯ, или используют ее опыт.

Созданы региональные лексические атласы, материалы которых относятся к Северо-Западу России — зоне интенсивных финно-

---

Сергей Алексеевич Мызников,
Институт лингвистических исследований РАН (Санкт-Петербург)

угорских и севернорусских языковых контактов. Кроме того, изданы некоторые тома общеязыковых и региональных атласов восточнославянских языков. Восточнославянские данные представлены и в «Общеславянском лингвистическом атласе» [ОЛА].

На основании имеющихся материалов можно провести системный анализ атласов. Особенно важно сопоставить славянские и финно-угорские атласы, где представлены лексические данные контактных территорий. Это поможет в интерпретации русской лексики финно-угорского происхождения.

Материалы русских атласов могут быть сопоставлены с «Лингвистическим атласом прибалтийско-финских языков» [Atlas Linguarum Fennikarum — Itämerensuomalainen kielikartasto, далее ALF], 1-й т. — 2004 г. (карты 1–107), 2-й — 2007 г. (карты 108–207), 3-й — 2010 г. (карты 208–298). При несопоставимости объема вопросников (3454 вопроса в ОЛА и 317 вопросов в ALF [Kyselysarja]) и карт-основ, базирующихся на разных принципах (853 населенных пункта в ОЛА и церковные приходы в ALF), имеются карты, материалы которых манифестируют тождественные вопросы. Кроме того, для сопоставительного анализа прибалтийско-финских и саамских данных следует использовать «Сопоставительно-ономасиологический словарь диалектов карельского, вепсского и саамского языков» [СОСД], в котором представлены лексемы, соответствующие 1500 семемам, в различных диалектах — 24 карельских, 6 вепсских и 5 саамских. Словарь, иллюстрируя многообразие разных лексических способов выражения понятий, показывает сходства и различия сопоставляемых языков и диалектов. Так, например, значение ‘ящерица’ выражается следующими лексемами: кар. *čičiliušku*, *čid'ziliuško*, *čid'ziliušku*, люд. *čid'ziliusku*, сев. кар. *šid'ziliuška*, вепс. *šižĺik*, саам. *čeičli*, фин. *sisiliskö* [СОСД: 68]. Эти данные сопоставимы с материалами ОЛА [Вып. 1, Животный мир 1988], где на карте № 30 приводятся лексемы прибалтийско-финского происхождения: слово *жижлик* отмечено в н. п. № 552 Ладва Прионежского р-на, № 550 Усланка, № 551 Плотично Подпорожского р-на, № 568 Замошье Вытегорского р-на, № 569 Гаврилово Каргопольского р-на; *жижлика* в н. п. № 534 Тамица Онежского р-на. По нашим данным, подтверждаемым материалами КСРГК, в Вытегорском и Подпорожском р-нах фиксируется вариант *шижлик*. Эта лексема является вепсским заимствованием (см. выше).

Для осмысления и обобщения восточнославянских данных очень важен труд «Восточнославянские изоглоссы». Весьма основательна, например, статья «Названия орудия для ручной молотьбы и его деревянных частей» [ВСИ 4: 146–158], в которой даются три карты:

«Названия орудия для ручного обмолота», «Названия ручки цепа», «Названия бьющей части цепа». Для некоторых слов, фиксирующихся только в русских говорах, можно предложить этимологические версии, квалифицирующие их как заимствования. Так, например, лексемы *кадка*, *кадце* ‘ручка цепа’ М. Фасмер считает исконными и предполагает, что старшее значение для них ‘паз на конце держака, через который проходит ремень’ [Фасмер 2: 157], что повторяется в [ЭССЯ 9: 113]. На наш взгляд, это вряд ли достоверно. Ср., например: *ка́ча* ‘рукоятка цепа’ Няндом., Каргоп. Арх. [ПЛГО]; *ка́ця* ‘то же’ Каргоп. Арх. [ПЛГО]; *ка́ца* ‘ручка цепа’ Каргоп. (р. Онега, Лекшма, Ряговская вол., Кенозеро), Пудож. (Купецкое оз., Корбозеро) [Куликовский: 35]; Вельск. Арх. [СРНГ 13: 140]; *ка́тца* ‘рукоятка умолотила’ Шенк. Арх. [Опыт]; ‘рукоять у молотила’ Шенк. [Подвысоцкий: 64], которые, вероятно, восходят к прибалтийско-финскому *käsi* ‘рука’, *kättö* ‘рукоятка’ [SKES: 263], при морд. эрз. *каця* ‘ручка цепа’ [ЭРС: 241].

Проблема, решение которой определяет будущее любого атласа, — это разработка вопросника. Среди многих известных вопросников наиболее значительный был создан для «Лексического атласа русских народных говоров» под руководством И. А. Попова. Это «Программа для собирания сведений для ЛАРНГ», в которой представлен 5821 вопрос по 22 темам, в том числе: «Природа» — 682; «Человек» (анатомические названия) — 109; «Физические особенности человека, социальные отношения» — 231; «Народная медицина» — 150; «Семья» — 274; «Народная духовная культура» — 509; «Трудовая деятельность» — 1287; «Крестьянское жилище» — 681; «Домашняя утварь» — 163; «Крестьянская одежда, обувь» — 229; «Питание» — 250; «Сухопутные пути сообщения, средства передвижения» — 183; «Водный транспорт» — 103; «Другие актуальные тематические группы» — 174; Список слов для проверки их значений и географии — 796. Сетка обследования насчитывает 1064 населенных пункта. Таким образом, предполагаемое количество лексем, которые можно получить, собирая ответы на вопросы ЛАРНГ, огромно: 1064×5821 = 6 193 544. Наличие такого обширного вопросника уже на начальных этапах собирательской работы позволило значительно расширить знания о лексическом составе русских народных говоров. Было зафиксировано немалое число слов, не известных ранее, в том числе заимствований, ср. например: *тау́к* ‘петух’ Нижнекам. Казан. [ПЛГО], при общетюрк. *тавык* ‘курица’, татар. *тавык* ‘курица’, башк. *тауык* ‘курица’ [Садыкова: 42], *у́жбега* ‘иней’ Сегеж. (Дуброво) Карел. [ПЛГО], при кар. сев. *usva*, *ušva*, *užva* ‘иней’, ‘очень легкий сухой снег’, ‘туман’ [SKES: 1555], ливв. *udžu*, *udžve* ‘иней, изморозь’, ‘инистая мгла’ [СКЯМ: 402], кар. твер. *užva* ‘иней’ [СКЯП: 320], люд.

udžve ‘иней’, при саам. норв. *osve* ‘мокрый, липкий снег’, фин. *usva* ‘туман, густой туман’, ‘толстый слой инея’ [SKES: 1554, 1555].

В региональных атласах лексике неисконного происхождения обычно уделяется особое внимание как при разработке картографической концепции, так и при презентации на страницах атласа. Однако в имеющихся диалектных региональных атласах нередко лексических карт очень мало. Так, например, в «Лингвистическом атласе района озера Селигер» [ЛАРОС] представлено 45 карт, при этом 5 из них посвящено произношению отдельных слов (№ 5 «Еще», № 6 «Деревня», № 7 «Теперь», № 8 «Его», № 19 «Что»), и лишь 15 карт представляют собственно лексику (№ 31–45).

П. Н. Лизанец предлагает программу-вопросник для сбора материала к «Атласу венгерских заимствований в украинских говорах Закарпатья». Программа включает в себя около 4000 вопросов, организованных в 29 тематических групп, причем автор на начальном этапе работы предполагал исследовать как украинские, так и венгерские говоры, с тем чтобы более дифференцированно выявлять заимствования [Лизанец 1975а: 638]. Территория обследования является весьма узкой (сетка насчитывает всего 36 населенных пунктов), за счет чего автор мог позволить себе работу по такому значительному количеству вопросов и составление многочисленных карт [Лизанец 1992].

Весьма специфический объект анализа — субстратный лингвистический ландшафт. Одним из методов изучения лексического субстрата может быть полное лингвогеографическое обследование контактного региона. О его значимости неоднократно говорилось в работах, посвященных субстратной и заимствованной финно-угорской лексике в севернорусских говорах. Такое обследование планировалось осуществить, ориентируясь на унгаризмы в украинских говорах Карпатского ареала [Лизанец 1975: 177–186].

Следует отметить, что опыт составления региональных лексических атласов в российской лингвогеографии не очень велик. Так, имеется основательный «Лексический атлас Московской области» А. Ф. Войтенко, в котором содержится 160 карт [Войтенко 1991].

В уникальном труде Л. П. Комягиной «Лексический атлас Архангельской области» [ЛААО] представлены результаты лингвогеографического обследования лексики архангельских говоров. В этом труде имеется 198 карт. Их можно подразделить на 4 типа: 1) номинационные, где отмечаются лексические манифестанты исследуемых концептов или реалий, среди которых есть и слова финно-угорского происхождения; 2) ареально-семантические, в которых отражено территориальное распространение слов и их значений, в том числе заимствований из финно-угорских языков;

3) ареальные карты, где фиксируется наличие или отсутствие анализируемой лексемы в обследованных населенных пунктах; 4) лексико-словообразовательные карты, где представлены словообразовательные инновации лексики с корневыми морфемами прибалтийско-финского происхождения.

Территория Архангельской области является только частью обширного северо-западного региона, лексика которого могла бы стать объектом детального лингвогеографического анализа. Территория обследования, кроме Архангельской области, могла бы включать Вологодскую, Мурманскую, Ленинградскую, Новгородскую, Костромскую, Ивановскую, Ярославскую области и Республику Карелия. Помимо прочих особенностей, в лексике этого региона проявляется иноязычное влияние, что также было бы отражено в ходе ареального исследования.

Атласы, в которых показаны ареалы, образуемые исконной лексикой, нередко игнорируют иноязычный по происхождению материал, не включая его в перечень картографируемых лексем, поскольку он характеризуется единичными фиксациями. В таких атласах заимствованные лексемы традиционно не получали репрезентации с помощью специальных графических средств и фигурировали только в общем индексе, см., например, [ОЛА 1986][1].

Атласы, которые могли бы учитывать особенности языковых контактов, должны быть построены несколько иначе, чем «исконные» атласы. В них следует учесть специфику тех понятий, которые обозначаются с помощью заимствованной лексики.

Исследование финно-угорского субстрата в русском языке на основе методов лингвистической географии показало перспективность такого рода трудов и надежность выводов, осуществленных при сборе и анализе лексического субстрата контактного региона. К настоящему времени автором данной статьи ведется работа над очередным изданием «Атласа субстратной и заимствованной лексики русских говоров Северо-Запада» (2-е издание АСЗЛ вышло в 2007 г.). К задачам осмысления, дифференциации и идентификации типов прибалтийско-финского субстрата в севернорусских говорах и определения более точных границ пермского воздействия, ранних саамских данных и т. п. добавились задачи выявления архаических ареалов прибалтийско-финского воздействия. Кроме того, весьма интересно сопоставление результатов нашей работы с данными

[1] Отметим, однако, что в 6-м выпуске ОЛА («Домашнее хозяйство и приготовление пищи») [ОЛА 2007] уже представлено, например, некоторое число унгаризмов на словацкой территории.

лингвогеографических исследований на материале прибалтийско-финских языков. Так, например, возможен сравнительный анализ АСЗЛ и ALF. В этих атласах есть несколько десятков карт, составленных на основе идентичных вопросов, притом что перед этими проектами стояли различные цели и задачи.

Так, например, на карте АСЗЛ «Голубика» представлены три гнезда: *гонобол-*, *голубел-*, *пьяник-* / *пьяниц-*.

Лексема *гонобо́ль* и ее варианты имеют самое широкое распространение в русских говорах; слова *гонобо́бель* и *го́нобо́ль* помещены даже в словари русского литературного языка (в ряде случаев с пометой «обл.»). В. А. Меркулова отмечает, что «широко распространенное название голубики *гонобобель* в формальном отношении стоит совершенно особняком в названиях ягод. Многочисленные варианты этого названия указывают на затемненность этимологических связей в этом слове: чаще всего встречается форма *гоноболь*, затем *гонобо́бель*, *гонобо́б*, *голобо́б*, *гонобо́й*» [Меркулова 1967: 223]. По мнению В. А. Меркуловой, центром, откуда распространилось это слово, являются псковско-новгородские говоры с их формой *гоноболь* [там же], что подтверждается данными АЗСЛ. М. Фасмер считает слово *гоноболь* сложным, состоящим из *гон-* (ср. *гнать*) и *боль*, с мотивацией «вызывающий боль», так как при сборе голубики обычно кружится и болит голова от одуряющего запаха багульника, растущего вместе с ней [Фасмер 1: 437]. При этом, по мнению М. Фасмера, слово является табуистическим, с чем не согласна В. А. Меркулова, указывающая, что в названиях растений табуистическим заменам подвергались лишь наименования колдовских, магических растений, каковым голубика никогда не была [Меркулова 1967: 223].

По своему словообразовательному оформлению слово *гонобо́ль*, как уже говорилось, выделяется из других названий ягод. Косвенным доказательством того, что внутренняя форма слова непонятна для носителей русского языка, служат многочисленные искажения, которым лексема подверглась в говорах, вплоть до установления совершенно случайных созвучий. Все эти факты позволяют предположить, что это слово не является исконным. По мнению В. А. Меркуловой, в основе слова *гонобо́ль* лежит финский элемент, как и во многих других севернорусских названиях ягод, и его вторая часть вряд ли случайно совпадает с общефинским названием брусники [Меркулова 1967: 224]. Она полагает, что именно вепсские и карельские формы легли в основу новгородско-псковского диалектизма, притом что в первой части слова *гонобо́ль* лежит элемент со значением «опьяняющий, одуряющий» [там же]. Предлагая более деталь-

ную разработку происхождения этого слова, отметим, что первая часть *гоно-* соотносится с вепс. *g'öńik*, ср. вепс. *g'öńikbarb* ‘ветка голубики’ [СВЯ: 99], при *g'öńikäińe* ‘голубика’ (буквально «пьяника») [там же]. Вторая часть *-бол*, вероятно, восходит к вепс. *bол* ‘ягода вообще’ [СВЯ: 46]. Прибалтийско-финское гнездо имеет общее финно-угорское происхождение: манс. *рǫл*, *рил* ‘ягода’, коми *pul*, *puv* ‘брусника’, эст. *poolas*, водск. *põллaz* ‘то же’, фин. *puola* ‘то же’ [SKES: 645], ливв. *buolu* ‘то же’ [СКЯМ: 30], ижорск. *põla* ‘то же’ [IMS: 427], кар. твер. *buola* ‘то же’ [KKS 4: 507].

Лексема *голубе́ль*, вероятно, является результатом контаминационного переосмысления (*гоноболь* + *голубой*), попытки найти внутреннюю форму слова.

Слова *пьяни́ка*, *пья́ница*, зафиксированные в гдовских, прионежских говорах, а также на юге Новгородской области, очевидно, возникли вследствие семантического калькирования, ср. вепс. *g'ömar'* ‘пьяница’, *g'öńik* ‘тот, кто пьет’, ливв. *juomoi* ‘голубика’, при ливв. *juomari* ‘пьющий, пьяница’ [СКЯМ: 108].

Материалы ALF, касающиеся наименований голубики в прибалтийско-финских языках, представлены на пяти картах. Одна из них мотивационная, на ней выделяется пять мотивационных основ: 1) по форме (продолговатой); 2) по цвету; 3) по опьяняющему действию; 4) по детерминанту ‘собака’ — *koira*; 5) по детерминанту ‘конский волос’ — *jouhi* [AlF 2: 449]. Названия с корнем *juom-*, *juon-* ‘пить’ фиксируются в карельско-вепсских диалектах, смежных с русскими говорами, в которых отмечаются лексемы *пьяница*, *пьяника*. Таким образом, на уровне мотивационных основ подтверждается тождество карельско-вепсских и севернорусских данных.

Весьма интересно сопоставить наименования красной смородины в АСЗЛ и в ALF. В материалах последнего имеются русские заимствования: *knäzitsä* ‘княжица’, *smorodin* ‘смородина’ [ALF 2: 490]. Процесс заимствования идет и в обратном направлении. Так, в водских, ижорских, ингерманландских, вепсских диалектах зафиксированы формы с корнем *s*(*i*)*est-*, которые попали в русские говоры Обонежья, Посвирья, Поволховья: *сестрени́ка* ‘красная смородина’ Подпорож. (Заозерье, Корба, Курпово, Пидьма, Согиницы, Ульино, Усланка, Шеменичи, Яндеба), Кондопож. (Тулгуба, Кулмукса), Прионеж. (Заозерье), Лодейноп. (Тененичи, Янгиничи, Имоченицы) [ПЛГО], Петрозав. (Косалма) [КСРНГ]; *сестряни́ка* ‘то же’ Подпорож. (Шустручей) [ПЛГО]; *сестря́ника* ‘то же’ Подпорож. (Усланка) [ПЛГО]; *сестрени́ца* ‘то же’ Прионеж. (Ладва, Лехнаволок), Подпорож. (Юксовичи, Важины, Корпа, Ульино, Усланка, Шеменичи) [ПЛГО], Лодейноп. Олон. [Опыт: 202], Петрозав., Заонежье

[Куликовский: 106]; *сестре́ница* ‘то же’ Подпорож. (Яровщина), Лодейноп. (Акулова гора, Алеховщина, Коковичи, Кяргино, Пирозеро, Тененичи), Тихв. (Куневичи, Новинка, Пильдеж-Гора), Бокситогор. (Бочево, Мозолево), Любыт. [ПЛГО]; *сестрени́ця* ‘то же’ Вытегор. Волог. [ПЛГО]; *сестрени́цы* ‘то же’ Волх. (Рыбежно) Ленингр. [ПЛГО]; *се́стреница* ‘то же’ Любыт. [ПЛГО]; *се́стренница* ‘то же’ Любыт. (Подберезье) [КСРГК]; *сестре́ница* ‘ягода красной смородины’ Тихв. [НОС 10: 48]; *сестряни́ца* ‘красная смородина’ Вытегор. (Мегра, Бараново), Подпорож. (Мятусово) [КСРГК]; *сестри́ница* ‘то же’ Тихв. (Пяхта) [КСРНГ]; *сестре́нцы* ‘то же’ Тихв. [КСРГК]; *сестри́нцы* ‘то же’ Тихв. [КСРГК]; *сестря́нка* ‘то же’ Бабаев. (Хорино), Вытегор. (Ивачево, Морозово) [КСРГК]; *сестря́нки* ‘то же’ Бабаев. (Верхний Конец) [КСРГК]; *сестрёнка* ‘то же’ Бабаев. [КСРГК]; *сестре́нь* ‘то же’ Тихв. (Пяхта, Сукса) [ПЛГО]. Я. Калима полагает, что в данном случае перед нами вепсское заимствование, ср. вепс. *s’estr’ikaine* ‘красная смородина’, при фин. *siestsra*, *siesteri*, фин. диал. юго-вост. *siesterläinen*, фин. диал. юго-зап. *siestarain*, *siestarainen*, люд. *sestroi*, эст. *sõstar* [Kalima 1915: 216, 217]. Авторы SKES считают, что, кроме вепсской, речь может идти и о людиковской этимологии, ср. люд. *sestroi* ‘красная смородина’, при эст. *sõstar*, морд. эрзя *tšukštorov*, мокш. *sukštəru* ‘черная смородина’, коми *setör*, мар. *śepter*, *suter* [SSAP 3: 174]; из эстонского языка слово было заимствовано латышским — латыш. *zusteri*, *žusteri*, *zusteres*, *zustrene*s ‘смородина’ [SKES: 1010]. Следует отдать предпочтение вепсской этимологической версии. Современные вепсские формы — *sestr’ikaine*, *sestrikäine* ‘красная смородина’ [СВЯ: 506] — идентичны материалам Я. Калимы. Кроме того, она подтверждается ареалом заимствования в сфере языкового влияния вепсского языка (Подпорожский, Вытегорский, Прионежский, Лодейнопольский, Бабаевский р-ны), а также фонетическим сходством этимона с параллелями в русских говорах.

В 3-м томе ALF представлена карта 211 «Karsia» («обрубать — главным образом сучья с деревьев»). Этот глагол имеет распространение во всех прибалтийско-финских языках, кроме южноэстонского и ливского [ALF 3: 60].

В севернорусских говорах есть заимствования, восходящие к указанному глаголу: *карза́ть* ‘очищать от сучьев срубленное дерево’ Любыт., Хвойнин., Крестец., Поддор., Мошен., Солец., Прионеж. (Машезеро), Окулов. (Висленев Остров, Сутоки) [ПЛГО], Юго-вост. Арх. [ЛААО]; *ка́рзать* ‘то же’ Лодейноп. (Акулова Гора, Алеховщина, Имоченицы), Тихв. (Верховье), Вытегор., Медвежьегор., Кем., Прионеж. (Педасельга) [ПЛГО]; *ка́рза́ть* ‘то же’ Пинеж. (Ёркино, Нюхча) [Симина]; *ка́рзать* ‘то же’ Печор. [СРГНП 1: 303]; *ка́рзать* ‘рубить

лес, заготавливать дрова’ Подпорож. (Косельга, Курпово, Пидьма, Ульино, Шеменичи) [ПЛГО]. Кроме того, зафиксировано довольно много дериватов, относящихся к этому гнезду. Я. Калима предлагает для этих слов вепсскую этимологию, ср. вепс. *karšta* ‘обрубать сучья’ [Kalima 1915: 108]. К этой же версии склоняется М. Фасмер [Фасмер 2: 199]. Ареал слова указывает на вепсско-карельские источники, ср. также кар. *karšie*, люд. *karžida* ‘обрубать сучья, рубить деревья’ [SKES: 165], вепс. *karsťä*, *karšťa* ‘обрубать сучья’ [СВЯ: 182]. Эти прибалтийско-финские данные А. Е. Аникин сопоставляет с фин. *karstata* ‘чесать шерсть’ [Аникин 2005: 164], однако они являются гетерогенными омонимами с балтийской этимологией, ср. фин. *karsta*, люд. *karste*, эст. *kaarsma*, ливск. *kar’š’šə* ‘чесать шерсть’, при латыш. *kārst* ‘то же’, литов. *karšti* ‘чесать шерсть, лен; чистить скребницей лошадь’ [SKES: 166].

В ряде случаев анализ субстратных русских диалектных данных позволяет расширить наши представления об ареале прибалтийско-финских слов. Так, например, наименования морской водоросли отмечаются только в прибалтийско-финских говорах побережья Балтийского моря: эст. *haura*, *atru*, фин. *houter*, *houver*, *höyveri*, эст. сев. *muda*, *lamu*, ижор. *natta*, *natt*, фин. *sonta*, фин. *turo* [ALF 2: 512]. По нашим данным, собранным для АСЗЛ, последняя лексема (*turo*) имеет соответствия в севернорусских говорах, которые особо широко распространены в Беломорье: *ту́ра* ‘водоросли’ Сегеж. (Валдай, Вожма Гора), Беломор. Карел., Онеж. Арх., Северомор., Кандалакш. (Княжая Губа), Терск. (Чаваньга) Мурман. [ПЛГО]; *тура́* ‘то же’ Кем., Терск., Северомор., Онеж. (Кянда), Беломор. (Солозеро) [ПЛГО]; *ту́ра* ‘всякая морская поросль’ Помор., Арх. [Подвысоцкий: 176]; *ту́ра* ‘всякий морской порост’ Арх. [Опыт: 234]; *тура́* ‘гниющие морские растения, выброшенные сильною погодою на берег’ Арх. [Доп. Опыт: 272]; *ту́ра* ‘различные морские водоросли, выброшенные на берег прибоем морских волн’ Беломор. [Дуров: 165]; *ту́ра* ‘бурые морские водоросли с водянистыми пузырьками’ Ловозер. (Поной), Кандалакш. [Меркурьев 1979: 164].

По мнению А. Л. Погодина, *тура* ‘водоросль’ является заимствованием из кар. *tuura* ‘водное растение, растущее по берегам Онежского озера’ [Погодин 1904: 63]. Я. Калима полагает, что *тура* восходит к фин. *turo* ‘водное растение’, но ему неясно, относится ли сюда же кар. ген. *tuura* ‘растение на Белом море с толстым корнем и широкими листьями’ [Kalima 1915: 228]. Авторы SKES, идя вслед за Я. Калимой, возводят лексему *тура* к фин. или кар., ср. фин. диал. *tura* ‘пучок травы в воде’, ‘трава, растущая на сыром, заболоченном месте’, ‘вид водорослей’, кар. сев. *tura* ‘хлам, мусор’ [SKES: 1418].

На наш взгляд, ареал русского диалектизма *тура* подтверждает версию А. Л. Погодина.

Таким образом, сопоставление тождественных вопросов «Атласа субстратной и заимствованной лексики русских говоров Северо-Запада» [АСЗЛ] и «Лингвистического атласа прибалтийско-финских языков» [ALF] позволяет решать вопросы языковой контактологии:

— сравнение данных русских диалектов и прибалтийско-финских языков дает возможность подтвердить или уточнить различные этимологические версии;

— анализ ареалов этимологически тождественных данных лексического субстрата и материалов живых языков нередко обнаруживает, что на синхронном уровне они дистанцированы друг от друга. Диахронный анализ такую дистанцированность снимает.

Весьма важно, что в настоящее время в России планируется или уже начата работа по созданию диалектологических атласов некоторых финно-угорских языков. Одним из таких проектов является «Диалектологический атлас удмуртского языка» [ДАУЯ]: его авторы, опираясь на опыт составления «Лингвистического атласа Европы», впервые предлагают лингвогеографическое описание удмуртских диалектов. Карта-основа учитывает 175 опорных населенных пунктов, притом что материалы были получены из более чем 500. При создании вопросника авторы использовали систему вопросов «Общеславянского лингвистического атласа» [Вопросник ОЛЯ 1965], «Общекарпатского диалектологического атласа», «Лингвистического атласа Европы» и др. Он содержит 2200 преимущественно ономасиологических вопросов. Учет опыта славянских атласов полезен и оправдан, поскольку в удмуртских диалектах отмечаются многочисленные заимствования из русского языка, а среди них есть такие, источники которых отмечены в русских атласах. Так, например, наименования окна в удмуртских диалектах представлены следующими единицами: удм. *коса́к*, *кочак*, *укно*, *у́но* [ДАУЯ: 215]; ср. русск. диал. *косявчатое окошечко* ‘с косяками, в отличие от волокового’ Олон., Мезен. Арх., ‘обшитое досками окно’ Печор. Арх., Кирил. Новг. [СРНГ 15: 96]. Карта, посвященная родовому наименованию леса, также отражает русские заимствования в удмуртском языке: удм. *ӵаӵӵа*, *ӵашша*, *шаӵӵа*, *чашша*, *т'ашша*, *т'ашйа*, *чашйа* [ДАУЯ: 79], ср. русск. *чаща*. На карте «Улица» представлены только заимствованные лексемы: удм. *ул'ча*, *улс'а*, *улча и урам* (татар. *урам* ‘улица’).

Для анализа неисконной лексики говоров, распространенных на территориях позднего заселения, крайне важны материалы «Атласа русских народных говоров Волго-Камья». Собирая данные для

атласа, экспедиции Казанского университета работали в населенных пунктах Марийской АССР. Всего на территории восточной части Марийской АССР обследовано 39 населенных пунктов. Авторы утверждают, что говоры на этой территории значительно отличаются от говоров соседних районов Татарской АССР [Бахмутова 1955: 40]. По результатам нашего исследования этих районов, это обусловлено спецификой языкового влияния — финно-угорского (марийского) и тюркского (татарского) типов.

Смежная территория бассейна Волги была обследована для «Атласа русских говоров Среднего и Нижнего Поволжья», учитывающего материал из 605 населенных пунктов Ульяновской, Самарской, Пензенской, Саратовской, Волгоградской областей [Баранникова, АРГСНП]. В этом издании представлено 39 карт[2], хотя составлено было значительно больше (в материалах, подготовленных для атласа, 180 карт). Среди них 12 фонетических карт (сделано 42), 2 грамматические (сделано 58). Значительное место в работе занимают лексические карты (их 14): № 23 «Место под домом, хозяйственными постройками, садом, огородом»; № 24 «Название крестьянского дома»; № 25 «Название чердака»; № 26 «Название посуды, в которой растворяют тесто»; № 27 «Употребление слов *ковш* (*ковшик*), *корец*»; № 28 «Чем вынимают горшки из русской печи»; № 29 «Соотношение слов *сковородник* и *чапельник* (*цапельник*)»; № 30 «Название быка-производителя»; № 31 «Название петуха»; № 32 «Соотношение названий овцы с корнями *ягн-*, *кот-*»; № 33 «Корова *мычит*, *ревет* и т. п.»; № 34 «Собака *лает*, *брешет*»; № 35 «Диалектные названия льдин»; № 36 «Название вечернего собрания молодежи в помещении». Имеются также три семантические карты: № 37 «Диалектные слова со значением ‘говорить’, ‘разговаривать’»; № 38 «Диалектные слова со значением ‘недавно’»; № 39 «Диалектные слова со значением ‘очень’». В лексических манифестациях репрезентируемых концептов и реалий в основном представлен исконный материал, хотя в этом регионе имеется значительное субстратное и живое адстратное финно-угорское (мордовское) и тюркское (татарское) языковое влияние.

Следует отметить, что в Среднем Поволжье (Республика Чувашия и Марий Эл) и ниже по течению Волги диалектный ландшафт представляет собой довольно пестрый конгломерат севернорусских, южнорусских и среднерусских говоров, что затрудняет их исследование и репрезентацию лексического состава. Так, на территории, описываемой атласом юго-востока Европейской части России, а также на

[2] В данной работе, как и во многих других региональных атласах, сбор материала был осуществлен по Программе ДАРЯ.

примыкающей к ней территории Волго-Камья сосуществуют диалекты с различной основой. В материалах X тома атласа русского языка (было обследовано 950 населенных пунктов) заметно доминирование говоров с южнорусской основой [Малаховский 1955: 261], в которых неисконные данные всегда менее репрезентативны.

Весьма интересно рассмотреть заимствованную лексику в составе наших материалов [см. Мызников 2005], полученных в ходе полевых исследований в Среднем Поволжье. Проанализировав карту № 14 «Помещение для содержания скота» [Мызников 2005: 508–510], мы предприняли попытку выяснить возможные лексические различия между акающими говорами Чувашии и окающими Марий Эл. Полученные результаты подтвердили различие говоров этих территорий. Например, на территории Чувашии фиксируются лексемы *конюшня*, *конюшник*, *конюшка*, которые отсутствуют в Марий Эл. Эти слова имеют прозрачную мотивацию — «помещение для лошадей», однако иллюстративные контексты указывают на более широкое значение, связанное с разными видами домашней скотины. Подтверждается это и лексикографическими источниками, ср. данные СРНГ: *коню́шня* ‘помещение (обычно утепленное) для скота’ Лунин. Пенз., 1945–1950. Новг., Ленингр., Свердл., Заурал., Новосиб.; ‘помещение для крупного скота’ Сарат., Курган., Киров., Калин., Том., Арм. ССР; ‘помещение для коров или мелкого скота’ Пенз., Ворон. Ряз., Свердл., Том. [СРНГ 14: 278]. В говорах обеих республик представлено и заимствованное слово *карда*. По данным СРНГ, оно широко распространено в регионе: *ка́рда* ‘ограда из жердей вокруг огорода’ Перм.; *ка́рды* ‘ограда из жердей, сделанная в поле’ Челяб., 1930; *ка́рда* ‘скотный двор, баз, базок, варок, летнее стойло, загородь для скота» Оренб. [Даль]; *ка́рда* ‘огороженное место для дневного содержания скота’ Козьмодемьян. Казан., 1849. Южн. Самар., Симб., Куйбыш., Тамб., Оренб., Уфим., Вост., Костром., Пенз., Вост. Мар. АССР, Челяб., Перм., Южн. Урал, Свердл. [СРНГ 13: 84, 85]. Ср. также: *ка́рда* ‘скотный двор’ Казан. (Арышхазда) [Будде 1894: 32].

Это слово имеет соответствия как в тюркских, так и в финно-угорских языках. Ср. чуваш. *карта* ‘изгородь, загородь; хлев (не бревенчатый)’, при татар. *киртə*, башк. *кəртə* ‘изгородь, ограда; загородка; хлев’ с возможной мотивацией на тюркской почве [Федотов ЭСЧЯ 1: 232], а также татар. *карды*, башк. *карзы* ‘загон для скота’ [Исанбаев 1989: 132]. Финно-угорский материал также обширен, ср. коми *карта* ‘хлев’, ‘крестьянская надельная земля’, удор. ‘часть дома, где находится дом с сеновалом’ [ССКЗД: 149]. И. Вихман считает коми слово древним чувашским заимствованием [Wichmann 1903: 69]. Авторы

КЭСКЯ рассматривают коми *карта* ‘дом, хозяйство’ как заимствование из прибалтийско-финских языков, ср. фин. *kartano* ‘двор, большое именье, усадьба’ [КЭСКЯ: 118]; в последних это гнездо германского происхождения, ср. готск. *garda* ‘огороженное место для скота’ [SSAP 1: 318]. Ф. П. Филин полагал, что «термин этот — заимствование из мордовского (ср. морд. *кардаз*) и первоначально употреблялся в районах соприкосновения с мордовским населением, позже проник (отчасти) и на северо-восток» [Филин 1936: 128]. Б. А. Серебренников относит морд. эрз. *кардаз* ‘двор’ к лексемам балтийского происхождения, ср. литов. *gardas* ‘стойло, загородка’ [Серебренников 1965: 243], так же как и П. Аристе, который указывает на балтийские корни морд. мокш. *карда* ‘хлев’, эрз. *кардо* ‘то же’ [Аристе 1973: 3]. Н. В. Бутылов соотносит мордовские данные (мокш. *калдаз*, эрз. *кардаз* ‘скотный двор’) с татарскими, ср. татар. *кардаз* ‘загон для скота’ [Бутылов 1998: 102]. См. также [ДАРЯ 3, карты № 12–14; Мызников 2005: 510].

Весьма близок по охвату территории и поэтому важен для анализа говоров Поволжско-Южноуральского региона труд З. П. Здобновой «Атлас русских говоров Башкирии» [АРГБ], в котором представлено 108 карт (78–106 лексические карты). При наличии в этом регионе сравнительно ранних финно-угорских и тюркских этноязыковых контактов, отраженных в ряде работ [см. Насипов 2009; 2009а], весьма показательно практическое отсутствие в атласе неисконных данных, что обусловлено вопросником, нацеленным на исследование тематических групп лексики, где доминируют исконные материалы.

Например, материалы карты «Названия косы» с манифестацией *лито́вка* на севере Башкирии, на наш взгляд, подтверждают предположение о производности этого слова от глагола *лить* (металл), отвергая прежние версии о его неисконности. Ср. также многочисленные свидетельства, отмеченные на других территориях: «Литовки таки же косы, только потолше. На косе написано литой стали». Ленингр., Том., Тобол., Новосиб., южн. р-ны Краснояр., Глубок. Вост.-Казах. [СРНГ 17: 73]; ‘коса-горбуша из литой стали’: «Не кованная домашними кузнецами» Онеж., 1931; ‘коса-горбуша, сделанная из особого сорта железа’ Краснобор. Арх., 1957 [СРНГ 17: 73]; ‘коса с длинной прямой рукоятью, обычно отлитая из стали’ Кирилл.: «Коса простая и коса литовка, эти простые косы дома ковали в кузнице, а литовки покупали, они востры» Медвежьегор., Белом., Вашк., Каргоп., Кондоп., Плесец., Прионеж., Сланц., Терск., Тихв., Устюжен., Черепов. [СРГК 3: 130–131]. Как видно из иллюстраций, доминирует мотивировка «литой, из литой стали,

в отличие от предшествующих кованых кос». Отмечается главное отличие литовки от горбуши — длинная рукоять, позволявшая косцу делать значительный размах и срезать траву широкой полосой. Ею косили траву, некоторые зерновые культуры. Нож литовки был слегка изогнутым. Примерно на середине рукоятки имелось приспособление — *палец*, круглая рукоять для упора правой руки (левая рука косца держала верхний конец рукояти). Подобные косы, сначала кузнечной, а потом и фабричной работы, были широко распространены по всей России. Косы делались из литой либо тигельной стали [Гвоздева 2000: 145].

Учитывая эти факты, можно заключить, что версия о связи слова *литовка* с этнонимом менее убедительна. В то же время надо отметить, что отэтнонимические наименования среди обозначений кос встречаются. Так, у эстонцев в последние десятилетия XIX века на полях крестьянских хозяйств в качестве нового орудия труда стала распространяться полукоса с грабельками с названием эст. *läti vikat* ‘латышская коса’, которая была однотипной с латышской и северолитовской, однако была предназначена для скашивания зерновых [Яягосильд 1975: 59]. См. также о белоруссой косе [Сержпутовский 1910: 59], о большой немецкой косе (*grosse deutsche Harken*, *grosse deutsche Sense*) [Bomann 1927: 137].

* * *

Таким образом, сравнительно-сопоставительный анализ фактов различных лингвогеографических трудов позволяет весьма детально проанализировать материалы контактных ареалов, имеющие разную языковую принадлежность, провести верификацию этимологических версий, проследить, насколько значимы в ареалогическом плане некоторые вопросы программы собирания данных.

Литература

Аникин 2005 — *Аникин А. Е.* Опыт словаря лексических балтизмов в русском языке. Новосибирск, 2005.

Аристе 1973 — *Аристе П.* Вопрос о балтийских заимствованиях в финно-угорских языках // Вопросы марийского языкознания. Вып. III. Йошкар-Ола, 1973. С. 3–7.

АРНГЦВ — Атлас русских народных говоров центральных областей к востоку от Москвы / Под ред. Р. И. Аванесова. М., 1957.

АРГБ — *Здобнова З. П.* Атлас русских говоров Башкирии. В 2-х ч. Изд. 4. Уфа, 2008.

АСЗЛ — *Мызников С. А.* Атлас субстратной и заимствованной лексики русских говоров Северо-Запада. Изд. 2-е. СПб., 2007.

Бахмутова 1955 — *Бахмутова Е. К.* Атлас русских говоров Волго-Камья (Постановка проблемы. История ее научной разработки) // Ученые записки Казанского гос. Университета. Т. 115. Кн. 9. Казань, 1955. С. 5–44.

Будде 1894 — *Будде Е. Ф.* Главнейшие черты народного говора в Казанской губернии // Оттиск из «Русского Филологического Вестника». Варшава, 1894. С. 1–36.

Бутылов 1998 — *Бутылов Н. В.* Тюркские заимствования в мордовских языках. Дисс. … канд. филол. наук. Саранск, 1998.

Войтенко — *Войтенко А. Ф.* Лексический атлас Московской области. М., 1991.

Вопросник Общеславянского лингвистического атласа. М., 1965.

ВСИ — Восточнославянские изоглоссы / Отв. ред. Т. В. Попова. Вып. 1–4. М., 1995–2006.

Гвоздева 2000 — *Гвоздева Ж. В.* Коллекция орудий жатвы и косьбы в фондах музея-заповедника «Кижи» // Кижский вестник. № 5. Петрозаводск, 2000. С. 141–148.

Даль — *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка. Второе издание, исправленное и значительно умноженное по рукописи автора. Т. 1–4. М.; СПб., 1880–1882.

ДАРЯ 1 — Диалектологический атлас русского языка. Центр Европейской части СССР. Вып. I: Фонетика / Под ред. Р. И. Аванесова и С. В. Бромлей. М., 1986.

ДАРЯ 3 — Диалектологический атлас русского языка. Центр Европейской части России. Вып. 3. Синтаксис. Лексика. Комментарии к картам. М., 1996.

ДАУЯ — *Насибуллин Р. Ш.*, *Максимов С. А.*, *Семенов В. Г.*, *Отставнова Г. В.* Диалектологический атлас удмуртского языка. Карты и комментарии. Вып. I, II. Ижевск, 2009–2010.

Доп. Опыт — Дополнение к Опыту областного великорусского словаря. СПб., 1858.

Дуров — *Дуров И. М.* Опыт терминологического словаря рыболовного промысла Поморья / Под ред. и с дополнениями Н. Виноградова. Соловки, 1929.

Исанбаев 1989 — *Исанбаев Н. И.* Марийско-тюркские языковые контакты. Ч. 1. (Татарские и башкирские заимствования). Йошкар-Ола, 1989.

КСРГК — Картотека «Словаря русских говоров Карелии и сопредельных областей» (хранится в Словарном кабинете им. Б. А. Ларина филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета).

КСРНГ — Картотека «Словаря русских народных говоров» (хранится в Словарном отделе ИЛИ РАН).

Куликовский — *Куликовский Г. И.* Словарь областного олонецкого наречия в его бытовом и этнографическом применении. СПб., 1898.

Куликовский 1899 — *Куликовский Г. И.* Дополнение к Словарю Олонецкого областного наречия // Этнографическое обозрение. 1899. № 1, 2.

КЭСКЯ — *Лыткин В. И.*, *Гуляев Е. С.* Краткий этимологический словарь коми языка. Сыктывкар, 1999.

ЛААО — *Комягина Л. П.* Лексический атлас Архангельской области. Архангельск, 1994.

ЛАРОС — *Иальцев М. Д.*, *Филин Ф. П.* Лингвистический атлас района озера Селигер. М.; Л., 1949.

Лизанец 1975 — *Лизанец П. Н.* Лингвогеографический аспект в исследованиях лексических заимствований в украинских говорах Карпатского ареала // Труды по финно-угроведению. Тарту, 1975. С. 76–94.

Лизанец 1975а — *Лизанец П. Н.* Принципы построения лингвистического атласа венгерских заимствований в украинских говорах Закарпатья // Congressus Tertius internationalis Fenno-Ugristarum. Pars I. Acta linguistica. Tallinn, 1975. С. 637–641.

Лизанец 1992 — *Лизанец П. Н.* Атлас венгерских говоров Закарпатья. Т. 1. Будапешт, 1992.

Малаховский 1955 — *Малаховский В. А.* Несколько поправок к диалектологической карте русского языка // Ученые записки Куйбышевского гос. пед. института. Вып. 13. 1955. С. 255–262.

Меркулова 1967 — *Меркулова В. А.* Очерки по русской народной номенклатуре растений. М., 1967.

Меркурьев 1979 — *Меркурьев И. С.* Живая речь кольских поморов. Мурманск, 1979.

Мызников 2005 — *Мызников С. А.* Русские говоры Среднего Поволжья: Республика Чувашия, Марий Эл. СПб., 2005.

Насипов 2009 — *Насипов И. С.* Языковые контакты в Волго-Камье. Марийские заимствования в татарском языке. Стерлитамак, 2009.

Насипов 2009а — *Насипов И. С.* Опыт систематизации финно-угорских заимствований в татарском языке. Казань, 2009.

НОС — Новгородский областной словарь / Отв. ред. В. П. Строгова. Вып. 1–12. Новгород, 1992–1995.

ОКДА — Общекарпатский диалектологический атлас. Вопросник. М., 1981.

ОЛА 1988 — Общеславянский лингвистический атлас. Серия лексико-словообразовательная. Вып. 1. Животный мир. М., 1988.

ОЛА 2007 — Общеславянский лингвистический атлас. Серия лексико-словообразовательная. Вып. 6. Домашнее хозяйство и приготовление пищи. М., 2007.

Опыт — Опыт областного великорусского словаря, изданный Вторым отделением Академии наук. СПб., 1852.

ПЛГО — Материалы полевых лингвогеографических обследований автора.

Погодин 1904 — *Погодин А. Л.* Севернорусские словарные заимствования из финского языка // Варшавские университетские известия. 1904. № 4. С. 1–72.

Подвысоцкий — *Подвысоцкий А.* Словарь областного архангельского наречия в его бытовом и этнографическом применении. СПб., 1885.

Попов — *Попов И. А.* Лексический атлас русских народных говоров [Проспект] / Ред. Ф. П. Филин. Л., 1974.

Программа ДАРЯ — Программа собирания сведений для составления диалектологического атласа русского языка (ИРЯ РАН 2005 г. Электронная версия — И. И. Исаев, Л. Б. Матхеева).

Садыкова — *Садыкова З. Р.* Зоонимическая лексика татарского языка. Казань, 1994.

СВЯ — *Зайцева М. И.*, *Муллонен М. И.* Словарь вепсского языка. Л., 1972.

Серебренников 1965 — *Серебренников Б. А.* Об окраинных диалектах и говорах коми языка // Советское финно-угроведение. I. 1965. С. 99–104.

Сержпутовский 1910 — *Сержпутовский А. К.* Земледельческие орудия Белорусского Полесья // Материалы по этнографии России. 1. СПб., 1910.

Симина — Картотека пинежских говоров, собранная под руководством Г. Я. Симиной (хранится в ИЛИ РАН).

СКЯМ — Словарь карельского языка (ливвиковский диалект) / Сост. Г. Н. Макаров. Петрозаводск, 1990.

СКЯП — Словарь карельского языка (тверские говоры) / Сост. А. В. Пунжина. Петрозаводск, 1994.

СОСД — Сопоставительно-ономасиологический словарь диалектов карельского, вепсского и саамского языков. Петрозаводск, 2007.

СРГК — Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей / Гл. ред. А. С. Герд. Т. 1–6. СПб., 1994–2005.

СРГНП — Словарь русских говоров Низовой Печоры / Под ред. Л. А. Ивашко. Т. 1–2. СПб., 2003–2005.

СРНГ — Словарь русских народных говоров. Т. 1–44. Л./СПб., 1965–2011.

ССКЗД — Сравнительный словарь коми зырянских диалектов. Сыктывкар, 1961.

Фасмер — *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. Т. 1–4. М., 1964–1973.

Федотов ЭСЧЯ — *Федотов М. Р.* Этимологический словарь чувашского языка. Т. 1–2. Чебоксары, 1996.

Филин 1936 — *Филин Ф. П.* Исследование о лексике русских говоров. По материалам сельскохозяйственной терминологии // Труды Института языка и мышления имени Н. Я. Мара. VI. Серия Slavica. № 1. М.; Л., 1936.

ФРС — Финско-русский словарь / Под ред. В. Оллыкайнен, И. Сало. Таллин, 1996.
ЭРС — Эрзянско-русский словарь / Под ред. Б. А. Серебренникова, Р. Н. Бузаковой, М. В. Мосина. М., 1993.
ЭССЯ — Этимологический словарь славянских языков / Под ред. О. Н. Трубачева. Вып. 1–37. М., 1974–2011.
ЭСЧЯ — *Егоров В. Г.* Этимологический словарь чувашского языка. Чебоксары, 1964.
Яягосильд 1975 — *Яягосильд Э. К.* Уборка ржи в Эстонии (конец XIX — начало XX века) // Этнографическое картографирование материальной культуры народов Прибалтики. М., 1975. С. 48–62.
ALF — Atlas Linguarum Fennikarum — Itämerensuomalainen kielikartasto. T. 1–3. 2004–2010.
Bomann 1927 — *Bomann W.* Bäurliches Hauswesen und Tagewerk im alten Niedersachsen. Weimar, 1927.
EONDS — Etymologisk ordbog over det norske og det danske sprog. Oslo, 1999.
EWD — Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. B. 1–3. Berlin, 1989.
Fraenkel — *Fraehkel E.* Litauisches etymologisches Worterbuch. T. 1–2. Heidelberg, 1962–1965.
IMS — Inkeroismurteiden sanakirja. Toimit. R. E. Nirvi // Lexica societatis fenno-ugricae. XVIII. Helsinki, 1971.
Kalima — *Kalima J.* Die ostseefinnischen Lehnwörter im Russischen. Helsingfors, 1915.
KKS — Karjalan kielen sanakirja. O. 1–5. Helsinki, 1968–1997.
Kyselysarja — Kyselysarja Itämerensuomalainen kielikartasto. Helsinki, 1989.
Mokany — *Mokany Sándor.* Egy szóföldrazi kötet anyagának tanulságos vallomása. Balogh Lajos (felelős szerkesztő), Bańczerowski Janusz, Posgay Ildikó: Karpat nyelvatlasz, VI kötet. Budapest, 2001, Tinta Könyvkiadó, 216. o, 89 térkép // Nyelvtudomány I (2005). S. 237–248.
SKES — Suomen kielen etymologinen sanakirja. O. 1–7. Helsinki, 1955–1981.
SSAP — Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja. O. 1–3. Helsinki, 1992–2000.
Wichmann 1903 — *Wichmann Y.* Die tschuwassischen Lehnwörter in den permischen Sprachen. MSFO, 21. Helsingfors, 1903.

Сокращения названий языков и диалектов

башк. — башкирский
вепс. — вепсский
водск. — водский

диал. — диалектное
др. — древне-
ижор. — ижорский
кар. — карельский
кар. валд. — валдайский диалект карельского языка
кар. сев. — севернокарельский
кар. твер. — тверской диалект карельского языка
кар. тихв. — тихвинский диалект карельского языка
коми — коми-зырянский
латыш. — латышский
ливв. — ливвиковский диалект карельского языка
литов. — литовский
люд. — людиковский диалект карельского языка
манс. — мансийский
мар. — марийский
мокш. — мокшанский
морд. — мордовский
саам. — саамский
саам. норв. — саамский язык в Норвегии
татар. — татарский
тюрк. — тюркские языки
удм. — удмуртский
фин. — финский
хант. — хантыйский
чуваш. — чувашский
эрз. — эрзянский
эст. — эстонский

С. С. Скорвид

Говор потомков чешских переселенцев на Северном Кавказе как пример лингвоареального дрейфа

Чешские колонии на Северном Кавказе, на территории Черноморского округа и Кубанской области Российской империи, возникали со второй половины 1860-х гг. В период с 1868 по 1900 г. здесь было образовано полтора десятка чешских и смешанных поселений, из которых сейчас только Кирилловка в черте г. Новороссийска и Варваровка (объединенная в 1960-е гг. с Павловкой) под Анапой являются местами компактного проживания потомков переселенцев XIX в., владеющих чешским языком в диалектной форме (в Кирилловке — до 25, в Варваровке, включая живущих в Анапе выходцев из этого села, — до 20 человек в основном 1920–30-х гг. рождения).

Северокавказский чешский говор (далее СКЧ) только в 2009 г. стал предметом диалектологического изучения, инициированного автором данного доклада. За три года исследовательская группа с участием преподавателей и студентов РГГУ совершила ряд экспедиций в район Новороссийска и Анапы, в ходе которых были сделаны аудиозаписи бесед с носителями этого говора общей продолжительностью более 30 часов. По итогам первой из них была напечатана пока единственная статья с образцом текста в приложении [Скорвид, Третьякова 2009]; по результатам следующих поездок подготовлены и сданы в печать еще две, также включающие образцы текстов. Помимо этого 29 коротких записей речи тех же информантов и песен в их исполнении, сделанные в 2008 г. сотрудником чешского цифрового архива воспоминаний «Память народа» М. Гавличеком, размещены на сайте архива http://www.pametnaroda.cz/category/detail/id/64; аналогичный материал содержит документальный телефильм «Daragije stariky, aneb Ztracení Češi» (30 мин., 2001, режиссер П. Баран). Наконец, ценным источником являются написанные на диалекте сочинения трех участниц творческого конкурса, объявляемого с 2012 г.

Сергей Сергеевич Скорвид,
Российский государственный гуманитарный университет (Москва)

Культурно-просветительным чешским клубом «Матержидоушка» в Кирилловке (фрагмент одного из них публикуется в приложении к данному докладу).

В целом СКЧ, по крайней мере в двух его сохранившихся по сей день локальных манифестациях, «кирилловской» и «варваровской», демонстрирует яркие признаки юго-западных говоров собственно Чехии (далее ЮЗЧ), проявляющиеся на фоне общечешских диалектных особенностей. В фонетике это в особенности дифтонгизация ***ȳ** > **ej** (*českej* ‘чешский’, *bejt* ‘быть’) при отсутствии подобного изменения ***ī** после свистящих — как и в ЮЗЧ, в отличие от других собственно чешских диалектов (*je ho cíťit pjekn’e*, *mateřídou̯šek* ‘он хорошо чувствуется, чабрец’, *mi sme ciškou̯ chitali ribu* ‘мы пододеяльником ловили рыбу’ с долгим *í* или сокращенным *i*, но не *-ej-*), а также ***ū** > **ou̯**, в том числе в начале слова (*vzala si ou̯zlík* ‘взяла узелок’), причем изредка отмечается и характерное для ЮЗЧ сужение первой части этого дифтонга: *o̯u̯* > *uu̯* с сокращением до *u* (*před jako̯u̯ válku?* ‘перед какой еще войной?’); кроме того, протеза **v** перед **o-**, но нерегулярная, как и в ЮЗЧ (*von/won* и *on* ‘он’, *votkuť* и *otkuť* ‘откуда’), спорадическое сохранение сочетания **mj**, наряду с общечешским **mn’**, на месте бывшего мягкого **m’** перед ***ě** (*z mn’esta* / *mjesta* либо даже *m^{j}esta* ‘из города’), спирантизация озвонченного ***k-** в местоимении *hdo* ‘кто’ и наречиях *hde* ‘где’, *hda* ‘когда’ и другие явления. Из морфосинтаксических черт обращают внимание, в частности, формы им. (= вин.!) п. мн. ч. одушевленных существительных мужского рода с долгим окончанием **-í** (*klucí* ‘мальчики’, *medveďí* ‘медведи’), формы императива 2-го л. мн. ч. с показателем **-i-** типа *sedn’ite si* ‘садитесь’, *nejezďite* ‘не ездите’, неизменяемые формы притяжательных прилагательных на **-ovo** / **-ino** типа *taťínkovo mamka*, *mamkino mamka* ‘папина, мамина мама’, даже в сочетании с определением (*tátovo mojeho sestra* ‘папы моего сестра’), частое употребление усилительной частицы **ž** (*mi sme ž ďelali škodu* ‘мы ведь шкодничали’, *to š je daleko!* ‘это далеко!’). Лексика СКЧ характеризуется присутствием множества специфически юго-западночешских слов, включая региональные германизмы: это прилагательные *pjeknej*, *škaredej* как нейтральные обозначения признаков ‘хороший’ и ‘плохой’ (с соответствующими наречиями), прилагательное *stonavej* как нейтральное в значении ‘больной’, существительные *přítel* в значении ‘родственник’ (формы мн. ч. от основы *přátel-* и от нее же *přátelka* ‘родственница’), *húďe* ‘девочка’, *vjetle* ‘ветка’ с элементом *-l-*, *hrátki* со значением ‘посиделки’ (в выражении *chodit na hrátki*), глаголы *koštovat* ‘пробовать на вкус’, *richtovat* ‘готовить’, существительные *loch* со значением ‘подвал’, *bajzík*

‘собака’ (< нем. beißen ‘кусать’), наречие *šrekoṷ* ‘наискосок’ (< нем. schräg ‘косой’), частица *kór* ‘и вообще’ (< нем. gar ‘совсем’) и т. д.

Одновременно СКЧ на всех языковых уровнях несет на себе следы интенсивных непрекращающихся контактов с южнорусской языковой средой, иначе — русским языком окружения (далее РЯО), в том числе интерференции с ним в ситуации давнего полного двуязычия носителей говора, а в прошлом также контактов со смешанным украинско-южнорусским идиомом, известным под названием «балачка». При этом по крайней мере в фонетической и фонологической системах и в области морфосинтаксиса данные контакты обусловили далеко идущие внутриструктурные изменения в СКЧ, которые позволяют говорить о его дрейфе от юго-западночешского диалектного состояния в направлении «восточнославизации».

1. Влияние РЯО в принципе не затронуло центральноевропейский вокалический тип СКЧ, базирующийся на фонологически релевантных количественных оппозициях гласных. Краткость / долгота остается устойчивым различительным признаком гласных как в корневых, так и в аффиксальных морфемах, а их количественные или количественно-качественные чередования широко используются в словоизменении и словообразовании, напр.: *kráva* ‘корова’ — *na kravách* ‘на коровах’, *deset kraf* ‘десять коров’; *dvúr* ‘двор’ — *ze dvora* ‘со двора’, *zahrada* ‘сад’ — *zahrátka* ‘садик’, *list* ‘лист’ — *lístek* ‘листок’, *koza* ‘коза’ — *kúzlata* ‘козлята’, *namluvit* ‘помолвить’ — *námluvi* ‘помолвка’, *hoďit* ‘бросить’ — *házet* / *háďet* ‘бросать’, *končit* (*se*) с русским значением ‘кончить(ся)’ — *končívat* (*se*) ‘кончать(ся)’ (ср. также адаптированные русизмы *upravit se* ‘управиться’ и *nebila žádná úprava* ‘не было никакой управы’, *strojit* ‘строить’ и *furt to dostrájejoṷ* ‘они все время достраивают’). Наряду с этим в СКЧ, как и в собственно чешских диалектах, нередко наблюдается факультативное сокращение долгих гласных, особенно в конце слова, ср. во флексиях существительных, прилагательных и глаголов: [babička] *po tátovi bila Hrachú a po mámje Pecháčku* ‘бабушка по отцу была из Грахов, а по маме из Пехачеков’, *dřívi suchi do bán’e… já se rát koṷpat* ‘дрова сухие для бани… я люблю купаться’, *já málo rozumim po česki* ‘я мало понимаю по-чешски’ и т. п. Встречаются и случаи факультативного сокращения гласного в корне слова, ср. *tadi fšecki kravi sebrali f Kirilce… nu a mi*, *nás… vzali*, *jako že ti krávi budem dojit* ‘тут всех коров забрали в Кирилловке… ну а мы, нас взяли с тем, что мы этих коров будем доить’.

На фоне этих фактов новацией, обязанной контактам с РЯО, выглядит в СКЧ развитие нефонологической долготы гласных как эмфатического средства, маркирующего некоторую фразовую

интонацию — в частности, перечисления, каденции и восклицания. Такое продление чаще всего получает гласный под ударением, которое в СКЧ в целом имеет общечешского типа фиксированный инициальный характер, т. е. падает на первый слог слова или тактовой группы (за исключением русизмов, зачастую сохраняющих место ударения языка-источника), но во фразовых условиях может сдвигаться на слог или более вправо. В отдельных случаях такое нефонологическое продление гласного наблюдается и в заударном слоге.

Речь идет о продлении того же типа, какое сопровождает русское эмфатическое ударение, однако реализующемся и в исконно чешских словах (ниже оно обозначается символом ¯ , фразовое ударение на соответствующем слоге — символом ' , а неинициальное ударение в русизмах и в других случаях — прописной буквой), напр.: *jak se tadi rozpoložili*, *jak tadi visekávali lḗs*... ‘как они тут расположились, как вырубали лес (≈ [*л’ēс*]); *tak ti vin’ice fšecki vzali… i zḗm fšecku vzali* ‘так эти виноградники все отобрали… и землю всю отобрали’ (≈ [*u з’ēмлю*]); *a jeli votát’... celej rṓk* ‘а ехали оттуда… целый год’ (≈ [*гōт*]); *jaká ti si Čḗška*, *diž neumíš po nastojAščem*(*u*) *po čEski mluvit!* ‘какая ты чешка (≈ [*чēшка*]), если не умеешь по-настоящему говорить по-чешски!’; *málo si toho pomatuju: nu co... do vṓjni*, *tadi ta vṓjnā*... ‘я мало что помню: ну что… до войны, и тут эта война…’; *a tolik šū́nkī a fšeho! já ďedovi povidám: poť si vememe šunku* ‘и столько ветчины и всего! я деду говорю: пойдем возьмем ветчину’. В последних двух примерах имеет место продление гласных в ударном, а затем и в заударном слоге; в следующем аналогично продляются ударный слоговой сонант *l̩* и гласный в заударном дифтонге: *i mašInu sme pl̩̄nōu̯ naložili ribi*, *pl̩nou̯* ‘и машину мы полную нагрузили рыбой, полную’.

Реализация эмфатического продления гласного в дифтонге *ou̯* в СКЧ облегчается тем обстоятельством, что как дифтонг он здесь может трактоваться только с учетом его парадигматических отношений с краткой гласной /u/ (ср. пары *pusťit* ‘пустить’ — *pou̯ščet* ‘пускать’ и т. п.); в то же время его неслоговая часть отождествима с факультативным, но очень характерным для данного идиома вариантом согласной фонемы /v/. Эта фонема в СКЧ способна вести себя и как шумная губно-зубная звонкая, с оглушением в [f] перед глухим согласным и в конце слова, и как сонорная губно-зубная, которая в указанных позициях — и шире, перед любым согласным, а также в начале слова перед гласным и иногда в середине слова между гласными — может быть представлена губно-губными вариантами [u̯] и [w]. Ср.: *hřbitof* / *hřbitou̯* и *kerchof* / *kerchou̯* ‘кладбище’; *hdo z Varvarofki*, *hdo z Hlebovki* ‘кто из Варваровки, кто из Глебовки’, *do AnastasIjeu̯ki jeli* ‘в Анастасиевку ехали’; *von bl̩ barabAnščikem*, *hlau̯n’im* ‘он был

барабанщиком главным’; *pot ten most… pr̥u̯n’í*, *co…* ‘под тот мост, первый который’; *z’iml’Anka je z’iml’Anka*, *v zemn’i*, *jag w hrobu* ‘землянка есть землянка, в земле, как в гробу’; *w ohoroďe sázim* ‘в огороде сажаю’ / *ne*, *cukr̥ néjn’i v ohoroďe* ‘нет, сахар не в огороде’; *kluci tam uďáli wohen’* ‘ребята там развели костер’; *tak von ho poslal* ‘и он послал его’ / *a won jí potom zaklepal* ‘а он ей потом постучал’; *liďi se zlobjej*, *že an’i nepomluwim*, *a já to wám neviďím*, *hdo to dē* ‘люди обижаются, что я не поговорю, а я, представьте, не вижу, кто это идет’; *a vona se smn’eje a povídá…* ‘а она смеется и говорит…’ / *a já ešče powidám…* ‘а я еще говорю…’ и т. п.

На собственно чешской территории подобная реализация фонемы /v/ свойственна северо-восточным диалектам, тогда как ЮЗЧ сохраняют лишь ее следы (наблюдающиеся также в СКЧ, типа *do tech Buďejic* < -ow’ic ‘в эти Будеёвице’). С учетом этого указанную особенность следует рассматривать как развившуюся в СКЧ под воздействием РЯО, а первоначально, по-видимому, «балачки». Закономерно, что она отмечается и в русских — а также «украинского типа» — вкраплениях в чешский дискурс носителей данного идиома, ср.: *uš mn’eli sme tolika dakum’Entou̯* ‘у нас уже было столько документов’; *a teť uš fs’o*, *nemA Čechou̯* ‘а теперь уже все — нет чехов’.

Что касается неслоговой части дифтонга *ou̯*, показательно, что северокавказские чехи, записывая свои песни русскими буквами, передают ее через «в»: *гусы се пасов* (= *husi se pasou̯* ‘гуси пасутся’), *заби некеров* (= *zabí nekerou̯* ‘убей какую-нибудь’), *то сов гусы панимамы* (= *to sou̯ husi pan’imámi* ‘это гуси хозяйки’), *ковлело се*, *ковлело* (= *kou̯lelo se*, *kou̯lelo* ‘катилось, катилось’). Трактовку элемента [u̯] в подобных случаях как варианта фонемы /v/ подтверждает и единичный пример оглушения его перед глухим согласным: *starí liďi to nazívali Viktoru koft* (= kou̯t) ‘старые люди называли это «Викторов угол»’. То же явление часто наблюдается в иноязычной лексеме *auto* ‘(авто)машина’, в первом слоге которой в чешском языке традиционно усматривают дифтонг *au̯-*, ср.: *avto*, *samosváli Maγ’Irus… schváln’e pro Rusko tam ďelají takoví afta* ‘машина, самосвалы «Магирус»… специально для России там делают такие машины’; *ešče sem jezďila au̯tem* ‘я еще ездила на машине’ / *na afto nemúžu zalest* ‘на машину не могу залезть’.

В остальном система согласных СКЧ демонстрирует частичный сдвиг в сторону «палатализующего» типа, как он был назван в работе [Якобсон 1985: 100]. Исходно присущее данному говору ограниченное противопоставление по твердости / мягкости лишь альвеолярных (гингивальных) /d/, /t/, /n/ и палатальных /ď/, /ť/, /n’/ в целом сохраняется, но так как его двуязычные носители постоянно

сталкиваются с необходимостью выбора между указанными чешскими согласными и их русскими соответствиями, твердыми и палатализованными зубными, здесь нередко имеет место субституция, иногда ведущая даже к русского типа нейтрализации усваиваемых из РЯО пар в позиции перед гласными переднего ряда (ср. *hďe* ‘где’, *dejťe* ‘дайте’, *zďi tam pjekn’í* ‘стены там хорошие’ и т. п.).

Через многочисленные заимствования из РЯО в консонантизм СКЧ входят также другие мягкие фонемы: сонорные /l’/ и /r’/, шумные /z’/, /s’/ и губные. Факультативно на правах позиционных вариантов, а иногда и в независимом положении такие согласные появляются и в словах / словоформах, не маркированных как иноязычные вкрапления, ср.: *l’íčil* ‘лечил’, *vibír’ejte si* ‘выбирайте себе’, *jez’ďila* ‘ездила’ (с русским регрессивным смягчением), *proz’ za náz za hříšn’í* ‘проси за нас, грешных’, *p’ekn’e* ‘хорошо’, *m’ej hambu nákoů!* ‘постыдись!’ (где [*p’*], [*m’*] — варианты сочетаний pj и mj/mn’).

Чешская альвеолярная сонорная /l/ под влиянием РЯО имеет в СКЧ и твердый зубной аллофон типа русского [л], после которого, в частности, гласная /i/ реализуется в более заднем варианте [у] (аналогичном рус. [ы]). Распределение всех этих плавных боковых сонорных является, с одной стороны, традиционным, а с другой — достаточно свободным, ср.: *Tam ďedoůšek s sabľoů seďí… von sloůžil в арм’ии, и в’иď’има, jak sme se dohádaly, von ľíčil lyďi vod rán, protože von vjed’el, jak viľíčit ľuboů ránu* ‘Там дедушка с саблей сидит… он служил в армии, и видимо, как мы догадались, он лечил людей от ран, потому что он знал, как вылечить любую рану’.

Задний вариант фонемы /i/ в СКЧ часто выступает и после губных согласных, напр.: *tadidle… sme byly vyšly* ‘вот тут… мы (было) вышли’; *a pyvo, tam je takoví pyvo dobrí* ‘а пиво, там такое пиво хорошее’ (при *a pī́vo…* ‘и пиво…’ с фразовым продлением [i]). Наряду с этим фонема /i/ в позиции после /e/, губных и других согласных и даже в начале слова реализуется также в верхне-среднем варианте [ɪ] — украинского типа гласном, колеблющемся между [i^{e}] и [e^{i}] (вплоть до совпадения с [e]), напр.: *mi sme tahali přes rameno uzlı* ‘мы тащили через плечо узлы’, *an’i nemšli n’ikam* ‘и не вздумай никуда (идти)’, *a vozı mn’eli…* ‘а возы у них были…’, *nu i sı vzali tuhletU* ‘ну и взяли себе вот эту’, *dıš potom taťínka vzali* ‘когда потом папу взяли…’, *nu von přıcházel, přıjížď’el* ‘ну он приходил, приезжал’, *ďelali klobási takoví, ıtrn’ice* ‘делали колбасы такие, кровяные’. Так же может реализоваться и долгая /ī/: *tam taki nepřijížďel* ‘туда он тоже не приезжал’, *fšechno, co ona mn’e říkala po česki…* ‘все, что она мне говорила по-чешски…’.

Характерный пример такой модификации /i/ в СКЧ дает судьба названия чешского мучного изделия *koblihy* ‘пончики’. В этногра-

фическом очерке [Кузнецов 1999: 120] среди традиционных кушаний чехов Северного Кавказа указаны «пирожки с мясом (koblehi)»; приблизительно в том же произношении это слово было записано в 2010 г. от одной из информанток в новороссийском поселке Мефодиевка (*koblıhi pečete* ‘пончики печем’), но в русскоязычном дискурсе чехов Кирилловки оно звучит как *коблы́ги* (с ударением на втором слоге). Не случайны и написания *s Anape* ‘из Анапы’ и, наоборот, *v Anapy* ‘в Анапе’ в сочинениях участниц творческого конкурса 2012–2013 гг. из Варваровки, первое из которых хорошо соотносится с фразой *přilít letadlem do AnApı* ‘прилетел на самолете в Анапу’, записанной в 2009 г. в Кирилловке.

Эти особенности реализации фонемы /i/ в СКЧ, безусловно, сложились вследствие давнего контакта данного говора с «балачкой». В консонантизме результат сложного взаимодействия с нею и РЯО представляет собой, далее, распространение сочетания **šč**, не характерного для ЮЗЧ и вообще собственно чешских диалектов, на месте чешского **šť** (при фонологически не значимом артикуляционном сближении шипящих согласных /č/, /š/, /ž/ с соответствующими русскими) и употребление в лексемах, усвоенных из РЯО, южнорусского фрикативного [γ] (в том числе позиционно смягченного), факультативно варьирующегося с взрывным [g], напр.: *po čuγUnce pješki de* ‘по чугунке пешком идет’, *abis sazel vinoγrat* ‘чтобы ты сажал виноград’, *do padesát šístího láγer’u* ‘в пятьдесят шестой лагерь’ / *bil tam láger’ takovej* ‘там был такой лагерь’, *jedna žije moje vnučka v Archaŋγelsku a je*(*d*)*na na Volγ’e žije* ‘одна моя внучка живет в Архангельске, а другая на Волге’ (но при повторении этой фразы — *v Archaŋgelsku*).

2. В морфологии СКЧ — при хорошей в целом сохранности исходного диалектного состояния — главным итогом интенсивной чешско-русской интерференции явилось разрушение выражения одушевленности у существительных мужского рода прежде всего твердого типа склонения в им. п. мн. ч. Особую форму с маркирующим одушевленность чередованием конечного согласного основы перед унифицированным окончанием **-i** (выступающим и у неодушевленных существительных) относительно последовательно сохраняют только некоторые лексемы со значением лица или животного: ***Čech*** (*Tadi Češi pjekn’e žili*, *pjekn’e!* ‘Чехи тут хорошо жили, хорошо!’), ***hoch*** (*hoši holkám stavjeli máj* ‘парни девушкам ставили майское деревце’), ***kluk*** (*ti klucí dlōu̯ho byli* ‘эти ребята долго были’), то же у существительных с суффиксальным или интерпретируемым так элементом ***-ák*** (*pasáci tam žili* ‘пастухи там жили’), ***vl̥k*** (*aš tři přišli vl̥ci* ‘целых трое пришло волков’), ***bratr̥*** (*moje bratři jezďili do Čech* ‘мои братья ездили

в Чехию’), ***host*** (*tak dicki hosťi přicházeli* ‘так всякий раз приходили гости’), ***kamarád*** (*mušel to vartovat do rána*, *inádž bi mu to kamaráďi tam slámali* ‘он должен был караулить (деревце) до утра, иначе друзья бы его сломали’), ***Žid*** (*Mn’ela sem mího sináčka*, *Žiďi mn’e ho vzali* ‘Был у меня мой сыночек, евреи у меня его отняли’), ***Cikán*** (*a pak se sem poselili Cikán’i* ‘а потом тут поселились цыгане’) и др.

Характерно, что у существительных, не утрачивающих формы им. п. мн. ч. с чередованием конечного согласного основы, другие падежные формы мн. ч. также могут образовываться от основы с чередованием (или напрямую от формы им. п. с «сингармонизацией» окончаний), напр.: *Češú uš je málo* ‘чехов уже мало’, *mezi Češima* ‘среди чехов’ (букв. ‘между чехами’); *toliká klucí — dvacet člověk!* ‘столько парней — двадцать человек!’, *i honem na tu stranu zas ke klucím* ‘и скорей на ту сторону, назад к ребятам’; *Nejste žádnej Žiďi? Ze Žiďí?* ‘Вы тут никто не евреи? Из евреев?’.

На территории Чехии аналогичное явление отмечал Я. Белич в северо-восточных — но не в ЮЗЧ — говорах (*hoch*, *kluk* — им. п. мн. ч. *hoši*, *kluci* и далее род. п. *hošu*, *klucu*; тв. п. *hošima*, *klucima*), допуская, что оно связано с характерным для тех же северо-восточных и центральночешских говоров совпадением форм им. и вин. п. мн. ч. одушевленных существительных типа *potkal dva vojáci* ‘встретил двух солдат’ [Bělič 1972: 164]. Подобное совпадение наблюдается и в СКЧ, ср.: *f sedumdesát nákim roku… choďili tadi*, *přepisovali fšechni Češi* ‘в семьдесят каком-то там году ходили тут, переписывали всех чехов’, то же с предлогом: *dříf*, *do vojni*, *vdávali se jenom za Češi* ‘раньше, до войны, замуж выходили только за чехов’; *N’emci sebírali fšechni ti mladí klucí* ‘немцы собирали всех этих молодых ребят’; *von taki sám to neďál*, *von mn’el kamarád’i* ‘он это не один делал, он имел друзей’. Интересное употребление в позиции вин. п. формы им. п. мн. ч. чешского названия животного (с чередованием **d — d’** и долгим окончанием **-í**) и соответствующего русского родового наименования отмечено в макаронической русско-чешской фразе *он л’уб’ил вот эт’и*, *kerak — zvířata … tam medvjeďí*, *tuhleto*, *víš… ну ваапще зв’ер’и*, *зв’ер’и*, *von mn’el rat* ‘он любил вот этих, как их — животных… медведей там, все это, понимаешь… ну вообще зверей он любил’.

Большей частью, однако, одушевленность у существительных мужского рода твердого типа склонения в формах им. п. мн. ч. в СКЧ не выражается. Эти формы в основном совпадают с исконными формами вин. п. мн. ч., ср.: *a teť sem přišli Tatari a Turki a fšecko tadi je* ‘а теперь сюда пришли татары и турки, и всякие тут есть’; *a von’i to bili či Uzbeki nebo Hruzíni — ne Ruskí* ‘а это были то ли узбеки, то ли грузины — не русские’; *vnuki… uš máloco rozumí i nemluví*, *a pravnuki*

teprva ‘внуки… уже мало что понимают и не говорят, а правнуки тем более’; *seďí babički*, *ďedečki tam f parku* ‘сидят там в парке бабушки, дедушки’; *ďeln’íki š jeli na práci* ‘рабочие же ехали на работу’ и т. д. Колебания в выражении одушевленности в им. п. мн. ч. посредством чередования конечной согласной основы демонстрирует даже лексема **Čech**. Форма *Čechi* (= рус. *чехи*) слышится изредка в Кирилловке, ср. *an’i český filmi naše nekupujoů tam a Čechi neprodávají asi… Češi soů moc ozlobení na Ruskí*, *na Rusi* ‘и фильмов-то чешских наши (т. е. россияне) не покупают там, а чехи и не продают, наверное… чехи очень озлоблены на русских’, регулярно же ее употребляют в Варваровке: *Čechi žili bídn’e f Čechách* ‘чехи бедно жили в Чехии’, *a mi uš sme takoví Čechi: jedno slovo po česki…* ‘а мы уже такие чехи: одно слово по-чешски…’.

Из одушевленных существительных мягкого типа склонения специфическое окончание им. п. мн. ч. **-i** (отличное от окончания **-e** у неодушевленных существительных) сохраняют, при несомненной поддержке со стороны РЯО, в первую очередь названия народов на **-ec**, особенно **N’emec**; в остальном окончание **-i** у чешских слов этого типа отмечается редко, для русских же (в чешском дискурсе) оно, напротив, обычно, напр.: *tadi už bili N’emci u nás… a policEji* (!) *bili…* ‘тут у нас уже были немцы, и полицаи были…’, *Luzumú modláři* ‘Лузумы-молельщики’, *naše roďiči* ‘наши родители’ (при регулярной форме *roďiče*). Формы им. п. мн. ч. существительных с суффиксом **-tel** сохраняют исконное окончание **-e** (с краткостью, как и в собственно чешских диалектах, в отличие от чеш. лит. **-é**), ср.: *Vi ste přátele? Ne…* ‘Вы родственники? Нет…’; *No a jak vaše učen’ikI? Von’i uš končívají, da? Budoů učitele?* ‘Ну а как ваши ученики? Уже заканчивают, да? Учителями будут?’.

Формы им. п. мн. ч. одушевленных существительных мягкого типа склонения с окончанием **-i** в СКЧ также нередко выступают в позиции вин. п., напр.: *a ten Кал’ин’ин*, *кап’итан Кал’ин’ин… von se pojtŋhnul i N’emci pojtŋhnul… tak N’emci jemu uďelaly… pochovaly hO i uďály mu kříš* ‘а этот капитан Калинин… он подорвал сам себя и немцев подорвал… так немцы ему поставили… похоронили его и поставили ему крест’.

В целом можно констатировать, что в СКЧ наблюдается постепенное устранение оппозиции форм им. и вин. п. мн. ч. одушевленных существительных в результате их унификации, движущейся в двух направлениях: в одном случае происходит перенесение исконных форм им. п. мн. ч. в позицию вин. п., во втором — распространение исконных форм вин. п. мн. ч. на им. п. Первый процесс лежит в русле тенденции, издавна действующей в диалектах на территории Чехии; второй, более

активный, несомненно, обязан влиянию РЯО. При этом заслуживает внимания, что данное влияние практически не приводит к развитию у одушевленных существительных новой дифференциации форм им. и вин. п. мн. ч. в результате совпадения последних с формами род. п. мн. ч., как в русском языке. Случаи подобного совпадения в СКЧ крайне редки, напр.: *do Krimu přijeli — a tam už bili TatAri… jak ten ešče… <…> náš SuvOrof, vot… jak vihnal tech TatArú… tich Turkú, a zvostali jen TatAri* ‘приехали в Крым, а там уже были татары… когда еще этот… наш Суворов, вот, выгнал тех татар… тех турок, и остались только татары’. Нормой же является состояние, когда им. п. мн. ч. = вин. п. мн. ч., но вин. п. мн. ч. ≠ род. п. мн. ч., что распространяется и на русские одушевленные существительные в чешском дискурсе, напр.: *já prej mám taki roctven’iki f Čechách* ‘я, говорит, тоже имею родственников в Чехии’; *tam bili samí Jevr’Eji, žili f tej vesn’ici… tak ti Jevr’Eji fšechni N’emci potříleli* ‘там были одни евреи, жили в той деревне… так этих евреев всех немцы расстреляли’.

У согласуемых с существительными слов в СКЧ выражение одушевленности во множественном числе также нарушено. Регулярные формы им. п. мн. ч. всех разрядов адъективных слов при согласовании с одушевленными существительными, даже так или иначе выражающими одушевленность в данном падеже, — «неодушевленные», равные формам вин. п. мн. ч. У прилагательных и указательного местоимения **ten** это состояние совпадает с общедиалектным на территории собственно Чехии, напр.: *ti vojáci tadi stáli, n’emeckí* ‘эти солдаты тут стояли, немецкие’; у притяжательных же местоимений, а также определительного **fšechen** ‘весь’ (и его варианта с суффиксом **-ck-**) такая генерализация «неодушевленных» форм отмечается в центральночешских и в северо-восточных говорах, но не в ЮЗЧ [Bělič 1972: 177]. В СКЧ она тем не менее вполне обычна, ср.: *jó, to ešče moje rodiče spívali* ‘да, это еще мои родители пели’; *naše vojáci tam ochran’ali* ‘наши солдаты там охраняли’; *tadi škola teť nejn’i… vona je na Dolin’e… i liďi tam fšechni, to jesť školáci tam fšechni jezďejí* ‘здесь сейчас школы нет, она в Долине, и люди все туда, то есть школьники все туда ездят’; *i sin přijde s nevjestoṷ, i fšecki hosťi za stolem* ‘и сын придет с невесткой, и все гости за столом’ и т. д. Только спорадически у притяжательных местоимений встречаются также «одушевленные» формы им. п. мн. ч. с окончанием **-i** (иногда и в позиции вин. п.): *to soṷ moji přátele* ‘это мои родственники’; *pak tam uš naši soldati přijeli* ‘потом туда уже пришли наши солдаты’; *ja jsem fšechno za naše, za naši roďiči psala* ‘я все про наших родителей записывала’. Пример с «одушевленной» формой **fšichn’i** при существительном грамматически среднего рода со значением лица женского пола, впрочем, говорит о том, что элемент **-i**

не является у подобных форм действительно показателем одушевленности: *a Viktorú… fšichn'i bili húďata <…> z Varvarofki, jo* 'а в семье Виктора… все девушки были из Варваровки, да'.

Изначально «одушевленную», но унифицированную, как в диалектах собственно Чехии (а также как в русском языке), форму им. п. мн. ч. имеет местоимение 3-го лица **(v)on** — **(v)on'i**. Эта форма, однако, корреспондирует далеко не только с одушевленными существительными мужского рода, но и со всеми остальными, ср.: *potom sı postavjeli domečki… komišem bili nakrití, já už bila vdaná tadi a von'i tam bili pořát komišem* 'потом построили себе домики… камышом были крытые, я уже была здесь замужем, а они (= домики) там так и были камышом' и т. д.

Под воздействием РЯО у местоимения 3-го лица, а также у определительного **fšechen** и некоторых иных адъективных слов в вин. п. мн. ч. распространяется форма, равная форме род. п. При этом у личного местоимения такая форма (**jich** наряду с обычной **je**) также корреспондирует не только с одушевленными существительными, ср. *Čerk'Esi bili i jich vihnali* 'Черкесы были, и их выгнали'; *a přivezli jih do Hlebofki, tam taki bili Češi* 'и привезли их в Глебовку, там тоже были чехи'; *vona posílala tam… svího jako známího do Brna… abi našli, našla jich* 'она посылала туда, своего то есть знакомого, в Брно, чтобы найти их' (= родных), но также *jesli kvočka s kuřatama — zavři jich tam, abi nechoďIli* 'если курица с цыплятами — запри их там, чтобы они не ходили'. Интересен контекст *sebrali jich, tich starejch, jako starších a starejch, kerí si pamatují česki… češskij jazik…* 'собрали их, этих стариков, то есть пожилых и старых, которые помнят чешский язык', где форма вин. п. мн. ч. *jich*, здесь явно отсылающая к группе лиц в том числе мужского пола, уточняется субстантивированными прилагательными также в форме вин. п., равной форме род. п. мн. ч.

Видимо, только с одушевленными существительными соотносятся встречающиеся иногда в позиции вин. п. формы определительного местоимения **fšech** и **fšeckích** (наряду с **fšechni** / **fšecki**), как и совпадающая с формой род. п. мн. ч. форма числительного **dva**, ср.: *a ten čas akorát fšeckích i s Čech, i N'emci, fšecki zasílali sem do Ruska ďelat* 'а в то время как раз всех и из Чехии, и немцев посылали сюда, в Россию, работать'; *i hodn'e takovejch sem… Dolejška vislali votteť i… fšech* 'и много таких сюда… Долейшека оттуда выслали, и всех'; *von povídá: jo, jo, pojte sem, pojte, fšecki ťi* (?) *N'emci, fšech vihnali…* 'он говорит: да-да, идите сюда, эти немцы всех, всех выгнали'; *nu a tadi bili u ťech, u N'emcejch* (!) *bili ruskí plenní <…> tak vot popadla tam dvouch, on'i přišli…* 'ну а тут у этих, у немцев, были русские пленные… так вот, она там взяла двоих, они пришли…'

Авторы монографии «Говор чешских реэмигрантов с Украины» Я. Янчакова и П. Янчак, очертив сравнимую с северокавказской ситуацию в области (не)выражения одушевленности у волынских чехов (*Češi si jen brali Češi* ‘чехи брали себе в жены / мужья только чехов’, *naše ďedečki bili vocať* ‘наши дедушки были родом отсюда’ — тип, за пределами лексико-грамматической группы названий животных незнакомый диалектам на территории Чехии), в главе «Иноязычные и новые влияния в украинском чешском» несколько неожиданно на фоне описанных фактов заключают, что применительно к данному уровню в изучаемом ими идиоме «можно говорить лишь об отдельных случаях, но не о влиянии всей системы. К таким влияниям можно отнести только тип *voba sou Vláďi* /Vláďové/, *tři Poláčki u náz bili* / Poláčkové/ (‘они оба Влади’, ‘у нас было трое Полачеков’. — *С. С.*), то есть по существу тип, окраинный в категории семейных наименований» [Jančáková, Jančák 2004: 39, 123–124]. Материал СКЧ, напротив, дает основания заключить, что как северокавказский, так, видимо, и волынский идиом испытали системное влияние РЯО в первом и украинского — не без участия русского — языка во втором случае, причем не на окраинных участках категории одушевленности. Результатом этого стал своеобразный внутренне динамичный баланс: исходное состояние в сфере выражения одушевленности во мн. ч. было разрушено, хотя и не до конца, однако переход к новой системе по образцу воздействующего языка с распространением на множественное число соотношения «вин. п. = род. п.», в СКЧ лишь намечающийся, не осуществился.

3. В области синтаксиса на дрейф СКЧ в сторону сближения с РЯО указывает прежде всего некоторое ослабление тенденции к выражению предикации личными глагольными формами, в частности, за счет распространения инфинитива, в том числе в предложениях, содержащих союзы с показателем сослагательного наклонения **bi**, а также русских модальных предикативов (конкурирующих с чешскими модальными глаголами), напр.: *Je to v horách… abi tam to svorát — ne, fšechno rukama, rukama* ‘Это в горах… чтобы это там распахать — нет, все руками, руками’; *Sem hdibi se… sebrat asi deset pjeknejch klucí, možno uďelat. Облаѓород’um’* ‘Сюда если бы собрать с десяток хороших ребят, можно (это) сделать…’; *No kravička… ji nado i dójit, kŋmit…* ‘Но корова — ее надо и доить, кормить…’; *Nu tak, nada jít* ‘Ну так, надо идти’ / *Nu ja ž jinak přece muším fstát…* ‘Ну иначе я же должен встать…’ и т. п.

Некоторые такие случаи относятся к области речевого этикета. Так, представляется примечательной реакция информантки на устойчивую чешскую формулу по русской модели с выражением

адресата желаемого действия дательным падежом при опущении личной формы глагола-сказуемого: *Mi sme f Čechách <…> taki f kafe sme zacházeli, a tam se ptají: co si přejete? ze šlehačkou̯ nebo bes šlehački? a já na to <…> nám se šlehačkou̯* ‘Мы в Чехии… и в кафе заходили, а там спрашивают: что вы желаете? со взбитыми сливками или без них? а я на это… нам со сливками’. Ср. также: *To se nedovolovalo u komun’Istú! <…> Ti co!* ‘Это не разрешалось при коммунистах!.. Ты что!’.

Наряду с этим, однако, в СКЧ сохраняется центральноевропейская тенденция а) к заполнению местоимениями позиций объектных актантов предиката с соответствующими валентностями и б) к прономинальному заполнению позиции субъекта в предложениях так наз. типа es-Sätze (как в чеш. лит. *Táhlo mě to domů* — аналогично нем. *Es zog mich nach Hause*, в отличие от рус. *Меня тянуло домой*).

Можно сказать, что по крайней мере вторую тенденцию СКЧ даже усилил: здесь, помимо обычных в чешском языке на исходной территории, в том числе в говорах, предложений типа *posle vojni uš fs’o, uš to žádního k n’ičemu netáhlo* ‘после войны уже все, уже никого ни к чему не тянуло’, наблюдается распространение модели с местоимением **to** + V_{impers} на такие случаи, как *f Čechách se nám to zalíbilo* ‘в Чехии нам понравилось’ (букв. ‘*это* понравилось’, ср. соврем. чеш. *v Čechách se nám líbilo* без местоимения, но нем. *in Tschechien hat es uns gefallen*), а также *nu, uš to tálo jako* ‘ну, уже была как бы оттепель’ (букв. ‘уже *это* таяло’), *mn’e to v nojabr’u ran’ilo* ‘меня (букв. *это*) в ноябре ранило’, *mn’e to uš třese* ‘меня (букв. *это*) уже трясет’, *v noci jak to chytne, tak já honem žyuti nakládam* ‘ночью как (букв. *это*) схватит, так я сразу жгуты накладываю’ и даже *bilo to tak, že jako... se to načínalo tadik jenom pochovávat* ‘было (букв. *это*) так, что тут только начинали (букв. *это* начиналось) хоронить’.

С данным типом предложений в СКЧ конкурирует проникающий из РЯО тип без местоимения, напр.: *hrom uhoďil, toho briγaďira vodhoďilo i zabilo ho to* ‘ударил гром, этого бригадира отшвырнуло — и убило его (букв. *это*)’; *teťe Božen’e Krahulcú do saraje taki bou̯chlo i zabilo ji to jalovici* ‘тете Божене Крагулец в сарай тоже ударило, и убило у нее (букв. *это*) корову’. Характерно, что в этот последний тип, вопреки узусу в РЯО, может внедряться местоименный объект, ср. особенно: *vot vibilo mn’e to z hlavi* ‘вот вышибло у меня (букв. *это*) из головы’.

В остальном местоименное заполнение позиций объектных актантов, а также употребление дейктических атрибутивных и адвербиальных местоименных слов в СКЧ является — на уровне речи —

активным процессом в сравнении с РЯО, а иногда и в сравнении с современным чешским языком на основной территории его распространения. Ср. примеры: *Chleb náš vezdejší dej ho* (!) *nám dnes* ‘Хлеб наш насущный дай (букв. *его*) нам днесь’; *D’edoušek <…> umřel f štiricátim roku, v marťe mn’esíci. Nevidržel tO i umřel.* ‘Дедушка… умер в 40-м году, в марте месяце. Не выдержал (букв. *это*) и умер’; *tak vot dávejte... vot načn’eme to počítat* ‘так вот давайте… вот начнем (букв. *это*) считать’; *bramború bilo — ój, do Avta to nepoγruzíš* ‘картошки было — ой, на машину (букв. *это*) не погрузишь’; *tak von’i ďelají jak knedlíki: uďelají jE a vikutálejí takle... a pak to řežou n’itkou* ‘они кнедлики как делают: сделают (их), раскатают вот этак, а потом режут (букв. *это*) ниткой’; *nu tak já sem tam jela, načla sem to viprávjet, že tadi mám ešče nehde strejčka* ‘ну я туда поехала, начала рассказывать (букв. *это*), что у меня тут еще где-то дядя’; *a teď jim to tuhle malím povídáš: a nu neperte se!* ‘а теперь ты (букв. *им*, *это*, *вот тут*) малышам говоришь: а ну не деритесь!’; *von’i se tam obráťili k tomu oficEru a takle a takle to povídají, vaše soldAti nám to vzali* ‘обратились они к офицеру (букв. *там*, *к тому*): так и так, говорят (букв. *это*), ваши солдаты у нас это отобрали’; *listal to, listal to ten voják tam f tom va’Onye...* ‘листал он это, листал (повторно *это*!) тот солдат там в том вагоне…’ и т. д.

Сказанное позволяет заключить, что, воспринимая во многих случаях русские «макросинтаксические» модели, СКЧ по-прежнему верно сохраняет либо даже развивает диалектный чешский и — шире — центральноевропейский «микросинтаксис». Тем самым его дрейф по направлению к РЯО оказывается далеко не завершенным.

Литература

Кузнецов 1999 — *Кузнецов И. В.* Чехи Кавказа // Бюллетень центра содействия развитию и правам расовых, этнических и лингвистических меньшинств. Краснодар, 1999. С. 116–122.

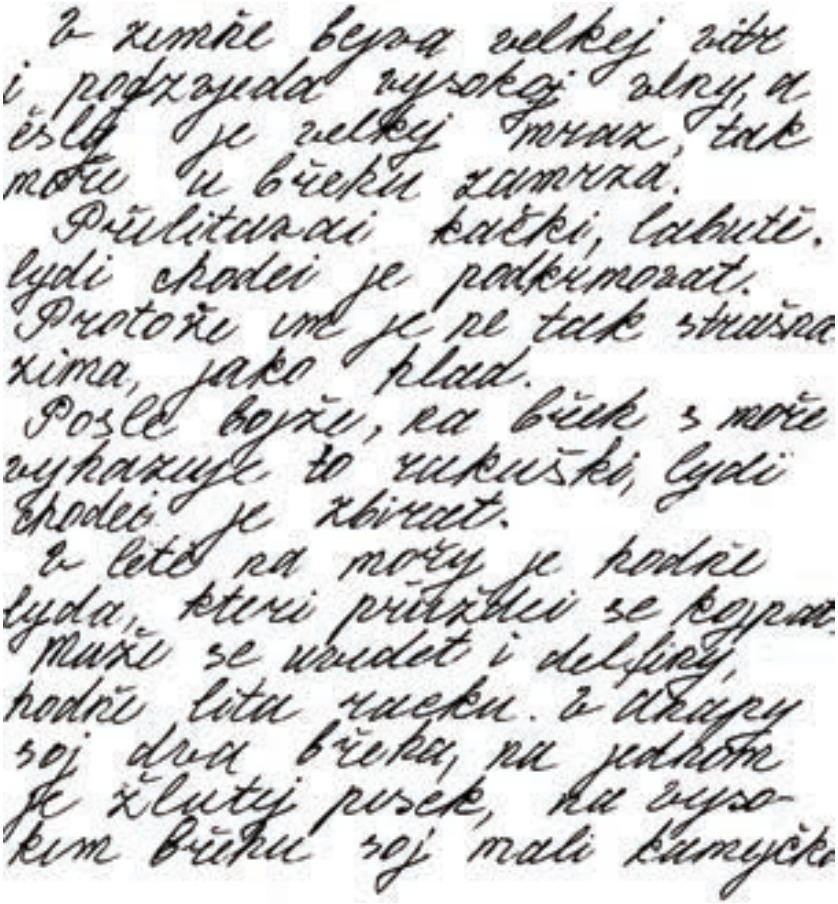
Скорвид, Третьякова 2009 — *Скорвид С. С.*, *Третьякова И. В.* «Тут жил Кирилл, а там — Мефодий…», или Чехи под Новороссийском // Язык, сознание, коммуникация. Вып. 38. М., 2009. С. 40–54.

Якобсон 1985 — *Якобсон Р. О.* О теории фонологических союзов между языками // Якобсон Р. Избранные работы. М., 1985. С. 92–104.

Bělič 1972 — *Bělič J.* Nástin české dialektologie. Praha, 1972.

Jančáková, Jančák 2004 — *Jančáková J.*, *Jančák P.* Mluva českých reemigrantů z Ukrajiny. Praha, 2004.

Приложение. Фрагмент сочинения Е.В. Филипповой (урожд. Малик, 1954 г. р., Анапа) «Прекрасная наша долинка», поданного на конкурс, объявленный в 2013 г. культурно-просветительным чешским клубом «Матержидоушка».


v zimě bejva velkej zima
i podzyda vysokej vlny, a
ešlť je velkej mraz, tak
moře u břehu zamrzá.
Přilitavai kački, labutě.
lydi chodei je podkrmovat.
Protože im je ne tak strašna
zima, jako hlad.
Posle bouře, na břeh s moře
vyhazuje to rukuški, lydi
chodei je sbírat.
v letě na moři je hodně
lyda, kteri přiježdei se kejpat.
Muže se uvidet i delfiny,
hodně lita rueku. v dvěry
soj dva břeha, na jednom
je žlutij písek, na vyso-
kim břehu soj mali kamyčka

V.

А. Г. Кравецкий

Церковнославянский язык как один из современных славянских языков

1. **Круг источников**. Кирилло-Мефодиевское наследие является предметом диахронного описания. По отношению к классическим старославянским памятникам такой подход вполне естественен. Однако имеется значительный корпус тестов, которые с одинаковым успехом можно рассматривать и как древние, и как современные. Я имею в виду корпус церковнославянских текстов, входящих в современную богослужебную практику или связанных с практикой современного православного благочестия. Формальным критерием, позволяющим отнести конкретный текст к числу используемых в современной церковной практике, мы будем считать наличие переизданий (или изданий), осуществленных в XX–XXI вв. При этом речь идет о книгах, аудиторией которых издатели считают православных. Классифицируя эти тексты, можно выделить следующие рубрики[1]:

Книги, используемые в общественном и частном богослужении: Служебник, Требник, Минеи, Триоди, Октоих, Ирмологий и т. д. Именно богослужебные книги представляют собой ядро корпуса церковнославянских (далее — цсл) текстов. В эту же рубрику следует, по всей видимости, включать Типикон, представляющий собою своеобразную инструкцию по использованию богослужебных книг. Богослужебные книги, в свою очередь, содержат значительное количество ремарок и комментариев, заимствованных из Типикона.

Священное Писание. Следует иметь в виду, что Священное Писание существует в двух вариантах — служебном (более архаичном

[1] Подробнее об объеме церковнославянского корпуса см. [Добровольский и др., в печати].

Александр Геннадьевич Кравецкий,
Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН (Москва)

Работа выполнена при поддержке РГНФ. Проект № 13-04-00223/13.

в языковом отношении) и четьем[2]. Богослужебная и четья редакции Писания отличались друг от друга еще в византийской традиции. Эти различия унаследовала и церковнославянская книжность. В XVIII в. в триодных паремьях богослужебная редакция была заменена четьим текстом, в то время как в минейных паремьях оставалась прежняя, более архаичная редакция. Таким образом, в современной богослужебной практике сосуществуют обе редакции Священного Писания, имеющие заметное количество лексических разночтений.

Акафисты[3]. Среди церковнославянских текстов акафисты занимают особое место. Как известно, по степени русификации и размытости языковой нормы акафисты превосходят все другие виды церковнославянской книжности. При этом, согласно представлениям читателей (слушателей) акафистов, они написаны не на русском языке, а на цсл. Среди цсл текстов, написанных в XIX–XXI вв., акафисты явно преобладают. Эти тексты дают исследователям весьма ценный материал, поскольку они отчетливо демонстрируют представления широкой массы верующих о церковнославянском языке.

Источники канонического права. Здесь следует назвать впервые изданную в 1839 г. Книгу правил[4], официально заменившую Кормчую. Язык этой книги был подвергнут заметой русификации.

Святоотеческая литература и агиография. Благодаря деятельности русских переводчиков второй половины XIX в., основной массив святоотеческих текстов существует на русском языке. При этом тексты, изначально написанные по-гречески, в основном читаются по-русски (даже при наличии церковнославянских переводов), а тексты русских подвижников, как правило, на русский язык не переводятся. По-славянски читаются Иосиф Волоцкий, Нил Сорский, Паисий Величковский, Димитрий Ростовский и др. Язык каждого из этих авторов имеет особенности, выходящие за пределы церковнославянской нормы. Ряд таких исконно церковнославянских текстов был в XVIII–XIX вв. подвергнут языковой унификации. Такой унификации подверглись, например, Минеи Димитрия Ростовского[5], которые представляют собой наиболее полный свод агиографических текстов.

2. Синхрония и диахрония. Для описания перечисленных в предыдущем разделе типов текстов с равным успехом могут применяться как

[2] См. [Людоговский 2006; 2010].

[3] См. [Попов 2013; Людоговский и Плякин 2010; Людоговский 2010а; Людоговский и Плякин 2013].

[4] Об этой книге см. [Белякова 2004: 25–27].

[5] Минеи Димитрия Ростовского имеются в русском переводе, однако церковнославянский текст также переиздается.

синхронные методы, так и диахронные. Основанием для диахронного описания является тот факт, что цсл описывается как язык определенного корпуса текстов, большая часть которого была окончательно сформирована, по крайней мере, к середине XVIII в. Однако при функциональном подходе, то есть определяя цсл как богослужебный язык, используемый в настоящее время в русской, болгарской, сербской и некоторых других православных церквях, нам придется обратиться уже к современной языковой ситуации.

До недавнего времени общепринятой оставалась точка зрения, согласно которой начиная с XVIII в. церковнославянская книжность консервируется и уже не развивается [Матиесен 1984: 61–64]. Лишь в последние десятилетия это представление было поколеблено, с одной стороны, благодаря изучению истории создания и редактирования имеющегося корпуса церковнославянских текстов, а с другой — выяснением того, что лексика и метафорика богослужебных текстов продолжала и продолжает меняться и развиваться.

2.1. **Деятельность справщиков и редакторов**. Если во второй половине XVII в. в результате Никоновской и послениконовской книжной справы сформировалась современная редакция богослужебных книг, то на протяжении XVIII–XIX вв. происходила языковая и орфографическая унификация существующих текстов. Она осуществлялась не при помощи грамматических описаний (нормативных церковнославянских грамматик нет и сегодня), а благодаря деятельности типографских справщиков, стремящихся стандартизовать книги, издаваемые синодальными типографиями. Техническая возможность такого способа нормализации связана с тем, что право выпускать богослужебные книги имели только три синодальные типографии: Московская, Санкт-Петербургская и Киевская. При этом подавляющее большинство текстов выходило в Москве. В середине XIX в. церковные власти и типографские справщики предприняли максимум усилий для того, чтобы языковые и орфографические нормы этих типографий сблизились [Кравецкий 2008].

Деятельность справщиков XIX в. была направлена на то, чтобы язык богослужебных книг был грамматически правильным. При этом работа над унификацией текстов велась при отсутствии описания нормы. Грамматика Смотрицкого и другие грамматические сочинения хотя и использовались, но информация, содержащаяся в этих сочинениях, была явно недостаточна. Таким образом, решение задач консервации и унификации вело к постоянной эволюции нормы. Наиболее активно этот процесс касался орфографии и пунктуации.

Следует также отметить появление в последней четверти XIX в. ряда экспериментальных церковнославянских изданий, предназначенных для учебных целей. Назовем хотя бы осуществленные Н. Ильминским издания Учебного октоиха и Учебного часослова, содержащие определенную архаизирующую правку[6], а также серию полиглотт, выпущенных Санкт-Петербургской синодальной типографией по инициативе П. Гильтебрандта[7], текст которых был подвергнут достаточно существенному редактированию.

В начале XX в. на страницах церковной печати развертывается дискуссия о языке богослужения, результатом которой стало создание Комиссии по исправлению богослужебных книг (1907–1917). Результатом деятельности этой комиссии стало создание новой редакции Постной и Цветной Триоди. Предпринятые исправления должны были сделать церковнославянский текст более понятным для носителей русского языка[8].

Русификация и отказ от грамматических конструкций, могущих вызвать затруднения, были общей особеннстью работы типографских справщиков в начале XX в. Эти же особенности мы наблюдаем в ряде других изданий, например, в увидевшей свет в 1909 г. Минее дополнительной, о которой пойдет речь ниже.

2.2. **Новые тексты**. В XVIII — перв. пол. XIX в. новые богослужебные последования хотя и появлялись, но в основной круг богослужебных книг входили лишь в исключительных случаях. Процесс включения новых служб в Минею заметно активизировался в 90-е гг. XIX в., а в 1909 г. увидела свет Минея дополнительная — сборник богослужебных последований, не входивших в прежнюю редакцию Служебных миней[9]. Предполагалось, что в будущем материал этой книги будет полностью распределен по соответствующим томам Служебной минеи. Следует сказать, что в языковом отношении службы, включенные в Минею дополнительную, были несколько русифицированы. Здесь, например, практически не употреблялись формы двойственного числа. Однако эта книга, как и все дореволюционные издания богослужебных текстов, проходила через руки справщиков синодальных типографий, благодаря чему не выходила за рамки церковнославянской нормы.

---

[6] Подробнее об этих изданиях см. [Кравецкий и Плетнева 2003].

[7] См. [Кравецкий, в печати].

[8] Об этих изданиях см.: [Балашов 2001: 194–250; Кравецкий и Плетнева 2001: 74–124].

[9] Об этом издании см.: [Кравецкий и Плетнева 2001: 264–266; Чуриловский 1909].

Радикальное расширение круга основных богослужебных текстов произошло в 80-е гг. XX в. В 1978–1988 гг. появляется новое издание Служебных миней, куда вошло значительное количество как новых русифицированных текстов, так и архаичных, извлеченных из средневековых рукописей. При подготовке этого издания использовались не только многочисленные дореволюционные издания отдельных служб, но и рукописи, полученные составителями из монастырей и храмов, в которых эти службы свершались [Кравецкий и Плетнева 2001: 269–273]. Таким образом, произошло значительное расширение круга богослужебных текстов, входящих в основной богослужебный корпус.

3. **Размывание нормы или языковая эволюция?** В XVIII — начале XX в. имелся механизм контроля за нормой церковнославянского языка. Обязанностью справщиков синодальных типографий было наблюдение за языковой правильностью. Различия типографских практик[10], касающиеся в основном незначительных орфографических особенностей, определяли пределы вариативности церковнославянской нормы.

Возможности расширения нормы появились в результате экстралингвистических причин. После революции синодальные типографии, обеспечивающие строгость нормы церковнославянских изданий, были уничтожены, и новые службы стали распространяться почти исключительно в рукописном и машинописном виде. Подобный «самиздатовский» способ распространения богослужебных текстов совершенно меняет представления о норме. Во-первых, в машинописных копиях совершенно иная орфография, а значит, та орфографическая система, которую выработали типографские справщики, перестала воспроизводиться. Во-вторых, церковная власть утратила возможность каким-либо образом влиять на процесс книгоиздания. Если до революции духовная цензура и централизация книгоиздания обеспечивали, в числе прочего, и следование языковому стандарту, то теперь представления о границах нормы стали крайне размытыми.

После Отечественной войны, когда в СССР церковное книгоиздание вновь стало возможным, возобновилось и издание богослужебной литературы. Теоретически издательство Московской Патриархии брало на себя функции синодальных типографий, наблюдающих за устойчивостью нормы. На практике же ситуация оказалась более сложной. Дело в том, что у Московской Патриархии не было технической возможности

[10] См. [Кравецкий 2008].

набирать тексты церковной кириллицей (типографские шрифты были уничтожены еще в 20-е гг.). В результате церковнославянские тексты стали выходить или в виде репринтов, или же новым набором. При этом в качестве оригиналов для репринтных изданий использовались книги, принадлежащие разным орфографическим и текстологическим традициям. А набирать тексты заново было возможно лишь гражданской кириллицей. Причем набор используемых литер соответствовал набору литер, необходимых для набора текстов, написанных на русском литературном языке (здесь отсутствовала диакритика, ять, ижица, и-восьмеричное и т. д.). В таком виде был издан ряд отдельных чинопоследований, молитвословы, а также комплект Служебных миней.

Сосуществование двух способов графического оформления церковнославянского текста существенным образом повлияло на восприятие правил пунктуации. В церковнославянском основной функцией знаков препинания является указание на место, где чтец должен сделать паузу. На эту функцию, кстати сказать, указывает и внутренняя форма этого слова. Согласно грамматике Смотрицкого 1619 г. «полага́етсѧ запѧта́ѧ ѿдо́хомъ в҃ ма́лѣ гл҃емое восто҃га́ющее и҆ препина́ющаѧ» [Кузьминова 2000: 153]. Аналогичным образом описывает употребление запятой и Московское переиздание этой грамматики (1648 г.): «Полага́етсѧ запѧта́ѧ ѿдо́хомъ, в҃ма́лѣ гла-го́лемое, и҆дѣ́же восторга́етсѧ и҆ препина́етсѧ, и҆́же несоверше́нꙋ рѣ́чь твори́тъ» [Кузьминова 2007: 71].

Современная русская пунктуация устроена иначе и ориентирована на выделение логической структуры предложения. Эта система формировалась в течение XVIII в. [Осипов 2010: 248–251] и зафиксирована в многочисленных описаниях, в том числе и в школьных учебниках. В результате обучения в школе дети довольно быстро стали воспринимать пунктуационную систему русского языка как единственно возможную, что неизбежно вело к ее влиянию на церковнославянскую. Церковнославянская пунктуация стала восприниматься как «испорченная русская». В церковнославянских грамматиках разделы про пунктуацию обычно констатируют, что «в нынешних церковно-библейских и церковно-богослужебных книгах место и начертательная форма знаков препинания большею частью подчинены требованиям нашей орфографии» [Классовский 1857: 102], а затем сообщают, что вместо знака вопроса употребляется точка с запятой и т. п.

Во второй половине XIX в. периодически высказывались предложения приблизить пунктуацию церковных книг к нормам гражданской пунктуации. В своей программе исправления богослужебных книг[11]

[11] О программе еп. Августина см. [Плетнева 2002].

епископ Августин (Гуляницкий) писал о необходимости «правильно расставить знаки препинания», причем под «правильностью» он понимал следование правилам русской пунктуации: «О великой важности этого дела для правильного чтения и надлежащего уразумения читаемого, думаем, нечего говорить много: это само собой понятно всякому истинно грамотному человеку. А что в тексте богослужебных книг наших (равно как и греческих) знаки препинания расставлены далеко не везде правильно, — в этом легко убедиться, прочитав две-три страницы из любой такой книги» [Августин 1885: 101]. Приблизить церковнославянскую пунктуацию к русской стремились члены синодальной Комиссии по исправлению богослужебных книг. В Триодях, исправленных в начале XX в., последовательно выделяются запятыми обращения, *с*нимаются запятые, соединяющие однородные члены с одиночным союзом *и*, и т. д. [Кравецкий и Плетнева 2001: 109–110]. Наконец, в церковнославянских изданиях, набранных гражданской кириллицей, правила постановки знаков препинания оказываются практически неотличимыми от соответствующих правил русской пунктуации.

Однако в ряде изданий продолжает использоваться и прежняя пунктуационная система. Это связано с тем, что богослужебные книги рассчитаны на чтение вслух, а не про себя. Церковному чтецу удобнее следовать за пунктуационными знаками, обозначающими место пауз, а не подчеркивающими логическую структуру предложения. Особенное раздражение церковных чтецов вызывает выделение обращений, которые при чтении вслух не выделяются паузами. Поэтому издательства, выпускающие богослужебные книги, часто сознательно отталкиваются от логической пунктуации и предпочитают интонационную. А в изданиях, набранных гражданской кириллицей, используется параллельная разметка: знаки препинания ставятся в соответствии с правилами русской пунктуации, а места пауз выделяются знаком слэша или астериска.

4. **Семантическое развитие**. Семантические процессы не прерывались в цсл и после того, как он утратил функции литературного языка. Это процессы продолжались и в XIX, и в XX, и в XXI в. В качестве иллюстрации, подтверждающей этот тезис, мы рассмотрим распределение слов *русский* / *российский* в богослужебных текстах, а также способы номинации новых явлений и реалий.

4.1. **Русский / российский**. В дореволюционных печатных Минеях (в других богослужебных и библейских книгах слова *русский* и *российский*, по понятным причинам, практически не встречаются) мы наблюдаем абсолютное преобладание атрибута *российский*.

В оцифрованном минейном корпусе (куда входит ряд служб, отсутствующих в дореволюционных минеях) фиксируется более тысячи словоупотреблений *российский* и чуть более 100 — *русский*[12]. А если учитывать только дореволюционный минейный корпус, число примеров с атрибутом *русский* будет совсем небольшим. Это слово встречается лишь в нескольких старых службах. Неоднократно оно встречается в службе Борису и Глебу (2 мая): и҆́мже хр҃то́съ просвѣ-тѝ всю̀ страну̀ ру́скую, дне́сь земла̀ ру́ская ва́ми свѣ́тится, ꙗ҆́кѡ со́лнце[13] и т. д. По одному примеру нашлось в службах Иосифу Волоцкому (9 сентября: прїиди́те ᲂу҆блажи́мъ … свѣти́льника ру́скаго[14]), Алексию Московскому (12 февраля: це́ркви ру́скїѧ, первопрестóльный ї҆ера́рше)[15] и Александру Невскому (23 ноября: Ра́дуйсѧ, кнѧзе́й ру́скихъ похвало)[16].

Широкому распространению в гимнографии слов *русский* / *Русь* мы обязаны, как это ни парадоксально, влиянию светской культуры. В первой половине XIX в. актуальным становится концепт святой Руси. Вопрос о происхождении этой словесной формулы нельзя считать решенным. По всей вероятности, она восходит к фольклору. Довольно часто это словосочетание встречается в духовных стихах. Например:

Выходил Егорий на <u>святую Русь</u>.
Завидел Егорий свету белого,
Услышал звону колокольного,
Обогрело его солнце красное.
И пошел Егорий по <u>святой Руси</u>,
По <u>святой Руси</u>, по сырой земле
Ко тому граду Иерусалиму.
[Голубиная книга 1991: 54]

---

[12] Этот вопрос, конечно же, нуждается в дополнительном исследовании. Оцифрованный корпус, которым мы пользовались, содержит тексты, которые подвергались позднейшему редактированию.

[13] Минея 2 мая (Борис и Глеб), утреня, седален по первом стихословии (цит. по электронной версии http://www.orthlib.ru/).

[14] Минея 9 сентября (Иосиф Волоцкий), утреня, седален по 3 песне канона (цит. по электронной версии http://www.orthlib.ru/).

[15] Минея 12 февраля (Алексий Московский), утреня, канон (творение Епифания Славинецкого), песнь 9 (цит. по электронной версии http://www.orthlib.ru/).

[16] Минея 23 ноября (Александр Невский), малая вечерня, стихира на стиховне 2 (цит. по электронной версии http://www.orthlib.ru/).

Поскольку записи фольклора относятся к XVIII–XIX вв., сложно с уверенностью утверждать, что эта формула восходит к глубокой древности. И. Л. Бусева-Давыдова, рассматривавшая содержание понятия *святая Русь*, связывала его появление с Макарьевскими канонизациями 1547 и 1549 гг.: «Небывалое возрастание святости в Русском государстве не могло не сопоставляться с ситуацией в других православных странах, где святость в основном «убывала» (за счет уничтожения реликвий иноверцами и оттока их на Русь)» [Бусева-Давыдова 2007: 37]. Нам это предположение не кажется убедительным, поскольку формула *святая Русь* попадает в гимнографию не в XVI, а лишь в XX в. Трудно себе представить, что инновация, толчком к которой послужили канонизации, а значит — редактирование или создание новых служб, не нашла отражения ни в службах, ни в житиях. В фольклорной традиции упоминания о *святой Руси* (в форме *святорусский*) фиксируются уже в самых первых записях. Так, в одной из песен, записанных в 1619–1620 для английского пастора Ричарда Джемса, находим:

Зрадовалося царство Московское
И вся земля святорусская <…>

И дай, Господи, здоровъ был православный царь,
князь великий Михайло Федоровичъ,
а ему здержати царство московское
и вся земля Святорусская.
[ПЛДР 1987: 538–539]

Словарь русского языка XI–XVII вв. в качестве первой фиксации этой формулы ссылается на «Повесть об азовском осадном сидении», которая, как известно, испытала значительное влияние фольклорной традиции: «*Топере мы, бедные, роставаемся с вашими иконы чудотворными и со всеми христианы православными: не бывать уж намъ на святой Руси! А смерть наша грешничья в пустынях за ваши иконы чудотворныя, и за вѣру христианскую, и за имя царское, и за все царство Московское*»[17]. В этом же тексте встречается и такое словоупотребление: «*Не впрям ли еще вы на Руси богатыри светорусские?*»[18]

[17] Повесть об Азовском осадном сидении донских казаков / Подг. текста Н. В. Понырко [ПЛДР 1988: 151].

[18] [ПЛДР 1988: 141].

В русской литературе Нового времени эта формула начинает активно использоваться после войны с Наполеоном. В романе М. Н. Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 г.» (1829) формула *святая Русь* встречается 22 раза, а в его следующем романе «Рославлев или русские в 1812 г.» (1830) — 7 раз. Эту формулу мы обнаруживаем и у В. Ф. Одоевского:

Что за кочевья чернеются
    Средь пылающих огней —
Идут под затворы молодцы
    За святую Русь.
За святую Русь неволя и казни —
    Радость и слава!
Весело ляжем живые
    За святую Русь[19].

Примеров такого рода довольно много. Остановимся лишь на программном тексте В. А. Жуковского «О стихотворении: Святая Русь (письмо кн. П. А. Вяземскому)»[20].

> Святая Русь — это слово ровесник христианской России. Оно дано ей, как говорят твои стихи, при ее крестинах, и никогда не потеряет своего глубокого смысла, хотя и вошло в разряд обыкновенностей (lieux communs). <…> Святая Русь — как часто и давно это слово повторяется, как мы к нему привыкли, как многие употребляют его даже в ироническом смысле — но сказанное теперь <…>, не изумляет ли оно своею новостью и своею истиной? Не выражает ли оно для нас с новою убедительностью, одним звуком всего, что в течение веков сделалось нашей верой, любовью и надеждой? Не яснее ли означается в нем этот особенный союз наш с Богом, вследствие которого от наших праотцев перешло к нам и чудное имя его *Русской Бог* [не *Российский Бог*, как оканчивает своего Димитрия Донского Озеров]. *Русской Бог*, — *Святая Русь*, подобных наименований Бога и отечества, кажется, ни один европейский народ не имеет. В выражении *Святая Русь* — отзывается вся наша особенная история; это имя Россия ведет от Крещатика; но свое глубокое значение оно приобрело со времен раздробления на уделы, когда над разными подчиненными князьями

[19] [Одоевский 1958: 135].

[20] [Жуковский I: 121–122]. Разрядка и курсив даются в соответствии с этим изданием.

> был один главный, великий, когда при великом княжестве было множество малых, от него зависимых, и когда это все соединялось в одно, не в Россию, а в Русь, то есть не в государство, а в семейство, где у всех были одна отчизна, одна вера, один язык, одинакия (sic!) воспоминания и предания; вот отчего и в самых кровавых междоусобиях, когда еще не было России, когда удельные князья беспрестанно дрались между собою за ее области, для всех была одна, живая, нераздельная Святая Русь. Все вместе стояли за нее против нашествия и грабительства врагов неверных. Особенную же силу этому слову дали печальные времена Мамая: тогда оно сделалось для нас соединительным, отечественным, боевым криком; им утешала нас наша Церковь, его произносили князья наши, неся в Орду свою голову за отечество, оно гремело на Куликовом поле; оно должно было получить удивительный смысл на устах Великого Иоанна III, уничтожившего рабство татарское и вдруг явившегося самодержавным обладателем *всея России*. С того времени Россия стала государством, особенным достоянием царя, а Святая Русь осталась преданием, совокупным сокровищем царя и народа.

Это письмо В. А. Жуковского важно для нас потому, что фиксирует противопоставление *святой Руси* (явления если не мистического, то духовного плана) и *Российской Империи* (государственного образования).

Мы не знаем, откуда в русскую литературу начала XIX в. пришла эта формула, но исходя из общих соображений, можно предположить, что из фольклора. Г. П. Федотов, специально интересовавшийся вопросом о том, чем была *святая Русь* для мира духовных стихов [Федотов 1991: 95–96], обратил внимание на то, что в духовных стихах практически не встречается слово *Церковь*, а ее место занимает *святая Русь*.

Активизацию употребления формулы *святая Русь* в церковной письменности можно связать с празднованием трехсотлетия Дома Романовых[21]. В проповедях, произнесенных в связи с этим событием, интересующая нас формула встречается очень часто. Приведем лишь несколько примеров. Вот проповедь священника Михаила Слуцкого[22]: *о священном торжестве на св. Руси* [Слуцкий 1913: 4]; *несчастная страдалица наша родина — св. Русь* [там же: 8]; *откликнулась тысячами сердец св. Русь* [там же: 12]; *народное торжество*

---

[21] На эти проповеди нам указала Е. Левкиевская.

[22] [Слуцкий 1913]. Любопытно, что М. И. Слуцкий пользуется сокращением *св. Русь*.

освобождения св. Руси от врагов; *когда св. Русь была очищена от врагов* [там же: 17]; *моления*, *чтобы царь св. Руси был избран по воле Божией*; *печальник св. Руси патриарх Гермоген* [там же: 17]; *под скипетром благословенного Дома Романовых крепла*, *росла*, *ширилась св. Русь* [там же: 20]; *Вечная память богатырю св. Руси* [там же: 21] (речь идет о Петре I); *великого вождя*, *спасшего св. Русь от Наполеона* [там же: 22]; *да поможет Ему* (Николаю Второму) *Господь победно вести св. Русь и великий русский народ к счастью и величию* [там же: 23] и др. Таких проповедей в 1913 г. было произнесено очень много. Обращает на себя внимание, что в ряде примеров *святая Русь* употребляется в значении ‘Российское государство’ и даже ‘Российская Империя’.

Именно к этому времени относится и первая фиксация формулы *святая Русь* в гимнографическом тексте. Впервые это выражение в цсл тексте появляется в составленной между 1913 и 1917 гг. службе Ермогену Московскому: Бꙋ на́шемꙋ тобо́ю сла́ва, тебѣ́ же, ст҃енномꙋ́чче є҆рмоге́не, доблѣ́етъ ра́доватисѧ во свѣ́тѣ лица̀ є҆гѡ̀ и҆ непреста́нно моли́тисѧ, да не поги́бнетъ рꙋ́сь ст҃а́ѧ…[23].

Для гимнографии второй половины XX в. это сочетание актуализовалось благодаря стихире на стиховне «Службы всем святым в Земле Российской просиявшим»: Но́вый до́ме є҆ѵфра́довъ, ᲂу҆дѣ́ле и҆збра́нный, рꙋ́сь ст҃а́ѧ, храни̑ вѣ́рꙋ правосла́внꙋю, въ не́йже тебѣ̀ ᲂу҆твержде́нїе[24]. Встречается такое словоупотребление и в Общей минее: Є҆гда̀ землѧ̀ рѡссі́йскаѧ тьмо́ю безбо́жїѧ и҆ ка́їновымъ ѡ҆злобле́нїемъ бы́сть, тогда̀ мно́зи хр҃толюби́вїи лю́дїе на гѡ́рькїѧ рабѡ́ты и҆згна́ни бы́ша и҆ гла́дъ, мра́зъ, зно́й и҆ сме́рть лю́тꙋю мꙋ́жественнѣ претерпѣ́ша, вѣ́рою же, наде́ждею и҆ любо́вїю совокꙋ́плени, досто́йнꙋю воспѣва́хꙋ пѣ́снь: да бл҃гослови́тъ гд҃а рꙋ́сь ст҃а́ѧ [МО 2011: 19]. Однако регулярного противопоставления объятой озлоблением *Российской земли* и *святой Руси* здесь нет.

Судя по всему, расширение сферы употребления слов *Русь* / *русский* за счет *Россия* / *российский* связано с влиянием русского литературного языка на церковнославянский. Это очень хорошо демонстрирует текст брошюры «Трехсотлетие великого воспоминания», в начале которой помещена молитва, посвященная 300-летию Дома

---

[23] Утреня, канон, п. 9 // (цит. по электронной версии http://www.orthlib.ru/).

[24] Служба всем святым в Земле Российской просиявшим (вторая неделя по Пятидесятнице), стихира на стиховне (цит. по электронной версии http://www.orthlib.ru/). В первых изданиях Службы этот текст отсутствует. Время и обстоятельства его появления должны стать предметом специального исследования.

Романовых[25]. В этой молитве формы *Русь* / *русский* не встречаются ни разу (слово *российский* употреблено 9 раз), в то время как в основном тексте *Русь* / *русский* употреблено 52 раза, а *Россия* / *российский* всего 15[26]. То есть форма *Русь* / *русский* недопустима в церковнославянском тексте, в то время как в русском она оказывается преобладающей.

В церковных текстах вытеснению слова *российский* словом *русский* препятствовало официальное название церковной организации — *Православная Российская Церковь*. При этом обиходным было название *Русская Церковь*[27].

В дальнейшем наименование *Русская Православная Церковь* становится официальным, что не могло не повлиять на словоупотребление гимнографов, трудившихся в послевоенный период. Слово *русский* все более активно употребляется в литургической поэзии. Мы обнаруживаем его в службах Амвросию Оптинскому (10 октября): ѿзарѝлъ є҆сѝ всю̀ зе́млю ру́скую[28], Макарию Московскому (30 декабря): кро́ве

[25] Молитве Православные Церкви Российския на 21 день февруария 7421 (1913) г. [Голубев 1913: 3–5].

[26] В упомянутых выше проповедях М. И. Слуцкого формы *рус* / *росс* соотносятся как 77/22, а у Филевского — 28/34.

[27] Во время дискуссий члены Поместного собора 1917–18 гг. чаще говорили о *Русской церкви*, в то время как в соборных определениях — официальных документах — Церковь называется *Российской*. Постепенно наименование *Русская Православная Церковь* начинает преобладать. Отчасти это было связано с тем, что наименование *Российская Православная Церковь* стало официальным названием обновленческой церковной организации. Так, резолюция обновленческого Великого предсоборного совещания (10–18 июня 1924 г.) требовала «признать Священный синод… единственным канонически закономерным высшим органом управления *Российской Православной Церкви*» [Резолюции 1924: 35]. Одновременно патриарх Тихон начинает называть себя главой *Русской Православной Церкви* [Губонин 1994: 232]. Однако регулярным такое наименование не становится. Проблема соотношения слов *русский* и *российский* в церковных документах могла бы стать темой самостоятельного исследования. Нам же достаточно констатировать, что во время Второй мировой войны в документах митр. Сергия (Страгородского) наименование *Русская церковь* полностью вытесняет прежнее словоупотребление. После легализации Московской Патриархии Русская Церковь становится основным единственным названием. В изданиях Московской Патриархии это название употребляется и по отношению к прошлому, то есть к тому времени, когда церковная организация называлась *Православная Российская Церковь*.

[28] Минея 10 октября (Амвросий Оптинский), утреня, икос (цит. по электронной версии http://www.orthlib.ru/).

пролитіе и҆ раздѣленіе землѝ ру́сскїѧ; собо́ръ ст҃ы́хъ ру́сскихъ, и҆̀же тща́ніемъ твои́мъ, ст҃и́телю, ди́вно просла́вленъ бы́сть»[29]; святителю Иннокентию: цр҃ковь ру́сскаѧ въ землѝ а҆мерика́нстѣй ка́ѳедру ст҃и́тельскую оу҆чрежда́етъ[30]. В службе Иоанну Кронштадтскому имеется краегранесие Свѣти́льниче землѝ ру́сскїѧ[31].

Теперь посмотрим, каким образом устроено распределение слов *российский* / *русский* в Общей минее. Регулярными и, кажется, не знающими исключений являются словоупотребления *новомученик российский*, *исповедник российский*, *страстотерпец российстий*. По отношению к Церкви чаще употребляется слово *русский*: бу́рѧ нече́стїѧ на цр҃ковь ру́сскую воздви́жесѧ [МО 2011: 15]; потопи́ти кора́бль цр҃кве ру́сскїѧ [там же: 17]; бу́рѧ гоне́нїй цр҃ковь ру́сскую ѡ҆держа́ше [там же: 49]; въ годи́ну гоне́нїй на цр҃ковь ру́сскую [там же: 52, 54]; и҆зба́ви цр҃ковь ру́сскую [там же: 61]; враждующихъ проти́ву цр҃кве ру́сскїѧ [там же: 62]; во дни̑ же гоне́нїй на цр҃ковь ру́сскую [там же: 63] и др. Однако встречается и *Российская церковь*: и҆збра́нный бг҃омъ ѿ цр҃кве рѡссі́йскїѧ [там же: 57], сто́лпъ ѡ҆душевле́нный цр҃кве рѡссі́йскїѧ [там же: 61]. Как уже говорилось, в дореволюционных богослужебных книгах практически единственно возможным было наименование *Российская церковь*. Вытеснение определения *российская* определением *русская* вполне естественно. Здесь ассоциативный ряд *Русь — святость* идет рука об руку с официальным названием *Русская Православная Церковь*. А форма *российская* поддерживается лишь традицией.

Еще одна пара конкурирующих сочетаний — *земля русская* и *земля российская*. Насколько можно судить по имеющемуся в нашем распоряжении оцифрованному корпусу, сочетание *земля русская* встречается чаще, но о заметном преобладании здесь не приходится говорить: всѣхъ ст҃ы́хъ землѝ рѡссі́йскїѧ [там же: 55]; є҆гда̀ ѡ҆ску́дѣ вѣ́ра въ землѝ рѡссі́йсѣй ѿ да не поги́бнетъ земла̀ рѡссі́йскаѧ [там же: 56]. А вот несколько примеров на *русскую землю*: посѣтѝ гдⷭ҇ь зе́млю ру́сскую [там же: 50]; да бл҃гословѝтъ зе́млѧ ру́сскаѧ гдⷭ҇а [там же]; соблюдѝ гдⷭ҇ь зе́млю ру́сскую въ правосла́вїи [там же: 58]; Ѡ҆ст҃и́сѧ зе́млѧ ру́сскаѧ пѡ́ты по́стническими [там же: 60]; кровьмѝ мѹ́ческими ѡ҆ст҃и́лъ є҆сѝ зе́млю ру́сскую [там же: 61]. Никаких смысловых различий между словами *русский* и *российский* в текстах Общей минеи не прослеживается.

---

[29] Минея 30 декабря (Макарий Московский), утреня, стихира по 50-м псалме (цит. по электронной версии http://www.orthlib.ru/).

[30] Минея 23 сентября (Иннокентий Иркутский), утреня, канон, песнь 4.

[31] Минея 20 декабря (Иоанн Кронштадтский), краегранесие.

4.2. **Новые реалии и их наименование в цсл гимнографии**. Канонизации конца XX–XXI в. поставили перед составителями служб новопрославленным святым задачу подобрать слова для обозначения реалий, с которыми гимнографы предшествующих эпох не сталкивались. Приведем примеры: Оу҆вы̀ на́мъ, оу҆вы̀, вопїѧ́хꙋ и҆сповѣ́дницы рѡссі́йстїи, ви́дѧще ꙗ҆́кѡ безꙋ́мнїи бг҃бо́рцы ст҃ы́и земл҃и на́шеѧ разори́ша, ѡ҆бни́тели ꙗ҆́кѡ оу҆зн҃и́лища темни́чнаѧ содѣ́ѧша, хра́мы бж҃їѧ въ скве́рнаѧ и҆ позѡ́рищнаѧ мѣ́ста ѡ҆брати́ша и҆ кро́вь хр҃тїа́нскꙋю въ ни́хъ пролїѧ́ша [там же: 18]; Безбо́жнїи ка́їнѡвы внꙋ́цы ст҃ы́ни цр҃ко́вныѧ порꙋга́нїю и҆ ѡ҆гню̀ преда́ша, ѡ҆бни́тели разори́ша, храмы ꙗ҆́кѡ ѡ҆вѡ́щнаѧ храни́лища содѣ́ѧша, хр҃толюби́выѧ лю́ди въ темни́цы заключи́ша и҆ оу҆мꙋ́чиша [там же]. Специально остановимся на последнем примере. Строго говоря, выражение ѡ҆во́щное храни́лище не является инновацией. Оно неоднократно встречается в Писании и соответствует греческому τὸ ὀπωροφυλάκιον — ‘сторожка, шалаш, в котором живет сторож огорода’. Чаще *овощное хранилище* используется в риторических конструкциях, чтобы показать, в какое ничтожество превратятся большие цветущие города и земли: Бж҃е, прїидо́ша ꙗ҆зы́цы въ достоѧ́нїе твоѐ, ѡ҆скверни́ша хра́мъ ст҃ы́й тво́й, положи́ша і҆ерли́мъ ꙗ҆́кѡ ѡ҆во́щное храни́лище (εἰς ὀπωροφυλάκιον): положи́ша трꙋ́пїѧ ра́бъ твои́хъ бра́шно пти́цамъ небе́снымъ, плѡ́ти прп҃бныхъ твои́хъ ѕвѣре́мъ земны́мъ[32]; И҆ положꙋ̀ самарі́ю во ѡ҆во́щное храни́лище (εἰς ὀπωροφυλάκιον) се́лное[33]; Сегѡ̀ ра́ди ва́сѣ дѣ́ла сїѡ́нѣ ꙗ҆́коже ни́ва и҆зо́ре́тсѧ, и҆ і҆ерли́мъ ꙗ҆́кѡ ѡ҆во́щное храни́лище бꙋ́детъ (ὡς ὀπωροφυλάκιον ἔσται);[34] Преклони́сѧ и҆ потрѧсе́сѧ землѧ̀ а҆́ки ѡ҆во́щное храни́лище (ὡς ὀπωροφυλάκιον), и҆ а҆́ки пїѧ́нъ и҆ шꙋ́менъ паде́тъ и҆ не возмо́жетъ воста́ти, преѡдолѣ́ бо на не́й беззако́нїе[35]. Во всех этих примерах содержится описание катастрофы, крушение цветущего города и земли и превращение их прежней роскоши в убогий шалаш на краю виноградника. В русском языке *овощное хранилище* ассоциируется с *овощехранилищем* — складским помещением, предназначенным для хранения овощей. А поскольку закрытые храмы действительно переоборудовались в

[32] Пс. 78.1–2. В Синодальном переводе: *Иерусалим превратили в развалины.*

[33] Михей 1.6. В Синодальном переводе: *Сделали Самарию грудой развалин.*

[34] Михей 3.12. В Синодальном переводе: *Сделается грудой развалин.*

[35] Исайя 24.20. В Синодальном переводе: *Шатается земля, как пьяный, и качается, как колыбель.*

склады и овощехранилища[36], старое словоупотребление приобрело совершенно новый смысл.

5. **Общественная реакция на дискуссии, касающиеся церковнославянского языка**. О том, что церковнославянский язык присутствует в современной культуре, свидетельствуют постоянные общественные дискуссии о языке богослужения. Идею каких бы то ни было изменений, касающихся богослужебного языка, общество воспринимает так же болезненно, как идею реформы русской орфографии. При этом невозможными кажутся не конкретные решения, а сам факт реформирования.

Приведу лишь один пример. В 2011 г. Межсоборное присутствие РПЦ вынесло на всеобщее обсуждение проект «Церковнославянский язык в жизни Русской Православной Церкви XXI века». При всех своих недостатках этот документ впервые после Собора 1917–1918 гг. предлагает рассматривать проблему литургического языка как общецерковную. Принятие подобного документа, называющего языковые проблемы в числе значимых церковных задач, могло бы серьезно изменить ситуацию с изучением и преподаванием церковнославянского языка.

Однако к содержательной дискуссии общество оказалось не готовым. Вынесение на всеобщее обсуждение документа о языке было воспринято как покушение на символ. И количество желающих защитить этот символ было очень большим. К 16 документам, размещенным для обсуждения на портале Межсоборного присутствия, появилось 2290 коментариев. Из них 1709 относятся к проекту «Церковнославянский язык в жизни Русской Православной Церкви XXI века». На втором месте идет проект «О научном переиздании Триодей в редакции Комиссии по исправлению богослужебных книг» — 291. На третьем — «О принятии в лоно Церкви приходящих из расколов» — 85, на четвертом — «Об отношении Церкви к разнообразным переводам богослужебных книг» — 77. А к проекту «О миссионерской деятельности» было дано всего 2 комментария [Великанов 2012].

---

[36] Приведем характерную зарисовку, сделанную писателями, которые вполне разделяли советскую идеологию: «У белых башенных ворот кремля две суровые старухи разговаривали по-французски, жаловались на советскую власть и вспоминали любимых дочерей. Из церковного подвала веяло холодом, бил оттуда кислый винный запах. Там, как видно, хранился картофель.

— Храм Спаса на картошке, — негромко сказал пешеход» [Ильф и Петров 1975: 7].

При этом подавляющее большинство комментариев, естественно, не имеет никакого отношения к делу. Участники дискуссии защищают символ, а не стремятся решить реально существующие проблемы литургического языка.

Некоторые выводы. Таким образом, богослужебный язык Русской церкви можно с одинаковыми основаниями изучать и в рамках истории славянских языков, и в рамках проблематики современного русского языка. С точки зрения функционирования церковнославянский язык нельзя рассматривать как язык мертвый. Существенная часть церковнославянских текстов продолжают использоваться так же, как они использовались непосредственно после их создания. Если при чтении, например, летописей для читателя всегда остается существенным то, что это памятник, относящийся к определенной эпохе, то для верующего, который читает Псалтирь или Молитвослов, время создания этих текстов оказывается несущественным. Он читает *современные* книги, принятые в современной церковной практике.

Литература

Августин 1885 — *Еп. Авг<устин* (*Гуляницкий*)>. По поводу издания «Учебного Октоиха» и «Учебного Часослова» // Труды Киевской духовной академии. № 11. 1888. С. 75–103.

Балашов 2001 — *Николай Н. Балашов*, *прот*. На пути к литургическому возрождению. М., 2001.

Белякова 2004 — *Белякова Е. В*. Церковный суд и проблемы церковной жизни. М., 2004.

Бусева-Давыдова 2007 — *Бусева-Давыдова И. Л.* «Святая Русь»: к вопросу о содержании понятия // Вестник истории, литературы и искусства. Т. 4. М., 2007.

Великанов 2012 — *Павел Великанов*, *прот.* Опыт интернет-обсуждения документов Межсоборного присутствия // Электронный ресурс: http://www.bogoslov.ru/text/2413716.html.

Голубев 1913 — *Голубев В.* Трехсотлетие великого воспоминания. М., 1913.

Голубиная книга 1991 — Голубиная книга. Русские народные духовные стихи XI–XIX веков / Сост., вступит. статья и примечания Л. Ф. Солощенко и Ю. С. Прокшиной. М., 1991.

Добровольский и др., в печати — *Добровольский И. С.*, *Калужнина Н. В.*, *Кравецкий А. Г.*, *Людоговский Ф. Б.*, *Плетнева А. А.*, *Хитров А. Н.* Корпус современного церковнославянского языка: единство, вариативность, методы описания (в печати).

Жуковский I — Полное собрание сочинений В. А. Жуковского: В 12 т. / Под редакцией А. С. Архангельского. Т. 1. М., 1902.

Ильф и Петров 1975 — *Ильф И.*, *Петров Е.* Золотой теленок. М., 1975.

Кравецкий и Плетнева 2001 — *Кравецкий А. Г.*, *Плетнева А. А.* История церковнославянского языка в России (конец XIX — XX в.). М., 2001.

Кравецкий 2008 — *Кравецкий А. Г.* Контроверза Москва–Санкт-Петербург в зеркале церковнославянской орфографии // Прикладна лінгвістика та лінгвистичні технології. Megaling 2007. Київ, 2008. С. 177–185.

Кравецкий, в печати — *Кравецкий А. Г.* Петербургские полиглоты конца XIX века // Лингвистическое источниковедение и история русского литературного языка. <2012–2013>. М., в печати.

Кравецкий и Плетнева 2003 — *Кравецкий А. Г.*, *Плетнева А. А.* К вопросу о формировании учебной редакции богослужебных книг // Лингвистическое источниковедение и история русского языка <2002–2003>. М., 2003. С. 454–476.

Кузьминова 2000 — Грамматики Лаврентия Зизания и Мелетия Смотрицкого / Сост. Е. А. Кузьминова. М., 2000.

Кузьминова 2007 — Грамматика 1648 г. / Предисл., науч. комм., подготовка текста и составление указателей Е. А. Кузьминовой. М., 2007.

Людоговский 2006 — *Людоговский Ф. Б.* Функционирование и эволюция служебного и четьего вариантов славянского Евангелия в эпоху книгопечатания: постановка проблемы // Лингвистическое источниковедение и история русского языка <2004–2005>. М., 2006. С. 400–419.

Людоговский 2010 — *Людоговский Ф. Б.* Ветхозаветные паремии в составе современного церковнославянского минейного корпуса // Лингвистическое источниковедение и история русского языка <2006–2009>. М., 2010. С. 523–545.

Людоговский 2010а — *Людоговский Ф.*, *свящ.* Церковнославянский акафист: структуры и константы // Славянские языки: единицы, категории, ценностные константы: сб. науч. статей. Волгоград, 2010. С. 47–68.

Людоговский и Плякин 2010 — *Людоговский Ф.*, *свящ.*, *Плякин М.*, *диак.* Хвалебные гимны подвижникам // Журнал Московской Патриархии. 2010. № 6. С. 70–76.

Людоговский и Плякин 2013 — *Людоговский Ф.*, *свящ.*, *Плякин М.*, *диак.* Жанр акафиста в XXI веке // Попов А. В. Православные русские акафисты. М., 2013. С. 586–636.

Матиесен 1984 — *Mathiesen R.* The Church Slavonic Language Question: An Overview (IX–XX Centeries) // Aspects of the Slavic Language Question / Ed. by R. Picchio and G. Goldblatt. Vol. I. New Haven, 1984. P. 45–65.

МО 2011 — Минея общая новомученикам и исповедникам Российским. М., 2011.

Одоевский 1958 — *Одоевский А. И.* Полное собрание стихотворений. Библиотека поэта. Л., 1958.

Осипов 2010 — *Осипов Б. И.* Судьбы русского письма. История русской графики, орфографии и пунктуации. М.; Омск, 2010.

ПЛДР 1987 — Памятники литературы Древней Руси. Конец XVI — начало XVII веков. М., 1987.

ПЛДР 1988 — Памятники литературы Древней Руси. XVII век. Книга 1. М., 1988.

Плетнева — *Плетнева А. А.* Епископ Августин Гуляницкий и проблема новых переводов с греческого на церковнославянский язык во второй половине XIX в. // Лингвистическое источниковедение и история русского языка <2001>. М., 2002.

Попов 2013 — *Попов А. В.* Православные русские акафисты. М., 2013.

Резолюции 1924 — Резолюции Предсоборного совещания 1924 г. // Церковное обновление. 1924. № 7–8.

Служба Ермогену 1917 — Слꙋ́жба ст҃и́телю и҆ чꙋдотво́рцꙋ є҆рмоге́нꙋ. И҆ зда́нїе моско́вскагѡ бо́льша́гѡ ᲂу҆спе́нскагѡ собо́ра. Москва̀. Сѵнода́льная тѵпогра́фїа, ҂аѕ҃і.

Слуцкий 1913 — *Слуцкий М. И.* 300-летие царствования благословенного Дома Романовых. СПб., 1913.

Федотов 1991 — *Федотов Г.* Стихи духовные. Русская народная вера по духовным стихам. М., 1991.

Чуриловский 2009 — *Чуриловский Н. Ф.* Новая богослужебная книга: Минїа̀ дополни́тельная // Прибавления к Церковным ведомостям. № 51–52. 1909. С. 2441–2447.

Н. В. Николенкова

Стратегии формирования церковнославянского языка как языка науки в XVII в. (на примере перевода Атласа Blaeu)

Конец XVI и XVII в. — период определенных изменений в функционировании церковнославянского языка в Московской Руси. «Средневековый дуализм в сфере письменно-словесного выражения не сглаживается» [Виноградов 1982: 10], церковнославянский язык продолжает выполнять функцию литературного, при этом он постепенно становится показателем образованности и учености [Успенский 2002: 472–482]. Данный факт отмечен современниками: Г. В. Лудольф фиксирует, что, «не пользуясь им (т. е. церковнославянским. — *Н. Н.*), нельзя ни писать, ни рассуждать по вопросам науки и образования. Поэтому, чем ученее кто-нибудь желает прослыть перед другими, тем более наполняет свою речь и писание славянизмами» [Ларин 1937: 113].

Это время характеризуется повышением интереса русского образованного читателя к текстам научного содержания. Со второй половины XVII в. значительно расширяется круг научной литературы, переведенной с латинского или польского языка. Однако язык таких переводов описан весьма поверхностно. Стратегия формирования церковнославянского языка второй половины XVII в. как языка науки, его сходство и различие со стандартным регистром того же языка, который в XVII в. оказывается грамматически описан и кодифицирован, и будет предметом нашего анализа.

Из всего тематического разнообразия переводных сочинений научного содержания особенно выделяются космографии [Соболевский 1903: 52–78]. При общем интересе к рассказам о «неведомых» землях переводы космографий и атласов совпали с начавшимся в XVII в. географическим описанием собственных земель [Барандеев 2010: 18–24; Книга Большому Чертежу 1950]. Переводы осуществлялись и в Посольском приказе, и стараниями группы книжников-

---

Наталья Владимировна Николенкова,
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (Москва)

грекофилов во главе с Епифанием Славинецким при Московском Печатном дворе. Некоторые из них получили распространение в списках разного времени (ярким примером будет перевод «Атласа» Г. Меркатора, получивший условное название «Космография 1637 г.» и дошедший до нашего времени в полном — 223 главы — и кратком — 69/70 глав — вариантах); многие сохранились в единственном экземпляре. Описывая эти переводы, Соболевский дает краткую лингвистическую характеристику текстов. Большая часть космографических сочинений переведена на русский язык (с украинизмами и полонизмами), однако язык одного перевода он называет «ученым церковнославянским» [Соболевский 1903: 61]. Это перевод огромного труда голландских картографов первой половины XVII в., сборник географических карт с описанием различных стран и земель, составленный Вильгельмом и Иоанном Blaeu[1] в Амстердаме в первой половине XVII в. [Blaeu 1645].

Внимание к переводу Большого Атласа Блау было привлечено еще в 40-е гг. XIX в. В декабре 1846-го Н. Абрамовым сделан доклад в Императорском Русском Географическом обществе об исследовании им рукописи, относящейся к началу 2-й половины XVII столетия и «писанной монахомъ Епифаніемъ Славеницкимъ». По сообщению Н. Абрамова, «в собрании Русского Географического общества 8 января 1847 г. эта древняя рукопись признана «очень замѣчательною» [Абрамов 1866: 96–97]. Дальнейшее, хотя и крайне поверхностное изучение текста подтвердило и «замечательность» его, и авторство Славинецкого. Это в свою очередь побудило Ф. И. Буслаева включить ряд фрагментов из перевода Атласа Блау в свою Хрестоматию (в примечаниях ученый отмечает, что пользовался черновиком, который «почитается за собственноручный автограф Епифания Славинецкого» [Буслаев 2004: 1185–1190]).

Позднее перевод Атласа Блау привлекался в качестве материала для описания истории научной мысли в России [Лебедев 1949: 208–219; Райков 1947: 46–65; 117–132]. При этом из всего обширнейшего текста историков науки интересует в первую очередь один фрагмент — вступление (точнее, первая глава этого вступления), в котором излагается в том числе учение Коперника (единственное свидетельство об определенном знакомстве в России XVII в. с гелиоцентрической системой).

[1] Здесь необходимо заметить, что в трудах Соболевского и ссылающихся на него исследователей было принято написание «*Блеу*». Современные специалисты в области истории географии и картографии предпочитают использовать написание «*Блау*». Вслед за ними мы также будем использовать вариант «*Блау*». Кстати, сами переводчики Атласа используют такую передачу фамилии: «*Влаевъ*».

В наше время на факт наличия рассматриваемого нами текста перевода ссылаются довольно часто — и в общих обзорах Космографий [СКиК XIV–XVI 1988: 493], и в общих описаниях деятельности Епифания Славинецкого и его соратников [СКиК XVII 1992: 111, 312], и в работах, посвященных времени патриарха Никона [Никон 2004: 918–919]. Однако сведения даются крайне общо, к тому же в последних работах о патриархе Никоне допускаются грубые ошибки, свидетельствующие об отсутствии знакомства с самими рукописями[2].

Какого-либо филологического описания перевода Атласа до настоящего времени не было. Наше изучение текста и сопоставление его с латинским оригиналом показывает, что Атлас Блау в его церковнославянском переводе является ценным лингвистическим источником [Николенкова 2010]. Фундаментальность работы, объем и характер заключенных в нем сведений требует признать этот перевод едва ли не первым серьезным естественно-научным сочинением в области географии, переведенным в допетровский период. Характер сведений по географии, астрономии, политической истории существенно отличает текст перевода от ряда других Космографий, попавших в XVI–XVII вв. в Россию.

Латинский оригинал «Theatrum orbis terrarumn sive Atlas novus» составлялся Вильгельмом и Иоанном Blaeu (отцом и сыном) в Амстердаме в период с 1635 по 1665 г. В Россию попало издание 1645 г. — роскошные тома в полный лист, с высоким качеством печати, в переплете из белой кожи заказаны, по-видимому, патриархом Никоном [Никон 2004: 918–919]. При описи «домовой казны» патриарха в числе его личного имущества показаны «семь книг в белых кожах, большие, печатные на Латинском языку… книга описание всеа земли, книга описание ж всех частей поморские земли, две книги козмографии третье части, одна с прибавкою, книга вторая часть земли козмографие ж, две книги четвертой части той же козмографии» [Переписная книга 2009: 453]. Именно такой вид имеют тома Атласа Блау. Еще одно упоминание об этом издании встречаем в Син. 424, где помещена составленная в 1675 г. Евфимием Чудовским «Опись книг письменных и печатных, взятых в патриаршую казну из Воскресенского

[2] В указанном нами выше [Никон 2004: 918–919], к примеру, сообщается о том, что «рукописи (принадлежащие Никону. — *Н. Н.*) содержат многочисленные рисунки». Однако в беловом экземпляре перевода рисунков нет, они есть в более поздних списках, привлеченных в соответствующей главе книги [Райков 1947], где опубликованы снимки *списков* с иллюстрациями.

Ново-Иерусалимского монастыря и его Иверского подворья в Москве» (лл. 345–420 и беловик лл. 422–452). На л. 392 (и л. 441об.) в описи отмечено «**Ѳописанїе ра^з^ныхъ гдр҃твъ земель се^а^мь книг налатинскомъ ꙗзыкѣ печа^т^ныꙗ**». Латинский оригинал представляет собой отпечатанные в два столбца описания определенной земли, внутри описания помещена соответствующая карта[3].

О церковнославянском переводе можно сказать следующее: работа над ним велась во второй половине 50-х гг. XVII в. (на переплете беловика 1 тома — рукопись Син. 19 — есть дата 7167 (1659 г.); еще одну дату позволяет назвать бумага черновика третьей части — 1660 г. (лилия в гербовом под короной щите [Протасьева 1970: 110])). Латинский оригинал был разделен между Епифанием Славинецким, Арсением Сатановским и Исайей Чудовским. Они перевели текст в черновом варианте: эти переводы содержатся в рукописях Син. 779 (Славинецкий, первая часть), 781 (Сатановский, вторая часть), 780 (Исайя, третья часть) и 41 (Исайя, четвертая часть). Их полное описание, а также фотоснимок листа 107 рукописи Син. 779 — автографа Епифания Славинецкого, — содержится в описании рукописей Синодального собрания, сделанном Протасьевой.

Черновые экземпляры Син. 779, 781 и 780 переписаны набело — соответственно Син. 19, 112 и 204. Беловой экземпляр последнего тома (Син. 41) сделан не был. Беловые экземпляры Син. 19 и Син. 112 очень похожи оформлением, кроме того, Син. 19 писан одним почерком — русской четкой скорописью, и этот же почерк отмечен в части Син. 112 с листа 71 (на это указывает еще Соболевский [Соболевский 1903: 62]). Обе беловых рукописи Син. 19 и Син. 112 имеют на первых листах вкладную патриарха Никона (собственноручную) в Ново-Иерусалимский монастырь с датой 1661: «Лета 7169 сию книгу [положилъ[4]] в дом святаго живоноснаго Воскресения господа бога и спаса нашего Иисуса Христа новаго Иерусалима смиренный Никон божиею милостию патриарх…»

Беловик Син. 204 имеет совсем иной тип оформления — писан русским полууставом разных рук, с использованием киноварных заголовков. На лл. 1–9 рукописи — вкладная в Ново-Иерусалимский монастырь от 1666 г.: «175 (1666) положил книгу Италию святейший Никон патриарх в дом живоначальнаго Христова Воскресения…».

[3] В нашем исследовании мы пользуемся латинским текстом, хранящимся в ГИМ Москвы — № 54000/ГО-5683/1, по-видимому, находившимся в XVIII–XIX вв. в частном хранении.

[4] Сама запись Никона цитируется в [Протасьева 1970: 44–45] при описании № 625 (Син. 1003, Юрьевское евангелие). При цитировании вкладной Никона по Син. 1003 данное слово отсутствует.

Таким образом, можно предположить, что работа над самими переводами шла практически одновременно во второй половине 50-х гг. XVII в., беловой экземпляр первого и второго тома сделан в 1658–1659 гг., чуть позже началась работа над третьим томом, беловик же четвертого тома — описание Англии — не был приготовлен.

Объем текста весьма значителен. *Объем черновых экземпляров*: 605 листов (в 4^0, Син. 779), 422 (в 4^0, Син. 781), 650 листов (в 4^0, Син. 780), 624 (в 1^0, Син. 41), то есть объем черновика — 2.301 лист. *Беловые экземпляры* содержат Син. 19 — 306 листов (1^0, писано довольно мелко, 40 строк на лист), Син. 112 — 277 листов (1^0), Син. 204 — 522 листа (1^0), то есть 1105 листов беловика (общий объем перевода при расчете рукописей в лист вместе с черновиком Син. 41 составит *1729 листов*).

Основной текст перевода представляет собой описания отдельных стран и частей света, построенные по одной схеме: границы, основные города, основные водные артерии, религия, форма правления, основные сведения из истории, природные ресурсы. Особое положение в тексте занимает вступление — «Ввождение в Космографию», в котором содержатся общие сведения астрономического характера, основы общей географии и рассказ об освоении различных частей земли (главы «**Ѡ ра́знствѣ междꙋ Космогра́фїею, Геогра́фїею, и҆ Хорогра́фїею**», «**Ѡ зо́нахъ и҆лѝ Поѡса́хъ, и҆ ѡ҆ разли́чныхъ и҆мена́хъ жи́телеи земны́хъ**», «**Ѡ вели́чествѣ землѝ и҆ раздѣле́нїи стра́нъ по долготѣ̀ и҆ широтѣ̀**», «**Ѡ пла́ванїихъ дре́вниихъ жѐ и҆ новѣ́ниихъ**»[5]. Объем вступления — 18 листов в рукописи Син. 19, в черновом варианте (Син. 779) текста вступления нет.

Основная часть перевода сохранилась лишь в перечисленных выше рукописях. Но текст «Ввождения в Космографию» (далее ВВК) получил широкое распространение во второй половине XVII и начале XVIII вв., причем характер распространения показывает, что данный перевод воспринимался в одном ряду с другими научными сочинениями, созданными в этот период. Наиболее ранний список ВВК содержится в рукописи Син. 642 — сборник богослужебного содержания, в четверть, разный почерк, большей частью скоропись, 284 листа, 2 пол. XVII в., ВВК на лл. 161–193об. [Горский, Невоструев 1917 (III, 2): 467–470[6]]. Данный сборник со-

[5] Все цитаты даются по рукописям с максимальным сохранением орфографии (включая диакритику); большая часть цитат — по рукописи Син. 19 (если отсутствуют существенные разночтения в других списках)

[6] В описании [Горский, Невоструев] имеет № 563; содержится ссылка на намерение авторов сопоставить текст, но замысел не был осуществлен; рукопись не отмечена в [Соболевский 1903].

держит тексты, распространившиеся как раз при патриаршестве Никона: в начале приплетена печатная статья с чином освящения воды (напечатана в Москве, 1655), далее — фрагменты октоиха, месяцеслова, ирмосы, «кои не обретаются в новом ирмологии печатном» (то есть издания 1657), л. 126–160об. — «Дамаскина архиерея Студита собрание от древних философов о неких собствах естества животных» (перевод изданной на греческом в Венеции в 1643 г. книги).

К концу XVII — началу XVIII вв. относят три рукописи, хранящиеся в РНБ: Q.XVII.31, Q.XVII.6 [Калайдович, Строев 1825: 221, 287] и Соф. 1510 [Абрамович 1905: XIV; Новгородское Софийское собрание: 987], еще один список хранится в РГБ (ф. 722, № 315), по филиграням бумаги рукопись датирована не ранее 1691; но скорее всего после 1700 г. — на полях рукописи есть запись **по но́вому календарꙋ се есть написано** (л. 13об.). Восприятие ВВК как научного текста особенно ярко видно по составу рукописей Q.XVII.6 и Соф. 1510 — вступление к Атласу оказывается в окружении «Диалектики» (без названия, с началом «азъ есмь диалектика») и «Математики», «Риторики» и некого «медицинского наставления».

Несмотря на довольно подробные характеристики рукописей в описях, самая ранняя из которых относится к 1784 г., текст ВВК остался не изучен, а нами при детальном анализе обнаружены разночтения списков. Так, рукопись Q.XVII.31 содержит большие лакуны (к примеру, на лл. 7–7об. отсутствует большой фрагмент главы 5; на л. 10 нет фрагмента главы 8; есть пропуски меньшего объема и в других главах); в рукописи Q.XVII.6 перепутаны листы (на л. 7об. начинается глава 3, потом на л. 8 расположено продолжение главы 6, связный текст идет далее до л. 15об., а с л. 16 возвращаются главы 3, 4 и 5). Описи указывают на полную идентичность этой рукописи и списка Соф. 1510, что не совсем точно: в последнем страницы не перепутаны, есть отличия в количестве чертежей, присутствуют и текстовые разночтения.

Сопоставление всех указанных выше рукописей и латинского оригинала свидетельствует о том, что ближе всего к утраченному черновику рукописи текст из Син. 642, небольшие расхождения с латинским оригиналом (в первую очередь пропуски) есть в Син. 19, остальные списки имеют разночтения разного рода, в том числе свидетельствующие об их создании без обращения к латинскому оригиналу[7]:

[7] Надо заметить, что отдельного изучения требуют рисунки и схемы.

Лат. текст	Син. 642	Син. 19	Q.XVII.31	Q.XVII.6 Соф. 1510
Geographia, hoc est, description terræ, exponit totius terræ situm in genere (глава I[8])	**Географїа, сѐ ѥ҆́сть, ѡ҆писа́нїе землѝ, и҆зѧвлѧ́етъ всеѧ̀ землѝ положе́нїе ро́дꙋ̀ѣ, и҆ и҆зрѧднѣишихъ е҆ѧ̀ часте́и** — на полях исправление **вро́дѣ** (л. 162)	**Географїа, сѐ ѥ҆́сть, ѡ҆писа́нїе землѝ, и҆зѧвлѧ́етъ всеѧ̀ землѝ положе́нїе ро́дꙋ̀ѣ, и҆ и҆зрѧднѣишихъ е҆ѧ̀ часте́и** (без исправления на полях — л. 1)	= Син. 642	= Син. 642
Tertium ad latit. Graduum 30 erit *Peraguaicum* (глава VI)	**Тре́тїе ѥ҆́сть к҆ широтѣ̀ степе́немъ л҃, перагꙋа́ское** (л. 171)	—	**Тре́тїе е҆ст к҆ широтѣ̀ степене́ л҃ е҆ст перꙋгꙋа́нское** (л. 8об.)	= Син. 642 В Соф. 1510- **перꙋа́ганское**
ut cum dicitur, Hispaniam ad Ortum habere Galliam & montes Pyræneos, ad Occasum magnum Oceanum Orientalem: Item Germaniam ad Occidentem claudi Rheno (глава VIII)	**ꙗ҆́кѡже внегда̀ гл҃етсѧ, ꙗ҆́кѡ Гїспа́нїѧ къ Восто́кꙋ и҆мѣ́етъ Га́ллїю и҆ Горы Пїрене́нскїѧ, к҆За́падꙋже вели́кїи О҆кїа́нъ восто́чныи: ксемꙋ же ꙗ҆́кѡ Герма́нїа и҆лѝ неме́цкаѧ землѧ̀ к҆западꙋ заключа́етсѧ Ре́номъ** (л. 172об.)	= Син. 642	<…> **к҆За́паду же вели́кїи ѡ҆кїа́нъ западны҃. к҆семꙋ же ꙗ҆́кѡ ге҃рма́нїя и҆лѝ неме́цская земля̀, к҆западу ра҃лꙋча́етсѧ ре́но҃м рѣко҃ю** (л. 9об.)	<…> **пк҆за́падꙋ҃ж вели́кїи О҆кїа́нъ западный. к҆семꙋже ꙗ҆́ко герма́нїи и҆линеме́цкая землѧ̀, к҆за́паду заключа́етсѧ ре́но҃м рекою**

[8] В латинском оригинале листы вступления (Introductio) идут без нумерации.

Подобных разночтений отмечено достаточно много, но наибольшее число отличий зафиксировано при сопоставлении рассмотренных выше рукописей и РГБ ф. 722 № 315 (все цифры, например, записаны словами; есть разница в передаче ряда терминов, есть отступления от латинского оригинала и т. д.; описание этих разночтений должно стать еще предметом отдельного анализа).

Наша гипотеза об истории разных списков такова: сделанный с латинского оригинала черновик не сохранился (по-видимому, он был сделан раньше, чем основной перевод [Николенкова 2010: 94–95]); больше всего черновику соответствуют списки Син. 642 и Син. 19; далее текст ВВК переписывали без сверки с латинским оригиналом, при этом вносились различные изменения. Оснований считать какие-либо из сохранившихся списков парой «протограф — антиграф» у нас нет. Наиболее близки рукописи Соф. 1510 и Q.XVII.6 (совпадает в том числе характер оформления и использования киновари); первый из них следует считать более ранним. Между ними, скорее всего, лежит какой-то (какие-то) дефектный / -ые экземпляр / -ы.

Гипотеза о существовании черновика перевода, отделенного от основной массы рукописей (Син. 779, 780, 781, 41 — черновики), подтверждается тем, что списки представляют собой абсолютно идентичный фрагмент, в котором ВВК завершается описанием одной из частей Земли с одинаковым началом: **Но вре́мѧ есть, дакра҃здѣле́нны҃м ми́ра часте́мъ по́йдемъ. Полъ а҆рктѝцкїй, и҆лѝ ѻ҆сь сѣве́рнаѧ** (описание северных земель, Гренландии, Новой Земли; в латинском оригинале этот фрагмент также отделен от вступления, к примеру, уже начинается фолиация, также этой части соответствует отдельная карта). Судя по описанию томов Атласа Блау в собрании Никона [Переписная книга 2009: 453], этот фрагмент занимал две из семи имеющихся латинских книг («книга описание всеа земли, книга описание ж всех частей поморские земли»), именно поэтому был переведен отдельно.

Надо отметить, что при последующем переписывании первоначальный текст понимали не все, в него вносились исправления, еще сильнее затемняющие смысл и без того сложного перевода. Приведем такой довольно забавный пример:

	Син. 642, Син. 19; Соф. 1510, Q.XVII.31	Q.XVII.6
Guilielmus enim Barendsonius, qui, postquam per fretum Nassovicum iter versus Sinas perfici posse negavit, non ob glaciem solum, sed præcipue quod ex variis observationibus comperit, non mare illud, sed sinum duntaxat esse (4)	**Гвильгелмъ бо баре́ндсо́нїй** (вариант **бобаре́ндсо́нїй**) **и҆же внегда̀ чре҃ пото́къ то́й нассовицкїй пꙋ́ть твори́ти кси́намъ немо́щно бы́ти гл҃а, не лда̀ ра́ди, нонаипа́че ꙗ҆́ко ѿмно́ги вино́въ сразꙋ́мѣ, неꙗ҆́кѡ мо́рѣ е҆́сть о҆́но, нонѣдро̀**	***Гвильгелмѣ ба́ба ре́нтъсо́нїй***. **и҆же внегда̀ чре҃ пото́къ то́й нассовецкїй пꙋ́ть твори́-ти кси́намъ немо́щно бы́ти гл҃а, нелда̀ ра́ди, нонаипа́че ꙗ҆́ко ѿмно́ги вино́въ сразꙋ́мѣ, неꙗ҆́кѡ мо́рѣ е҆́сть о҆́но, нонѣдро̀** (л. 44об.)

Рассмотрев материал, привлеченный нами для исследования, переходим к характеристике лингвистических особенностей церковнославянского перевода.

Первая особенность языка переводов отмечена еще Соболевским [Соболевский 1903: 61]: «переводчик был знатоком греческого языка: *к*ентр, гипер*в*орейский», при этом для негреческих по происхождению слов такой способ транслитерации не используется (например, *Brasilia* передана как **Бразилїа**). Ориентация на греческий язык даже в переводах с латинского соответствует представлениям XVII в. о симметрии церковнославянского и греческого языков и отсутствии такого сходства с латинским [Виноградов 1982: 13–15]: в списках отмечены **Септемврїа**, **Декемврїа**, **Маѳиматика**, **Планита** (с вариантом **Планета**) и т. д. В главе 8 ВВК содержится **Скрыжаль сказꙋю́щаѧ имена лв҃ вѣтрѡвъ** (так в Син. 642 и Син. 19, в Q.XVII.31 эта таблица опущена, в Q.XVII.6 и Соф. 1510 названа **И҆мѧна̀ лв҃ вѣ́тра, имѧна́ми е҆ллинїскими**), названия ветров даны в грецизированном виде (**А҆́рктозефїръ**, **Нотозефиръ**, **Месолїѱъ** в одних списках, **Ї҆паѳрико́съ**, **Нотапилиоти**, **Ї҆перѳра̑кїа́съ** в других). Здесь надо заметить, что не все писцы одинаково хорошо владеют греческим: рукописи Q.XVII.6 и Соф. 1510 пишут греческие слова кириллицей и, как уже отмечено, допускают ошибки — так, дважды отмечено **гипорворей**; писец Q.XVII.31 в воспроизведении графики греческих слов также не очень точен.

Вводя новую научную терминологию, переводчик ВВК не отдает предпочтение только грецизмам. В качестве второго иностранного языка, на который ориентируется автор перевода, начинает высту-

пать и латинский, чему, безусловно, способствовали создаваемые в то же время латино-славянские лексиконы. Наиболее показательный пример — употребление в ВВК лексемы **горизонъ**, хотя для XVII в. словари фиксируют только грецизированный вариант *оризонт* [СРЯ XI–XVII, 13: 68]. Написание с начальным *г*, по данным [СРЯ XVIII], фиксируется с 1701 г., да и тогда авторы сбиваются на прежнее с начальным *о* (такое употребление зафиксировано в «Географии генеральной» Варения). Переводчик ВВК противопоставляет грецизированный и латинизированный вид термина, так как в тексте ему часто попадаются фрагменты, где в латинском тексте употреблен грецизм с указанием на происхождение:

Mundum, quo omne id quod oculis conspicuum est, nempe cœlum & Terra, comprehenditur, Græci dixere κόσμον; ejusque descriptionem κοσμογραφιαν.	**Свѣ́тъ, и҆мже все́ то́, є҆же о҆чесы̀ зри́мо є҆сть, си́рѣчь, Нб҃о и҆ землѧ̀, содержи́тсѧ ѿбеметсѧ, Гре́ки нарекоша́ Κόσμον, и҆ є҆ѧ̀ ѿписа́нїе Космографїею** (Син. 19, л. 1)
Circulus Æquinoctialis, Græcis Ἰσημερανὸς, quasi Æquidialis, quinque Parallelorum est maximus, in medio cœli ad eandem undique à Polis distantiam, dividens sphæram in duas partes æquales, quarum una tendit in Boream, altera in Austrum.	**Кру́гъ Равноно́щный, ѹ҆̀ Гре́кѡвѣ̀же Ἰσημερανὸς, а҆́ки равнодне́ны̀ пѧти̑ Паралле́лѡвъ бо́лїи є҆сть, посредѣ̀ нб҃се, ѿвсю́ду ра́вное ѿ по́лїовъ и҆мѣ́ѧи разстоѧ́нїе, раздѣлѧ́ѧи Сфе́ру и҆лѝ Кру́гъ вели́кїи надвѣ̀ части ра́вныѧ, и҆́хже є҆дина и҆́детъ ко̀ Воре́ю, дру́гаѧ же къ Ѧ҆́встру̀** (Син. 19, л. 2об.–3)
Circulus visum nostrum circumcirca ad cœlum terminans, Græcis dictus *ὁριξων*, Latinis Finitor aut Terminator visus, dividit cœlum & totam sphæram in duas partes æquales, unam superam & conspicuam, alteram inferam & visui nostro inconspicuam.	**Кру́гъ зренїе на́ше ѿвсю́ду ко̀Нбси ѿпредѣлѧ́ѧи, ѿГрекѡвъ нарече́нѝ Ѻрїзо́нѝ, ѿ Латїно́въ же Кончи́тель и҆лѝ ѿпредѣли́тель зрѣ́нїѧ. раздѣѧ́етъ Нбо и҆ весь Кру́гъ великїи на двѣ ча́сти ра́вныѧ, на є҆ди́ну вышнюю и҆ ви́димую, на дру́гую же ни́жнюю и҆ видѣ́нїю на́шему нѥвле́нную** (Син. 19, л. 3об.)

Заметим, что в Син. 19 и Син. 642 (следовательно, по нашему мнению, и в первоначальном черновике) различаются кириллическое написание и греческое, и это различие не симметрично латинскому тексту: переводчик использует кириллицу, если грецизм известен церковнославянскому языку и хоть в какой-то степени освоен. Есть в переводе случаи, когда грецизм и латинизм использованы вместе, к примеру:

Polus Arcticus, alias *Borealis* dictus à vento Borea, qui ex illa mundi plaga spirat, est iste, qui habitantibus in septentrionali Mundi hemisphærio, ut nobis, conspicuous est, & supra horizontem attollitur. Antarcticus, feu Australis, à vento Austro, est qui Boreali nostro hemisphærio nunquam cernitur, sed perpetuo latet depressus sub Horizonte.	**Поль А҆рктїцкїи, и҆на́че Воре́нскїи, наречéнъ ѿ вѣ́тра Воре́а, и҆же ѿ о҆́ном страны̀ Мїра вѣ́етъ, є҆́сть то́и, и҆́же живꙋ́щимъ насѣ́вернои Мїра ча́сти, ꙗ҆́кѡ же на́мъ, ви́димъ є҆ст, и҆ вы́шше Горїзо́на возно́ситсѧ. А҆нтарктїцкїи, и҆лѝ Полꙋ́денный ѿ вѣ́тра А҆́встра[9], є҆ст и҆́же нана́шои Воре́нскои и҆лѝ полꙋ́нощнои странѣ̀ николи́же ви́димъ є҆ст, но́ при́снѡ невидимъ затѣснéнъ по҆́ Горїзо́номъ.** (Син. 19, л. 2об.)

Этимологический грецизм *Борей* и латинизм *Австр* соединились в период поздней античности, но разное происхождение сказалось на судьбе слов: грецизм дольше использовался как термин, позже переместился в поэтическую речь [СРЯ XVIII], *Австр* использовался в качестве термина совсем недолгое время в начале XVIII в. (в вариантах *аустер*, *австер*; например, есть употребление в Географии генеральной), но позже исчез из научного языка.

Терминологическое использование лексемы *Австр* приводит нас к анализу второй отличительной особенности перевода ВВК как научного текста, которая не была выявлена ранее. На начальном этапе формирования научного языка, безусловно, были предложены разные пути (стратегии), которые были апробированы переводчиками в процессе работы над большим по объему текстом. Эти стратегии можно разделить на три основных группы: 1) транслитерация термина; 2) поморфемный перевод; 3) описательный перевод, то есть образование словосочетания на месте термина.

Транслитерация — принцип, оказавшийся наиболее востребованным среди лучших переводчиков XVIII в., который рекомендовал сам Ломоносов: во всех случаях, когда удачного русского соответствия иностранному слову не находится, надо «придавать иностранному слову форму, наиболее сродную русскому языку» [Меншуткин 1937: 132]. В ВВК представлен тот начальный этап, когда в одном тексте могли оказаться разные варианты терминологического употребления. Среди них целый ряд слов, которые впервые зафиксированы именно в нашем переводе:

[9] Кроме таких контекстов, где использованы оба названия ветра, «auster» передан как «юг».

Zenith	зениѣ҇ъ	В значении «гниль, тлен», употребление 1670 г. [СРЯ XI–XVII, 5: 382] В значении *геогр. терм.* с 1703–1718 г. [СРЯ XVIII]
Diameter	діаметеръ ...**Дїаметеръ и҆лѝ прямáѧ чертà былáбы двѣ́ тмѣ̀ миль неметскихъ** (л. 2) …**Дїаметеръ черта ѿ верхꙋ земли прямаѧ даже до глꙋбины конца сквозѣ землю проходѧщаѧ** (л. 6об.)	В форме «диаметра» в значении «доля или мера вышины или ширины» [СРЯ XI–XVII, 4: 243] В значении *геогр. терм.* с 1703 г. [СРЯ XVIII]
Tropici (pl) Tropicus Cancri Tropicus Capricorni	**тропики** **трóпїкъ Рáковъ** **тропїкъ Козерóжцевъ**	В изданных словарях и картотеке СРЯ XI–XVII вв. не представлено
sphæra	**сфéра**	В [СРЯ XI–XVII, 29: 91] не зафиксировано. Надо заметить, что есть и другие варианты перевода
Archipelagus	**архїпелѧ́гъ** **Послѣ́дꙋютъ а҆́бїе к҆́ Востóкꙋ, мóре Серское, Хїнéнское, и глꙋбóкость мóрѧ Гїппадскагѡ, ѻ҆́бщеже А҆рхїпелѧгъ стáгѡ Лáзара** (9об.)	В [СРЯ XI–XVII, 1: 53] не зафиксировано. В [СРЯ XVIII] с 1719 г. История слова без учета нашего употребления в [Барандеев 2010: 118–122]
parallelos	**Параллель** (по спискам — **паралелль**)	В [СРЯ XI–XVII, 14: 151] не зафиксировано

Отметим, что при передаче этих терминов писцами, не знающими латыни и не имеющими оригинала, допускались ошибки. Скажем, рукописи Q.XVII.31, Q.XVII.6 и Соф. 1510 дают такое чтение вместо приведенного примера на «диаметр»: **А҆ще ꙋбѡ посемꙋ предна́писанїю землѧ̀ и҆на̀всѧ́к го́дъ ѻ҆́крестъ со́лнца подвиза́ласѧ вкрꙋ́зѣ є҆ѧ̀ же *циркꙋ́л,* и҆лѝ прѧма́ѧ черта была бы двѣ̀ т҃мы миль** (листы 2об., 5об., 34об.). Можно предположить, что при переписывании неверно была соотнесена глосса, поэтому два не очень понятных пока термина (*диаметр* и *циркуль*) оказались перепутаны.

Есть слова, которые не являются географическими терминами, но их фиксация в нашем переводе существенно изменяет представление о путях их вхождения в литературный язык. На с. 4 латинского текста встречается форма *autores* (Pl), в Син. 19 переданная как **авторовъ** (л. 16). В [СРЯ XI–XVII, 1: 20] зафиксировано в значении «работник» (из «Книги глаголемая гречески алфавит»). Форма сохранилась во всех списках в вариантах **авторовъ**, **аѵторовъ**, **аѵторѡвъ**, при этом в поздних списках на полях стоит глосса **творецъ** — значение, в котором, по [СРЯ XVIII], слово фиксируется с 20-х гг. XVIII в.

Тенденция к переводу нового термина, а не к транслитерированной передаче, также отмечается в переводе. Причем борьба двух тенденций прослеживается на всем протяжении текста. Одним из наиболее ярких примеров служит работа переводчика над словом *geographia* и его производными.

По мнению большинства терминологов, наиболее ранняя фиксация термина *география* отмечается в переводном памятнике 1685 г. «Орбис Терарум» (по рукописи ГПБ, Q.IV.52): «Сие имянуется *еография*, еже изыскивати и ведати всю поднебесную» [Барандеев 2010: 14]. В Космографии 1670 г., наиболее исследованном памятнике, понятия *география* и *еография* расположены на полях в качестве глосс. Термин зафиксирован и в лексиконах, например в Лексиконе Е. Славинецкого: «geographia — землеписание» [Німчук 1973: 208]. «Прочное терминологическое положение» термин *география* начинает занимать с XVIII в., что «было закреплено в названии первой научной печатной книги собственно географического содержания — «Географиа или краткое земнаго круга описание» (М., 1710) [Барандеев 2010: 15].

Однако привлечение перевода ВВК позволяет не только уточнить результаты, но и изменить представления о времени появления слова в языке. Переводчик пробует перевести слово *географы*, создавая модели **странописцы**, **страносписатели**, **землесписатели**, но само название науки *география* переводу не подлежит, так же как и прилагательное *geographicis* (глава 7). Некоторые примеры, позво-

ляющие видеть, как в процессе перевода уточнялось и конкретизировалось словоупотребление, показаны в таблице:

Латинский текст	Церковнославянский перевод (основной текст по Син. 19)
Geographia, hoc est, description terræ <…> Geographia rursum distinguitur in duas partes, nempe Chorographiam & Topographiam (глава 1).	**Географїа, сѐ есть, ѐсть, ѡ҆писа́нїе землѝ** <…> **Геогра́фїа па́ки раздѣлѧ́етсѧ надвѣ ча́сти. си́рѣчь, на Хорографїю и҆ Топографїю** (л. 1)
Veteres Geographi Globum Terræ distribuerunt in *Zonas*, *Climata*, & *Parallelos* (глава 5)	**Дре́внїи странопи́сцы кру́гъ земный раздѣлѧ́ху на зо́ны, кли́ми, и҆ Параллѐли.** (л. 4об.; по другим спискам — **землеписа́тели)**
Tabulis Geographicis (глава 7)	**чертежаХ Геогра́фскихъ** (л. 7)
cum cramben hanc toties recoxerint Geographi (л. 1об.)	**заѐже оу҆же многажды Геогра́фѡмъ ѡ҆семъ веществова́ти** (л. 10об.)
Verum horum loco quæstiones aliquot Geographicas fubjungere libet (л. 2)	**Но́ вси́хъ мѣ́сто вопро́сы нѣкїѧ Геогра́фскїѧ приложи́ти неневрѣснотꙋ бы́ти мни́тсѧ.** (л. 10об.)
…Wilhelmi Camdeni doctissimi Geographi, Angli (л. 2)	**Вїлгѐлма Кадема мꙋдрѣишагѡ землеписа́телѧ А҆глїча́нїна** (10об.; по другим спискам — **землеописа́телѧ)**
Quid proprie Insula sit. Strabo lib. I (так!) Geogr. cap. I (л. 2)	**Что́ ѐсть своиственнѣ о҆́стровъ? Стра́бо вКни́зѣ: л҃, Геогра́фъ, Гл҃а : а҃** (л. 11)
Cur tractum terræ ab Occasu in Ortum Cosmographi longitudinem appellant, à Septentrione vero in Austrum latitudinem (л. 2)	**Чесора́ди землеписа́тели протѧжѐнїе землѝ ѿза́пада к҆ Восто́кꙋ долготꙋ нарица́ютъ, ѿ Сѣ́вераже к҆ ю҆́гꙋ широтꙋ** (11об.)
Veteres Geographi <…> At à recentibus Geographis… (л. 2)	**Дре́внїи землеписа́тели... Но но́вїи Геогра́фи** (11об.)

Таким образом, транслитерированный термин побеждает в конкурентной борьбе с переводом. Последний пример показывает, что и составленный переводчиками композит в тексте находит свое место, показывая различие древней и современной науки о земле.

В другом случае переводчик останавливается на варианте, который впоследствии в истории языка науки окажется отвергнут. Так,

один раз в тексте он передает лексему Æquator как **Єкваторъ** (в главе 3: **Єѧ же ра́ди вины̀ то́иже кру́гъ и҆ны́мъ и҆́менемъ нарица́етсѧ Єкваторъ, и҆лѝ равни́тель**). Здесь же мы встречаем авторский вариант термина — **равнитель,** который и будет использоваться далее в тексте (во всех списках — так же). Слово оказалось востребованным и в начале XVIII в. — картотека словаря русского языка XI–XVII вв. фиксирует его употребление в Географии 1710 г.: «Сеи же кругъ паки нарицается и екватор, или равнитель…»

Но вообще тенденция к созданию переводной модели термина, передаче иностранного понятия средствами церковнославянского языка и по апробированной модели (использование традиционных суффиксальных образований, создание композитов) оказывается достаточно востребованной. К числу переведенных относятся термины и сочетания терминологического характера:

Et quamvis juxta hanc *hypothesin* Terra se annuatim circa solem moveret in *circulo* (глава 1)	**А҆́ще оу҆́бѡ посему̀ *пре҆написа́нїю* землѧ̀ и҆ навсѧ́къ го́дъ ѻ҆́крестъ Со́лнца подвиза́лабысѧ *в҆Кру́зѣ*...** (Син. 19, л. 2)
Primo attribuitur sphæræ *Axis* transiens per centrum globi terreni (глава 2)	**Пе́рвѣе причита́етсѧ вели́кому̀ Кру́гу̀ *О҆́сь* проница́ющаѧ сквозь среду̀ кру́га земна́гѡ** (Син. 19, л. 2)
Solstitia (глосса главы 3)	**ꙗ҆́кѡ оу҆́бѡ нача́ло Барана̀ и҆ Козеро́жца гл҃ютсѧ Сл҃нцестоѧ́нїѧ, и҆лѝ предѣ́лы со́лнечныѧ а҆́кибы Сл҃нце стоѧ́ло вни́хъ недви́жимѡ** (Син. 19, л. 3)
diviserunt in quinque *segmenta*, quæ *Ζώνας*, id est, *fascias* aut *cingula* nominarunt (глава 2)	**раздѣлиша на є҆́ ча́стницъ, ꙗ҆̀же Ζѡ́νας, си́рѣчь, Превѧ́зки, и҆лѝ *Поѧсы,* нарекѡ́ша** (Син. 19, л. 4об.)

Словник [СРЯ XI–XVII] большую часть терминов ВВК не включает (нет *солнцестояние*, нет *зона*) или не выделяет у них терминологического значения (*ось*, *пояс*).

Есть в ВВК термины, которым сам переводчик уделяет большое внимание, задумывается о точном их значении и скрупулезно объясняет их значение, однако дальнейшее развитие научного языка не сохранило нам этого первоначального употребления. К таким отнесем, например, «недро» и «проток» (в современной терминологии *залив* и *пролив*). Переводя латинское *sinus* как **нѣдро**, а *fretum* как **протокъ**, переводчик подчеркивает разный характер самих географических

объектов. На л. 1об. латинского источника читаем: *«Fretum* Hudsonis, & quod Davis vocant, in parte Americæ Septentrionali, cum pervia esse nondum constet, incertum *an Fretis*, *an Sinubus* annumeranda», что в переводе: «***Прото́къ* Гꙋтсоновъ, и҆ егѡ́же Давїсъ нарица́ютъ, в ча́сти А҆мерїки сѣ́вернои, внегда̀ извѣ́стнѡ ꙗ҆́кѡ є҆щѐ непроходни́мъ є҆́сть, сꙋмни́телнѡ є҆го̑ *прото́кам ли, и҆лѝ нѣ́драмъ* є҆го̑ причита́ти подо́баетъ**» (Син. 19, л. 10об.). Обращает внимание выбор лексемы **нѣдро** для передачи «внутреннего моря» (...**ви́димы сꙋ́ть та́мѡже морскїѧ розливы, внѣ́дрѣхъ землѝ сокрове́нныѧ, си́рѣчь, Нѣ́дро и҆лѝ розли́въ Кода́нскїи**, <…> **влїано междꙋ мо́ре, дацкꙋю и҆ Свїню зе́млю, и҆ межꙋ̀ Лїфлѧнды и҆ Прꙋ́сы**, Син. 19, л. 10). В [СРЯ XVII, 11: 106–107] можно обнаружить, что слово употребляется чаще всего в стандартном и гибридном регистре церковнославянского языка и характеризует книжный язык, а не разговорный.

Наконец, отметим уже встреченные в примерах выше описательные термины, целый ряд которых обычно относят к XVIII в., а некоторые приписывают М. В. Ломоносову: **крꙋгъ земный** (Globus Terræ, Orbis Terræ, sphaera); **Поли мира** (Poli Mundi; в рукописи РГБ ф. 722, № 315 мы встречаем и лексему **Полюсъ**, но, не имея точной возможности датировки этого списка, не можем сделать вывод о времени употребления); **Новый Миръ** (Novus Orbis — об Америке); **Древний Миръ** (Veteris Orbis, при этом обычно прилагательное переводится как «ветхий»). Особенно ярко поиски переводчика в описательном терминообразовании прослеживаются в главе «О плаваниях древних и новейших». Так, в качестве перевода «caelum» он использует сочетание **Небесный Шаръ** (Син. 19, л. 15).

Таким образом, в отношении организации языка науки переводчик (Епифаний Славинецкий вместе с кружком грекофилов; есть основания предполагать, что начальный этап работы книжники осуществляли совместно) пробовал все возможные варианты: транслитерацию, поморфемный перевод и создание описательного термина. Не отдав предпочтения ни одному варианту, он угадал дальнейший путь формирования научного языка на протяжении всего XVIII в., когда актуальными остались именно эти три модели.

Говоря о грамматической организации перевода, мы должны отметить стремление авторов следовать нормам стандартного регистра церковнославянского языка, отраженным в памятниках сакрального содержания XVII в. и рекомендованным в Грамматике Смотрицкого московского издания 1648 г. (далее ГМ. — *Н. Н.*). Следуя этим нормам, авторы перевода использовали:

— сложную систему прошедших времен: **Жи́телеи оꙋ҆́бѡ пѡсѡ́въ и҆лѝ стра́нъ земны́хъ** <…> ***раздѣли́ша* на Перїскїевъ,**

Гетероскїєвѝ А҃мфискїевъ. Живꙋ́щихъ на <…> **странѣ̀ мра́знои,** ***нарекоша*** **Перїскїи** (л. 5); **Ѿстраносписа́телей нѣ́цыи пе́рвымъ седми два̀ е҆щѐ** ***приложи́ша*** **Кли́ма, и҆́нїиже пѧ́ть** (л. 5об.); **Гре́ки разстоѧ́нїѧ мѣ́стъ** ***раздѣлѧ́хꙋ*** **наста́дїи** (л. 7об.); **А҆́щеже лю́дїе поима́ныхъ и҆́хъ с҆ собо́ю** ***приведо́ша,*** **и҆ си́мъ ѻ҆́бразомъ и҆дѣ́же** ***ѡ҆бита́хꙋ,*** **и҆́х ро́дъ** ***введо́ша*** (л. 11); … **е҆́же дре́вле Пиѳагоре́и, А҆рїста́рхъ Самїискїи, и҆ про́чїи мно́гѡ пре́жде лѣ́тъ А҆рїсто́телевыхъ, Гиппа́рхи и҆ Птоломе́и** ***держа́хꙋ*** (л. 11) и т. д.);

— формы инфинитива на *-ти* (**пости́гнꙋтисѧ, ѡ҆сѧгнꙋ́ти, и҆зобилова́ти** и т. д.);

— формы 2 л. ед. ч. наст. вр. на *-ши* (**Сїе и҆звѣ́стнѣе оу҆разꙋмѣ́еши си́мъ ѻ҆́бразомъ наначерта́нїи припи́саномъ дабꙋ́детъ**, л. 6об.);

— формы двойственного числа (**на двѣ̀ странѣ̀, двѣ́ тмѣ̀ ми́ль, ѻ҆боѝма конце́ма, ѻ҆чима пости́жимъ**),

— архаичную систему склонения существительных; и т. д.

Приведем лишь некоторые примеры, иллюстрирующие последнее утверждение. В ГМ для существительных на **-га**, **-ка** и **-ха** рекомендуется замена «г» на «з», «к» на «ц» и «х» на «с» в дательном и сказательном падежах единственного числа и в двойственном, тогда как во множественном числе такого чередования не предусмотрено [Грамматика 1648: 94–96]. Автор следует данной рекомендации довольно тщательно; так, на листе 4 автор перевода употребляет форму «точки» (**е҆ли́цы сꙋ́ть на Нб҃си то́чки наглавныѧ**), а на листе 4об. «точцѣ» (**е҆́сть Тро́пїкъ Ра́ковъ прикаса́ѧисѧ Зодїа́кꙋ, GH, въ то́чцѣ H**). Для слов мужского рода на **-гъ**, **-къ** и **-хъ** чередование ГМ рекомендует и в формах множественного числа (в именительном и сказательном падежах, но не в творительном) [Грамматика 1648: 110–113], и этому предписанию переводчик также следует, используя последовательно формы **Крꙋ́зи недвижимїи**, **болшїи**, но **тѣ́миже Крꙋ́ги**. Отступления от правила отмечаются лишь при употреблении нововведенных терминов (так, отмечена только форма им. мн.ч. **Тро́пїки**, что, скорее всего, связано с неосвоенностью термина).

Уже отмеченная выше стандартная форма тв. п. мн. ч. слов мужского и среднего рода на **-ы** / **и** также представляется переводчику единственно возможной нормой: **ѻ҆чесы̀ зри́мо е҆́сть; со всѣ́ми гра́ды, се́лы, лѣ́сы, (гора́ми, и҆ рѣка́ми)**; **междꙋ Космогра́фы** и т. д. Есть примеры, когда это окончание используется для формы двойственного числа (**междꙋ ѻ҆боѝма Тро́пїки**), при этом «оба» употреблено в верной форме.

Говоря о множественном числе, нельзя не отметить форму род. п. с рекомендованной в ГМ формой с окончанием **-ѡвъ** (наряду с **-ъ**). Последовательность выбора этого окончания подчеркивается его

употреблением во всех списках (хотя в более поздних есть некоторые отступления, в том числе орфографические): **ѿ Грекѡвъ, из ѹглѡ́въ, часѡ́въ є҃, на верстѣ̀** (в списках **верстѣ̀хъ**) **крѹгѡ́въ** и т. д.

Последний пример с изменением в списках числа существительного показывает, что в ряде случаев даже переписчики исправляли «ошибки» первоначального перевода. Еще пример: в существительных мужского рода мн. ч. местного падежа мы в основном отмечаем верное как в соответствии с традицией, так и с рекомендациями ГМ окончание **-ѣхъ**. Однако переводчик все же иногда сбивается, и в рукопись попадает ненормативное **-а҃хъ**. Переписчики ВВК, отмечая такие ошибки протографа, чаще всего стремятся их исправить: так, в Син. 19 **по́ѧсы зи́мныѧ намно́гих мѣста҃х** исправляется в других списках на **мѣстѣ́х**.

Таким образом, работая над формированием научного языка, призванного донести новое знание, кружок переводчиков-грекофилов оказывался в ситуации следования сразу же двум стратегиям: консервативной, требующей сохранения архаической грамматической модели организации текста, и новаторской, требующей формирования новых принципов передачи современной информации. Столкновение этих тенденций не могло не породить противоречие.

Рискнем предположить, что осознание этого противоречия в сфере активно развивающегося в начале XVIII в. языка науки привело к тому, что пожелание переделать перевод «не высокими словами славенскими, но простым русским языком» было впервые высказано именно по отношению к географическому сочинению, которым оказалась «География генеральная» Варения [Живов 1996: 91–92, 99–100]. Правка со стандартного церковнославянского на «простой русский», как известно, распространяется на ограниченный набор признаков грамматического характера, но практически не затрагивает лексический уровень. Во многом это связано с тем, что новые подходы в области создания научного языка уже начали формироваться и должны были развиваться далее.

Литература

Абрамов 1866 — Космография, относящаяся к началу второй половины XVII стол. Перевод с иностранного монаха Епифания Славинецкого. Сообщено Н. Абрамовым // Известия имп. Географического общества. 1866. Т. 2, № 3. С. 96–97.

Абрамович 1905 — *Абрамович Д. И.* Описание рукописей Санкт-Петербургской Духовной Академии. Софийская библиотека. Вып. 1. СПб., 1905.

Барандеев 2010 — *Барандеев А. В.* История географических названий: Русская топонимия в терминах. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 2010.

Библиотека Новгородского Софийского собрания. Ф. 728, часть V. Опись РНБ. СПб.

Буслаев 2004 — *Буслаев Ф. И.* Историческая хрестоматия церковнославянского и древнерусского языков. М., 2004.

Виноградов 1982 — *Виноградов В. В.* Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX веков. Изд. 3-е. М., 1982.

Горский, Невоструев 1917 — [*Горский А. В.*, *Невоструев К. И.*] Описание славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки. М., 1855–1869, 1917. Отд. I–III.

Грамматика 1648 — Грамматика 1648 г. / Предисл., науч. коммент., подг. текста и сост. указателей Е. А. Кузьминовой. М., 2007.

Живов 1996 — *Живов В. М.* Язык и культура в России XVIII в. М., 1996.

Калайдович, Строев 1825 — [*Калайдович К.*, *Строев П.*] Обстоятельное описаніе славяно-россійскихъ рукописей, хранящихся въ Москвѣ въ библіотекѣ тайнаго совѣтника, сенатора, двора Его Императорскаго Величества дѣйствительнаго камергера и кавалера графа Ѳедора Андреевича Толстова. Съ палеографическими таблицами почерковъ съ XI по XVIII вѣкъ. М., 1825.

Книга Большому Чертежу 1950 — Книга Большому Чертежу. М.; Л., 1950.

Космография, относящаяся к началу второй половины XVII стол. Перевод с иностранного монаха Епифания Славинецкого. Сообщено Н. Абрамовым // Известия императорского Географического общества. Т. 2. № 3. 1866.

Ларин 1937 — [*Ларин Б. А.* (перевод, вступительная статья)]: Генрих Вильгельм Лудольф. Русская грамматика (Оксфорд, 1696). Л., 1937.

Лебедев 1949 — *Лебедев Д. М.* География в России XVII в. М.; Л., 1949.

Меншуткин 1937 — *Меншуткин Б. Н.* Жизнеописание Михаила Васильевича Ломоносова // Изв. АН СССР. Отд. ОН. 1937. № 1.

Николенкова 2010 — *Николенкова Н. В.* Церковнославянский перевод Атласа Blaeu: нерешенные вопросы // Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. 2010. № 6. С. 86–98.

Никон 2004 — *Никон*, *Патриарх*. Труды / Науч. иссл., подг. документов к изданию, сост. и общ. ред. В. В. Шмидта. М., 2004.

Німчук 1973 — «Лексіконъ латинский» Є. Славинецького. «Лексикон словено-латинський» Є. Славинецького та А. Корецького. Сатановського / Підгот. до вид. В. В. Німчук. Київ, 1973.

Протасьева 1970 — *Протасьева Т. Н.* Описание рукописей Синодального собрания (не вошедших в описание А. В. Горского и К. И. Невоструева). М., 1970.

Райков 1947 — *Райков Б. Е.* Очерки по истории гелиоцентрического мировоззрения в России. Из прошлого русского естествознания. М.; Л., 1947

(глава 2 «Дальнейшее развитие западных влияний»; глава 5 «Учение Коперника в рукописной литературе Московской Руси XVII в.»).

СКиК XIV–XVI 1988 — Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2 (вторая половина XIV — XVI в.) Ч. 1 (А–К). Л., 1988.

СКиК XVII 1992 — Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3 (XVII в.) Ч. 1 (А–З). СПб., 1992.

СРЯ XI–XVII — Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1–. М., 1975–.

СРЯ XVIII — Словарь русского языка XVIII века. Л., 1984–1991. (Вып. 1–6); СПб., 1992– (Вып. 7 и далее); электронная версия: http://feb-web.ru/feb/sl18/.

Соболевский 1903 — *Соболевский А. И.* Переводная литература Московской Руси XIV–XVII веков. СПб., 1903.

Переписная книга 2009 — (Сочинения Григория Скибинского). Переписная книга домовой казны патриарха Никона. (Текст по изд.: Переписная книга домовой казны патриарха Никона, составленная в 7166 году по велению царя Алексея Михайловича // ВОИДР. Кн. 15. М., 1852). Рязань, 2009. С. 337–482.

Успенский 2002 — *Успенский Б. А.* История русского литературного языка (XI–XVII вв.). Изд. 3-е. М., 2002.

Blaeu 1645 — Theatrum orbis terrarium, sive Atlas novus in quo tabulae et descriptions omnium Regionum. Editae a Guiljele et Ioanne Blaeu. Amsterdami. Anno, 1645.

Г. П. Нещименко

Динамика речевого стандарта современной публичной коммуникации и его влияние на кодификационную практику

1. **Вместо введения**. Предлагаемая вниманию читателя работа относится к циклу проводимых нами исследований по изучению вербального узуса публичной коммуникации в славянских языках. По используемой методике и целевым установкам она продолжает наши более ранние публикации[1], особенно тесно примыкая к статье со сходным названием — «Динамика речевого стандарта современной публичной вербальной коммуникации: проблемы, тенденции развития» [Нещименко 2001].

При выполнении данного комплексного, многоэтапного исследования статья 2001 г. была в некотором роде точкой отсчета. В ней определялись круг намечаемой проблематики, подход к ее рассмотрению и, по возможности, решению. В статье обобщен языковой материал, относящийся к *последнему* десятилетию XX в., когда в публичной коммуникации доминирующую роль начали играть электронные, в данном случае *аудиовизуальные*, средства связи (радио и телевидение). Настоящая работа является ее продолжением. Она базируется на языковых фактах *первого* десятилетия XXI в., когда приоритетную значимость в публичной коммуникации приобрело *компьютерное* общение. В целом предметом изучения был *двадцатилетний* период функционирования вербального узуса публичной коммуникации, если не считать экскурсов в смежные хронологические эпохи.

---

[1] Назовем, прежде всего, [Нещименко 1999; 2000; 2000а; 2000б; 2001; 2003; 2003а и т. д.].

Галина Парфеньевна Нещименко,
Институт славяноведения РАН (Москва)

В этих работах учитываются результаты исследований, проводившихся при финансовой поддержке РГНФ: гранты № 96-04-06015; № 99-04-00093а; 02-04-00274а; № 08-04-00050а, а также РФФИ, грант № 01-06-80043а.

В рамках проведенных исследований был изучен весь спектр современных медиальных средств, проанализирована их функциональная и языковая специфика, а также значимость для развития речевой культуры и речевого этикета. Тесная тематическая, хронологическая и методологическая взаимоувязанность обеих работ позволяла не только *целенаправленно* рассматривать факты отдельных славянских языков, прежде всего, русского и чешского, но и сопоставлять их друг с другом для выявления направленности динамики медиального узуса.

Научно-технические достижения, пришедшиеся на рубеж XX–XXI вв., существенно повлияли на условия и характер вербальной коммуникации, ее техническую оснащенность, речевое взаимодействие участников общения. Внедрение новых коммуникативных технологий вызывало дифференцированную языковую рефлексию. Язык по-разному реагировал на внедрение в практику публичной коммуникации *аудиовизуальных* электронных средств связи и Интернета. При этом, как правило, активизировались те языковые ресурсы, которые способствовали оптимальной реализации соответствующих вербально-коммуникативных потребностей.

Появление электронных средств связи поставило ученых перед проблемой поиска оперативного решения целого комплекса задач теоретического и прикладного характера. Речь шла при этом не только о подборе языкового обеспечения, оптимально пригодного для насыщения коммуникативных каналов семантически емкой и одновременно компактной информацией. Важно также было определить направленность развития речевого стандарта публичного общения, соотнести его с традиционной нормой литературного языка и в случае необходимости внести в действующую кодификацию те или иные коррективы. Серьезной задачей была и проблема установления лингвистического статуса и степени публичности новых разновидностей компьютерного общения, их сочетаемости с собственно лингвистическими закономерностями. Традиции решения подобных вопросов по большей части отсутствовали.

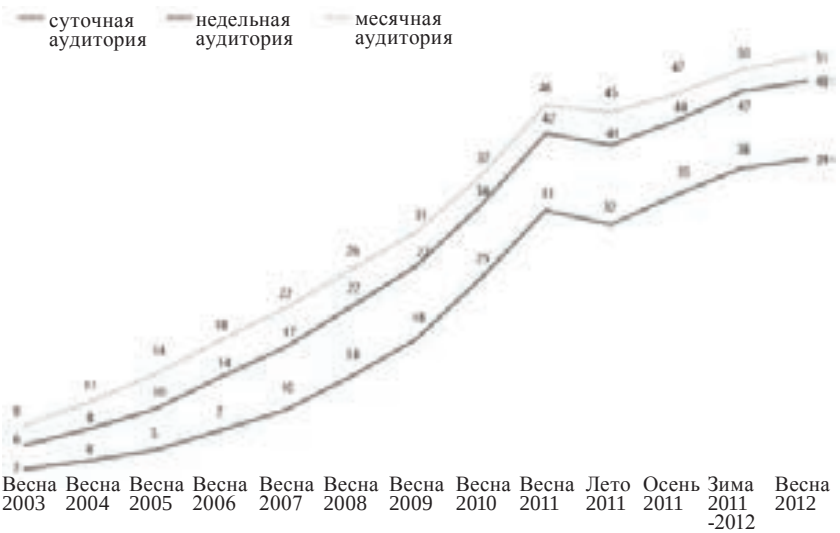
Динамика речевого стандарта публичной вербальной коммуникации обусловливается действием совокупности информационно-коммуникативных, социолингвистических и собственно языковых факторов. Что касается информационно-коммуникативной составляющей, отражающей достижения мирового научно-технического развития, то ее рефлексы в языках разных этносов в основном сходны. Иначе обстоит дело с двумя другими составляющими, характеризующимися вариативностью рефлексии, в частности, наличием как межъязыковых схождений, так и расхождений. Причина этого

во многом состоит в своеобразии сравниваемых языковых систем, а также в специфике развития этноязыковых ситуаций, в состав которых узус публичной коммуникации входит в качестве органичной составной части, начиная со второй половины XX в.

Наблюдаемое в этот период *ускоренное* развитие языковой ситуации стимулировало и другие социолингвистические процессы. Так, в конце XX в. вряд ли можно было предвидеть, что компьютерная коммуникация вскоре выйдет «из тени» своих в ту пору более удачливых[2] «собратьев» (радио, телевидение, пресса) и будет использоваться не только в качестве средства *интерперсонального*, *диалогического* общения, а станет общегосударственным (а затем и международным) каналом распространения общественно значимой информации. Официальный статус «средства массовой информации» Интернет получил в начале XXI в.

[2] По имеющимся статистическим данным, к концу 2000 г. в России было около 3 млн. пользователей Интернета (что составляло 4% от общей численности населения страны). Ныне Интернетом пользуется примерно 60% населения России. В Чехии приобщение к компьютеру проходило гораздо быстрее. В настоящее время она входит в число европейских стран с наиболее высокой компьютеризацией (графическое изображение данных о численности пользователей Интернета в России представлено ниже).

1.1. Численность интернет-пользователей. Динамика. Россия, 18 лет и старше, %



Тенденции и закономерности, выявленные нами на обоих этапах исследования, во многом сходны, что позволяет говорить о *конвергентности* развития узуса электронной публичной коммуникации в сопоставляемых славянских языках. Обусловленные сходными предпосылками, они имеют и сходную вербальную реализацию, которая, судя по всему, будет иметь *долговременную* перспективу развития. Что касается их конкретных результатов, то они, не являясь синхронизированными, могут быть разведены во времени, не утрачивая при этом своей конвергентности.

В целом можно сказать, что выполненное исследование представляет собой поэтапную реализацию *единого замысла* — установление характера языковой рефлексии на изменение обстоятельств и условий публичного вербального общения. Большое внимание при этом уделяется рассмотрению следующих конкретных задач:

— выявление устойчивых изменений речевого стандарта публичной электронной коммуникации, имеющих характер *долговременных системных закономерностей*, т. е. *тенденций* развития узуса публичной речевой культуры;

— выявление вербальных и коммуникативных последствий внедрения новых электронных технологий интерперсонального и публичного общения;

1.2. Численность интернет-пользователей. Динамика.
Россия, 18 лет и старше, млн. чел. (нарастающим итогом)

— оценка уровня речевой культуры современной публичной коммуникации, прежде всего Интернета, а также возможности ее совершенствования с помощью продуманной кодификационной политики.

Используя различные каналы коммуникативной связи, медиальные средства активно участвуют в трансляции огромных информационных потоков. Особое значение в этом случае приобретает проблема их насыщения максимально емкой, скомпрессированной информацией, которая должна доводиться до целевой аудитории, т. е. социализироваться, быстро и адекватно исходному коммуникативному намерению. В противном случае вербально-коммуникативное взаимодействие не состоится, информация будет искажена или утеряна, не осуществится и эмоционально-психологическое, идеологическое и пр. воздействие на адресата.

Наблюдать за развитием и функционированием медиального узуса чрезвычайно интересно. Он отличается повышенной динамичностью, одновременно сочетая в себе такие, казалось бы, несовместимые качества, как эталонность и даже консервативность, с одной стороны, и зависимость от речевых приоритетов своего времени, модных клише[3] и пр., с другой. Не ослабевает потребность в новых номинационных решениях. Все это придает языку СМИ несомненную

---

[3] Некоторые клише являются «однодневками»; другие — более живучи и употребляются второе десятилетие. В статье 2001 г. приведено большое количество клише, из числа сохранившихся назовем, к примеру, *фишка*. Живучим оказалось и клише, образовавшееся на основе лексемы *шоколад* и ее производных. Ср.: *Считайте, что вы в шоколаде*. Новая газета 2003; *надо в кризис закупиться, а потом будем в шоколаде*. Русская служба новостей 2009 (радио); *старлеям оставалось сделать шаг до шоколадного существования*. Мир новостей (газета) 2003; *Лучше здесь* (*на гражданке*), *чем шоколадно там* (*в армии*). Эхо Москвы (радио) 2004; *Наши спортсменки сейчас в шоколаде. Все у них шоколадно*. Там же; *У них и так шоколадная жизнь*. Там же 2012; *Менял один раз валюту в обменнике, курс был офигительно «шоколадный»*. Subscribe.ru, Интернет 2012; (мое наблюдение: разговор по мобильному телефону в маршрутном такси): *Сейчас подскочу. Будет все шоколадно. Шоколадненько!* 2010. Эпизодически в современном узусе встречается и клише *фиолетово*, т. е. *мне все фиолетово* ‘мне все равно’: *В тот период про меня могли говорить все, что угодно. Мне было все фиолетово*. Газета «Жизнь» 2010; *американцам глубоко фиолетово, что делают республиканцы*. РСН, 2012 (звонок в радиостудию слушателя); *Им было глубоко фиолетово*. Там же. 2012. Ср. новые клише: *она заточена на хорошую музыку*, узус; (из речи журналистки РСН 2012): *скорость автомобиля вполне себе хорошая*; *покупка вполне себе удачная*; *он вполне себе доволен*, т. е., как правило, употребляется с позитивным значением. Имеет, на наш взгляд, некоторый налет просторечности.

лабильность и гетерогенность, вызывая многочисленные, зачастую, впрочем, справедливые, нарекания лиц, желающих видеть в нем пример образцового, культивированного речевого поведения.

2. **Языковое обеспечение публичной электронной коммуникации и современная этническая вербальная система**. Главенствующую роль в языковом обеспечении потребностей публичной коммуникации традиционно играет литературный язык. По своим системным параметрам он оптимально соответствует коммуникативной норме анализируемой сферы общения, являясь единственной *общеэтнической* языковой манифестацией, способной не только обеспечивать этническую коммуникацию, но и выполнять важнейшие цивилизационные и этнорепрезентативные функции. Будучи единственной «рукотворной» экзистенциональной формой этнического языка, литературный идиом всеми своими неоспоримыми достоинствами (стабильная норма, полифункциональность, высокая степень престижности, развернутая терминологическая номенклатура и пр.) обязан целенаправленной деятельности многих поколений кодификаторов. Предпочтительное использование данного идиома санкционируется регламентирующими установками языковой политики, языкового воспитания, устойчивыми представлениями о речевом этикете.

Литературный язык является также единственной манифестацией общеэтнического языка, которая, перемещаясь на оси «письменность — устность», имеет две варьирующиеся ипостаси, востребуемые в определенной коммуникативной ситуации. С момента конституирования литературного языка, а затем его дуалистического разделения на письменную и устную разновидности, можно наблюдать, как посредством регламентирующих установок языковой политики[4] поддерживается, а впоследствии и углубляется внутренняя функциональная дифференциация литературного идиома, как с помощью целенаправленного воспитания индивидууму прививаются устойчивые представления о нормах речевого поведения, о правилах выбора языковых средств, пригодных для той или другой ситуации.

2.1. **Формирование вербального стандарта медиальной сферы**. Формирование речевого стандарта публичной коммуникации проходило поэтапно. Так, в период становления газетной публицистики (конец XVIII — начало XIX в., эпоха чешского национального

[4] Понятие «языковая политика» мы интерпретируем как социолингвистическое, а не политическое (подробнее см. в статье «Языковая политика: Некоторые аспекты ее интерпретации», in print).

возрождения) язык «бумажной» прессы, зарождавшийся в недрах литературного языка, имел *беллетристичную* основу. Нормативная взаимосвязь с узусом текстов художественной литературы сохранялась вплоть до второй половины XX в. Причем чаще всего это был персонифицированный узус, соотносимый либо с какой-то авторитетной творческой личностью, либо с художественным направлением [Виноградов 1938]. В своей концепции так называемого «хорошего автора» чешский ученый В. Эртл хотя и призывал следовать образцовому художественному узусу, однако под «хорошим автором» он имел в виду не какого-то одного, конкретного, писателя, а *собирательный* речевой узус [Ertl 1929].

Со временем, однако, стало очевидным, что язык художественных текстов по ряду важных параметров не слишком пригоден для функционирования в качестве нормативной основы литературного языка[5] или же формирующегося публицистического стиля. Он не был ориентирован на широкую аудиторию, коммуникативная *интеракция* между субъектом духовного производства и реципиентом также была вторичной. Преобладала установка на *эстетическое самовыражение* творца произведения. В какой-то мере автору было даже безразлично, как его произведение будет воспринято современным массовым потребителем [ср.: Нещименко 2000: 33].

В силу сказанного язык художественных текстов как лингвокультурный феномен не мог удовлетворять вербально-коммуникативные потребности информационного сообщества. Необходимость смены речевого эталона становилась все более актуальной. Это дало основание чешскому ученому А. Едличке [Jedlička 1974] предложить в своих фундаментальных работах альтернативное решение: использовать в качестве нормативной основы литературного языка узус публицистики[6], ставшей к этому времени вполне оформленным функциональным стилем.

2.2. Специфика речевой нормы публичной коммуникации. Одной из характерных особенностей речевой нормы публичной коммуникации является то, что она находится в осцилляции между литературным и разговорным узусом, этими двумя стихиями, постоянно единоборствующими друг с другом. Именно в этом во многом

---

[5] Словацкий лингвист Я. Горецкий считал возможным вывести язык художественной литературы за рамки стратификации национального языка [Horecký 1981: 119].

[6] Чешский ученый Зд. Главса [Hlavsa 1988] рассматривал язык публицистики как вполне автономный языковой феномен.

заключается и особенность современной публичной коммуникации, наделенной высокой степенью экспрессивности. Учитывая социальную значимость и востребованность публичной коммуникации социумом, это становится одной из важнейших проблем современной социолингвистики.

2.3. Тенденции развития современного вербального узуса публичной коммуникации

2.3.1. Массовость адресата — тенденция «массовизации», «усреднения узуса. В рассматриваемом нами двадцатилетии устойчивой тенденцией развития узуса публичной электронной коммуникации является его *адресность*, заключающаяся в преимущественной ориентации на *массовую* аудиторию (для этой цели в своих работах мы, как правило, используем термин «массовизация»). Для установления контактного взаимодействия и взаимопонимания с массовой аудиторией необходимо было, однако, «*усреднить*» речевой стандарт, упростить его, т. е. приблизиться к уровню ее языковой компетенции. В противном случае может не состояться ни коммуникативное взаимодействие с аудиторией, ни эмоциональное, психологическое, идеологическое и пр. воздействие на нее.

Здесь, однако, возникает одно из существенных, трудно преодолимых препятствий. Дело в том, что публичная коммуникация со второй половины XX в. принадлежит к *репрезентативной* сфере языкового употребления, ее узус, как уже говорилось, становится нормообразующей основой литературного языка, т. е. он значим и в лингвокоммуникативном, и в социальном аспектах. В указанных обстоятельствах культивирование «*усредненного*», сниженного узуса вступает в противоречие с недавно обретенным высоким социолингвистическим статусом. Мало того, это благоприятствует неконтролируемому вторжению в зону приоритетного употребления литературного языка разговорных включений. При подобном стечении обстоятельств возникает нежелательный казус: массовый пользователь языка по закону обратной связи начинает воспринимать «*усредненный*» узус как образец речевого этикета, эталон речевой культуры, которому надлежит следовать и который нужно воспроизводить в публичной и индивидуальной вербальной практике. Иными словами, это именно та опасность, от которой в свое время предостерегал Л. В. Щерба: «Литературный язык принимает многое, навязываемое ему разговорным языком и диалектами, и таким образом и совершается его развитие, но лишь тогда, когда он приспособил новое к своей системе, подправив его и переделав его соответственным образом. Но беда, если разнородное, бессистемное по существу новое зальет

литературный язык и безнадежно испортит его систему выразительных средств, которые только потому и выразительны, что образуют систему. Тогда наступает конец литературному языку, и многовековую работу по его созданию приходится начинать сызнова, с нуля» [Щерба 1957: 128].

Действительно, систематические наблюдения над динамикой современной вербальной коммуникации убеждают нас в активности и в определенном смысле «агрессивности» именно разговорного языка, имеющего мощные корни в языковом сознании носителей этнического языка. Иными словами, именно разговорный язык, образно говоря, «стремится показать, кто в доме хозяин». Нельзя полностью исключить того, что со временем, если, разумеется, процесс будет развиваться в этом направлении, в сфере публичной коммуникации сформируется некое подобие *дуализма* выразительного ряда: у литературного языка в этой сфере появится довольно агрессивный, гетерогенный по своему речевому узусу, конкурент, который по важнейшим параметрам, в том числе и нормативным, будет отличаться от традиционного литературного узуса. Вполне возможно, что при распространенном ныне речевом нигилизме и попустительстве (что, к сожалению, особенно характерно для русскоязычного Интернета) это будет сопровождаться деструктивным воздействием на норму публичного общения (иллюстративный материал см. ниже).

2.3.2. Существует и другая тенденция, манифестация которой варьируется в зависимости от того, какие технические средства используются в электронных СМИ в функции *опосредующего* коммуникативного устройства.

2.3.2.1. Использование устных СМИ (радио и телевидение) — тенденция «устнизации»[7]. Тенденция «*устнизации*», т. е. предпочтительного использования *устных* СМИ (радио и телевидение), характерна для последнего десятилетия XX в., когда значительно снизилась востребованность *печатных* СМИ[8].

Большим преимуществом устных медиальных средств, помимо прочего, является возможность установления *мгновенного* коммуникативного контакта с массовой, общеэтнической аудиторией.

---

[7] Термин «устнизация», наряду с «массовизацией», был введен в наших работах по данной тематике.

[8] Характерно, что в печатных периодических изданиях площадь, занимаемая вербальным текстом, постоянно сокращается, уступая место иллюстрациям, а главное, рекламным фотографиям.

Однако существует и проблема: в отличие от письменного текста повторное обращение адресата к тексту устному, как правило, затруднено, а нередко и невозможно, поэтому вербальное оформление устного текста должно быть настолько сближено с узусом предполагаемого адресата, с его языковой компетенцией, чтобы он мог *мгновенно*, желательно без потерь и искажений, воспринять информацию на слух. Без *снижения*, *усреднения* речевого стандарта текста, его сближения с массовым узусом это сделать не всегда возможно [ср.: Нещименко 2001: 130].

2.3.2.2. Компьютеризация публичной коммуникации и ее влияние на речевой узус — усиление интерактивности общения; ревитализация оппозиции «устность — письменность». В первом десятилетии XXI в. важнейшую роль в техническом обеспечении публичной коммуникации начинает играть *компьютеризация*, масштабы и интенсивность распространения которой стремительно нарастают. Причем если на рубеже XX–XXI вв. компьютер использовался, главным образом, как средство *интерперсонального* (чаще всего профессионального[9]) общения, то в первом десятилетии XXI в. он занял доминирующее положение как в межличностном, так и во внутриэтническом и межэтническом общении. Именно компьютеризация сделала общение в полном смысле слова *интерактивным* (в конце XX в. эта тенденция только лишь утверждалась).

Таким образом, именно две названные тенденции (устнизация и компьютеризация), одна из которых связана с использованием радио и телевидения, а другая — Интернета, способствовали максимально широкому охвату аудитории, обеспечили ускоренное прохождение по каналам коммуникативной связи безграничного по своему объему информационного потока.

---

[9] Ср. диалогическую речь системных операторов («сисопов»), анализируемую нами в ряде работ [Нещименко 1998а; Нещименко 2000, а также Нещименко 1999] или фрагмент из статьи «Ревнители чешского языка, наверное, горько зарыдают, услышав, как говорят банковские служащие» (31 декабря 2010 г., портал Aktuálne.cz): (Чешское телеграфное агентство предоставило подлинные высказывания, зафиксированные в последнее время на совещаниях, сопроводив их комментарием): *Dodavatel už to delivroval*, *načež to byznys revjůoval a dal na to svůj go ahead*; *Budeme s tím ale dál dýlovat*; *Musíme to rewritovat*; *Šlo by to rejůznout*; *IT to zatím nekomitovalo*; *Musíme to zabejzlajnovat*; *Musíme ten cíl mejknout*; *To si budeme muset zdžastyfikovat*; *Máte tu ajpinu překonektěnou*; *Chci se na to podívat z různých hintů*; *Před cutoverem budeme muset řešit otázku handoverů*.

Феномен *речевого взаимодействия* (интеракции) в публичной коммуникации заслуживает особого внимания. Как показало исследование, оправдывает себя разграничение интеракции скрытой (латентной) и явной, открытой. В письменных СМИ обычно встречается интеракция первого типа. Ее суть заключается в прагматическом «усреднении» узуса, его подстраивании к узусу предполагаемого адресата во избежание возможных коммуникативных и вербальных помех, препятствующих общению (например, в интервью). В устных СМИ также доминирует латентная интеракция, однако постепенно, в ходе телефонных опросов, в прямом эфире т. д., возрастает значимость интеракции открытой, активизирующей коммуникативное участие адресата. В результате этого *однонаправленный* поток информации (*адресант* > *адресат*) трансформируется в *двунаправленный*: *адресант* > *адресат*; *адресат* > *адресант*), в котором оба участника коммуникативного акта обмениваются репликами, функционально замещая друг друга. В этом случае тиражируются речевые навыки обоих участников коммуникативного акта, хотя они и находятся в *неравных* условиях: адресант обычно обладает бóльшим объемом информации, более высоким уровнем языковой компетенции, имеет профессиональные навыки публичного общения; адресат, напротив, продуцирует текст, не обладая таким опытом и навыками, он волнуется, говорит без подготовки, хотя и пытается, по мере возможности, следить за своей речью. Кстати говоря, это один из возможных путей тиражирования речевых ошибок, их трансляции на массовую аудиторию.

В компьютерной публичной коммуникации интерактивность общения играет очень большую роль. Это можно наблюдать и в так называемых социальных сетях, и в таких жанровых разновидностях, как «высокоскоростное» компьютерное общение, осуществляемое в режиме ICQ [см. Нещименко 2005; 2008; 2008а и др.] при жесткой временнóй регламентации[10]. Подобный вид общения хотя и увеличивает объем информационного потока, однако одновременно ведет к снижению речевого контроля текста, способствуя появлению в нем текстуальных

[10] Особый интерес представляет следующая ремарка (Новая газета 3/2000): «*Читатель, не ищи здесь опечаток. Когда общаешься по „аське“* (ICQ. — *Г. Н.*), *меньше всего думаешь о строчных и прописных буквах (когда это не затрагивает смысла)... Мы общались через Интернет с помощью программы Ай-си-кью (что-то похожее на обмен телеграммами через тысячу с лишним километров в режиме реального времени. Здесь своя грамматика, свои шутки, свой стиль). Мысли приходится формулировать кратко, думать быстро. Это как турнир по быстрым шахматам*».

ошибок, развитию межъязыковой и внутриязыковой, т. е. межидиомной, интерференции, проникновению в узус публичной коммуникации элементов разговорного узуса, в том числе и жаргонизмов и пр.

В результате компьютеризации публичного общения была ревитализирована оппозиция «устность — письменность»[11]. Впрочем, в этом случае возникает уже *качественно* иная «письменная» речь, со сниженным стилевым регистром по сравнению с прежней, литературной, письменной речью. Использование в компьютерном общении *графической* фиксации текста в какой-то степени выровняло асимметрию, возникшую в результате доминирования «устнизации» и постепенной редукции письменных СМИ. «Новая» разновидность графической речи более открыта влиянию разговорного языка, в каком-то смысле она становится *письменной* фиксацией *разговорного* узуса. В одной из своих работ я писала о том, что устное воспроизведение текста стало разоблачительным в отношении речевых ошибок. Сейчас становится очевидным, что нынешняя *графическая* фиксация речи значительно превзошла в этом отношении феномен «устнизации». Восстановление оппозиции «письменность — устность» в ее «осовремененном» виде в каком-то смысле спровоцировало тот шквал речевых ошибок, который буквально захлестнул и продолжает захлестывать пользователей Интернета, о чем пойдет речь ниже.

Хотелось бы уточнить, что оппозиция «письменность — устность» в нашем понимании может иметь *двоякую* интерпретацию: с одной стороны, она соотносится с противопоставленными друг другу *конституированными структурами* (письменная — устная разновидность литературного языка, или же письменный — устный литературный язык); с другой — с типами текстовой реализации (письменная — устная речь). Таким образом, в зависимости от конкретной ситуации общения актуализируется соответствующий альтернативный компонент антиномии.

3. **Оценка современного состояния речевой культуры в сфере публичной коммуникации, с преимущественной ориентацией на тексты Интернета**. При анализе и обобщении фактического материала мы опирались на разработанную нами в свое время коммуникативную

[11] Использование глобальных компьютерных сетей, и, в частности, Интернета, активизировало *письменную* коммуникацию (примерно 90% текстов, распространяемых через Интернет, имеют графическую фиксацию). И, хотя традиционно именно письменные тексты в большей степени связывают с использованием литературного языка, данные тексты имеют специфическую языковую норму, напоминая иногда транслитерацию, т. е. графическую фиксацию разговорной речи.

концепцию [Нещименко 1999; Нещименко 2003]. В данной статье будут затронуты лишь те ее аспекты, которые непосредственно касаются определения уровня вербальной культуры, а также прогнозирования перспектив дальнейшей эволюции речевого стандарта медиальной сферы. За прошедшие после опубликования этой концепции годы (с 1985 г.) она апробировалась нами на различном материале, подтвердившем эффективность ее использования (см. в том числе [Нещименко 2005, а также Нещименко 2010, *in print*] и т. д.).

3.1. **Дифференциация речевого поведения**. Данная проблема решалась на основе применения оппозиции «*регулируемое — нерегулируемое речевое поведение*», принадлежащей к числу новых операциональных приемов. Названная дихотомия является эффективным исследовательским методом, который может быть использован при рассмотрении широкого спектра вопросов, в том числе и при выявлении актуальных тенденций в сфере современной языковой культуры.

3.2. **Способы речевой коррекции текста**. В состав регуляторов коррекции текста входят:

— *внешняя языковая коррекция*, т. е. коррекция речевого поведения, осуществляемая *извне*, главным образом, *институционально*, например, через редакторов, стилистов, корректоров и пр., практически реализующих языковую политику, в том числе и кодификацию. Ее проведение возможно и на *индивидуальном* уровне (замечания посторонних лиц, указывающих на речевые ошибки[12]);

[12] Ср. из русского Интернета (узус кулинарных сайтов): *Пока канфорка остывает, рис доваривается*. — Ответ: *Если ждать, пока остынет кОнфорка... рис к тому времени просто сгорит*. Subscribe.ru. (2012); *А что трудно взять орфографический словарь и не писать крохмал. О чем бы не была статья, пусть она будет хотя бы грамотно написана!* — Ответ: *Sorry, О чем бы НИ была статья, пусть она будет хотя бы грамотно написана*))) Subscribe.2012; *Скажите, пожайлуста я все сделала по вашему рецепту, но почему-то у меня амлет не пышный и не высокий?* — Ответ: *что бы омлет был пышный мои мама и бабушка, а теперь и я и моя дочь…* Subscribe.2012; *Вот интересно, кто пишет эту ерунду???? Мало того, что по сути глупость, так еще и с ошибками!* — Ответ: *однако в рецепте обдают кипятком апельсин, а не цедру. писАть грамотно надо, только и всего.* — Ответ: *Вообще тема рассылки «Выпечка», а не «Правила русской орфографии и пунктуации». А если уж придираетесь, то сами пишите так, что бы к вам нельзя было придраться*. Subscribe.2012. Ср. также правку ошибок на чешских Интернет-сайтах: *VV* (название партии) *prosadily, že pacienti za amalgánové plomby platit nebudou*. Aktuálně.cz. 2011, в тот же день на других сайтах: *Pacienti*

— *внутренняя языковая* коррекция, автоцензура, т. е. *самоконтроль* (*автокоррекция*) собственного речевого поведения, что на практике проявляется в селекции самим индивидуумом употребляемых им вербальных средств, в исправлении допущенных им ошибок, в использовании определенной коммуникативной стратегии, языковой игры, речевых масок и пр. Этот вид коррекции текста свидетельствует об осознании автором текста своей ответственности за качество вербального «продукта», его коммуникативную успешность. Эффективность применения этого регулятора полностью зависит от уровня языковой компетенции самого индивидуума, его личной ответственности, со всеми вытекающими из этого последствиями.

Для создания корректного в языковом отношении текста оптимальным является *комплексное* использование обоих видов регуляторов, что на практике соблюдается далеко не всегда. Так, в современных публичных электронных СМИ наблюдается устойчивая тенденция *снижения* использования внешней коррекции, вплоть до полного ее элиминирования в общении по Интернету. Возможно, в какой-то мере это является результатом использования технологий высокоскоростной коммуникации, однако, на наш взгляд, чаще всего сказывается нигилистическое отношение носителей языка к кодификационным предписаниям и кодификационной деятельности в целом[13]. В результате этого вербальное качество текста практически полностью зависит *лишь от одного регулятора* — языковой компетенции индивидуума, его автоцензуры. Именно этим во многом объясняется шокирующе низкий уровень речевой культуры в русском Интернете[14].

---

nebudou muset platit za amalgámové plomby. Lidové noviny; *Uchránili jsme pacienty od placení amalgámových plomb*.IDnes (2011). Ср. также: чешский портал Aktuálně.cz задает вопрос чешскому корреспонденту на Украине: *Zajímalo by mě, jak silnou pozici a pravomoce má vlastně na Ukrajině president*. В ответе корреспондент исправляет ошибку пражского коллеги: *Prezident má silnější pozici než v Česku* (2010) — в соответствии с новыми правилами чешского правописания нужно писать не *president*, а *prezident* (комментарий наш. — *Г. Н.*).

[13] Так, в функционально аналогичных текстах чешского Интернета (например, в информации, размещенной на новостных сайтах газет) необходимая правка все же осуществляется; ср.: *Při pádu malého letounu ve Švýcarsko zahynulo šest osob* (*28. dubna 2012 20:19*). *ŽENEVA — Zřejmě šest osob zahynulo ve Švýcarsku při pádu malého turistického letounu u obce Tatroz v kantonu Fribourg. Informovala o tom místní policie*.

[14] Ср. малую толику речевых ошибок, зафиксированных в текстах русского Интернета: (политически ангажированные тексты) *И реформы в стране верхи не хотят так, как защищают интересы алигархов. Выгодней природные ресурсы вести на запад, а в Россию все остальное с большими наваротами*

Подчеркнем, что модератор, блогер[15], ведущий и т. д. не занимается корректированием текста, он контролирует соблюдение заявленной тематики, регламент общения, активность участия в дискуссии, корректность речевого поведения (отсутствие бранных слов).

и навар удобно оставлять за бугром. Subscribe.ru 2012; *А, что нас оббирают ЖКХ и прочие виноват народ т. е. 70% его который благодарен «хозяину» за то, что не все зубы ему выбил. Вроде и хотят, чтоб было по другому но сами задницу не подымут. Будут смотреть, чего другие добьются для них. А если тех возьмут за жабры, то они их и не поддерживали и готовы камнями забросать. Халопы они и есть халопы. И стоит ли переживать за них? А пусти их во власть они ближних в первую очередь обберут*. Там же; *один кондидат в президенты говорит* 2011; (профессиональные объявления) *Жеский диск*; *Проффисиональные консультанты по оффшорам*. Subscribe.ru 2012; *Компания **«МегаГрадъ»** занимается производством и реализацией собственного кедрового масла! Каждый бутыль нашего масла проходит проверку на качество.* Subscribe.ru 2012 (автор объявления явно не русский). Количество подобных ошибок чрезвычайно велико. Особый интерес представляет множество просторечных включений (в специальной литературе до сих пор существовало мнение, что просторечные лексемы являются скорее раритетом, чем повседневным явлением). Наш материал опровергает это мнение (хотя употребление определенной части просторечных включений, действительно, носит игровой, нарочитый характер, например, *ваще*, *кто-нить*, *дак вот* и пр.): (кулинарные тексты): *вообщем вареники получаются более качественно залепленными и не разлазятся приварке* 2008 http://www.kuroed.com/?id=2007; *Цельные кусочки филе нужно посолить, поперчить по вкусу и обжарить. Затем разлаживаем на большое блюдо и посыпаем луком с укропом*. 2012; *Стаканчик вина за обедом — и вот вы уже не влазите в джинсы*. Статья о похудении. 2012; *А мне очень нравится окрошка с жареной кортошкой вместо вареной и ложить ее надо горячей прямо в тарелку.* 2012. Широкий поток подобных включений говорит о том, что они утрачивают стилистическую маркированность, функционируют на равных с обычными обозначениями, что, разумеется, вряд ли можно считать подтверждением высокого уровня речевой культуры.

[15] Некоторые блогеры русского Интернета имеют удручающе низкий уровень речевой культуры; ср. авторский пост блогера, занимающегося проблемами похудения (из его самопрезентации следует, что он одновременно является практикующим врачом — педиатром и диетологом, а также соведущим проекта на 1-м канале ТВ). Приводимый далее текст многократно тиражируется в интернете при полном сохранении грубых речевых ошибок): *Как и многие люди, страдающие избыточным весом, я, испытывал дискомфорт, была отдышка; когда я пришел домой, у меня началась сильная отдышка, я решил — хватит, пора худеть!; стоило мне связать весь свой опыт, сводные данные моих «похудевших», опыт психотеропевтов и психиаторов и на свет появилась уникальная методика; Здесь же меня ничего не ограничевает; Нельзя просто так взять и начать есть определенный продукт, в*

Вероятность отрицательных последствий подобной диспропорции в использовании речевых регуляторов в целом предсказать не трудно, особенно если учесть продолжающееся снижение качества школьного обучения[16].

Одновременно с элиминированием фактора внешней коррекции, т. е. внешнего регулирования, происходит и элиминирование кодификации как таковой. И это не просто данность современного публичного узуса. Это то новое, что принесла с собой электронная публицистика, — в традиционных медиальных средствах двойное регулирование соблюдалось всегда довольно строго. Следует учитывать, что кодификационная деятельность корректирует и даже блокирует проявления некоторых системных закономерностей, подчиняя их нормативным запретам или же требованиям речевого этикета. В связи с этим уменьшение давления кодификации, с одной стороны, делает менее контролируемой речевую деятельность, усиливает приток разговорных включений, заимствований и пр.; с другой — устраняет препятствия на пути реализации закономерностей, присущих языковой системе, снимает ограничители, препятствующие появлению новаций, и т. п. В этом случае пользователь языка остается «без руля и без ветрил» в бушующем и раздираемом противоречиями языковом море.

Невзирая на то, что кодификация формируется на основе научного обобщения системных языковых закономерностей, она a priori не может быть абсолютно свободной от регулирующих установок, варьирующихся в тот или иной период жизни социума (ср., например, требование соблюдения политкорректности). Последнее обстоятельство представляется нам весьма существенным, так как оно может привести к возникновению слишком большой дистанции между действующей кодификацией, с одной стороны, и системными языковыми закономерностями, повседневным узусом, с другой.

том колличестве, которые указаны на сайте. Как бы продукт не расщеплял жиры, колличество, которое можно съедать должно определяться диетологом; Мною была разработана программа на основе огромного колличества сводных данных; удалось вычеслить индивидуальный рацион; Теперь не нужно мучать организм диетами; По себе знаю, что похудев, в жизни все как то само по себе налаживается, и в семье и в работе.

[16] Так, Кодекс участников дискуссий на блогах не случайно имеет красноречивый заголовок: «*Чтобы мы не сожрали друг друга*» (чешский портал *Aktuálně.cz*). Данный портал, на мой взгляд, является самым лучшим в чешском Интернете, особенно его блогосфера, которую ведет Л. Стейскал. Этот портал активно сотрудничает с Институтом чешского языка Чешской АН, устраивает дискуссии по острым лингвистическим проблемам.

Отсутствие необходимого баланса может способствовать возникновению нежелательного коммуникативного дискомфорта. Впрочем, вмешательство в функционирование языка извне способно лишь временно *приостановить* развитие того или иного вербального процесса, не «аннулируя» его полностью.

Будучи составной частью языковой политики, кодификация олицетворяет собой триединство «узус — норма — система». Ее основная миссия состоит в совершенствовании культуры современной речи, приведении ее в соответствие с системными закономерностями, вошедшими в норму.

3.3. Оппозиция «носитель — пользователь языка (языкового идиома). Использование данной оппозиции при оценке уровня речевой культуры, ее динамики также является чрезвычайно продуктивным и информативным компонентом коммуникативной концепции [Нещименко 1998; 1999]. Применение данной оппозиции облегчает поиск ответа на два «сакраментальных» вопроса, а именно:

— почему так плачевно обстоит дело с речевой культурой в публичных медиальных средствах, и в первую очередь в русском Интернете;

— почему люди с низким уровнем речевой культуры развивают столь бурную вербальную активность в русском Интернете.

Разумеется, не на все поставленные вопросы мы можем дать исчерпывающий ответ, особенно если это выходит за рамки нашей профессиональной компетенции.

Очевидно одно: происходит снижение численности реальных *носителей* литературной нормы по сравнению с возрастанием количества активных участников публичной коммуникации. В составе последних много лиц, уровня языковой компетенции которых явно недостаточно для того, чтобы порождаемые ими тексты тиражировались на массовую аудиторию.

Иллюзорным является установление прямой взаимосвязи между уровнем полученного образования и степенью владения литературной нормой. Неправомерным является слишком «щедрое» присвоение статуса «носитель литературного языка»[17]. Как показывает

[17] Для сравнения приведем языковой закон, действующий на чешском телевидении: все дикторы, ведущие передач и редакторы обязаны быть образцом корректного употребления литературного языка, тем более что они являются речевым эталоном для зрителей. На чешском ТВ им вменяется в обязанность тщательно выбирать языковые средства, с учетом жанра и темы передачи. При ведении новостных и актуальных публицистических программ они обязаны пользоваться лишь литературным языком

практика, наличие высшего образования — нередко всего лишь формальный показатель, который не гарантирует активного владения нормой литературного языка, т. е. способности самостоятельно, на основе автоцензуры, без помощи редактора, порождать корректный литературный текст. «Рост численности действительных носителей литературного языка существенно отстает от роста численности лиц, практически пользующихся этим феноменом <…> Возникает парадоксальная ситуация: там, где мы хотели бы иметь дело с корректным литературным текстом, мы сталкиваемся с текстами, значительно отличающимися от действующей литературной кодификации» [Нещименко 2003: 103].

3.4. **Речевые ошибки и попытки их типологии**. Бедствием современных СМИ является огромное количество ошибок и отклонений от литературной нормы; ср.: *обстрагироваться*; *стрептиз*; *кокоин*; *ортодаксально-патриотический* и пр. Удручают ошибки, допущенные в русской речи: *достоен*; *завалящийся домик*; *адрес*, *накаляканный на стене*; смешение *подвижник* и *сподвижник* и пр. К числу наиболее часто встречающихся ошибок относятся: смешение частиц *не* и *ни* (*вам* ***не*** *в жизнь не видать* и пр.); дополнительная градация у сравнительной и превосходной степени прилагательных (*более серьезнее*; *все более четче*; *более строже*, *более приятнее*; *гораздо более адекватнее*; *более краснее*; *на самой высочайшей точке*; *на самых крупнейших конкурсах*; *самые новейшие достижения*; *очень огромнейшие шансы*; *самого старейшего дома*; *самый опытнейший космический экипаж*). Возможно, здесь сказывается постепенное ослабление градационного значения у данных прилагательных. Часто встречается корпоративное смещение ударения на флексию: *размахивали фейера́ми*. Русская служба новостей 07.05.12, речь ведущей; *выигрываешь за счет финише́й*; *на финиша́х*. Русская служба новостей 15.04.12, интервью со спортсменкой-велосипедисткой, ее речь (при в целом литературном узусе); *Аренда мангальной площадки*

(за исключением цитирования или воспроизведения речевых навыков другого лица). Исключение составляют интервью и прямые репортажи с места события. Дикторы, ведущие передач и редакторы должны избегать употребления клише, сленга, словесных сорняков, стереотипных выражений и т. д. ЧТ систематически сотрудничает с консультантами-лингвистами. При малейших сомнениях необходимо обращаться к специалистам за консультацией, причем это нужно делать еще до съемок передачи. Раз в полгода ЧТ обязано публиковать отчет о языковом качестве передач, подготовленный авторитетными специалистами. Известно, что на портале Aktuálně.cz очень тщательно отбирается состав блогеров.

(включая уголь, розжиг, мангалы, шампурá). Объявление-реклама на Интернете. 2012 и пр.

Серьезные претензии высказывают и пользователи чешских СМИ, в том числе и Интернета; ср. «Самую большую угрозу представляет собой поток текстов, в которых никто не утруждает себя корректным употреблением языка. И хотя я обычно не даю в обиду Интернет, тем не менее, в подобных случаях именно Интернет становится таким вот рассадником „непрофессионального“ подхода к языку. Вполне вероятно, что в результате этого пользователи Интернета разделятся на тех, кто действительно владеет языком, и тех, кого можно отнести к полуграмотным [здесь автор употребляет новообразование, созданное на основе русизма: существительное *pologramot*. — *Г. Н.*». 02. 08. 2010. Aktuálně.cz (перевод наш)]. Несмотря на то, что пользователи Интернета в основном прекрасно осведомлены о том, где и когда следует употреблять литературный язык, в своей повседневной речевой практике они, как правило, себя этим не утруждают. Возможно, они настолько комфортно себя чувствуют в виртуальном пространстве, что предпочитают не обременять себя использованием общепринятого речевого стандарта[18].

В этом отношении большой интерес представляет изучение текстов блогов, в которых в буквальном смысле слова происходит «сшибка» двух стихий: литературного узуса и узуса разговорного. По своей композиционной структуре блог состоит из двух постов: авторского и дискуссионного. Первый создан автором, он монологичен, написан на литературном языке, с применением комплексной речевой коррекции и пр.; участники второго анонимны, их речь диалогична, экспрессивна, отражает специфику индивидуального речевого стандарта. Во многих случаях второй пост гораздо интереснее для исследователя.

При обобщении речевых ошибок мы дифференцировали их на следующие группы: 1. Описки, опечатки, оговорки. 2. Регионализмы; корпоративные ошибки. 3. Игровые ошибки, имитации (наибольший интерес здесь представляет речевая специфика собачников в ЖЖ, окрашенная искренней любовью к этим животным). 4. Многочисленную группу составляют так называемые «диагностические» ошибки [Нещименко 2001; 2003 и т. д.]. Последняя группа ошибок нами подразделяется на *информативные*, т. е. на их анализе можно

[18] «В своей сугубо личной жизни, в общении с друзьями и приятелями, я, конечно, не говорю на литературном языке или так, как я говорю, выступая публично». К. Кочи в своем интервью в Интернете (портал Aktuálně.cz) после опубликования «прослушки» (2011 г.).

получить представление о состоянии речевой культуры в социуме, а также, условно говоря, *кодификационные*, типология которых позволяет внести уточнения в действующую кодификацию.

3.5. Факторы, негативно влияющие на уровень современной речевой культуры публичной коммуникации.

К числу данных факторов относятся: элиминирование внешней коррекции текста; речевой нигилизм; низкий уровень речевой культуры; низкий уровень языкового обучения (в том числе в школе); массовое тиражирование ошибок, деформирующее языковое сознание; снижение численности реальных носителей литературной нормы и пр.

Заключение. Изучение речевого узуса публичной коммуникации последнего двадцатилетия позволяет сделать ряд выводов:

1. По своему коммуникативному и социолингвистическому статусу публичная вербальная коммуникация продолжает оставаться сферой *репрезентативного*, *социально и коммуникативно востребуемого* языкового употребления.

2. Доминирующую роль в данной коммуникативной сфере по-прежнему играют *электронные* медиальные средства. Причем если во второй половине XX в. среди них превалировали *аудиовизуальные* СМИ, т. е. радио и телевидение, то в первом десятилетии нового тысячелетия на эти позиции выдвинулся Интернет, являющийся *высокоскоростным* информационным средством. Именно он занял *лидирующие* позиции в публичной коммуникации в целом.

3. На основе анализа речевой специфики современной медиальной сферы на русском, чешском, отчасти также других славянских языках, можно заключить следующее:

3.1. Благодаря репрезентативному положению медиальных средств, прежде всего электронных, сфера публичного общения по-прежнему устойчиво занимает главенствующее положение в системе этнической коммуникации, оказывая определяющее влияние на формирование стереотипов речевого поведения. В силу этого именно речевой стандарт СМИ, а не вербальный узус художественной литературы, стал восприемником литературной нормотворческой функции.

3.2. Судя по данным сопоставительного анализа языковых ситуаций близкородственных этносов, в них отмечаются не только межъязыковые схождения, но и расхождения. Несмотря на то, что медиальный узус современных славянских языков осциллирует между литературным и разговорным узусом, очевидным является возрастание влияния разговорного узуса, причем в зависимости от конкретных обстоятельств могут активизироваться *разные*

манифестации разговорного языка, что подтверждается фактом их *избирательного* использования. Так, для чешского языка наиболее актуальным является вторжение в речевой узус публичной коммуникации включений из разговорного идиома *obecná čeština*. Усиливающийся приток последних в литературный узус до сих пор продолжает вызывать полемику. Для современного русского языка более актуальной является проблема активизации социолектов в виде включений из молодежного и профессионального сленга, а также (по мере развития рыночных отношений) и криминального жаргона. Новейшие наблюдения над чешским публичным узусом первого десятилетия этого века (нами обследовался узус Интернет-порталов, газетных, журнальных и пр. сайтов, форумов, блогосферы и некоторых других жанров) дают основание говорить об усилении конвергентных проявлений в чешском публичном узусе. Это выражается в пересмотре норм речевого этикета публичной коммуникации, в возрастании его экспрессивности, употреблении бранной лексики, включений из криминального жаргона и пр.

3.**3**. Следует отметить, что с начала 90-х годов в публичном узусе славянских стран произошло изменение ценностных ориентиров, повлекшее за собой значительное снижение уровня речевой культуры, ослабление авторитета действующих кодификационных регламентаций. Неизбежным результатом этого стала нестабильность речевых норм, проникновение в публичный узус массовых включений из сленга, бранной лексики, многочисленных языковых ошибок. В связи с этим важно установить, наблюдаются ли подобные процессы в узусе близкородственных славянских языков, и если да, то в какой форме и сколь интенсивно они протекают. О наличии в большинстве современных языков мира общей тенденции огрубления, вульгаризации, повышенной экспрессивности и пр. речевого стандарта публичной коммуникации пишет выдающийся социолингвист Л. Б. Никольский [Никольский 2000: 201].

3.**4**. Для сбалансированного развития культуры современного медиального узуса необходимо разработать принципы единой, централизованно проводимой кодификационной политики, которая могла бы стать основой для повышения уровня языковой компетенции лиц, вербально активных в сфере публичной коммуникации, и прежде всего в Интернете. Было бы желательно, по возможности, восстановить комплексное использование рычагов регулирования коррекции речи. Сказанное особенно касается русскоязычного Интернета, который зачастую становится средством тиражирования ошибок, негативно воздействуя на языковое сознание.

Литература

Виноградов 1938 — *Виноградов В. В.* Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX вв. М., 1938 (3-е изд. — 1982).

Нещименко 1998 — *Нещименко Г. П.* Значимость оппозиции «носитель — пользователь» языка (языкового идиома) для изучения специфики языковой ситуации и ее динамики // Славянское языкознание. XII Международный съезд славистов. Краков, 1998 г. М., 1998.

Нещименко 1998а — *Нещименко Г. П.* Диалог и его разновидности в современной коммуникации // Славяноведение. 1998. № 1.

Нещименко 1999 — *Нещименко Г. П.* Этнический язык. Опыт функциональной дифференциации (на материале сопоставительного изучения славянских языков). SPECIMINA PHILOLOGIAE SLAVICAE. Band 121. München, 1999.

Нещименко 2000 — *Нещименко Г. П.* К постановке проблемы «Язык как средство трансляции культуры» // Язык как средство трансляции культуры. М., 2000.

Нещименко 2000а — *Нещименко Г. П.* Проблемы публичной вербальной коммуникации на рубеже веков // Linguistik International: Sprachwandel in der Slavia. Die slavischen Sprachen an der Schwelle zum 21. Jahrhundert. Ein Internationales Handbuch. Teil 1–2. Frankfurt am Main, 2000.

Нещименко 2000б — *Нещименко Г. П.* О некоторых особенностях современной языковой ситуации и их теоретическом осмыслении // Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich. I. Opole, 2000.

Нещименко 2001 — *Нещименко Г. П.* Динамика речевого стандарта современной публичной вербальной коммуникации: проблемы, тенденции развития // Вопросы языкознания. 2001. № 1.

Нещименко 2001а — *Neščimenko G.* Univerzální a specifické tendence ve vývoji jazyka sdělovacích prostředků // Čeština. Univerzália a specifika. 3. Sborník konference v Brně 22.–24.11.2000. Brno, 2001.

Нещименко 2003 — *Нещименко Г. П.* Языковая ситуация в славянских странах. Опыт описания. Анализ концепций. М., 2003.

Нещименко 2003а — *Нещименко Г. П.* Современная публичная коммуникация: Динамика речевого стандарта // Конгресс международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы «Русское слово в мировой культуре». Пленарные заседания: Сборник докладов. Т. 1. СПб., 2003.

Нещименко 2005 — *Нещименко Г. П.* К вопросу о лингвистическом статусе языка компьютерных диалогов // Язык. Личность. Текст. Сборник статей к 70-летию Т. М. Николаевой. М., 2005.

Нещименко 2008 — *Нещименко Г. П.* К вопросу о динамике современной литературной нормы (на материале сопоставления русского и чеш-

ского языков) // Литературные языки в контексте культуры славян. М., 2008.

Нещименко 2008а — *Нещименко Г. П.* Речевой узус компьютерного диалогического общения через призму оппозиции «регулируемое — нерегулируемое речевое поведение» (на фоне сопоставления русского и чешского языков) // Bohemistyka. 1–4/2008. Rocznik VIII. Prace dedykowane XIV Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w Ochrydzie.

Нещименко 2008б — *Нещименко Г. П.* Компьютерная коммуникация в контексте современного публичного общения (с учетом данных сопоставительного изучения русского и чешского языков) // Współczesna komunikacja językowa: Najnowsze zmiany w leksyce i słowotwórstwie języków słowiańskich. Slavica. 125. Warszawa, 2008.

Нещименко in print — *Нещименко Г. П.* Языковая политика: Некоторые аспекты ее интерпретации // Актуальные этноязыковые и этнокультурные проблемы современности. (In print.)

Никольский 2000 — *Никольский Л. Б.* Трансмиссия культуры и ее лингвистические последствия в афро-азиатских странах // Язык как средство трансляции культуры. М., 2000.

Щерба 1957 — *Щерба Л. В.* Современный русский литературный язык // Избранные работы по русскому языку. М., 1957.

Щерба 1974 — *Щерба Л. В.* Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974.

Ertl 1929 — *Ertl V.* Dobrý autor. Časové úvahy o naší mateřštině. Praha, 1929.

Hlavsa 1988 — *Hlavsa Zd.* K některým aktuálním otázkám syntaktické normy // Dynamika současné češtiny z hlediska lingvistické teorie a školské praxe. Praha, 1988.

Horecký 1981 — *Horecký J.* K teórii spisovného jazyka // Jazykovedný časopis. 1981. N 2.

Jedlička 1974 — *Jedlička A.* Spisovný jazyk v současné komunikaci. Praha, 1974.

О. А. Остапчук

Украинский литературный язык в свете социолингвистической типологии славянских языков

1.0. Развитие сопоставительного изучения славянских литературных языков (далее СЛЯ) и выделение типологически значимых признаков непосредственно связано с именами Б. Гавранека [Havranek 1963], Д. Брозовича [Брозович 1967], Н. И. Толстого [Толстой (1968) 1988]. Одним из исходных принципов построения классификации СЛЯ явилось разграничение их синхронных и диахронных характеристик. При этом в синхронии рассматривались преимущественно особенности функционально-стилистической парадигмы СЛЯ, в то время как языковые ситуации разбирались прежде всего в диахроническом плане, в том числе в связи с историческими особенностями развития национальных культур и литератур. Более того, наличие развитой функционально-стилистической парадигмы современных СЛЯ увязывалось с процессом упрощения и унификации языковых ситуаций в диахронии в период утверждения национальных языков [Толстой 1988: 15, 23].

Кардинальное изменение языковых ситуаций в славянских странах в 1990-е г., в том числе в ранее многоязычных сообществах (СФРЮ, ЧССР, СССР), привело к смене подходов к их изучению. В настоящее время описание типологически значимых сходств и различий в СЛЯ ведется славистами разных стран, прежде всего, в рамках социолингвистической и эколингвистической парадигм [Ohnheiser 2003; Gladkova 1999; 2008; Нещименко 1999; 2003; Lubaś 2000; 2009]. Необходимым условием дальнейшего развития этой области славистики является уточнение типологического профиля отдельных СЛЯ с учетом всего комплекса экстралингвистических условий их современного функционирования[1]. Принципиально важным при этом

[1] См., напр., работы Р. П. Усиковой на македонском материале [Усикова 2004], О. Б. Ткаченко — на украинском [Ткаченко 2004].

Оксана Александровна Остапчук,
МГУ им. М.В. Ломоносова, Институт славяноведения РАН (Москва)

представляется постулат о необходимости пересмотра соотношения синхронных и диахронных характеристик в типологии СЛЯ. Одним из примеров реализации этого принципа стала недавняя монография Г. Гладковой и И. Ликомановой по истории чешской и болгарской языковых ситуаций, рассмотренных в их динамике и современном состоянии [Гладкова, Ликоманова 2008].

Фактор времени играет особую роль при анализе типологической структуры литературного языка, в том числе при сопоставлении его с близкородственными языками [Мечковская 2003]. Понятия литературного языка (стандарта[2]), литературной нормы, варианта литературного языка как таковые являются маркированными во временном отношении. Учет социолингвистических критериев помогает более четкой временной локализации этих понятий на общей оси исторического развития языка. В данной статье нас будет интересовать в первую очередь динамика изменений и проблема устойчивости типологических черт украинского ЛЯ в связи с трансформациями современного коммуникативного и языкового пространства.

1.1. Одним из исходных критериев в социолингвистической классификации современных СЛЯ (предложенной В. Любасем [Lubaś 2000]) является наличие или отсутствие у языка государственного (официального) статуса и время его обретения. На основе этого признака было выделено несколько групп славянских языков. В первую группу вошли языки, обретшие наивысший коммуникативный статус в национальных сообществах к началу XX вв.: русский, польский, чешский, сербский, болгарский. Вторая объединила языки, получившие статус государственного в новых независимых государствах на рубеже XX–XXI вв.: словенский, словацкий, хорватский, боснийский, македонский, украинский, белорусский[3].

Как справедливо отмечает известный чешский социолингвист Хана Гладкова, первые две группы (условно обозначаемые как «старые» и «новые» государственные языки) различаются не только и не столько временем закрепления наивысшего статуса языка в национальном коммуникативном пространстве, сколько общей системой и иерархией языковых функций [Gladkova 2008]. Ключевую роль играет здесь символическая функция языка, который рассматривается

[2] В настоящей статье термины «литературный язык» и «литературный стандарт» используются на правах синонимов.

[3] Автор выделяет также так называемые «культурные языки», находящиеся на догосударственной стадии развития (русинские, лужицкие) и др. в зависимости от уровня и широты признания.

членами коммуникативного сообщества не просто как средство общения, но и как способ национальной (социальной) солидарности [Кочерган 2003: 3, 9–10]. В условиях социально-политической стабильности и национальной зрелости символическая функция уступает место коммуникативной функции: именно так описывается современная ситуация в группе «старых» государственных языков. В группе «новых» государственных языков, в том числе в украинском, актуализируется именно символическая функция языка, а вопросам языкового планирования уделяется пристальное внимание, что вызывает явные аналогии с эпохой национального возрождения (ср. [Gladkova 2008]).

1.2. Традиционно термин «национальное возрождение» употребляется применительно к периоду конца XVIII — начала XIX в. для описания процесса становления национального самосознания славянских народов [История 1998], который сопровождался развитием национальных культур, литератур и кодификацией народных языков [Басай 1990]. В украинском случае, однако (как и в белорусском или македонском), эпоха национального возрождения характеризовалась исключительной длительностью, а процесс кодификации национального ЛЯ и стандартизации норм[4] протекал неодновременно в разных сегментах языкового пространства и продолжался фактически с начала XIX в. вплоть до 1930-х гг. На первом этапе развития украинского ЛЯ стабилизация нормы происходила преимущественно в художественных текстах путем индивидуально-авторского отбора языковых средств из фольклорно-(диалектного) узуса, при этом сами тексты, становясь репрезентативными, воспринимались затем как языковые образцы в конкретном регионе[5]. Предшествование норм, апробированных в культурно-языковой практике, кодификации как таковой характерно не только для большинства литературных языков «нового» типа [Мечковская 2003: 90–91], но и, например, для болгарского языка, который относится к группе «традиционных» языков [Гладкова, Ликоманова 2008: 197]. При этом становление норм до второй половины XIX в. на востоке и западе Украины

[4] О разграничении процессов кодификации как деятельности по описанию набора стандартных языковых средств и стандартизации как «установления и восприятия носителями СЯ основных норм речевого поведения в сфере культурной коммуникации» в истории СЛЯ см. [Гладкова, Ликоманова 2008: 197].

[5] Этап текстовой стандартизации на Восточной Украине продолжался с конца XVIII по 40-е гг. XIX в.: см. подробнее [Яворська 1999: 203], на Западной вплоть до конца XIX в., см. также [Гриценко 1993].

проходило относительно независимо, это наглядно проявляется и в сфере грамматики[6], и словаря, и орфографии. Завершение процесса кодификации следует отнести к 1920-м гг., связав утверждение единой нормы в сфере лексики с деятельностью Института украинского научного языка ВУАН (создан в 1921 г.) [Горбач 1993: 5 (49); Масенко 2004: 21–22], а закрепление компромиссной в отношении восточно- и западно-украинской культурной практики орфографической нормы — с работой Правописной конференции в 1927–1928 гг. [Шевельов 1987: 159–166]. Тогда же предпринимались активные попытки уменьшить разрыв между усилиями кодификаторов и реальной речевой практикой, а украинский ЛЯ был внедрен во все основные сферы публичной коммуникации [Шевельов 1987: 159–166]. Период «украинизации» всей общественной жизни (а не начало XIX в., как можно было бы предположить) вызывает явные аналогии с современностью, одновременно обнажая специфику трансформаций, происходящих сегодня в коммуникативном пространстве.

2.0. Актуализация символических функций украинского языка в 1990–2000-е гг. в сфере языкового планирования сопровождалась активным развитием инструментов кодификации, что означало, среди прочего, пересмотр языковых норм, сложившихся в советское время. Особая роль в этой связи отводилась обсуждению проблем орфографии, воспринимаемых (как и в 1920-е гг.) в контексте символической связи с национальной культурно-письменной традицией[7]. Так, разработанный Институтом украинского языка НАНУ новый проект правописания [УП 1999] предусматривал целый ряд изменений, в том числе с учетом тех норм орфографии 1928 г., которые, по мнению членов академической комиссии, не противоречат тенденциям развития современного украинского языка. Однако отсутствие консенсуса даже в среде экспертного сообщества не позволило сделать новые принципы правописания общепринятыми [Масенко 2004: 83–86; Терлак 2009: 121–122]. Это, в свою очередь, привело к усилению вариативности не только на сугубо орфографическом (см. варианты *Европа* // *Європа*, *Йоан* // *Іоан*, *Юда* // *Іуда*, *міф* // *міт*, *б'юро* // *бюро*, *матеріял* // *матеріал*, *Гемінгвей* // *Хемінгуей*), но и на грамматическом уровне (*любови* // *любові*, *у піджаці* // *у піджаку*,

[6] Так, дескриптивные галицкие грамматики середины XIX в. фактически закрепляли статус нормативных за морфологическими формами, характерными для западноукраинского узуса [Мацюк 2001: 308].

[7] Ср. обзор развития орфографии в болгарском литературном языке в связи с символической функцией языка [Гладкова, Ликоманова 2008: 308–322].

у метрі // *у метро*). Предложения, сформулированные в академическом Проекте орфографии, были восприняты лишь частью коммуникативного сообщества и реализованы в отдельных сегментах культурно-языкового пространства: телевизионном (канал СТБ), публицистическом (журнал «Ї», «Критика»), в практике книгоиздания (издательства «Смолоскип», «Лілея-НВ», «Піраміда»). Такая речевая практика, предполагающая, в том числе, сознательный выбор лексических вариантов из синонимических рядов (*шпиталь* вм. *лікарня*, *гелікоптер* вм. *вертоліт* и под.), неоднозначно оценивается участниками культурной коммуникации и представителями лингвистического сообщества: с одной стороны, ее рассматривают как положительную тенденцию [Баранівська 2008: 67], с другой — трактуют как сознательное расшатывание норм [Ажнюк 2009: 147]. Проявляемая в разных сегментах кодификации тенденция к пересмотру норм приводит к изменению ряда типологических характеристик украинского ЛЯ.

2.1. Украинский язык (вместе с белорусским, македонским, словацким) исходя из близости литературного стандарта к разговорному языку традиционно характеризуется как «демократический» и противопоставляется в этом отношении «элитарным» (напр., чешскому, русскому) [Мечковская 2003: 92–93]. Действительно, на начальном этапе украинская кодификация носила романтико-этнографический характер и ориентировалась главным образом на украинскую народную (разговорную) речь в форме фольклорного интердиалекта (интердиалектов). Однако дальнейшее развитие языковой коммуникации, особенно в нерегулируемой сфере, привело к определенной трансформации принципа «демократизма» украинской нормы.

Функционально-стилистическая дифференциация литературной нормы к концу XIX в. создала условия для развития устной разновидности нормированной украинской речи, что в целом совпадает с хронологией этого феномена у большинства славянских народов [Нещименко 1999: 60]. Примерно этим же временем датируется предположительно возникновение городского просторечья и социальных диалектов (жаргонов: ремесленнического, лирницкого, школярского, арго, языка преступников) [Горбач 1993: 5 (49)]. Однако в дальнейшем сфера употребления и социальная база всех разновидностей национального языка, используемых в неформальной коммуникации, существенно сократилась. Длительный период конкуренции с русским языком во всех важнейших сферах коммуникации, включая неофициальное общение, привел к тому, что в настоящий момент функции просторечья в украинском коммуникативном пространстве фактически выполняет

так называемый «суржик». Этот термин закрепился за гибридным языковым образованием (креолоидного типа), возникшим в результате русско-украинского взаимодействия первоначально на востоке и севере Украины[8]. Русско-украинская интерференция отмечается также в целом в нерегулируемой сфере общения[9].

В то же время коммуникативно не обоснованными и анахроничными следует признать надежды на внедрение литературного языка в сферу ежедневного бытового общения [Ґаудіо, Тарасенко 2008: 330; Тараненко 2003б: 41]. Использование в этой функции стандартного языка — нормированного средства культурной, преимущественно письменной коммуникации — создает слишком сильный коммуникативный дискомфорт, нарушая принцип функциональной адекватности. Перемещение функциональных границ в рамках украинского языкового пространства, проникновение в ЛЯ элементов из других («низких») функционально-стилистических разновидностей национального языка в украинском языкознании квалифицируется как жаргонизация, субстандартизация, вульгаризация, коллоквиализация [Тараненко 2003а; Бабич 2011]. Объектом критики становится, в частности, языковая политика и речевая практика в СМИ и художественной литературе, которые рассматриваются главным образом с точки зрения соответствия / несоответствия этих сфер коммуникации их традиционной роли «языкового образца».

Реакция экспертного сообщества на такую языковую ситуацию выражается в формулировке «элитарного» принципа кодификации, т. е. такого «подхода к критериям языковой правильности, при котором реальные процессы языкового употребления не считаются достаточным критерием нормы, вместо этого предлагается так называемая „аналитическая норма“, являющаяся созданием специалистов» (перевод наш. — *О. О.*) [Єрмоленко и др. 1998: 10]. Таким образом, можно констатировать не только ослабление традиционного «демократизма» украинской нормы, но и изменение логики процесса нормирования. Предшествование (элитарной) кодификации как таковой отбору языковых средств в узусе и их стандартизации создает условия для усиления вариативности и увеличения разрыва между нормой и узусом [Ohnheiser 1999: 32].

---

[8] Лингвистическая природа суржика, как и его социолингвистические характеристики, является предметом оживленных дискуссий в современной украинистике: см., в частности, [Масенко 2004: 104–114]. Аналогией «суржика» в условиях русско-белорусской интерференции является «трасянка».

[9] Это дает основания говорить даже об отсутствии или неразвитости этих форм существования этнического языка [Масенко 2004: 131, 133].

2.2.1. Тенденция к так называемой «национализации» языка, отмечаемая в ряде славянских стран [Ohnheiser 2003: 30], в украинском случае приобретает формы определенной архаизации нормы [Яворська 1999: 208], или иначе — ее нормативно-стилистической переориентации с учетом языковой практики 1920–30-х гг. [Тараненко 2003: 50]. Повышение значимости архаизмов в языковой системе происходит как в результате возвращения ряда понятий в концептуальное поле (что особенно характерно для религиозной и обрядовой сферы, а также области коммерческой деятельности, права), так и за счет изменения нормативной оценки вариантов номинаций, ранее находившихся на периферии системы. А. Стишов приводит около 600 «актуализованных» лексем, активно употребляемых в современных СМИ [Стишов 2003: 374–380]. Среди них особое место занимают пуризмы, созданные на пике национального языкотворчества — в 1920-е гг. (лексемы типа *військовик* — ср. *воєнний*, *світлина* — ср. *фотографія*, *летовище* — ср. *аеродром*).

В ряде случаев данная тенденция выражается в своеобразном кодификационном «этнографизме». Это проявляется, в частности, в активизации (регионально) маркированных и функционально ограниченных единиц в сфере «высокой» коммуникации (напр., в официально-деловом, научном стилях): см. наречия *деінде*, *подекуди*, служебные слова *бодай*, *попри*, *натомість*, *сливе* [Єрмоленко 1998: 7–9]. Параллельно в узусе вырабатываются механизмы нового функционального разграничения подобных лексических элементов. Так, если лексемы типа *небіж* появляются в титрах при переводе на украинский язык современных фильмов и телесериалов [Ажнюк 2011: 146], а *позаяк* распространяется главным образом в публицистике и литературе [Терлак 2009: 125–128], то проникновение таких и подобных лексем в научный и официально-деловой стили блокируется представлением о правильности и функциональной уместности таких элементов в данной сфере коммуникации.

2.2.3. Особое место занимает в современном украинском ЛЯ проблема единства нормы и допустимости региональных ее вариантов. Базой литературного стандарта во всех классических трудах по истории украинского литературного языка однозначно признаются полтавско-харьковские говоры [Русановський 1998; Жовтобрюх, Молдован 2005]. Однако украинская литературная норма создавалась на разнодиалектной основе [Шевельов 1955/2003: 133; Гриценко 1993], хотя в разное время участие говоров отдельных регионов было неодинаковым. Так, усиление роли западноукраинской языковой традиции в кодификации в 1920-е гг. сменилось впоследствии

определенным сокращением диалектной базы ЛЯ и вытеснением большинства форм и лексем, маркированных как «галицизмы», на периферию системы (об этом в лексикографической практике свидетельствовали пометы «редкое», «диалектное», «западное») [Українська мова 2005: 354–399].

В настоящее время противопоставление региональных вариантов нормы переместилось в область функциональных различий и касается главным образом частотности употребления ряда форм и конструкций в грамматике, а в сфере лексики и синтаксиса сводится в основном к различной стилистической окраске конкурирующих вариантных средств[10]. В то же время повышение коммуникативного статуса элементов, маркированных в языковом сознании как галицкие, приводит к перераспределению функциональной нагрузки вариантов, признаваемых нормой в качестве равноправных (как в случае с грамматическими вариантами *міністрові*, ср. *міністру*; *соли* вм. *солі*). В сфере лексики отмечается актуализация региональных элементов типа: *правник* вм. *юрист*, *потяг* вм. *поїзд*, *слухавка* вм. *телефонна трубка*, *відносини* вм. *стосунки* и под. Определенное влияние оказывает западный вариант литературного языка также на орфоэпические нормы, что сказывается, в частности, в усилении вариативности в ударении в ряде слов (словоформ), как например в 1 л. ед. ч. глаголов наст. вр.: *про́шу* // *прошу́*; *не́су* // *несу́* (первый вариант произношения распространен на западе Украины). Конкуренция западно- и центральноукраинского орфоэпических вариантов привела ранее к появлению омографов *ви́года* ‘выгода’ и *вигóда* ‘удобство’[11].

2.3. Проявления дистанцирования от одного или нескольких языков-соседей в конкретный период развития литературного стандарта связываются обычно с наличием / отсутствием билингвизма и характером отношений с другими языками, функционирующими в данном коммуникативном пространстве [Мечковская 2003]. В украинском случае пуристическая направленность кодификации особенно ярко проявилась (в ее умеренном и крайнем виде) в эпоху украинизации [Шеве-

[10] Например, в фонетике это проявляется в функционально большей значимости [*г*] и произношении [*в*] как неслогового [*u̯*]; в грамматике — в ином распределении вариантов окончаний: так, в дат. пад. сущ. муж. рода 2 скл. преобладает -*ові* (а не -*у*), в род. пад. сущ. жен. рода 3 скл. -*и* (а не -*і*); в синтаксисе — в преимущественном употреблении посессивных конструкций типа *я маю* (вм. *в мене є*), большей частотности употребления глагола-связки *є* и т. д.

[11] Подробнее о влиянии западных орфоэпических норм на литературный стандарт см. [Шевельов 2003: 107–112; 117].

льов 1987: 167–169], которая ознаменовалась активным словотворчеством на базе исконных элементов и адаптированных заимствований: *хитун* (вм. *маятник*), *цідило* (вм. *фільтр*), *розчепірка* (вм. *парасоля*) [Курс ІУЛМ 1961, II: 21], часть из них стали узуальными (*рушій*, *двигун*, *вимикач*). Последовавшая в 1930-е гг. смена языковой идеологии на Советской Украине сопровождалась сужением принципа пуризма: не соответствующими символической функции языка признавались лишь заимствования из польского языка. Проникновение русизмов в структуру украинского литературного языка не ограничивалось, открыто провозглашались принципы перевода, согласно которым «при существовании в украинском языке синонимичных слов, как например *процент* и *відсоток*, *поступ* и *прогрес*, *визиск* и *експлуатація*, эти понятия передаются языковыми формами, общими для русского и украинского языков» [Курс ІУЛМ 1961, II: 395].

Современный (после 1989 г.) этап развития украинской литературной нормы характеризуется, как и в целом ряде других языков (ср. пример хорватского, белорусского, отчасти словацкого языков), действием двух разнонаправленных тенденций: интернационализации словарного состава и одновременно национализации. Последняя тенденция выражается «в укреплении „национального“ варианта за счет усиления роли исконных словообразовательных и лексических (в т. ч. диалектных и архаичных) средств, а также использовании языковых средств из соседних славянских языков, которые не воспринимаются как угроза специфике национального языка» [Ohnheiser 2003: 30]. Наиболее ярко тенденция к «национализации» украинского литературного стандарта выражается в устранении параллельных языковых средств, имеющих свои аналоги в русском языке, или, по крайней мере, существенном ограничении их функционирования [Яворська 1999: 214]. Так, рекомендуется употреблять *підвалини* вместо *устої*; *виш* вместо *вуз*; это касается в том числе и интернационализмов, вошедших в украинский язык через посредство русского: *іспит* вместо *екзамен*; *доба* вместо *епоха*. Часть русизмов, прежде всего советизмы, демонстрируют устойчивую тенденцию к маргинализации в рамках языкового пространства, а их выведение из активного словарного состава сопровождается обретением ярко выраженной экспрессивной окраски — заметим, аналогичное явление наблюдается и в русском, и в других славянских (и не только) языках. В украинском случае дополнительным средством маркирования становится подчеркивание связи с русским источником при помощи графико-фонетических средств (ср. *совєти*, *совєцький* с негативными коннотациями и относительно нейтральные аналоги с корнем *рад-*: *радянський*). Тенденция

к «дерусификации» украинского стандарта проявляется и на других языковых уровнях, в частности, на уровне морфологии в усилении функциональной значимости вариантов, не имеющих полных аналогов в русском языке (как, например, окончание *-у* в род. пад. ед. ч. сущ. муж. рода 2 скл.), а также в рекомендациях по избеганию общих с русским языком конструкций с предлогом *по* (*завдання по*..., *доручення по*..., *комісія по*...), действительных причастий настоящего времени типа *конкуруючий*, *вмираючий* и под.

Однако активные усилия украинских кодификаторов по устранению русизмов приносят успех лишь в сфере «высоких» коммуникативных функций, а для повседневной украинской речевой практики характерно обилие заимствований из русского языка, в том числе нейтральных типа *творог*, *туфлі* и под. Преобладание русизмов со сниженной окраской в современной украинской речи отражает масштабное явление: перемещение центра взаимодействия русского и украинского языков из сферы регулируемой в сферу нерегулируемой коммуникации (примеры см. [Ставицька 2011]).

3. Произошедшее с 1990-х гг. изменение ряда принципов кодификации приводит к определенному нормативному плюрализму, что, в свою очередь, выражается в заметном усилении вариативности на всех уровнях языка в узусе[12]. Как отмечает Н. Б. Мечковская, разница между отдельными славянскими языками в сфере кодификации состоит, в частности, в глубине и определенности содержательной дифференциации вариантных и синонимических средств языка [Мечковская 2000: 41]. Для украинского языка, как и для других языков «демократического» типа, характерно относительно свободное варьирование языковых средств, таким образом, выбор варианта из имеющихся параллельных и/или синонимических средств не всегда связан с существенными семантическими и/или стилистическими различиями. Исследования современного украинского узуса выявляют не только пары относительно нейтральных лексических вариантов, таких как *бізнесмен* // *бізнесовець*, *спортсмен* // *спортовець*, но и целые ряды синонимичных лексем: *чиновник* / *урядовець* / *посадовець* / *високопосадовець*; *діаспорит* / *діаспорянин* / *діаспорник* / *діаспорець* / *діаспорівець*. Подобно тому, как это происходило в 1920-е гг., основным объектом нормирования на уровне лексики являются те вариантные лексемы и словообразовательные модели, которые противоречат современным представлениям о языковом идеале по формальным

[12] Подробнее об этом см. [Остапчук 2006].

критериям (в частности, это касается русизмов; ср. на материале болгарского языка [Гладкова, Ликоманова 2008: 267]). Однако в большинстве случаев выработка инструментов дополнительной стилистической и функциональной дифференциации происходит спонтанно и регулируется скорее в словоупотреблении, чем за счет инструментов кодификации: см. процесс стилистической и текстовой стандартизации в случае с лексемой *депутат*: *парламентар* / *верховнорадівець* : *нардеп* : *манкуртопарламентар* : *депутякало* : *політбрехайло* [Карпіловська 2004]. В этом отношении особый интерес представляет сознательная ориентация на употребление лексем, находившихся до недавнего времени на периферии системы, теми представителями коммуникативного сообщества, которые активно влияют на формирование моделей языкового поведения, см., например, функционирование лексем *шпальти*, *відтак*, *відсоток*, *водойма*, *царина*, *достоту*, *амбасада*, *автівка*, *перемовини*, *міліціянт* (*поліціянт*), *шпиталізувати* в телеэфире канала СТБ и связанные с этим дискуссии.

Весьма показательна с этой точки зрения практика введения лексического материала в учебники украинского языка для иностранцев, отражающие определенный этап современной украинской стандартизации. Относительная либеральность современной украинской нормы находит свое проявление в констатации наличия в речевой практике стилистически немаркированных лексических дублетов типа *цитрина — лимон*. Практика параллельного использования в тексте синонимических средств является не совсем удачной с методологической точки зрения, но адекватно передает реалии словоупотребления в неофициальной и полуофициальной сфере коммуникации: *офіціант* (*кельнер*), *передзвоню* (*зателефоную*), *пігулка* (*таблетка*), *вигоди* (*зручності*), *покій* (*вітальня*), *власний будинок* (*осібняк*) и т. д.[13]

Приходится констатировать, что украинский кодификационный плюрализм связан с незавершенностью формирования представлений о «языковом идеале». Он, в свою очередь, может формироваться с учетом как норм 1920-х гг., так и более поздней советской практики кодификации, равно как региональной (западноукраинской, а позднее диаспорной) культурно-языковой традиции. Отмечаемое повсеместно снижение эффективности инструментов кодификации, связанное с общими изменениями в сфере культурной коммуникации [Гладкова, Ликоманова 2008: 97–100, 163], в украинском случае обусловлено также рядом социолингвистических причин.

---

[13] Примеры из [Белей 2006].

4.1. Важным принципом организации украинского коммуникативного пространства, остающимся неизменным на протяжении всего XIX и XX в., является присутствие в нем, кроме титульного украинского, еще как минимум одного конкурирующего с ним языка — русского. Многоязычие как способ оформления коммуникативного пространства является одной из характерных черт начального этапа развития славянских литературных языков[14]. Замена «чужого» языка культурным идиомом, основанным на этническом языке, является социолингвистической универсалией эпохи национального возрождения [Гладкова, Ликоманова 2008: 63, 101]. Именно коммуникативная эмансипация украинского языка стала основной целью языковой политики в 1920-е гг., в эпоху «украинизации» [Шевельов 1987: 133–170; Масенко 2004: 18–30]. Однако в дальнейшем языковая политика СССР привела к частичному вытеснению украинского языка из сферы высоких коммуникативных функций и закреплению в УССР принципа русско-украинского двуязычия в публичной коммуникации. Обеспечить условия для восстановления функций украинского языка в тех сферах официальной и высокой коммуникации, где он отсутствовал или функционировал ограниченно в советскую эпоху (администрация, судопроизводство, технические науки, образование, СМИ), призвана языковая политика после обретения Украиной независимости в 1990-е гг.

За прошедшие 20 лет независимости была создана законодательная база, гарантирующая употребление украинского языка как единственного государственного в ведущих сферах общения, прежде всего официальной и полуофициальной. Наивысший коммуникативный статус украинского языка закреплен в конституции Украины, ряде подзаконных актов, включая законы, регулирующие функционирование языков в сфере рекламы, на телевидении и радио, в печатных СМИ[15]. В то же время колебания государственного курса, в том числе в языковой сфере, лишают законодательную базу ее ключевого принципа — стабильности. Однако отсутствие государственного органа, ответственного за внедрение в практику мер регулирования языковой сферы [Besters-Dilger 2011: 288–291], как и ряд других объективных и субъективных причин, существенно осложняют реализацию языковой политики Украины. Например, участники культурной коммуникации по-разному оценивают эффективность и перспективность проводимой в государстве языковой политики.

---

[14] Об этом на примере русского и чешского языков см. [Нещименко 2003], чешского и болгарского языков — [Гладкова, Ликоманова 2008].

[15] В частности, это закон «О телевидении и радиовещании» (2006), «О кинематографии» (2006). Подробный анализ см. [Besters-Dilger 2011: 257–270].

Негативную роль играет здесь также несоответствие официального статуса конкурирующих языков и их реальной роли в коммуникации. С одной стороны, украинский язык, будучи государственным, является основным языком этнических украинцев и языком публичного общения на территории Украины [Ажнюк 2009: 141]. В то же время сфера непубличного, неофициального общения обслуживается в равной мере украинским и русским языками. Признанию украинского языка языком полного территориального и этнического распространения (терминология О. Ткаченко [Ткаченко 2004]) препятствует ограниченность его функционирования в ряде географических регионов страны (прежде всего на юге и востоке), а также в отдельных социальных сферах. Несмотря на существенные изменения в социальной структуре коммуникативного сообщества, деление на «украиноязычное» село, с одной стороны, и «русскоязычный» город — с другой, особенно в восточных областях, до сих пор остается актуальным; промежуточное положение занимают здесь малые города, где украинофоны также не всегда составляют большинство [Kulyk 2011: 312].

С другой стороны, неопределенным остается статус русского языка, играющего важную роль в сфере неофициального общения не только на востоке, но и в центре Украины. Применение к русскому языку Европейской хартии региональных (миноритарных) языков сталкивается с неоднозначными аспирациями самих русскоязычных жителей Украины и политических сил, выражающих их интересы. С одной стороны, предпринимаются настойчивые попытки придания русскому языку статуса регионального[16]; с другой — раздаются голоса в пользу признания русского языка вторым официальным. Это явно свидетельствует о выдвижении символической (а не коммуникативной) функции языка на первое место также в среде русскоязычных граждан Украины[17].

Столкновение двух — по сути, противоположных по своим целям — языковых идеологий в одном коммуникативном пространстве обуславливает остроту лингвистических (и политических) дискуссий

[16] После неудачной попытки в 2006 г. провозглашения русского языка региональным в ряде восточных областей, в 2012 г. Верховной Радой был принят «Закон о языках», открывший путь для легальной процедуры такого шага на региональном уровне, что вызвало политический кризис в стране.

[17] Аналогичная ситуация характерна для дискурса о русском языке в странах Балтии: см. раздел «Особенности языкового пространства русского языка: СНГ и страны Балтии» Федеральной целевой программы «Русский язык» на сайте http://www.gramota.ru/book/rulang/index.html (режим доступа — открытый, дата посещения 04.06.2012).

в украинском коммуникативном сообществе [Besters-Dilger 2011: 276–282]. Следует заметить, что преобладание русского языка в ежедневном общении не отрицает поддержки политики «украинизации» коммуникативного пространства. Такое языковое поведение характерно в первую очередь для молодых людей — жителей больших городов, получивших высшее образование и достигших среднего или высокого уровня жизни [Kulyk 2011: 313]. Складывание слоя молодых, образованных, социально активных и успешных людей, заинтересованных в сохранении и укреплении позиций украинского языка, может послужить важным фактором дальнейшего развития языковой ситуации.

4.2. Расширение сферы употребления ЛЯ и связанное с этим процессом углубление его функциональной дифференциации признается одним из характерных признаков языковой ситуации эпохи формирования национальных ЛЯ. Практические меры «украинизации» в 1920-е гг. были направлены в первую очередь на внедрение украинского языка в сферу администрации и государственного управления, а также образования и книгоиздания [Шевельов 1987: 141–144][18]. Именно эти сферы коммуникации стали основным объектом языковой политики и в 1990-е гг. [Масенко 2004: 118]. Динамика количества образовательных учреждений (общеобразовательных школ и высших учебных заведений) с украинским как основным языком преподавания демонстрирует кардинальные изменения в этой сфере за последние 20 лет, особенно в восточных областях Украины. Наглядным примером может послужить Луганская область, где количество украиноязычных школ возросло с 9% в 1995–1996 г. до 48% в 2010–2011 г., данную тенденцию еще лучше иллюстрируют вузы, где соответствующие показатели составили 8% и 79%. За аналогичный период в масштабах всей Украины количество украиноязычных школ возросло с 58% до 82%, а вузов с 55% до 90%[19]. Следует, однако, отметить, что на востоке и отчасти юге Украины сохраняется определенный разрыв между долей украинского населения и количеством общеобразовательных школ с преподаванием на украинском языке. Наиболее существенен этот разрыв в

[18] Ср.: «Украинизация — расширение общественных функций украинского языка, внедрение его в официальное употребление в государственных, политических, общественных и культурно-образовательных учреждениях и организациях в 1920-е гг. на территории УССР и в местах компактного проживания украинцев в других республиках СССР» [Жовтобрюх 2004: 699].

[19] Использованы данные из [СтатУ 2011: 442, 447]; цифры из этого же источника за другие годы послужили материалом для исследования Ю. Бестерс-Дилгер [Besters-Dilger 2011].

Крыму, где на 24,3% этнических украинцев приходилось в 2010–2011 учебном году 8% школ с преподаванием на украинском языке (что и так можно считать успехом по сравнению с 0,1% в 1995/1996 уч. г.). Ситуация выглядит еще более неоднозначной, если учесть данные о количестве негосударственных образовательных учреждений, в большинстве своем русскоязычных или двуязычных [Besters-Dilger 2011: 268]. Отмечается также, что в нерегулируемой ситуации общения (вне класса / аудитории) выбор языка осуществляется в соответствии с доминирующей языковой ситуацией в данном регионе, например, в Киеве школьники и студенты в кругу друзей предпочитают общаться по-русски [Залізняк, Масенко 2001: 33].

Довольно показательной для всей системы коммуникации является ситуация в украинском медиа-пространстве. Согласно официальным данным за 2010 г., в государственных (областных) телерадиокомпаниях украинское вещание занимало в телеэфире 96,2% времени, в радиоэфире — 96,1%; даже в Крыму эти цифры составили соответственно 47,4% и 68% [СтатУ 2011: 483]. Однако, как справедливо замечает Ю. Бестерс-Дилгер, картину существенно меняют данные о распределении языков в эфире негосударственных каналов и FM-радиостанций, на которые приходится основная доля зрителей и слушателей [Besters-Dilger 2011]. В информационном пространстве телеканалы используют различные языковые стратегии оформления эфира. Так, на УТ-1 и 5 канале выпуски новостей преимущественно выходят на украинском языке, включая аналитические итоговые программы, однако на наиболее рейтинговых каналах СТБ, Интер, 1+1, ICTB, Новый канал (по данным за сентябрь 2011 г.) транслируются выпуски новостей на обоих языках. При этом фрагменты русскоязычной речи (высказывания героев новостей) передаются в оригинале, хотя в 2006–2007 гг. на УТ-1 и 5 канале осуществлялся их синхронный перевод, а на каналах ТЕТ, Интер, СТБ, 1+1 с целью украинизации русскоязычных новостей и высказываний использовались титры [Баранівська 2009: 67–70]. Характерной чертой современного медиа-пространства является практика параллельного использования украинского и русского языков в теле- и радиоэфире, когда переключение кода происходит каждый раз вместе со сменой говорящего (включая новости, ток-шоу и интервью, независимо от их тематики[20]). Эта практика получает довольно резкую оценку в среде

[20] Характерный пример — новости о событиях в России на украиноязычной версии сайта СТБ, где основной текст по-украински, а высказывания героев новостей приводятся по-русски без перевода, хотя и выделены в тексте курсивом: http://vikna.stb.ua/ua/news/2012/7/10/108958.

специалистов [Масенко 2004: 121–122], неоднозначно относится к ней как русскоговорящая, так и украинофонная часть коммуникативного сообщества, что показывают, в частности, форумы на сайтах телеканалов.

Приходится констатировать, что расширение сферы употребления украинского языка после повышения его коммуникативного статуса охватило преимущественно сферу регламентированного языкового поведения (образование[21], администрация). В то же время в информационно-культурном пространстве (в том числе в СМИ), как и в неофициальном (нерагламентированном) общении, сохраняется ситуация русско-украинского двуязычия. Наличие в сфере культурной коммуникации двух конкурирующих языков следует признать анахронизмом, присущим языковой ситуации эпохи национального возрождения и/или так называемым малым славянским этносам. Характерно, что в нашем случае коммуникация на разных языках не распадается на четко обособленные сферы [Гладкова, Ликоманова 2008: 64, прим. 2], наблюдается их активное взаимодействие, что свидетельствует о переходном характере такой ситуации.

4.3. Повышение украинской языковой компетенции среди участников культурной коммуникации явилось одним из важных показателей успешности политики «украинизации» в 1920-е гг. Количество носителей литературного языка увеличивалось главным образом за счет интеллигенции, но также духовенства и определенной части служащих и молодежи [Шевельов 1987: 148–149]. Современная социолингвистическая теория предлагает различные подходы к анализу языковой и коммуникативной компетенции, различая понятия «пользователя» и «носителя» языка, противопоставленные по линии пассивного / активного, неполного / полного владения языковыми нормами, включая способность к переключению кодов между разными разновидностями национального языка[22].

Отмечаемое сегодня увеличение числа носителей норм литературного языка напрямую связано с успехами в украинизации системы образования (см. п. 2.2). Однако только для определенной части носителей украинского языка можно предположить, что освоение литературной нормы в школе, искусственное по своей природе, дополняется также спонтанным усвоением норм разговорной и/или диалектной речи в семье или кругу сверстников. Такая ситуация ха-

[21] Подробнее, в том числе о восприятии государственной политики в сфере образования, см. [Калиновська 2008].

[22] Ср. [Нещименко 1999: 87–88; Гладкова, Ликоманова 2008: 43, 121–123].

рактерна только для тех, кто пользуется украинским языком во всех ситуациях общения: среди опрошенных в рамках проекта INTAS это 35,3% (если учесть тех, кто назвал украинский язык единственным и преимущественным языком общения) [Мовна політика 2008: 361]. Предпочтение, отдаваемое русскому языку, в большинстве ситуаций общения, в том числе неофициального (об этом заявили 15,1% опрошенных [там же: 361]), может быть связано с недостаточным владением иной, чем литературная, нормой украинского языка. Выбор «привычного» языкового кода, используемого в кругу семьи, в такой ситуации вызывает меньший коммуникативный дискомфорт.

Отмечается парадоксальная ситуация, когда успехи школьного образования на национальном языке увеличивают число лишь пассивных носителей литературных норм[23]. Базовые характеристики носителя языка как активного участника коммуникации в украинском случае служат скорее не для интегрального описания коммуникативного сообщества, а для выделения отдельных групп коммуникантов с разным набором компетенций. Так, лишь наиболее узкой группе (гуманитарной) интеллигенции будут присущи все параметры, включая активное осознанное владение нормами литературного языка, безусловное соблюдение в речи орфоэпических и других норм, понимание других разновидностей национального языка (региональных, субстандартных и пр.) и творческое использование языковых средств [Гладкова, Ликоманова 2008: 123]. Даже представители СМИ и мира политики в большинстве своем исключаются членами экспертного лингвистического сообщества из этого круга «идеальных» носителей по причине недостаточного соблюдения норм, в том числе орфоэпических [Баранівська 2008: 64; Ажнюк 2009: 143].

Дальнейшее расширение украинской языковой компетенции среди представителей младшей возрастной группы носителей (а следовательно, и всего коммуникативного сообщества) напрямую зависит от последовательности проводимой языковой политики и создания устойчивой мотивации для украинизации языкового поведения [Kulyk 2011: 324], а также от уровня коммуникативного комфорта в различных, прежде всего неофициальных, ситуациях общения.

4.4. Процесс кодификации национального языка и внедрения литературных норм в практику предполагает, в частности, признание

[23] Данные о недостаточной языковой компетенции, в частности, среди рабочих Донецкой области в 1929 г. приводит также Шевелёв [Шевельов 1987: 146].

членами языкового коллектива престижности данной формы культурной коммуникации [Daoust 1997: 438–440]. С безусловной оценкой использования литературного стандарта как наиболее престижной модели языкового поведения связано стремление деятелей национального возрождения к максимальному приобщению к нему всех носителей языка [Гладкова, Ликоманова 2008: 163]. Однако языковые предпочтения говорящих формируются не только «благодаря», но и «вопреки» государственной языковой политике. Так, исследователи указывают на противоречивое влияние политики «украинизации» в 1920-е гг. на отношение к украинскому языку, в частности, в русскоязычных рабочих районах Донбасса [Шевельов 1987: 147]. Современные исследования показывают существование определенного разрыва между реальным языковым поведением говорящих и представлениями о престижности украинского языка. Несмотря на то, что 53% киевлян общаются всегда или почти всегда по-русски, более половины из них считают, что «украинский язык является атрибутом государственности Украины», «употребление его в столице не соответствует его статусу государственного», а также что «его престиж должен быть выше, чем теперь» [Масенко 2011: 125]. Видимо, отчасти такой эффект связан с положительной оценкой проводимой языковой политики, что позволяет надеяться на дальнейшие изменения языковых предпочтений участников культурной коммуникации[24].

5. Таким образом, современная украинская языковая ситуация демонстрирует ряд важных изменений как на внутрисистемном, так и на экстралингвистическом уровне. В большинстве сегментов кодификации наблюдается очевидная тенденция к возрождению традиции нормирования 1920-х гг., прерванной в советское время. С этим связано, в частности, некоторое усиление традиционализма на основе своеобразной «архаизации» языка, возврат к широкой диалектной базе (чему способствует тенденция к этнографизму), усиление влияния западноукраинского узуса на ЛЯ. Принципиально новой следует признать тенденцию к определенной «элитаризации» нормы, что приводит к увеличению разрыва между ЛЯ и узусом, а также появление тенденции к «национализации» в форме «дерусификации» всех уровней языка.

При этом общие характеристики современной украинской языковой ситуации обнаруживают целый ряд аналогий с завершающей эпохой формирования единого стандарта (1920-е гг.). Это касается

[24] Ср. также данные обсуждения в фокус-группах [Масенко 2008: 108–109].

в первую очередь актуализации символической функции языка, расширения сферы использования ЛЯ и повышения его престижа, увеличения числа его носителей и повышения их языковой компетенции. Однако сохранение в коммуникативном пространстве ситуации двуязычия приводит к определенным проблемам в языковой сфере. Часть «неудач» языковой политики в современной Украине не носит исключительного характера и связана с общими изменениями системы коммуникации, превращением ее из сугубо культурной в массовую, нейтрализацией границ регламентированного и нерегламентированного общения в культурной коммуникации, усилением конкуренции ЛЯ с разговорной (субстандартной) речью в разных сферах коммуникации [Гладкова, Ликоманова 2008: 387–390]. Во многом именно этим объясняется спад эффективности инструментов кодификации и снижение языковой компетенции носителей в сфере нерегламентированного общения. В этих условиях особую роль начинают играть сознательные модели языкового поведения, направленные на утверждение в коммуникативном пространстве конкретного языкового идеала (ср. идею К. Вулхайзера о применении понятия «community of practice» в языковой сфере [Woolhiser 2011]).

Литература

Ажнюк 2009 — *Ажнюк Б.* Мовна політика в сучасній Україні // Мова рідна, слово рідне: Prace naukowe ofiarowane doctor Bożenie Zinkiewicz-Tomanek / Pod red. O. Baraniwskiej, A. Fałowskiego (Studia Ruthenica Cracoviensia: 3). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. S. 141–149.

Бабич 2011 — *Бабич Н.* Демократизація мовних норм і вульгаризація сучасного українського мовлення // Ukraina Irredenta: Literatura i język Ukrainy XX wieku / Pod red. J. Poliszczuka, O. Baraniwskiej, T. Hodany (Studia Ruthenica Cracoviensia: 5). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. S. 151–157.

Баранівська 2009 — *Баранівська О.* Тенденції мовлення сучасних українських ЗМІ // Мова рідна, слово рідне. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. S. 63–72.

Басай 1990 — *Басай М.* Формирование языковой нормы у славян в эпоху Национального возрождения // Культура народов Центральной и Юго-Восточной Европы XVIII–XIX вв.: Типология и взаимодействие. М., 1990. С. 252–261.

Белей 2006 — *Белей О.* Розмовляєте українською? Підручник української мови. Вроцлав, 2006.

Бестерс-Дільґер 2008 — *Бестерс-Дільґер Ю.* Мовна політика у засобах масової інформації // Мовна політика та мовна ситуація в Україні. Аналіз і рекомендації. Київ, 2008. С. 234–277.

Брозович 1967 — *Брозович Д.* Славянские стандартные языки и сравнительный метод // Вопросы языкознания. 1967. № 1. С. 3–33.

Гладкова, Ликоманова 2008 — *Гладкова Г.*, *Ликоманова И.* Языковая ситуация: истоки и перспективы (болгарско-чешские параллели). Прага, 2008.

Гриценко 1993 — *Гриценко П. Е.* Некоторые замечания о диалектной основе украинского литературного языка // Philologia slavica: к 70-летию академика Н. И. Толстого. М., 1993. С. 284–294.

Ґаудіо, Тарасенко 2008 — *Ґаудіо*, *С. дель*, *Тарасенко Б.* Суржик: актуальні питання та аналіз конкретного прикладу // Мовна політика та мовна ситуація в Україні. Аналіз і рекомендації. Київ, 2008. С. 316–330.

Єрмоленко и др. 1998 — *Єрмоленко С. С.*, *Харитонова Т. А.*, *Ткаченко О. Б.*, *Яворська Г. М.*, *Ткаченко В. А.*, *Шамота А. М.* Мова в культурі народу (план-проспект) // Мовознавство. 1998. № 4. С. 3–12.

Жовтобрюх 2004 — *Жовтобрюх М. А.* Українізація // Українська мова. Енциклопедія. Вид. 2-ге, випр. і доп. Київ, 2004.

Жовтобрюх, Молдован 2005 — *Жовтобрюх М. А.*, *Молдован А. М.* Украинский язык // Языки мира: славянские языки. М., 2005. С. 513–547.

Залізняк, Масенко 2001 — *Залізняк Г.*, *Масенко Л.* Мовна ситуація Києва: день сьогоднішній та прийдешній. Київ, 2001.

История 1998 — История южных и западных славян. Т. 1. Средние века и Новое время / Под ред. Г. Ф. Матвеева, З. С. Ненашевой. М., 1998.

Калиновська 2008 — *Калиновська О.* Мовна ситуація в сфері освіти // Мовна політика та мовна ситуація в Україні. Аналіз і рекомендації. Київ, 2008. С. 196–233.

Карпіловська 2004 — *Карпіловська Є. А.* Конкурування варіантних номінацій як вияв тенденцій розвитку лексикону: регулятори рівноваги // Лінгвістичні студії. Вип. 13. Донецьк, 2004.

Кочерган 2003 — *Кочерган М. П.* Мова як символ соціальної солідарності // Мовознавство. 2003. № 1. С. 3–10.

Курс ІУЛМ 1961 — Курс історії української літературної мови. Т. ІІ. Київ, 1961.

Масенко 2004 — *Масенко Л.* Мова і суспільство. Постколоніальний вимір. Київ, 2004.

Масенко 2008 — *Масенко Л.* Мовна ситуація України: соціолінгвістичний аналіз // Мовна політика та мовна ситуація в Україні. Аналіз і рекомендації. Київ, 2008. С. 96–131.

Матвіяс 1998 — *Матвіяс І.* Варіанти української літературної мови. Київ, 1998.

Мацюк 2001 — *Мацюк Г.* Прескриптивне мовознавство в Галичині (перша половина XIX ст.). Львів, 2001.

Мечковская 2000 — *Мечковская Н. Б.* Социальная лингвистика. М., 2000.

Мечковская 2003 — *Мечковская Н. Б.* Какие даты в истории письменно-литературных традиций наиболее значимы для социолингвистической типологии славянских языков? // Славянские языки: от прошлого к настоящему. (Slavica Tartuensia VI). Tartu, 2003. С. 81–96.

Мовна політика 2008 — Мовна політика та мовна ситуація в Україні. Аналіз і рекомендації. Київ, 2008.

Нещименко 1999 — *Нещименко Г. П.* Этнический язык: Опыт функциональной дифференциации. На материале сопоставительного изучения славянских языков. Мюнхен, 1999.

Нещименко 2003 — *Нещименко Г. П.* Языковая ситуация в славянских странах. М., 2003.

Остапчук 2006 — *Остапчук О. А.* Языковое варьирование как фактор внутренней динамики в современном украинском языке: уровни и способы манифестации // Глобализация — этнизация: этнокультурные и этноязыковые процессы. Кн. 1–2 / Под ред. Г. П. Нещименко. М., 2006. С. 210–238.

Русановский 1998 — *Русановский В. М.* Становление нового украинского литературного языка // Славянские литературные языки эпохи национального возрождения. М., 1998. С. 74–87.

Ставицька 2011 — *Ставицька Л.* Український обсценний лексикон: проблеми лінгвокультурної і лексикографічної інтерпретації // Ukraina Irredenta: Literatura i język Ukrainy XX wieku. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. S. 205–213.

СтатУ 2011 — Статистичний щорічник України за 2010 рік / За ред. О. Г. Осауленка. Київ, 2011.

Стишов 2003 — *Стишов О. А.* Українська лексика кінця XX століття (на матеріалі засобів масової інформації). Київ, 2003.

Тараненко 2003а — *Тараненко О. О.* Колоквіалізація, субстандартизація та вульгаризація як характерні явища стилістики сучасної української мови (з кінця 1980-х рр.) // Мовознавство. 2003. № 1. С. 23–41.

Тараненко 2003б — *Тараненко О. О.* Мовна ситуація та мовна політика в сучасній Україні (на загальнослов'янському тлі) // Мовознавство. 2003. № 2–3.

Ткаченко 2004 — *Ткаченко О.* Соціолінгвістична класифікація мов світу і місце української мови в ній // Його ж. Українська мова і мовне життя світу. Київ, 2004. С. 60–106.

Толстой (1968) 1988 — *Толстой Н. И.* К вопросу о зависимости элементов стиля стандартного литературного языка от характера его «стандартности» [1968] // *Н. И. Толстой.* История и структура славянских литературных языков. М., 1988. С. 27–33.

Усикова 2004 — *Усикова Р. П.* Связь между типологией македонского литературного языка и его интенсивным развитием (1945–2004) // Материалы

научных чтений памяти заслуженных профессоров МГУ им. М. В. Ломоносова Р. Р. Кузнецовой и А. Г. Широковой. М., 2004. С. 55–58.

Українська мова 2005 — Українська мова у XX сторіччі: історія лінгвоциду. Документи і матеріали / За ред. Л. Масенко. Київ, 2005.

УП 1999 — Український правопис. Проєкт найновішої редакції. Київ, 1999.

Терлак 2009 — *Терлак З.* Сучасна мовна практика і проблеми кодифікації мовних норм // Мова рідна, слово рідне. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. С. 121–130.

Шевельов 1987 — *Шевельов Ю.* Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900–1941). Стан і статус. Київ, 1987.

Шевельов 2003 — *Шевельов Ю.* Роль Галичини у формуванні української літературної мови. Львів, 2003.

Яворська 1999 — *Яворська Г.* Норми літературної мови. Генеза сучасних проблем нормалізації та кодифікації // Українська мова / Red. nauk. S. Jermolenko. Opole, 1999. S. 201–221.

Besters-Dilger 2011 — *Besters-Dilger J.* The Ukrainian Language in Education and Mass Media' // Harvard Ukrainian Studies. Vol. 29. N 1–4. 2007: Ukrainian Philology and Linguistics in the Twenty-First Century / Ed. by Michael S. Flier. Cambridge; Massachusets, 2011. P. 257–294.

Daoust 1997 — *Daoust D.* Language Planning and Language Reform // The Handbook of Sociolinguistics / Ed. by Florian Coulmas. Cambridge, MA: Blackwell Publishers, 1997. P. 436–452.

Gladkova 1999 — *Gladkova H.* Статус славянских стандартных языков в современной языковой ситуации // Anzeiger für Slavische Philologie. Band XXVII. Graz: Akademische Druck-u. Verlaganstalt, 1999. S. 69–86.

Gladkova 2008 — *Gladkova H.* Identifikace jazyka jako obraz identifikace národa (symboly, nástroje, postoje a realita) // Tożsamość a język w perspektywie slawistycznej. Opole, 2008. S. 97–114.

Havranek 1963 — *Havránek B.* Srovnávací studium struktury spisovných jazyků slovanských // Československé přednašky pro V. Mezinarodní sjezd slavistů v Sofii. Praha, 1963. S. 5–10.

Kulyk 2011 — *Kulyk V.* The Demography of Language Practice and Attitudes in Ukraine // Harvard Ukrainian Studies. Vol. 29. N 1–4. 2007: Ukrainian Philology and Linguistics in the Twenty-First Century / Ed. by Michael S. Flier. Cambridge; Massachusets, 2011. P. 295–326.

Lubaś 2000 — *Lubaś W.* Rzeczy ważne w opisie sytuacji współczesnych języków słowiańskich // Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich / Red. nauk. S. Gajda. Opole, 2000. S. 69–81.

Lubaś 2009 — *Lubaś W.* Polityka językowa (seria Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich). Opole, 2009.

Ohnheiser 2003 — *Ohnheiser I.* Эколингвистика и тенденции развития современных славянских языков // Języki słowiańskie w perspektywie eko-

lingwistycznej / Red. W. Lubaś, I. Ohnhieser, Z. Topolińska. Opole, 2003. S. 9–34.

Wexler 1974 — *Wexler P. N.* Purism and Language: a Study in Modern Ukrainian and Belorussian Nationalism (1840–1967). Bloomington, 1974.

Woolhiser 2011 — *Woolhiser C.* Communities of Practice and Linguistic Divergence: Belarusophone Students as Agents of Linguistic Change // Harvard Ukrainian Studies. Vol. 29. N 1–4. 2007: Ukrainian Philology and Linguistics in the Twenty-First Century / Ed. by Michael S. Flier. Cambridge; Massachusets, 2011. P. 371–404.

Г. П. Пилипенко

Двуязычное образование в полиэтничных славянских регионах (Воеводина и Прекмурье): социолингвистический аспект

В настоящей статье рассматриваются ситуации билингвизма и их проекция на систему школьного образования: ситуация венгерско-сербского двуязычия в Воеводине (Сербия) и венгерско-словенского двуязычия в исторической области Прекмурье (Словения). Анализируются различные источники (демографические данные, научные исследования), а также результаты нашего собственного исследования, проведенного в Воеводине (2009) и Прекмурье (2010)[1].

Венгры являются самым крупным национальным меньшинством в двух регионах Южной Славии. Так, в автономном крае Воеводина венгры составляют 14,28%; в общинах, составляющих исторический регион Прекмурье, венгров 13% (для 16% населения Прекмурья венгерский язык — родной). Однако, если посмотрим на абсолютные цифры, получим следующую картину: в Воеводине венгров по данным переписи 2002 г. — 290207, тогда как в Словении по данным переписи, проведенной также в 2002 г., было 6243 венгров, 7713 признали венгерский язык родным. В общинах исторического региона Прекмурье, согласно переписи 2002 года, проживало 5386 венгров, в общинах, в которых венгерский язык признан официальным наряду со словенским языком, проживало 5212 венгров. Таким образом, венгров в Прекмурье 6,54%, в общинах Лендава, Добровник, Ходош, Моравске Топлице, Шаловци, в которых венгерский язык признан официальным, венгров 25,2%. Если сравнить положение венгров

[1] В ходе исследования информантами выступили учащиеся средних школ с венгерским языком обучения, расположенные в разных районах автономного края Воеводина, а также студенты университета в Новом Саде (90% и 10% соответственно), всего 344 информанта. В Прекмурье опрошены учащиеся средней школы и основной школы города Лендавы, всего 95 человек.

Глеб Петрович Пилипенко,
Институт славяноведения РАН (Москва)

в Воеводине и Прекмурье, то позиции венгерского языка и самого венгерского меньшинства представляются более устойчивыми в Воеводине. Регионы для сопоставления выбраны неслучайно: следует упомянуть историческую общность (особенно в XX в.) в развитии этих областей, не имеющих при этом общей границы. После распада Австро-Венгрии и подписания Трианонского договора эти земли входят в состав государства южных славян (сначала Королевство сербов, хорватов и словенцев, затем Королевство Югославия), во время Второй мировой войны часть территории, населенной венграми, отошла к Венгрии, затем вновь вошла в состав Югославии, но уже федеративного государства. Сходство между рассматриваемыми регионами наблюдается и сегодня — венгерский язык в Воеводине и в нескольких прекмурских общинах признан официальным наряду со славянскими. Заметное своеобразие регионам придает наличие других этнических меньшинств (хорватов, цыган в Прекмурье; румын, хорватов, русинов, цыган, словаков в Воеводине[2]).

Изучение особенностей двуязычного образования — сегодня весьма актуальная тема, в особенности в связи с обострившимися процессами глобализации, с одной стороны, и поиска (сохранения) национальной идентичности — с другой (см., например, работы [Мартыненко 2011; Авина 2005; Csernicsko 2008; Duhovnik-Antoni 2007]).

В типологии двуязычного образования существует множество типов и подтипов. Так, язык национального меньшинства (язык B) на начальном этапе может преподаваться в большем объеме, чем язык большинства (язык A), затем происходит постепенное увеличение количества преподаваемых предметов на языке A. При этом действует модель «один учитель — один язык». Изучение языков A и B может быть как односторонним, когда только представители национального меньшинства изучают официальный язык (напр., словенцы в Австрии), так и двусторонним, если языки изучаются всеми этническими группами (словенский и итальянский язык изучаются в школах в словенских общинах Копер, Изола, Пиран; русский и мордовские языки преподаются в начальных классах русских школ [Мартыненко 2011: 190]). Кроме того, оба языка могут использоваться в преподавании одновременно. Этнический состав классов может быть гомогенным или смешанным. В последнем случае подобная практика призвана содействовать гармонизации отношений между общинами[3].

---

[2] В Воеводине официальными языками наряду с сербским и венгерским признаны румынский, словацкий, русинский, хорватский.

[3] Более подробно типологию образования можно посмотреть в книге «Образование и двуязычие» [Сигуан, Макки 1990].

Следует отметить, что двуязычное образование не существует само по себе, в отрыве от национальной политики, проводимой в конкретном регионе. Точнее сказать, оно является результатом языковой ситуации, облеченной в правовые и институциональные рамки.

Интересна история становления двуязычного образования в автономном крае Воеводина. В силу исторических и этнокультурных особенностей региона в образовательных учреждениях края обучение ведется на языках национальных меньшинств [Bašić, Crnjanski 2006: 119]. В то же время в Центральной Сербии из-за большей однородности национального состава населения образование на языках национальных меньшинств представлено спорадически[4]. Например, болгарский и боснийский языки (в качестве предмета) изучаются только в начальной школе в юго-восточной и юго-западной части страны соответственно; в общинах Прешево и Буяновац образование на албанском языке можно получить также и в средних школах. В начальных школах Воеводины можно получить образование на сербском, венгерском, словацком, румынском, русинском и хорватском языках. В средних школах (*srednja škola*) обучение проводится на сербском, венгерском, словацком (2 гимназии), румынском (2 школы) и русинском языках (одна гимназия). Получить так называемое *više obrazovanje* возможно на венгерском и румынском языках[5]. В Воеводине, в отличие от других регионов Сербии, можно получить высшее образование (*visoka škola*) на венгерском, словацком, румынском и русинском языках.

В автономном крае Воеводина существует разветвленная сеть образовательных учреждений с венгерским языком обучения. Так, из сорока средних школ, в которых ведется обучение на родном языке национальных меньшинств, в пяти преподают на словацком, русинском и румынском языках, в оставшихся школах обучение осуществляется на венгерском языке. Образование на венгерском языке (а также на других официальных языках в крае) в школах Воеводины имеет богатую историю [Göncz 1999: 53–59]. В одном случае изучение всех предметов практиковалось одновременно на двух языках, при этом классы могли быть этнически неоднородными. В другом случае гуманитарные предметы преподавались на венгерском (румынском, словацком и т. д.), а предметы другого блока, естественных

[4] Ситуация в автономном крае Косово и Метохии (согласно конституции Сербии, принятой в 2006 году) не рассматривается, поскольку эта территория не контролируется сербскими властями.

[5] С румынским языком обучения существует только одно подобное образовательное учреждение.

наук, — на сербском [Genc 1981: 22–23; Gábrityné-Molnár 1998: 22]. Наибольшее распространение получила модель, предполагающая получение образования полностью на родном языке каждой народности, сербский язык при этом изучается как отдельный предмет. Эта система функционирует и в настоящее время. Помимо школ только с одним языком обучения, существуют смешанные школы с сербскими и венгерскими классами. При этом смешанные школы преобладают. Например, из средних учебных заведений в двух школах преподают только на венгерском языке: в гимназии в Суботице и в гимназии в Сенте. Не существует средней школы с преподаванием только на румынском или словацком языке. Преподавание только на одном языке шире представлено в основных школах (первые 8 классов школы). Одним из оснований для организации смешанных школ послужило стремление сблизить представителей разных национальностей края, чтобы происходило взаимное усвоение языков во время общения на переменах, общих экскурсиях, школьных мероприятиях и т. д., а не только во время занятий, когда разные языки изучаются как предметы[6].

Ситуация с изучением языков в качестве предметов в разное время менялась. Так, во времена социалистической Югославии (70-е — 80-е гг.) сербы и хорваты, проживающие в этнически смешанных общинах, изучали так называемый язык окружения (*jezik sredine*), а представители национальных меньшинств, соответственно, — сербскохорватский язык. В 90-е годы и в начале XXI века по разным причинам изучение сербами языков национальных меньшинств практически прекратилось. В последнее время, по признанию работников образования, делаются попытки вернуться к опыту 70–80-х годов прошлого века. Встречаются разные оценки подобного подхода. Так, у представителей титульных наций, например, у словенцев в Прекмурье, обычно отсутствует мотивация к изучению языка окружения, поэтому результаты такого обучения более чем скромные [Bernjak 2004: 64–66]. С другой стороны, в том числе по нашим данным, в настоящее время наблюдается потеря интереса части венгерских учащихся к освоению сербского языка (особенно в гомогенной этнической среде), хотя, как показало наше

[6] Основным фактором для формирования однородных или смешанных школ являются этно-демографические показатели. Так, в школе села Велебит существуют сербские и венгерские классы, поскольку венгры составляют 35% населения, а в школах сел Мартонош и Ором, относящихся к той же общине, что и Велебит, — общине Канижа, преподавание осуществляется только на венгерском языке, так как венгерское население здесь составляет около 90%.

исследование, в целом венгры признают необходимость активного владения сербским языком.

Еще один аспект проблемы заключается в том, что не все представители национальных меньшинств посещают школу с родным языком обучения. Это зависит как от положения самой национальности (процентное соотношение населения), так и от возможности дальнейшего получения образования на родном языке. Так, отмечается, что дети из смешанных сербско-венгерских семей чаще всего получают образование на сербском языке [Mirnics 1994]. Похожая ситуация отмечается в Трансильвании, где дети из венгерско-румынских семей чаще посещают румынскую школу [Rus Fodor 2007]. Тем не менее, в 2006/2007 учебном году 79,34% воеводинских венгров и 78,7% воеводинских словаков получали образование в основных школах на родном языке. Для других национальностей Воеводины этот показатель меньше: 57% румын, 46,7% русин посещали основные школы с родным языком обучения [Bašić, Crnjanski 2006: 131]. В целом можно сказать, что у венгров и словаков сильны позиции родного языка в начальном образовании; важную роль при этом, несомненно, играют родители, которые и определяют ребенка в ту или иную школу. В зависимости от расположения населенного пункта, а также от доли венгерского населения в этом населенном пункте, количество учащихся, получающих образование на родном языке в основных школах, может меняться [Molnár Csikós 1998: 191–194]. Так, в Темерине, Аде, Каниже и Сенте 100% венгров посещают основные школы на родном языке, в Суботице, Србобране, Новом Кнежевце таковых 90%, в Апатине, Зренянине — 70–80%, в Кикинде, Сомборе — 60–70%, в Новом Саде, Панчево — 15–45%, в Врбасе, в городе Вршац — менее 15%. Ожидалось, что процент населения венгров будет отражаться на доле получающих основное образование на венгерском языке. Данный прогноз оправдался по отношению к тем населенным пунктам, в которых венгры в явном меньшинстве, что подтверждают данные по городам Нови Сад (6,02%) и Врбас (6,29%). Тем не менее, пример Темерина, в котором венгров 42,6%, или Суботицы с 34,98% венгерского населения показывает, что данный прогноз оправдывается не во всех случаях. Что же касается средних школ, процент национальных меньшинств, получающих образование на родном языке, несколько снижается у венгров (с 79,34% в основной школе до 64,62% в средней школе) и румын (с 57% до 42,04%), у словаков (с 78,7% до 23,72%) и русин (с 46,7% до 21,87%) фиксируется значительное снижение [Bašić, Crnjanski 2006: 138]. Очевидно, данная тенденция объясняется недостаточным выбором тех учебных заведений на родном языке, в которых учащийся хочет продолжить свое образование. И все же, как уже было сказано, из всех националь-

ных меньшинств в Сербии венгры обладают самой разветвленной сетью образовательных учреждений на родном языке. Если говорить о посещаемости средних школ с венгерским языком обучения, то там также реализуется принцип зависимости местоположения школы от этно-демографической ситуации района [Gábrityné-Molnár 1998: 23]. В местах компактного проживания венгров в округах Северная Бачка и Северный Банат в средних школах с преподаванием на венгерском языке обучается свыше 75% всех венгров. А в Новом Саде (доля венгров 6,02%) в 2003/2004 учебном году из 708 учащихся средних школ венгерской национальности только 246 получали образование на родном языке. Судя по данным, приводимым Л. Молнар Чикошем, в 1996/97 учебном году свыше 55% венгров получало *više obrazovanje* на родном языке, для высшей школы эти данные скромнее — 28,24% [Molnár Csikós 1998: 194]. Таким образом, можно сделать вывод, что чем выше ступень образования, тем меньше учащихся получают образование на родном языке. Большинство учащихся при получении высшего образования делают выбор в пользу сербского языка либо продолжают образование за границей, в том числе в Венгрии. Для учеников — представителей венгерского национального меньшинства, получающих образование на сербском языке, существует возможность отдельных занятий по родному языку. Для них проводятся занятия по родному языку с элементами национальной культуры (*maternji jezik sa elementima nacionalne kulture* / *nyelvápolás*).

Система двуязычного образования в школах Прекмурья иная. Процесс обучения происходит одновременно на двух языках: венгерском и словенском, причем по мере продвижения по ступеням образования доля словенского языка увеличивается: если в первые шесть лет обучения в основной школе соотношение венгерского и словенского языков равное, то в последующие три года основной школы и в период обучения в средней школе это соотношение меняется в пользу словенского языка и составляет 70 : 30 [Kolláth 2005: 55]. Поскольку в Прекмурье представлена двусторонняя модель двуязычного образования, словенцы также изучают венгерский язык. Двуязычных школ в историческом регионе Прекмурье немного — четыре основных школы (Лендава, Гентеровци, Добровник, Просеняковци) и одна средняя школа в Лендаве [Bernjak 2004: 66]. Образовательного учреждения более высокого уровня с преподаванием на венгерском языке в Словении нет[7]. Необходимо отметить, что представители

[7] На филологическом факультете Мариборского университета существует кафедра венгерского языка и литературы, где предметы, связанные с венгерской проблематикой, преподаются на венгерском языке.

еще одного национального меньшинства в Словении — итальянцы в Приморье — также имеют школы с преподаванием на итальянском языке, однако там сложилась совершенно иная система двуязычного образования[8]. Обучение ведется раздельно, т. е. за каждым предметом закреплен один язык. Это при том, что итальянское сообщество в два — два с половиной раза меньше, чем венгерское (в 2002 году итальянцев было 2258, итальянский язык признали родным 3762). Система, представленная в школах с венгерским языком обучения, вызывает вопросы у исследователей. Во-первых, успехи овладения словенцами венгерским языком более чем скромные; во-вторых, несмотря на декларативное заявление о равноправии языков в учебном процессе, по сути, все ограничивается переводом терминов, а само объяснение происходит по-словенски; в-третьих, все больше венгров определяет своих детей в классы, в которых венгерский язык изучается как «язык окружения»; в-четвертых, учителя не всегда бывают подготовлены к двуязычному преподаванию [Bernjak 2011: 46–48]. Словенский язык при этом выступает на первый план, успешная социализация для небольшой венгерской общины Прекмурья невозможна без знания языка большинства.

Система двуязычного образования в Прекмурье несколько раз менялась. После второй мировой войны существовали школы с венгерским языком обучения, в которых словенский язык преподавался как предмет. В 1959/1960 учебном году была введена система двуязычных школ. С 1990 года вместо прежних смешанных учебных групп образованы группы учащихся с родным венгерским и словенским языком [Kolláth 2005: 23]. Думается, что недостатки существующей системы мог бы исправить переход к системе, когда существует отдельная школа с преподаванием на венгерском языке. Однако возникает вопрос, насколько это реально, учитывая демографические данные венгерского меньшинства. Правда, в Приморье как раз реализована модель раздельных школ, при относительной малочисленности итальянцев. Однако здесь оказывается задействованным другой фактор — престиж языка и языковой общности. В школах с итальянским языком значительный процент составляют учащиеся не только из смешанных словенско-итальянских семей, но и из одноязычных семей (как из словенских, так и из семей эмигрантов) [Mikolič, Pertot, Zudič Antonič 2008: 64].

---

[8] Словенцы изучают итальянский язык в тех общинах, в которых официальным языком также признан итальянский (Копер, Изола, Пиран). Таким образом, несмотря на различную организацию двуязычного образовательного процесса внутри самих общин, политика приобщения большинства населения к языку меньшинства в Словении прослеживается четко.

Модель двуязычного образования, представленная в Воеводине, также не лишена недостатков. Выше упоминалось, что в районах с преобладанием сербского населения все больше венгерских детей посещают сербские классы. В гомогенных венгерских районах ситуация прямо противоположная: преподавание всех предметов происходит по-венгерски, с сербским языком учащиеся сталкиваются только на уроках, преподавание самого языка зачастую остается на низком уровне из-за того, что учителя не владеют методикой преподавания сербского языка как иностранного. Демографический потенциал венгерского языка несомненно выше в Воеводине: по нашим наблюдениям, в отличие от Прекмурья, в гомогенных венгерских районах Воеводины (а также в местах со значительной долей венгров) можно обойтись без знания сербского языка, что, естественно, снижает мотивацию учащихся к овладению сербским языком[9]. Однако если индивид выходит за рамки своей общины, для него будет сложнее социализироваться. Как показало наше исследование в Воеводине и Закарпатье, существует мнение, что без знания языка большинства невозможно найти престижную работу. С другой стороны, среди родителей распространено убеждение в том, что обучение другому языку на раннем этапе тормозит мыслительные способности и развитие человека.

Если анализировать результаты нашего анкетирования, получим следующие данные. Учащиеся из Воеводины в большинстве случаев указывали несколько источников приобретения сербского языка. Однако примерно у 1/3 информантов, которые отметили, что усвоили язык в школе, не указан никакой другой источник усвоения сербского языка. Это означает, что источником усвоения второго языка у них является только школа (точнее — уроки сербского языка). Была также подсчитана зависимость источника усвоения информантами сербского языка от этно-демографической ситуации в их населенном пункте. Установлено, что информанты, проживающие в населенных пунктах, в которых доля венгров составляет до 1/3 населения, реже указывали, что приобрели знание сербского языка в школе или только в школе, чем респонденты из районов с гомогенным венгерским населением. Респондентов из районов с долей венгров до 1/3 оказалось больше всего среди тех, кто указал родителей в качестве источника усвоения сербского языка. При возрастании процентной доли венгров в этнической структуре населенных пунктов увеличивается число тех, кто указал школу (или только школу) как

[9] Подобная ситуация нами также наблюдалась в гомогенных районах Закарпатья и Трансильвании.

источник усвоения сербского языка. Одновременно уменьшается количество респондентов, отметивших, что сербский язык усвоен ими от родителей. По всей видимости, не последнее значение здесь имеет доля смешанных браков, ведь смешанных семей больше всего именно в местностях с меньшей долей венгров.

Информанты из Лендавы выделяются на общем фоне учащихся из Воеводины тем, что у них наблюдается больший процент приобретения второго (словенского) языка до поступления в школу: 73,91% в Прекмурье и 43,44% в Воеводине. Кроме того, процент тех, кто указал приобретение словенского языка только в школе, — минимален. Следовательно, в ситуации малочисленности языкового коллектива второй язык усваивается на раннем этапе развития билингвального индивида, в данном случае, до поступления в начальную школу.

Информанты комментировали свой выбор. Многие отмечают одновременно несколько ситуаций, в которых происходит общение на сербском языке: тренировочный лагерь, отдых на море, общение в магазине и больнице; указываются и образовательные учреждения (музыкальная школа, детский сад, школа, занятия).

Данные, полученные Л. Генцем, подтверждают, что сербский язык воеводинские венгры чаще всего усваивают именно в учебных заведениях (детский сад — 20%, школа — 66%, *viša škola* / высшая школа — 22,5%) [Göncz 1999: 190]. Что касается языковой ситуации у прекмурских венгров, то полученные нами выводы совпадают с результатами Э. Берняк: в Прекмурье 72% венгров осваивают словенский язык до шестилетнего возраста, т. е. перед поступлением в начальную школу, а 28% — в школе [Bernjak 2004: 58].

Общение учащихся на перемене характеризует уровень межэтнической коммуникации. При этом важно установить, как часто венгры в неформальной обстановке общаются по-сербски, в том числе с учащимися из сербских классов (речь идет, конечно, о школе смешанного типа). Здесь следует вспомнить, что школы в Воеводине в основном смешанные, т. е. параллельно существуют сербские и венгерские классы, все предметы преподаются раздельно и на родном языке учеников. Поскольку все информанты были из венгерских классов, в рубрике анкеты «общение на перемене» они указывали венгерский язык. Сербский язык указан в дополнение к венгерскому. Отдельного внимания заслуживают гимназии в Суботице и Сенте. Филологическая гимназия в Суботице выделяется на общем фоне низкой частотой использования сербского языка в сфере общения на перемене. Объясняется это тем, что данная гимназия не является смешанной, в ней обучаются только венгры. Следовательно, общение на сербском языке (кроме уроков сербского языка) здесь маловероятно.

К учебному заведению несмешанного типа относится также гимназия «Больяи» в Сенте. Здесь преподавание также ведется исключительно на венгерском языке. Среди информантов из этой гимназии оказалось некоторое количество респондентов из смешанных семей, которые друг с другом общаются также по-сербски.

Особую группу комментариев составляют высказывания информантов о влиянии окружающих и среды на усвоение языка: «Я вырос среди венгров, редко использую сербский язык», «Там, где я живу, говорят по-венгерски», «Там, где я родился, мало говорят по-сербски», «Для венгра из венгерской среды сербский язык трудный», «Я вырос в среде, где нет сербов». На представления о степени трудности сербского языка оказывает влияние то обстоятельство, из какой среды происходит информант, а также то, есть ли у него возможность использовать сербский язык в настоящее время, например: «Не общаюсь достаточно», «Не говорю много», «Не с кем говорить каждый день», «В моем окружении нет тех, с кем можно говорить по-сербски» и т. д. Информанты из Прекмурья также отмечают, что словенский язык для них трудный, потому что они редко его используют (хотя подобных комментариев было немного).

Затруднения при использовании сербского языка испытывают респонденты, которые не учили этот язык в детстве: «Кто не учит с детства, тому трудно», «Не учу с детства», «Не мой родной язык, не знаю с детства». Для нас важны наблюдения информантов о состоянии билингвального образования; так, некоторые опрошенные отмечали, что сербский язык плохо преподают в школе, поэтому он является для них трудным: «В начальной школе не учат как нужно», «В 5-м классе учитель все объяснял на венгерском». Следует сказать, что учителя сами понимают эту непростую ситуацию (как в Воеводине, так и в Закарпатье, где также существует похожая проблема с преподаванием государственного языка — украинского — в венгерских школах). В школах и классах с венгерским языком обучения сербский язык зачастую преподают учителя, которые не владеют методикой обучения сербскому языку как иностранному; многие из этих преподавателей не знают венгерский язык и не могут объяснить ученикам темы уроков [Gábrityné Molnár 1998: 31]. Это ситуация потенциального конфликта. Во время проведения экспедиции удалось побывать на занятиях по сербскому языку в учебных заведениях. Учитель, не владеющий сербским языком, общается с аудиторией через посредников — одного-двух учеников, происходящих из смешанных семей. Иногда преподаватели сербского языка, подолгу работающие в одном и том же месте, быстрее выучивают венгерский язык, чтобы смочь установить контакт

с аудиторией, чем сами учащиеся — сербский[10]. Кроме того, сама программа разработана таким образом, что она не подходит для местных реалий. Не существует отдельной программы обучения венгров, проживающих в гомогенных районах, сербскому (украинскому) языку как иностранному. С подобной проблемой сталкиваются венгры и в Трансильвании (Румыния): учебный план по румынскому языку для них составлен как для учеников румынских школ, для которых этот язык является родным. Поэтому главная проблема — отсутствие методики преподавания государственного языка как иностранного для представителей венгерского меньшинства [Kiss 2011: 245–246]. Остается только задать вопрос, почему не были до сих пор разработаны эти методики, ведь венгры (и другие национальные меньшинства) проживают в этих государствах длительное время[11].

Приведем примеры обратной ситуации. В случае, если сербы преобладают в этнической структуре населения района, то представители венгерского национального меньшинства будут чаще использовать сербский язык, и тем легче он будет для них: «Я живу в сербском окружении», «Я живу там, где говорят по-сербски», «Я живу среди сербов», «Вокруг меня многие говорят по-сербски», «Сербский язык нас окружает, каждый день сталкиваемся с ним на улице, в СМИ, в школе», «Кто живет среди сербов, тому легко», «Я вырос в двуязычной среде» и т. д. Похожие комментарии, только по отношению к словенскому языку, фиксируются у учащихся из Лендавы: «Я часто слышу словенский язык из окружения», «Во многих местах используют словенский язык».

Интересно, что все респонденты из Лендавы, в отличие от учащихся из Воеводины, указывали, что владеют словенским языком. По всей видимости, компактность венгерского меньшинства, проживающего в Словении, а также их малочисленность делают невозможным ситуацию, при которой было бы исключено владение вторым языком. В Воеводине, где, в силу большей территориальной распространенности венгров, существует больше возможностей для применения только венгерского языка (особенно в гомогенных венгерских районах), информантам представляется, что знание сербского языка на хорошем уровне не столь необходимо, по крайней мере, на первом жизненном этапе.

---

[10] То же самое характерно для Закарпатья.

[11] Для венгров из Прекмурья эта проблема не настолько острая, поскольку многие учащиеся приходят в школу, в той или иной степени уже владея словенским языком.

Естественно, все экстралингвистические факторы, к которым относим и специфику билингвального образования, ее внешние проявления, влияют на степень овладения как родным, так и вторым языком. Как показывает анализ количества и качества допущенных информантами ошибок в сербском языке, проявляется четкая зависимость между этническим составом населения в конкретном населенном пункте и частотой ошибок: у информантов из гомогенных венгерских районов количество ошибок возрастает многократно, тогда как у учащихся из Нового Сада, других населенных пунктов Южной Бачки количество ошибок незначительно [Пилипенко 2010: 79–80]. Внимание лингвистов из Воеводины привлекают в основном случаи интерференции с сербским языком — проникновение сербизмов в венгерский язык [Andrić 2002]. Что касается состояния словенского языка у венгров в Прекмурье, то здесь не было зафиксировано такого количества ошибок, а такие диагностические ошибки, как, например, согласование в падеже, — минимальны. Это заставляет сделать вывод о сходстве прекмурских учащихся с воеводинскими венграми, проживающими в районах с преобладанием сербского населения. Таким образом, еще раз подтверждается, что в ситуации малочисленности языкового коллектива, а также численного преобладания титульной нации владение языком этой нации становится необходимостью для социальной реализации представителей национального меньшинства.

Приведем некоторые примеры взаимной интерференции, т. е. интерференции, проявляющейся в одних и тех же категориях венгерского и сербского (словенского) языков.

Наиболее проблемной сферой является глагольное управление. Так, в венгерском языке воеводинских венгров находим: *vágyakozik vmiért — čezne za nečim* (вм. *vágyakozik vmi után*); *meg van győződve vmibe — ubeđen u nešto* (вм. *meg van győződve vmiről*) [Kossa 1978: 41]. Часто происходит калькирование словенского глагольного управления в венгерском языке прекмурских венгров: *gondoskodik rá* по образцу *skrbeti za* вместо *gondoskodik vkiről*, *segít a tanulónak* по образцу *pomagati komu* вместо *segít a tanulókon* [Bernjak 2004: 54]. В сербской речи фиксируется обратный процесс — калькирование венгерского падежного управления: *Sad ne mogu setiti na srpski naslov — vmire emlékezni* (*setiti se nečega*); *Jeste li našli date odgovore — pitamo od njih — vkitől kérdezni* (*pitati nekoga*); *Umorili ste se u svakodnevne dane — vmibe belefáradni* (*umoriti se od nečega*). Также происходит калькирование падежного управления при употреблении географических названий: с одной стороны — *Kanyizsában* (*U Kanjiži — Magyarkanyizsán*), *Lendvában* (*V Lendavi — Lendván*); с другой стороны — *Od 5000 do 6000 građanin živi na malom Iđošu* (*U Malom*

Iđošu — Kishegyesen); *Putovanje na Budimpeštu* (*u Budimpeštu — Budapestre*); *Na Budimpešti je zelo krasno* (*v Budimpešti — Budapesten*).

Достаточно много ошибок фиксируется при использовании возвратных глаголов. В венгерском языке информанты употребляют возвратный по значению глагол, соответствующий сербскому возвратному глаголу: *a házakat*, *amelyek már összerombol-ód-tak* (*srušili su se*) [Andrić 2004: 260]. Ошибки в использовании возвратной частицы *se* в словенском языке, испытывающем влияние венгерского языка, отмечает Э. Берняк [Bernjak 2004: 54]. В то же время многие сербские глаголы лишены возвратной частицы *se*, поскольку их венгерский аналог не имеет в своей структуре показателя, соотносимого с возвратностью в сербском языке (суффиксы *-kod*/*-köd*/*-ked*; *-ód*/*-őd* и т. д.: *Ja sam preselila u Kanjižu sa majkom i bratom* (*átköltözni*); *Rodila sam* u *Bečeju* (*születni*).

В венгерском языке после количественных слов *sok*, *néhány* используется единственное число, тогда как под влиянием сербского языка в речи воеводинских венгров появляются формы типа *sok előadások*, т. е. в мн. ч. [Andrić 2002: 55]. С другой стороны, в сербском языке венгерские информанты под влиянием родного языка используют им. п. ед. ч.: *Пили смо пуно пиво и рум*; *Ovde živi puno mađar*; *Zec je bilo puno*.

В венгерском языке воеводинских венгров при глаголе в объектном спряжении часто употребляются указательные местоимения либо местоимения 3-го лица, что является прямым переносом из сербского языка: *Vettek negyed kiló szalámit és azt elfogyasztották* (*pojeli su to*) [Göncz 1999: 142]. В сербском и словенском языках отмечаем обратную ситуацию — при глаголе в винительном падеже отсутствуют личные и указательные местоимения: *Svako mora da* (*ga* — srpski jezik) *zna pošto živimo u Srbiji*; *Svugde su* (*ga* — Puškaša) *voleli*; *Profesorica mađarskog* (*ju* — ekskurziju) *je organizovala*; *Dijaki se pogovarjajo o tem*, *da bi rezultate mature zbrisali*, *in bi* (*jo* — maturo) *mogli ponovno pisati*.

Как уже отмечалось выше, процент ошибок у прекмурских венгров в словенском языке ниже, чем в целом у венгров в Воеводине (по репрезентативным группам) и сопоставим с долей ошибок у воеводинских венгров, проживающих в районах с сербским большинством. Кроме того, нельзя не учитывать, что модель двуязычного образования в Прекмурье другая, чем в Воеводине, что также влияет на процесс овладения языком.

Несомненно, двуязычное образование несет в себе много положительного. Однако не бывает двух одинаковых моделей образования даже в рамках одного административного устройства (пример

Воеводины). Важнейшими факторами оказываются: компактность проживания национального меньшинства, количество смешанных браков, демографическая ситуация, престиж языка, тип учебного заведения, материальная оснащенность школы и наличие кадров для преподавания, разработка учебных планов в соответствии с местными реалиями. На примере двух рассмотренных ситуаций видно, как эти факторы в той или иной степени оказываются задействованными в двуязычном образовании. В конечном итоге все это отражается не только в таком сегменте, как образование, но и в языке учащихся. Выявление различного рода фактов интерференции позволяет увидеть слабые стороны в программах обучения и обратить внимание на эти явления при совершенствовании моделей и программ двуязычного образования.

Литература

Мартыненко 2011 — *Мартыненко А. В.* Республика Мордовия: финно-угорские языки и региональная перспектива в сфере образования // Правовой статус финно-угорских языков и этнокультурные потребности российской школы / Под ред. В. А. Тишкова. М., 2011. С. 178–188.

Пилипенко 2010 — *Пилипенко Г. П.* Особенности усвоения сербского языка воеводинскими венграми // Славяноведение. 2010. № 5. С. 73–81.

Сигуан, Макки 1990 — *Сигуан М.*, *Макки У. Ф.* Образование и двуязычие. М., 1990.

Andrić 2002 — *Andrić A.* A vajdasági magyar diákok nyelvi hibáiról // Hungarológiai közlemények. № 4. Újvidék, 2002. P. 48–59.

Bašić, Crnjanski — *Bašić G.*, *Crnjanski K.* Politička participacija i kulturna autonomija nacionalnih manjina u Srbiji. Beograd, 2006.

Bernjak 2004 — *Bernjak E.* Slovenščina in madžarščina v stiku. Maribor, 2004.

Csernicsko 2008 — *Csernicsko I.* Ukrajna összhangra törekszik. Az ukrajnai oktatáspolitika nyelvi vonatkozásai // Kisebbségkutatás. 2008. № 2. S. 302–315.

Duhovnik-Antoni 2007 — *Duhovnik-Antoni A.* Slovenska šola v Italiji — S slovenščino nimam težav // Živeti mejo. Zbornik Slavističnega društva Slovenije 18. Slovenski slavistični kongres. Trst, 2007. S. 246–254.

Gábrityné-Molnár 1998 — *Gábrityné-Molnár I.* A jugoszláv társadalmi környezet elemzése a nemzeti kisebbségek szempontjából // Vajdasági útkéreső. Szabadka, 1998. S. 13–32.

Göncz 1999 — *Göncz L.* A magyar nyelv Jugoszláviában (Vajdaságban). Budapest; Újvidék, 1999.

Kiss 2011 — *Kiss Zs. É.* Language policy and language ideologies in Szekler Land (Rumania): a promotion of bilingualism? // Multilingua. № 30. 2011. S. 221–264.

Kolláth — *Kolláth A.* Magyarul a Muravidéken. Maribor, 2005.

Kossa 1978 — *Kossa J.* A mi nyelvünk. Újvidék, 1978.

Mikolič, Pertot, Zudič Antonič 2006 — *Mikolič V.*, *Pertot S.*, *Zudič Antonič N.* Med kulturami in jeziki. Tra lingue e culture. Koper, 2006.

Mirnics 1994 — *Mirnics K.* Kétnyelvűség a vajdasági vegyesházasságokban // Régió. Budapest, 1994. № 5/4. http://epa.oszk.hu/00000/00036/00020/pdf/08.pdf.

Molnár Csikós 1998 —*Molnár Csikós L.* Az anyanyelven való tanulás a jugoszláviai magyarok körében // Vajdasági útkéreső. Szabadka, 1998. S. 191–196.

Rus Fodor 2007 — *Rus Fodor D.* Nyelvi és etnikai folyamatok néhány tordai magyar–román vegyes házasságban // 3. Félúton konferencia. Az ELTE nyelvészdoktoranduszainak konferenciája. Budapest, 2007. http://linguistics.elte.hu/studies/fuk/fuk07/rusfodor_KA_VA_T.pdf.

Vogel 2007 — *Vogel J.* Podoba zamejstva in pouk slovenskega jezika v slovenski srednji šoli // Živeti mejo. Zbornik Slavističnega društva Slovenije 18. Slovenski slavistični kongres. Trst, 2007. S. 237–245.

Научное издание

Славянское языкознание.
XV Международный съезд славистов.
Минск, 21–27 августа 2013 г.
Доклады российской делегации

Корректор *М. Н. Толстая*
Оригинал-макет *С. Д. Боярская*

Издательство «Индрик»

INDRIK Publishers has the exceptional right to sell this book outside Russia and CIS countries. This book as well as other **INDRIK** publications may be ordered by
e-mail: **market@indrik.ru**
or by tel./fax: **+7 495 954-1752**
Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции (ОКП) — 95 3800 5

ЛР № 070644, выдан 19 декабря 1997 г.
Формат 60×90 1/16. Печать офсетная.
42,0 п. л. Тираж 500 экз. Заказ №

Отпечатано с оригинал-макета